

594

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

16 января 1877. Вилюйск.

Милый мой дружок, Голубочка, Оленька.

Я получил твои письма от 10 октября и 7 ноября. Отвечаю на них лишь несколькими словами, чтоб они скорее дошли до тебя, моя милая.

Расстройство твоего здоровья тяжело. Оно требует лечения более серьезного, чем каким пользовалась ты.

Ты должна жить каждый курс вод в Карльсбаде.

Каждую зиму проводить в Южной Италии.

Ты должна исполнять это, пока твое здоровье совершенно восстановится.

Должна. Никаких отговорок я не принимаю.

Только.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя радость.

Целую детей.

Я совершенно здоров и живу хорошо.

Лечись же, как я требую от тебя. И будешь здоровенькая, и я буду счастлив. Целую твои ноги, моя милая, Радость моя, Лялочка. Твой Н. Ч.

595

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Вилюйск. 16 января 1877.

Милый друг Саша.

Я получил от твоей мамы письма, помеченные ею «10 октября» и «7 ноября». В них она говорит о своей болезни.

Я отвечаю ей лишь следующими словами, которые переписываю здесь для тебя, мой милый:

«Расстройство твоего здоровья тяжело. Оно требует лечения более серьезного, чем каким пользовалась ты.

Ты должна жить каждый курс вод в Карльсбаде.
Каждую зиму проводить в Южной Италии.

Ты должна исполнять это, пока твое здоровье совершенно
восстановится.

Должна. Никаких отговорок я не принимаю.

Только».

Отговорок я не принимаю. Таких, которые не могли бы быть
устранены, нет.

Важнейшая, вероятно — недостаток денег. Но и ее легко
устранить. Я прошу об этом тебя, мой милый.

Только. Целую тебя и Мишу. Твой *Н. Ч.*

596

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Виллюйск. 23 января 1877.

Милый мой дружок Оленька.

Недели две тому назад я получил твои письма от 10 октября
и 7 ноября. Целую твою руку за них.

Я отвечал на них несколько дней тому назад. Пользуюсь но-
вым случаем отправления почты, чтобы повторить просьбу к тебе,
которая была в том моем письме.

Расстройство твоего здоровья требует лечения гораздо более
серьезного, чем то, каким ты пользовалась до сих пор.

Важнейшая причина твоего нездоровья — зимний холод, дур-
ная погода весной и осенью. Единственное серьезное лекарство
против этого — жить в климате, где нет ни холода, ни сырости.
Самая близкая к России страна такого климата, какой необходим
тебе, — Южная Италия, и в особенности Сицилия. Мальта была
бы, вероятно, еще полезнее для тебя. Но, я полагаю, английские
обычаи, господствующие там, показались бы тебе скучны. И дей-
ствительно, для непривычных к ним они неприятны. В Южной
Италии, в Сицилии этого неудобства разницы местных обычаев
от привычных тебе почти несколько нет. Южные итальянцы это,
в сущности, люди, очень, очень похожие на русских своими поня-
тиями и обычаями. Сицильянцы еще больше походят на русских.
У них везде все то, что в патриархальнейших русских деревнях.
Скучать между ними не нужно: они забавны, как взрослые дети,
и, правду говоря, так же добры и милы, как дети.

Умоляю тебя: постоянно проводи время от сентября до апреля
или до половины мая в Южной Италии, или в Сицилии. А на
период курса вод каждое лето ездь в Карльсбад.

И твое здоровье восстановится. И я буду счастлив.

Целую детей.

Сам я совершенно здоров и живу хорошо.

Целую твои ноги, моя милая радость. Твой *Н. Ч.*

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

23 января 1877. Вилюйск.

Милый мой друг Саша.

Я получил, недели полторы тому назад, посланные мне тобою книги и ящичек с лекарствами.

Книги, это:

Основания Практической медицины Кунца; русский перевод, СПбург. 1875, и

Немецкий подлинник книги, заглавие которой перевожу, чтоб иностранные слова не сделали лишнего затруднения кому-нибудь из читающих это письмо по дороге к тебе:

«Руководство к Специальному учению о предписывании лекарств» Познера и Симона; Берлин, 1862.

В ящичке с лекарствами было:

Жестяная баночка, в которую вложена стеклянная банка, с унциею серно-кислого хинина, аптекарские вески и вес к ним.

Я начал пользоваться хинином. Принимаю его по 10 гранов в день. — Хинин я переносу, сколько могу судить по прежним пользованиям им, совершенно хорошо.

Буду принимать без перерывов, пока буду хорошо переносить. И, полагаю, остановок в принятии хинина не будет нужно мне делать никаких. — У меня есть из прежней — второй — твоей посылки еще одна баночка с серно-кислым хинином. С драхму из нее, или драхмы две, я израсходовал. Остается 6 или 7 драхм.

Итого, у меня теперь около 14 драхм серно-кислого хинина. По 10 гранов в день, этого достанет на три месяца. Но недели через три, если я увижу, что 10 гранов это не тяжело, — как я надеюсь: это не тяжело для меня, — попробую увеличить дозу на 5 гранов.

При малейших признаках, что 10 гранов тяжело, я уменьшу дозу или вовсе остановлюсь на столько дней, сколько будет нужно. Но, я полагаю, этого не случится. Каждый организм имеет свои маленькие особенности по отношению к пище и лекарствам. Мой легко переносит все вещества, подобные хинину.

Тоже, кажется, легко переносит он и железные препараты. Я требую себе из Якутска

«водородное железо» —

пишу по-русски, чтобы от латинского слова не было лишней поддержки письму.

Когда пришлют, буду принимать это железо по 5 гранов в день.

Историю моих прежних попыток лечиться напишу когда-нибудь в другой раз, если вздумается мне припоминать их. Теперь,

мне кажется, нет надобности в том. Довольно сказать, что они были неудачны. В нынешний раз, вероятно, не следует ожидать неудач.

Относительно пищи я с давнего времени соблюдаю те предписания медицины, какие возможно исполнять в здешней полудикой и совершенно нищенской местности. Эти люди не умеют даже изжарить мясо. О крупчатой муке они лишь мечтают, как о дивной роскоши. Есть у их, по праздникам, печенья из «конфетной муки», — название очень блистательное. Это, сколько я могу судить, «второй сорт» крупчатки, то есть вовсе не крупчатка. — Но эти недостатки пустяки. Я ем все-таки пищу, хорошую в медицинском смысле. Главная моя пища, издавна, молоко. Я употребляю его по три шампанских бутылки в день. (Эти нищие дикари, мучащие себя голодом, все-таки выпивают иной раз по бутылке скверной микстуры, которую продают им в бутылках от шампанского и которую принимают они за шампанское.) Три бутылки от шампанского это 5¹/₂ фунтов молока. Это около половины того количества пищи, какая нужна сильному мужчине с требовательным желудком. А я никогда не мог есть столько, сколько едят мужчины крепкого сложения.

Можешь судить, что, кроме молока и чаю с сахаром, мне далеко не каждый день может понадобиться фунт хлеба и четверть фунта мяса. Хлеб у меня сносный. Мясо варить умеют и здешние дикари.

Поэтому моя пища, в медицинском отношении, хороша.

Чай и табак для моего организма — вещества гораздо более легкие, чем для большинства: их действующие на организм элементы однородны с хинином. Ученых терминов не употребляю, чтоб из-за справок о их значении не было задержки письму. Вещества этого разряда все хороши и легки для моего организма.

Но и чай и табак я употребляю в умеренном количестве.

Пишу все это, потому что надобно же отвечать на твои вопросы. Но, в сущности, не стоит тебе думать об этом. В состоянии моего здоровья нет ничего, могущего внушать беспокойство.

Иное дело здоровье твоей матери. О нем заботься, сколько можешь. Это серьезнейшая из всех моих просьб к тебе, мой милый друг.

Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

598

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Виллюйск. 10 февраля 1877.

Милый мой дружок Оленька.

Состояние твоего здоровья очень тревожит меня. Ни о чем, кроме этого, не могу и думать.

Умоляю тебя, исполни мою просьбу. Вот она:

Как только позволит тебе твое здоровье, отправляйся в Южную Италию.

Когда это письмо будет получено тобою, в России будет уже апрель; будут уж и такие ясные, теплые дни, когда воздух в вагоне не сыр, не душен, когда провести два дня в вагоне нимало не вредно для здоровья. Как только наступит первый такой день по получении моего письма, отправляйся в Южную Италию.

И оставайся в теплом климате до совершенного поправления твоего здоровья.

В Россию можешь приезжать на два, на три летние месяца. Только на летние, с июня до августа.

Умоляю тебя, моя радость, исполни эту мою просьбу.

Я совершенно здоров. Живу хорошо.

Целую детей.

Целую твои ноги, моя милая Лялочка. Твой *Н. Ч.*

599

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

10 февраля 1877. Вилюйск.

Милый друг Саша.

Я пишу твоей маменьке:

«Состояние твоего здоровья очень тревожит меня. Умоляю тебя, исполни мою просьбу:

«Как только позволит тебе твое здоровье, отправляйся в Южную Италию. Когда это письмо будет получено тобою, в России будет уже апрель; будут бывать ясные, теплые дни. Как только наступит первый такой день по получении моего письма, отправляйся в Южную Италию. И оставайся в теплом климате до совершенного поправления твоего здоровья. В Россию можешь приезжать на летние месяцы; только на летние».

Прошу тебя, милый друг, позаботься, чтобы твоей маменьке можно было сделать так. Это необходимо для ее здоровья.

Целую тебя; жму твою руку. Твой *Н. Чернышевский.*

P. S. Я полагаю, тебе можно ехать вместе с твоею маменькою. Кандидатская диссертация и всякие школьные занятия — это глупости, которыми полезно заниматься, если никакие родственные обязанности не мешают тому, но это не больше, как глупости, которые надобно бросать, когда того требует обязанность. То же скажи и брату, если его сотоварищество в поездке нужно для матери.

600

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вилюйск. 21 февраля 1877.

Милый мой дружок Оленька.

Состояние твоего здоровья очень тревожит меня. Ни о чем, кроме этого, не могу думать. — Повторю мою просьбу к тебе:

Поезжай в Южную Италию. Живи там до совершенного восстановления твоего здоровья.

Умоляю тебя.

Больше не в состоянии я ни о чем думать.

И пишу это кратко, чтобы тем сильнее было это впечатление на тебя, моя радость: умоляю тебя, исполни мою просьбу.

Сам я совершенно здоров и живу очень хорошо.

Целую детей.

Целую твои ножки.

Тысячи и тысячи раз целую тебя, моя радость, Лялочка.

Поезжай в Южную Италию. Твой Н. Ч.

601

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

21 февраля 1877. Вилюйск.

Милый мой Саша.

Я снова пишу твоей маменьке, что она должна ехать в Южную Италию и жить там до совершенного восстановления своего здоровья. — Это необходимо. Без того всякое лечение бессильно. Главное дело для здоровья твоей маменьки — теплый климат, чистый, сухой воздух, которого не бывает в комнатах, закупоренных от стужи, и солнце.

Прошу об устранении препятствий этой поездки твоей маменьки. Они, главное, денежные, я полагаю. Но это вовсе не требует больших денег.

Прошу тебя ехать с твоей маменькою.

Прошу и Мишу ехать с нею, если это поможет ей легче решиться ехать.

Всякие школьные занятия — глупость, которую надобно бросать, когда требует того родственная обязанность.

Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Виллюйск. 8 марта 1877.

Милый мой дружок Оленька.

Я получил твои письма от 6 и 28 декабря и от 1 января. Благодарю тебя за них, моя радость. Благодарю тебя и за то, что ты заставляешь детей делать приписки к твоим письмам, а детей за то, что они делают их.

Я совершенно здоров. Живу хорошо. Прошу тебя и детей: не присылайте мне ни денег, никаких вещей. У меня всего этого много. Я живу, действительно, в изобилии, даже в роскоши, вовсе не нужной мне по моим простым привычкам. — И что касается собственно до меня, то — постоянное расположение моего духа самое хорошее. Было бы мало сказать: «довольство всем окружающим меня»; надобно сказать: «расположение духа приятное, веселое». — Но это лишь о том, что относится собственно к моим чувствам от моей собственной жизни. Совсем иное дело мои мысли о тебе, моя милая голубочка. И, конечно, они оставляют мне очень мало впечатлительности к тому, что относится к моей собственной жизни. Так что я не могу сказать, что я спокоен. Тревожит, тревожит меня состояние твоего здоровья, мой милый друг. Дошло до того, что я начал обращаться к Саше, чтобы он помогал мне убедить тебя решиться на единственное средство серьезного лечения. Это средство — не собственно медицинские пособия. Они, сами по себе, слишком слабы против расстройства твоего здоровья. Необходима тебе перемена климата. Необходимо тебе переселиться в такой климат, где нет зимою снега, нет холодного тумана весной и осенью. Умоляю тебя, переселись жить в Южную Италию.

Ты любишь родину. Решиться покинуть ее на год, на два — это тяжело тебе. Но как быть, — это необходимо, друг мой.

Возьми с собою детей. Тебе будет легче разлука с родиной, когда дети будут подле тебя. Не смущайся мыслью, что ты отвлечешь этим детей от их занятий. Школьные занятия — пустяки. Если люди действительно выучиваются чему-нибудь, то выучиваются они этому из книг, из домашних разговоров, из простых неученых разговоров с знакомыми, из опыта жизни. Школьное преподавание — глупое педанство, которое больше притупляет учащихся, чем приносит им пользы. Поэтому ты не должна колебаться взять с собою детей. Поездка с тобою будет для их развития несравненно более хорошим учением, нежели школьные занятия.

Умоляю тебя, мой милый друг, исполни мою просьбу: переселись в Южную Италию и оставайся там до совершенного восстановления твоего здоровья.

Сделай так, — и я буду счастлив, потому что твое здоровье восстановится.

Пишу лишь несколько слов и в этот раз, как прежде, для того, чтобы скорее доходила до тебя моя неотступная просьба.

Милая моя Лялочка, умоляю тебя: исполни ее.

Целую твои ножки. Твой Н. Ч.

Целую тебя, моя милая Лялочка, тысячи и тысячи раз, и опять и опять целую твои ножки, умоляя тебя исполнить мою просьбу. Твой Н. Ч.

603

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Вилуйск. 8 марта 1877.

Милый друг Саша.

Повторю то, что говорил тебе в прежних письмах:

Здоровье твоей маменьки требует средств исцеления более действительных, чем те, которыми до сих пор ограничивалось дело.

Я не медик и не имею претензии судить о тех подробностях болезненного состояния и лечения, которые составляют предмет медицины, как особенной отрасли знания.

Но эта отрасль знания имеет своими основаниями, — как и всякая другая частная отрасль знания, — такие истины, которые принадлежат не в частности ей, а науке вообще.

В чем, собственно, состоит расстройство здоровья твоей маменьки, судить об этом — дело медиков. Но все долговременные расстройства здоровья имеют основную свою причину климат и свойственный климату нездоровый образ жизни; в частности: холод, сырость, затхлость комнатного воздуха (комнатный воздух всегда затхлый, если стены комнаты не просто подпорки для потолка, с огромными окнами, раскрытыми; если дом не просто прикрыт от дождя и ветра, а сплошная постройка; если он немецкий, английский или русский дом, а не такой сквозной, как в Египте, Индии, Бразилии).

Вообще люди выносят затхлый, сырой воздух замкнутых от стужи комнат без особенного вреда. Но если здоровье расстроено до такой степени, что этот воздух уж действует на него, то первое условие исцеления — это: устранение причины, подавляющей здоровье, то есть — переселение в страну, где нет стужи и сырости.

Без того леченье не может назваться серьезным, разумным, научным лечением. Пока не устранена причина болезни, болезнь не может быть исцелена.

Итак, твоей маменьке надобно переселиться в такой климат, где нет стужи и сырости, где комнаты — не теплицы с искус-

ственно подогретым воздухом, который по необходимости уподобляется своею чистотою воде, застоявшейся в луже, и по неотвратимому физическому закону всегда сырой (ты знаешь из физики: при смешении двух масс воздуха разной температуры получается воздух средней температуры; а воздух средней температуры не может содержать такое количество пара в газообразном виде, какое содержалось до смешения в массе воздуха высшей температуры, и излишек пара переходит из газообразного состояния в капельно-жидкое, то есть в то, что называется сыростью воздуха. Ты знаешь, что происходит кругом кипящего самовара, — туман. Печь комнаты — это та же самоварная труба. Жидкость, готовая к испарению, всегда есть в жилом доме. И если бы ее и не было в виде обыкновенной воды в графинах и всяческой посуде, то дало бы ее наше собственное тело в форме испарины. Приток более холодного воздуха всегда есть, если внешний воздух менее тепл, чем в комнате. И поэтому всегда происходит смешение воздуха температуры, производимой печью, с воздухом более холодным, и неизбежный результат этого — сырость).

Объясняй это медикам твоей маменьки, если они упускают это из виду. И убеди в этом ее саму, если она этого не знает.

И настаивай на выводе из этого, на необходимости для твоей маменьки переехать жить в климат, где нет стужи и сырости, и жить там до тех пор, пока здоровье ее восстановится настолько, что будет безвредно переносить климат, имеющий девять месяцев стужи, надобности затворять окна и двери, то есть девять месяцев сырости в комнатах (это повсюду в Северной Европе).

В России нет климата, какой нужен для поправления здоровья твоей маменьки. Нет его не только в России, но и в Германии, и во Франции. Самая ближняя к России страна такого климата — это Южная Италия. Твоя маменька должна жить там, если не решится ехать дальше, где климат еще лучше, — в Южную Португалию или на острова Атлантического океана.

В Португалии, я полагаю, господствует и до сих пор неряшество. В Южной Италии оно тоже во вкусе полудикого тамошнего населения. Но, я полагаю, подле городов Южной Италии уже есть дачи, содержимые опрятно. Конечно, я говорю об опрятности не самого только дома, но и его ближайших окрестностей. Нужна опрятность на версту, на две версты кругом жилища. В Южной Португалии этого, быть может, еще нельзя найти. Но в Южной Италии такие опрятные лоскутки земли уж существуют, я полагаю.

Конечно, я думаю, одного только климата было бы недостаточно для излечения твоей маменьки. Нужно продолжать, я полагаю, и употребление собственно медицинских лечебных средств. — В прежнее время итальянские медики были очень плохи. Вероятно, они и теперь остаются хуже русских. Но, живучи в Южной Италии, можно продолжать лечиться по руковод-

ству русских врачей: тут нужны не ежедневные визиты медика, не прописывание рецептов каждый день; это не острая, а хроническая болезнь; тут один и тот же совет, одно и то же лекарство на целые месяцы, на целые годы, на все время леченья.

Твоя маменька имеет сильную привязанность к России. Жить не в России — эта мысль всегда была нестерпима ей. Но когда здоровье того требует, то как быть! Надобно на время расстаться с милой родиной, чтобы возвратиться на нее с хорошим здоровьем.

Если поедешь вместе с твоею маменькой ты, ей будет легче жить на чужбине. Если поедет и Миша, тем еще лучше.

Я просил бы тебя бросить все твои школьные занятия, чтобы провожать маменьку твою. Я полагаю, можно сделать это и Мише: глупости, которые называются учением, не стоят того, чтобы отвлекаться ими от семейных обязанностей. Наука не в школах. В школах — чопорное тупоумие невежд. Наука — в книгах и в личном самостоятельном труде над приобретением знаний из книг и из жизни, а не из школ, где никогда со времени изобретения книгопечатания не оставалось из науки ничего, кроме плесени, в которую переродилась наука, залежавшаяся в них со времен Абеяра. Во времена Абеяра школы были нужны, потому что не было книг. Тогда в школах было среди глупостей и кое-что умное. Но вот уж четыреста лет школы — это средневековое уродство, продолжающее существовать так же, как уцелели в Англии средневековые костюмы на школьниках или как слова «два, две» представляют собою остаток существовавшего когда-то в русском языке двойственного числа, как уцелели всяческие другие курьезы во всяких странах. — Я не враг старины. Но когда пустая старинная форма — школа — мешает семейным обязанностям, то не велик убыток бросить ее. Жму твою руку. *Н. Ч.*

Целую тебя и Мишу и жму ваши руки, милые мои друзья. Твой *Н. Ч.*

604

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

6 апреля 1877. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька.

Я получил письма твои и Сашины от 14 и от 20 января и письмо Миши с его карточкою от 24 января. Благодарю тебя, моя радость, за то, что ты пишешь сама и заставляешь писать детей. — Им я буду отвечать на особом листке. О себе довольно будет мне написать обыкновенное мое известие тебе: я совершенно здоров, живу хорошо; денег у меня много; всяких, нужных для комфорта вещей, тоже. — И буду говорить о том, в чем единственный важный интерес моей жизни, о тебе, моя голубочка.

Порадовала ты меня тем, что здоровье твое несколько улучшилось. Но эта степень его поправления, сама по себе, ничтожна. Значительность она может иметь лишь в том смысле, что дает тебе возможность действительное прежнего позаботиться о хорошем, прочном восстановлении твоих сил. Пока тебе нельзя было выходить из комнаты, конечно, не могла ты отправиться в Южную Италию. Теперь ты в силах ехать туда. И должна. Это необходимо для твоего излечения.

Достаточно ли ясна эта необходимость твоя для твоего медика? — В его учености я не сомневаюсь. Но медицина находится в таком состоянии, что огромное большинство ученых медиков или остаются незнающими самых основных истин своей науки, или, по увлечению различными узкими теориями — кому из них случится какую из этих теорий увлечься, забывают применять к делу эти широкие истины.

Из этих основных истин совершенно преобладающую над всем остальным важность для излечения болезней, подобных твоей, имеет та, о которой вот уж столько времени говорю я в каждом письме к тебе: «необходим чистый и сухой воздух». — Комнатный воздух не может быть чистым никогда, если температура наружного много холоднее комнатной; никогда, какие бы выдумки ни употреблялись для его очищения. Это известно теперь всем химикам, и должно бы было быть известно хорошим медикам. И, без сомнения, твоему. Но почти никто из них еще не понимает эту простую истину во всей ее ширине. Почти все еще воображают, что это дело маловажное, если устроена в комнате «хорошая вентиляция». Никакая вентиляция не может быть «хороша», пока она не низводит комнатную температуру почти до уровня температуры под открытым небом. Вода в заливе не может быть чистою, если проток не так силен, что вода в заливе не более тепла, чем в реке. Если залив более тепл, чем река, его не стоит, по правде, и называть заливом: он просто лужа. Вода в луже может быть превосходнейшая — мерзость во всяком случае, — превосходнейшая во всех отношениях, кроме двух: пить ее не годится и купаться в ней вредно. — Во все то время, пока бывает надобность топить печи и хоть бы только на ночь закрывать окна, воздух наших комнат — вода луж.

Пока здоровье не расстроено, люди без особенно заметного вреда пьют стоячую воду (все поселяне, живущие при озерах, прудах). Но в случае болезни одного из таких людей первое условие серьезного лечения — давать ему пить только действительно чистую воду, а не (превосходную, впрочем) воду из его лужи. Воды человеку нужно так мало, что мы можем очистить достаточное для него количество ее. И он может лечиться, оставаясь на прежнем месте. Воздух нужен человеку в таком количестве, что пользоваться им чистым воздухом можно только там, где он чист, — на хороших местах под открытым небом и в комнатах на

этих местах с большими окнами и дверями, постоянно открытыми на всех сторонах жилища, кроме той, откуда дует ветер. Летом это возможно и в России, как в Германии. Осенью, зимою, большую часть весны невозможно нигде на север от Альп. И людям, которым нужен чистый воздух, надобно проводить эти времена года на юге от Альп.

Это научная истина. Безусловная; не допускающая никаких ограничений.

Но масса больных северных французов, больных немцев и русских, для серьезного лечения которых наука требует чистого воздуха, — они бедняки, не имеющие возможности переселяться на большую часть года в чужую, далекую страну. И из-за этой невозможности удовлетворить требованию науки относительно массы северно-французских, немецких, русских пациентов самое требование науки сглаживается в умах ученых медиков. А обыкновенные медики вовсе и не слыхивали, что такое понимается в науке под словами «чистый воздух». В учебниках этого нет, потому что «это невозможная вещь, говорить о которой напрасный труд».

Твой медик, без сомнения, знает, что такое «чистый воздух». Это лишь воздух под открытым небом. А в комнатах? — Да, и в комнатах, когда комнаты — лишь хорошо построенные шалаши от дождя и бури, а не сундуки для искусственного повышения температуры. — Твой медик, без сомнения, знает это. Но не отвык ли он, как отвыкают почти все, самые учнейшие медики, помнить об этом? — По крайней мере я не вижу из твоих писем, чтобы он помнил это. Я надеюсь, твой медик поймет, о чем я говорю. Мне не хуже кого другого известно, что во многих болезнях все медики советуют больным отправляться в теплый климат. Но лишь «во многих болезнях». Я говорю не о том. Я говорю: почти во всех хронических болезнях, — почти во всех, — первое условие разумного лечения — переселение в теплый климат. То, что у них хоть и частые, но исключительные случаи, я называю общим правилом лечения хронических болезней. Это два совершенно различные способа понимать вещи. Разница такая же, как между мыслью: «некоторым больным нужна здоровая, свежая пища» и мыслью: «всем больным нужна такая пища».

И если он, действительно, не помнит этого, вина забвения — не его личная вина. Это всеобщая вина медиков. И порицать за нее можно разве двух-трех величайших, авторитетнейших медиков целой Европы, руководящих мыслями остальных великих ученых. Например, я порицал бы за то Фирхова (главного руководителя медицинского мышления в Германии, потому и в России), если бы я знал, что он недостаточно налегает на разъяснение своим читателям-медикам той основной истины, о которой я говорю. Но я не знаю, виноват ли в этом Фирхов. Надеюсь,

нет. Надеюсь, он твердит об этом до изнеможения сил. И не его вина, если эта истина остается еще не тверда в памяти немецких (и русских) медиков. А кроме Фирхова, я не знаю в целой Германии ни одного медика, у которого было бы столько учености и гениальности, чтобы можно было требовать от него твердости в мысли, которую я изложил. — Например, Петтенкоффер, — хоть и великое светило науки, далеко не такое солнце, чтобы возлагать на него ответственность за тусклость лучей, которыми усердствует он разъяснять вопрос о «чистом воздухе». — Бедняга искренно воображает, что «при хорошей вентиляции» воздух в мюнхенских домах зимою может быть совершенно чист. Летом, да. Зимою это физическая невозможность в климате Баварии.

Или я напрасно грешу против Петтенкоффера? — Книг для справок о таких мелких подробностях у меня нет под руками. Может быть, память обманывает меня, и Петтенкофферу известно, что такое «чистый воздух». Но я хотел сказать вот что: за непонимание этого я не осудил бы даже Петтенкоффера. То есть: тем меньше могу осудить твоего медика, если ему не ясно это.

А если ясно, то прошу у него извинения за то, что провинился перед ним напрасным сомнением в правильности его понятий об условиях серьезного пользования тех болезней, к числу которых принадлежит твоя.

Все время ушло на письмо к тебе. Детям напишу в другой раз. Теперь пока благодарю Мишу за его карточку. Да, он уж взрослый юноша. — И тоже пока лишь коротко выражу Саше мое удовольствие, что он подал, наконец, свою кандидатскую диссертацию. Жму руки ему и Мише и целую их.

Целую твои ножки, моя милая Лялочка, и тысячи раз обнимаю тебя.

И повторю еще и еще: ты должна каждый год, весь год, кроме летних месяцев, проводить в теплом климате и будешь здорова, и я буду счастлив.

Целую тебя, моя милая радость. Твой *Н. Ч.*

605

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

11 апреля 1877. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Дня три тому назад я отправил к тебе письмо с обыкновенным моим уведомлением о себе, что я здоров и живу хорошо, и с постоянным моим упранием, чтобы ты отправилась, для восстановления твоего здоровья, в теплый климат, который необходим для этого. Теперь представляется новый случай отправки почты, и я пользуюсь им, чтобы повторить о себе то же самое:

«я совершенно здоров, и живу очень хорошо»; — чтобы продолжать мое упрашивание к тебе и чтобы отвечать, как обещал, детям на их письма. Для детей будут особые листки. На этом продолжаю мои рассуждения о твоём здоровье.

Есть болезни, происходящие от каких-нибудь особенных случайностей; например, от ушибов, ран; есть болезни, происходящие от пороков, например, от пьянства. В этих разрядах болезней климат не виноват или хоть не виноват прямо. Но и их исцелению холодный климат — помеха. А во всех остальных болезнях прямо виноват холодный климат. Человек — существо экваториального пояса. Он существо менее переносливое к холоду, чем лев, апельсин, манго. Менее переносливое к нему, чем самые нежные из экваториальных растений. Но благодаря своему уму человек нашел способы искусственно поддерживать свое существование в климатах, которые натуральным образом невыносимы для него. Это нечто совершенно сходное с тем, как человек сумел устроить в климате Лондона, Берлина, Петербурга такую обстановку, в которой могут жить, — и поверхностному взгляду кажется: очень хорошо живут львы, пальмы, даже Раффлезия и ваниль, и Виктория Регия. Но искусство человека еще не может в самом деле создавать обстановку жизни, которая была бы так же хороша, как натуральная. Львы в Европе чахнут. Ваниль в Европе хила. Виктория Регия в Европе в несколько лет утрачивает силу цвести. Пальмы не дают плодов, и концы листьев у них вянут, желтеют, ломаются, и эта погибель все подвигается по листу выше и выше.

А содержатель зверинца, главный садовник пальмовой теплицы в восхищении от искусства, с которым создали они удобную жизнь для своих львов, для своих пальм. Гордость этих людей основательна, справедлива тою своею стороною, что они потратили на свое дело много ума, энергии, труда, заботливости, любви. Но результаты, которых они достигли, все-таки очень еще плохи.

То же и о заботе человека о хорошем устройстве своей жизни в климатах, натуральным образом не дающих возможности жить людям. Наши жатвы пшеницы делают великую честь нашему трудолюбию и земледельческому искусству. Но эти жатвы скудны, ничтожны: под экватором банан и хлебное дерево, почти не требуя труда от человека, дают ему с одной десятины столько пищи, сколько дают, при хорошем урожае, двадцать пять десятин пшеницы. (Это рассчитал старик Гумбольдт.) А если бы за пшеницею под экватором ухаживать, как ухаживаем мы, это вышла бы уж не наша пшеница, это были бы стебли в 2 сажени вышиною, в руку толщиною, с зернами по ореху величиною, — и, конечно, вкусом и питательностью гораздо лучше нашей пшеницы.

То же самое и обо всех сторонах человеческих надобностей. И о надобности человека быть здоровым.

Я говорил в прошлый раз о воздухе жилищ. Я говорил только о степени его чистоты от миазмов. Он всегда переполнен ими, когда холод требует топления печей. Другая сторона вопроса о воздухе жилищ — степень его сухости. Сырой воздух — яд всем тем существам, организмы которых устроились для жизни на суше, а не в воде или болоте. Воздух комнат, в которых температура поднята искусственным образом, всегда сыроват. Если бы оказалось, что твой доктор не знает этого, пусть справится в трактатах о физике.

Есть еще элемент, необходимый при нашем климате, и тоже вредный. Это наша манера одеваться. Нагим человеку быть, и вообще говоря, неудобно: его кожа слишком нежна; она слишком легко подвергается царапинам от прикосновения к земле, растениям, тем более к предметам из сухого дерева, или камня (глины), или металла. Это уж дело самой природы. А кроме того, пошлость обычаев развивает в огромном большинстве людей чрезмерную склонность к сладострастным мыслям. И поэтому одежда необходима для скромности, для качества, охраняющего и душевное и физическое здоровье. Но в нашем климате одежда, кроме этих двух польз, должна доставлять третью: защищать от холода. Насколько она отправляет эту третью службу, настолько она служит материалом, в котором накапливается сырость, накапливаются миазмы всякого рода. Здоровая одежда — лишь та, какую носили в старину греки и римляне: широкие рубашки без пояса и из легкой шерстяной ткани, — ткани, с фабричной точки зрения, имевшей очень плохое достоинство: она была соткана очень жидко, и, растянутая против света, конечно, сквозила повсюду, как нечто вроде грубого шерстяного газа. Зато она не сырела и не задерживала испарения. А посверх этой рубашки у них были — да и то лишь для парада, для выхода в гости — широкие плащи такой же сквозной шерстяной ткани. Только и всего было у них одежды. Лишь такая одежда не вредна.

Знает ли твой медик, что главный источник всех так называемых «простудных болезней» одежда? Знает ли он, что страдания от этих — ревматических и тому подобных — болезней успокаиваются, когда снимается одежда с большой части тела? (Конечно, в достаточно теплой комнате.)

Все это азбучные истины. Но в медицину еще слишком мало проник здравый смысл со своими азбучными истинами. И пусть твой медик не обижается тем, что я предполагаю возможным с его стороны забвение об истинах, неизвестных или незапамятных огромному большинству первоклассных медиков..

А если твой медик составляет редкое исключение из правила, знает все те основные истины гигиены и терапии, которые для большинства медицинских светил непостижимые тайны, — если, говорю я, так, то тем лучше. Но если так, то, без сомнения, он настаивает на том, что тебе для восстановления здоровья надобно

жить в климате, где не бывает ни снега, ни холодного дождя, ни тумана.

Продолжать ли? — Сколько бы ни продолжал я, было бы все то же: умоляю тебя, мой милый друг, переселяйся жить в Южную Италию и оставайся там до совершенного восстановления твоего здоровья.

Принимаюсь писать к детям.

Написал им довольно длинную историю обо всяческих учениях. Но обоим вместе. И успел прибавить несколько ученых размышлений в частности для Саши.

А для Миши прибавлю несколько слов на этом листе.

Хвалю его за его успехи на поприще драматического искусства. Правду сказать, это гораздо умнее и полезнее, чем все, входящее в состав гимназического курса. Чрезмерно плох нынешний метод гимназического ученья. Мучат бедных юношей этою ни к чему непригодною латинью, и, по всей вероятности, все другие предметы преподают в таком виде, что каждый выходит такою же бесполезною чепухою, как латинь.

Ну, как быть, — пусть вытерпливает Миша эту скуку. Недалеко уж ему до окончания курса.

Благодарю его за присылку портрета.

Целую его и Сашу.

Целую твои ножки, моя милая радость, и тысячи и тысячи раз обнимаю тебя. Будь здоровенькая, и я буду счастлив. Твой *Н. Ч.*

Письмо к детям кладу в другой конверт, потому что вместе с этим было бы больше лота; а конверты у меня все однолотные.

Целую и целую тебя, моя милая Лялечка. Будь же здоровенькая, и все будет прекрасно. Твой *Н. Ч.*

606

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

11 апреля 1877. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша.

Напишу сначала Вам обоим вместе; а после каждому порознь, если останется на это у меня время, — в чем сомневаюсь.

Я писал Вам ученые рассуждения. Писал их слишком коротко и не взвешивая выражений, и не имея книг для справок. Натурально, что во многих вещах я делал ошибки, по незнанию, по недосмотру, от торопливости и по моему природному неумению писать хорошо. Вам известно, я надеюсь, что собственно как писатель, стилист, — я писатель до крайности плохой. Из сотни плохих писателей разве один так плох, как я. Достоинство моей литературной жизни — совсем иное; оно в том, что я сильный мыслитель.

Об учености моей надобно Вам судить тоже с большою свободою и с некоторою дозою сожаления. Я самоучка, — во всем, кроме латинского языка, которому хорошо учил меня отец, бывший очень хорошим латинистом. И в старину я писал по-латине, как едва ли кто другой в России: нельзя было различить, какие отрывки написаны мною самим, какие отрывки переписаны мною из Цицерона, когда я, для шутки над педантами, писал латинскую статью, перемеш[ив]ая свое собственное с выписками из Цицерона. Когда я был в первом курсе университета, я дельвал это. Теперь я забыл и латинь. Тридцать уж лет она брошена мною. В тридцать лет люди забывают и свой родной язык. — Это мимоходом. Я хотел сказать: только латинскому языку я учился, как учатся юноши или дети: со вниманием ко всем подробностям данной отрасли знания, без разбора, какие из этих подробностей серьезны, какие — пусты. Всему остальному я учился, как человек взрослый, с самостоятельным умом: разбирая, какие факты заслуживают внимания, какие — не достойны его. Поэтому во всякой отрасли знаний, которой я занимался, я не хотел втискивать себе в голову многих фактов, которыми шеголяют специалисты: это факты пустые, бессмысленные. Например: сколько наклонений в спряжении французского глагола? — Я и теперь не знаю и никогда не знал. Или: как различать разные сорта ударений над разными гласными во французской орфографии? — Не знаю. Почему? — Теория спряжения у французских лингвистов глупа, французская орфография — не лучше нашей, хаос педантических бессмыслиц и грубых ошибок. Если б я тратил время на внимание к этому и тому подобному вздору, мне некогда было бы приобретать серьезно нужные знания. И, продолжая пример: если б я тратил время на глупости французской грамматики, я не имел бы досуга вникать в смысл французских научных выражений. Терминология французского языка по тем отраслям знания, которые меня интересовали, известна мне, как хорошим французским специалистам этой отрасли знания. И, например, историческую книгу на французском языке я понимаю яснее, чем может понимать ее кто-нибудь из французов, кроме специалистов по истории. Но я не могу написать ни одной строки по-французски. Тем меньше я способен произнести хоть какую-нибудь французскую фразу так, чтобы француз понял ее, а не вообразил, что мною сказано что-то на каком-то неизвестном ему языке, — быть может, на португальском или на «ладинском» (аппенцельском). Я не имею понятия о французском выговоре. И, когда пробовали говорить со мною французы, я старался (вообще безуспешно) понять смысл их слов, но на оттенки выговора, составляющие особенность французского произношения, я всегда забывал обращать внимание. Однажды какой-то добряк-француз вразумлял меня о разнице интонаций *é* и *è*. Я из любезности смотрел в глаза ему, будто слушаю, но думал о других

вещах, и разница е от ё осталась попрежнему неизвестна мне. — Жалеть ли о том? — Гоняться за всеми зайцами, не поймать ни одного. Но, конечно, было бы лучше, если б они все были пойманы.

Это неважно, потому что это лишь обо мне. Но это необходимое предисловие к тому, что будет относиться в Вам, мои друзья.

От моего собственного пренебрежения к пустякам происходит во мне постоянное расположение думать, что они не памятливы и лицам, с которыми я говорю. Например, я спрашиваю кого-нибудь: «хорошо вы знаете французский язык?» — и слышу в ответ: «у меня (то есть у отвечающего) дурной французский выговор». — Об этом я не имел в виду спрашивать, и этот ответ будет не на мой вопрос. Значит: делая вопрос, я не сумел выразиться, как следовало. Следовало спросить: «читать книгу о предмете, известном вам, так же ли легко для вас и на французском языке, как на вашем родном?» — Спроси я так, недоразумения не было бы.

Теперь о моих ученых рассуждениях с Вами.

В них, действительно, множество ошибок от моего незнания, от моей торопливости писать. Но, кроме того, в них множество выражений неудачных, подающих повод Вам к напрасным сомнениям, правильны ли, по-моему, те понятия, какие имеете Вы сами об этом предмете.

Беру для примера мои заметки об иезуитах. Вам показалось, будто я считаю иезуитов бескорыстными слугами так называемой папской власти, то есть, собственно говоря, власти всей совокупности кардинальских конгрегаций с их секретарями и всею свитою (папа лишь парадная кукла этой серьезной корпоративной силы). — Вы полагали, что иезуиты служат папе не бескорыстно и себя самих любят усерднее, чем папу. И вам показалось, будто я считаю это ваше мнение ошибочным. Нет, оно — вполне справедливо и на мой взгляд. — Отчего же возникло ваше недоразумение? — Я забыл изложить общие мои понятия о качествах человеческой природы, о степени ее способности к бескорыстной любви.

Есть много людей, способных бескорыстно любить или другого человека, или какую-нибудь «идею», — например, науку, или искусство, или что-нибудь такое. Но хоть этих людей и много, все-таки они отдельные, исключительные явления и никогда, никак не могли составить из себя никакой корпорации. Как начинается подборение членов корпорации, — какова бы ни была разборчивость подбирающих, масса членов корпорации оказывается состоящею из дюжинных людей, для которых высшие интересы — своекорыстные интересы. Это происходит от двух главных причин. Выбирающее лицо — человек; то есть существо, легко ошибающееся. А предмет выбора — масса людей. Дистил-

лилуй, как хочешь, но чистого спирта из водки не получишь. А дистиллировать людей, как водку, нельзя. Берите какое хотите ученое общество; масса его — люди, для которых наука — пустяки. Берите какое хотите благотворительное общество. Масса его — люди, очень равнодушные к пользе людей.

Это слишком коротко. И, кроме того, высказано в слишком плохих выражениях, по моей неспособности писать хорошо. Но если Вы хотите иметь понятие о том, что такое, по моему мнению, человеческая природа, узнавайте это из единственного мыслителя нашего столетия, у которого были совершенно верные, по-моему, понятия о вещах. Это — Людвиг Фейербах. Вот уж пятнадцать лет я не перечитывал его. И раньше того много лет уж не имел досуга много читать его. И теперь, конечно, забыл почти все, что знал из него. Но в молодости я знал целые страницы из него наизусть. И сколько могу судить, по моим потускневшим воспоминаниям о нем, остаюсь верным последователем его.

Он устарел? — Он устареет, когда явится другой мыслитель такой силы. Когда он явился, то устарел Спиноза. Но прошло более полутора лет, прежде чем явился достойный преемник Спинозе.

Не говоря о нынешней знаменитой мелюзге, вроде Дарвина, Милля, Герберта Спенсера и т. д. — тем менее говоря о глупцах, подобных Огюсту Конту, — ни Локк, ни Гьюм, ни Кант, ни Гольбах, ни Фихте, ни Гегель не имели такой силы мысли, как Спиноза. И до появления Фейербаха надобно было учиться понимать вещи у Спинозы, — устарелого ли, или нет, например в начале нынешнего века, но все равно: единственного надежного учителя. — Таково теперь положение Фейербаха: хорош ли он, или плох, это как угодно; но он безо всякого сравнения лучше всех.

Специальным образом он успел разработать лишь одну часть своего мирозерцания; ту часть философии, которая относится к религии. Обо всем остальном у него попадают лишь делаемые мимоходом, краткие заметки. — К тому частному вопросу, о котором говорю я, — к вопросу о мотивах человеческой деятельности, относится у Фейербаха одно из примечаний к его «лекциям о религии», «Vorlesungen über das Wesen der Religion». Эти заметки собраны в одну группу после текста лекций.

Моя ошибка в моей маленькой трактации о иезуитах состояла в том, что я забыл упомянуть: никакая корпорация никогда не служила бескорыстно никакому делу; всякая корпорация всегда ставила выше всяких своих практических стремлений на чужую пользу и выше всяких своих теоретических убеждений собственные интересы.

Об Афинском Ареопаге наши сведения слишком отрывочны. После него самую благородную, самую умную, самую преданную

общему благу из всех известных нам корпораций был Римский Сенат, — от начала достоверной истории Рима, — предположим, от времен войны с Пирром Эпирским до начала гнусностей, погубивших Рим, — положим, до времен разрушения Карфагена и Коринфа. Переберите же историю Рима за эти наилучшие его годы, — положим, за..... период только в 150 лет из всех веков жизни Рима. Вы увидите, что и в самый благородный период самая благородная из всех хорошо известных нам корпораций усердно служила отечеству лишь в тех делах, в которых интересы отечества были (или в подобных вещах все равно: казались ей) совпадающими с ее собственными интересами.

Что из того следует? Мрачный ли взгляд на вещи, как у большинства последователей Дарвина, или, еще хуже, у этого новомодного осла, Гартмана, пережевывающего жвачку, изблеванную Шеллингом и побывавшую после того во рту Шопенгауэра, от которого Гартман и воспринял ее? — Хандра — это не наука. Глупость — это не наука. — Из того, что у массы людей слабы все интересы, кроме узких своекорыстных, следует только то, что человек существо довольно слабое. Новости в этом мало. И унывать от этого нам уж поздно. Следовало бы, по Гартману и по ученикам Дарвина, прийти в отчаяние тем нашим предкам, которые признали себя, первые, людьми, а не обезьянами. Им следовало бы отчаяться, побежать к морю и утопиться. Но и они не были уж так глупы, чтобы сделать такую пошлость. Они, — хоть наполовину еще оранг-утанги, все-таки уж рассудили: «мы плоховаты, правда; но все-таки, не все же в нас дурно. Поживем, будем соображать, будем понемножку становиться лучшими и лучше уметь жить». Так оно, вообще говоря, и сбылось: много падений испытало развитие добрых и разумных элементов человеческой природы. Но все-таки мы лучше тех обезьян. Будем жить, трудиться, мыслить — и будем понемножку делаться сами лучше, и лучше устраивать нашу жизнь.

«Но земля упадет на солнце», — по всем расчетам, да. В этом, собственно, и огорчение Гартману с компанией. И это огорчение не новость. Вы помните:

Молоденькая бабенка с мужем сидели у печки. На печке сушились дрова. Упало полено. Бабенка заплакалась. Муж: «Что ты, Маша» или «Дуня»? — Маша или Дуня, — предшественница новомодных философов, отвечает мужу: «у нас с тобой, Ваня, будут дети; а у наших детей тоже будут дети; эти будут мне уж внучатки, а я им бабушка. И будет сидеть мой внучек подле печи и упадет, — вот этак же, полено с печи, и ушибет моего внучка».

Я для простоты приложения переделал, Вы замечаете, эту побасенку. В подлинном виде она говорит: «сидели бездетные старуха со стариком». — И, подлинные слова предшественницы

Гартмана с компаниею: «Как бы у нас с тобою были детки, а у наших деток тоже детки, и как бы мой внучонок сидел на том месте, полено ушибло бы его».

Это, пожалуй, и гораздо лучше, нежели моя переделка. Только ответ на это менее прост. Вот он.

«Земля упадет на солнце». — Или: «Ангидриты поглотят воду», или: «Солнце остынет, и земля замерзнет». — Да, по нашим расчетам. Но верны ли наши расчеты? Например: прежде, чем ангидриты успеют всосать океан, не сумеют ли люди принять меры против этого? — В чем должны состоять эти меры, понятно уж и нам: дно океана должно быть обложено непроницаемым для воды слоем, — чем-нибудь вроде глины, или стекла, или цинка. Нам еще не время заниматься такими трудами. Но когда они понадобятся, то почему мы знаем, что люди или существа, которые будут тогдашними потомками людей, будут не в силах исполнять труды такого размера.

«Солнце погаснет»; — а почему мы знаем, что оно действительно погаснет? «Элементы, поддерживающие его теплоту, не уравновешивают ее потери». — Да. Но всегда ли так будет? Пожалуй, не может ли выйти наоборот: солнце разгорится так, что снова на Шпицбергене будут расти буковые леса. Такой ответ — нелепая фантазия. Да. Но чем же, кроме глупости, отвечать на такие глупости, как уныние от будущего охлаждения солнца?

Я заговорился о характере своих отношений к новомодным пережевываниям изблеванных прежними сумасбродами, вроде Шеллинга, жвачек. — Но гораздо лучше, нежели от меня самого, Вы можете узнать общий характер моего мировоззрения от Фейербаха. — Это взгляд спокойный и светлый.

И никакие пошлости вроде гадкой деятельности иезуитского ордена не смущают моих мыслей. Все это лишь очень мелкие дурные результаты великой силы зла, перед которой ничтожны они; а эта сила зла — невежество людей и сумма происходящих от неумения жить обыкновенных человеческих слабостей и дурных склонностей. Иезуиты и все другие гадкие люди — ничтожество. Но эта сила зла, живущая, больше или меньше, в каждом из людей, — она велика. И все отдельные, эффектные ее проявления маловажны сравнительно с постоянным тихим всеобщим действием ее. А из отдельных, эффектных ее проявлений сравнительно важны не такие кукольные спектакли, как фокусничанье иезуитов, а такие факты, как подавление культуры всей Западной Азии и России, — а на востоке культуры Китая полчищами Джингиз-Хана. — Или вернемся в Рим. Злодей и мерзавец Марий надевает маску друга плебеев и, одурачивши невежд, разгоряченных завистью к богатым, подавляет Рим. Сулла надевает маску защитника людей, страдающих от злодея Мария, и налагает на родину другое ярмо. И с их легкой руки начинается

история злодейств, ведущих к тому, о чем писал Тацит. Вот это было великое бедствие для всего рода человеческого, подавление всего честного и доброго, что начинало прививаться от Греции к Риму.

Перед Марием и Суллой что значат все — двести шестьдесят, что ли? — пап, со всеми их кардинальскими коллегиями и доминиканцами и всяческими монашескими орденами? Это мелкие прислужники действительных владык мира. Владыками мира во время основания иезуитского ордена были Габсбурги и соперники Габсбургов. Папа лакействовал им. А иезуиты лакействовали папе.

И возвращаюсь к тому, о чем начал говорить. Отдельные эффектные проявления силы зла, вроде опустошений, произведенных Джингиз-Ханом, лишь маленькая доля той массы бедствий, которую производит тихое, — повидимому, не особенно дурное, — действие обыкновенных слабостей и пороков обыкновенных недурных людей. Например, пьянство. Кроме того, что сами по себе менее важны, эффектные проявления зла были бы невозможны, если бы дорога для них не была устилаема удобными для их шествия коврами из этих — повидимому, не особенно ужасных — пороков недурных людей. Например, были бы невозможны Марий и Сулла, если бы Римский Сенат не поддался «благородному честолюбию» и «похвальному патриотизму» Катона Старшего, требовавшего разрушения Карфагена, и если бы Тиберий и Кайй Гракх не научили, — отчасти своими собственными излишними горячностью, отчасти своим падением, — не научили Римских Сенаторов действовать на Форуме дубинами и оружием. На Тиберие и Кайе Гракхах Марий и Сулла выучились понимать: лишь бы как-нибудь довести вооруженную организованную силу до Форума, а подавить Форум уж не трудная вещь. Кто же первые виновники гибели Рима? — Катон Старший, — человек дурной, правда, дурной (хорошим воображают его по ошибке) — человек дурной, но не хуже, а все-таки лучше большинства; и Гракхи, люди, действительно, благородные, желавшие блага Риму. И толпа Римлян, трусов и завистников богачам, но вообще людей далеко не трусливого, как вы знаете, характера; люди храбрые были они; такой храбрый нации нет, я полагаю, ни одной в наше время. Но все-таки они были люди; и потому были в них элементы трусости. И они покинули Гракхов. И тем погубили себя. А Гракхи? — На какую поддержку они рассчитывали? Разве Тиберий Гракх не был под Нуманцией? Разве не мог он там понять, способны ли защитить его эти милые ему плебеи, которые целыми громадными армиями бегали от горсти Нумантийцев? Куда ж он лез со своими замашками силою одолеть оптиматов? Где была его сила? Где могла она быть? — Это было ослепление, едва ли извинительное даже глупцу. А он был гениальный человек. Но человек. И элемент умственной слабости

был в нем. И погубил его. И его падением расчищена была дорога для Мариев и Сулл.

Берем тот другой пример, гибель Китая, Западной Азии, России от полчищ Джингиз-Хана. — Китайцы ссорились между собою. Обыкновенная человеческая слабость. Но без нее разве проник бы Дж[ингиз]-Хан в Китай? — Китайцы задавили бы его на границе, как много раз прогоняли его предместников. — Еще яснее ход дела на Западе. — Жители Маверранегра увлеклись обыкновенною человеческою слабостью покорить соседей. И покорили. Но обессилили тем и покоренных соседей и самих себя. Пышности стало много в Маверранегре, а прежней серьезной силы стало гораздо поменьше прежнего. И легко стало Дж[ингиз]-Хану прихлопнуть всех их вместе, и победителей, и побежденных.

Итак: в сущности, все гадкие эффектные дела сводятся в ряд мелочей, разыгрывающихся с эффектом только вследствие обыкновенной деятельности обыкновенных слабостей массы недурных людей. Эта основная сила зла, действительно, громадна. Но что ж из того для нашего мировоззрения? — Выбивался же, понемножку, разум людей из-под ига их слабостей и пороков, и силою разума улучшались же понемножку люди; даже в те времена, когда были еще наполовину обезьянами. Тем меньше мы имеем права мрачно смотреть на людей теперь, когда они все-таки уж гораздо разумнее и добрее, чем горилла и оранг-утанг. Понемножку мы учимся. И научаемся понемножку быть добрыми и жить рассудительно. Тихо идет это дело? — Да. Но мы существа очень слабые. Честь нашим предкам и за то, что они дошли и довели нас хоть до тех результатов труда, которыми пользуемся мы. И наши потомки отдадут нам ту же справедливость, скажут о нас: «они были существа слабые, но все-таки не вовсе без успеха трудились на свою и нашу пользу».

Однако пора отправлять письма на почту.

Порознь Вам, друзья мои, не успел я написать.

Ты, Саша, если еще сохраняешь ученическое уважение к своим бывшим профессорам, — как я сужу по твоим письмам, — будь обрадован тем, что у меня не доставало времени писать собственно к тебе. Огорчил бы я тебя изложением своих мнений о твоих бывших профессорах. Факты, которые приводишь ты в письме твоём, очень плохо рекомендуют твоих профессоров. Ты не догадывался, какой смысл имеют эти факты. Они показывают: твои бывшие профессора — тупоумные тунеядцы, или, по-ученому, паразиты. Я, помнится, написал когда-то из любезности к тебе, что слышал хорошие отзывы о Чебышеве, который тогда был и, вероятно, останется, солнцем вашего факультета и твоим любимцем. Это правда, я слышал о нем много хорошего, как об ученом. И в угождение тебе высказал лишь эту сторону моих сведений

о нем. А другая сторона — мои собственные соображения о его ученых заслугах, менее выгодна для него.

Я опасаясь: если ты хочешь быть дельным ученым, тебе придется выкинуть из головы все твои университетские курсы, в которых, по всей вероятности, не было ничего, кроме педантства.

Прости, если огорчаю тебя резким отзывом о людях, любимых и уважаемых тобою.

И, порадуйся, что у меня нет времени развивать эту неприятную для тебя тему.

Прошу твоего извинения. Но, воля твоя, не люблю педантов и тунеядцев, заставляющих юношество терять время над пустяками, во вкусе той геометрии, которую прислал ты мне. Раз я вздумал посмотреть, правильно ли я вспоминаю ход доказательства, что поверхность шара равна четырем большим кругам. Насилу доискался этой теоремы в гряде мусора о каких-то эллипсах, вписанных в какие-то круги, и о тому подобном педантическом вздоре, ровно ни к чему не нужном в первоначальной геометрии и лишь притупляющем мысль. И самая теорема о поверхности шара оказалась изложенной сбивчиво, из рук вон плохо.

Не подумай, что я восстаю против твоих занятий теориею чисел или против выбора темы для твоей диссертации. В этом я ничего не понимаю и об этом я не сужу. Но вся история твоих хлопот над диссертациею показывает, что твои бывшие профессора — коллекция уродов, от избытка учености утративших смысл, а по недостатку смысла — оставшихся людьми очень миньютюрной учености.

Не сердись на этих уродов. Уроды они, и не я в том виноват. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

Жму руку Мише. Благодарю его за портрет. Напишу ему в другой раз.

607

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

21 апреля 1877. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Вот через несколько дней после прежнего новый случай отправления почты. И, снова повторивши мое уведомление о себе, что я совершенно здоров и живу прекрасно, буду продолжать мою беседу с тобой о медицине.

Все порядочные медики в один голос твердят, что положение этой науки еще очень неудовлетворительно. И все действительно разумные люди между ними согласны между собою и с другими натуралистами в перечислении причин ее неудовлетворительного состояния. Первый разряд этих причин — разные технические недостатки самого естествознания, на котором основывается меди-

цина: «нужно бы знать вот что», и «вот что», и «вот что», а «мы» — натуралисты вообще, и в частности медики, — еще не успели узнать этого».

Громадность этих пробелов, действительно, повергает в изумление людей, которые в первый раз знакомятся с истинным положением знаний. — Например: чай и кофе, производят освежающее, подкрепляющее действие. Как же это? — Наука до сих пор не дозналась того. Действующее составное начало чая и кофе — теин или кофеин, — вещество из разряда «алкалоидов», — не переваривается желудком, не переходит в состав тела, как переходит в тело хлеб, сахар, мясо. Теин — нимало не пища. А подкрепляет нас сильнее пищи. Один золотник теина дает нам столько подкрепления, как четверть фунта мяса, — или чуть ли не больше. Цифр у меня нет под руками. Но то вещь достоверная: пропорция в пользу теина колоссальна.

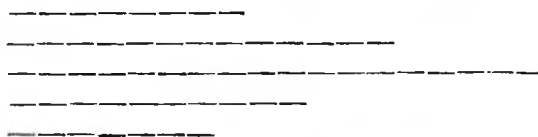
То же относительно хинина (это тоже алкалоид). Он излечивает лихорадку. Но как это совершается? — Наука еще не дозналась. Есть об этом лишь догадки, лишенные всякой достоверности.

И вот об этих-то вещах охотно рассуждают медики, когда толкуют о жалком положении своей науки. — «Не знаем». — Как быть! За незнание того, чего еще не доискала наука, нельзя порицать ученых.

Дело принимает совершенно иной характер по отношению к другому разряду причин неудовлетворительности медицинского действия. Этот разряд — недостатки знаний не в науке, а в деятельности самих медиков.

Кроме того, что в науке чрезвычайно много пробелов, ученые книги по всем отраслям знания набиты горами ошибочных преданий, порожденных невежеством. — Возьмем для примера самую разумную и наиболее разработанную отрасль науки, — ту, которую выбрал своею специальностью Саша, — математику. Кроме «четырех первых действий» арифметики (сложение, вычитание и т. д.), которые известны почти всем грамотным людям, никто, за исключением записных математиков, не знает из этой науки почти ничего, имеющего смысл. В ней много таких же хороших вещей, как сложение, вычитание; много вещей, которыми облегчаются соображения о делах, важных людям. Но эти вещи в курсах математики завалены такими массами глупейшего головоломного пустословия, что добираться до них через эти груды хвороста, булыжника и песку — нечто вроде путешествия на берега озер Центральной Африки или попыток добраться до полюса. — В чем причина? — Первый, дошедший до нас учебник геометрии — книга Эвклида, — человека, быть может, и гениального, — я этого не знаю, потому что не читал его книгу, но охотно верю тому, — а, без сомнения, человека очень умного и дельного, но жившего во времена, когда всю умственную жизнь людей овладевало педанство. Например, поэты щеголяли тогда

разными фокусами, иной напишет стихотворение так, что стихи образуют фигурку: тарелки или нитки жемчугу:



В середине стихи все длиннее; и если написать их каллиграфически, будет тарелка.

Очень коротенький стих, после него длинный, после опять очень коротенький и т. д. — и выходит нитка жемчугу.

Другие отличались другими фокусами. Например, написать целую поэму, в которой не мог бы понять ничего никто, кроме очень ученых людей. В таком вкусе:

«Я пишу». — Это слова, понятные всякому. Это плохие слова. Скажем же вместо них:

«Сын города, благотворящего потомству родственника Пандоры, держит в руке трубу ушей изобретателя головной покрывки».

Что такое? Уму простых смертных непостижимо.

Надобно знать:

Александрия — город «помощника мужам» (то есть людям).

Александр по-гречески: помощник людям.

У Мидаса были ослиные уши. Чтоб не видно было их, он выдумал носить шапку. О том, что у него ослиные уши, шепнул его циркульник тростнику (циркульник дал клятву не сказывать никому из людей, а язык у него чесался. Он и облегчил свою душу, шепнувши тростнику). Тростник срезали. Сделали из него дудочку. Дунули в дудочку, — она пропела: «у Мидаса ослиные уши».

Пандора — родственница всем отцам людей: и богам Олимпа, и Иапету, и Прометею. Итак:

Сын города, благотворящего потомству родственника Пандоры, — это значит

житель города Александрии

держит в руке и т. д. — это значит

держит в руке перо (тогдашнее перо было: тростник).

И пишет человек этим фокусническим манером целую поэму.

И на Эвклиде отразилось это пошлое педантство: в его книге обо всем говорится самым головоломным способом.

И, — я полагаю, он сам ставит это главным достоинством своей книги и главною пользою науки, о которой его книга: «над тем, что в этой книге, надобно много ломать голову». — Говорит ли он сам это, я не помню; только предполагаю. Но то достоверно, что большинство записных математиков твердят это на всяческие лады, и математика излагается до сих пор невыносимо головоломным манером.

А когда так упорно держится педантическое нелепое предание в разумнейшей отрасли наших знаний, то в других отделяться от подобного вздора еще труднее.

И я могу возвратиться к медицине.

Возьму факт, относящийся ко всем болезням.

В учебниках медицины беспрестанно повторяются две заметки.

Первая:

«Лечение на дому неудобно. В больнице лечить гораздо лучше».

Из этого следует вторая заметка:

«Если только возможно, больной должен быть перемещен из своего жилища в больницу».

А больница, что это такое? — Место, в котором пол, стены, потолок пропитаны заразительными миазмами.

Прежде не хотели понимать этого медики. Теперь голос великих мыслителей, никогда не занимавшихся медициною и никогда не имевших ни малейшей претензии судить ни о каком специальном вопросе этой науки, — но умевших соображать смысл фактов, известных всем людям, — голос этих мыслителей привлек к себе внимание публики; дело было просто; подумать о нем, значило: понять его. Публика принудила медиков понять: милые им больницы — смертоубийственные места. И медики теперь сами твердят это.

Но отстали ль они от своей привычки тащить в больницу всякого больного, которого могут тащить в нее? — Отстали от этого, я полагаю, и теперь еще очень немногие. В мое время таких почти вовсе не было.

К чему все это?

Все к тому же, о чем мои прежние письма:

Я не имею ни малейшего притязания знать хоть что-нибудь в специальных медицинских вещах. Я не сумею, вероятно, различить катаральную лихорадку от гастрической. По крайней мере никогда не пробовал делать хоть бы эту диагностику, которая чрезвычайно проста. И я всегда говорю всякому здешнему больному: «мы с вами этих вещей не знаем. Обратитесь к фельдшеру, — даже к фельдшеру, если нет медика, — обратитесь к фельдшеру, верьте ему во всем и безусловно исполняйте его предписания».

Так скромно не рассуждает никто из грамотных людей. Я неизменно всегда говорю так.

Но — с людьми необразованными, каковы здешние.

С образованными людьми, не медиками, можно рассуждать о медицинских вещах, насколько они понятны им, — подобно мне, не учившимся медицине, — и мне.

А с учеными медиками, — я хочу сказать: с медиками, заслуживающими названия ученых, — у меня всегда был другой тон разговора:

«Ваша наука — Вы сами знаете — до сих пор остается в нелепом положении. Достаточно ли ясно для вас, что вот такое-то

понятие — нелепость? Достаточно ли ясно для вас, что вот такой-то способ лечения — нелепость?»

Само собою разумеется, что если мой собеседник, — серьезно ученый медик, — был по своему умственному развитию способен понимать вещи своею головою, то он отвечал мне, что он сам знает, о чем я говорю; и если так, то, конечно, он знал эту вещь гораздо лучше, нежели я. Но, может быть, ясная постановка вопроса мною была иной раз не бесполезна для моего ученого собеседника. — Ставить вопросы ясно это моя врожденная склонность. И иногда, от натуральной склонности, бывает у меня и умение давать им ясную постановку.

Прошу тебя, мой милый друг, поговорить с твоим медиком о следующем:

I. Хроническая ли твоя болезнь, или острая.

Быть может, я употребляю эти термины не так, как считает правильным употреблять их твой медик. Или — почему я знаю? — может быть, какая-нибудь медицинская школа вовсе отбросила эти термины, и твой медик принадлежит к ней. О словах я не охотник спорить. Дело в смысле речи, а не в словах.

Я говорю вот о чем:

Есть болезни, ход которых очень быстр. Например, хоть боль в зубе от удара по челюсти. Две минуты, и, если зуб уцелел, боль начинает утихать. Через день не осталось и следов ее.

Но если зуб болит от гнилости — это будет тянуться целые годы.

Твой медик может найти, что пример неудачен. И правда: я не знаю, бывает ли боль в зубе от удара по челюсти, если удар оставил зуб неповрежденным.

Но дело не в том, удачно ли я выражаюсь. Я не имею претензии выражаться удачно, когда речь идет о науке, которою я не занимался. Я хочу лишь того, чтобы мои слова, удачные ли, или нет, были поняты.

Итак:

Твоя болезнь — продолжительная ли?

Это первый вопрос. Второй:

Существует ли аксиома:

«Болезнь проходит не иначе, как по устранении причин, произведших, или, если она произведена и не ими, то поддерживающих ее?»

Дальше:

Дурная пища, дурной воздух должны ли быть причисляемы к причинам, поддерживающим болезнь, когда болезнь продолжительна? (О пище лишь для ясности вопроса. Воздух — наиболее важный сорт пищи. Он — пища.)

Существует ли разница между комнатным воздухом и воздухом открытого пространства?

Если существует, то в чем состоит она, с химической точки зрения?

Та разница, которая существует между воздухом открытого пространства и комнатным воздухом, не совершенно ли параллельна различию свежей воды от гнилой, свежих овощей от гнилых?

Твой медик скажет, что он сам знал это и без меня и гораздо лучше меня. — Без сомнения.

Но он может и обидеться? — Если он обидится, он человек бестолковый и потому не годится быть ни медиком, ни сапожником, ни даже носильщиком. Годится быть разве ткачом или ремесленником по другому какому подобному занятию, не требующему смысла, как требует его даже переноска фортепьяно, которое бестолковый носильщик обломает.

Есть истины, напоминания о которых принимаются с признательностью всеми рассудительными учеными, деятельность которых — что-нибудь маленькое, специальное, узенькое, как, например, всякая отдельная отрасль естествознания. Специализм постоянно гнет мысли к мелочам и через это к забыванию основных истин, более широких, чем какая-нибудь специальная отрасль науки. — Всякий разумный специалист с радостью хватается за всякую опору, противодействующую натуральному падению его мыслей с высоты науки в пустоту мелочей.

Если я напрасно предполагаю в твоём медицине склонность забывать основные истины науки о человеческом организме, то, конечно, я делаю ошибку. И я всегда с удовольствием выражаю искреннюю готовность сделать всякие извинения, если я напрасно оскорбил кого.

Но из твоих писем, друг мой, я не вижу, чтобы твой медик говорил тебе о необходимости теплого климата для восстановления твоего здоровья.

Продолжать ли мои медицинские рассуждения? — Буду, но в следующем письме. На этот раз успел я, полагаю, утомить тебя ими. — Напишу, сколько достанет времени, что-нибудь детям. Едва ли успею написать много.

Написал детям страницы три. Пора отдавать письмо на почту.

Будь здоровенькая, моя милая Лялочка, и все будет прекрасно.

Тысячи и тысячи раз обнимаю тебя, моя радость, и целую твои ножки. Твой Н. Ч.

Милые мои друзья Саша и Миша,

Мои письма имеют почти беспредельное ученое достоинство в том отношении, что доставляют Вам неисчерпаемый материал для

развития в Вас важнейшей научной привычки: не принимать ничего без проверки. Что ни строка, то и ошибка, если не две ошибки, если не больше. Вы всматривайтесь и поправляйте. И напрактикуйтесь так, что станете соперниками величайшим ученым по обширности знаний и основательности умозаключений.

Я не могу, разумеется, помнить и десятой доли ошибок, которые делаю в каждом письме к вам. И больше для поощрения вам искать восемнадцать других из — по крайней мере двадцати в предыдущих моих двух письмах, отмечу здесь две.

В предыдущем письме к Вашей маменьке я рассуждал о том, что для здоровья необходим сухой воздух. И выразился, между прочим, так:

«для всех организмов, не живущих в воде или в болоте, сырой воздух — яд».

Слово «организм» употреблено тут неправильно. Для липы, сосны, дуба сырость воздуха не яд. Ни для пшеницы, ни для десятков тысяч других растений, не водяных и не болотных. Следовало написать «для всех животных организмов» и т. д.; — я по ошибке пропустил прилагательное, ограничивающее смысл существительного.

И вот мы в области грамматики. — В письме к Вам я упомянул об одном из наречий романских языков, — или, быть может, вернее было бы говорить: об одном из наречий итальянского языка, — о «ладинском» языке; которым говорит часть населения Граубюндена. Я хотел так и написать «ладинский язык, то есть граубюнденский итальянский», но вместо «ладинский» мое перо написало «латинский». Это я заметил и поправил, прочитывая то письмо. И удовлетворился тем, перевел глаза на следующую строчку. А после «ладинский» осталось в той строке «аппенцельский» вместо «граубюнденское наречие итальянского языка». Почему ж попался под перо Аппенцель вместо Граубюндена? — Я хотел, но рассудил, что было бы длинно пуститься в рассуждения о разветвлениях той части Альпов; — часть Аппенцеля — такой же удивительно дикий уголок, как «ладинская» часть Граубюндена. И вот из того брошенного ряда мыслей попало под перо слово Аппенцель.

Кстати о лингвистике. Попалось мне в руки какое-то рассуждение об экономии. Я и вспомнил о своих заметках на книгу Милля. Там есть удивительные вещи. Между прочим, заметка о ново-персидском языке, что он, по коренным законам своей фонетики, занимает средину между верхним немецким и нижним немецким. Непостижимо было бы, как удалось мне написать такую нелепость, если бы, на беду моему восхищению этим замечательным открытием, не пришло мне в голову, что я читал когда-то Лейбница. Я поверил тогда его уверению, что он — конечно, не учившись по-персидски — понимал по два, по три стиха сряду в персидских поэмах. И я верил этому! А я знал тогда несколько

стихов по-персидски. Теперь, на досуге, я попробовал, не вспомню ли чего из них. И успел припомнить два стиха. Этих двух довольно, чтобы ясно было: ни Лейбниц, ни десять Лейбницев и Ньютонов вместе не в состоянии понять при помощи своих родных языков — немецкого ли, английского ли, никаких трех слов сряду, не то что трех стихов по-персидски, не поучившись хоть немножко персидскому.

Лейбниц, разумеется, не солгал. Но он был в какой-нибудь иллюзии. Вероятно, ему был сказан смысл стихов, которые сумел он понять; а в то время, когда он говорил о своем понимании персидских стихов, ему забылось, что смысл их был уж известен ему, когда он начал всматриваться в них.

А я, хоть имел в голове материалы для проверки слов Лейбница, не догадался тогда проверить их, приняв его уверение за факт; он послужил мне побуждением согласиться с филологами (были такие между немцами), находившими, что персидский и немецкий языки ближе друг к другу, чем, например, немецкий к латинскому. И, углубившись в эту ошибку, я написал ту нелепость.

Припоминается мне из тех же заметок на Милля другой курьез. Есть там расчеты о действии земледельческих усовершенствований на урожай хлеба. Целые колонны цифр. Все вычислено посредством логаритмов. Но — вот штука! — колонна результатов вычислена по масштабу, который я бросил, вычеркнул, а основная колонна вычислена по другому масштабу. И выходит нечто в таком вкусе:

$$\begin{aligned} 2 \times 2 &= 5 \\ 3 \times 2 &= 7\frac{1}{7} \\ 4 \times 2 &= 9\frac{2}{9} \end{aligned}$$

Этот курьез в моих ученых трудах открыл не сам я, а один из моих знакомых, имевший терпение проверять все мои рассуждения по таблицам логаритмов. Он был очень огорчен таким моим недосмотром.

Но все те мои логаритмические рассуждения в том ученом труде — совершенно лишнее бремя в труде, совершенно напрасном. Я там толковал о Мальтусе, будто о чем-то серьезном. А Мальтус — пустой шарлатан, на которого стоит лишь плюнуть.

Да, мои милые друзья, было время, и я был молод. И не имел силы понимать, что могут быть совершенно пусты целые долгие направления науки, имевшие сильных представителей, — например, мальтусианство, которое положительным образом подчинило себе почти всех английских экономистов, а в борьбу против себя, то есть опять-таки в зависимость от себя, вовлекло всех немецких и французских — я не понимал, что, например, оно — совершенно пустая софистика и что это не один такой случай, что много бывало долгих сильных направлений в науке, совершенно не заслуживающих внимания. Русские ученые моего времени на-

ходили, что я мало уважаю знаменитых ученых. Я слишком уважал многих знаменитых ученых, которых не стоило несколько уважать.

Это, мой друг Саша, продолжение моих размышлений о твоих университетских занятиях. Да, я опасаюсь, что вместо математики твои бывшие профессора преподают какую-нибудь науку о том, чего не стоит знать человеку, желающему быть дельным ученым, — что-нибудь вроде науки о гороскопах или о бородавке на правой щеке Ньютона — и хорошо, если еще Ньютона, а не какого-нибудь подлинного или подновленного Мопертьюи. Кстати, — о французах. Правда ли, что вся начертательная геометрия (так, что ли? дескриптивная, зовут ее немцы), — великое изобретение Монжа, — совершенно ни к чему не ведущая схоластика? — Я что-то читывал об этом у какого-то английского математика. Но, быть может, он и ошибался: мне помнится, будто англичане в то время были людьми, отставшими от французов и немцев в математике. Но так ли это, или нет, мне все равно. И ты не делай себе труда отвечать на мой вопрос о достоинстве науки, созданной Монжем...

И я в твои годы был настолько наивен, что копался в каком-то шафариковском мелкословии, — и, убивши на славянские наречия страшно много времени, остался не знающим ни одного славянского наречия. По-польски, по-чешски, по-сербски я не знал ровно ничего. А переписывал какую-то пустяковщину из каких-то харатейных драгоценностей Румянцевского музеума. Так велика была моя славянская ученость, что печатных книг уж не доставало для ее насыщения, и дошло дело до пожирания пергамента.

И после сколько трудился я над этой мельчайшею пустяковщиною, над моим словарем к Ипатьевской летописи! То, что напечатано было в каком-то — уж не помню каком — сборнике трудов русских славянистов, лишь маленький экстракт из моего словаря. Вообрази, в нем были перечислены все места летописи, в которых попадает слово «идти» или слово «ехать», или слово «земля», — можно верить такой невообразимой глупости? — Так этого еще мало, друг; было там еще и не то: там были перечислены все места, где употреблено слово «ты», слово «я» и даже — о, ужас! — слово «и». А слово «и» попадает почти на всякой строке! — а на иной строке, раз десять, — ты знаешь, каков слог летописей:

и пошел воин, и пришел воин, и звали его Иван, и пришел другой воин, и звали его Павел, и пришли Степан и Петр и Сидор и... и... и... и...

И все эти «и» были у меня собраны и перечислены с такою старательностью, как жемчужины по ореху величиною заботливо нанизываются на нитку, чтобы не затерялась ни одна из таких драгоценных редкостей.

Это была славянская филология.

Ох, не такая ли ж процветает в голове Чебышева математика?
Прости, если огорчаю тебя.
Жму твою руку.
Ты, Миша, прости, что и в этот раз не написал ничего особо
для тебя. Жму твою руку.
Будьте здоровы, мои милые друзья. Целую Вас.

(без подписи).

609

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вилуйск. 25 апреля 1877.

Милый мой дружок Оленька.

Вот снова отправляется отсюда почта, и снова у меня радость,
что пишу к тебе.

Я совершенно здоров и живу очень хорошо.

Я получил письма, твое и Сашино, от 19 февраля. Благодарю
тебя и его за них.

Буду отвечать сначала на то, что пишешь ты о нем и он пи-
шет о себе. Я очень доволен, что получил он, наконец, свой кан-
дидатский диплом. — В прошлых письмах к нему я называл пу-
стыми педантами его бывших профессоров. Я думаю, это огорчило
его. Но пора ж ему узнать правду о них. С первого приема правда
бывает иногда невкусна. Как быть! — Зато после она становится
сладка. — Эти школьные великие ученые, профессоры, — почти
все бывают от природы людьми посредственного ума, да и тот
у них пропадает от пустоты их школьных занятий. И почти все
они мелкотравчатые ученые, если не вовсе невежды. А что хуже
всего, почти все они — чванные педанты. Из-за их педантства
Саша потерял полтора года. И теперь, повидимому, еще не успел
обдумать, как ему устроить свою карьеру. По крайней мере он
не пишет об этом ничего определенного. Я предполагаю, что его
спутывает педантический вздор, который так любят провозгла-
шать школьные ученые: практическая жизнь — это нечто низкое;
а высокое — это их деятельность, то есть вековечное школьни-
чанье в компании легковверных юношей, которых они поучают тай-
нам премудрости. В этом предположении я пишу теперь Саше,
что забота о куске хлеба — самое разумное дело, и что если он
желает быть ученым, то и для науки можно сделать больше, поза-
ботившись предварительно обеспечить себе кусок хлеба.

Он найдет в этом моем письме к нему, как и во всяком дру-
гом, много фактических ошибок. Без них не обойдешься, когда
пишешь, не имея под руками большой библиотеки. Память не мо-
жет удерживать фактических мелочей. Она удерживает общее
впечатление от фактов. И того довольно. Место мелочам — не в
голове, а в справочных книгах.

Теперь буду продолжать мою беседу с тобою о тебе, мой милый друг.

Когда ты получишь это письмо, будет уж лето, во всей своей прекрасной, благотворной силе. И, я надеюсь, твое здоровье будет хорошо. Но позаботься же, чтоб оно вновь не подверглось влияниям холода и сырости, вредным для него. Осенью отправляйся в Южную Италию, жить там до лета. И постоянно делай так, пока твои силы укрепятся настолько, что холодная и сырая погода, снег и мороз не будут вредить твоему здоровью. А в летние месяцы пользуйся курсами тех минеральных вод, которые наилучшие для тебя. Из твоих писем видно, что это, по мнению медиков, карльсбадские воды. Это уж вопрос технический, в котором компетентные судьи — только медики.

Но карльсбадские ли, или какие другие воды, сами по себе, по своему химическому составу, наилучшие, во всяком случае курс вод приносит пользу лишь тогда, когда жизнь на этих водах устроена комфортабельно. В Карльсбаде это сделано. На Кавказе этого еще нет. Потому, каковы бы ни были в химическом отношении кавказские минеральные воды, лечиться ими еще не должно. Это уж не технический вопрос. Это вещь понятная всем, желающим вникнуть в дело. И если медики не обращают на это внимания и рекомендуют кавказские воды, то они не правы. Где нет удобств жизни, там невозможно успешное лечение.

Но курсы минеральных вод, как бы ни были важны, все-таки менее важны, чем теплый климат, для восстановления твоего здоровья.

Надоел я тебе этим постоянным повторением все одного и того же. Нет нужды. Буду продолжать.

В одном из прошлых писем я говорил, что при неудовлетворительном состоянии наших медицинских знаний медикам трудно удерживаться от ошибочных увлечений односторонними, узкими теориями. Я уж не говорю о невеждах или бессовестных шарлатанах, называющих себя гомеопатами, гидропатами и разными другими мудреными именами. О них не стоит говорить в письмах к тебе, потому что твой медик, наверное, презирает этих людей и их теории, как они того заслуживают. Но и между медиками, верными серьезной науке, есть очень много людей более или менее одностороннего направления. В пример приведу одного из величайших ученых между медиками нашего времени. — Вся нынешняя медицина основывается на микроскопических исследованиях. Один из отцов этого направления — Распаль. Это гениальный человек и великий ученый. Но он увлекся пристрастием к камфоре до такой степени, что чуть не все болезни лечил камфорой и чуть не изгонял из медицины всякие лекарства для своей милой камфоры. Разумеется, кончилось тем, что он потерял всякий кредит между медиками, стал посмешищем для публики, и даже ученые часто забывают о его заслугах, так привычно

стало им только смеяться при имени Распала. Это пример увлечения, которое не вошло в моду. Противоположный пример — Бруссе. Он увлекся мыслью о роли, действительно очень важной, которую играет в болезнях «воспаление» или «прилив крови», — и принялся лечить болезни кровопусканием. Теория его в начале нынешнего века имела громадный успех повсюду. В Италии лет двадцать назад она еще властвовала. Знаменит ужасный результат ее применения к лечению итальянского министра Кавура. Его болезнь была какая-то довольно опасная, но в легком градусе, так что собственно у него она должна была миновать совершенно благополучно. И миновала бы, если б его лечил один медик. У одного не достало бы храбрости действовать так решительно. Беда произошла от того, что собралась толпа итальянских учнейших медиков. Все делалось по консультациям. Все были единодушны. У каждого совесть была спокойна: не он один, все находят, что надобно лечить, как следует лечить, по его мнению. И вот, подкрепляя и ободряя друг друга, эти люди единодушно принялись предписывать больному кровопускание за кровопусканием. Семь раз успели пустить кровь Кавуру; собирались пустить в восьмой раз, — но раньше того он умер от истощения крови.

Очень возможно, что теория Бруссе и до сих пор свирепствует в Италии. В Германии и у нас, следующих в медицине германским ученым, это гибельное увлечение давным-давно отброшено всеми порядочными медиками с проклятиями, с омерзением, каких оно достойно.

Это подготовка к тому, что я начинаю теперь.

В Германии, как и у нас, бессовестные или слабохарактерные медики злоупотребляли учением о пользе теплого климата. Всякий развратник, всякая пустая женщина, желая побесчинствовать на приволье вдали от знакомых, говорили медику: «скажем, что мы больны, и вы предпишете нам ехать в Италию». И он объявлял здоровых людей больными, и они отправлялись бесчинствовать в Италию. Общество возмущалось этою пошлостью. Медики, уважающие себя, начали, под ободрением со стороны общества, ратовать против такого унижения науки, такого стыда всему медицинскому сословию. Мотив был благороден. Но из него выросла односторонняя теория: теплый климат — это пустяки. Климат Северной Германии не хуже итальянского. О климате Северной Германии речь пошла потому, что теперь у немцев центры наисильнейшей ученой работы в медицине — Берлин и другие ученые города Северной Германии (прежде центры были в Вене и в Праге; то была эпоха Рокитанского и Шкоды. Но движение, о котором я говорю, началось уж после этой эпохи).

Итак, теперь в Германии приобрела большую силу односторонняя теория, отрицающая всякие недостатки климата Северной

Германии. Сильна ли эта школа в России, я не знаю. (В России, конечно, слова немцев о климате Гамбурга и Берлина переносятся на климат Петербурга и Москвы)... О том, каковы медицинские мнения твоего медика, я ровно ничего не знаю. Но на случай, что он не чужд этого увлечения, в следующий раз разберу теорию, утверждающую, будто бы климат Северной Германии ничуть не хуже ни итальянского, ни алжирского, ни египетского. Мне эта теория известна довольно хорошо, и потому я могу рассмотреть ее основательно.

Р. С. Я успел написать начало этого разбора. Влагаю написанное в другой конверт, потому что иначе в этом было бы больше лота.

Я написал тоже целый лист детям.

И на этот раз пусть будет довольно.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая радость, и все будет прекрасно.

Целую твои ножки.

Тысячи и тысячи раз обнимаю тебя, моя милая Лялечка.
Твой Н. Ч.

Обзор содержания статьи немецкого медика Поля Нимейера «Klimakunde» — «Учение о климатах». — Статья помещена в немецком учено-литературном издании *Unsere Zeit* 1873 года, №№ 18 и 22; по нумерации страниц часть 2-я, страницы 414 и 693.

Автор статьи Поль, Paul Niemeuer, однофамилец, поклонник и, вероятно, родственник — вероятно, младший по летам родственник — знаменитого F. Niemeuer'a — Фридриха, что ли? Не помню, — одного из главных руководителей новой ученой медицинской деятельности в Северной Германии... Автор статьи, вероятно, писал ее по мыслям этого своего однофамильца, — вероятно, дружного с ним.

Unsere Zeit — журнал не для одних только медиков, а для образованных людей вообще. Педанты расположены думать, что внимания их достойны только специальные издания по их специальности. Умные специалисты умеют различать дельные вещи от пустых не по обертке на книге, а по достоинству самых вещей. Надеюсь, и твой медик делает так. Это первое. А второе: по моему мнению, *Unsere Zeit* — издание довольно посредственного достоинства. Но это по моему мнению. А немецкие ученые считают за честь себе участвовать в этом журнале. И более ученого журнала, более серьезного и дельного в немецкой литературе нет, я полагаю — кроме специальных изданий, превосходящих его более подробными, но не более учеными монографиями. — Игак, мое мнение — само по себе. А журнал этот все-таки заслуживает величайшего уважения от всякого специалиста. — О самой статье Поля Нимейера, я полагаю, что она плоховата. Но это опять-таки мое мнение. А в целой Германии, тем больше у нас, на[пе]речет ученые, которые были бы в состоянии написать статью не хуже этой.

После этого предисловия начинаю обзор содержания статьи.

«Лечение воздухом, климатическое пневматическое лечение, лечение жизнью на горах (высотах, Höhencur), жизнь зимою в теплом климате (Winteraufenthalt), летняя свежесть воздуха

(плохо я перевел это; вернее: чистый воздух лета, — Sommerfrische) — вот лозунги, раздающиеся все шире и шире в обществе, особенно во время сезона». — Эти первые строки статьи уж показывают, что она написана человеком, умеющим писать дельно и живо. Из них ясно также, что автор статьи — представитель самых новых успехов медицинского знания. Он относительно массы ученых медиков занимает такое же положение, как законодательницы мод относительно массы щеголих. Масса с завистью смотрит, учится и старается следовать примеру этих высших существ, которые все идут и идут вперед, пролагая дорогу к совершенству остальной толпе.

Ясно также, что автор статьи смотрит на массу медиков, от которых распространяются в публике те «лозунги», как на людей отсталых, и самые «лозунги» кажутся ему устарелыми.

Но — читаешь статью, и видишь: в сущности, автор сам не понимает, о чем толкует. Это обыкновенная судьба ученых и неученых авторов, усердствующих прогрессу науки и жизни. Надобно явиться какому-нибудь истинно великому гению, — и он растолкует остальным великим ученым, в чем дело. А без него они кое-что видят, кое-что соображают, — в частности, удастся им понять очень многое очень хорошо, но в общем итоге у них все-таки путаница мыслей. Так было в медицине до Фирхова. Теперь, вероятно, Фирхову некогда подвести новый итог новым частным приобретениям науки, сделанным после его прежнего итога; или, быть может, он уж ослабел (кажется, он уж старик), и как бы то ни было, он не подвел новсго итога, а без помощи гениального ума этого не могут сделать обыкновенные великие умы вроде знаменитого Нимейера, и новые открытия составляют еще грудю разноречивого хаоса.

Посмеявшись над отсталостью медиков и публики, автор рассказывает, как «лечение климатом» изобрел Гален, в начале нашего летосчисления, — изобрел хорошо, только: ошибся немножко, вообразивши, будто серные пары Везувия полезны для здоровья, и посылал своих больных в Стабию (ныне Каstellамаре), где Везувий душил этих несчастных.

Ясно: и те «лозунги» — такие же ошибки, по мнению автора статьи.

Дальше идет история о том, как было замечено, что морской воздух полезен больным грудью, и наконец
(перевожу)

«Эта мысль» — о пользе морского воздуха, — «развил Грегори (Gregory), Эдинбургский профессор, в статье (или маленькой книге, Abhandlung), вышедшей в 1789 году и переведенной в 1791 году Табором (Tabor) на немецкий язык. Это было первое специальное исследование вопроса. Грегори ввел в употребление и самый термин «перемена климата». Он рассуждает о том, что «надобно удлинять лето переездом на зиму в южные места». Но

он высказывает это правило не без критики, как видно из следующих его слов: «несомненно, что многие больные чувствуют большое облегчение вследствие собственно только моциона» — и т. д. и т. д.

Я перевел достаточно, чтобы видно было: статья писана не поверхностно, а очень основательно. Объем ее 25 страниц компактного шрифта большого лексиконного формата. Это равняется 40 страницам русского журнального формата, 50 или 60 страницам русского формата ученых книг. Из этого уж ясно, что дело излагается с такою подробностью и серьезностью, какой не бывает посвящаемо ему в обыкновенных трактатах о медицине, служащих сокровищницами знаний для массы медиков. — Твой медик, конечно, черпает свои знания не из одних только «руководств к терапии и патологии»; конечно, он человек ученый. Но какова бы ни была его начитанность, все-таки статья Поля Нимейера не показалась бы ему неинтересною, если бы ему случилось теперь, по моему указанию на нее, прочесть ее в первый раз. А если он читал ее и прежде, тем лучше.

Я буду стараться сделать мое извлечение как можно короче. Но из этого пусть не выводит твой медик, что я прочел лишь те места статьи, о которых буду говорить. Читать я умею. Пусть он верит этому: да, умею читать.

Или я слишком жесток к твоему медику? Или он не заслуживает этих сарказмов? — Но в таком случае, почему ж ни разу не случилось тебе упомянуть в письмах о твоём лечении, что твой медик понимает необходимость теплого климата для восстановления твоих сил?

Возвращаюсь к статье Поля Нимейера.

На странице 415 есть о климате Ниццы и всей той части берега. Там бывает мистраль, холодный ветер, очень дурной. Это правда. Но что из того следует? — Надобно ехать дальше на юг, куда мистраль не достигает. — А по мнению автора статьи, следует: у них в Берлине или Лейпциге зимой не хуже, чем в Ницце. Даже лучше. О, чудачье, эти ученые! — Порезать палец вредно. Из этого следует: отрубить руку не вредно. — Мистраль — это зефир, это теплый, приятный ветерок сравнительно с зимними ветрами Северной Германии. Если он вреден, то каково же действие берлинской или дрезденской, или гамбургской зимы? — Рассуждения о том, что берлинский климат не хуже климата Ниццы, не на 415-й странице, а дальше. Пусть поищет их сам твой доктор, если не верит, что я читал их; пусть поищет; и найдет; а разыскивая их, прочтет статью. В ней все-таки много дельного.

Дальше следует: Италию выдумали англичане. Это уж такой непосестный народ. Любят таскаться по чужим землям. А для нас, немцев, это вовсе не такая приятность, таскаться по чужим краям. — Это наука! Это медицинское рассуждение! — Дальше:

да и климат-то родины у англичан туманный. Его так и называют «пасмурный»; даже по-английски так-таки прямо и говорится: «пасмурный». А у нас, у немцев, — и пошла история, что климат Германии лучше английского.

Во-первых: лучше ли, или нет, но чрезмерно плохо.

Во-вторых, не лучше, а хуже. Аргументы приводит сам же автор статьи, только не понимает их смысла. Он справедливо говорит: страшно вредны быстрые переходы от холода к теплу, и наоборот. Да. Но он забывает, что климат Англии менее подвержен этим переходам, чем климат Германии.

И все-таки, по его мнению, Италия выдумана лишь англичанами, по пасмурности их климата и по их неусидчивости.

Дальше следуют рассуждения, что под именем «туберкулозы» прежде смешивали две разные болезни. По-нынешнему, туберкулоза лишь довольно редкий случай. А обыкновенное чахоточное расстройство — еще не туберкулоза. — Так ли, нет ли, не знаю; да и не хочу знать, потому что это вовсе не идет к делу.

Туберкулоза ли, нет ли, но всякая изнуряющая болезнь легких требует сухого и теплого воздуха; без него лечение пустяки. Автор статьи полагает: нет, мороз не вреден чахоточным. Почему ж так? — А вот почему: жители Новой Англии, страдавшие грудными болезнями, чувствовали себя зимою в землях Гудсонова залива лучше, нежели у себя дома.

Верен ли этот слух? — Не знаю. И сомневаюсь.

Но пусть он верен. Что из того?

В Новой Англии мороза зимою очень много. Но бывают и частые оттепели.

Зимняя оттепель — это вещь очень гадкая для здоровья.

И, быть может, зима на Гудсоновом заливе, где нет оттепелей, менее вредна, чем в некоторых или во многих местностях Новой Англии.

Пусть зимние оттепели хуже мороза. Что из того следует?

То ли, что мороз не вреден? — Синильная кислота вреднее мышьяка. Следует ли из этого, что мышьяк не яд?

Дальше идут насмешки над «зонами неподверженности чахотке». Эта теория была, точно, смешна своим ребяческим педантизмом. Один утверждает: выше 1700 футов над уровнем моря чахотка не появляется. Другой, поосторожнее, говорит: ну, powyше 1700 футов она может забраться, но выше 4500 футов уж ни за что не подыметя. И все это оказывается вздором.

Правда. Это вздор. Но все-таки воздух долины менее чист, нежели воздух на холмах, по краям долины. Дело не в абсолютном числе футов возвышения над уровнем океана, а в том, выше или ниже данного места лежат его непосредственные окрестности. И дело не в том, чтобы какой бы то ни было чистый воздух мог сделать человека неподверженным никакой из тех нравственных слабостей и физических бед, результат которых — расстройство

груди. Бедность, порок, несчастная случайность, — например, падение грудью на камень, во всяком климате может произвести чахотку. Но все-таки в скверном воздухе чахотка развивается чаще и сильнее, чем в хорошем.

У самого же автора статьи все это высказывается. Но он сам не понимает смысла фактов, которые приводит.

Дальше следуют насмешки над теориею, что горный воздух полезен своею разжиженностью. Насмешки совершенно справедливые. Я полагаю, что также справедливы и насмешки автора над лечением посредством сгущенного воздуха, под стеклянным футляром вроде вододлазного колокола. Мне кажется, это лечение — нелепость. Впрочем, не знаю. Может быть, его партизаны только рассуждают о нем чрезмерно невежественно. Быть может, при сгущении воздуха грудь легче поглощает нужное ей в некоторых случаях увеличенное против обыкновенного количество кислорода. Но если так, мне кажется, легче для груди прямо нюхать смесь, в которой кислорода больше, чем в нормальном воздухе.

Дальше следует факт, о котором я не имел сведений, прежде чем прочел эту статью.

Обезьяны умирали в Европе от чахотки. Это всегда всем было известно. Но вот этого я не знал бы без Нимейера: найден способ избавлять их от этой судьбы. Надобно держать их не в клетках, где душно, где смрадно, а в обширных садовых помещениях. — Дальше параллельный тому факт о шелковичных червях и о их болезни «мускардине». Это я знал со времени появления «мускардины», когда-то очень давно. — Дальше обыкновенные рассуждения о болезненности кварталов, где квартиры тесны, грязны, переполнены людьми.

Дальше о минеральных водах. Автор восхищается изречением Брауна (Braun):

«Квинтэссенция лечения минеральными водами, во-первых — вода в обыкновенном смысле слова» и т. д.

Тут много правды. Она не новость никому из рассудительных людей. Но Браун и автор статьи в горячности восторга от открытия этой, по их мнению, новой истины хватают через край, воображая, будто бы нет существенной разницы между разными минеральными водами и, по их теории, следовало бы прибавить: «между какой угодно минеральной водою и простою водою»; этого они, однако, не прибавляют: не до такой степени помрачился их рассудок. Но если, например, железная вода не одинакова с простою, то как же одинакова она с соленою? — Я не против основной мысли: чистый воздух, моцион и т. д. важнее самого питья минеральной воды. Но если полезно в некоторых случаях принимать железо, то почему ж не полезна в этих или каких-нибудь других случаях вода железистого источника?

Автор статьи сам понимает: минеральная вода — не простая, и оказывает действие, какого не может производить простая. Но он и Браун спутались так, что уж и сами не разберут, что думают они о минеральных водах, чего не думают. А виноват в их недомыслии Либих. Прежде считали минеральные воды какими-то непостижимыми вещами. Либих научил определять их состав. Таинственность разрушилась, очаровательность таинственности исчезла, и — тем лучше? — По здравому смыслу, да; а Браун и Поль Нимейер огорчились так, — или, уж не разберешь, возрадовались так, что потеряли способность отличать соленую воду от железной. Случай прискорбный, но натуральный: в экстазе чувства такие ли вещи можно перепутать! — Можно, пожалуй, выпить стакан кипятку, не заметивши, что он жжет горло. Бывает, и, к сожалению, нередко, что человек выпивает целый стакан серной кислоты, воображая выпить стакан лимонада или сотерна.

Сбившись с толку на либиховом анализе минеральных вод, — или, по своему убеждению, воображая, что прекрасно понял вопрос о действии минеральных вод, автор статьи победоносно продолжает:

«С патологической стороны ничто не препятствует перенести это понятие на лечение воздухом».

Так вот источник отрицания благотворности воздуха Италии. Железная вода и серная вода — все равно. Бесспорно, что когда так, то нет разницы не только между Германиею и Италиею, — нет разницы между Гренландиею и Бразилиею.

Однако займусь этим дивным открытием в следующий раз. Пора кончать. И, я полагаю, достаточно посмеялся я над путаницею мыслей у ученых дельных и, пожалуй, умных, но — как быть! — не имеющих силы выпутаться собственным умом из хаоса собственного — чрезмерного для их голов — избытка учености. Придет какой-нибудь новый Фирхов или нынешний Фирхов удосужится возобновить свою деятельность для медицины, и исчезнут из медицины эти уродливые теории. А пока нельзя винить никого из медиков за увлечение какою-нибудь из них. Не всем дает природа силу ума, равную силе памяти и усердию набивать голову ученостью.

Не медик я и не могу иметь никакого самостоятельного мнения о технических подробностях медицинской практики. Но чистый воздух, сухой и теплый, важнейшее подспорье здоровью, — это истина, известная с незапамятных времен всем обыкновенным людям, чуждым медицинской учености, и всем медикам, у которых рассудок не омрачен какими-нибудь дикими учеными туманами.

В следующий раз уж не буду, вероятно, издеваться над чудакom Полем Нимейером, а буду писать с должным уважением к его похвальному усердию понять истину, которая лишь не

Всегда заметна для него; и мелькает на каждой странице его честного, — хоть, к сожалению, сбивчивого, уродливого труда.

Будь здорова, моя милая Лялечка. Целую твои ножки. Целую тебя.

Само собою разумеется, мой милый дружок, эти медицинские рассуждения кажутся мне вещью необходимой для тебя лишь потому, что я сомневаюсь в самостоятельности медицинских убеждений твоего доктора. Это не упрек ему, а поддержка.

Целую и целую тебя, моя милая Лялечка. Твой Н. Ч.

610

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

25 апреля 1877. Вилюйск.

Поздравляю тебя, мой милый друг Саша, с окончанием твоих трудов по приобретению кандидатского диплома. Твоя маменька пишет, что выражения, в которых он свидетельствует об успешности твоих университетских занятий, превосходны и что это нравится ей. Потому приятно это и мне.

Но, само собою разумеется, и по твоему, и по ее, и по моему мнению, важность дела состоит в том, что теперь ты сделался самостоятельным человеком и получил возможность зарабатывать себе кусок хлеба. Ты уж нашел себе занятия, дающие вознаграждение, на первый раз очень удовлетворительные. Это радует тебя и твою Маменьку. И меня. От всей души поздравляю тебя, мой друг.

Конечно, твои мысли обращены теперь главным образом на то, как тебе устроить для себя жизнь, обеспеченную в денежном отношении. — Свои прежние, университетские, интересы, конечно, находишь теперь ты маловажными сравнительно с этим серьезным делом. Как оно будет идти у тебя, представляет, разумеется, величайшую занимательность и для меня. Надеюсь, оно пойдет хорошо.

Прошу простить мне, что в моих письмах к тебе, предшествовавших этому, я высказывал о характере школьной науки такие мнения, которые могли огорчать твою, — по всей вероятности, совершенно незаслуженную, — признательность к твоим бывшим профессорам. Не хочу возвращаться к этим рассуждениям, которые теперь, когда я узнал, что твои хлопоты над кандидатской диссертациею кончились, перестают быть нужными для тебя.

Теперь, конечно, ты сам увидел, что это была напрасная трата времени, вынуждаемая пустым педанством схоластической формалистики. И, конечно, твои мысли, выпутавшись из нее, обращены исключительно на то, как обеспечить тебе для себя самостоятельную, безбедную жизнь. Вероятно, у тебя есть жела-

ние трудиться для науки. Но, вероятно, ты находишь, что это влечение надобно тебе сдерживать до приобретения хороших средств жизни. Богатство — вещь, без которой можно жить счастливо. Но благосостояние — вещь необходимая для счастья. Прежде всего следует позаботиться тебе о твоём благосостоянии. Наука может подождать. И от этой отсрочки твоя деятельность для нее станет более успешною. Кто не имеет куска хлеба, не имеет и средств служить науке. Потому между великими деятелями науки почти не попадается бедняков.

Берем для примера твою специальность, математику, с ближайшими ее прикладными науками, астрономию, математическую физику и т. п.

Коперник был каноник, то есть, говоря по-нынешнему, получал большие доходы с поместий. — Тихо де Браге был богатый вельможа. Галилей имел богатые доходы. Декарт имел довольно богатое состояние. Кеплер — вот исключение. Он долгие, долгие годы терпел нужду. Но это была случайность: те лица, от которых следовало ему получать, по контрактам, хорошие доходы, — например, хоть бы Рудольф, сами разорились. И притом какое было это время! — Тридцатилетняя война, от которой обнищала вся Германия. — Но Кеплер — единственный бедняк в ряду людей, имена которых упоминаются наравне с его именем. Паскаль был богач. Гейгенс — человек очень зажиточный. Лейбниц нажил себе большое состояние. Ньютон нажил себе богатство. И так далее — до Лавуазье, богача, и Александра Гумбольдта, богача.

Бедность — помеха всему хорошему. В том числе и научному труду. Я не отрицаю возможности исключений. Я сам привел пример Кеплера. Чего не бывает на свете! Временами полуслепой, временами вовсе слепой, Прескотт сумел стать очень ученым человеком. Говорят, был какой-то слепой живописец и довольно хороший, не помню, итальянец или голландец, в XVI или XVII веке. Но, вероятно, этот слепой, если бы мог приобрести зрение, не пожалел бы усилий на то. И, конечно, его живопись не проиграла бы от этого.

Будь здоров, мой милый. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

611

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

25 апреля 1877. Вилюйск.

Милый мой друг Миша,

Благодарю тебя за то, что ты прислал мне свою фотографическую карточку. Ты уж взрослый человек, мой милый. И, судя по карточке, я полагаю: славный молодой человек.

Ты, повидимому, любишь драматическое искусство. И, по тем ролям, какие предоставляют тебе твои товарищи, заметно, что ты считаешься у них талантливым артистом. Кажется, что они уважают и твои мнения и выбор пьес для ваших спектаклей. Все это прекрасно.

По части исполнения ролей не могу я быть советником тебе. Я любил театр. Но очень мало бывал в нем. Пока я был студентом, я опасался, что если раз пойду в театр, то меня будет сильно тянуть бывать в нем беспрестанно. А это отвлекало бы меня от занятий. И больше чем три года из четырех я удерживал себя от посещения театра. Под конец курса вышло такое обстоятельство, что я не сумел отделаться от надобности быть в нем. — Был на свете Иринарх Иванович Введенский — известный переводчик с английского и под конец жизни главный советник Ростовцева по управлению военно-учебными заведениями. Ему понадобилось сделаться доктором филологии, что ли, или русской словесности, не помню, только доктором. Он был ласков ко мне, юноше, робкому, безответному. Я предложил ему учиться у меня чему-то нужному для его докторства, чем он не занимался прежде. Платить мне за это он не мог и подумать: при всей своей робости я не так держал себя, чтоб это было возможно. Он желал, конечно, чем-нибудь показать мне свою признательность. Но я умел отстранять всякую попытку его или его семейных сделать мне какой-нибудь хоть пустой подарок. И вот однажды я учу его — и оказывается: его семейство собралось в театр. Берут с собою его. Зовут меня. Вертел, вертел я в уме, как отказаться; — нельзя: выходило бы слишком обидно для них. И я поехал с ними. Беды не произошло: у меня достало характера не бывать после того в театре чаще, чем случался у меня и досуг и лишний четвертак. Но все-таки я сожалел о времени и деньгах, уходящих у меня на развлечение. Такой чудак я был тогда. — А после у меня уж действительно не было досуга посещать театр. Щепкина я видел только раз. Мартынова только два раза. Рашель я не видел. Из итальянцев не слышал большинства первых теноров и примадонн, бывавших в мое время в Петербурге. Следовательно, какой же я судья по части исполнения?

Но по части выбора пьес могу иметь кое-какие понятия. Вы избираете пьесы, кажется мне, очень удачно. Лучше «Ревизора» нет ничего в русском репертуаре. И, пожалуй, мало в нем вещей лучше комедии Грибоедова. Возразить против этих пьес нечего, если дело идет собственно о русском репертуаре. Но он беден. И даже «Ревизор», лучшее сокровище в нем, хоть и гениальная вещь, вещь очень мелкая по содержанию. — Французский репертуар не в моем вкусе. Драмы Виктора Гюго — нелепая дичь, как и его романы, и лирические его произведения. Нестерпим он мне. И я даже полагаю, что у него нет таланта, а есть только дикая

заносчивость воображения. Горько и смешно было мне прочесть, что английский поэт Суинборн пишет стихотворные панегирики ему, своему будто бы, учителю. Суинборн в десять раз талантливее его. И такое заблуждение мысли, как фантазия уважать Виктора Гюго, не может не действовать очень вредно на прекрасный талант Суинборна. — Кроме Виктора Гюго, и сами французы не находят у себя, кем из драматургов похвалиться. Итак, о их репертуаре говорить не стоит. — У англичан такой неудобоподражаемый способ выговора, что играть по-английски иностранцам нет возможности. Да и знают ли по-английски твои товарищи? — Но по-немецки они знают. Что, если бы вы попробовали сыграть что-нибудь из Лессинга, Шиллера или Гете? — Это уж не то, что русский репертуар. Но, конечно, в десять раз лучше играть пьесу в оригинале, чем в переводе. Потому-то я и говорил о знании немецкого языка. Да и есть ли порядочные переводы чего-нибудь драматического из тех трех поэтов? «Орлеанская дева» в переводе Жуковского хороша. Но язык устарел. Русский язык быстро развивается. И я не знаю, годится ли для сцены язык Жуковского. А кроме него, хороших переводчиков у нас не было ни одного. — Пора кончить письмо. В следующий раз напишу тебе что-нибудь из моих размышлений о всеобщей истории. — Жму твою руку. Твой Н. Ч.

612

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

30 апреля 1877. Вилнойск.

Милый мой дружок Оленька,

Я совершенно здоров и живу очень хорошо. Денег у меня много. Всяких вещей, нужных для удобства жизни, тоже. Прошу тебя и детей: не присылайте мне ничего.

Здесь начинается весна. Половина снега уж растаяла. Через несколько дней вскроется река. Вода на ней уж выступила. Среди дня можно уж подолгу оставаться на открытом воздухе в комнатном платье.

В предыдущие случаи отправки почты я писал тебе, иной раз успевал написать и детям, довольно длинные письма. В этот раз пишу лишь несколько строк, потому что случай отправки почты представился неожиданно. Я несколько раз объяснял тебе, как это бывает: особенных почтальонов здесь нет. Почту возят отсюда и привозят сюда казаки. И вот приедет из Якутска казак и должен, как сдаст почту, немедленно ехать назад, потому что нужен для какого-нибудь нового поручения в Якутске. Вероятно, так и теперь.

Поэтому ты избавляешься на этот раз от моих медицинских

рассуждений; избавляются и дети от моих диссертаций обо всем ученом на свете.

Но хоть в двух словах повторю мою просьбу к тебе, моя милая радость: отправляйся осенью в теплый климат и оставайся там до лета; а летом лечись водами в Карльсбаде. Умоляю тебя!

Целую детей.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Лялочка. Заботься о твоём здоровье, и все будет прекрасно. — Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

613

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вилюйск, 24 мая 1877.

Милый мой дружок Оленька,

Я начал писать длинное письмо к тебе, имеющее содержанием медицинские рассуждения для подкрепления моей просьбы к тебе, все той же неотступной моей просьбы: решишь ехать на зиму в Южную Италию.

Не знаю, успею ли я отдать то письмо на почту в нынешний раз. И, уж вижу, что не успею написать в этот раз детям. Прошу их извинить меня. Все время уйдет у меня на то письмо к тебе.

И на этом листе пишу тебе лишь несколько строк.

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо. Всего, что нужно для комфорта, у меня много. И денег в запасе много.

Весна здесь началась. Показалась трава. Лед на реке прошел. — Иной день скучно было бы весь день проводить на воздухе, потому что бывает ветер, и надобно беспрестанно хватать руками полы, раздувающиеся в виде парусов. Тогда гуляю с прожежутками. Но большею частью только пью чай и обедаю в комнате, а то все брожу по городу, по полям, по опушке леса. Терпеть не могу прогуливаться. И нет для меня ни малейшей надобности в том, чтобы гулять. Я и без того все равно был бы совершенно здоров. Но усердствую соблюдать мудрые правила гигиены. Соблюдаю все. То не нарушать же этого одного. И гуляю.

Целую Сашу и Мишу.

Будь здоровенькая, моя милая радость.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя.

Целую твои ножки.

Будь здоровенькая, моя милая Лялочка, и я буду счастлив. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Виллюйск, 24 мая 1877.

Милый мой дружок Оленька,

В одном из прежних писем к тебе я начал разбор той медицинской теории, которая провозглашает, будто бы холод не вреден здоровью.

По моему обыкновению, прежде чем продолжать начатое, повторю то, что сказано мною в прошлый раз.

Я говорил, что единственный материал, какой имею я под руками для анализа этой нелепости, — статья горячего приверженца ее, немецкого медика Поля Нимейера, медика очень ученого, умного и совершенно добросовестного.

Конечно, было бы гораздо лучше для обеспеченности успеха моих опровержений, если бы я имел под руками те — без сомнения, обширные — специальные трактаты, в которых эта теория излагается со всеми техническими подробностями, для ученой медицинской публики. Тогда не осталось бы возможности возразить против моего разбора, что кроме аргументов, опровергнутых мною, есть какие-нибудь другие основания, поддерживающие эту теорию. А теперь можно будет сказать: «Да, опровергнутые в его» — этих моих — «заметках аргументы вздорны, в том он» — то есть я — «прав. Но материал, им разобранный, не полон; потому и теория не вполне опровергается его опровержениями».

Это можно будет сказать. Но это не будет справедливо. И, я полагаю, твой медик в состоянии понимать, что это не может быть справедливо.

Я надеюсь, он человек ученый и умный. А когда так, то, просмотревши разбираемую мною статью, он убедится, что автор статьи очень хороший ученый и что, в частности, предмет статьи — один из самых любимых предметов его ученых занятий; что статья вполне и мастерским образом излагает всю сущность дела; что автор с тактом умного человека, превосходно знающего это дело, опускает лишь мелочи, в которых нет ничего важного; что все, могущее служить в пользу защищаемой им теории, превосходно выставлено им в самом ярком свете.

Для всякого умного человека, привыкшего читать ученые вещи, такой характер статьи Поля Нимейера очевиден.

Дальше я говорил в прошлый раз о том, почему я нашел нужным подвергнуть разбору эту теорию. Из статьи Поля Нимейера видно, что эта теория имеет своими последователями большинство тех ученых немецких медиков, которые следят за успехами

своей науки и содействуют ее развитию своими почтенными трудами...

Потому, считая твоего медика человеком серьезной учености, я полагаю, что он очень может или быть смущаем в своих мыслях этою теориею, или вовсе быть решительным ее приверженцем.

Вот почему, — говорил я, — показалось мне, что я должен анализировать эту совершенно ошибочную теорию.

И принявшись за это, я в прошлый раз анализировал предисловие статьи Поля Нимейера.

Оно очень важно для цели моего разбора. Вся сущность теории изложена в нем. Вся статья основывается лишь на том, что изложено в этом предисловии.

Повторю сущность моих заметок о существенных мыслях этого предисловия.

«То мнение, что теплый климат необходим для восстановления здоровья, введено в медицину английскими медиками». Так или нет, я не могу проверить. Но пусть так. Что ж из этого? Английские медики ошиблись? Разберите их мысли научным образом и обнаружьте их ошибки.

Автор статьи не делает этого.

Почему не делает? — Он не догадывается сам, почему он этого не делает. Этого нельзя сделать. Все факты физики, химии, физиологии, медицины, — все факты, какие только могут иметь какое-нибудь отношение к вопросу, свидетельствуют в пользу отвергаемого автором мнения.

Есть только один разряд страданий, для исцеления которых холодный климат удобнее теплого, — при небрежности лечения: при лечении небрежном раны от пореза острым орудием скорее подвергаются гниению в теплом воздухе, чем в холодноватом. Но это лишь при неопрятном, грязном, гадком лечении. При соблюдении правил опрятности рана заживает в теплом воздухе быстрее. — Поль Нимейер не упоминает о ранах от острых орудий. Это уж я привожу единственный случай, который мог бы служить хоть маленьким извинением для опровергаемой мною теории. Но и этот разряд фактов при должном разборе дела оказывается, как я объяснил, все-таки в пользу теплого воздуха. Вред не от теплого климата; от него и в этом деле лишь польза. Вред от неопрятности. — Если дело должно идти о неопрятности, то, разумеется, чем холоднее воздух, тем меньше вреда от нее. И когда грязь замерзает, она становится безвредным куском мерзлой земли. — Так, вреда от нее тогда нет, но замерзание — это вместе с прекращением вредного процесса гниения есть прекращение органической жизни. — Волк, овца могут жить в атмосфере ниже нуля, потому что у них есть на теле натуральная шуба, организация которой не мешает испарению из их кожи. Человек до сих пор не умеет устроить себе теплую одежду так,

чтобы она не задерживала испарения. И когда температура воздуха ниже теплой комнатной, одежда человека неизбежно такова, что служит вместилищем миазмов. — Это я говорил в прежних письмах. Повторяю здесь лишь для удобства твоему медику видеть, что мне не были бы нужны трактаты противников опровергаемой мною теории для опровержения трактатов, защищающих ее всяческими учеными мелочами, опущенными в статье Поля Нимейера: я не медик и вообще не натуралист. Но для анализа невежественных недоразумений, в которые очень часто впадают первоклассные специалисты, всегда достанет у меня собственных моих сведений по какой угодно отрасли естествознания.

Не нужно быть зоологом для того, чтобы знать, легкими ли, или жабрами дышат млекопитающие. Теория, опровергаемая мною, такая же грубая ошибка, как было бы мнение, что млекопитающие дышат жабрами. Это и все тому подобное в состоянии я опровергнуть и без помощи справочных книг.

Возвращаюсь к предисловию Поля Нимейера.

Он воображает, будто бы наука доказала, что холод не вреден здоровью. Какая наука доказала это? — он не знает: ему лишь помнится, что он читал и слышал, будто бы это доказано. Такова очень, очень часто злополучная судьба специалистов и специальных наук: принимаются за научные истины совершенно пустые фразы, противоречащие всем фактам науки.

И Поль Нимейер преспокойно воображает, что мнение о здорости теплого климата не нуждается в новом опровержении: где-то, в каких-то трактатах, — быть может, об астрономии, — о физической астрономии, — или, быть может, об интегральном исчислении, — теория теплоты дело высшей математики, — словом, где-то, в каких-то неудобопонятных медику трактатах о каких-то неизучаемых медиками отраслях науки, — там это наверное доказано.

Очевидно, так воображает Поль Нимейер.

Что ж ему хлопотать о научном опровержении мысли, которую приписывает он английским медикам? — Она уж опровергнута где-то кем-то.

И он воображает, будто бы не опровергает ее только по своему нежеланию заниматься делом излишним.

Это — невежество. Горько мне употреблять такое слово, говоря о медиках, очень ученых и добросовестных, которые избрели или защищают теорию, разбираемую мною по статье одного из них. Но как быть? — Надо же называть вещи истинными их именами.

Итак, мнение о благотворности теплого климата не нуждается в опровержении, по мнению Поля Нимейера. Англичане смешны своею неусидчивостью. Вот и все, что нужно сказать, по его мнению.

Вот, в сущности, и все аргументы, на которых построена теория, будто бы холод не вреден: невежественное недоразумение — это первое и последнее ее основание. Никакого другого она не имеет.

И все факты из какой бы то ни было отрасли естествознания, имеющие отношение к делу, противоречат ей.

Взглянуть на дело с этой точки зрения не догадались господа изобретатели или приверженцы нелепой мысли о безвредности холода. Они воображают, что это уже исполнено за них какими-то, другими специалистами и что все уж доказано — доказано то, что на самом-то деле опровергается и физикою, и химиею, и физиологиею.

И медициною. Но это уж их собственная специальность. Что говорит она?

О, она говорит в их пользу. — Например, что ж такое говорит она в их пользу?

В их собственных медицинских наблюдениях ничего такого нет. И быть не может. Они хорошие медики, ученые люди, добросовестные люди. Лично они не в состоянии были увидеть ничего такого: все, что они видели, вовсе не то понимают они. — Но истина их теории, по их мнению, доказана в каких-то неизвестных им отраслях естествознания. А когда так, то должна ж она подтверждаться и медициною. Отчего ж у них нет фактов в пользу их теории? О, это очень просто. Они немцы. Лечат немцев. Все у них лишь наблюдения, относящиеся к немецкому климату. Они и вздумали рассудить: в Германии много ли холода? Не так много, чтобы очевидна была его благотворность. Надобно поискать фактов из таких стран, где больше холода, чем в Германии.

И стали искать. В наблюдениях шведских медиков не нашлось ничего. В наблюдениях русских медиков не нашлось ничего.

Не нашлось ничего. И не могло найтись. Это потому, что они, искавшие, искали честно. Они рассматривали рассказы шведских, русских медиков так же добросовестно, как разбирали свои собственные, немецкие, наблюдения. Они отбрасывали в сторону то, что было в читаемых ими шведских и русских книгах признано вздором, не выдерживающим научной критики. Они хотели верить лишь хорошим шведским или русским медикам. У таких медиков, и в Швеции, и в России, как в Германии, не может быть найдено то, чего они искали.

В чем дело? — Вот в чем. Пусть как-нибудь случилось, что какой-нибудь плохой шведский медик напечатал свои плохие наблюдения. В той местности, где он производил их, живут другие медики, получше, нежели он. Прочитавши его вранье, кто-нибудь из них и напечатает: «это вранье. Я видел, как было на самом деле то, что переврал он. Это было вот как». — Авторы

теории — люди ученые; они прочли это опровержение вздорного рассказа. Они добросовестны и отбрасывают изобличенные вранье.

Потому-то не нашли, и не могли найти, и никогда не найдут они ни в шведской, ни в русской медицинской литературе ничего в подтверждение своей теории.

Теория вздорна; потому и не может быть никакого факта в пользу ее ни в какой литературе, где есть хорошие медики, изобличающие вранье плохих.

Но они этой причины неуспешности своих поисков не подозревают; и не могут подозревать, пока остаются при своем заблуждении, будто бы их теория где-то кем-то доказана. Им воображается, что отсутствие фактов в пользу ее — случайный пробел в их собственных наблюдениях и в наблюдениях шведских и русских медиков.

И они продолжали искать, пока — о, радость! — наконец-таки нашли.

То, что они нашли, я уж разобрал в прошлый раз.

Это стыд за них, это смех.

Какие-то простолюдины кому-то что-то рассказывали о том, что какие-то простолюдины, жившие зимою где-то около Гудсонова залива и бывшие чем-то нездоровы, чувствовали, что зима там не вредна для них.

Это научный факт. Да то ли можно услышать от безграмотных людей, — где угодно, и в самой Германии, как везде. Но немецкое вранье безграмотных людей и всякое другое подобное вранье безграмотных людей в других странах проверяется медиками тех местностей и оказывается враньем. Потому не годится.

А это — вранье или нет, неизвестно, остается непроверенным, потому что некому было проверять его.

Вот и прекрасно! Нашлось!

В прошлый раз я объяснял, что если это и правда, а не вранье, то ровно ни к чему это не пригодно, потому что ровно ничего из этого не следует.

А этот смешной, постыдный аргумент — единственный аргумент в пользу теории, которую я разбираю.

Я называю его постыдным для почтенных людей, пользующихся им. Мне горько выражаться так. Но того требует истина.

Это позор для науки, это постыдное пятно на репутации ученого, такое нелепое легкоеверие, такая безрассудная опрометчивость в суждениях.

Какие-то безграмотные люди, рассказывающие неизвестно о ком, неизвестно что такое, — они авторитет, и их рассказ — фундамент для научной теории.

Это позор, это позор.

Довольно об этом. Горько это мне. И всякому, уважающему медицину и честных медиков, горько, — всякому, кто понимает, что это такое.

Впрочем, я не видал тех обширных трактатов. Быть может, там не один такой факт. Быть может, там их тысячи.

Чем больше их, тем хуже, конечно, для научной репутации авторов трактатов.

Таких фактов можно, разумеется, набрать сколько душа желает, в пользу какой угодно бессмыслицы.

Фактов иного разряда, фактов, проверенных наукою, нет и не может быть ровно ни одного в пользу той бессмысленной теории, противоречащей всем законам органической жизни.

Это теория — пустая нелепая фантазия. Только.

С чего ж взялась у людей, ученых и умных, охота утверждать глупость, противоречащую всем фактам науки? — Они не потрудились подумать о том, сообразно ли с их научными сведениями их простонародное самохвальство. Они слышались от своих нянек, дядек, своих школьных товарищей, что мороз укрепляет силы немецких кулаков; как же, не так? — Полторы тысячи лет немцы ходили грабить Италию, всех там били и душили. Это почему? — Итальянские кулаки слабы, а немецкие крепки; а это почему? — У итальянцев теплый климат, они и расслаблены; у немцев — много холоднее, они и крепче. Как же нет? — Огурец в тепле — дряблый, а на холоде — крепкий. То же и с яблоком, и с картофелем. Подобные невежественные понятия существуют и у русского простонародья, и по глупости, повторяют их тоже и русские грамотные люди. Помнишь стихи для ребятишек:

Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже:
В зимний холод
Всякий молод.

Это плохие стихи. Но есть у нас и прекрасные, в том же вкусе; например, у Пушкина, в числе особенных достоинств Петербурга, выставляется зимний холод:

Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз.

Из этого само собою следует, — не помню, у Пушкина ли, или у Вяземского:

Полезен русскому здоровью
Наш освежительный мороз.

Это — отголоски простонародного мнения.

Но простонародье лечит болезни — и у немцев, как у нас, — нашептыванием на воду; надобно полагать, что его медицинские понятия не чрезмерно хороши, не чрезмерно умны и полезны.

Если достанет времени, буду продолжать рассуждения об этом в письме к Саше. А тебя можно, я полагаю, избавить от этой скуки.

Возвращаюсь к статье Поля Нимейера.

Предисловие посвящено изложению теории; оно глупо, постыдно для науки.

Но надобно ж автору перейти от теоретических рассуждений к фактическим соображениям.

И роль невежды, глупца — кончена. Вступает в свои права человек ученый и умный.

Содержание статьи прямо противоречит ее предисловию.

Покажу это для образца всему остальному на маленьком примере.

Ты помнишь, предисловие кончается рассуждением о минеральных водах:

«Мы, — изволите видеть, — такие удивительные мастера, что сумели анализировать минеральные воды. И вышло — минеральная вода ничем не отличается от простой чистой воды. Ничем или почти ничем. Пить минеральную воду полезно лишь в том смысле, что она — чистая вода».

Ты помнишь, я смеялся над этою глупостью.

Вы, господа, анализировали! — Вы! — Либих, а не вы.

Они и сами принуждены сознаваться: «Либих, конечно; Либих; а все-таки не он, а мы».

Хорошо. Самохвальствуйте. Но минеральная вода, по-вашему, действует лишь как чистая вода. То и не стоит пить ее — дорогую и неприятную для вкуса? — Чистый родник простой воды везде найдется по соседству. Ездить на воды незачем. Наши водовозные лошади будут привозить нам родниковую воду из соседнего родника, — и достаточно будет, что мы станем пить ее? Так, господа?

О, нет. Минеральная вода ничем не заменима. И во многих болезнях она — единственное, совершенно необходимое лекарство. Вот что! Так о чем же вы раскричались было, господа? — Вероятно, Либих как-нибудь по оплошности сказал какое-нибудь неосторожное слово о том, что иной раз слишком многого ожидали от какой-нибудь минеральной воды, — и вы подхватили это неосторожное слово, переврали его так, что вам показалось,

будто вы открыли провозглашенную вами мудрую нелепость? — Вы ошиблись в смысле слов Либиха, вот и все. Никакого открытия вы не сделали. Вы лишь погорячились и сказали глупость. А дошло дело до фактов, вы принуждены образумиться.

Серьезно: к чему сводится все дело, начатое громким провозглашением бесполезности минеральных вод?

Медик должен сообразоваться с темпераментом и состоянием сил больного. Соляные воды, например, иные очень сильные, и хилый не выдержит курса их, ему надобно предписывать воду из другого соляного ключа, послабее. А вода того, очень сильного ключа, лучше слабой воды для больных крепкого телосложения.

Только. Вся новость только в этом.

Так-то, господа? — То позвольте ж сказать вам: вы глупые самохвалы. Новости в этом ровно никакой нет. Всегда всякий рассудительный медик знал это и поступал так. Всегда; и при дедах наших, и при дедах дедов наших; и во времена Карла Великого, когда медиков не было, были только плохие лекаря вроде нынешних стариков и старух, занимающихся по деревням лечением, — и тогда знали то, что открыли вы, по вашему мнению.

Но, оставляя в стороне ваше хвастовство небывалым вашим открытием, надобно отдать вам справедливость: совет, который вы даете, безусловно справедлив: пользоваться минеральными водами надобно с разборчивостью, с осторожностью.

Эпизод о минеральных водах — лишь маленькая вставка в статье. Предмет ее — не вода, а воздух.

И фактические рассуждения автора об этом предмете, хоть не изъяты от мелких ошибок, в целом очень хороши.

Только все они совершенно противоречат его глупой теории.

Об этом после. А прежде повторю и о них то же, что сказано мною о его советах относительно пользования минеральными водами: «правда, но правда очень не новая для рассудительных людей».

Сущность дела сводится к тому, что чистый воздух полей и лесов полезен, а в городах воздух дурен, вреден; в комнатах, когда закрыты окна, очень быстро делается положительно ядовитым.

Это превосходные понятия; совершенно справедливые и выше всякой похвалы благотворные.

Но нового в них нет ничего. Читала ль ты, мой друг, «Декамерон» Боккачио? — Это сборник повестей и анекдотов. Половина их очень пошлы, грубы, грязны. Как быть! — обычаи тех времен были грубоваты. Но было и тогда много честного и умного в чувствах и мыслях людей. И есть в «Декамероне» рассказы чистые от грязи, прекрасные. Но речь моя не о том, я хочу

лишь напомнить тебе сущность рассказа, который служит рамкою, охватывающею все другие рассказы.

Во Флоренции чума. Несколько дам и мужчин, родных или очень дружных, собрались потолковать, как спастись от этой гибели: свои обязанности помогать страждущим они исполнили, имеют право подумать и о самих себе. Они говорят: чума свирепствует лишь там, где большое скопление людей. Уедем в сельскую местность, где чистый воздух, и останемся живы и здоровы. Так и делают. И остаются живы и здоровы.

И раньше того: с тех пор как мы имеем исторические сведения о греках, у этого народа были уж правильные понятия о полезности чистого воздуха, о вредности испорченного. — Описание чумы во Флоренции у Боккачио — подражание рассказу Тукидида о чуме в Афинах, бывшей за 430 лет до начала нашего летоисчисления. Тукидид совершенно правильно объясняет, почему она свирепствовала в Афинах с такой ужасной силой: Афинская область — Аттика — подверглась нашествию неприятельского войска; сельские жители сбежались в Афины — город, обведенный стенами. Столпление народа было чрезмерное; оттого-то чума и разыгралась очень сильно. (Оговорюсь: я употребляю об этих обеих эпидемиях слово «чума» в разговорном смысле; пусть твой медик не вообразит, что мне неизвестны споры медиков о том, можно ли считать ту или другую из этих зараз «чумою» в смысле медицинского термина.)

Итак, новость, открытая нашими современниками, что чистый воздух полезен, испорченный — вреден, очень хороша; но она всегда была известна всем рассудительным людям, вот уж более 2000 лет по крайней мере.

Справедливо будет сказать лишь то, что со времени изобретения микроскопа и хороших методов химического анализа мы постепенно пополняем наши сведения о составе воздуха и о влиянии дурных примесей к нему все более и более точными подробностями; и кое-что из этой массы вновь приобретаемых знаний оказывается не бесполезным для развития наших гигиенических и медицинских соображений. Но основные понятия об этих вопросах остаются у нашей науки прежние, очень старые, потому что они верны, эти очень старые основные понятия: чистый воздух полезен, нечистый — вреден.

Привожу важнейшие места из правильных, прекрасных фактических соображений, излагаемых автором статьи. Погрешности попадают у него и в изложении фактов и, еще чаще, в мыслях об относительной важности этих фактов. Но как быть! Все мы — люди; без ошибок никто из нас не может написать ни двух строк, не может сказать ни десятка слов. И, например, на каждой странице этого письма найдется у меня сотня ошибок. У автора статьи, когда он говорит о вещах, хорошо известных ему и вообще хорошим медикам, а не пускается в широкие теории, далеко

превосходящие широту специально медицинских сведений, — у него, разумеется, вкрадывается в изложение гораздо меньшее число ошибок, чем сколько наделал бы я.

К этим ошибкам его, происходящим от случайных недосмотров или от мелких пробелов знания и не вредящим сущности мыслей, я, разумеется, не придираюсь. И, делая перевод, я имел правилом молча исправлять те из них, какие умел заметить в переводимых строках. Но — как быть! — и в этом не обошлось у меня без недосмотров: раза два или три, забывшись, нарушил свое правило: оставил ошибочное выражение без поправки и сделал оговорку, что оно ошибочно.

Как быть! — слабость человеческих способностей: и слабость внимания, и слабость соображения, и слабость памяти. Не мне нападать на других за эти недостатки. — Я осуждаю автора статьи лишь за то, что ему остаются неизвестны две из самых коренных истин естествознания, чрезвычайно важные: источник жизни — это теплота; и: человеческий организм — организм экваториального климата. — И вот я употребил ошибочное выражение: «ему неизвестны» они. — Они известны ему. Он лишь не приобрел привычки прилагать их к делу. И опять я выразился ошибочно: не «он», — он лишь ученик других, более сильных медиков; — «они» достойны порицания, они, руководители научного движения, не позаботились сообразить, каковы необходимые выводы из тех основных истин.

Дальше листок перевода. Но он и следующие листки письма будут вложены мною в другой конверт. У меня все конверты однолотные. Чтобы не превысить должный вес, надобно класть в конверт лишь по пяти таких листков, какие нумерую я и из которых это — пятый.

В переводе я везде отметил страницу и строку подлинника для удобства твоему доктору проверить перевод.

(Продолжение листков, вложенных в конверт, отмеченный словами «начало письма».)

Выписки из статьи «Учение о климатах» (*Unsere Zeit*, 1873, №№ 18 и 22).

Страница 419, строка 4. «Каждый, кто возвращается под вечер с быстротою парового поезда из дальней полевой местности в атмосферу своего города, чувствует при вдыхании такую же разницу, как если после родниковой воды пить грязную. Городской воздух испорчен всякими испарениями и зловониями, засорен пылью и копотью; в одном месте застоялся неподвижно, душен; в другом — студен, режет сквозным ветром. — Там, среди природы, человек дышал и обонял с наслаждением; здесь, в городе, он рад бы не дышать и утратить чувство обоняния.

Еще хуже качество внутреннего воздуха жилищ. Он, в особенности зимою, не имеет в себе должной пропорции кислорода.

И в нем находятся ядовитые газы. Он — непригодная для дыхания смесь.

Потому-то у городских жителей бледные щеки: при недостаточном и дурном материале дыхания кровь формируется плохо и кровообращение происходит слабо. У детей в городе опухлые личики, увядший цвет кожи. И громадна смертность между ними от золотушного истощения сил.

Страница 421, строка 35. Города стоят на таких местах, где мены погоды из холодной в теплую, из теплой в холодную.

Страница 421, строка 35. Города стоят на таких местах, где выгодно им быть по расчетам денежной прибыли; вопрос о том, здоровая ли это местность, не принимается тут в расчет. И горожане живут среди пыли или в болоте. Еще до основания города воздух тут уж был дурной. Город еще больше испортил его. Между прочим, истребив растительность.

Страница 422, строка 17. Лес и луг постоянно снабжают воздух кислородом и очищают его (воздух) от вредных газов. Поэтому они служат местами укрепления сил для всех дышащих существ.

Страница 694, строка 4. Воздух свободного пространства — наше природное «пастбище жизни», как называет его наш учитель (учитель медиков), старик Гиппократ. Воздух жилищ — это дурная замена. В комнатах нам удобно. Но из-за этого мы не должны забывать, что жилища — вредны. Инстинктивное чувство того, что они вредны, обнаруживается в наших детях их любовью убежать из комнат на двор, на улицу; обнаруживается в нас самих нашим влечением к прогулкам за город.

Страница 694, строка 22. Нездоровость воздуха наших жилищ увеличилась, когда вошло в употребление стекло для окон, чему теперь лет двести. Прежние окна, без стекол, были продушинами лучше нынешних форточек.

(Я замечу: в этом автор ошибается. Для Германии то было еще вреднее здоровью. Окна без стекол годятся лишь для Сицилии, для Египта).

Страница 695, строка 1. Что такое воздух, — не говоря уж о воздухе в жилищах, — даже и на улицах наших городов, хорошо поясняет Реклам сравнением храма на острове Филэ в Верхнем Египте с Лейпцигским театром. Там, через тысячи лет, мрамор еще сияет белизною и акварельные краски еще свежи. А в Лейпциге Аполлон над фронтоном театра, сначала сиявший, беломраморный, через пять лет уж превратился в трубочиста, и по всей наружности театра не осталось и следа первоначального белого цвета. Этот пример делает излишними подробности о том, какова пыль, каково зловоние наших (то есть немецких) городов.

Как на улицах, внутри наших жилищ тоже пыль, пыль, пыль. Небогатые люди создают вихри пыли своими соломенными ма-

трасами, своею одеждою, обувью, всем своим домашним скарбом. Богатые дают пыли и вместе с нею моли прикрытие, но через то еще более гибельное помещение в мягких подушках мебели, в гол-стых коврах, в богатых гардинах и обоях.

Страница 695, строка 42 (или снизу строка 8). Воздух двора и улицы, как бы ни был дурен, все-таки сохраняет в себе нормальную пропорцию кислорода. А замкнутый воздух жилищ теряет часть кислорода, и она заменяется в нем углекислотою (я прибавлю: автор забывает другие газы, еще более вредные: окись углерода и сероводород). Дыхание наполняет комнату избытком вредных веществ, извергаемых нашими легкими. Зондерепер говорит: дышать комнатным воздухом то же самое, что пить воду из таза, в котором вымыты ноги.

Страница 696, строка 26. Словом сказать: наше жилище — воздушная помойная яма в строжайшем смысле слова.

Страница 697, строка 7. Зимой наша жизнь — плен в помойной яме.

Страница 702, строка 37. В Магдебурге, во время холеры, были сломаны слишком грязные дома, бывшие гнездами болезни, и, пока построятся новые жилища, была устроена целая колония из палаток для помещения людей, оставшихся без квартиры. Сначала эти люди переселялись в палатки очень неохотно. Но когда квартиры для них были готовы, пришлось выселять их из палаток насильно: так хороша для здоровья им оказалась жизнь на чистом воздухе.

Страница 705, строка 1. Большая часть ревматизмов и почти все болезни кашля происходят от вредного влияния комнатного воздуха. (Дальше, строка 15.) От ревматизма нельзя избавиться никакими кашне, никакими теплыми одеждами и одеялами, никакими мазями и пластырями, никакими паровыми банями. Он изгоняется лишь очищением крови от порчи, производимой комнатным воздухом (то есть он исцеляется лишь чистым воздухом).

Ты прочла листок перевода? — Для тебя, конечно, ясно: эти совершенно справедливые мысли автора статьи не оставляют ни малейшей возможности подвергать сомнению необходимость вывода, что —

Зима в Германии так вредна здоровью, что и люди, совершенно здоровые, при самом крепком сложении, выносят ее не без тяжелого урона благосостоянию своего организма.

А что следует из этого относительно людей, здоровье которых расстроено?

Для тебя, мой милый друг, выводы ясны.

Но твоему медику, быть может, нужна головоломная терминология? — Прошу у него извинения, если думаю это о нем напрасно. Но обиды ему тут нет: я лишь предполагаю в нем обык-

новенную слабость специалистов: «кто не умеет коверкать себе язык ужаснее, чем в состоянии мы сами, того мы не можем удостоивать своего внимания».

Впрочем, я надеюсь, твой медик знает, что я когда-то немало знал по-гречески, и предположит, что я могу еще выковыривать двадцатиаршинные варварско-греческие слова в наилучшем совершенстве ужасающей глубокомыслием и ученостью бестолковости. Потому позволю себе не прибегать к этому средству убеждения: авось, твой медик поверит, что я пишу по-человечески лишь оттого, что не люблю педантства, а не по недостатку умения выражаться на языке педантов.

Немецкая зима менее продолжительна и холодна, чем русская. На крайнем юге России, в Севастополе, зима жесточе, нежели в большей части местностей Средней Германии.

Немецкая зима позволяет ли человеку долго оставаться на открытом воздухе в комнатном платье?

Под комнатным платьем надобно понимать: белье, — закрывающее организм лишь в один ряд ткани; и, — посверх его, у женщины шелковое или барежевое или ситцевое платье; у мужчины — верхнюю пару из самой легкой ткани.

Шерстяная ткань, посверх белья, это уж не комнатное платье с медицинской точки зрения. Если шерстяная ткань, она должна быть на организме лишь одна; и не толста; лишь тогда это будет комнатное платье в медицинском смысле. Это не в наших обычаях.

Итак: в декабре, сколько минут возможно в Германии оставаться на открытом воздухе в комнатном платье?

Тяжелое платье, — более теплое, чем то комнатное, как действует на организм?

В нем самом (в платье) осаждается испарина. Между ним и телом образуется неподвижная густая атмосфера тумана из испарины. Чтобы пройти через платье, защищающее от холода, — то есть мало проницаемое для воздуха, даже когда оно сухо, — когда оно не на теле, — а когда на теле, то быстро делающееся сплошным непроницаемым для воздуха покровом через залепление всех скважин жидкостью (осадком испарины), — чтобы прорваться через это платье, какой степени напряжения должны достигнуть газы испарины?

Каков химический состав пота?

При самом вылетании из пор кожи испарина лишь продукт, не пригодный более для организма; но в этом продукте есть индифферентные, быстро подвергающиеся на воздухе химическим переменам; каков результат некоторых из этих перемен? Не возникновение ли веществ положительно ядовитых?

Эти ядовитые газы не диффундируются ли обратно в организм при трудности проникнуть сквозь одежду?

Итак:

Быть на открытом воздухе в холодное время — это безвредно или даже полезно для груди, избавляющейся на эти часы от дыхания комнатным воздухом. Но для всей той поверхности организма, которая закрыта одеждою, это вредно. Когда подвергается вреду вся поверхность тела, кроме лица да разве кистей рук, если мы без перчаток, — конечно, подвергается вреду жизненный процесс.

Я не знаю: меньше ли этот вред, чем то облегчение, которое получается грудью от дыхания воздухом не столь дурным, как комнатный. Я полагаю, пропорция тут различна, смотря по степени холода. Я не знаю, при скольких градусах ниже нуля, — или, быть может, и выше нуля, в сумме получается: сидеть безвыходно в комнате для здорового человека обыкновенного телосложения менее вредно, чем быть на открытом воздухе. Я не знаю этой термометрической границы. Я полагаю, медицина еще и не пробовала определять ее. Я полагаю, медики имеют об этом вопросе лишь те смутные мысли, какие высказываются моряками, зимовавшими в полярных широтах. И мне кажется, что отзывы этих моряков сбивчивы. Мне кажется, некоторым из них вообразалось, будто они не терпели вреда, проводя даже и по нескольку дней на открытом воздухе при 35 и при 40 градусах Цельсия. Конечно, такие ощущения — иллюзия. Но — чего нельзя ждать! — пожалуй, медики принимают эту иллюзию за факт. — Я полагаю, что при 10 градусах ниже нуля по Цельсию уж меньше вреда от комнатного воздуха (предполагается обыкновенный дом, а не корабельная каюта), — меньше вреда от него, чем от воздуха открытого пространства. Я расположен думать, что и при 2 или 3 градусах выше нуля долго быть на открытом воздухе уж вредно.

Кроме ядовитого действия газов испарины надобно принимать в соображение и другие вредные результаты холода; например: надобность в добавочном количестве пищи на покрытие прибавочного расходования теплоты тела. Это прибавочное количество пищи равнозначительно сокращению жизни. Я надеюсь, это ясно хорошему медику.

Пора кончать письмо. Доскажу мои мысли кратко:
Холод запирает нас в комнатах; то есть в воздухе ядовитом.
Независимо от соображений этого порядка идей, известного автору статьи, есть другая точка зрения:

Воздух открытого пространства на самых лучших местностях данной географической широты — чем ближе к экватору данная широта, тем чище, а чем дальше от экватора, тем хуже. Это очевидно из разниц его прозрачности. Тут дело не в том, что днем мы видим отдаленные предметы тем яснее, чем ближе мы к экватору; относительно дня могут, пожалуй (хоть и напрасно),

ссылаться на большую высоту пути солнца. Но и ночью такая же разница: в Германии в самую чистую ночь звезды гораздо бледнее, чем в Средней Италии. Но и в Южной Италии, — кажется, даже еще и в Египте, свет звезд все еще мерцающий, как и в Германии. Под экватором звезды светят ровно, без мерцания. Или другая мерка: в Германии планета Венера никогда не производит тени. В Южной Италии она уж дает тень, как в Германии луна. А под экватором при свете ее можно иногда (то есть каждый раз, когда она в квадранте), в фазисе, соответствующем четверти луны, читать и писать, как в Италии при свете луны.

Пора кончать письмо. Брошу и этот разряд мыслей. Спешу сказать хоть несколько слов о некоторых местах статьи Поля Нимейера.

Он требует, чтобы больные проводили весь день на открытом воздухе и спали с раскрытыми окнами. — Правда. Так должно. Но сколько недель в году возможно это в Германии?

Он требует, чтобы больные жили в зимних садах. Это могло бы быть довольно сносною заменою южного климата. Но лишь когда эти сады были бы построены гораздо обширнее и выше Кристального Дворца (близ Лондона). С медицинской точки зрения, даже и этот колоссальный зимний сад слишком тесен. А и он — лишь один на свете.

Само собою разумеется, что глупая теория о безвредности холода остается в результате совершенно оплевана самим же ее партизаном. Он советует всем больным немцам ехать или в Италию, или, лучше, в Египет.

Честные, благородные люди он и товарищи и учителя его по науке.

Мне жаль, что я должен был порицать их.

И я был бы рад думать, что я оклеветал их, взводя на них небывальщину, будто бы они считают холод не вредным.

Быть может, они и в самом деле болтают этот вздор лишь по слабости человеческой увлекаться красноречием до забвения о смысле произносимых слов.

Целую тебя, мой милый друг. Будь здоровенькая. Твой И. Ч.

Милый мой дружок Оленька,

Ты знаешь вперед, что будет в этом письме: то же самое, что в прежних. Да. Знаю и я, что надоел тебе повторением все одного и того же. Но буду твердить мою неотступную просьбу,

пока ты согласишься исполнить ее: позаботься о твоём здоровье, как должно; решишь ехать на зиму в Южную Италию.

Я не занимался и не хочу и, по моему отвращению от анатомии, от природы неспособен заниматься медициною. В моих медицинских рассуждениях с тобою я беспрестанно делаю ошибки, в этом не может быть ни малейшего сомнения у меня. Так. Но мои ошибки относятся лишь к мелочам; до сущности дела они не могут относиться, потому что она несравненно выше и проще собственно того, что принадлежит медицине, как специальной науке. Это широкая истина, это один из самых верховных законов жизни человеческого организма и даже не одного только человеческого организма, но и всех тех организмов, которые, подобно человеческому, могут естественным образом, без помощи искусственных приспособлений и охранений, жить лишь в теплом воздухе: холод вреден всем им по самому свойству их природы.

Погрузившись в многосложную путаницу технических вопросов, специалисты подвергаются опасности забывать о простых, коренных истинах науки, более широких, чем данная специальность. Это не о медиках только, это обо всех специалистах. История науки — это почти непрерывный ряд узких взглядов, односторонних теорий, выдумывавшихся и принимавшихся специалистами и опровергнутых здравым смыслом общества, руководимого людьми — иной раз и специалистами, но чаще простыми неглупыми людьми, по какому-нибудь случаю заинтересовавшимися вопросом о сообразности каких-нибудь выводов какой-нибудь теории с общеизвестными фактами и с правилами здравого мышления. — Франция, Германия, Англия уж давно стали передовыми странами. Самолюбие тех наций отразилось на их специалистах. И во всех специальностях изобретены учеными тех наций теории в пользу их соотечественников и всего принадлежащего их соотечественникам. Так явилась общая всем трем нациям теория о превосходстве климата их стран, — всех трех вместе над климатами всех других стран, — и климата каждой из трех над климатами двух остальных. Общая формула этой теории такова: лишь в Западной Европе на север от Пиренеев и Альпов природа благоприятствует высшему развитию человеческой жизни. У каждой из трех наций есть своя особенная прибавка к этому, — в таком вкусе:

(французская прибавка). Вообще, да; но к северу от Франции климат делает людей тяжелыми, неуклюжими; а на восток от Франции, — тоже. Потому англичане и немцы, конечно, лучше других народов, но сравнительно с французами они плоховаты. Люди в высшем смысле слова только французы; немцы и англичане полулюди, полускоты; об остальных народах и толковать нечего: они все скоты, а не люди.

(немецкая прибавка). Об англичанах сходно с французским рассуждением. О французах: «на юго-запад от Германии климат делает людей пустоголовыми, ветреными. Потому французы тоже полускоты подобно англичанам. Люди в истинном смысле слова — только немцы».

(английская прибавка). Климат Франции — как в немецком рассуждении. Климат Германии — как во французском. Вывод точно в таком же вкусе, как у немцев о себе, у французов о себе. Процедура простая: «мы — лучше всех». Кто «мы» — это все равно: «мы», — то, разумеется: «мы — лучше всех».

Не все немецкие, французские, английские ученые рассуждают по этому рецепту. Исключения есть. Но масса ученых в каждой стране рассуждает именно так. Она лишь переключивает на ученый лад невежественный говор своего национального самодобия.

Делается это без размышлений, как мычит корова, и отвечает ей мычаньем ее сестрица или дочка, другая корова.

Но во всех трех странах общая нота мычанья одна и та же: на север от Пиренеев и Альп самые лучшие в свете страны, населенные самыми лучшими из людей.

Нельзя слишком строго порицать их за эту теорию. Они действительно лучше испанцев, итальянцев, отставших от исторического движения под гнетом своих несчастий: испанцев погубила чрезвычайно долгая война с завоевавшими их страну африканцами; пока шла война, они занимались чем было неизбежно: войною; кончилась война, они остались непривычными ни к чему, кроме войны, и пали, изнуренные усилиями одолеть всех остальных европейцев: они хотели завоевать Италию, Германию, Францию, Англию. Успели завоевать Италию, — но французы и англичане забили их, раздраженные ими. Это произошло в XVI и XVII столетиях. От тогдашнего изнурения испанцы еще не успели оправиться; едва, едва лишь начинают оправляться. — Впрочем, по их мнению, самые лучшие люди — это они; только их переделка общей глупости никому не занимательна, кроме них; потому что они уж через меру плохи.

То же и об итальянцах. Они, по их мнению, тоже — самый первый народ в целом свете. Но тоже так плохи, что никому, кроме них самих, не любопытно вслушиваться в их умную речь о своих достоинствах. Они отстали от исторического движения почти так же далеко, как испанцы, хоть прежде были много, много впереди французов, немцев, англичан. Их судьба стала слишком тяжела очень давно: все грабители, какие бывали кругом них, с наибольшею охотою шли грабить именно их, потому что они были богаче всех. Пока ходили грабить их лишь немцы с французами, или лишь немцы с испанцами, они еще успевали отбиваться. Но когда все те три врага стали непре-

рывно, все трое, терзать Италию, изнемогла она. Это произошло в первой половине XVI столетия. Триста лет оставалась Италия, непрерывно все вновь терзаемая, изнемогшею. И оправляться только еще начинает.

Испанцы по природным дарованиям не хуже немцев, или англичан, или французов. Это мое мнение. И мнение всех беспристрастных людей. Но число таких людей ни в какой стране не велико. И большинство ученых трех передовых стран смотрят на испанцев свысока. Об итальянцах не отваживаются они судить так: более полуторы тысячи лет (со времен, более ранних, чем начало нашего летоисчисления, до времен более поздних, чем реформация, — до начала или даже до половины XVII столетия) итальянцы были учителя и немцев, и англичан, и даже французов, хоть французы под конец тех долгих веков, — с XIV или XV столетия, — были уж образованнее немцев и англичан. — Итак, нельзя говорить этим нациям, что итальянское племя ниже их собственного. Но они придумали вместо этой невозможности иную глупость: итальянцы отжили свое время. Пока живет какой-нибудь народ, он не отжил своего времени. И пока он будет жить, он будет жить. А как он будет жить, зависит от обстоятельств.

Теперь, повидимому, ход истории таков, что будут все лучше и получше жить — и испанцы, и итальянцы.

О русских, это несомненно, на долгие столетия вперед. Мы настолько сильны, что ни с запада, ни с юга или востока не может нахлынуть на Россию орда, которая подавила бы нас, как подавили в старину монголы, или по нашему названию, татары (орда Бату-Хана, отдел орды Джингиз-Хана).

Нам впереди на много столетий обеспечена счастливая доля делаться самим и устраивать свою жизнь все получше и лучше. Повидимому, будут поправляться и испанцы, и итальянцы.

Но теперь пока все три эти нации — наша, испанская, итальянская — действительно, менее хороши, чем те три, передовые. И в пошлом самохвальстве французов, немцев, англичан есть маленькая доля правды. — Надобно, впрочем, прибавить, что англичане, не имея в своем непосредственном соседстве ни нас, ни испанцев, или итальянцев, судят о наших трех нациях менее глупо, чем французы о двух из этих наций, соседних с Франциею; — и, подобно тому, не имея своими соседями нас, французы судят о нас менее глупо, чем немцы. Вещь натуральная: к дальним легко быть справедливыми.

И вот я кончил — изложение ли истории разных европейских наций? — нет, не о том шла речь; я кончил — разбор о медицинской теории, утверждающей, что холод не вреден. Всем естественным наукам и всего более самой медицине эта теория противоречит. Но медицина разрабатывается по преимуществу тру-

дами медиков передовых наций: немецкой, французской, английской (североамериканцы в научной деятельности еще остаются под влиянием англичан. Строить железные дороги или мосты они уж умеют сами не хуже других; но собственно научная деятельность у них еще слишком не обширна, и их ученые еще как будто лишь маленькая колония английских ученых. Это даже и в юридических вещах, которые труднее поддаются чужому влиянию, нежели, например, медицинская).

Итак: медицину разрабатывают люди таких стран, где много холода; как же не будет медицина защищать и даже превозносить холод? — Что за важность, противоречие всех медицинских фактов этой похвале? факты остаются без внимания, и потому противоречия с их стороны нет.

Возвращаюсь к тому, с чего начал: в моих медицинских рассуждениях неизбежны бесчисленные ошибки. Я охотно отказываюсь от всякой своей мысли о собственно медицинских подробностях вопроса. Но сущность вопроса — не специальная медицинская. Так я охотно признаю неизмеримое превосходство всякой кухарки надо мною во всяких вопросах кухонного искусства: — я не знаю его и не могу знать его, потому что для меня тяжело видеть не только красное сырое мясо, но и мясо рыбы, сохраняющей свой натуральный вид. Мне жалко, почти стыдно. Ты помнишь, всегда я ел за обедом очень мало. Ты помнишь, я наедался досыта всегда не за обедом, а раньше или после, — наедался хлебом. Мне неприятно есть мясо. И это было у меня с детства. Я не говорю, что мое чувство хорошо. Но таково оно от природы. А потому нет на свете человека, менее чем я знающего кухонное искусство. Так. Но готовый уступить всякой кухарке во всяком кухонном вопросе, я скажу однако: если бы кто вздумал утверждать, что пища не нужна человеку или что человек может питаться глиною, песком, кирпичами, — то я, конечно, разбил бы в пух такого мыслителя, будь он какой угодно ученый и искусный повар. Это уж не кухонный вопрос. — Так и с моим спором против мысли, будто бы холод не вреден человеку. Это не медицинский вопрос. И в нем я сильнее всякого медика, потому что если медик думает об этом не одинаково со мною, то лишь потому, что не понимает дела.

Я изложил, в чем дело. Мнение о безвредности холода — искажение всех научных данных, или, проще, полное забвение о них под влиянием национальной амбиции немцев, французов, англичан; у нас под влиянием, главным образом, немецкого видоизменения этой общей всем тем трем нациям амбиции.

Само собою разумеется, ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии огромное большинство медиков не знает происхождения теории, о которой я говорю. Само собою разумеется, они предобрисовестно воображают, будто она основана на чем-то медицинском. Но это обыкновенная судьба специалистов: все им

известно, кроме основных законов их специальности. Эти законы берутся на веру из ходящих мнений. Справедливо ходячее мнение — специальность основывается на истине; ложно оно, то она основывается на вздоре.

Надоел я тебе, мой милый дружок. Но это не помешало бы мне продолжать. Я продолжал бы свое надоедание, если бы не было уж пора отдать письмо на почту.

Я хотел написать детям. Нет, уж не успею. Отложу до другого раза. Целую их. — Успею написать им строки по две, по три.

Разумеется, я совершенно здоров. Живу очень хорошо.

Целую твои ножки, моя милая Лялочка. Умоляю тебя: послушайся же меня, решишь проводить всякую зиму в Южной Италии.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая радость. Будь здоровенькая, и все будет прекрасно. Твой *Н. Ч.*

616

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[15 июня 1877.]

Милый мой дружок Саша.

Я получил книги, посланные тобою мне: «Жизнь Белинского», «Русская история в жизнеописаниях», 6 выпусков; «Землевание и земледелие» князя Васильчикова, 2 тома. От всей души благодарю тебя за каждую из них.

За третью из них в особенности много благодарен тебе, потому что присылка ее — дело заботливости твоей выбрать книгу именно по моему вкусу. Так. Но прости за невежливую прибавку: это очень давний мой вкус, и давно он прошел у меня. Эти предметы перестали занимать меня. Я увидел, что они мелочны. Важность не в этих специальностях, а в общем характере обычаев. У дикарей, как ни устраивай какую-нибудь сторону быта, быт будет все-таки плохой. У народов, желающих жить, как живут люди, а не дикие животные, всякий частный недостаток бытового устройства исправляется без больших хлопот собственно о его исправлении. Итак: все сводится к вопросам не материального, а нравственного порядка.

Не подумай, что я не хвалю книгу князя Васильчикова. Она прекрасна. И автор ее — человек истинно благородной души. Но предмет книги не занимателен для меня.

К истории я не охладел. И мое мнение о тех двух других книгах совершенно одинаково с твоим.

Жму твою руку, мой милый друг,

(Без подписи)

Милый мой друг Миша,

Прости меня за то, что не успел написать тебе. Я начинал раза три или больше, — дней пять или шесть писал; но — вышло так длинно и скучно, что я бросил те листы. Что за охота мучить тебя диссертациями о греках и римлянах? — И без того они, я полагаю, надоели тебе. Жаль, что всю молодежь учат их языкам, которым должны учиться лишь немногие специалисты, как учатся санскритскому или еврейскому. Языки эти (латинский и греческий) лишь внушают отвращение к народам, говорившим ими. А народы эти достойны любви. Особенно греки. Писать ли тебе о них? Или, в самом деле, тебе опротивели они из-за пустого мучения над их ненужными этимологиями, синтаксисами и словарями? — Я долго ненавидел и греков и римлян, понявши, сколько времени понапрасну ушло у меня на эти ненужные знания.

Целую тебя. Твой Н. Ч.

617

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Виллюйск. 7 июля 1877.

Милый мой дружок Оленька,

Готовлюсь праздновать день твоего ангела в уверенности, что ты исполнишь мою неотступную просьбу, отправишься на зимнюю половину года в Южную Италию, или, еще лучше, на южный берег Сицилии, или в Андалузию.

Много раз я излагал, насколько умею, подробные доказательства необходимости теплого климата для хорошего, прочного восстановления твоего здоровья. Конечно, я делал при этом очень много ошибок в мелочных подробностях. Невозможно без того: я несколько не интересовался никогда не только медициною, но и вообще естествознанием, как специальным предметом занятий, и у меня под руками нет справочных книг. Но мои ошибки могли быть лишь в мелочах. До сущности мыслей они не относятся. Предметы моих ученых занятий были очень далеки от естествознания, как особенного отдела науки. Но, по связи всех отделов науки между собою, мне для моих ученых занятий необходимо было иметь отчетливое знание об основных законах и важнейших фактах всех отделов науки. Потому, что касается основных законов и важнейших фактов естествознания, они известны мне в такой степени, что мои сведения о них не менее ясны, чем у кого бы то ни было из ученых, специально занимающихся каким бы то ни было отделом естествознания. И если кто из специалистов стал бы спорить со мною об этих основных законах и важнейших фактах, то он неизбежно был бы

принужден признаться, что в чем расходился с моими понятиями, в том он ошибался. Двадцать лет тому назад лишь очень немного из натуралистов держались того способа понимать предметы естествознания, какого держался уж и тогда я. Теперь этот способ понимания признан всеми хорошими натуралистами за единственный правильный. И если кто из них по какому-нибудь важному вопросу еще был бы расположен думать не так, как велит логика и думают великие ученые, мысли которых хорошо изучены мною, это значило бы только, что тот натуралист еще не доучился. — Перехожу к сущности моих мыслей:

Холод вреден здоровью. Сырость вредна здоровью. Комнатный воздух всегда менее хорош, чем воздух открытого пространства. Теплота от печей — теплота дурного качества. Хороша лишь теплота от солнца. Одежда тем менее вредна здоровью, чем она просторнее и легче. Всякая плотная, тяжелая (теплая) одежда очень вредна здоровью.

Пока силы здоровья крепки, человек без заметного расстройства здоровью переносит вредные влияния холодного, сырого, нечистого воздуха, тяжелой одежды и т. д., подобно тому как без заметного расстройства здоровья такой человек ест гнилую пищу, может пьянствовать, может пить настойку из ядовитого мухомора, может курить опиум, — и мало ли какому вреду подвергать себя без заметного расстройства здоровья? Но эта кажущаяся безвредность вредных вещей здоровому человеку лишь кажущаяся. Наука доказывает, что на деле это не так, что эти вещи не безвредны и самому здоровому человеку. Например: если бы пьяница, остающийся здоровым, не пьянствовал, то он был бы более здоров. То же и о гнилой пище, и обо всем вредном. Никому из людей оно не безвредно. От него уменьшается здоровье.

Но пока достает силы, пьяница переносит вред пьянства и т. д. То есть, переводя тот же способ рассуждения на вредное влияние холода, сырости и т. п., получаем:

Пока человек крепок здоровьем, он может выносить холод и т. п.

А когда здоровье ослабело? — Надобно устранить вредные вещи.

То есть: например, пьяница, если стал болен, должен ли перестать пьянствовать? — Кажется, да.

Кто ел гнилую пищу, должен ли, если стал болен, отказаться от нее и пользоваться исключительно свежей пищею? — Да, это, кажется, необходимо для восстановления его сил.

То же ли и обо всяком другом вопросе подобного характера.

Если кому из медиков не понятно, каков необходимый ответ, медику этому надобно поучиться, — и он поймет, что:

при всяком продолжительном расстройстве здоровья полезно переезжать из страны, где осень, зима, начало весны — холодны, в такую страну, где холода нет, чтобы человек мог:

проводить много времени на открытом воздухе; жить в комнатах без печей, с постоянно раскрытыми окнами, и иметь на себе лишь самую легкую одежду.

Надоел я тебе, мой милый друг, повторением все одного и того же. Но, умоляю тебя, исполни мою просьбу, отправляйся на зимнюю половину года в теплый климат. Крым, даже самые южные места нашего Закавказья имеют зиму все-таки недостаточно теплую. Ближе Южной Италии нет страны, достаточно теплой.

Целую детей. Если успею, напишу по несколько строк им. Не успею, то прошу их простить меня.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая голубочка.

Будь здоровенькая, и все будет прекрасно.

Я совершенно здоров. Живу хорошо. Денег у меня много. Всяких вещей, какие нужны для удобства жизни, тоже очень много, — больше, нежели необходимо мне.

Целую твои ножки, моя милая Лялочка, умоляю тебя, исполни мою просьбу, отправляйся в теплый климат. Твой Н. Ч.

618

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

7 июля 1877.

Милый мой друг Саша,

В прежних моих письмах к тебе были у меня дурные суждения о твоих бывших профессорах, на которых я досадовал за их педантизм. Вероятно, я огорчил тебя этими суровыми словами о людях, повидимому, пользовавшихся твоим уважением. Прости меня, мой друг.

Прости и за всякие другие неприятные вещи, какие могли, — по моему неумению сообразить, что они могут огорчать тебя, — попадаться в моих письмах к тебе.

Математики я не знаю. Если прежде писал тебе о ней, то лишь для смеха себе самому над собою и для забавы тебе. Хочешь, буду сколько угодно потешать тебя своими восхитительными математическими трудами. У меня в голове много их. Но не для смеха я не в состоянии трудиться на пользу математики. А кроме нее, какие есть у тебя ученые пристрастия, не умею я догадаться. — Впрочем, если тебя интересуют исключительно те отделы науки, которые уж поддались математическому анализу, то, разумеется, и ни о чем из интересного тебе в науке я не могу иметь удовлетворительных для тебя знаний. — В таком случае надобно мне будет в письмах к тебе заниматься лишь житейскими рассуждениями о том, как идут твои

дела по устройству твоей карьеры. И ты напишешь мне, как идут они.

Итак: прости меня за те огорчения, какие могли быть для тебя в моих письмах, и напиши, как устраиваются твои житейские дела.

Жму твою руку, мой друг. Твой *Н. Ч.*

619

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

7 июля 1877.

Милый мой друг Миша,

Думал было я рассуждать с тобою о древней истории; думал было рассуждать об истории средних веков. Но сообразил: едва ли продолжают эти вещи оставаться наиболее интересными для тебя отделами истории. Ты говорил, что очень занимают тебя некоторые вопросы из истории средних веков. Так. Но то было писано тобою давно. Вероятно, тогда приходилось тебе заинтересовываться ими по порядку твоих гимназических занятий. А теперь по тому же порядку, вероятно, привлекли твое внимание уж какие-нибудь другие предметы занятий. Какие именно? — Я не знаю.

Если тоже по части всеобщей истории, то я гожусь быть собеседником твоим в ученом вкусе. И некоторыми другими из нравственных наук случалось мне заниматься.

Но естественными науками я никогда не занимался. И если иногда толковал о них в письмах к тебе или твоему брату, то лишь для того, чтобы ознакомить Вас с моими понятиями о науке вообще, а никак не для того, чтобы рассуждать собственно о естествознании, как о специальном отделе науки. Я хотел тогда лишь показать Вам, что хоть я и не согласен с некоторыми из мнений, введенных в моду некоторыми из нынешних натуралистов, то лишь по моей верности духу естествознания; я более верен основным истинам естествознания, чем эти натуралисты, — вот все, что хотел объяснить я Вам тогда. Я неизменно верен этим истинам естествознания. Но оно не предмет моих ученых занятий. Невозможно ж быть специалистом по всем специальностям вместе. Прошу тебя быть уверенным лишь в том, что в моих мнениях о вопросах истории ли, другой ли какой из наук, бывших предметами моих ученых занятий, не может быть ничего несогласного с истинами естествознания. Это на случай, если я в каком-нибудь из писем к тебе или к Саше примюсь попрежнему бранить и осмеивать каких-нибудь нынешних натуралистов: я всегда браню и осмеиваю их лишь за их неверность духу естествознания.

Итак: о чем из какой науки писать тебе?

Жму твою руку, мой друг. Твой *Н. Ч.*

Е. Н. ПЫПИНОЙ

19 июля 1877 г.

Милая сестра Евгеньичка,

Давно я не был ничему так рад, как твоему письму, и никому не был так благодарен, как тебе.

Всему, что ты пишешь о болезни Оленьки, я безусловно верю.

Я много раз писал Оленьке о надобности для нее жить в теплом климате. Я полагал, что ее медик не разделяет этого моего мнения. И в этом предположении я много нападал на этого медика.

Я вижу из твоего письма, что мое предположение было несправедливо. Если что-нибудь из моих нападков на медика Оленьки стало известно этому лицу, скажи, что я извиняюсь и прошу прощения.

Медик — женщина, говоришь ты. Да, Суслова, писала мне Оленька уж и прежде. И всегда хвалила ее.

Я видел Суслову однажды; она была ребенок, лет пятнадцати, вероятно, не больше. Она тогда очень понравилась мне скромным и умным выражением лица.

Я знаю, что она медик очень хороший. Но я полагал, что она немножко последовательница теории о безвредности холода. Вот все, что я имел против нее. И ошибался, — очень рад.

Болезнь Оленьки не была опасна. Я знал это. Но продолжительная болезнь изнуряет организм и т. д. и т. д. — известно, что из того следует по физиологии. С этой точки зрения, очень расстраивала мои мысли болезнь Оленьки. И необходимость теплого климата остается все та же, хоть опасности не было ли, или не будет и вперед.

Ты говоришь: «главная причина болезни — нравственная, а не физическая». Да. И главная помеха лечению — нетерпеливый характер Оленьки. Разумеется, да.

Оленька прежде обижала твоего брата вспышками несправедливой досады; тоже и тебя, и даже Поленьку, которая как-то успевала получше всех вас ладить с нею. — Это бывает, конечно, и теперь. Благодарю тебя и Поленьку и братьев за то, что вы терпеливо извиняете Оленьке все ее вспышки досады.

Ты говоришь: она без знания языка, без привычки к чужим обычаям соскучилась бы за границею. Да, если будет чувствовать себя больною или слабою силами. А если климат восстановит ее силу, то она умеет забавлять себя как маленькая резвая девочка.

Сущность всего дела о ее здоровье это моя непригодность зарабатывать деньги.

Но довольно писать на этот раз. Пора отправить письмо на почту.

Благодарю тебя. Целую твои руки.

Целую сестриц и братьев.

Дяденьке и тетеньке напиши, что они стали мне будто родные отец и мать. Благодарю их и Вареньку за их добрую заботливость об Оленьке. Целую руки у тетеньки и дяденьки и у Вареньки.

Целую тебя.

Будь здорова. Твой *Н. Ч.*

621

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вилюйск. 19 июля 1877.

Милый мой дружок Оленька,

Очень порадовала ты меня известиями, что твое здоровье поправилось.

Теперь перестану надоедать тебе моими, полными ошибок, медицинскими рассуждениями.

Ты знаешь, весной здесь почти невозможен проезд по дорогам, и это тянется очень много недель. Потому почта долго не приходила; а пришедши, спешит отправиться назад в Якутск, потому что по летней дороге, при всей торопливости, не скоро доберется до Якутска.

И я едва ли успею написать тебе в этот раз больше одной страницы. И, вероятно, не успею написать детям.

Я получил твои письма от 19 февраля, от 16, от 20 и от 27 марта, от 16 и от 29 апреля, и от 4 мая; получил и приписки детей к этим письмам.

Я здоров, как нельзя лучше и желать. Живу очень хорошо.

Да, пора отдать письмо на почту.

Радуюсь, моя милая голубочка, что твое здоровье стало недурно. Но заботься, чтоб оно оставалось хорошо.

Целую детей. Пусть простят, что не пишу им.

Целую твои ножки, моя милая Лялечка. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, и все будет прекрасно.

Тысячи и тысячи раз обнимаю и целую тебя, моя радость.
Твой *Н. Ч.*

622

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вилюйск. 1 августа 1877.

Милый мой дружок Оленька.

Казак, случайно и неожиданно отправляемый в Якутск, должен так спешить, что я успею написать тебе лишь несколько слов.

Я совершенно здоров.
Живу хорошо.
Заботься о твоём здоровье.
Детей целую.
Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая радость, Лялочка.
Целую твои ножки. Будь здоровенькая. Твой Н. Ч.

623

НЕИЗВЕСТНОМУ

Милостивый государь
Алексей Панкратьевич!

Будьте так добры потрудитесь вытребовать у г. заведующего аптекой записку о том, имеются ли в аптеке какие-нибудь антискорбутные средства (то есть по-русски это будет: какие-нибудь лекарства от цынги), и если есть, то какие именно.

С истинным уважением имею честь быть
Ваш покорный слуга Н. Чернышевский.
5 августа 1877 г.

Р. S. Эту мою записку Вы передадите г. исправнику для того, чтобы он оставил ее при деле.

624

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вилюйск. 14 августа 1877.

Милый мой дружок Оленька,

Не помню, когда писано мое предыдущее письмо к тебе; но, кажется, прошло с той поры уж много времени. Потому, как обыкновенно делаю при случаях долгих интервалов между отправками почты отсюда, напишу тебе лишь несколько строк, чтобы скорее могло быть получено тобою новое мое уведомление, что мое здоровье остается попрежнему очень хорошо.

Нынешним летом я несколько раз купался в реке, хоть лето было не обильно теплотою. Это купанье в воде, очень прохладной, оказывалось безвредным для меня. В том я вижу доказательство, что мои силы крепки.

Да и вообще с той поры, как живу здесь, я ни на один день не имел ни малейшей, — ни охоты, ни надобности, — держать себя сколько-нибудь подобно больному. Я непрерывно чувствовал свое здоровье крепким.

Заботься ты о своем здоровье, моя милая голубочка: у меня только и мыслей, что все об одном и том же: каково-то твое здоровье?

Будь оно хорошо, и я буду совершенно счастлив.

Живу я очень комфортабельно. И денег у меня много.

Ни в каких вещах я не нуждаюсь: всего, что нужно, у меня изобильный запас.

Например: у меня три хорошие шубы. И все другое, нужное, у меня в таком же избытке.

Целую Сашу и Мишу.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Лялечка.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, и все будет прекрасно.

Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

625

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Вилюйск. 14 августа 1877.

Милый мой друг Саша,

Благодарю тебя за письмо от 13 мая, содержащее медицинские советы для меня, за лекарства и за медицинские книги, отправленные мне тобою одновременно с тем письмом. Ящик с лекарствами я уж получил. Книги получаю, вероятно, со следующей почтою.

В ящике я нашел:

три бутылочки «сложной тинктуры хины», *Tinctura chinae composita*; — и —

две баночки «бромисто-камфарных пилюль Клэна», *Dragées au bromure de camphre du docteur Clin.* — Об этих пилюлях будет написано дальше; а сначала поговорю о той тинктуре.

Я стал принимать эту тинктуру с того же дня, как получил. И выпью все три бутылочки до конца. Итак, речь будет не о том, буду ли я пить ее: — пью и выпью всю; — речь лишь о том, много ли пользы принесет она мне. Я полагаю: очень мало.

Я нашел в той фармакологии, которую ты прислал мне прежде, — именно, в *Handbuch'e Rosner'a* и *Simon'a*, 4 издание, 1862 года — я нашел в ней «сложную тинктуру хины». *Tinctura chinae composita seu Elixir robogans whytlîi*. Конечно, это та самая тинктура, которую прислал ты.

Вот состав ее:

3 доли (по весу) хинной коры

1 доля померанцевой коры

1 доля корня Генцианы и, приблизительно, тоже одна доля корицы (по расчету выходит немножко меньше корицы, чем одна доля; но это неважно).

В тинктуру переходят, разумеется, лишь растворимые части этих ингредиентов; пусть вес этих частей не идет в счет веса тинктуры; буду считать лишь энергию их.

Эти ингредиенты растворены в: 8 частях воды и
16 частях спирта
итого 24 доли веса

Те шесть долей вовсе не ввожу в состав делителя: надобно бы делить больше чем на 24 (всех долей будет: $3+1+1+1+8+16=30$). Ты видишь: от слишком большой пропорции уменьшения делителя сила действия каждого ингредиента тинктуры будет выходить выше действительной пропорции. Но все равно: цифры, хоть и выше действительных, выходят ничтожны, ты увидишь: эта тинктура — лекарство очень слабое.

Важнейший ингредиент его — хинная корка. Сколько ее в унции тинктуры? — 3 доли из 24 долей; то есть: одна драхма (ты помнишь: делитель больше чем 24; и, собственно говоря, хинной корки приходится меньше одной драхмы на унцию тинктуры. Но считаем целую драхму).

Сколько хинина и других алкалоидов содержит эта драхма? — это дело случая: в ином куске хинной коры 8% алкалоидов, а в ином меньше чем 2%, а в ином лишь неуловимая пропорция, — то, что называется «лишь следы», — нечто вроде 0,00001%.

Но будем считать, что все куски коры имели баснословно богатое содержание алкалоидов; это будет 10%. Итак, количество алкалоидов в одной драхме коры, или в одной унции тинктуры, будет равно 6 гранам.

Какими дозами принимается тинктура?

«Два раза в день, именно после обеда и после ужина, по 25 капель».

Капля тинктуры считается за половину грана (та фармакология, страница 523). Итак, 50 капель = 25 гранов.

Итак, приемание одной унции = 8 драхм = 480 гранов растягивается на 19 дней.

Сколько же алкалоидов приходится на день? — по маленькой доле грана в сутки. Хинин сильнее остальных алкалоидов хины. Но пусть будет все равно: будем считать всю массу их за хинин.

Считая в унции 6 гранов алкалоидов, будет меньше, чем $\frac{1}{3}$ грана в сутки.

А на самом деле, вероятно, меньше $\frac{1}{5}$ доли, быть может $\frac{1}{10}$ доля грана.

Остальные ингредиенты все вместе составляют лишь количество, равное количеству хинной корки.

Все три эти ингредиента — корица, померанцевая корка и корень Генцианы — принадлежат к разряду веществ гораздо менее энергичных, чем хина.

Сила действия всех, взятых вместе, незначительна перед энергиею равного сумме их веса хины.

Конечно, и они оказывают некоторое действие при употреблении этой тинктуры; но собственно лекарственная сторона этого их действия по ничтожности их суточных доз так мала, что ее вовсе не стоит брать в соображение. Больше важности имеют они в том смысле, что заглушают вкус хины. Если они вводятся в тинктуру с этою целью, они хорошо исполняют свою роль.

Но для кого нужно, чтобы вкус хины был заглушаем? — Лишь для людей, которым вкус хины — нестерпимая вещь. А я не чувствую ни малейшего отвращения от вкуса хины. Я могу есть хинный порошок все равно как сахар, — крупинка за крупинкой.

У каждого организма есть свои вкусовые особенности. Хинин я ем без неудовольствия. Но, например, от корицы меня тошнит. Ее вкус в той тинктуре заглушен хинином, генцианою, померанцевою коркою. Потому я пью эту тинктуру как воду: капля за каплею и, вдобавок, облизываю остатки на ложке. Но будь слышен вкус корицы, со мною делалась бы рвота.

Возвращаюсь к единственному ингредиенту тинктуры, могущему иметь сколько-нибудь важное лечебное действие при ничтожности тех доз, в каких принимается эта тинктура, — возвращаюсь к хинину.

Я принимал по 10 гранов присланного тобою соляно-кислого хинина; принимал день за день, пока съел 12 драхм. Осталось у меня 4 драхмы. Я рассудил, что необходимо приберечь их на могущие быть случаи лихорадки. Потому и прекратил эту еду по 10 гранов. А будь у меня побольше в запасе, то продолжал бы есть. И, вероятно, мог бы съесть такими дозами хоть целый фунт, хоть два фунта, без всякого вредного последствия. Мой организм очень легко переносит хинин. Во все то время, как лечился такими дозами, я, разумеется, очень внимательно наблюдал, не тяжело ли это желудку или нервам. Нисколько.

Это хорошо было, что не было вреда. Но и пользы тоже никакой это лечение не принесло.

Итак: 12 драхм хинина, по 10 гранов в день, были съедены без пользы. Чего же ждать от этой тинктуры? — Ровно ничего нельзя ждать. Сколько фунтов ее нужно взять, чтобы количество хинина в них равнялось 12 драхмам соляно-кислого хинина? — фунтов 10 или 20? — И эти дозы по 50 капель в день, что они значат перед теми 10 гранами?

Мой милый, дело просто и потому понятно мне, — вероятно, и тебе, хоть мы не знаем медицины.

Против ревматизма, поддерживаемого климатом, никакие лекарства не помогут.

Впрочем, никакую опасностью моему здоровью мой ревматизм не грозит. Я соблюдаю всевозможную осторожность и умею заглушать боль от этой болезни. Полагаю, что удастся мне и не допускать болезнь развиваться. Потому бросим говорить о ней.

Буду пить тинктуру, и выпью всю. И пусть это будет похвально.

Но вот что не похвально: я не буду принимать другое лекарство, присланное тобою. Не могу отважиться на употребление препаратов брома, пока не знаю, чем предотвращается или преодолевается параллельный «иодизму» «бромизм».

Весною прошлого года я пробовал принимать *kalium bromatum*. И должен был бросить лечиться им.

Чтоб эта история не показалась тебе страшнее, чем действительно была, — а была она очень не страшна и нисколько не важна, — я предварительно расскажу тебе о том, как заживают у меня самые ничтожные повреждения кожи порезом или обжогом.

Два года тому назад, ставивши молоко в печь, я немножко обжег руку, вершках в двух выше кисти. Мясо не было повреждено. Я обжег лишь кожу. Длина обжога была вершка полтора; ширина, в самом широком месте, гораздо меньше половины вершка. — Итак, обжог был совершенно ничтожен? — Да. И не потребовал ни малейшего лечения: через пять минут уж не чувствовал я и боли. И зажил обжог сам собою. Но заживал он — целые три недели. Рана оставалась чиста; никакой склонности к тому, чтобы загноиться, она не обнаруживала. И заживала непрерывным, ровным, хорошим ходом. Только — длилось это заживанье три недели, когда следовало бы ему совершиться — дня в два, и то уж долго; — следовало бы зажить в одни сутки. — И месяцев четырнадцать оставалось заметно красное пятно на том месте. Так медленно достигала возродившаяся кожа нормальной плотности. Я понимаю это таким способом: состав крови у меня остается неиспорчен, насколько может он оставаться неиспорченным при ревматизме, зобе и скорбуте. Но кровь очень скудна пластическими элементами. Неиспорченность состава крови я вывожу из того, что обжог не гноился.

Других таких повреждений кожи, как от этого обжога, — обжога ничтожного, — я не имел в эти двенадцать лет. Я очень неловок; но я помню это, и я очень осторожен в движениях. Например, когда я режу хлеб, я веду нож очень тихо; и нож у меня тупой. Поэтому хоть я, когда режу хлеб, нередко порываю себе руку, но это едва заметные глазу царапинки, не идущие даже и сквозь хотя бы только всей кожи. Это лишь чуть-чуть повреждается ее роговой слой. И все-таки эти почти

незаметные царапинки берут на свое заживанье по несколько дней, а краснота на том месте, если по своей величине может быть замечаема зрением вначале, то остается заметна две, три недели.

Не подумай, впрочем, что я чрезмерно слаб; нет; я слаб, это правда; но не очень слаб. Могу итти без отдыха часа полтора. Могу ли дальше? — Не случалось пробовать. Но, вероятно, могу. — Кстати: я пишу твоей маменьке, что в теплое время года гуляю весь день с утра до ночи. Это — очень крупное преувеличение, имеющее своим оправданием необходимость успокаивать твою маменьку за мое здоровье. Я гуляю полчаса или час перед обедом и час или полтора после обеда; и в таком размере прогулки мои уж едва выносимая скука мне. Я терпеть не могу ни прогулок, ничего подобного. И тоже кстати: не вздумай соглашаться с медиками, которые, разумеется, скажут, что я должен иметь больше моциона, чем делаю. Мотив — дело, полезное здоровью. Но чрезмерность насилия над своим характером приносила бы моему здоровью больше вреда, чем доставлялось бы пользы от увеличения моциона.

И начинаю повесть о своем лечении бромистым калием.

Я получил его в начале марта прошлого года. Стал принимать, как ты писал: по 2 грана, — (и 1 гран хинина) — три раза в день. Когда я принял 52 или 54 грана бромистого калия, выступили у меня на ногах, и на плечах, и на руках красноватые припухлые пятна, с сильнейшим зудом. Я не знал до той поры, что бром производит это. Через неделю все прошло. Я пропустил еще месяц и возобновил лечение бромом в прежнем размере. Те симптомы бромизма возобновились, когда я принял 28 или 30 гранов. Исчезли через полторы или две недели. Я пропустил еще месяц и стал принимать уже не по 6, а лишь по 4 грана бромистого калия в сутки. Когда принял 12 гранов, те пятна возобновились; стали многочисленнее прежних. Держались месяца полтора. Исчезли. Но после них осталось множество мелких язвочек около колен на обеих ногах и на четверть вверх и вниз от колен. Я не лечил этих язвочек: я не знаю, чем их лечат; и не знаю, следует ли их лечить, или надобно ждать, чтобы они исчезали сами собою. Я рассудил, что при этом незнании будет безопаснее ждать, чтобы они исчезли сами собою. Понемножку они и стали исчезать. Через полгода их осталось с десяток. А теперь остаются только три; одна на правой ноге, пониже колена, и две на левой, на таком же месте. Через месяц или через полтора заживут и эти язвочки. О них не стоит думать.

Склонности к нагноению ни в одной язвочке не было.

Я полагаю, что вся эта история была нисколько не важна. То, что язвочки заживали очень медленно, вещь натуральная при такой бедности крови пластическими элементами, какую обнаружил тот обжог.

Дело понятное, что я не решусь вновь употреблять бромистый калий, или присланные теперь тобою бромисто-камфарные пилюли, пока не случится мне узнать, какими средствами предотвращается или, если не предотвращается, то хоть излечивается бромизм.

А возобновить лечение бромистым калием я желал бы. Я вижу: этот препарат — вещь очень хорошая.

Жаль только, что мой организм оказался так мало способен выносить бром без профилактических или антидотных средств.

Зато он превосходно переносит железные препараты: так же, как переносит он хинин.

Однажды, — года три тому назад, случилось мне достать унции полторы или две углеродного железа, 2 или $1\frac{1}{2}$ унции, не знаю: я не взвешивал. И я ел его, не заботясь делить на определенные дозы: сколько случится взять концом ножа, столько и съем. Иной раз, грана 3, быть может; иной раз, гранов 15 или и 20. Съел все. Ни малейшего обременения желудка, ни малейшего действия на нервную систему не замечал.

Съел все и пожалел, что нет больше.

Прошлою весною случилось достать драхмы две водородного железа. Я ел его бережливо, потому что его было мало. Взвешивать дозы находил напрасным педантством.

Нынешнею весною достал и съел около 4 драхм (тоже водородного) железа. На этот раз я взвешивал дозы, потому что в то же время ел и хинин, — то уж за один раз, кстати, развешивал и железо, хоть это и лишний труд.

На-днях, вероятно, получится в аптеке опять водородное железо. Буду принимать его по 1 грану в день, как велишь ты. Это доза слишком малая для меня. Но все равно: по 1 грану в день, не больше того, то пусть будет так.

Я всегда предполагал, что во мне остаются следы скорбута. Теперь ты написал, что петербургские медики сказали тебе, что у меня, вероятно, есть остатки скорбута. Когда так нашли они, не знавшие, что я предполагаю то же, то не подлежит сомнению: скорбут во мне есть. И я буду лечиться от него. — В аптеке нашлось 3 драхмы виннокаменной кислоты. Я ем ее понемножку. На-днях аптека получит новый запас лекарства. И я буду есть эту же кислоту, или лимонную, или что другое подобное, — что из такого будет иметь аптека.

Овощей здесь очень мало. Но какие можно достать, буду есть. Впрочем, их недостаток и неважен благодаря тому, что здесь растет брусника. Через месяц она созреет, и я буду постоянно употреблять ее. Тогда, вероятно, найду излишним принимать виннокаменную или лимонную кислоту: вероятно, и одной брусники будет достаточно, чтобы подавить во мне остатки скорбута, не очень сильные, сколько я могу судить.

Мне велят через тебя пить спирт (водку, например, если не

виноградное вино). Если найду необходимым, то буду. Но пока не вижу необходимости в том. Мой желудок слаб, это правда. Но я держу его в совершенном здоровье. Потому он и не нуждается, я полагаю, в каких [нибудь] подкрепляющих средствах, — например, ни в спирте, ни в генциане и померанцевой корке, которые входят в состав той «сложной тинктуры хины».

Я не знаю и не имею желания знать, кто те медики, с которыми ты советуешься о моем лечении. По дельности их советов и по совершенной правильности их диагностических соображений я вижу: это медики превосходные. И для моего знания о них больше ничего не нужно. — Но хоть они и превосходные медики, все-таки надобно же сказать:

наверное, никто из них никогда не лечил меня;

и, по всей вероятности, никто из них ни разу не выдывал меня в глаза;

потому нимало не предосудительно для них, если они делают кое-какие ошибочные предположения об индивидуальных особенностях моего организма; такими ошибками я считаю: их опасение, что хинин и железо могут быть тяжелы для меня. Нет; я человек от природы слабосильный; и я уж старик; это правда; но по индивидуальным особенностям моего организма я могу безвредно пожирать самые сильные дозы хинина, — и, вероятно, всяких других алкалоидов, — и всяких железных препаратов. «Желудок у меня слабый». От природы, да; очень слабый. И уж старый. Стало быть, тем еще хуже. Но я никогда не имею нужды в лекарствах собственно для желудка. Я берегу свой желудок очень успешно. Он никогда не подвергается ни малейшему расстройству. И это очень легко мне соблюдать: я не имею ни малейшей склонности ни к гастрономии, ни к какому подобному вздору. И я всегда любил быть очень умеренным в еде.

Еще ошибка в суждениях тех медиков: «железо, может быть, слишком возбуждает его нервы». — Я человек хилый от природы. Но тоже от природы: нервы у меня крепки, как у самого толстолобого медведя или слона. Расстроить их было бы трудно мне, если б я хоть весь мой век пьянствовал. Я никогда не испытывал головной боли. Это ощущение неизвестное мне. Когда я очень сильно угорал в бане, я чувствовал тяжесть в голове, но боли не чувствовал.

Какое же действие могут иметь на такие нервы железные препараты или хинин? — Никакого. Или вот другой факт, тоже вроде незнакомства с ощущением головной боли: в первый раз, как случилось мне курить, это случилось так, что мне предложили крепкую сигару, полагая, что, как всякий в тогдашние мои лета, уж давно привык я курить. Я не сумел, или, вернее, не посмел отказаться; я подумал: «отказ примут за притворство и за обиду». Взял сигару и стал курить, — и ровно ничего не чувствовал, будто давно привык курить крепкие сигары.

Но, — наоборот: самое легкое вино тяжело действует на меня; не на нервы, — нет, — но на желудок, и уж через него на весь организм: нервы остаются спокойны, но весь организм ослабевает, занемогает. Так было лет двадцать пять тому назад, когда я, молодой человек, робкий, принимал иной раз предлагаемую мне рюмку, не смея обидеть отказом. Так ли было б и теперь, не знаю. Вероятно, так же или и хуже. А тогда от рюмки водки у меня иной раз ровно ничего не бывало, а иной раз, по два, по три дня бывали спазмы желудка. Но, быть может, я и сумею, если будет необходимо, постепенно приучить свой желудок к спирту. Да, полагаю: сумел бы. Но повторяю: не предвижу надобности в том.

Еще ошибка: «быть может, он иногда страдает бессонницею». — Я ложусь спать вообще в два часа ночи. Как лягу, тотчас же сплю. Просыпаюсь в 11, в 12 часов. Снов не вижу. Стало быть, сплю крепко. Когда случится, увлекшись чтением, пропустить обычный срок и лечь спать, например, в 4 часа ночи, то четверть часа лежу прежде, чем засну; четверть часа, — меньше этого нельзя и желать никому в случае подобного рода. Но, уснувши позднее, позднее и проснусь; проспую восемь или девять или десять часов, и проспую крепко.

Будь здоров, мой милый. Благодарю тебя за заботливость обо мне. Прошу верить: хоть я старик и от природы хил, и хоть теперь у меня есть и ревматизм, и зуб, и остаток скорбута, но все это нимало не представляет опасности для близкого будущего; что будет через несколько лет, того нельзя предвидеть и медику; но за близкое будущее я не опасаюсь, и можете не опасаться вы, мои милые: я еще поживу на свете.

И прибавить ли? — Я жалею, что, поверив одному из навещавших меня медиков, вообразил, года три тому назад, будто бы мне нужно лечиться.

Надобности в том нет. И тогда не было.

Мои болезни вовсе не такие, чтобы необходимо было лечиться от них: достаточно было бы и того, что я живу, соблюдая требования гигиены и остерегаясь всяких случайностей, могущих содействовать развитию той или другой из моих болезней.

И эти болезни, — хоть некоторые из них и мало уступают лекарствам, оставались бы, — как остаются, — не развивающимися, не представляющими опасности, — оставались бы такими и без лекарств.

Верь этому.

И перестанем переписываться о моих болезнях: не важны они, и не стоит ни писать, ни думать о них. И прошу тебя: не присылай мне никаких лекарств.

Жму твою руку. Твой И. Ч.

А. Н. ПЫПИНУ

14 августа 1877.

Милый Сашенька.

Целую ручки у Юлии Петровны, или, лучше, у Юленьки и обнимаю тебя.

Письмо мое от 16 января было к Саше, а не к тебе. Тебя я называю «Сашенька», а не «Саша», его «Сашенькою» никогда; всегда «Сашею». Я не хотел вызывать тебя на переписку со мною. Прибавка на адресе того письма значила только, что Иван Григорьевич не должен упоминать Оленьке об этом письме: там были такие выражения о состоянии ее здоровья, которые не годятся для передачи ей.

Но ты полагаешь, что я должен переписываться с тобою. Изволь, отвечаю тебе. И уж все равно, отвечаю и Евгеньичке.

Я получил с этою почтою два твои письма: от 12 апреля и от 14 мая. Во втором пишет мне и Евгеньичка. В ответе ей ты найдешь все мои мысли о здоровье Оленьки и о ее неровных и несправедливых отношениях к тебе. В ответе собственно тебе поговорю обо всем остальном, прочтенном мною в твоих письмах.

Ты был болен. Простуда или какой другой повод к твоей болезни — лишь мелкая случайность, по которой проявилась болезнь. Причина твоей болезни — изнурение твоих сил чрезмерною работою. Тяжело тебе содержать два семейства, свое и мое. Разумеется, в мыслях об этом самая важная сторона моих дум.

Стал ли хоть Саша сам содержать себя? Он пишет, что получает 50 рублей в месяц. Мог бы содержать себя. Но, судя по его письмам, он еще ребенок. И я опасаясь, что он тратит свой доход на ребяческий вздор.

Ты пишешь: «Саша желает сражаться с турками. Но военная администрация очень неохотно принимает просьбы желающих быть волонтерами». — Она поступает разумно. Война — дело серьезное. А волонтеры видят в ней забаву. Потому они лишь мешают, путают, портят. Они — элемент безрассудства, не поддающегося дисциплине. Дисциплина — основание всему в хорошем войске. Без нее войско — толпа, непригодная для войны.

Саше я ничего не пишу о его дикой фантазии быть волонтером. Отказано ему, или принят он, — дело теперь уже решено; и поздно, напрасно было бы огорчать этого ребенка моими суждениями о нелепости его ребяческой затеи.

Быть волонтером — это прихоть, простительная лишь в людях с богатым состоянием. А Саше следует думать лишь о том, чтобы зарабатывать себе кусок хлеба. В какую сумму рублей обошлась бы тебе его пустая забава, если она осуществи-

лась? — Как он не подумал о том, что не годится ему так прихотничать?

Верю тебе, что он неглупый юноша, с хорошим сердцем. Но он ребенок.

Изнуряет тебя чрезмерность работы. А я хоть постоянно работаю с утра до ночи, не чувствую усталости. Мое здоровье понемножку ослабевает. Но медленно. И работа не имеет ровно никакого вредного действия на него. Я бык, слабосильный от природы, и уж старый; но я работаю как бык: мне все равно, сколько времени работать без отдыха.

И когда бы можно было печатать, что я пишу, тебе можно было б отдыхать. Я пишу все романы и романы. Десятки их написаны мною. Пишу и рву. Беречь рукописи не нужно: остается в памяти все, что раз было написано. И как я услышу от тебя, что могу печатать, буду посылать листов по двадцати печатного счета в месяц.

Но когда это будет?

Ты пишешь: если бы я прислал тебе сборник якутских сказок, вероятно, можно было бы напечатать. — Я ни слова не знаю по-якутски. И в русском пересказе никогда не случилось мне слышать никакой якутской сказки. — Я и прежде редко с кем здесь видался. Здешние люди добры, как везде добры люди; но они мало образованы. Потому я очень скучал беседами с ними. А теперь вот уж несколько месяцев я вовсе не вижусь ни с кем: сказал без церемоний этим добрякам, но невеждам, что я человек, не имеющий праздного времени, что я им бесполезен, они — скучны мне, потому прошу их не бывать у меня и не ждать меня к себе; а встретимся на улице, то поздороваемся, и — довольно того будет и для них и для меня.

Я лечусь по мере возможности. За то, что ты посылаешь мне лекарства, благодарю. За медицинские книги тоже. Советы медиков, передаваемые тобою или Сашею мне, я строго исполняю. Объяснения моих болезней, сообщенные мне через тебя медиками, я нахожу совершенно справедливыми. Лимонадных эссенций или порошков и тому подобного ребяческого вздора для услаждения языка пусть не присылает Саша. Что за ребенок он!

О том, что я получил твою «Биографию Белинского», я уж писал Саше. И так как ты сам заговорил теперь о ней, то я позволю себе сказать: я согласен с тобою во всем, в чем ты поправляешь мои прежние мнения о Белинском, о Гоголе, о русской литературе вообще.

В «Отечественных записках» я, разумеется, читал стихи Некрасова, говорившие, что он, хилый и страдающий тяжкою болезнью, ждет смерти. Я видел, что это не прикрасы для поэтичности мыслей, а фактическая истина. Но я желал сохранять надежду и отчасти успел было убедить себя, что он еще поправится: я думал, это просто старческая хилость; она для него еще

преждевременна; и, быть может, медикам удастся сладить с нею. Глубоко скорблю, прочитав, что смерть была уж неотвратима и близка, когда ты писал твоё второе письмо; если, когда ты получишь моё письмо, Некрасов ещё будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов.

Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И, как поэт, он, конечно, выше всех русских поэтов.

Целую тебя, мой милый. Будь здоров. Твой Н. Ч.

627

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

30 августа 1877. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Благодарю тебя за радостное мне известие, что твоё здоровье поправилось. Умоляю тебя заботиться о том, чтобы начавшееся восстановление твоих сил продолжалось и упрочилось. Избавлю тебя на этот раз от моих медицинских рассуждений и, сообщивши тебе обыкновенное моё уведомление о себе, что я совершенно здоров и живу хорошо, поговорю с тобою о наших детях.

Я полагаю, что в эти прошлые месяцы я наделал много огорчения Саше моими презрительными отзывами о том, чему он учился в университете. Как быть, я человек не светского воспитания и не умею выражаться с такою деликатностью, какая хороша в подобного рода беседах отца с сыном.

Поэтому вздумал я, что будет лучше, если я изложу в письме к тебе мои советы детям. Ты будешь передавать эти мои мысли им, смягчая выражения, чтобы не огорчались наши с тобою добрые юноши.

Характер школьного преподавания — сухое, тупоумное педантство. Это почти неизбежно так, по самой сущности дела. Кому не надоест десять, двадцать лет толковать, год за год, все одно и то же? — Учитель, профессор почти всегда занимается своим делом с отвращением; и, для облегчения своей тоске, заменяет науку пустою формалистикою. А вдобавок обыкновенно и глупеет от глупой скучности своего ремесла.

Это лишь одна из причин пустоты школьного учения. Есть много других причин, содействующих происхождению того же результата. Из этого множества упомяну лишь о двух вещах.

Профессия преподавателя — одна из наименее выгодных между карьерами, представляющимися образованному человеку. А известно: масса людей, идущих по невыгодной карьере, составляется из людей, неспособных итти хорошими карьерами. Даровитые люди уходят из учительства на службу по другим министерствам или идут в адвокаты, в сельские хозяева, в купцы и в тому подобные профессии, более живые, обещающие или более почетную, или более богатую будущность дельному человеку. Толочь воду с ребятишками в школах остаются по преимуществу люди, не пригодные ни к чему, кроме толчения воды.

Другое обстоятельство находится в связи с этим пренебрежением умных людей к школьной пустой скуке. Дела, важные и занимательные для общества, совершенствуются сообразно развитию наших знаний и общественной жизни. Серьезно хлопотать над улучшением школ почти никому из умных людей нет ни охоты, ни досуга. И школы остаются до сих пор почти в таком же положении, в каком были триста лет тому назад, когда устраивал их в протестантской Германии Меланхтон, и, по его примеру, немножко перестроили их его друзья в протестантской Англии, а для соревнования с протестантами перестроили иезуиты школьную часть в католических странах.

По тогдашним обстоятельствам и надобностям те школы были — хороши ли? — не очень; да и для тогдашнего времени они были не очень разумны. Но все-таки не вовсе бессмысленны. Например: целью этих школ было, главным образом, приготовление священников. И курс преподаваемых наук был более или менее пригоден для формирования священников. У католиков все религиозное основано на знании латинского языка. Иезуиты и учили больше всего латинскому языку. У протестантов священники должны толковать о религии по греческому подлиннику Нового Завета, а не по латинскому переводу его, как у католиков. Поэтому в немецких школах очень много учили и греческому языку (латинский был и для протестантов необходим, потому что все ученые книги писались тогда на нем). Чтобы католические священники были не вовсе безоружны в спорах с протестантами, цитирующими Новый Завет по-гречески, иезуиты должны были ввести в свои школы и греческий язык. По этим двум примерам можно судить и о других предметах преподавания в тогдашних школах. Школьные программы тех школ были не бессмысленны: порядочно годились для тогдашних школьных надобностей.

Теперь те ли надобности? — Но ни у французов, ни у немецов, ни у англичан школы еще не отделались от тех программ. Повсюду гимназии и соответствующие им училища (например, «Лицеи» и «Коллегиумы» у французов) остаются имеющими такие программы, которые должны быть названы программами духовных семинарий, а не светских училищ.

Довольно этих трех причин плохого достоинства школьного преподавания. Есть много других причин. Но из того, что уже сказано мною, достаточно ясно:

• Школьное учение очень недостаточно для юношей, желающих быть образованными людьми.

Польза от школ есть. Но она происходит не от того, чему учат в них. — Родители, отдавая детей в школу, освобождают детей от обязанности выработать хлеб. Преждевременная работа изнуряет. Гимназист или студент — ребенок или юноша свободный, сравнительно с другими мальчиками или юношами, от которых родители требуют денежного заработка. Это важно. Другая польза: учащиеся мальчики или юноши толкуют между собою о науке, о книгах: друг друга возбуждают к чтению, к размышлению, объясняют друг другу, что кому из них случилось понять. Это тоже очень важная польза.

Но собственно преподавание в школах вообще пустая схоластика, ни к чему не пригодная, кроме того, чтобы утомлялись, засаривались вздором и вследствие того притуплялись умы бедняжек, дрессируемых педантами-учителями, каковы почти все учителя или профессоры.

Есть знаменитое имя: «Бэкон Веруламский». Его очень многие воображают отцом новой науки. Он был человек довольно даровитый. Но не особенно. Лишь в одном он был очень ловок: в мошенничестве. И он сумел обокрасть нескольких прежних замечательно умных людей так ловко, что его книги, выкраденные из чужих трудов, кажутся его собственными учеными трудами. Больше всего наворовал он из книг своего однофамильца, жившего гораздо раньше, Роджера Бэкона. Роджер Бэкон был действительно великий ученый и очень умный человек. И очень хорошо судил о школах. Его слова о них часто цитируются. И, вероятно, известны нашим с тобою детям. То, что говорил Роджер Бэкон о школьном преподавании тех времен, совершенно прилагается и к школам нашего времени, — не к нашим только, но и к немецким, и к французским, и к английским.

Конечно, я говорю о школах для «общего образования», каковы гимназии и университеты. Специальные школы могут быть и менее непригодны для своих специальных целей, чем эти «общие школы» для целей «общего образования». Надобно лишь сделать ту оговорку, что специальное образование имеет очень мало цены, если не основано на общем. — Саша и Миша сделали хорошо, что предпочли гимназию и университет специальным школам, которые не могут заменять собою общеобразовательных школ.

Но и в гимназиях, в университетах, при всем их превосходстве над специальными школами, преподавание далеко не имеет такого характера, чтобы давать в самом деле порядочное образование.

Все это — предисловие к моим советам Саше и Мише. Оно вышло длинно. И времени до отправления почты остается мало. Вероятно, мне удастся поговорить в этом письме лишь о первом из моих желаний, относящихся к образованию наших с тобой детей.

Этот первый мой совет им: пусть они позаботятся выучиться хорошо говорить на трех важнейших языках ученой литературы, — на французском, на немецком и на английском; и пусть привыкают читать книги на всех этих языках.

Дело в том, что русская литература до сих пор еще очень бедна... это не литература, а несколько книг ученого содержания. И почти все эти немногие наши ученые книги относятся только к русской истории или к истории русской литературы.

Но у нас есть много переведенных с французского, немецкого, английского ученых книг? — По нашей крошечной мерке счета количество этих книг велико. Но наша мерка слишком мала. Число этих книг очень невелико, если считать соразмерно с нашими действительными надобностями, а не с нашими миньютюрными понятиями о количестве книг, необходимом для удовлетворения нашим надобностям.

И очень многие отделы науки остаются не имеющими ни одной порядочной хоть бы и переводной книги.

Надобно прибавить: почти все те из серьезных ученых книг, которые переведены на русский язык, более или менее изуродованы в переводе.

Словом: наша переводная научная литература очень жалкая.

И потому кто хочет быть человеком серьезного образования, не может удовлетворяться ею.

Но с каждым годом она пополняется? — Да. Но ход ее пополнения менее быстр, чем ход научной деятельности в Западной Европе, так что мы не нагоняем, а отстаем.

«Пора спешить», твердили мы. Но не спешим, а медлим; и отстаем.

Довольно на этот раз. Надобно отправить письмо на почту.

Ты сумеешь, мой милый друг, передать те мои мысли детям так, чтобы не показались они обидны юношам, конечно думающим о своих школьных успехах не без удовольствия. Удовольствие это и справедливо в том отношении, что успехи приобретаются настойчивым, тяжелым, честным трудом.

Но если наши дети хотят быть людьми в самом деле образованными, они должны приобретать образование самостоятельными занятиями. И необходимейшею подготовкою для возможности приобретать его должны быть усердные занятия французским, немецким и английским языками. Все три эти языка необходимы потому, что каждая национальность имеет свои недостатки, для исправления которых нужно знакомство с национальностями других народов.

Напишу по несколько строк Саше и Мише на особом листке.
Целую твои ножки, милая моя радость.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, и — я буду счастлив.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Лялечка. Твой *Н. Ч.*

628

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Вилюйск. 30 августа 1877.

Милый мой друг Саша,

Поздравляю тебя с днем твоего праздника. Надеюсь, что твоя жизнь идет хорошо. Очень, очень обрадовал ты меня известием, что нашел себе занятие, дающее кусок хлеба.

Спешу отдать письмо на почту. Твой *Н. Ч.*

629

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

[30 августа 1877. Вилюйск.]

Милый мой друг Миша,

Каково-то ты поживаешь? Скоро ли, по твоим расчетам, кончишь гимназический курс? Что думаешь делать после того? Поступишь в университет? По какому факультету?

Поздравляю тебя с днем твоего праздника.

Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

630

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

20 сентября 1877, Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил твое письмо от 29 июня. Благодарю тебя за него, моя радость.

Твое здоровье хорошо, — говоришь ты. Верю, что действительно так чувствуешь ты состояние его. Но после таких долгих и тяжелых страданий, каким подвергалось оно, необходимо, для прочного восстановления сил, продолжительная, энергическая заботливость о том, чтобы организм не подвергался никаким вредным влияниям. Поэтому повторяю мою прежнюю просьбу к тебе: старайся устроить себе такой образ жизни, какой наиболее хорош в гигиеническом отношении.

Я хотел бы снова пуститься в длинное медицинское рассуждение об этом. Но чувствую себя не в состоянии сделать это: мои мысли беспрестанно вовлекаются в раздумье о том, жив ли, цел ли Саша, и уцелеет ли он?

Ты написала в том твоём письме, что он отправляется в действующую армию. Это было написано — вот теперь уже два с половиною, — больше, — почти три месяца тому назад. И, когда я прочел это твоё известие, Саша, по всей вероятности, уж находился в действующей армии.

Что писать о чувстве, которое владеет мною с той минуты, как я прочел это твоё известие? — Отцовское чувство, обыкновенное, простое отцовское чувство, одинаковое с материнским. И нечего больше объяснять его.

И само собою разумеется: душа моя станет спокойна лишь тогда, когда я услышу от тебя, что Саша возвратился с войны жив и цел.

О Мише я не хочу думать, что и он отправится на войну. Хочу думать, что у него нет этой мысли.

И не в состоянии я писать ничего больше в этот раз.

К тому времени, как будет отправляться следующая почта, я буду, вероятно, больше, чем теперь, владеть моими мыслями. А теперь пока плохо, плохо владею ими.

Но, само собою разумеется, это лишь душевное страдание, а не физическое. Я здоров, как нельзя и желать лучше.

Целую Сашу и Мишу.

Целую тебя, моя милая Лялочка.

Будь здоровенькая.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

631

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вилуйск. 20 октября 1877.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил письма твои и Сашины от 27 мая, от 29 июня, от 4 и от 27 июля, от 8 и 10 августа. Получил и фотографическую карточку Саши.

Благодарю тебя за эти письма и за карточку.

О том, что Саша пожелал участвовать в войне и выхлопотал себе разрешение поступить в действующую армию, скажу опять лишь только то, что говорил в прошлом письме: душа моя успокоится только тогда, когда я получу известие, что Саша возвратился с войны здоров и цел. Ничего больше не в состоянии я писать об этом.

Благодарю Мишу за то, что он послушался тебя и остался

продолжать курс в гимназии. И прошу его думать только о том, чтобы, кончивши курс в гимназии, поступить в университет.

На другом листке я перечисляю книги, которые получил от него (или от Саши).

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо. Денег у меня много. Прошу тебя, моя милая голубочка, не присылать мне ни вещей, ни денег; я имею в избытке все, нужное для комфорта.

Каково-то будет твое здоровье в эту зиму, милый друг мой? — Думаю об этом. Думаю о том, цел ли Саша.

И не в состоянии писать ничего больше.

Целую детей.

Будь здоровенькая, моя милая Лялочка. Крепко обнимаю тебя, моя милая радость, и тысячи и тысячи раз целую твои ножки. Твой Н. Ч.

Я получил:

Unserer Zeit от № 10, 1875, до № 3, 1877.

Origines de la France, par Taine.

Voyage aux pays annexés, par Tissot.

Lettres de mon moulin, par Daudet.

Patricia Kemball by Lynn Linton.

The two destinies by Wilkie Collins.

Учение о пище, Пэви.

Тот номер (январь, 1877) Военно-медицинского журнала, где помещена «инструкция для охранения здоровья чинов действующей армии».

Благодарю за эти книги.

632

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Виллюйск. 25 октября 1877.

Милый мой дружок Оленька,

Вот снова отправляется почта, и я снова пишу тебе, моя радость, постоянно хорошее, обыкновенное мое уведомление о себе, что я совершенно здоров, живу очень комфортабельно и имею в большом избытке все, что нужно для удобства.

И, — повторяю то, что говорил в моих предыдущих письмах: сильно тревожат меня мысли о тебе и о Саше.

Каково-то будет твое здоровье в эту зиму?

И где теперь Саша и что с ним?

Но хочу думать, что он возвратится с войны цел и здоров.

И хочу быть уверенным, что ты, моя голубочка, заботишься о своем здоровье, насколько это возможно при недостатке денег у тебя.

Благодарю Мишу за то, что он послушался тебя и остался

продолжать ученье в гимназии. Прошу его оставаться твердым в этом благоразумном послушании тебе.

И пусть будет довольно этого. Трудно было мне в предыдущих письмах сдержать себя от более подробного изложения моих мыслей о решении Саши отправиться в действующую армию. Трудно это мне и теперь. Но сдержал себя прежде. Сдержу себя и теперь. Трудно это. Но сдержу себя.

Целую Сашу.

Целую и благодарю Мишу.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Лялечка. Будь здоровенькая. Целую твои ножки. Твой Н. Ч.

633

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вилуйск. 19 ноября 1877.

Милый мой дружок Оленька,

Я совершенно здоров; живу очень хорошо; денег у меня много; много и всех тех вещей, какие необходимы для комфорта.

Это прекрасно. Но это имеет очень мало интереса для меня сравнительно с моими мыслями о тебе, моя голубочка, — как то было всегда, — и о Саше, как стало то со времени получения мною известия от тебя о его решении отправиться в действующую армию.

После известия от тебя получил я письмо об этом и от самого Саши. Давно уж. После того три раза отправлялась отсюда почта, и три раза писал я тебе, мой друг. А на письмо Саши до сих пор не отвечал. Я чувствовал, что был бы не в состоянии отвечать ему так, чтобы мои слова не были огорчительны ему. Теперь напишу ему несколько строк. Ты, моя милая радость, увидишь, действительно ли удастся мне написать ему так, чтобы письмо было не горько для него. Я не хочу огорчать его. Если не достанет у меня силы написать ему хорошо для его чувств, — как буду стараться написать, ты, моя голубочка, удержи у себя, не отсылай Саше мой ответ ему. Я не хочу ни в каком случае огорчать Сашу.

Напишу несколько слов и Мише. Мишу я хвалил каждый раз в тех грех письмах к тебе и писать к нему мог бы в каждый из тех трех раз, не опасаясь сказать что-нибудь неприятное ему, потому что он в самом деле поступил достойно похвал, оставшись послушным тебе. Но я не хотел писать ему одному, — а написать Саше не имел силы.

Бедняжка Саша! — Хочу думать, что он возвратится с войны здоров и цел. Кроме этого, не хочу ничего думать о нем. Винить его я и действительно не виню.

Саша заставил меня много раздумывать о нем. Но еще больше, чем о нем, думаю и думаю я о тебе, моя голубочка. Как-ово-то выдерживает твое здоровье зиму? — день и ночь думаю об этом.

Будь здоровенькая, моя милая Лялочка.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая радость. Будь здоровенькая. Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

634

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Вилюйск. 19 ноября 1877.

Милый мой друг Саша,

Я получил письмо, в котором ты сообщаешь мне о своем решении отправиться в действующую армию. Я долго не отвечал тебе. Извини меня за это, мой друг.

Я человек миролюбивый. Разумеется, я знаю, что при настоящем состоянии человеческого развития неизбежны случаи драк между частными людьми, воин между государственными корпорациями. Но я человек миролюбивый.

Это, во-первых. Во-вторых: я отец тебе.

Так. Но, в-третьих: я человек, серьезно занимавшийся многими из исторических вопросов.

Нет надобности излагать чувства, которые были возбуждены твоим письмом во мне, как в человеке с данным от природы расположением характера и как в отце. Эти чувства понятны и без объяснений.

Но, быть может, не бесполезно будет, если я дам тебе понятие о тех мыслях, какие вызваны твоим письмом во мне, как в человеке ученом. Эти мысли совершенно независимы ни от моего личного характера, ни, в частности, от моего отцовского чувства. Ученый должен искать истину, ценить ее дороже своих личных желаний или отношений. Я всегда старался быть верен этой обязанности и давно достиг того, что, по силе привычки к тому, она стала легка мне.

И вот сущность того, что думаю я по поводу твоего письма, как ученый.

Двадцать лет тому назад было уж ясно, что отношения России к Турции раньше или позже приведут к войне. Это знали все. Знал и я. Когда ты стал, по своим летам, делаться способен понимать ученые рассуждения, я должен был писать тебе о том, как я, с ученой точки зрения, понимаю предстоящую России войну с Турциею. Я не писал тебе об этом. Я очень сильно виноват перед тобою, мой милый друг, что я не писал тебе моих мыслей о неизбежной будущей войне России с Турциею, — и что,

когда началась эта война, ты остался не имеющим той поддержки твоему размышлению, какую могли бы дать мои ученые исследования о характере того ряда фактов, к которому принадлежит нынешняя война.

Я очень виноват перед тобою. Прошу у тебя прощения, мой милый друг.

Жму твою руку.

Возвратиться с войны здоровому и целому — вот теперь единственное мое желание относительно тебя.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

635

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Вилуйск. 19 ноября 1877.

Милый мой друг Миша,

Благодарю тебя за то, что ты послушался твоей маменьки и остался продолжать гимназический курс. Прошу тебя поступить, по окончании его, в университет.

Много раз я писал тебе и твоему брату, что школы, в том виде как существуют, стали со времени изобретения книгопечатания уродливым остатком старины, вовсе не соответствующим тому способу учиться, какой дан дешевизною печатных источников знания. Но — это мысль ученого о том, что было бы возможно и удобно, если бы мысли образованного общества приняли направление, подобное новой дешевизне книг. Общество в четырехста лет еще не удосужилось подумать об этом. И дети, юноши остаются в том же положении, какое было до изобретения книгопечатания.

Это смешно. Это нелепо. Но это остается так. И пока факт остается, мы должны принимать его во внимание. Потому-то, каковы бы ни были мои ученые мысли о школах, все-таки я прошу тебя кончить курс в гимназии и поступить после того в университет.

Будь здоров. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

636

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

7 декабря 1877. Вилуйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я здоров, как нельзя и желать лучше того. Денег у меня много. Прошу тебя и детей, не присылайте мне ни денег, ни белья, и вообще никаких вещей: у меня есть в большом изобилии все, что нужно для комфорта. Я живу даже не без роскоши.

Все это попрежнему. — И дальше? — Тоже вперед знаешь ты, моя радость, все, что будет дальше.

Тревожат меня мысли о том, каково переносит зиму твою — достаточно ли окрепнувшее? — здоровье, — и, — здоров ли, цел ли Саша?

Саша полагал, что он поступил хорошо. Он ошибся. Больше ничего не хочу писать об этом. Я думаю, что для бедного юноши было бы слишком тяжело читать мои рассуждения об этом предмете. Быть может, не были бы они сообразны и с моим желанием не вводить тебя в огорчение. Потому-то избавляю от них и тебя, мой милый дружок, и Сашу.

И снова благодарю Мишу за то, что он удержался от желания последовать примеру Саши.

Итак: я успокоюсь за Сашу, когда прочту, что он возвратился с войны здоров и цел. Тогда изложу ему свои мысли о том, в чем он ошибся.

Ты видишь, моя радость: я не имею силы не продолжать огорчительных для Саши размышлений, если продолжаю писать. И, чтобы не продолжались эти рассуждения, надобно мне ограничить это письмо тем, что уж написано.

Будь здоровенькая, моя милая Лялочка.

Целую детей.

Крепко обнимаю и целую тебя, моя радость. Тысячи и тысячи раз целую твои ножки. Будь здоровенькая. Твой Н. Ч.

637

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

1 января 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Начинается новый год, и я в моих мыслях поздравляю тебя с его наступлением.

Пусть он будет хорош для тебя, моя радость.

Ты много, очень много порадовала меня тем, что твоё здоровье поправилось, как я прочел в твоих милых письмах от 7, от 13 и от 18 сентября и от 9, от 11 и от 13 октября.

Но в те месяцы, в России, холода ещё мало. Каково-то проводишь ты зиму, моя голубочка?

Прошу тебя, сделай над собой усилие и начни принуждать себя к развлечениям. После многолетней отвычки от них это, конечно, будет требовать от тебя энергического напряжения воли; и на первое время будет утомительно, скучно. Но лишь на первое время. Французы говорят: «от еды приходит аппетит». Притом же характер у тебя очень живой. Скоро ты преодолеешь утомление от развлечений, они станут занимательны для тебя, будут

рассеивать грустные мысли и благотворно будут действовать на твое здоровье.

При твоём живом характере развлечения необходимы тебе, чтобы твоё здоровье было хорошо. Всякий умный медик скажет тебе это. Да и сама ты знаешь, моя радость, что это так.

Прошу тебя, не пренебреги этими моими словами. Умоляю тебя, старайся быть веселенькою. У тебя сильная воля. Если серьёзно захочешь, то у тебя достанет энергии на то, чтобы заставить себя дойти до хорошего, спокойного и веселого настроения духа.

Возвращусь к этой моей просьбе в следующем письме. А на этот раз пишу коротко. С отправления прежней почты прошло уж много недель, и мне хотелось бы, чтоб это письмо поскорее дошло до тебя.

Думаю, что оно, такое короткое, успеет дойти до тебя ко дню твоего рождения. Прошу тебя, проведи этот твой и мой праздник весело и весело проводи все следующее время.

Благодарю тебя за то, что ты стараешься бодро думать о походной жизни Саши. Это ты делаешь прекрасно.

Пишу ему и Мише; лишь по нескольку слов, чтобы письмо шло к тебе скорее.

Целую их обоих.

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо. Всего, что нужно для комфорта, у меня в избытке. И денег у меня много.

Зима стоит до сих пор, по-здешнему, теплая. И, благодаря этому, я гуляю очень много.

Видишь: принуждаю ж я себя к тому, что полезно для здоровья. Гулять — этого я вовсе не желал бы. Ты знаешь: я терпеть не мог никаких прогулок. Но вот, гуляю.

У тебя характер энергичнее моего.

Пожелай же, моя радость, принудить себя к развлечениям и принудишь и они будут нравиться тебе, и здоровье твоё будет превосходное.

Будь же веселенькая, моя несравненная милочка, и всё будет прекрасно.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялочка.

Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

638

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

1 января 1878. Виллюйск.

Милый мой дружок Саша,
Поздравляю тебя со днём твоего рождения.
Желаю тебе возвратиться с войны целу и здорову.

Когда возвратишься, буду писать тебе длинные трактаты. А теперь тебе не до чтения ученых рассуждений.

Прошу тебя строго соблюдай в твоей походной жизни гигиенические правила относительно пищи, одежды.

Будь здоров, мой милый дружок. Целую тебя.

Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

639

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

1 января 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Миша,

Благодарю тебя за твои письма.

Удачные экзамены — вздор. Неудачные — тоже.

Ты не выдержал экзамена в это лето, — нет нужды. Важность лишь в том, что надобно продолжать учиться до окончания курса в университете. Прошу тебя оставаться неизменно твердым в исполнении этого твоего намерения и моего желания относительно тебя.

Собираюсь приготовить для тебя большое письмо об истории и о науках, особенно близко соприкасающихся с нею.

А пока жму твою руку.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

640

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

30 января 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Напишу тебе на этом листке лишь несколько строк и на обороте по нескольку слов детям. По обыкновению, думаю, что лучше так, когда прошло много времени с отправления прежнего письма. Повторение, что «я здоров», скорее дойдет до тебя.

Итак, я совершенно здоров. Живу хорошо. Денег у меня много.

Когда допишу это письмо, примусь переводить для тебя медицинскую статейку. Если успею кончить до отправления почты, то пошлю, вложив в другой конверт.

Все это прекрасно. Но каково-то переносит твое здоровье зиму? — Думаю и думаю об этом вопросе, разрешить который не так легко, как легко будет измарать мелкими уродливостями моей каллиграфии несколько листиков, переводя медицинские рассуждения.

О Саше тоже продолжаю подумывать. Вернется ли цел и здоров с войны?

И, таким образом, время у меня идет в размышлениях, — нельзя сказать: «незанимательных» для меня.

Здесь вся зима отличается почти непрерывною, необыкновенною, по-здешнему, теплотою. Ни разу не было больно лицу от ветра в лицо. Поэтому я много гуляю.

Целую детей.

О, моя милая, заботься же о своем здоровье. Прошу тебя, заботься.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя, моя милая радость.

Будь здоровенькая. И старайся развлекаться. Это будет полезно твоему здоровью.

Целую твои ножки, милая моя Лялочка. Твой *Н. Ч.*

641

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

30 января 1878. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша,

Собираюсь начать продолжения моих прежних ученых рассуждений с вами о всеобщей истории. В следующий раз, быть может, отправлю вам несколько листков их.

Не знаю только: сумею ли писать не так длинно, чтобы на нескольких листках не уместилось ничего цельного. Я пишу очень растянуто. Писать сжато умеют лишь хорошие стилисты.

Целую тебя, милый мой Саша. Каково-то поживаешь ты в действующей армии? — Много у меня раздумья об этом.

Желаю тебе одного: вернуться с войны целу и здорову.

Жму твою руку, мой милый друг. Твой *Н. Ч.*

Милый мой Миша, — ты пишешь, что любишь всеобщую историю. Привык ли ты читать книги на иностранных языках? — Это необходимо для всякого, желающего серьезно заниматься — какою бы то ни было отраслью знаний. — И, тем более, всеобщую историю, по которой, за времена нашей эры, важнейшие книги так многотомны, что вообще существуют только в подлиннике; переводы таких масс печатной бумаги стоили бы слишком больших издержек, которые не окупились бы: публика для таких переводов не существует; кто хочет читать такие вещи, почти все уж изучили язык подлинника. Итак: на каких языках ты легко читаешь?

Будь здоров, жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

30 января 1878. Вилюйск.

Милый мой дружочек Оленька,

Перевожу для тебя статью одного из очень известных и самых ученых, и, что еще лучше, одного из самых умных медиков Германии, откуда получается почти вся масса медицинского знания нашими хорошими медиками.

Автор статьи — тот Поль Нимейер, Paul Niemeier, другую статью которого я прежде послал тебе, — не в переводе, а в коротеньком извлечении, с длинными нападениями на одну из мыслей, попадающихся там у него несколько раз, — мысль о предмете, плохо известном немецким медикам, о зиме, которая у них в Германии такая, что по-русски не стоило бы и называть ее зимою. Это — октябрь средней России, ноябрь южной России: половина дней такая, что от 11 часов утра до 4, до 5 часов вечера здоровый человек может прогуливаться чуть не в одном белье. При такой зиме легко не понимать действие холода: и у нас, в России, в октябре холод лучше сырости; всякий рад, если видит поутру: «замерзла грязь! Ну, прекрасно!» — У них лишь высоко на горах, где нет больших городов, бывает зима в нашем смысле слова. А в горных деревушках зимой уж о холоде ли горевать медику! — люди живут, как бараны и овцы, в хлеве, и едят чуть не то же, что бараны и овцы. — В горах у немцев зимы, похожей на русскую, нет. Города стоят — на юге, в ложбинах между гор, на севере, где равнин больше, на низких местах равнин, где русла рек. — И немецкие медики были бы совершенно правы, если бы догадались выразиться так: «У нас в Германии зима очень дрянное для здоровья время. Но холода так мало у нашей зимы, что люди в эти месяцы страдают несравненно больше от сырости, чем от холода». А они фантазируют: «Холод не вреден».

Но довольно о тех моих нападках на Поля Нимейера. Поправляю ошибку в тех моих заметках: я не помнил тогда, что знаменитый, великий медик, однофамилец и, вероятно, родственник, друг и руководитель автора статьи Поля, Ф. Нимейер, уж умер. Это большая потеря для науки. (Я не помнил тогда, как читается это «Ф» — «Фридрих» ли, или иначе. Его звали «Феликс»). Ему было только еще 50 лет. Он отправился главным медиком — консультантом вюртембергских войск на войну. Должно быть, надорвался от чрезмерных трудов. Потому что вернулся домой в середине похода. Через два с половиной месяца умер. Он был одним из второстепенных, но сильных участников в деле пересоздания медицины, совершающегося по мыслям и трудам Фирхова. Он был родом из Магдебурга. Поль Нимейер живет в Маг-

дебурге. Тем вероятнее, что он родственник Феликса и ученик его.

Однако принимаюсь за перевод статьи Поля Нимейера. Она помещена в №№ 23 и 24 журнала *Unsere Zeit* за 1876 год.

Особенно нового в ней ничего нет. Но статья хорошая.

Популярная медицина и личная забота о здоровье.

Культурно-исторический этюд
Поля Нимейера.

«Ну, а если теперь вы спросите: в просвещенном ли веке мы живем? — Отвечать придется: нет, не в просвещенном; но желающем приобрести просвещение». — Эти слова кенигсбергского мудреца *, сказанные сто лет тому назад, еще не устарели, если применить их к среднему уровню знания в медицинских вопросах. Так я думаю. Это мнение может, на первый взгляд, показаться странно иному читателю, особенно такому, который с удовольствием чувствует себя обладателем множества общепонятных медицинских книг. Но их было много и во времена Канта. Передо мною лежит толстый том в 680 страниц, напечатанный в 1744 году, написанный франкфуртским медиком, доктором Бернером:

«*Medicus sui ipsius*, или Самому Себе лекарь, в каковом по разумным гигиеническим основаниям дается руководство, как всякому можно сохранить свое здоровье и с божиею помощью причастником стать долговременной жизни» **.

Да и сам Кант, по желанию Гуфеланда ***, издал в 1794 году книжку, о которой в предисловии говорит: «Это последние слова, сказанные нам человеком великого ума» ****. Заглавие книжки:

* То есть Канта, знаменитого мыслителя.

** Немецкий язык, старосветский. Я так и желал перевести.

*** Великого медика тех времен; автора знаменитой «Макробиотики», то есть «Науки жить долго».

**** То есть Гуфеландом. Но я не умею понять, почему Кант употребил такое выражение. Гуфеланд, вероятно, не собирался же тогда умирать. Ему было тогда всего лишь 32 года; и прожил он после того больше чем сорок лет; он жил до 1836 года. Или Кант выразился так по старинному изяществу слога, вместо того чтобы сказать: «Вот решительные окончательные убеждения Гуфеланда»? — Вернее, должно быть, предположить, что книжку издал Гуфеланд, и предисловие написано им, и «последние слова великого ума» — это говорится Гуфеландом о Канте. Кант был тогда уж человек глубокой старости. — Словом: или что-то перепутано Нимейером, или я не умею отгадать смысла фразы, взятой из предисловия без предыдущих и последующих слов, в которых ключ к ее смыслу. — Это примечание имело цель показать: я не периначиваю подлинника, перевожу с точностью. Но я делаю сокращения, когда можно выбросить длинноту, без изменения мыслей Поля Нимейера.

Решительно Поль Нимейер выразился неудачно по-немецки: «издал» — Кант; следовало сказать: «согласился» Кант, «чтоб он — Гуфеланд — издал его — Кантову — книжку» — или, вернее: «написал» Кант по просьбе Гуфеланда. — Таких замечок вперед не буду делать. Довольно для примера.

«О силе душевного настроения одолевать болезненные ощущения влиянием воли» *. И были уж за сто лет, как теперь, врачи *приобретавшие славу* популярными книгами. (Цитируются заглавия старых немецких книг; из одной приводится хорошая выписка о вреде корсетов. Ну, это для тебя лишнее: корсета у тебя, я думаю, нет. Ты и на балы ездила без корсета иной раз.) Была тогда и популярная медицинская газета, издававшаяся двенадцать лет и постоянно перепечатывавшаяся новыми изданиями: «Врач». Не для примера, как тогда писали, — нет, не для этого только, приведу «Сон» из этой газеты. Самые мысли «Сна» заслуживают, чтобы прочесть их:

«Однажды я во сне находился у большого рыбного пруда, кругом поросшего высокой травой. Между множества других рыб, резвившихся в этом пруду, увидел я кружок старых достопочтенных карпов, тесно сдвинувшихся головами и образовавших звезду своими хвостами; и легко понял, что они ведут разговор, медицинское совещание относительно воды пруда, которой никто из них не доволен. — «Нехорошо, — говорили они, — что мы так рано выпускаем наших малюток плавать в воде; потому что прохладность этой стихии деревянит их мускулы, вредит их росту и их здоровью». —

— «Да, примолвил один: — лучше нам будет воспитывать их на дне, в иле; потому что это: предохранение от простуды; притом не будут они подвержены течению воды, делающей нам всем столько вреда, потому что она, постоянно втекая в пруд все новая, постоянно холодит его, как ни согревай его солнце». — «А как нам быть с нашими больными? — спросил другой, — как их нам охранить от вредных влияний воды?» — После долгих рассуждений было в этом рыбьем совещании принято, наконец, три решения:

1) Молодые карпы должны в течение первого года жизни воспитываться на дне, в ямах в иле.

2) Заткнуть входы и выходы притока и истока воды.

* Это любимое мнение Канта. Он одолевал сильную зубную боль, углубляясь в соображения о своих философских задачах. И рекомендовал всем заглушать боль, усиленно сосредоточивая внимание на чем-нибудь постороннем боли. — Конечно, это действует лишь на боль от чисто нервных расстройств, как зубная боль, при которой вся беда лишь в раздраженности зубного нерва. И волю нужно иметь очень твердую. — Но вообще для быстроты улучшения здоровья средство, рекомендуемое Кантом, очень хорошо при всяких болезнях. И самый лучший способ тут:

развлечение; — человеку, желающему поскорее выздороветь, надобно немножко принуждать себя к чему-нибудь веселому при хорошем здоровье для этого человека, желающего выздороветь. Сначала это будет «веселье поневоле», то есть очень скучная вещь. Но от движения кровь дает более обильное питание нервам, человек чувствует себя наперекор своему нерасположению веселиться более бодрым, веселье приходит, — уж настоящее, хорошее, в самом деле веселое. И здоровье быстро крепнет.

Особенно это применяется к людям такого темперамента, как ты, моя милая радость.

3) Переселять больных карпов из пруда на берег, прикрывать их там илом, чтоб они до выздоровления жили вне воды.

Немедленно было приступлено к исполнению. Заткнули отверстие втока и истока. Два большие карпа своими широкими мордами стали подвигать третьего, больного, вперед к берегу, выпихнули на берег; тут он, несколько покорчившись, скончался. Я так раздосадовался на эту наивность, что хлопнул рукою по воде, распугнуть дурацкое сборище. — Я проснулся, крепко ударив рукою о скамью, на которой спал».

(Дальше следуют размышления пробудившегося, как похожи диететические правила у людей на эти мудрые мысли и дела карпов. Размышлений не стоит переводить: они наивны по обычаю того времени давать читателю все пережеванным. Но лишь в этом и старомодность. Язык — уж нынешний. Я по одному слову вначале подумал было: будут устарелые выражения. И перевел было то слово тоже обветшалым. Но нет: то была одинокая случайность. И я поправил в переводе: «резвились», по-нынешнему.

После этого маленького обзора той старины видно: Кант назвал свое время «непросвещенным» не по недостатку книг. Их было много. Они были энергичны, хороши. Но книги не мешали тогда, — как не мешают теперь, — носить корсеты. Опять о корсетах; лишнее для тебя, мой друг. Опять пропускаю. Разве приведу стишки: «Когда Адам увидел Еву, сказал: «Кость от кости моей» (ты помнишь: китовый ус — Fischbein, — «Кость»; и ждешь, — да, конечно: «А если бы кит увидел какую-нибудь нашу даму, воскликнул бы: «Кость от кости моей») *.

Перевожу дальше: «Корсеты с той поры не ослабели. А «воздухобоязнь» даже усилилась. Это объясняется словами Александра Гумбольдта: «Чтобы понять правду, нужно сто лет; начать следовать ей, нужно еще сто лет». Это, впрочем, отрадно: вот первые сто лет уж прошли. Стало быть, скоро и начнем. Оглянемся же, что сделано в прошлые сто лет для нашей подготовки к началу дела.

(Начинается обзор. Он имеет лишь историческую цель. Поэтому лишний для перевода.) Дошедши до нынешнего времени, Нимейер очень хвалит «Книгу о здоровом и больном человеке», Бокка. Она есть в русском переводе. Книга действительно хорошая. Я читал ее. Особенно важной не нашел. Но я не знал главной заслуги ее: она была первая такая. Уважаю Бокка, когда так. Книжка его — в духе Фирхова, вероятно. Но, кроме заслуги, что она первая такая, она, по-моему, все-таки: «так себе, хорошая книга». Конечно, стоит прочтения. Но вот это уж, конечно, несравненно лучше: популярные книжки и статьи о медицине и гигиене самого Фирхова. — Есть они в русском переводе? — Все, что переведено из Фирхова, популярное, прочти, моя радость, прошу тебя.

* Так расставлены скобки в рукописи. — Ред.

Фирхов — это человек необыкновенного ума и ученейший, гениальнейший из всех современных нам медиков целого света.

Французские популярные книги о медицине (по отзыву Нимейера, вероятно, немножко, но не совсем справедливому) далеко хуже немецких. Но две, три он очень хвалит. Особенно:

Entretiens familiers sur l'hygiène, par Fonssagrives.

Хороших английских популярных книг собственно о медицине, — «мне не попадалось», говорит Нимейер: все, какие знает он, плохи. Но чрезвычайно высоко ставит он книгу о воспитании детей и об уходе за больными знаменитой мисс Найтингэль, *Nightingale* — той, теперь старушки, которая преобразовала английские госпитали. Не знаю, правильно ли я перевел заглавие:

Notes on nursing, what it is and what it is not.

Англичане говорят «*nurse*» и о вынянчивании детей, и об уходе за больными.

Буквально будет:

Заметки об ухаживании... Что оно; и что не оно.

За кем же ухаживанье? За больными только? Или и за детьми? — Заглавие немецкого перевода: «Об ухаживанье за больными и здоровыми». Переводя по-русски точнее, должно быть, судя по этому, будет:

«Заметки об уходе за детьми и за больными; что́ это; и что́ не это».

Вторая половина заглавия: «Что это; и что не это», — английский оборот самого простого разговорного языка. Поэтому думаю, что книга написана самым простым языком.

Если книга мисс Найтингэль еще не переведена на русский, хорошо сделает, кто переведет.

То же и обо всем популярном о медицине, что написано Фирховым. Еще бы нет.

Книга Найтингэль «стоит целой библиотеки руководств. Наследный принц Германской империи и его супруга (дочь английской королевы) лично благодарили мисс Найтингэль».

Дальше следует обзор, где в Германии читаются хорошие лекции о гигиене; дальше маленький очерк того, что уж сделано для улучшения жилищ, воздуха и воды в городах; это все лишнее для перевода.

Затем следуют грустные шутки о том, как мало еще все мы думаем о сбережении своего здоровья, — и, например, какими отговорками мы увертываемся от людей, советующих нам побережь его. Это идет ко всякому, кто не впадает в противоположный грех, — кутаться и прятаться от всякого живого движения — воздуха ли, воды ли (при купанье). Идет, разумеется, и ко мне, хоть очень мало: у меня здоровье крепкое, и я, в самом деле, очень берегу его; но все-таки, чтобы побранить в числе всех и себя, переведу; — ох, не сумел утаить от тебя, моя радость: не о себе веду речь: о тебе.

«Надобно только послушать» — это буквально говорит Нимейер, — моего не будет ни одного словечка:

«Надобно только послушать, как рассуждают люди, и увидишь: не нравится им, что дважды два, это четыре. Например, вы говорите человеку, что сырость вредна. Он отвечает: «Э, как бы не так! Мой дедушка век сидит в своей сырой лавке, все торгует; и ничего ему». — Советуют маменьке, чтоб она поменьше вывозила дочку плясать всю ночь. Она отвечает: «Эти вещи мы знаем лучше вас». У женщины мигрень; ей говорят: «Поменьше пейте кофе или, лучше, вовсе бросьте». — «Вот пустяки! Моя прачка говорит, что ей пить кофе — самая здоровая вещь». — Человек засиживается по ночам в своем клубе, где духота, табачный дым; стал бледный; ему говорят: «Ложитесь раньше; каждое утро купайтесь», он отвечает: «Я в клубе всегда с дядею, ему уж 70 лет, — а взгляните, какой он здоровяк». Этим примерам нет конца».

Табаку ты не куришь; и кофе не пьешь много; но сырость — это хуже всякого табачного клуба; а ты не остерегаешься сырого времени года, — и холодного времени года, мой друг. Для осторожности мало того, чтобы не выходить на воздух в сырое время или зимою, не одевшись хорошо. Как ни берегись в сырой местности, сама местность вредна. То же и о морозе.

Пока здоровье хорошо, этот вред — мелочь. Но выздоравливающим людям надобно не подвергать ему себя.

Нимейер доказывает статистикою, что вредные вещи вредны. Дело известное. Переводить было бы лишнее. Переведу лишь одно место. Сколько мы вредим себе своею небрежностью о здоровье, можно сообразить по такому расчету. Кто доживает до 80 лет, доживает, по-нашему, до глубокой старости.

«А Бюффон, такой знаток жизни животных и жизни людей, и медик Флуран доказали, что всякое млекопитающее существо имеет от природы силу прожить в пять раз дольше, чем сколько времени растет. Человек растет, средним числом, до 20 лет. Стало быть, нам всем следовало бы доживать до 100 лет».

Ну, нет, не так. Нам следовало бы жить не так мало. Я помню цифры Флурана. Не в 5, а в восемь раз дольше времени нашего роста. И легко сообразить, что не меньше. Лошадь в 6 лет уж давно кончила расти. А если не заморит и не замучит хозяин, она живет больше 40 лет.

А растет человек, не до 20, а до 30 лет.

И выходит: нам всем следовало бы жить больше, чем по 200 лет.

Нимейер пользовался, вероятно, не довольно верным изложением работы Флурана. Да и не медик, а физиолог был Флуран. Быть может, он занимался и медициною. Не помню. Но знаменит он как физиолог.

Переведу еще:

«Как мы живем? — Вообразим себе растения, которым недостает света, воздуха, воды. Что ж, нужды нет, они будут кое-как жить».

«Наше воспитание уж отнимает у нас часть здоровья; а мы, когда уж сами могли бы подумать о себе, оставляем нашу жизнь итти так же нездорово» (это я сильно переменял в подборе слов; у Нимейера перебираются немецкие обычаи, не хуже и не лучше наших, но не совсем такие, как наши).

«Никто не может назваться живущим совершенно как следует в таком обществе, где есть чахоточные». — Это чистая правда: где некоторые люди рождаются чахоточными или наживают себе чахотку, там — то есть где? — везде, кроме немногих мест подле экватора, где живут цивилизованные люди, — климат требует осторожности, какой мы не хотим соблюдать; и обычаи общества нездоровы».

То есть: — как быть! — нам надобно, для здоровья, делать многое, что нам не хочется делать, и не делать многого, что привыкли мы делать. Например, надобно гораздо больше пользоваться чистым воздухом, чем привыкли мы, предпочитая, по дурному обычаю, наши комнаты хорошему воздуху, когда могли бы лишь спать в комнате; в средней России, это хоть и слишком мало месяцев, но все-таки пять, шесть месяцев.

«У здорового человека не только старость, но и самая большая дряхлость должна быть безболезненною». Я сократил слова. Но мысль та самая. Она справедлива.

И прибавлю: если мы хотим позаботиться, это не совсем неудободостижимо.

«Флуран говорит: люди не умирают, они убивают себя». *L'homme ne meurt pas, il se tue.* — Я не знал этих слов Флурана. Они очень верны. Будем же хоть немножко поменьше жестоки сами к себе.

«И старик, отец медицины, Гиппократ — (я замечу: действительно необыкновенно умный человек: в прошлом веке, при всем превосходстве нашего тогдашнего фактического знания над знанием его времен, медицина начала совершенно перерождаться, когда наилучшие из тогдашних медиков решились стать учениками того Грека, жившего слишком за две тысячи лет до них; — повторяю те первые слова перевода:)

«И старик, отец медицины, Гиппократ, внушал: «Болезни не падают на нас с неба, а развиваются из маленьких, ежедневных проступков наших», — то есть проступков против требований здоровья.

Дальше пересматриваются гигиенические правила некоторых народов древности. Из этого переведу — вещь всем известную:

«В Спарте все, от малых до старых, каждый день купались в реке и делали моцион».

А вот этот анекдот мне не был памятен. Дело в Спарте:

«Некоторый франтоватый молодой человек, господин Навк-лид, завел себе верховую лошадь, чтобы ездить, когда другие занимаются, по гимнастике, беганьем. И стал толстеть. Толстых там не бывало. И оттого, что он толстеет, поднялся такой скандал, что приговорили: отнять у него лошадь, с приказанием: не смей никогда садиться на лошадь».

Этот анекдот, разумеется, сказочный. Но он не дурен.

У Нимейера нет одной важной заметки: девушки и женщины в Спарте обязаны были заниматься такими же гимнастическими упражнениями, как мужчины. Поэтому, между прочим, они были такие хорошие кормилицы, что богатые семейства выписывали для своего ожидаемого малютки кормилицу спартанку из-за тридцати земель.

Спартакие нравы вообще дурны, с нравственной и умственной стороны. Собственно говоря, Спарта была вечным военным лагерем для всех без исключения. Но что нужно было для развития здоровья, было там соображено очень расчетливо.

«Кроме разве искусства летать по воздуху, все на свете мы постигли, все задачи разрешили. До такого совершенства во всем дошли мы. И цветы у нас растут махровые, всякого цвета, какого захотим. И лошади-то у нас чудесные. Только о самих себе у нас мало заботы, как мы растем и процветаем и как бы нам подольше жить».

Эта грустная шутка очень неглупа. И вообще, автор человек умный. И ученый. Но — не утаю от тебя, душа моя, есть за ним грех, о котором желал бы молчать. Тот самый, о котором я столько толковал при разборе прежней его статьи: «Что не по нашей специальности», мы с ним, подобно почти всем специалистам, знаем плоховато. Принялся он городить о дикарях, в упрек нам с ним, и тебе, и всем европейским людям, какие здоровые люди дикари. Это пустые сказки. А он верит. Дикари — нищие, голодные люди, слабые здоровьем. — И уж когда пошло дело на правду, не утаю: много, много такого вздора, как сказки о дикарях, принимает он за правду. Потому-то, вместо целых страниц, и перевозжу я лишь маленькие кусочки, чтобы поменьше спорить.

Но гораздо больше, чем по этой причине, я пропускаю потому, что речь Нимейера не относится к предмету, которым одним я заинтересован: к твоему здоровью.

Например, очень много и, вообще, справедливо говорит он о разных затруднениях и, к сожалению, нередких дурных склонностях медиков: правда, но совершенно посторонняя твоему здоровью. Ты всегда имела медиками людей, совершенно чуждых шарлатанству, низкому угодничеству перед фантазиями больных диктовать рецепты; да и фантазий таких никогда у тебя не бывало. У тебя всегда было: «надобно уметь выбрать хорошего медика; и выбравши, вверяться ему как следует, а не мешать

ему пользоваться, как надобно по его знанию, которого у нас, не медиков, нет».

Переведу несколько заметок о том, что, конечно, прописывать рецепты дело медика, а не человека, не знающего медицины, но что, однакож, в сущности, мы должны сами быть как будто медиками себе, а медик, собственно, лишь дополняет наши скудные сведения своими, более солидными. Это правда. И все хорошие медики, — в том числе, я убежден, все твои, старались держаться правила: «для успеха лечения всего полезнее содействие того, кто лечится, труду и знанию медика».

«Издавна медики жаловались: всякий хочет воображать себя медиком; но еще Гиппель, друг Канта, сказал, что эта жалоба не совсем справедлива; он сказал: «Каждый сам, от природы, врач себе». Это, разумеется, лишь идеал. И, как идеал, как предмет своих желаний, эту мысль принимает всякий гигиенист. И я сам закончил однажды свою публичную лекцию словами: «Всякий сам должен заботиться о своем выздоровлении. Идет к выздоровлению он сам; медик лишь разве ведет его за руку». Но, в действительности, это бывает, как должно быть, лишь когда пользующийся у медика правильно и ясно знает свою натуру. А это случается не часто».

Вот опять понравилось мне: при нашем всеобщем нездоровом образе жизни лечить трудно и вылечиваться трудно, — рассуждает Нимейер и продолжает:

«Хорошо сказал об этом Фирхов: «состояние наших общественных обычаев болезненное. И только от их улучшения может много улучшиться здоровье в обществе».

«Это тяжело обществу отвыкать от своих обычаев. Но Монтань говорит: «никакой путь не должен быть тяжел, если он ведет к здоровью». А мы пока будто держимся правила другого француза, Ларошфуко: «скучно то здоровье, которое покупается слишком большою заботливостью о нем».

Но, говорит Поль Нимейер, явилось уж хоть небольшое число людей, решившихся жить по правилам гигиены. Это — вегетарианцы (противники мясной пищи).

Поль Нимейер находит в них много чудачества, вовсе лишнего неглупым людям. Говорит, что сам он не отваживается положительно сказать: «мясо вредная пища». Но что он расположен думать, — это правда. — Этого я не ожидал.

Это я говорю уж не о твоём здоровье, моя милая Лялечка, а в собственное свое удовольствие.

Я издавна полагаю, что медики и физиологи ошиблись, причислив человека к плотоядным по природе существам. Зубы и желудок, устройство которых решает вопросы этого рода, у человека не такие, как у плотоядных млекопитающих. Еда мяса для человека — дурная привычка. Когда я стал думать так, я не встречал в книгах специалистов ничего, кроме решительного про-

тиворечия этому мнению: «мясо лучше хлеба», говорили все. Немножку стали попадаться кое-какие робкие намеки, что, быть может, мы (медики и физиологи) слишком унижаем хлеб, слишком превозносим мясо. Теперь говорится это чаще, смелее. А иной специалист, — вот как этот Поль Нимейер, уж и вовсе расположен предполагать, что мясо для человека пищи, быть может, вредная. Впрочем, я замечаю, что я преувеличил его мнение, передавая своими словами. Он говорит только:

«Я не могу допустить, что можно ставить правилом совершенное воздержание от мяса. Это дело вкуса».

И после того хвалит, что вегетарианцы гнушаются обжорством; а обжорство мясом бывает чаще всякого другого.

Я никогда не имел охоты чудачествовать. Все едят мясо; потому и для меня все равно: ем, что едят другие. Но — но, все это нимало нейдет к делу. Мне приятно, как ученому, видеть, что правильный, по-моему, ученый способ понимания отношений хлеба к мясу начинает не быть безусловно отвергаем специалистами. Вот я и разболтался о своем ученом удовольствии.

А когда буду перечитывать эти листки, что увижу? — То же, что будешь видеть ты, мой милый друг, когда будешь читать их:

«И ровно-то в них ничего нет, ни нового для тебя, ни хоть бы и не нового, надобного тебе».

Ну да: я несколько промахнулся, припоминая впечатление, какое оставила во мне эта статья Поля Нимейера: вообразил, будто помню, что полезно будет перевести ее для тебя. — А ничего, должно быть, и не помнилось мне; по всей вероятности, просто было то, что всегда при всяком деле, при всяком чтении: мои мысли, к чему бы, поверхностно, слегка ни обращались, в сущности все лишь только о тебе.

Этак, пожалуй, я могу припомнить, что думал: «вот надобно перевести для нее эту статью», обо всякой статье, какой угодно, на русском языке писанной.

Но так мне припомнилось. Я и стал переводить. Вижу: «это не нужно»; — «это не нужно». А все-таки пишутся строка за строкой.

Кончил. И — что вышло в целом?

То, что я вижу разницу между устройством зубов человека и зубов, положим, льва или кота. Что ж, факт усмотрен мною хорошо. И мудроно усмотреть его. Это большая честь мне: усмотрел.

И что еще можно извлечь из этих листков любопытного?

То, как рассуждали карпы в пруду. Эта побасенка, в самом деле, недурно выдумана. Улыбнешься ты над нею, то все-таки хорошо, что я вздумал перевести вовсе не стоящую перевода, хоть и не дурную статью.

(без подписи).

643

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

7 [февраля] 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,
Здорова ли ты? — А о Саше я уж не думаю.

Я получил от него известие, что его отослали из армии по болезни.

Это самое лучшее из всего, что могло быть с ним. Остаться здоров и цел мог во всю войну, хоть длилась бы она и год и больше. Многие остаются такими. Но я нахожу, что Саша был более счастлив, тяжело заболевши.

Жить ему, — он сам говорит, — надобно работою. А он хотел оставаться ребенком, который лишь забавляется и которого кормят родные. Теперь будет сам кормить себя.

Я не полагал, что я люблю детей и сам, по собственному чувству. Я думал: что мне любить их? Довольно, что ты их любишь. — Видишь, я смеюсь. — Нет, вышло: на меня Сашино дурачество подействовало так же, как на тебя. — Я ходил, как с разбитою грудью и полуразбитыми ногами и руками. Но до того, чтобы слечь в постель, не дошло у меня, конечно. Мое здоровье крепкое. Меня и обухом не скоро сбить с ног можно.

Очень отратно, мой милый друг, что болезнь спасла и, повидимому, немножко вразумила ребенка, каким был Саша.

Целую его и Мишу.

Пора отдать письмо. Потому-то и пишу лишь так коротко. Детям напишу в другой раз.

Я совершенно здоров. Живу хорошо.

Крепко обнимаю и целую тебя, моя радость.

Целую твои ножки. Твой Н. Ч.

644

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

7 февраля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Посылаю несколько листков ученых моих рассуждений с нашими возлюбленными деточками.

И прошу тебя, моя милая радость, чтобы ты сама сделалась, по материнской обязанности, необыкновенно ученым человеком, и притом по всем наукам, — и все это в одну минуту.

Исполнить мою просьбу менее трудно, чем может казаться: испытай, и увидишь.

Дело вот в чем: мне казалось бы полезным для детей, если бы ты спросила их: «о чем рассуждает с вами отец? И что именно он говорит?» — и имела бы терпение сидеть и слушать, что будут они говорить.

Видишь ли, моя милая голубочка: хороши они у нас с тобою, — особенно на твой взгляд; но ребятишки они, наши деточки.

И поэтому вот, например, как они могут рассудить:

Я смеюсь над тупоумием и невежеством ученых невежественных математиков и астрономов, — а Саша может понять это так: я порицаю его милую математику. И — чего доброго! — вообразит: давай-ко я брошу ее и поступлю в университет снова, чтоб учиться — чему там вообразит учиться.

Учиться хорошо. Но переучиваться в университете человеку Сашиных лет — это удобно, лишь когда он имеет независимое состояние. А Саше надобно: пользоваться тем, чему уж выучился, чтобы зарабатывать себе кусок хлеба.

Или о Мише. Я с пренебрежением говорю об экзаменах. Говорю я чистую правду. Так. Но кончить курс в университете — это дело надобное для Миши. А без экзаменов этого не бывает. Какой же смысл моих слов об экзаменах? — Тот, что учиться по-школьному это еще не ученье, а лишь исполнение необходимой формы; и надобно, кроме того, самому, для самого себя, учиться тому, что нравится; и, главное, надобно развивать в себе любовь к чтению — не тех, большею частью очень глупых книг, знанием которых важничают перед школьниками их учителя (сами хуже учеников, школьники, ребятишки), а тех вовсе не премудрых книг, которые пишутся не для школьников учителей и не для детей, а для обыкновенных взрослых людей и которые с удовольствием читаются всеми неглупыми людьми, старыми и молодыми, учеными и неучеными, в юбках ли, в сапогах ли, — все равно: всеми.

Например: у русских, у нас с нашими детьми: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, — каковы бы они ни были (собственно говоря: не орлы; щеглята), — все-таки гораздо важнее и в тысячу раз умнее, чем все школьные книги всех на свете школ, от полюса до полюса, по всему свету.

Милый мой дружок, потрудись сидеть и слушать, что они будут рассказывать; и в чем увидишь что-нибудь неправильное, растолкуй им. Главное во всем простой здравый смысл. Его немало у всех обыкновенных людей, поживших на свете; немало поэтому и у нас с тобою.

Целую тебя, мой милый друг. Твой Н. Ч.

645

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

[7 февраля 1878.]

Милый мой Саша,

Поздравляю тебя с возвращением домой. Хвалю тебя за твое письмо, в котором ты извещаешь меня об этом радостном для меня событии.

Я думал, мой дружок, что я мало люблю тебя и твоего брата: посмеемся так, по-ученому:

«По науке, любить детей — это дело матери».

Это так: мать любит их больше. Но, по науке же, и отец все-таки отец:

$a = a$

«а» в этой формуле «отец».

Вижу: неоспоримо.

Да, мой милый, оказалось неоспоримо: люблю тебя.

Будь здоров.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

646

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

[7 февраля 1878.]

Милый мой Миша,

Целую тебя. Не знаю, успею ли послать тебе и брату твоему несколько рассуждений. Ты выучи их наизусть. И Сашу экзаменуй, будет ли знать так же. Дело стоит того.

Мудрость моя — мудрость всех семи греческих мудрецов, которые все были народец полубезграмотный: значит, ученость!

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

Ну, мои милые друзья, готовьтесь защищать ваше время и мое время, и время дедов ваших:

Пишу — об астрономии.

Новее Лапласа не терплю ни астрономов, ни математиков.

Ньютон, истолкованный Лапласом! — иду за их гениальные мысли и —

разбиваю в прах все, что противно Лапласу.

Которого, — естественно, — я не читал.

Но сам Гаус, Gauss, падает ниц и просит пощады от меня! — «Нет тебе пощады, сивуплей!» — Вы помните, это из Тургенева, что ли? Я забыл:

«Нет тебе пощады, сивуплей, Гаус проклятый! Как смел ты поправлять Лапласа!»

Я смеюсь, мои милые. Но вы увидите: дело будет похоже на то.

Готовьтесь же защищать всех, родившихся после года рождения Лапласа: самих себя, меня, дедов, прадедов и прапрадедов ваших — насколько кто из нас был астроном. Итак, я, деды ваши и проч. безопасны.

О дети мои, — напрасно я начал шуткою: — о, какое дивное величие гения Лапласа!

О Ньюtone, разумеется, я говорю еще с большим чувством восторга, чем о Лапласе.

В следующий раз, вероятно, отправлю эту мою ученость.

Целую вас, мои милые Саша и Миша.

Жму руки вам. Ваш Н. Ч.

647

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

9 февраля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Третьего дня отправил я тебе коротенькое письмо о том, как я обрадовался, получивши от Сашы известие, что его отослали из действующей армии домой, больного.

Отправивши письмо, вспомнил: чуть ли не выставил на нем «7 января», по описке, вместо «7 февраля». Это замечаю, чтобы ты не подумала: «оно слишком долго шло», — если, в самом деле, ошибся я, по рассеянности, в имени месяца. По почерку того письма ты видела, что я очень торопился писать его: нельзя же, в самом деле, заставлять ждать какого-нибудь измученного дорогой почтальюна, который мечтает поскорее вернуться домой, в Якутск, чтобы отдохнуть.

Ты знаешь: это часто бывает, что я тороплюсь писать и всегда именно по этой причине.

Итак, моя милая голубочка, я очень обрадован возвращением Сашы из похода. И пишет он мне очень благоразумные вещи. Хочет трудиться, чтобы приобретать кусок хлеба себе. Это его главная обязанность. Это умно, что он понял ее.

Был я много виноват, я полагаю, и перед тобою и перед ним, что понапрасну осуждал его и тем увеличивал твое огорчение от его отъезда в армию, огорчал и его самого, когда уж бесполезно было толковать, хорошо ли он рассудил: «ехать воевать».

Но теперь ты не огорчишься, а ему, быть может, пригодится: я объясняю ему, нужны ли — не то, что в России, а где бы то ни было, для родной страны и для родной армии такие воины, как он. Нигде не нужны они. Везде лишь помеха и убыток от них. — Или нет: лучше не буду на этот раз писать ему ничего

такого. Боюсь, он огорчился бы. Буду лишь хвалить его, бедняжку, за что стоит хвалить. А читать ему мораль отложу до другого раза.

Он вернулся больной. А я только говорю, что я рад возвращению его домой. И точно. Моя радость так велика, что мысль о его болезни — мелочь в моем чувстве радости.

Но эти лихорадки болот южной Европы — они вещи менее неважные, чем наши русские лихорадки. Та лихорадка въедается в организм крепко. — «Прошла совсем», — думает выздоровевший; — какое прошла! Она еще сидит в организме, и с нею сладишь разве годами леченья, а главное, осторожности. Но Саша юноша крепкий; и поправится совершенно.

И он пишет об этом очень хорошо: понимает, что это не наша русская, ничтожная лихорадка; говорит о надобности серьезного леченья.

Я говорил тебе, мой милый друг, и Саше только о том, что надобно было ему не забывать своей обязанности работать — обязанности всякого небогатого человека, и не покидать обязанности для забавы себе, — забавы, ни для чего непригодной, кроме убытка родной стране, не нуждающейся в таких забавляющих себя воинах. Но вся эта мораль напрасная, потому — в то время — вовсе лишняя, далеко еще не была полным выражением моих чувств. Мало ли чего еще я чувствовал. Но хоть на столько-то достало у меня воли, чтобы не писать тебе и ему того, что было бы прискорбнее той морали читать ему, и больше той морали ему огорчило бы за него тебя, милый мой дружок. Поговорю когда-нибудь после, когда увижу по его письмам, что он совсем оправился от болезни. Скоро этого не жду. Дрянная, злая та лихорадка южных болот. Но года через полтора Саша станет совершенно здоров, если — полтора года! — легко сказать! — будет каждую минуту помнить, что должен держать себя не как здоровый, а лишь как выздоравливающий. Приятно такое его состояние и ему и нам с тобою, это разумеется.

Но все это мелочь. Хорошо, что он занемог так сильно. Это самое лучшее, что могло с ним быть.

Кстати, уж не прочесть ли мораль и Мише, которого я все только хвалил? Прочти от моего имени, мой милый дружок, — прочти ему. Ты сумеешь смягчить мои слова.

Дело, в сущности, пустое. В одном из твоих писем есть такое выражение о Мише: «Миша только что вернулся с охоты».

Милый дружок, помню: это всеобщая забава; и, в сущности, менее дурная, чем другие — в сущности, тоже, пожалуй, невинные забавы юношей: выпить рюмку мадеры и т. п.

Но ружье — это не игрушка. Кому угодно быть отличным военным стрелком, чтобы, ставши таким, выбрать себе военную профессию, — не на год, для забавы, а на всю жизнь, — тот пусть поступает, как того желает. Но охота к этому вовсе не под-

ходит. Стрелять дробью по птицам — это лишь портит руку для военной стрельбы. Такие стрелки не выучиваются, не способны выучиваться военной стрельбе. То совсем иные приемы. Это вот все равно, как мне выучиться писать красиво: хоть бы я целые годы старался, уж невозможно поправить почерк. А возьми мужика моих лет, никогда не имевшего пера в руках: через год, у хорошего учителя, он станет прекрасным каллиграфом. Вспомним другое такое же: девушка, которая росла, не бывавши на балах, не учившись танцевать, — если попадет в семейство, где дамы — хорошие светские дамы с изящными манерами, и если дадут ей хорошего учителя танцев, — через полгода делается прелесть какой светской девушкой. Но девушка с дурными светскими — будто бы, а в самом деле мещански-трактирными ужимками и танцевальными приемами — хоть до 70 лет старайся стать девушкою, после дамою, хорошего тона, изящною — напрасно будет стараться: не то, что ты или другая женщина или девушка хорошего общества, — даже я, — даже я с первого взгляда вижу: — «о-го! видно ворону в павлиньих перьях!»

Вот совершенно так и со стрельбою.

Это я к тому, что люди незнающие принимают за резон: «охота — полезная военная школа». Наоборот: охота портит человека относительно войны.

А когда знать это, то вспомним: был, лет двадцать пять тому назад, у нас с тобою знакомый, милый, добрый юноша, — живописец Абуцьков. Помнишь, как удачно выстрелил? — И не целившись: прямо в бок себе, между ребер. Очень удачно. Я вспомнил именно его, потому что нам с тобою было очень долго жаль его; я любил его: милый, честный, скромный, талантливый, сберегавший себя от всяких пошлых забав. Но разве он один поохотился так удачно? — Здешние чудаки, полудикие, и те соглашаются: плохая это забава, охота. Когда прежде я почаще видывался с ними, удавалось мне урезонить даже из этих дикарей кое-кого: бросали ружья; продать некому, у всех уж есть, — то: при всей неизбежной скупости бедных людей, дарили свои ружья другим: «и денег не жалею, лишь бы не было у меня соблазна», — слышал я от них. Не то главная опасность, что застрелит себя или товарища невзначай; это не часто. Но здоровье гибнет, вот это уж неизбежно. Таскаться до изнурения сил, в дурную погоду, — большею частью по болотам; — от горячности увлечения, будто опьянелому, не помнящему, застегнут ли, подпоясан ли, или уж одежонка расстегнулась, рассунулась, — голодному, с водой в сапогах, — да лучше ж прямо сесть в болото, не ходя далеко, и сидеть, пока станут ломить кости: польза та же, лихорадка, ревматизм, а труда меньше. Советую Мише испробовать второй способ, который, по-моему, лучше. Кроме шуток, это было бы лучше. Скорее отстал бы.

И скажу вот еще что: сам я, положим, был хороший светский

молодой человек, в обществе молодых женщин или девушек умел держать себя приятно, и сам находил приятность, — все так. Но ведь такие чудачки в диковинку же. И едва ли нашим родительским сердцам очень желательно видеть сыночков подобными папаше, когда милый родитель — помнишь, какой милый молодой человек был?

Но шутки в сторону: зато у меня не было и приятелей. Я никогда, ни ногою, не был в трактире. Я никогда не был в обществе моих сверстников, проводящих время по-своему, когда молодые люди не в семейном обществе. Урод я был неуклюжий; но грубых нравов у меня не было.

А вообще, кроме таких чудачков, каким был я, с младенчества робкий, рано пристрастившийся к книгам, кроме таких чудачков, всякому юноше единственное не вредное общество: общество, где люди собираются для своих развлечений целыми семействами. А охота заводит не на вечера же, где пьют чай и танцуют, и болтают — положим, вздор, и часто глупый, но не гадкий же вздор — юноши и девушки в кругу своих родных.

Зафилософствовался я. Как есть, две чудеснейших обличительных проповеди по числу милых сынков наших.

Голубочка, это потому, что я в самом деле рад за Сашу. А то и говорить о детях было тяжело.

Но теперь одно у меня: каково-то переносишь ты зиму, голубочка моя?

Только вот эти две строки и есть о тебе самой, моя милая голубочка, в этом письме: пора отдать его на почту. Видишь по почерку, — тороплюсь отдать.

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо.

Будь здоровенькая, моя милая Лялечка, и все будет прекрасно.

Целую детей.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая радость.

Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

648

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

9 февраля 1878. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша,

Вы говорите, что вам приятно было читать прежние мои беседы с вами о всеобщей истории. Очень рад, мои милые дети, продолжать их.

Чтобы ход моих мыслей и характер моих споров с некоторыми теоретиками был совершенно ясен для вас, мои милые друзья,

при чтении того, что буду писать теперь, необходимо нам, разумеется, припомнить, в чем же именно состояло существенное содержание наших прежних бесед.

Я брал частный вопрос. Расширял его в общий. Это давало ему прочную постановку. Как я это делал? — Я прилагал к разбору мелочей от важного в нем общие научные понятия. В Греках или Китайцах я находил требованием науки: видеть людей. И когда я успевал рассмотреть, какие общие всем людям мысли и желания управляли их поступками, частный исторический вопрос о них разрешался легко и верно.

Итак, вся сущность дела была в разъяснении вам, друзья мои, какие общие понятия, по-моему, научны. Частные вопросы служили только средством разъяснить, как, по-моему, надо ставить и решать всякие вообще вопросы истории человечества.

Она — рассказ о житейских делах людей. Поэтому чаще, больше всех других отделов системы общих научных понятий надобны для ее понимания те общие научные понятия, которые принадлежат, собственно, к отделу понятий о человеке и его житейских делах. Но по связи человека и его дел с другими отделами фактов надобно было мне прилагать к историческим вопросам и понятия из другого отдела системы общих научных понятий, — из того отдела, который относится прямым образом к содержанию так называемых, в тесном смысле слова, естественных наук.

По моей ли особенной склонности часто и много беседовал я с вами о естествознании? Вы знаете: нет. Я никогда не занимался ни одной отраслью естественных наук. Почему? — Что мне мешало? Ровно ничто. У меня не было охоты к тому. Вот все.

Но — как быть? — Надобно было мне беседовать с вами о том, о чем я не охотник ни читать, ни говорить, ни думать. И я старался разъяснить вам, каков характер тех общих понятий, которые, по-моему, единственные научные по предметам естествознания.

Вы предвидите, я хочу сказать:

Общие научные понятия будут постоянно надобны нам. Нам необходимо будет припоминать их, какие из них когда понадобятся.

Да, конечно.

И, по ходу моих мыслей, вы предвидите, что я скажу: «теперь нам понадобятся те из общих научных понятий, которые относятся к предметам естествознания».

Разумеется, я скажу так.

И припомним их, милые мои дети.

1. То, что существует, — вещество.

2. Рассматривая какой-нибудь предмет, мы распределяем наше знание о нем на два класса. В некоторых из наших знаний

об этом предмете находится элемент знания, что предмет изменится, или может когда-нибудь измениться, или мог когда-нибудь изменяться; это мы называем знаниями о формах, состояниях, отношениях вещества. Так, наши знания о воде в капельно-жидком состоянии не будут верны об этом веществе, когда это вещество, вода, замерзнет, или обратится в пар, или если она разложится на другие вещества. Но вес этой массы воды не изменится, как бы ни видоизменялись формы, состояния, отношения этой массы вещества, находящейся теперь в состоянии воды. Это все-таки останется неизменное весом вещество. — Простое ли тело золото? — Мы не знаем. Но если мы успеем разложить его на какие-нибудь другие тела, масса вещества останется неизменной. Это мы знаем.

Такие наши сведения о веществе, как неизменном веществе, мы распределяем на различные подразделения по различным разрядам наших соображений, и мы называем эти различные разряды наших знаний о неизменном веществе «нашими знаниями о различных качествах вещества». Итак:

Разные качества вещества, это: — все одно и то же неизменное вещество, рассматриваемое с разных точек зрения. Качество вещества, это: само же вещество. Каждое особенное качество вещества, это: все вещество, рассматриваемое с одной определенной точки зрения.

Одно из качеств вещества — иметь, говоря попросту, какой-нибудь вес, или, выражаясь научным термином: иметь какую-нибудь массу.

Другое качество вещества — иметь какую-нибудь величину по каждому из трех геометрических измерений.

Каждое из этих качеств — само же вещество, все вещество.

Одно ли и то же качество эти два качества, вопрос лишь о том, умеем ли мы, или сумеем ли подвести два разряда наших знаний о веществе под одну точку зрения. Это вопрос о развитии науки, а не о веществе.

3. Всякая фактическая часть какой-нибудь фактической величины по какому-нибудь из трех измерений есть какая-нибудь фактическая величина того же измерения. Потому:

Мельчайшие частицы вещества имеют какую-нибудь величину по каждому из трех измерений.

Дифференцирование функций и все тому подобные способы наших соображений лишь наши искусственные приемы для облегчения наших соображений. Они имеют смысл лишь пока мы помним, что они лишь искусственные приемы наших соображений. Фактический смысл имеют лишь фактические величины, лежащие в наших мыслях под формулами, а не сами формулы. Цель наших соображений при дифференцировании — получение интеграла. Если мы, дифференцировав функцию, не умеем дойти до интеграла, мы знаем, что это значит; это значит: какая-ни-

будь теория высшего анализа находится еще в неудовлетворительном состоянии. И мы заботимся усовершенствовать ее.

4. Взаимодействие качества разных частиц вещества или разных масс частиц вещества мы называем «взаимодействием сил природы». Итак:

Сила — это: качество веществ, рассматриваемое со стороны своего действия. То есть:

Сила — это: опять-таки само же вещество, рассматриваемое со стороны своего действия, с одной определенной точки зрения.

5. Когда мы успеваем понять способ действия какой-нибудь силы, то есть способ какого-нибудь действия вещества, рассматриваемого со стороны своего действия, мы называем это наше знание «знанием» этого «закона природы». Итак:

Законы природы — это: само же вещество, рассматриваемое со стороны способов взаимодействия его частиц или масс его частиц.

Этого пока довольно.

Друзья мои, вы знаете: это не изложение, даже не очерк, это лишь характеристика одной стороны системы общих научных понятий.

Но как характеристика этой системы со стороны ее отношений к предметам естествознания то, что теперь припомнили мы, достаточно для совершенной ясности того, о чем я буду говорить.

В эту характеристику введены две черты, относительно которых пришлось мне самому решать, должны ли они быть введены в нее. Это,

во-первых: признание так называемой Ньютоновой «гипотезы» о силе всеобщего взаимного притяжения, то есть на житейском языке — веса, на научном — массы, за фактически и логически неопровержимую истину. Решил ли так Лаплас? — Не знаю. Сколько могу сообразить, нет. Другого компетентного в подобных делах человека не было еще между натуралистами со времен Ньютона до наших. Спиноза еще не знал ни этого, ни других трудов Ньютона. Никто из мыслителей, живших после Спинозы, не был компетентен в подобных вещах, кроме Людвиг Фейербаха. Фейербах нисколько не занимался выработкою того отдела научных общих понятий, который относится к специальному делу естественных наук. — Итак, по необходимости, я должен был поступить тут лишь по моему личному решению;

во-вторых, то же самое по вопросу о делимости вещества. Лаплас, не знаю, высказывался ли об этом. А факты сильно разъяснились после Спинозы и Ньютона Дальтоновым законом об эквивалентах. Ньютон жил столетием раньше развития химии до серьезной научной важности. Потому хоть он натуралист, какого

другого не было еще после него, так что и Лаплас далеко не равен ему, но я не решаюсь не признавать за натуралистами и мыслителями научного права отвергать его решения, что атомы — факт. Лично я непоколебимо держался всегда этого решения Ньютона, как строго доказанной истины. И если б она нуждалась до Дальтона в подтверждении, — чего я не нахожу; я нахожу: со времен Левкиппа она уже не нуждалась в новых подтверждениях; но говорю я, если б нужны были подтверждения решению Ньютона, то Дальтонов закон, по-моему, был бы сильным фактом в пользу Ньютона. И все последующее, узнанное нами в химии ли, в физике ли, говорит, по-моему, за решение Ньютона. Но это лишь мое личное мнение.

Об этих обоих моих личных мнениях я поговорю, когда дойдет до них дело.

Но вот что, ты видишь из этого, Саша:

В обоих случаях я лично всегда непоколебимо держался мыслей Ньютона. Все последующее развитие наук говорит, по-моему, в пользу моего мнения, что Ньютон совершенно прав. Почти все натуралисты думают точно так же.

Но я выражаюсь: «Это лишь мои личные мнения». Никого я не назову человеком ненаучных мнений за то, что он держится в этих двух случаях мнения, противоречащего моему, лично во мне непоколебимому, сколько я могу сам судить о прочности моих мыслей для меня самого, в моих собственных понятиях.

Ты согласишься: я не похож на доктринера.

Но у всякого, сколько-нибудь рассудительного человека, есть граница готовности быть уступчивым. Кто знает что не за свое мнение об истине, а за саму научную истину, тот не имеет права признавать за научную гипотезу никакую гипотезу, противоречащую этой истине.

Такой характер научной истины имеют для меня все, кроме тех двух, черты сделанной мною характеристики системы общих научных понятий, относящихся к содержанию естествознания.

Никакого ученого мнения, противоречащего чем бы то ни было чему бы то ни было в этих остальных, характеризованных мною, моих понятиях, я не могу признавать научным.

Поговорим теперь о достоинстве той характеристики, за исключением тех двух понятий, которые мои личные мнения.

Во всем остальном ровно ничего моего личного нет. Я только усвоил себе мысли других, мысли очень простые. Сотни тысяч людей в моем или вашем поколениях усвоили себе эти научные истины точно так же, как я.

Итак, моя личность тут ни при чем. И потому я имею право судить о достоинстве той всей остальной характеристики безо всяких церемоний.

И я спрашиваю:

Может ли хоть один из нынешних натуралистов не признать эти истины бесспорными, если он находится в здравом уме?

И я отвечаю: не может не признать.

И я спрашиваю:

И кто из них не согласился бы подписаться под тою характеристикой, как ее автор? — И я отвечаю: с гордостью подписался бы под нею, как ее автор, сам Лаплас.

И из нынешних натуралистов всякий сказал бы о себе: ничего лучшего я никогда не писал и не напишу.

Кажется, так. — И мы припомним теперь все, что было нам необходимо припомнить.

Хорошо же. И начинаем нашу беседу, милые мои дети.

О предисловии к истории человечества.

Я буду говорить о «большинстве ученых».

Под этим «большинством ученых» я понимаю:

Большинство натуралистов, включая в это название и ученых, занимающихся математикой; потому что все они в то же время деятели по подведению теорий или фактов, то есть или гипотез, или фактических знаний и фактических выводов, под формулы высшего анализа; а это дело самое важное из всех специальностей того отдела специальных наук, который привыкли мы все называть естествознанием, в тесном смысле слова;

и, кроме большинства натуралистов, большинство историков; и большинство специалистов по всем остальным специальностям учености.

Итак, я употребляю выражение «большинство ученых» в точном и справедливом смысле слова.

Иной вопрос, справедливы ли мои мнения об этом «большинстве ученых». Это мои личные мнения. Я не имею права сам знать, справедлив ли я в чем бы то ни было. Это обо всяком человеке могут знать лишь другие люди, а не сам он. Где замешана собственная личность, там суждение о справедливости суждение не компетентное.

Я могу лишь знать, как я сужу о большинстве ученых. И я буду говорить это; и также, могу знать, считаю ли я свои суждения о них справедливыми. Это я знаю. Да, по моему некомпетентному мнению о справедливости моих суждений, я сужу о большинстве ученых справедливо.

И, кроме того, я знаю: всякий обязан помнить о себе, часто ли он ошибался в своих суждениях. Я помню: я очень часто ошибался; ошибался в очень многом, очень важном, очень часто.

Но пока человек не увидит, что он ошибался в чем-нибудь, он думает об этом так, как он думает. Это обо всяком. И обо мне.

Пока я не вижу, что я ошибаюсь, я держусь своего суждения.
Это обо всяком моем суждении.
И обо всех моих суждениях о большинстве ученых.

Большинство ученых стало с недавнего времени находить, что предисловием к истории человечества надобно ставить:

Астрономическую историю возникновения нашей планеты;
Геологическую историю земного шара; и

Историю развития того генеалогического ряда живых существ, в конце которого мы находим людей.

Как я смотрю на это мнение, бесспорно новое для ученых, недавно принявших его?

Для меня оно не ново. И для меня такой взгляд на вещи не «мнение», а взгляд, с научной точки зрения, единственный возможный. О специальном содержании предисловия с таким характером я буду говорить после, по порядку специальных частей. Теперь я говорю лишь о сущности дела.

Все существенные черты того предисловия к истории человечества — принадлежность той, единственной научной системы общих понятий, которую я усвоил себе в ранние годы моей молодости, — вот уж лет тридцать теперь тому; которой я с того времени всегда твердо держался; и которой, надеюсь, буду твердо держаться, пока буду сохранять силу мыслить.

И, разумеется, я чувствую глубокое душевное удовольствие, видя, что большинство ученых приняло по некоторым, — хоть лишь специальным только, а не общим, но очень важным вопросам издавна известные специальные решения, совершенно научные и совершенно достоверные, и сделало через то более способным и расположенным понемножку усвоить себе мировоззрение великих мыслителей, любивших истину, от которых научился я любить ее и, насколько достало у меня способности понимать их, понимать ее.

Так я смотрю на все это дело в его существенных чертах.

Но большинство ученых полагает о себе, конечно, не то, что говорю я об этом большинстве.

Оно полагает, что оно вполне усвоило себе научное мировоззрение.

Это, по-моему, иллюзия людей, которые плохо знают то, о чем они стали охотники толковать.

Перейдем теперь, мои милые друзья, к специальному содержанию того предисловия.

Я сказал, что специальные решения важнейших специальных вопросов этого предисловия даны давно и издавна были известны людям, державшимся научной системы общих понятий;

что почти все, державшиеся этой системы, издавна считали те специальные решения за совершенно достоверные.

Я говорю о решениях, данных:

по отделу астрономической истории, Лапласом;

по отделу геологической истории, Лайеллем;

по вопросу о происхождении человека, Ламарком.

Книга Лайелля «Основания Геологии» была издана лет сорок пять тому назад. Я был тогда еще ребенок.

По другим двум отделам научные решения были даны раньше, в начале нашего века, вы знаете.

Когда именно ознакомился я с этими решениями, я не умею припомнить определительным образом. Но, сколько могу сообщить, — быть может, целым годом, — быть может, лишь несколькими, немногими неделями после того, как усвоил себе научную систему общих понятий. Только этим, конечно, и можно объяснить тот факт, который ясен в моих воспоминаниях.

При чтении выводов Лапласа я с первых же строк видел, что все существенные черты этого специального решения — неизвестные еще мне, — покажутся мне, по всей вероятности, совершенно правильными. И это, в самом деле, шло так: я читал вывод за выводом, вполне соглашаясь с каждым, строка за строкою, как бывает при чтении мыслей, давно известных читающему и давно признанных им за правильные. А между тем все тут было ново для меня. И, однакож, ничего похожего на обыкновенные впечатления от новых, очень важных знаний не производило это на меня. Я только дивился гениальности Лапласа, сумевшего так просто разъяснить такой трудный вопрос.

О Лайелле и Ламарке я буду говорить после, где будут соответствующие места, по порядку отделов. Сходство с тем, что я говорил о моем первом знакомстве, с выводами Лапласа было в том, что ровно никакой перемены в моих понятиях о вещах ни Лайелль, ни Ламарк не произвели: и от них я приобрел то же, лишь новые знания по специальным вопросам. Разница та, что геология и — Лайелль, это: не математика и — Лаплас: я постоянно видел: «вот эта частность сомнительна; а эта, вероятно, ошибочна». И общее впечатление было: «так; но полного разъяснения еще подожду». — То же и о Ламарке. — Я говорю, конечно, лишь о специальном содержании решений Лайелля и Ламарка. Мирозозрение Ламарка не вполне научное. О Лайелле и толковать нечего: он отвергал и Лапласа, и Ламарка в тех первых изданиях своего великого труда.

Мирозозрение Лапласа, насколько оно известно мне, вполне научное. И я полагаю, что он, большой чудак в своих житейских рассуждениях, никогда не высказывал, как ученый, никакой не научной мысли.

И займемся теперь астрономическим отделом того предисловия, мои милые друзья.

Каковы твои математические знания, мой милый Миша? Вполне ли, или не вполне утратил ты способность понимать, что твой возлюбленный родитель — великий знаток математики? — Надеюсь, вполне.

Полагаю, что не только ты, мой милый Саша, но и твой брат, — вы оба будете равно благодарны мне за разъяснения вам, как могут, например, не только жить, но и вести торговлю народы, не знающие цифр. Многое возможно для них без цифр, что для нас, привычных к цифрам, кажется невозможным без знания цифр.

Все это знают. Но как же это? — Понять мудрено. — Знаете и вы. Но не понимаете?

Вы, мои друзья, надейтесь: «Вот через минуту пойдем». И надежда ваша не постыдит вас: в самом деле поймете.

Ваш возлюбленный родитель — совершенно подобен купцу, без цифр ведущему торговые дела.

Кроме шуток. Вы знаете: мое знакомство с математикой не идет, в сущности, дальше арифметики.

Теперь хотите видеть, что я делаю, например, для того, чтобы понять:

Какое значение для житейских чувств астрономов и, со слов астрономов, для житейских чувств всего образованного общества имело решение Лапласа.

«Пертурбации орбит планет нашей солнечной системы — факт периодического характера. Все колебания всех элементов орбит планет (и спутников) нашей солнечной системы — колебания около неизменных средних величин», —

Хотите видеть, мои милые друзья, что возможно тут понять человеку, не знающему в сущности ничего, кроме арифметики?

Практическую важность имеет, разумеется, лишь вопрос об орбите земли.

У меня есть книга, где показаны (очень округленные и притом старые) цифры масс планет, их перигеев и апогеев. С первого взгляда видно, что сила Меркурия над Землей невелика перед силою Венеры и Юпитера. То же о Марсе и т. д. Для моей цели довольно соображений о Венере и Юпитере. Беру их цифры.

Венера. Масса 0,875 массы Земли. Перигей 5,25 милл. миль. Апогей 36.
Юпитер » 338 » » » 81,25 » » » 133,75

По смыслу моей задачи, я должен искать величину пертурбационных сил в долях силы Солнца над Землей. И должно сравнивать наибольшую силу планет с наименьшею силою Солнца, наименьшую силу планет с наибольшею силою Солнца. Беру цифры для Солнца:

Солнце. Масса 35.000. Перигелий 20,25. Афелий 21.

Избавляю вас от перемножений и т. д. Получаю в результате:

Наибольшая сила Юпитера = 0.000.058 наименьшей силы Солнца.

$$\text{Венеры} = 0.000.039$$

Наименьшая сила Юпитера = 0.000.022 наибольшей силы Солнца.

$$\text{Венеры} = 0.000.001.$$

Говорю: пусть будет такой случай, что в периоде от одной данной квадратуры Венеры до второй такой же квадратуры, —

Целую половину этого периода действует наиболее сильная комбинация пертурбационных сил Венеры и Юпитера в направлении подтягивания Земли к Солнцу. Какова будет величина пертурбации, я не только не могу вычислить, но и не имею ни малейшего понятия о формулах, служащих для этого. Но момент наибольшей силы действия я имею. Это = 58 и 39, = 0.000.097.

И пусть во всю другую половину того периода будет комбинация наименьшей оттягивающей от Солнца силы обеих планет. Опять я могу понимать лишь момент наименьшего действия. Я имею его. Это будет = 22 + 1 = 0.000.023.

Я хоть не умею вычислить, но, разумеется, понимаю: пропорция между суммами гораздо менее далека от единицы, чем пропорция между крайними моментами. Но все-таки:

Два, три месяца длится сила подтягивания, но очень много меньшая, чем 97.

И два, три месяца компенсирующая сила остается не очень много больше, чем 23.

И я вижу: беспокойство астрономов до решения вопроса Лапласом могло быть очень живое. Я понимаю: лишь начнется дело, оно при каждом повторении будет расти по пропорции более быстрой, чем квадраты. И, скольких повторений достаточно, чтобы эллипс согнулся так, что уж не будет распрямляться: афелий не существует больше; все только уменьшающийся перигелий; эллипс превратился в спираль. Сколько оборотов спирали нужно, чтобы Земля упала на Солнце? Я не знаю, правильно ли я выражаюсь: «уменьшающийся перигелий», когда хочу сказать, что Земля все только приближается и приближается к Солнцу; и я не знаю, правильно ли я называю эту линию спиралью. Но так ли, не так ли, я немножко понимаю, в чем тут дело. И вижу: число оборотов той линии не велико.

Пока довольно вам, мои милые друзья, для разъяснения вопроса: как торгует купец, не знающий грамоты? Как дикари пашут суком, который сами тащат? Как двигаются безногие и безрукие. — Не очень легки им эти дела; и плохо идут их дела. Но кое-какой результат, очень плохонький, но все-таки: некоторый результат выходит из их жалкого, бессильного, но все-таки какого-нибудь — некоторого — труда.

Я говорил, что не помню, когда именно прочел в первый раз порядочное изложение выводов Лапласа о возникновении и дальнейшей истории нашей солнечной системы. Знаю лишь, что когда мне было лет двадцать пять, мои знания о том, что не относилось прямо к моим занятиям, уж перестали расширяться. Мне уж было некогда читать лишь для удовлетворения любознательности. И, знаю, что, когда вошел в круг ученых, я спорил с ними по всем вопросам того предисловия к истории человечества совершенно так же, как спорил бы теперь с людьми таких мнений, как тогдашние ученые. И помню, что при первых из этих споров мысли, которые разъяснял я этим ученым невеждам, были уж привычны мне, а не новизна в моей голове.

Мне было тогда двадцать пять лет. В таких летах внозь узнанное скоро делается привычным. Но все же не в год. И притом: я помню, какими науками из чуждых мне отделов занимался я в двадцать два, три, четыре года. Это были занятия, — хоть лишь для отдыха от серьезных занятий, но все-таки: ученые занятия, а не просто чтение. И знаю: с двадцати двух лет я уж не читал почти ничего по естествознанию.

Итак, мое ознакомление с Лапласом, — как и с Лайеллем, и с Ламарком, относится, по всей вероятности, к годам, бывшим за двадцать восемь, девять лет до нынешнего.

Велико теперь богатство моих математических знаний. Такое же оно было и тогда. Что я знал — два, три месяца — года за четыре перед тем, — то есть: что я знал перед экзаменом для поступления в университет, давным-давно было уж забыто. Я уж оставался лишь с тем, что еще ребенком узнал по любознательности, для самого себя, а не для исполнения формальности.

Итак, я читал изложение выводов Лапласа, зная лишь арифметику.

Да. Но вот это оказалось важнее всяких интегралов: — у меня не было желания отрицать истину; по какому бы специально вопросу ни являлась передо мною какая-нибудь специальная истина, — она, в чем бы ни состояла она, не могла не быть принимаема мною с любовью. Я уж имел привычку смотреть на всякий ученый вопрос с научной точки зрения. Никаких иллюзий никакая специальная истина не могла отнять у меня. Что ж была бы за охота смотреть на нее враждебно?

Это постоянно было очень полезным для меня элементом моей ученой жизни.

Так и при первом чтении выводов Лапласа. Нужды нет, что я знал лишь арифметику. Я смотрел на мысли Лапласа с научной точки зрения, и мне легко было видеть: все это чистая правда.

В самом деле, к чему сводится все по вопросу о достоверности выводов Лапласа? — Вы знаете, вот к чему:

Верна ли формула, под которую Ньютон подвел Кеплеровы законы? — Я знал: да.

Действительно ли, при сгущении вещества развивается теплота? — Я знал: да.

А как даны эти два ответа, ни в чем важном у Лапласа не остается ничего гипотетического: все получает характер математически достоверной истины.

Годы шли за годами. Я почти ничего не читал по естествознанию. И, вообще, у меня не было досуга читать. Редко встречались мне случаи хоть вспомнить имя Лапласа. А из того, что знал когда-то о его истории нашей солнечной системы, я давным-давно почти все забыл.

И вот я читаю: «Найден способ видеть химический состав тел по их спектрам. Он приложен к спектрам небесных тел. Найдены: на таком-то небесном теле вот такие и такие-то вещества и т. д. и т. д.»

Я читаю и радуюсь великому открытию. Кое-какие из веществ, найденных на каком-нибудь небесном теле, — те самые, какие правдоподобно было прежде предполагать существующими на нем; то, что нашлись там некоторые другие, показывает, что Левкипп и Демокрит были люди умнее очень многих из нас, в том числе и меня: это, впрочем, для меня не новость. Вот хоть бы я, например: я хотел думать, что азот разлагается сравнительно при низких температурах; положим, при каких-нибудь пяти или десяти тысячах градусов. А теперь это, повидимому, оказалось вздором. Что ж за охота была мне думать вздор? Левкипп и Демокрит, хоть не знали химии, не любили рассуждать, кто прав: Галес или Анаксимандр. И меня за подобные соображения не похвалили бы. — И читаю я таким образом, — не предвидя удара. Читаю, читаю и — протираю глаза: что за нелепость? Не может быть! — Смотрю опять: так! — «Из этого следует заключать, что Лаплас прав».

Лаплас прав!

Не прав ли и Коперник?

И — чего нельзя ожидать, когда дело приняло такой оборот? — Пожалуй, нас пригласят убедиться, что таблица умножения не «гипотеза».

И этот шум и гул: «Лаплас прав», — сколько уж лет идет?

О, милые друзья мои, всему есть мера. И невежеству специалистов по широким вопросам их специальности должна ж быть мера.

Пусть историк удивится, узнавши, что «Коперник прав». Не похвально. Но, пожалуй, извинительно. Пусть астроном уди-

вится, узнавши, что существовал на свете Александр Македонский: — не похвалю, но — готов извинить.

Но астрономы возопили: «Лаплас прав!»

А вот мы не верили Гоголю, что «выплыла из моря рыба и сказала два слова».

Проглаголали же астрономы: «Лаплас прав». И тоже два слова. И надобно предвидеть:

Придет в лавку корова и спросит себе фунт чаю.

Горько, мои милые друзья, — горько думать о таких приключениях, какие разыгрались над астрономами.

Шестьдесят лет или молчали, или выражались о Лапласовой «гипотезе» в таком вкусе:

«Мысль, более остроумная, чем основательная».

Я хотел думать: это лишь плохих астрономов читал я. Хорошие не могут так говорить. — Какое, плохих я читал! Читал плохих, читал и хороших. Но в моих воспоминаниях сваливал все на плохих, выгораживая хороших.

Ну, вот и отличились, — чуть ли не все.

Кто из них сказал товарищам: «Приятели, говорили бы об этом вы прежде. А теперь молчите: знают все и без вас. Стыдитесь. Спрячьтесь в свои обсерватории и записывайте цифры ваших наблюдений над прохождением звезд восьмой величины через меридиан. На это вы хороши. Но о Лапласе вы уж помалчивайте, господа, пока забудется ваш позор».

Быть может, кто-нибудь из астрономов и говорил так. Я не читал ничего такого. Но быть может. Если кто из астрономов говорил так, этого астронома я уважаю.

Что, собственно, доказывают результаты наблюдений над спектрами небесных тел?

Собственно, только то, что очень многие из тел, считаемых нами пока за простые, это: — очень широко распространенные разные сорта вещества, — если они действительно простые тела; или такие комбинации одного и того же вещества, которые формируются очень легко и очень устойчивы.

Никто из серьезных людей научного образа мыслей со времен Левкиппа не сомневался в том.

Но от этой мысли до Ньютоновой формулы очень далеко. А до выводов Лапласа еще дальше.

Спектральный анализ дал материалы для наполнения выводов Лапласа множеством очень важных подробностей. Краткий очерк развивается в подробный рассказ.

«Сириус возник так же, как Солнце», — это мы знали от Лапласа. Но —

«Сириус находится еще в таком фазисе своего существования, который для нашего Солнца уж миновал», —

Это чрезвычайно важно. Но это лишь подробность.

Мы понимаем правильным образом результаты спектрального анализа лишь благодаря выводам Лапласа.

А выводы Лапласа достоверны не по спектральному анализу, а по Ньютоновой формуле.

Спектральный анализ — аргумент наглядный. Такие аргументы хороши для профанов. Но специалисты должны знать: в сущности, этот факт объясняется формулой, а формула не выводится из него.

«Куб, имеющий внутри по 10 метров по всем трем измерениям, вмещает 1000 тонн воды».

— А подождем, пока посмотрим: точно ли это правда?

Кому извинительно так рассуждать? — Профанам в арифметике. — Ну, что ж: пусть и льют в тот куб воду, если это для них легче, нежели потрудиться две минуты подумать.

Но знающий арифметику, — не будет ли улыбаться? — И не обязан ли рекомендовать им: «Потрудитесь хоть две минуты подумать. И поймете».

Но — о, неожиданный восторг! В куб действительно влилось ровно 1000 тонн воды!

И астрономы уверовали: правила возвышения числа 10 в третью степень — не «гипотеза»!

Остается попробовать, сколько воды вольется в куб, имеющий ребра внутри по 11 метров.

«Это еще неизвестно», — должны сказать те астрономы и ждать: что выйдет? Сколько тонн воды вольется? — «Это еще неизвестно. Есть гипотеза: вольется 1331 тонна. Но эта мысль более остроумная, нежели основательная».

Но вот другая мысль, — не остроумная, — и желал бы я сказать: с тем вместе неосновательная:

Действительно ли большинство астрономов не могло понять до спектрального анализа, что Лаплас прав? — Быть может, и понимали, но не нравилось им думать, что Лаплас прав. И они старались думать: «Это дело сомнительное». Старались — и успевали.

Но прошу вас, мои милые друзья, помнить: таковы мои воспоминания о читанном мною и о впечатлениях от этого читанного; так таковы, но —

Очень возможно, что я виню астрономов лишь по недостатку знакомства с тем, как они писали до спектрального анализа. Быть может, те примеры, какие помнятся мне, лишь действительно плохие образцы мыслей большинства астрономов. Быть может, все хорошие астрономы всегда признавали существенные черты выводов Лапласа за достоверную истину.

Достоверность выводов Лапласа основана на формуле, под которую Ньютон подвел Кеплеровы законы.

Достоверность этой формулы бесспорна. И совершенно независимо от вопроса о том, как мы судим о достоверности «гипотезы», которую Ньютон объяснял свою формулу.

Пусть «сила всеобщего взаимного притяжения» — пустая фантазия Ньютона. Пусть сила, действие которой подведено под ту формулу, — сила электричества, или месмеризм, или выстрелы из той пушки, которую находил у Гоголя Кифа Мокиевич нужно для того, чтобы пробить скорлупу яйца, из которого родился бы слон, если бы слон родился из яйца; — для Ньютоновой формулы все равно: Ньютон ли прав, или Месмер, или Кифа Мокиевич.

Но для человеческого здравого смысла это не все равно.

Оставим без рассмотрения месмеризм. Он, повидимому, никому из астрономов не кажется мыслью новой: они все, повидимому, знают: «это старая штука; славы она не доставит».

Но гипотезу Кифы Мокиевича нельзя оставить без внимания. Он был глубокомыслен. И — против ожидания, мы видим себя принужденными согласиться: его догадка справедлива. Слон действительно родится из яйца. Как же теперь думать о его пушке? Может ли она заменить Ньютонову «гипотезу»?

Будем осторожны. Скажем: «Неизвестно». — И так? Быть может? Нам приходится сказать: — «Да. Быть может». — Но при всей нашей в данном случае столь умной и похвальной скромности, мы обязаны прибавить: «по Ньютоновой формуле сила действует непрерывно. Пушка стреляет с интервалами. Это порывы, а не ровное, непрерывное действие. И так, для замены Ньютоновой гипотезы пушка Кифы Мокиевича требует некоторых улучшений». — И если бы у нас спросили: каких? — Мы сказали бы: «эту пушку надобно приделать к паровой машине; тогда дуть из нее будет сила ровная, непрерывная». — Такая переделка необходима. Но возможна ли? — Это уж не наша забота.

Мне кажется, что нечто подобное старой, непригодной для замены гипотезы Ньютона пушки Кифы Мокиевича вытащено некоторыми астрономами из старого ненаучного хлама.

Я говорил, что не считаю силу всеобщего взаимного притяжения «гипотезою». По-моему, это просто-напросто: фактический вывод.

Ньютон был человек необыкновенно скромный. Вы помните, как он говорил о своих открытиях:

«В них не видно особенного ума. Это напрасно говорят, что я особенно умен. Этого нет во мне. Я трудолюбив — только и всего. Если чего не понимаю, то и думаю, все думаю: как бы

понять? — Думаю, думаю, — иное, случится, наконец и пойму. Это со всяким так бывает».

И мы можем говорить: — «у него не было сильного ума. Он сам признавался», — можем?

Он говорил: — «Сила всеобщего взаимного притяжения — лишь гипотеза. Очень может быть, что она и ошибочна».

И нам следует говорить: «Это лишь гипотеза. Она, быть может, ошибочна. Он сам признавал это», — следует нам так говорить?

Я полагаю: никогда, никто, кроме самого Ньютона, не имел права говорить: «Это гипотеза». Я полагаю, что когда Ньютон обнародовал ее, он уж разработал ее так, что она давно перестала быть гипотезою.

Но это лишь исторический вопрос теперь. И, как бы ни решать его, мне кажется, надобно признать: со времени опытов Кэвэндиша утрачена возможность отрицать Ньютонову гипотезу.

Вы знаете эти опыты лучше меня, мои милые друзья.

Вопрос ставится так: сила, которая притягивает брошенный камень к земле, и называется тяжестью камня, а на самом деле принадлежит взаимодействию массы земного шара и камня, принадлежит ли вообще всякому взаимодействию всяких земных веществ?

Кэвэндиш ставил себе не этот вопрос. Он хотел определить удельный вес всей массы земли. Но когда ставится вопрос о Ньютоновой гипотезе, опыты Кэвэндиша дают ответ и на него в той формуле, какую я дал ему.

Массу земного шара мы оставляем без внимания в этом случае. Для начала соображений, конечно. После мы введем в наши соображения и эту сторону опытов. А для начала обратим внимание лишь на самые шары Кэвэндиша.

Масса свинца весом в — положим — 100 фунтов, притягивает массу — положим — свинца же — весом в 5 фунтов, — на данном расстоянии центров, — с силою — положим — равною 1. А маленький шар тянет к себе большой шар с силою? — оказывается: с силою = 0,05.

Это что ж такое выходит? Два свинцовые шара относятся между собою по силе притяжения точно так же, как относятся между собою по весу.

Подставляем всякие другие вещества на место маленького свинцового шара. — Выходит то же самое: сила свинцового шара по отношению ко всяким другим веществам остается прежняя; сила всякого другого вещества притягивать свинец та же самая, как вес массы этого другого вещества.

Подставляем вместо большого свинцового шара какое-нибудь другое вещество. Продолжаем опыты. Получаем: сила при-

тяжения всякого вещества равна весу этого вещества по отношению ко всякому другому веществу.

Только это и оставалось доказать: «вес» — это взаимодействие масс притягивающих друг друга тел; вес на наших весах — притягивающая сила земли во взаимодействии с притягивающей силой взвешиваемого вещества.

На эту сторону опытов Кэвэндиша не обращал, помнится, внимания Кэвэндиш. Но почему? Он полагал: «да стоит ли это доказывать?» — И все другие так думают. И правы. Этого не стоит доказывать. Почему не стоит? — Да потому, что это и без того знают все, и никто в том не сомневается.

Так. Но, — при случае, надобно ж нам сообщить: «мы не думали об этом, потому что для нас, как для всех рассудительных людей, вовсе не стоит размышлять об этом. Но — этот факт, о котором мы не думаем, он — факт; и если бы кто захотел спорить против него, мы должны сказать чудаку: «приятель, справься об опытах Кэвэндиша; а пока справишься, то знай вперед: ты говоришь глупость».

Итак: в Ньютоновой «гипотезе» две стороны:

Первая. То, что мы называем «вес», это: взаимодействие силы всеобщего притяжения между массою земли и всеми веществами на поверхности земли. Вот лишь это и «гипотеза». — Гипотеза ли это? — По-моему, это факт. И все, в сущности, думают: это факт. А кому охота требовать доказательства, имеет их в опытах Кэвэндиша.

Об этой стороне дела никому нет охоты думать. Но вот другая сторона важная для всех:

«Та самая сила, которая притягивает к земле камень, притягивает к ней луну» и т. д. Тут уж не было ровно ничего гипотетического со времени обнародования мысли Ньютона.

Притягивание земли идет по всем радиусам. Это факт. На том расстоянии, где луна, эта сила имеет вот какую величину. Когда вычтем эту величину из величины силы, с которою луна падает к земле, остается нуль. Итак, все действие производится лишь силою, которая на земле называется силою тяжести.

Что тут гипотетического? — Это расчет по правилам арифметики. Только.

Дано: паровая машина везет 1000 пудов по дороге со скоростью 50 верст в час.

Дано: вес поезда, прицепленного к этой машине, 1000 пудов; и поезд едет по дороге со скоростью 50 верст в час.

Спрашивается: сила ли той машины везет тот поезд?

Отвечаю: да.

Мой ответ гипотеза?

Данные не оставляют ни возможности отвечать иначе, ни усомниться в ответе, ни оспаривать его. В ответе лишь повторе-

ние данных. Ровно ничего, кроме фактов, уж данных, в ответе нет.

Это называется: «фактический вывод». Это просто то же, что «сумма», когда даны «слагаемые».

Итак: то, о чем все говорят, в Ньютоновой «гипотезе» просто-напросто факт; была ли, не была ли в этой «гипотезе» действительно «гипотеза» прежде, теперь и эта доля Ньютоновой «гипотезы» давным-давно стала уж фактическим выводом из опытов Кэвэндиша. Но это такая вещь, о которой никогда никто и не думает, потому что действительно не стоит о ней думать.

(без подписи).

649

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

25 февраля 1878. Виллюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо.

Напишу лишь несколько строк, потому что уж давно что-то было прошлое отправление почты.

Юлия Петровна озадачила меня так, милый мой дружок, что я написал ей; люблю вас, обнимаю вас, целую вас, миленькая Юлинька.

Серьезно, моя милая радость: я плакал над ее письмом.

Видишь ли, что вышло:

Саша вернулся с войны, цел, и опасаться за жизнь — уж оплаканного больного, увезенного куда-то в безнадежном состоянии — опасаться нечего: выздоровеет. — И она обрадовалась так, что — в первый раз и наперекор моему желанию не переписываться ни с кем, кроме тебя, — желанию, известному ей от наших детей и ее мужа, — не совладела с собою, села и поспешно написала мне.

Но, милый друг, что мне наши дети, что для меня чья-нибудь любовь к нашим детям! — это мелочь для меня; интерес моей жизни лишь ты.

Письмо Юлиньки — люблю ее, милая, голубочка, — писано горячая; и она не сдержалась: вылилось у нее из груди несколько строк о тебе.

Переписывать их не стану. И пересказывать их содержания не стану: в них нет ничего, кроме порыва чувства сказать мне, что она горячо любит тебя.

Это такой сильный, задушевный порыв, что я плакал, читая. Долго плакал. И теперь, перечитывая, снова плачу.

И моя милая: полюбил, не могу не любить ее.

Вот как сильно она говорит о своей любви к тебе.

Здорова ли ты, моя милая голубочка? — Ах, этот мороз русской зимы! Каково-то ты переносишь его? — Думаю, и думаю, и думаю. Одна мысль, одна мысль — здорова ли ты?

Детям надеюсь скоро приготовить длинное ученое рассуждение о том, что даже Миша знает в десять раз лучше, нежели я: о математике. Думаю, что это будет приятно бедняжке Саше и принесет ему некоторую пользу, если он будет заниматься этою наукою, которую любил.

Теперь пишу им лишь по два слова.

Спешу отправить письмо.

Крепко целую и тысячи, и тысячи раз обнимаю и целую, целую тебя, моя милая красавица Лялечка.

Будь здоровенькая, и я буду счастлив.

Целую твои ножки. Твой Н. Ч.

650

А. Н. ПЫПИНУ

[25 февраля 1878.]

Милый брат Сашенька,

Благодарю тебя за ответ на мое письмо. Еще больше благодарю Юленьку за то, что она вздумала, что она порадует меня, если напишет мне. Я был растроган до глубины души ее письмом. Ей уж вовсе не за что любить меня. Только одно было хорошо у меня относительно ее: сколько помню, никогда не думал о ней без некоторого расположения, когда мы были знакомы — до вашей свадьбы. Но что ж из того? Я и вообще любил и люблю думать хорошо о хороших молоденьких девушках. После вашей свадьбы — что она могла знать о моем расположении к ней? — Меньше, нежели ты. А и ты, что же знаешь? — Ничего.

Очень я ей благодарен. Больше, нежели она может воображать.

Не знаю, в каком тоне буду отвечать ей, когда кончу это письмо к тебе: в чувствительном или шутовом. В шутовом было бы лучше. Но не знаю, совладаю ли с моим настроением духа. Вероятно, не буду в силах писать, как хочу, шутивно.

Буду отвечать на все, решительно на все в твоём письме. Чтобы не пропустить ничего, буду следовать порядку твоих мыслей.

Ты был рад моему письму. В этом нет ничего дурного. — Тебе показалось, однако, что я как будто неохотно отвечал тебе. Да, неохотно. Хоть и думаю, что эта неохота напрасная. Потому тогда одолевал ее. И теперь одолеваю. — Как быть! — Оленька ровно ни о чем, кроме себя, не пишет. И прекрасно делает. Я пишу ей всегда только тоже о ней и о детях. На этот

раз сделаю исключение: напишу о Юленьке. — Итак, от Ольги Сократовны не знаю и не желаю узнавать я ни о ком и ни о чем, кроме нее и (это она же сама, по обычаю матерей) о детях. И Юленька в большом удовольствии от своих детей. Похвально. И если они постарше моего Саши, то, быть может, и действительно приносят удовольствие ей. А Саша — двухлетний младенец с усами и бороδοю. Это более мило, нежели приятно мне. А мать радуется на него. Уж такое их дело, матерей.

Итак: Оленька не пишет мне ни о чем. Саша и Миша еще ровно ничего не знают и не понимают из того, о чем интересно слушать не-ребятишкам, как они. И единственный источник фактов вашей жизни, твоей и Юленькиной, и сестер наших, и самих детей моих — твои письма (да и о детях факты я узнал лишь от тебя. Мать все только восхищается, что дети хороши). — И, — как быть! — интересно читать твои письма, хоть бы и было, по-настоящему, вовсе лишнее вызывать тебя на продолжение переписки. Тебе, вообще, всегда казалось, что я «не желаю иной переписки, кроме той, какую веду с Оленькой». Да. Но, вероятно, понапрасну не желал.

Мое нежелание и составляет причину, что ты не получал моих писем. Я не писал тебе прежде. Что писано было — раза три, четыре, собственно для тебя, все было получено тобою. Иначе и быть не могло. Я плохой стилист, но я пишу лишь то, что хочу. Чего не хочу писать, того не писал и не напишу. А когда пишу к тебе, или к детям, или к кому из других родных, или к Оленьке, то, разумеется, хочу, чтобы письма были получаемы. От этого они иногда выходят нелепы. Но все, какие я писал кому из родных или Оленьке, были получены теми, кому я писал.

Видишь ли, в чем тут дело, мой милый: с первого взгляда неглупому человеку понятно: в моей переписке я — родственник тем, кому пишу; и больше того, я — ничего.

Поэтому, кому ж охота мешать моей переписке с Оленькою ли, тобою ли, другими ли родными? — Никому из несущих ответственность за мою переписку. — Сколько я знаю, я никогда никому не вредил из людей, несущих какую-нибудь ответственность за что-нибудь из моих занятий ли, писем ли. Надеюсь, это действительно так. — Я деликатен, а между тем я человек не светский; и моя деликатность имеет иногда вид робости; но кому ж из людей, живших на свете, не видно с первого же слова, что хитрость не в моем характере? Это видно, вот и разгадка: ни одно из писем, которые писал я с целью и уверенностью говорить с моими родными, не было, сколько я знаю, не получено моими родными: все шло без малейшей задержки, по всей дороге, и все доходило по адресу.

«По поводу отъезда Саши на войну», ты «виделся с Ольгою Сократовною» и пишешь, что твое расположение к ней всегда

было одинаково, что бы ни происходило; эти слова «что бы ни происходило», — очень мягки. Я, мой милый, не огорчился бы, если бы ты и написал так, как чувствовал: «хоть она и много обижала» тебя, сестер. — Как быть, горячий характер. Я всегда знал, о чем ты и сестры не говорили. Она же сама всегда рассказывала.

И без церемоний скажу, что вам неизбежно должно казаться: кроме того, что у нее горячий характер, она сильно не любит тебя. Так ли на самом деле? Этого не разберешь у нее; так горячо она говорит, когда сердится. Я несколько лет не мог разобрать, хорошее или дурное у нее расположение ко мне. Это я узнал лишь в те минуты, когда перед минутою рождения Миши она думала, что она умирает. Если бы я мог тогда удивляться, то удивился бы. Но было не до того: жизнь ее была действительно в очень большой опасности. И я был равнодушен к тому, любила ли она меня, или нет. — Разумеется, жили мы, как муж с женою. Было ж у нас двое детей, и рождался ж третий сын, — или третья дочь, еще не было известно, мальчик или девочка родится, если родится. Жили мы, как все живут. Но ведь это вздор же, ничего не значащий для сердца. — Я женился, мой милый, с совершенною уверенностью, что вообще никакая жена не стала бы любить меня; а моя невеста — меньше всякой другой девушки может любить меня, — человека, кому ж из мужчин или женщин не скучного совершенною неспособностью принимать участие в каких бы то ни было развлечениях? У меня никогда не было ни одного приятеля, ни в юности, ни после. Добролюбова я любил, как сына. Но что делает Добролюбов, кроме того, что пишет, — я не знал, пока данные мне от него, при отъезде в Старую Руссу, разного рода поручения оказались слившимися в одно поручение: «вот там-то живет такая-то девушка» и т. д., в этом вкусе. Я разинул рот: ничего подобного в жизни Добролюбова я не предполагал. Кончилось это тем, что я при его возвращении из Старой Руссы, — насильно, я его, который был тогда еще здоров и потому был вдвое сильнее меня, — насильно повел из вокзала, где ждал его, — в карету, насильно втащил по лестнице к себе, — много раз брал снова в охапку и клал на диван: «прошу вас, лежите и уснете. Вы будете ночевать у меня» (поезд был вечерний) — и я остался в комнате, пока он уснул. Драться со мною? — У него не поднялась бы рука на меня; а не сбить меня с ног, то вырвется ли хоть гигант из охапки мужчины? — Он предвидел; он хотел убежать из вокзала от меня. Но без драки не мог вырваться. К этому моему вмешательству относится его прекрасная пьеса:

Мчитесь, кони, степью влажной,
Пой «Лучину», мой ямщик:
Этой жалобы протяжной
Так понятен мне язык.

И т. д.

Так и мне мою лучину
Залила водой свекровь

Бог простит моей старушке:
Тьма по сердцу ей прилась.

«Свекровь» — идеал злого влияния на молодую жизнь — это я. — «Тьма по сердцу» мне прилась — ясно: я отнял у него счастье жизни, любовь, то есть женитьбу, невесту. У него сложилась эта песня на дороге обратно в Петербург из Москвы, куда он проехал после курса вод, — кажется, — или из Старой Руссы, если он ехал оттуда, не съездив в Москву. Итак? — Он и до приезда знал, что не женится без моего согласия. Это не всякий сын сделает такую уступку воле отца. Но до той минуты, как написал он мне из Старой Руссы, кому передавали его друзья деньги, которые брали у меня после его отъезда, и, объяснивши, кому, прибавил: «поезжайте к этой девушке», — я не воображал ничего подобного. — Кончилось это дело тем, что он сказал: «хорошо, не женюсь на ней». Снова совершенно ничего не знаю о дальнейших его влюбленностях, пока вводит его ко мне Ольга Сократовна и говорит: «Держи его тут, а я пойду бранить Анюту (ее вторая сестра; теперь давно умерла, бедняжка). Они явились ко мне объяснить, чтоб я повенчала их. Я тебе говорила, они болтают глупости. Я и хвалила их тебе: пусть он сидит у нас! Но какая же невеста, жена ему Анюта? Она милая, добрая девушка; но она пустынькая девушка. Соглашусь я испортить жизнь Николая Александровича для счастья моей сестры! Он и мне дороже сестры, хоть я дура, необразованная. Я необразованная, сама себя стыжусь и ненавижу за это. Но все-таки я понимаю, моя сестра не пара Николаю Александровичу. Когда ты можешь ехать в Саратов? Ты отвезешь туда Анюту». — Как я кончил работу для той книжки журнала, я отвез Анюту домой к отцу и матери ее. — В промежуток разлучаемые все плакали, сидя рядом и по временам обнимаясь, Добролюбов плакал, как девушка. — Строгость обличительных речей, которые долго произносил Добролюбов передо мною о жестокости Ольги Сократовны (но ее боялся: услышит, беда! — и потому о ней было лишь урывками) — и о жестокости моей, была трагична. — Кончилось это — и опять я ровно ничего не знал о том, что делает, что чувствует Добролюбов, знал только: он пишет. Но что пишет он, я не знал. Статей его я никогда не читал. Я всегда только говорил Некрасову: «все, что он написал, правда. И толковать об этом нечего». Скоро, впрочем, Некрасов подружился с Добролюбовым: они стали жить вместе. Что они делали, о чем они говорили, — мне было неизвестно. Я только всегда говорил одному о другом: «Вы не правы; он прав», а о чем был у них спор? Я не знал. По первому слову жалобы я решал: «Он прав, Вы неправы»,

Та девушка полюбила меня, как искреннего ее друга. После все близкие к Добролюбову любили ее; даже светские женщины. — Но Ольге Сократовне Добролюбов никогда, я полагаю, ни слова не сказал о ней. По крайней мере, от Ольги Сократовны я ничего не слышал. А она каждый день по три раза приходила, садилась и пересказывала мне все, что говорила, что ей говорил кто, что она делала; все, до мельчайших мелочей.

Такого правдивого человека я никогда не знал другого. И очень трудно кому-нибудь найти хоть в романах такого правдивого мужчину. В моем чтении романов не попадалось такого мужчины. О женских лицах и толковать нечего.

Если ты веришь тому, что я говорю о ее правдивости, — понятно, что при ее горячем характере, я — до рождения Миши, когда я слушал ее прощальные слова, не умел разобрать, ненавидит она меня или нет. Каждый день, по три раза, по пяти раз — я был для нее другом, которому вверяется все. Что я друг ее, она знала; только не знаю, разбирала ли сама, расположена она ко мне или нет. Это было — лет пять (я забыл, когда родился Миша).

Чрезвычайно неровный характер; и горячий чрезвычайно. — И (это лишь для тебя, не для Юленьки и сестер): она очень разбижена сестрами и Юленькой — «они умные, образованные, добрые, я вижу — а я дура, необразованная, злая», — это не то, что они давали ей понять, что она мало образована; они этого не делали: «это я сама знаю. Я терпеть не могу себя» и т. д. А если взглянуть серьезно, то: она очень гордая, и — чувствует себя не умеющею говорить, о чем говорят женщины, — сами ли учившиеся, или получившие хорошее образование. Это — чувство понятное. — И она знает: характер у нее неровный. Она понимала это так: «Я злая; завидую добрым; завидую». Через минуту: «Терпеть не могу добрых! Все добрые люди — дрянь!» — Вот и разбирай. — Разбирать нечего? Это вспышки? Ну да; я и не разбираю, какие у нее чувства к кому из сестер и к тебе.

Так. Но то — я, безгранично преданный ей. А другим — хоть бы и родным, мудроно ж не чувствовать, что она говорит оскорбительно, когда она говорит оскорбительно.

Я все это знаю, мой милый. Я всегда знал все, что она думает, говорит, делает. Все, все — тотчас же, если, по ее мнению, стоит оторвать меня от работы; а если обыденные вещи, — то через два, три часа, когда она зайдет, по обыкновенному порядку, посидеть и поговорить.

Личных чувств между мужем и женою нельзя судить по общему масштабу их мнений и чувств относительно других. По крайней мере, когда муж безгранично предан жене. Но и я никого не считаю ошибающимся, если кто судит о жене не совсем

так, как муж — если этот муж я. — «Ослепление страсти в человеке пятидесяти лет?» — Влюблен в Ольгу Сократовну я был — несколько часов, при первом нашем разговоре. Это был разговор в гостях, длился с обеда до конца вечера; как обыкновенно в обществе, с длинными перерывами. Я был, конечно, скучен ей. Да и не танцевал же я. И не ездил прогуливаться: вся молодежь с опекунами уезжала надолго кататься (это было зимою). Разговор мой с нею был урывками, по несколько минут. И, в продолжение нескольких часов, я был влюбленным. Но задолго до конца вечера это исчезло. Это нимало не похоже на мое чувство к Ольге Сократовне. — Всего больше в моем чувстве к ней силен элемент уважения.

Видишь ли: у меня есть свои понятия об условиях человеческой жизни. Они, быть может, не совсем одинаковы с понятиями людей, каких знавал я, как очень умных, или — иных — как обладавших и более сильным умом, нежели я. Например, хоть у Некрасова от природы ум, вероятно, более сильный, чем у меня. Но я не жил той жизнью. И мои понятия не таковы. Потому я сужу о многих людях не совсем так, как, быть может, следовало бы. — К числу людей этих, из тех, с кем я был близок, принадлежит — одна Ольга Сократовна. Это независимо от того, что она женщина, а не мужчина.

Но довольно об этом. — Ты видишь, я мимоходом исполнил часть того, чего ты хочешь: рассказал о некоторых из моих отношений к Некрасову, Добролюбову. — Я готовлю письмо к детям. Об астрономическом отделе истории земного шара. Это выходило так много, что я — писал и рвал — за длинноту — писал, сокращая прежние мысли, и снова рвал — вот уж три недели. Это были груды рассуждений о Ньюtone, о Лапласе, о Гаусе, о нынешних астрономах; — на пользу Саши, который, повидимому, слушал в университете пустых педантов и не знает, к чему служит математика. Но выходило чрезмерно длинно. Через несколько дней, вероятно, совладаю с собою и напишу в объеме, какой хочу дать очерку величия трудов Ньютона и Лапласа. Те педанты, профессора университета, повидимому, воображают, что Ньютон и Лаплас — дрянь перед Гаусом и в особенности перед ними. И их глупость заслонила, повидимому, от Саши реальное, разумное значение математики. — Когда кончу, примусь писать для тебя мои воспоминания о Некрасове. По моим отношениям к Добролюбову ты должен думать: о Некрасове я почти ничего не знаю, кроме двух, трех эпизодов его жизни. Да. Припомни — мы с тобою сколько лет жили вместе? — И что я знал о жизни брата, с которым живу? — Почти ничего; кроме жалоб Ольги Сократовны на тебя и похвал Ольги Сократовны тебе. Но и то — лишь все одно и то же — и все сливалось в одно: «собственно говоря, ровно ничего». — Но два, три эпизода из жизни Некра-

сова известны мне отчасти ближе, чем кому-нибудь, да, — отчасти очень близко; но с пробелами, о которых я не знаю ничего.

А пока, чтоб не медлить словом защиты человеку, которого очень любил, скажу: я совершенно убежден — в чем никто не убежден ни о ком из людей без денег, ведущих большую игру и под конец делающихся выигравшими много, — я совершенно убежден: он играл в банк и тому подобные — ненавистные лично мне — игры безусловно честно. Он был немногим больше образованный человек, чем Ольга Сократовна. И по той же причине: до годов, когда покинули родных своего детства, оба жили в кругу людей, непохожих на таких, среди которых росли мы. А вышедши на свою волю, рассудили, что «вознаградить потерянное для образования время уж поздно». — В глубине души не то. Это — презрение к тому, что нахожу я педантством. Но я или ты, мы стали презирать эту галиматью мелочности и вздорных мыслей, только уж успевши изучить ее. А у Ольги Сократовны это было раньше, чем она начала учиться. Потому и не начала. Но досадно, обидно. У Некрасова — тоже: он почти ничему не учился до 15 лет, — и после того не учился. И ему тоже было обидно общество людей хорошо образованных; он не стеснялся со мною, потому что видел во мне презрение к педантам. Разговор ему со мною не был оскорбителен для его невежества. Он был человек необыкновенного ума. И если взглядывал на человека со вниманием, понимал его мысли. Он видел, что я плюю на дурацкую ученость. И я постоянно пробовал рассказывать ему просто, в чем состоит сущность наших знаний о том, что было бы полезно ему знать. Он, разумеется, не тяготился, не чувствовал досадным, что я хочу учить его. Но при малейшей возможности отлынивал от скучного ему предмета разговора. А я не умел принуждать его долго: надоест и мне говорить зевающему и очень плохо слушающему. И чуть я ослабил принуждение ему, он пускался толковать об интересном ему. Иной раз это было что-нибудь хорошее или дурное, но достойное внимания моего или твоего. Чаще — пустяки из его пребываний за обедами в Английском клубе и тому подобных невинных и честных, только пустых компаниях. Но чаще всего тянуло его говорить о своей карточной игре: только слушай, он будет говорить об этом каждый день, от приезда с одной игры до отъезда на другую игру. Это, впрочем, обыкновенно была лишь любимая тема. Он мог думать, говорить, слушать и о других вещах; и о некоторых людях, положим, о Панаевых или о Добролюбовах. Но часто, целыми неделями, он не мог думать ни о чем, кроме игры. Он знал: это, вообще, гадко мне, как немногим; но понимал: «Думает Чернышевский, то пусть думает: это гадко. Но меня он не осуждает». И правда: мало ли каких слабостей не защищал я при нем или от него. «Это подлец». — «Извините», — и примусь оправдывать, если порицаемый за подлость сделал ее не по злomu

желанию, а по слабости. Он знал: я смотрю на его игру, как на пьянство. Любил же я пьяниц и уважал же. — Из всех этих бесконечных рассказов об игре я скоро вывел убеждение: «он играет честно». И, я уверен, я не ошибался.

Он множество раз излагал мне теорию, как играть, чтобы выигрывать. Сущность верна: «Кого я мало знаю, я смотрю в глаза ему. Не выдержит он моего взгляда, я иду на большую игру с ним: знаю, выиграю. Но если он выдерживает мой взгляд, — неизвестно, кто кого обыграет. Лучше нам разойтись». Он понимал, впрочем, и без моего толкования: «Это — испытание силы характера». — Напишу после, подлиннее, об этой жалкой стороне его жизни.

По его словам, из числа людей, ведущих большую игру, он знал лишь двух, трех, играющих честно. Имя одного я помню: муж той меценатки Смирновой — как ее звали? О. И.? или нет? — Но ты помнишь: друг Жуковского, когда была девушкой, и т. д. Смирнов был человек богатый. Но люди, богаче его, были просто шулера, некоторые, по словам Некрасова. Имен не помню. И он говорил со мною о всеобщем нечестном ведении игры совершенно свободно, как человек невинный в этом. Когда я смотрю пристально, я иной раз могу разбирать: искусственно или натурально говорит человек с душевным спокойствием за мое мнение о нем. Некрасов всегда был натурален. Я говорю о разговорах вдвоем со мною, только. Впрочем, если не ошибаюсь, — или он, или я, мы отходили в другой угол, один из нас, когда были гости: он, хозяин, занимал одних; я старался, сколько умею, исполнять обязанности хозяина при других гостях.

Размолвок у меня с ним не было ни одной, хоть я часто поступал не до чрезмерности хорошо. Тяжелый для нас обоих был один разговор: о некоторых — напрасных — неудовольствиях Добролюбова — больного, жившего в Италии. Мы еще не знали, и никто не знал: у него нечто вроде Брайтовой болезни, — быстрое, неотвратимое. Мы не сомневались: оправится. Но болен; надобно не противоречить. И мне было все равно, прав он или нет. Я нашел, что неправ. Некрасов прав. Но это было мне все равно. И я говорил Некрасову: «Сделаем, как он хочет». Некрасов часа три спорил. Разумеется, уступил. В сущности, предмет спора был пустячный. Напишу после, подробно. Но нам обоим было тяжело. Это — единственный тяжелый для меня разговор у меня с Некрасовым. Он, вообще, держал себя со мною гораздо благороднее, нежели я был относительно его. Я во многом виноват перед ним.

Но в главном предмете, по которому я близко знал два, три эпизода его жизни, я был защитником — правого ли дела? — не умею сказать; но — защитником женщины. Это длинная, длинная история, о которой у него столько превосходных пьес; напри-

Давно отвергнутый тобою,
Я шел по этим берегам;
И полон думой роковою
Мгновенно ринулся к волнам.
Они приветливо светлели.
На край обрыва я ступил,
Но волны грозно потемнели

(или зашумели? — не помню),

И страх меня остановил.
Поздней, любви и счастья полны,
Ходили часто мы сюда.
И ты благословляла волны,
Меня отвергшие тогда.
Теперь опять, забыт тобою,
Брожу у этих берегов
и т. д.

Этого эпизода я уж не видел: он миновал, когда я сблизился с Некрасовым. Эта дама теперь старуха. И я не поврежу ее репутации, рассказавши все, что знаю. И напрасно было бы здесь, хоть это я пишу лишь мимоходом, умалчивать ее имя, понятное всем, кто по дороге будет читать мое письмо. Да и не винит никто никого из этих посредников нашей переписки в нарушении тайн частной жизни женщин или в неуважении к их доброму имени.

В начале своей близкой дружбы с Некрасовым Авдотья Яковлевна Панаева была безусловно права и перед мужем и относительно Некрасова.

Конец цитированной мною пьесы обвиняет ее не в измене, как можно бы подумать. Нет: это была грубая ссора их братьев: ее брата я лишь видывал в лицо. Он не нравился мне. Но из этого ничего не следует: я вовсе не знал его. Брат Некрасова — человек грубых нравов. Он и брат Авдотьи Яковлевны поругались между собою в квартире Панаевых. Руготня была в первобытном русском стиле; то есть как хохлы ругаются у Гоголя: взаимно ругали герои словесной битвы всех своих родных. Гвалт был на весь тот маленький переулочек, — на беду глухой: стука экипажей нет, чтобы служить сурдинкою, и рев ругающихся разносился далеко по проулку, был громок и на другой стороне дома (дом был угловой. Трубникова, что ли, — кажется; у Владимирской, в Хлебном или Поварском; маленький; вероятно, давно сломан). И кончилось тем, что Авдотья Яковлевна сказала: «меня обижают твои родные». — Естественно, у грубых людей ругательства имели денежный характер. Оно ведь правда: тяжело это для женщины. «Я не могу выносить такого обидного мнения. Разойдемся». Вот все, о чем говорит пьеса. Итак: «отвергнутый тобою», — это: она не решалась бросить мужа. — А «забыта тобою» она сказала: «Разойдемся. Уезжай».

Не признаваемые перед всем обществом отношения между мужчиною и женщиною могут быть вначале очень милы, но

редко остаются такими долгие годы. Неловкость положения перед обществом уязвляет сердца, и дело идет хуже дурной брачной жизни. — Я, ты знаешь, не умею говорить с женщинами иначе, как с мужчинами: «друг», то платье не делает разницы. Но «друг»; без того к чему ж гожусь я для разговора женщине? — Поэтому я всегда чуждался их разговоров, — кроме тех, с кем из них был дружен. — Авдотья Яковлевна была тогда красавицею, каких не очень много. Свита у нее была большая. Вне гостиной, вероятно, редко бывала Авдотья Яковлевна в те часы дня, когда я заходил по делам, в начале моего — еще не близкого тогда — участия в журнале. Я знал ее в лицо. Она, быть может, мало и помнила, кого она видит, — когда снова видела меня. Некрасов уехал. Я редко бывал у Панаева. Он всегда любил меня, но боялся спорить со мною. Я делал ошибки. Но советоваться с ним — было бы напрасно.

Но после разрыва Некрасов вернулся. Стал жить особо. Я прихожу по делам часто. Утром. Однажды встретил там Авдотью Яковлевну. Едва ли мы говорили с нею. После встречались часто. Но ничего, похожего на особенное расположение ко мне, я не видел в ней. Но она, вероятно, видела, что недостаток формальности в ее отношениях к Некрасову для меня не существует. Была очень добра ко мне. Ровно ничего, кроме любезности при разливании чая, по обязанности хозяйки, не оказывала она мне. Но это было очень заботливо. И вот раз вхожу; сидим, говорю я с Некрасовым о делах, — и, не помню, как, зачем, почему, — вздумалось мне: — «Хорошо же! дам урок Некрасову». Я не был близок с ним. Просто сотрудник, — не лишний; только. И чем я был недоволен в разговоре Некрасова с нею, — обыкновенном разговоре за чаем — я не помню и не могу даже приблизительно сообразить. Но недоволен был чем-то. Вероятнее всего, собственными размышлениями о нравах общества, для которого формальность обряда в церкви — все. И вероятно, это, собственно, всему обществу пожелал я дать урок в лице Некрасова. — Протягивает — через крошечный столик, где мы трое — Авдотья Яковлевна, стоящая перед столиком, руку с чашкою чаю мне. Я взял руку и почтительно поцеловал. Это было дико. Я понимал. Но я много лет после, вспомнивши, успел понять другое, похуже: это имело вид лакейства. Я был без гроша. Побирался у Некрасова, не имевшего денег, по 10 рублей, по 20 рублей. А надобным человеком я еще не был. Что ж это было, как не лакейство? — Но я никогда не умел — и теперь не умею — во-время сообразить: прилично ли я делаю что-нибудь. Заметил ли Некрасов, что я дал ему урок, покрыто мраком неизвестности. Авдотья Яковлевна — натурально! — поняла, что я хотел выразить моим лакейством не лакейство, а честное сочувствие к женщине; — не к ней, а вообще к женщине. И, должно быть, с того же раза стала видеть во мне друга — не ее, а женщины.

Я, нимало не соображая, что общество уж достаточно научно одним уроком, принял себе за правило: всегда целовать руку у Авдотьи Яковлевны. И неуклонно следовал решению.

Но никакого разговора у меня с Некрасовым о ней не было, когда я стал уж и близок к нему. Она была очень, очень добра ко мне. Но ровно ни о чем мы с нею не говорили.

Произошел у них новый разрыв. Из-за чего и как, я не знал. И не знаю. Она уехала за границу.

Но довольно на этот раз. Возвращаюсь к твоему письму, милый друг.

Итак, мой милый: хоть бы у нас с Ольгой Сократовною было и десять человек детей, обо всех десятерых я думал бы гораздо меньше, чем о ней. Но мое мнение о Ольге Сократовне я никогда не считал могущим казаться правильным для других — хоть бы и для наших детей, не то что для тебя и сестер. А что она беспрестанно бывает несправедлива к тебе и к сестрам, я с первого же дня нашего приезда в Петербург знал от нее. Меня она нашла лишним обижать года через три после свадьбы. Но разобрала сама, что имеет расположение ко мне, еще лишь года через два. И я, раньше того, не умел разобрать; я полагал, — наоборот: она более или менее ненавидит меня; только что ж ей делать, когда я друг ей? Поневоле сидит со мною и говорит мне все, что хочется ей говорить; надобно ж говорить: хочется. Ну, и говорит. Но не воображай, что когда-нибудь и после тех прощальных слов она в первые лет девять после нашей свадьбы говорила мне, что любит меня; нет; «я понимаю, что ты хороший человек» — больше ничего, никогда в те лет девять. У нее — стыдливость говорить хорошее о себе. А повидимому, она все хвалит себя. — О своем отце, о моем отце, о твоих отце и матери она не стыдилась и не стыдится говорить, что она хорошая — хоть по своим чувствам, если не по поступкам, которыми она часто недовольна относительно твоих отца и матери, — хорошая родственница. О других стыдится говорить, что она любит кого — и мне, в те девять лет, она не говорила ничего, ничего о любви ко мне. — «Я злая. Я никого не могу любить. Я злая. Сама себя ненавижу за это. Но не могу быть не злою». Исключение из людей составляли для нее не люди, действительно: девчонки и мальчишки, которыми она забавлялась, как куклами: они все очень хороши. В Добролюбове она видела ребенка. Он страшно боялся ее. И очень любил. С ним она не сорилась. Но ведь он — все слова слушал с благоговением. И сколько раз плакал, говоря мне: «Попросите ее найти невесту мне. Или найдите вы. Вы найдете. Нет, не найдете; и она не найдет» и т. д. — «С ними я не злою; только все браню их». Как резко и быстро переменялась к сестре Поленьке, это даже мне показалось замечательно: была она в восторге от Поленьки, — пока Поленька была ребенок. Но у Поленьки есть знания, серьезные мысли, Поленьке скучно вертеться

в кругу ее милых кукол, — и: «я ненавижу ее; я дура, а она умная». Это значит: «Мне горько за себя при ней; мне тяжело с ней». — А когда у человека с горячим характером тяжело на душе, то — слова льются не ласковые, конечно.

Я не могу думать, что кто-нибудь в состоянии — если перерос лета девчонки и мальчишки — постоянно помнить: «Все ее обидные слова — нимало не интересны для меня». Это трудно. Иной раз очень трудно. А когда это часто — то ни даже у Поленьки не останется же терпенья продолжать любить обидчицу. — И могу ли я находить, что, например, не права перед Ольгой Сократовною Поленька, у которой, пока я видел ее, был ангельский характер и по кротости, и по энергии желания делать добро.

Я понимаю, как следует всем другим держать себя относительно Ольги Сократовны. И я не находил никогда, что ты или кто из сестер, вы держите себя с нею менее родственно, чем я желал бы. Напротив: постоянно все вы любили ее больше, чем я находил возможным для вас. Но письмо должно кончить ныне. Отправляется почта. И я еще должен писать Юленьке. И довольно об О[льге] С[ократовне]. Но, благодарю сестер за их любовь к ней. Благодарю тебя.

Твой прекрасный и преумный племянничек, получивший от Ольги Сократовны титул в честь тебя, — ей в то время казалось, что она любит тебя, — вернулся с войны, схвативши болезнь, которая очень упорно и прекрасно умеет сокращать жизнь людей. Убивает эта южная лихорадка не более часто, я полагаю, нежели тиф. Но тиф, если не убил, исчезает. И человек проживет столько же, сколько прожил бы и не подвергавшись ему. Южная лихорадка отнимает несколько лет от срока жизни, какой был прежде нее для данного человека.

Если Саша мог дожить, по природе своего организма, до 75 лет, теперь он проживет лишь до 70. Это самый меньший вычет из срока жизни от той лихорадки. Обыкновенно вычет гораздо больше.

Но это несчастье — самое лучшее счастье для Саши из всего, что могло быть. Я совершенно счастлив, что он поплатился так — ужасно, но сравнительно: — так дешево за свою ребяческую шалость.

Хочешь слышать от меня, что думает о подобных дурачествах всякий хороший генерал, — например, знаменитый германский полководец Мольтке? — Вот что: «Эти патриоты вредят своей родине. Никакое европейское государство не нуждается в солдатах. У всякого есть большее число хороших солдат, чем каким оно в состоянии пользоваться. Берем Португалию. Пусть в ней 5 миллионов жителей. Она в два, лишь в два месяца может сформировать, обучить и ввести в битву 750 000 человек солдат. Если она имеет достаточное число «специалистов» для обучения

и командования. Один опытный и умный унтер-офицер дороже целой сотни солдат. Будь в Германии хоть одна тысяча таких унтер-офицеров, Германия могла бы уменьшить наполовину число солдат под знаменами в мирное время. Но в целой Германии из десятков тысяч унтер-офицеров лишь сотня хороших «специалистов» унтер-офицерской теории и практики». — Таково, ручаюсь, мнение Мольтке, хоть не случилось мне читать, как судит он именно об этом, мелком, вопросе.

Ты скажешь: «Это глупо». — Да. Ты скажешь: «И все то, что писал прежде отец Саши о нем ему, его матери, мне» (тебе), «было глупо». — Разумеется. Но что ж из того следует? — То, что я пишу в порицание Саши совершенно глупые вещи. Только.

Дальше у тебя в письме о лекарствах для меня. Я виноват перед медиками, с которыми советовался ты, что писал, по обычаю, не взвешивая выражений. Я никогда не находил, что выбор лекарств ими для меня был в чем-нибудь неудачен. Он превосходный. Я плохой стилист, вот все.

В моем организме оказался скорбут, помешавший лечению зоба. Почему я не предупредил, что я нахожу в себе, кроме других болезней, и скорбут? — Да, я виноват. Я. Это было очень глупо. Но — я не мог написать, что у меня скорбут, — по цели моего тогдашнего письма. Я хотел, чтобы вы думали: «Он может лечиться недурно. Тот медик, — инспектор врачебной управы, с которым советуется он, хороший медик. И часто приезжает в тот городишко, — например, раз в год. Раз в год — это уж недурная помощь советами». — Как же мог я говорить о скорбута? Разве солгать. Я пишу нелепости, это правда. Но писать нелепости это — пустяки. А лгать не люблю.

Я написал о том медике нелепость: письмо к вам — тебе или Саше, не помню, — было наполнено похвалами и признательностями тому инспектору врачебной управы. Все это нелепость.

О фактах я промолчал.

Он зашел ко мне по обязанности. Ему было приказано губернатором, знавшим, что я болен, лечить меня. Какая ж тут признательность ему за визит? — Он не смел не прийти.

Я знал, что у меня скорбут. Я ел бруснику, когда мог доставать. Я ел ее пудами. — Я сказал ему: «у меня скорбут». — Он нашел: нет. Он был пьяница, пропивший свой маленький ум и все свои маленькие прежние знания. Скоро я услышал, что его увезли из Якутска в больницу сумасшедших, от пьянства. Но тогда он был еще в совершенно здравом уме. Лишь глуп и совершенный невежда в медицине, — хуже плохого фельдшера. Но я думал, что все-таки он имеет хоть ту клиническую опытность, какую имеет всякий сторож при госпитале. Сильный скорбут виден всякому сторожу. И я думал: «остатки скорбута ничтожны. Не стоит пи-

сать о них». — Как мог бы я писать, не говоря, что медик, правда хуже фельдшера, но все-таки, — вероятно, хоть сильный-то скорбут увидел бы?

Но теперь вы знаете от петербургских медиков: бром обнаружил для них, что во мне сильный скорбут. Из этого вам ясно: тот медик был хуже плохого фельдшера. — Ну, да: когда знаете, то: да. — А живущий теперь здесь вовсе идиот, бедняжка, — вы знаете. Как быть: да.

Но здесь есть три фельдшера. У них можно лечиться. Они все-таки кое-что знают.

Ты пишешь, мой расчет о слабости хинной тинктуры, присланной мне, ошибочен: тинктура не та, какую нашел я в фармакологии. Значит, я сообразил ловко. Но и без того расчет уж был ошибочен. Я цитировал страницу, с которой беру вес капли тинктуры. Я цитировал на память. Страница верна. Но, перечитывая книгу, я увидел: я привел вес эфира, а не спирта. Спирт показан так: две трети грана. А не половина. Для курьеза я стал считать: вес спирта и воды не верны в той фармакопее. Разумеется, это все равно. Количество капель на прием назначается не по весу, принятому в какой-нибудь фармакопее, а по клиническим наблюдениям.

Но я не помнил веса капли спирта. И ошибся. Что из того следует? Я ничего не знаю в медицине. И я всегда понимал это. Я знал, что мои медицинские соображения — галиматья. Но я полагал, что превосходные медики, с какими ты будешь советоваться, сумеют понять хоть что-нибудь из этой галиматвии. Они поняли больше, чем я надеялся. Они поняли, вероятно, все. Диагноза их, сделанная по догадкам из моей галиматвии, оказывается верна. Выбор лекарств — прекрасный. Но что ж мне делать; они ли виноваты, что скорбут не выносит брома? Это закон природы, а не вина медиков. Ем бруснику. Съел два пуда. Буду есть, пока будет в продаже, — то есть круглый почти год. Но все это вздор. Я пил азотную кислоту года полтора, когда был (в Забайкалье) подле меня медик. И бром показал: «было мало этого леченья». Без медика, — с фельдшерами, — я не отважусь пить азотную кислоту большими дозами. Я мог бы умереть, прежде чем они и я, мы сумели бы заметить: «пора приостановиться». — Маленькими дозами стоит ли пить? — Лучше уж брусника. Но это слабая дрянь; чему она поможет? — Пустякам. Но — пью.

И винить медиков, с которыми ты советовался, за неудачный выбор лекарств! — Нет, мой милый. Я лишь плохой стилист. Прошу прощенья у них, что вышло у меня обидно для людей, которых я постоянно благодарил в моих мыслях.

О состоянии здоровья напишу в другой раз. Оно хорошо при данных болезнях. Но вот: пишу целые дни и не утомляюсь. В постели, вот уж двадцать пять лет, я не лежал ни дня, ни одного.

Пора кончать. Надо еще написать Юленьке и Ольге Сократовне.

О Некрасове я рыдал, — просто: рыдал по целым часам каждый день целый месяц, после того как написал тебе о нем. — Но моя любовь к нему не имеет никакой доли в моем мнении о его историческом значении. Это значение — факт истории. И мне с моими личными склонностями нечего мешаться в оценку фактов. Это дело науки, а не личных вкусов ученого. — Повтори ему, если он жив, все, что я говорил, — от лица историка, или эстетика, Чернышевского, которому нет дела до вкусов его знакомого, Чернышевского. То действительно факты. Поцелуй от меня, как от его знакомого. Благодарю за его доброе мнение обо мне. Скажи, что он был честнее меня. Это буквально. Благодарю, что подобно написал ты о нем.

Никитенко — полагаю — был человек, в сущности, не дурной и не глупый. Мне он был бесполезен. Потому это выгодное мнение едва ли пристрастно.

Алексей Осипович был очень благородный юноша, когда я знал его. Но никогда ни одного слова, ни одного слова не слышал от меня ровно ни о чем, из чего бы то ни было интересовавшего меня: он мог воображать, что он пользуется моим расположением. Никогда. Это Ольга Сократовна делала для него кое-что из уважения к желанию моего отца: он был дальний родственник. Я не давал бы ему, вероятно, денег, — кроме поддержки на первый раз. Но Ольга Сократовна давала деньги и кормила его долго. А он воображал, он нравится мне. Никогда. Но он был благородный человек. Только терпеть я не мог вздорных фантазий. И он даже не говорил мне о них: не я ж учил бы его писать философские трактаты! — какие он печатал. Но Ольга Сократовна была добра к нему.

Буду писать тебе, что помню из нашего детства. — И о Некрасове раньше того.

Я понимал, что собирать якутские сказки — не мое дело, по-твоему. Я понимал, это было желание «этнологов». Терпеть их не могу, — всех ученых по «новым наукам». Все это старая дребедень. Факты собираются; это хорошо. История и этнография становится полнее. Но новых идей тут нет: все было известно — хоть бы Вольтеру. Только он был не педант. А они пересоздают науку! — Когда дойдет до этого в моих ученых письмах к детям, буду много смеяться над этими «биологами» и «этнологами» и «антропологами».

Свое здоровье береги: жена, четверо детей, Ольга Сократовна с двумя детьми — это не маленькая компания; и до 24 лет Саша изволил воевать с турками. Но эта сторона порицания ему неважная. Авось будет теперь кормить себя сам. — Итак, я отвечал на все. Теперь буду писать Юленьке. Целую тебя. Твой И. Ч.

Ю. П. ПЫПИНОЙ

[25 февраля 1878.]

Милый мой дружок Юлинька,

По-моему, Вы еще ребенок. А дети мало понимают, что они делают.

Вы заставили меня, моя милочка-малютка, плакать. Это Вы предвидели, когда писали мне? — Нет. — И теперь плачу, Юлинька.

Я охотник плакать. И Вы сделали мне гораздо больше радости, нежели Вы могли предвидеть.

Только вот что: не поймете Вы этого, не поймете Вы; потому что Вы — мать.

Вы пишете мне о моих детях. Вы думаете, я благодарен Вам за них? — О Ваших чувствах к ним я знал давно. С самой Вашей свадьбы. — «Я терпеть не могу ее. Юлии. Но она — благородная девушка» (по-нашему с Ольгой Сократовною, Вы очень много лет кормили обедами мужа и грудью детей, оставаясь девушкой.) — «Она благородная девушка. Она заботится о моих детях. нужды нет, что я терпеть не могу ее».

Это говорила мне Ольга Сократовна в письмах, которые получал я от нее во время Вашей свадьбы. После я виделся с нею. Она уж не говорила, «может» или «не может» она «терпеть» Вас. Но о Ваших отношениях к моим и ее детям говорила.

И после постепенно говорила в письмах, что Вы — будто мать ее детям. — Стало быть, нового из Вашего письма ничего об этом я не узнал.

И — новое ли, нет ли, — это менее радовало меня в продолжение стольких лет, чем порадовали Ваши несколько строк о женщине, которая много обижала Вас, и теперь, без сомнения, обижает.

Вот видите ли: дети милы отцу лишь потому, что он любит их мать. Этого вовек не поймете; когда и вырастете, будете большая, будете сама женою — не поймете, милая девица. Вы все-таки останетесь женщиною. По-Вашему, дети — это самые милые существа. Да, — можно и их любить, если любит их отец [и] мать их.

Милый дружок, я много плакал над Вашими добрыми словами об Ольге Сократовне.

Но для Вас это непостижимо.

Никогда терпеть не мог я женщин. Мое чувство к ним шире, чем у Ольги Сократовны, и главное: неизменно. У нее, об одной, о двух, — на минуту, и — опять может любить женщину, которую «терпеть не может». Я постоянно терпеть не могу — всех женщин. Ольга Сократовна неумолимо и ежечасно требовала, чтобы я любил хоть девиц, которых она всегда всех любила. Я во

всем слушался ее; но этого приказания не <мог> исполнять. То же, хоть и не люди еще, а ребяташки, — и девицы, уже немножко женщины.

Зачем ты, господи, родил на свет женщин? — помните, у Голя размышляет хохол-мудрец. Я тоже: недоумеваю.

Но когда-нибудь будут на свете только «люди»; ни женщин, ни мужчин (которые для меня гораздо нестерпимее женщин) не останется на свете. Тогда люди будут счастливы.

А теперь — вот хоть бы Ваше дело: четыре милых существа с утра до ночи сидят у Вас на плечах. Тяжеленько, дружок. А у Вас, — как у всех хороших матерей, — нет и понятия, что Вы измучены. Это такие милые сокровища, что Вы думать ни о чем не можете, кроме них. — Терпеть не могу женщин.

Мученье им. А они радуются.

Но чтобы угодить вам, милый дружок, поговорю о Ваших милых существах. Как их воспитывать? — раздумываете Вы.

Самое лучшее воспитание — подобное тому, как воспитывался Ваш муж, сестры его, братья его. И я с старшими из них. С двумя сестрами Вашего мужа я был почти одних лет. Да и он скоро стал пригодным компаньйоном для нас трех.

Мы были очень, очень небогаты, наше семейство. В Петербурге самые бедные из людей, виданных Вами, — даже нищие — не знают теперь, что такое был «гривенник» в нашем — не бедном — семействе. Оно было не бедно. Пищи было много. И одежды. Но денег никогда не было! Поэтому ничего подобного гувернанткам и т. п. не могло нашим старшим и во сне сниться. Не было даже нянек. Прислуги было много. Но она была вся занята хозяйственными делами. Она присматривала за детьми лишь редкими и ничтожными урывками, для отдыха от дел. Об этом не стоит и говорить: — А наши старшие? — Оба отца писали с утра до вечера свои должностные бумаги. Они не имели даже времени побывать в гостях. Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги. Они желали быть, — и были, — нашими няньками. Но надобно ж обшить мужей и детей, присмотреть за хозяйством и хлопотать по всяческим заботам безденежных хозяйств.

Итак, урывками мы имели нянек — читающих; и слушали иногда; а больше сами читали. Никто нас не «приохочивал». Но мы полюбили читать.

А кроме этого, мы жили себе, как нам вздумается. Были постоянные советы нам, чтобы мы не разбили себе лбов. При малейшем приключении такого рода на помощь нам прибегали взрослые люди, — или наши старшие, или прислуга. Но больших бед не могло быть. Опасных игрушек у нас не было: ничего железного, ничего острого. Это потому, что и вовсе не было у нас покупных игрушек. На игрушки нам не было денег. Поранить себя нам было нечем. А наши старшие были люди смирные; шума.

беспорядка не было даже у прислуги: вся прислуга — крепостные матери Вашего мужа, — были люди истинно благородные. Потому и у нас, росших в обществе честном и скромном, формировались скромные, рассудительные нравы в наших играх. И так, опасности нам от наших забав не было. И росли мы, собственно говоря: как проводят время взрослые люди, то есть: делали все, как нам было угодно.

В Вашем семействе, вероятно, было больше надзора за детьми, милая Юлинька. Вы были богачи сравнительно с нами. Но и Вы, сколько мог я видеть, когда Вы были ребенком, имели довольно мало стеснения над собою.

Я хотел рассказать, дружочек мой, как началось мое знакомство с мужем Вашей сестрицы и с нею. Расскажу после. Теперь пора отправлять письмо. Скажу лишь: Ольга Сократовна никогда не говорила мне об Аделаиде Петровне без любви. А она всегда говорила мне все свои мысли, все, обо всех. Аделаида Петровна была единственною женщиною, которая казалась Ольге Сократовне — изо всех знакомых ей молодых дам, — одна казалась совершенно благородною, бесхитростною и совершенно доброю молодою дамою. И Ольга Сократовна — непрерывно — что очень трудно при ее характере — непрерывно хвалила ее мне. И скажу для смеха:

Я возвел трех женщин — только трех — в сан женщин, которых я душевно, душевно люблю. И, в знак отличия, пожаловал я им почетный знак: где бы то ни было — не стесняясь присутствием общества, хотя бы встретившись на улице, я, с свойственною мне ловкостью, брал и тянул к губам себе руку моей душевно любимой женщины и целовал. Это были: Панаева, о которой пишу Вашему мужу, — акушерка Ольги Сократовны, — истинно благородная женщина, действительно любимая мною, — госпожа Трёдлер, и — Аделаида Петровна.

Однако обо всем нашем знакомстве напишу в другой раз. Я хотел сказать: Вашу матушку я мало знал; Вашего батюшку — еще меньше. Но, судя по редкому благородству души Аделаиды Петровны, я полагаю, что она росла не уродуемая и что после помогала Вам пользоваться счастьем нестесняемого лишним надзором детства.

Пусть Ваши дети растут (они очень милы Вам, то скажу им комплимент) — пусть они растут, как полевые цветки. Надзор лишь за тем, чтобы не разбивали себе лбов чаще и сильнее, нежели это приятно им. Поощрение к хорошему? — Собственно лишь пример жизни старших. И довольно с них.

Вы видите: плохо я отзываюсь о милых существах, о которых исключительно одних думает всякая хорошая мать. Но я защищаю Ваших детей против Вас. Это уж всегда, во всем так у меня: защищаю всех против всех, не разбирая ничего, — не хочу ничего знать! Никаких резонов оправдания ни от кого не принимаю; не

милосердвую даже над священным чувством материнской любви; пусть людьми живут, как люди, и дети пусть живут, насколько могут и умеют, — как люди.

Милый мой дружок, напишу Вам побольше. Вы не думали, Вы и теперь — уж серьезно говорю: едва ли понимаете, сколько радости доставили Вы мне Вашим письмом. Целую Вашу ручку и обнимаю, целую Вас, милый дружок. Ваш *Н. Ч.*

652

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[Около 1 марта 1878.]

Милые мои друзья Саша и Миша,

Продолжаем наши беседы о всеобщей истории. — Мы просматривали астрономический отдел предисловия к ней. — Я анализировал Ньютонову гипотезу, то есть мысль Ньютона, что движение небесных тел по закону природы, открытому им и называемому нами Ньютоновой формулой, производится силою всеобщего взаимного притяжения вещества. Анализ дал мне: это нимало не «гипотеза»; это просто-напросто: безусловно верное знание; оно имеет характер математической истины; потому никто из людей, находящихся в здравом рассудке и знакомых с предметом, не может не признавать этой истины за совершенно бесспорную, не подлежащую ни малейшему сомнению. А между тем большинство астрономов-математиков, то есть всех вообще сколько-нибудь авторитетных математиков, изволит говорить: «прав ли тут Ньютон, еще неизвестно». И я поставил вопрос: но каково ж, однако, когда так состояние научной истины в головах этих господ? В добром ли здоровье господ большинство авторитетных специалистов по математике?

И мы увидели:

Господа математики, желающие прославлять себя глубоко-мыслием, изобретают разные сорта «пространств, имеющих два измерения»; рассуждают о том, какую организацию должны иметь «разумные существа двух измерений», могущие удобно жить в тех пространствах; сочиняют «новые системы геометрий», сообразованные со свойствами тех «пространств двух измерений» и особенностями органов чувств тех «разумных существ двух измерений»; изобретают для «нашего» — лишь нашего, лишь одного из многих возможных пространств — для «нашего» пространства, «кажущегося» нам — лишь «кажущегося» нам — пространством трех измерений, «четвертое измерение», быть может существующее в нем и незамечаемое нами потому, что мы в этом отношении «слепорожденные».

Не дурно.

И масса знаменитых математиков не советует тем господам изобретателям образумиться, устыдиться, — нет: она одобряет, принимает в «науку» эти дурацкие бессмыслицы, эти идиотски-нелепые глупости.

Не дурно. Очень не дурно.

Больные бедняжки, с головами до помрачения здравого рассудка избитыми Кантом; правда, чванные педанты, по мотивам тщеславия своею цеховою премудростью изменники научной истине, своей специальной, родной, математической истине; по их цеховому патенту, преимущественной, даже единственной истине; пошлые изменники истине, правда; но больные бедняжки, достойные сожаления еще больше, нежели негодования.

И я продолжаю:

Милые мои друзья, вы — люди молодые. Молодость — время свежести благородных чувств.

И она любит уважать тех, кого считает корифеями науки.

Это чувство благородное. И разумное. Все благородное разумно.

Все благородное разумно. По научному анализу это бесспорная истина. Достоверная не меньше любой математической истины. Научный анализ показывает: благородное, подобно доброду, подобно честному, лишь видоизменение разумного.

И что из того следует? — Примесь неразумного к благородному порча благородного.

В чем разумность уважения к ученым? — В том, что уважение к ним — лишь видоизменение уважения к науке, любви к знанию, любви к истине; лишь перенесение этих чувств на наши чувства к отдельным людям.

А измена истине уважения ли заслуживает?

Я понимаю: тон, которым говорю я об ученых, уважаемых вами, огорчителен для вас. Но и мне самому приятна ли необходимость говорить о них таким тоном?

И я уважаю тех ученых, дельных специалистов, когда они, как дельные специалисты, скромно трудятся по своим специальностям и, добросовестно трудясь над разъяснением тех специальных вопросов, к разработке которых добросовестно подготовили себя своими специальными занятиями, добросовестно говорят то, что понимают; это верное служение науке; и результаты его: дельные, скромные, почтенные работы, верные духу научной истины.

Так трудились Лаплас и Ньютон.

И нынешние специалисты по математике — я знаю — много трудятся так. И за эти их труды я их уважаю.

По уму все они люди ничтожные не то, что перед Лапласом, — не говоря уж о Ньюtone, но и перед Эйлером или Лагранжем; пигмеи даже перед Гаусом. И работы их маловажны. Но хоть маловажные, они все-таки имеют некоторое научное значение. И они — работы добросовестные.

И за эти свои работы они, честные труженики, достойны уважения.

Но, к сожалению, они не довольствуются быть скромными тружениками, чем довольствовались быть Коперник, и Галилей, и Кеплер, и Лаплас; чем довольствовались быть и сам Архимед, и сам Ньютон. Им угодно чваниться своею цеховой премудростью, презирать в этом чванстве правило здравого смысла: не болтай о том, чего не понимаешь; и им угодно прославлять себя глубоко-мыслием.

Результат: одни из них изобретают, а остальные одобряют идиотски-бессмысленные глупости, вроде «пространств двух измерений», «разумных существ двух измерений», «четвертого измерения пространства».

Об одобряющей эту белиберду массе мы поговорим после. Сначала займемся изобретателями «пространства» и «разумных существ двух измерений», изобретателями «четвертого измерения», сочинителями «новых систем геометрии».

Математика — о, конечно, это единственная наука. Все остальные науки — просто дрянь перед нею.

Это, наверное: «мы», — «мы», — специалисты по математике. Из этого ясно: все остальное в жизни человечества — дрянь перед математикою; потому что все остальное человечество — дрянь перед нами.

Так. Но это дрянное человечество довольно мало интересуется нами; и, уже не говоря о житейских делах, даже некоторые ученые исследования интересуют его больше, нежели математика. Например, философия для него гораздо интереснее математики. Из сотни людей, знающих имена Сократа, Зенона, Эпикура, едва ли один слыхивал имена Диофанта или Паппа.

Архимеда, Коперника, Ньютона знают, положим, все. Но не гораздо ли чаще, нежели о них, говорят о Платоне и Аристотеле?

Декарта, философа, знают все; многие ли знают, что он был и математик?

Вот такого-то рода были мысли, мучившие изобретателей «пространства двух измерений» и остальной чепухи. Содержание этой чепухи относится к математике лишь повидимому. На самом деле оно не имеет никакого родства с нею. Оно относится к области вопросов, гораздо более широких, чем вопросы о предметах математики, к области вопросов, которые называются в строгом техническом смысле слова «философскими».

Этих вопросов очень немного. Но они очень широки; шире самых широких вопросов всякого специального отдела наук. Один из них — вопрос о достоверности наших знаний.

В философии нет речи о том, о чем толкуют натуралисты, рассуждая о степени достоверности впечатлений, доставляемых нам зрением или слухом. С философской точки зрения, это мелочные вопросы, которыми философу, как философу, не стоит

заниматься. Он предоставляет разбирать эту мелочь специалистам по физиологии. Ему это не интересно. Мы увидим, что такое вопрос о достоверности наших знаний в философии. Он имеет в ней такой смысл, до которого натуралист, как натуралист, не может додуматься. Это смысл, противоположный всему, чем интересуется натуралист, смысл не совместный ни с какою мыслью, могущею возникнуть из занятий естествознанием. Смысл этого вопроса — желание некоторых философов отрицать все естествознание, со всеми его предметами.

Эти философы называются философами идеалистического направления.

И вот в эту область забрели те господа, не умеющие и вообразить себе возможности мыслей такого широкого характера. И что могло выйти у них, когда они принялись болтать о том, что совершенно вне круга всех возможных для них мыслей? — Вышла неизбежным образом бессмыслица.

Ну, вот на этом застало меня известие, что «завтра идет почта», и я, бросив этот листок, принялся писать вашей маменьке.

А листок этот, забытый мною, уцелел от судьбы своих предшественников, от полета в печь.

То пусть послужит вам образцом множества брошенных в печь.

Сообразите, к чему подошло на нем дело:

Очевидно, вслед за теми строками, на которых я остановился, должно было следовать изложение системы Канта.

Хорошо. Полезно. И, говоря строго: даже необходимо для ясности мыслей о том, как неизмеримо глупа уродливая миньютюрная карикатурочка системы Канта, которую воображает большинство натуралистов «своею философию», — воображает философию, выведенную из естествознания, и которую, до крайности глупую и мелкую, еще мельче и глупее истолковывают глубокомысленнейшие из большинства натуралистов, господа большинство математиков и которую, «опровергают»!! самые глубокомысленнейшие мудрецы из этой отборной компании глубокомысленнейших между всею массою большинства мудрых натуралистов, — опровергают «новыми системами геометрии»!!!! — простую белиберду «опровергают» «белибердою-матрадура, то есть: двойною белибердою» — если выразаться словами Гоголя.

Полезно, даже необходимо изложение системы Канта при таком помрачении умов натуралистов от Канта. Но сколько ж листков понадобилось бы на изложение системы Канта?

И имели ль бы терпение вы, мои милые друзья, прочесть это множество листков, излагающих скучнейшую, пустейшую галиматью (система Канта — галиматья; галиматья, слепленная ге-

ниальным человеком громадной силы; галиматъя гениальная, но совершенно вздорная галиматъя).

Это были бы листки нестерпимо скучные для вас.

И вы не превозмогли бы их, я полагаю.

И, ныне остановившись на тех строках, я завтра бросил бы в печь этот листок.

Уж хотел бросить, через пять минут после того, как остановился писать его, но забыл.

А вот в промежуток миновавшей печи и завтрашней печи он цел, — и пусть уцелеет, чтобы видели вы:

Каковы те диссертации, которые пишу я для вас — по две в неделю, — и по две в неделю — за их бесконечность сожигают написанными — каждая на многих листках — лишь разве до десятой доли всей предстоявшей полному изложению длины.

Буду писать — уж извините: без аргументаций для мотивирования моих похвал большинству нынешних натуралистов.

Я невежда в естествознании; но, мои милые друзья, эти господа любят философствовать; до их специальных трудов, честных, дельных трудов, у меня лишь одно отношение: уважаю их.

Но господ, желающих быть дураками, — я называю это: «быть дураками», по их мнению, это значит: быть мудрецами, — господ, желающих быть дураками и по этому похвальному влечению пускающихся философствовать во вкусе Канта и хуже, чем во вкусе Канта, во вкусе Петра Ломбардского, Томаса Аквинатского, Дунса Скотта, —

таких господ мудрецов буду хвалить уж без аргументаций: «это ослиная мысль», пусть будет довольно того.

Иначе измучил бы я вас слишком длинными рассуждениями об идиотской галиматье, в которую превращается у них гениальная галиматъя великих софистов, подобных Канту или Гоббзу, Макиавелли или ученикам Лайнеса, истинного основателя, — вы знаете, — иезуитского ордена, — Лайнеса, которому дурак Лойола служил лишь парадною куклою.

Вот что умно выдумывали для отрицания науки великие софисты, глупо повторяют те простофили.

А даже и умно слепленная, подлинная галиматъя тех великих софистов давным-давно перестала заслуживать опровержений, потому что давным-давно разбита в прах.

Например: система Канта в прах разбита уж и системой Фихте, человека, добросовестно ставшего на точку зрения, на которую лишь для фокусничества становился временами Кант, на точку зрения «идеализма»;

— вышло: система Канта — мелкотравчатая, трусливая система; а система самого Фихте?

Честная; логичная, но — совершенно сумасбродная.

И все это было уж брошено через двадцать лет после первой фундаментальной книги Канта, — в двадцать лет не только Кант, но и разбивший его Фихте успели явиться, изумить, оказаться пустозвонными людьми и быть сданы в архив.

Эта сдача в архив произошла уж почти восемьдесят лет тому назад.

Стоит ли теперь опровергать Канта?

Но кому угодно оставаться невеждою, может; и кто остался невеждою, может считать новым все, что ему взбредет в голову, как новое для него. Хоть бы это было нечто ассирийское или вавилонское. Одного он не может: переварить в своей невежественной голове ничего, требующего широких знаний; и все, по его мнению, «новое», залетающее в его голову при перетряхивании архивного хлама, вылетает из его уст в бессмысленной карикатурности, — в виде, например, «пространств двух измерений», — которые возбудили бы в Канте лишь презрение к дураку, понявшему так мелко и бестолково его крупную, умную софистику и воображающему, будто он «опровергает» умную галиматью Канта своею ослиною галиматьею идиотского ржания.

Итак: буду довольствоваться короткими похвалами чудакам, которым нравится превращаться по временам из неглупых людей, дельно работающих над узенькими задачками своих специальностей, в философствующих ослов, увеселяющихся курбетами с победоносным ржанием и мычанием и ревом.

Это будет огорчительно вам, простодушные юноши.

Ваш отец без церемоний и без доказательств называет глупостями мысли «великих ученых», — по-вашему, о юноши, всякая дрянца «великий ученый»; —

и вы будете чувствовать себя под гнетом «страшной дилеммы»; наш отец — невежда ли?

или — бессовестный наглец?

— ну, и мучьтесь, мои милые юноши, пока разберете:

ваш отец — обыкновенный рассудительный человек, бывший в старину специалистом по философии; теперь уж давным-давно перезабывший почти все, что когда-то знал, но еще сохранивший хоть настолько-то знакомство с архивными системами философии, чтобы узнавать иногда, откуда вылетела иная новейшая мудрость, как стара и ни к чему не пригодна в своей подлинной, когда-то бывшей умною, форме, и как глупа она в невежественной перделке новейших мудрецов.

Милые мои друзья, во всяком поколении бывает множество «великих ученых», о которых в следующем поколении никто уж не может сказать: за что называли великими учеными этих — хорошо еще если усердных чернорабочих, а не просто шарлатанствующих педантов.

Ваше время, нынешнее время тоже обильно ими. Это не стыд нынешнему времени. Всякое другое было такое же.

Но и претензия: «нынешние ученые все наподбор действительно умные люди и дельные ученые», — эта претензия была бы неосновательна и со стороны людей нынешнего времени, как была неосновательна со стороны людей всякого прежнего поколения.

Но довольно пока.

Будьте здоровы. Не обижайтесь, мои милые друзья, что ваш отец говорит с вами просто как с юношами.

Знаете ли: ведь оно действительно правда: я несколько старше вас летами.

Это пусть будет «великое открытие».

И — как быть! — я пережил больше «великих открытий», чем вы; и многое, новое для вас, — архивный хлам для меня.

Однако серьезно: извините, мои милые друзья, что я обижаю вас.

Извините — говорю серьезно. Я не мастер говорить ловко. И у меня часто выходит, что я говорю обидно, думая только безобидно шутить или говорить деликатно.

Но что я желаю вам добра, это правда, и этого довольно, чтобы вы пропускали без внимания мои неловкие обороты речи.

Жму ваши руки. Ваш Н. Ч.

653

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

1 марта 1878. Вилюйск.

Милый мой дружочек Оленька,

По своему неизменному правилу, я совершенно здоров. Вот если б у тебя, моя голубочка, было так же непоколебимо такое же правило, то я прибавлял бы: «и я совершенно счастлив».

Живу очень хорошо. Денег у меня порядочный-таки запас. А я, хоть не особенный охотник роскошничать, живу не без роскоши.

Здесь, в крошечном городишке, разумеется, нет в лавках ничего, кроме товаров по карману простолюдинов. Но здешние люди так привыкли разъезжать по бесконечным далям, что Якутск, находящийся в семистах верстах, воображается им городом, до которого рукой подать. И у кого есть малейшие деньжонки, всякое семейство покупает все — в Якутске! Это полторы недели езды. Но они непрерывно таскаются туда. С их стороны это просто: бестолковость. Но для меня это их бродяжничество удобно: лишь бы вспомнить за две, за три недели, что понадобится к тому времени, — всегда есть кто-нибудь, собирающийся побывать в Якутске. И недели через две, три после того, как

дашь поручение, все, что нужно, привезено. И вещи куплены — хороших сортов. — Разумеется, надобно все необходимое для комфорта иметь в запасе довольно большими количествами и по временам пересматривать: много ли остается. Но [я] уж привык к этой маленькой аккуратности: не забываю пересматривать и пересчитывать мои запасы вещей, сахару, чаю и т. п.

Чай и сахар я всегда покупаю на целый год, впрочем. Так же точно и многие другие вещи. Раз в год, в ярмарочное время в Якутске, цена бывает много дешевле обыкновенной. — Цены тогда почти такие же, как в Иркутске; стало быть, не особенно дорогие. Провоз сюда из Якутска — дешево рубля за пуд. Дело явное: эти люди не умеют сосчитать, во сколько, собственно, обходится им доставка привозимых ими товаров. Это — цена вьючного провоза в 700 верст! Того, что лошади изнуряются, становятся негодными, — хозяин не умеет сообразить.

Вообще, люди простодушные до жалкости. Но добрый и, в сущности, очень неглупый народ и здешние русские, и сами якуты.

Впрочем, мне недосуг проводить время с ними. Читаю, читаю и, по своей жадности к этому, — не замечаю, как летит время. Вот, например, вчера я увидел, что с кровлей уж каплет растаивающий снег. А зима будто очень недавно началась, по моему впечатлению.

Вся зима была необыкновенно мягкая, по-здешнему. И я все это время гулял, не чувствуя неприятности от холода и даже от ветра, хоть бы сильного.

Впрочем, само собою разумеется: это зависит не столько от мягкости зимы, сколько от состояния моего здоровья. В молодости не предполагал я, что я человек особенно крепкого здоровья.

Но вот уж больше двадцати лет ни на один день не лежал я в постели. Это — многие ли могут сказать о себе? — Из сотни один разве.

Вот если бы ты была такая ж, моя голубочка, то был бы я совершенно счастлив.

А тебе следует стать крепче меня здоровьем. Оно у тебя от природы очень сильное. Только позаботиться о нем, и оно восстановится так превосходно, в такой свежести, что и сама на себя будешь радоваться, не только меня сделаешь счастливейшим человеком на свете.

Твой, то есть, стало быть, мой отец был человек железного здоровья. Он страшно пренебрегал им. Страшно. Человек обыкновенной крепости сил не дожил бы так до тридцати лет. А ему удалось сломить свои силы, только когда он был уж стариком. Твоя мать — не была она матерью тебе, миленькой моей, — но так и быть: пусть, она мать — она имела измученную гордостью душу и была очень твердого характера: она лежала столько лет,

не вставая с постели, просто по своему решению: «хочу держать себя так». Твой отец очень хорошо это знал. Видел и я, хоть ничего не понимаю в медицине. И он сам говорил мне. — Только не знаю, как они думали друг о друге. Знаю, разумеется: она его ненавидела. А он был перед нею, как робкий племянник-юноша перед суровой теткою, госпожою в доме. Так. Но знать это и все относящееся к тому еще мало. Понимал ли наш отец свою жену? — Этого, главного, я не знаю. Думаю, не понимал. У него был беспечный характер, и едва ли он был охотник много вдумываться в проблему: «Что ж такое в самом деле Анна Кирилловна?» — Эта задача была мудреная. — Я ненавидел твою мать. Никого в моей жизни я не ненавидел, кроме нее. Никого. Не в моем характере ненавидеть. Но Анну Кирилловну я ненавидел. Лишь два, три года тому назад стало мне казаться, будто бы я начал думать о ней с ненавистью, несколько меньшею, чем слишком двадцатилетняя привычная безусловность этого моего чувства к ней и к самому имени ее. Но и теперь все еще ненавижу ее, злодейку, терзавшую тебя; ненавижу. Ее одну из всех людей на свете, ее одну.

Но мудроно судить, чем была б она при других условиях жизни в первые лет десять замужества. Добрым человеком она не была бы ни при каких условиях ее судьбы. Суровое это было существо, без способности любить ли кого или понять, что такое жалость — хоть бы к себе же самой. Тигрица была она. Но не тигрица только. Она была умный человек; сильного ума. Когда ты сказала мне, чтоб я познакомился с нею, ее ум был уж изуродованный ханжеством, которое угодно было ей давно носить маскою. Но серьезно, — она была такая же «верующая», как вот я верующий. Она — я видел — смеется в душе над религиею. Но маска ханжества уж изуродовала ее ум. И все-таки: она еще оставалась человеком большого ума. При всей дикости навязанных ей себе мыслей и при всей неудачности ее слишком натянутого притворства рассуждать благочестиво виден был большой, даже в изуродованности, не лишенный достоинства ум. И сила характера у нее была громадная. Добрым человеком она не могла бы ни при каких условиях быть. Но при других условиях судьбы она была бы, я полагаю, человеком благородным, великодушным, благотворителем и мужа, и детей, и всех близких.

И хоть сильно ненавижу ее, но больше жалею о ней.

Но дело, собственно, не о том. Она лежала столько лет — сначала вовсе здоровая и до конца моих свиданий с нею все еще не больная. Она успела в пятнадцать или двадцать лет долежать только до ревматизма. Да и то слабого. Другой человек, вздумавший полежать так, через два года стонал бы от ревматизма день и ночь. И через пять лет умер бы. А она — ничего себе, полеживает, да и только.

Железное здоровье было и у нее.

А ее сестра и брат, — которых одних знал я, — эти обое, каковы были? — Дарья Кирилловна — могла бы с успехом пристыжать здоровенных мужиков, таская, для шутки, кули с мукою, что они считают тяжелою для них, атлетов, работою. Это было просто страх смотреть на такую «светскую женщину», нежное существо слабого пола. Я соображаю: кого из знакомых мне тогда мужчин не избивала б она в случае схватки. Двое, трое из сотни сами переломали бы ей ребра, правда. Но всем остальным переломала б она. А ее братец, Михаил Кириллыч! — На целый Петербург был диковинка, — согласись. Помнишь, как он — он был действительно добрый, благородный человек, — он порол плетью мерзавца, замучившего другую твою тетку, Горохова? — Горохов был тогда очень сильный мужчина. А Михаил Кириллыч держал его за плечо одною рукою и сек. Это, положим, несколько патриархально, но мило, клянусь, мило: сечет здоровенного мужчину в такой непринужденной позе, в какой может обыкновенный мужчина удержать при сеченье разве шестилетнего мальчика.

Это я шучу. По моему обычному искусству, остроумно и изящно. Но кроме шуток: и отец твой, по тебе — мой, такой же милый отец, и твоя мать, и родня твоей матери были люди железного здоровья.

И все это — проповедь в изобличение тебе, для твоего исправления? — Да, моя милочка, моя голубочка: стыдно тебе будет, если ты не захочешь быть моею здоровенькою милочкою и делать меня счастливейшим человеком на свете. Это зависит лишь от твоей воли, снова стать тебе здоровою, здоровою, крепкою, свежеею силами.

Стань же такая. Стань, моя миленькая радость.

Надеюсь, моя миленькая Лялечка, станешь ты такая.

Быть может, отправляю ныне же ученое письмо к нашим с тобою возлюбленным детям. Они возлюбленные мои дети. Только я рассчитываю, что достаточно и за себя и за меня любишь их ты. Потому не нахожу необходимым любить их и мне самому, лично. Ты уполномоченный мой чувствовать за меня, и очень удовлетворительно исполняешь принятую на себя комиссию.

То и прекрасно.

Но серьезно: Саша уцелел; оправится от болезни. Миша держит себя рассудительно. Что ж мне, думать о них?

Попржнему думаю только о тебе, тебе одной.

Пишу им на втором полулистке этого письма по нескольку слов.

Будь здоровенькая, моя милая голубочка, и все будет прекрасно.

Крепко обнимаю, и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялечка. Целую твои ножки. Твой Н. Ч.

654

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

[1 марта 1878 г.]

Милый мой друг Саша,
Ты уцелел на войне, — только это и думаю, когда думаю о тебе.

И выздоравливай. Теперь это важнее всего для тебя. Только об этом, собственно, и заботься.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

655

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

[1 марта 1878 г.]

Милый мой друг Миша,
В прошлый раз я написал твоей маменьке некоторое обличительное поучение о тебе. Не утаила она от тебя это мое сокровище премудрости?

Но все равно. То мелочь. Усердная моя просьба к тебе, но просьба неважная. Будь здоров, — в этом весь смысл той моей просьбы.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

656

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

1 марта 1878. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша,
Продолжаем наши беседы о всеобщей истории. — Мы говорили о предисловии к ней. Просматривали астрономический отдел его. Анализировали содержание так называемой «Ньютоновой гипотезы», то есть мысли Ньютона, что движение небесных тел по закону природы, открытому им и называемому нами «Ньютоновой формулой», производится силой всеобщего взаимного притяжения вещества. И мы остановились на том, что анализ дал мне:

Ньютонова гипотеза — нимало не «гипотеза», она просто-напросто: безусловно достоверное знание.

И я продолжаю:

Милые мои друзья, вы — мои дети. И разумеется: вы склонны думать хорошее обо мне в наивозможно большем размере и наивозможно лучшем виде.

Я — ученый. Я один из тех ученых, которых называют «мыслителями». Я один из тех мыслителей, которые неуклонно держатся научной точки зрения. Они, в самом строгом смысле слова, «люди науки».

Таков я с моей ранней молодости. И моя обязанность рассматривать все, о чем думаю, с научной точки зрения, давно, очень давно вошла в привычку мне так, что я уже не могу думать ни о чем иначе, как с научной точки зрения. Это и о моих личных чувствах, и о личных чувствах других ко мне.

Итак, я сужу о той вашей склонности думать обо мне как возможно лучше по моей обязанности и привычке: мне нужна не моя личная приятность, мне нужна: научная истина. И из того, что относится ко мне лично, лишь то, что хорошо с научной точки зрения, доставляет мне приятность.

И как я сужу о той вашей склонности? — Вот как:

Она — одно из видоизменений так называемого «чувства семейной любви». Семейная любовь — наиболее распространенное между людьми и наиболее прочное, потому, в смысле влияния на жизнь людей, самое важное и самое благотворное из всех добрых чувств человека. — Вывод: та ваша склонность достойна величайшего уважения.

«Так неужели ж такова научная истина?» — Да. — «Но она совершенно проста». — Да. — «Но она, в сущности, то самое, что, в сущности, думает всякий, сколько-нибудь образованный человек, сколько-нибудь рассудительный». — Да. Таков характер научной истины по всей, по всей совокупности всех отделов наук о человеческой жизни.

«Но кто ж из ученых говорит так? Лишь очень, очень немногие». — Да. Между специалистами по наукам о человеческой жизни очень мало «людей науки». Разумеется, мы отложим речь об этом до тех наших бесед, где должна будет идти речь о том по ученому порядку предметов.

Здесь надобно заметить лишь по требованию справедливости: каково бы ни было отношение огромного большинства специалистов по наукам о человеческой жизни к научной истине, — оно таково же, как отношение к ней огромного большинства натуралистов; в том числе и астрономов, — то есть — так как все хорошие математики — астрономы, то и — математиков.

Вы, мои милые друзья, люди молодые. Чувства у молодых людей, вообще, свежее, благороднее, чем у людей пожилых. Но вы ждете, я скажу: «молодые люди вообще неопытны; и слишком доверчивы». — Да. Это не ново. И всем известно. Но это научная истина. И я говорю именно это.

Между учеными очень мало людей науки. Это одинаково по

всем отделам наук и, в частности, по всякой науке. По всякой. То есть и по математике.

Припомним, для примера, судьбу «Лапласовой гипотезы». Решение дела об этой «гипотезе» зависело исключительно от математиков. Дело было просто, и достоверность выводов Лапласа очевидна для всякого, знающего хоть одну арифметику. Но шестьдесят лет огромное большинство астрономов-математиков, — то есть математиков, твердило всему образованному обществу: «мысль — более остроумная, нежели основательная». И давлением авторитетности специалистов правильное суждение о деле, легкое для всякого, знающего арифметику, — то есть для огромного большинства образованных людей, — было пригнетается во всех тех, которые доверчивы к специалистам. Всякий не-специалист думал: «мне кажется, что Лаплас говорит чистую правду»; но почти всякий прибавлял в своих мыслях: «впрочем, я не могу судить об этом», — и подчинял свое знание, свой рассудок повелению огромного большинства астрономов: — «следует повиноваться нам; мы одни тут компетентны. Мы повелеваем: Лапласова гипотеза должна быть считаемая лишь за «гипотезу». Мысль Лапласа более остроумна, нежели основательна». — Лишь очень немногие из не-специалистов знали, какова научная истина о специалистах. Она такова: «Специалисты — тоже люди, как и все люди. И, подобно огромному большинству людей, огромное большинство специалистов во всякой профессии ведет свои дела по рутине». И шло дело о Лапласовой гипотезе, как пришлось ему итти по удобству рутины, — пока все образованные люди увидели по спектральному анализу: «Лаплас прав». И масса астрономов подняла гвалт изумления: «Лаплас прав!!!!»

Может ли быть найден по отделу естествознания факт, еще более постыдный для большинства специалистов? Вы знаете: он уж найден нами, на первом же шаге нашего пути по отделу астрономической истории Земного Шара. Этот факт: дело о Ньютоновой гипотезе. Проверка ее еще проще, нежели проверка Лапласовой гипотезы. Предмет дела имеет научное значение, еще более колоссальное: Лапласова гипотеза — лишь один из множества предметов, охватываемых Ньютоновой гипотезой. И дело длится уж не шестьдесят лет, а два столетия.

Таково-то, милые друзья мои, состояние научной истины по отделу естествознания; и, в частности, сообразно специальному содержанию обоих тех фактов в математической астрономии, в той отрасли естествознания, где состояние научной истины наилучшее из всех отраслей естествознания.

Человек, никогда не занимавшийся и никогда не имевший охоты занимать ни одну отраслью естествознания, вздумал говорить со своими детьми об истории человечества. И ему, — ему, — не знающему из математики ничего, кроме арифметики, — пришлось решать вопрос: прав ли Ньютон.

Он решил. Он знает по данному предмету очень мало. Но оказалось, что он, — он, — знает несравненно больше, нежели необходимо для легкого и безусловно правильного решения дела. Между прочим оказалось, что по математике он знает несравненно больше, чем требуется для решения дела. Он знает: и тройное правило, и действия над дробями, и — мало ли, каких премудростей в элементарной арифметике! — он знает все эти премудрости, известные всем образованным людям с десятилетнего возраста. Ничего из этих редких знаний не понадобилось. Оказалось: для решения дела нужна лишь таблица умножения.

И перед таким-то «вопросом», — вот уж два столетия, — в недоумении отступает громадное большинство астрономов, то есть математиков: — «Мудрено. Не можем решить. Прав ли Ньютон, неизвестно».

В «Сказках тысячи и одной ночи» нет такого нелепого чудотворения, как то, которое в течение целых двух столетий изволят совершать над собою громадное большинство астрономов, — то есть математиков, — по делу о Ньютоновой гипотезе.

Мы разберем, почему изволят они и каким способом удастся им совершать над собою такое нелепое чудотворение, длящееся благополучно вот уж два века.

Но прежде, мои милые друзья, мы разберем вопрос, — ничтожный для науки, но важный для вас, детей моих: — вопрос о моих отношениях к делу, по которому я принужден был высказать — мое, — мое! — решение; — я, — я! — не знающий из математики ничего, кроме арифметики, принужден был решать, прав ли Ньютон.

Вы — мои дети. И расположены думать обо мне как можно лучше. Эта ваша склонность достойна величайшего уважения.

Это не мое мнение. Не мое. И не: мнение. Это — научное решение. Я не имею и не могу иметь ровно никакого «мнения» по данному делу, — ни «моего», ни чьего бы то ни было. Когда научное решение дано, я могу только «знать» его. И я его «знаю». Вот все.

Так, я не имею и не могу иметь ровно никакого мнения о таблице умножения. Я «знаю» ее; и тоже «знаю», что она верна. Только.

Эти два слова: «Знаю. Только», — дают очень большую силу. Кто «полагает», «имеет мнение», тому трудно держаться на ногах. «Мнение» — нечто шаткое. Но стоять на почве науки, только на почве науки — это значит: не иметь возможности поколебаться.

Это сильное преимущество «знающего» перед «незнающим». Мы будем иметь примеры тому.

Итак, я не имею никакого мнения о вашей склонности думать обо мне хорошо. Я лишь «знаю», что она достойна величайшего уважения. И, разумеется, я не могу ж не понимать: я обязан,

насколько могу, содействовать удовлетворению потребностей этого вашего расположения.

Одно из самых прямых и широких применений этой вашей склонности состоит, конечно, в том, что вам интересно знать, как думает ваш отец, — человек ученый, — о своей ученой деятельности. Вы, по вашей любви к нему, не можете не быть сильно расположены придавать, в ваших мыслях о его ученой деятельности, большую авторитетность — лишь, для вас, конечно, — его собственным мыслям о ней.

Но я полагаю, вам было, вообще, затруднительно разбирать, по моим беседам с вами, как же именно я думаю сам о своей ученой деятельности. Иногда я недоволен ею; и — я пишу саркастическое восхваление себе. Вам, детям, конечно, оскорбительно это. Но вы думаете, разумеется: «Как быть! Все мы — люди. И все мы, иной раз, думаем о себе с гневом на себя. Это неважно». Но вот что более может затруднять вас: сарказмы, положим, редкость; но если я не издеваюсь над собою с гневом, то — я весело подсмеиваюсь над собою. Это идет, кроме тех перерывов сарказма, — почти сплошь у меня. И вам, людям молодым, неопытным, мудрено разглядывать мои серьезные мысли о себе сквозь шутилой оболочки их.

Я знаю: это значит, я не помогаю вам формировать справедливое мнение о моей ученой деятельности, — мнение людей любящих, но разумное, справедливое. Я затрудняю вас в этом моею шутильностью. Знаю. И воздерживаюсь от шуток над собою в письмах к вам. Но много воздерживаться не удастся мне. Как быть! — такой характер. И правду говоря: это все-таки лучше, нежели противоположная слабость, склонность к чванству. Хорошо уж и то, что моя шутильность избавила меня от этого наиболее обыкновенного порока ученых. Чванство — такая дурная слабость, что ее надобно называть уж не просто слабостью, а пороком.

Но хоть и хорошо, что чванства у меня нет, все-таки не очень хорошо, что мне трудно говорить о себе без шуток в беседах с моими детьми. Это мешает мне исполнять мою обязанность относительно их любви ко мне: обязанность содействовать тому, чтоб их любовь ко мне была разумна, — и, что то же самое, справедлива.

И вот нам пришлось говорить о деле, по которому моя слабость подсмеиваться над собою остается молчаливою. Я должен воспользоваться этим случаем исполнить мою обязанность перед моими детьми: отец их обязан серьезно высказать им, какие мысли о его ученой деятельности справедливы по его серьезному мнению.

Этот случай: мой вывод о Ньютоновой гипотезе.

Предмет дела, Ньютонова гипотеза, имеет колоссальное научное значение. Это не предмет для шуток.

Те лица, о которых должна идти речь по этому делу, — первых, разумеется, сам Ньютон; а во-вторых, — Лаплас. Когда я говорю о таких людях, я имею настроение духа, не допускающее шутовщины.

А мой вывод о Ньютоновой гипотезе — такое мое дело, за которое я уважаю себя.

И, мои милые дети, ваш отец говорит о себе серьезно. Он в данном случае не может говорить иначе. И он говорит так:

Вывод, который высказал я, безукоризненно хорош. И имеет колоссальную научную важность.

Разумеется, мой анализ содержания Ньютоновой гипотезы показывает во мне человека, никогда не занимавшегося ни астрономией, ни вообще естествознанием. В особенности ярко режет глаза мой способ изложения. По каждой строке, очевидно: я совершенно не умею говорить ни о чем в естествознании языком специалиста; и, в частности, мне совершенно чуждо умение владеть математической терминологией. Но в данном случае все это мелочь, не относящаяся к делу. Мой анализ совершенно полон и совершенно правилен. И если обращать внимание на ту мелочь, то это лишь возвышает достоинство моей работы: со средствами очень скудными я исполнил работу превосходно. Тем больше чести мне за мой вывод: «Ньютонова гипотеза — не гипотеза; она — безусловно достоверное знание».

Этот безусловно верный и колоссально важный вывод я сделал наперекор всему, что говорят астрономы. Сколько могу судить, полагаю: никто из астрономов не высказал такого вывода. Сколько мне известно, все они в один голос говорят: «Ньютонова гипотеза — лишь гипотеза».

Мое предположение об этом едва ли далеко от фактической основательности. Если бы кто-нибудь из авторитетов по астрономии высказался о Ньютоновой гипотезе, как теперь высказался я, это едва ли могло бы оставаться не известно мне. Но, для сущности факта обо мне, все равно, ошибочно ли думаю я: «мой вывод сделан наперекор всем астрономам». Я думаю так. И этого довольно, чтобы справедливо было обо мне: «Защитник научной истины в астрономии и защитник Ньютона против астрономов, — или почти всех, или, по его мнению, всех. Честь ему».

Я полагаю: мое серьезное мнение о достоинстве моего решения по делу о Ньютоновой гипотезе достаточно хорошо и для вашей сыновней любви ко мне.

Но, мои милые дети, оглянемся кругом, спрашивая себя: — «Да кто ж из людей, сколько-нибудь рассудительных и сколько-нибудь понимающих дело, думает о Ньютоновой гипотезе не то же самое, что сказал я?»

Такого человека нет ни одного на свете. Из миллионов людей, рассудительных и знающих все немногие, простые факты, от ко-

торых исключительно зависит высказанное мною решение, — все это множество, множество людей, — все, до одного человека, совершенно единодушно думает совершенно то же, что сказал я: «Ньютонова гипотеза — нисколько не гипотеза»; она — безусловно достоверное знание».

Почему все они думают так? — Да потому, что человеку, сколько-нибудь понимающему дело, пока он в здравом рассудке, невозможно думать иначе.

А астрономы? — Тоже, все, кто в здравом рассудке: все до одного думают то же самое.

«Но говорят они иначе». — А это совсем иное дело. Говорить — всякий из людей, пока не отнялся у него язык от апopleксии, может говорить обо всем на свете все, что ему угодно.

Разбирать слова человека и знать его мысли — это две разные вещи. Вообще, разбирать слова людей полезно, чтобы узнавать их мысли. Но наука дает нам другое средство узнать мысли людей, — средство более верное и несравненно более могущественное. Это — анализ дел человека.

«Сущность мыслей человека не в словах его, а в делах его». Так говорит наука.

Чтобы не углубляться в даль времен, о которых я не мог бы, по недостатку моих знаний, говорить с достоверностью, перенесемся мыслью к началу нашего столетия.

За несколько лет перед началом первого года нашего столетия кончилось невероятно трудное дело печатания великой работы Лапласа, «Небесной механики». Это было дело невероятно трудное. Когда, лет через шестьдесят, понадобилось, по распродаже экземпляров того издания, которое, последнее, напечатано было при жизни Лапласа, сделать новое издание «Небесной механики», собрался целый комитет первоклассных математиков читать корректуры: всякая опечатка погубила бы много трудов великих астрономов нашего времени. И есть такие формулы, что опечатку в них не может поправить сам никто из живущих ныне математиков: формулою пользуются; она правильна, это видно по верности результата вычислений; но как она выведена, — этого никто еще не сумел понять.

Таков-то был дивный гений Лапласа: восемьдесят лет прошло; математика много усовершенствовалась. Но все еще нет человека, который понял бы все формулы, данные Лапасом. И он один до сих пор общий учитель всех астрономов.

Милые мои друзья, вы еще молодые люди. Быть может, вы доверчиво принимаете взаимные самохвальства чванных педантов, заткнувших, по их взаимным уверениям, за пояс Лапласа. Вздор эта похвальба. Из всех, живших после Лапласа и живущих ныне, только один человек сделал кое-какие улучшения в великой работе, завещанной Лапасом потомству на пользование ею и совершенствование ее. Это — Гаус. Его улучшения — крошечные.

И немного их, этих мелочей. Но слава Гаусу и за них. На совершеншение этих мелочных улучшений была нужна сила такого размера, которую, в три поколения, имел один человек. Перед Лапласом Гаус пигмей. Но перед всеми другими, родившимися после Лапласа, он — гигант. И со времени смерти Лапласа прошло уже больше шестидесяти лет; третье поколение кончает свою деятельность; и — все лишь ученики Лапласа; — одного Лапласа.

О, феноменальная, истинно феноменальная сила гения! Лаплас далеко не равен Ньютону. Далекое нет. Но и он — человек все-таки совершенно феноменального размера силы гения. Мы еще поговорим о них, о том и о другом.

Когда перепечатка «Небесной механики» была таким долгим трудом, то, разумеется, первое издание, печатавшееся с рукописи, шло медленно. Но оно было обнародовано за несколько лет до начала нашего столетия. Положим года два на то, чтобы астрономы успели изучить свою новую настольную книгу. Все-таки вот уж восемьдесят лет все, что говорится о Ньютоновой гипотезе, говорится лишь одно и то же всеми астрономами: все они лишь повторяют Лапласа.

Я не читал «Небесной механики». Я не могу прочесть ни пяти строк в ней кряду. Она написана алфавитом формул, неизвестным для меня. Но вот за что справедливо будет осудить меня. Я не читал и популярной переработки великого труда, сделанной и напечатанной самим же Лапласом. Я не оправдываю себя. Но, вообще говоря: я не читал и десятой доли книг, которые — не прочесть только, а изучить было бы мне, по надобностям моих ученых занятий, гораздо более необходимо, чем прочесть Лапласово «Изложение системы вселенной».

Итак, я не знаю, что и в каком тоне говорил Лаплас о Ньютоновой гипотезе. Реальной важности это никогда не могло иметь для меня. Это лишь вопрос о словах, а не о мыслях. Я и без слов Лапласа знаю, что думал он о Ньютоновой гипотезе. Я знаю это по делам его. Вся его деятельность: безусловное признание Ньютоновой гипотезы за совершенно несомненную истину.

Не знаю, можно ли было кому из понимающих дело думать иначе о Ньютоновой гипотезе сто, полтораста лет тому назад. Но знаю: со времени издания «Небесной механики» не существует ни для кого из понимающих дело возможности думать о Ньютоновой гипотезе иначе, нежели высказал я.

Дела и мысли людей — вот предметы моего внимания. На словах я не останавливаюсь. Слова интересны мне лишь как материал для понимания мыслей. Этот материал ненадежен. Когда нет более надежного, я анализирую его. Но когда о мыслях людей достаточно свидетельствуют их дела, я предпочитаю этот вполне надежный материал для улучшения мыслей людей.

Это хорошо. Это дает моему ученому исследованию великое превосходство силы и верности сравнительно с исследованиями

ученых, судящих о делах лишь по словам, — не понимающих своею собственною головою смысла фактов; да и о мыслях людей эти ученые судят лишь по материалу ненадежному. Мое превосходство над такими учеными очень велико.

Очень велико. Но, милые мои дети, оглянемся кругом: кто же из людей, сколько-нибудь поживших на свете, судит о житейских делах по словам? — Никто из людей, сколько-нибудь рассудительных, не делает так. В двадцать пять лет у рассудительного человека это бывает уж давнею привычкою. И десятилетние дети уж порядочно понимают разницу мысли от слов, разницу слов от дел.

Итак, опять то же: ваш отец в своих ученых исследованиях держится превосходного правила. Но все сколько-нибудь рассудительные люди делают то же самое.

И хотите иметь общую характеристику научной деятельности вашего отца? — Вот его мысли о его деятельности:

Он занимался некоторыми из наук о человеческой жизни. По всей совокупности этих наук, научная истина, в сущности, то самое, что думают, в сущности, все сколько-нибудь рассудительные люди, сколько-нибудь понимающие дело.

Таково огромное большинство людей в каждом из цивилизованных классов в каждой из цивилизованных стран.

Насколько успевал ваш отец понимать и высказывать по каждому предмету своей ученой деятельности то, что думают об этом предмете все рассудительные люди, это вопрос об успехе работы. И велик ли был успех, — это, по его мнению, все равно для его достоинства во мнении людей, лично любящих его. Довольно того, что у него всегда, во всей его научной деятельности, было неизменным рассудительное желание:

Быть неуклонно верным научной истине, — то есть по характеру наук, которыми он занимался, высказывать то, что думают все рассудительные люди; иными словами: то, что думает огромное большинство образованных людей; и огромное большинство всех других людей, сколько-нибудь понимающих дело.

Это правда. Это чистая правда. И правда очень хорошая.

Но оглянемся кругом — и увидим: в этой очень хорошей правде о вашем отце нет ровно ничего особенного. Таких людей, как он, то есть честных и старающихся быть рассудительными, — бесчисленное множество.

Дело о нас, — обо мне и о вас, мои милые дети, кончено.

Но сделаем из соображений, ничтожных для науки, важных лишь для вас, моих детей, вывод о семейной любви вообще, о предмете неизмеримо великого научного значения.

Вы, по всей справедливости, имеете полное право думать о вашем отце очень хорошо. По вашей личной любви к нему вам приятно думать о нем так.

Но — то же самое, что о нем, вы обязаны думать о множе-

стве, неисчислимом множестве других людей. Вы обязаны. Законы мышления требуют того.

Правда, вы не будете иметь силы совершенно хорошо выполнить эту вашу обязанность. Как быть! — Мы, люди, пока еще очень слабые разумностью существа. Когда-нибудь мы будем сильны разумностью. Но теперь мы еще слабы. Мы все, и самые сильные между нами, слабы. Никто не может думать о миллионах, десятках, сотнях миллионов людей так хорошо, как следовало бы. И вы не в силах. Но все-таки часть разумных мыслей, внушенных вам любовью к вашему отцу, неизбежно расширяется и на множество, множество других людей. И хоть немножко переносятся эти мысли и на понятие «человек» — на всех, на всех людей.

И что ж мы имеем вообще о чувстве семейной любви? Да и вообще о всяком честном и добром чувстве личной привязанности?

Любя кого-нибудь честным чувством, мы больше, нежели было бы без того, любим и всех людей.

Такова-то научная истина о всех честных и добрых личных чувствах: это чувства, имеющие непреодолимое свойство расширяться с любимого нами человека на всех людей.

И теперь не засмеемся ли мы, если нам попадетя в какой-нибудь ученой книге глупость такого сорта: «семейная любовь — чувство узкое». Это совершенно не научная мысль, при научном анализе оказывающаяся бессмысленным сочетанием слов.

О семейной любви, в особенности, нечего толковать, узкое ли она чувство, или широкое. Надобно ставить вопрос о «всех личных привязанностях». В той глупой мысли первая глупость: постановка частного понятия в вопрос, логически возможный лишь о более общем понятии.

Это нечто подобное тому, как ставить вопрос: два ли глаза у голубя? — Вопрос может быть поставлен в таком виде лишь глупцом, невеждою или плутом, желающим завлечь простяка в какую-нибудь убыточную для простяка пошлость: или осмеять и одурачить его, или и обворовать в дополнение. Логически вопрос ставится так: «Два ли глаза у позвоночного существа?» — Не у «голубя», и даже не у птицы; даже и очень обширное понятие «птица» слишком тесно для такого вопроса. Для него необходимо понятие более обширное, чем не только «голубь», но и «птица».

Итак, вопрос, состоящий из двух терминов — «семейная любовь» и «узкое чувство», — фальшив или глуп по постановке первого термина. Первый термин должен быть «личная привязанность». Второй термин «узкое чувство» фальшив относительно всякого честного чувства. Никакое честное чувство не бывает ни узким, ни широким; всякое из честных чувств чувство всеобъемлющее.

Как скоро постановлен правильно первый термин, — второй термин вопроса исчезает. Вопросы нет. «Честное чувство — чувство всеобъемлющее», это мысль, где в сказуемом лишь повторяется часть содержания подлежащего. Таковы мысли: «Камень твердое тело; золото имеет желтый цвет; четвероногое животное имеет четыре ноги; млекопитающее имеет детей, кормящихся молоком во младенчестве». Это — «предложения тождественные». Вопросы о них нет. Это — аксиомы. Только не математические, а фактические аксиомы.

Чтобы мог существовать второй термин вопроса «узкое чувство», в первом термине должно стоять: «плутовская привязанность» или «подлость».

Подлость — чувство узкое. Человек, имеющий его, не может желать подличать перед всеми людьми.

Но мошенник может желать обворовывать всех.

Итак, о гадких чувствах вопрос логичен, правилен: некоторые из них всеобъемлющи; например, чувство мошенника; некоторые узки; например, чувство подлеца. И, в самом деле, видно: о каждом из них надобно разбирать особо, узкое оно или нет.

Например: тщеславие ученых невежд, болтающих чепуху, которой не понимают, для озадачивания простяков своею ученостью и гениальностью, — узкое это чувство или всеобъемлющее? То есть обо всем ли на свете желает болтать белиберду всякий такой ученый, или не обо всем? — Мудрено решить, так труден вопрос. Но стоит ли решать? Нет. Ясно, что это чувство глупое и пошлое, и довольно знать то.

Милые мои дети, — вы знали хорошо, что такое «диалектика»? — Вы имели пример «диалектического анализа» в моем разборе вопроса: «Семейная любовь — узкое ли чувство».

Вы, если не знали, видите теперь:

Попадись в переделку — например, мне — например, Гаус, — я сотру в прах его мысли.

Он знал ли диалектику? — Нет. А я знаю.

И вся его математика не пособит ему.

Разумеется, он может попасться в переделку мне, лишь если вздумает философствовать.

Но я человек научного мировоззрения. Я уважаю естествознание и математику. Я лишь поправляю ошибку Гауса. А что будет, если натуралисты попадутся в переделку мыслителям, отрицающим самый предмет естествознания, вещество, — и отрицающим законы природы, — то есть отрицающим, между прочим, все формулы астрономии, физики, — отрицающим не только Ньютона, — всего Ньютона целиком, — не только Ньютона и Кеплера, но и Коперника, — каковы-то молодцы выйдут из этой переделки натуралисты?

Они выйдут из нее оплеванные и одураченные. И еще будут хвалиться: «Вот как умны мы стали! Даже сами дивимся своему уму».

И мудрено ли тогда им будет серьезно вообразить, что пустая рутинная фраза: «Ньютонова гипотеза — это гипотеза», не пустая рутинная фраза, а нечто глубокомысленное, и что в самом деле, — «прав ли Ньютон, еще неизвестно», — мудрено ли будет вообразить это простякам, побывавшим в переделке у Бёркли, Гьюма и в особенности Канта, людей очень сильного ума, по обширности знаний далеко превосходящих наиболее образованного и энциклопедичного ученого между натуралистами, и, главное, людей, глубоко изучивших диалектику; — мудрено ли будет простякам-натуралистам, побывавшим в переделке у этих мыслителей, серьезно болтать: «Ньютонова гипотеза — лишь гипотеза»?

Вы увидите, что, побывавши в переделке у Канта, Гаус дошел до того, что сомневался в аксиомах элементарной геометрии и нагородил бессмысленную чепуху по элементарнейшему вопросу элементарной геометрии. — Я поправлю его. Он, математик, какого другого не было после него, — он оказался невеждою в математике сравнительно со мной; — да, со мной. Не мудрено: Кант встряхнул его так, что у него помutilись мысли. Он мог бы в таком расстройстве мыслей отречься и от таблицы умножения. Вы увидите: это смех и жалость.

Ты, Саша, знаешь схватку Гауса с Кантом? — Я надеюсь. А ты, Миша, знаешь? Я поговорю об этой трагикомической истории, которую умудрился произвести над собою Гаус.

И это — Гаус; и это — аксиомы элементарной геометрии.

То мудрено ли нынешним астрономам болтать непонятную для них бессмыслицу о Ньютоновой гипотезе? — Самые сильные умом из них — люди очень мелкие умом сравнительно с Гаусом, человеком истинно великой умственной силы. А Ньютонова гипотеза — хотя и чрезвычайно проста, все-таки несравненно менее проста, нежели аксиомы элементарной геометрии.

И мы побеседуем о судьбе большинства натуралистов и, в частности, астрономов, щеголяющих теперь перед публикою в шутовском наряде, которым наградили их за их невежество Бёркли, Гьюм и Кант — мыслители, отрицавшие естествознание.

И мы побеседуем о судьбе Ньютоновой гипотезы в головах этих жалких простяков, втопанных в грязь, оплеванных Бёркли, Гьюмом и в особенности Кантом, одураченных, наряженных в арлекинский костюм и гордо щеголяющих в нем, с восторгом от своего ума, своей учености, своего «знакомства с научным мировоззрением».

Но мы побеседуем об этих жалких простяках и о судьбе Ньютоновой гипотезы в их избитых Бёркли, Гьюмом, и особенно Кантом, бедненьких, больных головах, — мы побеседуем об этом, милые мои друзья, в следующий раз.

Жму твою руку, мой милый Саша.
Жму твою руку, мой милый Миша.
Будьте здоровы, мои милые.

Ваш, — кроме того, что отец, друг Н. Ч.

657

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

8 марта 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Готовлюсь праздновать твой день рождения. Это и день твоих именин, два самые главные мои праздника. А день нашей свадьбы? — Милая моя радость, да ты припомни: разве я одобрял тебя за то, что ты рассудила принять мое предложение? — Я говорил тогда тебе «Вы» и старался соблюдать деликатность в выражениях моих мыслей о том, одобряю ли я твое решение. Но речи мои не были лишены своеобразной занимательности, — согласись: не были лишены. — «Ольга Сократовна, позвольте мне говорить с вами откровенно. Положим, вы не ошибаетесь, что я несколько не влюблен в вас, а просто: я очень уважаю вас. Это, разумеется, вы говорите справедливо. Но поверьте: вам гораздо лучше будет выйти за кого-нибудь другого. Конечно, я говорю, что я ни на кого из девушек или женщин, кроме вас, не мог смотреть, как на девушку или женщину; потому все они некрасивы на мой взгляд. Ну, и положим, это всегда будет так. Но только согласитесь вы сама: не хорошо вы делаете, что принимаете мое предложение. Положим, я неуклюж и некрасив, и это, по-моему, вовсе нехорошо. Но только поверьте: этого я не принимаю в соображение, потому что об этом, по вашему мнению, не стоит и толковать. Это вы думаете справедливо. Но только это еще пустяки бы, если бы только то и было плохо, что относится до моей наружности и до моих неуклюжих манер. Душа-то у меня тоже такая, что — согласитесь: я все равно, что тряпка. Ну, согласитесь: хорошо ли вам или хоть бы другой девушке венчаться с таким человеком, у которого душа все равно, что тряпка? — Это неблагоприятное решение с вашей стороны, поверьте». — И по сколько часов каждый день, вплоть до самого часа свадьбы, толковал я в этом вкусе? — Помнишь, ты поскучаешь, бывало, слушавши; перестанешь слушать; после велишь: «Да отстаньте же; не раз было говорено вам: надоели вы мне; сидите и молчите, если не можете придумать ничего умнее этой скуки. Ну, сообразите сам: ваше ли дело давать мне советы? И что вам за надобность рассуждать, умно ли я делаю, выходя за вас? Это мое дело судить. А вы слушайтесь. И сидите, и молчите. Говорить нам с вами не о чем». — Я вижу: правда. И посижу, как умный человек, по-

молчу. Но, собравшись с храбростью, начинаю: — «Нет, однако, прошу вас, Ольга Сократовна, обратите внимание на то, что гораздо лучше вам будет выйти за кого-нибудь другого», — и опять объясняю все, как прежде. — «Отстаньте ж. Я говорила вам: вы очень любите меня. Поэтому я делаю умно, что иду за вас». «Нет, поверьте, Ольга Сократовна; я нисколько не люблю вас. Я уважаю вас. И не мог никогда смотреть на девушек или молодых женщин не так же точно, как на старух или мужчин; потому что они не хороши собою. Но любить вас я вовсе не думал и никогда не буду думать. Это, поверьте, правда. И прошу вас: не скучайте, а выслушайте хорошенько, терпеливо»; — и идет это без конца, — лишь с перерывами по моей робости вовсе не исполнять твоего приказания: «Отстаньте, сидите и молчите», — идет это до самой свадьбы. И — помнишь? — Едем из церкви, я опять за то же самое, только с приличною перемене обстоятельств моей проповеди переменою: — «Вот, Ольга Сократовна, не послушались-таки вы моего совета. Покорно благодарю вас. Жаль, разумеется, что не послушались. Но, впрочем, ошибка ваша неважна. Это все пустяки, Ольга Сократовна: свадьба, жена, муж — это все пустяки. Теперь, разумеется, вы полагаете иначе. Но поживете на свете, то увидите: все это пустяки», — и так дальше, без конца, каждый день, — не год и не два после свадьбы. Пока вовсе перестала ты слушать; — по первому слову стала терять терпенье. Оно правда: могло, наконец, стать совершенно нестерпимо, хоть бы ты была и самого терпеливого характера.

Смешные были мы с тобой жена и муж. Смешные, моя милая радость.

Стал я на-днях припоминать, между делом, мое детство, мои годы первой поры юности. И — вообрази, что оказалось: не поверишь, такое приключение было со мною, что ты не можешь воображать. Но слушай.

Был я студентом. Ни с одною девушкою или молодою женщиною не говорил ни слова, это разумеется. И приключение кончилось тем, что я не сказал ни слова? — Разумеется. Но слушай. Это удивительно:

Была выставка «Промышленности и земледелия» в Манеже между Сенатом и Конно-Гвардейскими казармами. Пошел и я. Ходил и глядел на выставку. Глядел и на людей. Все молодые женщины и девушки, не довольно красивы, — это разумеется. Но идет какое-то аристократическое семейство. Старших мужчин тут нет. Лишь: мать, сыновья, дочери. Старшей дочке было лет семнадцать. Понравилась мне эта девушка, понравилась. В самом деле, дивная красавица была она. Тип лица — наиболее любимый хорошими живописцами. Волоса ее были светлокаштановые. Сама вовсе беленькая. Глаза голубые. Дивная красавица была она. И кроткое, скромное существо, доброе: то, что назы-

вают «ангел». Я пошел шагах в трех, — сбоку и любовался. Шли они, конечно, медленно: останавливались рассматривать вещи почти на каждом шагу. Они были, очевидно, очень знатные люди. Это видели все по их чрезвычайно милым манерам. И потому хоть провожатых не было с ними, толпа уступала им место, раздвигалась. Они были, вероятно, не из самых первых вельмож; иначе суетился бы где-нибудь подле какой-нибудь чиновник или офицер. Этого не было. Но хоть из того видно: это было семейство лишь второстепенной аристократии, все-таки оно было из очень высокой аристократии. Толпа расступалась. Мне было вовсе свободно идти шагах в трех, не спуская взгляда с той девушки. И длилось это час или и побольше. Подошли они, наконец, к месту, где выставлены были какие-то очень дорогие вещи. Большие ли золотые вещи, вроде золотых столовых сервизов, или ювелирские вещи. Тут стояло несколько семейств их круга; целая маленькая толпа вельможеских семейств. Они вошли в этот кружок друзей. Дамы стояли ближе к выставленным вещам. Кругом держались, ряда в два, мужчины. Из-за мужчин мне уж не было видно дам. Я постоял. Не видно той девушки. Я немножко отступил подождать, пока ее семейство и она пойдут дальше, опять одни. Я хотел провожать их до кареты. Спросить, кто они, — я не хотел. — К чему это было бы? — Но полюбоваться подольше на ту девушку мне было бы радостью. И я стоял, ждал. Но группа около тех драгоценных вещей понемножку увеличивалась присоединением новых аристократических семейств. И, уж не разделяясь, все эти родные и дружные семейства пошли, не останавливаясь, к двери из манежа: она была подле. Я рассудил: «уж довольно, была добра ко мне умная мать девушки». — Девушка, разумеется, не замечала меня. Но мать видела. Она вначале раза два пристально смотрела на меня. Но поняла: я готов умереть, если было бы угодно ей, матери этой девушки. И справедливо рассудила, что она может не мешать скромному юноше, бедняку, любоваться на ее дочь. «Довольно она сделала добра мне», — рассудил я, когда вся их группа двинулась к двери: «я должен оправдать доверие этой доброй и умной дамы к моей рассудительности». — Итти за ними теперь было бы — подходить к окраине их группы. Это было не деликатно. И я не пошел провожать. Пошел в другую сторону, назад по длине выставки.

Вот какого рода было приключение со мною, моя милая.

Разумеется, вернувшись домой, я стал, по обыкновению, читать. Не влюбился ж я. И, вообще, редко вспоминал личико той девушки. Вспоминая, радовался, что вот я и своими глазами видел: да, бывают красавицы, — бывают; вот одну я сам видел. Но больше мне было грустно: будет ли она счастлива и в замужестве, как счастлива в своем — очевидно, прекрасном — семействе, лелеемая мною матерью? Мужья очень многие — хорошие

люди. Но муж, который был бы для молоденькой дамы не хуже умной матери, — это бывает ли на свете? — Ох, моя милая: недолюбливал я мужей уж и тогда, — видишь ты из этого.

А я прав, моя милая. Никакой девушке, любимой в своем семействе, не следовало бы выходить замуж. Что, разве не правда? — Тебе не было хорошо в твоём семействе. То и нельзя, собственно, строго порицать тебя за то, что ты вышла замуж. Так надобно судить о тебе по совести. — Что ж, я так и сужу. Порицаю, но не особенно строго. И притом дело уж давнее. То значит: уж так и быть; ошибка была; но я давно перестал осуждать тебя за замужество.

Но о той девушке? — Вспоминал изредка, месяц или полтора. А после забыл: нравилась мне какая-то другая красавица, на какой-то картине ли, или гравюре. А после и на гравюры и картины перестал я любоваться.

И когда познакомился с тобой, то уж задолго перед тем успел вовсе позабыть мое совершенно удивительное приключение. — И вот вспомнилось оно мне, когда я принялся припоминать все, что было со мною в моем детстве, в моей юности.

Видишь ли, что: я хочу писать для тебя мои воспоминания о моем детстве. То, что может иметь интерес для тебя, отберу и пошлю к тебе. Но это будет лишь небольшая доля. Остальное, неинтересное тебе, буду, вероятно, посылать мужу Юлии Петровны.

Ты подумаешь: «К нему? Не нравится это мне» (то есть тебе не нравится, моя милая радость). Но твои личные чувства — сами по себе; интересы наших с тобою будущих внуков — сами по себе. Я не все помню, что интересно будет знать обо мне нашим с тобою внукам. — И во многом из того, что помню, память, вероятно, отчасти обманывает меня. Чтоб была полнее правда и осталась по возможности лишь чистая правда, нужны дополнения и поправки моих тетки и дяди. А сами они не умеют писать книжным языком. И надобно им пособие от их детей, которые запишут их рассказы и замечания.

Но вот чего хотелось бы мне: приймись писать свои воспоминания о детстве твоём ты. Твои рассказы мне были превосходны. Запиши их. Ты сумеешь. Прошу тебя, моя милая радость.

Я, по обыкновению, совершенно здоров. Живу очень хорошо. Погода стала вовсе теплая. Потому тем больше я гуляю.

Я не писал тебе, — как соображаю, — во-время, что получил твое письмо о возвращении Саши. Это письмо от 31 октября. Этот мой недосмотр моя ошибка. Письмо дошло до меня. Я лишь пропустил тогда, по моей неаккуратности, написать тебе: «оно получено мною».

Но вот все еще и теперь, не по неаккуратности же, в моих письмах нет проповедей о Саше или самому Саше. Все еще

не могу писать мягко. А много огорчать больного бедняжку не хочу.

Писать Мише длинные письма и не писать таких же длинных Саше было бы явное для Сашки дело, — проявление моего неудовольствия за его безрассудство. Потому не пишу и Мише.

Но это о письмах, которые относились бы к личным их чувствам. А ученые диссертации для них пишу.

Не знаю, успею ли отправить одну такую ученость для них с этою почтою. Успею, то отправлю.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая голубочка, и все будет прекрасно.

Целую детей.

Крепко обнимаю, и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя милая Лялечка.

Будь здоровенькая и веселенькая. Целую твои ножки.
Твой Н. Ч.

658

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

8 марта 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Вот снова необходимо тебе, по обязанности матери, стать величайшим ученым в свете. На этот раз дело уж вовсе не требует ни малейшего усилия воли. Предмет, о котором идет речь в прилагаемых листках моих ученых рассуждений с детьми, вопрос о том, имеет ли, например, комната, — какая-нибудь, всякая, все равно; например, хоть твоя комната, где ты сидишь, читая это письмо, — имеет ли она, кроме длины и ширины, тоже и какую-нибудь высоту; или «комнатою» следует называть тот слой краски, которым выкрашен пол комнат; и даже не сам этот слой, а лишь глянец, которым отсвечивает поверхность слоя этого, когда свет из окна падает на крашенный пол. Господа мудрецы, преподающие математику в высших школах, до такой степени замудрствовались, что уж не могут разобрать разницу между словом «комната» и словами «крашенный пол» или «паркет». Я называю эту их премудрость ослиным тупоумием. Проэкзаменуй, моя милая радость, наших детей, правильно ли они поймут этот смысл моего письма, прилагаемого к этой моей просьбе тебе. Растолкуй юношам, что их отец не знает и не хочет знать и никогда не хотел знать ничего из математики, кроме арифметики. Но что он уважает математику и защищает честь этой науки против ученых ослов, воображавших себя великими математиками, заткнувшими за пояс людей истинно великого ума, благодетелей человечества, работавших над совершенствованием благотворной для человечества науки, математики — людей, каковы, между жив-

шими не очень давно, — лет сто тому назад, Эйлер и Лагранж, и, пораньше этих двух, еще более великий умом, Лейбниц, и позже них, равный силой гения самому Лейбницу, Лаплас, и, одновременно с Лейбницем, еще несравненно более великий, истинно дивный, феноменальный гений Ньютон. Те мудрецы с ослиными головами выделывают ослиные курбеты на могилах этих наших благодетелей и предшественников этих людей, Кеплера, Галилея, Коперника, Эвклида, и Гиппарха, и Архимеда, и Пифагора, основателей нашего математического знания, более ранних благодетелей наших. И ослиные курбеты тщеславных дураков компрометируют честь науки, за представителей которой они выдают себя.

Я защищаю Архимеда и Эвклида, Ньютона и Лапласа и защищаю честь математики от нахальных курбетов и нелепого ржания и рева ослов.

Таков смысл письма к нашим детям, прилагаемого к этой записке. Прошу тебя, моя милая, спроси у наших детей, как поняли они мое это письмо к ним. Прошу тебя, моя милая радость. Мать и отец должны же желать, чтобы их дети не утрачивали через школьную премудрость здоровый человеческий смысл и оставались — ученые ли, неученые ли, это неважно, но — вот это одно важно — оставались людьми неглупыми.

Целую тебя, моя радость. Будь здоровенькая. Твой Н. Ч.

659

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[8 марта 1878.]

Милые мои друзья Саша и Миша.

Продолжаем наши беседы о всеобщей истории, — мы просматривали астрономический отдел предисловия к ней. Мы говорили о Ньютоновой гипотезе, то есть о мысли Ньютона, что движение небесных тел по закону природы, открытому им и называемому нами Ньютоновой формулой, производится силою всеобщего взаимного притяжения вещества. И мы остановились на том, что я сказал: для разъяснения судьбы Ньютоновой гипотезы в наше время надобно рассмотреть, какой судьбе подвергло себя большинство всех вообще специалистов по естествознанию, в том числе и астрономов, то есть математиков, подчинившись плохо узаннным и еще меньше того понятым теориям идеалистической философии.

И я продолжаю:

Мои милые друзья, всякая отдельная группа людей имеет свою собственную амбицию. Мы поговорим об этом очень важном, разумеется, неразумном, потому вредном, — элементе чело-

веческой жизни, когда по порядку предметов дойдет очередь до анализа влечений человека. Здесь довольно сказать, что по научному мировоззрению я держусь непоколебимо такой мысли: всякая иллюзия оказывает дурное действие на ход человеческих дел; и тем более, вредны такие иллюзии, которые, как превознесение своей группы во вред другим людям, имеют источником своим не какую-нибудь невинную ошибку, а побуждение дурное.

Ограничиваясь этим кратким замечанием о вредности всяких иллюзий, и особенно сильной вредности дурных иллюзий, взглянем повнимательнее лишь на один тот ряд дурных иллюзий, к которому относится дело, охватывающее собою историю Ньютоновой гипотезы в наше время, столь изобильное удивительными подвигами большинства натуралистов, воскипевшего непомерно горячим усердием совершать великие открытия и прославлять тем себя.

Во всяком ремесле или профессиональном занятии большинство мастеров своего технического дела невежды во всем, кроме того узенького дела, которым занимаются они по профессии. Так, например, большинство сапожников невежды во всем, кроме сапожничества. А гордиться чем-нибудь необходимо для невежд. Человек с широкими понятиями и чувствами находит достаточным для себя разумное чувство гордости тем, что он человек. Но невежда-сапожник очень мало интересуется тем, что он человек. Он умеет шить сапоги, — вот по размеру его понятий и чувств единственный понятный и нравящийся ему предмет гордости для него. И, давши ему хоть на полчаса простор самохвальствовать перед нами, мы услышим его поучающим нас и, в лице нашем, весь род человеческий, что сапожничество — самое важное на свете дело, а сапожники — первокласснейшие из всех благодетелей рода человеческого.

То же скажет нам о своем ремесле невежда-портной; то же невежда-парикмахер; то же невежда-каменщик; то же невежда-столяр; то же всякий другой ремесленник-невежда.

Но ремесленники этих и подобных этим профессий все вообще, подобно сапожникам, портным и т. д., очень редко могут находить терпеливых и почтительных, доверчивых и благодарных слушателей своему самохвальству. Чтоб услышать их дикие фантазии о том, что они первейшие благодетели наши, надобно нарочно устроить такой разговор без присутствия посторонних. Иначе нам не удастся услышать ничего истинно замечательного: по первому же слову слабого, еще колеблющегося приступа к своей назидательной речи самохвал будет прерван всеобщим хохотом и забит сарказмами неосторожно допущенной нами к присутствию при опыте посторонней публики.

Не такова доля тех профессиональных людей, которые занимаются по ремеслу специальностями более почетными, чем са-

пожничество, парикмахерство и столярство. Публика слушает этих почетных людей с почтением. И самохвальство их непрерывно поучает и услаждает на все лады их профессиональной интонации хвастовства преклоняющийся до земли, в признательности к этим своим благодетелям, род человеческий.

Почетных профессий очень много сортов. Например, архитектура, живопись, скульптура и т. д.; музыка, пение, танцы и т. д.; юриспруденция и т. д.; история и т. д.

Вы знаете, что знаменитый танцор Вестрис не на шутку считал себя благодетелем целой Франции и всего цивилизованного мира. Он был простодушный болтун. Только тем он и выдался по тщеславной болтовне из ряду обыкновенных специалистов. Сущность мыслей у всех невежд, специалистов по всем специальностям, одинакова с наивною болтовнею Вестриса.

Милые друзья мои, вы будете помнить: я равно говорю о всех самохвалах своим специальностям. Музыканты не обижены мною сравнительно с юристами; танцовщицы не обижены сравнительно с проповедниками морали: я сказал, что они поют о себе один и тот же гимн хвалы, лишь с подстановкою одной специальной терминологии вместо другой.

И если я буду говорить теперь о невеждах-натуралистах, и, в особенности о невеждах астрономах-математиках, то обиды им перед другими почетными специалистами-невеждами тут нет. Я нимало не нахожу, что их невежество более предосудительно для них, чем невежество живописцев или юристов, певца и танцовщицы или проповедников для этих специалистов и специалистов. И самохвальство их не более нелепо, не более дурно и вредно. Я лишь должен говорить именно о них потому, что собственно они, а не танцовщицы или музыканты, занимаются наставлениями роду человеческому о том, что такое Ньютонова гипотеза. Если бы человечество спрашивало решения по этому делу у юристов, или у танцовщиц, а не у натуралистов, и, в частности, у астрономов-математиков, то я оставил бы на этих листках натуралистов вообще, и в частности астрономов-математиков, непотревоженными, даже вовсе неупоминаемыми, а порицал бы за невежество юристов и танцовщиц.

Но человечество не догадывается, что и от юристов и от танцовщиц оно услышало бы о Ньютоновой гипотезе решение не менее ученое и не менее основательное, чем слышит от господ астрономов-математиков с компаньею: «Ньютонова гипотеза — это гипотеза»; что может быть проще такого решения? И какая певица или танцовщица, или хоть прачка затруднилась бы дать его?

И я порицал бы за него даже прачку или поселянку-жницу, как порицаю астрономов-математиков: вопрос о Ньютоновой гипотезе так общепонятен, что не суметь понять его было бы предосудительно и для поселянки-жницы, если бы, давши ей часа

два выслушать и обдумать факты, потребовали от нее правильного решения.

Но господа натуралисты и, в частности, господа астрономы-математики уверили доверчивую массу образованных людей, что в «вопросе», — вопросе! — о Ньютоновой гипотезе есть нечто неудобопостижимое ни для кого, кроме специалистов по естествознанию, в особенности по математике, — в этом «вопросе», для решения которого не нужно ничего из математики, кроме таблицы умножения; в котором нетрудно добраться до решения даже и вовсе безграмотному человеку, не знающему цифр, считающему лишь при помощи слов, обозначающих числа на обыкновенном разговорном языке, заменяющему умножения сложением и производящему сложение перебиранием пальцев. Эти господа специалисты отняли решение дела у массы образованных людей, объявили себя единственными судьями «вопроса» о Ньютоновой гипотезе, — вопроса! — такого же вопроса, как «вопрос» о том, действительно ли дважды два составляет четыре. Им угодно было поставить дело так. И благоугодная им постановка дела в зависимость исключительно от них принудила меня говорить о них.

Не моя воля на то. Их воля.

Милые дети мои, вашему отцу тяжело и больно говорить о большинстве натуралистов и в данном деле по преимуществу о большинстве математиков так, как говорит он.

Но как быть! — Эти господа вынуждают его к тому. Всему должна быть граница. Должна она быть и невежеству специалистов. И у всякого рассудительного человека есть граница уступчивости и снисходительности. И наперекор желанию вашего отца он принужден поставить вопрос: до какой степени понятны большинству господ великих математиков нашего времени простейшие, фундаментальнейшие из специальных научных истин по их специальной науке, математике?

Милые мои дети, мне тяжела эта необходимость. Я ценю заслуги тех ученых, о которых ставлю такой унижительный вопрос. Мне больно, что я должен поставить его. Но я должен.

И материалом для ответа на него я имею статью Гельмгольца «О происхождении и значении геометрических аксиом». Я знаю ее, разумеется, лишь по русскому переводу. Он помещен в журнале «Знание» за 1876 год, № 8, — я буду цитировать перевод буквально.

Первые строки статьи:

«Задачею настоящей статьи является обсуждение философского значения новейших изысканий в области геометрических аксиом и обсуждение возможности создания аналитическим путем новых систем геометрии с иными аксиомами, чем у Эвклида».

Это говорит г. Гельмгольц, один из величайших — это я

знаю — натуралистов и — читал я, охотно верю, сам по этой его статье отчасти вижу — один из самых лучших математиков нашего времени.

Все в этой статье я совершенно ясно понимаю.

И я говорю: он, — он, автор — он не понимает, о чем он говорит в ней и что он говорит в ней. Он перепутывает математические термины и в путанице их запутывает свои мысли так, что у него в голове сформировалась совершенно бессмысленная чепуха, которую он и излагает в этой статье.

Я буду поправлять его ошибки в употреблении терминов, и техническая часть его статьи получит при этих поправках правильный смысл. Без них в ней сплошная бессмыслица.

Заметим одно словечко в тех первых строках статьи. Гельмгольц хочет обсудить философское значение предмета статьи. «Философское». — А в «философии» он ничего не смыслит. В этом-то и причина падения его в бессмыслицу.

Он вычитал где-то что-то такое, чего не понял. Мы увидим, где и что он вычитал. Но это увидим мы. Сам он этого не знает. Углубляясь в те непонятные для него мысли, он вообразил, будто бы «возможно создать аналитическим путем новые системы геометрии», различные от геометрии «Эвклида».

Это — дикая фантазия невежды, не понимающего, что он думает и о чем он думает.

Дело, в сущности, так просто, что вполне понятно во всех своих технических подробностях даже мне, при всей скудости моих математических знаний. Оно состоит вот в чем:

У каждой геометрической кривой есть свои особенности. Эллипс имеет не те качества, как гипербола, или циклоида, или синусоида. Кому это неизвестно? — Я очень плохо знаю эллипс; гиперболу — и того меньше; но и я понимаю: это разные линии. А когда они различны, то и уравнение эллипса — понятно мне — различно от уравнения гиперболы. Я не знаю ни той, ни другой из этих формул. Но они различны, это понятно мне. Синусоиду я почти вовсе не знаю; но знаю: у нее есть свое особое уравнение. Что такое циклоида, я тоже почти вовсе не знаю. Но знаю: и у нее есть свое особое уравнение.

Итак? — Не все, что применимо к эллипсу, применяется к тем трем линиям. То же и о каждой из них. То же и о всякой другой геометрической линии.

Теперь, угодно ли нам, будет употреблять такие выражения: «геометрия эллипса» — вместо: «Глава конических сечений, рассматривающая свойства эллипса»; «Геометрия гиперболы» — вместо: «другая глава конических сечений, рассматривающая свойства гиперболы», — и так далее? — можем говорить так, если хотим; но тогда мы должны говорить: «геометрия равносторонних прямолинейных треугольников на плоскости»; — «геометрия равнобедренных и т. д. треугольников» и т. д. — И в конце кон-

цов у нас будет столько «геометрий», сколько разных формул в «геометрии» по обыкновенному выражению.

Но, «создавая» эти тысячи, пожалуй миллионы «геометрий», мы что такое «создаем»? — Новые словосочетания, только. Мы должны помнить это. Дело у нас лишь в словах.

А Гельмгольц, — на этом, — на этом сбился, бедняжка.

Он и какие-то, не помню в эту минуту, но после найдем, какие именно, — он и какие-то другие «новейшие» мастера рисовать формулы успели нарисовать какие-то уравнения каких-то линий, о которых воображается им, что эти их «открытия» очень важны. Так ли? Открытия ли это? — Я полагаю: это мелочи, которых не вписали в свои трактаты и статьи Эйлер или Лагранж, собственно, лишь потому, что пожалели — бумаги и времени писать такие пустые и очевидные даже для меня решения пустяков. Вы лучше меня можете рассудить, так ли, — но так ли, не так ли, мои милые друзья, — для сущности дела все равно. Пусть эти «открытия» Гельмгольца с компанией действительно «открытия», и притом даже «великие»; какой же убыток от этих «открытий» аксиомам Эвклида? — Никакого, разумеется.

Всякая высшая геометрическая фигурочка — лишь особенная комбинация тех же самых элементарных комбинаций, о которых говорит «Эвклид». Например: будем растягивать круг, — получим эллипс; разрежем эллипс на половины большой полуоси, будем разгибать половину эллипса, — получим сначала параболу, после — гиперболу. Я выражаюсь, вероятно, неправильно. Но вы понимаете, что я хочу сказать: все формулы криволинейной геометрии — лишь видоизменения и комбинации элементарных решений «Эвклида». Пусть геометрия совершенствуется; это прекрасно; но ровно ничего несогласного с «Эвклидом» в ней не только теперь нет, но и никогда не будет.

Так, никакое развитие математики вообще не внесет в математику вообще ровно ничего несогласного с правилами сложения и вычитания, и — спустимся еще ниже по лестнице знаний — ничего несогласного даже с арифметикой дикарей, умеющих считать только до трех.

Неужели Гельмгольц не знает этого? — Сбился, зафилософствовавшись; вот и весь его грех; только.

Так. Он лишь сбился. Но каково же он сбился-то, это курьез.

Нашел он с компанией какие-то — по-моему, пустяки, — по его мнению, великие открытия. Пусть великие открытия. Нашел их и — вообразил: найдены «новые системы геометрии», не согласные с «Эвклидом». Вот до чего доводит «обсуждение философского значения», когда пустится философствовать человек, ни уха, ни рыла не смыслящий в философии.

И надобно отдать справедливость этим «новым системам геометрии»: в них такие новости, что читать приятно. Приведу примеры:

Страница 4, строка 9. — «Вообразим себе мыслящие существа только двух измерений». Эти существа «живут на поверхности», и вне этой «поверхности» нет «пространства» для них. Они сами «существа двух измерений», и «пространство» у них имеет лишь «два измерения».

Что это за глупая нескладница? — Этак позволительно болтать лишь маленькому ребенку, едва начавшему учиться элементарной геометрии и сбившемуся, по нетвердому знанию первого урока, в ответе на вопрос учителя: «Что такое геометрическое тело?» — Малютка перепутал слово «поверхность» со словом «тело» — и говорит по «новой системе геометрии» Гельмгольца. Но сам Гельмгольц говорит по «системе геометрии» этого малютки — от избытка «философских изысканий».

Дальше, на той же странице, Гельмгольц пресерьезно рассуждает о «пространстве четырех измерений»; — да, четырех измерений. Это что такое? — дело просто:

Напишем букву a ; припишем с [правого] бока, вверху, маленькую цифру 4; будет что? Будет a^4 . А это что? — Это: количество или величина a в четвертой степени. Переложим на геометрический язык. Степень на языке геометрии называется «измерение». Что же будет это a^4 ? — Будет «пространство четырех измерений». А если вместо 4 напишем, например, 999, то будет скольких измерений пространство? — Будет «пространство девятисот девяноста девяти измерений». А если вместо 999 запишем $\frac{1}{10}$, то будет? — «пространство одной десятой доли одного измерения». — А ведь оно точно: очень, очень недурны «новые системы геометрии».

Но Гельмгольцу воображается, что сочинившаяся у него в голове белиберда о «пространстве двух измерений» и о «пространстве четырех измерений» — нечто имеющее важный смысл. И он рассуждает о «возможности» таких «пространств» совершенно серьезно. Например, на той же 4-й странице:

«Так как никакое чувственное впечатление от такого неслышанного события, как появление четвертого измерения, нам неизвестно, так же как неизвестно и впечатление от образования нашего третьего измерения гипотетическим существам двух измерений, то представление четвертого измерения для нас столь же недоступно, как недоступно для слепорожденного представление о цветах».

Итак, несуществование четвертого измерения для нас лишь следствие особенного устройства наших чувств! — Это не факт, что пространство имеет три измерения, — это лишь так кажется нам! Это не природа вещей иметь три измерения, — это лишь иллюзия, производимая плохим устройством наших чувств! Мы в этом отношении лишь «слепорожденные»!

Милые мои друзья, возможно ли человеку, находящемуся в здравом рассудке, иметь такую нелепую белиберду в голове? —

Пока он не «философствует», невозможно. Но если он, не будучи подготовлен к пониманию и оценке философии Канта, пустится философствовать во вкусе — он полагает — Канта, то всякая бессмыслица может образоваться в его голове от возникновения в этой его бедненькой голове комбинации слов, смысл которых не ясен ему. И, не понимая, о чем и что думает он, может он вообразить всякую такую бессмыслицу глубокомысленною премудростью.

Вообразим, что какая-нибудь русская деревенская женщина, не знающая по-французски, хочет щегольнуть в качестве великосветской дамы, прекрасно говорящей по-французски. Она ловит на лету кое-какие французские фразы; вслушаться в чуждую ей интонацию она не умеет; да и те звуки, которые удалось расслышать ей, она не умеет порядочно выговорить; — а конструкция фраз вовсе непонятна ей. И что выйдет из ее великосветского французского разговора? — Она окажется дурую, говорящею нечто совершенно идиотское. Но она, быть может, очень умна; лишь один порок в ее уме: глупое желание щегольнуть своею великосветскостью. Только. Но до чего может довести ее эта ее слабость? — Границ глупостям и бедам, которым она может подвергнуться через эту свою фанаберию, нет никаких; но обыкновенно дело не доходит до того, чтобы такие дуры теряли рассудок в медицинском смысле слова, хоть и до этого доходят многие из них. Обыкновенно бедствия таких дур ограничиваются тем, что они попадают в руки плутов и плутовок, бывают обобраны и, обобранные, осмеянные, оплеванные, возвращаются в свою деревенскую глушь.

Мы увидим, что с Гельмгольцем и подобными ему его товарищами по естествознанию, любящими щеголять в качестве философов, происходит то же лишь маленькое, сравнительно говоря, — лишь маленькое бедствие: они не утрачивают рассудка; они лишь попадают в руки недобросовестных людей. Только.

Возвращаемся к статье этой мужского пола мужички, очень умной деревенской бабы в своей деревне, но — к сожалению — бабы, пустившейся в столицу дивить столичных жителей своей великосветскостью. — Математика. — Что, математика! — Кому она интересна, кроме математиков? Это глухая деревня, до которой никому нет дела, кроме ее жителей. Философия — вот это совсем иное. О философах идет говор по всему образованному обществу целого света. Это — столичные люди, вельможи в столице. И что будет, что, если та баба появится на бале столичных вельмож? — Она прославит себя на весь свет своим умом и великосветскими своими знаниями и талантами.

И вот мы видели, эта почтенная, не спорю, напротив, сам говорю: глубоко уважаемая мною за свою хорошую деревенскую деятельность — баба мужского пола, г. Гельмгольд, — предприняла экскурсию в столицу, и мы уже созерцали с восхищением

первые подвиги ее на бале в вельможеском салоне Канта. Баба щегольнула в качестве «гипотетического существа двух измерений» и очень занимательно изобличила людей: они не знают пространства четырех измерений лишь потому, что у них недостает физиологического органа для восприятия впечатлений от четвертого измерения.

Почтенная персона приобрела апломб, торжествуя успешность этих своих подвигов. Дальше она очень грациозно объясняет нам, что «разумные существа двух измерений могут жить в разных, совершенно разнохарактерных «пространствах», имеющих по два измерения».

Друзья мои, ведь это буквально так в статье этой деревенской бабы, господина Гельмгольца. Это на 5-й странице его статьи.

Из разных пространств двух измерений — первое «пространство» есть «бесконечная плоскость» (страница 5, строка 8). В этом «пространстве» существуют, как и в нашем, «параллельные линии». Кто открыл, что «плоскости — то есть наша мысль о границе геометрической части пространства, о границе геометрического тела, есть сама уж «пространство», — из статьи Гельмгольца не видно. Кто этот родоначальник «новых систем геометрии»? — Я не знаю. Я предположил, в нашей прошлой беседе, что это — Гаус. Верна ли моя догадка? — не знаю, разумеется. Но я желал бы, для чести математики, чтоб оказалось: я не ошибся в моей догадке. Потому что, иначе — позор распространяется на всех, на всех великих математиков, живших после Лагранжа и Лапласа. Все эти эпигоны, все окажутся виновниками позора, если не виновен в нем лишь один из них, величайший из них, Гаус. Я поговорю о неизбежности этой «рогатой дилеммы»: если не один Гаус, то все авторитетные математики, жившие после Лапласа и живущие теперь. Я делал мою догадку о Гаусе лишь для того, чтобы сохранять для себя возможность не винить хоть других. А Гаус уж во всяком случае виноват. То — буду винить лишь его — рассудил я в прошлой нашей беседе. Вдумываясь в дело, я стал видеть после того: едва ли возможно оправдать и других его сотоварищей. Но мы поговорим об этом. А пока возвращаемся к просмотру белиберды Гельмгольца.

Итак, первый сорт «пространства двух измерений» — бесконечная плоскость. Кто сочинил это нелепое сочетание слов, не знаю. — Хочу думать: Гаус. — Так ли? — Для сущности дела все равно.

Второй сорт: «сферическая поверхность». В этом пространстве нет «параллельных линий». — И много у него других оригинальностей, не согласных с «геометрией Эвклида». Все эти оригинальности, впрочем, известны мне: я еще не забыл теорем «Эвклида» о поверхности шара. Они вовсе не те, какие относятся

у «Эвклида» к фигурам на плоскости. Начать хоть с того, что, например, треугольник на плоскости вовсе не «сферическая поверхность». Это и все тому подобное не только изложено у «Эвклида», но и памятно до сих пор мне, хоть я забыл почти всего «Эвклида».

Есть еще «яйцеобразная поверхность». И это я знаю. Теорем о ней не знаю. Но все то, что толкует о ней Гельмгольц, вот уж лет сорок знаю, — лет с десяти знаю, с той поры, когда учился «Эвклиду». У «Эвклида» об этой поверхности не говорится. Но все те разницы ее от сферической поверхности, о которых толкует Гельмгольц, известны всякому, знающему теоремы «Эвклида» о поверхности шара. — Точно так же с десятилетнего возраста известно мне и все остальное, о чем толкует техническая, собственно геометрическая часть статьи Гельмгольца: вся эта новооткрытая премудрость известна со времени «Эвклида» всем, хоть немного учившимся «Эвклиду». Новость лишь то, что «новейшие» мудрецы, г. Гельмгольц с компаниею, избитые кулаками Канта, воображают, в расстройстве мыслей от головной боли, эти «поверхности», эти границы геометрических тел, «пространствами». Новость такого же рода, как то, что можно, например, возводить «пару сапогов» в квадрат или куб или извлекать из «пары сапогов» квадратный корень.

«Новейшие создатели» новых «систем» математики, разумеется, не затруднятся задачею возвести «пару сапогов», например, в квадрат. Стоит им написать формулу:

$$п^2 \text{ а}^2$$

и они тотчас сообразят: «пусть а будет «сапог»; пара сапогов будет 2а: и, возводя 2а в квадрат, они получают

$$4а^2$$

и прочтут это так: «пара сапогов, возведенная в квадрат, равняется четырем сапогам в квадрате». Но что ж это такое, четыре сапога в квадрате? — Для нас, говорящих по-русски, очевидно, что это такое: четыре сапога в квадрате, — это «сапоги всмятку». — Так легко разрешается по «новой системе математики» задача, совершенно несовместная с человеческим смыслом, по ошибочному мнению людей, держащихся старой, общеизвестной «системы математики».

Вот другая задача, которую так же легко разрешит Гельмгольц с компаниею: «Дано сборище из 64 педантов, одуревших от избытка тщеславия; требуется: извлечь квадратный корень». — Ответ будет: «8 квадратных корней таких педантов». — Так. А кубический корень? — Ответ: «4 кубические корня таких педантов».

Возвращаемся к статье бедняги, сбившегося с толку на щегольстве своим знакомством с философиею Канта.

Яйцеобразное пространство двух измерений неудобно для жизни разумных существ двух измерений: передвигаясь по нем, они растягивались бы и сжимались бы неравномерно, вроде того как мнется передвигаемый по скорлупе яйца кусочек плевы того яйца. Это правильно, я знаю. И точно: какой уж тут был бы «разум» у «существ двух измерений», когда их головы были бы постоянно размяты растягиванием и сжиманием. Но... но... но... если предположить, что эти «разумные существа двух измерений» — устрицы двух измерений? Тогда они сидят, приросши к месту, и неудобства им нет, да и голов-то у них нет. Какое же затруднение для них яйцеобразность их пространства? — Ах, да, впрочем! Устрицы не имеют рук; писать книг не могут поэтому. А для Гельмгольца вся сущность «разумной жизни» писание книг и статей о математике. Понятно: о «яйцеобразном пространстве двух измерений» не стоит и толковать: разумным существам двух измерений не стоит жить в нем.

Но «сферическое пространство двух измерений» — очень хороший сорт пространства.

Третий прекрасный сорт — «псевдосферическое пространство двух измерений». Его вид? — Поверхность кольца, сделанного из проволоки, согнутой и спаянной концами. Изобретатель этого пространства — известный, по словам Гельмгольца, — известный! — Чем же именно? глупостью? Итальянский математик Бельтрами. — Я надеюсь, эта его глупость была и у него, — как, я надеюсь того же и о Гельмгольце, — лишь мимолетным расстройством мыслей, и известен он не этою своею глупостью, а какими-нибудь дельными работами. — В одном отношении, впрочем, очень прискорбна эта, хоть и мимолетная, глупость! Образумившись, Бельтрами должен был бы отступить от нее. А он этого, повидимому, не сделал. Итак: он еще не вполне исцелился. И она продолжает давить, как свинцовая дурацкая шапка, его голову. Да; впасть в глупость легко невежде, одолеваямому тщеславием. Исцелиться трудно. Потому-то и непростительна коренная глупость тщеславных невежд: глупость оставаться невеждами, когда им хочется философской славы. Поучились бы; — авось, и тщеславие исчезло бы вместе с невежеством. А то лишь стыдят себя и позорят свою специальность своими дикими фантазиями.

«Псевдосферическую поверхность», по словам Гельмгольца, имеют и некоторые другие фигуры, кроме фигуры проволоки, согнутой в кольцо. Он перечисляет эти разные формы псевдосферической поверхности. Все они формы очень элементарные. Были ль даны каждой из них особые формулы до Бельтрами? — Не знаю. Но даже для меня ясно: все эти формулы очень легкие видоизменения формул линий второй степени. Например: поверхность кольца из круглой проволоки имеет своими формулами очень легкие видоизменения формул цилиндрической поверхности

прямого цилиндра; то есть формулы поверхности того кольца очень легко и просто выводятся из формул круга. И я полагаю: если у Бельтрами в той его глупости есть какие-нибудь формулы, не находящиеся в трактатах или статьях Эйлера и Лагранжа, то лишь потому не напечатали этих формул Эйлер и Лагранж, что находили незаслуживающими печати, очевидными для всякого порядочного математика короллариями других формул.

Но так ли, или нет, — для сущности дела все равно. Пусть Бельтрами в той своей глупости дал какие-нибудь новые формулы, не совсем маловажные. Все-таки неизмеримо глуп общий характер обеих его работ, на которые ссылается Гельмгольц. Это видно по самым заглавиям их. — «Опыт истолкования не-Эвклидовой геометрии»; и — «Основная теория пространств постоянной кривизны». — Я рад был бы свалить всю вину глупости на Гельмгольца, предположивши, что он вложил сам дикую фантазию свою в работы Бельтрами, имевшие лишь дельную, разумную цель найти формулы для тех поверхностей: кольцеобразной, двуседловидной и бокалообразной. Важны ли, не важны ли эти формулы, новы ли они, или не новы в науке, — было бы все равно: цель работ, — дельная; и если автор доискивался решений, уж данных другими, лишь неизвестных ему, это могло бы оказаться лишь случайным его незнанием, и я рад признавать все такие случаи извинительными. Но — нет! — Бельтрами сочинял «не-Эвклидову геометрию», — он сам; не Гельмгольц вложил в его работы эту невежественную фантазию; он сам хвалится: он изобрел новую геометрию. И не Гельмгольц внес в его работы нелепое перепутывание понятий «линия» и «поверхность» с понятием «пространство»; нет, он сам говорит о «кривых пространствах»; — о, урод!

Гельмгольц нашел, впрочем, что Бельтрами имел предшественника. Этот предтеча сочинителя «кривых пространств», бывший профессором в Казани, некто Лобачевский. Еще в 1829 г., говорит Гельмгольц, «была составлена Лобачевским система геометрии», которая «исключала аксиому параллельных линий; — и тогда еще было вполне доказано, что эта система столь же состоятельна, как и Эвклидова». И система Лобачевского «вполне согласуется» с новою геометрию Бельтрами....

Что такое «геометрия без аксиомы параллельных линий»? — Ребятишки забавляются тем, что прыгают на одной ноге. Быстро подвигаться вперед этим способом они, разумеется, не могут; и передвинуться далеко, — например, версты на две — не могут. Но при усердии все-таки не очень медленно передвигаются на расстояния, не вовсе ничтожные: иной, прыгая, не отстает от человека, идущего тихо; и провожает его целую четверть версты. Это очень трудный подвиг. И достойный всякой похвалы. Но лишь когда это — шалость ребенка. А если взрослый человек, — и не для шалости, а серьезно, по своим серьезным делам, пустится

путешествовать, прыгая на одной ноге, это будет путешествие не вполне безуспешное, — нет! — только совершенно дурацкое.

Можно ли писать по-русски без глаголов? — Можно. Для шутки пишут так. И это бывает, иной раз, довольно забавною шалостью. Но вы знаете стихотворение:

Шелест, робкое дыханье,
Трели соловья, —

только и помнится мне из целой пьесы. Она вся составлена, как эти два стиха, без глаголов. Автор ее — некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. И есть у него пьесы, очень миленькие. Только все они такого содержания, что их могла бы написать лошадь, если б выучилась писать стихи — везде речь идет лишь о впечатлениях и желаниях, существующих и у лошадей, как у человека. Я знавал Фета. Он положительно идиот: идиот, каких мало на свете. Но с поэтическим талантом. И ту пьеску без глаголов он написал, как вещь серьезную. Пока помнили Фета, все знали эту дивную пьесу, и когда кто начинал декламировать ее, все, хоть и знали ее наизусть сами, принимались хохотать до боли в боках: так умна она, что эффект ее вечно оставался, будто новость, поразителен.

Вы знаете, необходимейшая из согласных на французском, итальянском или испанском языках буква L; — она входит в состав «члена», — того местоимения, без которого мудрено сказать десять слов кряду. И что ж? — во времена щегольства победением лингвистических законов были писаны во множестве на этих языках, стихотворные вещицы без буквы L. На испанском языке есть даже целая эпическая поэма, целая огромная книжища, без буквы L. Имя глупца, автора ее, уж забыл. Можете, если хотите, справиться в каком-нибудь трактате об испанской поэзии «времен упадка вкуса» в XVII столетии.

Мало ли каких фокус-покусов может выделывать желающий выделывать фокус-покусы? Для шутки в часы отдыха это, пожалуй, не глупая забава. Но кто фокусничает не для забавы, а серьезно усердствует сочинять ребусы, шарады, каламбуры, воображая «пересоздавать» науку этими дурачествами, тот занимается дурацким трудом, и если не родился, — то добровольно становится глупцом.

Продолжать ли разбор глупости Гельмгольца? — «Довольно», — давно думаете, вероятно, вы. — Нет, мои милые дети, — по-моему, следовало бы продолжать. Я люблю доводить все до прозрачайшей ясности, и не знаю сам, не хочу замечать в других утомления длиннотою моих разъяснений. Но пора кончать, потому что через несколько часов будет пора отдавать письмо на почту; и я оставляю без разбора все дальнейшие подробности

белиберды Гельмгольца. Перехожу к восстановлению математической истины, изуродованной этою белибердою.

В чем реальный смысл формул, дурачки примененных Гельмгольцем с компаниею к понятию «пространство»? — Это — формулы «о пути луча света».

В нашем непосредственном соседстве, — на расстоянии нескольких метров от наших глаз, путь луча света, при обыкновенных условиях прозрачности и температуры атмосферы — прямая линия. Если мы берем пук лучей, он, расходясь по прямым линиям, образует простой конус, прямой конус, конус — «Эвклида», — единственный конус, формулу которого я знаю. Правильно ли я называю этот конус элементарной геометрии? — Все равно; дело не в том, знаток ли я математики; я не знаю и не хочу знать ее. Мне некогда узнавать ее. И никогда у меня не было досуга на то. Дело лишь о том, чтобы вам были понятны мои мысли. Я говорю о том конусе, который для удобства нашего анализа мы рассматриваем как геометрическое тело, производимое вращением прямолинейного, плоского прямоугольного треугольника около одного из катетов; этот катет будет «ось», другой катет даст базис конуса; гипотенуза даст поверхность конуса. Правильны ли мои выражения? — Плевать я хочу на то. У меня дело не о словах. Я хочу лишь, чтобы вы видели, о каком конусе я говорю.

Этот конус, конус Эвклида, конус пука лучей света в нашем непосредственном соседстве. Вот об этих-то прямолинейных лучах света верны формулы, глупейшим образом превращенные нелепостью фантазии — чьей? — не знаю; хочу думать: фантазии Гауса, — в формулы «гомалоидного пространства трех измерений», — или «Эвклидова пространства». Кто сочинил термин «гомалоидное пространство»? — Повидимому, только уж сам Бельтрами, сочинитель «кривых пространств», а не Гаус. Но все равно во всех нелепостях ничтожного ученика виноват великий учитель. Все эти разные «пространства» понытасканы из исследования Гауса «о мере кривизны поверхностей». Я полагаю, что эта работа Гауса — работа дельная и очень важная. Так ли, не знаю. Но думаю: так. И готов превозносить за него Гауса. Но, очевидно, что Гаус был сбит с толку философиюю Канта и, когда пускался философствовать, завирался. И — в исследовании ли «о мере кривизны» или в каком другом своем труде он зафилософствовался, по Канту, о «формах нашего чувственного восприятия», о предмете вовсе чуждом его специальности. И, зафилософствовавшись, сбился; ему вообразилось, что Кант отчасти прав, отчасти неправ в своей «теории чувственного восприятия». И он принялся поправлять Канта, оставаясь в сущности, — он, простодушная, невежественная деревенщина по этому «диалектическому», а вовсе не математическому вопросу, — по вопросу о достоверности наших чувственных восприятий, — одурачен Кан-

том. Ему ли, неотесанному мужику из глухой деревни, бороться с Кантом? — Он даже не понял Канта; и, опровергая его, повторил его мысли в изуродованном виде. Об этом после. Довольно пока того, что у Канта нет таких мужицких несуразностей невежественной деревенской нескладной речи, как «пространство двух измерений» или «четырёх измерений». — Сам ли Гаус сочинил эти глупости? — Или только наболтал такой чепухи, что Гельмгольц, Бельтрами и компания нашли в этой чепухе материал для своих собственных глупостей, — это по отношению к сущности дела все равно.

Но для чести математики было бы лучше, если бы эти глупости оказались высказанными у самого Гауса. Тогда, — тогда, — я не винил бы других авторитетных математиков, что они или повторяют Гауса, или молчат, не хохочут, читая нелепости Гельмгольца, Бельтрами, Римана [Либмана] и компании, цитируемых Гельмгольцем в качестве его сподвижников. Сила гения Гауса — сила гиганта, сравнительно со всеми, жившими после Лапласа и нынешними математиками. Пигмеи охвачены руками гиганта, — чего требовать от них, Гельмгольца с компаниею? — Как винить их? — Дрыгают ручонками и ножонками и пищат, как велит гигант. А остальные пигмеи, — масса «великих», — великих! — Но пусть они «великие», — масса остальных великих математиков, — эти посторонние, эти зрители, пигмеи — трепещут, и недоумевают, и дивятся, и молчат; — как винить и их?

Так судил бы о них я, — если виноват, собственно, Гаус: не презирал бы я их, а лишь сожалел бы о них. Они были бы, собственно говоря, невинные жертвы Гауса.

Но едва ли так. Вникая в тон статьи Гельмгольца, я нахожу себя принужденным полагать: правда, непосредственным образом, именно из Гауса почерпнули свою белиберду Гельмгольц, Бельтрами и компания. Но те дикие фантазии Гауса во вкусе Канта — это, повидимому, общие фантазии всех авторитетных математиков нашего времени. Все они возводят сапоги в квадрат, извлекают кубические корни из голенищ и из ваксы, потому все совершенно благосклонны к пространствам и двух, и четырех, и миллион четырех измерений, к пространствам и треугольным, и яйцеобразным, и табакообразным, и шоколаднообразным, и чаеобразным, и дубообразным, и дубинообразным, и болванообразным, — словом, ко всему дурацки-бессмысленному.

Это горько писать. Но тон статьи Гельмгольца ведет к такому предположению.

Отчего положение дел в математике таково, что приводит меня к такому предположению, — хочу надеяться, все-таки ошибочному? — Вы видите, я все еще только добираюсь до изложения первой причины тому, до зависимости естествознания вообще, и, в частности, математики, от доктрин идеалистической философии и главным образом от системы Канта. Мы доберемся до

этого. Но прежде покончим со статьею жалкого бедняжки Гельмгольца, раскрывшею передо мною позор несчастной, осиротевшей по кончине великого старика Лапласа, бедной, преданной на поругание людям средневекового мрака, — несчастной, обесчещенной математики.

К чему писал простофиля-деревенщина, баба-мужичка мужского пола, великий — знаю — натуралист и великий — охотно верю — математик Гельмгольц свою злополучную статью?

Прежде чем цитировать идиотски-самохвальный финал ее, припомним реальную истину, искаженную философскою белибердою его диких фантазий.

Луч света идет в непосредственном соседстве наших глаз, положим на пространстве нескольких метров — при обыкновенном состоянии атмосферы, по прямой линии. Пук лучей света в этом случае — прямой конус. Те чудачки начинают свои фантазии, сознательно ли, или, повидимому, вовсе бессознательно, — с мыслей, относящихся к этому факту; с мыслей правильных. Но Кант выбил из их бедных голов научную истину: «три измерения — это качество вещества, это сама природа вещей». Они хотят щеголять в качестве философов. Они забывают о конусе лучей света; раздумывают лишь о базисе этого конуса; базис этот — поверхность, произошедшая от вращения одного из катетов, то есть от вращения прямой линии; то есть это: плоскость. Они расширяют эту плоскость «до бесконечности» и — воображают, что они изобрели «гомалоидное пространство двух измерений». Как пойдут лучи света по этому «пространству»? — О конусе лучей они уж давно забыли. И решают: лучи пойдут параллельными линиями по этой плоскости. Но и о лучах они забывают; и — готовы «формулы аналитического исследования», создающего «геометрию гомалоидного пространства двух измерений».

Мило. Но и сам-то конус лучей света совершенно ли прямой? Луч света, доходящий до нас, — от солнца ли, от свечи ли под носом у нас, безусловно ли прямая линия? Они забыли: нет; никогда; фактически это невозможный лучу путь. Падая от солнца через атмосферу, луч гнется. Идя от свечи, — переходя из горячего воздуха в прохладный, он гнется. Этот изгиб ничтожен при обыкновенных обстоятельствах. Но он неизбежен. А при мираже кривизна велика. Но мираж — это лишь очень высокая ступень того, что постоянный факт обо всех лучах, идущих под углом не далеким угла $= 0$ с горизонтальной линиею: все нижние слои воздуха — путаница слоев и клочков воздуха различных температур. Потому; но кто ж не знает всего, что сказано мною, и всего, что следует из того?

И эти чудачки знают. Но в их избитых Кантом жалких, больных головенках все перепутывается, расплывается в туман, и из тумана вырастают дикие фантазии о сферическом и псевдо-сферическом пространствах.

А простой научный смысл дела в чем? — Путь луча света не совершенно прямая линия; на пространстве нескольких метров этот изгиб при обыкновенных обстоятельствах ничтожен; но иногда кривизна и велика.

Словом? — Эти чудаки перепутали «диоптрику», одну из глав оптики, с формулами абстрактной геометрии. Они перепутали свою деревенскую геодезию, совершаемую растопыриванием рук или пальцев рук, — «вот, три сажени», — «вот, пять четвертей с вершком», — они перепутали свою деревенскую геодезию с законами вселенной.

Только. Беды, в серьезном смысле слова, никому от того нет. Да? Так ли? Но пусть беды нет; пусть дело лишь в том, что сами они оказались дураками и предали свою науку, математику, на поругание людям средневекового мрака. Только. Беда не велика. Да. Что за беда была бы, если бы от времен первобытного дикарства счетом по пальцам, потом арифметикою и т. д. занимались только дураки? — Мы не имели б Архимеда, Гиппарха, Коперника и т. д. до Лапласа, — мы оставались бы полудикими номадами. Только.

Итак? — беда от ослиной премудрости Гельмгольца с компаниею невелика. Но нельзя ж сказать: «не особенно велика». Они, одуревши, проповедуют, вместо научной истины, одуряющую доктрину дикого, невежественного фантазерства. Только. Беда не велика? — Да, сравнительно с чумою или сильным неурожаем, не велика.

Довольно об этом. И перейдем к финалу статьи Гельмгольца, к дифирамбу победы, который воспевает он в честь себе и своим сподвижникам.

Перед удивленной вселенной раскрывается непостижимая умом цель бессмысленной статьи: автор торжествует, как оказывается, победу; и одержал он эту победу, — оказывается, — над Кантом, мысли которого, в изуродованном виде, составляли весь материал его изумительных мудрствований. Он провозглашает:

«Подвожу итоги:

«I. Геометрические аксиомы, взятые сами по себе, вне всякой связи с основами механики, не выражают отношений реальных вещей.

Душенька мужичок, заврался ты. Не смыслишь ты, ничего не смыслишь ни в механике, ни в геометрии. — Треугольник сам по себе неужели ж не треугольник? И неужели ж у него не три угла? А аксиомы — это элементы, известная комбинация которых дает треугольник. Как же они сами по себе не выражают «отношений реальных вещей»? — Неужели ж треугольник становится треугольником, лишь передвинувшись с одного места на другое? — Душенька мужичок, «механика» говорит о «равновесии» и о «движении». А «геометрия» о телах и элементах геометрических тел независимо от того, лежат ли они, или двигаются, — так,

в элементарнейшей части геометрии; в «Теории функций» — иная точка зрения. Но ты, душенька, не умеешь различать «Эвклида» от «Теории функций». — Правда, и у «Эвклида» говорится: «проведем линию», «будем обращать линию около одного из ее концов» и т. д.; но это, душенька, лишь «учебные приемы»; это не «предмет» аксиом; это лишь «учебные приемы» для облегчения тебе, душенька; а ты, по своему невежеству, сбился на этом и перепутал «Эвклида» с механикою. — Продолжай, душенька мужичок.

«Если мы», — продолжает деревенщина-простофиля, — «если мы, таким образом изолировав их» (аксиомы геометрии от механики) «будем смотреть на них вместе с Кантом».

О, берегись, мужичок! Прихлопнет тебя, простофилю, Кант! («вместе с Кантом будем смотреть на аксиомы») — «как на трансцендентально данные формы интуиции, то они явятся...»

Душенька, ни математику, ни вообще натуралисту, непозволительно «смотреть» ни на что «вместе с Кантом». Кант отрицает все естествознание, отрицает и реальность чистой математики. Душенька, Кант плюет на все, чем ты занимаешься, и на тебя. Не компаньон тебе Кант. И уж был ты прихлопнут им, прежде чем вспомнил о нем. Это он вбил в твою деревянную голову то, с чего ты начал свою песнь победы, — он вбил в твою голову это отрицание самобытной научной истины в аксиомах геометрии. И тебе ли, простофиля, толковать о «трансцендентально данных формах интуиции», — это идеи, непостижимые с твоей деревенской точки зрения. Эти «формы» придуманы Кантом для того, чтобы отстоять свободу воли, бессмертие души, существование бога, промысел божий о благе людей на земле и о вечном блаженстве их в будущей жизни, — чтобы отстоять эти дорогие сердцу его убеждения от — кого? — собственно, от Дидро и его друзей; вот о чем думал Кант. И для этого он изломал все, на чем опирался Дидро со своими друзьями. Дидро опирался на естествознание, на математику, — у Канта не дрогнула рука разбить вдребезги все естествознание, разбить в прах все формулы математики; не дрогнула у него рука на это, хоть сам он был натуралист получше тебя, милашка, и математик получше твоего Гауса. Таковы вельможи столицы: они добрее тебя, дурачок; дурачок с одере[ве]нелой душою; ты — дерево; они — люди; и для блага человечества не церемонятся разрушать приюты разбойников. Такой приют, твоя деревушка, Кант был родом из нее. Любил ее. Но — благо людей требует! — и он истребил эту деревушку, бывшую приютом разбойников. Таков-то был Кант; человек широких, горячих желаний блага людям. И тебе ли, дурачок, для которого твоя деревушка дороже всего на свете, — тебе ли дерзать хоть помыслить «буду компаньоном Канта»? — Он ведет людей во имя блага и вечного блаженства и [не]земного счастья на истребление твоей деревушки. — Прав

ли он? — Не тебе, простофиля, судить. Но ты беги от него, беги.

Но эти мизерно-головые людишки, для которых «благо людей» — пустяки, а важны лишь «резонаторы», да «аккорды верхних созвучий», — эти мизерно-головые людишки не в состоянии понимать великих забот Канта. Они воображают, что Кант, как они сами, думал лишь об акустике или оптике. — Прав ли Кант? — Мои мысли об этом достаточно высказаны мною в первой из этих наших бесед. Но Кант понимал, что он говорил.

Продолжать ли переписывание финала глупенькой статьи? — Нет у меня времени. Пора отдать письмо на почту. Потому скажу лишь:

Весь этот финал — сплошь переложение мыслей Канта, отрицающих естествознание и математику, на нескладное деревенское наречие математики. Мысли выходят изуродованными. А дурачок, оплеванный своим руководителем Кантом, воображает, что опроверг его своею глупостью о «сферическом пространстве двух измерений» — глупостью, подсказанною ему Кантом, разбивавшим в прах всю математику для спасения, на благо людей, исправленной доктрины Петра Ломбардского, Томаса Аквинатского и Дунса Скотта, — для спасения, на благо людям, исправленных практических стремлений Петра Дамиани и Бернара Клервосского.

Моя точка зрения на это? — Точка зрения Лаланда и Лапласа, — точка зрения Людвига Фейербаха. — И хотите — не только знать, что думаю я, но и то, что чувствую я? — то прочтите не «Фауста» Гёте, — нет, это писано с точки зрения чрезмерно устарелой, — но «Коринфскую невесту» Гёте:

Nach Korinthus von Athen gezogen
Kam ein Jungling dort noch unbekannt, —

только и помню наизусть. И стыжусь, что не знаю всей этой дивной маленькой поэмы наизусть. Читайте ее, мои милые дети.

И будьте здоровы.

Жму твою руку, мой милый Саша.

И твою, мой милый Миша.

В следующей беседе мы побольше поговорим о Ньютоне и о Лапласе, о естествознании, не выданном на оплевание Петру Ломбардскому, на истребление Бернару Клервосскому, о естествознании, просвещающем разум людей и дающем руке человека силу работать с успехом для устройства жизни безбедной, мирной и честной.

Жму ваши руки, милые мои дети.

Ваш — отец, но более важно, чем, что ваш отец, — тоже и друг ваш Н. Ч.

Я обрезал этот листок для того, чтобы все письмо поместилось в однолотовом конверте, а не то, что по недостатку бумаги писал на клочке. Не вообразите, мои милые, что у меня мало бумаги: у меня целые стопы бумаги. Да и конвертов гряда. Мне не нужно ничего. У меня много всего. Н. Ч.

660

А. Н. АБРАМОВУ

Алексей Никитич!

Когда придет Капелла, потрудитесь показать ему следующие мои вопросы:

1. Не говорил ли ему кто-нибудь, чтоб он остерегался меня? Если было ему говорено это или что-нибудь такое, то

2. Может ли он сказать вам для передачи мне, кто именно говорил ему? Если же не было говорено ему это или если он полагает, что говоривший был дурак, сказавший глупость, которую не должно принимать во внимание, то

3. Расположен ли г. Капелла решиться принять меня одного, не сопровождаемого ни вами, никем другим из полицейского ведомства?

4. Если «да», то когда у него будет время принять меня? Ваш *Н. Чернышевский*

11 марта 1878.

661

А. Н. АБРАМОВУ

Прислать мне из аптеки: английского пластыря (*Emplastrum adhaesivum anglicum*) (лоскут хоть с половину этого листка).

Железа нет в аптеке?

Я так и полагал, но все-таки следовало уведомить меня о том. Неровен час, если я исполню то, чем грозил, — напишу в Петербург в Медицинский Департамент, то отъезд из Вилюйска и самый выход в отставку не спасет Бергмана от страшной ответственности. Я добр. Но иной раз я не сдержу справедливого гнева. *Н. Чернышевский.*

(12 марта 1878.)

(Сбоку): Отдать Афанасьеву. Он должен показать Бергману.

662

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вилюйск, 15 марта 1878.

Милый мой дружок Оленька,

Праздную день твоего рождения.

Праздную его тем, что пишу к тебе.

И хочу, чтобы в том, что напишу, было что-нибудь могущее позабавить тебя.

В прошлом письме я говорил, что собираюсь записывать мои воспоминания о моем детстве, о годах моего юношества и обо всем, и обо всех, кто были и что было около меня до нашего с тобой отъезда в Петербург. И некоторые частички из моих воспоминаний о последующих временах.

Записывать я еще ничего не начал. Только еще составляю список имен дальних родных, близких и дальних знакомых моего детства и моего семинарского времени, до моего отъезда в Петербург, в университет, в 1846 году.

Это выходит галерея портретов несравненно большего числа лиц, нежели мог бы я предполагать, не перечисляя их. Это выходит — человек пятьсот или больше. И человек двести, триста тут были настолько известны мне, что портреты их будут очерчены эскизами очень определенными, интересными.

А между тем слишком многое такое, что надобно припомнить, я еще только стараюсь припомнить. Все, знавшие меня, говорили, что у меня довольно сильная память. Быть может, это и справедливо. Но сам я никогда не был того мнения, что память у меня сильная.

И до такой степени позабылось у меня многое такое, чего никак невозможно, казалось бы, не уметь припомнить, — вот пример из самого начала моих воспоминаний.

Бабушка моей матери, мать моей бабушки по матери, дожила до глубокой старости. Она дожила до таких лет, что видела меня, старшего из ее правнуков и правнучек, старшего, кроме еще двух, немножко постарше меня, уж юношею. Она была женщина, разумеется, совершенно безграмотная. Но умная и энергичная. Все ее родные очень уважали ее и, если у кого совесть была нечиста, сильно боялись ее. Я помню сцены, когда она, — вдова священника, то есть: ничтожный человек, — читала, при многолюдном обществе, двухчасовые проповеди людям, по провинциальному масштабу, важным, и они только молчали, не смея даже уйти от стыда. И язык проповедей не страдал, конечно, недостатком выражений более правдивых, нежели деликатных: «ах, ты дурак!», «ах, ты подлец!» — это было украшением речи по каждому пятому слову. Дочерьми своими (у нее были только дочери) и их детьми она была постоянно довольна. Ее время делилось на четыре части, каждая по два, по три дня: берет ее к себе моя бабушка (старшая дочь), тут же с нею ее младшая дочь, одинокая вдова (бездетная); от нас увозит ее и ту ее дочь муж другой, давно умершей ее дочери; оттуда, вместе с его дочерьми, отправляется она к той младшей дочери; прожив и тут суток двое, трое, она оставляет младшую дочь (в доме этой дочери) и одна возвращается домой восстановить порядок в хозяйстве. Семейство того зятя или мы забираем ее и ее младшую дочь, которая через полчаса после прощанья с нею в своем доме уже водворилась жить у

нее, — мы забираем их или забирает их к себе семейство того зятя, — и начинается прежнее круговращение.

Это длилось с той поры, как начинаются мои воспоминания до моего тринадцатилетнего или четырнадцатилетнего возраста, когда старушка стала ослабевать, оставалась все больше и больше дома и шум ребятишек становился тяжел ей, потому наши старшие уж меньше брали нас к ней.

Лет десять моих воспоминаний прабабушка <жила> больше половины времени в том доме, где я: или она у нас, или мы целый день у того ее зятя, где и она, — или у ее младшей дочери, где она; или это не на весь день, а лишь до обеда, или только вечер, — мы у нее.

Казалось бы, невозможно ж мне не суметь припомнить ее имя в первый же миг, как подумал я о ней. — И что ж? — Я сначала ошибся в ее имени; лишь через два, три дня добился до того, что правильно вспомнил ее имя.

Бабушку моей матери, мать моей бабушки по матери, звали Мавра Перфильевна. Ее фамилия? — Решительно не помню. Даже не промелькнуло до сих пор в моих мыслях никакого следа какой-нибудь фамилии, однохарактерной или созвучной с тою, до которой доискиваюсь я, — никакого следа, по которому я мог бы добраться до фамилии Мавры Перфильевны, то есть ее мужа и ее. Девической ее фамилии я никогда и не знал.

Итак, она — Мавра Перфильевна. А ее муж, умерший раньше, вероятно, чем я родился, — ее муж, мой прадед? — Иван; потому что дочери имели это имя в своем отчестве; — Иван, — по отчеству? Не умею припомнить; — Иван Егорович? Иван Алексеевич? — Не умею решить, одно ли из этих двух отчеств было его отчеством, или какое иное. Воображается мне, звали его: «Иван Егорович», но это сбивчивое, быть может ошибочное воспоминание. А между тем его дочери, — моя бабушка и та младшая сестра ее, — нередко, разумеется, упоминали о своем отце с своею матерью; они, сколько мне помнится, не говорили о нем. Она сама тоже не говорила о нем. — Восьмидесятилетняя старуха все еще грустит, что ее друг умер в молодости; — так надобно понимать то, что дочери, любящие вспоминать об отце, избегали говорить о нем при матери. Так. Прадед и прабабушка жили между собою очень хорошо. Это я знаю твердо. Но вопрос в том: верно ли мое припоминание, что разговоры дочерей об отце были, только когда тут не было их матери? — За это не ручаюсь.

Но речь моя пока, собственно, только о том, что следовало бы мне твердо сохранить в памяти имя мужа Мавры Перфильевны, а оно исчезло из моей памяти. И его фамилия; — это, впрочем, менее резкая улика, что память у меня хуже, чем думают о ней другие, хвалящие ее: фамилия в семейных разговорах людей той стороны была вообще вовсе неупотребительная вещь. Но вот это уж совершенно плохо, до досадности плохо: имя самой Мавры

Перфильевны я припомнил правильно — не с первого же мгновения, нет, лишь после того, как два, три дня добивался вспомнить его.

И посмеемся.

Когда так, то можешь ли ты, моя милая радость, положи руку на сердце, присягнуть, что все подробности моего необыкновенного любовного приключения на выставке мануфактурных изделий, рассказанные мною тебе в прошлом письме, совершенно достоверны? Понимаю: ты скорбишь, неизбежно впадши в сомнение: действительно ли голубые глаза были у той красавицы, или я заимствовал этот милый цвет глаз для лучшего украшения той девушки с какой-нибудь картины, изображающей какую-нибудь греческую богиню, — например Палладу, о которой многие полагают, что эпитет ее у Гомера значит: «голубоглазая»? — Да и весь-то роман не расклеился ли, когда я попристальнее рассмотрел то, что припомнилось мне в минуту, как явился этот эпизод в моих мыслях и, не разбирая подробностей, я принялся писать тебе этот рассказ?

Правда, многое оказалось ошибочною прибавкою «комбинирующей силы», как это называется по-ученому. И именно, цвет глаз той девушки оказался лишь ошибочным дополнением воспоминания, ставшего уж почти вовсе неопределенным. Всмотриваясь, я нашел: нет, напрасно подумалось мне в первую минуту, будто я помню это милое личико. Кроме того, что оно овальное, беленькое, — личико блондинки, ничего я не помню. Ошибкою оказалось и то, что я припомнил, будто бы это семейство было вельможеское. Это было семейство аристократическое: но из очень ли высокой аристократии, или из многочисленного не очень высокого круга аристократии, я не могу разобрать: все признаки знатности и богатства сгладились настолько в моих мыслях, что та моя мысль при первом припоминании оказалась лишь произвольным делом комбинирующей силы.

Но красавица, дивная красавица была та девушка; — иначе не могла ж бы она понравиться мне. Я тогда был уж такой же, каким знаешь ты меня.

Чтобы стать несколько менее смешным в этом отношении, надобно было мне годы и годы привыкать слушать без возражений твои восторги от красоты красавиц. — И не воображай, что ты перевоспитала меня в самом деле, — нет, извини: у меня глаза вовсе не такие, как у людей с обыкновенным зрением: издали я, пожалуй, и находил: «да, это красавица», — и соглашался с тобою. Но я думал: «Красавица она издали; а если бы я взглянул поближе на нее, то — дело сомнительное, что я увидел бы». — У меня глаза очень, очень близорукие; а между тем зрение острое. — Рассматривай гравюру в увеличительное стекло. И увидишь то, что вижу я без увеличительного стекла. При таком зре-

нии, моя милая, невозможно находить красавицами огромное большинство так называемых красавиц.

Но если отложить вопрос: «Эта девушка или молодая женщина действительно ли красавица»? — то я всегда смотрел с удовольствием на всякое скромное, честное и умное лицо, — только: и на женское, как на мужское. Как сестру, я всегда был расположен любить всякую скромную, честную, умную девушку или молодую женщину. — И ты знаешь: я всегда жалел о женщинах. А потому был всегда — смею похвалить себя — преданным их другом.

Но женское общество, разумеется, было всегда нестерпимо для меня, если это не было общество совершенно семейного характера, с обыденными разговорами о семейных делах, без малейших претензий, — кружок родных и близких друзей.

Однако вернемся к неизвестному моему прадеду и известной моей прабабушке, Мавре Перфильевне, жене того неизвестного.

Он был священник. Под конец в Саратове. Но сначала — сельский священник. И вот, вскоре после того, как повенчались они с Маврушей и получил он место священника в каком-то селе, представился ему случай «перепроситься» в другое село, побогаче того первого «прихода», — где-то далеко от первого «прихода». «Далеко» у тех вовсе первобытных людей могло быть и пятьдесят верст: откуда не видно их «скирдов хлеба» на их «выгоне» и куда не заходят их овцы и коровы, бродя по пастбищам, то уж «далеко». Впрочем, расстояние «нового» прихода от «старого» было, кажется, в самом деле, не маленькое: верст двести, или триста, или больше.

Распродали они, — муж и Мавруша, — лопаты, кадушки и «корчаги» (огромные горшки; ведра и три и больше); «ухваты» и «половники» (то есть уполовники) и сковороды взяли, надобно полагать, с собою: это были, по тогдашнему, вещи дорогие, и, в селах, я полагаю, еще «предметы роскоши», которые не везде найдешь в продаже. Словом, осталось у них лишь столько «скарба», что поместились они со всеми вещами на одну телегу, запряженную одной лошастью. Их было: муж, Мавруша и на руках у Мавруши малютка, старшая дочь, Поленька (мать моей матери, Пелагея Ивановна); — грудной ли ребенок, или уж отнятый от груди, неясно мне; но еще крошечная малютка. Только одна она еще и была у них. Из этого видно, что дело было года через два, не дальше, как года через три после их свадьбы. Сколько лет могло быть Мавруше? Двадцать — это много. Быть может, шестнадцать, даже пятнадцать. Моя мать вышла замуж четырнадцати лет; моя тетка, Александра Егоровна, тринадцати лет.

Мавруше с Поленькою было удобно ехать: ни пыли, ни жару, ни дождя им не было: муж был мастер на все; и «приделал кибитку» на задок телеги. — «Кибитка» — это рогожная клетка без дна и без передней стенки. Спереди закидывается наверх рогож-

ный вуаль. А пойдет дождь, то и опустят его, и «будет совсем все равно, что карета». Не знаю: продолжают ли существовать на свете «кибитки». Рогожа стала дорога. Впрочем, бывали и холстовые кибитки. Кожаные были уж не то: экипаж с «кожаной кибиткою» был уж не мужицкая телега, а нечто сделанное попрочнее и побольше размером и поуютнее, вроде маленького, несуразного тарантаса.

И вот прекрасно было ехать Мавруше с Поленькою на руках, в мастерски сделанной рогожной кибитке. Муж иногда «присаживался» на «передок» телеги. Поперечной доски на передке, вместо козел, не было, я полагаю. Но была ль она, или нет, муж «присаживался» мало: больше «шел рядом», по-мужицки: жаль обременять собою лошаденку.

Ветер дул сзади. И муж Мавруши придумал: воткнул, привязал стоймя, веревками, — «в передок, пропустивши насквозь до передней оси, почти вплоть», — запасные «оглобли»; лишняя пара оглобель всегда бралась «про запас, на всякий случай»: тоже не везде можно было купить, а главное, — тоже даром-то не дадут: подавай денежки; вероятно, копейку. — «В те времена и копейка была деньги. У кого в селе из мужиков было рублей пять, был человек с капиталом».

Итак: воткнул стоймя по бокам передка телеги две оглобли, прикрепил их веревками Илья Егорыч (положим, Егорыч; по тону рассказа, без имени и отчества его нельзя обойтись). Прикрепивши оглобли в виде мачт, натянул на них в качестве паруса «холстину» — грубое полотно, которым покрывают телегу, когда везут «зерно» на мельницу или на рынок. И вышел: «как есть парус». Ветер дул сзади, «был вовсе попутный», и «большое было пособие для лошади».

Таков первый факт истории той линии предков моих, по которой генеалогия моя наиболее длинна. — Из моих родных по отцу, дальше моего деда и бабушки моей, я не слыхивал ни о ком.

Вот так-то, в кибитке и, по проезде нескольких верст, с парусом ехали Мавруша и Поленька. Очень хорошо было им ехать. А Иван Егорыч тоже временем присядет. А больше шел рядом. — «Только вдруг что же слышат они: идет сзади пальба из ружей: пук-пук; пук-пук; и все ближе к ним».

Буду продолжать рассказ уж буквально, подлинными словами моей бабушки Пелагеи Ивановны. Она пересказывала это нам — Любеньке (милой, доброй, очень умной «сестрице» моей; то есть кузине; я много виноват перед нею; много; расскажу после; она была ангел; много виноват я перед нею; но все-таки могу сказать по чистой совести: я любил и уважал ее, насколько у меня доставало смысла; правда: слишком мало) — ей и мне; когда мне было лет восемь и лет десять, несколько раз пересказывала наша бабушка со слов своей матери то, что я начал рассказывать по-своему, не помня того прежнего буквально, и буду продолжать

буквально словами бабушки; я могу, потому что помню всё, что дальше, буквально:

«Едут они, батюшка с матушкой. Только вдруг что же слышат они: идет сзади пальба из ружей: пук-пук; пук-пук. И все ближе к ним. Догоняют те, что стреляют-то. У матушки сердце не на месте. Дорога пустая, как есть: лес, да поляны, да «талы́ник» (ивовый кустарник; растет на сырых песчаных местах). Деревень нет по дороге. Только село, где переночуешь, и успевай, коли успеешь, к ночи доехать в село, где ночевать. И людей по дороге нет: вовсе пустая.

Не на месте сердце у матушки. Как же, — добро бы двое их с мужем только и было. А то дочь у нее. Я-то. Говорит она:

— Иван Егорыч, гони ты лошаденку-то. Убьют они нас, догонят. Поленьку-то мне жаль. Гони лошаденку-то, гони, Христа ради. Может, ускачем от них.

— Где, ускакать! — говорит батюшка: — У нас лошадь нагружена. А они налегке. Да и пара лошадей-то у них: уж слышно по топоту-то: парой запряжено у них. Покажем лучше вид, что не боимся. Будто считаем их за добрых людей.

И не гонит. Едет, как было, шагом.

Догоняют те. Двое их. Одеты по-мещански. Молодые еще. У обоих по ружью.

Поровнялись это они, объезжать стали, — поровнялись с батюшкой, кланяются, говорят: «Здравствуйте, батюшка. Куда едете?»

Он сказал. Вот каковы они, мужчины-то, Любенька, Николенька. Батюшка умный был человек. А рассудку недостало. Так все им и сказал: и куда, и откуда; все им выложил. Простота!

— Так, значит, мы попутчики вам будем, когда так, батюшка. Что ж, и прекрасно. По крайней мере, поговорить для развлечения. Да и с виду-то вы понравились нам, батюшка. Так и поговорить-то с вами, надеемся, будет тоже приятно. Мы вот кто такие. — Сказали, кто они. Имена-то, какие они дали себе, я уж не знаю. Только, говорила матушка, сказали они про себя, — как они одеты-то были, по-мещански, — что они мещане; едут по своим торговым делам. Сказали про себя, спрашивают: А вы кто такой будете, батюшка, позвольте узнать; — все вежливо так: «вы» да «батюшка»; а это ваша супруга будет, с дочкою? Молоденькая какая она у вас. — И похвалили ее, матушку-то, что она нравится им. — Так позвольте узнать, кто такой вы будете, батюшка?

Он им все и рассказывает: кто он, кто жена; и обо мне-то.

Господи! Совсем-то он в них вверился! — думает матушка.

Едут они рядом. А он идет. И разговаривают. И они сошли, идут.

И так прекрасно пошел у них разговор: пошучивают да пошмеиваются.

И шло это так у них с час времени, может быть. Говорят:

— Ну, теперь до свиданья, батюшка. Очень приятное нам знакомство с вами. Только, — вон видите, полянка-то, впереди, в стороне-то? Должны быть там утки. Постреляем. А после догоним вас. Не прощаемся. До свиданья, батюшка.

Сели на телегу, ударили по лошадям, ускакали.

Опять пошла пальба: пук-пук; пук-пук.

И проехали батюшка с матушкой мимо этой пальбы. И осталась она далеко позади у них. Стала матушка опять спрашивать батюшку: — «Гони ты лошадь-то, Иван Егорыч, ускачем от них». — И ускакать-то было хорошо: от той полянки, где остались-то те, закрыл лес (лесом уж вышло место-то). И далеко уж остались те: даже и пальбы стало неслышно. — «Гони ты, Христа ради. Малютку-то хоть пожалей», — спрашивает матушка.

Нет, не слушает он. — «Да что ты, Мавруша? Они добрые люди».

Добрые! Эх, Любенька, Николенька: вот какова у мужчин рассудительность-то!

Опять пошел топот... Догоняют. Слезли с телеги, пошли рядом, разговаривают с батюшкой. Весело им. И ему. Приятели стали, как же. И с матушкой они заговаривали. Ну, она скоро догадалась: — «Младенец-то у меня дремать хочет»; и велела батюшке сбросить закрышку-то с кибитки: закрыться от света, для малютки.

Так они шли, разговаривали с батюшкой. Опять сели: — «До свиданья, батюшка»; — ускакали. Опять пошла у них пальба. И опять догнали. Опять идут, разговаривают.

И шло это так до самого вечера, до самого села, где ночевать; какое до вечера! — уж ночь была, когда доехали. И едут, — на один постоялый двор! — Батюшка-то, а? Совсем подружился с ними! — И уж сговорились: всю дорогу так ехать, вместе.

Вот они, каковы дела-то на свете. Мужчину недолго вовлечь в погибель хитрым людям; зарезали бы! Зарезали бы они всех, Любенька, Николенька.

Но только матушка сидит, думает: не будет же этого, чтоб отдала я им себя и малютку зарезать нас. — Сидит она на постоялом дворе за столом-то, с батюшкой, с ними, — тоже и другие проезжие были: много народу сидят за столом, ужинают, сидит и она тоже за столом; только ей уж не до еды; — сидит она и думает: — «не будет же этого, чтоб я далась им зарезать меня и малютку».

Поужинали все. Стали укладываться спать. Улеглись. Спят все. А матушка тоже будто прилегла; только: прилегла и поднялась: будто с малюткою возится, что малютка уходу требует. Ну, да никому и дела-то нет до этого.

Только, как она увидела, что все спят крепко, разбудила она батюшку.

— Вставай, Иван Егорыч: ступай, запрягай лошадь. Сейчас и поедем, чтоб уехать от твоих добрых-то людей, приятелей.

— Что ты, Мавруша? — он говорит: — Да нет в этом никакой надобности. Вовсе не разбойники они.

— Ну, верь!

Поспорили они так. Ну, только долго-то не стала она спорить: что ж, когда не вразумишь? — А время терять нельзя. — Взяла она меня на руки, отошла, села в передний угол и говорит:

— Ну, ты как хочешь, так и делай. Только когда поедешь ты со двора поутру, я с тобой не поеду. Останусь здесь с малюткою. На моей душе будет грех отдать на смерть малютку. Так и буду жить здесь, покуда будет с кем ехать, — знакомые, что ли, попадутся или какое проезжее семейство будет, по всему видно, что хорошее. А ты делай, как знаешь.

Он и так, и сяк: — «Да что ты, Мавруша?» — «Да с чего это ты, Мавруша?»

Но она долго слушать не стала, потому что время не ждет: ехать поскорее — одно средство; не терять времени.

— Знаешь ты меня, Иван Егорыч. Что сказала, так и сделаю. И не уговаривай ты меня. Знаешь: будет понапрасну. То и не о чем разговаривать. Либо ложись, спи, завтра утром вставать с ними; либо ступай, запрягай лошадь.

Он знал, какая она. Нечего делать, пошел запрягать лошадь.

Разбудили хозяина. Рассчитались. А она, с вечеру-то, как ужинали, уж прислушалась, да и сама, — будто стороной — допрашивалась, между пустого разговора, какие куда дороги; и узнала все, как проехать совсем в сторону от прямой-то дороги в тот приход, куда они ехали; а после, с окольной-то дороги, можно уж опять своротить на прямую-то дорогу, давши сутки, либо двое тем-то добрым-то людям батюшкиным уехать вперед.

И поехали. И ехали всю ночь в сторону. Утром стали, пустили лошадь покормиться. Поехали опять. К вечеру доехали до большого села, далеко в стороне от той дороги. После выехали опять на нее. И доехали, слава богу, благополучно.

«Вот оно какие дела-то бывают, Любенька, Николенька».

Как тебе нравится это, милая моя радость?

Это — будто рассказ пятилетнего ребенка.

А прабабушка была очень умная женщина. И она рассказывала это своим дочерям.

И ее дочь, моя бабушка, — если не росла, то уж наверное с самого замужества жила в большом городе. Была знакома с людьми, побывавшими везде, видывавшими все. Да и сама чего

не нагляделась, о чем не надумалась на своем веку, до пятидесяти пяти или шестидесяти лет, когда пересказывала Любеньке и мне рассказ своей матери.

И не додумалась прабабушка, что ее страх — страх ребенка — был напрасен. — Такова-то сила наших ранних впечатлений над нами.

И моя бабушка — очень, очень умная женщина; женщина очень большого ума, — и, хоть безграмотная, но жившая в обществе далеко не безграмотном, — прожила век, не додумавшись, что страх ее матери, бывшей в то путешествие еще неопытным ребенком, был страх напрасный. — Такова-то сила авторитета наших старших родных над нашими мыслями.

Однако это уж мораль, более уместная в моих ученых рассуждениях с нашими взрослыми птенцами, о которых — грешен! — думаю, что ровно-то ничего еще они не смыслят. Обидно тебе за них? — Но ведь я и принес уж покаяние: грешен! — Только, воля твоя, мой милый друг: сколько лет Мише, я не определяю; быть может, пять или даже десять; но Саше — полтора года, это очевидно.

Впрочем, и себя я непрочь похвалить: сколько было мне лет, когда я разобрал, что страх прабабушки был не вполне основателен; почему знать? — быть может, я до двадцати лет разделял убеждение прабабушки (и бабушки), что она спасла жизнь мужа, свою и своей малютки, принудив мужа спастись от тех разбойников.

Если я думал так до двадцати лет, — то возлюбленный родитель Саши — достойный такого сына родитель. Рассудительнее ли Миша? — Надеюсь.

Но ребяческое незнание той пятнадцатилетней, много девятнадцатилетней женщины, — собственно говоря, девочки, само по себе. А каков характер?

Я хотел в нынешнем же письме рассказать другую историю из молодости прабабушки. Тоже по рассказу бабушки. То дело совсем иного рода. Действующие лица: какой-то вельможа; молодой человек, человек благородной души; и какая-то молодая дама или девушка; это благородная, трогательная история.

Расскажу ее в следующий раз. Теперь пора отдавать письмо на почту.

Вот что, моя милая радость: попробуй-ка записывать ты свои воспоминания. Нужно одно, чтоб можно было ручаться, что ты напишешь превосходно.

Нужно помнить тебе: твой муж во многом глуп, во многом нелеп; но в сущности, справедливы те понятия, которых держится он; те понятия, которые дают, например, Некрасову неизмеримое превосходство, по внутреннему достоинству его произведений, над Пушкиным и Лермонтовым.

Возьмем для примера хоть первое из стихотворений, которые останутся долго прекраснейшими из русских лирических пьес:

Еду ли ночью по улице темной...

Ты помнишь? Или прочти.

Мораль — вещь почтенная. Жена должна быть верна мужу. Это прекрасное внушение. Только — непомерно глупое.

А дальше, — та женщина ушла от любовника на улицу и продалась. Это уж вовсе неодобрительно. Да. Но только кто скажет: «Это неодобрительно», — тот услышит в ответ себе: «Ты подлец».

Вот одно только и нужно тебе помнить: те понятия, в которых мы с тобою выросли, очень хороши, но глупы до непомерности.

Нападать на женщин ты никогда не могла: то, что «мораль» по поводу женщин — подлость, ты понимала — наперекор своим мнениям о девической чести, обязанности жены быть верной мужу и так дальше. Ты воображала, — вероятно, воображаешь и теперь, что девическая невинность, брак, — это хорошие обычаи; но наперекор твоим — совершенно ошибочным мнениям о прекрасном достоинстве установленной для женщин морали, сплетничество было ненавистною гнусностью для твоего чувства, и ты вступалась за женщин.

И я привел то стихотворение Некрасова лишь потому, что оно первое показало: Россия приобретает великого поэта.

Ты не одобряла многие другие мои понятия, кроме моего пренебрежения к установленной для женщин морали. — Я не говорю, что все мои понятия справедливы. О, возможно ли кому-нибудь не иметь множества понятий ошибочных? — Но важно лишь одно: помнить, что справедливость требует вступаться за людей страдающих. Хороши ли они? — Речь не должна идти о том, пока они страдают.

Извини, что я буду говорить о женщинах, торгующих собою на улицах. Почти все они — пьяницы; почти все воровки; о том, что почти все они — бессовестные лгуны, и толковать нечего. Лично я чувствовал всегда омерзение к ним. Но — «о том, хороши ли они, мы поговорим, когда их не будет; а пока мы будем говорить лишь о том, что судьба их — бедственная».

Я никогда не говорил ни одного слова ни с одною из них. Был лишь однажды — это было у Некрасова, когда у него был литературный обед, — в одной комнате с одною из них. У Некрасова жил Боткин (умерший теперь; богач; купец; литератор). Он вел грязную жизнь. К нему во время обеда пожаловала гостья; она не знала, что в квартире — большой обед. Я не знал, что шепнул слуга Боткину. Боткин ушел в свою комнату, велевши приносить кушанья туда. Кончился обед. У многих шумело в голове. Один за другим уходили. Я понимал: в комнату Боткина.

Мне все равно, кто уходит. Я помогаю хозяину, Некрасову, занимать гостей. А уходят они от меня, — очень рад. Я нашел какого-то ничтожного гостя, стал толковать с ним: пусть видит, что мы уважаем и его. Я сидел с ним у стены, где окна на улицу. — Из дверей на другом конце комнаты, — очень большой, — входит Боткин с толпою; между ними женщина. Я понял: эти господа уходили болтать с нею; а она — покупная гостья у Боткина.

Они расположились, весело болтая, у той стены, — через всю длину комнаты от меня.

Через пять минут я — вовсе не наблюдательный, ты знаешь, и, кроме того, занятый желанием усладить душу того ничтожного гостя, — я все-таки заметил: «да что ж это, веселая компания у той стены осовела?» — Смотрю: поглядывают на меня и сидят действительно осовелые. А я был глубоко убежден, что на моем лице не выразалось никакого порицания им. Что мне за радость порицать их? Очень мне нужно учить их морали. Но — хоть я и не желал и не воображал, выражение на моем лице оказалось такое, что в пять минут все они осовели, и минуты через две они разбрелись в разные стороны, а та несчастная, — кажется, она была нарядная, — уплелась домой, лишив Боткина дальнейших приятностей беседы с нею. — Мне даже было смешно.

Так вот до какой ужасности свиреп я. Но это само по себе. А с господами приятелями тех жалких бедняжек, — о, как я говорил всегда! — «Тех женщин я уважаю; а сволочь — это вы, господа».

И правда: каковы бы ни были те бедняжки, но «сволочь» — не они, а их приятели. Их приятели, мерзавцы, таковы, что тем бедняжкам приходится падать в грязь, где изволят свинствовать те господа.

Милый друг, я говорю об этом разряде фактов жизни лишь потому, что ты не осудишь именно этих моих понятий.

Но перечитай стихотворения Некрасова.

И если вообще ты согласна с ним, — лишь «вообще», в частности, во-первых, всякий много ошибается, потому и он; во-вторых, взгляд на частности у каждого самостоятельного человека имеет свой особый оттенок; и я говорю только: — если вообще ты согласна с Некрасовым, то — будь уверена: ты превосходно напишешь все, что вздумается тебе написать.

Талант у тебя есть. — Сильный ли? — этого нельзя знать впрямь. Но недюжинный талант; это я знаю по твоим разговорам: все, что ты рассказывала, ты рассказывала прекрасно.

Но — до следующего письма, продолжение всего, что было в этом.

Пора отдать письмо на почту.

Детям писал длинные учености. Но выходило уж через меру длинно. Я бросил. А вновь написать еще не успел.

Целую и Сашу и Мишу.

Вели прочесть им — они уж юноши; вероятно, ухаживают за барышнями, — вели прочесть им рассказ о любви, какая бывает она — к сожалению, слишком редко; — это «романический эпизод из жизни» какой-то светской дамы, рассказывающей о своем первом женихе. — Я не знал и не знаю мужчины, благороднее этого первого жениха. Его чувство к ней было несравненно лучше моего чувства к тебе. Вот он действительно умел любить. Этот рассказ помещен в ноябрьской книжке «Вестника Европы» за прошлый год. Ничего равного этому рассказу нет на русском языке. Это — очарование.

Она, по обычаю женщин-авторов, не подписалась под своим рассказом полным именем. Напрасно. Она вправе гордиться своим рассказом.

Одно плохо: она отказала тому жениху. Ты не сделала бы так, нужды нет, что ты не ученая, а она была ученая. Это она сделала плохо. Но все-таки я от всей души полюбил ее. Благородная женщина.

Но ты не сделала бы так, как она; ты не отказала бы тому жениху. И выходит, что ты — лучше, нежели она.

А прекрасная она.

Но — ее жених, вот это, был человек.

Однако решительно пора отдать письмо на почту.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая радость.

Будь здоровенькая. И все будет прекрасно.

Целую твои ножки, моя милая Лялочка. Твой *Н. Ч.*

663

А. Н. АБРАМОВУ

Алексей Никитич!

Потрудитесь потребовать от моего имени, чтобы г. Капелла назначил время, когда зайдет ко мне, взявши с собой полицию.

Не имея привычки делать что-нибудь неприятное кому-нибудь, не предупредивши то лицо о моем намерении, считаю обязанностью предупредить г. Капеллу, что прежде, нежели вверить ему свое здоровье, я сделаю ему маленький экзамен из медицинских основных идей. Разговор будет о нынешнем состоянии медицинских знаний.

Я надеюсь, что г. Капелла выдержит это маленькое испытание с честью. Но во всяком случае оно будет для него как будто унижением, происходя при посторонних. Я хотел избавить его от этой неприятности, желая говорить с ним наедине.

И не я, надеюсь, и не сам он виноват в том, что эта неприятность не отвращена от него мною.

Пусть не опасается экзамена.

Я буду деликатен по форме речи, снисходителен по сущности моего суждения.

Но я буду записывать мои вопросы и его ответы.

И дам ему и присутствующим полицейским чинам подписать записанное. Ваш Н. Чернышевский.

20 марта 1878.

664

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

[22 марта 1878 года.]

Милый мой дружок Оленька,

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо. Денег и всего, что нужно для удобства жизни, у меня много. Прошу тебя и детей не присылать мне ни денег, ни вещей.

Почта отправляется через несколько минут; и случай этот, как часто бывает, неожиданный: случилось какому-нибудь козаку и служащему надобность ехать в Якутск, — вот ему и поручают отвезти кстати бумаги и письма, какие готовы к отправке.

И у меня будет время написать тебе лишь немного строк.

Не знаяши вперед, я не приготовил длинного письма к тебе; вот и вся причина.

Приготовлял длинную ученую проповедь для детей. И, изорвав много листков мелких своих каракуль, не имею — в настоящую минуту — ничего готового и для них.

Затруднительно мне писать ученые рассуждения для них по двум обстоятельствам, о которых обоих уж и говорил тебе, моя радость:

во-первых, выходят у меня вместо поверхностных очерков ученых вопросов и научных истин, дающих ответ на эти вопросы, — целые, основательные, фундаментальные трактаты; стало быть, вещи очень длинные, утомительные для юношей, очень мало, как я полагаю, интересующихся теми сухими, не имеющими никакой прямой связи с фактической их жизнью, совершенно сухими, скучными вопросами. — Я увижу: «о, так длинно, что не достанет у Саша с Мишею терпенья прочесть», — и бросаю в печь.

Второе обстоятельство: почти все знаменитые ученые — более или менее педанты и почти все любят, для чванства, болтать вздор о предметах, которые не входят в круг их занятий. И вот этот-то вздор приходится мне разбирать. И выходит: люди почтенные, дельные работники по своим мелким специальным наукам, оказываются пустыми болтунами, когда пускаются щеголять своим умом; — невеждами, когда пускаются дивить своих более скромных сотоварищей своими будто бы многосторонними знаниями. А эти болтуны и невежды, — они, по своим мелким кусочкам науки, — сделали много дельного, полезного. Саша и

Миша, разумеется, уважают их. А я хоть тоже уважаю за те серьезные работы, принужден третировать этих уважаемых в ученом мире ученых за их невежественную болтовню философского содержания, как недоучившихся школьников. Это — я понимаю — должно огорчать Сашу и Мишу, привыкших думать лишь о хорошей, дельной стороне их ученой деятельности. — И вот напишется у меня о тех чудачках страница сурового тона, — я бросаю; пишу вновь, смягчая выражения, чтобы не огорчать неопытных моих юношей строгими словами об ученых, ими уважаемых. Пишу вновь, но выходит также сурово; и бросаю вновь, и пишу снова.

Потому-то, исписавши и бросив в печь груды бумаги, — такие груды, какие только мною, имеющим силу писать изо дня в день, с утра до ночи, и не зная утомления глазам, — только человеком с таким крепким зрением, — могут быть исписываемы, — я послал детям лишь немного листков, — а вот теперь не имею готовым для них ничего.

Я отправляю лишь то, что успеваю написать в один день: «завтра почта»; — я пишу, и ко времени отправки почты не успел еще бросить в печь написанное накануне. И имею, что послать детям.

А когда нет у меня знания: «завтра идет почта», — то отправление почты застает меня, как вот теперь, не имеющим ничего готового.

Я собирался писать для тебя, моя радость, когда кончу учебное письмо к детям. Не написал его, — то есть написал и сжег пять или шесть огромных писем, и остаюсь все еще без письма для детей, — потому еще не принимался за письмо к тебе.

Содержанием этого будущего письма к тебе будет моя просьба, чтобы ты приучала себя не стесняться тем, что ты «не ученая», как всегда толковала ты о себе; — не стеснялась бы этим, а учила бы детей, учила бы их; — не той чепухе, разумеется, которая называется ученостью, а пониманию жизни, пониманию того, что понятно всем, ученым ли, не ученым ли, — хоть и читать не умеющим, — неглупым людям, поприсмотревшимся к жизни, и не понятно, без дружеского истолкования от старших, юношам или молоденьким девушкам.

Говорят: «девушка, сделав ошибку по незнанию жизни, теряет честное имя». Для меня это кажется мыслью очень глупую. Но эта девушка, теряет ли, или нет «честное имя», — портит свою жизнь. Вот это серьезная сторона той ошибки, о которой судят по той глупой мысли.

Юноша не теряет «честного имени», наделав и в тысячу раз худших ошибок, — целыми десятками наделав их. Но вред он делает себе.

Я не о том говорю, что юноши должны вести монашескую жизнь. Я не одобряю и того даже, что девушки, под страхом быть вытолкнутыми из общества, принуждены вести такую жизнь.

То, что после становится делом серьезных чувств, у молодежи не может не быть ребяческой забавой.

Но те лица, вместе с которыми играет юноша, как ребенок, в серьезные, еще неведомые ему чувства, — эти лица хорошая компания, лишь когда они честные люди.

И, например, честные девушки, — кто? — те, которые правдивы, которые не плутовки в денежных делах, не расстраивают свое здоровье добровольными дурными поступками вроде пьянства, — те, которые похожи на честных мужчин.

Честь — одна и та же у женщин и мужчин, девушек, замужних женщин, стариков и старух: «не обманывай», «не воруй», «не пьянствуй»; — только из таких правил, относящихся ко всем людям, без различения пола, слагается кодекс «чести» в правдивом смысле слова.

Но этого кодекса должны держаться люди, мужчины ли, женщины ли, юноши ли, девушки ли, — составляющие компанию юноши: только если так, эта компания не вредна ему.

Вот обо всем этом я хочу поговорить с тобою, мой милый друг. Конечно, сын не то, что дочь: чтобы сын считал мать самым лучшим своим другом, это не в обычае. И то, что легко достижимо для всякой хорошей матери по отношению к дочери, трудно по отношению к сыну; вполне, быть может, недостижимо при нынешнем состоянии обычаев.

Но все-таки, хотя немножко, возможно сыновьям быть доверчивыми к матерям.

И чем больше этого доверия у дочерей ли, или все равно у сыновей, — тем лучше для них.

Конечно, мало ли дочерей гибнут от матерей, — или, вообще, мало ли отцов и матерей, которые дурные старшие для своих детей.

Например, хоть бы твоя мать была злейшим врагом твоим. И если бы смела, с удовольствием задушила бы тебя собственными руками.

Но и относительно сыновей она была хороша. Хоть они — разумеется — лишь смеялись над ее злобой.

Я говорю, конечно, лишь о хороших матерях, говоря, что для сыновей полезно иметь матерей своих интимными друзьями.

Я цюлагаю так: всякая мать, которая была бы хорошим другом для дочерей, хороший друг и для сыновей.

Теперь: как сумел бы я толковать об этом нашим сыновьям? — У меня бы вышла проповедь, отчасти непонятная для них, отчасти, вероятно, и не соответствующая их нравам, которые, сколько я могу судить, довольно или очень чисты.

Потому вот написал несколько, — и буду писать больше — об этом не нашим с тобою детям, а тебе. Ты перескажешь им мою просьбу к тебе лучше, нежели сумел бы высказать им мои советы я.

Целую их.

Однако вот сколько успел написать. Но пора уж отдать письмо.

Каково-то перенесло твое здоровье зиму? — Больше всего, — или, собственно говоря: об этом одном, — думаю и думаю.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая голубочка, и все будет прекрасно, и я буду совершенно счастлив.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Лялечка.

Целую твои ножки. Твой Н. Ч.

665

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[22 марта 1878 г.]

Милый мой дружок, бедняжечка мой, Саша,

Выздоровливай-ко поскорее. Думай только об этом. И для этого держи себя, до совершенного восстановления сил, как велит медики держать себя выздоравливающим, — то есть по образу и подобию осторожности семидесятилетних стариков. Скучно это молодому человеку; тяжело это; но что надобно, то надобно.

Если отправлю с этой почтой ученое письмо к тебе и к Мише, то —

продолжаю речь, обращаясь уж к тебе, Миша:

Ты заготовь вперед, еще до чтения письма, груду математических сокровищ премудрости новейших и самых патентованных математических мудрых писателей; изорви все в клочки, и хорошенько перемни; это будет «душевная корпия» для должествующего быть истерзанным моими нападками на новейшую математику сердца твоего брата. А тебе самому понадобится «душевная корпия» эта?

Итак:

Предварительно засуньте под жилеты себе фунта, на первый раз, по четыре этой рваной и мятой, по-моему, —

(не читайте этой строки; она ужасна) — этой, по-моему, дряни, —

(читайте, пропустив ту строку, прямо эту) — этой драгоценной премудрости новейших Ньютонов.

И, оградив свои сердца от уязвлений, — читайте ту мою беседу с вами о новейших Ньютонах, которая будет послана с этой почтою, если dokonчу писать ее ко времени отправки почты.

Будь здоров, мой милый друг Миша.

Целую вас обоих, мои милые друзья.

Жму ваши руки. Ваш Н. Ч.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

31 марта 1878. Виллойск.

Милый мой дружок Оленька,

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо.

Думаю и думаю все о том, каково-то твое здоровье. — «И надобно повторить все, чем надоедал он мне уж сотни раз», — думаешь ты. Да. Но на этот раз прошу тебя саму надоесть себе мысленным чтением наизусть всего, чем надоедал я тебе столько раз на бумаге.

Итак: отложи это письмо в сторону и прочти себе, в мыслях, сполна всю мою гигиеническую проповедь тебе. Когда кончишь назидание себе, возьми письмо, продолжать читать его.

Добросовестно сделала назидание себе о своем здоровье? Хорошо. Теперь могу начать мою болтовню для забавы тебе, моя милая радость.

В прошлый раз я говорил, что расскажу тебе еще одну историйку из жизни матери моей бабушки по матери.

Расскажу всю эту историйку или какую до отправления почты успею частичку ее. Но прежде поговорю о другой мысли, которую исполнил, но не знаю, довершу ли отправлением к тебе листков, на которых исполнил ее.

Книги, которые присылают мне дети, вообще — книги ребяческого выбора, которых присылать не стоило бы. Ты не говори детям этого: к чему огорчать их еще этим? И без того я много огорчаю их. Мне уж почти все равно, хоть и ничего не читать: прежняя охота к чтению стала слаба во мне. Итак, в сущности, все равно мне, какие книги присылают мне дети. Я вижу в этом их усердие угодить мне и благодарен за их любовь; и только это важно.

Но между книгами, которых не стоило бы присылать, подвертывается детям для отсылки мне иной раз какая-нибудь книга, которую я читаю в самом деле с пользою и наслаждением себе.

Один из таких удачных случаев выбора, — два маленькие томика рассказов и тому подобных мелочей, Брега Гарта, — в английском подлиннике. В них много пустяков. Но много такого прекрасного, что прозу я перечитывал раз десять и буду перечитывать еще; а пьес десяток, из написанного стихами, я читал столько, что выучились они у меня наизусть, и я воспеваю их на своих прогулках. Пение мое превосходно по прекрасной обработанности моего уж и от природы удивительного дара козлоглазовать. Но я не горжусь этим и бесцеремонно услаждаю себя и изумляю якутов моим талантом: они, — даже они, затыкают

уши при встрече со мною, когда я воспеваю мои мелодии. — Однако дело не о моих мелодиях, а о Брете Гарте.

Его рассказы были переведены на русский, — в «Отечественных» ли «Записках», в «Вестнике» ли «Европы», не помню. Ты читала этот перевод? — Но там не было самого прелестного, по-моему, из тех рассказов. Переводчик, вероятно, нашел его пустым. Это бывает. Самое прелестное оставляется без внимания. Этот прелестный рассказ — «Миггельз». И вот я перевел эту крошечную вещичку для тебя и —

Для наших детей.

Они уже юноши. Уважают ли они женщин? — Надеюсь. Но мораль об этом не бесполезна никому из юношей.

Вот что сделай ты, если я действительно отправлю к тебе те листки, на которых перевел рассказ Брета Гарта «Миггельз»: пусть один из детей прочтет при тебе этот мой перевод, а другой пусть слушает; и после ты поговори с ними о том, кто Миггельз и кто из «проезжих» самый умный человек; это — «Билль с Юбы». Он один истинно благородный человек из всех своих товарищей и умнее всех по пониманию, что за люди обыкновенные честные мужчины. Он простяк; и, быть может, думал о своих товарищах несправедливо; быть может, все его товарищи были совершенно честны, — хоть в те часы, которые провели в том домике. Но вообще Билль с Юбы прав: мужчины — это скоты.

Но и «леди-проезжие» хороши. Они даже лучше мужчин, госпожи «нравственные» женщины. Что это за сволочь, обе «леди-проезжие»! — Нестерпимая сволочь.

Судья — он под конец все-таки восстановил честь мужчин. И он мил за это.

Довольно здесь о том крошечном, прелестном рассказе Брета Гарта.

Принимаюсь за рассказ моей бабушки о счастье, которое предстояло ее отцу и матери, и ей, и ее сестрам.

Моя бабушка Пелагея Ивановна была неумолимою порицательницею, — мало сказать: «порицательницею», — была казнительницею «безнравственности». Но я буквально помню этот ее рассказ. И читай, моя милая голубочка. Быть может, увидишь, что простые люди, — какую была моя бабушка, говорили пустяки лишь в виде отвлеченных рассуждений, смысла которых сами не умели понимать; а о фактах умели, если не всегда, то хоть и иной раз судить не глупо.

Ты помнишь, моя голубочка:

Моя прабабушка Мавра Перфильевна и ее муж, сельский священник, — Иван, — не помню хорошенько, как его звали по отчеству, но, чтобы назвать как-нибудь, по необходимости для рассказа, называю: — Иван Егорович.

— Ты помнишь, они, люди еще вовсе молодые, переселились из одного «прихода» в другой; Иван Егорович приделал к телеге

парус; Мавруша спасла себя, мужа и свою дочку Поленьку от «разбойников», которые «пукали» по уткам. Таким образом, путешествие совершилось быстро и благополучно.

Откуда и куда они переселились? — Не умею представить себе. Помню лишь, была тут «Сосновка» или «Осиновка», — прежний ли, новый ли «приход», или какая деревня по дороге из прежнего «прихода» в новый. — «Сосновок» и «Осиновок» везде много. И это имя, — имя, какое из двух? — Не умею сказать; но, какое бы ни было из этих двух, — ровно несколько не определяет местности. Думаю, эта местность была — или северо-западная часть Саратовской губернии, или соседняя часть Тамбовской; но все равно: эта была какая-то местность какой-то, — пензенской, что ли? или какой другой — обширной «епархии», в состав которой входило множество уездов, распределившихся после между несколькими «епархиями»; отдельной саратовской «епархии» не было не только тогда, но и долго, долго после: это и «губерния», уж только очень новая, и «епархия», еще более, быть может, новая, чем «губерния». Я еще помню первого архиерея саратовского.

Это я говорю для того, чтобы ясно было: странствования духовенства того края из «прихода» в «приход», не простиравшиеся вообще дальше границ одной и той же, — «нашей», — «своей», — епархии. — совершались, однакоже, по площади огромного размера. И где именно происходило переселение с парусом, — искать можно на пространстве верст четырехсот во все стороны от Саратова, от Пензы и от Тамбова: но, вероятно, на юг от Пензы, на восток или юго-восток от Тамбова, на запад от среднего, саратовского, низовья Волги.

Этот неизвестный край, где был «новый приход» прадеда моего по матери моей матери, был во время молодости прадеда вовсе глухой, покрытый бесконечными дремучими лесами и меж леса, будто оазисами больших открытых местностей, — пустынный ли? — почти пустынный край, но кое-где по этой лесной и отчасти луговой пустыне были разбросаны деревни и большие села. Были ль почтовые дороги? — Были; но их было так мало, что в иных местах поперечники треугольников и четырехугольников между этими «столбовыми» дорогами имели по несколько сот верст. Кроме почтовых дорог, были «обозные» или торговые, товарные дороги к Тамбову, Пензе (и Москве), к Хвалынску, Вольску, Саратову, — быть может, еще двум, трем пристаням на Волге.

Гостиниц не было нигде, кроме разве очень плохоньких в Пензе, быть может и в Тамбове. В Саратове наверное не было, — не только тогда, — в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века, но и много времени после. Станции на «почтовых» дорогах были омерзительные, грязные, развалившиеся логовища без стульев, даже без столов, кроме скверного, вонючего от

всякой гнили и гадости, сбитого из тесанных топором толстых сосновых досок стола для жранья и пьянства.

На «обозных» дорогах были «постоялые дворы», — иной раз построенные из хорошего леса, крепкие, без сквозного ветра — непременно и непрерывного путешественника по берлогам «станций», — но до нестерпимости грязные, душные; не то что собственно вонючие, каковы были «станции», — нет, по-мужицкому опрятные, но по-мужицкому, то есть опрятные с грязью на вершок толщины повсюду, и с чистым, по-мужицкому, воздухом, то есть тяжелым для дыхания лишь от дыма, от земляной грязи, от онуч, от полушубков и конской сбруи, а не всякой подлой скверности, не от свинства, как «станции»; дома хорошие, чистые — по-мужицкому, то есть для опрятных людей все-таки нестерпимые.

Поэтому для проезжих, привыкших жить опрятно, единственным сносным пристанищем, кроме немногих по дороге и не всем доступных дворянских и богатых купеческих домов, были дома духовенства, — некоторых (немногих) дьячков, дьяконов, но все это слишком бедно, тесно, потому, собственно говоря, только — дома священников.

Еще в мое детство проезжие по глухим местам ездили — как из станции в станцию, — из одного священнического дома в другой. — Подъезжают, слуга или ямщик идет: «батюшка или матушка, проезжие просят позволить им отдохнуть у вас». — «Милости просим». — И входят проезжие.

Это — необходимое предисловие.

Теперь рассказ.

Прошло, вероятно, несколько лет по переселении прадеда с прабабушкой в «новый приход»: переселяясь, они имели одну дочку, Полиньку; теперь у них было три или четыре дочки (все дети у них были дочери; и всех было у них четыре дочери. — Я хочу рассказать тебе после обо всем потомстве Мавры Перфильевны; тут было много лиц, жизнь или характеры которых интересны).

Но хоть уж давно мать семейства, Мавруша была еще очень молодая женщина.

Жили они с мужем «слава богу как»; очень «достаточно». — Ты помнишь, я пишу по рассказу моей бабушки; и это ее понятие. — «Хоть лишнего много и не было, но жили хорошо».

Село было вовсе глухая глушь среди глухого края. Сколько могу сообразить, — в стороне не то что от «почтовой дороги», и не то что от «обозных» дорог, но и от всякого проезда: повидимому, ни одного постоянного двора не было в большом селе. Ни помещика, ни «управляющего», ни «бурмистра» не было, судя по характеру всех обстоятельств. Или это было «казенное», «вольное» село, или село богача, жившего далеко, забывшего об этом своем владении, получавшего — сколько когда привезет оброка, — самому помещику неизвестно, какого оброка, — кто-нибудь, неиз-

вестно помещику, кто и откуда явившийся к нему, — повидимому, мужик, но в сапогах, рекомендующий себя как «староста Вашей, сударь, вотчины»; — о, они были уже светские люди, тогдашние мужики: они умели говорить барину «Вы»: много было таких светских мужиков уж и тогда.

Жили те мужики, — вероятно, вовсе не притесняемые никем; — жили «хорошо», «богато», — разумеется. Так все говорят. Но это пустословие о золотом веке. Мой отец, постоянно разъезжавший по всей саратовской «епархии» (имеющей одни границы с губернией), отвечая на мои ученые вопросы об истории сельского быта, говорил просто и положительно, что с той поры, как знает он Саратовский край, быт поселян постоянно улучшался: «хорошо ли, нет ли теперь» — около 1850 года, — «но теперь все-таки много лучше, нежели пятнадцать, тем больше тридцать лет тому назад», — говорил он о пище, о жилищах и о нравах поселян.

И это правда, — по моим научным исследованиям.

Здесь я говорю об этом к тому, что в целом большом «богатом» селе, где жила Мавруша с мужем, единственным порядочным домиком был их домик, — это очевидно по рассказу бабушки; а домик этот был, вероятно, в три окна на улицу, в два окна по двору, — то есть: какой же «домик», — избушка; но чистенькая избушка, и из прямых толстых брусьев, а не из кривых тоненьких бревнушек.

Жили те «богатые» мужики в лесу, дремучем лесу толстых, стройных вековых деревьев. Весь неизмеримый лес — казенный ли, барский ли, был оставлен в их безотчетное распоряжение. И они жили в лачугах из тонких кривых бревешек, вроде клеток из палок. — Это как же? — А просто: они были дикари. И, как следует дикарям, оставались голодные в логовищах. Мыслей о лучшем быте у них было мало. А уменья и того меньше.

Однако я все пишу свое предисловие к рассказу. Но вот начинается он. Буду писать словами бабушки. Помню их буквально.

Она рассказывала и эту историю, как те прежние, моей сестре (кузине) Любеньке и мне; быть может, помнится это и младшей моей сестре Вареньке, уж бывшей тогда подругою нашим играм. Любеньке было лет одиннадцать, мне — лет десять; Вареньке лет шесть или пять.

Время действия рассказа, — сколько могу сообразить, около 1790 или 1795 года; но, быть может, и раньше 1790 года, — около 1785.

«Вот раз батюшка с матушкой сидят, пообедавши, разговаривают. Только слышат: большой скрип по снегу к их воротам. Глядят в окно: большая такая, тяжелая карета на полозьях. Стала перед воротами. Входит слуга. Точно барин. Только и учтивый же, как настоящий барин. Подошел под благословенье, поцеловал руку у батюшки, все почтительно, как следует настоя-

щему воспитанному, хорошему человеку, — говорит: «батюшка и матушка, проезжий просит остановиться у вас; мой барин». — Они встают: «милости просим твоего барина». — Кто барин, — не спрашивать же им; а сам-то слуга не сказал, кто такой.

Въехала карета на двор. Остановилась у крыльца. Батюшка вышел встречать. Входит в комнату барин, — видит матушка, — батюшка, разумеется, идет за ним; видит матушка: чудо это, барин; молодой, высокого роста, красивый такой, — просто сказать: красавец. И по всему видно: вельможа. — Встречает его матушка. Он к ней с таким уважением. Просят его батюшка и матушка садиться; он сел, просит садиться их. Батюшка сел; матушка говорит, прежде ей надо сделать по хозяйству, что нужно будет для гостя, — он что прикажет сварить, изжарить? — Тоже и самовар ему надо, она говорит. Он говорит: «Вы, матушка, только извольте пожаловать нам, что найдется у вас из провизии, отдать моему слуге; а приготовит он сам, не извольте беспокоиться: он и поварство знает». — Хорошо, идет матушка показать слуге, что у нее есть из провизии.

А слуга-то уже в кухне был, принесши сначала барину из кареты погребец, другой погребец, — и барин вынимает из погребцов, что нужно для чаю, а слуга ушел с самоваром в кухню. Вот матушка и пошла к нему туда, повела его показывать, какая есть провизия. Он выбрал; вошла с ним матушка опять на кухню, посмотреть, будет ли понимать служанка, что ему понадобится, чтоб она помогала. Видит матушка: все прекрасно будет понимать служанка; да и сделала все: дрова горят в печи, как надобно тому слуге, и самовар поставлен; — начал слуга свое поварство, говорит матушке, что благодарит ее, а больше она ему не нужна. И пошла она, кончивши свое дело, к барину, к гостю, с которым покуда сидел, говорил один батюшка.

Села она к ним. Говорят обо всем; так мило. Обо всем говорят, что обыкновенно говорится. Натурально, в чем разговор: гость спрашивает их, как они поживают. Всегда это так, когда гость важный человек и обходительный. Ну, слуга прислал самовар, — значит: принесла матушкина служанка. Кушают чай с печеньями, которые были у барина. И с хлебом крупитчатым, с матушкиным. Так сидят и говорят. И долго это.

Только по всему видит матушка: что-то очень понравилась она барину. Так он и глядит, глядит на нее, — с таким вниманием, что даже удивительно; и с удовольствием, это видно. И в разговоре у него стало ей видно: вовсе он полюбил ее, все больше и больше любит. А как он нравится ей и батюшке, то и говорить нечего.

Только долго это было. И кушанье его готово. И покушал он. И они с ним поели, — обедали они, да уж давно. И после все сидят, говорят. Стало быть, это было много времени. И стало уж надо сидеть со свечами. У барина были свои, восковые. Стало быть, долго они сидели разговаривали.

Только что же, — вдруг он и говорит: — «батюшка, я попросил бы вас уйти; мне надобно поговорить с матушкой, прежде с одною с нею». — Батюшка пошел смотреть, хорошо ли поставлены лошади, овес им хорошо ли дан; — пошел через двор в конюшню. А карета стоит среди двора, распряженная.

Хорошо. Ушел батюшка. Только, как он ушел, что же говорит матушке гость; — говорит:

— Матушка, хоть я и на все глядел и все разглядел, — может быть, все вы замечали, как я на все глядел и все вижу, — и деток ваших я очень хорошо оглядел, —

ну, мы, разумеется, тут же вертелись; — я, может быть, и бегала только, да, может быть, только он сам брал меня на колени к себе, потому что, может быть, я-то уж и не лезла к матушке на колени, может быть уж и понимала: ей не до меня; — ну, а сестры — где ж могли это понимать? — лезли к матушке, разумеется, по младенческому непониманию; разве что отец к себе заберет, — ну, и гость забирал к себе на колени, — а то отбою от сестер не было матушке, разумеется. — Ну, вот гость-то и говорит матушке, когда батюшка ушел, — слушайте, что, Любенька, Николенька; — говорит:

— Хоть я и разглядел все, матушка, и деток ваших прекрасно разглядел, но только я вас прошу: покажите мне, сделайте милость, их кровати и где у вас их белье, и все это: как они у вас спят и как вы их держите.

Ну, как ей быть, — повела его показывать ему, где спят у нее дети, и кровати их, — наши-то, — и все, что до нас касается.

Разглядел он все внимательно, — ну, и весь домик-то обошел с нею, все комнаты, — ну, да много ли их? — Одна-то, где они сидели, да две, может быть, клетушки, вот и все комнаты; — обошел он все, разглядывал наши кровати и бельишко-то наше, детское, больше всего, — и говорит:

— Ну, довольно я видел, благодарю вас, матушка, что водили вы меня везде, все показывали; теперь пойдемте в ту комнату опять; сядем, поговорим, о чем я хочу с вами поговорить.

Пришли в ту комнату, — в залец-то, что ли, как бы сказать, — сели, и он начинает говорить, что же; — говорит:

— Матушка, я здесь не по случаю и не проездом, как вы, конечно, подумали, что это обыкновенный случай, по проезду. Я ехал нарочно к вам, матушка. Дорога моя не здесь. Она за много переездов в стороне от этого села. Еду я издалека и еду далеко. И не здесь мне прямая дорога. Только имел я по дороге случаи расспрашивать, кто как заботится о своих детях из молодых женщин. И выходило так, что говорили мне о вас, матушка. Я не показывал виду, что такое надобно мне и чего я доспрашиваюсь, и никто ничего не заметил, как я еду и чего ищу. Но вышло: услышал я, чего доспрашивался. Узнал я, есть такая хорошая мать, — и поехал к вам, матушка, удостовериться своими

глазами, так ли. А никто этого не знает, что вот приезжал к вам тот человек, который вот я; и кто я, вы сама того не слышали и не услышите, матушка. Такое это дело, матушка, по которому я у вас.

«Говорили мне, что вы хорошая мать и умная; что вы хорошо воспитываете ваших детей: в чистоте и с самой большой всякой заботливостью о них. И вижу я: это так.

«То вот моя просьба к вам: примите младенца на воспитание к себе. От груди он отнят. Но младенец он, меньше года.

И стал он говорить ей, что надеется, она будет заботиться о младенце этом, как о своем; и стал говорить, что он богат и что сила у него большая. И что когда подрастет младенец и ей уже нечего будет оставаться тут, где никто не может догадаться о младенце, чей он сын, — тогда, где она и батюшка захотят, какое место захотят, там то самое место и будет дано батюшке; это в их воле, он их своими советами, какой выбор им лучше, стеснять не будет. А если они согласны будут в этом с ним, то должность батюшке будет дана в Петербурге, при дворце. Это будет хорошо им взять, главным образом для пользы их дочерей.

— Что ж скажете на мою просьбу, матушка? — спрашивает наконец.

Ну, известно, он видел вперед, что будет согласие. Да и сами вы подумайте, Любенька, Николенька, возможная ли вещь, чтобы не было на это согласия от людей, как батюшка с матушкою: люди небогатые; и несколько человек детей.

Дело понятное, Любенька, Николенька: о согласии тут, настоящему, хоть и не спрашивать, то можно о нем знать.

Только, конечно, матушка — хоть и себя не помнит от удивления и от радости, — отвечает, как следует по-семейному:

— Тут надобно мне посоветоваться с мужем.

Он говорит: — Конечно, так.

Только говорит он это, — потому что так следует всегда говорить умным людям между собой: «посоветуюсь с мужем» или, если это муж, то: «посоветуюсь с женой», а на это ответ: «справедливо это. И я подожду»; так, но, когда такое дело, что сомнения нет, то это лишь соблюдается правило, а дело-то все равно, что кончено; потому он отвечает матушке: «конечно, так», — то есть пусть она посоветуется с батюшкою, а раньше того он от нее ответа не просит, — говорит он это, по правилу, а сам, сказавши это, обнимает матушку, и целует, и залился слезами. Может быть, Любенька, Николенька, и руки-то у нее целовал. Ну, пошел на крыльцо, позвал батюшку.

А с батюшкою-то между тем что же было; — да, тоже и с ним было небольшое происшествие. Теперь-то он уж прохаживался около крыльца. Но что было раньше; вот что такое:

Ушел он тогда по просьбе гостя, то прошел в конюшню, посмотреть, как поставлены лошади от кареты-то, как едят овес.

Оттуда идет назад; — это мимо кареты. Ему делать-то нечего, только ждать, он и стал смотреть, какая прекрасная карета. Вечером уж это было. Только ночь светлая. Ему и видно довольно порядочно: какие ресоры (т. е. рессоры), как дышло приделано, — ну, и все: удивительно хорошей работы все; и стал он разглядывать саму карету, — кузов-то самый. Окна занавешены. Ну, разглядывает он стенки-то кузова. Они утыканы медными шпильками; головки у шпилек большие, прекрасно сделаны. Вот он, гляди, гляди, да и возмись пальцами за одну шпильку — за головку — и потянул к себе; шпилька и подтянулась наружу, — немножко, и туго; батюшка понял: этими шпильками держится мягкая обивка внутри кареты; и тянет он шпильку, тянет, — от скуки-то; ждет, нечего ему делать; вот и нашел он себе занятие: тянет шпильку; тянет, — только, что же; из кареты женский голос, нежный такой, — говорит, — ласково говорит: — «батюшка, не шалите».

Он и отошел от кареты и стал ходить подле крыльца.

Ну вот, и позвал его барин в комнату. Сказали ему все, о чем говорили барин и матушка. Что ж тут? — Ну, согласие; нечего и толковать, вы сами можете понимать, Любенька и Николенька.

И пошел барин, — один, — к карете. Вошел в карету. Долго оставался там. И тот голос было слышно, — батюшка и матушка вышли на крыльцо, принять младенца-то; — за ним пошел барин, вы поняли и сами, я думаю; — то стояли на крыльце батюшка и матушка, и слышно было им: она все плакала, — та, которая сидела в карете и не показывалась. Долго она все плакала.

Вы понимаете? — Это мать.

Вот и плакала она; долго. Ну, как быть-то, Любенька, Николенька: плачь, не плачь, а за чем приехали, без чего, значит, нельзя обойтись, то надобно же было сделать: отдать своего младенца.

И вышел барин из кареты; взял из кареты большую подушку, прикрытую одеяльцем; карета затворилась.

Принес младенца в комнату. Вошли за ним с крыльца батюшка и матушка. Матушка взяла младенца с подушки.

Ну, разумеется, подушка, одеяльце, рубашечка на младенце — все это в широких кружевах, в дорогах.

Ну, и связку белья для младенца, большую, принес барин из кареты; тоже все в кружевах.

Ну, долго упрашивал матушку барин ухаживать за младенцем, плакал, обнимал матушку, — да и батюшку, — и младенца все целовал; — однако надо и кончить. Простимся.

Сказал, будут присылаться каждый месяц деньги. Тридцать золотых. Это по-тогдашнему — все равно, что теперь сто, может быть. Но только это еще не то, что важно. — Матушка говорила: «на что столько?» — Он говорит: «наймите хороших няnek для ваших детей, чтоб нам не было обременения от ваших детей;

и кушанье готовить возьмите хорошую кухарку; и все хозяйство сложите с ваших рук; чтоб одна была забота у вас: этот младенец. За ним ухаживайте уж только вы одна, сама. На эти расходы, на прислугу, эти деньги».

Не эти деньги были важны, Любенька, Николенька, хоть и из них одних составилось бы в немного лет большое, по тогдашнему времени, состояние. Это еще что! — Мы были бы фрейлины, говорил он. И были бы.

Плакал, просил матушку, руки у нее целовал, простился с младенцем, с нею, с батюшкой. Ушел, сел в карету.

Стояли на крыльце, проводили глазами карету батюшка и матушка.

Только на третий месяц умер малютка.

Матушка говорила нам, когда мы могли понимать: она так сходила с ума от этого горя, что легче было бы ей перенести смерть которой-нибудь из нас.

И правда. Умри одна из нас, а три будут счастливицами. Так ли? Так, правда.

А с его смертью пропало все для всех нас. Чем были мы, тем и остались.

Через несколько времени по его смерти получил батюшка письмо:

Мы все знали в свое время, — было в письме: — обо всем нас уведомляли. И всю болезнь младенца мы знаем. Матушка в том не виновата. Она, как я ждал от нее, так и исполняла все. И больше того. Она любила младенца больше, чем своих родных детей.

Матушка сама говорила нам: это правда, его она любила больше, чем нас.

Так в письме было: мы не виним; благодарны матушке; а это была воля божия.

Было прислано еще несколько денег, будто в доказательство, что, несмотря на несчастье, они — отец и мать — в самом деле благодарны матушке.

Но, разумеется, тем все и кончилось.

Вот какой случай был с матушкой, Любенька, Николенька.

А это не напрасно, шла о ней далеко слава, что она умная мать и хорошая. Точно это, и теперь еще на редкость, чтобы мать умела воспитывать детей в такой чистоте, как росли мы. А тогда это и вовсе было это у наших русских женщин неслыханный ум.

Ну, а не лучше ли, однако, что мы остались, чем были? — Что ж, жили мы, слава богу, счастливо с мужьями; — это и самое главное.

Одно было наше с Аннушкой горе: рано овдовели мы.

А те две наши сестры сами рано умерли.

Но от этих бед какое богатство, какая знатность защищает людей?

И не то, что мы, — нам это стало понятно, когда уж давно прошло, стало быть, и надежды у нас не было; — не то, что мы, но и матушка скоро перестала горевать о том, что не сбылось, чего она, было, надеялась для своих дочерей.

Ну что еще сказать вам, Любенька, Николенька? —

Говорила бабушка два или три раза, из трех или четырех раз своего припоминания и рассказывания нам об этом вельможе. И рассказывала еще что-нибудь.

Помнятся мне еще два, три ее рассказа о молодости ее матери. Но помнятся сбивчиво. Сумею разобрать и выяснить себе эти сбивчивые воспоминания из очень давней старины, то расскажу их тебе, мой милый друг.

И пора кончить это письмо.

Ах, чуть было не забыл «мораль», самое главное дело.

Да. Это любопытно. Ни одного словечка в целом рассказе, ни одного словечка — не только порицания, но даже и извинения той — несомненно ж, преступнице против нравственности. Ни словечка, даже в защиту ей.

Это не глупо. И это не значит ли: «да, мало ли какой вздор болтают люди; и я, ваша бабушка, повторяю с чужих слов. Но это глупость, только. И серьезно, кто те, кроме дураков и дур, порицает тех, кого знает, за дела, которые понимает, когда эти дела состоят лишь в нарушении пустых церемонностей?» — Бабушка вознегодовала бы за такое истолкование полного забвения ее о нравственности в ее рассказе о той безнравственной девушке или замужней женщине, не показывавшейся из кареты.

Но не с одной бабушкой моей дело таково: серьезные мысли в голове вовсе не одинаковы с привычною болтовнею; это оказывается важною чертою жизни всех наций: ходячая мудрость — пустая болтовня, на которую никто не обращает в самом деле серьезного внимания, хоть все воображают, будто душевно убеждены в истине этой своей ходячей мудрости.

Придавать этой пустословной болтовне серьезный смысл способны лишь кабинетные ученые, педанты, которым книги заменяют жизнь. Живые люди, болтая вздор, мало думают о нем и еще меньше помнят о нем в интервалы пустой болтовни, то есть во все время своего участия в серьезных делах жизни.

Довольно. Пора отдать письмо на почту.

Ученость для детей опять не написана. Все пишу и все жгу эти бесконечные диссертации о вопросах до крайности сухих.

Пусть извинят меня дети и на этот раз.

Целую их.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, милая моя радость, и я буду совершенно счастлив.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя.

Целую твои ножки, моя милая Лялочка. Твой Н. Ч.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

31 марта 1878. Вялюйск.

Милый мой друг Оленька,
Вот тебе материал для курса морали, который пусть послушают от тебя наши с тобой дети.
Эти твои лекции будут им полезнее школьной премудрости.
Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

МИГГЕЛЬЗ

Рассказ Брета Гарта

Нас было, с ямщиком, восемь человек. Мы ехали молча вот уж миль шесть, с того времени как толчки тяжелого экипажа по дороге, ставшее тряскою, испортили последнюю поэтическую цитату Судьи. Высокий мужчина подле Судьи спал, просунув руку в раскачивающийся ремень для локтя, положив голову на руку, шаткое, совершенно беспомощное существо, будто он повесился было и его срезали с веревки уж поздно. Французская леди на заднем сиденье тоже спала, но в полусознательном изяществе позы, проявлявшемся даже грациозностью формы складок носового платка, который держала она, приложивши ко лбу, и который занавешивал часть ее лица. Леди из Виргинского города давно утратила всякую индивидуальность в перепутанной куче лент, вуалей, шубок и шалей. Слышалось только шуршание колес и стукотня дождя о крышку кареты. Вдруг экипаж остановился и послышался невнятный какой-то разговор. Мы поняли: ямщик ведет взволнованную беседу с кем-то на дороге. Порой долетали до нас, сквозь бурю, отрывки: — «Мост снесло»; — «Воды футов на двадцать»; — «Проезду вам нет». После того пауза. И голос неизвестного встречного крикнул прощальное увещание:

— Одно средство: Миггельз.

Нам повиделись передние наши лошади при медленном повороте дилижанса; повиделся исчезающий за дождем кто-то верхом, и, очевидно, целью нашего пути стало: «одно средство: Миггельз».

Кто, что и где Миггельз? — Судья, наш авторитет, не помнил этого имени. А он знал всех и все в тех местах. Проезжий из Уошу положил, что Миггельз держит гостиницу. Но достоверно было лишь то, что нет нам проезда ни вперед, ни взад, — все залила вода; — и что Миггельз — наша единственная скала прибежища. Минут десять мы шлепали по узенькой тропинке между

ветвей, едва пропускавших экипаж, и стали перед заложенными перекладиной воротами большой каменной загородки, футов восемь вышиной. Дело явное: Миггельз — это здесь; и дело явное: Миггельз не держит гостиницу.

Ямщик слез и попробовал снять перекладину. Нет: она заперта на замок.

— Миггельз! Эй, Миггельз!

Отклика нет.

— Миггельз! Ну, эй, Миггельз! — Продолжал ямщик с возрастающим гневом.

— Мигленька! — присоединился почтальон, убеждая ласковой: — Миглочка! Миглок!

Но Миггельз не чувствует, будто не имеет ни ушей, ни души. Судья, успевший, наконец, опустить окно, высунул голову и предложил ряд вопросов, которые, без сомнения, вполне разъяснили бы тайну, если бы получить положительные ответы на них. Но ямщик, вместо того чтоб отвечать, объявил, что если мы не хотим просидеть в карете всю ночь, то лучше нам «вылезать и погаркать: Миггельз».

Мы вылезли и принялись гаркать: «Миггельз!» хором, а после в разбивку. И, когда мы кончили, ирландский наш спутник на империале дилижанса крикнул: «Мыгалс!» Мы все захохотали. И еще смеялись, как ямщик закричал: «Чу! — слушай».

Мы стали слушать. К нашему беспредельному изумлению, крики нашего хора повторялись из-за стены; все сполна, даже и с дополнительным финалом: «Мыгалс».

— Необыкновенное эхо, — сказал Судья.

— Необыкновенная свинья! — рявкнул с негодующим презрением ямщик: — Полно ж, Миггельз! Будь, как следует мужчине, выходи! Не прячься! Будь я ты, не такой был бы я, как ты, Миггельз! — продолжал Билль с Юбы, неистово жестикулируя в избытке ярости.

— Миггельз! — продолжал тот голос: — Эй, Миггельз!

— Добрый мистер Мигелиз, — начал Судья, по возможности смягчая деликатным произношением шероховатость звуков имени: — Подумайте о том, как негостеприимно отказывать в убежище от суровости бурь непогоды слабым женщинам. Смею сказать вам, уважаемый господин Ми...» — Но взрыв новых «Миггельз!», кончившийся раскатом хохота, заглушил его голос.

Билль с Юбы не колебался дольше. Нашедши тяжелый камень около загородки, он сбил замок и пошел с почтальоном во двор. Мы шли следом. Никого не видеть. Только всего и можно было различить в сгущающейся темноте, что мы в саду, между кустов роз, с которых от шелеста листьев сыплются на нас целым ливнем мелкие брызги; — а перед нами — длинное деревянное строение.

— Вы знаете этого Миггельза? — спросил Судья Биля с Юбы.

— Не знаю и знать не хочу, — резко отвечал Билль, чувствовавший Компанию Пионерских Дилижансов оскорбленной в его лице непокорством Миггельза зову.

— Но, мой дорогой сэр, — начал Судья неодобрительно, имея в виду взлом ворот.

— Вот что, — сказал с тонкою ирониею Билль: — не лучше ли вам вернуться и сидеть в дилижансе, пока познакомитесь? А я иду в дом. — Он толкнул, отворил дверь строения.

Длинная комната, освещаемая лишь угольями огня, догорающего в широком камине в дальнем конце ее; стены, оклеенные какими-то странными обоями с узорчатыми гротесками, то здесь, то там выступающими на вид при неверном мерцанье огня; кто-то, сидящий в большом кресле перед камином. Все это мы увидели, вошедши толпой в комнату, вслед за ямщиком и почтальоном.

— Ну: вы — Миггельз? — сказал Билль одинокому сидящему.

Фигура в кресле не отвечала, не шевельнулась. Билль гневно подошел к ней и направил оконце своего каретного фонаря в лицо ей. Это было лицо мужчины, преждевременно старческое, морщинистое, с огромными глазами, в которых было выражение совершенно беспричинной торжественности, какое видывал я в глазах совы. Огромные глаза подымались и опускались с лица Биля на фонарь, с фонаря на лицо Биля и, наконец, остановились неподвижно на свете фонаря, безо всякой мысли во взгляде.

Билль едва сдерживал свой гнев.

— Миггельз! Или вы глухой? Но, знаете, я вам скажу: вы не немой. Вы мастер кричать. — Билль с Юбы тряхнул за плечо бесчувственную фигуру.

К великому нашему ужасу, когда Билль отнял руку, достопочтенный незнакомец рушился, упавши до половины своего стана; — из человека сделалась, на вид, лишь мягкая груда одежды.

— Ах, чорт меня дер! — сказал Билль, в испуге обернувшись к нам, и безнадежно отступая от состязания.

Теперь выступил вперед Судья, и мы подняли загадочное беспозвоночное существо в его прежнюю позу. Билль был отпущен с фонарем на поиск по двору; из беспомощности одинокого тут в кресле было понятно: подле, где-нибудь, живет же кто-нибудь, ухаживать за ним. А мы все собрались у огня. Судья, возвративший себе свою авторитетность и ни на миг не потерявший своей разговорчивой любезности, стал перед нами, спиной к камину, и начал, будто произнося инструкционную речь воображаемым присяжным, объяснение дела нам так:

— Очевидно, что наш уважаемый друг в кресле или достиг того состояния, которое Шекспир живописует словами:

Увядший, пожелтевший лист,

или подвергся какому-либо преждевременному упадку своих умственных и физических способностей. Вопрос о том, он ли действительно носит имя: Миггельз...

Тут он был прерван криком: «Миггельз! Эй, Миггельз! Мигленька! Миглок!» — полным комплектом всего крика нашего хора у ворот и в том же диапазоне, в каком слышался нам этот взрыв отклика из-за стены.

С минуту мы переглядывались в некоторой тревоге. А особенно Судья быстро покинул свою позицию, потому что голос шел как будто прямо через его плечо. Но причина была скоро открыта в образе большой сороки, сидевшей на полке над камином и мгновенно впавшей снова в могильное молчание, странно контрастировавшее с ее предыдущей словоохотливостью. Вот что! — стало быть, это ее голос мы слышали перед воротами, и наш друг в кресле не повинен в той невежливости. Билль с Юбы, вернувшийся в комнату после безуспешных поисков, был до крайности недоволен такою разгадкой и все еще с подозрением посматривал на беспомощную фигуру в креслах. Он нашел навес, под которым поместил своих лошадей. Но вернулся, весь снова мокрый и скептический: — «Нет никого тут, кроме этого больного чорта, на десять миль кругом, и он, больной чорт, славно знает, что он тут один».

Но вера большинства оказалась основательною. Едва Билль перестал ворчать, мы услышали быстрые шаги на крыльце, шорох мокрого подола платья, дверь расхлопнулась, и, с проблеском белых зубов, сверканьем черных глаз и совершенно самоуверенною бесцеремонностью, вошла молодая женщина, захлопнула дверь и, задыхаясь, прислонилась спиной к ней:

— Ну, здравствуйте, я — Миггельз.

Так вот кто Миггельз! — Эта молодая женщина с сияющими глазами, полногрудая, с прелестными формами, красоту которых не скрывало прилипшее к ним голубое платье из грубой материи; вся, — от каштановых волос, венком выбившихся из-под клеенчатой широкополой шляпы, до маленьких ножек, запрятавшихся где-то в просторе мальчишеских полусапожков, — грация; вот она какая, Миггельз; — и она смеется простодушным, откровенным смехом.

— Видите ли, братцы, — проговорила она, совершенно задыхаясь и приложивши маленькую ручку к сердцу, — вовсе не обращающая внимания ни на озадаченность онемевшего всего нашего общества, ни, в особенности, на совершенный упадок духа Билля с Юбы, лицо которого все расплылось от восторга в глупейшую физиономию. — Видите ли, братцы, я была за целые две мили

отсюда, — у дороги, где вы ехали. Я увидела, подумала: вы свернете с дороги сюда, и бежала все расстояние; — как же, я знала: дома нет никого, только Джим *, а... а... я совсем задохнулась... а... а... дайте перевести дух.

Миггельз сдернула шляпу с головы, шаловливо размахнула ею, стряхивая воду, и брызнул на нас целый дождь; попробовала поправить косы, уронила две шпильки, засмеялась и села подле Билля с Юбы, положила руки на колена, рука на руку.

Судья оправился первый из нас и начал произносить пре-выспренный комплимент.

— Я побеспокою вас об этой шпильке, — серьезным тоном сказала Миггельз. — Полдюжины рук проворно вытянулись; упавшая шпилька была возвращена своей прекрасной обладательнице, и Миггельз, перейдя комнату, стала пристально всматриваться в лицо больного. Торжественные глаза его поднялись, стали смотреть в глаза ей, с выражением, какого не видели мы прежде: жизнь и смысл как будто пробивались явиться на морщинистом лице. Миггельз опять засмеялась; красноречив был этот смех; — и снова повернулись к нам ее черные глаза и беленькие зубы.

— Эта больная особа, он... — запинаясь проговорил Судья тоном вопроса.

— Джим, — сказала Миггельз.

— Ваш батюшка?

— Нет.

— Брат?

— Нет.

— Супруг?

Миггельз бросила быстрый, полувызывающий взгляд на двух леди-проезжих, не разделявших — заметил я — всеобщего восторга мужчин от Миггельз, — и серьезным голосом сказала: — Нет, он — Джим.

И последовала неловкая пауза. Леди-проезжие ближе подвинулись одна к другой. Муф из Уошу растерянно смотрел в огонь; а высокий мужчина будто обратил свой взор в глубину самого себя, доискиваясь в себе самоободрения при таком обстоятельстве. Но заразительный смех Миггельз прервал молчание: — «Слушайте: вы, я думаю, голодны», бойко сказала она: — «Кто побобит мне приготовить чай?»

В волонтерах не было недостатка. Через мгновение Билль с Юбы уж трудился, как Калибан, таская дрова для этой Миранды **, почтаьон молот кофе на веранде; мне была определена замысловатая обязанность нарезать ломтиками ветчину;

* Джим, от Джемз, Яков — «Яша», но, с провинциальным оттенком выговора, вроде «Яши-инька» вместо «Яшенька».

** Калибан и Миранда (т. е. «Дивная») — лица в драме Шекспира «Буря».

а Судья споспешествовал всем своими доброжелательными и обильными советами. И когда Миггельз, при содействии Судьи и нашего ирландского «крышного проезжего», установила стол всею, какая у нее была, посудю, нам стало вовсе, вовсе весело, наперекор дождю, бившему в окна, двум леди, перешептывавшимся в углу, и сороке, произносившей сатирический и каркающий комментарий на их разговор, с своей насести. При свете огня, теперь ярком, мы разобрали, что стены комнаты оклеены иллюстрированными журналами; картины были подобраны с женским вкусом и тактом. Мебель была экспромтная, устроенная из маленьких и больших ящиков от свеч и всяческих товаров, — ящиков и коробов, покрытых — иные, светлым каленкором, иные — какою-нибудь шкурою. Кресло большого Джима было ловко устроено из мучной бочки. Везде была чистота; и даже понимание условий живописности было видно в немногосложном убранстве длинной низенькой комнаты.

Завтрак с чаем был торжеством кухонного искусства. Но важнее того: он был триумфом общежительственного искусства, — благодаря, полагаю я, главным образом редкому такту, с каким Миггельз управляла разговором, все только сама делала вопросы, но держа себя с таким прямотушием, что нельзя было подумать: она хочет скрытничать; и мы говорили о себе, о наших планах, о нашем путешествии, о погоде, друг о друге — обо всем, кроме наших хозяина и хозяйки. Надобно признаться, в разговоре Миггельз вовсе не было изящества и мало было грамматики; и по временам она употребляла вставочные выражения, энергичность которых уступлена женщинами, вообще, в собственность нашему полу*. Но эти дополнительные присловья вырывались у нее с таким блеском зубов и глаз и сопровождались смехом, — особенным, ее особенным смехом, — таким простодушным и честным, что будто очищалась нравственная атмосфера.

Но вот, вдруг, за нашею едою, мы услышали шум — такой, как тяжелое что-то трется о стены дома снаружи. Тотчас же за тем последовало царапанье и сопенье у двери. — «Это Акимка», — сказала Миггельз в ответ на наши вопросительные взгляды: «Хотите посмотреть на него?» — Прежде чем успели мы отвечать, она отворила дверь, — и явился почти уж вовсе взрослый серый медведь, мгновенно встал на задние лапы, свесивши передние в виде нищего, и с умилением уставил глаза на Миггельз, чрезвычайно уподобившись выражением взгляда Биллю с Юбы. — «Это моя собачка, мой сторож», — объяснила Миггельз. — «О, нет: он не кусается», — прибавила она, видя, что обе леди-проезжие испуганно отпорхнули в угол. — «Скажи, кусаешься, сопунчик?» — обратилась она за удостоверением лично к прони-

* То есть выражения вроде: «чорт возьми!», — «вот дьявольство-то!» и т. п. А мерзких слов англичане и американцы не употребляют. В этом они лучше русских или французов.

цательному Акимке *. — «Знаете ли, что скажу вам, братцы», — продолжала она, накормив и выславши вон Акимку: — «Ужасное счастье ваше было, что Акимка был не подле дома, когда вы кричали у ворот». — «Где ж он был?» — спросил судья. — «Сомной. Господи, братцы! — Чудо! — он провожает меня по ночам все равно как мужчина».

Мы несколько минут молчали, слушали свист ветра. Быть может, всем нам думалась одна картина: Миггельз гуляет, в дождь, по лесу, а рядом с ней идет ее хранитель. Судья, помнится, проговорил что-то о Несравненной ** и ее льве; но Миггельз приняла это, как принимала другие комплименты, с солидным равнодушием. Или она вовсе не замечала восхищения, производимого ею? — Едва ли могла она забывать видеть свое обожание от Билля с Юбы. Не знаю, как это. Но ее простодушие навело мысль о совершенном равенстве полов, жестоко обидную для младших из нас мужчин.

Появление медведя не увеличило благорасположения к Миггельз со стороны бывших тут особ ее пола. Да: как мы поели, мы почувствовали, что холодом несет от леди-проезжих; таким холодом, что не могли преодолеть его никакие охапки сосновых поленьев, сколько ни таскал их Биль с Юбы, повергая в жертву всесожжения на алтарь камина. Миггельз замечала это; и, внезапно объявивши, что время «прилечь», предложила проводить леди почивать в другую комнату. — «А вам, братцы, придется расположиться, как сумеете, здесь у огня», — прибавила она: — «потому что другая комната у нас одна».

Наш пол, — наш с вами, уважаемый читатель, мужественный пол, — все единодушно признают свободным от слабости любопытствовать и сплетничать. Но я принужден сказать, что, лишь только дверь затворилась за Миггельз, мы столпились и принялись перешептываться, улыбаться, обмениваться догадками и размышлениями о нашей хорошенькой хозяйке и ее странном сотоварище. Думаю, мы, в своей горячности, даже задевали размахами рук разбитого параличом бедняка, сидевшего в середине нашей толпы, как немая статуя, и смотревшего на наше многоглаголивое совещание с безмятежным равнодушием Прошлого в бесстрастных глазах. Жарко рассуждали мы, — как отворилась дверь, и опять вошла Миггельз.

Но уж не та Миггельз, которая, смеясь, сияла перед нами. Ее глаза были потуплены, — и когда она, с одеялом на руке, приостановилась на пороге, колеблясь, она казалась потерявшею в той комнате простодушную смелость, очаровавшую нас. —

* «Акимка», Ioaqin, — обыкновенное имя того серого медведя Grizzly, как мы своего медведя зовем «Мишка».

** «Несравненная», Ула (латинское слово), — имя девушки-царицы, главного лица в поэме Спенсера «Царь-Девица», Fairy Queen. Это апотеоз королевы Елизаветы.

«Если вам все равно, братцы, так я побуду здесь ночь, потому что у нас тесно»; — она взяла увядшую руку больного и стала смотреть в огонь, погасавший. Инстинктивное чувство, что это лишь вступление к более откровенной беседе, а может быть и стыд за наше сплетничество, держали нас молчащими. Дождь стучал в крышу; порывы ветра, залетая в трубу, шевелили на миг пепел, и, вспыхивая, камин бросал яркий блеск кругом; и вот, в минуту затишья бури, Миггельз вдруг подняла голову, отбросила волосы за плечи, повернулась к нам и спросила:

— Знает меня кто из вас?

Ответа не было.

— Припомните, не знаете ли. Я жила в пятьдесят третьем году в Мерисвилле. Всякий знал меня там и имел право знать. Я держала Польша-Салон*, пока стала жить с Джимом здесь. Этому теперь шесть лет. Может быть, я переменилась в лице.

Ей было будто неловко, что не нашлось тут знавших о ней. Она опять обернулась к огню; молчала несколько секунд и заговорила быстро:

— Ну, видите: я думала, кто-нибудь из вас знает меня. Беда, впрочем, невелика. Я хотела сказать вот что: вот видите Джима, — она взяла его руку в обе свои ручки: «Так Джим знал меня, если не знали меня вы; и истратил на меня кучу денег. Истратил даже, я полагаю, все свои деньги. И вот раз — нынешнею зимою шесть лет этому — пришел Джим ко мне в мою комнату за салоном, сел ко мне на диван, — вот как теперь сидит в кресле, — и уж не двигал после того ни рукою, ни ногою сам по себе. Разом свалило его. И он будто ничего не чувствовал, что с ним. Пришли доктора, сказали, как это вышло так от той жизни, какую он вел; — потому что он был очень без пути, во все необузданный; — и что ему нельзя поправиться и долго ему не прожить. И посоветовали они мне послать его в Фриско** в госпиталь, потому что он теперь ни на что никому не годится и всю свою жизнь будет как маленький ребенок. Ну, — у Джима ли в глазах показалось что-нибудь такое, — или потому, что у меня никогда не было ребеночка, только я сказала: «Нет». Я была тогда богата, потому что мой салон был у всех любимый: джентльмены, как вы, сэр***, приходили взглянуть на меня; — и я продала мой салон, и купила вот это место, потому что оно точно как в стороне ото всякого проезда, сами видите, и я перевезла моего ребеночка сюда».

С женским инстинктом такта и поэзии она, говоря это, понемножку отступала, и немая фигура параличного бедняжки была

* Салон — харчевня и вместе кабак.

** Сан-Франсиско.

*** «Сэр» — единственное число; но это лишь простонародное нарушение грамматики: Миггельз обращается ко всем, и надобно понимать: «вы, господа».

теперь между нею и ее слушателями и полузакрывала ее от нас, — будто молча свидетельствовала в извинение ей: молчаливая, бесчувственная фигура, она свидетельствовала за нее; бессильная, разбитая громом Божиим, фигура эта будто осеняла ее защитой своего.

В тени за ним, все держа его руку, Миггельз продолжала:

— Долго не привыкалось мне к тому, как здесь, потому что я любила общество и веселье. Не достала я никакой женщины в помощницы себе; а мужчине я не могла верить. Ну, однако, есть тут кругом индейцы, которые делают мне тяжелую работу по дому, а все, что нужно, присылается мне из Норт-Форка; — что ж, и можно нам с Джимом кое-как жить. Доктор заезжает по времени, иной раз из Сакраменто. Ну, спросит: «покажите вашего ребеночка, Миггельз»; уезжая, скажет: — «молодец ты, Миггельз, благослови вас бог» *; и после того как будто не так пусто, не так скучно здесь. Но в последний раз, как он был, когда отворил дверь уйти, сказал он: «Знаете ли что, Миггельз: ваш ребеночек вырастет большой и будет честью для своей матери; только не здесь, Миггельз, не здесь», и мне показалось: он уходит в печали, и... и... — голос Миггельз и головка ее исчезли в тени.

— Люди здесь по соседству очень добрые, — сказала Миггельз, помолчав, и опять немножко показываясь из тени: — мужчины с прииска шлялись сюда, пока поняли, что их тут не нужно; и женщины тоже добрые, — и не заходят сюда. Я была точно одна, пока случилось раз, нашла я в лесу, взяла Акимку, — он был еще не такой большой, — и выучила его по-собачьему просить кушать. И вот тоже Полли, — это, сорока-то, — она знает множество штучек, и, с ее разговором, вечера у нас очень приятные; потому я вовсе и не замечаю, что я одна — живой человек в целом дворе тут. А Джим, — сказала Миггельз, опять смеясь по-прежнему и вышедши вся из тени: — Джим, — ну, братцы, вы подивились бы, посмотревши, какой он, если судить по его положению, — умный. Иной раз принесу я ему цветов, — что ж: он глядит на них так натурально, точно знает, что это цветы; а иной раз, когда мы сидим одни, я читаю ему все это, что по стенам. «Ох, господи!», — она захохотала: — «Я прочла ему вот всю целую эту стену нынешнею зимою. Просто не найти другого такого мастера слушать, как Джим.

— Почему, — спросил Судья, — вы не вступите в супружество с человеком, которому посвятили вашу юную жизнь?

— Вот видите ли, — сказала Миггельз: — это было бы сыграть над ним низкую проделку, воспользоваться так его беззащитностью. А кроме того: будь мы муж и жена, так что ж:

* «Благослови вас» — «его» — «ее» — «их» — «бог» — обыкновенное английское присловье, вроде нашего: «люблю» или «славный человек»; — «дай бог счастья» — то самое у нас, не менее употребительно.

мы оба знали бы, что я обязана делать, что делаю теперь по моей воле.

— Но вы еще молода; и вы привлекательна.

— А уж становится поздняя ночь, — серьезно сказала Миггельз: — и вам всем лучше прилечь. Доброй ночи, братцы; — и, завернувшись с головой в одеяло, Миггельз легла у кресла Джима, положив голову на скамеечку у его ног, и перестала говорить. Огонь медленно исчезал в камине. Мы молча отыскивали в багаже свои одеяла. И стало тихо все в длинной комнате: только стучал в кровлю дождь, да слышалось медленное дыханье спящих.

Было уж почти утро, когда я очнулся от видений неровного сна. Буря прошла. Звезды сияли, и сквозь окно без ставней и занавесей смотрел в комнату поднявшийся над величавыми соснами полный месяц. Он краешком света, с бесконечною жалостью, касался бедной фигуры в кресле и будто погружал в крещение лучезарной волны преклоненную низко голову женщины, волоса которой, как в доброй старинной сказочке *, будто омывали ноги того, кого любила она. Месяц придавал поэтичность даже грубому контуру Билля с Юбы, полулежавшего на локте между ними и нами, его проезжими, караулившего, охранявшего ее странно неутомимым взором. И я опять забылся сном и проснулся уж поздним утром: Билль с Юбы стоял надо мною, и в моих ушах звенело: «идите за стол!»

На столе ждал нас кофе. Но Миггельз не было. Мы побродили кругом дома и ждали долго, когда лошади уж были готовы. Но она не возвращалась. Видно было: она хочет избежать формального прощания и оставила нас уехать, как мы приехали. Усадив наших леди в карету, мы вернулись в дом и торжественно пожали руку парализному Джиму, после каждого рукопожатия торжественно усаживая встряхнутого в прежнюю позу **. Потом посмотрели мы в последний раз кругом по длинной низкой комнате, посмотрели на стул, где сидела Миггельз, и медленно пошли сесть в ждавшую нас карету. Свистнул бич, и мы помчались.

Но когда мы выехали на большую дорогу, ловкая рука Билля посадила шестерню лошадей так, что они поднялись на дыбы и,

* Sweet old story; слово story не собственно «сказка»; ближе по смыслу к нашим словам «сказанье», «легенда»; но это у нас слова книжного языка; а story — слово простое; буквально, это «история», «историчка», «рассказец».

Это упоминание Брета Гарта о «жене-грешнице», или, по другому месту Евангелия, «жене-блуднице», приводимое в связь, как обыкновенно (но ошибочно) делают и богословы, с именем Марии Магдалины, — по-моему, вовсе лишнее оправдание грехам Миггельз. У Миггельз не было в жизни ничего, нуждающегося в оправдании. Она — когда веселилась, не делала ничего дурного. Конечно, жаль, что она не родилась барышнею, и осталась сиротою, и должна была держать харчевню, а не разъезжать с маленькою по балам. Но в этом и весь ее «грех», что она не могла разъезжать по балам.

** Англичане и американцы, пожимая руку, встряхивают руками, что мы делаем лишь иногда; они — всегда так.

подпрыгнув, стал дилижанс. На маленьком пригорке у дороги стояла Миггельз, — развевались ее волосы, сияли глаза, она махала нам белым платком; блеснули ее беленькие зубы, донеслось до нас «прощайте». Мы в ответ махали шляпами. И Билль с Юбы, будто в страхе быть причарован больше, бешено хлыстнул по лошадям, — мы опрокинулись к спинкам сидений. Мы не обменялись ни словом, пока доехали до Норт-Форка и дилижанс остановился у Дворца Независимости *. Предводимые Судью, мы вошли в буфетную и торжественно сели за стол.

— Налиты ваши стаканы, джентльмены? — сказал Судья, торжественно снимая свою белую шляпу.

Стаканы были налиты.

— И — итак: за здоровье Миггельз, благослови ее бог!

И, быть может, он благословил ее. Быть может.

Сделаю теперь еще несколько замечаний для наших с тобою, мой друг, малюток.

Я хотел внимательно просмотреть перевод, сличая его, слово за слово, с подлинником. Не успел. Пусть сличат Саша и Миша. Такие работы полезнее школьных глупых мудростей.

В двух, трех местах я не мог определительно понять точный смысл двух, трех английских простонародных слов или американских простонародных переделок таких слов. Пусть справятся в хорошем словаре дети.

Но вообще я отступаю от буквальности не по незнанию или небрежности, а для сохранения смысла, который очень часто искажается, когда переводят буквально. Надобно, чтобы тон речи соответствовал в переводе тону подлинника; да и оттенки смысла часто выходят, при буквальности перевода, нелепо перевернутыми.

Когда проезжие выкликивают «Миггельз» на разные лады, я старался дать этому имени понятные для русских ласковые формы, соответственные формам ласковых выкрикиваний почтальона. Но вообще это не годится делать. Я сделал так лишь потому, что это всего несколько строк в маленьком отдельном рассказе. Когда переводится целая книга, то читатель успеет скоро привыкнуть к формам имен подлинника. — Я переделал крик ирландца на грубый выговор иных русских мужиков: все «ы», — например:

Вы саду ле выгароди (девица гуляла),
то есть: во саду ли, в огороде.

Выговор ирландцев — очень грубый мужицкий выговор. Но звука «ы» у них, собственно говоря, нет. Я вставил «ы» для понятности нам, русским.

А Судья «деликатно смягчает» звуки имени «Миггельз»,

* То есть у гостиницы.

произнося Mughail, — нечто вроде Мигеэльз; по-русски более ясно будет смягчение, как написано у меня: «Мигелиз».

Но все эти мои формы имени «Миггельз» — способ, пригодный лишь для перевода одного крошечного рассказа. При длинных переводах это была бы лишняя забота о ясности; было бы все ясно и при сохранении форм подлинника.

Это о переводе. Пусть дети сличат его с подлинником и поправят. Теперь о подлиннике.

Язык Брета Гарта несколько небрежен. Например: подвернется ему слово, которое понравится ему, и он долбит это слово, забывая разнообразить свои обороты речи. В этом рассказе произошло у него так, например, со словом helpless, «беспомощный», — оно повторяется часто, до монотонности. Я иной раз заменял его синонимами: «хилый» или «беззащитный» (Джим).

Круг впечатлений у Брета Гарта очень узок. У него даже очень мало фамилий в памяти. Например, он везде всовывает фамилию «Окгёрст» (это — шулер). Тоже и запас типов характера скуден. И тип шулера у него лишь один, всего на все один. И в разных рассказах выходят с шулером одного и того же имени приключения, несообразные между собою. Например, в одном рассказе Окгерст застрелился во время своих скитаний по золотым приискам, когда в Калифорнии еще не сложилось светское, изящное общество роскошных городов. А в других рассказах шулер того же имени действует среди светского общества, — это, по ходу вещей, должно было быть уж в более позднее время Калифорнии.

Много недостатков у Брета Гарта и от этой скудости запаса его впечатлений, и от его личных слабостей. Например: он собрал и перепечатал в двух томиках таухницевского издания (которое у меня) всякую дрянь, какую писал, вместе с вещицами истинно прекрасными. — Из наших русских очень умных писателей образец превосходной строгости к самому себе был Лермонтов: ничего, кроме действительно прекрасного, он не брал из своих черновых бумаг для отдачи в печать. После его смерти напечатали, разумеется, и всю дрянь, которую держал он лишь для того, чтобы подождать, не случится ли ему переделать эти плохие эскизы в хорошие произведения.

Был довольно разборчив и Пушкин. Но гораздо меньше Лермонтова.

Но превосходнейший пример такой разборчивости — Руссо. Ничего, кроме дивно-гениального, не отдавал он в печать.

А самый великий пример противоположного — Гёте, отдававший в печать без разбора всякую дрянь, какую набрасает на бумагу.

Знают ли наши с тобой дети вещи этого рода? Или еще надобно им узнать, что эти вещи важнее школьных премудростей?

И как поймут они рассказ Брета Гарта, переведенный мною?

Сила Брета Гарта в том, что он, при всех своих недостатках, человек с очень могущественным природным умом, человек необыкновенно благородной души и — насколько, при недостаточности запаса своих впечатлений и размышлений, понимает вещи, — выработал себе очень благородные понятия о вещах.

И, например, его «Миггельз» — рассказ очаровательный своею гуманностью.

Та девушка — уличной девушкой, собственно говоря, не была. Но она бесстыдничала не меньше отъявленной уличной нищей красивой девушки.

Так. Только — что же ее кутеж? — А только та самая дрянь, какой предаются почти все мужчины, — и еще хорошо, если только в молодости, когда дурные — и не то что дурные, собственно, а только глупые — шалости извиняются пылкостью и неопытностью.

Я говорил: те вставки, которые у него сделаны для оправдания Миггельз, напрасны. Миггельз вовсе не нуждается в оправдании. Она бойкая; она была шалунья. Это, если судить строго, то даже хорошо: шалить в молодости — это хорошо. Лишних вставок для оправдания Миггельз у Брета Гарта две. Одну я уж отметил; другая — раньше: лишнее объяснение, что Миггельз, отступая в тень, прикрывает свои грехи заступничеством неподвижной фигуры Джима. Это вовсе вздор: Миггельз отступает в тень просто по стыдливости. Она, в сущности, очень стыдлива. А что она бесстыдничала, то это просто живость, бойкость, отвага. В сущности, это девушка стыдливая.

Жаль, что при грубости общественных обычаев шалости молодости имеют грубый характер. Но не молодежь установила эти грубые обычаи. Молодежь только страдает от них, молодежь — бессильная часть общества.

Потому и на кутеж молодых мужчин, и тем более юношей, умные люди смотрят снисходительно. А порицанием никому в отдельности из юношей шалости с девушками не служат, если в этих шалостях нет ничего грязного, подлого; например, нет обмана, коварства и жестокости.

Так? Юноши остаются безукоризненны, непорочны, пока остаются честными людьми, добрыми людьми.

Да, так, — говорят все неглупые люди.

И я говорю: девушка или молодая женщина — это совершенно то же самое, что юноша. И пускаться в особенные рассуждения о девушках и молодых женщинах неприлично неглупым людям.

И Миггельз не менее непорочна, чем самая непорочная барышня.

Это одно.

Совсем иное вопрос о том, годилась ли бы Миггельз стать светскою дамою. Это дело мудреное. Затруднительно оно не по-

тому, что у нее, до Джима, была сотня любовников каждый год и в сумме, вероятно, очень почтенная цифра: Миггельз имела, переселяясь в пустыню, года двадцать три, вероятно; и дурачилась лет восемь, вероятно.

Но дело не в том, что она дурачилась. Дело лишь в том, что она — простолюдинка, с обыкновенными манерами простолюдинки: ни войти, ни стать, ни сесть, ни бале она не умеет; и говорит она по-мужицки. Только в этом и непригодность ее стать светскою женщиною. — Но она умна и от природы грациозна? — Да. — И если захочет, сумеет приобрести изящные светские манеры? — Да, если захочет. Но это усвоится не очень легко и скоро. — Правда. Но если у нее достанет терпенья долго трудиться над усвоением этого, то она может стать прекрасною светскою дамою? — Еще бы нет! — Актрисы, певицы, танцовщицы — из какого класса людей большинство их? — Из класса людей с неуклюжими манерами. И многие из этих мужицких или мещанских девушек ничего себе, являются в великосветском обществе прекрасными светскими женщинами. А когда выходят за знатных людей, то кто ж из людей с каплею смысла в голове не оказывает этим хозяйкам аристократических домов, этим графиням и герцогиням такого ж уважения, как и другим изящным, милым, достойным уважения графиням и герцогиням.

И толковать о том, справедливо ли это, не стоит. Это справедливо. Это прекрасно. — Только это очень редкие счастливые случаи. Из тысяч красавиц простолюдинок одной удается войти в светское общество.

Девушке простолюдинке нужно особенное счастье для возможности войти в него. И нужно ей много трудиться над своим перевоспитаньем, чтобы мочь войти в него с честью, не стать смешною в нем, когда счастливый случай откроет ей доступ в него.

И опять иной вопрос: можно ли искать себе друга для постоянной жизни вместе в слоях общества, далеких от нашего круга, в который мы введем это лицо?

Это вопрос вовсе не о том, сколько любовников было у Миггельз. Девическая невинность тут ни при чем. И вопрос тут не то, что о «невесте» и «жене»; вопрос — это равно и о невесте — для мужчины, и о женихе — для женщины; это вопрос о «лице того или другого пола, все равно», — о «неравном браке». Кто берет друга на всю жизнь, не равного себе по привычкам, редко имеет удачу: аристократка, вышедши за человека не своего круга, становится обыкновенно несчастна; и это ее горе, серьезное, почтенное горе. В романах над такими несчастьями смеются господа авторы — героиня порицается за мелочность, если сожалеет, что «унизилась» неравным браком. Порицать чужое горе легко, только глупо. Она лишилась многого, важного, прекрасного, потеряв почетное положение в обществе через неравный брак. Ее горе достойно уважения.

А простолюдинка, попавши через брак в светский круг, обыкновенно делает стыд мужу своею неуклюжестью, и сама несчастна, если не дрянная, бессовестная женщина.

Удачных неравных браков много; но они — лишь ничтожный процент из всего числа неравных браков.

Дело не о «непорочности» тела ли, или сердца. Дело лишь о «сословии», о манерах, о неуклюжестве или изяществе манер, о привычных мыслях, о привычных особенностях желаний и житейских соображений. Это и о мужчине и о женщине одинаково. Мужичкий парень — такая же неуклюжесть, как сельская девушка; и будет стыдом для жены, если жена не мужичка. Таков обыкновенный шанс. Исключения — редкость. На редкие случаи рассчитывать не годится.

Довольно пока. Целую тебя, моя милая радость. Твой *Н. Ч.*

P. S. — Так вот эти и тому подобные простые житейские истины, — понятны ли нашим с тобою детям, мой милый дружок? — Толкуй с ними об этих простых вещах, более важных и умных, чем школьная премудрость.

668

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

6 апреля 1878. Виллюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Начну постоянным моим хорошим аттестатом о себе и просьбою к тебе, чтобы ты произнесла проповедь о здоровье, в поучение самой же себе. А когда исполнишь эту обязанность перед собою, постарайся посмеяться над продолжением приключений, происходивших с наиболее древними из людей, о которых имею я личные воспоминания.

Итак: я совершенно здоров; живу очень хорошо; имею в изобилии все, что нужно для комфорта, и в том числе деньги.

И забота у меня одна: мои раздумья о твоём здоровье, моя милая голубочка. Здоровье твоё, здоровье... Каково-то оно?

Но буду продолжать болтовню для забавы тебе, моя радость.

Долго ли оставался муж Мавры Перфильевны в том селе, где посетил Мавру Перфильевну тот умный, прекрасный вельможа, слышавший о ней, что она — хорошая мать, и решившийся отдать на воспитание ей малютку, отцом которого был, — не умею сказать. Должно быть: побольше лет пяти жила в той глуши Мавра Перфильевна с мужем и с детьми. А быть может, было это и лет десять.

Но, повидимому, раньше, нежели стала взрослою девушкою

старшая дочь Ивана — њ Егоровича? * и Мавры Перфильевны, Иван њ Егорович? — получил «приход» в Саратове и переселился с семейством в этот — тогда уж самый большой город того края.

Так я сужу по тому, что жених старшей дочери, моей бабушки, был «назначен во священники», — повидимому, к церкви в самом же Саратове. Но и это так ли, не знаю. Быть может, первый «приход» мужа моей бабушки был сельский, и лишь после она с мужем переселилась в Саратов.

Но как бы то ни было: Мавра Перфильевна стала жительницею «большого» города еще в молодых годах. Она и ее муж были люди умные, честные, энергические; потому стали пользоваться таким уважением в обществе «большого города», какое может доставаться на долю «простого священника» — священника, который только священник, не занимает никакой особенно влиятельной или почетной должности по «духовному управлению», то есть по администрации, и даже не «протопоп». Уважение, какое может доставаться на долю такому священнику, очень невелико: он — лицо менее почетное, нежели «столоначальник» в каком-нибудь «гражданском ведомстве»; он много ниже всякого, сколько-нибудь — не то, что богатого, но хоть сколько-нибудь зажиточного купца. Но все-таки: с ним и его семейством могут «водить знакомство» даже и очень важные чиновники, и довольно аристократичные помещики. Это знакомство таких людей с ним и его семейством будет, разумеется, — покровительством, милостью с их стороны, — проще сказать: деликатным прикрытием их желания подавать милостыню священнику и его семейству **.

Я выражаюсь, будто говорю о настоящем. Это потому, что я переносюсь мыслями в прошлое, о котором говорю. Впрочем, это и теперь, я полагаю, остается так или почти так, как было, — помнится мне, лет тридцать, лет сорок тому назад, и было — знаю я по рассказам моих отца и матери моей бабушки, ее родных, — во все более раннее прошлое, памятное им или их старшим.

Священник — это был особенного разряда нищий; нищий — почетного разряда; нищий, живущий, вообще говоря, не в голоде и холоде; или и вовсе не бедно. Но нищий.

Впрочем, лицо почетного звания. И хоть богатые или важные люди «водили знакомство» со священниками и их семействами лишь для прикрытия своего желания подавать им милостыню; хоть знакомство такого рода не могло быть близким, но все же было «знакомство»: иной раз пили вместе чай, просиживали вместе вечер, по-семейному. Стало быть, уважаемый священник

* Это Егорович? — по испанской — очень умной в этом случае манере: Испанцы пишут: ¡O! ¿что?¡ ¡Эй! — то есть ставят знак и впереди, повертывая его.

** Нашлось место написать яснее, как пишут по-испански: ¡O! ¡Эй! Не правда ли, прекрасно пишут? Это относится к прежней заметке.

и его жена в большом городе все-таки имели порядочную возможность присмотреться к жизни людей светского образа жизни, прислушаться к разговорам, немножко попривыкнуть к понятиям людей, для которых и Петербург, и Париж были свои города и ничто цивилизованное не было чужим.

А в кругу мелкого чиновничества — «приказных», — то есть самой мельчайшей канцелярской мелюзги, — «канцелярских служителей» и «помощников столоначальников», — священник и его жена были люди, пожалуй, равные остальной компании. Это круг — не очень-то великосветский, правда; но не вовсе ж невежественный был он и семьдесят лет тому назад; а лет пятьдесят тому назад, — что ж правду говоря: в этом кругу было уж много понятий и привычек довольно порядочной цивилизации; было немало людей уж и вовсе цивилизованных.

И наконец: все жители большого города — все-таки не дикари ж; как бы то ни было, самые невежественные классы «горожан» большого города — не поселяне глухих местностей, не допотопные люди.

Мавра Перфильевна, положим, была до переселения в Саратов вовсе мужичка допотопной патриархальности. Но она была еще молода, когда переселилась в большой город. И она была человек умный, энергичный. Должна ж была жизнь в большом городе порядочно-таки развить ее понятия сравнительно с прежним, деревенским их состоянием.

Ну, слушай же, мой друг, какие подвиги цивилизованности случалось совершать Мавре Перфильевне после того, как прожила она уж лет тридцать пять, по меньшей мере, а наверное: чуть не пятьдесят в большом городе, в кругу зажиточного мещанства и не совсем грубого, хоть и бедного, мелкого чиновничества, — и даже в некотором знакомстве с людьми вовсе великосветской, чисто европейской цивилизации.

В те годы, которые памяты мне, она жила уж давным-давно вдовой. У нее был свой домик. Отдавая его «в наем», она получала крошечный доходишко; ей самой эти немногие рубли были — вовсе чрезмерное богатство. Из ее четырех дочерей моя бабушка с своим семейством и семейство другой (уж умершей тогда) дочери, — мы — эти два семейства — были много богаче ее. Третья дочь ее, бездетная вдова, хоть беднее тех двух семейств, тоже была вовсе богачка сравнительно с матерью. И те рублишки, лишние для Мавры Перфильевны, — они могли идти лишь на четвертое из четырех семейств ее дочерей; семейство самое бедное.

Это были: муж другой умершей дочери ее, священник, и его сын. Она держала их во «флигельке», где жила; и она кормила их.

О ее дочерях и их семействах и родственниках я буду говорить после, и о том священнике с его сыном, которых кормила она, тоже, стало быть, после. Теперь речь лишь о ней самой.

Сын того священника, — ее внук, — был уж взрослый юноша. Однажды простудился немножко. Почувствовал сильный жар в голове. Все утро и за обедом «перемогался», как это говорится по-простонародному. К вечеру нет ему силы «перемогаться»: лег, лежит, стонет от боли в голове; собственно, в передней части головы: «лоб, как в огне». Прибежала на стон бабушка, должно быть, хлопотавшая в кухне (кухня «флигелька» была во «флигельке» же, через сени от комнат). Отца не было дома. — «Ах, Ванюшка, Ванюшка, что с тобой, батюшка?» — Ванюшка объясняет: простудил ноги; жар во лбу. «Знаю, как это лечат, Ванюшка; горчицу привязывают; сейчас сделаю». — Сделала горчичник, как следует: видела, как это делают. И хочет наложить горчичник на лоб. — «Нельзя так, бабушка; надо на шею сзади» — или, как это выражают по-простому языку: — «на затылок», — протестует больной юноша. — «Что ты, что ты, Ванюшка! бредишь ты, видно, батюшка», — и навязала ему горчичник на лоб.

Через час, через полтора пришел домой отец. Теща рассказывает: «Ванюшка болен; лоб в огне. Я привязала горчицу; пройдет». — «Хорошо, матушка», — и идут оба к больному. А больной лежит уж смиренно и не стонет громко: чуть слышен голос отца, идущему в ту комнатку. Входит отец, смотрит: что за чудо! Повязка не на «затылке», а на лбу! — Отец глазам не верит, подходя. Но подошел: так; эта повязка на лбу — она и есть горчичник, а не то что это просто смоченный уксусом или чем таким платок, о чем теща забыла упомянуть — как подумалось было ему в объяснение чуда: — нет, все так; это и есть горчичник; а на «затылке» — горчичника нет. Но он все еще не верит своим глазам: — «Матушка, да что ж, это на лбу-то, горчичник-то?» — «А то как же? На лбу это и есть горчичник», — отвечает матушка. — «Матушка, да этак-то Иван-то у нас с вами уж умер бы, как бы я остался посидеть вечер-то у знакомых-то, пришел бы двумя часами позже». — Отвязал горчичник перепугавшийся отец. Стал отирать прилипшие ко лбу большого частички горчицы мокрым полотенцем. Теща ворчит, сердится, бранится. — Так-таки он и не мог растолковать ей.

Послал просить медика. У больного дело уж было близко к воспалению мозга. Похлопотав всю ночь, медик успел одолеть действие горчичника.

На другой день спор у прабабушки с младшею дочерью, которая явилась к больному племяннику первая (она была бездетная, стало быть, всякую минуту была свободный человек). — Дочь умная, — убеждена о ней мать (о зяте она думала, что он не очень умен; и относительно его думала правильно. Да и ум

младшей дочери уважала справедливо). Но и «умная» дочь не могла убедить ее, что зять был прав и что медик одобрил зятя по правде. — «Врешь ты, Аннушка; еще молода ты; сама не знаешь, что говоришь». (Этой слишком «молодой» дочери было тогда лет сорок.) — Но вот приехали моя бабушка с двумя дочерьми. Моей бабушке мать уж уступила, поспоривши еще: — «Ну кто вас знает! Будь по-вашему. Нельзя, по-вашему, ставить на лоб горчицу, так стало: я ошиблась в этом». — Моей бабушке она охотно уступала в случаях разницы мнений: кроме того, что «умна», старшая дочь уж и не была «молода»; потому «могла понимать».

Вот другое приключение, бывшее через несколько лет после того.

Внук — уж взрослый молодой человек — ушел «на должность» (он был уж учитель. Зять уходит из дому, — вероятно, без дела; дела у него было мало; он любил от нечего делать бродить по знакомым, навещать чуть не каждое утро всех родных). Мавра Перфильевна остается дома одна. Как ушел зять, — через минуту входит человек, «одетый по-штатскому», — то есть в цивилизованном платье; кроме «благородных», уж и всякие люди, отстававшие от патриархальности, носили такое платье. Из мещан еще не очень многие. Но уж вся прислуга зажиточных домов и почти все «разночинцы» — разноколиберная мелюзга всяких полунищенских положений вне прочно установившихся бедных сословий, — вся и честная и не очень честная бесприютная мелюзга, от актеров жалчайшего театришка до вовсе голодных бездомников: — все это мелкое, многочисленное население города ходило уж в «благородном» или «штатском» платье. Вот уж какой был прогресс. И правду говоря: «прогресс» довольно породочный.

Итак: лишь ушел зять, через минуту входит человек, одетый по-штатскому; еще не пожилой. — «Матушка, дома батюшка?» — «Вот сейчас вышел, мой батюшка». — «Эх, жаль, матушка! Как же мне быть-то теперь? Нужно мне сказать ему словечка два. Очень нужное для меня дело. Разве вот что, матушка: напишу ему записочку». — «Напиши, батюшка». — И ведет его в комнатку зятя: там на столе и чернильница, и бумага, — все есть. Тот человек садится к столу, пишет. — «Ну, батюшка, ты извини: ты, видно, не скоро допишешь, так я покуда схожу на кухню: а ты, ежели раньше кончишь записочку-то, подожди: я скоро прийду к тебе». — «Не извольте стеснять себя, матушка. Я точно: не скоро кончу записку. А после подожду вас». — Она ушла. Кончила свое дело. Вернулась в комнаты. Тот человек ждет ее, как сказал. Говорит ей: — «Писал, писал я, матушка, да вижу: всего не напишешь. Лучше переговорить на словах с батюшкою. Так записочки-то ему не оставляю. А сам зайду в другой раз. Он, как придет, вы полагаете, матушка? Часа через два дома будет?» — «Ну, как не быть! Придет к тому времени», — «Так,

значит, часа через два мне и зайти. Зайду. До свиданья, матушка». — И ушел.

Через час, через полтора приходит домой зять. Она говорит: «Заходил к тебе какой-то» — то есть: кто-то — «в штатском. Писал записочку. Ну, не дописал. Лучше, говорит, зайду опять. Я сказала: через часа два ты будешь дома. Он и зайдет». — «Хорошо, матушка», говорит зять, проходя в свою комнату. Входит, — вот тебе раз! — Где часы-то? В стороне от письменного стола, повыше его, на простенке висела бархатная подкладочка для часов, а на ней висели серебряные карманные часы. И — их нет. «Вот тебе раз!» — мысленно воскликнул зять, — по тогдашнему выражению для неожиданностей неприятного характера, — и громко спросил, идя назад в «залец», где осталась теща: — «Матушка, да не вы сняли-то с подвески-то часы-то?» — «Ну, что мне снимать-то их! Еще разобью». — «То-то и есть, матушка, я так и знал: не сняты они вами, поглядеть, какое время. Украдены они, матушка. Вор это был».

— «Ну, вор! Чать, помнишь: зайдет он».

Рассердилась на непонятливость зятя.

— «Матушка, говорю вам: украл он их».

Она-таки не поддалась: — «Ну, хоть и украл, — так что за беда? Зайдет он: ну, и отберешь их у него. Только и всего».

— «Не зайдет он, матушка».

— «Ну! Как же не зайдет, когда ему до тебя нужное дело: зайдет».

И так-таки ждала: зайдет он. До самого вечера уверяла зятя: «зайдет». Только уж вечером убедилась: «нет, видно, уж не зайдет. Видно, обманул, подлец, что сказал: зайду».

Вору, должно быть, уж не первую такую старушку случилось видеть и изучить: не ушел потихоньку во время ее отлучки; соблюл вежливость, дождался хозяйки и простился, как следует по правилу учтивости.

Были, конечно, и другие подвиги такого же допотопного характера в поступках прабабушки. Но не умею теперь припомнить хорошенько. И хочу, для полноты картины допотопного быта, рассказать некоторые из приключений другой — тоже очень почтенной особы того же поколения, — тоже моей родственницы, но родственницы лишь по «двоюродности» с моей бабушкой, — да и то лишь по «кумовству», — то есть по свадебному союзу разных семейств.

Моя бабушка была старшая дочь Мавры Перфильевны. Вторая? — или третья? дочь была та, рано умершая мать «Ванюшки», — не знаю; думаю: третья. Если она была третья, то — значит, не третья, а вторая была женою Федора Степановича Вязовского, — священника, который один из «белого духовенства» саратовской епархии был, по почетности положения и по влиянию на «дела епархии» важнее моего отца. Ты, моя милая,

конечно, хорошо помнишь Федора Степановича? — Он и венчал нас. Он и был душою всего общества в вечер после нашего обряда свадьбы. Но ты помнишь его уж только как старого, старого старика: весь седой, до совершенной белизны седой, и уж слабый физически; и временами уж ослабевавший среди разговора до того, что полузакрывались у него от утомления — когда-то бывшие зоркими, как орлиные, глаза. А если бы сумел я хорошо порассказать, каков он был прежде, чем стал хилым, — это были бы рассказы очень серьезной занимательности.

Вот в чем важность психологического значения, хороших знаний о таких людях, — очень малочисленных людях, — таких, как Федор Степанович: очень ловкая, житейская практичность может ли совмещаться в одной душе с совершенно безупречною честностью? — Да. Федор Степанович доказательство тому для меня. Ловкий, ловкий мастер в житейском искусстве; и совершенно честный, безукоризненно чистый человек. Я буду говорить о нем много. Была одна ошибка в его долгой жизни; лишь одна: он, оробевши перед архиереем, который навязывал в мужья его старшей дочери своего плюгавенького племянника, не удерживал эту милую, бойкую, очень красивую девушку от принятия предложения другого жениха; напротив, ободрял свою дочь поскорее согласиться на предложение этого другого жениха. Ему хотелось отвязаться от надоеданий архиерея. Так: архиерейский жених не годился для такой девушки; так: настойчивость архиерея была сильна; и если бы дать время разыгаться досаде архиерея от продолжительности споров, — то могло бы выйти в результате разорение: архиерей «переведет» Федора Степановича в какой-нибудь уездный город, — и все маленькое состояние, нажитое неутомимым трудом, пропадет. Все так. Надобно было спешить покончить разговоры с архиереем, сказавши: «у моей дочери уж есть жених». Но выбор, сделанный дедушкой, был неудачен. А отец понадеялся на себя и на нее: «перевоспитаем мы этого молодого человека, перестанет он пить».

Не перевоспитали. Нет. Он сам все лучше и лучше воспитывал себя, — и стал пьяница, гадкий пьяница.

Ты видывала, я полагаю, старшую дочь этой бедняжки, старшей дочери Федора Степановича, Ларисы (Лариссы) Федоровны и негодяя, мужа Ларисы Федоровны, — Александру Яковлевну Розанову? Она была девушкой уж отчасти светского воспитания, порядочно танцевала, выезжала на бал в Дворянском Собрании: — я полагаю, ты видывала ее? — Я уж очень мало знал Александру Яковлевну. И ровно ничего не знаю о ее характере; не помню даже, красива ли она была.

Да, погубила себя бедняжка ее мать, Лариса Федоровна. И отец помог Ларисе Федоровне погубить себя. Это был страшный промах. Это была тяжкая беда. Но за исключением этого одного не знаю я ничего, кроме хорошего, о Федоре Степановиче.

Но о нем после. Теперь я веду речь к дополнению картины быта людей допотопных. Я упомянул о Федоре Степановиче лишь для того, чтобы говорить о матери Федора Степановича.

Ее имя? — Не умею припомнить. Она была вдова — {священника? — сельского священника или дьякона; кажется, священника. Она прожила в селе до порядочной-таки старости: лет до шестидесяти пяти, и только в таком, уж солидном возрасте приехала жить у Федора Степановича. Почему так долго не решилась расстаться с привычным, быть может родным, селом? — Не помню ясно. Кажется, она уж очень, очень давно была овдовевшею. А во всяком случае не год и не два слушал я в детстве разговоры старших родных, что вот никакими резонами не может Федор Степанович упросить мать переселиться жить у него. Просто ли дичилась она города? или имела у себя в селе «большое хозяйство», — то есть штук пять коров, — и не могла оторваться от удовольствия хлопотать с «хозяйством», — и, если так, то уж, разумеется, по ее расчету было: — «наживала» она «деньги» своим «богатым хозяйством», — в этом ли была причина ее отказов на просьбы сына? И переехала она в город, лишь когда уж изменили ей силы, нельзя стало «чудесно хозяйничать», «наживать большие деньги»? — Вероятно. Но не знаю. Только то знаю, что денег она действительно нажила много: рублей сто (ассигнациями, то есть рублей тридцать серебром) наверное было у нее, когда она, распродавши все хозяйство, приехала жить у сына. Это ее богатство было смехом даже для прабабушки.

Кабинет у сына был довольно большой. Он спал в нем. Подле была узенькая комнатка с одним окном, не занятая никем. Стоял в этой комнатке диванчик. Помню, я, бывало, уносил в эту комнатку шашечницу и шашки из кабинета Федора Степановича, когда моя бабушка, охотница играть в шашки, предлагала мне — тоже страстному охотнику играть в шашки, — «уйдем от них, чтоб не мешали разговором; поиграем», — мы беспрестанно бывали у Федора Степановича в те ранние годы моего взрослого детства; — мы с моей бабушкою уходили в ту узенькую комнатку подле кабинета Федора Степановича и играли, играли там в шашки. Кроме этого удобства, нам ни к чему не служила та комнатка.

Приехала старушка и переселила Федора Степановича спать в эту комнатку, на том узеньком диванчике. А спальней для себя сделала его кабинет.

Моя бабушка протестовала; мать бабушки, Мавра Перфильевна, присоединилась к своей Поленьке (шестидесятилетней); «молодая женщина», умная, правда, но по молодости (в сорок пять лет) еще не все умевшая (как мы видели в истории с горчицей) хорошо понимать, — Аннушка (Анна Ивановна) поняла, несмотря на свою молодость, что Пелагея Ивановна (она звала

старшую сестру так: не «Поленька», а «Пелагея Ивановна») протестует справедливо: присоединилась к сестре и матери урезонивать старуху, что сыну неудобно быть выгоняему из кабинета ранним вечером: пусть она спит в одной комнате с младшею внучкою (сестрою Ларисы Федоровны; тогда еще девушкою): та комната просторная. А не хочет, пусть спит в узенькой комнатке подле кабинета. Нет; не урезонили, сколько ни бились.

Хорошо. Проходит год или много больше. Федор Степанович уезжает куда-то «по епархии», — произвести ли ревизию какого-нибудь «духовного правления» (уездное административное место духовного ведомства) или по какой другой деловой необходимости. Для него, человека бескорыстного, эти поездки — бывшие прежде и после времен его и моего отца, конечно, «прибыльными делами», — для него эти поездки были тяжелым и убыточным беспокойством. Человек ловкий и порядочно-таки умевший говорить с архиереем, — уж другим, не тем, — круто, гневно говорить, — он поставил себя так, что архиерей не смел навязывать ему этих разъездов «по епархии». И они ниспадали на моего отца, человека совестливого до беззащитности. Я расскажу тебе после об одной из таких поездок моего отца — о поездке для «принятия раскольникских Иргизских монастырей в ведомство православного исповедания»: много дней перед отъездом отца все семейство наше рыдало; и все время его поездки; а по его возвращении, — сама бабушка — простая, ничего не понимающая, православная душа, — много дней ругалась, проклиная «злодеев и подлецов», устроивших это дело «принятия Иргизских монастырей в православное исповедание». Я поговорю после о взглядах моего отца и Федора Степановича на «раскол», на «ереси» и тому подобное. Они оба были люди искренно верующие, конечно; но, — но, — люди, не делавшие дурного. Через их руки проходило много дурных дел; они смягчали их, уничтожали их, сколько могли. Мало могли; мало; архиерей (Иаков) был осел-фанатик; впрочем, даже и это не очень важно было; но дела о расколах, о ересьх возникали и велись помимо архиерея и помимо всей духовной администрации саратовской епархии, и мало могли делать в защиту раскольников и тому подобных людей Федор Степанович и мой отец; но, что могли, делали.

Однако вернемся к старухе, выгнавшей сына из его кабинета, не поколебавшейся ни от каких изобличений триумфината (это будет новое слово, соответствующее триумvirату: непреодолимый правительственный и военный союз трех особ нежного и слабого пола; да, хорошие представительницы «слабости» слабого пола были моя прабабушка и, особенно, бабушка; я порасскажу о ней. Что делала она над полицейскими властями Саратова, баснословно: семнадцать лет не платила она подати с дома, — неправильной, по ее мнению, — и гоняла в шею всех являвшихся напомнить ей, что надобно же платить). Лишь Анна Иванов-

на из этого триумфемината, была женщина, говорившая деликатным языком. Две другие ругали старуху, урезонивая. Не помогло.

Спит себе старуха в кабинете, выгоняя сына с раннего вечера, да и баста. Но вот какими-то судьбами не успел Федор Степанович отстранить от себя поездку «в епархию», — то есть в уездную местность епархии. Уехал. В кабинете у него стоял большой обитый железом сундук. В нем лежали летом шубы («зимние рясы») Федора Степановича; зимою — лишние из «летних ряс» и тому подобные вещи по домашнему быту. Но туда же клал он и деньги. — Вот вдруг и пришло в голову старухе раздумывать об этом «сундуке с деньгами». По ее мнению, Федор Степанович был «богач». Он жил несколько менее бедно, чем жили мы. Но бедно. Трудолюбием и хозяйственной талантливостью он составил понемножку маленькое обеспечение своим дочерям (двум; сыновей у него не было). Но это незначительное имущество составляли: дом и кусок земли близ Саратова. Наличных денег у него никогда не бывало «много», то есть «много» по-тогдашнему нашему; это значит: никогда у него не было рублей пятисот серебром. «Ломбардных билетов», — то есть, по-нынешнему, процентных бумаг, у него не было. Но старуха была убеждена: он богач; в сундуке у него «пропасть денег». Вот и пришло ей в голову пораздумать об этом. Посидела, пораздумала день; вечером — приходит спать в комнату своей внуки (девушки; младшей дочери сына): «Стану спать здесь». — «Хорошо, бабенька». — «Это я вздумала вот почему...» — «Да все равно, почему; как вам угодно, бабенька». — «Нет, ты слушай: придут воры ломать сундук, да и не разберут, кто тут спит; подумают: Федор, — и зарежут меня вместо Федора. Нет, пусть уж его самого режут. А я не хочу пропадать за него». — И перестала спать в кабинете. Приехал сын. Она и ему объяснила откровенно: «Нет, Федор: я за тебя не ответчица: спи ты сам с этим сундуком; пусть тебя зарежут, а не меня». — «Ну, хорошо, матушка», — и вступил снова во владение своим кабинетом.

Ты знаешь, вероятно: он был очень остроумный говорун, прекрасный рассказчик, анекдотист, шутник.

Должно быть, и отец его был шутник. Но у Федора Степановича шутки были только хорошие, не грубые. А отец его сельский человек, был, разумеется, мужиковат в своей шутливости. (Я не видывал отца Федора Степановича; я полагаю, он умер раньше, чем я родился.) Одну из его шуток я помню, — по рассказам старухи и по пересказу моей бабушки.

Старуха, — тогда еще не старуха, — толковала при муже с другими «хорошими хозяйками» своего села о своем «горе»: ее «корова» — кажется, «корова», — одна корова; должно быть, были она и муж вовсе бедняки; но все равно: ее корова стала, — или ее коровы стали, — «давать мало молока; такое у меня

горе». — Потолковали приятельницы, но пособия «горю» не придумали; разошлись. Муж говорит жене: — «Я не хотел сказать при них, потому что это секрет выгодный: ты знай — держи его про себя, помалчивай; а я открою тебе средство. Корова мало дает молока, — это — вот что: она его прижимает. Подтягивает живот вверх; и вымя подтягивается; молоко-то и прижимается. А надо против этой коровьей хитрости делать так: взять кирпич, либо что другое «потяжелее (то есть: тоже тяжелое) — и положить корове-то на спину; ей подтягиваться-то и тяжело, и не может она прижимать молоко». — Жена так и сделала: положила на спину корове кирпич и уселась доить. Как шевельнулась корова, кирпич бухнулся на голову доильщице. Взыла баба, бежит бранить мужа. Муж хохочет: — «Эх ты, недогадливая! А ты подвезала бы кирпич-то, он бы и не упал».

Но вот сейчас вспомнилось снова о прабабушке. Это уж юноши отличились догадливостью.

«Держала семинаристов» прабабушка, — то есть: брала на квартиру «с хлебами» толпу — человек восемь или целый десяток семинаристов. Это было, вероятно, в первые годы по переселении в Саратов — пока не поправились делишки с Ивана Егоровича? После «разора», неизбежного, по-тогдашнему, при переезде (впрочем, и ныне переселяться бедному семейству с места на место это много убытков). «Семинаристы» были, конечно, не ученики «семинарии» — то есть высших классов, — а ученики «духовного училища» — первых четырех классов тогдашнего семиклассного «курса». Тогда «семинарии» в Саратове еще не было: она была в Пензе, к «епархии» которой принадлежал Саратов. Но и в четвертом классе, — «синтаксе», то есть классе, где учились «синтаксису» латинской грамматики, — ученики были парни громадные: семнадцатилетних верзил было много между ними.

Народ был, разумеется, вовсе нищие, дети нищих. Потому иные принимались за воровство съестных припасов; а от этого ворованья доходили и до воровства в серьезном смысле слова.

Вот и заметила прабабушка: пропала у нее какая-то вещь — из одежды, кажется. Украл кто-нибудь из семинаристов, живущих у нее. Как открыть виновного? — и произошло, по самобытному изобретению прабабушки, — то, что попадает, как сказочный анекдотец, в сборниках забавного вздора.

Взяла где-то ружье Мавра Перфильевна; принесла домой, положила торжественно среди двора на какое-то нарочно устроенное возвышение для этого талисмана, — на скамью, кажется, вытасценную из избы; а не то на «водопойную колоду»; — дело было зимою, парни сидели в избе. Но были вызваны видеть всю церемонию с самого начала парада. Торжественно уложивши ружье на возвышение, прабабушка говорит семинаристам; — «У меня

пропала вот какая вещь. Это кто-нибудь из вас украл. Подходите поочередно к ружью и целуйте. Кто не виноват, поцелует ружье, и ничего ему не будет. А подойдет приложиться целовать, кто украл, ружье застрелит его».

И идут парни один за другим целовать ружье; идут смело. А один идет, — все останавливается, хватается пригоршнями, глотает снег. — Разумеется, прабабушка остановила его. «Это — ты вор-то»; — и разумеется, он сознался.

В сборнике анекдотов в рассказе о таком испытании целованием ружья не попадалось мне той черты, что вор глотал снег. Она не лишена значения: парень думал, что ружье убивает не пулею, а огнем выстрела; и что этот огонь влезет внутрь его тела, — в желудок, разумеется, — как влезает в желудок проглоченный кусок пищи; разница лишь: влезет не по желанию того, в кого лезет, а насильно; влезет в желудок и будет гореть там, как угли горят в печи; будет гореть, — ну, и сожжет внутренности, и тогда — аминь! — умрет человек. А если напихать в желудок снега, то, натурально, огонь, когда залезет в желудок, тотчас же погаснет в снегу; и человек уцелеет.

Это «семинарист» имел такие мнения о действии огнестрельного оружия; парень, живший с другими парнями, бывавший в компании целой сотни парней каждый учебный день. Стало быть, не очень-то далеки от его понятий о действии ружья были всеобщие понятия массы взрослых детей и семнадцатилетних юношей.

А когда так, то из их отцов и дядей многие ли ясно понимали, что ружье бьет пулею, а не вспыхивающим при выстреле огнем?

И точно: ружья были диковинкою чуть не вовсе невидальщиною в глухих сельских местностях Саратовского края не то что в начале нашего столетия, к которому относится, по моему расчету, «держанье семинаристов» моею прабабушкою, но даже в двадцатых годах нынешнего века. Еще и в тридцатых годах бродившие повсюду там «разбойники» не имели ружей; они убивали если не «длинными ножами» — то есть похожими на кухонные, остроконечные ножи, то «кистенями». — Когда придется по порядку моих припоминаний, расскажу тебе, мой дружок, несколько историй о старинных разбойниках. Прежде думаю рассказать о том, как жили в допотопные времена Саратовского края те мужья с женами, которые жили не как прадед с прабабушкою, по-человечески, — все равно, как ныне живут добрые люди, а по тогдашним обычаям. Это было — зверство: вообще, мужчина сильнее; потому биты и убиваемы побоями были, обыкновенно, жены; но я своими глазами видел сверстницу прабабушки, семидесятипятилетнюю — в другие наши посещения их дома очень почтенную, — старуху, топчущей ногами своего ровесника мужа, предварительно избитого ею по довольно оригинальному способу. Моя ба-

бушка, сидевшая в другой комнате, вбежала и едва спасла старика от смерти.

Это были отец и мать «Акимихи», как звала ее бабушка, а полнее: «Халды Акимихи». Ты, мой друг, хорошо помнишь Акимовых; муж был грубый простолудин, но, в сущности, не злой человек. Жена — это была дрянная и очень наглая женщина. Она — родственница — я полагаю, двоюродная племянница, моей прабабушки. Мы все, от старух до детей, гнушались «Акимихой». Но отец и мать ее были люди так себе, не особенно дурные. Ты не помнишь их, я полагаю. Расскажу, что знаю о них: в этом есть кое-что забавное, кое-что серьезное, любопытное.

Но буду рассказывать в следующем письме.

Милый друг, — тебе, быть может, скучно читать мои воспоминания. Но по чистой правде скажу: они имеют не очень маленькое достоинство. А ты — о, ты умеешь рассказывать лучше, гораздо лучше, нежели я. Попробуй записывать то, что рассказывала из времен своего детства мне: уверяю тебя, это будут прекрасные рассказы.

Но побольше об этом после. А пока — целую тебя, моя милая радость.

Целую детей. Вероятно, успею послать с этою же почтою кусок учености для них.

Будь здоровенькая, — будь, моя радость, и я буду счастливейший человек в свете.

Будь здоровенькая, будь, моя голубочка.

Крепко обнимаю тебя и целую, тысячи раз целую тебя.

Целую твои ножки, моя миленькая Лялечка. Твой Н. Ч.

669

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

6 апреля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружочек Оленька,

Отдай прилагаемую к этой записке ученость Саше и Мише. Ученость вышла так велика, что не влезла в один конверт, расползлась на два конверта.

О, какие простые, всем — даже и не умеющим читать — неглупым людям известные вещи то, о чем я толкую детям.

Хочу думать: все это известно им и без меня.

Но подавляются умы учащегося в школах юношества школами. И, вероятно, не все, что я пишу, уж было и без меня понятно нашим детям.

Я пишу им азбуку, только азбуку; а длинна выходит эта азбука. И очень скучна.

Но, быть может, не будет бесполезна им.

А гораздо полезнее будут им дружеские советы твои, моя милая радость.

Говори с ними побольше.

Будь здоровенькая.

Целую тебя. Твой Н. Ч.

670

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

6 апреля 1878. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша,

Будем продолжать наши беседы о всеобщей истории.

Для ясности хода моих мыслей в этой беседе полезно будет нам припомнить содержание прежних.

Предисловие к истории человечества составляют:

Астрономическая история нашей планеты;

Геологическая история земного шара;

История развития того генеалогического ряда живых существ, к которому принадлежат люди.

Это научная истина, известная с давнего времени.

Большинство натуралистов благоволило признать ее за истину лишь недавно.

И я сказал: большинство натуралистов до недавнего времени интересовалось научною истиною меньше, нежели следовало. Мало знакомо с нею и теперь. Мне придется много спорить против них из-за этого.

Чтобы ясно было, какие именно понятия признаю я истинными, я сделал характеристику научного мировоззрения по отношению к предметам естествознания.

Существенные черты этой характеристики таковы:

То, что существует, — вещество.

Наши знания о качествах вещества — это знания о веществе, как веществе, существующем неизменно. Какое-нибудь качество, это: само же вещество, существующее неизменно, рассматриваемое с одной определенной точки зрения.

Сила, это: — качество, рассматриваемое со стороны своего действия. Итак: сила, это: — само же вещество.

Законы природы, это: — способы действия сил. Итак: законы природы, это: — само же вещество.

Я сказал: никто из натуралистов, сколько-нибудь уважающих себя и сколько-нибудь уважаемых другими натуралистами, не решится сказать, что он не находит этих понятий истинными; всякий скажет, что это его собственные понятия.

И я прибавил: да, все они скажут: «Это так»; но очень многие — почти все — скажут, сами не понимая, что прочли, [что] у них знакомство с этими понятиями очень плохо; и образ мыслей очень во многом не соответствует этим понятиям.

Сделав эти общие заметки об отношениях большинства натуралистов к научной истине, я перешел к обзору содержания астрономического отдела предисловия к истории человечества.

История нашей солнечной системы и, в частности, нашей планеты, разъяснена Лапласом. Этот его труд — ряд очень простых, совершенно бесспорных, с научной точки зрения, выводов из Ньютоновой формулы, которая всеми астрономами принимается за истину, не подлежащую ни малейшему сомнению, и из нескольких общеизвестных фактов, достоверность которых никем из астрономов не отрицается.

Как это теперь, совершенно так это было и в то время, когда Лаплас обнародовал свою работу; оставалось так и во все последующее время: никто из астрономов не подвергал и не считал возможным подвергать ни малейшему сомнению ни Ньютонову формулу, ни какой из общеизвестных фактов, на которые опираются выводы Лапласа.

Дело так просто и достоверность выводов Лапласа так ясна, что с самого обнародования их признавали их за несомненную истину все те, знакомые с ними, люди, которые имели серьезную любовь к истине и обладали знанием, что о делах, понятных всякому образованному человеку, всякий образованный человек может и должен судить сам.

Таких людей было очень много.

Но большинство образованного общества издавна приучено большинством астрономов полагать, что никто, кроме астрономов, не может иметь самостоятельного мнения ни о чем в астрономии.

Наиболее умные люди между астрономами всегда старались разъяснить обществу, что это не так. Для того чтобы находить правильные решения астрономических вопросов, — говорили они обществу, — действительно необходимо иметь специальные знания. Но когда решение найдено, то может оказаться, что оно основывается на общепонятных выводах из общеизвестных фактов. И выводы Лапласа об истории солнечной системы таковы.

Но большинство образованного общества подчиняло себя авторитету большинства астрономов. А большинство астрономов извоило находить, что «Гипотеза Лапласа», — как назывался тот ряд выводов, — «лишь гипотеза».

Так это говорилось лет шестьдесят или больше.

И вот, наконец, был открыт способ видеть химический состав тел через наблюдение их спектров. Он был применен к спектрам небесных тел.

И всякий, специалист ли, нет ли, увидел: в составе планет и спутников планет нашей системы, в составе нашего солнца, дру-

гих солнц, туманных пятен находятся некоторые из так называемых «химических простых тел», известных нам по нашей планете.

И большинство астрономов признало: Лаплас прав.

А между тем факты, открытые спектральным анализом относительно состава небесных сил, сами по себе вовсе не свидетельствуют о том, прав или неправ Лаплас. Из них видно только: химический состав небесных тел более или менее подобен составу нашей планеты. Эта мысль несравненно более давняя, чем «Лапласова гипотеза», и сравнительно с нею очень неопределительная.

Но масса образованного общества, заинтересовавшись результатами наблюдений над спектрами небесных тел, вдумалась в спор меньшинства и большинства астрономов о гипотезе Лапласа, распустила взять решение спора под власть своего здравого смысла, решила: меньшинство астрономов говорило правду: Лапласова гипотеза — гипотеза лишь по имени, а на самом деле она — бесспорно достоверный ряд совершенно правильных выводов из несомненных фактов.

И большинство астрономов покорилося решению массы образованного общества.

Такова-то история так называемой «Лапласовой гипотезы».

Милые мои друзья,

Почти все, что я пишу, я пишу лишь на основании того, что помнится мне.

Единственная справочная книга под руками у меня — словарь Брокгауза. Много ли найдешь в нем?

При таком характере моих бесед с вами неизбежно: всякое мое слово, как скоро оно относится к чему-нибудь не вполне достоверно известному вам, требует с вашей стороны труда навести справку: не обманывает ли меня моя память.

И рассмотрим, для примера, вопрос: правильно ли излагаю я историю Лапласовой гипотезы?

Сущность дела сводится к двум вещам:

Правильно ли я считаю, что от обнаружения Лапласовой гипотезы до применения спектрального анализа к спектрам небесных тел прошло «лет шестьдесят или больше»; и

Правильно ли характеризую я отношение большинства астрономов к Лапласовой гипотезе в этот промежуток времени.

Все остальное — или неизбежный вывод из этих двух вещей, или мелочь, не имеющая силы изменить сущность моего изложения дела о Лапласовой гипотезе, — сущность, состоящую в том, что это дело постыдное для большинства астрономов того промежутка времени; а так как большинство нынешних авторитетных астрономов уж действовали в годы, предшествовавшие открытию спектрального анализа, то — для большинства и нынешних авторитетных астрономов. Справедливость моего суждения об

этих господах знаменитых астрономах определяется лишь степенью верности моих тех двух положений: «до спектрального анализа эти люди и их предшественники называли Лапласову гипотезу мыслью недоказанною, или ошибочною, или могущею оказаться ошибочною», — и: «это длилось лет шестьдесят или больше».

Вникнем, насколько могут быть неправильными эти две мои мысли.

В какой книге, или брошюре, или в каком периодическом издании обнаружил Лаплас свои выводы об истории солнечной системы?

— Не знаю. Полагаю: если не напечатал он их раньше, то, во всяком случае, они вошли в состав его «Небесной механики». Так ли?

Говорю: не знаю, лишь полагаю. Когда вышла «Небесная механика»? — Без справок я полагал: в самые первые годы нашего века; но у Брокгауза это есть; справившись, я увидел: я ошибся, это было раньше; это было в 1799 году. И увидел, кроме того: свою популярную переделку «Небесной механики», «Изложение системы вселенной», Лаплас успел издать еще раньше того, в 1796 году.

Итак, я считаю с 1799 или даже с 1796. Не ошибаюсь ли? — Быть может. Не знаю. Лишь полагаю. Однакож? — Однакож: едва ли тут есть ошибка.

Но положим, это ошибка. Положим, Лаплас напечатал свою «Гипотезу» лишь под самый конец своей жизни. Когда он умер? — Я думал: около 1825 года. Справлюсь. У Брокгауза есть это. Лаплас умер в 1827 году. Все-таки интервал до спектрального анализа порядочный-таки. Не «шестьдесят лет или больше», но все-таки «лет тридцать или больше». Все-таки более нежели достаточно, чтобы признать продолжительность упрямства большинства астрономов, далеко превосшедшую всякую меру снисходительного суждения о них.

Да, но: правильно ли я считаю конец интервала? Когда спектральный анализ был применен к изучению состава небесных тел? — Не знаю. Полагаю: около 1860 года и едва ли не позже 1860 года. Так ли? Справиться об этом не могу. То издание словаря Брокгауза, которое у меня, — десятое издание; первый том его вышел в 1851, последний в 1855 году. Верно только то, что в этом издании нет ничего о спектральном анализе. Итак: предположим, что это вошло бы в первый том и что в следующих томах не было бы случая хоть мельком упомянуть об этом; и, предполагая, что статьи для первого тома, вышедшего в 1851 году, писаны целым годом раньше, то есть в 1850 году, все-таки я имею интервал:

с 1827 года до 1850 года — больше двадцати лет.

Продолжительность упрямства против очевидной истины, все-таки с избытком достаточная для того, чтобы быть фактом, по-

зорящим большинство астрономов, — если только факт то, что большинство астрономов действительно до самого спектрального анализа упрямылось против признания Лапласовой гипотезы за истину.

Так ли это? Действительно ли упрямылось оно?

Таково мое воспоминание. Верно ли оно? — Я не могу проверить его справками.

Итак, не обманывает ли меня память?

Я опять делаю всевозможные уступки. Я делаю их не на словах только и не теперь вот только. Я сделал их в мыслях моих, когда писал ту — первую мою беседу; я сделал их не только по обязанности ученого быть строгим к своему мнению, но и по влечению моего личного характера, который, каковы бы ни были дурны его качества, все-таки не злой. Оправдывать людей мне приятно; порицать их мне тяжело, как и всякому другому, не особенно злому человеку, то есть как огромному — если уметь анализировать истинные чувства людей, то, говорю я, кажется: как огромному большинству людей.

Так: я в этом случае сделал, — и во всяких делах обыкновенно бывал рад; надеюсь, и вперед буду обыкновенно бывать рад делать, — всевозможные уступки для отклонения надобности порицать.

Но вот, обстоятельство, по которому часто приходилось мне видеть факты человеческой жизни не в таком свете, в каком представляются они людям, не занимавшимся научным анализом этих дел:

Я привык устранять при анализе фактов мои личные желания.

У многих людей это дар природы. Таких людей называют «проницательными».

У меня, быть может, нет врожденной проницательности. Но я люблю истину. И я очень много занимался научным анализом. Потому, — каков бы ни был я в обыденных моих суждениях о делах моей личной жизни, — и я полагаю, что в этих вещах я вовсе не проницателен, — но в научных делах я привык рассматривать факты не совсем-то плохо.

У массы людей, которая не очень проницательна от природы и не привыкла заниматься научным анализом фактов человеческой жизни, сильна склонность подстановлять на место фактов свои личные мысли, склонности, желания, или, как обыкновенно говорится об этом, смотреть на жизнь сквозь очки, окрашенные тем цветом, какой нравится.

Об этом мы будем говорить много.

Теперь заметим одну черту этой манеры.

Одно из наших желаний — то, чтобы другие думали одинаково с нами; и в особенности те люди, мнение которых важно для нас.

И вот очень многие, когда читают что-нибудь написанное каким-нибудь человеком, по их мнению авторитетным, влагают в его слова такой смысл, какой нравится им.

Я от этой слабости свободен.

Между прочим, уж и по одному тому, что редко она имеет случай касаться меня; и, непривычная мне, касается меня очень слабо. Между поэтами, учеными, вообще писателями, очень немногие авторитетны для меня; — стало быть, редко у меня, непривычно мне желание перетолковывать книги по-моему, наперекор правде; а оставаться свободным от непривычной слабости легко.

Например: я расположен подчинять мои мысли по предметам естествознания мыслям Лапласа. И если бы случилось, что я встретил бы у Лапласа какую-нибудь мысль о каком-нибудь интересующем меня, но не вполне понятном для меня предмете естествознания, то у меня могло бы явиться желание истолковать эту его мысль сообразно моему личному мнению о том вопросе. И тут понадобилось бы мне сделать некоторое усиление над собою, чтобы зорко разобрать, не влагаю ли я в слова Лапласа смысл, какой приятно было бы мне видеть в его словах; это могло бы случиться, по желанию, чтобы не поколебалось во мне от противоречия Лапласа нравящееся мне мое мнение.

Но это лишь один он, он один, — Лаплас, — из всех специалистов по естествознанию, живших после Ньютона, имеет такое значение для меня.

Обо всяком другом я совершенно индифферентно думаю: «согласен он со мною? — Это не прибавляет нисколько к моему суждению о том, как велика вероятность, что мнение, кажущееся мне правдоподобным, действительно верно; — противоречит он мне? — Это нимало не ослабляет правдоподобности моего мнения лично для меня».

И что ж мне за охота стараться понять его слова не в том смысле, какой действительно имеют они, а в таком, какой нравился бы мне?

Вы понимаете, мои милые друзья: речь тут у меня идет о «мнениях», а не о «знаниях»; — о теориях, догадках, а не фактах и правильных, необходимых выводах из фактов.

Пусть бы Лаплас отрекся от своей истории солнечной системы; это нимало не могло бы действовать на мои мысли о ее достоверности. Ее достоверность — это у меня «знание», а не «мнение».

В делах «знания» ничей авторитет не должен ровно ничего значить; и ровно ничего не значит для человека, умеющего различать достоверное знание, научную истину, от «мнений», — теорий или догадок.

Таблица умножения — это нечто совершенно независимое ни от чьих «мнений». Ни над нею, ни наравне с нею нет никакого авторитета. Все авторитеты ничтожны перед нею. И авторитет

может относиться лишь к тому, о чем не дает решения она. И при малейшем разногласии с нею авторитет раздробляется в прах.

Такова ж и всякая другая научная истина. Например: ни в чем из того, что опирается на Ньютонову форму, или на Дальтонов закон эквивалентов, или на факт, что существует солнце, — ни в чем из опирающегося на эти истины никакой авторитет не имеет никакого значения.

Мы поговорим об этом побольше, когда дойдет до того очередь.

А теперь я сделал заметку об этом лишь для разъяснения моих отношений к «мнениям» натуралистов. Для меня авторитетны «мнения» Ньютона; и, из живших после Ньютона, «мнения» Лапласа. Только их двух. Если я не «знаю» чего-нибудь, но имею об этом какое-нибудь «мнение», мое «мнение» поколебалось бы, когда бы мне случилось узнать, что «мнение» Ньютона или Лапласа не таково. И я — если бы предмет был достаточно важен и если б у меня нашлась возможность, произвел бы «научную проверку» моего «мнения», и оно перестало бы быть «мнением», стало бы «знанием» или оказалось бы противоречащим какому-нибудь «знанию», и, когда так, я отбросил бы это мое «мнение». Если ж предмет, по-моему, не стоит, лично для меня, хлопот трудного анализа или я, по недостатку специальных знаний, не в силах сделать этого анализа, то я рассудил бы так: «мое мнение кажется мне правдоподобным, вот почему и вот почему; а почему Ньютон (или Лаплас) думает иначе, я не знаю и не умею догадаться; но, вероятно, он понимал дело это лучше, нежели я; отбросить мои соображения не умею; но, вероятно, они ошибочны» И я, не имея возможности вовсе выбросить из моих мыслей мое мнение, все-таки думал бы (и говорил бы, разумеется), что я, однакож, предпочитаю держаться противоположного этому мнению, мнения Ньютона (или Лапласа).

Вы видите, я беру крайний случай: личные мои соображения остаются нисколько не опровергнуты; а соображения Ньютона (или Лапласа) остаются вовсе неизвестны мне. И, однакоже, я предпочитаю не мотивированные слова Ньютона (или Лапласа) моим соображениям.

Тем легче мне дать решительный перевес мнению Ньютона (или Лапласа) над моим, если я замечу малейшую ошибочность в моих соображениях или сумею узнать, на каких соображениях основывается догадка («мнение», — это догадка) Ньютона (или Лапласа).

Вот это и называется: признавать кого-нибудь авторитетом для себя.

У меня лишь два авторитета по естествознанию: Ньютон и Лаплас. И, сколько мог судить я, нет в моих мыслях по естествознанию ничего не приведенного в согласие с их «мнениями». (Вы помните: «мнения» для меня существуют лишь относительно

предметов, еще не разъясненных вполне, еще не подведенных под «научное решение».)

А во всяком случае естествознание не относится к предметам моих личных ученых занятий или интересов. И никакое «мнение» ни по какому из предметов естествознания не имеет ровно никакой важности ни лично для меня, как человека, имеющего личные интересы, ни для какого предмета моих личных ученых занятий.

Стало быть, легко мне смотреть, как это называют, «объективно» даже и на «мнения» Ньютона и Лапласа; легко читать их безо всякого желания заменять действительный смысл их слов какою-нибудь моею личною мыслью.

А слова всех других натуралистов совершенно индифферентны для меня: пусть они говорят, что хотят, мне все равно. (Прошу вас помнить, мои друзья: дело идет о «мнениях», о догадках, а не о научных решениях: что «научная истина», то — кем бы то ни было найдено или излагается, кем бы ни было сообщается мне, равно для меня: священная для меня истина.)

Милые мои друзья, вот именно эти черты хороши во мне:

Любовь к истине; желание пользоваться моими силами — велики ль они, или нет, все равно, — пользоваться моими силами для самостоятельного рассматривания, что правда, что неправда; понимание того, что отречение от права пользоваться разумом своим — отречение, недостойное существа, одаренного разумом, недостойное человека.

Эти черты хороши во мне. Но они принадлежат бесчисленному множеству людей. Ровно ничего особенного нет в том, что они принадлежат и мне.

Мало ли что хорошо во мне? — Я умею читать и писать. Это прекрасно. Я довольно порядочно знаю грамматику моего родного языка. Это прекрасно. — И много, много такого, бесспорно прекрасного, могу я сказать о себе по чистой справедливости. Только во всем этом нет ровно ничего особенного.

Так. Мне хвалиться нечем. — Но о многих других я принужден думать нечто очень прискорбное мне.

Хоть и не особенное нечто мое прекрасное качество: «я умею читать и писать», — это качество лишь меньшинства людей. — То же и обо всем остальном хорошем во мне.

Таких, как я, миллионы людей в образованном обществе цивилизованных стран.

Но людей, отрекающихся от права разумного существа пользоваться своим разумом, десятки миллионов в образованном обществе цивилизованных стран.

Огромное большинство образованного общества не хочет давать себе труд самостоятельно судить о научных делах, по сущности своей понятных всякому образованному человеку, — каковы или все, или почти все те научные дела, которые имеют важное научное значение. Огромное большинство образованного обще-

ства еще не отвыкло от умственной лени, бывшей некогда натуральным качеством варваров, погубивших цивилизацию Греции и Рима, остающейся теперь лишь нелепою привычкою их потомков, уж давно ставших людьми цивилизованными.

Это лишь дурная привычка, не соответствующая действительному состоянию умственных сил людей, держащихся ее. И всякий раз, когда эти люди захотят, они без малейшего усилия стряхивают с себя эту дурную привычку и оказываются людьми, умеющими судить о научных делах разумно.

Да: они умеют, когда хотят; но это бывало, — по крайней мере в нашем столетии, — лишь кратковременными эпизодами, возникавшими по поводу каких-нибудь особенных обстоятельств.

В истории астрономии таким эпизодом было заявление прав разума массою образованного общества по поводу результатов спектрального анализа. Масса образованного общества вдумалась в Лапласову гипотезу и нашла: Лаплас прав. И большинство астрономов немедленно открыло: «да, Лаплас прав».

Это был эпизод совершенно исключительного характера.

А постоянный характер хода дел был до той поры и после того опять стал совершенно иной:

Масса образованного общества полагает, что она не имеет права судить ни о чем в астрономии. Большинство астрономов находит это мнение массы публики очень удобным для своего чванства и вразумляет публику, что это и должно так быть: в астрономии все — такая премудрость, которой невозможно разоб- рать без знания теории функций. Все, все в астрономии лишь формулы, двухаршинные формулы, испещренные греческими сиг- мами громадного шрифта и миньютюрными штучками всяческих алфавитов в два, в три, в четыре этажа одни над другими; — формулы, от которых трещат головы и у них самих, записных специалистов по математике и притом необыкновенно умных лю- дей. Они одни тут компетентны; публике остается лишь слушать, дивиться и принимать на веру дивные вещания их, гениальных мудрецов.

И большинство публики покорствуется: слушает, дивится и принимает на веру их премудрые вещания.

А результат? — Не говоря уж об интересах разума массы образованного общества, — результат для самих мудрецов?

Кто выходит из-под контроля общества, выходит из-под кон- троля здравого смысла общества.

У некоторых людей личный здравый смысл так силен, что не нуждается в поддержке со стороны общества. Но такие люди — редкие, совершенно исключительные явления. Масса людей — люди, как все мы; люди неглупые от природы и от природы не безрассудные; но люди, довольно слабые во всех своих хороших качествах; во всем своем хорошем держащиеся недурно лишь при поддержке общественным мнением.

И что неизбежно следует из того?

Вот что следует вообще обо всякой группе людей, вышедшей или стремящейся выйти из-под контроля общественного мнения.

В огромном большинстве людей всякой такой группы постоянно развивается пренебрежение ко всему тому, что не составляет особенной принадлежности этой группы, ко всему, что не составляет отличия ее от остального общества.

И, между прочим, развивается пренебрежение к обыкновенному, общечеловеческому здравому смыслу; предпочтение своего особенного мудрствования, мудрствования особой группы людей, разуму.

До какой степени успевает в какое-нибудь данное время, в какой-нибудь данной группе взять верх над разумом эта особенная тенденция к пренебрежению разумом из-за чванства специальной премудростью, зависит от исторических обстоятельств; но тенденция эта постоянно действует во всякой такой группе и постоянно стремится совершенно подчинить себе всякую такую группу; и постоянно мила большинству людей всякой такой группы.

Длинные мои разъяснения? Да. Я сам знаю. Длинные. Но, мои милые друзья, сделаю еще одну заметку.

Сила человека — разум. Это общепризнанная истина.

К чему ж ведет, когда так, пренебрежение разумом? — К бессилию.

И если какие-нибудь специалисты, — например, специалисты ученого разряда специалистов, пренебрегают разумом из-за чванства своей специальной премудростью, то и сама их специальная премудрость будет поражена бессилием. Они станут, как это называется,

Великими людьми на малые дела.

Они будут, быть может, ловко играть техническими приемами своего ремесла. Но смысла в их мастерских штучках не будет.

Пока дело идет о формалистических мелочах, они будут ловко вести это пустое дело. Но, как представляется им серьезное, важное дело, они оказываются ничего не понимающими, ничего не умеющими, робеют, путаются, болтают и делают чепуху. Это потому, что для ведения серьезных дел нужен разум, или, попросту говоря, здравый смысл.

Длинные были мои разъяснения, мои милые друзья. Но, при всей своей длинноте, не слишком ли кратки они? — Не знаю. — Масса книг, — я говорю о книгах ученых, — читаемая вами, почти сплошь напичкана вздором...

И потому: достаточны ли были для вас, милые мои друзья, те мои длинные разъяснения? — Не знаю.

Или они были излишни для вас? — Не знаю. Но желаю думать так.

Применим теперь те мысли, изложение которых было, я желаю думать, излишним для вас, к разбору вопроса: насколько правдоподобно для меня, что я ошибся, сказавши: «большинство астрономов упрямылось признать Лапласову гипотезу за истину, до самого того времени, как было вынуждено к тому спектральным анализом».

Дело это, лично для меня, индифферентно. Пусть кто угодно говорил как угодно о Лапласовой гипотезе, мне было все равно, — вот теперь уж тридцать лет, — было все равно.

Лапласова гипотеза была для меня с моей ранней молодости «знанием». Сам Лаплас никакими отречениями от этих своих выводов не мог бы нисколько поколебать моего «знания», что эти его выводы — бесспорная, с научной точки зрения, научная истина.

Тем меньше мог я иметь охоты влагать какой-нибудь нравящийся лично мне смысл в отзывы каких-нибудь живших после Лапласа или живущих ныне астрономов ли в частности, вообще ли натуралистов. Никто из них не авторитет для меня. И «мнения» их не имеют веса для меня и по таким вещам, о которых я сам имею лишь «мнение». А всякие их отзывы о научных истинах, по-моему, вовсе неуместны, кроме одного простого выражения: «это истина».

И вот этого-то единственного справедливого отзыва о Лапласовой гипотезе не попадалось мне, сколько я помню, ни в одной книге, ни в одной статье, писанной кем-нибудь из живших после Лапласа или живущих ныне астрономов ни в одной из всех, читанных мною до «недавнего времени», когда господа большинство астрономов прославили себя открытием, что Лаплас прав.

Все отзывы, помнящиеся мне, были только вариациями на тему: «Лапласова гипотеза — лишь гипотеза». Иной толковал, что это «гипотеза» неосновательная; иной, что это «гипотеза» правдоподобная или даже очень правдоподобная. Но никто, сколько я помню, не говорил: это истина.

Воспоминания других людей моих лет или старших меня летами о тех временах, предшествовавших «недавнему времени» великого открытия: «Лаплас прав», могут быть неодинаковы с моими. Многие могут «помнить», что «издавна» или и «всегда» Лапласова гипотеза была признаваема «большинством» астрономов, или даже «почти всеми», или и вовсе «всеми» астрономами за «истину».

Но я говорю: я полагаю, что подобные «воспоминания» не «воспоминания», а дело недоразумения или результат иллюзии.

«Очень правдоподобно» — это вовсе иное нечто, нежели простое «да».

«Я почти нисколько не сомневаюсь, что Лапласова гипотеза верна», — это нечто совершенно иное, нежели простое: «Лапласова гипотеза верна».

Друзья мои, кто сказал бы: «очень правдоподобно, что таблица умножения верна», тот был бы трус, или лжец, или невежда. О научных истинах выражаться так — неприличная вещь, пошлая вещь, бессмысленная вещь.

Но кому, по недостатку специальных знаний, воображается, что он имеет лишь «мнение» о каком-нибудь специальном деле, и воображается, что лишь специалисты компетентны решать это дело, — тот, в своей личной беспомощности, жадно хватается за опору, какую могут, по его предположению, давать ему отзывы авторитетных для него специалистов, и влагает в их слова такой смысл, какого жаждет. Он читает: «Это вероятно», — и он в восторге; и через пять минут ему уж воображается, будто он прочел: «Это просто несомненно»; еще пять минут, и он уж воображает, будто бы в прочтенном им отзыве было сказано: «это несомненно».

Я избавлен моими научными правилами от охоты к таким подкрашиваньям читаемых мною книг в колорит, нравящийся мне.

Лично для меня совершенно все равно, в каком вкусе кому из ученых угодно писать. Те немногие ученые, которые авторитетны для меня, авторитетны для меня лишь потому, что не выделывают фокус-покусов, не чванятся, не презирают разума, доводят научную истину.

И переделывать их слова по моему вкусу я не имею склонности, потому что не имею надобности: у них и у меня нет никакого особенного предпочтения к какому бы то ни было «вкусу»; им, как и мне, хороша лишь истина. В чем бы ни состояла истина, все равно: для меня, как и для всякого, любящего истину, она хороша.

Друзья мои, рассудим: с какой стати стала бы моя память обманывать меня по вопросу: как держало себя большинство астрономов относительно Лапласовой гипотезы, в тот — наверное не меньше чем шестидесятилетний — период между обнаружением этой истины и открытием спектрального анализа.

Ровно никакое специальное решение по чему бы то ни было, специально относящемуся к естествознанию, не имеет ровно никакого влияния ни на мои личные ученые интересы или ученые желания, ни на предметы моих личных ученых занятий. И потому лично для меня, с ученой точки зрения, совершенно все равно, кто прав: Коперник или Птоломей, Кеплер или Кассини-отец, Ньютон или Кассини-отец и Кассини-сын. Пусть было бы правда, — по Птоломею, — что Солнце и все планеты и все звезды обращаются вокруг земли; или, по Кассини-отцу, с сонмом вливающих перед ним хвостами астрономов, — было бы правда, что орбиты планет не эллипсы, а «линии четвертой степени», Кассиниоиды, — как они были названы в честь его, победителя над Кеплером; или пусть было бы правда, что земной шар сплюснут

не по оси суточного вращения, как утверждал «невежда и фантазер, вообще дурак», Ньютон, а по линии экватора, так что экваториальные диаметры меньше диаметра между полюсами, согласно гениальному Кассини-отцу и не менее гениальному Кассини-сыну; пусть все это было бы так; и пусть было бы хоть правда даже и то, что млекопитающие имеют каждое по две или по три головы и лишь по одной ноге, — для предметов моих личных занятий все это было бы индифферентно. Для них нужно от естествознания лишь одно: чтобы в естествознании владычествовала истина; а какова именно истина по какому бы то ни было вопросу естествознания, все равно. Прав Птоломей? Правы Кассини? У млекопитающих по три головы у каждого? — Это, лично для меня, индифферентно. Я требую лишь: пусть будет доказано, что это истина.

И противно мне все это почему? — лишь потому, что это ложь. Ясно ли говорю я? — Не специальное содержание лжи по естествознанию противно мне: оно чуждо мне; противно мне в этой лжи лишь то, что она ложь. — И, наоборот: не специальное содержание истины по естествознанию нужно или мило мне: оно не нужно ни для чего по предметам моих личных ученых интересов или занятий; в истине по естествознанию нужно и мило мне, собственно, лишь то, что она — истина.

Ясно ли это? — Не знаю, мои милые друзья, сумел ли я изложить мои отношения к естествознанию так, чтоб они были ясны для вас. Сами по себе, они легки для понимания. Но из нынешних ученых — натуралистов ли, историков ли, ученых ли по другим отделам знаний; лишь очень немногие понимают эти вещи так, как понимаю их я. Мои понятия об этом — понятия Лапласа.

Переписывать и — поправлять! — Лапласа все астрономы большие мастера. Но понимать, как смотрел Лаплас на отношения естествознания к другим отделам наук, это умеют очень немногие.

Почему? — Потому, что для понимания этих вещей ученому надобно быть мыслителем той единственной научной системы общих понятий, — мыслителем или учеником мыслителей той системы понятий, которой держался Лаплас.

Само по себе, дело ясно. Но масса ученых затемняет его своими фантазиями.

Достаточно ли просто для вас изложил его я? Не знаю.

Но ясны ли, не ясны ли для вас эти мои разъяснения, — быть может, недостаточные для вас, — быть может, — и желаю думать: лишние для вас, — я прилагаю их, наконец, к делу:

Прав ли Коперник, или Ньютон, или Лаплас, это нисколько не занимательно лично для меня. Лично для меня важно лишь то, что прав Левкипп, или — чтобы говорить о современной Лапласу науке, что прав Гольбах. А Левкипп одинаково прав, если б и

неправ был Архимед. Истина, которую разъяснял Левкипп, шире и глубже хоть и великих, хоть и фундаментальных открытий Архимеда. И Гольбах прав, независимо от того, правы ли Коперник и Галилей, и Кеплер, и Ньютон, и Лаплас.

Употребить ли сравнение из математики? Пожалуй, для ясности:

Я подобен человеку, который хочет и имеет надобность держаться лишь первых четырех действий арифметики. Та истина, которой держится он, очень элементарна. Но она самая фундаментальная часть математической истины. И она независима ни от геометрии, ни от алгебры, ни от высшего анализа. Наоборот: все эти отделы математики основаны на той простенькой, вовсе простенькой истине. И все, что несообразно с нею, не математика, и вообще не наука, и еще более вообще: не правда.

Ясно ли?

И, отбрасывая сравнение, взятое лишь для ясности, я говорю: Все, что несогласно с простенькою, вовсе простенькою истинною, первым из наиболее известных истолкователей которой был Левкипп, — то все не правда.

И я проверяю этою простенькою истинною всякую теорию в естествознании ли, в другом ли каком отделе наук; — «теорию» — то есть догадку; не «истину», а лишь «догадку».

А будет ли согласна с тою простенькою истинною всякая специальная научная истина по естествознанию ли, по другому ли какому отделу наук? — О, об этом у меня нет ни опасений, ни забот, ни «желаний»: я знаю, что это всегда, во всем, везде было и будет так. Таблица умножения была верна во все прошлое вечности, будет верна во все будущее вечности, повсюду: и на Сириусе, и на Альционе, и повсюду, как на Земле: она — верное формулирование самой «природы вещей», она — «закон бытия»; она — вечно и повсюду непреложна. Научная истина о таблице умножения и о всякой другой истине такова: всякая истина всегда согласна со всякою другою истинною. И хлопотать о примирении нечего.

Однако «невыносимо длинна эта скука», — быть может, думаете вы, мои друзья. Да. И кончим ее; резюмируем дело, характер которого я разъяснял этою скукою:

Верны ли мои воспоминания о том, каковы были рассуждения по вопросу о Лапласовой гипотезе в книгах астрономов, какие читывал я раньше открытия спектрального анализа?

Это дело индифферентное для меня. Мои воспоминания о нем, — насколько они ясны и широки, характеризуют его верно, — я полагаю.

Но достаточно ли ясны и широки мои воспоминания? — Это иной вопрос. Моя начитанность по астрономии не была велика. Да и в тех книгах, какие читал я, что за охота была мне заме-

чать, в каком тоне говорит автор о Лапласовой гипотезе? И если случилось заметить, что за охота была припоминать?

И, читавший мало, замечавший еще меньше того, я давным-давно позабыл почти все то немногое, что знал когда-то об истории Лапласовой гипотезы в мыслях большинства астрономов.

Мои воспоминания правильны, но не ясны и очень малочисленны.

Итак, быть может, я ошибаюсь, делая по ним вывод о большинстве астрономов?

Едва ли. — Почему так? — Я попрошу вас припомнить то, что говорил я о великом, истинно уважаемом мною, пересоздатель геологии, Лайелле; я говорил: он отвергал Лапласову гипотезу. Стоит вдуматься в этот факт, отчетливо помнящийся мне, — и отношение огромного большинства астрономов двух поколений к Лапласовой гипотезе оказывается достаточно характеризованным.

Лайелль знал из математики гораздо меньше, нежели я. Он обращался к астрономам с просьбами решать для него такие простенькие геометрические задачи, какие легки даже для меня; и писал в примечаниях горячие выражения своей признательности астрономам за эти их труды, совершенные ими для него. Это наивно до смешного. Но еще забавнее, когда он сам пускается в арифметические упражнения: перемножить два целые числа из трех цифр каждое для него уж многотрудная премудрость. — Это, мимоходом замечу, нимало не вредит ему. Какая ж математика удобоприменима к геологии при нынешнем состоянии геологии! Не пригодна еще, вовсе не пригодна для математического разбора эта груда совершенно неопределенных данных. Даже и самые-то простенькие арифметические выкладки тут такая же напрасная работа, как считание, сколько мошек или комаров родится в данной области в данную весну, в данное лето. — «Много» — вот все, что можем мы, при данном материале, знать об этом, без арифметики ли, с арифметикою, все равно.

Человек, плохо знавший даже арифметику, Лайелль был человек чрезвычайно скромный и необыкновенно добросовестный. Пример тому: его отречение от теории неизменности видов, которую он обширно излагал тридцать лет в каждом новом издании своей «геологии». Это самоотречение семидесятилетнего старика, учителя всех геологов, от любимой своей мысли — факт, делающий великую честь ему. Мы поговорим о том после.

Человек, не знающий почти ничего из математики; человек, обо всем, относящемся к астрономии, советовавшийся с астрономами; человек чрезвычайно скромный, — тридцать лет твердил он в своей «геологии», что Лапласова гипотеза — вздор. Тридцать лет, — сказал я. Так ли? Не знаю. Знаю лишь вот что: я читал Лайелля в 1865 году. Я читал его в издании, новее которого не было тогда, когда оно вами было куплено для меня. Когда оно

было куплено? Не знаю. Но полагаю: в том же году. И какого года было это издание? — Не знаю. И чем могу пособить этому моему забвению года того издания? — Лишь справкою у Брокгауза. Делаю справку. Нахожу: первый том первого издания «Оснований геологии» Лайелля вышел в 1830 году. (О Гипотезе Лапласа говорится в первом томе, это мне очевидно: я помню, это в первых главах трактата.) В 1853 году вышло девятое издание. Дальше этого года данные о Лайелле не идут у Брокгауза в издании, которое у меня. Тот том этого издания словаря напечатан в 1853 году. — Итак, возможно предположить: издание «Геологии» 1853 года было последним до 1865 года; и было у меня именно это, девятое, издание Лайелля. И если так, то мне можно ручаться лишь за двадцать три года борьбы Лайелля против Лапласа.

Но правдоподобно ли, что книга, имевшая девять изданий в двадцать три года, оставалась без нового издания целые двенадцать лет после того? Лайелль был жив, был еще крепок силами, усердно работал; все это я твердо знаю; его книга была настольною книгою всех геологов всего цивилизованного света; как же могло пройти двенадцать лет без нового издания ее?

И я полагаю: издание, которое читал я в 1865 году, — издание, новее которого не было тогда, было не девятое, а уж одиннадцатое или двенадцатое; напечатанное не в 1853 году, а около 1860 года или, вероятнее, даже после этого, около 1863 года. — Это лишь моя догадка. Она, быть может, ошибочна. Но, друзья мои: вы видите, не вовсе уж без резона сказал я: «борьба длилась тридцать лет». — И пусть я ошибся. Изменится ли сущность дела? — Не тридцать лет, но никак не меньше чем двадцать три года Лайелль твердил, что Лапласова гипотеза — вздор.

Ну, и двадцать три года этого ошибочного спора Лайелля против Лапласа дают уж достаточно полный аттестат господам астрономам, — не «большинству» их, нет: почти всем им, — почти всем, так что выходит: меньшинство, говорившее о Лапласе правильно, было вовсе ничтожно по числу, не видно и не слышно было этого здравомыслящего меньшинства.

Иначе не умею понять факта:

Человек, очень скромный, всегда готовый отказаться от всякого своего мнения, ошибочность которого будет замечена кем-нибудь и объяснена ему; человек, не знающий астрономии, не имеющий ни малейшей претензии знать ее; советующийся обо всем астрономическом с астрономами; — он —

твердит — наверное, больше двадцати лет, а судя по всему, лет тридцать или больше, что Лапласова гипотеза вздор;

а его книга, в которой напечатана и постоянно перепечатывается эта вещица, — одна из важнейших ученых книг для всего цивилизованного света; книга, хорошо известная всем натура-

лйстам, в том числе и всем астрономам всего цивилизованного света;

и никто, стало быть, из господ астрономов не потрудился объяснить автору этой книги, что спорить против Лапласовой гипотезы нельзя, что она — не гипотеза, а достоверная истина;

или никто из астрономов не потрудился сказать ему это, или — хуже того: голос астронома, сказавшего правду, был заглушен шумом массы астрономов: «о, нет! Это лишь гипотеза; спорить против нее очень можно».

Я полагаю, что было именно второе.

Ошибаюсь ли я? Быть может.

Но я полагаю: ошибочность тут очень неправдоподобна.

Само собою: никогда догадка не может вполне совпадать с фактами.

Я пишу почти лишь по памяти о предметах, никогда не бывших интересными лично для меня. Мои знания о них, — обо всем в естествознании, — всегда были скудны; и почти все из того, что знал когда-то о них, я забыл. Чем пополнять мне пробелы этих чрезмерно скудных моих знаний? — Словарем Брокгауза. Разве эта книга для ученых? Много ли в ней могу найти я из того, что нужно мне для этих моих бесед с вами, друзья мои? — И невозможно ж мне не говорить иной раз лишь по соображению.

Память обманчива. Соображения — это лишь догадки.

И каждое мое слово, о котором не знаете вы твердо и ясно, что оно верно, требует проверки с вашей стороны. Но никакие мои ошибки не относятся, не могут относиться к сущности дела. Это как же? — Вот как, например:

Как бы там ни было, хорошо ли, не хорошо держало себя большинство астрономов в те шестьдесят лет от издания «Небесной механики» до спектрального анализа, по делу о Лапласовой гипотезе, —

но, вообще, — вообще, —

отношение массы астрономов к научной истине, — отношение, недостойное людей от природы не глупых и не бесчестных. Добровольно разыгрывать роль глупцов и лжецов дело нехорошее. Они делают это. С какой стати? — Да ни с какой, кроме того, что это им нравится.

Это факт такой крупный, что, к сожалению, ошибка относительно характера его невозможна. — Из десяти книг об астрономии, заключающих в себе хоть что-нибудь кроме формул и цифр, разве в одной нет противонаучной примеси.

Только в этом и сущность дела, которую стараюсь я выставить на первый план в моих беседах с вами, друзья мои.

Успеваю ли? — Не знаю. И полагаю: плохо успеваю; не умею.

Но стараюсь.

И довольно на этот раз утомлял я ваше внимание невыносимо скучными разъяснениями, составляющими все лишь постоянно

возобновляющийся и бесконечно растягивающийся приступ к делу. Попробуем побыстрее пройти в нашем припоминании все остальное содержание наших прежних бесед.

Теперь всеми признано, что «Лаплас прав».

Верность его выводов об истории нашей — и всякой другой — солнечной системы зависит лишь от того, верна ли так называемая «Ньютонова формула», — та формула, под которую Ньютон подвел Кеплеровы законы движения планет и спутников по их орбитам. Несомненная достоверность Ньютоновой формулы признана всеми.

Но эта формула — лишь алгебраическое изображение так называемой «Ньютоновой гипотезы», то есть мысли Ньютона, что движение небесных тел, алгебраически характеризуемое его формулой, производится силою всеобщего взаимного притяжения вещества.

Алгебраический смысл его формула имеет и без его гипотезы. Но алгебраический смысл — нечто пригодное лишь для технической работы, а не для реального мышления о фактах. Для реального мышления о фактах удовлетворительны лишь мысли, имеющие реальный смысл, а не такие, которые имеют одно только техническое значение символов, — неизвестно, какой смысл представляющих собою и употребляемых лишь для облегчения технической стороны специальных работ.

Для здравого человеческого смысла Ньютонова формула требует себе реального истолкования. Ньютон дал его своею гипотезою.

Верна ли Ньютонова гипотеза, это все равно для достоверности выводов Лапласа, рассматриваемых с точки зрения технической, математической проверки. Но здравый человеческий смысл требует, чтобы решено было: верна ли Ньютонова гипотеза.

Я разбираю дело об этом.

Не хочу напоминать вам подробностей. Вы помните их.

Разбором дела о Ньютоновой гипотезе я приведен был к необходимости поставить вопрос: каково же, однако, состояние научной истины в головах тех господ специалистов по математике, которые не хотят ни говорить, ни понимать, что Ньютонова гипотеза — безусловно достоверное знание.

И я увидел нечто такое, подобного чему нет в «Сказках тысячи и одной ночи»; я увидел, что в математике совершается вот что:

«Пространства» разных сортов, имеющие лишь по два измерения; «разумные существа двух измерений» — и так далее в этом вкусе, — совершенно идиотские глупости, изобретаются некоторыми, одобряются и принимаются в математику другими господами знаменитыми специалистами по математике.

Воздав должную дань хвалы уму этих господ, я хотел разъяснить, как произошли в их головах сотрясения мозга, проявив-

шиеся такими нелепыми подвигами на славу им и на посрамление математики. Для этого надобно было изложить систему Канта, которая сбила их с толку.

Но изложение системы Канта заняло бы много листов. А дело не стоит того. Система Канта — галиматья, давным-давно разбитая в прах. А невежественные переделки этой галиматии, сочиняемые математиками и, вообще, натуралистами, не имеющими подготовки к пониманию какой бы то ни было философской системы идеалистического направления и тем менее способными понимать гениально напутанную Кантом софистику очень замысловатой идеалистической хитросплетенности — невежественные продукты философствования этих господ, разумеется, и вовсе не заслуживают траты бумаги и чернил на разбор их.

И я сказал: буду без длинных рассуждений говорить об этих глупостях, что они глупы. Я полагаю, что имею полное право поступать с ними так бесцеремонно. Люди, изобретающие или одобряющие «новые системы геометрии» и компаньоны этих господ математиков и астрономов, господ большинство натуралистов, благоизволят болтать непонятную для них философскую чепуху; болтая этот вздор, они уж не математики или астрономы, они уж не натуралисты, а просто невежды, болтающие философскую чепуху. Я когда-то изучал историю философских систем. Они забрели в область, в которой я специалист, а они ровно ничего не смыслят. О том, что я много занимался философией, вы, мои милые друзья, знаете. Следовательно, имеете право полагать, что мои отзывы о философствовании тех невежд в философии не вовсе ж лишены основания, хоть и не сопровождаются аргументацией. А когда так, то я имею право уволить себя от труда писать, а вас от скуки читать сухие рассуждения о философской белиберде тех господ. И уволю себя и вас от этого труда, от этой скуки.

В этом моем решении я, по всей вероятности, прав. Но я изложил мотивы его, по моей склонности к шуткам, шутливо. А по моему неумению шутить шутки мои вышли неуклюжи. Это еще не важность бы. Но вот что уж серьезно огорчает меня: мои шутки вышли обидны для вас, мои милые друзья. [Это] разобрал я, припоминая содержание и тон моих шуток, но разобрал уж после того, как письмо было увезено почтою. Не догадался разобрать во-время. И жалею, что не догадался во-время.

Ну, как быть, когда так. Простите мне, мои милые друзья, эту мою вину перед вами.

И моя рекапитуляция содержания прежних наших бесед кончена, и я начинаю продолжение их.

Масса натуралистов говорит: «мы знаем не предметы, каковы они сами по себе, каковы они в действительности, а лишь наши

ощущения от предметов, лишь наши отношения к предметам». Это чепуха. Это чепуха, не имеющая в естествознании ровно никаких поводов к своему существованию. Это чепуха, залетевшая в головы простофиль-натуралистов из идеалистических систем философии. По преимуществу из системы Платона и из системы Канта. У Платона она не бессмысленная чепуха; о, нет! — Она очень умный софизм. Цель этого очень ловкого софизма — ниспровержение всего истинного, что приходилось не по вкусу Платону и, — не знаю теперь, уж не помню ясно, но полагаю: — приходилось не по вкусу и превозносимому наставнику Платона Сократу. Сократ был человек, доказавший многими своими поступками благородство своего характера. Но он был враг научной истины. И, по вражде к ней, учил многому нелепому. И, друзья мои, припомните: он был учитель и друг Алкибиада, бессовестного интригана, врага своей родины. И был учитель и друг Крития, перед которым сам Алкибиад — честный сын своей родины. А Платон хотел вести дружбу с Дионисием Сиракузским. — Понятно: людям с такими тенденциями не всякая научная истина могла быть приятна. Это о системе Платона.

А Кант так-таки прямо и комментировал сам свою систему провозглашением: все, что нужно для незыблемости фантазий, казавшихся ему хорошими, надобно признавать действительно существующим. — То есть: наука — пустяки; эти пустяки надобно сочинять по нашим личным соображениям о том, что нравится мечтать тем людям, какие нравятся нам.

Это научная мысль? Это любовь к истине?

И у Канта та чепуха, без смысла болтаемая простофилями-натуралистами, имеет очень умный смысл; такой же умный, как у Платона; тот же самый, очень умный и совершенно противунаучный смысл: отрицание всякой научной истины, какая не по вкусу Канту или людям, нравящимся Канту.

Платон и Кант отрицают все то в естествознании, чем стесняются их фантазии или фантазии людей, нравящихся им.

А натуралисты разве хотят отрицать естествознание? Разве хотят, что[бы] наука была сборником комплиментов их приятелям?

Нет. С какой же стати болтают они ту чепуху? — По простофильству; они хотят щеголять в качестве философов — вот и все; мотив невинный; лишь глупый. И, не понимая сами, что и о чем болтают, оказываются, чванные невежды, отрицателями — дорогой для них — научной истины. Жалкие педанты, невежественные бедняки-щеголи.

Я сказал: обойдусь и без аргументаций. Но вот, для примера, маленькая аргументация:

Мы знаем предметы. Мы знаем их точно такими, каковы они на самом деле.

Берем для примера то чувство, о котором любят болтать натуралисты, что знания, получаемые через него, недостоверны или

Не вполне сообразны с действительными качествами предметов, берем чувство зрения.

Мы видим что-нибудь, — положим, дерево. Другой человек смотрит на этот же предмет. Взглянем в глаза ему. В глазах у него то дерево изображается совершенно таким, каким мы видим его. Итак? — Две картины совершенно одинаковые: одну мы видим прямо, другую — в зеркальцах глаз того человека. Эта другая картинка — верная копия первой картинке.

Итак? — глаз ровно ничего не прибавляет и не убавляет. Мы видим это: разницы между двумя картинками нет.

Но «внутреннее чувство», или «клеточки центров органа зрения», или «душа»; или «деятельность нашей сознательной жизни», не переделывает ли чего-нибудь в той картинке? — Опять мы знаем: нет. Спросим у того человека, что такое он видит? — Пусть он описывает, что такое он видит, когда та картинка нарисовалась в его глазах. Оказывается: он видит именно эту картинку. О чем же тут толковать?

$$A = B; B = C;$$

Стало быть, $A = C$.

Подлинник и копия одинаковы; наше ощущение одинаково с копиею.

Наше знание о нашем ощущении — это одно и то же с нашим знанием о предмете. (Это популярное изложение; строго философское будет говорить о «картинке в одной паре» и в «двух парах зеркалец»; но смысл тот же, и вывод все тот же.)

Мы видим предметы такими, какими они действительно существуют.

«Но ночью мы плохо видим». Ну, да.

«Но в микроскоп мы видим такие подробности, которых не видим простыми глазами». Ну, да.

И надобно прибавить: «А вот слепые, то и вовсе не видят». И это правда.

И прибавим: «Пустые болтуны болтают пустяки». И это будет правда.

Но все эти совершенно справедливые мысли не имеют ни малейшего отношения к делу о том, верно ли мы видим то, что мы видим, когда у нас глаза здоровы.

Видим лишь то, что видим. Например, не видим атомов углерода, а видим лишь большие груды этих атомов. Или: ночью не видим разноцветности предметов.

Чего мы не видим, того мы не видим. Это так. Но вовсе не о том речь в той чепухе. В той чепухе говорится, будто мы видим не то, что мы видим, или будто нам кажется, что мы видим то, чего мы не видим. Это чистейший вздор, когда мы в добром умственном здоровье и когда глаза у нас здоровы. Здоровый умственно человек видит здоровыми глазами те самые предметы,

какие видит; — так ли это? — Тем простым анализом доказывается, как $2 \times 2 = 4$, что это так. А простофили натуралисты болтают: «нет».

И пусть будет довольно этого, о глупости бессмысленной философской болтовни господ большинства натуралистов.

Воля ваша, милые друзья мои: обидно за естествознание, что вот я, которому нет ровно никакого дела ни до чего в естествознании, принужден защищать естествознание против огромного большинства людей, посвятивших свою жизнь усердному труду на пользу естествознания. Умны работнички! — Усердны, это так; но — умны.

Помните сказку об умном мужике, усердно рубившем сук, на котором уселся. Этот мужик, уму которого дивились проезжие и прохожие, — несомненно, «общий предок» всех тех философствующих по Платону и Канту натуралистов. Нетрудно найти прототип еще более первобытный: это — попугай, наученный смеюшиться над ним шалунами кричать, что он дурак. Увы! — такова судьба всех попугаев, попадающихся в руки дурным шутникам: все, бедняжки, выучиваются кричать с восторгом, что они — дураки.

Невинные птички, сколь злосчастлива их участь! — подумает иной.

Нет, нимало. Они счастливы: они так умны. Они совершенно довольны собой.

Но бросим же, бросим, наконец, их попугайскую философию.

И вернемся к Ньютоновой гипотезе. Мы можем теперь по достоинству оценить важность сомнения массы натуралистов, прав ли Ньютон.

Люди, сбитые Кантом с толку до того, что уж не знают, действительно ли существует Солнце, или только «кажется» им, будто бы оно существует, — такие люди, конечно, вполне способны не знать, прав ли Ньютон.

Следовало бы изложить историю Ньютоновой гипотезы. Разумеется, не с нынешних астрономов началась эта постыдная для астрономии, для математики, для всего естествознания болтовня: «прав ли Ньютон, неизвестно».

Но так и быть. Обойдемся и без истории этой умной болтовни.

Это была, разумеется, и в старые времена до постыдности глупая болтовня. Но лишь пустая, глупая болтовня, не имевшая никакого реального значения, по крайней мере, с той поры, как измерен был градус меридиана под полярным кругом, — раньше половины прошлого века, она стала вовсе пустою. Педанты болтали: «Ньютонова гипотеза — лишь гипотеза», — были счастливы, что выказали эту премудрую фразу свое непостижимое простым смертным глубокомыслие, — и этим невинно-

глупым самовосхищением кончалось у них все дело. Реальных замыслов воспользоваться своею болтовнею для переделок астрономии по своему вкусу, во славу себе, в погибель Ньютону, они не имели, добряки-простофили старого времени.

И если бы оставалось так, то, разумеется, не стал бы я ровно ничего говорить о Ньютоновой гипотезе. Что мне за надобность была бы защищать ее? — Никто не нападал на нее. Никто и не имел в мыслях ни малейшего сомнения о ее достоверности, неопровержимости. Лишь говорили пустой вздор и сами чувствовали, что говорят пустой вздор.

Но «в недавнее время» господа большинство натуралистов благоволило наделать столько великих — истинно изумительных — открытий, что не на шутку подверглось одурению.

Еще бы нет! — оно открыло, что «Лаплас прав»; оно открыло «единство сил»; оно открыло «молекулярное движение»; оно открыло «механическую теорию природы».

Все это было известно давным-давно всякому, желавшему знать.

И, например, даже в русских журналах, уж больше тридцати лет тому назад, были подробные трактаты о «единстве сил» и обо всем остальном, перечисленном мною.

Но масса публики лишь недавно вздумала вынудить массу господ натуралистов высказаться без ужимок и оговорок, высказаться прямо, ясно, решительно, что эти истины — действительно бесспорные истины. И у массы натуралистов закружились головы.

На том, что вы прочли, я остановился, услышавши: «завтра отправляется почта»; стал писать вашей маменьке, мои друзья.

Отделались вы, я полагаю, от моих вступительных рассуждений; хочу удовольствоваться теми бесконечностями скук, которые уж навел на вас; а сам я рад, что успел окончить мой отзыв о Канте и философии господ Кантовых попугаев — от Джона Гершеля (Да! — милые друзья: и Джон Гершель попугайствовал по Канту или философам худшим, нежели Кант) и Тиндаля (Да! и Тиндаля) до Дюбуа-Ремона (да! и Дюбуа-Ремона) и Либиха (да! Либиха, — великого, истинно великого Либиха), — рад, что успел написать мой отзыв обо всем этом и обо всех о них не на множестве листков, а на двух страницах.

Мало этого; чрезмерно мало. Но была бы скука вам, скука читать длинное изложение давно сданной в архив галиматшии Канта и еще худшей белиберды его попугаев.

И пусть будет довольно того чрезмерно сжатого, что написано мною об этом.

Если удержусь от возобновления вступительных рассуждений и от изложения философии господ попугаев, то, разумеется, мы быстро пройдем через все предисловие к истории: разумеется,

быстро: очень. Мне важно разбирать то, что действительно принадлежит естествознанию! Не знаю я и не хочу знать естественных наук, — я принимаю все содержание естествознания, как принимаю «теорию функций», — не зная, не разбирая, принимаю все, все, — но «естествознание», а не глупость, примешиваемую к нему попугаями; от этих попугаев, которыми изволят бывать по временам, — изволят, к позору для естествознания, на срам себе перед потомством, — изволят бывать — к прискорбию моему за науку и за них — многие великие специалисты по естествознанию, глубоко уважаемые мною за их скромные специальные работы, — от этих попугаев-философов противунаучного направления должен был я защищать естествознание.

И боязнь изнурить скукою вас помешала мне защитить его, как следовало бы.

Ну, пусть будет довольно того, что написал в защиту его.

А само, по своему специальному содержанию, естествознание очень мало мне известно и еще гораздо меньше того занимательно.

Я уважаю его больше, чем кто-нибудь из натуралистов, считающихся ныне лучшими его представителями. Но у каждого из ученых должно ж быть «самоограничение» в выборе предметов для своих ученых трудов. И я всегда считал себя не имеющим права тратить время на занятия естествознанием: я и без того не успел узнать десятой доли фактов и соображений, которые нравственно обязан был изучить по избранным мною предметам моих ученых занятий.

Потому, конечно, мы быстро пройдем все предисловие к истории человечества, если — если я не возобновлю моих вступительных рассуждений и не возвращусь к защищению естествознания от глупостей философствующей компании натуралистов.

Полагаю, воздержусь от обеих этих сук вам, мои милые друзья. Будьте здоровы. Жму ваши руки. Ваш *И. Ч.*

671

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

24 апреля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил твои письма от 6 и от 24 декабря, от 8, от 19 и от 22 января. Благодарю тебя, моя радость, за них; благодарю и за то, что ты заставляешь детей делать приписки к твоим письмам.

Дружок мой, разумеется, я люблю детей. Но извини меня, моя милая голубочка: ты ошибаешься, полагая, что известие об отъезде Саши на войну могло поколебать мое здоровье; — извини, в моем сердце очень мало места для личной любви к кому-нибудь, кроме тебя: все занято тобой, мое сердце. И моя любовь

к детям — это лишь отражение твоей любви к ним. Это похоже на то, как я любил твоего отца: ты любила его — ну, и я любил. Любовь моя к детям — ну да, конечно, любовь; но не моя, а только твоя.

И все, что я могу чувствовать о детях, — лишь повторение того, что чувствуешь ты. И — повторение слабое.

Ты перенесла отъезд Саши в армию, то у меня мало мыслей об отъезде его. Но ты слегла в постель от его отъезда, однакоже, хоть и перенесла, — и у меня чувствовалось несколько времени отражение твоей болезни: как будто нездоровится; ни малейшего нездоровья нет, но нехорошо чувствуется мне в плечах, — будто я устал, как устал бы от продолжительной ходьбы или если бы утомился физической работой.

Это вовсе не то, моя милая, что мои впечатления, относящиеся собственно к твоему здоровью. Я понимал: то, что ты от огорчения отъездом Саши слегла в постель, не какое-нибудь расстройство собственно твоего организма; это не опасное что-нибудь; это пройдет безвредно; прошло, то и прошло, и следов не осталось.

А собственно твое здоровье, — твое, — не какие-нибудь влияния посторонних твоему организму дел или чувств, но состояние деятельностей твоего собственного организма, — это совсем иного разряда интерес для меня.

Дружок мой, извини меня: я люблю лишь тебя. Кроме любви к тебе, личных привязанностей у меня нет с того времени, как я познакомился с тобою. Когда-нибудь я поговорю о моем странном — действительно странном — чувстве моем к тебе — вот, посмейся: — поговорю с ученой точки зрения. Тогда ты поймешь его, если не бросишь мою диссертацию со словами: «Вот скука-то! И глупость, должно быть».

Вот я и посмеялся над собою. Потому что, разумеется: я полагаю, что ты будешь права, решив так о моей будущей диссертации и бросив ее без прочтения. Но я напишу ее. Получишь. — О, моя милая: мое чувство к тебе странное.

Вот через несколько дней ты будешь думать: «Ныне день нашей свадьбы». А я никогда не хвалил тебя за то, что ты распустила согласиться на мои просьбы принять мою любовь к тебе.

Но ты не можешь представить себе, как порадовала ты меня, написавши о том, что над твоими словами, сколько тебе лет, смеются, кто не знает, что не мистификуешь ты, а говоришь правду.

Как согласить этот оттенок моего чувства к тебе с тем, что я советовал тебе не принимать моего предложения?

Это, мой друг, все я разъясню с ученой точки зрения в той диссертации.

Но вывод из всей диссертации будет — проповедь тебе, что ты должна получше, нежели делала до сих пор, заботиться о твоём здоровье? — В этом, вероятно, ты не ошибаешься.

А пока та — вероятно, неизбежная и в той диссертации, как в моих мыслях каждый день с утра до ночи, — обличительная проповедь тебе будет написана, — исправься же, моя милая голубочка, так, чтобы могла ты по совести написать мне, что обличения мои несправедливы, что ты делаешь для своего здоровья все, что обязана делать.

И, во-первых, ты обязана не хандрить.

Старайся быть веселенькою, моя милая голубочка.

Скоро, вероятно, надобно будет отдать письмо на почту.

И, вероятно, успею прибавить лишь несколько строк.

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо.

Напишу по несколько слов детям. — Успел написать им, каждому, довольно много.

В письме к Саше, — не в записке ему о том, какие книги я получил, а в письме к нему о нем, — написал я две, три строки, в которых повторяю мое суждение о его поездке в армию. Повторение это значит: я очень порицаю его. Иначе довольно было сказать раз. Хорошо ли он поправился после болезни? Если еще не вполне окреп, то три строки могут быть тяжелы для него. Ты прочти их, прежде чем отдать ему письмо. Они почти в конце письма; на второй странице, 10-я строка снизу, и две, принадлежащие к тому же маленькому параграфу. Рассудишь, что может он не почувствовать их тяжелыми, то отдашь письмо. А увидишь, что лучше не читать ему тех трех строк, то брось все письмо к нему, — весь листок — в печь.

Тороплюсь писать. Потому и намазал каракули свои даже безобразнее обыкновенной своей каллиграфии.

Будь здоровенькая, моя милая голубочка, и я буду счастливейший человек на свете.

Крепко обнимаю тебя, моя милая Лялечка, и тысячи и тысячи раз целую.

Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

672

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

24 апреля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Саша,

Вероятно, ты делаешь хорошо, рассуждая, что курс Инженерской школы будет полезен тебе.

Вообще, мой милый, я расположен только хвалить тебя. И, вероятно, вперед ты будешь постоянно рассудителен, так что я буду все только хвалить тебя.

Твои выражения «Вы простите меня» — за твою поездку на войну, — «прошу Вас простите меня» и т. п. — относительно

отца, по моим понятиям, неуместны. Отец — не мать. С отцом почтительность — дело, без которого очень можно обходиться сыну. Отец — лишь приятель.

Мать — совершенно иное. Собственно говоря, мать — существо священное. Это, с нравственной точки зрения, потому так, что чувство матери к детям — совсем иное, нежели чувство отца.

Кроме того, есть точка зрения материальных обязанностей. И с этой точки зрения, то же самое: мать — существо священное.

Не вообрази, мой милый, что я назидая тебя, собственно, о том, что надобно любить мать. Нет: я полагаю, что толковать тебе об этом я не имею надобности. Я говорил те назидания, собственно, для разъяснения тебе моих понятий о том, что такое отец. Это — приятель.

А для чего понадобилось мне толковать о том, что такое отец? Вот для чего:

Твоя маменька и ты, вы совершенно ошибаетесь, воображая, будто твоя поездка в армию была обстоятельством, относительно которого я судил и чувствовал что-нибудь личное.

Твоя маменька имела личные чувства относительно этого.

Я не имел. Кроме того, разумеется, что жалел о твоей маменьке.

Дружок мой, я писал тебе: я ученый, и сужу о твоей поездке в армию, как ученый.

Все остальное, что я лично о себе говорил по поводу этого твоего поступка, не важно. И, так как эти неважные мои личные мысли и чувства отвлекли твое внимание от того, что говорил я, как ученый, то ты отбрось их: я вижу, что они были вовсе лишние для чтения тебе, лишь помешали тебе понять единственную важную мысль мою о твоей поездке в армию. Отбрось их и перечитай те мои письма с целью вникнуть в ученое мое суждение.

Теперь пора отдать письмо на почту. Потому отлагаю повторение того ученого моего суждения до другого раза.

Мой милый, рассудительность — вот все, чего я желаю от тебя или Миши.

Не воображай, что когда бы то ни было я одобрял какие бы то ни было увлечения.

Никогда, никогда этого не было.

Говорят: «благородные увлечения прекрасны». — Мой милый, это лишь туманная фраза, в которой совмещены понятия несовместные.

«Но Горацій Коклес защищал свою отчизну; но Курций бросился в бездну». — Да. Но это не было «увлечение», это была «потребность природы» этих людей. И дела их были нужны, — не им самим, а их родине.

А например, Лермонтов, идущий на дуэль, — заслуживает ли сочувствия? — Это, извольте видеть, нравится ему! — Из-за того, что «нравится» давить мух, давили мух некоторые люди. И за то, что нравилось им давить мух, признаны они дурными людьми.

А убивать — не турок русскому, но русских русскому — хорошо? — Это не о Лермонтове. Это о тебе. Ты воображал, что едешь убивать турок. Ты ошибся, мой друг.

Друг мой, ты написал, что твоя поездка в армию была полезна тебе. Ну, если была полезна, то прекрасно.

Пользы тебе я желаю. Но не желаю тебе иметь никаких «увлечений», — никаких.

Кроме, разумеется, увлечений маловажными забавами вроде театра, шахматной игры, танцев или сигар, кофе, конфект. Такие увлечения хороши — все равно, что вздремнешь, и чувствуешь себя свежее, веселее.

Будь здоров, жму твою руку. Твой Н. Ч.

673

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

24 апреля 1878. Вилюйск.

Милый мой друг Саша,

Я получил следующие книги:

«История землевладения русских крестьян» и т. д. Кейслера (по-немецки).

Дружок мой, надоело мне все подобное. Тошнит меня от «крестьян» и от «крестьянского землевладения». Это о предмете книги. А автор книги — осел. Я читать книгу не хотел, хоть думал, что она писана хорошо. Но развернулась книга, по моей небрежности, попались на глаза какие первые попались строки, — и вышло: автор книги — осел. (Я читал похвалы книге. Но похвалы вздорны, это видно и по двум строкам ее, прочтенным мною.) Читана мной она не была бы, если б и была умна. От предмета ее тошнит меня, тошнит.

Яносона, опыт статистического исследования о крестьянских делах. — Книга, вероятно, хорошая. Но прочтено мною не будет ни одной строки из нее. От предмета ее тошнит меня, мой милый друг, — я говорил. Не осуди меня за то, что тошнит меня от этого предмета. Как быть! — Тошнит.

Профессиональная гигиена, Эрисмана. Эту книгу прочту. Благодарю за нее.

Индийские сказки, Минаева. — Такие сборники напрасно издаются отдельными книгами. Это лоскутки, пригодные лишь для специального журнала. — Автор полагает, что слово боу, кото-

рым кличут англичане на Сейлоне трактирного слугу, искаженное санскритское слово, смысл которого он разыскивал, но так-таки и не открыл. Если он по-камаонски знает так же, как по-английски, то сказки записаны и переведены хорошо. — Воу, слуга, — «парень», «малый» — не знать этого слова, доехавши до Индии с англичанами! Это мило. — Автор не читал «Сказок тысячи и одной ночи!» — Так хорошо приготовился он к изучению сказок. Это ребенок, должно быть. У кого есть лишний пятак, сделает доброе дело, купивши и подаривши этому дитяти конфетку. Последние песни Некрасова.

За эту книгу благодарю, разумеется.

«Unsere Zeit» №№ 4 — 17, 1877. И за эти, конечно.

Но, разумеется, мой милый, благодарю и вообще за все при- сланные книги. Видно, что в выборе их было приложено усерд- ное желание угодить на мой вкус. Это главное. И благодарю за это.

Но, мой милый друг, не тратьте денег на присылку мне книг о «землевладении» или о «крестьянах» — серьезно говорю: тош- нит меня от них.

Жму твою руку.

Будь здоров. Милый дружок, много я обижаю тебя. Ну так и быть. Твой Н. Ч.

674

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

24 апреля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Миша.

Твоя маменька пишет, что ты желал бы поступить лучше в одну из специальных высших школ, чем в университет.

Есть специальные школы, которые отличаются от универси- тета лишь именем и особенными служебными преимуществами, какие дают воспитанникам. Эти школы могут, по достоинству своих профессоров или по каким другим причинам, быть в хо- рошем состоянии или плохом. Но то же самое и с университе- тами: иной в иное время хорош, иной — плох. Это уж истори- ческие подробности.

Но, по сущности самого дела, специальные школы, подобные факультетам университетов, те же университеты. Таково, напри- мер, Училище правоведения. Против таких школ я ничего не имею. — И если ты желаешь поступить в Училище правоведения, то я хвалю тебя.

Только я не знаю: допускается ли ныне поступление прямо в высшие курсы Училища правоведения? — Прежде этого не было. Воспитанники принимались только до какого-то детского числа лет, — до одиннадцати? до двенадцати?

Или ты хочешь поступить в Медицинскую академию? — Что ж, и это все равно, что университет.

Чем дорог университет, чем дорога высшая школа, как Училище правоведения, подобная университету? — Люди привыкают там думать, как думают вообще все рассудительные люди; привыкают быть благоразумными людьми.

В этом главное значение образованности.

Будь здоров, мой милый.

Ты писал мне, как проводишь время. И проводишь ты время благоразумно, прекрасно. Благодарю тебя за то.

Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

675

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

14 мая 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Думаю, — разумеется, о чем: каково-то поживаешь ты, моя радость, и главное: каково-то твое здоровье!

Мое совершенно хорошо. И живу я удобно, с комфортом.

Здесь началась весна. Снега уж не видно нигде в окрестности. На реке лед уж почти совсем прошел.

Деревья еще не распустились. Но травка уж показалась. Есть и цветочки. Здешняя флора, конечно, не очень богата ими. Но все-таки есть много видов их. Некоторые очень миленькие. Я мало знаю их по именам.

И вот, например, не знаю, как называется этот вид цветков, который везде, — и здесь, — первый является приветствовать возвращение весны. — Несколько дней тому назад нашел я три такие цветка. Положил их в книгу. Они высохли хорошо. Только не поломаются ли в дороге? — Путь почты отсюда до Якутска очень труден все теплое время года. А весною в особенности. Но, быть может, и случится почтовому тюку не подвергаться таким толчкам по рытвинам, перепутанным кореньями деревьев, чтоб слишком гнулись лежащие в нем письма. Если так, то не пострадают те три цветка. Я вложу их в это письмо.

Покажутся другие виды здешних цветочков, буду собирать, посылать тебе. Есть в самом деле хорошенькие; гораздо лучше этих.

Я много гуляю.

Заботься ты, моя милая голубочка, о соблюдении правил гигиены. Будешь заботиться, то я буду совершенно счастлив.

Подумываю немножко и о детях. Немножко, сравнительно с тем, сколько думаю о тебе. А если говорить, не делая сравнения, то что ж, разумеется: я очень люблю детей.

Только если мое чувство к тебе называть любовью, то чувство мое к детям вовсе не стоит называть этим именем.

Напишу им по несколько слов.

Весенний путь почты отсюда до Якутска такой трудный, не может, конечно, не быть медленным. И, чтобы медленно доехавшее до Якутска письмо это быстро совершало всю остальную дорогу, пусть оно будет коротенькое.

Заботься, заботься о своем здоровье, моя милая голубочка.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя, моя радость.

Целую твои ножки, моя Лялочка. Твой *Н. Ч.*

676

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

14 мая 1878. Вилюйск.

Милый мой Саша,

Окрепло ли твое здоровье? И помнишь ли ты, что тебе долго, долго следует держать себя не как здоровому, а только все как еще лишь выздоравливающему?

Это одно важно изо всего, что относится лично до тебя. Все другие твои дела должны быть для тебя маловажны сравнительно с этою твоею надобностью.

И напиши мне хорошенько о состоянии твоего здоровья и о твоих заботах упрочить его. Хорошенько напиши. Обстоятельно.

Целую тебя, мой милый друг. Твой *Н. Ч.*

677

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

14 мая 1878. Вилюйск.

Милый мой Миша,

Я когда-то советовал тебе и твоему брату заботиться о том, чтобы приобрести привычку читать по-французски, по-английски и по-немецки так же легко и с такою же приятностью, как по-русски. Твоему брату теперь не следует утомлять себя ничем, даже самым безвредным из всех умственных утомлений, продолжительным чтением беллетристических книг. Но тебя я спрошу: много ли ты прочел в подлиннике — например, из французской беллетристики: романов Жоржа Занда? — Из английской: романов Диккенса? — «Они устарели». — Они устареют, когда явится что-нибудь написанное с таким же талантом, с таким же умом, с

такую же честностью. У немцев таких романистов не было в нашем столетии. Но Шпильгаген — не бездарен. Быть может, и Цахер-Мазох; но я читал из него слишком мало; лишь два крошечные рассказа (в русском переводе). Эти рассказы очень понравились мне. Особенно «Лунная ночь». — Во всяком случае Цахер-Мазох много выше Флобера, Зола и других модных французских романистов (из которых Доде уж вовсе пошляк). А Шпильгаген, — это я говорю положительно, — не бездарен. И все те французы в подметки ему не годятся. — Но что советую тебе читать, надобно читать все в подлиннике.

Целую тебя, мой милый. Твой Н. Ч.

678

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

17 мая 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил твое письмо от 5 февраля и письмо Саши с припискою Миши от 12 февраля.

Козак, который привез эту почту, отправляется, не отдыхая, назад в Якутск. Потому я успею, вероятно, написать лишь несколько строк.

Радуюсь тому, что твое здоровье, моя милая голубочка, довольно хорошо перенесло эту зиму. Но только «довольно хорошо», — это я вижу из подробностей о том, как проводила ты холодное время года. Надобно, чтобы вперед ты была вовсе здорова. Заботься об этом.

Хорошо, что здоровье Саши поправилось. Но внушай ему, друг мой, чтоб он не воображал, будто б уж оно достаточно окрепло. Нет, южная лихорадка не исцеляется так быстро: она очень долго остается в организме, затаившись и готовая развиться с новою энергиею при малейшем поводе. Необходимо несколько лет большой гигиенической осторожности, чтоб она действительно исчезла.

Хвалю Сашу, что он опять занялся честным делом, как следует благоразумному молодому человеку: заботится об устройстве своей карьеры, о приобретении куса хлеба. Желаю ему оставаться впредь непоколебимым в этом рассудительном образе поступков.

Но прошу его помнить, что он еще только выздоравливающий и что поэтому он должен не утомлять себя излишним трудом. Пусть поменьше заботится о скором устройстве своей карьеры, пусть будет приобретать мало денег, — пока его здоровье вовсе окрепнет.

Целую его и Мишу.

Хвалю Мишу за то, что он ведет благоразумный образ жизни.

О моем здоровье не беспокойся, милая моя голубочка: оно превосходно. И останется таким. Я умел жить благоразумно в моей юности: не портил организма никакими ни пороками, ни глупостями. И силы мои остались неповреждены, не истрачены.

А теперь я живу, соблюдая все правила гигиены.

Денег у меня много. Прошу тебя и детей не присылать мне их. То же и о всяких вещах, какие нужны для комфорта: у меня все в изобилии. Прошу не присылать мне никаких вещей.

Заботься о своем здоровье, моя милая голубочка, и я буду совершенно счастлив.

Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Лялочка.

Будь здоровенькая и веселенькая.

Целую твои ножки. Твой Н. Ч.

679

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

29 мая 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Каково-то поживаешь ты?

Только об этом все мои раздумья.

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо. Денег и всего, что нужно для комфорта, у меня много.

Весна здесь уж в полном своем развитии. Не великолепна она здесь, правда. Но все-таки и здесь она хороша.

Недели через полторы можно будет начать купаться. Я не умею делать ничего, чего может не уметь делать человек. Поэтому плавать не умею. И даже не постигаю, как могут другие обладать таким мудреным искусством. Но река здесь очень удобна для препровождения времени в ней неумеющему плавать: на много сажень от берега вода имеет всего аршин глубины; дно ровное, песчаное. И можно прогуливаться в воде вдоль берега, сколько достанет охоты. Говорят, что на глубине двух аршин вода реки остается все лето холодна. На это постоянно жалуются здешние простолюдины, каждый год расчищающие в нескольких местах дно реки для ловли рыбы сетями. Но у берега, до глубины в аршин, каждый ясный день летом вода бывает очень теплая. Ночью остывает. Но днем становится так тепла, что можно оставаться в ней по три, по четыре часа сряду, не

озябнув. Это приятное развлечение, даже и при моем неуменье плавать.

Вчера я совершил гастрономическое открытие. Здесь очень много смородины. Иду я между кустами ее и вижу: она цветет. Мне вздумалось нагнуться, рассмотреть форму ее цветков, которой, разумеется, я не знал хорошенько. Нагнулся и рассматриваю. А с другого отростка лезет мне прямо в губы другой гроздик цветков, окаймленный молоденькими листками. Я и попробовал, вкусно ли будет все это вместе, цветки с молоденькими листками. И съел; мне показалось: это походит вкусом на салат; только много нежнее и лучше. Салата я не люблю. Но это понравилось мне. И обглодал я куста три смородины. — Открытие, которому едва ли поверят гастрономы: смородина — это самый лучший сорт салата. Но я дельвал по части гастрономии открытия даже замечательнее этого. Однажды сидел я за великолепным обедом. Все пьют вино. Я рассудил: надобно и мне для соблюдения приличия налить вина в рюмку и хоть немножко отпить из рюмки, чтобы хозяин видел: я исполняю его приглашение, пью. Хорошо. Взял я бутылку, не посмотревши, какую беру: налил рюмку, поставил бутылку на место; отпил из рюмки и, рассудивши, что это мадера, сказал хозяину: «Вот, видите, я пью; да еще мадеру, а не то, что какое-нибудь слабое вино». — Все расхохотались, и сосед по месту за столом показал мне на ярлык бутылки, из которой налил я мою рюмку. Оказалось: то, что я принял за мадеру, было пиво, простое, обыкновенное русское пиво. Кто-то из гостей был охотник до простого пива и для него поставили эту бутылку, подвернувшуюся под руку мне.

Этой своей ошибке я уж и сам дивился: ну, как же, в самом деле, не знать разницы вкуса пива от вкуса мадеры? — Но вышло: я не знал.

Действительно, смешной человек.

Но хоть и люблю я думать о забавных вещах и смеяться, — веселое настроение духа будет постоянным у меня только тогда, когда я буду знать, что твое здоровье совершенно окрепло.

А теперь иногда я не бываю веселым. От раздумыванья о твоём здоровье.

О детях нечего мне думать: Саша выздоровел; и он, и Миша пишут мне вещи рассудительные; я надеюсь, будут благо-разумны, и жизнь их устроится хорошо.

Целую их.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая Лялечка.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя.

Будь здоровенькая.

Целую твои ножки. Твой Н. Ч

680

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

7 июня 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Раздумываю о том, каково-то твое здоровье.

Сам я совершенно здоров и живу очень хорошо.

Я полагал, что почта отправится еще не скоро. А вот мне сказали, что она отправится через час, через полчаса.

Тем лучше.

Но длинных писем к тебе и к детям, начатых у меня, нет времени кончить к отъезду нынешней почты. И я заменяю посылку их тем, что пошлю вот это, которое пишу наскоро. А те длинные вырастут к следующей почте еще длиннее, чем были б, если б успел я дописать их ко времени, когда пойдет, рассчитывал я, эта почта, которая вот успела быть готовой в путь двумя сутками раньше, чем я рассчитывал.

Милый мой дружок, заботься о своем здоровье.

Не располагаешь ли провести зиму, которая будет уж близка, когда ты будешь читать это письмо, — не располагаешь ли провести ее в теплом климате? Это было бы очень полезно тебе.

Дети, я надеюсь, здоровы. Целую их.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя, моя радость.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою.

Целую твои ножки, моя милая Лялочка. Твой Н. Ч.

681

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

3 июля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил твои письма от 12 и 15 марта, от 4 и 16 апреля. Благодарю тебя за них, моя радость.

По почерку ты видишь, что я очень тороплюсь писать: почта сейчас отправляется.

Отвечать на твои письма и на приписки детей и брата Сашеньки буду со следующей почтою. Теперь скажу только вообще, что хвалю все твои распоряжения и планы по устройству твоих денежных дел.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, и все будет прекрасно.

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо.

Целую детей. Целую братьев и сестер.
Целую руки у тетеньки. Целую дядю.
Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя, моя Лялочка.
Целую твои ножки.

Твой Н. Ч.

682

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

18 июля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

В прошлый раз я успел лишь в самых коротких словах написать тебе, что я получил твои письма от 2 и 15 марта, от 4 и 16 апреля, с приписками детей и брата Александра к ним, и похвалиться, что в следующий раз отправлю длинные письма к тебе и к детям.

Вот слышу: «ныне отправляется почта». А длинное письмо к тебе написано у меня лишь меньше чем наполовину. Письмо к детям остается подвинувшимся еще не дальше первой страницы.

Видишь ли, в чем дело: погода прекрасная; и пользуюсь я ею, чтобы гулять с утра до ночи. А день — почти круглые сутки. И остается у меня от моих прогулок лишь время соснуть.

Для чего я гуляю с таким усердием? — Для того, чтобы иметь возможность по чистой совести сказать тебе: подражай моему примеру.

Терпеть не могу гулять. И если бы не принуждал себя, то оставался бы безвыходно в своей комнате по целым неделям. Но вот гуляю ж каждый, каждый день, с утра до ночи, с утра до ночи, лишь с перерывами для питья чаю и для еды.

Бери пример с меня, моя радость, и здоровье твое будет превосходное.

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо. Денег и всяких надобных для удобства вещей у меня большой запас. Прошу тебя и детей, не присылайте мне ни денег, никаких вещей.

Хвалю, мой друг, твои хлопоты о том, чтобы устроить обстановку твоей жизни поудобнее прежнего.

Целую детей. Напишу им по два слова.

Написал. По два слова. Больше не успел. Пора отдать письмо на почту.

К следующему разу длинное письмо к тебе уж наверное будет у меня готово. За то, что успею приготовить и длинное письмо к детям, не хочу ручаться. — Погода, в самом деле, прекрасная. И хоть нет мне никакой надобности заботиться об укреплении моего здоровья, потому что оно и без того крепко, но дышать чистым воздухом все-таки хоть и не нужно мне, и очень скучновато мне, — все-таки хорошо.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая радость, и все будет прекрасно.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя.

Целую твои ножки, моя милая Лялочка.

Будь здоровенькая. Твой Н. Ч.

683

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

18 июля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Саша,

Хвалю тебя за твою решимость добывать себе кусок хлеба честным, скромным трудом. Это благоразумнее всего, но и благороднее всего.

Благодарю тебя за твое рассудительное решение. Будь здоров.

Целую тебя и жму твою руку. Твой Н. Ч.

684

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

18 июля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Миша,

Хвалю тебя за то, что ты хочешь окончить курс в гимназии.

Не знаю, до какой степени омерзительна тебе гимназия. А по моему, школьное учение вообще, и гимназическое в частности, — вещь омерзительная.

Омерзительны гимназии. И университеты тоже. Не то что русские в особенности, а всякие, от Пекинского до Акапульского, если в Акапулько есть университет.

Но все-таки это самые лучшие курсы учения — гимназия и университет.

Будь здоров. Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

685

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

25 июля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Очень хорошо ты делаешь, что пишешь мне о своем здоровье всю правду. Впрочем, и хвалить тебя за это не надобно, потому что неправды не можешь ты говорить; — справедливо, что и

хвалить человека не надобно за то, что он поступает так, как не может не поступать?

Такого правдивого человека, как ты, моя милая радость, я не знавал никогда другого. А очень правдивых людей я знал довольно многих. И всех их очень любил.

Наиболее правдивый из всех был Добролюбов. Я любил его сильнее, чем Сашу или Мишу. Нравится это тебе? Обидно для наших с тобою возлюбленных детей? — Обижайся за них. Но сколько я могу разобрать мои чувства, это так: тогда я любил их меньше, нежели его. (Любил их тогда. Они были еще маленькие дети. А у меня, ты знаешь, к маленьким детям, вообще, меньше любви, чем к большим.)

Необыкновенной правдивости человек был Добролюбов. Но до тебя ему было далеко.

А как ты думаешь о том, что такое правдивость? — я нахожу, что это — сила характера у честного человека. Полагаю, что и по-твоему это так.

Заметила, к чему идет дело?

Если ты захочешь быть так превосходно здорова, как следует тебе быть по твоему, очень крепкому от природы здоровью, легко будет тебе сделать такое улучшение в твоём здоровье. Силы характера достанет у тебя. А дело зависит — или главным образом, или даже исключительно — от твоей воли.

Твое здоровье всегда было такое, каково было твое душевное настроение. Весела ты, болезнь быстро исчезает. Печальна ты, — и ты делаешься больною. — Скажешь себе: — «не хочу хандрить», — и болезнь опять быстро исчезает.

Так бывало всегда.

Я не говорю, мой милый друг, что у тебя нет огорчений. Но я говорю, что если ты захочешь, у тебя достанет силы характера одолеть твою грусть.

Ты говоришь, что ты стала вовсе не прежняя, ничего на свете не боявшаяся. Так тебе кажется; это, разумеется, факт: тебе кажется так. Но, мой друг, на самом деле таких перемен с людьми не бывает. Трус никогда не делается действительно смелым человеком. Могут лишь быть обстоятельства, при которых нет поводов обнаруживаться перед другими ли, перед ним ли самим, что он труслив. Я своими глазами каждый день по нескольку раз в продолжение нескольких месяцев видел, как заяц гоняется за собаками и, догнавши, бьет их. Он бил их переднею лапкою, как дерется лев, как дерется медведь. Пока это зрелище не надоело, это стоило смотреть. Перестал ли бедняжка быть трусишкой? — Нимало, я полагаю. Но собак били, когда они в первое время по водворении этого жителя в их комнату (они жили с людьми, в комнате, хоть были простые дворянжки) подходили к нему. Они тотчас поняли: как увидят их подле зайца, будет им битье. Перестали подходить к нему. Он стал расхаживать

вать по комнате, не обращая на них внимания. Случалось, не заметив, подходил близко к собаке. Собака уходила. Дальнейшее развитие львиных качеств души в зайце понятно. Он геройствовал, спора нет. Я любовался и восхищался. Но он совершенно заблуждался, если думал, что перестал быть жалчайшим в мире созданием, бедняжкою — трусом зайцем.

Трус не может стать храбрым. Это все равно, что цвет кожи, цвет глаз. Это у человека на весь век, неизменно.

Но при искусственном освещении дрянной серый цвет лица людей с грубою, шероховатою кожею может казаться белым. И оловянные глаза в полусумраке, при ловко выбранных позициях, могут казаться черными.

Возможно. И даже не трудно. Только — иллюзия.

Согласна, мой друг: зайцу не быть смельчаком горностаем, который отважно идет на бой с громадною собакой и с хозяином собаки, спешащим на защиту ей, как я сам видел; — согласна, мой друг, не быть никогда трусу мужественным?

А если так, то не может стать смелый человек робким. Не может.

Не может. Как не можешь ты стать блондинкою, так не можешь ты, мой милый друг, стать робкою.

Но ты говоришь, ты пугаешься теперь всяких переправ через реки, пугаешься всякого толчка экипажа в каждую маленькую рытвинку дороги. Это факты, которые, разумеется, совершенно верны. Только ты ошибаешься, объясняя их робостью твоею. Это — легкие пароксизмы истерики.

Быть может, мой друг, истерика подразделена теперь в медицине на разные виды с разными названиями, и тот род болезненных ощущений следует называть не собственно истерикою, а каким-нибудь термином, похожим на термин «морская болезнь», например: «болезнь от порывистых перемещений центра тяжести тела» или «от толчков экипажа». И сам я нахожу, что термин истерика не вполне соответствует делу. Это не собственно истерика; нечто в том же роде, но несравненно менее важное. Только то, мой дружок, верно: это не относится к характеру, это просто болезненные ощущения человека, здоровье которого не так хорошо, как следует быть.

Но это все лишь очень маловажные соображения сравнительно с тем, что вообще твоя воля имеет очень сильное действие на физическое твое состояние. Ты и сама постоянно замечала, что так.

А воля у тебя — железная, мой дружок. Захочешь, то можешь.

Только «стоит ли хотеть?» — думается тебе. Анализируй свои чувства и найдешь: под ними мелькает эта мысль: «стоит ли хотеть? Не все ли равно? Больна, то пусть и буду больна. Все равно».

Это — действие малокровия. Его влияние на человека — именно такое настроение души.

Мы с тобою не медики. Но припомним, какое чувство овладевает нами, овладевает всеми людьми в минуты усталости; это самое: «ничего не хочу; все равно; не стоит хотеть ничего». — Усталость — это мимолетное малокровие. Малокровие — это постоянная усталость.

То будем же различать: «действительно ли не стоит желать быть человеком крепкого здоровья?» — и: «Когда мы имеем малокровие, нам чувствуется, будто бы все равно».

И постараемся не придавать мыслям нашей усталости, мыслям нашего малокровия, реального значения которого, на самом деле, не имеют они; постараемся рассеять эти впечатления, постараемся о том, чтобы у нас было побольше впечатлений от светлых, освежающих наши силы фактов жизни природы и жизни людей.

Я порадовался, что ты, моя милая, поехала провести часть лета в деревне с людьми, которые нравятся тебе, среди — я надеюсь — хороших лугов и, если не лесов, то рощ.

Попадались на глаза тебе переведенные на русский язык и помещенные в майской книжке «Отечественных записок» 1875 года стихотворения немецкого поэта, — девушки или дамы; кажется, девушки — Ады Кристен? Некоторые из них — не знаю, каковы в подлиннике, а в переводе — плохи. Но многие и в переводе прелестны:

Пестрота цветов душистых,
Сосны, чистый воздух гор,
Звон кругом ключей серебристых,
Зеленеющий простор,
Переливы света, шелест
Тихо шепчущих ветвей,
Счастье, жизнь и щебетанье
Вольных воздуха детей,
Горы, солнце! — о, чудесной
Силой вы одарены
Врачевать недуги сердца,
Отгонять все злые сны.

Счастье ль это, свет души,
Что дрожит в моих мечтах —
Как ребенка тихий смех,
Как пчелы полет в цветах?
Иль согрелась вновь душа
Вслед за страшною зимой
И ко мне вернулась вновь
Юность с сладкою тоской?

Перевод не очень хороший. Но пьесы эти все-таки прекрасны.

Пора отдавать письмо на почту. — Напишу по несколько слов детям.

Ты пишешь о моих дяде и тетке. Скажи дяде, что я целую его. Скажи тетке, что я целую ее руки. Скажи им, что я помню добро, которое они делали мне в моем детстве, в моей молодости.

Будь здоровенькая, милая моя радость.

Крепко обнимаю тебя и тысячи, и тысячи раз целую, милая моя Лялечка.

Целую твои ножки.

Чуть не забыл прибавить, что я совершенно здоров и живу очень хорошо. Твой Н. Ч.

686

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

25 июля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Саша,

Трудно тебе устраивать твою карьеру. Как быть!

Повидимому, ты стал уж солидным молодым человеком. Радуюсь этому, друг мой.

Ты говоришь, что чувствуешь: надобно тебе приобрести гораздо больше сведений, чем имеешь ты. Это надобно всегда, каждому из нас, молодых ли, не молодых ли, старых ли. О молодых, еще не забывших своего школьного времени, можно прибавить то, что, чем скорее забудут они думать о том, хороши ли, плохи ли школы, в которых учились они, тем лучше.

Школьные годы — трата времени; необходимая, но пустая трата. Знаем мы лишь то, что узнаем помимо школ, из жизни, из дружеских разговоров, из порядочных книг, в числе которых школьных книг нет.

Досуг ли тебе учиться? Или все твоё время поглощается работами о добывании себе куска хлеба? — Не знаю. Если и поглощается все, не жалея много о том. Лишь бы не был труд велик до чрезмерной утомительности. Учиться никогда не поздно. Обеспечишь себе пропитание, успеешь учиться, сколько душе угодно.

А если есть досуг у тебя и теперь, то: разумеется, я не против цеховых учебных предметов, насколько надобно заниматься ими для лучшего добывания куска хлеба; настолько, насколько это надобно, это хорошо.

Но наука не в цеховых отраслях знаний. В них — сапожное мастерство, парикмахерское мастерство, мастерство по словоговорению с какой-нибудь профессорской кафедры, балетмейстерское мастерство и так дальше. Все эти профессии достойны уважения. Но с наукою у всех у них одинаково много общего.

Читать плохие романы — едва ли не полезнее в научном отношении, чем трудиться над цеховыми учениями. А порядоч-

ные романы неизмеримо выше в научном отношении, чем цеховые квартанты.

Но не собственно о романах я попросил бы тебя написать мне, какие ты читаешь и какие особенно понравились тебе; желал бы я знать и это. Но главный предмет, о котором я желал бы узнать: привык ли ты читать по-французски, по-немецки, по-английски, как по-русски?

Впрочем, друг мой, это менее важно, чем кусок хлеба.

Желаю тебе устроиться так, чтобы не нуждаться в нем.

Будь здоров. Целую тебя. Жму твою руку.

Твой Н. Ч.

687

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

25 июля 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Миша,

Весною ты рассчитывал, что летом перейдешь в следующий класс. — Перешел? — Хорошо. — Не перешел? — Важность лишь в том, что на год отсрочилась пора добывания хлеба своим трудом. Школы и школьные успехи — чистая формалистика. Пустая, но в житейском отношении необходимая.

Ты, повидимому, очень любишь театр. Это хорошая склонность. — Судя по твоему письму о Росси в шекспировских ролях, он сильно понравился тебе. Я видел, каким-то манером попавши в театр, Ристори. Вероятно, это артист той же школы.

Лучше Мартынова (нашего русского) и madame Volnys (француженки) я не видывал артистов. Он и она были, ты, вероятно, знаешь, не трагические артисты. Впрочем, и Мартынова и Вольни я видел мало. — Видывал я Арну-Плесси. Она не нравилась мне. Ристори была много лучше. Видел я знаменитого в свое время негра — Айра Ольридж, кажется, звали его. Он был, может быть, не хуже Ристори. — Впрочем, я так мало бывал в театре, что сужу — наудачу.

Твоя маменька пишет, что ты светский молодой человек, и изображает твои любезные качества в самом привлекательном виде. Да не смущается твоя скромность: я не верю, что ты действительно так мил. Но шутки в сторону: салоны и танцы — это не дурные предметы склонностей. Это честные и добрые развлечения.

Будь здоров, мой милый друг. Целую тебя. Жму твою руку.

Твой Н. Ч.

688

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

24 сентября 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Сейчас получил твои письма от 29 апреля, 1 мая, 11 июля и 13 июля. Благодарю тебя за них.

Почта спешит отправиться обратно в Якутск. И я успею написать тебе лишь несколько слов.

Я получил письмо от Сашеньки, моего брата, писанное 23 июня. Буду отвечать со следующей почтой. Благодарю за него. Целую детей.

Я совершенно здоров. Живу хорошо.

У меня были до половины уж написаны длинные письма к тебе и к детям. Дописывать их, нельзя успеть до отправления почты.

Будь здоровенькая и веселенькая.

Хвалю тебя за все, что пишешь ты о себе, моя голубочка.

Крепко обнимаю и целую тебя, моя Лялечка, тысячи и тысячи раз. Целую твои ножки.

Будь здоровенькая и веселенькая — и все будет прекрасно.

Будь здоровенькая. Целую твои ножки.

Твой Н. Ч.

689

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

5 ноября 1878. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил твое письмо от 14 августа. Благодарю тебя за него, моя милая радость.

Почта отправляется раньше, нежели я рассчитывал. Потому не успею докончить начатого длинного письма к тебе. И отлагаю отправление его до следующей почты, а теперь пишу — сколько успею — вероятно, лишь несколько строк. Число их будет зависеть от того, когда придут сказать мне, что почтальйон готов к отъезду.

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо. Денег и всяких вещей, надобных для жизни, у меня много. Прошу тебя, моя милая голубочка, не присылать мне ни денег, ни белья, ничего такого. У меня всего большой запас.

Это хорошо. Но мысли мои о том, как переносит твое здоровье зиму, одни только составляют важность для меня.

Благодарю тебя, мой милый дружок, за рассказ о том, как проводила ты лето. Повидимому, оно шло для тебя, хоть и скуч-

новато, но, в самом деле, не совсем тяжело, — по отношению к восстановлению твоих сил, о чем больше всего я раздумываю.

Ты говоришь: лето в Саратове было холодное. В этом саратовский климат и прежде бывал иной год неудовлетворителен. Но человеку с крепкими силами это менее заметно. Потому меньше замечала это ты, когда была физически сильна.

Неужели невозможно тебе, мой дружок, пользоваться климатом более теплым, чем саратовский? — Лето, хоть и холодное, все-таки сносно и в Саратове. Но зиму полезно было бы тебе проводить на юге, где нет и в декабре, и в январе ни снега, ни даже холодного дождя, где и зимою открыты балконы.

Ты пишешь, что цветы, которые я послал тебе в начале здешней весны, дошли до тебя, не изломавшись в дороге. Я собирал весною и летом цветы, которые были после тех первых. Собирал, не умеючи. Но все-таки набралось их у меня довольно много. — Только человек, плохо умеющий даже собирать цветы, сумеет ли сушить их? — Все те, окраска которых нежна или лепестки которых сочны, требуют такого искусства сушить их, какого нет у меня.

Из множества цветков, которые сушил я, оказались высохшими, не вполне утративши окраску, лишь немногие. Наименее красивые.

Но и по ним ты увидишь, что в теплое время года природа здесь все-таки не совершенно бедна растительностью.

Завертываю цветки в обложечки, как умею получше. То есть не так ловко, как следовало бы. Но надеюсь, что все-таки хоть некоторые цветки уцелеют в дороге, не изломавшись.

Пора отдать письмо на почту.

Целую Сашу и Мишу.

Целую дяденьку, тетеньку, Вареньку.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя, мой милый дружок, радость моя.

Когда я буду читать в твоих письмах, что ты совершенно здорова? — Я тогда буду самый счастливый человек на свете.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, милая моя радость.

Целую твои ножки, моя милая Лялочка. Твой Н. Ч.

690

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

25 мая 1879. Вилуйск.

Милый мой дружок, радость моя, Оленька,
Прости меня, что я делал огорчение тебе, не писавши тебе так долго. На то была единственною причиною моя воля не пи-

сать. Мотив этой воли был нисколько не важный. Но мне думалось, что это необходимо так сделать. Почему и для чего, напишу в следующий раз. А теперь едва успею написать еще несколько строк до отправления почты.

Я во все это время был совершенно здоров; жил попрежнему очень безбедно и во всех отношениях хорошо.

Благодарю тебя за твои письма. Радуеть ты меня, моя милая голубочка, тем, что твоё здоровье поправилось.

Благодарю детей за их письма. Целую их. Буду писать им в следующий раз.

Неутомимо пользуюсь весною, чтобы бродить по полянкам и опушке леса. Теперь природа и здесь хороша. Буду опять собирать цветы для отправления к тебе, мой милый дружочек.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, моя милая радость, и все будет прекрасно.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя милая Лялечка. Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

Целую руки тетеньке. Благодарю ее за письмо ко мне. Буду писать ей много.

Целую ее и дяденьку. Целую Вареньку.

Снова целую твои ножки, моя милочка. Твой *Н. Ч.*

691

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

27 июля 1879. Вилюйск.

Милый мой дружочек, радость моя, Оленька,

Я совершенно здоров, живу очень хорошо.

Я получил твои письма от 15 марта и от 29 апреля; целую твои ручки за них и благодарю детей за приписки к ним.

Радуеть ты меня, моя миленькая голубочка, тем, что заботишься о своем здоровье и что благодаря этому оно, как ты пишешь, стало хорошо. Надеюсь, мой дружочек, оно укрепилось теперь настолько, что и осенью, и зимою останется хорошо и что ты будешь радовать меня известиями об этом.

Ты, мой милый дружочек, единственная жизненная моя мысль. О детях нечего мне думать много. Они, сколько я могу разобратъ по их письмам, живут беззаботно и счастливо. Но о тебе не могу не думать постоянно, постоянно, непрерывно. С той поры, как мы познакомились, дышать и думать о тебе стало для меня одно и то же.

Заботься о своем здоровье, моя радость; заботься о нем. В нем все мое счастье.

Детям пишу по несколько слов на другом полулистке. В следующий раз приготовлю, я думаю, длинное письмо тебе; тогда

напишу побольше и им; напишу тогда и тетеньке, дяденьке, брату Сашеньке, сестрам; я рад, что ты довольна ими; скажи, что я целую их и благодарю за любовь к тебе. У тетеньки и Вареньки целую руки.

Нынешняя весна здесь была очень хорошая. Лето стоит такое же прекрасное. Я пользовался и продолжаю пользоваться теплым временем, чтобы много прогуливаться. Собирал и продолжаю собирать цветы, чтобы послать тебе. Если бы умел сушить их, то вышла бы довольно богатая коллекция. Но и при неумении моем выйдет все-таки, вероятно, хорошенькая. Флора здесь не роскошная, разумеется, но достаточно разнообразная и красивая, чтобы быть миленькою.

О моем образе жизни скажу тебе, моя радость, по чистой правде, что он очень комфортабелен; прошу тебя, верь, что в самом деле так. Если бы не было так, то я не стал бы уверять тебя в том. — Всяких вещей, надобных для удобства жизни, денег, книг, — всего у меня много.

Только будь здоровенькая и старайся быть веселенькою ты, моя миленькая голубочка, и я буду счастливейший человек в мире.

Крепко обнимаю тебя и тысячи, тысячи раз целую.

Будь здоровенькая и веселенькая, моя милая радость.

Целую твои ножки, моя милая Лялочка. Твой Н. Ч.

692

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

27 июля 1879. Вилюйск.

Милый мой Саша,

Благодарю тебя за деньги, присланные тобою.

Благодарю за книги.

Хвалю тебя за то, что ты усердно трудишься для добывания себе куска хлеба.

Благодарю тебя за твои письма. Из них я вижу, что ты уже стал взрослым, рассудительным человеком. Это радует меня.

Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

693

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

27 июля 1879. Вилюйск.

Милый мой Миша,

Поздравляю тебя с тем, что ты перешел в последний класс гимназии. Разделяю твою надежду, что в следующем году ты

кончишь гимназический курс и получишь право поступить в университет. Я надеюсь, что ты считаешь необходимым продолжать свое образование в университете, и надеюсь, что ты кончишь курс в университете с честью.

Благодарю тебя за твои письма. Трудись и ищи отдыха от труда в скромных развлечениях, как делал до сих пор.

Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

694

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

20 сентября 1879. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил твое письмо от 13 июня. Целую за него твои ручки.

Милая моя, много огорчал я тебя. Прости мне, мой друг.

Но с той минуты, как я увидел тебя, я жил лишь любовью к тебе.

Прости меня за огорчения, которых столько доставил я тебе, радость моя.

Заботься о своем здоровье. Заботься о нем.

Я надеюсь, моя голубочка, что ты стараешься по возможности исполнять советы медиков. Умоляю тебя, дорожи своим здоровьем, береги его.

Мысли о том, укрепилось ли оно, единственные мои тревожные мысли.

Но соблюдай советы медиков, и оно укрепится. Оно дано тебе природою превосходное. Оно укрепится.

И тогда я буду совершенно счастлив.

С того времени, как писано мое предыдущее письмо к тебе, прошло уж месяца два. Мне хочется, чтобы это мое письмо шло к тебе быстро. И потому, как обыкновенно делаю, когда пишу после долгого интервала с предыдущего отправления почты, пишу теперь лишь несколько строк. — Установится зимний путь; случаи отправления почты отсюда будут более частыми, нежели могли быть по затруднительному для проезда летнему пути отсюда до Якутска. Тогда при менее долгих интервалах между почтами буду снова писать длинные письма к тебе.

То же и к детям. А теперь пишу им по два слова.

По своему хорошему и неизменному обыкновению, я совершенно здоров. Прошу тебя и детей не присылать мне ни денег, ни вещей: у меня всего много. И обстановка моей жизни очень комфортабельна.

Целую руки тетеньки. Скажи ей, что люблю ее, как мать.

Целую дяденьку.

Целую руки Вареньки.

Благодарю их всех за любовь к тебе.

Будь здоровенькая, моя милая радость, и старайся быть веселенькою, и я буду счастливейший человек на свете.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя, мой милый, милый друг.

Будь здоровенькая и веселенькая, моя Лялечка. Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

695

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

20 сентября 1879. Вилюйск.

Милый друг Саша,

Благодарю тебя за письма.

Ты, я полагаю, собираешься послать мне денег. Но из присланных тобою еще остается у меня в запасе столько, что их будет достаточно на весь следующий год. Потому прошу тебя: на те деньги, которые ты предполагал послать мне, купи что-нибудь для подарка твоей маменьке. Если сделаешь это, то сделай также какие-нибудь подарки моим тетеньке и дяденьке и сестре Вареньке.

Целую тебя, мой милый. Будь здоров. Жму твою руку.
Твой *Н. Ч.*

696

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

20 сентября 1879. Вилюйск.

Милый друг Миша,

Если не перешел ты в 8-й класс гимназии, не унывай. Если же, как надеялся, действительно перешел, то поздравляю тебя. Прошу тебя: когда кончишь курс в гимназии, поступай в университет.

Благодарю за письма. Будь здоров.

Целую тебя и жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

697

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

27 октября 1879. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Пусть новый год, который будет наступать или будет наступившим, когда ты получишь это письмо, будет хорош для тебя, и я буду благословлять его.

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо. Всяких надобных

вещей у меня изобилие, и денег в запасе много. Прошу тебя, мой миленький дружок, и детей не присылать мне ничего.

Я получил твое письмо от 12 июля. Целую твои ручки за него и благодарю детей за приписки к нему.

Надеюсь, моя радость, что в эту зиму ты будешь пользоваться лучшим здоровьем, нежели в прошлую! Позаботься о том, мой друг, чтобы эта моя надежда осуществлялась.

С отправления моего предыдущего письма прошло что-то много времени, кажется мне. Потому и на этот раз пишу тебе лишь несколько строк, чтобы письмо шло скорее.

Почты отправлялись отсюда все еще очень редко, потому что до сих пор все еще не установился зимний путь. Теплая погода держалась в эту осень дольше обыкновенного. Я пользовался ею для того, чтоб усердно прогуливаться.

Летом я набрал цветов, чтобы послать тебе. Умудряюсь теперь хорошенько завертывать их в бумагу. Ты знаешь неловкость мою во всех таких искусствах. Но стараюсь и льщу себя уверенностью, что заверну-таки хорошо.

Сколько собирал я в это лето смородины, превосходит всякую меру и вероятность. И — вообрази: грозды красной смородины до сих пор держатся на кустах; иной день мерзлые, иной день снова оттаявшие. Мерзлые очень вкусны; совсем не тот вкус, как у летних; и по-моему, лучше. Если б я не был до чрезвычайности осторожен в пище, я объедался б ими. А по осторожности, собираю и ем их лишь горсть, горсти две в день, чтоб не простудить горло этим натуральным мороженым.

Вот видишь, принуждаю ж я себя много прогуливаться каждый день; а ты знаешь, я не охотник до прогулок. — Бери же с меня пример и заставляй себя делать все, что хорошо для твоего здоровья.

Целую руки у тетеньки и у Вареньки.

Целую дяденьку и детей. Пишу детям по два слова.

Будь здоровенькая и веселенькая, моя милая голубочка, и я буду счастливейший человек в свете.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя, моя Лялочка.

Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

27 октября 1879. Вилюйск.

Милый мой друг Саша,

Совершенно ли исчезли, наконец, из твоего организма остатки лихорадки? Напиши мне об этом, прошу тебя. И заботься о твоём здоровье. Жму твою руку. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

699

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

27 октября 1879. Вилюйск.

Милый мой друг Миша,

Я давно не спрашивал тебя, крепко ли твое здоровье. Дорожи им. В твои годы оно требует большого внимания к себе. Силы у человека твоих лет много; но надобно не растрчивать ее. Она в эти годы уходит очень легко, при нарушениях гигиены; и ушедши, плохо возвращается. Но я уверен, ты знаешь и помнишь это, и держишь себя гигиенически.

Жму твою руку. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

700

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

[19 ноября] 1879.

Телеграмма

Из Иркутска в Петербург. Святейший синод. Терсинскому. Передать Мише.

Живу прекрасно. Совершенно здоров. Благодарю за телеграмму о здоровье мамыши. Пишу вам. Целую. — *Чернышевский.*

701

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

22 ноября 1879. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька.

Я получил твое письмо от 12 июля. Целую твои ручки за него. И благодарю детей за приписки к нему.

Только умоляю тебя, моя радость, старайся сосредоточивать свои мысли исключительно на том, что приятно. Для чего грустить? — У тебя сильный характер; будешь стараться, то принудишь себя заботиться о развлечениях; и через несколько времени они уж сами собою станут интересоваться тебя; состояние твоего сердца делается легким, отрадным. А это будет иметь благотворное действие и на твое здоровье.

Дети служат утешением тебе; — не правда ли? — Сколько могу судить по их письмам, они оба добрые юноши и держат себя благоразумно. Это мнение о них очень радует меня.

Но каково-то твое здоровье переносит зимние холода? — Думы о нем ни на минуту не покидают меня. Умоляю тебя, моя милая голубочка, заботься о твоём здоровье; заботься.

Я совершенно здоров. Живу прекрасно. Денег у меня много. Всяких вещей, надобных для удобства жизни, у меня большой запас. Прошу тебя и детей, не присылайте мне ни денег, ни белья, никаких вещей. Поверь, я действительно живу в превосходном изобилии.

Здесь лето и осень стояли в нынешнем году очень хорошие, и я все то время прогуливался почти весь день, каждый день. Мое здоровье было бы хорошо и без того. И прогуливаться мне с детства было скучным делом. Но моцион полезен. И я, хоть не имею надобности в нем, все-таки очень усердно исполняю *требование гигиены относительно единственного предмета ее предписаний*, к которому не имею природной склонности: прогуливаюсь, и прогуливаюсь, как величайший любитель моциона.

Летом я собирал цветы для тебя. При моем неуменье сушить их удалось мне высушить лишь те немногие виды их, которые не нуждаются для этого в искусстве. — В другом конверте посылаю тебе, моя милая радость, эту маленькую коллекцию.

Пишу детям.

Целую руки тетеньке, Вареньке. Благодарю их за любовь к тебе.

Целую дяденьку. Благодарю его за любовь к тебе.

Милый мой дружок, радость моя, будь здоровенькая — и я буду счастливейший человек на свете.

Крепко обнимаю тебя; миллионы раз целую твои милые глазки.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая Лялочка.

Тысячи и тысячи раз целую тебя, моя радость.

Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

702

А. Н. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

22 ноября 1879. Вилюйск.

Милые мои друзья Саша и Миша,

Я получил вашу телеграмму. Она дошла до меня со всею тою скоростью, какая возможна физически. Я отвечаю на нее с нынешнею почтою. По адресу на имя Ивана Григорьевича Терсинского, с передачею Мише.

Нечего и говорить о том, что вообще я благодарю вас за те чувства ко мне, которые выразились отправлением этой телеграммы.

Но в особенности я благодарен вам, друзья мои, за то, что вы упомянули в ней о здоровье вашей мамы. Это свидетель-

ствует, что вы хорошие сыновья для нее. И свидетельствует также, что вы хорошо понимаете мое чувство к ней.

Благодарю вас, мои милые друзья.

У меня много денег; достанет для изобильной жизни более чем на год. Это серьезно (как серьезно и то мое уверение, что я совершенно здоров). Вы, вероятно, предполагали послать мне в начале 1880 года денег. Они были бы излишни для меня в этом (1880) году. Потому я прошу вас, вместо того чтобы посылать их мне, употребите эту сумму на то, чтобы сделать подарок, — какой выберете сами, вы лучше меня можете выбрать его, — вашей мамаше, и также сделать подарки моей тетушке и моей милой сестре Вареньке, и моему дяденьке.

Будьте здоровы, мои милые друзья. Целую вас.

Жму ваши руки. Ваш *Н. Ч.*

703

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

22 ноября 1879. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Посылаю тебе цветы, которые собирал для тебя летом.

Поздравляю тебя с новым годом. Пусть будет он для тебя счастливым.

Будь здоровенькая, милая моя радость.

Целую твои ножки, дружок Лялочка. Твой *Н. Ч.*

704

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

25 декабря 1879. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я совершенно здоров и живу очень хорошо.

Каково-то поживаешь ты, моя милая голубочка? Каково-то выдерживает зимние холода твое здоровье? — Думаю и думаю об этом, все об этом, только об этом.

Пишу лишь несколько слов, потому что с отправления прежней почты отсюда прошло что-то уж много времени; и мне хочется, чтоб известие о том, что я продолжаю быть здоров и жить хорошо, было получено тобою поскорее.

Целую детей.

Целую дяденьку, тетеньку, сестер.

Пусть наступающий новый год будет счастливым для тебя, моя милая радость.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя, моя голубочка.

Будь здоровенькая и веселенькая, и я буду счастливейший человек в мире.

Целую твои ножки, моя милая Лялечка. Твой *Н. Ч.*

705

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

[1879]

Милый мой друг Миша,

Радуюсь тому, что ты перешел в старший класс гимназии. Хвалю тебя за то, что по окончании курса в ней ты хочешь поступить в университет. Прошу тебя, исполни эту твою мысль. Она самая лучшая из всех программ заботливости молодого человека о своей будущности. — И будь здоров.

Жму твою руку. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

706

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

9 января 1880. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил твое письмо от 15 октября. Благодарю тебя за то, что ты сообщаешь мне полные сведения о состоянии твоего здоровья. Когда ж оно окрепнет? Заботься о нем, моя милая голубочка.

Обо мне не беспокойся. Мое здоровье превосходно. И живу я совершенно спокойно, очень комфортабельно, в очень хорошем изобилии.

Ни денег, ни вещей не присылай мне: у меня всего, надобного для удобства жизни, большие запасы; и денег в остатке много.

Благодарю детей за приписки к твоему письму. Вижу, что и Саша и Миша рассудительные молодые люди. Это радует меня. Благодарю Мишу за его карточку. На ней у него умное и приятное лицо.

И вообще, только одно тревожит мои мысли — неудовлетворительное состояние твоего здоровья, мой милый дружок.

Поздравляю тебя с днем твоего рождения. Он у меня один из двух самых больших праздников в году. Другой праздник — день твоих именин.

Целую детей.

Целую руки у тетеньки и Вареньки. Благодарю их за любовь к тебе. Целую дяденьку. Благодарю его за любовь к тебе.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая Лялечка, и я буду счастливейший человек на свете.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя.

Целую твои ножки. Твой Н. Ч.

707

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

6 февраля 1880. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил твое письмо от 8 ноября. Целую твои ручки за него. Благодарю Мишу за приписку к нему.

Пишу лишь несколько строк, чтобы мое письмо скорее шло к тебе.

Напрасно ты беспокоилась о моем здоровье, моя милая голубочка. Оно постоянно было совершенно хорошим и остается таким же. И будет оставаться таким же, я в том убежден. Я уж и не помню, сколько лет прошло с той поры, как оно вполне окрепло. Причина тому, что оно стало непоколебимо хорошим, заключается в том, что я веду чрезвычайно правильный образ жизни и неослабно соблюдаю правила гигиены. Например: я не ем ничего такого, что тяжело для желудка. Здесь много дикой птицы, из утиных пород и пород тетеревов. Я люблю этих птиц. Но они для меня менее легки, нежели говядина. И я не ем их. Здесь много вяленой рыбы, вроде балыка. Я люблю ее. Но она тяжела для желудка. И я ни разу во все эти годы не брал ее в рот. Это для примера. Так я держу себя и относительно всех вообще условий гигиенической жизни. А силы мои не были порчены или трачены никогда ни на какие пороки, ни на какие излишества. И сбереглись хорошо. Потому здоровье мое крепко; и должно оставаться крепким надолго. Не беспокойся ж о нем, милый мой дружок.

Но когда ж окрепнет твое здоровье, моя радость? — Заботься о нем, заботься, умоляю тебя.

Радует меня то, что Саша и Миша скромные, хорошие молодые люди. Хвалю их за то, что они держат себя, как держат себя скромные девушки. Это очень хорошо.

Целую их.

Целую руки тетеньки и Вареньки. Целую дяденьку.

Прошу тебя и детей не присылать мне ни денег, никаких вещей. И денег, и всего, надобного для удобства жизни, я имею большие запасы.

Заботиться о своем здоровье, моя милая радость. И когда оно будет хорошо, я буду счастливейший человек в мире.

Крепко обнимаю и тысячи, и тысячи раз целую тебя, моя милая Лялочка.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою.

Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

708

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

25 февраля 1880. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Каково-то твое здоровье? — думаю и думаю об этом; только об этом.

Когда ты получишь это письмо, будет уж весна. Умоляю тебя, миленькая моя голубочка, пользуйся теплым временем года для восстановления и укрепления твоих сил. Одно из главнейших средств заботиться о здоровье состоит в том, чтобы проводить как можно больше времени на чистом воздухе среди зелени, на полях и в рощах. Старайся исполнять это предписание гигиены, важность которого признана теперь всеми порядочными медиками.

Будешь ты, моя радость, здорова, и я буду счастливейший человек в мире.

Мое здоровье совершенно хорошо.

Живу я в изобильном комфорте.

Прошу тебя, верь, что и то и другое простая, нимало не прикрашенная правда.

Целую детей.

Целую руки тетеньки и сестры Вареньки.

Целую дяденьку.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя радость.

Целую твои ножки, моя милая Лялочка. Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою. Твой *Н. Ч.*

709

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

12 марта 1880. Вилюйск.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил твои письма от 6 и от 16 декабря и приписки детей к ним. Целую твои ручки за твои письма; благодарю детей за то, что они не ленятся писать мне. Пишу им по несколько слов на другом полулистке.

Прошу тебя, моя милая голубочка, простить мне огорчения, которых так много делал я тебе.

Я пишу тебе с каждым отправлением почты отсюда. Но прошу тебя помнить, о чем я несколько раз говорил тебе: случаи отправления почты отсюда бывают иногда отделены один от другого долгими промежутками времени; потому, если иной раз и прошло бы у тебя много времени без получения писем от меня, не тревожься этим, милая моя радость: припоминай тогда, что это объясняется просто-напросто тем, что по отправлении одной почты прошло много времени до следующего отправления ее; только; и не должно быть у тебя из-за этого никаких беспокойств о моем здоровье.

Мое здоровье очень хорошо и прочно. Я не атлетического сложения от природы. Когда я в детстве играл с моими сверстниками, большая половина их были одарены от природы более сильным телосложением. И после сколько случалось мне замечать, бóльшая часть мужчин моего роста оказывались могущими подымать больше пудов, нежели сколько под силу мне. Это так. Но я не тратил, — никогда не тратил, — своих сил ни на какие пороки, ни на какие излишества. Например, ни одного раза в моей жизни я не участвовал ни в какой пирушке. Пирушки и все подобное тому были мне всегда гадки. Потому здоровье мое осталось испорчено. И стало прочным. Вот уж больше двадцати лет не было ни одного дня, который провел бы я в постели. Это чистая правда, мой милый друг. И на основании этого я вполне убежден, что очень долго буду оставаться человеком хорошего, неизменно и непрерывно хорошего здоровья. Уверяю тебя, моя радость, что беспокоиться за мое здоровье не должна ты. — И теперь оно, как обыкновенно, вполне хорошо.

Но твое здоровье, — каково-то оно?

Забодишься ли ты о нем?

Умоляю тебя, заботься.

Прошу тебя и детей не присылать мне ни денег, никаких вещей: у меня большие запасы всего, надобного для удобства жизни.

Приготовляюсь праздновать день твоего рождения, мой милый дружок. Желая, чтобы с этого дня ты была здорова, весела непрерывно, неизменно.

Целую руки тетеньки и Вареньки.

Целую дяденьку.

Благодарю их всех за любовь к тебе.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя милая красавица.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, и я буду счастливейший человек на свете.

Целую твои ножки, миленькая моя Лялечка. Твой И. Ч.

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань, 25 ноября 1883.

Милый друг Миша,

Ты хорошо сделал, что написал твоей мамаше тотчас же по твоем приезде в Петербург; она очень беспокоилась о том, благополучно ли доехали вы. Получив твое письмо (от 16 ноября) успокоилась за тебя и Сашу.

Хорошо также и то, что ты исполнил все ее поручения.

Кашель ее, как мне, да и ей самой, кажется, начинает смягчаться; благодаря, быть может, главным образом тому, что она имела возможность провести несколько дней не выходя из комнаты. Теперь она снова выходит на воздух; и, повидимому, это уж не имеет отягчающего действия на ее много облегчившийся кашель. Если исцеление будет идти так, как шло после вашего отъезда, то кашель и совсем перестанет мучить ее; и, быть может, довольно скоро она будет чувствовать себя, сравнительно с прежним, хорошо. — Так. И, быть может, здешняя зима, гораздо менее суровая, как теперь уж ясно, чем в Саратове, будет перенесена ею без прежнего отягчения ее страданий каждую зиму. Но все-таки ее здоровье требует климатических условий, какие существуют еще далее на юг; например, в Грузии. По моему, надобно ей в следующие зимы жить там. Вероятно, это не будет невозможным для нее. И я надеюсь, что ее здоровье после того восстановится настолько, что ему не будет тяжела и саратовская или московская зима.

А пока я очень благодарен за присланный ей рецепт от кашля. В эти дни ей стало казаться, что ее кашель пройдет и без помощи аптечных средств. Быть может, так и будет. Но для меня все-таки очень успокоительно то, что у нее есть рецепт на случай надобности в нем.

Теперь о тебе.

В одном из своих писем к нам твой дядя Александр Николаевич коснулся в нескольких словах вопроса о том, что было бы наилучшим для тебя относительно будущего устройства твоей жизни в денежном отношении. Именно он выразился так: «Мише надо бы кончить курс». (Это ответ на мои слова ему, что и тебе и Саше, по моему, следовало бы поселиться с нами.) Я на это написал ему: «Надо бы кончить. Но» — и т. д., — то, что говорил я тебе по вопросу о твоем слушании курса медицины. Быть может, я сделал нескромность относительно тебя, сообщая другому, хоть и очень близкому лицу, мои мнения о тебе, которые, собственно говоря, должны быть высказываемы мною только тебе. Если ты осуждаешь меня за это, напиши, и я вперед не буду говорить своих мыслей о тебе никому, кроме тебя; ни твоему дяде, ни брату, ни вообще никому, кроме тебя.

А я остаюсь при прежних мнениях: лучше всего тебе бросить все в Петербурге, переселиться сюда к нам, исполнить здесь военную повинность (поступив волонтером, если волонтерство значительно сокращает срок) и после того оставаться жить с нами, пока представится тебе какое-нибудь занятие, более выгодное, чем сотрудничество в моих работах.

Целую тебя, мой друг. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

Кланяйся всем, кому следует по родству или по дружбе к Оленьке, Саше, тебе. Будь здоров.

831

Н. Д. и А. Е. ПЫПИНЫМ

Астрахань, 28 ноября 1883.

Милые дяденька и тетенька,

Мне очень хотелось бы в мой проезд через Саратов повидаться с Вами. Но я рассудил, что в Ваших собственных интересах я обязан отказать себе и Вам в этом, для меня, поверьте, еще более дорогим, чем для Вас, удовольствием. Мне это свидание не принесло бы ничего, кроме удовольствия. Но для Вас результатом его могли быть разговоры, непривычные и потому тревожные Вам. Не огорчайтесь же на меня за то, что я отложил свидание с Вами до более удобного для Вас времени. Отсрочка, по всей вероятности, не будет продолжительна. Нет надобности и говорить, рад ли я буду воспользоваться первым же днем возможности повидаться с Вами без тревоги Вам и высказать Вам то, что постоянно писал Вам, — горячую благодарность мою за Вашу любовь к Оленьке, ко мне и к нашим детям.

Поздравляю Вас с наступающим днем именин Вареньки.

Желаю Вам, милые дяденька и тетенька, хорошего здоровья и надеюсь, что когда увижу Вас, увижу Вас пользующимися им.

Целую Вас, милые дяденька и тетенька. Ваш *Н. Чернышевский.*

832

А. Е. ПЫПИНОЙ

Астрахань, 28 ноября 1883.

Милая тетенька,

Благодарю Вас за Ваше письмо ко мне. Я медлил ответом на него, выжидая времени, когда будет можно написать Вам о здоровье Оленьки успокоительные известия. Оно было очень расстроено поездкою на пароходе в такие непогодные дни, какими были те дни, и по приезде сюда хлопотами с поисками квартиры и с закупками мебели, посуды и т. д. Писать Вам

раньше, чем делаю, значило бы говорить Вам о страданиях Оленьки и смущать Вас опасениями за нее. Но теперь ее здоровье, если и далеко еще не может быть названо сколько-нибудь окрепшим, все таки начало улучшаться и уж улучшилось настолько, что можно надеяться на хорошее восстановление его.

Пишу Вам прежде всего о здоровье Оленьки, зная как Вы любите ее и как важно поэтому для Вашего собственного здоровья быть спокойным за нее.

То, что услышал я от Вареньки и от нее о Вас в Саратове и продолжаю слышать от нее в более подробных рассказах здесь, заставляет меня скорбеть о слабости Вашего здоровья и просить Вас более, чем Вы делали, заботиться о нем. Из всех рассказов о нем для меня ясно, что оно еще может окрепнуть, если Вы займетесь тем, чтобы проникнуться убеждениями, выработанными медициною в эти последние пятнадцать или двадцать лет. Когда мы с Вами были молоды — я говорю в этом случае о нас обоих, потому что Ваша молодость была не очень многими годами раньше моей — когда мы с Вами были молоды, в медицине еще господствовала чрезвычайно вредная односторонность: заботились лишь о том, чтобы лечить уж сильно проявившиеся расстройства, забывая совет древних мудрых учителей науки врачевания: «противодействуй началу». Теперь вспомнили об этом правиле, и чем дальше, тем больше убеждаются в его преобладающей над всем в медицине важности. Большая часть наших болезней может быть отвращена от нас, если мы будем делать то, что нужно для их предотвращения; а те, которые уж постигли нас, большею частью могут быть исцеляемы успешно и довольно быстро, если мы не будем постоянно подновлять их силу нарушениями законов гигиены. Сколько могу понять, полагаю, что при исполнении требований гигиены Ваше здоровье много и довольно прочно улучшится. Прошу Вас, советуйтесь с хорошими врачами — в Саратове есть хорошие — и неуклонно следуйте их советам. Тогда любящие Вас будут, по всей вероятности, иметь мало причин печалиться о Вашем здоровье и много возможности быть спокойными за него.

Благодарю Вас за Вашу любовь к Оленьке, милая тетушка. Целую Ваши руки. Ваш *Н. Чернышевский*.

833

В. Н. ПЫПИНОЙ

Астрахань, 28 ноября 1883.

Милая сестрица,

Поздравляю тебя с наступающим днем твоего ангела. Желаю, чтобы встретила его хорошо и чтобы после того твоя жизнь шла лучше, нежели было.

Возможно, что через некоторое время она и довольно много улучшится. Вероятно, это будет до некоторой степени находиться в нашей с Оленькою и твоей власти. Увидим, так ли; вероятно, увидим, что так.

О здоровье Оленьки пишу твоей мамаше. Повторять здесь было бы лишнее повторение. О самой твоей мамаше я составил себе мнение, что если она захочет вести такую осторожную в гигиеническом отношении жизнь, как должна, то ее немощи значительно уменьшатся. Тогда и тебе было бы менее тяжело жить.

Другое обстоятельство такого же характера тяжелых чувств и отношений для тебя: неужели невозможно ничего сделать для улучшения жизни твоего младшего брата, находящегося при тебе? У меня есть об этом мысли, которые нуждаются в подкреплении твоим мнением. Отлагаю высказывать их, прося тебя написать мне, как думаешь об этом твоем брате ты.

Будь здорова. Целую тебя; целую твои руки. Твой Н. Ч.

Р. С. Составит ли тебе затруднение взять из денег за квартиру в Оленькином доме или флигеле рубль и послать его с дворником той служанке жандармского полковника, которая приезжала за Оленькою и во второй раз за тобою? — Ее имя, если не ошибаюсь, Лиза. Если не затруднит тебя, расплатись с нею за эти ее поездки к Оленьке и к тебе. — Будь здорова. Опять целую тебя.

834

АСТРАХАНСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ

Чернышевский имеет честь покорнейше просить его превосходительство г. начальника губернии о собрании и сообщении ему (Чернышевскому) сведений относительно того, какую сумму составляют его долги казне.

При этом Чернышевский просит принять во внимание его мнение о двух фактах:

1) В Иркутске было выдано ему по просьбе (словесной) сто рублей на его личные путевые издержки. Он находит справедливым считать эти деньги ссудою, данною ему от казны. Один из спутников Чернышевского от Иркутска до Оренбурга, делавший по просьбе Чернышевского уплату из его денег по его личным издержкам, чтобы избавить его от хлопот с мелкими выдачами, вел аккуратный счет расходованию этих ста рублей и представил уж, быть может, если ж не представил еще, то, без сомнения, представит своему начальству остаток от них. Разницу между выданными Чернышевскому 100 рублями и этим остатком следует по всей справедливости считать долгом Чернышевского казне. Относительно других его долгов ей не имеет он сказать ничего особенного, кроме

2) долга его казне за тарантас. — От Иркутска до Оренбурга он ехал в тарантасе, что, разумеется, было очень важным удобством. Он находит справедливым считать, что этот тарантас (бывший совершенно новым) был куплен для его поездки, и что цена, которую имел экипаж при выезде в путь, составляет ссуду, данную ему от казны. Тарантас, сильно пострадавший от 4 000-верстного пути по осенней дороге, был оставлен Чернышевским в Оренбурге, при (словесной) просьбе распорядиться этим экипажем, как будет удобно по обстоятельствам. Какие распоряжения сделаны, те Чернышевский и принимает за наилучшие возможные. Продан экипаж в Оренбурге? — Хорошо; и цена, за которую он продан, без сомнения, самая выгодная, за которую было можно продать его. Если он исправлен и после поправки принят казною для какого-нибудь иного назначения? — Хорошо; и все тут сделано по самым выгодным для Чернышевского оценкам. Словом: все равно, что сделано, во всяком случае сделано самое лучшее. — Чернышевский просит считать долгом его казне ту цифру расходов, в какую обошлось казне доставление ему такого важного путевого удобства, как езда в прекрасном, спокойном экипаже. *И. Чернышевский.*

29 ноября 1883. Астрахань.

835

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

1 декабря [18]83. Астрахань.

Милый друг Саша,

Дня за два или за три до 22-го ноября, когда отправил ты письма к мамаше и ко мне, я послал к тебе письмо, в котором повторяю совет тебе бросить Петербург и поселиться с нами. Не помню, прибавил ли к совету и повторение мотивов, заставляющих меня считать, что для тебя хорошо было бы принять его. На всякий случай излагаю их здесь.

Те соображения, которые склоняют тебя оставаться в Петербурге, основаны лишь на твоём влечении иметь приятные для тебя надежды и окажутся, по всей вероятности, неосуществимыми. Само собою, пока факты не начнут резко противоречить им, нельзя мне полагать, что ты согласишься с моим взглядом. Но я могу думать, что моя просьба к тебе анализировать слова и поступки людей, от которых зависит исполнение твоих надежд, не будет оставлена тобою без внимания. У тебя есть наследованное от меня простодушие. Оно — качество превосходное, но «в большом количестве», по выражению Гоголя, менее хорошо, нежели в очень малом. Мне оно перестало вредить только с той

поры, как я принял за общее правило: «не ждать ни от кого на свете, кроме ближайших родных, ровно никакого участия ко мне, не диктуемого личным интересом». Когда человеку выгодно сделать для меня что-нибудь, он может постараться сделать это; без выгоды для себя не сделает ничего. Людям наивным, как мы с тобою, невозможно не оставаться непрерывно ошибающимися в своих расчетах, если они не примут общего решения не иметь никаких надежд, кроме тех, какие основываются не на их собственных влечениях или расчетах, а лишь на личных выгодах людей, от которых зависит ход дела. Для ясности пример: пусть некто, Иван или Марья, Петр или Анна, чрезвычайно любит меня. Если это не из моих семейных, жизнь которых неразрывно связана с моею жизнью и у которых поэтому личные интересы совпадают с моими, если это лишь «человек, чрезвычайно любящий меня», то я не жду от него ровно ничего для себя. Иной раз может случиться, что ему для своей пользы придется сделать что-нибудь полезное для меня; в этом случае я получу что-нибудь хорошее для меня от него. Но это хорошее для меня будет сделано им не для меня, а для себя. Для меня он не имеет возможности делать ничего: его голова переполнена заботами о самом себе, его руки полны хлопот о его собственных делах. Его безучастие ко мне (люди, «любящие нас», совершенно безучастны к нам) не отсутствие доброжелательства ко мне — оно есть у него в изобилии, доброжелательство ко мне, — а недосуг и практическая невозможность действовать на пользу мне. Не жди ни от кого ничего и не осуждай никого за то, что не получаешь от него ничего: так устроен механизм жизни, что и для самого себя человек не успевает сделать и половины того, чего добивается каждый и каждая, — сидит с веслами на челноке среди бушующих вод; до того ли человеку на этом челноке, чтобы помогать другому человеку на другом челноке? Он имеет возможность быть полезным только для сидящих на одном с ним челноке; и полезен им, если силен и ловок действовать веслами, потому что не может действовать на пользу себе иначе, как действуя на пользу и им. Кто на одном с тобою челноке? — Я, твоя мамаша, твой брат, мои братья и сестры, два-три человека, не родные мне или твоей мамаше по метрическим книгам, но тридцать или двадцать лет тому назад породненные со мною жизнью, поэтому ставшие к нам в неразрушимые ничем братские отношения. Для ясности пример: будь жив Добролюбов, ты мог бы рассчитывать на него так же основательно, как если б он был близкий родной нам. Он умер. Но он один умер из людей, бывших и без родства по метрическим книгам неразрывно связанными со мною. Другие остаются живы. Но сколько их? Двое. И это очень большая для таких отношений цифра: трое друзей, в серьезном смысле слова, редкое счастье. Огромное большинство людей не имели во всю жизнь ни одного друга, которого стоило

бы серьезно называть другом. У тебя, сколько я видел по твоим панегирикам твоим друзьям, нет ни одного друга; есть приятели, для которых цена твоей жизни — грош. Посидеть и поболтать с тобою они готовы: им нечего делать, тебе хочется отдохнуть — и чудесное для них дело попустословить с тобою для того, чтобы как-нибудь убить пустое время их. Друзья тебе — только мои друзья.

Это — о дружбе; кроме дружбы, существует на свете и любовь (в смысле той любви, которая главная тема поэзии). Это чувство и хорошее, и сильное. Но — встречается на свете оно обыкновенно в виде любви, не находящей себе ответа. Мужчина любит женщину, а для этой женщины он — объект расчетов ее личной выгоды; женщина любит мужчину, а для этого мужчины она — объект расчетов его личной выгоды. И исключения так редки, что разумнее ожидать встретиться с парой слонов на Невском проспекте, чем с четою людей, которые, и он и она, действительно любят друг друга. Вероятность встретить пару слонов на Невском пусть будет $\frac{1}{1\ 000\ 000\ 000\ 000}$. Вероятность найти ответ на свою любовь определится для каждого или каждой дробью, знаменатель которой гораздо больше, при той же единице в числителе. То, что называется «любовью» в жизни, нечто совершенно иное, чем любовь в серьезном смысле слова. Это — союз двух людей, которым выгодно, и ему и ей, жить в супружеских отношениях; привычка обращает со временем этот союз двух эгоизмов в родственную привязанность, чистую, бескорыстную, как взаимная привязанность хороших братьев или сестер, но более сильную, чем братская или сестринская взаимная привязанность. — Итак, говорить о любви в серьезном (поэтическом) смысле слова хорошо, когда говоришь о поэзии; в соображениях о своей будущности молодой человек или девушка, молодая женщина отрешается от действительной жизни, впадает в мечты, если думает определить ход своей жизни исканием любви; пробуждение от грез бывает разочарованием, страшно бедственным для девушки или молодой женщины, гораздо менее бедственным для мужчины, но и для него очень тяжело бедственным.

Ты скажешь, быть может: «хороши иль нет эти мысли, они вовсе не относятся к делу». — Не буду спорить. Не относятся, то не относятся.

К делу бесспорно относится лишь то, что пишу дальше.

Тебе почти тридцать лет. До сих пор ты перебиваешься со дня на день, и если не называешь себя полуголодным и полунищим, то лишь по нежеланию огорчать себя такими названиями. Что будет дальше? То же самое будет и вперед, если ты не решишься приехать жить со мною.

Твоя жизнь слагалась до сих пор так, что развила в тебе непривычность к порядочному добыванию порядочного куска

хлеба. Таким был и я до очень позднего (хоть менее позднего, чем нынешний твой) возраста: сибаритствующий умственными роскошными забавами нищий. Но я бросил это непозволительное не имущему наследственного богатства человеку умственное фланерство и принялся работать, как надобно для приобретения хлеба. Бросишь и ты, станешь дельным работником и ты, пожив несколько времени со мною. Без того — не станешь.

Чем же будет произведена в тебе эта перемена — от ничего-неделания для хлеба себе вдали от меня к приобретению рассудительного трудолюбия в жизни при мне? — Буду ль я приставать к тебе: «работай»? — Не способен я понуждать кого бы то ни было к чему бы то ни было. Никогда не имел я и не был способен иметь никакого понукающего или понуждающего влияния ни на кого. Желая ль, или не желаю я быть другом свободы, но природа не дала мне способности быть ничем иным. В те годы, когда я жил в одной квартире с кем-нибудь посторонним мне (в годы забайкальской жизни), каждый приятель, живший со мною, хозяйничал не только над собою, но и надо мною, как хотел: я пил чай, когда и как ему угодно; крепкий чай или жидкий, как ему нравилось; обедал, когда он хотел; ел кушанья, какие угодно было есть ему; все, все в моем житейском обиходе было под безусловною его властью. Не дивись, что я живу так, когда живу в одной квартире с твоею мамашею: я так жил с каждым из поляков или русских, с кем случалось мне жить в те долгие годы. Не способен я к тому, чтобы люди, живущие со мною, жили по-моему, а не безусловно по-своему. — В чем же будет причина тому, что ты, пожив со мною, сделаешься из фланера дельным работником? Только в том, что подле тебя будет человек, с которым ты можешь говорить обо всем, о чем тебе угодно, когда тебе угодно, как тебе угодно, и слышать от него самостоятельные и твердые мысли о предметах, интересующих тебя. Мои мысли тверды и самостоятельны. Такой собеседник надобен тебе. И кроме меня, ты не имеешь человека, способного быть таким собеседником. Когда ты был здесь, мы с тобою толковали о математике. Я и не знаю и не хочу знать ее. Но я имею понятие о сущности тех математических идей, о которых толковал ты. И мои мысли о них — мои мысли, а не взятые бестолку из книг. У других, с которыми мог или можешь ты толковать о математике, или нет смелости самостоятельно судить о ней (это, например, твой дядя Александр Николаич), или в голове нет ничего, кроме белиберды, вычитанной из непонятных им Паскаля или Лапласа (это все твои знакомые ученые по математич. части). «У Гомера каждый берет то, что может взять»; и дурак берет у Гомера глупость. У самого Гомера — глупости нет; у него все умно. Но дурак берет из него такие сочетания слов, которые, будучи в контексте подлинника умными мыслями, становятся глупостями в дурацком контексте, в кото-

рый сплетает их дурак. То же самое и с великими творениями Лапласа: из разумного Лапласовского глупцы делают нелепое, пустословное свое. — Я не знаю и не хочу знать математики. Но кроме меня, не от кого тебе услышать ничего рассудительного о ней; и ты, увлекшись ошибочными, несбыточными надеждами на применимость ее формул к вопросам, не поддающимся математике при нынешнем недостаточном ее развитии, губил свое время, тратил свои силы над толчением воды и, чувствуя сам бесплодность твоих усилий написать что-нибудь разумное на избираемые тобою невозможные для математической разработки темы, путался в мыслях и о твоих работах, и о размере твоих сил. Ты искал решений, невозможных для математики в нынешнем ее несовершенном развитии, и терял бодрость духа, находя решения, очевидно для тебя самого пустые, — как решение вопроса о весе яблока или груши по математич. формулам будет решение пустое при нынешнем состоянии математики: нет таких формул, под которые подходила бы форма яблока или груши; определять вес таких многосложных фигур можно лишь эмпирически. Да чего тут яблоко или груша! Для определения вместимости бочки еще нет формулы, которая давала бы сколько-нибудь сносное по своей точности решение. Вычисляй по какой хочешь из существующих формул, все-таки выйдет, что эмпирическое измерение (очень неточное, разумеется) даст результат, несравненно более точный, чем определение вместимости бочки по формуле.

О математике я говорил лишь для примера. Я ненавижу тех, кто завлек тебя в занятия ею, позволительные только или богатому человеку, или профессору, получающему средства к жизни этими занятиями. Я сказал: «ненавижу»; это неудачное слово. Вообще я не охотник ненавидеть. А этих чудаков и самый злой человек не может ненавидеть: это малютки, очень неразумные и часто очень вредящие своею неразумностью и себе и другим, но пользующиеся правом невменяемости. Я хотел бы навсегда изгнать из моей памяти понятие о тебе как о занимающемся математикою. Жаль, еще не могу. — Я говорил о математике лишь для того, чтобы пояснить мою мысль: тебе надобен такой собеседник, каким не может быть никто из твоих знакомых, кроме меня.

Поживи со мною и станешь дельным работником.

Мамаша твоя наняла тот дом нашего хозяина (Хачикова), который стоит окнами на улице подле дома, где квартира, в которой жили мы при вас. Этот дом совершенно отдельное здание. В нем 7 окон на улице и много комнат; расположены они так, что не только у твоей мамыши, у меня и у тебя, — у каждого из нас будет совсем особое от других помещение; но есть и еще особое помещение (четвертое особое) для Миши (если он придет).

Никто — пойми: никто, то есть ни мамаша твоя, ни я — никто не будет стеснять твою жизнь здесь. Хочешь, хоть и обедай особо от нас, не выходя к нашему обеду. Здоровье твоей мамыши поправляется, и нам с тобою скоро будет можно только радоваться на нее.

О твоём письме от 22 ноября. В нем нет ничего сколько-нибудь надобного или интересного мне. Все в нем написано лишь для того, чтобы наполнить чернильными арабесками требуемое приличием число строк. Не пиши мне, мой милый, таких писем. — Прости, что пишу огорчительно для тебя.

Целую тебя. Жму твою руку. Будь здоров. Приезжай. Твой Н. Ч.

836

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 1 декабря 1883.

Ты говоришь, милый мой друг Миша, что рассудил остаться в университете: пусть я извиню тебя, если ты огорчаешь меня этим (твое письмо от 20 ноября). Ты не можешь огорчать меня тем, что не отказываешься судить о вещах своим умом; делать иначе не годится. Ты не хочешь посмотреть, что выйдет из этого твоего решения. Посмотришь, увидишь и скажешь мне, что увидишь. Надобно желать, чтобы вышло хорошо. Может быть, так и выйдет.

О том, что полезно в денежном отношении издать собрание моих статей в «Современнике» 1853—1862 годов, ты рассудил совершенно справедливо. И я разделяю твою мысль, что надобно будет позаботиться о возможности сделать это. Но не знаю, удобно ли будет тебе или Саше принять на себя хлопоты о разрешении издания. Ближе и успешнее было бы хлопотать об этом кому-нибудь более опытному в подобных заботах.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

837

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 6 декабря 1883.

Милый друг Миша,

Мамаша твоя и я, мы получили твое письмо от 26 ноября.

Ты «нанял себе чистенькую, светленькую комнатку в Загибенином переулке» за 8 рублей в месяц. — Загибенин переулок я знаю, хоть, к счастью, мне не было крайности жить в нем во время моего студенчества и хоть не представлялось ни тогда, ни

после ни одного случая быть у кого-нибудь из живущих в нем. Это была одна из жалких местностей грошовых приютов голодающему разряду студентов. Полагаю, так и осталось, с переложением прежних грошовых цен грошовым приютам на пятаки, сообразно вздорожанию цен на все. Полагаю, твоя «чистенькая, светленькая» комната «в 8 рублей» — лачуга, плата за которую соответствует своею величиною ее мизерности, так что считаю тебя оправдавшим в этой коммерческой негодии репутацию дельца, которую имеешь ты во мнении твоей мамыши. Милый ты мой, воображаю, какова комната, отдающаяся, при нынешних ценах, за 8 рублей. Но светла она очень может быть, при ажурности потрескавшихся стен; и чистою быть ей немудрено; при голости ее помазать стены известью, это нетрудно и не дорого; а когда в комнате нет ничего, кроме выбеленных стен, то без сомнения она чиста. — Милые мои бедняки, бедняки вы, ты и Саша.

Благодарю тебя за присылку календаря. Мамаша твоя сделала хорошо, позаботившись о том, чтобы снабдить меня им. Теперь, имея эту справочную книгу, я имею все по книжной части, что нужно мне, и ни в каких других книгах не имею надобности.

Передай брату записочку мою к нему.

Целую тебя. Будь здоров. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

838

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

6 декабря 1883. Астрахань.

Милый друг Саша,

Извини меня за неудовольствие, которое, по всей вероятности, сделал я тебе рассуждениями о дружбе и обо всем тому подобном, — то есть в сущности о голодании, исключительно о голодании, как основном ингредиенте всего возвышенного в чувствах и — что гораздо хуже — в реальной жизни. Больно, потому и горько думать о тебе и твоём брате. А горькие мысли и выражаются горьковато на вкус слушающего или читающего их объекта их. Извини, старина; старина ты, мой милый, старицище: шутка ли, тридцать лет! Да и твой братец порядочно-таки уж заслуживает причисления к одному разряду с нами, то есть со мною и тобою. Двадцать пять лет уж и ему! Не могу без горечи и думать об этих цифрах.

Сердитесь вы с ним, сколько хотите; но горько мне за вас. И, что касается тебя, то сердись не сердись, как угодно, но приучай себя к мысли, что тебе надобно поселиться со мною. Жизнь со мною имеет свои неудобства, о которых много толковать не

для чего. Имеет, я согласен. Но ты найдешь их несравненно меньшими, нежели можешь полагать. Это первый мой резон приглашать тебя жить со мною. А второй, непреодолимо решительный для моих мыслей о тебе, состоит в том, что переселение ко мне, удобное ли, приятное ли для тебя, или нет, — все равно, единственное средство тебе приобрести возможность жить со временем не бедственно. Когда путь один, то нельзя разбирать, приятен ли, удобен ли он.

Хочешь отвечать на мое мнение действительными твоими соображениями о твоём будущем, то напиши, что хочешь отвечать. Тогда я приглашу тебя отвечать и объясню, в какой форме наиболее удобно нам с тобою переписываться о важных для устройства твоей жизни вопросах. Раньше приглашения от меня в споры со мною об этом не входи, а, как я говорю, напиши теперь только, что будешь непрочь от них, когда будешь знать, в какой форме удобно вести их. Считаешь их бесполезными? — Твоя воля; тогда отвечай на это письмо, что спорить со мною не хочешь.

А лучше всяких споров ли, согласий ли в переписке, развязывайся со всеми делами и отношениями, удерживающими тебя в Петербурге и переселяйся к твоей мамаше и мне. Поверь, жизнь с нами будет гораздо менее неудобна для тебя, чем ты полагаешь.

Однако и это письмо у меня вышло горькое для тебя. Прости мой горький тон. Через несколько дней пошлю тебе начатое мною длинное письмо, в котором не будет, надеюсь, ничего, кроме приятного тебе. Целую тебя. Будь здоров. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

839

А. Н. ХОВАНСКОЙ

6 декабря 1883. Астрахань.

Добрая Анна Николаевна,

Сейчас мы с Оленькою получили телеграмму, посланную ей Вами и Николаем Федоровичем. Душевно благодарю Вас и его за поздравление. Мне трогательно думать о Вашей любви к Оленьке и о том, что Ваше чувство к ней делает предметом Вашего дружеского расположения и меня,

высоко ценящего, смею Вас уверить, дружбу Вашу
и Николая Федоровича. *Н. Чернышевский.*

Прошу Вас передать мой поклон Марье Николаевне.

Жму Вашу руку и руку Николая Федоровича и прошу еще раз принять мое искреннее уверение в моем уважении.

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 9 декабря 1883.

Милый друг Сашенька,

Мы получили твое письмо от 28 ноября. Это было два дня тому назад. Я хотел в ответ на него послать тебе целую грудку материала, который помог бы тебе сделать что-нибудь полезное для Саши; то были переписываемые мною и приводимые в порядок его стихотворения, записанные им здесь по моей просьбе. Но вот ныне мы получили от него письмо, сообщающее, что он решился переселиться сюда к нам. Разумеется, я рассудил отложить дело о его стихотворениях до его приезда, и работа двух дней отложена мною в сторону. Принимаюсь писать замедленное ею письмо к тебе.

Мы очень рады, что Саша едет жить с нами. Это, по нашему мнению, самое лучшее для его будущности решение вопроса о нем. Таково же и твое мнение, как мы прочли в твоём письме от 28 ноября.

Буду теперь отвечать на это письмо, следуя по порядку его содержания. Мои цифры будут соответствовать твоим.

1) Ты с горячею любовью доказываешь, что между нами не должно быть денежных счетов, да и невозможно нам определить цифры взаимных денежных передач или равнозначительных деньгам расходов. Это не относится к делу, мой милый. Но ты хочешь, чтобы разговор о моих долгах тебе «был наконец покончен». Благодарю тебя, мой милый. Изволь, кончаю. Не о том и не в том дело, о чем ты рассуждаешь с такою доброю любовью ко мне. Но, изволь: умолкаю. Благодарю тебя и умолкаю.

2) О детях моих. О Саше уж было. И если успею, то поговорю еще. Если не успею в этот раз, все равно: он едет сюда, и довольно того. Но о Мише надобно мне потолковать с тобою теперь же. Ты выражаешься так: «одному» из моих детей «следует» поселиться с нами, — конечно, ты думал о Саше; но «другому» — то есть Мише, конечно, — «полезно было б остаться здесь», то есть в Петербурге, «для разных ваших дел», полагаешь ты. — Итак, ты полагаешь, что Миша может быть полезен мне, оставаясь в Петербурге. Мне; ты, разумеется, думал собственнно обо мне, когда писал те слова. Так я понимаю их? Или ошибаюсь? Если я понимаю их правильно, то я должен сказать, что твое мнение об этом вопросе неодинаково с моим. И если это так, то причина разницы состоит, вероятно, в недостатке у тебя точных сведений о фактах, заставляющих меня находить, что никакие заботы моих детей о моих пользах не могли и не могут оказывать ни малейшего влияния на ход моих дел. От изложения моих сведений об этом увольняю себя, надеясь,

что ты дашь хоть маленькое доверие моим словам и без подтверждения их пересмотром фактов. Я не могу не иметь убеждения, что всякие заботы моих детей обо мне совершенно бесполезны.

Итак, я положительно прошу тебя отложить, как несообразную с фактами, всякую мысль о том, что Мише надобно оставаться в Петербурге для моей пользы. Никакой, ни самой малейшей пользы мне от его забот обо мне не будет и не может быть.

Оставаться ль ему в Петербурге, или переселиться к нам, он должен решить исключительно по соображениям о том, что полезнее для него самого.

Как надобно думать об этом с точки зрения его интересов, я не знаю. Мое знакомство с моими детьми еще очень слабо. Они приехали сюда людьми совершенно «незнакомыми» мне. В неделю или восемь дней, которые провели они со мною, мог ли я хорошо узнать их способности? В особенности Миша, бывший все это время непрерывно занят житейскими хлопотами, едва имел досуг раза два, три в день поговорить со мною по несколько минут. Приехал он, незнакомый к незнакомому, и уехал почти незнакомый от почти незнакомого.

Есть у него способность заведовать коммерческими или промышленными, вообще: денежными предприятиями? Может он дельно управлять магазином, или операциями оптовой торговли, или фабрикою, заводом? Если да, то лучше всего ему идти по этой карьере, быстро ведущей способного человека к благосостоянию. И если представится хороший случай пристроиться к чему-нибудь подобному в Петербурге, что ж, тем лучше.

Но если нет ему случая получить службу в денежном предприятии в Петербурге — я подразумеваю как неперемное условие: службу с хорошим жалованием и с достоверностью быстрого повышения из второстепенного агента в управляющего большим предприятием, а вслед за тем в хозяина большого предприятия; — или если у него нет способностей, требуемых этою карьерою, то, по-моему, надобно ему будет, в его собственных интересах, переселиться к нам.

Оставаться в Петербурге для того, чтобы учиться медицине, ему не годится. Человеку 25 лет. Разумно ли человеку таких лет отсрочивать еще на пять лет время возможности приобретать себе порядочное пропитание? В тридцать лет начинать приискивать пропитание себе! Мише поздно учиться медицине. Да и достанет ли у него терпения пять лет быть студентом, то есть быть третируемым, как мальчишка? Быть мальчишкою приятно в мальчишеские годы. Человеку, давным-давно ставшему возмужалым, это положение менее приятное. Я уверен, что у Миши не достанет терпения пять лет быть третируемым, как мальчишка. Потерпит год, много два — и плюнет, бросит дело, начатое слишком поздно. И хорошо сделает. Что за карьера, карьера ме-

дика? Есть карьера хуже этой. Например, быть пахарем, носильщиком, водовозом. Но и быть медиком дело очень незавидное. Бывают на этой карьере удачные случаи. Но иной пахарь или водовоз тоже становится человеком благосостоятельным, а через несколько времени и богатым. Чего не бывает на свете. Карьера врача представляет гораздо больше шансов удачи; но все-таки слишком мало. Огромное большинство медиков бьются как рыба об лед.

Если у Миши неодолимая страсть к медицине, толковать не о чем. Что ж было бы возразить против решения человека стать трубочистом, если его влечет к тому страстная любовь к этой профессии? «Будь трубочистом, приятель, когда тебе так нравится». Но если выбор делается не по страстному влечению, а по расчету, то надобно сказать, что расчет ошибочен: кто может выбрать себе профессию более обеспечивающую, чем чистка труб, тому не расчет становится трубочистом. Нельзя назвать карьеру врача нищенскою, но скуден кусок хлеба, на который можно надеяться от занятий медика. Шансы удачи медику слишком малы. — По влечению ли к медицине хочет учиться ей Миша? — Едва ли.

Итак: если он рассудителен, он должен бросить эту затею. И если не способен к коммерческой карьере или, хоть и способен к ней, но не имеет случая быстро получить в ней положение распорядителя большого предприятия в Петербурге, то незачем ему оставаться там и следует приехать сюда. Здесь он станет способен к литературному труду и скоро станет приобретать им не такое нищенское вознаграждение, какое дает медицина огромному большинству врачей. Если б оказалось даже, что он не способен ни к чему более выгодному, нежели работа переводчика, то и занятия переводчика лучше обеспечивают сытость его, чем позволительно ему надеяться от медицины.

И — пять лет отсрочки поре приобретения себе куска хлеба! Это нелепая затея. Припомни же и напхни ему: ему не 16 лет, а 25. Ах, да! не 25, а лишь 24; итак, я ошибся. Он так молод, что имеет время учиться еще хоть 10 лет, хоть 15 лет, не только 5.

Понятно, я прошу тебя дать ему прочесть этот отдел моего письма.

3) О книгах. — Когда-нибудь попрошу тебя прислать мне, какие будут надобны мне. Но когда-нибудь. А пока не имею надобности ни в каких. И повторяю мою просьбу: пока не напишу тебе, какие нужны мне, не присылай никаких. Мои занятия и вкусы не те, какие были у меня прежде; потому, без моего собственного выбора нельзя тебе суметь выбрать такие книги, какие нужны мне. Деньги, которые ты употребил бы на покупку мне книг по твоему соображению о моих надобностях или вкусах, были бы почти все деньгами, брошенными в печь. Так угощал меня мой сыночек математическими книгами, — брошены

были в печь деньги, истраченные им на них, или нет? — Но приятно было мне прочесть в этом отделе твоего письма, что твоя «История слав. лит.» переведена на немецкий.

4) О работе мне. Исполняю твое желание — не делаю ровно ничего. Благодарю за то, что хочешь прислать мне книгу для перевода. Присылая, ты делаешь добро мне. — В этом отделе твоего письма нахожу сведения о тебе, интересные для меня. Ты говоришь о себе: «я, конечно, знаю много литературного народа, но близких отношений у меня решительно ни с кем из него нет». И прибавляешь: «Это покажется тебе удивительно». Показалось не чрезвычайно удивительно, потому что я именно это и предполагал. Положительных сведений не имел; но возможно ли было не угадывать этого? — Это «несколько затрудняет» тебе хлопоты о работе для меня. Разумеется, и не «несколько», а «очень» затрудняет. Тем больше я благодарен тебе за эти хлопоты.

Дальше в твоём письме следует приглашение мне написать для тебя воспоминания о литературе 50-х годов, — так выходит по началу твоих рассуждений об этом твоём приглашении; но дальше выходит, как будто бы нечто совершенно иное: тебе нужны как будто воспоминания мои не о литературе, а о литераторах. Например, ты говоришь: «Некрасов, Тургенев и пр. уже принадлежат если не истории, то биографии». — Писать воспоминания о литературе нельзя иначе, как имея под руками журналы того времени; без постоянных справок наделаешь анахронизмов. Вероятно, журналы того времени есть здесь. Здесь существует Общественная библиотека. В ней все это время шли починки, и она была закрыта. На-днях откроется. Тогда поищу в ней тех журналов. Думаю, они уцелели. Так сужу по попавшемуся мне в руки «Первому прибавлению» к ее каталогу, обнимающему время 1870—73 годов. В нем нахожу: «Вестник Европы», 1870, двенадцать книг; 1871, двенадцать книг, — то же и о 72 и о 73; все 12 книг целы. То же и относительно «Отечеств. записок»: за все четыре года уцелел полный экземпляр. Потому надобно полагать, что и за прежние годы журналы вовсе успешно, или хоть очень успешно, сохранены от воров и уцелели вовсе или почти без утраты книжек. — Напиши, была ли у тебя мысль желать, чтоб я написал для тебя воспоминания о литературе. Если да, то изволь, напишу, сколько будет можно. О литераторах, то есть о их личных качествах и о фактах их жизни, начинаю писать ныне же и сколько успею написать листков, пошлю при этом письме. Но этих воспоминаний у меня очень мало. Я писал тебе об этом года три или четыре тому назад; но ты не читал написанного мною тогда. Дело было так: ты сделал тогда мне приглашение написать для тебя воспоминания о знаменитостях моего времени и поименовал в числе других Тургенева, Достоевского, Островского, Писемского; не помню,

еще кого-то. Я отвечал: «Изволь; но я никого из них, кроме Некрасова, не имел в числе своих хороших знакомых. Я видел их у Некрасова; иной раз встречался с ними в чьей-нибудь иной квартире. Но не был в приятельстве ни с кем из них. И, например, Достоевского я видел только два раза; Писемского знал так мало, что, кажется, ни разу не случилось мне обменяться с ним ни одним словом, кроме разве «здравствуйте» и «прощайте». Ближе всех других знал я Тургенева. Но и с ним не было у меня «близких отношений» и т. д. в этом роде. Мой милый, я был, во-первых, человек, заваленный работою; во-вторых, они все вели обыкновенный образ жизни людей образованного общества, — а я был чужд привычки и склонности к этому, и их жизнь была чужда мне; в-третьих, я имел понятия, которым не сочувствовали они, а я не сочувствовал их понятиям. По всему этому я был чужой им, они были чужие мне. — С тобою я жил несколько времени в одной квартире. И ты вел не особенно, я полагаю, рассеянную или роскошную жизнь. Но участвовал ли я в твоей жизни? Я видел, что ты работаешь; иногда, ты говорил мне о своих работах; кроме этого, что я знал о твоей жизни? Почти ничего. — Я любил Добролюбова; участвовал ли я в его жизни? Любил Некрасова; и тоже не участвовал в его жизни. Потому из жизни Некрасова я знал лишь немногие эпизоды, и они оставались бессвязными отрывками знания. Когда таковы мои знания о Некрасове, то много ль у меня воспоминаний о других?» — Так отвечал я тебе тогда; и хотел, в угождение тебе, записать то не очень многое, что знаю о Некрасове, и то очень немногое, что знаю о других: Тургеневе и т. д. Но мое письмо осталось непрочтенным тобою, и я увидел, что писать — значило бы понапрасну тратить бумагу и чернила. Теперь напишу.

Но, мой милый, ты прибавляешь к твоему приглашению оговорку, показывающую, что твои и мои понятия обо мне очень неодинаковы и что я не могу написать ничего в таком тоне, который казался бы тебе справедлив. Ты говоришь: «Я просил бы только одного: писать это, когда... будут складываться воспоминания спокойные, нисколько тебя не волнуя или раздражая». Мой милый, я не считаю возможным, чтобы воспоминания о Тургеневе и остальной компании заключали в себе что-нибудь способное навевать на меня какое-нибудь настроение духа, кроме склонности задремать. А по-твоему, они могут «волновать» или «раздражать» меня. Что-нибудь одно: или ты имеешь очень фантастические представления обо мне, или я совершенно ошибаюсь в своих понятиях о том, чем я интересуюсь и чем вовсе не интересуюсь. Те люди были просто-напросто не интересны мне, и в воспоминаниях моих об этих — впрочем, или милейших, или очень почтенных людях — нет ровно ничего интересующего меня. Но если стать, в угождение тебе, на твою точку

арения и принять за достоверное, что в моих воспоминаниях о них есть много глубоко волнующего и много очень раздражающего меня, все-таки некоторым успокоением для нас с тобою за мои — увы! столь слабые! расстроены они у меня, бедняжки! — за мои столь слабые нервы может служить то, что ни с одним из сколько-нибудь известных поэтов или беллетристов не было у меня ни одного сколько-нибудь неприятного столкновения; исключение — один человек и один случай в жизни этого человека (ты знаешь, о ком и о чем я говорю?); но его поступок относился не ко мне; и выговор мой ему за этот поступок был выговор от человека, постороннего делу, говорившего лишь по обязанности сказать то, что было сказано мною ему; и — давным-давно я примирился с этим человеком (в душе примирился, разумеется; видеться или переписываться с ним я не имел случая). Вот лишь к нему применяется твое желание, чтоб я не «волновался» и не «раздражался». Былое давно былшем поросло, и давным-давно я перестал винить этого человека за этот его поступок. Не он был виноват; виноват был Добролюбов. Чем был тут виноват Добролюбов, будет рассказано когда-нибудь кем-нибудь; едва ли мною. Сущность дела в том, что Добролюбов доверял этому человеку больше, чем следовало. Но мне это нимало не повредило. Я был человеком посторонним этому обстоятельству и его последствиям. Кто думает иначе, ошибается. Меня это нимало не коснулось. — Возвращаюсь к твоей оговорке. Попросив меня не волноваться и не раздражаться, ты продолжаешь, что «был бы рад, если б это» — мои воспоминания о Тургеневе и всей компании — «писалось в духе простого добродушия». Увы, мой друг, едва ли я доставляю тебе радость находить, что я пишу в духе добродушия. Писать я буду в духе скупающего писать о том, что нимало не интересует его. А дух скуки, я полагаю, очень близок к духу добродушия, и если разнится от него чем, то разве тем, что уж чрезмерно кроток; это ультрадобродушие, или, пользуясь гоголевским термином, это «добродушие-матрадура, — то есть двойное добродушие». На деле это, кроме шуток, будет совершенно добродушно. Но тебе покажется вовсе не таким, вероятно. Дело в том, что не обо всем и не обо всех мои понятия одинаковы с твоими. Приведу примеры из того, что писал ты. У тебя есть статья о первом томе русской истории Забелина. Я знаю эту книгу только по твоей статье. Ты судишь об этом труде Забелина с очень крупными оговорками в пользу его. В сущности, ты находишь его мнения неосновательными. Но — и хорошего в этой книге очень много, по твоему отзыву. По-моему, эта книга — сплошная ахинея и, кроме нестерпимой белиберды, нет в ней ничего. Я написал бы о ней так: «Жаль, что человек почтенный взялся за дело, к которому не подготовлен; он в этом деле оказался невеждою и сумасбродным галлюциноматом. Уважая его за прежние дельные

труды по мелочным, но не совершенно ничтожным частичкам бытовой истории времен Михаила и Алексея, мы просим его, чтоб он не бесславил себя продолжением этой вздорной и не совсем честной чепухи». — В сущности ты, быть может, не очень далек от такого мнения об этой книге. Но твоя деликатность не позволяла тебе говорить о ней так. — В той же статье ты разбираешь книгу Иловайского. Я знаю ее и узнал об ученых свойствах самого Иловайского тоже только из твоей статьи. Забелин — честный и умный человек и основательный ученый; только взявшийся в этом случае за дело, превышающее силу его ума и размер его учености, Иловайский — самодовольный дурак и невежда; это видно из твоей статьи. А ты все-таки нашел невозможным не смягчить твоего опровержения его диких невежеств оговорками о том, что в книге есть кое-что порядочное. — Видишь ли, у меня не совсем такой характер, как у тебя. Ты любишь сдерживать себя. А я не охотник щадить то, что не нравится мне, когда речь идет о вопросах науки или литературы, или чего-нибудь такого, не личного, а общего. Поэтому я далеко не такого высокого мнения о некоторых из поэтов и беллетристов моего времени, как люди более мягкого характера. По-своему, я сужу о них совершенно добродушно. Но они — мелкие люди, кажется мне. И совершенно добродушно высказываемое о них мнение человека, считающего их мелкими людьми, должно казаться жестким большинству публики, привыкшему считать их крупными людьми. Я полагаю, что в некоторых случаях покажется так и тебе.

В выноске к тому месту, где говоришь, чтоб я писал для тебя свои воспоминания о литераторах моего журнального времени, ты спрашиваешь, буду ли писать их; если буду, ты пришлешь ряд вопросов о лицах или фактах, интересующих тебя. Пишу, как видишь по прилагаемым листкам. Итак, присылай.

Кончив отвечать на все в твоём письме, прибавлю несколько строк о Саше и о том, почему столько дней промедлил отправлением этого письма к тебе.

У Саши положительно есть поэтический талант. Бывши здесь, он записал для меня несколько своих стихотворений. Перечитывая их, я убедился в справедливости своих первых впечатлений и решил наконец, что следует мне позаботиться о их напечатании. Он записывал пьесы в случайном порядке, в каком вспоминались они ему при разговорах со мною. Для напечатания надобно было расположить их в порядке тех соотношений содержания, какие, перечитывая их, я нашел между ними. Я хотел, как прочел ты в первых строках этого письма, послать их тебе при нем, и переписывал их. В этом прошло два дня; а 9-го числа мы получили от Саши известие, что он едет к нам. Разумеется, я отложил дело о его стихотворениях до его приезда и стал свободен приняться за исполнение твоего желания.

Мои воспоминания о знаменитых поэтах и беллетристах моего журнального времени распадаются на два отдела: одну группу их образуют воспоминания о Некрасове, другую — обо всех остальных, каких случалось мне видеть. Первая гораздо обширнее объемом. Я хотел, чтобы ты поскорее получил который-нибудь отдел весь в цельности. Второй, сравнительно маленький, я надеялся написать в несколько дней; потому начал с него и хотел послать тебе при этом письме хоть с десяток первых листков, чтобы ты видел: я не то что собираюсь писать и неизвестно когда соберусь, а пишу. Писал вот до нынешнего утра, вот до тех минут, в которые пишу эту добавочную страницу письма. Написал, разумеется, довольно много; еще бы нет! Разочти: с 9 до 13-го, это четыре дня. Но чем дальше писал, тем яснее видел: не понравится тебе этот отдел моих воспоминаний, и вот наконец рассудил, что надобно бросить в печь все, что написано. И бросил. Не понравилось бы оно тебе. — Принимаюсь писать воспоминания о Некрасове. Его я любил. Потому мои воспоминания о нем не будут, вероятно, действовать на тебя неприятным тебе образом, как подействовали бы те, о других, брошенные в печь. — Присылай вопросы о других, о ком желаешь услышать от меня что-нибудь. На вопросы буду отвечать на всякие, о ком и о чем хочешь.

13-е. Начало вечера.

Пора отдать письмо на почту.

Успел написать, как видишь, всего только пять страничек воспоминаний.

Через несколько дней пошлю еще, сколько успею написать.

Оленька целует всех вас. Целую тебя, мой добрый друг. Целую твоих детей.

Целую руку Юленьки, руки других сестер. Будьте здоровы все.

[Без подписи.]

841

В. Н. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 9 декабря 1883.

Благодарю тебя, Варенька, за то, что защищаешь Сашу против отзывов моей досады на него. Действительно, он добрый и хороший человек, и лишь неблагоприятные обстоятельства его поры учения и юношеского развития сил причина тому, что до сих пор он еще не сумел устроить свою жизнь так, как было бы хорошо для него. А в тех неблагоприятных обстоятельствах виноват лишь я. И я же, виноватый относительно его, досаую на него, — это противно и справедливости и здравому смыслу.

Впрочем, я досаую на него лишь изредка, и сам жалею о том, что поддаюсь чувству, иметь которое не должно мне. Но грустно за него бывает мне часто. Иногда, однакоже, думаю о его будущем и с хорошими для него надеждами. Он потерял много лет жизни без всякой пользы для себя. Но, быть может, успеет хоть отчасти вознаградить потерю. Это было бы даже очень вероятно мне, если б он решился поселиться вместе со мною. Мне воображается, что я помог бы ему разъяснить туманный хаос, в котором путаются его соображения о том, чем бы ему заниматься и как жить. Других никого он не считает достаточно учеными для серьезных разговоров с ним о той математической дребедени, которую набита его голова и которую, следуя примеру и внушению великих, по его мнению, двигателей умственного прогресса, он принимает за серьезное научное дело. Источник нелепой ошибки — обыкновенная мономания специалистов по вспомогательным отраслям знания возводить эти свои специальные науки на степень знаний, имеющих высокое самостоятельное значение. Латинисты возводят в спасительную для людей, независимую от практического приложения науку изучение латинской грамматики, которое не имеет смысла, если заниматься им не как подготовлением себя к чтению латинских книг, а как особою наукою, драгоценною и без всякого практического применения ее, наукою спасительною для человеческого ума по своей необыкновенно умной необходимости для правильной формулировки рассудка. Точно так же масса математиков думает о математике: это наука, сама по себе необходимая для развития разумности в человеке. Ее приложения к астрономии, оптике и т. д., конечно, хорошие занятия; но слишком мелкие и низкие для истинно математических деятелей: эти деятели должны весь век свой размышлять лишь об алгебраических и интегральных фигурках, не заботясь о том, какой реальный смысл могут или не могут иметь их комбинации; реальный смысл в них пусть находят мелкие работники, трудящиеся над мелочными, низкими астрономическими и тому подобными узкими, пошлыми занятиями; а истинные математики должны только разрисовывать страницы математическими фигурками. Этой премудрости набрался Саша от Чебышева, признаваемого Европою за великого математика. Наш с тобою брат Сашенька, такой ли он ученый по части математики, чтобы говорить с ним о внушаемой великим Чебышевым премудрости? — И если Сашенька скажет своему математическому племяннику, что эта премудрость Чебышева бессмысленная односторонность человека, заигравшегося в своих математических забавах до мономании, то возможно ли ученику великого Чебышева обращать внимание на мнение человека, не знающего интегралов? — То же, что о трате времени на математическую белиберду, воображающуюся бедняку Саше полезным для человечества проповедыванием необходимых всякому человеку знаний, надобно

сказать и о других путаницах мыслей в голове бедняжки. Все пытающиеся говорить о них ему, как о пустяках, на которые не стоит тратить времени, — люди, не понимающие возвышенности этих великих премудростей. Лишь я имею смелость говорить ему о мономании Чебышева как о мономании, глупость которой ясна для меня и станет ясна ему после достаточного для его образумления числа споров со мною о ней; и спорю, не пугаясь ни терминов, ни формул высшей математики, которыми он озадачивает других, не знающих ее. И поспорив со мною неделю о своих математических занятиях, он как будто начал немножко постигать, что трудился над толчением воды. Поселится со мною, то постепенно образумится от этой и других своих нелепостей, я надеюсь. Но если не будет жить со мною, останется толкущим воду голодным мономаном.

Согласится ли поселиться со мною? — Мало надеюсь на это.

Буду ли винить его, если не согласится? Жалеть о нем буду, потому что буду думать: он губит время в толчении воды; и досадовать буду: как не досадовать на остающегося нищим по собственной воле, на губящего свою жизнь, когда этот нищенствующий чужак — человек близкий, любимый? Но винить бедняжку — если и буду, то лишь по слабости, поддающейся несправедливому влечению слагать на жертву своей вины свою вину, от которой страдает бедняжка.

Жаль его, бедняка. — Однако пора кончать.

Итак, все мое письмо к тебе не о тебе. Но что писать тебе о тебе, не придумаю. Так жить, как живешь ты, нельзя. Это ясно. Но что возможно сделать для улучшения твоей жизни? Не знаю, потому что не знаю о нас, об Оленьке и себе, как устроится наша жизнь.

Целую руку тетеньки. Целую дяденьку.

Целую твои руки, добрый друг наш. Будь здорова. Твой *Н. Ч.*

842

А. Н. ПЫПИНУ

18 декабря 1883.

Милый друг Сашенька,

Сейчас получена здесь посланная мне Sprachvergleichung etc. Schrader'a; без сомнения, та книга, которую поручается мне перевести. Ныне же принимаюсь переводить. Начало перевода пошлю дня через три. — Благодарю.

Целую твоих, то есть моих.

Сашу прошу ехать к нам, не отлагая дела в длинный ящик. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

А. Н. ПЫПИНУ

20 декабря 1883. Астрахань.

Милый друг Сашенька,

Посылаю начало перевода той немецкой книги, которую получил третьего дня.

Я воображал, что буду переводить быстро; и, кажется, даже хвалился в письмах к тебе, что буду. А вот в двое суток перевел только двадцать страниц, не очень больших; меньших, чем журнальные. Как быть! — По расчету такого хода работы, перевод будет кончен не раньше 5 февраля. Досадно, что дело оказывалось в эти оба дня идущим так медленно. Еще досаднее, что не могу надеяться на более быстрый ход работы и в следующие дни; быть может, и во все время занятий ею не будет ей возможности подвигаться вперед быстрее.

Прошу тебя взглянуть на отметку карандашом на поле 25 страницы по нумерации рукописи. В подлиннике санскритское aritra переведено словом Ruder; Ruder может значить и «весло» и «руль»; я не умел припомнить, которое из двух этих значений нормальное; и перевел санскр[итское] слово термином «лодочный гробок», не умея выбрать, следует ли перевести словом «весло» или словом «руль».

Шрадер, по примеру массы немецких филологов, пишет в стиле Гримма; то есть: напихивает в свои периоды целые вороха бессвязных вставок, воображая, что это очень приличный ученому слог, слог сжатый, исполненный сокровищ учености. Я пока принял только одну меру для того, чтобы дать изложению менее тяжелый характер: все вставочные в середину периода цитирования заглавий и страниц я выношу из текста в примечания. На более серьезные меры для придания человеческого облика нестерпимо педантскому лику автора я не решился, опасаясь обвинения в непочтительном обращении с великим деятелем науки. Потому перевод мой остается не совсем удобочитаем; но зато нельзя будет назвать его неточным.

В подлиннике принята транскрипция санскритских и зендских слов, изобилующая дискриминационными точками вверху и внизу фигур латинских литер. В какой же русской типографии найдется такой шрифт? В типографии Академии наук он есть, вероятно; и только в ней, вероятно. Разве в ней будет печататься перевод? Если не в ней, то, вероятно, лучше будет заменить научную транскрипцию менее точным, но более сообразным с бедностью наших типографий шрифтом. Уведомь меня об этом.

Благодарю тебя, добрый друг мой, за то, что ты дал мне работу.

Посылаю две с половиною странички продолжения моих воспоминаний о Некрасове. Просмотрев их и прежние первые странички, ты увидишь, какая штука выходит из этих воспоминаний: они переполнены сведениями, благожелательно собираемыми автором о самом себе, в научение читающего той любопытной истине, что автор очень интересный и превосходный человек: Некрасов, извольте видеть, чрезвычайно полюбил автора; читающий должен понимать, что обязан восхищаться таким милым человеком, как автор.

В чем дело? — Я о Некрасове знаю почти только то, что относилось в его жизни к моему сотрудничеству. И говорить о нем почти нечего мне, кроме того, что, по-настоящему, составляет часть не его биографии, а моей.

Если писать автобиографию, то говорить о себе следует. Но биографию другого лица переполнять сведениями о собственной персоне это, согласишься, дело неприятное для пишущего, если он не вполне лишен смысла и такта.

Неприятно мне писать воспоминания о Некрасове, более похоже на дурацкое словоизвержение о себе самом, чем на материал для биографии Некрасова.

Другому не будет неприлично, наслушавшись моих рассказов о Некрасове, записать их. Но мне самому не будет неприлично писать их, лишь когда я буду писать воспоминания о собственной жизни; там естественно мне будет говорить о Некрасове и о себе самом вместе. А «воспоминания о Некрасове» не годится мне писать как особый рассказ.

Впрочем, твое дело рассудить, лучше ли мне будет бросить этот рассказ или следует продолжать его.

Снова благодарю тебя, добрый друг, за то, что ты дал мне работу.

Оленька целует тебя, Юленьку и всех других своих, которые твои и мои.

Тоже и я.

Целую тебя и Юленьку. Жму ваши руки. Твой Н. Ч.

844

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 27 дек[абря] 1883.

Милый друг Сашенька,

Не успел я ко времени отправления письма Саши, при котором посылаю эту записку, прочесть и поправить переведенные мною страницы книги Шрадера; потому отлагаю отсылку их до поры, когда придет мне охота прочесть и поправить перевод. Ныне он дошел у меня до 76 страницы подлинника; следовало б ему дойти до 97 или 98; но приезд Саши, разумеется, отвлек

меня на эти три дня (Саша приехал третьего дня) от работы. Во всяком случае, надеюсь кончить ее к сроку, какой выходит, по расчету хода ее, в первую неделю, — к 4 или 5 февраля. Кусок ее, страницы до 110 или 120, пошлю около Нового года.

Приезд Саши сюда будет, вероятно, полезен для него. Для Оленьки он очень полезен. Я чрезвычайно рад за них обоих.

Поздравляю Юленьку и всех других твоих, то есть моих, с Новым годом.

Целую их всех.

Целую тебя, добрый друг. Жму твою руку.

Будьте все здоровы. Твой Н. Ч.

P. S. На мои письма отвечай лишь тогда, когда ответ надобен в деловом смысле. У тебя много работы, и прошу тебя не забывать, что я сам когда-то работал много, потому знаю: рабочему человеку некогда писать письма.

Снова целую всех твоих, то есть Оленькиных, и моих, и жму твою руку.

845

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 27 декабря 1883.

Милый друг Миша,

Каково-то поживаешь?

Приезд твоего брата очень обрадовал меня. Твою мамашу еще больше. И уж стал очень, очень полезен для нее.

О мой милый, не удалось мне поговорить с тобою ни о ней, ни о тебе самом, как хотелось бы мне. Когда-то увидимся с тобою опять?

О твоём брате я стал бы теперь говорить с тобою менее грустно, чем говорил. Я надеюсь теперь, что его жизнь устроится удовлетворительно.

А о тебе как мне думать с точек зрения твоих интересов? Скоро ли начнет мне казаться, что они обеспечиваются твоими заботами о твоей будущности?

Не верю я, что у тебя достанет охоты тянуть пять лет лямку студенчества. Думаю, что все то время, которое проведешь ты в этом нестерпимом для взрослого человека состоянии несовершеннолетнего, опекаемого и муштруемого, окажется потраченным тобою на попытку, слишком позднюю для твоих лет.

Можешь ли ты надеяться на способность в себе к приобретению хлеба каким-нибудь другим честным трудом, не требующим такой долгой подготовки, как медицинская практика? — Каким, все равно, лишь бы честным, — от работы коммерческого агента, до труда артиста, всякий честный труд, не требующий

такой долгой подготовки, лишь был бы сообразен с твоими способностями и склонностями, был бы, по-моему, лучше для тебя, чем твоя попытка — на пять лет остаться все еще подготавливающимся к приобретению себе куска хлеба.

Прости, что огорчаю тебя противоречием.

Целую тебя. Будь здоров. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

846

А. Н. ПЫПИНУ

[Конец 1883 — начало 1884.]

...1) Романы без числа.

2) Издания громадного сборника всех порядочных повестей и романов таких писателей, которые не могут надеяться на распродажу своих произведений отдельными изданиями или писали очень мало.

3) Антология большого размера.

№№ 2 и 3 печатаются по соглашению с авторами с выгодными для них условиями раздела прибыли.

4) Если может распродаваться быстро, то новое издание полит[ической] эк[ономии] Милля. Я переделал бы текст Милля по своим понятиям о вещах, делая построчные оговорки о том, в чем разница между оригиналом и моею переделкою.

5) Ученые статьи, какие нужны для журналов.

6) Переводы.

Вся важность для меня — получать деньги, чтобы жить и расплатиться с долгами.

Дело готов иметь со всяким честным человеком, издающим честный журнал или честные книги и имеющим деньги на авансы мне.

[Без подписи].

847

Н. Д. и А. Е. ПЫПИНЫМ

Астрахань. 1 января 1884.

Милые дяденька и тетенька,

Прошу Вас принять мое поздравление с Новым годом и выражение моей надежды, что он будет благоприятен для Вашего здоровья и порадует Вас хорошими известиями о Ваших детях и о нас, об Оленьке и мне.

Здоровье Оленьки значительно улучшилось, благодаря тому что зима здесь сравнительно мягкая: до сих пор не было ни одного дня, в который бы в часы позднего утра и до начала вечера не было довольно тепло.

Приезд Саши очень порадовал меня; Оленьку еще больше, разумеется. Это также действует и на ее здоровье благоприятным образом.

Мы теперь устроились здесь уж довольно порядочно.

Целую Вашу руку, милая тетенька.

Целую Вас, милый дяденька. Ваш *Н. Чернышевский*.

848

В. Н. ПЫПИНОЙ

1 января 1884. Астрахань.

Милый друг Варенька,

Поздравляю тебя с Новым годом.

Принесет ли он какое-нибудь облегчение твоей, слишком переполненной исполнением тяжких обязанностей, потому слишком трудной жизни, слишком исключительно посвященной только заботам о других?

Я, когда ехал в Россию, полагал, что буду иметь возможность быть полезным для семейства и родных, из которых должен был думать больше всего именно о тебе. Когда-нибудь, быть может, и буду. Но пока — живу трутнем.

Приезд Саши был очень полезен для здоровья Оленьки. Вероятно, будет полезен и для него самого.

Целую твои руки, наш добрый друг.

Обнимаю и целую тебя. Твой *Н. Ч.*

849

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

7 января 1884. Астрахань.

Милый друг Миша,

Твоя мамаша очень беспокоится за тебя, потому что давно ждет письма от тебя и все не получает. Мы с твоим братом, разумеется, знаем, что твое продолжительное молчание значит только: у тебя нет ничего нового написать ей; и, разумеется, говорим ей, что беспокоиться о тебе не существует никаких сколько-нибудь серьезных причин. И опять-таки само собою разумеется, что и сама она не хуже нас умеет рассуждать точно в том же смысле. Но ее здоровье слабо, мой милый; хоть и много улучшилось после того, как ты видел ее, но все таки еще очень слабо. Например, не дальше как вечером в день Нового года она сделалась такую ослабевшею, что легла в постель гораздо раньше обыкновенного, находя надобным дать себе побольше времени для отдыха и надеясь, что к следующему утру ее изнеможение прой-

дет; — и оно не прошло, утром она не имела сил подняться с постели. Так прошли сутки; прошли другие сутки. При ее живом характере ей невыносимо неприятно лежать в постели больною. Ты знаешь это. И однакож, она пролежала почти целые трое суток. Только 4-го числа нашла в себе силу встать на несколько часов; но ко времени обеда опять уж едва держалась на ногах и после обеда принуждена была снова лечь в постель и лежать. Еще очень слаба она, мой друг, очень слаба. Потому неотвязно расстраивают ее душевное спокойствие даже и такие мысли, о которых сама она знает, что напрасно тревожится ими. Знает она, что в твоём продолжительном молчании нет ничего действительно опасного смущать ее опасениями за тебя; но — мучится опасениями. Часто, украдкой от меня и Саши, плачет. После говорит мне, что плакала. И в эти дни — вот уж больше недели — все ее тревоги и слезы были от мысли о твоём молчании.

Прошу тебя, мой друг, если можешь быть аккуратным, пиши ей по каким-нибудь непродолжительным определенным интервалам. А если можешь не только быть аккуратным, но и ручаться за свою аккуратность, то и назначь в письме к ней, через какие сроки одно твоё письмо к ней будет следовать за другим. Но такое обещание ты вправе дать ей лишь в том случае, если совершенно уверен в своей способности неуклонно сдерживать его; иначе, если бы не пришло письмо от тебя в тот день, когда она, по расчёту обещанного тобою срока отправки, будет ждать его, её тревога за тебя развилась бы до слишком тяжёлой мучительности. — Да, мой друг, измучена многолетними страданиями твоя мамаша; измучена, бедная.

Приезд твоего брата приносит большую пользу ей. Я чрезвычайно благодарен Саше за решение поселиться с нами; чрезвычайно благодарен.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

Р. S. Чтобы легче было тебе почаще отправлять письма к нам, я предлагал бы тебе не обременять себя прибавлениями, назначенными собственно для меня: несколько строк для твоей мамашы — этого совершенно довольно для того, чтобы письмо вполне удовлетворяло своему мотиву отправления к нам, было успокоением для твоей мамашы; пять, много десять минут на то, чтобы написать три, четыре строки — это, не правда ли, можно делать часто? Жму опять твою руку, мой друг. Будь здоров. Обнимаю тебя.

Р. P. S. Сейчас мы получили письмо твоего дяди, Александра Николаевича, от 31 декабря; оно писано рукою Юлии Петровны. Это уж второе письмо, писанное её рукою. Хорошо, однакоже, сумел твой дядюшка угостить свои глаза чтением и писанием.

Я был сильно огорчен этим известием в предыдущем письме: «болят глаза» и т. д.

Скажи ему, что исполню его советы относительно того, как переводить книгу Шрадера. Теперь у меня переведено 122 страницы. — Желая угодить Александру Николаевичу, твой брат вызвался писать под мою диктовку те воспоминания мои об отношениях Тургенева к Добролюбову, которые хочет иметь он. Мы написали уж листа полтора печатных и ныне-завтра доведем это дело до конца. Просмотрев эти воспоминания, отобрав для напечатания некоторую долю стихотворений Саши и просмотрев сделанную часть перевода книги Шрадера, я отправлю все эти рукописи вместе в виде посылки в редакцию «Вестника Европы», чтобы не делать твоему дяде потери времени на хлопоты с получением посылки. С тою почтою, с которою отправляю посылку, напишу и письмо к нему.

А пока целую руку Юленьки, целую их детей, целую Евгеньичку, Поленьку, братьев; и снова жму твою руку. Будь здоров. Обнимаю тебя. Твой Н. Ч.

850

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

10 января 1884.

Милый друг Миша,

Благодарю тебя за известия, которые ты сообщаем мне в письме от 1 января.

Издатель, или помощник издателя, которому ты передал первые листы моего перевода книги Шрадера, — лицо, фамилия которого совершенно неизвестна мне. Но это обстоятельство не имеет влияния на меня. Я имею полнейшее доверие к этому твоему знакомому и прошу тебя сказать ему, что он имеет право находить в этих моих словах все то, о чем было бы приятно или надобно ему услышать от меня. (Ты дашь ему прочесть все это письмо.)

Я исполню его советы относительно перевода книги Шрадера. Теперь я перевожу 138-ю страницу подлинника. Всех страниц текста около 450; кроме того есть страниц 30 приложений, перевод которых потребует лишь нескольких часов. Когда придет твой ответ на это мое письмо, будет переведено больше половины книги.

Когда твой брат кончит пересмотр своих стихотворений, я в одной посылке с ними отправляю и ту часть перевода, которая будет готова к тому времени. Приложу и все листы немецкого подлинника, перевод которых пошлю: печатный подлинник необходим для корректуры перевода.

Ты пишешь, что издатель обещается дать мне по окончании этой работы другую. Вполне верю этому его обещанию, как и во всем безусловно верю ему.

Но я просил бы его вторую книгу для перевода мне выбрать такую, которая по своему содержанию могла бы быть покупаема в большем количестве экземпляров. Такие книги, как переводимые мною теперь, слишком тяжеловесны, потому не могут доставлять выгоды ни издателю, ни переводчику. А мне нужно зарабатывать много денег. Этого не передавай твоему дяде, а то он огорчился бы, что я считаю выбор книги Шрадера для перевода мне выбором неудачным. Теперь это дело прошлое: я взялся переводить и кончу. Да и поздно было б бросать перевод: прежде чем получена будет мною от издателя (твоего знакомого) другая книга для перевода, пройдет столько времени, что я доведу перевод Шрадера до конца или до страниц, недалеких от конца. И было бы еще хуже сидеть это время вовсе без работы, чем работать над делом, которое не таково, как я желал бы.

Целую тебя. Будь здоров. Жму твою руку.

[Без подписи.]

851

П. Н. ФАН-ДЕР-ФЛИТ

Астрахань. 10 января 1884.

Милый друг Поленька,

Благодарю тебя за любовь к Оленьке и ко мне.

Оленька рассказывала мне о тебе все, что знает. Судя по ее рассказам, думаю, что она права, считая тебя счастливою, и радуясь этому.

Почему я так долго не писал тебе? Я говорю в письме, которое тоже ныне посылаю Евгеньичке, почему не писал до сих пор ни ей, ни тебе. И помимо других соображений, мне просто-напросто тяжело писать к кому бы то ни было из братьев или сестер. Я и к тебе пишу теперь только по принуждению от Оленьки, подобно тому как пишу к Евгеньичке.

Если не будешь отвечать на мое письмо, то, быть может, это будет всего лучше.

Прошу Петра Петровича принять с добрым расположением мое родственное приветствие ему.

Целую ваших детей.

Целую твою руку, миленькая моя сестрица.

Обнимаю тебя. Твой Н. Ч.

852

Е. Н. ПЫПИНОЙ

10 января 1884. Астрахань.

Милый друг Евгеньичка,

Начну с того, что я чувствую себя обязанным иметь очень, очень большую благодарность тебе за твои заботы о восстановле-

нии здоровья Оленьки в те эпохи, когда оно бывало особенно сильно расстроенным и без твоей помощи пострадало бы совершенно неисправимо.

В одну из таких эпох я, не знавший, что мне думать, был успокоен твоим письмом ко мне. Только из него я узнал, в чем состоит главное страдание организма Оленьки, как идет врачевание, чего ожидать мне. Это твое письмо было чрезвычайно важно для меня. Само собою разумеется, я желал ответить тебе на него и просить тебя о продолжении переписки. И отвечал. Но переписка оказалась невозможностью.

Вот, через несколько лет, опять пишу тебе. Это мое письмо, без сомнения, дойдет до тебя. И, разумеется, корреспонденция между нами может теперь пойти без всяких помех. Но я желал бы не писать ничего ни тебе, ни кому из других братьев и сестер; ни даже Вареньке, для которой из всех вас наименее неудобно получать письма от меня и посылать письма ко мне. Не хотелось бы мне переписываться ни с кем из вас. Но Оленька принудила меня писать Вареньке и Сашеньке. От ее требований, чтобы я писал тебе и Поленьке, я, как видишь, успел уклониться больше двух месяцев. Ныне принужден ею наконец писать к тебе и к Поленьке. Не знаю, желать ли, чтобы ты или она отвечали мне. По-моему, пожалуй, лучше бы и не делать вам этого, пока мои дела остаются в таком же положении, как теперь.

На другом полулистке пишу два, три слова в привет Сереже и Виктории Ивановне.

Обнимаю тебя, добрая наша сестра.

Жму твою руку. Целую обе твои ручки. Твой *Н. Ч.*

853

С. Н. и В. И. ПЫПИНЫМ

[10 января 1884. Астрахань.]

Обнимаю тебя, милый друг Сережа.

Ответа от тебя не жду.

Целую вашу руку, добрая сестрица, Виктория Ивановна. Благодарю Вас за Ваше расположение к Оленьке. Ваш *Н. Ч.*

854

А. Н. ПЫПИНУ

21 января 1884. Астрахань.

Милый друг Сашенька,

Чтоб не было тебе искушения утомлять чтением твои больные глаза, пишу не тебе, а Юленьке то, что имею написать тебе.

Целую тебя, мой милый друг. Твой *Н. Ч.*

Ю. П. ПЫПИНОЙ

21 января 1884. Астрахань.

Милая сестрица Юленька,

Благодарю Вас за те письма, которые потрудились Вы написать под диктовку Сашеньки. Прошу Вас прочесть ему это мое письмо.

Письма, диктованные им Вам, нисколько не отличаются по языку от тех, которые писал он своею рукою. Из этого ясно, что он напрасно возражал мне (в нашей прежней переписке), будто мой совет ему, чтобы он диктовал свои статьи и книги переписчику, неудобноисполнимы для него, — его возражение не более, как результат его прежней беззаботности о самом себе. Теперь, когда довел свои глаза чрезмерным утруждением их до болезненного состояния, он обязан держать себя на будущее время рассудительнее и приучить себя к тому, чтобы диктовать. Несколько дней труда над приучением себя к этому — и привыкнет; работа пойдет не только не хуже, даже лучше того, как шла, когда он писал своею рукою. И в полтора раза быстрее. Я, когда работал много, то несколько раз делал опыт сравнения скорости, с какою человек пишет свои статьи или книги своею рукою, и скорости, с какою идет дело, когда он диктует их; я замечал время по часам и считал написанные буквы (разумеется, приблизительным способом; например, считал буквы на каждой десятой или двадцатой строке рукописи, и считал число строк). Постоянно выходила одна и та же пропорция: при диктовании бывает написано в час слишком в полтора раза большее число букв, чем когда пишет своею рукою автор. Это когда я диктовал человеку, пишущему обыкновенными литерами. Стенографов не было тогда в Петербурге. А теперь? — Теперь я диктовал бы стенографу. И это уж не тот ход работы. Пусть Сашенька приучит себя сначала диктовать обыкновенному писцу. Привыкнув к этому, пусть приучает себя диктовать стенографу. Надобно вперед обдумать; надобно разложить по порядку книги, из которых будут цитаты и т. д.; — приготовив себя и приготовив материалы, легко диктовать так, что стенограф едва будет успевать записывать. И тогда — один час диктования стенографу дает количество работы, какое потребует восьми или девяти часов сидения с пером в руке, если пишешь сам обыкновенными литерами.

Это о том, как избавить глаза от утомления письменною работою. Другое обременение им — излишнее чтение. Сашенька обязан избавить их от этого. Три четверти книг, которые читает он, — такой хлам, которому истинное назначение — служить оберточной бумагой в мелочных лавочках. Пусть не прогневаются Сашенька за такую обиду многоученым авторам читаемого им хлама. Эрудиция — вещь хорошая; добросовестное изучение лите-

ратуры предмета — вещь превосходная. Но эрудиция не растет, а уменьшается от чтения книг, в которых нет ничего, кроме белиберды. И добросовестность изучения состоит вовсе не в том, чтобы читать школьные упражнения невежд. Приведу пример из старины. Что, кроме белиберды, можно извлечь из Буслаева? — Тупоумный человек помешался на Гримме и находил индийские и исландские мифы в каждом русском выражении. «Я сижу, ты идешь, он лежит» — попадись эти слова Буслаеву, он тотчас примется искать объяснения им в Ведах, в Эдде и в «немецком животном эпосе», и через несколько времени откроет: «я [сижу]» — это туча (туча засела на небе); «ты идешь» — это солнце; «он лежит» — это равнина вод океана; и смысл тех пустейших и простейших слов выйдет: Индра поразил молнией демона, который похитил небесных коров. — Стихи Пушкина:

На берегу пустынных волн и т. д.

у Буслаева окажутся тоже рассказом о том, как Индра поразил и т. д. Петр Великий — это, явное дело, молния, разгоняющая тучу, аллегорически называемую у Пушкина шведским войском, и т. д. — Читать такие бредни, из которых сплошь сплетены все многоученые произведения Буслаева, значит просто-напросто терять время. Впрочем, забыл: скандинавские боги у него фигурируют даже больше Индры. — Буслаев — это старина. А масса новых ученых книг лучше? — Такая же белиберда, только по новой моде, из других ингредиентов. Сашенька уже давно приобрел такой огромный запас учености, что лишь очень немногие из вновь выходящих книг могут сообщить ему что-нибудь важное новое, и потому лишь немногие должны быть читаемы им.

Он станет говорить Вам, что я несправедлив к ученым, книги которых он читает, что я несправедлив вот почему и вот почему, и много наберет аргументов в опровержение моего совета ему не утруждать глаз чтением ученого хлама. Я прошу Вас, Юленька, не смущаться его доводами и твердо держаться своего: «Попробуй бросить читать вздор, и через полгода подведи расчет, отстал ли ты в эти полгода от прогресса науки». Две, три книги в полгода, достойные прочтения, — это не каждые полгода так изобилует урожай на поле какой угодно отрасли знаний, а в истории литературы и тому подобных поросших бурьяном пустынях проходит часто и по несколько лет без такого урожая.

От Сашенькиных дел перехожу к своим.

Ныне утром я отправил посылку в редакцию «Вестника Европы» для передачи Сашеньке. Он найдет в посылке:

1) мои воспоминания об отношениях Добролюбова к Тургеневу и о ссоре Тургенева с Некрасовым. Саша (мой сын) вызвался записать их, желая сделать приятное дяде. Если б я стал писать своею рукою, я бросил бы в печь первый лист, написав несколько строк, и не возобновил бы опыта. Но Саша сядил к

стола и ждал диктовки, и мне приходилось диктовать. — Мой добродушный братец огорчится, милая Юленька, тем, что Тургенев изображен мною не в очень выгодных чертах. Но — не я желал припоминать его мелочность и пошлость, Вашему супругу было угодно, чтобы я припомнил. — Понятно, эти воспоминания вовсе не для печати. Каков бы ни был Тургенев, но теперь не время говорить о нем дурно в печати.

2) Стихотворения Саши, Вашего с Сашенькою племянника, моего сыночка, при моих напоминаниях удосужившегося наконец переписать те стихотворения, которых не было у меня в руках прежде, и кое-что поправить в них. Прошу Сашеньку передать этот сборник Стасюлевичу и попросить Стасюлевича от моего имени напечатать. Я хотел избавить Сашеньку от этого посреднического труда и написать прямо Стасюлевичу. Но вот вышло, что послал стихотворения Саши Вашему Сашеньке. Прошу его передать мне (Вашею рукою) ответ Стасюлевича.

Кстати: если Стасюлевич ужасается сношений со мною, то пусть Сашенька скажет ему, что все эти ужасы — продукт праздной фантазии людей, не знающих ничего, кроме вздора, о моих отношениях к официальному миру. Ни с кем из официальных людей, с которыми имел какие-нибудь серьезные дела, я никогда не был в неприятных отношениях; все эти люди были хороши со мною. Полагаю, что и теперь не имею ни одного не расположенного ко мне хорошо. Понятно, что я говорю о лицах, занимающих действительно важные для меня официальные положения. Передавая Стасюлевичу, что ужасаться сношений со мною нет серьезных резонов, кстати и сам Сашенька пусть попробует отстать от напрасной привычки воображать, что я дряхлый старик, которому нужно отдыхать, отдыхать и отдыхать от неизвестно какого утомления поездкою сюда. Смею уверить Сашеньку, что я еще не совершенно дряхл.

3) Часть перевода книги Шрадера и соответствующие листы немецкого подлинника. — В месяц я перевел 198 страниц; остается около 250 (не считая приложений, в которых мало вещей, требующих замены немецких или иных слов русскими). Итак, если работа пойдет, как шла, кончу перевод около 25—26 февраля.

Целую Вас, миленькая сестрица.

Целую Ваших деток.

Будьте здорова. Целую Вашу руку. Ваш Н. Ч.

Оленька целует Вас, Верочку, Наташу, Митю и Колю. Ей всю эту неделю так нездоровилось, что она с воскресенья до нынешнего утра не вставала с постели. Но, хотя и тяжела для нее нынешняя зима, все ж это, по ее словам, далеко не то, что выстрадала она в прошлую зиму. — Передайте ее сестринское приветствие и Сашеньке. Вам хотела писать она сама, но чувствует себя утомленною и просит извинить, что поручила мне писать за нее.

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

4 февраля 1884. Астрахань.

Милый друг,

Благодарю тебя за письмо. Отвечаю на него.

1) О книге Шрадера. 21 января я послал перевод ее до 196 или 198 страницы и эту часть подлинника (необходимого для корректуры) на имя твоего дяденьки, Александра Николаича, по адресу «в редакцию Вестника Европы». Это стоило только 1 р. 26 к. А если бы посылать маленькими кусочками в письмах, как я говорил прежде, это стоило бы рублей пять. Расчет заставил меня отлагать отправление, пока наберется побольше листов перевода, чтобы расходы, одинаковые при всяком весе посылки, не были повторяемы много раз. — С 21 января до 2 февраля, когда получил другую книгу для перевода, я перевел еще страниц 90, до 285 или 287 страницы подлинника. Остается перевести около 170 или 165 страниц. Но об этом после когда-нибудь.

А теперь

2) 2 февраля к вечеру я получил для перевода книжку Сагрен-тег'а. Теперь, в начале вечера, у меня переведено 34 страницы ее. А всех страниц в ней около 210. Остается перевести около 175. Считая хоть по 10 на день, кончу перевод и отправлю числа около 22 или 24. Вместе с переводом пошлю подлинник, чтобы перерисовать с этого экземпляра картинки и чертежи. Их много. Поэтому я советовал бы издателю купить другой экземпляр теперь же и отдать рисовальщикам немедленно. Прибавлю к переводу несколько страниц заметок о содержании и об изложении книги. Это сделает русский перевод ее более ценным для публики.

3) Посылать буду все по адресу «в редакцию Вестника Европы». Твое предложение принять на себя труд получения посылок очень мило. Но тебе время должно быть дорого и тратить его на напрасные беганья за посылками, которые могут быть получены без хлопот для тебя, дело не желаемое мною.

4) Ты пишешь, что мне послана для перевода книга Спенсера. Душевно благодарю за это. Получу, вероятно, завтра или послезавтра. Увидев, какой она величины, поступлю сообразно количеству часов, какое понадобится для перевода.

Если это будет много, то приму меры переводить листа по полтора журнального формата в день.

5) Кстати о моей работе. Прошу тех, кому случается думать обо мне с расположением, то есть твоего дяденьку, других родных и тебя, выбросить из головы заботы о моих расстроенных нервах и моей дряхлости и т. д. Все эти фантазии очень милы. Но благодаря им я целые два месяца оставался без работы, и пока они не будут отброшены вами, мои друзья, я буду оставаться нищим.

Переводить книги — такому ли человеку, как я, тратить время на эту грошовую работу? (Впрочем, не философствуйте по поводу этих слов. Не вообразите, что отказываюсь от переводов. Пока не имею другой работы, как могу быть не рад хоть этой.) Прочти это письмо твоему дяденьке, скажи Юлии Петровне и их детям, и моим другим сестрам и братьям, что я целую их. У Юленьки и других сестер целую руки.

Целую тебя. Будь здоров. Твой Н. Ч.

Прошу твоего дяденьку и тебя извинить, что спорю против ваших добрых — но фантастических — попечений о моей драхлости.

857

Ю. П. ПЫПИНОЙ

25 февраля 1884.

Милый дружок Юленька,

Третьего дня я отправил в редакцию «Вестника Европы» для передачи А. Н. Пыпину посылку, в которой находятся:

1) Перевод книжки Carpenter'a «Энергия в природе». Три четверти книжки переведены мною; четвертую я отдал перевести Вашему племянничку, потому что он желал того. Я лишь уступил его желанию; а сам не хотел бы делать так. Я пересмотрел его перевод, и переправил так, чтобы не было разницы между этими страницами и теми, перевод которых писан моею рукою. — Последние две, три страницы подлинника, противоречащие моим понятиям, я отбросил и заменил несколькими страницами заметок, в которых изложен мой образ мыслей. Первые страницы этих моих заметок написаны серьезным тоном, на последних я осмеиваю беднягу автора за его антропоморфическую философию. Прошу Вас, милая Юленька, сказать Сашеньке, что я прошу его передать издателю русского перевода: кроме чисто корректурного чтения набора для исправления очевидных описок, никаких поправок в посланной мною рукописи я не позволяю. Некоторые термины физики или механики переведены мною ошибочно? — Ошибочно, то ошибочно; пусть так и остаются. Язык перевода плох? Плох, то плох; пусть и останется плохим. Тем сильнее применяется это мое требование к написанному мною «Предисловию переводчика» и к тому, что отброшенные мною последние страницы книжки должны остаться отброшенными, и страницы заметок, которыми я заменил их, должны быть напечатаны в том самом виде, как написаны мною. При малейшем противоречии издателя этому моему требованию рукопись перевода должна быть брошена в печь.

2) К рукописи перевода приложен в посылке английский подлинник. Книга изорвана и перепачкана чернилами. Если пе-

ревод будет напечатан, цена экземпляра пусть будет вычтена из платы за перевод. Если рукопись перевода будет брошена в печь, то прошу Вас, сестрица, уплатить цену испорченного экземпляра из Ваших денег.

3) К переводу и экземпляру переведенной книги присоедин[е]н в посылке перевод статьи Тиндаля «об атомах», сделанный Вашим племянничком и предназначенный им для напечатания в жалкеньком журнальчике скорбного головой приятеля Вашего племянничка. Адрес скорбного головою выставлен на обложке тетрадки Вашим племянничком. Передайте Сашеньке мою просьбу отправить эту тетрадку по адресу.

Ох, мало делает Вам чести, милая сестрица, то, что у Вас есть такой племянничек. В тридцать лет он хуже семнадцатилетнего мальчика. Вы, в качестве тетки, обиженной моим мнением о нем, скажете: «Подождем, слишком суровый брат; твой старший сын станет со временем способен думать и поступать, как следует взрослому человеку». Надеюсь, Юленька, что Ваше мнение о нем оправдается со временем. Но теперь пока он жалкий ребенок, бедняжка. — Первый месяц по приезде его сюда жить вместе с нами я имел с ним много разговоров, тяжелых для него. Мать стала жалеть, что я заставляю его так много страдать (несколько раз она замечала, что он не спал целую ночь от страдания; сам он молчал об этом, скрывал свои впечатления; но напоследок был так измучен бессонницею, что принужден был сказать мне о своих мучениях). Мать велела мне прекратить эти тяжелые для него разговоры. Я прекратил их. С той поры он едва ли испытывает много страданий от меня. Он говорил мне, что стал серьезнее прежнего. Работает он усердно. И кажется, не ошибается в себе, говоря, что решился употребить время, какое проживет здесь, на то, чтобы подготовить себя к добыванию куска хлеба себе.

Думаю, милая сестрица, что и другой Ваш племянничек тратит свое время попусту, как истратил старший его братец лет двенадцать лучшей поры жизни. Занимается ли Миша медицинской или тем, что входит в круг занятий первого года студентов, предназначивших себя к медицинской карьере? Думаю, что гораздо больше, чем подготовлением себя к избранной им карьере, он занимается бесполезными препровождениями времени. Я только говорю Вам, сестрица, как я думаю об этом. Не спрашиваю Вас, ошибаюсь ли я. Отвечать на такие вопросы отцу тяжело для тетки, когда ответ должен быть: «Да, в сущности, твой сын — праздношатающийся юноша, беззаботный о том, чтобы сделать себя способным зарабатывать себе кусок хлеба». Итак, не отвечайте мне на мои мысли о Мише.

Кончив перевод книжки Карпентера, я принялся продолжать перевод книги Шрадера. Ныне у [меня] лежит готовый перевод этой книги до 298 страницы. Остается перевести около 152 стра-

ниц текста и переделать на русский язык те клочки «указателей», которые должны быть в русском издании переведены; это работа очень небольшая, равная переводу какого-нибудь одного десятка страниц текста. Буду употреблять на перевод свободные кусочки тех часов дня, в которые беспрестанно отрываюсь от письменной работы и в которые поэтому работать можно лишь над механическим делом, каково занятие переводом. Он будет подвигаться у меня страницы по четыре в день; потому будет кончен и отправлен Сашеньке в начале апреля. Но если бы мне была прислана раньше его окончания какая-нибудь другая книга для перевода и если б я был уведомлен, что могу получать книги для перевода так, что не будет у меня недостатка в постоянной переводческой работе, я стал бы диктовать, и работа могла бы идти по полтора печатных листа журнального формата в день.

[Если я гожусь зарабатывать себе кусок хлеба хоть переводами, если присланные мне для перевода первые две книги не последние, какие могут найтись для перевода мне, то, разумеется, я желал бы, чтобы книги выбираемы были не такие, как эти две первые. У меня нет каталогов (и прошу Сашеньку не присылать мне их: это был бы лишней расход). Потому не могу выбирать сам. Но, разумеется, я желал бы, чтобы выбираемые для перевода мне книги удовлетворяли следующим условиям:

1) Издание книги должно приносить выгоду, а не убыток. Это возможно лишь тогда, если книга по своему содержанию очень интересна для публики; не для специалистов, а для публики. Таковы романы, исторические книги, путешествия и т. п.

2) Книга должна быть замечательно хороша.

Книга Шрадера не удовлетворяет первому условию. Книга Карпентера — нескладная болтовня специалиста, взявшегося написать популярную книгу и лишенного способности писать популярно; это смесь ребяческого пустословия (от неумения автора не хватать через край в стремлении писать понятно) с кусочками изложения во вкусе совершенно педантском, превышающими своим головоломным содержанием способность публики понимать читаемое. Впрочем, русская публика, подобно английской, не разберет, что книжка плоха, и будет покупать ее. Но мне совестно было переводить дрянь, покупать которую — значит терять деньги на покупку дряни. Я не желал бы употреблять мой труд на содействие издательству пустых книжонок. Не желал бы и делать моими переводами убыток издателям их.

Не желал бы. Но — перевел пустословную дрянь Карпентера и продолжаю перевод книги Шрадера, переводить которую на русский такое же бесполезное для русской публики и убыточное для издателя дело, как было бы издавать в русском переводе грамматику баскского языка или словарь готтентотского

языка. И буду переводить всякие книги, какие будут присылаемы мне, лишь бы содержание их не противоречило моим понятиям об истине.

Милая Юленька, то, что написано на предыдущей странице, вышло у меня резко, потому может огорчить Сашеньку. Передайте ему содержание моих отзывов о переведенной и переводимой мною книгах Вашими словами, смягчая тон. Или, еще лучше, оставьте вовсе не переданными ему эти мои отзывы. (Эти заметки лишние, если Вы исполните мою просьбу не читать Сашеньке предыдущую страницу и не передавать ему ее содержание.)]

Отвечаю теперь на письмо от 5 февраля, продиктованное Вам Сашенькою.

Он говорит, что ему было горько читать некоторые из моих выражений в письме, ответ на которое диктует он. Правда, не хороши были те выражения. Прошу Сашеньку простить мне их.

Он говорит: даже в типографии Академии наук не нашлось шрифтов для передачи индийских и проч[их] слов в той форме транскрипции, которую употребляет Шрадер, и Сашенька советуется с какими-то филологами о том, как поступить с этими словами. Напрасно советуется. Выйдет что-нибудь убыточное издателю: заказывать какие-нибудь литеры и т. д. Следовало бы Сашеньке положиться в этом на меня. Написал бы он мне с самого начала: «распоряжайся с переводом книги, как знаешь», — и я переделал бы книгу так, что она стала бы удобочитаемою для публики и издание ее в моей переделке было бы не в убыток издателю. Я уничтожил бы в ней все излишества, щегольства автора ученостью, уничтожил бы его бессмысленную витиеватость; от педантских глупостей, вроде албанского шрифта, употребляемого для пущей важности Шрадером и замененного в самой письменности некоторых албанских племен латинским шрифтом, не осталось бы следов в моей переделке: я переложил бы всяческие слова всяких языков на обыкновенный латинский шрифт, без всяких вычурных значков под буквами и над буквами, и моя транскрипция, удобочитаемая всякому грамотному человеку, имела бы не меньшую научную точность, чем эти вычурные. Если не поздно, пусть Сашенька пришлет мне алфавиты: (перечисляю по порядку указателя слов в книге Шрадера) санскритский, зендский, персидский (армянский есть у меня), албанский, кельтский, литовский (семитических не нужно, я помню их), (тюркских не нужно, я помню их), грузинский.

Пусть вырвет по листку из грамматик этих языков (из каждой грамматики тот листок, на котором алфавит) и пришлет мне.

Я не филолог. Но настолько я еще помню кое-что филологическое, чтобы суметь переложить всякий алфавит с соблюдением всей научной точности на обыкновенный латинский шрифт.

О моих воспоминаниях о Тургеневе. — Сашенька говорит, что кроме «хронических причин», которые вели и привели Тургенева к разрыву с Некрасовым, был повод, по которому произошел долго подготовлявшийся разрыв. Без сомнения. Но я не помню теперь, в чем состоял этот повод. Сашенька слышал: это было стихотворение Добролюбова по поводу обеда в память Белинского. Что ж, очень может быть, что так. Но я ничего не помню не только о каком-нибудь стихотворении Добролюбова по поводу обеда в память Белинского, не помню ровно ничего и о самом этом обеде. Я мало знал о том, что делают литераторы. Я мало знал о их обедах и т. п. И, быть может, ровно ничего не слышал об этом обеде. А если слышал, то совершенно все забыл.

Целую Вас, Юленька, Сашеньку, Ваших детей, целую всех братьев и сестер Ваших и моих.

Оленька несколько дней пролежала в постели; встала три дня тому назад, но все еще слаба. Потому не пишет Вам сама, посылает Вам всем свой поцелуй.

Обнимаю Вас, милая сестрица, обнимаю Сашеньку. Ваш *Н. Ч.*

858

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 17 марта 1884.

Милый мой друг Миша,

Твоя мамаша прочла мне те строки твоего письма к ней, в которых ты говоришь о твоём намерении приехать повидаться с нею и со мною и о той перемене в твоей жизни, которая, по твоему предположению, будет предшествовать твоей поездке к нам. (Я говорю о твоем письме от 9 марта, разумеется.) Эти строки произвели на неё такое впечатление, какого ты, без сомнения, желал и, вероятно, ожидал. Что касается меня, то, я уверен, тебе достаточно известно, что вообще я руковожусь мыслями и чувствами твоей мамашы. Потому, читая здесь мои слова о том, каково было её впечатление, ты, я надеюсь, вперед знал, что я прибавлю: я и в данном случае совершенно разделяю мысли и чувства твоей мамашы.

При письме к твоей мамаше ты прислал письмо и ко мне. В нем ты говоришь о книгах. Ответ на него напишу, когда кончу перевод книги Шрадера и буду отправлять рукопись в Петербург. Содержание тех строк твоего письма к мамаше, которые она прочла мне, так важно, что у меня нет ныне охоты думать ни о чем ином.

Будь здоров и будь счастлив, мой милый друг. Обнимаю тебя. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

859

А. Н. ПЫПИНУ

29 марта 1884. Астрахань.

Милый друг Сашенька,

Прошу тебя отправить в редакцию наиболее распространенных газет следующее извещение:

«Мы слышали, что Н. Г. Чернышевский prepares к изданию собрание своих сочинений».

Будь здоров, мой милый. Целую тебя и твоих. Жму твою руку. Твой Н. Чернышевский.

P. S. Сделай одолжение, не бери на себя судить о том, благо-разумна ли моя просьба, а исполни ее; исполни, и только всего. О том, исполнишь ли, напиши мне просто и ясно. Целую тебя. Твой Н. Ч.

860

А. Н. и Ю. П. ПЫПИНЫМ

29 марта 1884. Астрахань.

Милая Юленька,

Благодарю Вас за сотрудничество в переписке между Сашенькою и мною. Я получил Ваше письмо, в котором Сашенька объясняет мне мои ошибки. Жалею, что огорчил его ими. Прошу прощенья у него. Он приложил к Вашему письму записку, в которой защищает Сашу. Благодарю его за это.

Я отлагал ответ до того времени, когда кончу перевод книги Шрадера. Вот, кончил. И посылаю рукопись. Посылка адресована «в редакцию «Вестника Европы», для передачи А. Н. Пыпину». К рукописи перевода присоединен немецкий подлинник. Саша посылает при этом случае перевод маленького рассказа о Ниагарском водопаде, адресуя тетрадку на имя брата.

По поводу затруднений, в которые поставил я Сашеньку своими мыслями о переводе книжки Carpenter'a, он нашел надобным, чтоб я дал ему право распоряжаться моими рукописями переводов, как найдет наилучшим он. Разумеется, я даю ему это право. Прошу лишь о двух вещах: 1) ни на книжке Carpenter'a, ни на книге Шрадера не выставлять моего имени. Это не такие труды, чтобы мне могло быть приятно хвалиться ими. Потому: 2) прошу Сашеньку сказать издателю, что я не желаю иметь экземпляров этих переводов; мне совестно и думать об этих моих работах, в особенности о второй, о работе над Шрадером, которую сделал я лишь по праву нищего получать деньги задаром, в убыток дающему их благотворителю. Разумеется, когда буду иметь возможность, возвращу издателю деньги и выражу ему

мою благодарность за то, что он подавал милостыню нищему. Добрый, должно быть, это человек; как его фамилия? Билибин, что ли? Благодарю его.

О переводе книги Шрадера сделаю следующие заметки.

1) Я никогда не знал по-гречески; а теперь давным-давно позабыл и те скудные сведения в этом языке, какие были у меня тридцать пять лет тому назад. Греческого словаря у меня не было. Поэтому я мог перевести лишь немногие из греческих цитат. Остальные надобно перевести, если нет готовых переводов цитируемых авторов. Но, кажется, кроме поэмы «Форонида», из которой приведено у Шрадера несколько стихов (о дактилях горы Иды), все остальные греческие произведения, цитируемые им, переведены на русский: о Геродоте и Ксенофонте нечего и толковать: они переведены; но и все другие греческие авторы, цитируемые Шрадером, переведены, помнится мне, на русский. Стихи из Одиссеи должны быть приведены по переводу Жуковского, стихи из Илиады — по переводу Гнедича.

2) Шрадер, когда восхищен сам своею ученостью, — а это случается с ним часто, — впадает от восторга в безграмотность и бессмыслие. И если не знаешь сам те факты или те лингвистические формы, о которых он рассуждает, то иной раз по его безграмотности и не разгадаешь, о чем и что хочет он сказать. Поэтому в мой перевод, без сомнения, вкралось довольно много ошибок. Есть, разумеется, и ошибки просто от недосмотра. Само собою разумеется, хорошо было бы поправить их. Но штука тут вот в чем: кто станет поправлять ошибки перевода, очень сильно рискует, нашедши и поправив одну ошибку, сделать сам десять ошибок неудачно переделкою мест, переведенных правильно, — п р а в и л ь н о; помни, Сашенька, п р а в и л ь н о, — но могущих показаться переведенными неправильно. Для ясности один пример: Шрадер, в порывах ученого восторга, перепутывает термины *Urzeit* — «первобытное время», — то время, когда жил *Urvolk* «первобытный народ», — единый, до разъединения — и *älteste Zeit der einzelnen Völker* — «древнейшие времена отдельной жизни отдельных народов по раздроблению первобытного единого народа на разные народы». Таких путаниц разных терминов его же собственной терминологии у него сотни; и не та, то другая из этих путаниц попадает у него на каждой странице, часто на каждой строке; иногда я оставлял их, как они есть у него; это, когда читателю самому не очень трудно разгадать, о чем именно идет речь; я постоянно старался держаться как можно ближе к подлинным выражениям автора; но иногда находил неизбежным восстановить правильную терминологию, чтобы читатель не остался сбитым с толку; и вот эти-то восстановления правильного смысла могут казаться ошибками перевода.

Кстати, об учености Шрадера и достоинстве его книги. Я в прежних письмах говорил: «это педант», «это педантская чепуха».

Не думай, милый друг Сашенька, что я не расположен прощать педантских замашек истинному ученому. Гримм — педант, но он — Гримм. А Шрадер — человек иного калибра по уму и учености. Его ученость? — По санскритологии он умеет наводить справки в словаре Бетлинга и Рота, это умею и я, — дай мне словарь и азбуку: найду любое слово. Сам он по-санскритски знает столько же, сколько мы с тобою по-португальски: ровно ни на грош не знаем, но кое-какие слова и фразы по-португальски можем понимать. О зендском тоже. Литовских языков, славянских языков он ровно нисколько не знает — понимай буквально: ровно нисколько не знает. Кельтских тоже. И этот человек судит и рядит обо всех словах всех этих языков, основываясь на том, что подыщет у Бетлинга, или Стокса, или Миклошича. Это наглое невежество глупца, друг мой. Прочти последнюю главу: «о первобытной родине индогерманцев»: детина нахватал азбучные данные, которые можно прочесть в любой «краткой истории средних веков» и в любой «краткой истории Греции и Рима», — и раздувается, жалкая лягушка, желая рывкнуть быком, решить вопрос. И решает. Как? — А вот как: «на всех страницах книги я трусил высказаться в пользу того мнения, которое высказываю теперь». — И в чем это решение? — «Первобытные индогерманцы жили — от Согдианы до Атлантического океана». — Глупец не догадывается, что этого решения не было нужды искать: оно готово в каждой книге о нынешнем географическом распределении разных лингвистических семейств; это XIX век, это 1883 год, — в который написана книга; и полторы, две тысячи лет было приблизительно то же самое, в этом никто не сомневался. Но разве это решение вопроса о первобытной родине индогерманцев? — И все у Шрадера так: болтовня, болтовня, — и в результате — нуль. Почему так? Вот почему:

Филологи, создавшие сравнительную грамматику и сравнительные словари и разные другие капитальные труды по исследованию языков индогерманского семейства, и создатели подобных трудов по исследованию немецких языков — иные из них педанты, иные — нет, но педанты ль, или не педанты — люди великого ума и колоссальной учености, от Боппа и Гримма до Макса Миллера, идеализировали первобытный быт. Явился Ген; человек тоже великого ума и колоссальной учености (хоть тоже не без некоторых слабостей) и раскрыл эту их ошибку. Вот Шрадер и вздумал: «Давай-ко, заткну за пояс Гена; он разработал лишь один из множества вопросов истории индогерманского семейства, а я пересоздам всю науку, и буду молодец!» — и цепляется за фалды пальто Гена; — но — «и хочется, и колется, и маменька» — то есть Макс Миллер — «не велит» — и вышла с бедняком история: «от Макса Миллера отстал, к Гену не пристал»; — и вся книга — бестолковая смесь клочков из книг ученых старого поколения с клочками из книги Гена.

Душенька моя, об этой дряни не стоило бы толковать. Я пишу лишь для того, чтобы ты не думал, что я не ценю великих трудов по филологии, хотя б и писанных бестолково, испорченных педантством; Гримма и Макса Миллера ценю, очень высоко. А Ген положительно пользуется полным симпатии расположением моим. Но пустомели — не Боппы и не Гены. Шрадер — пустомеля.

Впрочем, я так сурово изложил правду о нем лишь для того, чтобы не остаться в твоих глазах невеждою, не умеющим ценить его заслуг. Заслуги его — очень, очень маленькая ученость и некоторое трудолюбие. Но все испорчено его дурацким самомнением. Писал бы какую-нибудь «сравнительную грамматику греческих диалектов» или что-нибудь такого скромного научного размера — и было бы хорошо. Но — с куриными силами, вздумал пересоздать науку. Вышла — глупая книга; написанная, впрочем, трудолюбиво и потому некоторыми своими страницами пригодная для справок.

Но довольно об этом.

Я не переписывал таблиц и списков слов. По печатному подлиннику набирать легче, нежели по рукописи.

Кое-какие ошибки Шрадера заметны были мне (я говорю об ошибках в истолковании или правописании слов, принадлежащих неизвестным автору языкам: семитическим, тюркским, славянским и проч.). Но я поставил себе правилом не поправлять автора. И если я иногда распутывал его терминологическую путаницу, то это относилось лишь к форме выражения; до содержания я не касался. Начни я поправлять ошибки, мне пришлось бы переделать книгу. Важны не мелочные ошибки в правописании или истолковании отдельных слов, важна у него сплошная ошибочность содержания: путаница идей Гена с идеями прежних филологов, опровергнутыми Геном.

Но нет, довольно же, наконец, об этом несчастном Шрадере.

Вчера получил посланные тобою: 1) *Mental Evolution by Romanes*, 2) Сочинения Глеба Успенского. — Деньги, истраченные на покупку и пересылку сочинений Глеба Успенского, — деньги, истраченные понапрасну. Ты сам в своей статье о школе, к которой принадлежит он, даешь совершенно верную оценку его произведений. Я никогда не имел терпения дочитать до конца ни одного из этих безалаберных рассказов и бессмысленных рассуждений. — Книгу *Romanes'a* я прочел вчера всю; это хорошая книга (не чрезмерного достоинства, но хорошая). Только что ж мне делать с нею? Сколько я мог понять, издатель, для которого делает кто-то перевод этой книги, желает, чтоб я написал панегирик ей. Писать панегирик по заказу — это не совсем сообразно с моим характером; потому я для этого не гожусь. Напиши, мой милый, зачем прислана мне эта книга? Но напиши прямо и просто, такими словами, смысл которых был бы понятен для меня. Вообще прошу тебя, пиши мне просто и ясно.

И вот вопрос:

Как ты полагаешь, могу ли я сам выбрать книгу для перевода? Да, то «да»; нет, то «нет».

Я выбрал бы какую-нибудь большую книгу большего ученого достоинства и большего интереса для публики; издателю этой книги пришлось бы затратить на издание перевода несколько тысяч рублей; но и польза от нее публике была бы большая. А издатель не потерпел бы убытку; напротив, получил бы денежную выгоду, и не грошами, а тысячами рублей измерялась бы ее выгода.

Если я могу сам выбрать книгу, то пусть издатель пришлет мне порядочный каталог новых немецких, французских и английских книг. И я должен буду сам вступить в переписку с издателем. Через посредников серьезные коммерческие предприятия по книжной части не могут быть ведены.

Прости, что и в этом письме огорчаю тебя. Ты мой благодетель. Целую тебя.

Целую Вас, Юленька, и Ваших детишек.

Целую Вашу руку. Ваш Н. Ч.

861

В. Н. ПЫПИНОЙ

29 марта 1884. Астрахань.

Милый дружок Варенька,

Поздравляю тебя с наступающим праздником.

Здоровье Оленьки теперь, кажется, стало несколько лучше, нежели было зимою; но все еще плохо. Она хочет поехать на несколько дней в Саратов, как только откроется навигация. По известиям о состоянии льда на Волге между Царицыном и Саратовом, здесь полагают, что путь до Саратова для пароходов очистится «не ранее первых чисел апреля», вероятно не раньше 4 числа.

Я уговаривал Оленьку, чтоб она отправилась на Кавказ пользоваться водами. Она до сих пор не решается принять это намерение. А ей необходимо пользоваться кавказскими водами.

Саша, повидимому, получит место у Нобеля (главного торговца керосином и нефтяными остатками). Хорошо, если это будет так.

На другом полулистике пишу дяденьке и тетеньке.

Спрашивать тебя о том, как ты живешь, мне тяжело.

Будь здорова. Обнимаю тебя, милый друг.

Целую твои руки. Твой Н. Ч.

862

Н. Д. и А. Е. ПЫПИНЫМ

Астрахань. 29 марта 1884.

Милые дяденька и тетенька,
Поздравляю Вас с наступающим праздником. Желаю Вам встретить и провести его в добром здравье.

Оленька думает навестить Вас; и, вероятно, исполнит эту мысль в апреле.

Саша, кажется, получит довольно недурное для начинающего место в здешнем агентстве торговца керосином Нобеля.

Снова желаю Вам доброго здоровья.

Целую Вашу руку, милая тетенька.

Целую Вас, милый дяденька. Ваш племянник *Н. Чернышевский*.

863

В. Н. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 14 апреля 1884.

Милый друг Варенька,

Через неделю или полторы Оленька поедет повидаться с вами, то есть, главным образом, с тобою. Она будет просить тебя, чтобы ты проводила ее сюда. Пожалуйста, приезжай хоть на два, на три дня. Ты очень порадуешь меня этим. Тебя, мой друг, я обязан любить; и люблю: ты так много делала для Оленьки и так любишь ее.

На другом полулистке пишу поздравление дяденьке и тетеньке.

Обнимаю тебя, наш добрый друг. Будь здорова. И приезжай сюда.

Твой *Н. Ч.*

Целую твои руки.

Конечно, если можешь, то приедешь сюда не на два, на три дня, а пожить с нами подольше. Но — хоть на два дня, приезжай.

864

А. Е. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 14 апреля 1884.

Милая тетенька,

Поздравляю Вас с наступающим днем Вашего ангела; надеюсь, что Вы встретите его, пользуясь хорошим здоровьем, и что оно, улучшаясь, упрочится надолго.

Оленька собирается через неделю или полторы ехать пови-
даться с Вами.

Целую Вашу руку, милая тетенька. Ваш племянник *Н. Ч.*

865

Н. Д. ПЫПИНУ

[Астрахань. 14 апреля 1884.]

Милый дяденька,

Поздравляю Вас с именинницею. Оленька говорит, что Ваше зрение улучшалось, хотя медленно, но постоянно. Теперь оно, мы надеемся, уж гораздо лучше того, каким было, когда Оленька уезжала от Вас прошлою осенью, и я разделяю надежду Оленьки, что теперь она найдет Вас видящим уж довольно хорошо.

Обнимаю и целую Вас, милый дяденька. Ваш племянник *Н. Ч.*

866

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 15 апреля 1884.

Милый друг Миша,

Твоя маменька надеется, что сбудется твое желание, о котором ты писал ей. Она в восторге от него. И с нетерпением ждет вашего приезда. Я разделяю ее чувства, это разумеется само собою.

Маловато денег у твоей мамы. Это жаль. И виноват в этом я. Не сумел я по приезде сюда позаботиться, как следовало бы мне, о том, чтобы найти себе работу, которая давала бы столько денег, сколько должна давать моя работа. Несообразителен и неповоротлив я. И вот тебе приходится терпеть неудобства от моей несообразительности и неповоротливости. Но твоя маменька думает, что это не будет препятствием [к] осуществлению твоего, разделяемого ею и мною, желания. А когда-нибудь начну ж я и зарабатывать деньги. Тогда всякие житейские затруднения будут устранены от тебя твоею маменькою.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

867

П. И. БОКОВУ

Астрахань. 17 апреля 1884.

Добрый друг Петр Иванович,

Благодарю Вас за то, что Вы познакомили с нами Степана Яковлевича. Его советы принесли много пользы Ольге Сократовне.

Много раз я подумывал вступить в переписку с Вами. Но не зная, будет ли удобно для Вас получать от меня письма, удерживался от исполнения этого своего желания.

Вы делали для меня больше, нежели захотел бы делать родной брат. Надеюсь когда-нибудь увидиться с Вами; тогда выскажу Вам мою любовь словами, которые хотелось бы написать теперь.

Обнимаю Вас, милый брат.

Будьте здоров. Целую вас, обнимаю и целую. Ваш Н. Ч.

868

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

22 апреля 1884. Астрахань.

Милый друг Миша,

Известие о неудаче, сообщаемое тобою твоей мамаше в письме от 15 апреля, огорчило ее так, что она все это утро плакала (письмо было получено ею ныне утром). Она прочла мне те строки, которые, по ее мнению, могла прочесть мне без нарушения твоих тайн от меня: это те строки, в которых ты пересказываешь ей ответ, данный тебе отцом любимой тобою девушки. Я предвидел, что ответ будет именно таков. Справься с моим предыдущим письмом к тебе. Там было сказано: «по моей неповоротливости твоя мамаша все еще не имеет денежных средств, которые были бы необходимы ей для того, чтобы доставить тебе возможность жить, как следует человеку, имеющему намерение жениться на девушке из семейства, принадлежащего к хорошему обществу», — мысль эта была высказана там словами, менее бесцеремонными; я старался быть, сколько умею, деликатным, — но, хоть и менее прямыми, нежели теперь, словами, она была высказана совершенно ясно. Ясны должны были быть для тебя и соображения, какие порождаемы были в моих мыслях данным положением денежных дел твоей мамашы: отец девушки не может согласиться на то, чтобы она стала женою человека, жизнь с которым была бы для нее бедствием в нищете. Я ставлю себя на место отца девушки и нахожу, что он обязан был отвечать так, как отвечал.

Я полагаю, что этот оборот дела будет иметь хорошие последствия для тебя и для любимой тобой девушки. Твоя мамаша уверяла меня, что ты хороший молодой человек. Я верю ей. Но ты до сих пор держал себя с непозволительно беззаботностью о самом себе: жил год за год, тратя время совершенно бесполезно для своей будущности, — и дожил до 25 лет, не потрудившись приготовить себя ровно ни к какой деятельности для прокормления себя. Пора было кончиться этой пустой трате времени. Ответ, полученный тобою от отца любимой тобою девушки, вероятно, заставил тебя опомниться; и, вероятно, ты почувствовал надоб-

ность перестать терять время на пустые забавы, необходимость приняться за что-нибудь приличное взрослому человеку. Ты начнешь трудиться — и через несколько времени отец любимой тобою девушки увидит, что ты стал человеком, который способен кормить себя и жену; тогда он будет иметь право вверить тебе судьбу дочери; и, наверное, будет рад согласиться на вашу свадьбу. Очевидно он очень хорошо расположен к тебе, и для согласия своего на ваш брак ждет лишь того, чтобы ты сделался человеком трудящимся; человеком, достойным руки хорошей девушки.

Целую тебя, мой друг. Жму твою руку.

[Без подписи.]

869

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

[5 мая 1884.]

Милый друг Миша,

Пишу для отправления к тебе ту бумагу, которая нужна для твоего поступления в вольноопределяющиеся. Полагаю, что для придания ей юридического значения подлинность подписи должна быть удостоверена полицейским засвидетельствованием. Понесу бумагу в полицейское управление. Если найду там кого-нибудь из имеющих право делать засвидетельствования подписей, бумага будет отправлена тебе ныне же. Но теперь уже 4-й час дня. Утренние канцелярские занятия кончились. По вечерам полицейские чиновники заняты другими своими служебными обязанностями, так что не всегда имеют время бывать в канцелярии. Потому, быть может, не найду их ныне, и отправление бумаги к тебе отсрочится до завтра. Во всяком случае, ты получишь ее если не одновременно с этим письмом, то через день, много через два после него.

Повидимому, ты решил перестать тратить время попусту. Я рад этому. Чтобы стать человеком взрослым из ребенка, каким был ты до сих пор, тебе полезно было бы пожить со мною. Итак попроси твоих теток и дядей похлопотать в Главном штабе, чтобы тебя причислили к здешним войскам для отправления воинской повинности (я уж писал тебе об этом 29 апреля).

Целую тебя. Жму твою руку.

Будь здоров. Твой Н. Ч.

870

Ю. П. ПЫПИНОЙ

[8 мая 1884.]

Милая Юленька,

Сашенька чрезвычайно сильно обрадовал меня своим приездом. Оленька была обрадована еще больше, нежели я. Она будет считать дни, которые проведет с нами Сашенька, днями счастья себе.

Целую Вас, миленькая сестрица.
Целую Верочку, Митю и Колю.
Будьте здорова, миленькая сестрица. Снова целую Вас.
Ваш Н. Ч.

871

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 21 мая 1884.

Милый друг Миша,

Твоя мамаша прочла мне твое письмо к ней от 14 мая и пожелала, чтоб я высказал тебе свои мысли о нем. Я исполнил ее волю. Но мое письмо к тебе вышло таким горьким, что твоя мамаша пожалела опечаливать тебя им, велела мне сжечь его и написать другое. Вот, пишу.

Ты толкуешь о том, что можешь повенчаться с любимой тобою девушкою против воли ее отца. Это было бы несчастьем для нее на всю жизнь. Ты любишь ее, то щади ж ее сердце. Трудись. Приобретешь возможность жить с нею безбедно. Тогда и возобнови предложение. Отец ее с радостью даст свое согласие. Иного пути к свадьбе в данном случае нет для честного человека. Поступить нечестно ты не захочешь, я надеюсь.

Будь много денег у твоей мамыши, вашей свадьбе не было бы препятствий со стороны отца девушки. Когда-нибудь у твоей мамыши будет много денег. Но теперь их мало у нее. Все, что может, она рада будет отдавать тебе. Но теперь пока это очень небольшие деньги. Потому надобно трудиться тебе самому.

Ты не пишешь ничего определенного о том, какой работы ищешь ты и какие основания имеешь думать, что получишь ее. Ты выражаешься об этом так туманно, [что] я не разберу в твоих речах ровно ничего. Пиши ясно.

Целую тебя. Будь здоров. Жму твою руку.
Твой Н. Ч.

872

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 9 июня 1884.

Милый Сашенька,

Вчера вечером мы с Оленькою получили твое письмо от 2 июня. Я перевел первый отдел книги Спенсера First Principles, трактат «о непознаваемом». Теперь пишу примечания к нему. Перевод, разумеется, совершенно полный и точный. Примечания придадут ему цену, какой не имеет подлинник. — Этот отдел —

самостоятельное целое. Его можно издать отдельною книгою. С моими примечаниями это вышло бы не менее, а, вероятно, более 200 страниц журнального формата.

Если книгопродавец вздумает сделать так, то я пришлю рукопись тотчас же, как получу уведомление. До той поры буду продолжать писать примечания. И написано к той поре будет столько, что можно будет в тот же день закончить их, прибавив к написанному: «Довольно; все важные вопросы разобраны с достаточною полнотою».

Или книгопродавец предпочтет издать всю книгу разом? — В таком случае, буду переводить второй отдел. В нем гораздо меньше пошлостей, чем в первом; потому объемистых примечаний он не требует.

Быть может, книгопродавец захочет издать книгу выпусками. В ней было бы с моими примечаниями страниц 700 (подлинник имеет около 580 страниц). Это было бы три выпуска, листов по 15 печатных. Если так, я сосчитал бы, сколько страниц займет 1-й отдел, прибавил бы перевод такой доли второго отдела, какая нужна для должного объема первого выпуска; на это понадобилось бы с неделю или меньше, и через неделю, если не раньше, по получении мною уведомления рукопись была бы послана мною.

Разумеется, дельную книгу, какова, например, без сомнения, книга Мэна, приятнее переводить, чем пустословие или вранье Спенсера. Но, если книготорговец желает издать не один первый, уж переведенный мною, отдел книги Спенсера, а всю книгу, то, разумеется, я считаю своей обязанностью перевести и второй отдел (в первом около 120 страниц, во втором около 440).

Прошу тебя, мой добрый друг, простить меня за те напрасные и глупые огорчения, в которых я так много виноват перед тобою.

Оленька получила письма от Юленьки и от Верочки. Благодарит. Сама еще не собралась отвечать. Она очень расстроена нелепым поступком Саши; признаться сказать, и я теряю надежду, что Саша когда-нибудь образумится. Он до вчерашнего дня, когда я, побывав снова у Веймарна, вновь удостоверил его, что он выгнан из службы у Нобеля, упорствовал в фантазии, что Веймарн хочет снова поручать ему провожать грузы в качестве контролера.

Миша рассудительнее брата. Но он любит скрытничать. Потому, прошу тебя: удостоверься, имеет ли он в виду какую-нибудь службу. Если имеет, пусть берет, что дают. Но если ничего определенного в виду у него нет, пусть едет сюда. Его присутствие здесь будет полезно для Оленьки, да и для него самого.

Оленька посылает свои приветы тебе и Юлии Петровне, целует Верочку, Наташу и компанию. Я целую вас всех.

Будьте здоровы, мои милые. Жму твою руку, мой добрый друг. Твой Н. Ч.

873

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 9 июня 1884.

Милый друг Миша,

Само собою разумеется, что устранить Сашу от службы у Нобеля было решено Веймарном в тот же миг, в который он с изумлением увидел Сашу вернувшимся сюда с половины пути. На другое утро я пошел к Веймарну выразить ему мою признательность за доброе расположение, которое до той минуты имел он к Саше, и сказать ему, что мать Саши и я, мы оба смотрим на поступок Саши точно с той же точки зрения, как и он (Веймарн). — Получив твое письмо от 2 июня вечером в четверг, я, по желанию твоей мамы, снова отправился к Веймарну; не затем, разумеется, чтоб узнать, потерял ли Саша службу у Нобеля, — ты напрасно полагал, что в этом еще можно было сомневаться, — а лишь затем, чтобы спросить, мог ли б он дать место тебе, если бы Лисенко рекомендовал тебя ему. Он отвечал, что теперь у него нет ни одного вакантного места. — Итак, тебе теперь пока нечего и думать о получении службы у Веймарна. Ищи другого места.

Это в коротких словах сообщено тебе телеграммою твоей мамы. Телеграмму отдал на телеграф я сам ныне утром.

Твоя мамаша была б очень обрадована, если б ты приехал сюда.

Но, по ее мнению, важнее этого ее желания то ее желание, чтобы ты поскорее пристроился где-нибудь и как-нибудь к какой-нибудь должности, которая давала бы тебе кусок хлеба на первое время и вела бы тебя к обеспеченному состоянию в будущем.

Итак, если дают тебе теперь где-нибудь какую-нибудь должность, бери ее. А если не имеешь пока в виду ничего, приезжай сюда.

Целую тебя, мой милый. Будь здоров. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

Р. S. Пиши о своем положении, о своих намерениях, надеждах и решениях совершенно ясно. Надобно же твоей мамаше знать их. — Будь здоров, целую тебя, мой милый друг.

874

А. В. ЗАХАРЬИНУ

[Лето 1884].

Я желал бы абонироваться на следующие периодические издания — за нынешний [1884] год:

Fortnightly Review (лондонский журнал).

Revue Nouvelle.

На следующий (1885) год я желал бы выписать, кроме этих двух журналов (Fortnightly Review и Revue Nouvelle), еще несколько других, именно:

Nineteenth Century (лондонский журнал), (лучше Academy).

North American Review (Нью-йоркский журнал).

Nature (лондонский журнал).

Revue des deux Mondes (Парижское или брюссельское издание, все равно; прежде брюссельское было дешевле; может быть, и теперь так).

Gegenwart (лейпцигский журнал).

Хорошо было бы получать английскую газету Daily News, но это стоит дорого; потому, не знаю, просить ли о присылке.

Мне хотелось бы также иметь некоторые справочные книги; но они тоже стоят дорого; потому не знаю, удобно ли просить о присылке их мне.

Необходимее других Conversations-Lexicon Брокгауза.

Если могу просить о присылке его, прошу прислать то издание, которое уж кончено (это, кажется, 11-ое издание). Теперь выходит новое, но ждать окончания его — слишком большая потеря времени.

Из других книг, которые нужны были бы не для справок, а для составления отчетов, я бы просил прислать (если это не слишком дорого): Fawcett, Principles of Political Economy (или Outlines of P[olitical] E[conomy], или просто Political Economy, не помню) и все другие, какие найдутся в продаже, книги этого автора.

[Без подписи.]

875

А. Н. ПЫПИНУ

15 июля 1884. Астрахань.

Милый Сашенька,

Благодарю тебя за письмо. — Перевод Спенсера подвигается у меня не очень медленно, хоть вовсе не так быстро, как следовало бы. Теперь переведено около 350 страниц, остается перевести 225. Следовало бы кончить к 1 августа; но едва ли кончу к тому времени. Числу к 10, вероятно, все-таки кончу. — Саша,

потеряв место в конторе пароходного общества «Лебедь», куда пристроился было, вызвался писать перевод под мою диктовку. Вызвался и Миша, по внушению матери; не знаю, не надоест ли ему это. А пока, при облегчении возможностью понемножку диктовать двум помощникам, перевожу страниц по 12 в день. Кончив перевод, напишу или большие примечания, или маленькое предисловие к нему.

Благодарю тебя, добрый друг, за то, что ты стал присылать мне «Новости». О том, что книга Мэна уж переведена, не жалею. Она, без сомнения, будет покупаться; но не в таком количестве, чтобы дать издателю такую большую выгоду, какую желал бы я доставлять издателям. Если найду возможным написать комментарии к Спенсеру в таком размере, в каком задумано было мною, книга получила бы у публики успех, приятный издателю. Но, по видимому, издатель имеет желание, чтоб я ограничился исполнением его заказа и не обременял книгу моими прибавками, от которых он не ожидает пользы. Потому, вероятно, брошу свое намерение, не подходящее к мысли хозяина дела, и вместо большого комментария напишу лишь пять, шесть страниц предисловия.

Я медлил ответом на твое письмо, ожидая приезда Миши, а по приезде Миши — ожидая, пока установятся мои мысли о том, какими работами возможно заняться мне. Но вот все еще не умею написать тебе ничего определенного об этом вопросе, который нельзя мне разрешить на основании только моих собственных соображений. Фактов, которые надобно знать мне, я все еще не узнал. Дело в том, что я все еще не умею разобрать, удобно ли будет мне приняться самому за придумывание издательских предприятий, которые доставляли бы хорошие выгоды книгопродавцу и тем давали б ему возможность уделить и мне вознаграждение, соразмерное с моими надобностями. Трудно мне решить, как мне думать о возможности ведения мною каких-нибудь солидных книгопродавческих предприятий. Но полагаю, что получу какие-нибудь понятия об этом, более определенные, чем нынешние мои, недостаточные для составления основательных выводов.

Благодарю тебя, добрый друг, за твои жертвования на нас, — меня, Оленьку и наших детей.

Благодарю добрую Юлию Петровну за ее любовь к нам.

Целую вас обоих и ваших детей.

Жму твою руку. Будь здоров, твой Н. Ч.

876

В. Н. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 24 июля 1884.

Милый друг Варенька,

Оленька вчера получила твое письмо от 18-го.

Ей отвечать недосуг; а ответ надобно написать тотчас же,

чтоб он успел быть отправлен с нынешнею почтою. Потому пишу я.

Милый дружок, теперь, благодаря приезду Евгеньички, тебе можно уехать из Саратова хоть на короткое время. Мы с Оленькою просим тебя — и она горячо, и я горячо просим: навести нас; приезжай побыть с нами хоть дня три. Пожалуйста.

А когда ты вернешься от нас, можно будет Евгеньичке приехать к нам. Мы с Оленькою горячо просим и ее навестить нас.

Мы рады, что здоровье тетеньки улучшается. Целую руку ее. Целую дяденьку.

Целую Евгеньичку.

Целую твои руки, милый друг. Будьте здоровы.

Приезжай же; пожалуйста, приезжай.

Целую тебя. Твой Н. Ч.

877

В. Н. ПЫПИНОЙ

20 августа 1884.

Милая сестрица,

Мы с Оленькою очень опечалены кончиною тетеньки. Это общая для всех нас потеря. Получив твое сообщение об утрате, понесенной нами, переданное нам по твоему поручению Миночкою, Оленька была так расстроена, что провела почти всю ночь без сна. (Письмо Миночки было получено нами вчера вечером); а ныне Оленька уж несколько раз бросала все свои хлопоты по хозяйству, одолеваемая слезами.

Она никак не думала, что ей уж не суждено повидаться с тетенькою. Она очень сожалеет теперь о том, что медлила поездкой в Саратов, задерживаемая заботами обо мне и о Мише. В последние дни она спешила устроить наш быт здесь так, чтоб ей можно было оставить хоть на неделю наше хозяйство без ее надзора и забот. Но не успела управиться с этою мудреною задачею. А ей так хотелось повидаться с тетенькою.

Как пойдет теперь жизнь твоя и дяденьки? Вероятно, тебе придется ухаживать за дяденькою вдвое больше, чем до сих пор, хоть и до сих пор ты заботилась о нем больше, нежели о себе. Как подействовал понесенный всеми нами удар на его здоровье?

Бедная Варенька, вся жизнь твоя шла в заботах о других, и все более тяжкими становились эти заботы. Будет ли здоровье дяденьки настолько удовлетворительно, чтобы ты могла хоть немного отдыхать?

Пишу несколько слов ему.

Благодарю тебя, добрый друг, за любовь к нам. Здоровье Оленьки кажется в иные дни несколько улучшающимся; но временами оно почти так же расстраивается, как было зимою. Впрочем, вообще есть, как мне кажется, некоторое улучшение в нем.

Я, само собою разумеется, совершенно здоров.
Оленька в эти минуты сидит, затворившись в своей комнате, и снова рыдает о тетеньке.
Целую твои руки, милый наш друг.
Передай Миночке, что я целую ее.
Обнимаю и целую тебя. Твой *Н. Ч.*

878

Н. Д. ПЫПИНУ

20 августа 1884.

Милый дяденька,
Мы, Оленька и я, скорбим о великой утрате, понесенной Вами и, вместе с Вами, всеми нами.

Одно может несколько поддерживать Ваш угнетенный скорбью дух: воспоминание о том, что во все пятьдесят с лишком лет, в продолжение которых жизнь Ваша и тетеньки была одною жизнью, Ваша любовь к тетеньке и качества Вашего характера делали тетеньку счастливою, насколько счастье человека зависит от счастливой супружеской жизни. Таких мужей, как Вы, очень мало на свете, и потому очень мало женщин, которые были бы так счастливы, как была тетенька.

Берегите себя, милый дяденька, для Ваших детей и для нас, которые тоже дети Вам. Так говорит Оленька.

Целую Вас, милый дяденька.

Оленька целует Вас. Ваш *Н. Чернышевский.*

879

Н. Я. НИКОЛАДЗЕ

Милостивый государь Николай Яковлевич.

Предполагая, что Вы еще не совсем забыли меня и, вероятно, сохранили доброе расположение ко мне, я обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне в деле, столь же невинном с точки зрения посторонних людей, сколько дорогим для меня; именно: прошу Вас, если возможно, пристроить моего сына Михаила к делам г. Палашковского или других лиц, уважающих Вашу рекомендацию. — Вместе с этим, я пишу о том же и самому г. Палашковскому, которого я знаю по рассказам Александра Васильевича Захарьина. Будьте добр, замолвите от себя несколько теплых слов г. Палашковскому. Это будет очень важным одолжением от Вас мне.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугой. *Н. Чернышевский.*

27 августа 1884 г. Астрахань.

880

В. Н. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 29 августа 1884.

Милый друг Варенька,

Оправившись от слез, какими несколько дней заливалась, скорбя о смерти тетеньки, Оленька едет навестить тебя и дяденьку, чтоб утешить, сколько возможно Вашу скорбь.

Каково перенес потерю дяденька? Выдерживает ли ее здоровье его?

[Без подписи.]

881

Н. Д. ПЫПИНУ

[Астрахань. 29 августа 1884.]

Милый дяденька,

Оленька едет навестить Вас, любимого ею не меньше, нежели любила б она родного своего дядю. Если она может сделать что-нибудь для успокоения Вашей жизни, сделать это будет радостью ей.

Целую Вас, милый дяденька. Буду надеяться, что услышу от Оленьки хорошие известия о Вашем здоровье.

Целую твою руку, милая Варенька. Целую тебя.

Будь здорова. Твой Н. Ч.

882

А. Н. ПЫПИНУ

30 августа 1884. Астрахань.

Милый друг Сашенька,

Третьего дня я получил твое письмо и приложенные к нему деньги (250 р.). Благодарю тебя за них. — Вчера Оленька уехала навестить дяденьку и Вареньку. Она была так расстроена известием о кончине тетушки, что несколько дней провела в слезах и дня два даже принуждена была помногу часов лежать в постели от изнурения печалью. Она говорит, что и сама не воображала, что любит тетеньку так горячо.

Я кончил перевод Спенсера. Доканчиваю теперь рукопись, проверяя и поправляя перевод. Кончу это ныне. Ныне же напишу две-три странички предисловия и мог бы завтра отправить перевод к тебе. Но, вероятно, захочу прибавить несколько страниц в виде послесловия. Если поддамся этому желанию, отправление рукописи замедлится дня на два, на три.

Я думал кончить это дело к 10 августа, потом к 15-му и т. д., потому все и отлагал ответ на твое письмо от 2 августа, желая, чтобы в моем письме было: «Ныне отправил тебе посылку с переводом Спенсера». Так и оттягивалось это со дня на день.

Милый мой друг, много огорчений делал я тебе. Прошу, прости мне их.

Жду, чем решится вопрос о поступлении Саши на должность гувернера. Пока не знаю, как развязалось или развяжется это дело; не знаю, что отвечать Саше на его письма. Передай ему поцелуй от его маменьки и от меня.

Вместе с переводом Спенсера pošлю письмо тебе о том, какие мысли бродят теперь у меня в результате раздумья о планах будущих работ.

Целую Юленьку и ваших детей. Оленька посылает им свои поцелуи.

Благодарю тебя, милый мой, за то, что ты делаешь для нас. Целую тебя. Твой Н. Ч.

883

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

30 августа 1884. Астрахань.

Милая моя голубочка,

Мы с Мишею и Натальею Васильевною поживаем здесь благополучно, пользуясь все трое вождеденным здоровьем, продовольствуясь в изобилии сытою пищею и не без успеха стараясь держать себя добропорядочно. Наталья Васильевна вчера вечером довольно много пищала, разыскивая тебя; но скоро изволила улечься почивать; утром опять пищала, расхаживая или сидя перед твоею кушеткою. Теперь, покушав, изволит почивать. (Это пишу во 2-м часу, после обеда.) Ни вчера, ни утром ныне почти вовсе не прогуливалась: уйдет и через несколько минут вернется в комнаты, сядет и пищит, пока не задремлет. Пищу вместе с нею и я. — Действительно, даже странно то, до какой степени присмирела она от уныния, не видя тебя.

Каково-то путешествуешь ты, моя милая радость?

Нечего и говорить о том, успел ли я стосковаться о тебе, мой дружок. Вчера несколько раз наворачивались слезы. Навертываются и теперь. Любить тебя, мой друг, действительно люблю; но держать себя так, как желал бы, не умею; и вот об этом-то и тоскую: хотелось бы, чтобы тебе было хорошо, а устроить этого не могу. Думаю об этом, и наворачиваются слезы.

С Мишею мы заключили ныне родственный союз сердец и поклялись остаться навеки неизменными в любви друг к другу. А говоря серьезно, он в нынешнее утро толковал со мною так, что произвел на меня самое отрадное впечатление. Надобно на-

десяться, что он будет иметь всю ту рассудительность, какую ты желаешь видеть в нем и которая обеспечит его счастье.

Тысячи и тысячи раз целую твои глазки, моя милочка.

Целую Миночку, целую дяденьку, целую руку Вареньки.

Крепко, крепко обнимаю и целую тебя, моя голубочка Лялечка. Твой Н. Ч.

884

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

31 августа 1884. Астрахань.

Миленький дружок Оленька,

Каково-то ты доехала и как проводишь время в Саратове?

Мы с Мишей поживаем подобру-поздорову. Вчера я не выходил из дому. Не хотел бы выходить и ныне; но Миша, заботящийся обо мне и о Наталье Васильевне с истинно дедовской нежностью (бабушки и дедушки, как известно любвеобильнее матерей и отцов, потому и называю его любовь к нам дедовской), находит полезным для моего здоровья, чтобы я сделал прогулку; потому понесу это письмо на почту сам.

Наталья Васильевна и вчера и ныне почти безвыходно проводила свои досуги от дремоты в моей и твоей комнатах: не видя тебя, тоскует и не хочет гулять. По временам я и она, мы принимаемся пицать.

Вчера заходила навестить нас Федосья Мелькумовна. Зайду как-нибудь на-днях и я к ним, чтобы показать, что я благодарен ей за эту внимательность.

Вчера я послал, как ты велела, письмо к Сашеньке.

Миша получил ныне от Верочки письмо, из которого можно видеть, что дело о поступлении Саши на должность не расстроилось и, сколько в состоянии судить Верочка, идет к удовлетворительной для Саши развязке.

Разговорами Миши со мною я очень доволен. По всей вероятности, из Миши сформируется человек рассудительный и дельный.

Голубочка моя, постарайся устроить, чтобы бедняжке Миночке можно было жить получше. Люблю ее, бедняжку, за то, что она благородная девушка.

Целую ее. Целую дяденьку. Целую руку Вареньки.

Крепко обнимаю тебя, моя красавица, и тысячи, тысячи раз целую.

Целую твои милые глазки. Целую твои ручки.

Будь здоровенькая. Целую и целую тебя, моя Лялечка. Твой Н. Ч.

885

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

1 сентября 1884. Астрахань.

Милый мой дружок Оленька,

Что-то поделываешь ты в Саратове? Больше ли встретила там приятного, чем неприятного? Будет ли погода благоприятствовать твоему возвращению? Здесь у нас она поправилась; быть может, улучшилась и по всему пути.

Ты обещаешь, моя голубочка, прислать телеграмму о том, когда нам ждать тебя. Исполни это, моя Лялочка.

Ты хотела выехать из Саратова во вторник. Если так будет, письмо, которое будет послано завтра, уж не застанет тебя в Саратове. Но я буду писать тебе и завтра, на случай, если бы твой отъезд несколько замедлился.

Мы с Мишей (которым я с каждым днем более доволен) оба живем благополучно. Девица Наталья Васильевна Черномазова, или Белова, сама извещает тебя, как видишь, о состоянии своего здоровья.

(Эту приписку сделала Наталья Васильевна. Видишь, почерк недурен, и бумага не очень много исцарапана. Успех порядочный для ребенка, лишь на-днях начавшего учиться.) Оно хорошо, пишет она (ты разобрала, конечно, значение ее приписки). Она пишет правду об этом; но по деликатности умолчала о том, что тоскует, не видя тебя. Мы с нею пищим, как вчера и третьего дня. И она почти вовсе не гуляет, очень мало играет. Не в шутку говорю: сильно тоскует.

Вчера заходили проведать нас Софья Мелькумовна и Сусанна Богдановна. А ныне Сусанна Богдановна принесла письмо к тебе. Влагаем его в наше. Зайду к ним, поблагодарить их за расположение.

Целую Миночку, целую дяденьку, целую руку Вареньки.

Крепко обнимаю тебя, моя красавица, и целую тысячи и тысячи раз.

Будь здоровенькая. Целую твои милые глазки. Целую твои ручки. Целую тебя. Твой Н. Ч.

886

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Воскресенье. 2 сентября 1884. Астрахань.

Милый мой дружок Оленька,

Застанет ли тебя в Саратове это письмо?

Но и завтра напишу тебе, чтобы ты не оставалась без новостей о нас, если дела задержат тебя в Саратове дольше, нежели ты предполагала.

Р. S. Но идет ли завтра почта отсюда? — Мы с Мишей не умели решить. Если нет почты завтра, буду писать послезавтра.

Ты хотела прислать нам телеграмму о времени твоего приезда к нам. Пожалуйста, пришли.

Мы с Мишей живем благополучно. Я очень доволен им. По всей вероятности, он окажется хорошим, деловым человеком и сумеет вполне удовлетворительно устроить свою жизнь.

А пока занимается изящными искусствами: сшил какой-то удивительный мешок из чего-то полосатого, очень пестрого и яркого, и окрасил твой умывальник. Окраска вышла так хорошо, что вещь сделалась теперь лучше того, какую была при покупке. Миша в самом деле искусный работник.

Наталья Васильевна обещалась написать о своем здоровье собственноручно. Но изволила уснуть, и я не решаюсь будить удрученную тоскою девицу, для которой сон — единственная отрада. Серьезно, она очень тоскует, не находя тебя. Впрочем, это не вредит ее аппетиту, и она пользуется превосходным здоровьем. Но действительно, очень тоскует, так что почти вовсе не хочет играть, и присмирела так, что иногда не шутя жаль бедняжку. И пищим мы с нею.

Это письмо понесу на пароход сам. На обратном пути зайду к Мелькумовым, поблагодарить отца и мать твоих барышень за то, что барышни навестили меня по твоем отъезде.

Милый мой дружок, если это письмо еще застанет тебя в Саратове, то, прошу тебя, поговори с Миночкой и от моего имени как можно настойчивее обо всем том, что находишь ты возможным сделать для упрямой бедняжки; если не согласится она ехать сюда жить с тобою, то не придумаешь ли ты чего-нибудь другого для улучшения ее жизни?

Целую ее. Целую дяденьку. Целую руки Вареньки.

Крепко обнимаю тебя, моя красавица, и тысячи, тысячи раз целую.

Целую твои милые глазки. Целую твои ручки. Будь здоровенькая, миленькая моя Лялочка. Твой Н. Ч.

4 часа дня.

Сейчас получили мы телеграмму, которою ты извещаешь нас, что ты «приехала благополучно» и что в Саратове «все здоровы», т. е. дядя, Варенька, и Миночка, и другие родные.

Благодарю тебя, моя милочка, за это извещение.

Голубочка моя, миленькая, моя красавица, благодарю тебя, благодарю.

О нас с Мишей не беспокойся. Мы такие умные люди, что сам я дивлюсь нашему уму; поэтому ты можешь быть совершенно спокойна за нас обоих.

M-elle Белова посылает тебе поклон.

Крепко обнимаю, целую тебя тысячи, тысячи раз.
Целую твои милые глазки, целую твои ручки.
Будь здоровенькая, моя Лялочка. Целую и целую тебя.
Твой Н. Ч.

887

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Понедельник. 3 сентября 1884. Астрахань.

Милый мой дружок Оленька,
Застанет ли тебя в Саратове это письмо? Приятно ли для тебя устраиваются твои дела там, если ты еще там, занятая их устройством? И здорова ли ты, моя радость?

Мы с Мишей здоровы, и все у нас хорошо. Я становлюсь с каждым днем тверже убежден, что Миша будет поступать рассудительно и сумеет обеспечить себе такую жизнь, на которую ты будешь радоваться.

Вчера вечером я получил от Сашеньки (то есть нашего брата) письмо с очень приятным известием о нашем с тобою сыне, Саше. Переписываю здесь эти строки буквально:

«Ничего особенного не имею сказать и теперь», — говорит Сашенька, объяснив, что не писал нам долго потому, что не имел ничего особенного сообщить нам. — «Ничего особенного не имею сказать и теперь, кроме того известия (если вы сами еще не имеете), какое получил вчера от Саши: он пишет мне, что его дело устроилось, он получает место гувернера и в первых числах сентября должен ехать за границу с семейством, где он поместится. Он, без сомнения, и сам напишет вам об этом, но, пожалуй, замедлит».

Раньше днями двумя Миша получил, как я сообщал тебе, письмо от Верочки с извещением, что переговоры между Сашею и тем семейством идут хорошо. Верочка прибавляла, что это хорошее семейство, что дети в нем милые, что обязанности Саши будут не трудны. Поэтому, быть может, имеем мы с тобою вероятность надеяться что Саша довольно надолго сохранит охоту дорожить своим новым положением; и что в кругу людей умных, рассудительных, вполне порядочных, какими знают отца и мать его воспитанников знакомые их, отвыкнет от своих чудачеств, сделается из нелепого эксцентрика обыкновенным разумным человеком. Хорошие качества есть в нем; надобно ему только перестать оригинальничать, а в кругу светских людей хорошего тона человек легко отстает от дикости.

Вчера, отдав письмо на пароход, на обратном пути я заходил к Мелькумовым, за что ты похвалишь меня, — и дочитав мои объяснения, тоже похвалишь — заходил также к Маргарите Ива-

новне, наперекор своему страху приобрести этим посещением дружбу ее красавца супруга. Вышло, что я спасся от его посещения, навестив ее: он уж собирался ко мне, посоветоваться о том, как ему писать просьбу о награде ему за службу. Я растолковал ему, что не знаток я в этих делах и что советоваться ему со мною бесполезно. Итак, на некоторое время его дружба со мною отсрочилась.

Девушка Наталья Васильевна Белова-Черномазова просит меня передать тебе ее поклон. О том, что она тоскует по тебе, она, по деликатности своего характера, просила меня умолчать, и я умалчиваю. Но она не догадалась прибавить, чтоб я молчал и о том, пишим ли мы с нею. Итак, об этом я не умолчу. Да, пишим мы с нею.

Голубочка моя, не умею себя держать так, чтобы ты могла быть довольна мною; но любить тебя, люблю.

Целую Миночку, дяденьку; целую руку Вареньки.

Крепко обнимаю тебя, моя миленькая Лялечка, и целую тысячи тысячи раз.

Целую твои глазки, милые глазки твои. Целую тебя, моя красавица. Будь здоровенькая. Целую и целую твои ручки и глазки. Целую тебя. Твой Н. Ч.

888

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вторник. 4 сентября 1884. Астрахань.

Милый мой дружок Оленька,

Застанет ли тебя еще в Саратове это письмо?

Каково-то поживаешь ты там, если ты еще там? Или, хорошо ли тебе на пути сюда, если ты уж пустилась в путь?

С утра до ночи, с минуты, когда проснусь, до минуты, когда засну, думаю все только о тебе, моя голубочка. Ни на секунду не перестают мысли о тебе быть единственными господствующими в моей голове и заставляя мое сердце и тосковать о том, что не умел и не умею я держать себя, как следовало бы держать себя по моей любви к тебе, и чувствовать себя счастливым, благодаря твоей любви ко мне.

Со времени твоего отъезда я почти вовсе не работал. Работа не идет успешно, когда тебя нет подле меня; сяду писать, и через четверть часа бросаю: не могу работать.

Голубочка моя, без тебя я — ничто.

Со времени отправления вчерашнего письма, не было у нас с Мишею ничего нового. Весь вечер вчера я провел в болтовне с ним. У него есть характер, и он сумеет устроить свою жизнь так,

что ты будешь радоваться на него. Я не могу теперь сомневаться в том.

Если не получу до начала вечера завтра телеграммы от тебя о выезде из Саратова, буду писать тебе и завтра.

Само собою разумеется, что мы все — Миша, я и девица Белова — совершенно здоровы. Вчера, возвращаясь с пристани, куда относил письмо, я познакомился на бульваре с двумя маленькими племянничками Натальи Васильевны; когда приедешь, расскажу тебе трогательную историю этого знакомства, которое не на шутку порадовало меня. Оба эти котеночка были очень ласковы ко мне, так что я серьезно расчувствовался от их нежностей и довольно долго играл с ними; ушел и вернулся опять играть с ними. Надобно надеяться, что будущие детки Натальи Васильевны будут такие же ласковые. Она шлет тебе свой поклон. — Сейчас подошла к двери твоей комнаты, села и принялась писать. Вошла в твою комнату, поискала тебя и, не нашедши, вернулась ко мне и снова запищала.

Целую Миночку и дяденьку. Целую руку Вареньки.

Крепко обнимаю тебя, моя красавица, и целую тысячи и тысячи раз.

Будь здоровенькая, моя миленькая Лялечка. Целую твои ненаглядные глазки, целую твои ручки. Целую и целую тебя. Твой Н. Ч.

Р. S. Миша сказал мне, что ныне именины Миночки и что пишет ей, что хорошо будет послать письмо к ней прямо на ее имя, чтобы она получила его и в том случае, если тебя оно уж не застало бы в Саратове, и что оставил в своем письме к ней место для приписки, приветствие ей от меня. Разумеется, я делаю приписку. Бедненькая Миночка! Как мне хотелось бы, чтобы ее жизнь устроилась хоть немножко получше.

Целую и целую тебя, моя милая радость. Твой Н. Ч.

889

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Среда. 5 сентября 1884. Астрахань.

Милый мой дружок Оленька,

Что поделяваешь ты теперь и где ты — в Саратове ли, или на пути сюда?

Мы с Мишей живем так умно и добропорядочно, что ты можешь быть довольна нами. В самом деле, мне кажется, что Миша умеет поддерживать порядок в хозяйстве.

Вчера я усердно старался работать. Но нет, не шла у меня работа и вчера. Мысли так развлечены раздумьем о тебе, что не

могут сосредоточиваться ни на чем ином. Решительно, я без тебя — ничто.

Миленья моя голубочка, хотелось бы мне думать, что я буду держать себя так, что ты будешь довольна мною. Но — не умею я держать себя так; при всем моем желании, недостает у меня способности на это. Как быть, моя милая радость, плоховат я, плоховат.

Одним хорош: не убиваю себя работою; лежу и читаю, а работать в эти дни, без тебя, совершенно не могу; при тебе — весь год ленился. Я в состоянии очень много работать, не утомляясь. Когда-нибудь и примусь. А пока все ленился.

Нового у нас с Мишей нет со вчерашнего нашего письма ничего. Я полагаю, что он получит место здесь, если не получит более выгодного места в Петербурге. Он, повидимому, думает, что если придется ему оставаться здесь, при нас, это не помешает его жизни устроиться так, как ему хочется. По приезде твоём сюда мы с тобою потолкуем об этом. Мне кажется, что он человек рассудительный.

Девица Белова просит тебя верить неизменности ее чувств к тебе. Ныне утром много пищала у твоей двери, ходила в твою комнату искать тебя и снова пищала, сидя у двери. Часа два она пищала и искала тебя.

Целую Миночку и дяденьку. Целую руку Вареньки.

Крепко обнимаю тебя, моя Лялечка, и целую тысячи, тысячи раз.

Будь здоровенькая, моя красавица. Целую твои ручки, твои ненаглядные глазки. Целую тебя. Твой Н. Ч.

890

А. Н. ПЫПИНУ

13 сентября 1884. Астрахань.

Милый Сашенька,

Ныне отправил на твое имя перевод *First Principles* Спенсера. Давно был он готов у меня. Я медлил послать его потому, что писал, для приложения к нему, характеристику философии Спенсера; после того раздумывал: оставаться ли мне при мысли, что хорошо было бы дать публике вместе с переводом книги и эту оценку системы автора. Решил, наконец, отказаться [от] своего желания и бросил написанное для исполнения его. Благодаря тому, вот взял и посылаю рукопись перевода. — Язык Спенсера довольно неуклюж. Но публика находит, что это превосходный язык. Потому я действительно переводил, как сказано в предисловии, совершенно близко к подлиннику.

Подумываю теперь, за какую работу приняться. Когда приду-
маю, напишу тебе.

Да, чуть не забыл. На заглавном листе рукописи перевода не
выставлено имя переводчика. Это не потому только, что так лучше
по соображениям удобства, но и потому, что я сам не имел бы же-
лания считать эту мою работу за такую, которая стоит того, что-
бы выставлять на ней свое имя. Если, по мнению издателя, на-
добно какое-нибудь имя, то пусть употребит какой-нибудь чуж-
дый всякого значения псевдоним — «перевод Петрова», или
«Павлова», или «Семенова», или как-нибудь в этом роде. Мою
фамилию прошу не выставлять, хотя б и не мешало этому ничто,
кроме моего нежелания выставлять ее на переводе книги Спен-
сера.

Я очень обрадован тем, что Саша пристроился к месту. Быть
может, чудак и рассудит сделаться обыкновенным человеком, от-
бросит свои нелепые оригинальничанья. Прошу тебя переслать
ему записку, которую влагаю в письмо к тебе.

Здоровье Оленьки остается такое, каким ты видел. Разве
лишь немного поправилось. Она посылает свои приветствия тебе,
Юлии Петровне, вашим детям, сестрам, братьям.

Благодарю тебя, мой добрый друг, за то, что ты делал и де-
лаешь для нас.

Целую Юленьку. Целую ваших детей. Целую сестер и
брата. — Жму твою руку. Будь здоров. Целую тебя. Твой Н. Ч.

891

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

13 сентября 1884. Астрахань.

Милый друг Сашенька,

Мы получили письма, в которых ты рассказывал о своем при-
езде в Петербург и переговорах с Голубевым; получили и письмо,
в котором ты извещаешь о том, что вы с Голубевым сошлись, и
посылаешь деньги твоей маменьке.

Само собою разумеется, мы с нею рады тому, что ты доволен
семейством, жизнь которого будешь разделять. По твоим сло-
вам, надобно думать, что ты приобрел прочное, достаточно хоро-
шее положение. Будем надеяться, что теперь твоя жизнь будет
итти хорошо.

Мы получили и передали Сусанне Богдановне книгу, которую
ты даришь ей. Разумеется, она в восторге. Она шлет тебе поклон.
Исполнил я и другое твое поручение о книгах, которое ты выска-
зал мне при отъезде.

Я давно кончил перевод книги Спенсера. Все не посылал его,
раздумывая о том, в какие отношения стать к нему. Решил не

становиться ни в какие, кроме того, что исполнил перевод, который обязан был исполнить. Подумывал между тем о других работах. — Посылаю ныне перевод на имя твоего дяденьки. Прийми за одну из работ, какие придумал.

Повидимому, твои обязанности будут оставлять тебе мало свободного времени. Как быть! Прожив у Голубевых года два, три, ты обеспечишь себе свободу довольно надолго. Вероятно, ты будешь находить поддержку себе в этом расчете.

Милый мой друг, прошу тебя извинить мне те огорчения, какие делал я тебе.

Миша, повидимому, собирается уехать жить в Петербург. Быть может, и найдется ему там какое-нибудь занятие. Но ничего положительного об этом еще не знаем мы.

Здоровье твоей маменьки несколько поправилось, но все еще остается очень расстроенным. Потому она не пишет тебе теперь. Она целует тебя.

Целую тебя, мой милый друг. Будь здоров.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

892

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 22 сентября 1884.

Милый друг Сашенька,

Благодарю тебя за любовь к нам.

Как ты думаешь, достанет ли у Саши благоразумия и терпения ужитья на прекрасной в денежном отношении должности, которую получил он?

Что будет с Мишею, еще не знаю. Повидимому, он хочет вернуться в Петербург. Кажется, на-днях он получит от одного из здешних рыбопромышленников приглашение на службу с маленьким жалованьем. Согласится ль принять, или останется при своем желании уехать в Петербург — он и сам, вероятно, не сумел бы сказать теперь. Он совершенно ребенок. Рассудок или ребяческая беззаботность возьмут верх в его мыслях, когда настанет время решать, не могу предусмотреть. — Впрочем, кажется, что он более Саши способен сносно устроить свою жизнь; но когда рассудит он, что пора ему позаботиться об этом? — вот вопрос. Я провожу время, читая *Revue des deux Mondes*, потом буду читать другие иностранные журналы, какие найдутся здесь; разумеется, думаю воспользоваться этим чтением для работы.

Будь здоров, мой добрый друг.

Целую Юленьку, ваших детей; целую сестер и брата.

Жму твою руку. Целую тебя. Твой Н. Ч.

893

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 14 октября 1884.

Милый друг Сашенька,

Благодарю тебя за деньги (200 р.), посланные тобою 1 октября нам. Кроме того, что благодарю тебя, не умею сказать тебе об этом ничего.

Ныне уезжает к вам в Петербург Миша. И об этом не умею сказать ничего, кроме того, что он уезжает и что его мать, отпуская его, плачет, как это само собою разумеется.

Я мало познакомился с Мишею. В этом, разумеется, виноват лишь я. Мысли о работе и чтение, подготавливающее материалы для работы, попытки начинать работать, и снова мысли и подготовка к другой работе вместо прежней, начатой и брошенной, — в этом шло и идет мое время, так что у меня не оставалось досуга говорить с Мишею, как следовало бы и сколько следовало бы. Я мог разобрать лишь то, что он человек неглупый и по твердости характера способный усердно трудиться.

Здесь началась осень; и вместе с осенью возвращается для Оленьки болезненное время года.

Каково поживаешь ты?

Каково здоровье Юленьки и ваших детей?

Целую Юленьку, ваших детей, наших братьев и сестер.

Жму тебе руку, милый друг. Благодарю тебя. Будьте все здоровы.

Целую тебя. Твой Н. Ч.

894

В. Н. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 14 октября 1884.

Целую тебя, милый дружок Варенька.

Миша ныне уезжает. При нем Оленьке жилось все-таки немного получше. Без него будет тосковать.

Очень жаль мне, что ты не могла приехать к нам в эту навигацию.

Целую дяденьку. Каково-то вы с ним поживаете?

Целую твою руку, добрый наш друг.

Будь здорова. Твой Н. Ч.

895

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

14 октября 1884. Астрахань.

Милый друг Саша,

Мы получили твое письмо из Гейдельберга. Благодарю тебя за него.

Я слышал на-днях, что в одном из журналов, которых я не вижу, помещено несколько твоих стихотворений. Через несколько дней получу эту книжку — она есть в Астрахани — и взгляну, какие именно это из твоих пьес — известных мне, или это какие-нибудь новые.

И кстати, по поводу твоих пьес. Разговоры мои с тобою и о твоих стихотворениях и обо всем ином были ведены мною вовсе не так, как следовало бы; я много жалею о том; много, много порицаю себя за свои отношения к тебе. Не умел я, мой друг, быть хорошим другом тебе. Не знаю, сумел ли б и теперь. Вероятно, еще не сумел бы. По крайней мере с Мишею не сумел держать себя, как следовало.

Он уезжает ныне в Петербург. Все время, которое он прожил здесь, пропало у него даром. Но, повидимому, он получит в Петербурге занятие, которое даст ему возможность жить.

Хорошо ли устроилась твоя жизнь? — Обязанности твои берут у тебя, кажется, довольно много времени.

Само собою разумеется, единственное, интересное мне в Гейдельберге — это ты. И во всяком другом городе, в каком случилось бы тебе жить, в Германии ли, в Швейцарии ли, в Италии или во Франции, — единственное интересное мне было бы тоже только ты.

Если найдешь удобным, пиши, мой друг, о том, как живетса тебе.

Мы живем попрежнему.

Жму твою руку, мой милый друг. Будь здоров. Целую тебя. Твой Н. Ч.

896

Е. М. СОЛОВЬЕВОЙ

Астрахань. 14 октября 1884.

Милая Елена Матвеевна,

Ольга Сократовна хочет, чтобы я написал Вам. Я и пишу. Но предупреждаю Вас, что Вы не найдете в моем письме ничего, кроме того, что пишет Вам сама она. Я вообще принимаю ее мысли, будучи всегда уверен, что они хороши, и разделяю ее чувства, потому что моя жизнь состоит лишь в том, чтобы жить ее жизнью.

Миша уезжает в Петербург. Если я позволял себе говорить с ним о Вас, то лишь в Ваших интересах; исключительно в Ваших интересах. То, что отвечал мне Миша, казалось мне рассудительным.

Ольга Сократовна очень любит Вас. Она была чрезвычайно обрадована, когда Миша (нынешнею весною) написал ей, что она будет иметь Вас своею родственницею, и была очень огорчена, узнав, что это будет не так скоро, как она надеялась. Если б у нее были тогда деньги, затруднения были б устранены ею тогда же. И не замедлилось [бы] теперь ни на один день исполнение ее желаний относительно Вас и Миши, если бы теперь была у нее возможность поступать так, как требуют, по ее мнению, интересы Ваши и Миши.

Вот уж год я живу в Астрахани. И все еще не сумел устроить своих денежных дел. В этом все объяснение грусти Ольги Сократовны о том, что замедляется вступление Ваше в родство с нами.

Само собою разумеется, она и теперь готова помогать Вам и Мише, сколько может. Когда породнитесь с нами, приезжайте и пожить вместе с нами; этого горячо желает Ольга Сократовна; и я полагаю, что это было бы хорошо для Вас.

Будьте здорова, дружок. Жму Вашу руку. Ваш *И. Чернышевский*.

897

А. В. ЗАХАРЬИНУ

Астрахань. 14 октября 1864.

Добрый друг Александр Васильевич,

Ваше письмо от 8 октября, содержание которого Вы считаете неприятным для меня, доставило, напротив того, большую радость мне. Пусть и действительно было бы лучше для меня, если б Рагозин не отказался от намерения издавать «Заграничный вестник», но известие о том, что он (очень рассудительно) отступил от предприятия, которое неизбежно вовлекло бы его в большие убытки, гораздо менее неприятно мне, чем было бы, когда б я не ожидал, что Рагозин, ближе всмотревшись в денежные шансы задуманного им предприятия, отступится от него. Я радуюсь за Рагозина. И во мне остается душевная признательность к нему за его доброе расположение ко мне.

И если это дело расстроилось, то нет сомнения, что благодаря Вашей заботливости о моих денежных интересах найдется для меня какая-нибудь другая возможность зарабатывать деньги. Я уверен в этом; потому Ваше письмо и принесло мне большую радость. До сих пор некому было позаботиться об устройстве моих денежных дел, и время пропадало у меня понапрасну. Теперь благодаря Вам буду приобретать средства для жизни, для

уплаты долгов, для обеспечения Ольги Сократовны. Затруднения будут устранены, потому что теперь есть человек, заботящийся обо мне. Благодарю Вас, добрый друг.

Перехожу к подробностям.

Вы говорите, чтоб я прислал что-нибудь беллетристическое. Через несколько времени я пришлю повесть из английской жизни. Из английской; без всякого, явного ли, затаенного ли, отношения к чему бы то ни было русскому. Если цензуре не кажется удобным мое имя, то, по всей вероятности, она согласится, что можно напечатать эту повесть под видом перевода из приготовляемого к изданию в Англии сборника английских повестей какого-нибудь английского автора; будет на всякий случай написано мною маленькое предисловие в этом смысле. Содержание повести — самое невинное, чисто психологическое и сказочное, без всякой тенденции; все действующие лица — добрые люди высшего и среднего круга, совершенно чуждые всяких политических забот, заинтересованные лишь своими домашними делами. Итак, в содержании повести не будет ровно ничего, кроме совершенно удобного для печати.

Вы послали мне «Словарь» Брокгауза. Благодарю за него. Он был надобен мне самому. — Я просил Вас выписать для меня несколько иностранных журналов; лично для меня в них нет надобности, я хотел иметь их лишь как материалы для статей, которые хотел посылать в «Заграничный вестник». Не будет издаваться он, то нет мне надобности в этих журналах. Прошу, не тратьте деньги на них. Взамен того попрошу Вас выслать мне кое-какие книги. Но после, когда понадобится. Пока довольно мне Брокгаузова словаря, за который снова благодарю Вас.

Миша едет в Петербург. Как будете судить об этом Вы, я знаю по разговорам с Вами. Я сужу точно так же, как Вы. Но я имею уверенность, что ему будет дано место. Вероятно, и Вам было сказано то же, что было написано мне. Я думаю, что это обещание будет исполнено. А если оно окажется неудобоисполнимым, то при Вашем расположении к нам не пропадет же он.

Подумав, решил я теперь же написать Вам, какие книги могут понадобиться мне. Я хотел бы перевести на русский язык «Всеобщую историю» Вебера (*Weltgeschichte* или, не помню, *Universalgeschichte von Weber*); это 15 или 16 толстых томов. (Краткое извлечение было переведено на русский; но это совсем не то.)

Книга имела бы очень солидный успех. Первое издание смело можно сделать в 4 000 экземпляров, и понадобилось бы два или три раза перепечатывать его, каждое новое издание тысячи в три экземпляров; это дало бы несколько десятков тысяч рублей выгоды. Прошу Вас, поговорите с солидными издательскими фирмами. Если бы нашелся издатель, мне понадобилось бы несколько книг для присоединения поправок и пополнений к русскому переводу. Работа пошла бы у меня быстро: томов пять в год, не

меньше, а вероятно — больше; издание было бы кончено в три года, это самый долгий срок.

Ольга Сократовна посылает Елене Васильевне и Вам свои приветствия и целует Ваших детей.

Прошу Елену Васильевну принять усердный поклон от меня.

Жму Вашу руку, добрый друг. Благодарю Вас за любовь ко мне. Ваш Н. Ч.

898

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

29 окт[ября] 1884.

Милый друг Миша,

Ты хорошо сделал, что прислал своей мамаше уведомление о твоём путешествии и о приезде в Петербург; она очень беспокоилась о том, здоров ли ты; твои извещения были необходимы для уменьшения ее тревоги за тебя.

Я вижу из твоего письма от 20 октября (второго твоего петербургского письма), что ты в скором времени получишь место. Это хорошо.

Я получил Conversations-Lexicon. Очень благодарю за него. Теперь могу писать статьи серьезного содержания, чего не мог прежде, не имея ни одной справочной книги.

Послезавтра пошлю Александру Васильевичу маленькую вещичку поэтического содержания и письмо, в котором изложу свои мысли о будущих работах.

Напишу послезавтра и Александру Николаевичу. Деньги от него мы получили. (Кажется, я и уведомляю его об этом.)

Целую тебя. Будь здоров. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

899

А. В. ЗАХАРЬИНУ

Астрахань. 30 октября 1884.

Добрый друг Александр Васильевич,

Посылаю Вам пьесу «Гимн Деве Неба», прося Вас похлопотать о том, чтобы она была напечатана.

Содержание пьесы чисто поэтическое, чуждое всяких отношений ко всему, сколько-нибудь касающемуся каких бы то ни было цензурных интересов. Единственный цензурный вопрос, возбуждаемый этою поэмою из быта греческой древности, состоит в том, что пьеса написана мною. Будь автором ее кто-нибудь иной, цензуре не могло бы быть никакой надобности обратить на нее внимание. Но — автор пьесы я. Только потому и необходимо согласие цензурного ведомства на ее напечатание.

Итак: возможно ли, чтобы эта поэма была напечатана с моею подписью? — Если «да», то Вы прибавите в конце стихотворения подпись: «Н. Чернышевский». А если это будет найдено неудобным, то Вы предложите цензурному ведомству способ устранить имя автора: заглавие поэмы можно пополнить таким образом:

ГИМН ДЕВЕ НЕБА

(Из Сэвджа Лэндора)

При такой прибавке поэма выставялась бы за перевод с английского. Сэвдж Лэндор (Savage Landor) — второстепенный английский поэт, умерший лет 20 тому назад, в глубокой старости; его мало читают и сами англичане, а русской публике он известен лишь по имени; так что едва ли кто в России поинтересуется выписать его произведения, чтобы посмотреть, верен ли перевод, и сойдет моя поэма действительно за перевод. Если можно напечатать ее при помощи этого способа, то подписью многого переводчика надо будет выбрать какую-нибудь из обыкновеннейших русских фамилий: Андреев, Павлов, Яковлев, или какую другую в этом роде.

О чем я думаю, прося Вас похлопотать, чтоб эта поэма была напечатана? — О том, чтоб как-нибудь был решен вопрос: могу ли я, с моею ли подписью или под каким-нибудь псевдонимом, посылать мои произведения в журналы.

Моя поэма — очень удобная вещь для решения этого вопроса, потому что ровно никаких вопросов, кроме этого одного, не имеет она возбуждать.

Предполагая возможным решение его в утвердительном смысле, я начал писать повесть из английского быта, которая по своему содержанию не представляет ни малейшего повода к цензурным затруднениям; лишь бы было найдено позволительным печатание написанного мною, с моею ли фамилиею или под псевдонимом, эта начатая мною повесть окажется совершенно удобною в цензурном отношении.

Но писать повести можно лишь по два, по три часа в сутки; заниматься этим с утра до ночи — работа слишком утомительная. Итак, кроме двух, трех часов в сутки, все время остается у меня свободным. А надобно, чтобы оно не пропадало для меня: на мне лежат большие долги; и мне надобно позаботиться об обеспечении будущности Ольги Сократовны (наши с нею дети, когда-то сами для себя станут добывать кусок хлеба — дело неизвестное; а станут добывать его, то для себя, а не для нее). Итак, было бы и бесчестно, и безрассудно, если б я стал терять время. Мне должно взять себе какую-нибудь машинальную работу, которою могу я заниматься помногу часов каждый день, не утомляя себя. Такая работа — перевод.

Для перевода надобно мне взять какое-нибудь сочинение большого объема, которое могло бы разойтись в значительном количестве экземпляров, так что дало бы мне порядочные деньги.

Я нахожу, что лучше всего соответствует этим условиям книга *Allgemeine Weltgeschichte für die gebildeten Stände v. Georg Weber, Leipzig, 1857—1882.*

(Всеобщая история для образованных сословий, Георга Вебера.)

Это 15 или 16 томов.

Я кончил бы перевод года в три.

Наиболее выгодным для меня был бы такой способ издания:

Хозяином издания был бы я сам. Бумагу брать в долг. Печатать в долг. Выручка денег и уплата долга бумажному фабриканту и типографщику началась бы тотчас же по выходе первого тома. По выходе 4-го или 5-го тома уж получались бы избытки, и продолжение издания было бы ведено уж на наличные деньги.

Возможен ли такой способ издания?

Если нет, то возможно ли найти какого-нибудь солидного книгопродавца-издателя, который взялся бы за это предприятие?

Прошу Вас, Александр Васильевич, похлопочите об исполнении этого моего намерения перевести «Историю» Вебера.

Само собою разумеется, я вполне полагаюсь на Вашу заботливость и даю Вам безусловное полномочие устроить это дело так, как Вы найдете удобным.

И чтобы не пропадало у меня время, пришлите мне теперь же — если не все многотомное сочинение Вебера, то хоть первый том. В тот же день, как получу его, начну переводить.

Conversations-Lexicon Брокгауза, посланный мне Вами, я получил. Благодарю Вас за эту необходимую мне справочную книгу.

Вы видите, все это мое письмо — чисто деловое.

Деловым образом и закончу его.

Жму Вашу руку, добрый друг. Ваш Н. Ч.

Прошу передать мое глубокое уважение Елене Васильевне.

900

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 31 окт. 1884.

Милый Сашенька,

Я получил 200 рублей, посланные тобою на мое имя при записке от 21 октября. Благодарю тебя за них.

Каково-то поживаете вы? Поправилось ли здоровье Юленьки?

Оленька стала чувствовать себя болезненной, как только началось осеннее ненастье.

Ныне я посылаю Александру Васильевичу Захарьину письмо

и написанную мною лет десять тому назад маленькую поэму. По его связям ему удобнее, чем тебе, хлопотать в цензурном ведомстве. Содержание поэмы — вымышленный эпизод из войн между карфагенцами и греками в Сицилии. Разумеется, это очень удобная пьеса для разрешения вопроса о том, можно ли мне помещать в журналах мои работы.

Важнее того другое дело, о котором я прошу Александра Васильевича. — Писать что-нибудь свое я нахожу время лишь вечером. День у меня годится только для машинального занятия переводом. Я хочу перевести *Allgemeine Weltgeschichte v. Weber*. Я прошу Ал. Васильевича устроить мне возможность для этого. Подробности прочтешь в моем письме к нему.

Не знаю, одобришь ли ты это мое решение. Но пусть и не одобришь, все-таки ты не отвергнешь мою просьбу не сердиться на меня за то, что хочу, наконец, приняться работать.

Ты думаешь, что мое здоровье хило, что я должен жить в праздности, потому что работа убьет меня; мой друг, это лишь напрасные опасения, внушаемые тебе любовью ко мне. Я желал бы, чтобы твое здоровье было хоть наполовину столько прочно, как мое.

Но ты уж досадуешь на меня за то, что я не считаю себя дряхлым? — Прости, что коснулся этого спорного между нами пункта.

И в доказательство, что прощаешь, напиши, не имеешь ли в виду книги, более выгодной для перевода, чем книга Вебера.

Качества книги, которыми я дорожу при выборе для перевода:

- 1) Дельность;
- 2) Преобладание фактичности над тенденциозностью;
- 3) Большой объем (чтоб это было солидное денежное, а не грошовое предприятие);
- 4) То, чтобы книга была покупаема публикою.

Я не придумал, какая книга лучше «*Vс. ист.*» Вебера удовлетворяла б этим условиям. Если имеешь в виду более удовлетворяющую им, напиши. Я буду рад заменить менее выгодное предприятие более выгодным.

Но если и рекомендуешь мне для перевода другую книгу, все-таки проси Ал. Васильевича как можно поскорее исполнить мою просьбу к нему о присылке мне книги Вебера. Пожалуйста. Чем скорее получу я эту книгу, тем больше я буду благодарен тебе и ему.

Целую Юленьку и ваших детей.

Целую братьев и сестер.

Оленьке так нездоровится, что она не делает сама приписки, а поручает мне написать за нее, что она посылает вам свои поклоны и поцелуи.

Целую тебя, добрый друг. Будь здоров.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

901

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 4 ноября 1884.

Милый друг Миша,

Я совершенно согласен с тобою во всем, что ты пишешь (от 29 октября) относительно продажи моей брошюры о Пушкине. Продай эту книжку за столько, сколько дадут; хоть бы дали и меньше той цены, о которой ты слышал (очень возможно, что найдут невозможным дать и 100 р., не только 120); если дадут и меньше 100 р., все ж это будет лучше, чем ничего; итак, не стесняясь ценою, продай.

Я просил Александра Васильевича прислать мне Allgemeine Weltgeschichte v. Georg Weber. Повтори ему эту мою просьбу.

Как получу Вебера, начну переводить. А тем временем Александр Васильевич будет хлопотать о способе издать перевод. Как он устроит это, так и будет: я вперед вполне согласен с его распоряжениями.

Я писал об этом моем намерении твоему дядюшке, Александру Николаевичу. Он, быть может, не одобрит его. Но я просил Александра Николаевича помогать мне, хотя б ему и не нравилось это мое решение. Если случится ему говорить с тобою о нем, повтори мою просьбу.

Целую тебя. Будь здоров, мой милый. Жму твою руку.
Твой Н. Ч.

Р. С. Поздравляю тебя с днем твоего ангела. Надеюсь, ты проведешь его приятно.

902

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 6 ноября 1884.

Милый друг Миша,

Твоя маменька, поздравляя тебя с днем твоего ангела, посылает тебе белую мерлушку для шапки.

Пишу об этом вместо твоей маменьки я, потому что у нее правая рука оцарапана и укушена Натальею Васильевною. Это было вчера после обеда. Размолвка произошла из-за мерлушки: девица просила, чтобы эту прекрасную вещичку подарили ей; твоя маменька отвечала, что Наталья Васильевна не стоит такого подарка; она огорчилась и в экстазе оскорбленного чувства царапнула и укусила руку обидевшей ее. За это отправлена она в ссылку на кухню. Укусила она, каналья, очень сильно, так что боль в руке мешала твоей маменьке почивать. Завтра, разу-

меется, боль пройдет; но теперь рука у твоей маменьки еще остается завязанною.

Твоя маменька целует тебя. Она все ждет письма от Елены Матвеевны, которой посылает поцелуй.

Сусанна Богдановна, Федосья Мелькумовна и Софья Мелькумовна жалели, что не были у нас, когда твоя маменька писала поздравление тебе, и не успели послать тебе своих поздравлений тогда; просили передать их тебе теперь.

Будь здоров, мой друг. Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

903

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 22 ноября 1884.

Милый друг Миша,

Повторяю мою просьбу о том, чтобы прислали мне Allgemeine Weltgeschichte Weber'a; если мое намерение перевести эту книгу представляется непрактичным, то пусть оно непрактично, а все-таки я прошу исполнить мою просьбу о присылке ее, хоть одного тома ее.

Кланяюсь всем, кого люблю.

Прибавлю два-три слова Елене Матвеевне.

Целую тебя. Будь здоров.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

904

Е. М. СОЛОВЬЕВОЙ

22 ноября 1884. Астрахань.

Вы хорошо сделали, Елена Матвеевна, что написали Ольге Сократовне: она была так рада Вашему милому письму. Пишите ей почаще.

Я надеюсь, что весною Вы приедете к нам.

Будьте здорова. Жму Вашу руку. Ваш Н. Ч.

905

В. Н. ПЫПИНОЙ

25 ноября 1884.

Милый друг Варенька,

Поздравляю тебя с наступающим днем твоего ангела. Надеюсь, что твое здоровье хорошо.

У вас уж были морозы, и теперь, вероятно, уж установилась

зима. У нас все еще только дожди, мелкие, осенние, и бывает иной день так тепло, что можно выходить в комнатной одежде; так было, например, третьего дня. Но для здоровья Оленьки тяжела уж и эта, еще очень легкая, стужа.

Я здоров.

Прошу тебя передать милому дяденьке, что я целую его и поздравляю с именинницею.

Будь здорова. Целую твою руку. Твой *Н. Ч.*

906

Е. С. ВАСИЛЬЕВОЙ

[25 ноября 1884].

Милая Миночка,

Целую Вас. Каково-то теперь Ваше здоровье? Мне все думается, если бы Вы жили с нами здесь, оно поправилось бы. Ваш *Н. Ч.*

907

А. Н. ПЫПИНУ

27 ноября 1884. Астрахань.

Добрый друг Сашенька,

Мы получили деньги, которые ты послал нам при письме от 17 ноября. Благодарю тебя за них.

Ты не одобряешь моего намерения перевести «Всеобщую историю» Вебера. Но, мой друг, надобно же мне делать что-нибудь. Другого дела у меня нет и не предвидится. То вот я и хочу заниматься хоть этим. Перевод не будет ни к чему пригоден и придется бросить его? — Пусть так; все равно у меня время пропадает задаром.

Друг мой, прошу тебя, имей снисхождение к моей просьбе.

Целую Юленьку и ваших детей. Целую братьев и сестер.

Целую тебя. Будь здоров. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

908

А. В. ЗАХАРЬИНУ

Астрахань. 2 декабря 1884.

Добрый друг Александр Васильевич,

От всей души благодарю Вас за Ваши хлопоты по делу о разрешении мне отдавать в печать мои литературные работы. Напрасно и говорить, что я нахожу превосходным все сделанное Вами; но, быть может, не бесполезно будет прибавить, что я

и вперед безусловно одобряю все то, что найдете Вы надобным сделать.

Результаты, которых достигли Вы до отправления Вашего письма ко мне (оно от 22 ноября) — наилучшие возможные, так что очень радуют меня.

Вам говорили: «как ни скрывай тайну псевдонима, она будет скоро разглашена литературными сплетниками»; — это совершенно справедливо. Из того делали вывод, что до положительного разрешения мне печатать мои работы журналистам было бы неудобно печатать их с заменой моей подписи псевдонимом; и это совершенно справедливо.

Итак, Вы видите, что я смотрю на вопрос с той же самой точки зрения, с какой смотрят на него лица, беседовавшие с Вами о нем.

Через несколько дней кончу литературную работу, которой теперь занимаюсь, и отправляю ее на Ваше имя.

Кстати: я не имею Вашего адреса, потому посылаю это письмо по адресу Миши, для передачи Вам.

Вы находите, что моя мысль о переводе «Всеобщей истории» Вебера непрактична. Вашему суждению об этом я вполне доверяю; потому бросаю мысль о переводе Вебера.

Но остается то, что побудило меня к ней: мое время идет так, что писать повести или ученые статьи удобно мне только вечером, а днем я могу заниматься лишь работою, которую можно бросать и возобновлять каждую любую минуту; такая работа — перевод. И чтобы не пропадали у меня часы от утреннего чая до вечернего, мне надобно иметь какое-нибудь занятие переводом. Можно ли доставить мне такую работу? — Если можно, будьте добр, похлопочите об этом.

Прошу Вас засвидетельствовать мое глубокое уважение Елене Васильевне. Целую Ваших детей.

Будьте здоров. Жму Вашу руку, добрый друг, и снова благодарю Вас. Ваш *Н. Чернышевский*.

Ольга Сократовна свидетельствует свое почтение Елене Васильевне и Вам и целует Ваших детей.

909

А. В. ЗАХАРЬИНУ

9 декабря 1884.

Добрый друг Александр Васильевич,

От глубины души благодарю Вас за доставленную мне Вашими заботами возможность работать.

Чтобы действовать в мою пользу так, как Вы действовали, Вы должны были иметь уверенность, что я буду поступать строго

сообразно с Вашими мыслями относительно меня. Сколько я могу судить о себе, я нахожу, что эта Ваша уверенность во мне будет оправдываться мною.

О том, что пишу я и буду посылать Вам для печати, я не буду говорить или писать никому: ни моим сыновьям, ни моему кузену А. Н. Пыпину. А Ольга Сократовна никогда не спрашивает о том, что я пишу; так что о ней и говорить нечего, когда речь идет о моих работах.

Все, что Вы говорили лицам, с которыми виделась по моему делу, и все, что было говорено Вам, кажется мне совершенно хорошо.

Прошу Вас и вперед, при Ваших заботах о моих литературных делах, поступать так, как бы Вы уж получили от меня положительное высказанное согласие с Вашими мыслями.

Я получил Ваше письмо от 27 ноября три дня тому назад, перед концом срока приемки писем здесь, и не имел времени отправить ответ с тою почтою. От этого и промедление в моем ответе (зимую почта отсюда отправляется, как Вы, быть может, знаете, не каждый день).

Я рассчитывал со следующей почтою отправить Вам работу, которою занимаюсь. Вижу, что не успею кончить ее к тому дню. Думаю, что она будет готова дня через четыре. Но, пожалуй, возьмет она у меня и еще с неделю. Как будет она готова, пошлю на Ваше имя; распорядитесь ею, как почтете лучшим; я повторяю, что вперед согласен с Вашими мыслями по всякому, какой представится Вам, вопросу о моих работах.

Вы спрашиваете, какие книги и какие журналы желал бы я иметь. Мне кажется, что я должен отвечать: «Раньше, нежели будут получены какие-нибудь деньги за какие-нибудь из работ, которые буду я посылать Вам, мне не следует поддаваться желанию выписывать книги или журналы». Но вы могли бы найти такой ответ нехорошим. Потому выбираю несколько журналов из объявления фирмы Вольфа (у Вольфа подписные цены несколько дешевле, нежели у Мелье, то есть Mellier). Fortnightly Review; цена (с пересылкою) 22 р. 75.

На первый раз довольно было бы мне этого одного журнала. Athenaeum (тоже английский журнал) — 12 р. 00.

Nouvelle Revue 28 р. 50.

(Revue des deux Mondes выписывается здешнюю городскую библиотекою, потому мне выписывать этот журнал не для чего.)

Прошу собственно лишь Fortnightly Review. Без двух других журналов, отмеченных мною, удобно могу обойтись.

Для личного своего употребления я не имею надобности ни в каких книгах. Те или другие книги могут быть нужны лишь как материал для работ. Когда Вы будете иметь возможность найти для меня какие-нибудь работы в журналах или газетах, тогда я буду просить Вас о присылке книг, надобных для работ.

Будьте здоров, добрый друг. Благодарю и благодарю Вас. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

Прошу передать мое глубокое уважение Елене Васильевне. Ольга Сократовна посылает свой усердный дружеский поклон ей и Вам.

910

А. Н. ПЫПИНУ

9 декабря 1884:

Милый Сашенька,

Благодарю Юлию Петровну и Аделаиду Петровну за их поздравление мне. Благодарил бы и тебя, если бы не был уверен, что они причислили тебя без твоего соучастничества к подписавшимся под телеграмму, доставившую большое удовольствие Ольге Сократовне.

Благодарю тебя, добрый друг наш, за все то, что ты делаешь для нас.

Я тревожусь за здоровье Саши. Превосходный медик, очень хорошо знающий его, говорил мне, что его здоровью издавна стала угрожать опасность тяжелого расстройства. Было бы непозволительно с моей стороны не верить этому вполне авторитетному мнению. И вот я опасаюсь, не началось ли то расстройство здоровья Саши, возможность и даже вероятность которого предсказана мне этим врачом. Прошу тебя, напиши мне всю ту правду о здоровье Саши, какую знаешь. Не опасайся, что я не гожусь для выслушивания неприятных известий. Могу совершенно безвредно для себя выслушивать всякие вести обо всем.

Целую тебя. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

Благодарю Вас, милая сестрица Юленька, за телеграмму.

Прошу поблагодарить от меня Аделаиду Петровну. Я всегда любил ее.

Целую Вас, сестрица.

Целую Ваших детишек.

Целую братьев и сестер.

911

В. Н. ПЫПИНОЙ

9 декабря 1884.

Милый друг Варенька,

Благодарю тебя за твое письмо ко мне. Как рад был бы я повидаться с тобою, наш милый друг!

Здоровье Оленьки страдает от осеннего ненастья, которое все еще заменяет у нас здесь зиму.

Благодарю милого дяденьку. Целую его.

Целую твою руку, добрый друг. Будь здорова. Твой *Н. Ч.*

912

Е. С. ВАСИЛЬЕВОЙ

[9 декабря 1884].

Милая сестрица Миночка,

Благодарю Вас за Ваш прекрасный подарок мне. Хотелось бы мне услышать от Вас о Вашем здоровье что-нибудь лучшее, нежели сообщаете Вы нам. Многое тут зависит от образа жизни. Будем ли мы с Оленькою иметь возможность быть полезными для Вас, как нам хотелось бы, все еще не знаю. Но надеюсь. Целую Вас. Ваш *Н. Ч.*

913

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 19 декабря 1884.

Милый друг Сашенька,

Ты очень обрадовал меня тем, что сообщаем мне о моих делах в письме от 4 декабря. Я промедлил несколько дней ответом на него потому, что хотел хорошенько обдумать, в какой форме высказать мои — впрочем, совершенно согласные с твоими — мысли о некоторых из передаваемых тобою мне предложений работы.

Книга Вебера не годится для перевода, потому что слишком велика, говорили тебе книгопродавцы. Не годится, то бросаю мысль о переводе этой книги.

Долгов у меня нет, я покрыл твои расходы на наше содержание переводами, которые выслал тебе, уверяешь ты. Это не так. Но благодарю тебя. И так как ты не хочешь, чтоб я думал о моих долгах, то не буду говорить о них.

Если найдется порядочная книга для перевода, пожалуйста пришли. У меня каждый день есть часы, в которые я могу заниматься лишь машинальною работою, допускающею поминутные перерывы занятия.

Благодарю за присылку *Unsere Zeit* прошлого и нынешнего годов. Я хотел переводить или переделывать статьи из этого журнала. Но будут ли пригодны такие вещи? Не окажется ли, что они запоздали для помещения? Вероятно, оказалось бы, что переводы их уж сделаны другими. Потому я прошу тебя устроить, чтоб я мог знать, какие переводы или какие компиляции из каких иностранных журналов нужны.

Журналисты, с которыми были у тебя разговоры в этом роде, воображают, повидимому, что мои мысли чрезвычайно эксцентричны и не могли бы уживаться в их журналах. Это напрасно. О том, в чем я не согласен с ними, я не имею желаний пробовать писать. Обо многом я думаю одинаково со всеми грамотными людьми. И только о таких предметах я стал бы писать для журналов.

Ты сообщаем мне, что могли бы понадобиться статьи исторического или историко-литературного содержания, от 2 до 3 листов. Прекрасно. Более обширные статьи менее удобны. Правда.

Захочу ль я написать об Островском? И согласны ль мои мысли о нем с уважением журналистов к нему? — Согласны. Об Островском я думаю с большим уважением. Но — я не имел бы особенной охоты писать о чем бы то ни было из русской жизни. Я предпочитал бы писать о вопросах или чисто научных, или по крайней мере не имеющих отношения к специально русским житейским вещам. Признаться ли? — Собственно русская жизнь довольно мало интересует меня. И рассуждать о русской литературе мне скучно. — Вот об этих-то моих мыслях и раздумывал несколько дней, не умея подобрать выражений, в которых высказать их. Правда, я все-таки человек, а не безжизненное книжное существо; и, все-таки, я русский, а не какой-нибудь иностранец, не умеющий читать по-русски и не желающий ровно ничего читать о России. Читаю и по-русски; если нечего другого читать; читаю и то, что русские пишут о своей жизни. Но писать сам о русской жизни я довольно мало расположен. Конечно, если не найдется работы по предметам не специально русским, то — как быть! — напишу и об Островском; но — хоть люблю Островского и стал бы только хвалить его, лучше бы хотел не писать о русской жизни. — Я полагаю, что я не сумел найги выражения для моей мысли. Я хотел только сказать, что я более пригоден для работ по чисто научным вопросам; Островского я хвалил бы; но не все русские литераторы хвалят его; я не желал бы вмешиваться ни в какие споры между русскими о их литературе. Но я лишь говорю, что предпочитал бы писать о вещах не специально русских; а если работы, не имеющие отношения к русским спорам, не нужны для журналов, — то буду писать и о русской литературе. Не выразиться ли мне так: я желал бы писать статьи, которые не были бы, разумеется, ровно ни для кого не нужны, но статьи, толковать о которых никому не было бы охоты: прочел читатель и забыл; такие статьи характеризуются названием «журнальный балласт» — так? Я хотел бы писать не для того, чтобы были разговоры о моих статьях, а лишь для того, чтобы получать деньги за работу. — Не знаю, сумел ли передать мои мысли об этом.

Какой-то книгопродавец говорил тебе, что, может быть, имел

бы успех перевод «Всеобщей истории» Ранке. Это хороший труд очень почтенного ученого. Я рад был бы перевести «Всеобщ[ую] историю» Ранке.

О моих делах кончено письмо; я отвечал тебе, как умел на все твои сообщения о них, в том порядке, в каком ты излагал твои мысли; и, кажется, не пропущено мною ничего без ответа.

Все это в твоём письме радует меня; грустны в твоём письме лишь известия о Саше; но благодарю тебя за то, что ты не утаиваешь от меня серьёзности его болезни.

Пишу ему; не зная его адреса, прошу тебя о передаче ему моей записки.

Поздравляю Юленьку и ваших детей с праздниками. Целую их. Тоже братьев и сестер.

Будь здоров, мой милый друг. Целую тебя. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

914

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

19 декабря 1884. Астрахань.

Милый друг Сашенька,

Я получил твоё письмо о возвращении твоём в Петербург по надобности для тебя отдохнуть и посоветоваться с медиками, более пользующимися твоим доверием, чем незнакомые тебе гейдельбергские. Итак, врачи, с которыми теперь совещаешься ты, пользуются твоим доверием. Этого, я полагаю, достаточно для поправления твоего здоровья: доверяя им, ты будешь следовать их советам, и твоё выздоровление несомненно, когда так.

Лишь бы окрепло твоё здоровье, твои дела пойдут хорошо. Прошу тебя, заботься лишь о том, чтобы вернуть себе прочность здоровья.

В нашей жизни здесь нет ничего нового. В конце лета здоровье твоей маменьки поправлялось. Как начались осенние непогоды, оно опять стало неудовлетворительно.

Я совершенно здоров.

Прошу тебя, заботься о своём здоровье. Целую тебя. Жму твою руку, милый друг. Надеюсь скоро слышать, что ты чувствуешь себя хорошо. Твой *Н. Ч.*

915

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

24 декабря 1884.

Милый друг Миша,

Посылаю тебе записку об издании книжонки о Пушкине, написанную буквально так, как, по-твоему, должна быть написана она.

Не знаю, стоит ли книжонка тех денег, которые соглашается дать за нее Тяпкин. Думаю, он останется в убытке. Вероятно, надобно сказать ему, что в случае убытка деньги будут возвращены ему. И если он, как должно мне думать, порядочный человек, то и действительно надобно сказать ему это.

Поздравляю тебя и вас всех с Новым годом. Письмо от Александра Васильевича я получил. Ответ мой ему еще не готов. Готовлю; но приготовлю не ранее, как еще дней через три, четыре. Благодарю Александра Васильевича за то, что он сделал для меня.

Целую тебя, Сашу и всех вас. Твой *Н. Ч.*

916

Е. Н. ПЫПИНОЙ

24 декабря 1884. Астрахань.

Милый друг Евгеньчика,

Пишу тебе в день твоего ангела, чтобы сказать тебе, что мы празднуем его.

Мы были очень обрадованы полученным от Вареньки известием, что твои заботы о жене Петеньки спасли жизнь больной. Без тебя наша молодая родственница не перенесла бы своего продолжительного и тяжелого страдания. Но ты сама, вероятно, была близка к изнеможению, изнуряя себя для ее спасения. Оправляешься ли от этого утомления?

Мы с Оленькою живем лишь мыслями о вас, начиная с дяденьки, Вареньки, Миночки и кончая нашими детьми.

Здоровье Оленьки в эти дни как будто получше прежнего.

Прошу тебя поздравить от меня с Новым годом Сережу, Викторию Ивановну и всех наших.

Целую тебя, милый друг, и всех братьев и сестер. Твой *Н. Ч.*

917

А. Н. ПЫПИНУ

27 декабря 1884. Астрахань.

Милый друг Сашенька,

Благодарю тебя за журналы, которые ты выписал для меня; и за книги, которые посылались мне, тоже.

Судя по твоей приписке к письму Миши от 17 декабря, на которую отвечаю этим письмом, тебе кажется надобным настаивать на мысли, чтоб я написал статью об Островском. Я напишу, если ты пришьлешь его. Быть может, я не сумел правильно передать тебе в прошлом моем письме те соображения, которыми

я руководился, предпочитая для своих работ темы чисто научного содержания вмешательству в разборы вопросов о русской литературе. И очень вероятно, что я выражался очень сбивчиво. Но я вовсе не хотел этими своими рассуждениями отказываться от какой бы то ни было работы. Всякую, какую считаешь ты надобною, я буду исполнять. Нужно писать об Островском, то напишу.

Прошу тебя, извещай о том, каково здоровье Саши. Я опасаюсь, что оно очень расстроено. Пиши мне правду без смягчений.

Мне хочется думать, что журналы посылаются мне, как материал для работ. И если есть в этом моем предположении ли — или только желании — какая-нибудь доля правды, то я повторил бы мою просьбу тебе доставить мне возможность судить, какие именно работы — переводные ли, компиляционные ли — были бы пригодны.

Прошу Юленьку поцеловать за меня ваших детей. Целую ее саму. Целую братьев и сестер.

Будь здоров, добрый друг. Жму твою руку. Целую тебя. Твой Н. Ч.

918

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 27 декабря 1884.

Милый друг Миша,

Нам с твоею мамашею было приятно прочесть в твоём письме от 17 декабря известие, что вопрос о получении тобою порядочных средств жизни приблизился к удовлетворительному решению.

Мой ответ Александру Васильевичу будет отправлен послезавтра.

Благодарю тебя за то, что ты пишешь нам часто. Твоя мамаша бывает всегда так рада письму от тебя. Прошу тебя, продолжай писать часто, часто.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

919

А. В. ЗАХАРЬИНУ

29 декабря 1884. Астрахань.

Добрый друг Александр Васильевич,

Повесть, которую я хотел написать, выходит так длинна, что не могу скоро кончить ее.

Потому я вздумал написать статью, которую и посылаю Вам при этом письме. Предмет ее до такой степени чужд всяким интересам русской публики, что она не будет прочтена почти никем из читателей журнала, который согласится напечатать ее. Именно тем она и хороша. Только захочет ли какой-нибудь журнал напечатать такую никому в России не нужную и не любопытную статью? — Я нимало не буду в претензии, если никакой журнал не захочет обременять свои страницы этим баластом.

Через неделю или чрез полторы приготовлю и pošлю Вам другую статью, в таком же неинтересном для русской публики вкусе.

А после того примусь за работы, менее непригодные для чтения русским ученым читателям, хоть тоже не интересные никому в России, кроме немногих ученых.

А через несколько времени получу, быть может, какую-нибудь работу для какого-нибудь журналиста или книгопродавца, благодаря Вашим заботам обо мне? — Тогда буду писать о том, о чем нужно заказчику.

Будьте здоров, добрый друг. Благодарю Вас за все, что Вы делаете для меня.

Ольга Сократовна поздравляет с Новым годом Елену Васильевну, Вас и Ваших детей.

Посылаю и я мой усердный поклон Елене Васильевне.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

920

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

1 января 1885. Астрахань.

Милый друг Сашенька,

Мы были очень рады твоему письму от 21 декабря, потому что видели из его содержания, что твое здоровье поправилось.

Присылай мне свои новые стихотворения. Я интересуюсь твоим талантом. Прекрасно и то, что твои переводы начинают находить помещение себе.

Судя по тону твоего письма, надобно думать, что твои дела имеют шансы устроиться удовлетворительно для тебя. Радуюсь этому.

Мы здесь живем все попрежнему, ограничиваясь теми немногими знакомствами, какие были у нас при тебе.

По поводу того, что ты говоришь о расположении Поленьки к тебе, я пишу ей несколько дружеских слов (на другом полустике, который прошу тебя передать ей).

Будь здоров, мой милый друг. Желая тебе в Новый год всего хорошего.

Скажи от меня то же и Мише. — Письмо посылаю по его

адресу, не сумев разобрать название дома, в котором ты поселился. Кланяюсь всем нашим. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

P. S. Твоя маменька целует тебя. Хотела было писать сама, но пришли ее гости — барышни, и отвлекли ее. А пора отправить письмо на почту.

921

А. В. ЗАХАРЬИНУ

15 января 1885.

Добрый друг Александр Васильевич,

Посылаю Вам статейку, совершенно ничтожную, но именно по своей ничтожности удобную для начала моего участия в каком-нибудь издании.

Это перевод статьи «Столетие газеты Times», помещенной в английском журнале Nineteenth Century. В конце прибавлено несколько строк, таких же ничтожных, как и сама статья, переведенная мною.

Перевод сделан верно: я не позволял себе изменять мыслей автора. Я старался сделать его статью менее утомительною и более ясною для русского читателя, чем была б она, если б я переводил все сплошь и без всяких пояснений. На третью долю статья сократилась в переводе выбрасыванием из нее скучных мелочей; а взамен того прибавлены к упоминаемым в статье мало известным именам и фактам пояснения, дающие русскому читателю понимать, о ком или о чем идет речь у автора.

Для журнала статейка едва ли годится: она слишком ничтожна. Для газеты — годятся и такие пустяки.

Но само собою разумеется, я нимало не буду в претензии, если не найдется ни у какой газеты охоты напечатать посылаемую теперь мною Вам статью: я сам говорю, что она ничтожна.

Будьте здоров, добрый друг.

Ольга Сократовна посылает поклон Елене Васильевне и Вам и целует Ваших детей.

Прошу Вас засвидетельствовать мое глубокое уважение Елене Васильевне.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский.*

922

А. Н. ПЫПИНУ

20 января 1885. Астрахань.

Милый Сашенька,

Все, что ты говоришь мне в письме от 10 января, совершенно согласно с моими мыслями.

Я не умел хорошенько изложить соображения, по которым не хотелось бы мне (на первый раз только) писать о русской литературе и, казалось бы (на первый раз), удобнее брать темы, чуждые спорам, идущим в ней. Мои объяснения этих мотивов были сбивчивы и даже, проще сказать, нелепы. Тем приятнее мне было видеть, что ты все-таки сумел рассудить, в чем сущность моих мыслей об этом вопросе.

Само собою разумеется, я вовсе непрочь писать о русской литературе; думаю только, что для начала удобнее мне будет брать предметами разборов темы, как ты прекрасно называешь их, отвлеченные.

Ты говоришь, что удобнее всего писать такие статьи по поводу новых книг. Так и мне казалось. Ты говоришь, чтоб я написал тебе, какие именно из новых книг желал бы я иметь для того, чтобы писать о них. Мне трудно делать выбор; отчасти потому, что я лишь с недавнего времени стал иметь в руках иностранные журналы, — следовательно, сведения мои о новых книгах еще очень скудны; но главнейшим образом потому, что я не имею уверенности, нравился ль бы мой выбор журналу, для которого желал бы я писать. При более близком знакомстве с характером моих работ доверие к моему выбору тем может установиться; но теперь, если я не ошибаюсь, у русских литераторов мнение о моих мыслях не очень выгодное; это у литераторов вообще; и в частности, вероятно, с особенною силою это так у тех журналистов, с которыми нравилось бы мне иметь дело. Я полагаю, что я не нравлюсь этим журналистам. Если я ошибаюсь, тем лучше, разумеется. Но пока я думаю так, мне должно казаться, что выбираемые мною для статей темы будут представляться им непригодными для их журнала. Потому я предпочитал бы (на первый раз) писать на темы не по моему собственному, а по их выбору. После у журналистов может исчезнуть недоверие ко мне. Тогда я не буду затрудняться выбором книг, о которых писать. Но теперь я просил бы присылать мне такие книги, которые были бы выбраны для того, чтоб я написал статью о них. Это было бы вернее, чем то, чтоб я сам делал выбор.

Но на всякий случай прилагаю листок с заглавиями нескольких книг. Не считаю ни одной из них особенно достойною того, чтобы писать статью по ней. Но, быть может, какая-нибудь из них и понравится журналистам, для которых желал бы я писать. (Лично для меня не нужна ни одна из них; если пригодится статья о какой-нибудь, пришли; не нужно статьи, то не нужно и книги.)

Из немногих объявлений, какие есть у меня, я выбрал наименее непригодные книги. Больше мне не из чего было выбирать. — Иное дело, когда будет доверие к моему выбору. Тогда, разумеется, я найду и без каталогов, о каких книгах писать; тогда и попрошу о присылке их мне.

Повторяю: я просил бы не предоставлять (на первый раз) выбора мне, а просто заказать мне работу.

Ты хочешь прислать мне какую-то философско-историческую книгу. Очень рад, и благодарю. Думаю, что, как получу ее, примюсь писать о ней. И если бы ты после написал мне, что статья о ней не нужна или не понравилась, я не был бы ни сколько в претензии. Видишь ли, мой милый, у меня были кое-какие мысли о том, как и что я буду писать. Весною я еще держался за них. Но пора ж было увидеть то, что следовало понимать и прошлою зимою, не только весною: эти мысли неосуществимы. А я держался их не только весною, и летом. Не нравилось бросать их. Теперь бросил. Потому жду, к какой работе найдут меня пригодным журналисты.

Благодарю тебя за то, что ты делаешь для нас.

Саше пишу, чтоб он лечился. Пишу в том тоне, как ты советуешь. — Впрочем, с того времени как медики разъяснили мне состояние его здоровья, я увидел, что был несправедлив, досадуя на его чудачества.

Ольга Сократовна целует Юлию Петровну и ваших детей. Шлет поклон тебе.

Целую Юленьку и всех ваших.

Жму твою руку. Будь здоров. Твой Н. Ч.

Р. S. Пожалуйста, не думай, что я хочу иметь ответ от тебя на каждое мое письмо или обвиняю тебя, если ты не отвечаешь тотчас же. Милый мой, разве годилось бы мне забывать, что ты имеешь меньше досуга, нежели хотелось бы тебе и было бы для тебя полезно? — Мысли о твоём здоровье иногда порядочно-таки тревожат меня. Давай себе побольше отдыха.

Сейчас получил январск[ую] книжку *Fortnightly Review*. Благодарю за этот журнал. Раньше я уж стал получать *Nineteenth Century* и *Academy*. Благодаю за них.

[Приложение к письму от 20 янв. 1885 г.]

Книги, о которых я спрашиваю, — не годится ль которая-нибудь из них для того, чтобы написать статью о ней.

(Делаю выбор из объявлений, приложенных к *Unsere Zeit* 1884, № 12.)

Korea. Von Oppert (Brockhaus, illustr. Katalog, стр. 39), цена 9 марок 50 пфен.

Книга Опперта — единственное дельное сочинение о Корее, какое было до конца прошлого года.

Теперь много толкуют о Корее.

Но спрашиваю: стоит ли писать статью о ней?

Quer durch Chryse (Chryse — Индо-Китай, или Заганский полуостров). Von Archibald R. Colquhoun (ibidem).

Рекомендации этой книги попадались мне; но не могу судить по ним, важна ли она, или пуста. По поводу тонкинских приключений французов, Индо-Китай в моде.

Но опять: годилась бы статья о нем?

Цена книги довольно велика: 27 марок 50 пфен.

Meine Mission nach Abessinien. Von Gerhard Rohlfs (ibid., стр. 45). Цена 16 марок.

Рольфс — знаменитость. Но стоит ли писать об Абиссинии?

Rogge, Walter, Österreich von Vilagos etc (ibid., стран. 49), том III. Der Kampf mit dem Föderalismus. 8 марок.

По первым двум томам этой книги — или даже по одному первому — был написан ряд статей об истории Австрии.

Продолжение того же сочинения под новым заглавием: Österreich seit der Katastrophe Hohenwart-Beust.

2 тома (ibid.) цена 16 марок.

Стоит ли писать статью об истории Австрии за последние годы? — Между прочим, лично обо мне не мешает знать, что у меня нет вражды к Австрии.

Недавно вышли последние томы бумаг Меттерниха и записок его жены: Aus Metternich's nachgelassenen Papieren. Томы 6 и 7.

Цены не знаю.

Об этом издании были статьи — по всем ли томам, или только по первым, не помню.

Если о последних томах еще не было в тех статьях, то стоит ли писать?

923

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

20 января 1885. Астрахань.

Милый друг Саша,

Благодарю тебя за письмо, которое отправлено тобою около 8 января. Твое стихотворение, помещенное в нем, понравилось мне.

И в признательность за похвалу ему, сделай, мой дружок, приятное мне. — Я сильно беспокоюсь о твоём здоровье. Расстройство его кажется мне требующим правильного лечения. Ты, быть может, думаешь, что для его восстановления достаточно будет отдых. Я не разделяю этого мнения. Если ты считаешь мои опасения напрасными — все равно, исполни мою просьбу: полейись хорошенько; потерпи скуку лечения, чтоб исполнить мою просьбу; хоть только для этого.

Пожалуйста, мой друг.

Жили мы с тобою вместе больше полгода, — и не сумел я во столько времени примениться к твоему характеру; плохо это

было с моей стороны. По крайней мере теперь желал бы я не подавать тебе поводов к огорчениям. Прошу тебя, не прими за досаду себе мою просьбу о том, чтобы ты лечился. Медики, с которыми случалось мне говорить о тебе, — медики, знавшие тебя, это разумеется, — имели положительную уверенность, что твой организм, от природы очень крепкий, сильно пострадал от тяжелых испытаний, которым подвергала тебя жизнь, и что тебе необходимо лечиться. Прошу тебя, позаботься лечиться.

Мы здесь живем так, что ровно нечего писать о нас. — Об одной из девушек, которые кажутся хорошими мне и казались тебе, о Федосье Мелькумовне Мелькумовой — сообщу тебе новость, устроенную для нее верностью ее папеньки и маменьки доброму обычаю национальности их: явился неизвестный — буквально: неизвестный (приезжий) — молодой человек и попросил у ее папеньки и маменьки ее руку; они в тот же миг согласились; произведено было обручение; через полторы недели после того должна была быть свадьба; но — на другой день после обручения пришел священник и сказал: «Я собрал справки об этом человеке; он негодяй». Папенька невесты побежал сам повторить справки; — «да, так; это негодяй», — сказали и ему спрашиваемые. Нечего делать, папенька и маменька отказали жениху. Бедняжка невеста обрадовалась: ей не нравился жених; но она молча подчинилась согласию отца и матери на его предложение; лишь когда отказали ему, она созналась, что он ей не нравился.

«Да что за глупость отдавать дочь незнакомому человеку», — высказывал я свое мнение знакомым армянам и армянкам. — «О нет, это по-нашему так делается», — отвечали они.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку.
Твой Н. Ч.

Твоя маменька целует тебя.

924

А. В. ЗАХАРЬИНУ

23 января 1885. Астрахань.

Добрый друг Александр Васильевич,

Посылаю Вам статейку о бассейне реки Конго, такую же ничтожную, как посланная неделю тому назад статейка «Столетие газеты Times», и по своей ничтожности, вероятно, также не заслуживающую приема ни в какое издание.

Этими двумя статейками я только хочу испытать, могу ли получать деньги посредством такой пустой работы. Если она никому не нужна — как я и сам думаю — то, значит, необходимо мне для зарабатывания средств для жизни писать вещи, менее нич-

тожные. Это и может служить оправданием мне, если я принужден буду посылать Вам не переводы, которыми на первое время рад был бы заниматься исключительно, а какие-нибудь статьи или рассказы, принадлежащие мне самому. Я желал бы, как видите, чтобы мое участие в литературе было нисколько не заслуживающим внимания публики, было лишь работою для возможности жить мне.

Ольга Сократовна шлет дружеское приветствие Елене Васильевне и Вам и целует Ваших детей.

Посылаю мой усердный поклон Елене Васильевне. Жму Вашу руку. Ваш Н. Чернышевский.

925

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

27 января 1885. Астрахань.

Милый друг Сашенька,

Благодарю тебя за письмо, в котором ты поделился со мною несколькими новыми твоими пьесами. Я промедлил чуть ли не целую неделю отвечать на него, дожидаясь, не поправится ли здоровье твоей маменьки: мне хотелось, чтобы написала тебе и она. Но зима не дает ей оправиться. Большую часть времени она не встает с постели; чувствует себя так тяжело, что редкую ночь может уснуть хорошо; вот и в нынешнюю ночь, например, мучилась без сна; вздремнула лишь часа на полтора, когда уж началось утро. Быть может, когда минуют морозы, ее здоровье оправится хоть немножко.

Возвращаясь в Россию, я надеялся стать полезным для твоей маменьки и для тебя, для Миши. До сих пор не сумел сделать ничего полезного — ей ли, тебе ли, Мише ли. Долго было мне тяжело выносить чувство моей бесполезности для вас. Теперь привык видеть себя все продолжающим и продолжающим оставаться без возможности сделать что-нибудь для вас. Не скажу, что привычка превратила прежнее горькое чувство бесполезности моей для вас в совершенное равнодушие к мыслям о настоящем и будущем вашем. Но — начинаю лучше прежнего выносить мысли эти, и бывшие еще не очень приятными мне, когда ты видел меня. Вероятно, ты имел бы теперь меньше причин к справедливому недовольству моим характером: он как будто немножко исправился.

И перехожу к ответу на твои мысли о тебе самом.

Я остаюсь при мнении, что у тебя есть поэтический талант. Будет ли развиваться твоя поэтическая деятельность — это, по всей вероятности, зависит от того, сложатся ли твои житейские обстоятельства благоприятно для тебя. Будешь здоров, будешь доволен реальною твоею жизнью — то поэтическая твоя деятель-

ность получит более соответствующее твоим и моим желаниям относительно ее, более замечаемое публикою значение.

Быть может, есть люди, таланты которых не страдают от неудовлетворительности их житейских обстоятельств. Но я расположен думать, что для человека во всех отношениях полезно, когда ему не совсем дурно живется на свете. И полагаю, что если поэты, угнетаемые жизнью, выказывали себя людьми с поэтическими талантами, то все-таки их деятельность выиграла бы от улучшения их житейских отношений.

Ты совершенно справедливо говоришь, что для поэта «нужна некоторая уверенность в своих силах; без нее никак не займешься порядком». Разделяя это твое мнение, я думаю, что когда чувство здоровья и хорошая обстановка жизни дадут тебе спокойную уверенность в твоих силах, это самым благоприятным образом проявится и в развитии твоей поэтической деятельности.

Поговорим теперь о пьесах, присланных тобою мне.

Первая из них:

«Войдя к нему, она сказала».

Грустные мысли навеивает на меня это милое, глубоко прочувствованное стихотворение. Когда у тебя будут порождаемы жизнью пьесы менее грустные, тебе легче будет не только жить, но и приобрести справедливо кажущуюся тебе необходимой для поэта уверенность в своих силах. Подавляющие жизнь житейские обстоятельства угнетают и поэтическую деятельность. Страдания, не сменяемые ничем, кроме новых страданий, — тяжело это и для поэта, как для человека.

У тебя есть два варианта последних стихов этой пьесы: в одном варианте — «он видит», что «у нее на глазах блестят слезы о нем». Ты предпочитаешь этот вариант второму, в котором говорится, что «ее взгляд прекраснее солнца». По-моему, ты прав. В первом варианте более глубокое поэтическое содержание, чем во втором. — «Но, — говоришь ты, — быть может, несколько неясно, с какой стати она отравила, когда ей жаль его»; — если пьеса остается одинокою, то, быть может, и надобно сказать, что это не совсем ясно. Но я полагаю, что в ряду пьес, имеющих более или менее тесную связь между собою, эта пьеса с предпочитаемым и мною, как тобою, вариантом обладает достаточною ясностью.

Вторая пьеса («Тихо так в комнате было») — «гораздо утешительнее», — говоришь ты. Да. И мне отрадно думать, что у тебя бывают и светлые настроения чувства. — В этой пьесе есть цитата из Гейне. Я все вооружался против Гейне в разговорах с тобою. Но я был через меру увлекаем желанием говорить о том, чего не доставало этому человеку с большим талантом. Мне жаль, что недостатки его характера помешали ему подняться в своей поэтической деятельности до высоты, какой достигла бы поэзия человека, обладающего, при таком таланте, большею си-

люю характера. А помимо этого сожаления о Гейне, я люблю его поэзию.

И эта вторая пьеса, по-моему, хороша как первая. Хороша, по-моему, и третья (последняя в этом твоём письме) — «Долго шел он...» Утомленный путник отвечает четырьмя строфами; и ты спрашиваешь, разделяю ли я твоё мнение, что, быть может, «ему лучше отвечать одною последнею», — вероятно, ты и в этом прав.

Вообще, мой милый, я в очень многих случаях нахожу твои мнения верными. И, быть может, если бы ты видел меня менее неспособным делать что-нибудь для пользы твоей маменьки, твоей пользы и пользы Миши, тебе меньше было бы огорчений от разговоров со мною. Осуждаю себя за то, что не умел держать себя с тобою, как было бы лучше. Но, быть может, твоя жизнь сложится так, что разговоры с тобою будут приятными нам обоим. Когда она сложится хорошо для тебя, одна из главных причин проявления дурных сторон моего характера исчезнет, и тогда, быть может, нам с тобою удастся пожить вместе более приятно для тебя, чем прежде.

Был бы я и теперь несколько менее недоволен собою, если бы зима здесь не была в нынешний сезон слишком обильна холодом и пронзительным ветром. Прямо на меня самого это не действует. Но здоровье твоей маменьки сильно страдает от малейшей стужи, от каждого, даже и слабого, ветра при холоде. И слишком много этого приходится ей испытывать в нынешнюю зиму. А я не имею возможности устроить нашу жизнь так, чтобы здоровье твоей маменьки менее страдало. Это очень неприятно.

Прошу тебя, мой милый друг, присылай мне все новые твои пьесы.

Твоя маменька целует тебя.

Будь здоров, мой милый друг. Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

926

А. Н. ПЫПИНУ

29 января 1885. Астрахань.

Милый друг Сашенька,

Мы получили деньги, посланные тобою через Мишу. Благодарим тебя за них.

Ты спрашиваешь, получаю ли я иностранные журналы. Получаю.

Academy
Nineteenth Century
Fortnightly Review

Читаю их от первого объявления до последнего — все, все сплошь. Поэтому начинает у меня образ[вы]ваться некоторое — пока еще очень скудное — знакомство с нынешнею английскою журналистикою. Получаю также

Unsere Zeit,

которого довольно по части знакомства с немецкою журналистикою. По французской журналистике здесь получается

Revue des deux Mondes;

осенью я прочел (тоже все сплошь) этот журнал за последние семь лет — до сентября прошлого года; на-днях возьму полученные после того книжки. — Таким образом, могу сказать, что имею достаточное по моим нынешним надобностям количество иностранных журналов. Если бы пришлось мне получить занятия в газетах, то, разумеется, понадобились бы кое-какие газеты, английские и французские. Но пока таких занятий нет, нет и этой надобности.

Не выберу ль я каких-нибудь книг для того, чтобы написать статьи о них? — спрашиваешь ты.

В письме к тебе, отправленном на-днях, я привел заглавия трех или четырех немецких книг, спрашивая о каждой, не годится ль она послужить материалом для статьи, и о каждой выражая предположение, что едва ли она пригодна. Но если которая-нибудь из них достаточно интересна для журнала — что ж, тем лучше. О каждой из них я написал бы статью очень охотно.

Прибавляю теперь три заглавия английских книг. *Episodes of my second Life, by Gallenga*, 2 тома, цена 28 шиллингов. Издатель: *Charman and Hall*. Это исторические, отчасти и просто автобиографические воспоминания очень умного и даровитого журналиста, корреспонденции которого в *Times'e* я читывал когда-то: они были очень дельные и превосходно написанные. — Вполне верю отзыву *Academy*, что книга очень интересна. Но надобно принять в расчет и то, что это лишь «личные воспоминания» о событиях и людях, то есть лишь отрывочки. Галенга рассказывает об Италии в 1848—1861 годах, о Крымской войне и т. д., он близко знал почти всех европейских важных людей 1848—1870 годов.

Leaves from a Prison Diary, by M. Davitt 2 тома, цена 21 шилл. Издатели — та же фирма *Charman and Hall*.

Davitt — второе после *Парнелля* по важности лицо в национальном ирландском движении. — Был в тюрьме по прежнему участию в ирландс. делах. — Само собою разумеется, он не имеет ничего общего с такими эксцентриками, как *Фени* или *О'Донован Росс*. Но я не слишком-то восхищаюсь и *Парнеллем*, который все-таки рассудительнее *Davitt'a*. Дело, однако, не в ирландских подвигах *Давитта*, а в его знакомствах с обыкновенными жителями английских тюрем: ворами и т. д. Кажется, что

он рассказывает много интересного об этих своих знакомцах. Я полагаю, что политическая часть его Diary не любопытна, но нравоописательная, психологическая хороша.

The Life and Speeches of John Bright, by Barnett Smith, 7 shill. 6 pence, Hodder and Strughton.

Этою книгою положительно следовало бы воспользоваться для статьи, — если уж не переведена на русский книга о жизни Брайта, вышедшая несколько лет тому назад; кажется, было переведено что-то такое? — или его биография, или собрание его речей — да? Если да, то не была ль бы лишнею статья об этой новой книге?

Будь здоров, мой милый.

Оленька и я шлем свои поклоны Юленьке и целуем ваших детей.

Жму твою руку.

Твой Н. Ч.

P. S. За книги, которые ты посылаешь мне, благодарю и рад писать статьи о них.

927

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 29 января 1885.

Милый друг Миша,

Жаль, что все вы не совсем-то здоровы. Болезнь Александра Васильевича, если судить по тем чертам, какими ты характеризуюешь ее, представляется даже не только тяжелою, но и опасною. К тому времени, когда может вернуться от тебя ответ мне на это письмо, мы, вероятно, уж будем иметь твои письма, посланные до получения нынешнего моего, и, быть может, ты в них уж сообщишь нам известия о ходе болезни Александра Васильевича. А если ты не напишешь раньше, то в ответе на это письмо напиши, какой оборот приняла болезнь Ал[ександра] В[асильевича]. Я очень заинтересован состоянием его здоровья.

Целую вас всех. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

928

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 14 февраля 1885.

Милый друг Миша,

Твоя маменька и я, мы очень рады, что ты получил обещанное тебе занятие, которым доставлена тебе возможность выказать себя способным к исполнению более важных поручений. Судя по всему, надобно думать, что распорядители железнодорож-

ного и нефтяного дела, давшие тебе работу для испытания твоих сил, имеют искреннее желание быть полезными для тебя; разумеется, под условием иметь в тебе усердного помощника. При огромности предприятий, которые ведут они, тебе предстоит очень хорошая денежная карьера, если ты окажешься дельным работником. Без сомнения, все твои силы посвящены теперь исполнению обязанностей, возложенных на тебя распорядителями дела, которому начинаешь ты служить; и если подвертываются тебе какие-нибудь другие работы, вроде поручения написать брошюру или статью о Гоголе, то, по всей вероятности, ты употребляешь на эти сравнительно ничтожные (в денежном отношении) занятия лишь те урывки времени, которые остаются у тебя праздными по исполнении работ, поручаемых тебе распорядителями предприятий, обеспечивающих благосостояние занимающимся при них.

Впрочем, почему ж не употреблять досуга и на литературные занятия, какие подвертываются? — Ты спрашиваешь, не помнится ль мне каких-нибудь, могущих быть полезными для твоей литературной работы, материалов для биографии Гоголя и для оценки значения его произведений, — разумеется, материалов не общеизвестных. Нет, мой друг, не помню теперь о Гоголе ничего, кроме известного и тебе не хуже, чем мне. И своеобразных понятий о произведениях Гоголя у меня нет: мне кажутся справедливыми общепринятые мысли о его значении. Очень основательно и вполне, на мой взгляд, верно оценивает его роль в развитии русской литературы твой дядя, Александр Николаевич, — эти статьи, конечно, под рукою у тебя? В двух или трех местах находят там заметки, имеющие целью раскрытие ошибок в том, что случилось мне писать о Гоголе; я совершенно согласен с этими поправками моих прежних ошибочных суждений. Вообще понятия твоего дяди о русской литературе кажутся мне правильными; о том, что он превосходно изучил факты и обладает громадными библиографическими сведениями, нечего и говорить. Посоветуйся относительно Гоголя с ним.

Будь здоров. Целую тебя. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

Желаю доброго здоровья Елене Матвеевне и жму ей руку. Твоя маменька так любит ее, что не могу не иметь и я сильного расположения к ней.

929

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 18 февраля 1885.

Милый друг Сашенька,

Благодарю тебя за то, что ты исполнил мою просьбу посоветоваться с медиком. Результаты его исследования успокаивают

меня за твое здоровье. Правда, он нашел, что тебе надобно соблюдать правила осторожности, излишние для людей вполне здоровых. Но он сказал тебе, что это необходимо лишь на время, довольно непродолжительное. Итак, через несколько времени твое здоровье совершенно окрепнет, по мнению медика, с которым ты советовался. Это прекрасно. Снова благодарю тебя за исполнение моей просьбы.

Теперь займемся рассуждениями о поэзии. Ты справедливо полагал, что относительно «стихотворений в прозе» я буду иметь мысли, неодинаковые с твоими, а в остальном мы окажемся согласными. Сначала о том, в чем мое мнение не сходится с твоим.

Возражение против «стихотворений в прозе» можно формулировать менее субъективным способом, чем тот, в каком ты делаешь его себе сам (и опровергаешь). Ты говоришь: «я знаю, что против этой формы можно сказать: тебе лень дать форму стихов этим вещам». — Нет, возражаешь ты: «Они кажутся мне лучшими в прозаической форме, потому что они в ней прямой, точный слепок моей мысли и моего чувства в ту минуту, как я писал их»; — но не значит ли это, что они — слепок с мысли, еще не выработавшейся, с чувства, еще не получившего формы, соответствующей ему? — Не только лирический порыв важен; важно и то, чтоб он нашел себе удовлетворительное выражение; в этом и разница между чувствами массы людей и произведениями поэтов: думается, чувствуется человеку без поэтического дарования то самое, что выскажет поэт, только форма не дается не-поэту. — Яснее этого в искусствах, имеющих специальный технический материал, который вовсе не принадлежит к привычным для всех, как прозаическая речь, средствам удовлетворения житейских надобностей, — например, в живописи, в скульптуре. — Картины и статуи могут мечтаться очень хорошие и людям, не умеющим рисовать и действовать скульптурным резцом или мять глину. Пусть же не умеющий рисовать выучится рисовать, если создаваемые его воображением картины кажутся ему заслуживающими того, чтобы поделиться ими с публикою; пока не выучится рисовать, пусть оставляет у себя в бюро те испорченные карандашом лоскуты бумаги, на которых не нашли еще выражения себе его умственные картины. И Рафаэль разве не вырабатывал и в голове и на перечеркиваемых, перерисовываемых картонах те фрески, которыми покрывал свежую штукатурку, уж не допускающую поправок? Не сразу и ему удавалось найти хорошее выражение своей идее. — «Прямой, точный слепок» с невыработавшейся мысли, с ненашедшего себе выражения чувства — вещь объективно плохая, независимо от субъективной причины своего происхождения: поленился ль автор работать или отказался от работы по пристрастию к плохому эскизу — эскиз все-таки будет плох. — Лирические места в прозаической

форме могут быть прекрасною поэзиею в большом прозаическом произведении (романе, повести, драме), потому что общий тон речи автора не лирический, а повествовательный или разговорный, и лиризм отбрасывает свою ритмическую форму, покоряясь владычеству над целым произведением тону речи; но зато он и перестает в расплывчатых формах прозы быть самостоятельным фактором: он лишь слуга эпосу или драме, и ничего цельного не дает, дает лишь лоскутки для эпического или драматического целого. — Пусть русскому поэту понравилось лирическое место в романе Жорж Занда; пусть он захочет передать одно это место русской публике, обратить его из лоскутка в особое целое: он должен будет перевести эти строки французской прозы не прозою, а стихами; и при переложении увидит надобность переделать начало, переделать конец, вероятно изменит кое-что и в середине. А если он переведет это место прозою и напечатает его в виде самостоятельного целого, он даст русской публике не вещь, которая достойна восхищения, а оторванный от целого и потерявший свое достоинство лоскуток. — Я это говорю к тому, что у нас вздумали хвалить «Стихотворения в прозе» Тургенева. Похвалы им — «пленной мысли раздраженье», — мысли, пленной раболепством к таланту Тургенева. Так немцы восхищались всякими пустяками, какие печатал Гете. Ни одно из тургеневских «Стихотворений в прозе» не стоило бы того, чтобы быть напечатанным. Итак, принимай мои заметки за оценку «Стихотворений в прозе» Тургенева. Похоже ль на них то, что пишешь ты под таким же названием, — не могу угадывать. Но думаю, что твои лирические вещи в прозе выиграли бы, если б ты нашел удобным или сделать из них ряд лирических мест в прозаическом рассказе, — то есть, проще говоря: написать повесть, пользуясь ими, как материалами для нее, и, разумеется, переделывая их при введении в рассказ, — или подождать, пока возникнет из черновых заметок что-нибудь, имеющее стихотворную форму.

Понятно: не зная, что такое эти твои «Стихотворения в прозе», я даю совет слишком наугад. Быть может, они хороши в прозаической форме. Я не считаю невозможным писать хорошие лирические пьески в прозе; думаю только, что стихотворная форма удобнее для чистого лиризма.

Относительно всего остального и в этом твоём письме, и в следующем я совершенно согласен с тобою. Пьеса «Идеалист и его приятель» нравится мне.

Письмо Сусанне Богдановне отнесу ей, если не зайдет она сама. Ты хорошо сделал, что написал ей: она будет от души рада.

Твое письмо к твоей мамаше прекрасно. Она все еще не может собраться писать тебе, потому что ее здоровье все еще слишком плохо; вот на-днях она пролежала в постели целую неделю.

Наступит теплое время, тогда она, вероятно, поправится и на душе у нее будет легче. — Она отлагает писать тебе до той поры, когда поправится. Не досадуй на это. Она целует тебя.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку.
Твой Н. Ч.

930

А. В. ЗАХАРЬИНУ

19 февраля 1885.

Добрый друг Александр Васильевич,

Не знаю, как и благодарить Вас за Вашу заботливость о моих денежных делах. Без Вас долго пришлось бы мне оставаться не имеющим возможности зарабатывать себе хлеб. Теперь Вы доставили мне эту возможность.

Те две переводные статейки, о которых Вы хлопотали, обе так ничтожны, что Сашенька и Стасюлевич были бы правы, если бы не согласились принять их в «Вестник Европы». Они согласились только по уважению к Вам. Я полагал, что эти статейки годятся разве в фельетон какой-нибудь плохонькой газеты; я хотел показать ими, какие ничтожные вещи стал бы я писать для куска хлеба, если бы не годилось мне на первое время писать ничего, кроме совершенно ничтожного. Я и теперь рад бы заниматься исключительно переводами. Но переводов нет, да и не проживешь вознаграждением за них, когда они будут. Только поэтому буду писать что-нибудь свое.

У меня готовится несколько статей ученого содержания и две-три большие повести; начал я писать и кое-какие мелкие рассказы. Все это, разумеется, имеет совершенно невинный характер. — До получения Вашего письма от 9 февраля я вел эти работы подряд, не умея решить, какие из них могут быть более по вкусу Сашеньки и Стасюлевича. — Из Вашего письма вижу, что мои философские статьи не годятся для «Вестника Европы». Я нимало не в претензии. Я не принадлежу к школе, в духе которой пишет философ «Вестника Европы», Кавелин; быть может, в моей статейке, принять которую отказался Стасюлевич, есть что-нибудь слишком ясно несообразное с какими-нибудь мыслями Кавелина (статьи которого никогда не были читаемы мною); в таком случае Стасюлевичу было действительно неудобно принять мою статью. Или проще: она показалась ему написанною плохо, — и за такую причину отказа я не в претензии. Вообще я не расположен обижаться неблагоприятными для меня суждениями; в этом я не похож на большинство литераторов. Итак, важно лишь то, что я увидел: надобно попробовать, не будут ли мои повести менее неприятны Стасюлевичу, нежели мои ученые статьи. Как получил (вчера) Ваше письмо, отложил статью, над которой работал в эти дни, и принялся дописывать малень-

кую группу коротеньких рассказцев, которую можно довести до конца скорее, нежели какую-нибудь из больших повестей. Дня через четыре кончу эту небольшую работу и отправлю ее Вам.

Добрый друг, будьте уверены в одном: мое полное согласие с Вашими соображениями о моих литературных работах — вопрос, решенный для меня раз навсегда, и я никогда не буду иметь ничего иного, кроме одобрения всему тому, что найдете Вы наилучшим сделать с моими статьями или рассказами.

Благодарю Вас за Ваши заботы обо мне.

Ольга Сократовна шлет дружеские приветствия Вам и Елене Васильевне и целует Ваших детей.

Ваша болезнь была, разумеется, очень большою тревогою мне. Мы знали от Миши, что Вы были больны тяжело; и, сколько я мог понять медицинские термины, болезнь Ваша представлялась мне мало того, что тяжелою, но и опасною. Очень, очень обрадовались Ольга Сократовна и я, получив Ваше письмо, один взгляд на которое уж дал нам понять: Вы выздоравливаете.

Выздоровливайте же скорее и вполне.

Жму Вашу руку. Ваш Н. Ч.

931

А. Н. ПЫПИНУ

26 февраля 1885. Астрахань.

Милый Сашенька,

Я получил вчера три первые тома книги Рогге. Совершенно согласен с тобою, что «внимание надобно обратить особенно на новейшую историю», «по томам» недавно вышедшим, которые ты выписал и пришлешь мне, «а промежуточное время, с 1859, рассказать вкратце», и что статья должна иметь не слишком большой размер, не превышать 4 листов. Так и сделаю. Ту часть статьи, которую напишу по высланным томам, отправлю через две недели. Буду ждать следующих томов и Life of Bright. — Я сам находил, что эти две книги интереснее других, о которых я упоминал. Те статьи журнала, о которых ты полагаешь, что они кажутся мне сообразными с правдою, действительно сообразны с нею, по моему мнению, так что я не расхожусь в своих понятиях с мыслями, выражаемыми в них.

Благодарю тебя, мой друг, за заботы обо мне.

Целую тебя и твоих. Оленька целует ваших детей и шлет поклон Юлии Петровне и тебе. Будь здоров. Твой Н. Ч.

932

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 3 марта 1885.

Милый Сашенька,

Благодарим тебя за деньги (200 р.), которые ты прислал нам при письме от 21 февраля.

Пишу статью по 2 и 3 томам книги Рогге. Она будет невелика; листа полтора, вероятно. Кончу через неделю.

Жду следующих томов Рогге и Life of Bright.

Не постигаю, как будет итти жизнь моих возлюбленных сыночков: до 50 или до 60 лет будут они оставаться младенцами?

Оленьке опять нездоровится. Ей надо было бы вести образ жизни менее унылый, чем нынешний; по целым неделям сидит она одна, не имея с кем, кроме меня, обменяться словом. Но как устроить, чтобы ей было полегче жить, не умею придумать.

Она шлет свои приветы тебе и Юленьке, целует ваших детей. Тоже и я целую их и Юленьку. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

933

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 3 марта 1885.

Милый друг Мишенька,

Мы получили твое письмо от 21 февраля и приложенные к нему деньги. Твоя маменька лежит в постели (вот уж пятый день). Потому вместо нее отвечаю я.

Она рада, что вам понравились посланные ею вещи.

Я думаю, разумеется, не о том, понравились ли они вам. Мне кажется, что твои денежные дела идут не слишком удовлетворительно. Как помочь этому, не могу придумать, — вот это один из главных мотивов моего нерасположения писать тебе часто: хотелось бы сделать что-нибудь для тебя, а приходится говорить только о своем бессилии быть полезным для тебя; тяжело писать такие письма.

Но когда-нибудь поправятся ж наши денежные дела.

Твоя маменька целует тебя и Леночку.

Я кланяюсь ей. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

P. S. Твоя маменька получила письмо Леночки от 20 февраля и благодарит ее за него.

Прилагаю письмо к твоему дяденьке Александру Николаевичу.

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 5 марта 1885.

Милый друг Саша,

Поздравляю тебя с днем твоего праздника.

Благодарю тебя за письмо, в котором ты сообщаешь мне некоторые из твоих новых стихотворений. Скажу тебе свои мысли о них; но прежде, чем о них, поговорю о прозаическом известии, которым заканчиваешь ты свое письмо.

«Жизнь моя во внешнем отношении идет очень порядочно», — говоришь ты. Эти немногие слова для меня важнее всего остального в твоём письме. Расскажи мне побольше о том, как живешь ты и какие надежды или желания относительно будущего имеешь ты. Мне кажется, что когда твоя материальная жизнь устроится прочно и хорошо, это благоприятным образом повлияет и на деятельность идеальных влечений твоей природы.

И займусь теперь литературными рассуждениями.

Начну с того из твоих маленьких «стихотворений в прозе», которое сообщил ты мне. Судя по этому образцу, я полагаю, что их справедливее назвать другим именем, которое и тебе самому кажется точнее характеризующим их. Это не какие-нибудь выработанные пьесы прозаической лирики, а лишь «темы», из которых могут быть выработаны лирические пьесы; это материалы, которые автор вносит в свои черновые тетради, чтобы когда придет охота заняться ими повнимательнее, то и попробовать, не окажется ли та или другая из этих тем способною прератиться в пьесу, соответствующую требованиям лирической поэзии. А в том виде, в каком записаны у него, эти «темы» не имеют формы, необходимой для произведений лирической поэзии. В половине прошлого века нравились прозаические «идиллии» Геснера. Но оправданием для прозаической формы этих лирических произведений служила длина их: то были вещи довольно большого объема, и благодаря тому они имели характер экзальтированных повестей. Свобода, которую приобретает автор длинного лирического рассказа, — свобода писать в прозе, то есть свобода избавить себя от труда, какого требует выработка стихотворной речи, — была бы просто-напросто пренебрежением к публике со стороны автора, пишущего вещи длиною лишь по нескольку строк. Не иметь досуга или охоты, или силы для долгой работы над усовершенствованием массивного произведения — что ж, публика может извинить это: избы строятся из едва обтесанных бревен. Но подавать публике щепку — это значит не уважать свой подарок ей. Щепка должна быть превращена заботливой резьбою в очень красивую вещичку правильных очертаний; только тогда она годится для подарка. — Но, оставляя

в стороне разницу объема Геснеровых идиллий в прозе от тургеневских «Стихотворений в прозе», надобно сказать, что этот вид лиризма слишком наивен для нашего времени. Даже «Новая Элоиза» Руссо, даже «Лелия» Жоржа Занда могут быть ныне читаемы без смеха лишь как исторические памятники давно минувших фазисов общественной жизни.

Итак, я согласен с тобою, что такие наброски, как:

«Ее покрывала легкая белая одежда» и проч., должны считаться лишь «темами», из которых могут выработываться «стихотворения», но сами по себе они лишь «темы», записываемые автором в черновых тетрадах, в которые заносит он всяческие заметки, могущие когда-нибудь пригодиться к чему-нибудь в качестве материалов для какого-нибудь произведения, которым когда-нибудь вздумается ему заняться серьезно и заботливо.

Те пьесы, которые поместил ты в своем письме, все нравятся мне. Скажу по несколько слов о каждой из них.

«Разговор взволнованного идеалиста с хладнокровным приятелем» имеет как будто значение апологии идеалиста. И если понимать эту пьесу в автобиографическом смысле, то можно думать, что ты интересуешься суждениями людей, порицающих идеалистическое пренебрежение к прозе жизни. Когда твоя жизнь устроится удовлетворительным образом, мысли подобного рода перестанут, вероятно, волновать тебя. Любительница поэзии балов и брильянтовых уборов перестает оправдывать свою склонность к ним, когда становится богата: все согласны тогда, что она имеет право наряжаться и разъезжать по балам.

«О, не верь фарисеям» — маленькая пьеса, и мысль ее совершенно справедлива.

Очень нравится мне и пьеса «Сияние ясного неба».

Но еще лучше, по моему мнению, пьеса «На теплом синем море», быть может, мой друг, ты уж имел бы известность как поэт, если бы ход твоей жизни не был до сих пор неблагоприятным для развития твоего таланта, — так думается мне при чтении тех твоих пьес, которые подобны по своему достоинству этой. Быть может, мой друг, когда твоя жизнь устроится так, что «хладнокровные приятели» перестанут порицать тебя, ты и приобретешь значение в русской поэзии.

«Валенты нет на свете» — очень милая пьеска.

Желаю тебе житейского успеха; и полагаю, что он поведет тебя к приобретению поэтической известности.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку.
Твой Н. Ч.

А. В. ЗАХАРЬИНУ

Астрахань. 7 марта 1885.

Добрый друг Александр Васильевич,

Я чрезвычайно благодарен Вам за все то, о чем сообщаете Вы мне в письме от 28 февраля из Москвы. Я не ожидал, что мои денежные дела могут быть устроены так превосходно; нечего и говорить о том, что сам я не сумел бы позаботиться о них так, как сумели Вы.

Это Ваше письмо я получил вчера, а ныне утром получил и первый том «Всеобщей истории» Вебера; и уж принялся за перевод его. — О К. Т. Солдатенкове я давно знаю, по знакомству с его издательскою деятельностью, как о человеке совершенно таком, каким нашли Вы его. Те условия, которые определили Вы с ним для меня по делу о переводе Вебера, были бы очень хороши, если бы были даже и гораздо менее щедры. Когда будете писать ему, передайте ему глубокую мою благодарность. Это большое пожертвование с его стороны, предоставление таких выгод мне от издания, которые как я сам вижу теперь, едва ли окупятся; я знаю, он человек богатый, но и для него такая затрата денег не может быть легка. Я очень благодарен ему.

Работать я могу много часов в день, не утомляясь. Потому надеюсь, что перевод Вебера пойдет у меня довольно быстро. Буду посылать на Ваше имя, пока Вы не уведомите меня, что могу посылать в Москву к Солдатенкову или в его контору.

Перевод Вебера — такое солидное денежное дело для меня, что всякие другие работы мои должны быть лишь отдыхом от этой. А если бы понадобилось по ходу издания, то я рад был бы работать исключительно над переводом Вебера.

Я еще не сделал точного расчета количества букв русского перевода сравнительно с количеством их в подлиннике; для этого нужно брать пробы из разных отделов текста, а я перевожу еще только первые страницы. Но, сколько вижу теперь, количество букв в русском переводе несколько меньше, чем в немецком тексте. Быть может, это делает русскую страницу присланного Вами формата равной странице немецкого подлинника. Но едва ли. По всей вероятности, число страниц в русском издании будет несколько больше, чем в подлиннике, формат которого велик. А в I томе подлинника $XXIV + 854 = 878$ страниц. Пишу это для типографских соображений.

Через несколько дней pošлю Вам для образца работы начало перевода. — Лишь бы был Солдатенков доволен мною; а я буду доволен им, это я знаю, и в этом можете Вы смело уверить его.

Ольга Сократовна посылает свои приветствия Елене Васильевне и Вам и целует Ваших детей.

Прошу Вас передать мое глубокое уважение Елене Васильевне.

Будьте здоров. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

936

А. В. ЗАХАРЬИНУ

21 марта 1885. Астрахань.

Добрый друг Александр Васильевич,

С этою почтою посылаю Вам начало перевода «Всеобщей истории» Вебера. Это первые 76 страниц подлинника. В русском наборе выйдет приблизительно столько же.

По расчету времени, сколько взяли эти 76 страниц, надо было полагать, что буду делать 11 или 11½ листов перевода в месяц. Но это лишь на первые месяцы, пока будет устанавливаться дело. После буду больше диктовать, нежели писать сам; тогда работа пойдет гораздо быстрее, если ход печатания будет требовать того. Диктуя, можно легко переводить по 25 листов в месяц.

У Вебера есть два предисловия (к 1-му и ко 2-му изданиям). Перевод их и предисловие к русскому переводу пришлю после.

Я получил все три Ваши письма из Москвы. О втором и третьем скажу то же, что написал по поводу первого: все, что Вы делали для меня, кажется мне превосходным.

Если Вы не напишете мне, чтоб я посылал следующие части перевода по срокам более долгим или менее продолжительным, то отправлю к Вам следующую часть рукописи приблизительно через месяц.

Ольга Сократовна посылает свои приветствия Елене Васильевне, Вам и Вашим детям.

Прошу передать Елене Васильевне выражение моего глубокого уважения.

Благодарю Вас, добрый друг, за Ваши заботы обо мне. Будьте здоров. Жму Вашу ручку. Ваш *Н. Чернышевский*.

937

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 26 марта 1885.

Милый Сашенька,

Благодарю за напечатание статейки о Times'e.

Я получил Life of Bright. В этой книге несравненно меньше материалов для биографии Брайта, нежели можно было предполагать. Это — выдержки из его речей, сопровождаемые вос-

хвалениями ему, но почти вовсе лишены объяснений хода дел, в которых участвовал Брайт. Впрочем, можно и по этой плохой компиляции, при помощи воспоминаний о читанном в старину, написать статью; и напишу; небольшую; много, если в 2¹/₂ листа. Но через месяц или полтора; не раньше месяца, никак.

Видишь ли, я хочу поскорее увидеть, что выйдет из дела, которое я начал: нашелся издатель для русского перевода Вебера. Ты все это знаешь, без сомнения. Как получил Вебера, я бросил все другое, чтобы без лишней проволоочки приготовить порядочный кусок перевода.

Потому лежит у меня без окончания и начатая была статья об Австрии по книге Рогге. Если уж выписаны последние два тома Рогге, то я докончу ее. А если нет, то без малейшего сожаления брошу начало, которое относится к слишком давнему времени, к 1860—1867 годам, потому само по себе едва ли годится журналу.

Мы были очень опечалены болезнью Юленьки. Но в последнем письме к Оленьке Верочка говорит, что болезнь уж проходит. Хорошо, что Верочка догадалась уведомить нас об этом.

Целую Юленьку и ваших детей.

Оленька шлет вам свои приветствия.

Будь здоров, мой милый друг. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

938

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 4 апреля 1885.

Милый друг Миша,

Мы получили 100 рублей, которые послал ты. Благодарю за них.

Раньше того я действительно получил 118 р. 50 коп., о которых ты предполагал, что они посланы мне.

Вчера я просил здешнего губернатора о том, чтобы мне разрешено было ехать вместе с твоею маменькою на Кавказские воды. Он сделает в пользу этой моей просьбы все, что возможно; в том нет сомнения. Он говорит со мною совершенно прямодушно. Разумеется, и я не говорил ему неправды. Например, не говорил, что поездка на Кавказ нужна для поправления моего здоровья; сказал, напротив, что я совершенно здоров и прошу разрешить мне поездку лишь потому, что она нужна для поправления здоровья твоей мамы, которая без меня не хочет ехать. — Письмо губернатора идет в Петербург с этой почтой. Не знаю, имеете ли вы с Сашею или кто из родных возможность справиться о том, как будет принято в Петербурге ходатайство губернатора. Если можно, то, разумеется, надобно бы справиться.

Сейчас получил от Саши письмо, очень понравившееся мне. Я давно не писал ему по двум причинам; первая — та же самая, по которой он долго не отвечал на мое письмо. К тебе это не относится; а он вспомнит свои слова и поймет мои. Вторая причина относится и к тебе: я не писал в это время ни тебе, ни ему, потому что хотелось писать как можно больше страниц той работы, которою я теперь занят; посмотрю вечером — написано меньше, нежели следовало бы, и хочется на другой день сделать побольше; таким образом и отлагается со дня на день письмо к тебе или ответ на письмо Саши.

Мы очень обрадованы тем, что Юлия Петровна выздоровела. Целую их всех и всех других родных.

Передай мое дружеское приветствие Елене Матвеевне. Будь здоров. Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

939

А. В. ЗАХАРЬИНУ

15 апреля 1885. Астрахань.

Добрый друг Александр Васильевич,

Вы так заботливо и успешно занимаетесь приведением моих денежных дел в удовлетворительное состояние, что я не знаю, как и благодарить Вас.

Я получил Ваше письмо от 7 апреля. Все в нем прекрасно для меня. Дальше буду отвечать «да» на каждую подробность в нем, требующую ответа. Прежде изложу Вам свою новую просьбу.

Ольге Сократовне необходимо ехать на Кавказские воды. Но без меня не хочет она ехать. Могут ли петербургские власти разрешить мне поездку с нею на Кавказ? — Прошу Вас, справьтесь об этом. Само собою разумеется, я вперед согласен считать за сказанное мною самим все то, что найдете Вы необходимым сказать в разговорах с официальными лицами. (Об этом пишу некоторые подробности на другом листке.)

Теперь отвечаю на Ваше письмо.

Буду переводить листов по 9 или 10 немецкого подлинника Вебера в месяц. Остальное время буду употреблять на другие работы. — Около 20 числа отправлю в Москву по сообщенному Вами адресу второй кусок перевода Вебера. Это, вместе с первым куском, составит 14 листов немецкого подлинника. — О присылке денег: Ольга Сократовна привыкла получать деньги около 30 числа каждого месяца. В запасе у нее нет ничего. Прошу Вас, не дайте пройти 30 числу этого месяца или хоть 2-му, 3-му числу мая без получения денег нами.

Я получил из Москвы от Гольцева приглашение сотрудничать. Благодарю его. Буду сотрудничать.

Но пора отдать письмо на почту. Когда отправлю в Москву второй кусок перевода, напишу Вам.

Прошу Вас поблагодарить за меня Евгения Федоровича Корша. Я всегда уважал его.

Ольга Сократовна шлет свои приветствия Елене Васильевне и Вам и целует Ваших детей.

Я прошу Елену Васильевну принять мой низкий поклон.

Жму Вашу руку, добрый друг. Ваш *Н. Чернышевский*.

[Приписка на втором листе письма к А. В. Захарьину от 15 апр. 1885].

Сообщаю Вам, добрый друг, Александр Васильевич, те сведения, какие сообщены мне здешними официальными лицами при моих разговорах с ними о разрешении мне ехать на Кавказские воды.

3 апреля я был у здешнего губернатора и сказал ему: «Мое здоровье хорошо; ни в каком лечении я не нуждаюсь; и климат Астрахани, для многих вредный, не имеет никакого вредного влияния на мое здоровье, сколько я могу судить об этом. Но моей жене необходимо ехать на Кавказские воды; без меня она не хочет ехать, сколько я ни убеждал ее. Поэтому прошу Вас сделать то, что можете, для доставления мне разрешения ехать на Кавказские воды». Он совершенно искренно отвечал, что он рад сделать все возможное для него. И сказал, что сам передаст в министерство внутренних дел слышанное им от меня, присоединяя к моей, переда[ва]емой им с моих слов просьбе, свое ходатайство о разрешении мне ехать на Кавказ.

Я рассказал это Ольге Сократовне. Она отправляла письмо к Мише. Я сделал приписку, в которой сообщал ему, что с этою почтою, — то есть с почтою, отходившею 5 апреля, губернатор отправляет свое ходатайство о разрешении мне ехать на Кавказские воды.

Того, что следует дальше, я не передавал Ольге Сократовне, не желая преждевременно и без подготовки огорчать ее.

Но между тем вышло совсем иное. Губернатор перед отправлением своего ходатайства обо мне должен был, разумеется, приобрести более точные сведения относительно способа моего приезда сюда, чем какие мог иметь без справок с бумагами он, приехавший сюда после меня. Рассмотрев бумаги, он нашел, что мое желание ехать на Кавказ едва ли удобоисполнимо; что ему невозможно передавать это желание мое с присоединением своего ходатайства об исполнении моей просьбы.

Я вполне верю его искренности. Он полагает, что могло бы повредить мне, если бы начата была формальная переписка о разрешении мне ехать на Кавказские воды.

Этот разговор со мною был 5 апреля.

Надобно было мне разъяснить вопрос, могу ли я просить кого-нибудь из моих знакомых в Петербурге о том, чтоб узнать, могло ли б иметь успех, если б я начал формальным образом

дело, которое кажется губернатору, справлявшемуся с бумагами обо мне, не могущим иметь успеха. Я вполне верю доброжелательству и искренности губернатора и не хотел бы делать что-нибудь, могущее шокировать его. Вчера разъяснилось, что он не будет шокирован, если я попрошу кого-нибудь в Петербурге узнать, может ли быть разрешено мне сопровождать мою жену на Кавказские воды. — И вот я прошу Вас, добрый друг, узнать об этом.

940

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

15 апреля 1885. Астрахань.

Милый друг Саша,

Винюват я перед тобою: долго не писал тебе. Как быть, не умею ничего сказать в извинение себе; отлагал и отлагал со дня на день; и вот едва собрался наконец.

Твои новые стихотворения производят на меня такое же впечатление, как и прежние, то есть хорошее. Но на этот раз хочется мне побеседовать с тобою исключительно о прозаической части двух твоих писем, на которые так долго медлил я отвечать. Она мне тоже нравится. Надобно только желать, чтобы твои, совершенно рассудительные, по моему мнению, мысли об устройстве твоей жизни, которые высказываешь ты, осуществились, как ты желаешь.

Да, мой друг, ты совершенно справедливо говоришь, что даже и для поэтической твоей деятельности необходимо тебе приобрести сколько-нибудь удовлетворительную материальную обстановку жизни. Да, кому дурно живется на свете, у тех страдают все умственные и нравственные силы. Справедливо и то, что хорошая обстановка жизни удободостижима для тебя теперь, благодаря твоей решимости следовать правилам рутинного благоразумия в исполнении рутинных обязанностей, дающих материальное обеспечение более верное и щедрое, чем какого можно надеяться от литературной деятельности. Наибольшие шансы устроить хорошо свою жизнь имеют те люди, которые твердо держатся правил рутинного житейского благоразумия. А если рутинные обязанности, исполняемые ими, не поглощают всего их времени с раннего утра до поздней ночи, то и для приобретения ученой или поэтической известности они имеют больше удобства, чем люди необеспеченные. Возьмем для примера хоть историю русской поэзии. Ломоносов и Державин добывали себе средства к жизни рутинной работой. Жуковский жил тоже не доходами от своих стихотворений. Пушкин и Лермонтов были люди обеспеченные. Некрасов жил доходами от журнала, а не продажей своих стихотворений; он получал в последние годы

много от продажи их; но это было лишь подспорьем ему, а не главным источником средств к жизни. — Милль в своей «Автобиографии» говорит, что его служебные занятия не мешали его ученой деятельности, были даже полезны для нее. И советует всем, желающим трудиться для собственной ли славы, для пользы ли общества, иметь рутинные занятия, обеспечивающие их материальное благосостояние. В этих его рассуждениях если не все, то многое справедливо, по моему мнению. Впрочем, мои собственные рассуждения на эту тему, хоть и вполне справедливые по моему мнению, имеют другое качество, еще более приятное мне: они совершенно излишни в письме к тебе, не менее меня самого убежденному в необходимости материального благосостояния для удовлетворения не одних материальных надобностей, но и самых идеальных стремлений человека, и в том, что порядочная должность — хорошее приобретение для человека в твоём положении.

Мы с твоею мамашею были рады прочесть, что ты живешь в довольно порядочной комнате, имеешь сносный по качеству кушанья обед; были рады тому, что у тебя есть надежды получить возможность жить и гораздо лучше нынешнего. Приобретешь прочное хорошее материальное положение, то и все идеальное в твоей жизни пойдет хорошо. Я уверен, и твоя мамаша надеется, что ты, имея теперь желание устроить свою жизнь хорошо, будешь через несколько времени человеком счастливым.

Само собою разумеется, мой милый друг, что идеальные надежды, которыми ты делился со мною, остались известны только мне. Твоя мамаша нуждается в душевном спокойствии. Ожидание — это неизвестность, а неизвестность — это тревога для твоей мамашы. Я читал ей из твоих писем только то, что сам ты рассказывал бы ей. Конечно, и вперед можешь полагаться на мою молчаливость.

Будь здоров. Целуем тебя мы оба, твоя мамаша и я.
Жму твою руку. Твой Н. Ч.

941

А. В. ЗАХАРЬИНУ

4 мая 1885. Астрахань.

Добрый друг Александр Васильевич,

Благодарю Вас за неутомимую любовь, с какою заботитесь Вы о моих делах. Я предполагал, что по вопросу о моей поездке на Кавказские воды Вы получите те самые сведения, которые сообщаете мне в письме от 26 апреля. — Совершенно справедливо, что невозможно дать формальный ход делу иначе, как начав его представлением медицинского свидетельства о моей бо-

лезненности. Я знал это вперед. И теперь я, вероятно, мог бы получить необходимое медицинское свидетельство. Возможности получить его я и искал моею просьбою к Вам поговорить о поездке моей с лицом, мнение которого в этом случае должно иметь для меня авторитетность. Я признателен за прямодушие и доброжелательство, высказанное им. — Мне говорили здесь, что разрешить мне поездку на Кавказские воды — дело гораздо более трудное, чем разрешить переселиться жить в Тифлис. Когда Ольга Сократовна придет к определенному мнению о том, лучше ли было б ей в Тифлисе, нежели здесь, я напишу Вам. А пока не умею сказать ничего, кроме того, что буду сообразоваться с мнением авторитетного лица, переданным Вами мне.

Я получил триста рублей, о присылке которых мне Вы писали в Москву. Отправляя Коршу перевод Вебера, я писал ему. Вчера получил от него очень любезный ответ, сущность которого состоит в том, что перевод годится. Около 20 числа я отправлю ему следующий отдел книги Вебера, главу об Индии; это 205—350 страницы немецкого подлинника, то есть около 9 печатных листов. В этом размере и буду приготавливать посылку к каждому 20 числу, пока не успею устроить, чтобы работа шла быстрее. Когда устрою, буду иметь досуг для писания статей. А теперь занимаюсь лишь переводом Вебера.

Ольга Сократовна была приятно удивлена, увидев, что прислано больше денег, нежели она привыкла получать и ждала. Ныне она едет на несколько дней в Саратов. — Ей очень понравилась кошечка, приланная Вами ей, и она благодарит Вас за этот милый подарок.

Она целует Ваших детей и шлет свои приветствия Елене Васильевне и Вам. — Прошу передать Елене Васильевне мое глубокое уважение.

Будьте здоров, добрый друг. Благодарю Вас. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

Перевод «Всеобщей истории» Вебера отправлен по адресу:

Москва, Румянцевский музей

Его Превосходительству

Евгению Федоровичу Коршу.

942

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 4 мая 1885.

Милый друг Миша,

Очень радуешь ты меня тем, что оказываешься человеком, способным порядочно устроить свою жизнь.

Твоя маменька едет ныне в Саратов. Вернется, вероятно, че-

рез неделю или полторы. Писем, которые будут на ее имя, я не буду отправлять ей; они будут ждать ее здесь.

Я получил два тома книги Рогге. Благодарю за них. Напишу по ним статью, как только приобрету несколько дней досуга от работы над переводом Вебера. — Получил и книжки *Unsere Zeit*. Благодарю за них. Если увидишь Кавелина, поблагодари его за присылку его брошюры «О нравственных задачах». Сколько умеешь, постарайся наговорить ему всяческих приятных ему вещей от моего имени.

Передай мое глубокое уважение Елене Матвеевне.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку.
Твой *Н. Ч.*

Р. С. Твоя маменька отправила ныне посылку тебе.

943

В. Н. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 4 мая 1885.

Милый друг Варенька,
Оленька отдохнет у тебя. Она тебя так любит.
Я буду писать тебе, когда буду писать ей.
Целую твои руки, милый наш друг. Твой *Н. Ч.*

На другом полулистке пишу несколько слов дяденьке.

944

Н. Д. ПЫПИНУ

4 мая 1885. Астрахань.

Милый дяденька,
Оленька передаст мое поздравление с днем Вашего ангела, мои желания доброго здоровья и всего хорошего Вам.

Лично я живу хорошо. Надеюсь, что еще довольно долго буду сохранять силу трудиться и успею приобрести хоть небольшое обеспечение Оленьке и себе на годы, когда не буду в силах работать; до этой поры мне, я полагаю, еще далеко.

Хотелось бы мне повидаться с Вами. Это, вероятно, сбывается.

Благодарю Вас, милый дяденька, за Вашу любовь к Оленьке и ко мне.

Будьте здоров. Целую Вас. Ваш племянник *Н. Чернышевский*.

945

В. Н. ПЫПИНОЙ

5 мая 1885. Астрахань.

Милый друг Варенька,

Дела мои как будто начинают несколько устраиваться. Нашлась работа, которая, если пойдет, как было предположено, будет давать нам постоянный, верный доход. Оленька расскажет тебе подробности. Книга, которую начал переводить я, состоит из 15 томов, каждый величиною в две книжки «Вестника Европы». Издатель — человек очень богатый и совершенно честный. Пока не надоест ему терпеть убытки от этого издания — оно окупится и даст ему выгоду, но не скоро, — и пока у меня нет занятия, более подходящего к моим мыслям, буду заниматься этим переводом.

Хотел было начать вовсе не рассказом о своем занятии, а вопросом о том, как живется тебе. Но знаю, как жилось тебе, и тяжело говорить об этом прошлом, остающимся для тебя и настоящим.

Я уверен, что Оленька отдохнет у тебя.

Поцелуй за меня дяденьку. Целую твои руки. Твой *Н. Ч.*

946

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

5 мая 1885. Астрахань. 5 часов вечера.

Миленький мой дружок Оленька,

Сию и раздумываю о том, удобно ли тебе в твоём путешествии. Ночь была здесь хорошая, тихая и теплая; а там, где плыл пароход, была ль она такая же? Удалось ли тебе спокойно почитать? Отдыхаешь ли от изнурения?

Я вернулся домой благополучно. По твоему распоряжению, должен был взять извозчика, чтобы не идти пешком домой Федосье Мелькумовне, которую мы с тобою пригласили сами провожать тебя, следовательно не должны были заставлять возвращаться из порта пешком. — Когда я вернулся, Капсюлочка была в кухне, здорова и сыта, но, по своему деликатному характеру, нашла обязанностью вежливости скушать — хоть, очевидно, через силу — подарок, оставленный тобою для нее. Без тебя, не только она, но и Наталья Васильевна держат себя очень скромно: я проспал до 7 часов, и обе они, бедняжки, сидели смиренно и молча, в терпеливом ожидании замедлившегося завтрака. Теперь Наталья Васильевна, пообедав, отправившись в гости и соску-

чившись по дочке, изволила вернуться и уснула. Дочка тоже поживает; она прилегла в своей картонке от пирога, поставленной на моем окне.

Перед обедом заходила ко мне Татьяна Сергеевна, для того, чтобы предложить посылать мне обед, если понадобится. Что ж, это очень мило с ее стороны. Я поблагодарил, сказав, разумеется, что теперь пока еще нет надобности утруждать ее. Она посидела несколько минут, разговаривала о том, что хотелось бы ей съездить на Кавказ, хотелось бы вообще иметь хоть какие-нибудь развлечения; говорила, как мне показалось, неглупо и справедливо.

Обед ныне был приготовлен хорошо. Кушанья были те, какие велела сделать ты: суп с перловой крупой и пирог с морковью и яйцами. Я ел и то и другое с аппетитом.

До сих пор все идет совершенно так, как ты приказывала мне, моя миленькая голубочка. Вероятно, и вперед будет итти так.

Пришла Федосья Мелькумовна. Я попросил ее написать тебе несколько строк. Буду продолжать, пока она кончит.

Она говорит, что телеграмма в Камышин отнесена Сергеем Мелькумовичем прямо на телеграф, при возвращении их из порта: он довел сестру до своего подъезда, а сам пошел на телеграф. Поэтому надеюсь, что Лизавета Андреевна теперь уж получила телеграмму. Отправление депеши стоило, как он говорил на пароходе, и как ты дала ему, 60 копеек.

Миленький мой дружок, буду постоянно стараться делать все так, как ты говорила мне. Не сомневайся в этом, голубочка моя. Надеюсь, мой друг, что все будет итти хорошо и что ты при возвращении найдешь если не все в таком порядке, как следовало бы, то не в особенно большом беспорядке.

Напишу на другом листе несколько слов Вареньке.

Написал Вареньке.

Милый мой дружок, вероятно тебе не так удобно и спокойно на пароходе, чтоб удалось хорошенько отдохнуть в пути. Меня смутило то, что у одной из пассажирок на руках малютка. Будет он беспокоить тебя своим писком, опасаюсь я.

Но в Саратове ты, быть может, несколько отдохнешь: Варенька сумеет доставить тебе отдых — да?

Целую твои ручки, моя миленькая Лялечка.

Будь здорovenькая. Твой *Н. Ч.*

Р. С. Буду писать завтра или послезавтра, смотря по тому, идет ли завтра почта.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 6 мая 1885. 2 часа дня.

Милый мой дружок Оленька,

Раздумываю о том, удобно ли тебе в пути.

Ныне здесь довольно сильный ветер. Вероятно, не слабее, а еще сильнее он там, где плывет теперь пароход, на котором ты; и, быть может, волнение так велико, что беспокоит тебя.

Я стараюсь делать все так, как ты говорила мне. Вчера удалось мне это; удастся пока и ныне.

Обед ныне был хороший: суп и жареная баранина. Я ел баранину с аппетитом. Привыкаю к тем кушаньям, от которых отвык было.

Мои воспитанницы обе держат себя хорошо. Капсюлечку я отпускаю гулять не иначе, как под надзором няньки. Вчера вечером она часа два без отдыха так бойко играла с умною своею маменькою, что мы оба радовались, и маменька и я. Надобно полагать, что здоровье ребеночка поправляется.

Федосья Мелькумовна осматривала вчера все комнаты, и горничная убирала их под ее руководством. Ныне я сказал твоей горничной, чтоб она убрала только мою комнату и столовую; остальные комнаты уберет, когда пожалует которая-нибудь из твоих барышень.

Но я отнесу это письмо, не дожидаясь прихода барышни. Я достал замок; запру комнаты и схожу на почту теперь же. Почтовый пароход отправляется в 5 часов, потому опустить письмо в почтамтский ящик надобно часа в три. Так сказали мне вчера в почтамте. Завтра почта отправляется в такое же время дня, как ныне; потому и завтра сделаю так же. Ты не опасайся: замок, найденный мною, крепкий и хороший. Да и пойду я лишь в почтамт; это, и туда и оттуда, займет много меньше двадцати минут! — Оденусь я внимательно, в этом не сомневайся, моя миленькая голубочка; серьезно говорю, оденусь внимательно.

Миленький мой дружок, не беспокойся о том, как исполняются твои распоряжения; сколько умею, буду стараться исполнять их, а твои барышни не только желают, но и умеют делать все так, чтобы нравилось тебе. Потому, думаю, что, возвратившись, ты найдешь комнаты в довольно хорошем порядке; разумеется, не таком прекрасном, как при тебе, то все-таки довольно хорошим. А в целости останется, я надеюсь, все.

Что найдешь ты в Саратове — в своем доме, и у Вареньки, и у племянницы твоей? Всех ли найдешь здоровыми? А что все будут в восторге от твоего посещения, в том нечего мне сомневаться.

Целую дядю. Целую Вареньку. Целую Миночку.

Завтра снова буду писать тебе.

Целую твои ручки, миленькая моя голубочка. Будь здоровенькая, моя милая, милая Лялочка.

Целую тебя, целую твои ручки. Твой Н. Ч.

948

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

7 мая 1885. 2 часа пополудни.

Милый мой дружок Оленька,

Думаю о том, в Саратове ли ты теперь, или пароход, на котором ты, еще только приближается к нашему родному городу. Хорошо ли было плавание? Удобно ли было тебе отдыхать от твоего изнурения?

Здесь идет все таким порядком, какой ты установила. Вчера надзор за ним был на обязанности Софьи Мелькумовны, и она исполнила свою должность — я не знаю как, но, по всей вероятности, хорошо. Горничная убрала твою комнату, зал, Мишину комнату под наблюдением очередной начальницы. Так будет и вперед.

Я предложил Софье Мелькумовне написать тебе, что вздумается ей сообщить. Она была рада. Я думаю, тебе приятно будет получить ее записочку.

Когда она собиралась уходить, зашла навестить меня другая твоя любимица, Лизавета Артемьевна, и посидела четверть часа. Говорила, что ей очень хотелось бы съездить на Кавказ, но не может она покинуть детей; а взять их с собою — это значило бы иметь столько хлопот, что поездка не укрепила бы, а расстроила бы здоровье.

Татьяна Сергеевна, разговаривая со мною третьего дня, спорила против моего предположения, что ее муж находится в полной зависимости от матери (я говорил это для того, чтобы выставить его менее заслуживающим порицания за скуку и стеснение ее жизни). «О, вы ошибаетесь; мать не может помешать ему ни в чем, — сказала она: — Он сам хочет так жить. В молодости много веселился, и всякие развлечения надоели ему». — Он и сам толковал мне, что достаточно повеселился и что поэтому теперь ему уж скучно думать о развлечениях.

Лизавета Артемьевна говорила о своем муже несколько иным тоном: он не стал бы мешать ее поездке на Кавказ; невозможно ехать ей только потому, что нельзя ни взять детей с собою, ни оставить их здесь.

Вот сколько затруднений с малютками! Но не с такими благовоспитанными и умными, как Наталья Васильевна и Капсюлочка. Эти малютки держат себя так, что хлопот с ними мало. Не всегда, впрочем. Вчера после обеда маменька увела с собою

дочку под бревна, которые лежат у нас на дворе; это любимое местопребывание Натальи Васильевны так понравилось Капсюлечке, что служанки наши очень долго сидели, подстерегая поймать девочку: высунет оттуда нос, но как подходят взять ее, она засмеется и спрячется опять под бревна. И вчера, и ныне она бойко играла.

Вчера, пока сидела у нас Софья Мелькумовна, я заходил на четверть часа к любезному кавалеру, Сергею Степановичу. Он просил кланяться тебе. Просил кланяться тебе и «пьяница», как ты зовешь его, — старший из Козловых, сидевший у дверей магазина, когда я шел мимо. Он, повидимому, серьезно признателен тебе за разговоры с ним; вероятно, между здешними светскими дамами не очень много таких, которые умеют держать себя с простыми людьми, каков он, с любезностью хорошего общества; вероятно, они большею частью важничают кстати и некстати. И вот, сравнивая тебя с другими, Алексей Иванович в восторге от своего знакомства с тобою.

У меня здесь пока все и цело и в порядке. Думаю, что так будет и вперед. Прошу тебя, моя миленькая радость, будь спокойна. Завтра снова буду писать тебе. Чтобы письмо не запоздало быть отосланным, я должен отнести его в почтамт тепер же. Но я запираю двери хорошим замком и меньше, чем через четверть часа, буду опять дома.

Твоим очередным барышням я покупаю каждый вечер что-нибудь к чаю (как ты говорила — калачик и еще какую-нибудь булочку). — Пирог с морковью, бывший у меня третьего дня, так понравился Федосье Мелькумовне, что она скушала почти целые два ломтика его.

Обед и ныне был хороший (суп и жареная говядина). Завтра буду есть постное. Вероятно, буду есть с аппетитом.

Наталья Васильевна и Капсюлечка изволили проснуться и пискнули обе; я понял, они посылают тебе выражения своих благовоспитанных чувств.

Будь здоровенькая, моя милая радость.

Целую дяденьку. Целую Вареньку и Миночку.

Целую твои ручки, моя миленькая Лялечка.

Будь здоровенькая, будь здоровенькая, будь здоровенькая.

Целую тебя, моя миленькая, миленькая радость. Твой *Н. Ч.*

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера, в шестом часу вечера, я получил телеграмму, в которой ты уведомляешь меня, что благополучно приехала в Саратов.

Благодарю тебя, моя милая голубочка, за мысль уведомить меня об этом телеграммой. Я был очень обрадован. Не то, что я сколько-нибудь опасался каких-нибудь бед с пароходом: он хорош, и плавание на таких пароходах по Волге совершенно безопасно; безопаснее езды по улицам города. Но я опасался, что неудобства каюты, в которой поместилась ты, могут тяжело отозваться на твоём изнуренном здоровье, нуждавшемся в спокойном отдыхе. Благодарю тебя за обрадовавшую меня телеграмму, дружочек мой, миленький, миленький мой дружочек.

Вчера принес почтальон письмо от Миши. Ты говорила, чтоб я оставлял письма к тебе здесь. Так я и делаю с Мишиным письмом. А быть может, это мое письмо еще застанет тебя в Саратове? Если так, то хорошо было бы вложить в него письмо Миши. Но — ни я, ни ты сама, не знали мы, когда ты уезжала, до какого дня пробудешь ты в Саратове. — Впрочем, вероятно, нет в письме Миши ничего такого, что требовало бы немедленного ответа.

Вчера исполняла должность надзирательницы Сусанна Богдановна. Телеграмма была получена при ней; так теперь и другие твои любимые барышни уж давно знают о твоём приезде в Саратов. — Я предложил и Сусанне Богдановне писать к тебе. Разумеется, и она была рада писать. Влагаю в письмо ее записку. От телеграммы она была в таком восхищении, что подпрыгивала и похлопывала в ладоши.

Наталья Васильевна и Капсюлочка, поиграв, покушав и опять поиграв, прилегли вздремнуть. Маменька была так умна и нежна, что уступила дочке свое любимое место в корзинке и легла рядом, на коврик. Вчера вечером я посоветовал Наталье Васильевне кушать вареное мясо; отведала и нашла, что может есть; съела порядочный кусок, отложив модничанье до твоего приезда.

До получения твоей телеграммы работа у меня шла очень плохо: я был слишком озабочен мыслями о том, не будут ли тяжелы для тебя неудобства каюты. Телеграмма успокоила меня, и работа стала подвигаться вперед, как при тебе. А в те три первые дня я написал не больше того, сколько успевал иногда написать в один день при тебе.

Дружок мой, я плохой человек; так это; и, разумеется, очень нехорошо, что это так. Но одна мысль у меня — это ты.

Буду писать тебе и завтра.

Да, чуть не забыл сказать, что все здесь продолжает идти в порядке. Прошу тебя, не тревожься ни обо мне, ни о целостности вещей.

Целую дяденьку. Целую Вареньку и Миночку.

Миленькая моя голубочка, надобно бы мне было быть не таким плохим человеком, каким вырос я и привык быть. Не думай, моя миленькая Лялочка, что я не стараюсь держать себя как

следует; стараюсь; но не умею. Нет уменя. Стараюсь; усердно стараюсь; но не умею. Да, плохой человек я.

Но все мысли мои о тебе, моя радость.

Будь здоровенькая. Целую твои ручки, моя Лялечка. Целую тебя. Твой Н. Ч.

950

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 9 мая 1885. 2 часа пополудни.

Миленький мой дружок Оленька,

Застанет ли тебя в Саратове это письмо?

Но буду писать и завтра, если не получу от тебя известия о твоём отъезде. Вообще буду писать каждый день, пока придет от тебя уведомление об отъезде.

Ныне утром принесено письмо к тебе из Саратова; должно быть, от Вареньки. На штемпеле выставлено: «Саратов, 6 мая».

У нас всех — и у меня, и у Натальи Васильевны, и у Капсюлечки — все идет благополучно под надзором наших поочередных гувернанток. — Вчера, как следовало по назначенному тобою порядку, наблюдала за нами Федосья Мелькумовна. Она, уж давно когда-то, рассказывала мне, что хотела вместе с двумя или тремя подругами открыть модный магазин, но должна была отказаться от этой мысли, потому что не согласились позволить ей исполнить ее план ее родные. Когда я вчера спросил, не думает ли она, что теперь они могли бы согласиться, она отвечала, что представляется ей случай открыть модный магазин в Ялте: там живет их родственница — вдова и зовет ее к себе, уверяя, что магазин пойдет очень хорошо. Но родные не соглашаются отпустить ее. Она, сколько я мог понять из ее, как всегда, очень кротких выражений, очень огорчена этим. Если ты позволишь, я поговорю с ее братьями, без сомнения имеющими влияние на мысли отца и матери. — Она опять написала тебе.

Обед ныне был приготовлен хорошо. Блюда были, по твоему установлению, суп и жареная говядина. Куплено было 2 фунта, и оказалось достаточно на оба кушанья и на угощение Наталье Васильевне с Капсюлечкою.

Капсюлечка почивает на моем окне. Ее маменька отправилась делать визиты.

Работа у меня идет порядочно со времени получения телеграммы, которою ты успокоила мою тревогу о том, что тебе было слишком неудобно в плохой каюте, наполненной пассажирами, не дававшими тебе отдохнуть. — Впрочем, я и вчера работал и ныне работаю не больше, нежели при тебе; ложусь спать

в 11 часов. Не опасайся, что я утомляю себя. Работать до утомления нет никакой надобности. Торопиться мне не к чему; сколько успеваю сделать, того и достаточно.

Миленья моя радость, будь здоровенькая — и я буду счастливейший человек на всем свете.

Целую дяденьку, Вареньку, Миночку.

Целую твои ручки, миленья моя Лялечка, миленья моя, дорогая моя, миленья моя.

Целую тебя. Твой Н. Ч.

951

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 10 мая 1885. 2 часа пополудни.

Миленкий мой дружок Оленька,

Много трудов и хлопот предстояло тебе в Саратове; я раздумываю, управились ли ты с ними теперь и имешь ли хоть немножко отдыха или — это вероятнее — должна ты, изнуренная, все еще утомлять себя новыми изнурениями, как, без сомнения, было в первые два дня по твоём приезде?

У меня все идет хорошо. Соблюдается все то, что ты говорила о сохранении порядка в комнатах, о присмотре за целостью вещей.

Вчера, по определенной тобою очереди, надзирательницею была Софья Мелькумовна. Из ее разговора обнаружилось (без вызова с моей стороны), что сестра толковала с нею о том, что прекрасно было бы им открыть модный магазин (но о Ялте, кажется, не упоминала ей Федосья Мелькумовна; она говорила об открытии магазина здесь). Надобно думать, судя по этому, что Федосья Мелькумовна очень заинтересована мыслями о приобретении себе независимого положения.

Капсюлочка изволит лежать на моем столе; думал я перенести ее на кровать; но она говорит: «Теперь я пользуюсь свободою полежать, где мне нравится, пока возможна для меня свобода. Ты не напишешь об этом доброй, но строгой моей покровительнице? Да?» — Я промолчал. Она — очень хитрая девочка! — сказала: «Молчание — знак согласия. Итак, моя госпожа не будет знать о моем своевольстве. Оставь же меня лежать здесь». Я оставил. — Она просила меня передать тебе, что ей без тебя и скучно и плохо жить. Разумеется, посылает тебе поклон. — Наталья Васильевна все время до обеда спала; теперь уехала делать визиты: что ж, правда: второй, третий часы дня — самое удобное время для визитов в светском обществе.

Вчера, когда я возвращался из почтамта, на нижнем крыльце того дома, где живут сами Абкаровы, стояла Меланья Семе-

новна; увидев меня, пошла навстречу и, расспросив очень внимательно о тебе, наговорив о тебе любезностей, возобновила сделанное Татьяною Сергеевною предложение взять на себя заботу о приготовлении кушанья мне. Я думаю, что я должен зайти к ним, чтобы показать этим признательность за их доброе расположение. Ныне, когда придет надзирательница, и пойду к ним, по всей вероятности. А не успею ныне, то зайду завтра. Оденусь хорошо; по крайней мере постараюсь хорошо одеться.

Ныне твоя горничная занялась — кажется, по собственному желанию, без напоминания от Федосьи Мелькумовны или Софьи Мелькумовны, — мытьем окон. Я, разумеется, заглядывал в те комнаты, где была она.

Нашелся первый номер «Нивы» 1884 года. Я долго искал его и, по своей обыкновенной недогадливости, не вздумал посмотреть, не попал ли он в кипу газет, которую положил я в буфетный шкаф. Перебирая ныне эти газеты, увидел: он был засунут мною туда. С ним вместе лежали там и номера «мод», составляющие приложение к «Ниве».

Недогадлив я, моя миленькая голубочка; в этом одна из главных причин того, что я такой плохой человек. Доволен ли я тем, что я плохой человек? — Я думаю, что не обманываю ни тебя, ни себя, отвечая: не слишком доволен. Да, желал бы быть менее плохим; но — не умею.

Целую дяденьку, Вареньку, Миночку.

Софья Мелькумовна вчера писала тебе. Прилагаю ее записочку.

Буду писать и завтра, если не получу уведомления от тебя, что выедешь из Саратова раньше, нежели пришло бы туда письмо, посланное завтра.

Целую твои ручки, моя миленькая Лялочка. Будь здоровенькая, моя радость. Целую тебя, целую и целую твои ручки. Твой Н. Ч.

952

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 11 мая 1885.

Милый друг Саша,

Опять я виноват перед тобою тем, что долго не писал. Произошло это таким же образом, как прежнее мое промедление.

Ты знаешь, я перевожу «Всеобщую историю» Вебера. Употребляю на эту работу все время, сколько могу. И однакоже работа идет гораздо менее быстро, чем следовало бы. Каждый день остается непереуведенною чуть не половина, а часто и целая половина того количества страниц, которую следовало бы перевести. Так, день за день, и отлагал писать тебе.

Прости, мой милый друг.

И вот, по поводу моего недосуга, поговорю о занятии, отнимающем у меня досуг.

Хотел ли бы я употреблять мое время на перевод вообще какой бы то ни было книги? — Нет, я лучше хотел бы заниматься учеными трудами, план которых у меня в голове. — В частности, не предпочел ли бы я переводить какую-нибудь другую книгу, более нравящуюся мне, чем «Всеобщая история» Вебера? — Да, предпочел бы. Но как быть! — пришлось выбирать вовсе не такую работу, которая нравилась бы мне. И занимаюсь ею; как быть.

Ты думаешь: «Это предисловие»; да, мой друг, это рассуждение о моем занятии — предисловие к рассуждению о том, чего желал бы я для тебя. Желал бы я для тебя — работы, не дающей ничего, кроме денежного вознаграждения. Но ты сам, повидимому, решил отказаться на время всякие мысли, кроме мыслей о необходимости зарабатывать средства для сносной жизни. Стало быть, и могу я покончить рассуждение об этом.

Кроме того, что перевожу Вебера, ровно нечего мне сказать о себе. Перевожу Вебера — в этом и состоит вся моя жизнь. И хорошо, что имею работу. Желая, чтоб она шла успешно — и довольствуюсь пока этим желанием.

Относительно себя — довольствуюсь этим. Для близких мне — желал бы приобретать побольше денег, нежели может дать занятие переводом. Но — как быть.

Это мне тяжело.

Но лучше перейдем к чему-нибудь другому.

Дела Миши устраиваются, повидимому, довольно недурно. Это, разумеется, отрадно и для тебя, как для меня и твоей маменьки.

Твоя маменька несколько дней тому назад уехала в Саратов. Ты знаешь об этом, я думаю. Через несколько дней вернется. Надобно было б ей поехать нынешним летом на Кавказ. Но сомневаюсь, поедет ли она.

Очень может быть, что соберусь написать тебе довольно скоро. Но очень, очень недосуг мне в эти дни: через неделю надобно отправить часть перевода; она должна иметь определенный мною самим размер. А ход моей работы был до сих пор медленнее, чем я рассчитывал. Придется в эту неделю работать побольше прежнего.

Не осуждай меня, милый друг, за мою неисправность в переписке с тобою. Как успею перевести столько, сколько надобно, буду писать тебе почаще и побольше.

Будь здоров. Целую тебя. Жму твою руку. Твой И. Ч.

953

Ю. П. ПЫПИНОЙ

[18 мая 1885.]

Поздравляю Вас, Юлия Петровна, с днем Вашего праздника. Разумеется, желаю Вам всего, чего желаете себе сама Вы, то есть, по всей вероятности, не столько должен я думать при моих желаниях Вам о самой Вас, сколько о Сашеньке, Верочке и остальной Верочкиной компании. Портрет жениха Верочки очень понравился мне. Оленька очень хвалит Федора Густавовича, и, судя по его карточке, он действительно имеет милый характер, так что, надобно надеяться, Верочка будет счастлива с ним.

Целую Сашеньку, Верочку, Наташу, Митю, Колю.

Будьте здорова, милая сестрица. Благодарю Вас за Вашу любовь к нам; целую Вашу руку. Ваш *Н. Ч.*

P. S. Простите, чуть не провинился перед Аделаидою Петровною и Гавриилом Родионовичем, оставив лишь подразумеваемыми мои приветствия им. Прошу Вас уверить их, что я искренно люблю их.

954

А. В. ЗАХАРЬИНУ

Астрахань. 1 июня 1885.

Добрый друг Александр Васильевич,

Простите мне беспокойство, которое снова делаю Вам просьбою о присылке мне денег за перевод Вебера.

Я сам виноват в том, что они еще не дошли до меня. Я неизвинительно промедлил отправлением третьего куска перевода. Я рассчитывал послать его 20 мая, и писал Вам так. А послал только уж 25-го числа.

Ни Солдатенков, ни Корш, разумеется, не мог быть виноват в моей неисправности.

Если будете иметь случай, то уверьте их в моей признательности к ним.

Спешу кончить письмо, чтобы приняться за работу; хочется вести ее менее медленно, чем шла она у меня в мае месяце.

Ольга Сократовна шлет свои приветы Елене Васильевне и Вам; целует Ваших детей.

Прошу передать мое глубокое уважение Елене Васильевне.

Будьте здоровы все. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский.*

955

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 9 июня 1885.

Милый друг Саша,

Давно я не писал тебе; и давно не получал писем от тебя. Это, разумеется, похвально и с моей стороны и с твоей. Но не вечно же люди могут держаться похвальных правил. Отступаю от своего: нарушаю молчание. Напиши, мой милый, и ты мне.

У нас нет ровно ничего нового. Твоей маменьке почти постоянно нездоровится. Я все время, сколько могу, употребляю на перевод Вебера. Кроме этого, не делаю ничего. Работа идет несравненно медленнее, чем следовало бы. Когда мне удастся достичь того, чтоб она шла побыстрее, буду иметь досуг для какого-нибудь другого труда. А теперь пока не имею.

Пиши, мой милый, каково ты поживаешь.

Твоя маменька целует тебя.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку.
Твой Н. Ч.

956

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 9 июня 1885.

Милый друг Миша,

Я очень редко пишу тебе, потому что спокоен за тебя. По всему видно, что жизнь твоя устроится хорошо.

Твоему брату я писал, хоть не часто, но все-таки гораздо чаще, нежели тебе. И, по всей вероятности, не умел объяснить ему тех моих мыслей о нем, сообщение которых ему было исключительно целью моей переписки с ним. Я постоянно думал упрашивать его, чтоб он оставил свои чудачества и попробовал держать себя так, как держат себя обыкновенные люди. Я полагаю, что это было писано слишком туманно. Я опасался обидеть его, высказав мои мысли без прикрытия их рассуждениями о поэзии, о философии и тому подобных — в данном случае — пустяках, не имеющих никакого отношения к делу. Быть может, если б я писал ему яснее, это было бы полезно; или все равно он довел бы себя своими чудачествами до болезни?

Пиши мне чистую правду о состоянии его здоровья. Мне смягчений не нужно. А если правда такова, что тяжело было бы твоей маменьке читать ее, сверни листок особо от листка, на котором будешь писать твоей маменьке, и сделай на нем заметку, что он для меня; она отдаст его мне, не развернув. Ее привычки в этом отношении чрезвычайно хороши.

Напиши, мой милый друг, как мне поступать для облегчения бедственной жизни твоего брата. Пишу ему несколько строк.

Теперь о моих делах.

Кусок перевода Вебера я послал Коршу 25 мая. Это 205—350 страницы немецкого подлинника. Пожалуйста, позаботься попросить о присылке денег. — Я получил от Корша в конце апреля 300 рублей.

Вообще, мой друг, надобно было бы как-нибудь устроить правильное получение денег на наши с твоею маменькою расходы. Напиши, что могу я сделать для этого.

Передай мое дружеское приветствие Елене Матвеевне.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку.
Твой Н. Ч.

957

А. В. ЗАХАРЬИНУ

Астрахань. 13 июня 1885.

[Телеграмма].

Деньги не присланы — прошу пришлите телеграммой чрез банк — Чернышевский.

958

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

2 июля 1885. Астрахань.

Милый друг Миша,

Ныне я отправил в Москву, Е. Ф. Коршу, продолжение перевода Вебера.

Это 351—505 страницы подлинника.

Для соображения тебе делаю следующий расчет:

505 страниц — это 31½ печатных листов; кроме того, есть несколько страниц «Предисловия», имеющих римскую нумерацию; но страницы четыре выброшены мною из перевода по предположению о несообразности их с русскими условиями печати (главным образом это очерк исследований о происхождении Пятюкнижия).

Выбрасывая из расчета эти выпуски, будем иметь около 32 листов подлинника —

по 25 р. за лист, это составляет 800 рублей.

Из них я уж получил 600 р. (по двум ордерам от Корша в Волжско-Камский банк; оба ордера были каждый на 300 р.).

Итак, я прошу тебя позаботиться о присылке такой суммы, какую можно Коршу прислать мне.

Понятно: твоя маменька ждет только получения денег, чтобы

схоть. Потому прошу позаботиться о том, чтобы деньги были получены мною как можно скорее.

Целую тебя. Прошу передать мое дружеское приветствие Елене Матвеевне. Жму твою руку. Будь здоров. Твой Н. Ч.

P. S. Твоя маменька хочет прибавить несколько слов на обороте.

На-днях Корш прислал мне 2—7 томы Вебера — все, что вышло до сих пор новым изданием.

Я очень благодарен ему за это. И, повидимому, эту присылку должно считать доказательством, что предприятие издать делаемый мною перевод Вебера — дело, решенное прочным образом; я был бы очень рад, если бы оказалось, что действительно так. Напиши, что знаешь относительно этого.

959

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 8 июля 1885.

Половина третьего часа пополудни.

Миленький мой дружочек Оленька,

Сейчас я получил твою телеграмму из Царицына. Благодарю тебя, моя радость, за уведомление о том, что ты доехала благополучно. Я думаю, что ты, однакоже, была утомлена путешествием на пароходе: в каюте такая была духота, такая теснота. Удобнее ли устроишься ты в вагоне? О, моя миленькая голубочка, утомителен твой путь по невозможности для тебя ехать в такой удобной обстановке, какая была бы нужна для тебя. А в том, что у тебя нет удобств, необходимых для твоего здоровья, виноват я.

Телеграммы от Миши нет до сих пор. Должно думать одно из двух: или он удовольствовался отправлением письма и не рассудил послать телеграмму, или, как ты считала вероятным, приготовления к свадьбе не были покончены до 5 июля, и потому она отложена до 12 числа. Если так, то тем лучше: ты приедешь еще к их свадьбе, и твое присутствие осчастливит их. И кроме того, что это будет радостью для них, будет это, без сомнения, и большою пользою для них.

Передай им от меня то, что внушит тебе твое сердце сказать им от меня.

Надеюсь, они будут радовать тебя, мой милый друг; и я буду счастлив твоею радостью.

Перехожу к здешним делам, которые все хороши.

Я проводил провожавших тебя. Одним им идти по аллеям порта было бы неудобно. — Когда понесу это письмо на почту,

то кстати зайду к Федосье Мелькумовне; быть может, и к Маргарите Ивановне.

Вчера, то есть в воскресенье, была помолвка твоей горничной. Они сделали этот праздник где-то у своих — у отца ль, или у бабушки, я не спросил; знаю только, что мать невесты сказала мне: «Ныне вечером у нас помолвка Насти; можно нам уйти после чаю вечером?» — Я был очень доволен, что их праздник не у них в комнате: ушли, вернулись. Утром ныне мать сказала мне, что они приглашали священника и совершили обручение и что свадьбу сделают — еще сами не знают когда; быть может, через месяц. Я, разумеется, не пускался ни в какие расспросы.

Наталья Васильевна и Капсюлочка тоскуют без тебя; ходят в твою комнату, вертятся там, смотрят, мяукают. Наталья Васильевна не отходит от своей малютки дольше чем на полчаса. Вчера подпустила к себе Леошеньку и даже позволила ему сосать грудь. Вот какая добрая и умная женщина стала она. — Капсюлочка все время была здорова. Малютка ныне уж довольно твердо держится на ножках и ходит по комнате довольно бойко. Даже пытается хватать лапками игрушку.

Твои распоряжения соблюдаются. Не беспокойся, мой дружок: надеюсь, что все будет цело.

Как только получу деньги, тотчас же отправлю тебе 100 рублей и отдам долг. Я рассчитываю получить деньги 15-го числа. Когда ты будешь читать это письмо, ты, вероятно, уж будешь знать от Миши, какого числа они посланы, и сообразно тому рассчитаешь, когда дойдут до тебя в Петербург те, которые отправлю я. Если Миша еще не имеет сведения о времени отправления денег из Москвы, то пусть справится. Если еще не ушло время, то было бы удобнее для тебя, чтобы деньги из Москвы были отправлены прямо тебе в Петербург. Вероятно, Александр Васильевич может написать об этом в Москву.

Прежде почта отсюда в Петербург была отправляема два дня сряду, в четверг и в пятницу. Мне кажется, будто один из этих дней сделан теперь почтовым. Буду отдавать письмо, то справлюсь. И напишу в четверг, если это ныне почтовый день, а если нет, то напишу в среду.

Поздравляю тебя, мой милый дружок, с днем твоего ангела. Это у меня большой праздник. Ты помнишь, что у меня два больших праздника: 11 июля и 15 марта. Милая моя голубочка, не умею быть полезным тебе; но живу только мыслями о тебе.

Целую Мишу, его невесту или молодую супругу; целую всех родных; попроси не сердиться на меня тех, перед которыми я виноват. Целую Сашу. Разумеется, я совершенно здоров.

Целую твои ручки и ножки, моя миленькая Лялочка.

Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя.

Будь здоровенькая, моя миленькая Лялечка. Целую твои милые глазки. Твой *Н. Ч.*

Разумеется, я совершенно здоров.

960

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

11 июля 1885. 12 часов дня.

Милый мой дружок Оленька,

Поздравляю тебя, моя радость, с днем твоего ангела. Будем надеяться, что начинающийся для нас с тобою этим моим большим праздником год будет для тебя лучше предшествовавшего ему.

Я получил твою телеграмму из Москвы. Благодарю тебя, моя милая голубочка, за извещение о том, что ты доехала до Москвы хорошо.

Сейчас были твои барышни. Поздравляя меня с моим большим праздником, они спросили, по какому адресу послать тебе телеграмму. Я, разумеется, сказал, что отправлю их телеграмму сам. И вот, как они ушли, я сел писать это письмо, чтоб отнести его вместе с телеграммой. Хочу не задержать ее, чтоб она успела дойти до тебя ныне; потому пишу лишь несколько строк. Следующее письмо пошлю в воскресенье.

Твои барышни написали тебе записочку. Влагаю ее. — Пришло письмо от Вареньки. Прилагаю его.

У меня здесь все идет хорошо, в таком порядке, как ты велела. Я совершенно здоров.

Целую детей и родных.

Вот рады тебе Миша и его невеста или жена! Без сомнения, в восторге от твоего приезда.

Будь здоровенькая, моя миленькая радость.

Крепко обнимаю тебя, тысячи и тысячи раз целую. Целую твои глазки, милые твои глазки, моя Лялечка; целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

961

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 14 июля 1885.

Миленький мой дружок Оленька,

В день твоих именин и моего большого праздника я получил твою телеграмму, порадовавшую меня тем, что ты доехала до Петербурга хорошо.

Ее принесли мне в 6-м часу после обеда. Часа через два принесли телеграмму от Осетровых, поздравляющую тебя с днем ангела. Посылаю ее тебе.

Вчера принесли письмо тебе от Миши. По твоему позволению, я распечатал и прочел. — Итак, свадьба была в назначенный день, и ты нашла молодую чету уж несколько освоившейся с новыми отношениями. Ты так и желала приехать: не перед свадьбою, а через несколько дней после свадьбы, когда они успеют несколько попривыкнуть к своей новой жизни. Влагаю в это письмо письмо Миши. Разумеется, напишу в конце письма к тебе несколько слов твоим и моим молодым людям.

Здесь идет все в таком порядке, соблюдать который велела ты мне. Не беспокойся, моя миленькая радость: я стараюсь и буду стараться смотреть за всем и беречь все; надеюсь, ничего не пропадет.

Прошу тебя, моя миленькая голубочка, быть уверенною в том, что я не буду утомлять себя излишнею работою; я работаю без тебя не больше, нежели при тебе.

Если бы ты, моя миленькая радость, дала себе время отдохнуть от изнурения тяжелыми для тебя условиями жизни в Астрахани, — это было бы хорошо. Решишься ль ты исполнить мою просьбу об этом? С нетерпением жду письма, в котором ты расскажешь мне, находишь ли возможным дать себе отдых, необходимый для твоего здоровья. Дружочек мой, голубочка моя, радость моя, постарайся доставить себе отдых.

Сделала ль ты распоряжение, чтобы деньги из Москвы были присылаемы прямо к тебе? — Я, как получу, тотчас же отправлю тебе, как ты говорила. А вперед будет проще, чтобы деньги были доставляемы прямо тебе.

Когда понесу письмо на почту, то, вероятно, зайду к твоим барышням. Следующее письмо отправлю в четверг.

Целую детей. Целую родных. Разумеется, я совершенно здоров.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялочка. Целую твои милые глазки. Будь здоровенькая. Целую твои ручки. Твой Н. Ч.

P. S. И тебе я написал лишь коротенькое письмо; а им действительно лишь несколько слов. Прости меня за это, моя миленькая голубочка; напишу побольше в следующий раз. А теперь рассудил написать как можно короче. Дело в том, что на уме у меня: «О, если бы ты решилась исполнить мою просьбу о том, чтобы ты дала себе отдых!» — Думаю все только об этом, и жду твоего разрешения писать об этом. В следующий раз, вероятно, буду в состоянии писать о чем-нибудь другом; а теперь не мог бы писать ни о чем, кроме этого. Целую тебя.

962

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

14 июля 1885.

Милые мои друзья,

Радуюсь тому, что Ваша жизнь устроилась так, как Вы желали. Поздравляю Вас, надеюсь, что Вы будете счастливы.

У меня есть важная просьба к Вам, Елена Матвеевна, и к тебе, Миша: убеждайте вашу маменьку, чтобы она доставила себе отдых от изнурения тяжелою жизнью здесь. Разумеется, я уверен, Вы будете делать все, что зависит от Вас, для доставления ей возможности отдохнуть.

Будьте счастливы. Будьте здоровы. Целую Вас. Ваш Н. Ч.

963

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 17 июля 1885.

Миленький мой дружок Оленька,

Прямо из банка, где получил деньги, я иду в почтамт, отправить тебе это письмо. Потому оно и будет состоять лишь из нескольких слов.

Мне прислали 300 рублей; из них 50 удержу на свои расходы, как ты говорила мне; из почтамта зайду отдать 50 рублей, которые был должен. Итак, для отправления тебе остается у меня 200 рублей. Отправляю их.

У меня здесь все хорошо. Я совершенно здоров.

Целую детей и родных. Буду писать послезавтра.

Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя. Будь здоровенькая, моя милая радость. Целую твои ручки. Твой Н. Чернышевский.

964

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 18 июля 1885.

Миленький мой дружок Оленька,

Здорова ли ты, моя миленькая голубочка? Отдыхаешь ли от изнурения тяжелыми условиями твоей здешней жизни?

Я отправил вчера по почте на твое имя 200 рублей. Я торопился послать их, потому написал вчера лишь несколько слов. Прибавлю теперь подробности.

Уведомление о присылке денег доставлено было мне третьего

дня вечером, когда отправляться за ними в банк было уж поздно. Пришлось отложить до утра. Получив деньги, я оставил 50 рублей на мои расходы (как ты говорила мне); этого будет достаточно мне более чем на месяц; другие 50 рублей я оставил (тоже, как ты говорила) на уплату долга (из почтамта прошел я к кредитору и отдал). Таким образом, выходило, что я могу послать тебе 200 рублей; так я и сделал.

Хотел было я передать их тебе переводом в петербургское отделение банка по телеграфу. И было бы это хорошо. Но перевод делается телеграммою в трех формах; за каждую форму телеграф берет особую плату в полном размере. Это составило бы, как сказали мне в банке, рублей шесть прибавки к расходу пересылки. Я пожалел денег и пошел отдать письмо на почту. А теперь жалею о том, что не послал перевод по телеграфу. Вероятно, пять или шесть дней, которые выигрывались бы, важнее расхода на телеграммы. Думаю, моя миленькая голубочка, что ты нуждаешься в деньгах; а я своею неуместною экономиею заставил тебя ждать их столько дней.

Каково-то поживают наши с тобою новобранцы? Радуют тебя, я надеюсь.

Хорошо ты сделала, моя милая Лялочка, что решила съехать к ним. Если бы ты нашла возможным доставить себе такой отдых, какой необходим для тебя, это было бы еще лучше. Необходимо тебе отдохнуть. Но чтобы писать об этом, жду твоего позволения.

К твоим барышням я не успел зайти вчера. Зайду, быть может, ныне, когда отправлюсь в почтамт отдать это письмо. Не ныне, то завтра, во всяком случае зайду.

Теперь о наших домашних делах. Третьего дня утром дочка Наталья Васильевна отнесена воспитателю, которого ты нашла для нее. Жаль мне было отдавать девчоночку. Но в самом деле, было надобно. А все-таки жаль. Собираюсь посмотреть, как ей живется у нового покровителя. Вчера и ныне было некогда. Завтра или послезавтра пойду. Маменька, по своей уж доказанной многочисленными опытами твердости характера и рассудительности ума, не обнаруживала ни малейшими признаками свое сожаление о разлуке с дочерью: не обратила внимания на ее отсутствие. Но за маленьким сыном ухаживает действительно с большою заботливостью. Постоянно заботится о нем. Когда я беру его на руки, она в величайшей тревоге, не поврежу ль я. Гулять вовсе не ходит. Все эти дни, с самого твоего отъезда, безотлучно проводит в комнатах. Когда устанет лежать с малюткою, садится на окно, и смотрит на двор, на улицу; видно, что хотелось бы погулять, но — не уходит из комнат. Малютка уж очень порядочно бегает. Бойко играет с маменькою; сам лезет играть с нею. Играет и со мною. Вероятно, будет бойкого и ве-

селого характера. Играет и с Леошенькою, который действительно очень милый мальчик.

Все остальное здесь у меня тоже идет хорошо. Думаю, что все вещи будут сохранены в целости. До сих пор по крайней мере цело все. Порядок наблюдается во всем совершенно так, как ты говорила.

Я получил на твое имя два письма. Посылаю их тебе. Надо было сделать конверт побольше обыкновенного, чтобы вложить их, не измяв. Я стал склеивать его великолепным Мишиним клеем. Но это превосходное вещество пожелтело, и на конверте вышли узоры. Так и быть.

Я совершенно здоров.

Целую детей и родных.

Миленькая моя радость, о, как было бы хорошо, если бы ты могла доставить себе отдых, необходимый для твоего здоровья.

Обо мне не беспокойся, моя миленькая голубочка. Работаю я без тебя не больше, нежели при тебе. Работать до усталости не позволяю себе. Будь спокойна за меня, моя миленькая Лялечка.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя. Живу только мыслями о тебе, моя голубочка. Будь здоровенькая, и я буду счастливейший человек на свете.

Целую твои милые глазки; целую твои ручки и ножки, моя миленькая Лялечка. Будь здоровенькая. Твой Н. Ч.

965

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 21 июля 1885.

Миленький мой дружок Оленька,

В пятницу, часов в 6 вечера, я получил твою телеграмму о том, что ты хочешь, как только получишь деньги, пуститься в обратный путь. Я пошел отправить телеграмму тебе о том, что деньги посланы в среду. Отправив ее, я прошел к Мелькумовым; Федосья Мелькумовна сказала мне, что ее сестрица и Сусанна Богдановна пошли навестить меня. Вернувшись домой, я нашел их сидящими на крыльце, в ожидании моего возвращения; уговорил их остаться пить чай. Пришел почтальон, принес твое письмо от 12 июля. Твои барышни были очень обрадованы тем, что ты написала ласковые слова для передачи им. Разумеется, они поехали домой на извозчике.

Очень, очень рад, моя милая голубочка, тому, что Елена Матвеевна так понравилась тебе. Пишу по два слова ей и Мише на другом полулистке.

Не знаю, застанет ли это мое письмо тебя в Петербурге. Но буду писать и в четверг, если раньше того не получу уведомления о твоём выезде из Петербурга.

Здесь у меня идет все в порядке, хорошо. Я совершенно здоров.

Наталья Васильевна продолжает держать себя, как образцово-нежная мать. Ее сынок, еще не получивший имени, стал крепким мальчиком, очень шаловливым. Леошенька вошел в такую милость у Натальи Васильевны, что она позволяет ему сосать ее.

Все трое постоянно проводят время в моей комнате. Много спят, еще больше играют.

Случается и мне довольно долго играть с сыночком Натальи Васильевны. Работаю не больше, нежели при тебе, и никогда не довожу себя до усталости.

Целую детей и родных.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя милая радость. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки, моя Лялочка. Будь здоровенькая. Твой *Н. Ч.*

966

Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 21 июля 1885.

Милый дружок Елена Матвеевна,

Благодарю Вас за Ваше расположение ко мне. Надеюсь, Ваша жизнь будет счастлива, как Вы заслуживаете того. Если бы зависело от Ольги Сократовны, то было бы очень привольно Вам и Мише жить на свете. И когда ее здоровье восстановится, то она будет иметь больше возможности заботиться о том, чтобы Вам было привольно. — Будьте здорова сама Вы. Жму Вашу руку, мой дружок. Ваш *Н. Чернышевский.*

967

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 21 июля 1885.

Милый друг Миша,

Благодарю тебя за уведомление о переводе Вебера и о книге Шрадера. Перевод Вебера идет у меня вдвое медленнее, чем я думал. Но, быть может, и найду возможным сделать, как думал: не писать самому, а диктовать; тогда, разумеется, у меня будет оставаться время для другой работы. Около 1-го числа

отправляю в Москву листов 11 перевода. Теперь я перевожу 625-ю страницу. В предыдущей посылке перевод останавливался на 505 странице. Радуюсь, мой друг, что у тебя все устроилось, как ты желал. Вероятно, будешь счастлив. Целую тебя. Будь здоров. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

968

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 9 августа 1885.

Милый друг Сашенька,

Давно я не писал тебе. Все время было занято у меня переводом Вебера. Но вот, наконец, могу хоть на один вечер оторваться от этой работы, подвигающейся вперед гораздо медленнее, чем я рассчитывал.

Мое молчание имело причину, как видишь, очень резонную. Но все-таки продолжительность его составляет вину, которая должна быть искуплена; искуплена, разумеется, длинным письмом. Но о чем же писать, чтобы письмо было длинное?

Из настоящего не о чем. «Перевожу Вебера» — больше нечего писать о настоящем; да и это уж написано. Следовательно, материалы для письма надобно взять из прошлого. Ты говорил, чтобы я делился с тобою своими литературными воспоминаниями. Я и вздумал употребить этот вечер на то, чтоб рассказать тебе что-нибудь из них. Хотел писать о Некрасове. Но это заняло бы не один вечер. А я имею только один свободный. Перебирал я в мыслях другие темы. Но все они оказывались тоже слишком обширны. Взглянул — на столе лежит июньская книжка «Русской мысли». Вот и прекрасно. Напишу что-нибудь по поводу «Автобиографии» бедного больного чудака, моего бывшего приятеля, бегавшего от меня в последнее время моей петербургской жизни.

[От Ред. Дальше в тексте письма Чернышевского следует рассказ об обстоятельствах расхождения Чернышевского и Костомарова. Рассказ этот выделен редакцией из письма и перенесен в первый том наст. изд., стр. 757.]

Пора кончить письмо. Будь здоров, мой милый. Целую всех твоих. Целую сестер и братьев. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

Оленька осталась очень довольна тем, каково теперь твое здоровье. Она нашла, что ты стал гораздо свежее и крепче того, каким она видела тебя прошлое лето. Она посылает свои приветствия твоим и тебе.

Когда буду опять иметь свободный вечер, напишу тебе еще

что-нибудь из своих воспоминаний; быть может, какие-нибудь заметки к тем из стихотворений Некрасова, о которых слышал что-нибудь от него или сам знаю что-нибудь.

Будь здоров.

969

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[10 августа 1885.]

Милый друг Миша,

Твоя маменька очень довольна тем, что посмотрела на Вас. Ей чрезвычайно понравились ваши дружеские отношения между собою, и она уверена, что вы будете жить счастливо. Отношения Елены Матвеевнина батюшки к ней тоже были очень приятны для нее, и она все расхваливает его мне. Вчера послала (через вас) телеграмму ему, поздравляя его с именинами.

От Вас, Елена Матвеевна, она в совершенном восхищении. Если Вы хоть наполовину такая милая, как она уверяет меня, то Вы уж одно из чудес вселенной. Но, должно быть, Вы в самом деле очень милое существо.

Я хвалился тебе, Миша, что отправлю кусок перевода Вебера около 1 августа. Отправил только уж 5-го числа. Это 505—704 страницы подлинника. Страниц 20 наберется выброшенных рассуждений автора, неудобных для перевода на русский язык. — Остается перевести еще 147 страниц, и перевод I тома будет кончен. Думаю покончить около 28 числа; вероятно, не успею; но к 1 числу, вероятно, переведу.

Милый мой друг, напиши мне, что ты думаешь о своем брате. Пишу несколько строк ему.

Будьте здоровы, мои милые друзья. Жму вашу руку, Елена Матвеевна. Жму твою руку, Миша. Ваш Н. Ч.

Р. С. Посылаю ныне длинное письмо твоему дяде Александру Николаевичу. Ты скажешь ему, что письмо написано собственно для того, чтоб он делал с ним, что ему вздумается.

970

Ю. П. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 26 августа 1885.

Милая сестрица Юленька,

Поздравляю Вас с именинником (который будет, вероятно, уж только бывшим именинником, когда Вы получите это письмо) и (это, для нас теперь настоящею; для Вас, когда Вы будете читать письмо, уж давным-давно бывшею) именинницею.

Поздравляю саму Вас, Наташа.

Пишу опять Вам, Юленька. Не придумаете ли хоть Вы, какие советы мог бы я дать моему сыночку, Вашему племянничку, престарелому младенцу? — Сам я решительно не умею сообразить, к чему мог бы он стать пригодным, чем бы мог добывать себе кусок хлеба.

Целую Вас и всех ваших, милая сестрица. Ваш *Н. Ч.*

971

А. Н. ПЫПИНУ

[Астрахань. 26 августа 1885.]

Милый друг Сашенька,

Недели две тому назад я послал тебе заметки о двух эпизодах автобиографии Костомарова. Если хочешь, напишу и о других, на какие обратишь ты мое внимание, полувоспоминаниях, полуфантазиях его. Или о чем-нибудь ином, лично для тебя интересном. — Перевожу Вебера. Работа идет медленно. Потому не успел я еще приняться ни за какую из тех двух статей, которые хочу написать по книгам, присланным мне тобою.

Будь здоров. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

972

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 3 сентября 1885.

Милый друг Миша,

Ныне я отправил Е. Ф. Коршу окончание перевода первого тома Вебера (страницы 704—854; страниц 30 выброшено мною по неудобству находящихся на них рассуждений для русской печати).

Целую Елену Матвеевну и тебя.

Кланяюсь всем родным. Твой *Н. Ч.*

973

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

2 октября 1885.

Милый друг Миша,

Поздравляю тебя с днем твоего рождения.

Нас, твою маменьку и меня, — очень радует, что твои дела идут хорошо.

Ты прекрасно сделал, что послал подарок твоей тетеньке Эрминии Сократовне. Я не могу представить, как живет она, бед-

няжка, больная и одинокая, на те ничтожные деньги, которые составляют весь ее доход.

Твоя маменька вчера встала с постели. Она лежала целую неделю. Невозможно ей жить так, как приходится ей жить здесь. Я думал, что она проведет побольше времени в Петербурге и в Саратове; там ей легче, и она отдохнула б, если бы пожила там подольше. А здесь ей очень тяжело.

Я, разумеется, совершенно здоров.

Благодарю милую Елену Матвеевну за ее расположение ко мне. Жму ее руку.

Желаю тебе и ей здоровья.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

974

В. Н. ПЫПИНОЙ

25 октября 1885.

Милая Варенька,

Прости меня, что очень редко пишу тебе. За то, что ты пишешь нам часто, я очень благодарен тебе. Письма от тебя, от Миши и его жены — главнейшие удовольствия Оленьки. Всегда она радуется, когда почтальон отдает ей письмо от тебя или от них. И дает ему награды.

Миша, повидимому, устроил свои дела хорошо. Судя по письмам нашего с тобою брата Сашеньки, и у всех других наших в Петербурге жизнь идет по крайней мере так же, как прежде, — то есть у всех, кроме Сережи, удовлетворительно. Мой Саша, повидимому, хочет держать себя благоразумнее прежнего. Бедные Сережа и Виктория Ивановна! Такое тяжкое мучение видеть это ужасное состояние бедного страдальца сына. Каково-то переносит свое горе Петя.

Мое здоровье совершенно хорошо.

Пиши, каково здоровье милого дяденьки. Передай ему, что я целую его.

Целую твою руку, милый друг. Будь здорова. Целую тебя. Твой Н. Ч.

Оленька крепко целует тебя и милого дяденьку.

975

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

28 октября 1885.

Милый друг Миша,

Твоя маменька прочла мне твое письмо, в котором ты говоришь, что тебе должно выбрать одно из двух мест — или при Закавказской дороге, или при Оренбургской.

Соединение этих двух служб казалось мне проектом не только неудобноисполнимым, но и могущим повести тебя к потере обеих служб. И там и здесь решили бы: «не успеваешь работать; уволим его». Пусть бы ты и успеваешь, это все равно: казалось бы и в том и в другом месте, что ты пренебрегаешь своими обязанностями в нем для другой твоей должности. Не могло быть, чтобы долго оставались довольны тобою и здесь и там; неизбежно сформировалось бы и там и здесь убеждение, что лучше будет дать тебе отставку.

Я не писал тебе своего мнения, потому что опасался: ты обидишься. Но теперь, когда ты непрочь услышать мнение твоей мамы и мое, я не затрудняюсь, исполняя ее желание, написать, что мы с нею оба находим рассудительным твое соображение о предпочтительности для тебя службы при Закавказской дороге. Нам кажется, что при этой дороге ты имеешь прочную службу и что если ты будешь неизменно держаться людей, давших тебе место на этой службе, то ты через несколько лет будешь занимать важное положение, иметь очень хорошие средства к жизни. Держись этих людей.

На Оренбургской дороге у тебя не было бы, я полагаю, ничего лучшего впереди; так и оставался бы ты с первоначальным твоим жалованьем или разве немного большим первоначального, до какой-нибудь перемены в администрации дороги, и был бы вытолкнут каким-нибудь новым начальником, желающим отдать твое место своему клиенту. Эта перспектива — самая вероятная.

Держись тех людей, которые дали тебе службу на Закавказской дороге.

Передай мой поклон тем, кого я люблю и кому благодарен.

Целую Елену Матвеевну.

Будь здоров. Целую тебя. Жму твою руку. Твой И. Ч.

976

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 29 октября 1885.

Милый Сашенька,

Вот нашелся у меня досуг продолжать передачу тебе моих воспоминаний о Н. И. Костомарове. Прежде всего расскажу, что знаю и что думаю о том эпизоде его жизни, о котором, в частности, спрашиваешь ты, — о его отношениях к Наталье Дмитриевне Ступиной. [От ред.: см. I том наст. изд.]

7 ноября [1885.]

Несколько дней лежало у меня это письмо. Думал, что найду досуг продолжать его. Но все не находил. И теперь недели две не буду иметь досуга. Потому рассудил послать то, что успел написать. — Будь здоров, мой милый друг. Целую тебя. Твой И. Ч.

977

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

31 октября 1885.

Милый друг Миша, поздравляю тебя с именинами.

Сделай для именин доброе дело: напиши своей маменьке, что присоединяешь свои просьбы к моему ходатайству перед нею в пользу Натальи Васильевны. Твоя маменька все грозит отдать кому-нибудь эту бедную девицу.

Но хочу дать тебе еще одно поручение: наблюдай за тем, чтобы хотя изредка нам с тобою обмениваться несколькими строками; а то — я не пишу тебе, ты не пишешь мне, и оба мы думаем, что это прекрасно. Меня осенила мысль, что это менее похвально, нежели нам с тобою казалось. Будем иной раз и писать друг к другу.

Целую милую Елену Матвеевну. Целую тебя.

Будьте здоровы. Твой Н. Ч.

978

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 7 ноября 1885.

Милый Сашенька,

Ты в письме от 29 сентября говоришь, что долго не находил досуга отвечать на мои письма; вот и я отвечаю на твое письмо через месяц после того, как стал искать досуга отвечать. А у тебя хлопот побольше, чем у меня.

Письмо мое вышло длинно; я хотел прибавить еще столько же к тому, что успел до сих пор написать. Но, быть может, довольно и того, что уж написано.

С твоим мнением о Костомарове я совершенно согласен.

Ты говоришь: «в последние десятки лет у него образовалось весьма пессимистическое отношение к прошедшему и при этом склонность собственные неудачи сваливать на кого-нибудь другого»; — да, его «Автобиография» свидетельствует о верности твоего отзыва.

Из этих свойств, говоришь ты, «выходит иногда простая неправда»; — да, выходит, и очень часто выходит в его «Автобиографии».

Ты продолжаешь: он рассказывал выдумки не знающим фактов, ему верили, и он, при своем упрямстве, пожалуй, кончал иногда тем, что сам верил своим выдумкам. Вероятно, иногда ему и самому действительно становилось мудрено разобрать,

в чем правда, в чем выдумка; это бывало, как мне казалось, в годы знакомства моего с ним; после, вероятно, это развилось еще больше.

Пора отправить письмо.

Целую Юленьку и ваших детей.

Оленька посылает им и тебе свои приветствия и поцелуи.

Будьте здоровы все. Будь здоров ты, мой милый. Благодарю тебя за твое письмо от 29 сентября. Твой *Н. Ч.*

979

А. В. ЗАХАРЬИНУ

Астрахань. 10 ноября 1885.

Добрый друг Александр Васильевич,

Благодарю Вас за неутомимые Ваши заботы обо мне.

Будьте добры, передайте мою благодарность Солдатенкову. И Коршу тоже.

Вы хотите сам заняться переводом мест мелких шрифтов книги Вебера на расчет по наиболее крупному из трех шрифтов? — Конечно, я благодарен Вам за это намерение. Но работа будет довольно большая: шрифты меняются очень часто. Не может ли исполнить эту работу фактор типографии, где печатается книга? — У него уж ведется счет страниц каждого шрифта по выдачам платы наборщикам. Для него это будет дело пяти минут, подвести итоги уж готовым цифрам. — Но, как Вы найдете лучшим, так и решайте. Только не присылайте на одобрение мне расчет, какой будет сделан. Будет ли он сделан типографией, или конторою Солдатенкова, или Вами самим — все равно: я вперед знаю, что он будет правилен; потому мое одобрение ему даю теперь же. — А вообще прошу Вас быть всегда уверенным, что по всякому вопросу о моих интересах Ваше решение — наилучшее по моему мнению, и, следовательно, когда принимается Вами, то уж и одобрено мною.

Мне не хотелось бы, чтобы издание книги Вебера принесло убыток Солдатенкову. А я опасаясь, что будет так, если это будет продолжаться так, как я начал. Когда я писал Вам, что русское издание Вебера должно дать выгоду, у меня был другой план работы: я хотел не просто переводить все целиком, как делаю теперь, а сокращать, переделывать и немножко пополнять; объем книги уменьшился бы, и читать ее было бы занимательнее. Но я предпочел сначала попробовать, будет ли порядочно распродаваться простой перевод всего целиком. Посмотрим, что окажется по выпуске первого тома в продажу. Если будет казаться, что в нынешнем своем виде это предприятие должно принести убыток издателю, то мы видоизменим его, как

я нахожу лучшим. Тогда материальный успех издания будет верен. Но об этом после, если понадобится.

Я полагаю, что получаемые мною деньги идут несколько вперед сравнительно с тем, сколько приходилось бы по расчету за количество перевода, находящееся на руках Корша при отправлении мне денег. Прошу Солдатенкова и Корша быть попрежнему снисходительными ко мне в этом отношении. Через несколько времени буду посылать куски перевода покрупнее тех, какие посылал до сих пор, и баланс восстановится. Для этого нужно мне только приняться диктовать. Я все собираюсь; и соберусь как-нибудь. Тогда перевод пойдет быстро, и у меня будет еще оставаться время для журнальной работы. Я все отлагаю приняться диктовать, потому что не знаю, могу ли без вреда для себя начать работать для журналов. Хочу для пробы написать маленькую статейку и послать Вам. Вы увидите, лучше ли будет бросить ее или для меня уж нет опасности писать журнальные статьи.

Кстати, о журнальной работе. Несколько месяцев тому назад Гольцев написал мне, что я могу помещать статьи в «Русскому мысль». Я до сих пор не отвечал ему. Если Вы знакомы с ним, попросите его не считать моего молчания невежливостью. Я рассудил, что лучше будет не отвечать до той поры, когда мне покажется, что я могу заняться журнальной работою.

Даже и Вам, добрый друг, долго не писал я. Не написал бы и теперь, если бы не надобность отвечать на Ваши вопросы.

Не стоит Вам и Сашеньке выписывать для меня на следующий год никаких иностранных журналов. Это бесполезная трата денег. Не делайте ее.

Я совершенно здоров. Здоровье Оленьки изредка бывает не совсем дурно, но большею частью она болеет.

Она посылает свои задушевные приветствия Елене Васильевне и Вам.

Прошу передать мое глубокое уважение Елене Васильевне.

Жму Вашу руку. Еще раз благодарю. Ваш *Н. Чернышевский*.

980

В. Н. ПЫПИНОЙ

26 ноября 1885. Астрахань.

Милый друг Варенька,

Поздравляю тебя с днем твоих именин. Желая, чтобы ты могла давать себе хоть немножко отдыха от лежащих на тебе забот. Когда ты жила хоть сколько-нибудь для себя самой? Разве тогда, когда была маленьким ребенком. А с той поры вся жизнь твоя была только заботою о других. В числе других

и обо мне. Я тогда не умел быть благодарным тебе. Как шла бы жизнь нашего с тобою семейства без твоих забот? Все наши с тобою старшие были обязаны тебе спокойствием своим, всеми удобствами своей жизни. И я тоже в те годы, которые прожил в Саратове перед отъездом в университет и по окончании курса. А потом как заботилась ты об Оленьке и наших с нею детей! Благодарю тебя, милый друг.
Поцелуй за меня милого дяденьку.
Будь здорова. Целую твои руки. Твой *Н. Ч.*

981

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[17 декабря 1885.]

Поздравляю Вас с наступающим праздником, милые друзья Елена Матвеевна и Миша. Желаю Вам быть здоровыми. Целую Вас. Ваш *Н. Ч.*

982

Ю. П. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 22 декабря 1885.

Милая сестрица Юлия Петровна,
Поздравляю Вас с наступающим новым годом. Желаю Вам и всем Вашим доброго здоровья и всего хорошего.
Будете писать Аделаиде Петровне и Гаврилу Родионовичу, то передайте им, что любовь к ним остается во мне прежняя.
Когда-то мне удастся взглянуть на Вас, милая сестрица, и познакомиться с Вашими деточками? Не будет ли Вам возможности устроить в следующую навигацию поездку к нам?
Жму Вашу руку. Целую Вас. Ваш *Н. Чернышевский.*

983

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. [22 декабря 1885.]

Милый друг Сашенька,
Пишу кстати и тебе. Когда будешь иметь досуг отвечать, то скажи, как ты думаешь теперь о моем Саше: стал ли он больше прежнего походить на обыкновенного рассудительного человека, и можно ли надеяться, что он устроится сносным образом?
Получил ли ты вторую половину моих заметок о Костомарове? Я послал ее месяца полтора тому назад страховым письмом.

Когда будешь писать, не забудь сообщить свой адрес. Мы до сих пор не знаем его.

В эти три недели я делал свой перевод Вебера диктовкою. Потому работа подвигалась несколько быстрее прежнего. Если это будет продолжаться, то через несколько времени я буду иметь досуг начать писать для журналов.

Будь здоров, мой милый друг. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

984

И. И. БАРЫШЕВУ

Астрахань. 28 декабря 1885.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Я получил триста рублей, посланные Вами мне при письме от 18 декабря. От всей души благодарю за них.

Я получил также 9-й том немецкого подлинника «Всеобщей истории» Вебера и «Указатель» (Register) к 5—8 томам этой книги. Благодарю и за них.

В первых числах января отправлю на Ваше имя следующий кусок перевода. — В нем лишь меньшая часть писана моею рукою; я большею частью диктую перевод.

Я писал Е. Ф. Коршу, что мне не хотелось бы, чтоб издание книги Вебера, предпринятое единственно по доброжелательству ко мне, принесло убыток. Теперь, быть может, уж видно Вам, будет ли оно окупаться, если будет продолжаемо в том характере простого перевода, без переделок, в каком начато. Если, как я опасуюсь, оно, при сохранении этого характера, было бы убыточно, то я полагал бы дать продолжению его такую форму, которая пришлось бы более по вкусу русским читателям и обеспечило б успех русского издания.

Прошу Вас принять уверение в том, что мое уважение к Вам — чувство уж довольно давнее. *Н. Чернышевский.*

Мой нынешний адрес:

Астрахань, Канава, у Ивановского моста, дом Джанумовой.

985

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

Астрахань. 26 января 1886.

Милые друзья Елена Матвеевна и Миша,

Я очень хвалю Вас за аккуратность в переписке с Вашею мамашею. Ваши письма — главная радость ее. Если почта запо-

здает одним днем, она уже тревожится за Вас. А каждый раз, как почтальон приносит Ваше письмо, она в восторге. Пожалуйста, будьте и вперед аккуратны, как были до сих пор.

Если хотите угодить Вашей мамаше, миленькая Елена Матвеевна, то постарайтесь Ваше расположение ко мне распространить на моего молодого приятеля, юношу очень милостивой наружности (хотя не красавца), одаренного очаровательным характером и замечательным умом; имя его — «Мурлышенька»; он пестренький, серый с белым. Посылая поцелуи ему через его воспитательницу, Вы можете быть уверены, что они будут переданы.

То, что ты пишешь, Миша, о развязке дела по прорытию тоннеля под Сурамским перевалом, было известно нам из газет за несколько дней до получения твоего письма. Мне казалось, что этим обеспечивается будущность железной дороги и что поэтому следует считать развязку благоприятной. Она менее выгодна для вас, чем вы желали бы; но я ждал другого решения, гораздо худшего для дороги, — я полагал, что решат отсрочить постройку тоннеля на неопределенно долгое время. Притом дорога имеет интерес более важный, чем те выгоды, которые могли бы доставить ей подряды по постройке тоннеля; она гораздо больше выиграет, если будет восстановлен транзит западно-европейских товаров; прекращение его не принесло русским фабрикантам той пользы, какой они ожидали; и, быть может, хлопоты о его восстановлении имеют теперь шансы успеха.

Будьте здоровы, мои милые. Кланяйтесь родным.

Целую Вас. Ваш Н. Ч.

986

К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ

[1 февраля 1886.]

...Продолжаю переводить, как переводил до сих пор, вполне и без переделок. Но те Ваши слова, которые служат ответом на высказанное мною опасение, что издание Вебера будет приносить убыток Вам, кажутся мне подтверждающими это мое предположение. Я с самого начала Вашей издательской деятельности знал, что Вы сделались издателем единственно по желанию быть «полезным для других», и постоянно видел это по фактам Вашей деятельности, что она имеет характер пожертвования для «пользы других». Теперь Вы делаете пожертвование для пользы мне. Я с признательностью принимаю его. Я вперед знал, что будет так. Но мне хотелось бы, чтобы книга, издание которой Вами доставляет мне средства к жизни, была и для Вашего имени и для русской публики более хороша, нежели какова она в своем немецком виде. Я медлил ответом на Ваше

письмо, приискивая способ изложить Вам мой план переделки. Но прошло столько времени, что медлить долее было бы слишком неловким нарушением учтивости. Потому я рассудил ограничиться просьбою извинить мое долгое молчание. Изложение плана переделки отсрочу до приобретения возможности прислать Вам образец работы. Когда это будет, не умею определить. А пока прошу Вас быть уверенным, что Ваше желание относительно продолжения перевода без выпусков и переделок будет исполняемо мною до того времени, когда получу Ваше согласие заменить перевод переделкою.

987

А. В. ЗАХАРЬИНУ

Астрахань. 1 февраля 1886.

Добрый друг Александр Васильевич,

Я должен очень благодарить Вас за доставленный мне Вами перевод Вебера.

Солдатенков поступает относительно меня совершенно так, как Вы ожидали. Он делает для меня больше, нежели мог бы я сам желать.

Вместо того, чтобы дополнять плату за перевод по перечислению страниц мелкого шрифта на крупный, как он говорил Вам, он рассудил просто увеличить плату с 25 р. за лист до 30 р. По моему приблизительному расчету, это составляет прибавку больше той, какая выходила бы от переложения мелкого шрифта на крупный.

За перевод первого тома я получил 1 590 рублей.

Этот расчет сообщил мне И. И. Барышев, заведующий изданиями Солдатенкова.

И. И. Барышев прибавил, что просит меня присылать перевод прямо на его имя. — Отвечая ему, что благодарю Солдатенкова (и его, разумеется), я повторил то, что уже писал Вам (и Коршу): мне не хотелось бы, чтоб издание, предпринятое единственно по доброму расположению ко мне, давало убыток издателю, а я опасаюсь, что будет так, если продолжать перевод целиком и без переделок; и если окажется, что это мое опасение оправдывается фактом, то буду сокращать и переделывать книгу, которая в этой переделке не будет приносить убыток издателю.

На эти мои мысли, выраженные в письме к И. И. Барышеву, отвечал мне сам Солдатенков очень любезным письмом, существенное содержание которого таково:

«Прошу продолжать перевод без сокращений. — В будущем феврале месяце исполнится тридцать лет моей издательской деятельности; в течение всего этого времени, я был чужд материаль-

ного вознаграждения, и, пока жив, не переменю моего убеждения: буду продолжать издавать книги, чтобы доставлять пользу другим».

Я получил это письмо недели две тому назад и отвечаю только ныне. Переписываю здесь существенные места моего ответа.

Дело в том, что я до сих пор не собрался и не знаю, когда соберусь осмотреть библиотеки здешних гимназий и семинарий, взять оттуда книги, какие найдутся пригодные для исторической работы, выписать те необходимые, которых не найдется здесь. Все собираюсь и все отлагаю до более удобного времени.

Ольга Сократовна посылает свои приветствия Елене Васильевне и Вам.

Целую руку Елены Васильевны, жму Вашу. Ваш *Н. Чернышевский*.

988

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

14 февраля 1886.

Милый друг Миша,

Я получил вчера письмо от Николая Федоровича Хованского, которого знаешь, быть может, и ты, а наверное знает твой дяденька Александр Николаевич, как человека очень трудолюбивого и добросовестного. Вот что пишет он:

«Нельзя ли при содействии Михаила Николаевича получить мне место на новостроящейся Самаро-уфимской линии? Теперь туда много назначают (служащих). А у меня есть аттестат о службе на Тамбово-саратовской дороге, аттестат отличный».

Он просит тебя очень усердно. Положение его в Саратове плохое. Он редактор «Сарат[овского] дневника»; работает с утра до ночи, а вознаграждение ничтожное. Посоветуйся с Александром Васильевичем, не найдется ли возможность сделать что-нибудь для человека, вполне достойного.

Передай мои поклоны и приветствия твоей маменьке, Александру Васильевичу и Елене Васильевне.

Тоже твоим дядям, теткам и их семейным. Дяде Александру Николаевичу скажи, что я получил его письмо, отправленное в начале этого месяца. На-днях буду иметь досуг написать для него воспоминания о старине, которые он хочет иметь.

Напиши, мой друг, как ты думаешь о том, что я должен посоветовать твоему брату. Его жалованье, как я полагаю, очень невелико, и я думаю, что он сильно нуждается. — Между нами, выскажи мне без церемоний, к чему он мог бы быть способен, — ты знаешь его лучше, нежели я, — и чем, по твоему мнению, должен я помочь ему.

А ему скажи, что я получил его письмо от 29 января и собираюсь отвечать ему.

Целую Елену Матвеевну и тебя.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

989

И. И. БАРЫШЕВУ

18 февраля 1886.

Милостивейший государь Иван Ильич,

Получив посланные Вами мне триста рублей и письма Ваши от 5 и от 7 февраля, благодарю Вас за добрую заботливость обо мне.

Около 1 марта отправлю на Ваше имя еще несколько листов перевода; полагаю, что если не случится мне быть больным (чего, надеюсь, не случится), то около 1 апреля отправлю Вам перевод последних листов 2-го тома Вебера.

Перевожу попрежнему — все целиком и без всяких перемен. Вы пишете, что 1-й том продается «хорошо»; едва ли «хорошо», но если не очень плохо, то это уж лучше, нежели я ожидал.

Прошу Вас сказать мне, не думаете ли Вы, что мне следовало бы вести работу менее медленно, чем было до сих пор. Если следует, то найду грамотного человека, у которого больше свободного времени писать под мою диктовку, чем у случайно занимающихся этим не совсем грамотных людей, попадавших мне для диктовки. При постоянной диктовке грамотному человеку перевод может подвигаться вперед быстрее, при таком же количестве употребляемого на него мною труда.

Прошу Вас принять уверение в искренней моей признательности за Ваше доброе расположение ко мне. Ваш Н. Чернышевский.

990

И. И. БАРЫШЕВУ

Астрахань. 20 марта 1886.

Милостивейший государь Иван Ильич,

Третьего дня я отправил на Ваше имя последний кусок перевода 2-го тома Вебера. — Пишу Вам, впрочем, не затем, чтоб известить Вас об этом, а для того, чтобы попросить Вас об одолжении: если Вы не посылали мне денег на этих днях, то будьте добр, пошлите, сколько найдете возможным.

Прошу Вас, не подсадите на меня за то, что делаю Вам беспокойство.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский.*

Мой адрес: Астрахань, у Воздвиженья, дом Полетаевой.

991

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

Астрахань. 5 апреля 1886.

Милостивейший государь Иван Ильич,
Получив посланные Вами от 27 марта на мое имя шестьсот (600) рублей, от всей души благодарю Вас за доброе расположение, с каким Вы исполнили мою просьбу.

Около 20 числа отправлю Вам начало перевода 3-го тома Вебера; перевозжу попрежнему — вполне и без всяких перемен.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский.*

992

Ю. П. и А. Н. П Ы П И Н Ы М

7 апреля 1886. Астрахань.

Милая Юленька,

Поздравляю Вас и всех Ваших — конечно, и Аделанду Петровну и Гаврила Родионовича, которых люблю, как моих родных, — с наступающим праздником. Оленька собирается съездить на несколько дней в Саратов, потом довольно надолго поехать в Петербург. — Советуйте Сашеньке как можно меньше писать своей рукою, как можно больше диктовать; когда диктуешь, работа бывает в десять раз менее тяжела и идет в полтора раза быстрее.

Милый Сашенька, все собираюсь писать для тебя свои воспоминания. Прости, что не мог до сих пор приняться за это дело. Думаю, буду иметь несколько досуга для него недели через две. Будьте здоровы все. Целую Вас. Ваш *Н. Ч.*

993

М. Н. и Е. М. Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К И М

14 апреля 1886.

Милая Варенька, Оленька хотела писать тебе; но прежде Поздравляю Вас с праздником. Все три «милые барышни» Вашей мамаша вышили ей к празднику по подарку, очень ми-

лону. Она хлопотами перед праздниками утомилась; за то приготовления ее к празднику вышли хорошие.

Милый Миша, я полагаю, что просьба Хованского, которую я передавал тебе, оказывается неудобноисполнимою; но ты все-таки положительно напиши это твоей мамаше или мне, чтобы мы могли отвечать Хованскому не по собственному только соображению, а на основании факта.

Будьте здоровы, мои милые друзья.

Целую Вас. Передайте мои приветствия родным. Ваш *Н. Ч.*

994

В. Н. ПЫПИНОЙ

14 апреля [1886.]

Милая Варенька,

Поздравляю милого дяденьку и тебя с праздником. Поздравляю Катеньку.

Оленька собирается ехать к вам, как только станет потеплее. Теперь еще и здесь на Волге холодно.

Целую вас. Будьте здоровы. Ваш *Н. Ч.*

995

Е. С. ВАСИЛЬЕВОЙ

14 апреля 1886.

Милая сестрица Миночка,

Поздравляю Вас с праздником.

Оленька ждет только теплой погоды, чтобы ехать к Вам.

Каково же теперь Ваше здоровье? Становится ли хоть немножко получше с наступлением весны? Целую Вас. Ваш *Н. Ч.*

996

В. Н. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 22 апр[еля] 1886.

Милая Варенька, Оленька хотела писать тебе; но прежде начала писать Миночке и устала до такой степени, что не могла продолжать сидеть, легла. Она только ныне утром встала; пробыва в постели пять дней. Перед тем чувствовала [себя] не совсем хорошо, но через силу ходила. Вдруг сделалась такая жестокая ревматическая боль, что пришлось лечь и послать за медиком. Ныне опять может ходить по комнате, но с трудом.

Единственное — точнее, двойственное — утешение Оленьки

составляют два котенка, из которых старший величиною стал уж больше обыкновенного взрослого кота, но продолжает поступать, как малютка: ложится на грудь Оленьке, — а сам такой огромный и толстый, что даже мне тяжело держать его на коленях; ляжет на грудь Оленьке, и спит; она не может пошевелиться, опасаясь разбудить миленького «Мурлышеньку», — такое имя получил он за свое желание и умение смягчать сердца слушателей нежными руладами. Он очень умен и отличается очаровательным характером. Другой котенок, «Матросенька», пока еще остающийся действительно котенком, такой шалун, каких мало между его сверстниками. — Смех смехом, но забавы этих двух наших приятелей несколько развлекают нас; без котят было бы нам с Оленькою вовсе тоскливо.

Целую милого дяденьку. Целую Катеньку и ее детей. Будьте здоровы все.

Целую твои руки, милый наш друг. Пиши Оленьке. Твои письма всегда радуют ее. Будь здорова. Твой *Н. Ч.*

997

И. И. БАРЫШЕВУ

Астрахань. 24 апреля 1886

Милостивейший государь Иван Ильич,

Получив посланные мне Вами при записке от 16 апреля триста рублей (300 р.), искренно благодарю Вас за них.

Прошу Вас также принять мою благодарность за присланные мне Вами десять (10) экземпляров перевода 2-го тома книги Вебера.

Начало перевода 3-го тома я отправил на Ваше имя 19 апреля. Около того же числа следующего месяца отправлю второй кусок этого перевода.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский.*

998

В. Н. ПЫПИНОЙ

30 апреля 1886. Астрахань.

Милая Варенька,

Оленька передаст тебе мою просьбу о том, чтобы ты навестила меня, и деньги на поездку. Пожалуйста, приезжай.

Целую тебя, милый друг. Будь здорова. Приезжай. Твой *Н. Ч.*

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 1 мая 1886.

Милый мой дружок Оленька,

Спокойно ли было твое плавание? — Здесь вчера вечером ветер утих, и ныне, хотя возобновился к поре полудня, но с меньшею силою; ночь будет, вероятно, вовсе тихая. Но так ли на Волге вверху?

Я еще не знаю, в каком часу вечера ушел пароход, на котором теперь плывешь ты. Думаю, что он ушел уж только поздно вечером.

Возвратившись домой (на извозчике, в исполнение твоего приказанія), я до 9 часов диктовал перевод.

Мурлышка и Матроска очень тосковали вчера и от огорчения вовсе потеряли аппетит. Мало ели и нынче утром, и за обедом. Матроска ночевал в кухне, и, по справкам о его поведении, я должен похвалить его тебе: говорят, что он держал себя совершенно смирно. Мурлышка в определенный его соображениями час итти поздравить тебя с добрым утром начал выражать свои чувства у затворенной двери твоей комнаты. Я отворил ее. Он вошел; не нашедши тебя, начал плакать; отправился разыскивать тебя по всем комнатам; в каждой осмотрится и возобновляет плач. Дав ему осмотреть все комнаты и после того опять повертеться и поплакать в твоей комнате, я отнес его к себе, затворил дверь, положил его на постельку, лег сам и снова уснул; пока не заснул крепко, слышал жалобное мурлыканье своего компаньона; проснувшись, увидел его лежащим на его постельке: попрежнему лежит и жалобно мурлычет. — Все утро не играл он с Матросенькою; а этот, по легкомыслию молодости, временами принимался играть с армянским малюткою, которого я велел принести для его развлечения (и покормил, разумеется). Но временами и Матросенька, бросая игру, плакал. — Не сомневайся, мой дружок, в том, что я буду как должно присматривать за нашими с тобою приятелями и буду кормить их во-время. Завтра или послезавтра аппетит их восстановится, без сомнения.

Обед у меня ныне приготовлен хорошо. Он состоял из супа с перловой крупой, пирог с морковью и яйцами, жареная картофель. — Не беспокойся, мой миленький дружок, о моей еде: буду есть хорошо.

Как утомлена была ты вчера, моя миленькая Лялечка! — Я много раз всматривался в твое личико, когда ты угощала чаем пришедших на пароход провожать тебя. Мне было грустно видеть тебя такую изнуренную. Голубочка моя, постарайся возвратиться ко мне хоть немножко отдохнувшею. Милочка моя, пожалуйста, побереги свое здорье.

Обо мне не беспокойся. Не беспокойся и о том, сберегу ли вещи. Буду беречь.

Вот сейчас принесли письмо к тебе, — от кого, не мог разгадать по почерку адреса. Чтоб оно поместилось в конверт этого моего письма, я загнул окраинки его конверта.

Когда надобно будет моему молодому помощнику отдохнуть, я отнесу это письмо на почту. Комнат не буду оставлять пустыми. Вообще буду стараться делать все, как ты говорила мне.

Справлюсь на почте, как теперь отправляются письма отсюда. Сообразно тому, что скажут мне, pošлю следующее письмо к тебе 3-го или 4-го числа. До того времени надеюсь получить телеграмму от тебя из Саратова.

Целую дяденьку, Вареньку, Катеньку и ее детей.

Поцелуй за меня миленькую Миночку.

Не скажешь ли от меня брату Вареньки, Мише, как ты его зовешь, что если б он был уверен в своей способности перестать дурачиться, то, вероятно, ему было бы можно получить позволение переехать сюда и помогать мне.

Скажи Егорушке, что я «свидетельствую свое глубокое уважение милому братцу Егору Николаевичу Котляревскому».

Наши с тобою воспитанники посылают тебе приветствие: проснулись от послеобеденного отдыха, оба принялись опять искать тебя и по временам мяукают, обращаясь ко мне; ясно: просят уверить тебя в их неизменной любви.

Целую твои ручки и ножки, моя милая красавица. Будь здорова, миленькая моя Лялечка. Твой *Н. Ч.*

1000

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

2 мая 1886. Астрахань.

Миленький дружочек,

Сейчас принес почтальон письмо от Миши. Хочу, чтоб оно отправилось к тебе с нынешнею же почтою, а для того, чтоб это сделать так, надобно немедленно передать его на почту. Потому пишу тебе лишь несколько строк. — Чтобы письмо Миши вошло в мой конверт, перегибаю его.

У меня здесь все идет хорошо.

Вчера я писал тебе об этом подробно.

Буду писать послезавтра.

Комнаты остаются непустые: пришел мой помощник по переводу.

Целую Вареньку, Миночку и всех.

Целую твои ручки и ножки.

Будь здоровенькая, миленькая моя Лялечка. Целую и целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1001

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 4 мая 1886. Воскресенье.

Милый мой дружок Оленька,

Вчера утром я получил твою телеграмму о том, что ты доехала до Саратова хорошо. Благодарю тебя, моя голубочка, за то, что ты порадовала меня этим известием.

После обеда вчера навестила меня Сусанна Богдановна. Она говорила, что ты отослала с парохода и их, как меня; что дамы, поместившиеся в общей каюте подле тебя, очень много курили; — итак, они мучили тебя всю дорогу мерзким табачным дымом? — На обратном пути не пожалей денег взять на пароходе билет 1-го класса; прошу тебя, моя миленькая радость, исполни мою просьбу; если и найдутся в 1-м классе курительницы папирос, то каюта там гораздо просторнее и, по всей вероятности, больше половины мест останется не занято, потому тебе можно будет передвинуть курительниц в угол, противоположный твоему, и не страдать от их дыма. Пожалуйста, моя голубочка, сделай так.

Сусанна Богдановна говорила, что Маргарита Ивановна и она надеются иметь возможность исполнить твой совет, собираются ехать в Москву. На-днях она напишет тебе, сбудется ль надежда получить деньги на эту поездку. Если действительно поедут, уведомят тебя телеграммою.

Сусанна Богдановна передала мне адрес Миши.

Она осмотрела цветы. Впрочем, за ними присматривает мой молодой приятель.

Для развлечения Мурлышки и Матроски, продолжающих тосковать, он сделал из бумаги удобные для сиденья им кресла, подвесил эти кресла на веревочку, на которой висела в моей комнате игрушка для Матроски; Мурлышка побоялся сидеть на качелях, но Матроска был в восторге; качаясь, дурачился, вертелся, перегибался во все стороны и вниз, ловил веревочки, ловил игрушки, которые подставляли мы ему; наконец, изломал качальные кресла. Ныне художник сделает новые, и Матроска опять будет качаться; быть может, пример его ободрит и Мурлышку. — В первое утро по твоем отъезде Мурлышка требовал, как я тебе писал, чтоб я пустил его в твою комнату; на следующее утро уж не просил об этом: понял, что ты уехала. Очень умный парень, это действительно правда. Ходит по всем комнатам и плачет. Матроска, по легкомыслию своего возраста, менее постоянно тоскует; но временами плачет и он. Третьего дня оба они ели очень мало; вчера побольше, но все-таки гораздо меньше обыкновенного. В самом деле, очень тоскуют о твоем отъезде. — Беру армянского малютку играть с ними (и кормлю, разумеется).

Здесь у меня идет все хорошо. Стараюсь делать так, как ты говорила. Не беспокойся, моя миленькая радость, ни о моей еде, ни о целости вещей. Надеюсь, все будет бережено. — Мой помощник отдыхает от работы и делает новые прочные кресла для качанья Матроске; посмотрим, согласится ли качаться Мурлышка.

За обедом ныне будет пирог, как ты предписала.

Из квартиры ухожу, только когда остается в ней мой молодой помощник. 1 мая вечером он ушел в 8¹/₄ часов, чтобы успеть попасть к началу спектакля, которым открылся летний сезон. Игра новопривезшей труппы очень понравилась Константину Михайловичу; он говорит, что такой прекрасной труппы он еще не видел.

Работа у меня с ним идет успешно. Он приходил в эти дни рано, а ныне пришел в 9 часов утра. Что будет дальше, посмотрим; а пока он трудится усердно.

Целую дяденьку, Вареньку, Катеньку, ее детей.

Целую миленькую Миночку.

Будь здоровенькая, моя красавица. Целую твои ручки и ножки. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя Лялечка. Будь здоровенькая. Твой Н. Ч.

Р. S. Принесли письмо к тебе — кажется, от Миши. Влагаю в свой конверт. — Пирог (с рисом и яйцами) очень понравился Константину Михайловичу. Мурлышка кланяется тебе. Матроска спит. — Целую тебя. Будь здоровенькая.

Буду писать тебе 7-го числа.

Будь здоровенькая, моя красавица Лялечка. Целую и целую тебя.

1002

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 5 мая 1886.

Милый Сашенька,

Вчера получил я твое доброе письмо от 30 апреля. Благодарю тебя за него.

Начну ответ с того, чем давно смущаюсь я и о чем ты сообщалась мне сведения, слишком близко, к сожалению, совпадающие с моими предположениями, — с дела о здоровье моего Саши. Не умею рассудить, как помочь ему. Посоветуй ты; вероятно, я исполню твой совет.

Я думаю, что главная причина расстройства Саши — жалкое материальное положение его. Полагаю, что его дела в Петербурге не могу пойти сносно по его неспособности вести их порядочно.

Как же быть? Проще всего, повидимому, было бы поправить его переселением его сюда. Но его отношения к матери были прежде не таковы, чтоб это могло быть полезно для него. Она скоро приедет к вам (теперь она в Саратове; Варенька вчера выехала оттуда навестить меня; когда вернется в Саратов, Оленька поедет оттуда к вам). Присмотрись, уладятся ли отношения между Сашею и матерью. Если уладятся, то Саше можно будет жить при нас удобно и хорошо. Иначе жизнь при нас была бы вредна ему. — Есть другое решение: если работа по переводу Вебера не расклеится, то я могу посылать Саше рублей 400 в год. Но, во-первых, этого мало в Петербурге человеку, вовсе, или почти вовсе, не имеющему других доходов; во-вторых, я не умею разобрать, полезно или вредно для Саши получать деньги от меня. Его понятия о вещах так сбивчивы, что у меня есть опасение, умел ли бы он сохранить хотя ту маленькую склонность к приобретению куска хлеба трудом, надобным для других, какую имеет теперь; опасаясь, что, получая от меня деньги, он вообразил бы себя сыном богатого человека и совершенно зафантазировался бы. А быть может, ему и бесполезно иметь склонность к труду? — Повидимому, бесполезно: не умеет ничего делать. — Пока Солдатенкову не надоест издавать перевод Вебера (приносящий ему, как я думаю, значительный убыток), я могу посылать Саше рублей 400 в год.

Продолжаю о деньгах. Хотелось бы мне, пока могу работать, уплатить хоть какую-нибудь долю долгов, которые, по-моему, лежат на мне; хотелось бы собрать хоть маленькое обеспечение для Оленьки и для бедного Саши (Миша, кажется, сумеет прожить и собственным трудом). Потому хотелось бы писать для журналов, чтобы получать больше денег. Но не знаю, скоро ли можно будет мне писать журнальные статьи без вреда себе. Занимаясь исключительно переводом, по крайней мере не делаю себе вреда.

Потому посылаю тебе не только книгу Рогге (пять томов), но и «Биографию Брайта». Пока не стану думать, что могу писать для журналов, она тоже бесполезна мне. Посылаю и книжку Спенсера, которая вовсе не нужна мне.

Ты спрашиваешь, не понадобилась ли бы мне «новейшая литература, затрагивающая» времена, к которым относятся мои литературные воспоминания. Пока нет. Все не умею найти досуга для записывания своих воспоминаний. И скоро ли найду его, не знаю. А сами по себе эти книги не интересны мне. Я вообще довольно мало интересуюсь русскою литературою. Если б я надеялся скоро иметь досуг, то мне были бы нужны кое-какие справочные книги по философии, по всеобщей (не русской, всеобщей) истории. Мне все еще кажется, что я мог бы написать — не по-русски, разумеется, — что-нибудь пригодное для разъяснения некоторых вопросов по этим отраслям науки. Но — недосуг

заниматься ничем, кроме работы для денег. Потому никакие книги мне пока не нужны.

Кстати о книгах. Вчера я получил перевод Тацита, изданный Модестовым. Если тебе случится увидеться с Модестовым, побла[го]дари его от меня за доброе расположение.

Милый друг, очень жалею о том, что когда ты приехал повидаться со мною, я не умел понимать положения дел и потому говорил слишком много несообразного с обстоятельствами. Теперь вижу, что ты был прав, а я толковал вздор. Стыжусь, вспоминая об этом.

Завтра приедет сюда Варенька. Не знаю, надолго ли. Я получил только телеграмму, что она вчера выехала из Саратова. Хорошо было б, если б осталась хоть дней пять.

Целую Юленьку, Верочку, Наташеньку и всю свиту Юленьки. Целую сестер и брата.

Будь здоров, мой добрый друг. Целую тебя. Твой Н. Ч.

1003

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

6 мая 1886. Астрахань.

Милый мой дружок Оленька,

Приехала Варенька, о чем ты, вероятно, уж давно узнала из посланной ныне тебе телеграммы.

О времени прибытия парохода мне было сказано, что он придет часов в 8 или, быть может, получасом раньше; во всяком случае не в 7 часов, а позже. Я встал в 6 и, отперев дверь, вернулся в мою комнату немножко одеться, чтобы сказать кухарке о том, что встал и что отправлюсь в порт, не дожидаясь чаю, напьюсь возвратившись. Приодевшись, выхожу в переднюю — и вижу вошедшую Вареньку.

Когда выедет отсюда, она еще не решила. Но думает, что ждать до субботы не будет; завтра (в среду) не поедет; итак, выедет, вероятно, или в четверг или в пятницу. Утром в тот день, как соберется ехать, я пошлю к тебе телеграмму, которая, быть может, дойдет до тебя раньше этого письма.

Сколько я успел рассмотреть черты лица Вареньки в свое свиданье при проезде через Саратов, мне показалось теперь, что она в эти три года нисколько не переменилась.

Относя телеграмму, я кстати зашел к Мелькумовым сказать о приезде Вареньки; спросил, приехать ли с нею к ним, или звать их к себе? Федосья Мелькумовна отвечала: «Зовите нас к себе». — «Благодарю, зову». — «Хорошо, зайду после обеда», — отвечала она. — Завтра, вероятно, к Вареньке пойдет Сусанна Богдановна.

У меня здесь все хорошо.

Поздравляю дяденьку с днем его ангела и целую его. Целую Миночку, Катеньку и всех.

Пришло письмо от Миши. Влагаю в этот конверт.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая красавица.

Будь здоровенькая, моя Лялечка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1004

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

9 мая 1886. Астрахань.

Миленький мой дружок Оленька,

Благодарю тебя за то, что ты доставила Вареньке возможность навестить меня. Ныне она едет. Утром я получил твое письмо от 6 мая. Итак, ты думаешь привезти сюда дяденьку? Хорошо будет, если ты найдешь удобным для себя исполнить это намерение. Не утомит тебя ухаживанье за дяденькою на пароходе? И не тяжело для тебя будет сделать два переезда, сюда и обратно? Если эти труды не изнурят тебя, то прекрасна твоя мысль привезти сюда дяденьку.

Поздравляю его с днем ангела. Целую его. Если не изнурительно будет ему и тебе, то привози его. — Целую Катеньку и ее детей. Целую Миночку. Благодарю ее за письмо.

Прилагаю записку к тебе от Катерины Андреевны.

Мурлышечка и Матросенька целуют тебя. Оба здоровы. Я поцеловал их по твоему поручению.

Милая моя голубочка, обрадовался я тому, что ты чувствуешь свое здоровье несколько поправившимся. Заботься о нем, моя радость. В нем все мое счастье.

Целую твои ручки и ножки, миленькая моя Лялечка. Будь здоровенькая. Целую тебя. Обнимаю и целую тысячи, тысячи раз. Твой Н. Ч.

Завтра, вероятно, напишу тебе о том, как проводил Вареньку.

Целую твои ручки и ножки, моя миленькая красавица.

Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя. Твой Н. Ч.

1005

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

10 мая 1886. Астрахань.

Миленький мой дружок Оленька,

Благодарю тебя, моя голубочка, за то, что ты доставила Вареньке возможность навестить меня. Нечего и говорить о том,

приятно ли мне было повидаться с нею. Очень обрадован я был тем, что ее здоровье, как я увидел, менее расстроено, чем я полагал.

Беспокоился я о том, не имеешь ли ты хлопот с обуздыванием несчастного брата моего Миши. Или он в эти дни удерживался от своей губельной слабости?

Федосья Мелькумовна показала Вареньке в Астрахани все, что когда-нибудь видывала сама. Я зайду к ней ныне же поблагодарить ее за расположение.

Сусанна Богдановна, вместе с нею и ее сестрицею провожавшая Вареньку, поручила мне написать тебе, что Маргарита Ивановна нашла возможность ехать в Москву. Сусанна Богдановна известит тебя телеграммою, когда они соберутся выехать. По мнению Сусанны Богдановны, это может быть в среду (то есть 14 числа).

Катерина Андреевна заходила повидаться с тобою (она думала тогда, что ты еще не уехала). Написала тебе записку, которую я вложил в свое письмо, отданное Вареньке. Вероятно, Катерина Андреевна высказала там просьбу к тебе, которую передавала мне на словах. Не зная, написала ль она сама, передаю тебе, в чем дело: ей нужна программа существующих в Петербурге Рождественских фельдшерских женских курсов; она просит тебя, когда будешь в Петербурге, достать эту программу и прислать ей (через меня, разумеется).

Но поедешь ли ты прямо из Саратова в Петербург, или привезешь ко мне дяденьку? Боюсь просить тебя привезти его повидаться со мною: эта поездка будет, я опасаясь, утомительна для тебя: с ним будет тебе столько хлопот в дороге. Как рассудишь, так и реши сама.

Мурлышенька и Матросенька целуют тебя. Среди дня едят мало: от жара пропадает у них аппетит; но утром и вечером кушают хорошо. Матросенька стал сильно проявлять при еде воинственный характер: наложит лапку на кушанье с той стороны, с которой ест Мурлышенька, и рычит; Мурлышенька беспрекословно уходит. Потому я следую твоему правилу: кладу дерзкому мальчишке еду особо и не подпускаю его к месту, где ест Мурлышенька; — он по несколько раз бросает свою еду и направляется отнимать еду у Мурлышеньки; я объясняю ему, что это стыдно, и отвожу назад, к его еде. Молоко даю сначала Мурлышеньке и Матросеньку держу в руках, пока накушается кроткий старший наш воспитанник.

Все трое мы здоровы.

Буду по утрам ходить гулять. (Я купил и приделал к задней двери замок.)

Целую дяденьку, Вареньку, Катеньку с детьми, Миночку.

Будь здоровенькая, моя миленькая голубочка. Пожалуйста, заботься больше всего о своем здоровье. В нем все мое счастье.

Напомни Вареньке о моей просьбе к ней — навести справки о том, жив ли мой двоюродный брат Иван Фотиевич.

Целую твои ручки и ножки, миленькая моя красавица. Будь здоровенькая. Крепко обнимаю тебя, моя Лялочка, и целую ты-сячи и тысячи раз. Твой *Н. Ч.*

Дня через два буду опять писать тебе.

Целую и целую тебя, моя миленькая красавица Лялочка. Твой *Н. Ч.*

1006

В. Н. ПЫПИНОЙ

[Май 1886.]

Милая Варенька,

Благодарю тебя за твой приезд ко мне и за то, что ты отпустила ко мне дяденьку. Он еще довольно крепок и при твоей заботливости будет, я надеюсь, довольно долго пользоваться удовлетворительным здоровьем.

Благодарю тебя. Целую твои руки. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1007

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 11 мая 1886.

Миленький мой дружок Оленька,

Сейчас принесли письмо к тебе от Миши. Мне хочется, чтоб оно было отправлено с нынешнею почтою; а для этого надобно отдать его на почту через полчаса, то есть немедленно нести его туда. Потому пишу лишь несколько строк.

Мы все трое здоровы и все у нас хорошо. Мурлышенька начинает заводить знакомства, и оказывается юношею если не особенно храбрым, то очень сильным, и потому я не боюсь, что знакомые будут обижать его: обороняется он так ловко, что нападающий убегает. Кушают и он и Матросенька очень исправно.

Я тоже ем хорошо.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица.

Целую дяденьку, Вареньку, Катеньку с детьми, Миночку. — Варенька вчера утром приехала, да? Как вы с нею рассудили относительно поездки дяденьки сюда?

Больше всего думай о своем здоровье, моя миленькая голубочка.

Целую твои ручки и ножки. Крепко обнимаю и тысячи, ты-сячи раз целую тебя, моя Лялочка. Будь здоровенькая. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1008

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[17 мая 1886.]

Целую Вас, милые Миша и Елена Матвеевна. Ваша маменька едет ныне вечером к Вам. Она говорила мне о предложении по службе, которое делают тебе, Миша; мне кажется, что она судит об этом деле совершенно справедливо.

Будьте здоровы. Жму Ваши руки. Ваш Н. Ч.

1009

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 19 мая 1886.

Миленький мой дружочек Оленька,

Каково-то доехала ты? Нашла ли наших здоровыми?

Все трое мы здесь здоровы. По твоему разрешению, я перевел Матросеньку ночевать в комнаты; он был в восторге; очень рад был и Мурлышенька, увидев, что будет иметь товарища для развлечений в часы бессонницы; они прыгали в тот вечер, не помня себя от радости. — По утрам кормлю их сырым мясом, как ты велела.

Когда пароход отплыл настолько, что уж не стало видно окон его и я повернулся итти домой, — смотрю, в нескольких шагах от меня стоят обе остальные твои барышни. Итак, они действительно приходили провожать тебя. Как же мы не нашли их? — Они прошли прямо на пароход, попали там в толпу, из которой не могли выбраться ни взад, ни вперед, и толклись на месте, окруженные десятками людей, закрывавшими их от нас. Меня они не видели. Я поблагодарил их от твоего имени, и мы проводили их до квартиры. Потом мы работали.

Полагаю, что послезавтра отправлю в Москву кусок перевода. Если до 5 июня не получу денег из Москвы или уведомления, что деньги взяты тобою, то пошлю письмо, в котором буду просить о посылке денег тебе; а если до той поры получу деньги, в тот же день отправлю их тебе на имя Миши, оставив несколько у себя.

Будь здоровенькая, моя миленькая голубочка.

Целую детей и родных.

Целую твои ручки и ножки. Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя, моя красавица.

Будь здоровенькая, моя милочка Лялочка. Твой Н. Ч.

1010

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань, 21 мая 1886.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера вечером получил я твою телеграмму о том, что ты выезжаешь в Петербург. Благодарю тебя за это извещение.

Мы все трое здоровы.

Вчера, вскоре по получении мною твоей телеграммы, зашли ко мне Софья Мелькумовна и Ксения Артемьевна (— так? — та сестрица твоих барышень, которая уезжала с матерью в Баку); она приехала погостить здесь; думает, что пробудет здесь до половины августа. Очень жалела, что не застала тебя. Стала румянее прежнего. Поселилась у Мелькумовых. — Я отдал Софье Мелькумовне узор, который был у Евгении Александровны. — Софья Мелькумовна дала мне письмо к тебе. Влагаю его в этот конверт.

Барышни твои собирались уйти от меня, когда явился мой приятель Аветов и потребовал, чтоб я ехал с ним кататься. Я не хотел. Он стал сердиться. Нечего делать, я надел пальтишко и поехал. С полчаса он возил меня по той большой площади, которая между Аркадиею и садами.

Несу на почту кусок своего перевода. Я до приезда Вареньки рассчитывал отправить его 20-го числа; а ныне — 21-е; из этого ты видишь, что приезд Вареньки и дяди очень мало замедлили мою работу.

Целую детей и родных.

Будь здоровенькая, моя миленькая голубочка. О вещах и деньгах не беспокойся; надеюсь, что все будет цело.

Я говорил тебе в прошлом письме, что если до 5 июня не получу денег или уведомления о получении их тобою, то буду просить о посылке их тебе.

Целую твои ручки и ножки, моя красавица. Будь здоровенькая.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя радость Лялечка. Будь здоровенькая. Твой Н. Ч.

1011

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань, 24 мая 1886.

Миленький мой дружок Оленька,

Третьего дня (в четверг) вечером я получил твою телеграмму, в которой ты извещаешь меня, что в этот день утром ты благо-

получно приехала в Петербург и что все там здоровы. Благодарю тебя, моя радость, за это уведомление.

Заботься о своем здоровье, моя голубочка, и присматривай за своею дочкою, чтоб она не повредила себе. По твоему уверению, она очень умная; но ты передай ей от меня, что подобным ей господам, у которых еще не вырезались зубы мудрости, следует слушаться старших; и тогда, когда слушаются, они бывают действительно умны; а без того они вообще бывают мастерицы на дурачества, которых не должны себе позволять персоны в их положении. Я надеюсь, впрочем, что она будет держать себя умно.

Мы здесь все трое здоровы. Кормлю своих младших сожителей по утрам сырым мясом, как ты велела. Не отменишь ли это распоряжение? Они оба с хорошим аппетитом кушают не только жареную, но и вареную рыбу и жареное мясо; не отказываются даже и от вареного. Однажды, когда Мурлышенька лежал растянувшись, я снял с него мерку от подошвы задних лап до носа: вышло — сколько вершков, ты думаешь? — $17\frac{1}{2}$ вершков! — Целый аршин и $1\frac{1}{2}$ вершка; судя по этому, полагаю, что через год он по росту будет годиться к поступлению в военную службу; помешать приему его в ряды защитников отечества может лишь одно: трусость; думаю, что за нее забракуют его. А Матросенька, вероятно, не только будет воином, но и получит награды за военные подвиги; прогоняет бедного Мурлышеньку от еды; приходится кормить их порознь.

На-днях я встретил дядю Зоси, Артемия Ивановича; он сказал мне, что женится; фамилию невесты я забыл; судя по его рассказу о ее семействе, они люди зажиточные.

Наша хозяйка всякий раз, когда видит меня, поручает передать тебе ее поклон; то же всегда говорят две молодые женщины или девушки, составляющие ее свиту; одна из них, без сомнения жена ее сына; а другая? — дочь ее? или у нее нет дочери? — Я, разумеется, говорю в ответ, что ты писала им свой поклон.

Когда понесу письмо на почту, вероятно зайду к твоим милым барышням.

О деньгах и вещах не беспокойся: не растеряю ничего.

Целую детей и родных.

Присматривай за своею дочкой.

Целую твои ручки и ножки.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя Лялечка. Будь здоровенькая. Твой *Н. Ч.*

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 27 мая 1886.

Миленький мой дружок Оленька,

Каково-то поживаешь ты в Петербурге? Довольна ли рас- судительностью своей дочки? Всех ли наших нашла здоровыми?

Я получил письмо от Саши и письмо от Сашеньки (брата). Саше буду отвечать по получении письма от тебя — то есть, вероятно, очень скоро. — Сашеньке (брату) скажи, что примусь записывать для него мои воспоминания, когда отправлю в Мос- кву кусок перевода Вебера; думаю отправить 5 июня (мне хо- чется, чтобы просьба о посылке денег тебе сопровождалась кус- ком работы). К той поре, вероятно, рассужу, найдется ль у меня возможность заняться какою-нибудь из журнальных работ, ко- торые он рекомендует мне. А если рассужу об этом многими днями раньше, чем отправлю кусок перевода в Москву, то на- пишу ему, не дожидаясь досуга приложить к письму несколько листов воспоминаний. Благодарю его, милого, за заботливость обо мне.

Я здоров. Находящиеся под моею опекою молодые четверо- ногие люди тоже пользуются вожделенным здоровьем. Мурлы- шенька, сохраняя голубиную кротость души, начинает стано- виться менее похож на зайца характером, приобретает маленькую способность защищать свои интересы; когда Матросенька, бросая свою еду, лезет отнимать у него точно такую же его еду, пока он еще голоден, то он отстраняет лапкой голову озорника (не размахивается, не наносит удара, а тихо, осторожно отстраняет, спрятав когти); но если уж успел проглотить два, три кусочка, то отходит и ждет, пока буян наестся и уйдет. Матросенька пе- ренимает у него манеру кушать лежа. — Теперь здесь по ночам уж довольно жарко; потому ни тэт, ни другой не лезуг ночью прижиматься ко мне, предпочитают спать на просторе.

Когда я относил прежнее свое письмо на почту, то исполнил свое намерение зайти к твоим барышням; застал только Анну Каспаровну; дочери обе были в гостях; она благодарила за по- клон от тебя. От Мелькума Мартыновича, который повез внука в Казань, они еще не имели тогда писем (он поплыл, кажется, на одном из тех пароходов, которые идут медленно). — Ксения Петровна теперь уж вполне оправилась и выходит из дому.

К тетушке, у которой живет мой помощник по переводу, Ко- стенька, как ты его зовешь, приехала сестра, — кажется, из Бах- мута; погостит, вероятно, с месяц. По этому случаю моему помош- нику было дня два довольно много головомойки: новоприезжая тетка бранила его за то, что он вышел из гимназии; здешние

родные, которым наскучило бранить его, прониклись от его свежего чувства новым одушевлением; плохо было Костеньке; но и новоприезжая, набравшись досыта, смягчилась; и он опять бодр духом. — В воскресенье отправился утром в соседнюю с городом рощу рисовать масляными красками картинку с натуры; но не догадался взять ящик, чтобы спрятать картину на обратном пути; поднялся ветер, и картину залепила на дороге пыль. Будущий живописец мужественно перенес и это; нарисует новую картину, лучше превратившейся в слой грязи.

Мне прислан перевод Тацита, сделанный Модестовым. Если Сашенька видится иногда с Модестовым, то попроси его передать мою благодарность за доброе внимание ко мне. — Я получил три экземпляра перевода книги Шрадера (о языкознании). Благодарю за присылку.

Целую детей и родных.

Будь здоровенькая, моя миленькая радость.

Целую твои ручки и ножки, моя Лялочка. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя. Твой Н. Ч.

1013

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 30 мая 1886.

Миленький дружок Оленька,

Здорова ли ты? Здоровы ли дети? Умно ли держит себя твоя дочка? Здоровы ли братья и сестры?

Мы здесь все трое здоровы.

В эти дни я ни у кого не был. Вчера заходила ко мне твоя молоденькая монашенка, — как ее зовут, я все еще не умею припомнить: Дарья, это знаю; но — Степановна или Устиновна? Она и ее сожительницы слышали от кого-то, что ты приезжала; но не поверили: «Как же это возможно, что Ольга Сократовна приезжала, а не зашла к нам?» — Я сказал, что ты приезжала на один день, с дядею, который плохо видит и которого поэтому ты не могла оставлять без своего попечения; что ты все время ухаживала за ним и не имела досуга побывать ни у кого. — Она приходила узнать о тебе, хорошо ли ты доехала до Петербурга. Кстати, она спросила книг; я дал и записал, какие она взяла.

Работа моя идет как обыкновенно; не опасайся, моя миленькая голубочка, что я утомляю себя; до усталости я еще ни в один из этих дней не работал; и не буду; нет и надобности; сколько надобно, работа подвигается вперед при умеренном занятии ею.

Не беспокойся и о вещах. До сих пор все цело; надеюсь, и останется цело все.

Когда понесу письмо на почту, вероятно зайду к твоим милым барышням.

В армянской лавочке под моею комнатою взяты на воспитание два ребеночка: один немного поменьше Матросеньки, весь желтенький; его я угощал ныне в первый раз; другой вовсе маленький; этого я угощал вот уж дня три сряду; он серенький. Оба несколько дичатся Матросеньки и Мурлышеньки; Матросенька не находит, о чем с ними беседовать; Мурлышенька очень любезен с обоими: лижет, выдeldывает свои нежные рулады.

Аграфена, сколько я вижу, держит себя скромно. Денег она издерживает не больше, чем следует по моим справкам о ценах.

Дня два на этой неделе было здесь прохладно; со вчерашнего дня возобновилось сильное тепло; тяжелого зноя еще нет.

Сейчас получил твое письмо от 25 мая, моя миленькая голубочка. — Итак, все у тебя хорошо: «дача отличная», «комнатка» твоя — «чистая бонбоньерочка», «Миша устроил ее» тебе «великолепно»; «прислуга у детей хорошая и» ты «не будешь иметь с ней никакого дела», потому не будешь иметь никаких неприятностей; прекрасно все это, моя миленькая радость.

Первый день по переезде на дачу ты «целый день гуляла»; делай так и вперед; сколько будет позволять погода, проводи все время на чистом воздухе, и будешь здоровенькая.

Целую сестер и братьев.

О деньгах я уж говорил тебе в прежних письмах, что напишу о них Барышеву (заведующему этим делом у Солдатенкова) в четверг 5 июня; в Москве письмо будет получено, вероятно, 10-го числа.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица Лялечка.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Р. S. На обороте пишу Мише и Леночке. Будь здоровенькая. Целую и целую тебя, моя красавица. Твой Н. Ч.

1014

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[30 мая 1886.]

Милый друг Миша,

Я полагал, что приезд твоей мамы в Петербург будет полезен для Леночки. Если бы в соответствующее нынешнему ожиданию твоему и Леночки время жила вместе с твоею мамашею старшая родственница, твоя маменька была бы теперь похожа на тебя здоровьем. (Полагаю, что ты не уступишь им никому в Петербурге?) Я думаю, что Леночка и ты должны всеми си-

лами упрашивать твою мамашу оставаться у вас до той поры, пока Леночка совершенно окрепнет.

Целую тебя. Жму твою руку.

Целую вас, милая Леночка. Будьте умницею и держать себя старайтесь так, как будто вам теперь 98 лет; если достанет у Вас воли на это, то и проживете на свете 98 лет, пользуясь хорошим здоровьем. Жму вашу руку, миленький дружочек, и повторяю просьбу быть умницею. Ваш *Н. Ч.*

1015

Н. В. РЕЙНГАРДТУ

[Июнь 1886.]

Благодарю за доброе расположение ко мне. Бываю дома каждый день от половины первого до трех часов.

Чернышевский.

1016

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 2 июня 1886.

Миленький мой дружочек Оленька,

Пишу тебе только за тем, чтобы сообщить известия о нас; они коротки и хороши: все трое мы здоровы и умны.

Здесь начались порядочные жары. Но они сносны.

На-днях я зашел в Прикаспийский магазин купить бумаги и перьев. У конторки стояла хозяйка и вступила в разговор со мною; спрашивала о тебе с любезным и (как мне показалось) неподдельным расположением; потом пустилась в рассказ о болезни и леченье мужа.

Чтобы ты видела, исполняю ль я твое желание записывать расходы, сообщу тебе список их.

Май. 17	чай	1.90
	извозчик	1.00
	портвейн	85
	телеграмма	90

Стол и другие расходы, сделанные кухаркою (на-пример, молоко, мясо для воспитанников)

18—88 (воскресенье)		
19—57	бумага, перья, чернила	3.25
20—60	телеграмма (от тебя)	10
21—48	сахар	1.05

Стол и другие расходы, сделанные кухаркою (например, молоко, мясо для воспитанников)

	табак	30
	посылка (перевода книги)	80
	конверты	25
22—42	дрова	2.20
	($\frac{1}{4}$ сажени с перевозкою и разгрузкою)	
23—47	телеграмма (от тебя)	10
	баня 75 (я нашел баню близко; мне показалась, она не хуже Филлиповичевой)	
24—49	спички	5
	за диктовку	5.00
25—50	(воскресенье; но мой сотрудник не обедал со мною; потому и прибавки расхода на стол не было; вечером мы работали вдвоем, по обыкновению).	
26—45		
27—46	табак	30
28—52		
29—33		
30—50		
31—17	за диктовку 6.10 (расчет за май).	

Видишь, моя миленькая голубочка, что я записываю все.

О деньгах и вещах не беспокойся, моя радость; все вещи остаются целы; вероятно, и останутся. Денег не теряю и не буду терять.

Сейчас мне принесли повестку на 400 рублей. Иду на почту взять эти деньги и хочу 300 рублей вложить в это письмо, а 100 рублей оставить у себя.

Я еще не просил денег; это прислано без моей просьбы.

Будь здоровенькая, моя радость.

Целую детей и родных.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая красавица. Будь здоровенькая, моя Лялечка.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1017

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

5 июня 1886. Астрахань.

Миленький мой дружок Оленька,

Я получил твое прекрасное письмо от 29 мая; благодарю тебя за него, моя радость.

Мы все трое здоровы.

Надо мне спешить на почту, чтобы отправить в Москву кусок перевода, а отлагать до завтра ответ на твой вопрос о Сусанне Богдановне мне не хочется, потому пишу лишь несколько строк.

Вчера я зашел к отцу Сусанны Богдановны и застал его дома.

Он показал мне письмо от нее и телеграмму. Письмо было из Москвы; в нем она говорит отцу, что «доктор», у которого была она, «милый человек»; по ее словам отцу, он объявил ей, что лихорадочный астраханский климат вреден для нее и гораздо полезнее для нее будет жить в Петербурге.

В телеграмме от 26 мая она извещает отца, что они в этот день приехали в Петербург и что они остановились у дяди. Итак, ты теперь уж давно видишься с нею, по всей вероятности. Однакож, я на всякий случай сообщаю тебе, как разыскать ее, если она еще не сумела отыскать тебя. — Ее дядя — Герасим Егорович Сукиасов; он — певчий при Армянской церкви и живет: на Невском проспекте, д. № 40 и (тоже другой номер того же дома) 42, — вероятно, это дом на углу? вероятно, потому он отмечен двумя номерами?

Итак, мы все трое здоровы и умны, как нельзя лучше и желать.

Будь здоровенькая, моя миленькая голубочка.

Целую детей и родных.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая красавица.

Будь здоровенькая, будь здоровенькая, моя миленькая Лялечка. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

Р. S. Третьего дня я послал тебе на имя Миши 300 р. Будь здоровенькая. Целую и целую тебя, моя миленькая Лялечка. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1018

И. И. БАРЫШЕВУ

5 июня 1886. Астрахань.

Милостивейший государь Иван Ильич,

Я получил посланные мне Вами от 28 мая четыреста рублей (400 р.) и приношу Вам искреннюю благодарность за Вашу добрую внимательность ко мне.

С нынешнею почтою я отправил на Ваше имя еще кусок перевода 3-го тома Вебера.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский.*

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 9 июня 1886.

Миленький мой дружок Оленька,

Благодарю тебя за письмо от 2 июня.

Итак, ты еще почти ни с кем не виделась из наших родных?— Я так и думал, что не часто придется тебе и им видеться, потому что расселились все по разным сторонам Петербурга, и доехать вам друг от друга — если не столько же проехать верст, то столько же употребить времени на поездку, как если бы одно семейство жило в Камышине, другое в Саратове, третье в Вольске.

Но по крайней мере ты виделась с Александром Васильевичем; я очень рад; но грустно, что он стал хил; жаль, что сын Елены Васильевны умирает. Передай Александру Васильевичу и ей, что я глубоко огорчен судьбою бедного юноши.

Ты видела нашего с тобою Сашу. То, что ты пишешь о нем, я ждал услышать от тебя. Бедный больной; но производящий неприятное впечатление больной; это так: неприятное впечатление, я вполне согласен с тобою; очень неприятное. Прежде я очень досадовал на него; разговоры Петра Ивановича со мною о нем произвели перемену в моем чувстве; бедный Саша действительно болен, объяснил мне Петр Иванович; когда, к несчастью, так, то — досадовать на больного дело напрасное.

Будем смотреть на него только как на больного. Что мы можем сделать для него? До очень недавнего времени наши с тобою денежные средства были и недостаточны и неверны; мы не могли принять на себя содержание Саши. Теперь можем. Работа моя при помощи усердного к диктовке помощника стала подвигаться быстрее прежнего. Сделаю такой расчет:

в эти три месяца я переводил по 12 листов; или даже больше; но, положим, только 12; за них приходится (по 30 рублей) 360 рублей. Чтобы помощник был усерден к диктовке, надобно платить ему не круглую цифру за месяц, а сколько придется по количеству сделанной им работы; по прежним месяцам выходило, что он пишет около 120 страниц (это 7½ листов; остальные 4½ писал я своею рукою); я перевел 15 рублей на расчет по страницам; вышло — за 10 страниц он получал 1 р. 25 к.; я сказал ему в начале нынешнего месяца, что буду платить по этому расчету. Он стал усерднее. Вероятно, будет писать по 150 страниц; это 30 страниц прибавки, то есть почти 2 листа, или 60 рублей. Если пойдет так, наш доход будет: 14 листов по 30 рублей, 420 рублей, из них за диктовку десяти листов помощнику придется получить 20 р.; у нас остается 400 р. — Мне кажется, мой

дружочек, что если пойдет так, то мы могли бы посылать Саше рублей 40 в месяц; а теперь пока будем давать ему хоть по 30 рублей. Он неспособен к работе, потому что болен; не он виноват, болезнь его виновата в его неспособности жить своим трудом. — Но мне хотелось бы, мой дружочек, чтобы деньги получал он от тебя, а не от меня. Позволь мне писать ему, что ты посылаешь ему деньги.

Ныне я отправляю ему письмо по адресу Миши. Прошу Мишу узнать, куда он уехал, и не медлить переслать ему письмо. В письме, разумеется, я не говорю ему о деньгах. Мне хочется, чтобы деньги были посылаемы ему от твоего имени.

Ты довольна Мишею и Леночкою. Скажи им, что я люблю их за это.

Ты «целый день гуляешь», когда позволяет погода. Это хорошо. Тебе говорят, что ты «немножко поправилась»; я думаю, что тебе говорят правду.

Тебе кажется, что родные Леночки полюбили тебя; я уверен, что да, если они неглупые люди, как я и полагаю. — А тебе они нравятся; это и показывает мне, что они порядочные люди, умные, хорошие, добрые.

К Федосье Мелькумовне зайду, когда понесу письмо на почту.

Я писал тебе, что оставил у себя 100 р. Итак, 20 числа отдам вперед за квартиру; деньги на это есть. — Когда получу еще? — Не знаю; дело очевидное, что посылающие мне, как люди богатые, скачают посылать деньги мелкими, по их понятиям, суммами и предпочли бы посылать пореже, крупными суммами. Подожду от тебя известия, к какому числу нужны тебе будут деньги, и если еще не будут они высланы мне в дни, которые будут идти между отправлением твоего письма ко мне и получением его мною, то попрошу о присылке.

Мои воспитанники поднимают по ночам такой топот, что полы и стены дрожат; днем сравнительно смирны; ночью — гоняясь друг за другом — сто раз выпрыгнут и вспрыгнут в окно (с решеткою), оставляемое открытым для их удовольствия (окно в столовой, выходящее в коридор). — У того персиянина, торгующего фруктами, у которого ты всегда велишь мне брать (№ 8, против магазина Ильина), я увидел персидскую кошку, трехцветную, такую красивую, что долго гладил ее, любясь; хвост — как у лисицы, чуть не шире самой владелицы хвоста; и тоже трехцветный, красивого узора цветов. Но Мурлышенька и Матросенька — родные мне, потому милее всяких персидских братьев и сестер своих.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица.

Целую детей и родных.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялечка.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

[P. S.] Увидишь Сашеньку, скажи, что вчера я начал писать для него «Заметки при чтении Некрасова»; дня через три, вероятно, напишу столько, что найду число листов достаточным для отправления ему. Тогда напишу и письмо ему. Будь здоровенькая. Целую тебя, моя Лялечка. Целую и целую тебя. Твой Н. Ч.

P. P. S. Мы все трое совершенно здоровы. Целую тебя. Твой Н. Ч.

1020

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 9 июня 1886.

Милый друг Саша,

Извини, что промедлил ответом на твое письмо от 22 мая. Мне хотелось подождать известия от тебя или от твоей мамы о ваших с нею разговорах. Жаль, что тебе пришлось уехать из Петербурга в то время, как она приехала туда. Хорошо было бы, если бы вы с нею повидались и поговорили побольше.

Ты не сообщил мне, куда адресовать тебе теперь. Поэтому адресую письмо на имя Миши.

В то время, как пришло твое письмо ко мне, Сусанна Богдановна была уж в Петербурге. Видались ли вы с нею? Она поехала с матерью (Маргаритою Ивановною, напоминаю имя, если не помнишь); они остановились у брата Сусанны Богдановны, певчего при Армянской церкви, Герасима Егоровича Сукиасова, живущего на Невском проспекте, дом №№ 40 и 42. — Влагаю в конверт твое письмо к Сусанне Богдановне.

Милый мой друг, постараемся быть дружны все. И позволь мне по праву дружбы к тебе сказать, что грустно мне думать о неудобствах твоей житейской обстановки; позволь просить тебя, чтобы ты рассказал мне о том, каковы теперь твои планы будущего.

Уменье молчать — качество хорошее. Но помнишь, по Аристотелю «добродетель» — то есть хорошее качество — имеет основным элементом «умеренность», отсутствие недостатка или излишка в своих практических применениях. Уменье молчать ты имеешь очень много; не доводи его до излишества; скажи, как ты думаешь о своем ближайшем будущем.

Не досадуй за эту просьбу.

Будь здоров, мой милый друг. Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

11 июня 1886. Астрахань.

Милый мой дружок Оленька,

Вчера я получил твое письмо от 5 июня; благодарю тебя за него; тем живее благодарю, что тебе было тяжело писать его.

Оно наполнено грустью о нашем с тобою жалком Саше. В прошлом письме к тебе я говорил, на какую величину дохода можем мы с тобою рассчитывать теперь; и мне казалось, что можно теперь будет давать что-нибудь на содержание Саше; я не думал тогда, что можно звать его сюда. В грустном письме от 5 июня ты говоришь, что это необходимо. И прочитав, что ты думаешь так, думаю теперь так и я. Ты говоришь, чтоб я написал Саше приехать сюда. Влагаю письмо к нему и надписанный мною конверт в это мое письмо. Прочти письмо к Саше, и если тебе покажется, что оно написано как следует, то запечатай в мой конверт и передай Поленьке для отправления к Саше. А если что-нибудь в письме не так, как следует, ты поправь, прибавь свои заметки и возврати мне; я по твоим заметкам напишу другое письмо к Саше и опять отправлю на твое распоряжение...

(Кстати, иначе, как через тебя или Мишу, или нашего брата Александра Николаевича, я не мог бы послать письма для отправления Саше через посредство Поленьки: я не знаю ее адреса.)

Мы все трое здесь здоровы.

Мурлышенька не обижает более Матросеньку: малютка подрос и не то, что быть душимым от Мурлышеньки, сам начинает порядочно душить его. Но дружба их трогательна: беспрестанно видишь их отдыхающими обнявшись.

Вчера вздумал зайти спросить, бывает ли Платонов в городе; оказалось: бывает утром каждый день от 8¹/₂ до 10 часов; это хорошо: пришедши в 9³/₄ часов, можно через пять минут сказать: «Вам пора отправляться по делам; не задерживаю»; дружеские беседы на таких условиях я готов иметь с ним хоть каждую неделю; на деле удовольствуюсь и менее частым наслаждением; но на-днях зайду к Платонову, чтоб отдать экземпляр Вебера с надписью имени m-m Платоновой.

Вчера заходил к Мелькумовым. Понесу это письмо, зайду опять.

Вспомнил передать тебе поклоны всех твоих знакомых, с кем виделся, — начиная не твоим, а моим знакомым, Аветовым, и кончая Виддиновым.

Катерина Андреевна просила тебя — помнишь? — достать программу фельдшерских Рождественских курсов; если можно, пусть Миша достанет эту программу и пришлет на мое имя.

Целую его и Леночку. Целую родных.

Целую тебя, моя миленькая Лялечка, крепко обнимаю и ты-сячи, тысячи раз целую.

Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1022

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 14 июня 1886.

Миленький мой дружок Оленька,

Пишу только за тем, чтобы сказать тебе, что все трое мы здоровы и очень умны.

Каково-то поживаете вы? Если бы (чего я не хочу думать) твоя дочка позволяла иногда себе быстрые движения и другие неосторожности, от которых должна до поры до времени воздерживаться, то я прислал бы к вам Мурлышеньку, который, подавая ей пример осторожности, без сомнения имел бы самое прекрасное влияние на ее поступки. — Матросенька уж не дает ему душить себя. — Все время, когда не спят, молодые мои компаньоны играют. Я покупаю им мясо; каждое утро дается им сырое, как ты предписывала. Но рыбу они любят не меньше сырого мяса, даже вареную, не только жареную.

Недели полторы ходил по утрам ко мне писать нравившийся тебе (и мне) племянник Семена Моисеевича и оказался скромным, деликатным юношей, чему бы я никак не поверил. Дело вышло так. По окончании экзаменов он приходит и спрашивает, нельзя ли работать со мною. Я сказал, что по вечерам пишет со мною Федоров, а утром может он. При первом случае, когда он выказал свою излишнюю развязность, которая была причиною того, что он так не понравился тебе (и мне), я сказал ему: «Знаете, почему тогда прекратилась ваша работа у меня? Вы держали себя невежливо», и растолковал ему, чем я (разумеется, я говорил только о себе) был недоволен. Он, выслушав, сказал, что некоторых своих невежливостей он сам не замечал, а другие воображались ему требованиями приличия: например, за чаем он болтал безумолку потому, что считал обязанностью мужчины занимать разговором девушек (Мелькумовых); что не кланялся он им опять-таки потому, что воображал, будто поклониться значило бы быть навязчивым, дерзким. «Где я бывал? Где было мне видеть, как следует держать себя?» — «Хорошо, я буду постоянно замечать вам, когда вы сделаете что-нибудь противное приличию». — «Пожалуйста, замечайте». — И действительно,

стал смирен, послушен. — Вчера утром пришел радостный: ему предложили ехать на каникулы в деревню, готовить маленького гимназиста к экзамену; дали 30 рублей в месяц. Мы с ним порадовались. Уходя, он благодарил за то, что я внушал ему, как следует держать себя. — Писал он очень усердно, так что в полторы или много две недели написал больше 100 страниц, работая по утрам. Я заплатил ему по 1 р. 25 к. за каждые десять страниц (я писал тебе, что с 1 числа стал вести такой расчет с Федоровым, и он сделался усерднее прежнего).

На-днях опять возил меня с полчаса по городу мой приятель Аветов.

О вещах не беспокойся, моя миленькая радость: все цело и, вероятно, останется цело. Денег не теряю и — будь уверена — не потеряю. Когда уйду, запираю дверь.

Целую детей и родных.

Если увидишь нашего брата Сашеньку, скажи, что, вероятно, послезавтра кончу заметки, которые пишу для него. Тогда вместе с ними пошлю и письмо ему.

Будь здоровенькая, моя миленькая голубочка.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя красавица Лялечка.

Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1023

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 17 июня 1886.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера вечером получил твое письмо от 12 июня. Надобно было ожидать, что твои подарки понравятся Верочке и Юлии Петровне. Жаль, что Верочке нездоровится.

Очень рад я тому, что Евгеньичка нашла Леночку удовлетворительною будущею матерью. Надеюсь, что при заботливости твоей и Евгеньички Леночка станет матерью легко, без вреда здоровью.

Вместе с этим письмом отправляю письмо к нашему брату Александру Николаевичу. К письму приложено несколько листов литературных воспоминаний, записанных мною для Ал[ександра] Ник[олаевича].

Миленький мой дружок, по содержанию твоих писем я замечаю, что ты стосковалась долгою разлукою с Мурлышенькою, Матросенькою и мною. Конечно, мой миленький дружок, мы все трое — прекрасные люди, так что твоя привязанность к нам достойна величайшего уважения. Но — тебе надобно пожить в Петербурге до совершенного выздоровления Леночки. За нами

(Мурлышенькою, Матросенькою и мною) нужен присмотр? — Не спорю; но еще гораздо нужнее присмотр за Леночкой, пока она совершенно окрепнет. Пожалуйста, не покинь ее до той поры. Я ни на грош не верю уму таких молоденьких дамочек: вздумается съесть мороженого, и съест, — и пойдет история. Мало ли таких глупостей приходит в голову неопытным молодым женщинам? — Вот Виддинова несколько постарше и достаточно, кажется, потерпела от неблагоприятия — своего ли, или мужнина; стала поправляться — и первым делом рассудила, что приятно покататься на извозчике; сошло благополучно; тогда она села в лодку, и шумная компания поплыла по канаве; вернулись, и — слегла Виддинова на две недели опять в постель. А плыли хорошо, без всяких приключений. Нужен присмотр за этими господами.

Пожалуйста, не покинь Леночку без надзора.

20-го числа отдам хозяину деньги за месяц вперед.

Напиши, к какому числу будут нужны тебе деньги.

Мы все трое здоровы.

Это почерк Мурлышеньки.

Это почерк Матросеньки.

Они хотели написать: старший: «целую вашу руку», а младший: «целую Вас, Оленька»; — вышло не совсем четко, но, всмотревшись внимательно, можно увидеть, что написаны действительно эти слова. — Читают они оба усердно. Я даю им старые газеты. Вечером положу, к утру пол покрыт мельчайшими лоскутками.

Я стал по утрам бродить за город, мимо садов; захожу иной раз и в сады.

Не думай, что я работаю до усталости. В этом нет необходимости.

Все вещи целы. Денег я не теряю и не намерен терять.

Целую детей, братьев и сестер. Целую тебя, моя миленькая красавица.

Будь здоровенькая.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя Лялечка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Тут было написано: «Целую вас, миленькая Леночка»; я отвернулся от стола, Матросенька начертил по моим словам жалобу тебе на меня и Мурлышеньку, что мы обижаем его: Мурлышенька отнимает у него еду (лжет, плут: сам отнимает еду у Мурлышеньки), а я не даю ему лежать на письменном столе (и это лжет, плут: вечно лежит на столе, когда не играет). — Итак, повторяю выскобленные слова: целую вас, миленькая Леночка. Будьте умница и будете пользоваться хорошим здоровьем до глубокой старости. — Целую тебя, Миша.

А. Н. и Ю. П. ПЫПИНЫМ

Астрахань. 17 июня 1886.

Милый друг Сашенька,

Вот, наконец, написал я для тебя несколько листков моих литературных воспоминаний. Не написал раньше или больше по недосугу.

«Биографические сведения» и разные приложения, помещенные в «Посмертном издании» «Стихотворений» Некрасова, будут, вероятно, служить материалами для последующих биографов его или ценителей его произведений. Потому мне вздумалось сделать некоторые заметки к ним.

Когда выберется у меня три, четыре вечера досуга, напишу для тебя еще что-нибудь. Если ты укажешь мне, о ком или о чем написать, приму твое желание за руководство.

Ты спрашиваешь, не захотел ли б я написать что-нибудь для печати по поводу «Всеобщей истории» Ранке. Я расположен к этому. Но дело в цене книги Ранке. Это, кажется, вещь много-томная, потому цена — много десятков рублей. Если ты уверен, что мои рассуждения о всеобщей истории могут без всякого неудобства быть напечатаны в «Вестнике Европы», то, конечно, твой (или его) расход на присылку Ранке мне покроется статьею. В таком случае пришли книгу. А если нет, то не присылай. Ничего цензурного я не напишу. Но мои понятия о ходе человеческой истории во многом не одинаковы с теми, которые господствуют в ученом мире. Например, различия между расами, тем более между народами одной расы, между сословиями и проч. в их исторической жизни я объясняю исключительно историческими фактами, а не расовыми, народными или сословными особенностями, рассуждения о которых считаю пустыми фантазиями самохвальства вообще белой расы, в частности европейцев, господствующих народов Европы, ученого сословия (то есть среднего или низшего сословия) этих народов. — Далее, я считаю результаты насилия вредными, всегда для всех вредными. Например, я полагаю, что завоевания египтян были главными причинами многократных завоеваний Египта дикарями или народами менее египтян цивилизованными: воюет, воюет египетский народ в Азии, изнурится и, изнуренный, делается добычею нашествия. — Довольно обо многом историки рассуждают так; но в очень многих случаях приняты ученым миром суждения противоположного характера. Мои мнения должны казаться неосновательными в этих случаях. Не знаю, удобно ли журналу, дорожающему своею репутациею основательности — «Вестнику ли Европы», какому ли другому — помещать статьи, которые должны показаться большинству специалистов неосновательными.

Думаю, что неудобно. А если это мое предположение ошибочно, то пришли Ранке; уменьшу трату времени на перевод и буду писать по поводу Ранке.

Перехожу к другим предметам речи.

Я принял твой совет высылать деньги моему Саше. Понятно, что я должен действовать по согласию с Оленькою, иначе отношения между ним и ею ухудшились бы, а я надеюсь, что они улучшатся. — Итак, в тот же день, как получил твое письмо, я написал ей расчет наших вероятных доходов, по которому выходит, что мы можем посылать Саше рублей по 40 в месяц. Но дня через два, то есть когда мое письмо было еще только на пути к ней, я получил от нее письмо, в котором она говорит, что, по ее мнению, Саше надобно жить при мне. Конечно, это лучше. Но возможно лишь под условием, чтоб он бывал у меня только по собственному влечению, а жил на особой квартире; так я думаю; у Оленьки об этом не было ничего. Я написал ему, что прошу его приехать в Астрахань, жить вместе с нами или отдельно от нас, как он рассудит; что если он будет жить с нами, то будет получать рублей 15 в месяц на свои личные расходы, а если захочет жить отдельно, то мы можем давать ему рублей 50; — написав это письмо, я послал его на прочтение Оленьке; если найдет она, что оно сообразно с ее мыслями, то перешлет Саше, а если нет, то возвратит мне для перделки.

Я очень рад, что она поехала в Петербург довольно надолго. Я просил ее или оставаться там до поздней осени, или проехать оттуда полечиться на Кавказ. — Ей трудно исполнить мою просьбу в таком размере; она думает, что я без нее не умею ни накормить себя, ни вообще жить сносным образом; и все заботится, что я теперь голодаю. Если вы, мои милые, можете иметь влияние на ее мысли своими разговорами, то прошу Вас, говорите ей о том, что она делает хорошо, оставаясь в Петербурге на лето. Я полагаю, что пожить там подольше будет полезно и для нее и для жены Миши.

В ее письмах очень не понравилось мне одно сведение: она говорит, что Верочка похудела. Здорова ли миленькая девушка? — По рассказам Оленьки, Вареньки, дяденьки — она премиленькая девушка.

Целую всех вас, мои милые, добрые. Благодарю за любовь к Оленьке и к жене Миши. В письмах к Оленьке жена Миши с восхищением благодарности говорила почти каждый раз о любви, которую нашла у Юленьки, у тебя и ваших детей.

Будьте здоровы, мои милые, добрые.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

Целую Вас, миленькая сестрица Юленька. Напишите, каково теперь здоровье Верочки. Передайте выражение моей любви Аделаиде Петровне и Гаврилу Родионовичу.

1025

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 20 июня 1886.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера вечером я получил твое письмо от 13 июня и посланную при нем программу курса фельдшерниц. Понесу свое письмо на почту, то по дороге зайду отдать эту программу Катерине Андреевне, которая, вероятно, будет очень благодарить тебя за исполнение ее просьбы. Заботливая о других ты у меня, моя голубочка; я думал, ты забудешь просьбу Катерины Андреевны, как забыл я. Нет, не забыла.

Сейчас ушла Марья Ивановна, зашедшая спросить о тебе. Просидела у меня с полчаса или поменьше, пока я пил чай; когда я напился, она встала, говоря, что не хочет мешать мне работать. Передаю новости, которые услышал от нее.

Марья Петровна уехала месяца на два в Липецк лечиться водами. Она жаловалась на грудь, худела. Николай Герасимович не мог ехать с нею, потому что занял должность ветеринарного врача при здешних казенных конюшнях (между прочим, и при конюшнях пожарной команды). Сестра Марьи Петровны (приехавшая сюда еще при тебе?) все еще остается здесь; роды ее были правильные, но трудные, так что ей пришлось после них лежать долго. Марья Ивановна прожила у нее три недели; кроме нее самой и малютки, надо было ухаживать за двумя или тремя маленькими детьми, которых она привезла с собою. Марья Ивановна, разумеется, очень устала. — Дом, оставшийся после матери Марьи Петровны, вероятно, будет продан; главный наследник, брат Марьи Петровны, живущий в Томске, просит Николая Герасимовича позаботиться о продаже. Николай Герасимович думает оставить дом за Марьею Петровной, если удастся найти деньги для уплаты или заключить с главным наследником условие о рассрочке платежей.

Вчера я заходил, наконец, к Платонову. Он, разумеется, говорил, что Фанни Михайловна хочет, чтоб я навестил их на даче. Быть может, найду как-нибудь время съездить туда вместе с самим Платоновым.

Костенька (как ты его зовешь) трудится усердно. Одно отвлекает нас от работы: очень любим мы с ним шляться в театр. Он совратил на этот путь даже приезжую из Баку тетушку свою, которая сначала бранила его за эту страстишку.

Занесу письмо, то зайду к твоим барышням.

А как оденусь итти, зайду к хозяину и отдам 40 рублей за месяц вперед. Денег у меня остается еще довольно много. Хотел я написать перечень своих расходов за этот месяц в виде продолжения счета за прошлый месяц, сообщенного мною тебе. Но

и без того набралось много материалов для письма; отложу передачу тебе счета до одного из следующих писем. Все расходы, до самых мелких, я записываю и каждые три, четыре дня делаю проверку, сходится ли счет с остающимся количеством денег. Оказывается, что записываю расходы аккуратно.

Мои сожители пользуются, подобно мне, вожделенным здоровьем. Мурлышенька растолстел до некоторой несообразности с законами красоты. Матросенька быстро растет; в длину стал теперь лишь немного меньше Мурлышеньки. Занялся делом, не бесполезным по хозяйству: приобрел привычку ходить в дровяной сарай, смотреть за целостью дров; но я чуть не каждый час навожу справки о разбойнике; нет его в комнатах и в коридоре, идут за ним в сарай и приносят в объятия Мурлышеньки, который завидует отваге приемного брата, но сам остается верен своим прекрасным правилам осторожности. Боится даже сидеть на окне и смотреть на улицу. Такого благоразумного молодого человека я не видывал другого.

Целую детей. Присматривай за Леночкой, присматривай, моя голубочка. Выдержи характер, оставайся присматривать за нею до совершенного ее выздоровления.

Целую родных. Письмо к брату Сашеньке отправил в одно время с прошлым письмом к тебе.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая красавица Лялечка.

Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1026

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 23 июня 1886.

Миленький мой дружочек Оленька.

Каково-то поживаешь ты, моя радость? Поправляется ли твое здоровье? Как идет время у Леночки? — Думаю только об этом.

Мы все трое здоровы, как нельзя лучше. Днем держим себя все трое с одинаковым умом. По ночам проявляется между нами разница, зависящая, впрочем, не от умственного различия, а исключительно от того, что я не страдаю бессонницею, а мои сожители страдают ею; от скуки развлекаются, бедненькие, гимнастикой: прыгают так, что опрокидывают стулья; Мурлышенька топает, как медведь; Матросенька остается пока еще вдвое легче его, но ростом уж не очень много уступает ему. Оба они целуют тебя.

Когда в прошлый раз я нес письмо на почту, то зашел, как обещал тебе, отдать присланную тобою программу Катерине Андреевне; оказалось, что она уехала на месяц или больше; куда,

служанка не знала. Я зашел к Пясецкому (хозяину квартиры и аптеки); он сказал, что она поехала на Кавказ, — не лечиться, а посмотреть на горы; ехали ее друзья, то поехала и она; он ждал на-днях известия от нее, куда адресовать письма ей, вызвался переслать ей программу; я отдал. Через несколько дней зайду к нему, спросить, послал ли он программу.

Перепишу для тебя счет моих расходов за первые 20 дней нынешнего месяца.

Сначала особо напишу крупные расходы:

за квартиру	40 р.
за диктовку	14 р. 50 к.
	и 5 р.

(Это отчасти за прошлый, отчасти за нынешний месяц; и чем больше приходится платить за диктовку, тем выгоднее для нас)

кухарке	4 р.
Итого	63 р. 50 к.

Костеньке, как ты его зовешь, придется получить в конце месяца еще рублей 12, вероятно.

Теперь мелкие расходы:

Стол (и керосин, другие мелочи,
покупаемые кухаркою)

мои расходы

числа месяца

1 (июня) (воскресенье, обедал Костенька)	85 коп.		
2	46	почтальону	10
		отправка денег	
		тебе	1.80
		марки	70
3	45		
4	60	табак, гильзы	36
5	50	отправка перевода	
		в Москву	70
		рыба (вяленая, мне)	13
6	38		
7	43		
8 (воскресенье)	89		
9	56		
10	35	табак, спички	35
11	43		
12	47	баня	75
13	33		
14	37	чай, сахар	3.35
15 (воскресенье)	86	бумага	2.00
16	33		
17	45	марки	70
		булки	12
		колбаса	15
18	43		
19	40		
20	57	мыло	13
	<hr/>		<hr/>
	10 р. 20 к.		11 р. 34 к.

Итак, на стол выходило средним числом 50 коп. в день.

Теперь у меня остается около 50 р.; из них до 20 числа следующего месяца выйдет на стол и другие мои личные расходы рублей 30, вероятно; рублей 12 придется, вероятно, отдать за диктовку. Потому, до времени отдачи за квартиру у меня достанет нынешних денег; к тому времени или получу без просьбы или попрошу. — К какому числу понадобятся деньги тебе?

В четверг, вероятно, отправлю в Москву еще кусок перевода. Потому будет удобно просить; деньги будут уж заработаны.

Когда относил на почту предыдущее письмо, заходил к твоим барышням. Они кланяются. Напиши два, три слова Федосье Мелькумовне; она будет очень рада.

Целую детей и родных.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая красавица Лялечка.

Будь здоровенькая.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1027

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. Четверг. 26 июня 1886.

Миленький мой дружок Оленька,

Здесь теперь наши с тобой родные барышни, Ольга Александровна и Марья Александровна. Они приехали третьего дня на американском пароходе; он стоит три дня; они остались жить на нем; он отплывает завтра; и они уплывут опять на нем.

Они приехали в Астрахань в половине третьего; адреса Виддиновых не знали; застать Виддинова в Контрольной палате уж не рассчитывали, — было поздно; потому проехали прямо к нам (всем троим). Мурлышенька спрятался, мы с Матросенькою встретили приезжих; Матросенька через пять минут уж вспрыгнул на колена Марьи Александровны; через четверть часа — так скоро! — оправился от смущения Мурлышенька, появился из своего убежища и вспрыгнул на колена Ольги Александровны (я не на шутку удивился). — Итак, входят; говорят: «Знаете, кто мы?» — Я отвечал, что не знаю, которая из них Ольга Ал[ександровна], которая Марья Ал[ександровна]. Они объяснили. Они понравились и мне, не только моим сожителям. Я был так умен, что догадался велеть поставить самовар. У меня уж сидел, работал, Костенька; я вывел его к ним, они, по твоей рекомендации ему, обошлись с ним совершенно дружески; условились: часов в пять я провожу их к Виддиновым, которые спят после обеда и к тому времени, вероятно, проснутся, а в 7³/₄ они вернутся к нам, и Костенька проводит их в Аркадию; одна из арти-

сток труппы, Жуковская, хорошая знакомая их; они хотели видеть ее до начала спектакля. Костенька после спектакля должен был проводить их на пароход. Взять ложу было бы лучше, полагал я, на среду, чтобы пригласить Мелькумовых, как ты говорила; они сказали, что, повидавшись с Жуковской, останутся в театре, и я дал Костеньке 3 рубля на места в креслах (не говоря им). — Вероятно, не пришлось брать мест; вероятно, Жуковская дала им билеты (Костенька не приходил ныне, загулялся; впрочем, он знал, что у меня на вчерашний вечер много работы и без него; надобно было перечитывать и поправлять перевод для отправки; у своих барышень я не спрашивал, откуда взялись билеты, от него или от Жуковской). — Они хотели притти ко мне вчера в девять часов, а в 12 отправиться к Виддиновым обедать там и оттуда (как прибавили, когда пришли и изложили свои планы) отправиться опять в Аркадию — (вероятно, места даровые? — но я не спрашивал); — вместо 9 часов, зашли ко мне в половине 12-го; Жуковская взяла их из театра к себе; они долго болтали, проснулись поздно, опять болтали с своею приятельницею. — Я догадался велеть сделать кофе; мы сидели и пили до 2 часов; в 2^{1/2} обедают Виддиновы, барышни отправились к ним; хотели, если успеют, зайти по дороге в Аркадию ко мне, а если не успеют, то зайти утром. Вчера вечером зайти не успели; жду их теперь.

Когда я с ними вошел к Виддиновым, он и она встретили их, как близких родных; он прямо обнялся с ними, не надевая пальто (он был в одном белье, проснулся, но еще лежал; услышав из передней их голоса, вскочил и выбежал). Прием Виддиновых им мне очень понравился. — Я при встрече с ними не знал, можно ли поцеловаться с ними, и мы ограничились пожатием рук; буду провожать, то, разумеется, поцелую их, зная теперь, что они не сочтут это невежливостью.

Некрасивы они обе, это правда. Но милые девушки. Марья Александровна действительно умная и достойная большого уважения девушка. Ее сестра, вероятно, скромная и добрая; говорила гораздо меньше ее, постоянно уступая речь ей, горячей говорунье. — Мне они не мешали работать. Я сделал в эти дни не меньше обыкновенного.

Вероятно, они принесут письмо к тебе.

Я, когда пойду с письмом на почту, отправлю в Москву кусок перевода.

Напиши, к какому числу будут нужны тебе деньги.

Целую детей и родных.

Будь здоровенькая, моя красавица Лялочка.

Мы все трое здоровы.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя маленькая голубочка.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Наши барышни принесли письмо. Влагаю его.

Сейчас принесли твое письмо от 20 июня. Благодарю за него. Милый дружок, умоляю тебя, старайся меньше грустить. Понемногу устроимся все жить хорошо.

Целую тебя, моя радость. Будь здоровенькая. Твой Н. Ч.

1028

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Воскресенье. 29 июня 1886. Астрахань.

Миленький мой дружок Оленька,

По твоему письму от 20 июня я вижу, что ты очень сильно стосковалась по мне и своему домашнему быту. Как быть, тебя удерживает в Петербурге материнская обязанность; будем иметь терпение. Будем прежде всего другого желать, чтобы наша с тобою дочка сохранила свое здоровье нисколько не уменьшившимся. Твоя жизнь подле нее — самое лучшее обеспечение этого наиболее важного из наших с тобой желаний.

О себе не будем думать, пока Леночка совершенно оправится.

Наши с тобою однофамилицы уехали третьего дня (т. е. в пятницу) вечером, на том пароходе, на котором приехали сюда и жили здесь. — Ты велела мне взять для них ложу и подарить им фунт конфет от Шарлау. Отправившись провожать их, я купил фунт конфет (лучшего сорта, как ты велела; ценою в рубль). — Брать ложу для них не понадобилось: из трех вечеров, которые пробыли они здесь, два провели они в театре (я писал тебе, что их знакомая, Жуковская, артистка находящейся теперь здесь труппы, встретила их с очень теплою любовью; и что, вероятно, она предоставляла им места даром; оказалось, что действительно даром, она дала б им ложу и на третий вечер, но они предпочли провести его у дамы, с которой познакомились на пароходе). Итак, назначенные тобою на ложу для них 5 рублей оставались не израсходованы; я вздумал купить голову сахару и фунт чаю для матери наших с тобою барышень; Марья Александровна сказала, что везти с собою голову сахару — слишком тяжело. Потому я, когда отправился на пароход проводить их, заехал от Шарлау к Козловым взять три фунта чаю по 2 р.; — Козловы отдают этот чай мне по 1 р. 90 к. — Итак, пришлось заплатить 5 р. 70 к. — Я сказал, что ты даришь по фунту каждой из них и Авдотье Ивановне. — Отдал Марье Александровне один из трех присланных мне экземпляров книги Шрадера о языкознании (той книги, которую первую прислал мне Сашенька для перевода; мы жили тогда еще у Хачикова). — Сколько я мог заметить, наши с тобою однофамилицы провели здесь время не скучая:

кроме Виддиновых и Жуковской, у них нашлось здесь еще две дружбы, обе приобретенные на пароходе. Не понадобилось пособия их препровождению времени со стороны Мелькумовых: они имели приятельниц, которые показывали им Астрахань и болтали с ними каждый вечер до поздней ночи. — Хорошие девушки обе они; а Марья Александровна совершенно такая, какою ты описывала ее мне: девушка достойная глубокого уважения.

Мы все трое здоровы, как только можем желать друг для друга. Матросенька беспрестанно вспрыгивает ко мне, когда я лежу и читаю, ложится на грудь и лежит, пробуя читать газету или книгу, которая у меня в руках; я после некоторых попыток приподымаю книгу или газету повыше, беру его передние лапки в руку; не имея возможности читать, ребенок через минуту погружается в сон. Матросенька не церемонится приласкаться, как только придет ему охота. Мурлышенька, очевидно, стесняется мыслью, не помешает ли он; вспрыгивает приласкаться раза два в день, и то лишь почти всегда по приглашению. Но я сам беру и кладу его с собою, — и он обыкновенно очень рад этому. — Рад, когда возьму; а сам очень редко вспрыгивает; кроме шуток, не очевидно ли, что стесняется мыслью помешать? — У меня во все время не было ни одной ссоры ни с одним из моих — серьезно: милых — сожителей. Одну склонность приобрели они, которая заставляет меня быть несколько осторожным с ними: очень любят читать. Я сплю в столовой; и уходя на ночь из моей комнаты, затворяю дверь ее, чтоб они не прочли чего-нибудь, не предназначенного для чтения детям. Теперь я дал им старую газету, и у них идет с нею шумное занятие.

Целую детей и родных.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая красавица Лялочка.

Будь здоровенькая, моя миленькая голубочка.

Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1029

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 30 июня 1886.

Миленький мой дружочек Оленька,

Сейчас я получил твое письмо от 25 июня, в котором ты говоришь, что тебе понадобятся деньги к 11 июля.

Я написал просьбу о том, чтобы было прислано тебе (через Мишу) сколько будет возможно послать. Вероятно, просьба будет исполнена. Вероятно, будет послано не меньше 200 рублей; может быть, и побольше; не знаю. — Просьбу эту посылаю заказным письмом. Несу его на почту, как допишу это письмо к тебе.

Пишу лишь несколько строк, сообразно тому, как ты велишь в письме от 25 июня.

Я совершенно здоров.

Целую детей и родных.

Крепко обнимаю, тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялечка. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1030

И. И. БАРЫШЕВУ

Астрахань. 30 июня 1886.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Прошу Вас извинить меня в том, что я снова беспокою Вас.

Если мне посланы Вами на-днях деньги, то следующая моя просьба уж исполнена Вами до ее получения.

Но если Вы не отправляли мне денег в эти дни (во второй половине июня; денежное письмо из Москвы идет сюда иногда целую неделю), то я прошу Вас, будьте добр, отправьте, сколько найдете возможным, в Петербург, для моей жены, которая теперь находится там. Адрес таков:

Петербург,

Правление Закавказской железной дороги,

Казанская улица, дом № 54.

Михаилу Николаевичу Чернышевскому.

Мих. Ник. Ч-й — мой сын. Мать живет у него. Он и передаст ей деньги.

Кроме тех денег, какие пришлете Вы ей через него, я просил бы Вас прислать собственно мне сюда сто рублей. Но я могу обойтись и без денег; я прошу Вас очень усердно лишь об отправлении денег моей жене. Они нужны ей к 10 июля.

Только на-днях, перебирая присланные мне Вами экземпляры перевода 2-го тома Вебера, я увидел на одном из них добрые слова милого приветствия Козьмы Терентьевича мне. Прошу Вас передать мою искреннюю благодарность за них и за его помощь мне.

Дня три тому назад я отправил на Ваше имя еще кусок перевода Вебера. Если время мое будет идти обыкновенным порядком, то я рассчитываю послать Вам окончание перевода 3-го тома Вебера около 20 июля.

С истинным уважением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский.*

1031

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

3 июля 1886. Астрахань.

Миленький мой дружок Оленька,
Поздравляю тебя, моя голубочка, с наступающим днем твоего ангела. Желаю, чтоб он был радостный для тебя и детей.

Саша прислал мне свой деревенский адрес. Вот он:

Новгородская губерния, Боровицкий уезд, село Пашково. Ее Превосходительству Александре Александровне Ивановской.

Я пишу ныне Саше. Он говорит, что живет в Пашкове хорошо. Я отвечаю, что пока живет хорошо, пусть живет там; а когда вздумает приехать в Астрахань, то будет хорошо жить в Астрахани; что подробности о твоих и моих мыслях относительно его жизни в Астрахани я передаю ему в письме, которое послал ему через тебя и которое еще не было отправлено тобою ему, потому что ты не знала его адреса.

Мы все трое здоровы.

Пишу тебе, как ты велела, лишь несколько строк.

Целую детей и родных.

Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя, моя красавица Лялечка.

Целую твои ручки и ножки. Будь здоровенькая, моя радость. Твой Н. Ч.

Целую тебя.

1032

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 6 июля 1886.

Миленький мой дружок Оленька,
Еще раз поздравляю тебя с днем твоего ангела. Желаю, чтоб он был радостен для тебя и детей.

Пишу, как ты велела, лишь несколько строк.

Мы все трое совершенно здоровы.

Время идет у меня почти так же, как при тебе, в том отношении, что я не утомляю себя работою, и она подвигается приблизительно в таком же размере, как при тебе.

Миленькая моя голубочка, красавица моя, будь здоровенькая.

Желаю здоровья Леночке. Целую ее и Мишу.

Целую родных. Твои барышни кланяются тебе. Я нередко захожу к ним, чтобы сказать поклон от тебя.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя Лялечка.

Будь здоровенькая.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1033

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 10 июля 1886.

Милый мой дружок Оленька,

Вчера вечером я получил твою телеграмму о том, что родился Володя и что все обошлось для Леночки и для него хорошо. Понятно, как обрадовался я этому твоему извещению. — (На другом полулистике пишу два, три слова Леночке.) — Я тотчас же по получении его послал телеграмму вам, с поздравлением вам и поклоном Володе.

Сейчас принесли твоё письмо от 4 июля. Ты пишешь, что пролежала в постели пять дней. Я и полагал, что твоему здоровью будет тяжела эта жизнь на петербургской даче, при постоянном изнурении заботами о Леночке. Но — ты исполняла свою обязанность и, без сомнения, ты была очень полезна Леночке.

Еще раз поздравляю тебя с днем твоего ангела. Надеюсь, ты провела его радостно, и надеюсь, что теперь, с выздоровлением Леночки, твоё здоровье поправляется.

Пишу тебе, как ты велела, лишь несколько строк.

Мы все трое здесь поживаем хорошо и пользуемся превосходным здоровьем.

Целую детей и родных.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая радость.

Будь здоровенькая, моя голубочка.

Целую твои ручки и ножки, моя миленькая Лялочка. Будь здоровенькая. Твой Н. Ч.

1034

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

14 июля 1886. Астрахань.

Миленький мой дружок Оленька,

Еще раз поздравляю тебя с приобретением внучонка; вероятно, твоя забота очень много содействовала тому, что он родился здоровым и что мать сохранила себя здоровою. Ты была изнурена заботою о них; но принесла им, не жалея себя, пользу.

Я получил твоё письмо от 9 июля, приписку Миши, приписку Евгеньички. Отвечаю ему и ей на других полулисточках.

Надеюсь, ты получила деньги из Москвы. Мне написано оттуда, что 7 июля тебе послано 400 р. Я просил, чтобы мне прислали 100 р.; вместо того мне прислали 200 р. Послать тебе часть их?

Пишу, как ты велишь, коротко.

Мы все трое здоровы. В день твоего ангела и по поводу рождения Володи я дал кухарке 2 р., сказав, что велела дать ты.

Целую детей и родных.
Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя красавица. Будь здоровенькая.
Целую твои ручки и ножки, моя Лялочка. Будь здоровенькая.
Твой *Н. Ч.*

1035

Е. Н. ПЫПИНОЙ

14 июля 1886. Астрахань.

Миленький дружок Евгенийчик,
Благодарю тебя за твои заботы о Леночке и Володе; при тебе, конечно, шло несравненно лучше рождение Володи, нежели было бы без тебя. Оленька пишет, что она чувствует себя очень сильно благодарною за здоровье Леночки и малютки.
Передай, мой дружок, Сереже, что я глубоко уважаю его; скажи ему и Викторини Ивановне, что люблю их.
Целую твои ручки, миленькая моя.
Будь здорова.
Целую тебя, Викторину, Сережу. Целую Поленьку. Благодарю и тебя и Поленьку за Сашу.
Целую и целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1036

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

Астрахань. 14 июля 1886.

Милый Миша,
Благодарю тебя за извещение о Леночке и Володе. Относительно Володи напрасно было бы толковать тебе и Леночке, как держать его; но о Леночке заботься, мой милый; молоденькие матери становятся существами, о которых надобно заботиться в десять раз больше, чем было достаточно для хорошего сохранения их здоровья в то время, когда они еще не были матерями.
Целую Вас, милая Леночка, и прошу Вас долго держать себя осторожно, осторожно.
Целую тебя, Миша.
Будьте здоровы, мои милые друзья. Ваш *Н. Ч.*
Целую Вас, миленькая Леночка. Вероятно, Вы были до сих пор умницею, — то есть очень осторожно берегли свое здоровье; в этом я ставлю ум — и, вероятно, будете оставаться осторожна до совершенного Вашего выздоровления.
Поздравляю Вас. Поздравляю тебя, Миша.
Будьте здоровы. Целую Вас и Володю. Ваш *Н. Ч.*

1037

И. И. БАРЫШЕВУ

14 июля 1886. Астрахань.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Прошу Вас принять глубокую мою благодарность за доброе расположение, с каким исполнили Вы мою просьбу.

Я получил двести рублей (200 р.), посланные мне Вами при письме от 7 июля. Итак, Вы прислали мне больше, нежели я просил. Но особенно приятное одолжение мне сделали Вы тем, что в то же время послали четыреста рублей (400 р.) моей жене в Петербург. Душевно благодарю Вас.

Думаю, что послезавтра отправлю на Ваше имя конец перевода 3-го тома Вебера.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

Р. С. Благодарю за присылку мне 10-го тома Вебера.

1038

ЯКУТСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ

Астрахань. 26 июля 1886.

М. Г.! Имею честь покорнейше просить Ваше Пр-во отдать приказание о том, чтобы книги, оставленные мною в Вилюйске, были переданы в полную собственность живущему там Иордану, или, в случае выбытия оттуда, другому какому-либо лицу, которое живет или будет жить там на его месте. Исполнением этой моей покорнейшей просьбы Ваше Пр-во много обяжете г. Иордана и меня. С истинным уважением и совершенной преданностью имею честь быть Вашего Пр-ва покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1039

В. Н. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 28 июля 1886.

Милый друг Варенька,

Благодарю тебя за твои добрые желания мне.

Кажется, сыночек Миши будет расти здоровым ребенком. Так надеется Оленька.

Из разговоров с нею я составил себе предположение, что Верочка и ее жених огорчаются медленностью, с какою подвигается

дело о получении должности им; но он усердно трудится, потому надобно думать, что теперь их свадьба уж не за горами.

Саша (наш с тобою брат) показался Оленьке очень много поправившимся в здоровье, гораздо более бодрым, нежели каким был в прошлом году и раньше того, когда я видел его. — Юленька, по словам Оленьки, здоровая женщина.

Виктория Ивановна оправляется от страшной печали, в которую впали она и Сережа по смерти бедняжки их сына. Сережа все еще остается тяжело угнетен горем. Какой добрый и благородный человек он!

Евгеньичке я писал о том, как благодарен ей за помощь Леночке.

Поленька остается прежнею; здоровье ее и мужа ее хорошо. Мое всегда хорошо.

Каково-то здоровье дяденьки? Целую его, милого.

Будь здорова, добрый наш друг. Целую твои руки.

Целую Миночку. Благодарю ее за письмо ко мне.

Будь здорова. Целую тебя. Твой Н. Ч.

1040

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 1 августа 1886.

Милый Сашенька,

Вот, наконец, я собрался исполнить твой совет относительно твоего племянника Саши. Посылаю 75 рублей для передачи ему на проезд к нам. Он писал, что поедет сюда, как вернется в Петербург из деревни, а вернуться думает около 15 августа.

Ты говорил, чтобы я прислал деньги для него на имя Поленьки. Но я не знаю ее адреса, потому посылаю на твое имя. Ты передашь Саше сам или через Поленьку, как найдешь более удобным. Прилагаю записку к Поленьке.

Оленька говорит, что нашла тебя поправившимся в здоровье. Это хорошо.

Целую Юленьку и детей. Оленька целует вас всех.

Недосуг писать больше. На-днях, быть может, выберу время для более длинного письма.

Будьте все здоровы. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1041

П. Н. ФАН-ДЕР-ФЛИТ

Астрахань. 1 августа 1886.

Милый друг Поленька,

Благодарю тебя за то, что ты делала для твоего племянника Саши. Он писал мне, что, вернувшись (около 15 августа) из де-

ревни в Петербург, поедет сюда. Посылаю ему на дорогу 75 рублей. — Напиши Мише по городской почте, чтобы он связал, запечатал и отдал тебе те вещи, о которых говорил с Оленькою, что придет их ей, а ты отдашь их Саше, чтоб он привез их ей. Скажи ему, чтоб он сдал эту связку в багаж, а не таскал с собою по вагонам.

Прошу тебя, напиши, сколько он перебрал у тебя денег. Я, по мере возможности, буду возвращать тебе.

Будьте здоровы все. Оленька посылает Вам свои приветствия.

Кланяюсь Петру Петровичу.

Целую Ваших детей. Целую тебя, добрый друг, и благодарю за Сашу. Целую Евгеньичку, Сережу, Викторю Ивановну. Твой Н. Ч.

1042

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

1 августа 1886. Астрахань.

Милый Миша,

Ныне я послал на имя твоего дяди Александра Николаевича 75 р. для передачи (лично или через Поленьку) твоему брату Саше для проезда сюда. Саша писал мне, что поедет сюда, вернувшись из деревни в половине августа.

Мамаша твоя просит тебя собрать вещи, которые ты хотел послать ей; завязав, запечатав, отдай [Поленьке] (в квартире Поленьки, в городе; то есть, вероятно, не собственно ей — она, вероятно, на даче, — а Петеньке, живущему в ее городской квартире). Попроси Петеньку отдать их Саше.

Целую Леночку и тебя и Володю.

Будьте здоровы. Поцелуй от меня Петеньку.

Мамаша целует Вас.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1043

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

Астрахань. 19 августа 1886.

Милый друг Миша,

Ты хорошо сделал, что написал мне те два письма, которые относятся к дням, предшествовавшим отъезду твоей мамашы из Петербурга. Без твоего рассказа я не знал бы, как объяснить себе ее грустное настроение, которое теперь начинает проходить. — Получив те твои письма, я хотел было потолковать с тобою о их содержании; но рассудил, что лучше будет сделать это когда-нибудь после, если тебе вздумается, что не мешает тебе

узнать мои мысли о поездке твоей мамыши в Петербург нынешним летом.

Я полагаю, что она через несколько времени возобновит переписку с вами. А пока я советовал бы тебе и Леночке продолжать писать ей часто, не смущаясь тем, что еще не имеете писем от нее.

Она была довольна тем, что Вы причастили Володю. Она целует его.

Напиши, где Вы будете жить по переезде с дачи в город.

Напиши, передал ли Поленьке вещи, которые должен привезти сюда твой брат.

Целую Вас, милая Леночка.

Целую тебя, Миша. Целую Володю. Будьте здоровы. Ваш
Н. Ч.

1044

И. И. БАРЫШЕВУ

Астрахань. 27 августа 1886.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Прошу Вас принять искреннюю мою благодарность за деньги (восемьсот шестьдесят рублей), посланные Вами мне 20 августа. Они получены мною.

Благодарю Вас за присылку десяти экземпляров 3-го тома перевода Вебера.

Около 10 сентября отправлю на Ваше имя продолжение перевода 4-го тома.

С истинным уважением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1045

Г. Н. КОТЛЯРЕВСКОМУ

28 августа 1886.

Милостивейший государь,

любезнейший братец, Егор Николаевич,

Душевно благодарю Вас за Ваше истинно братское расположение ко мне.

Прошу Вас принять небольшие, но хорошие подарки, посылаемые мною Вам.

Желаю Вам доброго здоровья и прошу попрежнему не оставлять меня Вашим расположением.

Жму Вашу руку и целую Вас.

Истинно любящий и глубоко уважающий Вас, брат Ваш,
Николай Чернышевский.

1046

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

31 августа 1886. Астрахань.

Милый Миша,

Подле Аткарска есть кусок земли, принадлежащий по наследству тебе и Саше; но вы еще не введены во владение им. Мой дядя (Николай Дмитриевич), бывши здесь, говорил мне, что надобно озаботиться этим делом и что он сделает это; теперь написал мне повторение своего совета. Потому, хоть и не нравится мне толковать об этом, я должен передать тебе совет моего дяди:

Пришли метрические свидетельства твое и Саши; пришлешь их сюда, на мое имя.

После надобно будет тебе и Саше подписать доверенность на продажу земли. Я пришлю тебе эту доверенность.

Целую Леночку и Володю.

Будьте здоровы, мои милые друзья (это двум им).

Жму твою руку; будь здоров и ты. Твой Н. Ч.

1047

Н. Д. и В. Н. ПЫПИНЫМ

14 сентября 1886. Астрахань.

Милый дяденька,

Посылаю Вам метрические свидетельства Саши и Миши. Саша уж послал Вам доверенность. Остается только прислать доверенность от Миши. Я писал ему, чтоб он выслал ее на мое или Ваше имя.

Благодарю Вас, милый дяденька, за Ваши заботы о наших делах.

Мне очень приятно было всматриваться в почерк Вашего письма и черновой доверенности: он так тверд и четок, что совершенно успокаивает относительно Вашего зрения: оно очень поправилось сравнительно с тем, каково было два года тому назад; по крайней мере так свидетельствует об этом сравнение нынешнего Вашего письма с прежними.

Мы все благодарим Вас, милый дяденька, за Ваши заботы о нас.

Оленька и я целуем Вас.

Будьте здоровы.

Ваш любящий и благодарный племянник Н. Чернышевский.

Целую тебя, милая Варенька. Целую твои руки. Твой Н. Ч.

1048

И. И. БАРЫШЕВУ

[Около 13 октября 1886.]

Милостивейший государь,

Иван Ильич,

Я получил девятьсот (900) рублей, посланные Вами мне от 6 октября. Душевно благодарю Вас за Вашу заботливость обо мне.

Дня через три пошлю Вам конец перевода IV тома Вебера.

С истинным уважением имею честь быть искренно благодарный Вам *Н. Чернышевский*.

1049

Н. Д. ПЫПИНУ

Астрахань, 19 октября 1886.

Милый дяденька,

Душевно благодарю Вас за хлопоты о земле.

Приговор обо мне состоялся в 1864 году; копию с него получить, вероятно, можно без затруднений, послав требование в Департамент государственной полиции. Сам я, как полагаю, не имею права писать этого требования; если неудобно Вам послать его, то я напишу Мише, чтобы вытребовал он и переслал Вам. — Документ на проживание, выданный мне от здешней полиции, не годится для дела, о котором Вы заботитесь, потому что в этом документе не обозначено ничего, кроме моего имени.

Посовето[ва]вшись с Оленькою, вижу, что могу не затруднять Вас просьбою о требовании Вами копии с приговора обо мне; мы сами напишем Мише, чтоб он получил этот документ и прислал Вам.

Письмо Ваше написано почерком, еще более красивым, чем писанное Вами два месяца тому назад; это очень радует меня, будучи доказательством того, что Ваше зрение улучшается.

Благодарю Вас, милый дяденька.

Будьте здоровы.

Целую Вас. Ваш *Н. Чернышевский*.

Целую твою руку, милый друг Варенька.

1050

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Астрахань. 25 окт[ября] 1886.

Милый Миша,

Попроси (в Департаменте государственной полиции), чтобы тебе дали копию с приговора, относящегося ко мне (он состоялся

в 1864 году) и пришли эту копию мне сюда или прямо моему дяде, Николаю Дмитриевичу, в Саратов. Она необходима для окончания дела о земле, принадлежавшей моей матери.

Целую Леночку, Володю и тебя.

Будьте здоровы. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

P. S. Поздравляю тебя, мой милый друг, с днем твоего ангела.

1051

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 1 ноября 1886.

Милый Сашенька,

Посылаю тебе деньги для передачи твоему племяннику Саше. Через месяц пошлю опять на твое имя 40 р. ему. После устрою пересылку через тебя или через кого другого, как ты рассудишь.

Приезд Саши сюда был полезен в том отношении, что я убедился в его совершенной неспособности зарабатывать себе хлеб каким бы то ни было занятием.

Мы с Оленькой здоровы. Она целует Юленьку, тебя и ваших детей.

Я писал тебе, что przygotowляю для тебя заметки о моем знакомстве с Добролюбовым. Начал писать — и посылаю все, что написал: 3½ странички разгонистого почерка! Не имею времени, не имею.

В письме твоем от 29 августа ты спрашиваешь, действительно ли стихотворение «Москва и Петербург» принадлежит Некрасову, а не Добролюбову. Действительно, да; оно принадлежит Некрасову. В издании сочинений Добр[олюбо]ва не оговорено это по моей вине; она несколько объясняется тем, что печатанье последних листов 4-го тома Соч[инен]ий Доб[ролюбо]ва шло уж без моего просмотра; при корректуре я, вероятно, не забыл бы сделать оговорку, не попавшую в текст, сданный (мною ли еще? или уж не мною? не помню; вероятно, еще мной) в типографию.

Прилагаю по маленькой записке для моих сыновей.

Будь здоров, милый друг.

Целую Вашу ручку, Юленька. Целую Ваших детей.

Жму твою руку, мой милый. Будь здоров. Твой *Н. Ч.*

1052

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

1 ноября 1886. Астрахань.

Милый Миша,

Наведи справки, могла ли б иметь успех просьба о моем переводе в Саратов. Дело в том, что на следующее лето должно опасаться проникновения холеры в Россию; а в Астрахани, гнилой и знойной, эта эпидемия будет сильнее, чем в других русских городах. Мне все равно, где жить. Но твоя маменька очень страшитса быть во время холеры здесь.

Целую Леночку, Володю и тебя.

Будьте здоровы все. Ваш Н. Ч.

1053

В. Н. ПЫПИНОЙ

7 декабря 1886.

Милая Варенька,

Благодарю тебя и дяденьку за Ваши поздравления.

Оленька на этой неделе пролежала дня три, не вставая. Теперь ходит. Каждая зима тяжело отзывается на ее здоровье.

Я совершенно здоров.

Саша писал нам из Петербурга.

Миша постоянно присылает письма. Он, вероятно, сумеет устроить свою жизнь хорошо.

Наш с тобою брат Сашенька прислал мне письмо недели две тому назад. Я ныне собрался, наконец, отвечать ему. По его словам, у него в семействе все идет хорошо.

Целую милого дяденьку. Благодарю его за хлопоты о нас.

Целую твои руки.

Будьте здоровы.

Скажи Егорушке, что я свидетельствую ему глубокое мое уважение, как старшему брату. Твой Н. Ч.

1054

А. Н. ПЫПИНУ

7 декабря 1886. Астрахань.

Милый Сашенька,

Благодарю — вероятно, не тебя, а Юленьку — за телеграмму с поздравлением мне, присланную вчера.

Извини, что долго не отвечал на твое письмо от 14 ноября. Хотел отвечать непременно с извещением, что пришлю тебе

статью, которую вздумал написать. И вот только теперь могу сказать, что действительно напишу ее. Недели через три пришло. Заглавие: «О разнице между группами людей». Написал первую главу. Ее заглавие «Общие понятия о разнице между группами однородных предметов». Дальше будет следовать о разнице между сословиями, племенами одного народа, народами, расами. — Из этого ты видишь, что предмет сам по себе очень скучен. Безжизненное изложение делает статью еще более скучной, чем должно быть ей по самому предмету речи. Итак, я не буду ни в малейшей претензии, если окажется, что статья непригодна для «Вестника Европы».

Перехожу к ответам на твои вопросы.

Я полагаю, что ты рассудил справедливо, решив не присылать мне «Всеобщую историю» Ранке. Вероятно, она была бы непригодна служить материалом для статьи. — Русских ученых книг не присылай мне. Не охотник я до русских философов, вроде Кареева (книга которого была у меня; читать ее невозможно).

Мое мнение о Петре Великом имеет некоторое сходство с мнением Костомарова о нем, разница та, что я отбрасываю уступки, которые Костомаров делает хвалителям Петра. И, разумеется, у меня нет заимствований из славянофильства, какие, вероятно, есть (не помню теперь, есть они или нет, но думаю, что есть) у Костомарова. Я смотрю на дело исключительно с точки зрения существенных интересов русского населения тогдашнего государства. Оно было бедно и невежественно. Ему было нужно облегчение лежавших на нем тяжестей. Петр увеличил их. Русским нужно было просвещение. Но было ли нужно принуждать их учиться у западных народов? Я полагаю, нет, потому что они сами имели, я полагаю, влечение к этому. О том свидетельствует еще Флетчер. Россию держали в положении, в каком до недавнего времени держали Японию. Только потому просвещение мало переходило с Запада в Россию. Достаточно было, чтоб снято было запрещение, и русские сами стали б учиться. Кто принуждал учиться турецких славян? Не обошлись ли они и без принуждений учиться? Отношение русских к просвещению было иное, как отношение турецких сербов. Кто принуждает турецких армян учиться? Они стараются учиться. Меры, принимаемые Петром для так называемого «просвещения» народа, имели характер, отталкивавший русских от просвещения, возбуждали ненависть к просвещению. А то так называемое «просвещение», о котором заботился он, было просто технической муштровкой специалистов по военной службе и другим официальным надобностям. Так «просвещал» Египет Мегмет-Али, так просвещал Пенджаб-Ранджит-Синг, а раньше того так просвещал гуннов Аттила. Это не деятели просвещения. Гуннам, вероятно, не могли повредить никакие меры Аттилы. Эти дикари по своим привычкам во всяком случае должны были погибнуть, погубив, на-

сколько смогут, своих соседей. Прежде нежели могло случиться смягчение их нравов, они должны были уж погибнуть, потому что зашли в средину народов, грабить которых было ремеслом слишком прибыльным, по их сравнительному богатству. Так было потом с аварами, пришедшими в ту же землю. Когда пришли туда венгры, кругом была уж бедность; потому соблазн грабежа был менее велик, и венгры успели несколько образумиться, прежде чем дошло дело до полного их истребления грабимыми соседями; «велика ль добыча? а нас много убито в походе; посидим дома, пока оправимся», — это спасло венгров. У гуннов и аваров не могло явиться такой мысли, потому что добыча была еще велика. Итак, за гибель значительной части — быть может половины, быть может большинства — гуннов в походах Аттилы я не виню Аттилу: это был народ с такими обычаями, в таком географическом положении, что дело было неизбежно. Потому я не считаю особенно повредившей гуннам «просветительную» деятельность Аттилы (он приглашал техников, других всяческих дельцов из цивилизованных стран; вероятно, хлопотал также, чтобы гунны учились у них). Правда, военные машины и другие вещи, которые приобрел Аттила этими заботами о «просвещении» гуннов, помогали ему проникать с гуннами дальше в глубину цивилизованных стран, чем могли бы проникать они без «просвещения», заведенного у них Аттилой; потому цивилизаторская деятельность Аттилы была вредна для соседей гуннов; но сами гунны — на Рейне, а не на Марне, в Северной Италии, а не в Средней — погибали бы и без «просвещения» в таком же числе, как с ним, и для гуннов не было особенного вреда от забот Аттилы о их просвещении. Но пенджабцы времен Ранджит-Синга и египтяне времен Мегмет-Али были уж не бездушные и безумные дикари без всяких влечений к чему-нибудь, кроме грабежа и распутства. Потому Ранджита-Синга и Мегмет-Али я считаю людьми, делавшими вред пенджабцам и египтянам. Как турецким армянам теперь, как турецким сербам в начале нынешнего века — русским времен Петра была нужна только свобода учиться; принуждение не было нужно. Приобрели ли они от Петра хотя маленькую свободу учиться? — Нет; он знал во всем только муштровку; муштровка у него была и в школах такая же, как в казармах; и отправляемых за границу учиться он посылал лишь муштроваться по его инструкциям. Свободы учиться он не допускал. Это видим из истории, бывшей с Татищевым. Палка за всякое движение, не предписанное регламентом, была одна и та же в ученом кабинете и на плац-параде. Россия была бедна; Петр разорил ее (это засвидетельствовано его помощниками, собравшимися на совещание о делах по его смерти). Русский народ имел уж влечение учиться; Петр, насколько мог, внушил ему ненависть к просвещению. Он не в силах был искоренить влечение учиться; оно было уж привычно, хотя еще и слабо; и по

географическому положению России неотвратимо должно было развиваться; подавляемое Петром (то есть характером забот Петра о муштровке), оно, хотя и ослабело, пережило Петра; при Екатерине I, Петре II, Елизавете дело пошло, как шло при Алексее, Федоре, Софии: муштровка велась, но вели ее спустя рукава, и благодаря слабости забот о ней влечение учиться оправилося от угнетения Петра, стало развиваться.

Однако пора мне перейти от беседы с тобою, мой милый друг, к работе. (Видишь, мой друг, что мои мысли о Петре неудобны для печати и притом не подходят к мыслям русских журналов, так что если б и были удобны для печати, то не годились бы для журналов.)

Будьте здоровы все. Целую Юленьку и ваших детей.

Оленька целует вас всех.

Передай моему Саше письмо, которое прилагаю.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1055

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

7 декабря 1886.

Милый Саша,

Благодарю за твои письма с дороги и из Петербурга.

Извини, что давно не писал тебе.

Мы живем попрежнему. Твоя мамаша пролежала на прошлой неделе три дня в постели. Теперь опять ходит. Она целует тебя.

Федосья Мелькумовна вышла замуж. Ее фамилия теперь Канжинская. Муж не поляк, как можно было бы предположить по фамилии, а чистейший армянин. Его профессия — скрипач; он долго то странствовал с провинциальными труппами по всяческим городам губернским и большим уездным, то жил в Москве. Потому совершенно усвоил себе русские обычаи. Говорят, что он хороший артист. Получает он довольно много. Теперь, например, рублей 150 в месяц (преподаванием музыки и участием в концертах). Его хорошо знает брат Федосьи Мелькумовны, Егор М-ч, живущий в Казани. (Канжинский много лет бывал там с труппой Медведева.) Осенью Егор М-ч приезжал сюда; через него Канжинский познакомился с семейством Мелькумовых, и по его совету Федосья Мелькумовна приняла предложение Канжинского. Свадьба была недели полторы тому назад. Можно надеяться, что жизнь Федосьи Мелькумовны будет итти хорошо.

На этих днях побывала у нас Зося, которую ты, кажется, не видел в свой приезд. Она стала полная, румяная, почти взрослая девушка.

Завтра или послезавтра побываю у Платоновых.

Мой приятель Аветов согласился с просьбами сестер, находящихся, что ему вредно проводить время в магазине (он там протружается). К новому году он передает магазин. Своими коммерческими делами он с таким же удобством может заниматься в кабинете у себя (магазин служил ему собственно лишь конторой; а сам по себе был в убыток).

Рыбная торговля, от которой здесь зависит все, попрежнему очень плоха.

Константин Михайлович кланяется тебе. Хочет написать. Он имеет даровой вход в театр по знакомству с некоторыми артистами и не пропускает почти ни одного спектакля.

Целую тебя, мой милый друг.

Твоя мамаша целует тебя. Она в конце ноября отправила 40 р. Мише для передачи тебе.

Будь здоров. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

1056

Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

7 декабря 1886.

Милая Леночка,

Благодарю Вас и Мишу за поздравление. Но гораздо больше благодарю за то, что Вы аккуратно присылаете известия о себе. Получение каждого Вашего письма делает Оленьку радостной.

Берегите свое здоровье, Леночка. Не позволяйте себе ничего, могущего повредить ему.

Целую Володю; но не вполне верю тому, что действительно он сам посылает нам любезности; думаю, что, может быть, вы говорите их от его имени без его положительного уполномочения на это.

Целую Вас и Володю.

Целую тебя, Миша. Будьте здоровы. Ваш *Н. Ч.*

1057

И. И. БАРЫШЕВУ

Астрахань. 7 декабря 1886.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Деньги, посланные Вами мне от 27 ноября (семьсот сорок рублей), я получил. Искренно благодарю Вас за Вашу добрую заботливость обо мне.

Благодарю также за любезность, с какою прислали Вы мне десять экземпляров 4-го тома Вебера.

Если не будет непредвиденных задержек, то около 15 числа отправляю на Ваше имя второй кусок перевода 5-го тома Вебера.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский.*

1058

Е. Н. ПЫПИНОЙ

16 декабря 1886. Астрахань.

Милая Евгеньичка,

Поздравляю тебя с наступающим днем твоего ангела.

Благодарю тебя за твои заботы о Володе. Мысль о твоём наблюдении за здоровьем малютки успокаивает нас. Лично я не совсем доверяю рассудительности его отца и матери; думаю, что иной вечер, занявшись вздорами вроде живых картин, они могут забывать о ребенке; еще хуже, вероятно, может иной раз отражаться на его здоровье склонность подобных отцов и матерей забавляться своими малютками, как игрушками, без сомнения не чуждая почтенным родителям Володи. Но при твоём надзоре здоровье малютки останется, я надеюсь, неповрежденным.

Мы живем хорошо, когда Оленька не бывает больна.

Когда дяденька доставил мне радость увидеть его, я нашел его менее хилым, нежели думал. А почерк его хотя и стал, разумеется, хуже прежнего, все еще остается твердым, правильным, красивым; это свидетельствует, что его ослабевшее зрение все-таки еще не вполне изменяет ему. Я надеюсь, что он еще довольно долго будет держаться на ногах.

Имеешь ли ты теперь сколько-нибудь отдыха? — До недавнего времени ни ты, ни Сережа и Виктория Ивановна, вы не имели его.

Пишу на другом полулистке несколько слов Сереже.

Будь здорова. Целую твои руки. Твой *Н. Ч.*

1059

А. Н. ПЫПИНУ

21 января 1887.

Милый Сашенька,

Мы здесь живем попрежнему. Это значит, между прочим, то, что я не успеваю вести свою обыкновенную работу так, как следовало бы. Поэтому пришлось отложить на неопределенное время продолжение статьи, которую я начал писать для отправления к тебе. Впрочем, она так суха и чужда всем интересам русской жизни, что едва ли годилась бы для какого бы то ни было русского журнала.

Я получил от издателя «Этику» Спинозы в переводе Модестова и книгу Симона о Китае. Если выдаешься с ним, передай лично — если не выдаешься, то через кого-нибудь из общих знакомых, — мою благодарность ему за доброе расположение.

То же о Мачтете, который прислал мне свои «Повести и рассказы». У него есть талант и притом очень симпатичный.

Гаврил Родионович прислал мне свой фабричный отчет. Об этом я пишу Юленьке.

Здоров ли, мой добрый друг? — Верочка ничего не писала об этом.

Будет досуг, напишу побольше.

Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

Снова беспокою тебя, мой друг, просьбой передать моему Саше деньги. Кажется, он бывает у вас чаще, нежели у брата. Потому и посылаю деньги ему на твоё имя. — Жму твою руку. Будь здоров.

1060

Ю. П. ПЫПИНОЙ

21 января 1887.

Милая Юленька,

Оленька давно собиралась писать Вам. Но ей все нездоровится. Потому вот поручила она мне вместо нее написать Вам, — приветствия от нее, пожелания Вам и Вашим птенцам, поцелуи Вам и им.

Она была очень огорчена известием о Вашей болезни.

Она — и вместе с нею я — мы просим Вас и Верочку писать о Вашем здоровье.

Я здоров.

Недели две тому назад я получил от Гаврила Родионовича его отчет о результатах инспекции фабрик его округа. На книге сделана им приписка, такая милая, что считаю надобным ознакомить Вас с юным поэтическим талантом человека лет даже более почтенных, чем мой.

Достоуважаемому Николаю Гавриловичу
на память и на сон грядущий
от автора.

1886, дек[абря] 6.

Сей ветхий старец жив еще,
И бегаёт среди народа,
Какая б ни была погода, —
Живёт он, значит, не вотще.

Само собою разумеется, что я прочел «отчет» с большим интересом. О том, что он написан дельно, умно и составляет ре-

зультат очень усердного исполнения благородной обязанности, принятой на себя Гаврилом Родионовичем, излишне было бы говорить. Но обращаю ваше внимание на одну особенность этого труда:

от него веет теплым чувством доброжелательства ко всем людям, с которыми приходилось иметь дело автору. С очевидною радостью Гаврил Родионович выставляет хорошие черты отношений фабрикантов к рабочим; и, без сомнения, его дельному и твердому, но доброму тону обращения с мелкими фабрикантами рабочие их в значительном размере обязаны теми улучшениями, какие делаются фабрикантами для них по его советам. Не только рабочие видят в Гавриле Родионовиче своего защитника, но, без сомнения, и очень многие фабриканты полюбили его, как человека, искренно желающего быть полезным для всех людей, без различия общественного положения и национальности, друга рабочих, но друга и фабрикантов, желающих не быть притесняемыми рабочими. Умный человек Гаврил Родионович; но и очень добрый человек, истинно благородный.

Вы забавляете своих птенцов, как я вижу по письмам моего Саши.

Хорошо делаете.

Будьте здорова. Целую ваши руки.

Целую племянницу и племянников. Ваш Н. Ч.

1061

В. А. ПЫПИНОЙ

[21 января 1887].

Благодарю Вас, миленькая Верочка, за то, что Вы не ленитесь писать Вашей тетушке. Она всегда бывает рада, когда получает Ваше письмо. Будьте здорова. Передайте мой поклон Федору Густавовичу. Ваш Н. Ч.

1062

А. Н. ПЫПИНУ

Астрахань. 27 февраля 1887.

Милый Сашенька,

Оленька посылает 100 р., которыми просит тебя распорядиться так:

Теперь ты, вероятно, уж отдал Саше 40 р., о ссуде которых нам для передачи ему я просил тебя в предыдущем письме; взяв их обратно себе, ты оставишь:

50 р. для отдачи Саше в начале апреля, а 10 рублей Оленька просит тебя отдать Юленьке, с просьбой от Оленьки о том, чтобы сделать угощение на пасху Вашим птенцам.

Оленька целует их, Юленьку и тебя. Тоже и я.
Будьте здоровы. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

1063

И. И. БАРЫШЕВУ

27 февраля 1887. Астрахань.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Через несколько часов после того, как послал письмо, в котором беспокоил Вас просьбой о деньгах, я получил повестку о том, что они уж пришли сюда.

Я получил тысячу четыреста шесть рублей (1406 р.), приложенные к Вашему доброму письму от 17 февраля.

Душевно благодарю Вас за Вашу заботливость об удовлетворении моих надобностей.

С истинным уважением имею честь быть
Вашим покорнейшим слугой *Н. Чернышевский.*

P. S. Кажется, я еще не уведомлял Вас о получении мною 11-го тома Вебера. Благодарю Вас за присылку его.

1064

Ю. П. ПЫПИНОЙ

Астрахань. 26 марта 1887.

Милая Юленька,

Поздравляю Вас с наступающим праздником. Желаю всего хорошего Вам и Вашим.

Оленька и я, мы благодарим Вас и Верочку за внимание. Телеграмма ваша была получена в день рождения Оленьки.

Когда будете писать Аделаиде Петровне и Гаврилу Родионовичу, передайте им приветствия Оленьки, мое глубокое уважение Гаврилу Родионовичу, то же Аделаиде Петровне, с прибавлением, что я целую руку ее.

Оленьке все нездоровится; чувствуя себя очень усталой, она поручила мне написать Вам, что поздравляет Вас и целует Верочку и всю Вашу с ней младшую компанию.

На обороте пишу несколько слов Сашеньке.

Целую Ваши руки. Целую Верочку и К⁰.

Будьте здоровы. Ваш *Н. Ч.*

1065

А. Н. ПЫПИНУ

26 марта 1887. Астрахань.

Милый Сашенька,

Время у меня идет попрежнему; то есть все еще не могу уладить свою работу так, чтоб она подвигалась вперед соответственно моему желанию; потому все еще мне недосуг заняться чем-нибудь менее машинальным.

Я получил перевод Гранта Аллена «Дарвин». Благодарю приславшего. — Передай прилагаемую записку Саше, когда увидишь его.

Будь здоров, добрый друг. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1066

Н. Д. ПЫПИНУ

5 апреля [1887.]

Милый дяденька,

Поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам доброго здоровья и всего хорошего. Благодарю от всей души за Ваши хлопоты о нас.

Целую Вас. Ваш племянник *Н. Чернышевский.*

1067

В. Н. ПЫПИНОЙ

[5 апреля 1887.]

Милая Варенька,

Целую тебя. Поздравляю с светлым праздником. Будь здорова.

Целую твои руки. Твой *Н. Ч.*

P. S. На другом полулистке пишу два слова Минючке. Отдай ей.

1068

А. Н. ПЫПИНУ

9 апреля 1887.

Милый Сашенька,

Мы получили письмо Юленьки от 31 марта и твою приписку к нему. Родственные чувства излагаю на втором полулистке, в письме к Юленьке.

Благодарю тебя за исполнение моей просьбы о моем Саше.

Быть может, в следующем месяце напишу какую-нибудь статейку для печати. Думаю, что найду несколько вечеров досуга для этого. — Книг мне не нужно пока никаких.

Посылаю двести рублей. Половину из них Оленька отправляет Верочке (она пишет ей об этом). Из остальных ста рублей давай моему Саше по 40 р. на май и на июнь; и если понадобится, по твоему мнению, то делай прибавки из двадцати рублей, которые будут у тебя в запасе на этот случай. Целую тебя. Будь здоров. Твой *Н. Ч.*

1069

Н. Д. ПЫПИНУ

29 апреля 1887.

Милый дяденька,

Снова благодарю Вас за добрую и неутомимую заботливость о наших делах. Теперь, по Вашему совету, Оленька подпишет бумаги, какие нужны. Прошу Вас, помогите ей Вашими указаниями.

Я здоров. Тружусь, как могу. Все в моей жизни остается постарому.

Оленька очень радуется тому, что ей оказалось возможным навестить Вас и Вареньку.

Ваша внучка, моя племянница Верочка, вероятно, венчается ныне: она писала Оленьке, что свадьба назначена 29 апреля. Должно полагать, что брак будет счастливым: Сашенька, Юлия Петровна, сама Верочка очень хорошо знают жениха и уж привыкли считать его родным.

Будьте здоров, милый дяденька. Целую Вас.

Ваш, душевно любящий, искренно благодарный племянник
Н. Чернышевский.

1070

В. Н. ПЫПИНОЙ

29 апреля 1887.

Варенька, милая сестрица,

Благодарю тебя за твою любовь к нам. Каково же здоровье дяденьки? Когда мы виделись, он казался мне еще очень бодр для его лет, и я получил тогда надежду, что у него еще остается довольно много сил жизни.

Целую твои руки и прошу тебя заботиться для дяденьки и для всех нас о твоём здоровье. Твой *Н. Ч.*

1071

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

1 мая 1887. Пятница.

Милый мой дружок Оленька,

Думаю о том, хорошо ли тебе ехать, и о том, как ты будешь проводить время в Саратове, поедешь ли взглянуть на Устиновские или Липецкие минеральные воды с их обстановкой.

У меня здесь делается все, как ты велела.

Вчера после обеда пошел к Аветову. Он несколько поправляется и подарил мне апельсин и гранатовое яблоко; ты видишь — напрасны были шутки над его скупостью.

Кухарка держит себя исправно. Расходы на стол были — вчера 50 коп., ныне 52 коп.

Пишу лишь несколько строк, как ты велела. Следующее письмо отправлю в среду или четверг, справившись о том, по каким дням ходит почта с нынешнего месяца.

Я выздоровел.

Вместе с этим письмом отправляю письмо Юлии Петровне и Сашеньке, как ты велела.

Целую дяденьку, Вареньку, Катеньку.

Будь здоровенькая, моя миленькая радость.

Целую твои ручки. Тысячи и тысячу раз целую тебя.
Твой Н. Ч.

1072

Ю. П. ПЫПИНОЙ

1 мая 1887.

Милая Юленька,

Поздравляю Вас и Сашеньку с свадьбой Верочки. Должно надеяться, что это будет счастливый брак: Вы так давно и хорошо знали Федора Густавовича, а Верочка и он так мило любят друг друга.

Просим Вас передать наши поздравления Верочке и Федору Густавовичу и поблагодарить их от нас за телеграмму, посланную нам ими в день свадьбы. Телеграмма, очень обрадовавшая Оленьку, получена нами перед самым отъездом Оленьки на пароход; потому и отвечаю один я. Оленька уехала в Саратов.

Целую Наташу и ее братьев.

Целую Вас и Сашеньку. Жму ваши руки. Ваш Н. Чернышевский.

1073

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

5 мая 1887, вторник.

Миленький мой дружок Оленька,
Каково-то поживаешь ты в Саратове? Поедешь ли взглянуть
на Устиновские и Столыпинские воды?

Здесь все делается, как ты велела.

В воскресенье я получил твою телеграмму о приезде в Саратове. Благодарю тебя за нее.

Дарья Степановна зашла третьего дня и взяла образ. В пятницу и субботу не могла зайти, потому что ей нездоровилось. Это была лихорадка.

Константин Михайлович в пятницу тоже чувствовал себя нездоровым. В субботу почти вовсе поправился; я заходил к нему вечером. В воскресенье выздоровел и возобновил свою работу со мной.

Три дня по твоём отъезде Маруська, как ты ее называешь, сильно тосковала о детях: бегала по комнатам, разыскивая их, жалобно мяучила; в первый день даже почти вовсе ничего не ела. Вчера уж забыла о детях и чувствует себя снова счастливой. Долго оставаться у нас я не даю ей, исполняя твою инструкцию: покормлю и уношу из комнат.

Отнесу письмо и погуляю по городу. Завтра пойду гулять вдоль садов, потом пойду в баню.

Целую дяденьку и Катеньку.

Целую руки Вареньки.

Будь здоровенькая, моя милая радость.

Я совершенно выздоровел. — Буду писать в субботу.

Крепко обнимаю тебя, моя миленькая Лялечка, и тысячи раз целую тебя.

Целую твои ручки. Твой Н. Ч.

1074

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

8 мая 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Я получил (в воскресенье) твою телеграмму о приезде в Саратов (кажется, уж и писал о ее получении, но не умею хорошенько припомнить, потому пишу и теперь).

Я совершенно здоров.

Каково-то поживаешь ты, моя миленькая радость?

Твои инструкции все исполняются.
Вот список расхода на стол:

май	1	— 52 коп.
	2	— 50
	3	— 60
	4	— 70 (были куплены яйца)
	5	— 71 (была куплена крупа)
	6	— 52
	7	— 50

Итого в неделю 4 р. 05 коп.

Другие расходы были такие:

чай	80	(оставленный тобой чай цел, я купил другого сорта)
марки	70	
баня	80	
мелочи	24	

итого 2.54

Всего 4.05

за работу 18.50

2.54

18.50

25.09

Работа у меня идет точно так же, как при тебе.

Думаю о том, как поживаешь ты, моя миленькая голубочка.

Целую дяденьку и Катеньку.

Целую руки Вареньки.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялочка.

Будь здоровенькая.

Целую и целую тебя. Твой Н. Ч.

1075

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Пятница, 8 мая, 12 часов дня.

Миленький дружок Оленька,

Рано утром я отнес письмо к тебе; а вот теперь принесли письмо к тебе, — как вижу по почерку адреса — от Миши. Отправляю его; вероятно, еще успеет пойти с нынешней почтой.

Константин Михайлович раскаялся в своей чрезмерной любви к театру и поклялся не ходить ни на один спектакль с настоящей минуты до половины 7 часа нынешнего вечера. Вероятно, сдержит клятву.

Целую твои ручки, моя миленькая радость. Будь здоровенькая.

Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя. Твой Н. Ч.

1076

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

11 мая, понедельник [1887].

Миленький мой дружок Оленька,
Сейчас принесено письмо на твое имя, — по почерку адреса я полагаю, что оно от Леночки. Спешу отдать его на почту, чтоб оно успело быть отправлено к тебе ныне же.

Вчера получил твое письмо от 5 мая.

Благодарю тебя за него. Благодарю Миночку за приписку к нему. Прошу у нее прощения, что в предыдущем своем письме к тебе по торопливости забыл упомянуть, что целую ее.

Я здоров. Здесь все идет у меня, как ты велела.

Целую дяденьку, Катеньку, Миночку.

Целую руки Вареньки.

Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялечка. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1077

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Воскресенье, 24 мая 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера вечером я получил твою телеграмму, посланную перед отъездом в Липецк. Благодарю тебя за нее. Надеюсь, курс вод и отдых в Липецке будут полезны твоему здоровью.

Пишу лишь несколько строк, как ты велела.

Здесь все идет по твоим инструкциям.

Я здоров.

Целую твои ручки и ножки.

Будь здоровенькая, моя миленькая радость.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя.

Будь же здоровенькая, моя миленькая Лялечка. Целую и целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1078

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

25 мая 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера вечером получил твое письмо из Саратова о выезде в Липецк, а вот сейчас — в 8 часов утра — и телеграмму твою из Липецка. Благодарю тебя, моя голубочка, за эти известия.

Надеюсь, что в Липецке будет удобно и приятно для тебя, что минеральные воды, прогулки, отдых принесут большую пользу твоему здоровью. Выздоровливай, моя радость.

Здесь все идет, как ты велела делать.

Я здоров. Я почти каждое утро хожу гулять.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя.

Будь здоровенькая, миленькая моя Лялочка. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

Р. С. Следующее письмо отправлю в пятницу. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1079

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Пягница, 29 мая 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Хорошо ли ты устроилась в Липецке? — Я надеюсь, ты несколько отдохнешь в климате, который летом приятен, и здоровье твое улучшится. Пожалуйста, заботься о нем, моя миленькая радость.

Здесь у меня идет все по твоим инструкциям. Без тебя, я должен сам ходить за покупками; каждый день нужна какая-нибудь мелочь. Кроме того, я и просто гуляю. Хожу много.

Вчера утром ходил на пристань Волжского пароходства проводить своего друга Аветова. Он, по моему убеждению, обещался ехать в 1-м классе; — но — пожалел-таки денег, поехал во 2-м. Дядькой себе взял Михайлу — того молодого татарина, который был у него приказчиком.

Вчера же ходил покупать чай, сахар, кое-какую мелочь; и Степан Иванович (который кланяется тебе) дал мне такой сахар, какого я еще не видывал; это — плитка (весом в 4 фунта); вид плитки очень изящный; качество сахара едва ли не лучше обыкновенного; по крайней мере кристаллизация крепче и ровнее обыкновенной.

Я здоров.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялочка.

Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1080

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Воскресенье, 31 мая 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера я получил твое письмо от 26 мая из Липецка. Благодарю тебя за него.

Хорошо, что ты устроилась в Липецке довольно удобно. — Когда будешь возвращаться, то, пожалуйста, возьми на пароходе место в 1-м, а не во 2-м классе; прошу тебя, сделай так в угождение моей просьбе.

В Липецке возьми, пожалуйста, полный курс леченья, как советует тебе врач; пожалуйста, не поскучай позаботиться об основательном улучшении твоего здоровья.

Я полагаю, что получу деньги около 10 июня. Как получу, пошлю Леночке 25 рублей и напишу ей и Мише, как ты велишь. В тот же день пошлю деньги и тебе.

Марья Ивановна отдала мне две пары носков для Евгении Александровны, которой я передал их; об остальном Марья Ивановна сама будет толковать с Евг. Ал[ександров]ной, адрес которой я записал ей.

Здесь все делается, как ты велела.

Я совершенно здоров.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая радость.

Буду писать в четверг, если раньше того не получу от тебя письма с каким-нибудь распоряжением, об исполнении которого будет надобно уведомить тебя немедленно.

Будь здоровенькая, моя миленькая Лялочка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1081

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

31 мая, воскресенье [1887].

Миленькая моя голубочка,

Через несколько часов после того, как я отдал на почту свое нынешнее письмо к тебе, принесли мне письмо к тебе от Миши. — Спешу на почту, чтоб оно попало в отправление нынешнего дня.

Будь здоровенькая, моя милая радость.

Крепко обнимаю и целую тебя, моя миленькая Лялочка.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1082

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Среда, 3 июня 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Деньги присланы несколько раньше, нежели я рассчитывал. Иду получить их с почты и там же вложу в приготовленные письма:

300 р. тебе,

25 р. Леночке (как ты велела в письме из Липецка),

100 р. Сашеньке (Пыпину) для передачи по 40 р. в месяц нашему Саше (посылаю 100 р. теперь же для того, чтобы не каждый месяц затруднять Сашеньку (Пыпина) получением денег с почты).

Оставляю у себя, сколько нужно по приблизительному расчету на два месяца, и останется еще...

700 рублей, которые я прямо с почты отнесу в банк.

У меня здесь все идет хорошо. Я совершенно здоров.

Буду писать тебе в воскресенье, если не понадобится отвечать раньше того на какой-нибудь твой вопрос.

Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя, моя миленькая радость.

Будь здоровенькая, миленькая моя Лялочка.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1083

А. Н. ПЫПИНУ

3 июня 1887.

Милый Сашенька,

Прости, что опять делаю тебе беспокойство отправлением денег для Саши на твоё имя. Он беспрестанно перемещает квартиры, потому я вообще не знаю, по какому адресу мог бы писать ему.

Выдавай ему по 40 рублей в месяц; с прибавкой, если понадобится.

В прошлом месяце я собирался написать что-нибудь для «Вестника Европы»; но не успел: в этот и следующий месяцы тоже не буду иметь досуга. Посмотрим, найду ли в августе.

Как поживает на Кавказе ваша с Юленькой молодая дама? — Я думаю, что это хороший брак. Она, миленькая, достойна того, чтоб её жизнь была счастлива.

Целую Юленьку.

Целую Наташу и её братьев.

Вероятно, вы знаете, что Оленька теперь лечится в Липецке.

Целую тебя, мой милый.

Будьте здоровы все.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1084

Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

3 июня 1887.

Милая Елена Матвеевна,

Поздравляю Вас с днем Вашего рождения.

Надеюсь, Вы живете хорошо и пользуетесь хорошим здоровьем. Мне казалось — по Вашим письмам к Ольге Сократовне — что Вы иногда недостаточно берегли Ваше здоровье; прошу Вас, не скучайте осторожностью, нужной для сбережения его.

Не будьте в претензии на меня за то, что я редко пишу Вам. Недосуг приучил меня манкировать перепиской с самыми близкими нам людьми. У меня проходят месяцы, в которые я не пишу ни одного письма.

Все чувства любви Оленьки сосредоточиваются на Вас с Мишей. Я раньше, нежели Вы родились, уж привык разделять чувства Оленьки.

Она посылает Вам через меня деньги, вложенные в это письмо.

На другом полулистке пишу несколько слов Мише.

Будьте здорова. Целую Вас. Ваш Н. Ч.

1085

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

3 июня 1887.

Милый Миша,

Мне интересно знать, в каком положении вопрос о том, остаешься ли ты на службе Закавказской дороги при ее переходе в управление казны. Если не будешь требовать от меня аккуратности в переписке, то напиши об этом прямо мне.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Твой Н. Ч.

1086

И. И. БАРЫШЕВУ

3 июня [1887].

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Я получил посланные Вами мне в конце мая тысячу четыреста десять рублей (1410 р.).

Душевно благодарю Вас за Вашу чрезвычайно добрую заботливость обо мне.

Но прошу Вас, скажите, каким бы способом я мог содействовать покрытию убытка, производимого изданием перевода Вебера? Бросать это издание теперь, вероятно, уж не годится. Но можно, продолжая его, вести какое-нибудь другое издание, которое уменьшало бы его убыточность.

Я прошу совета собственно у Вас. Говорить об этом Кузьме Терентьевичу значило бы напрашиваться на ответ, что я ошибаюсь, думая, будто издание перевода Вебера производит убыток. Кузьма Терентьевич так деликатен, что не мог бы отвечать иначе.

Он не хочет принимать мою благодарность за помощь, которую оказывает мне. То прошу Вас передать ему хотя мою благодарность за присылку мне перевода Момсена.

Благодарю также за присылку 10 экземпляров 6-го тома перевода Вебера.

Дня через три, вероятно, отправлю на Ваше имя второй кусок перевода 7-го тома Вебера.

С истинным уважением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою.

Искренно благодарный Вам *Н. Чернышевский*.

Получив деньги и прочитав Ваше письмо, пишу и прилагаю к этому моему письму то удостоверение, иметь которое надобно Кузьме Терентьевичу.

Но если бы действительно понадобилось второе издание перевода Вебера, то я желал бы переделать текст;

у Вебера множество пустой болтовни; ее надобно было бы выбросить, как баласт, понапрасну увеличивающий цену книги (и уменьшающий продажу ее); у Вебера множество пробелов, которые надобно дополнить.

Само собой, я сделал бы это без всяких претензий на получение лишних денег; — прошу Вас, Иван Ильич, скажите мне, удобно ли будет мне написать об этом Кузьме Терентьевичу.

С истинным уважением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1087

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Воскресенье, 7 июня 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Каково-то поживаешь ты?

Пожалуйста, пользуйся водами, сколько будет надобно по мнению врача.

В среду я отправил тебе 300 р. Остальными деньгами распорядился так, как предполагал, когда перед получением их писал тебе письмо, при котором отправил часть их тебе.

Свои расходы я записываю, как ты велела.

Я совершенно здоров.

Все здесь идет, как следует.

Следующее письмо к тебе отправлю в четверг.

Будь здоровенькая, моя миленькая голубочка.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя Лялечка.

Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1088

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Среда, 10 июня 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера вечером я получил твое письмо от 5 июня.

В Липецке были несколько дней дожди. Кроме Астрахани, где ж не бывает этого? — Ясная или дождливая погода будет преобладать, этого нельзя угадать вперед хотя бы на одну неделю; можно приблизительно угадывать лишь дня на два, но и то не по приметам, которыми руководится молва, а только по метеорологическим таблицам о состоянии барометрического давления кругом данной местности на сотни и тысячи верст расстояния; эти таблицы печатаются в газетах; публика не обращает на них внимания; и понимать значение цифр, из которых состоят они, умеют до сих пор лишь немногие; я, например, не умею. А из примет, которым следует молва, имеет некоторое действительное значение лишь одна: характер вечерней зари; по ней можно судить о том, ясное или сумрачное будет утро следующего дня, — под условием: «если ветер не переменится ночью»; а он очень часто переменяется ночью; тогда примета по вечерней заре не оправдывается утром. Около полудня ветер меняется еще гораздо чаще, нежели в продолжение ночи; потому примета по вечерней заре вовсе не годится для соображений о погоде, какая будет на следующий день после полудня.

Итак, не обращай внимания на то, какую погоду предсказывает молва в Липецке. Суди только о том, какова погода нынешний день, хороша или дурна. Но вообще очень может быть, что лечение на Кавказских водах было бы полезнее для тебя. Я об этом не могу судить. Знаю только, что Кавказские воды сильнее Липецких. И едва ли ошибаюсь, полагая, что климат и местоположение Эссентуков, Железноводска и проч. гораздо приятнее Липецкого.

Понравится тебе жить в Липецке и будешь чувствовать пользу от Липецких вод — то прекрасно; а если нет, то поезжай из Липецка на Кавказ; из Липецка прямая дорога туда. Вот цена проезда:

	I класс	II класс
Липецк—Грязи	1 р. 28 к.	95 к.
Грязи—Ростов	26 » 93 »	20 р. 20 »
Ростов—Владикавказ	24 » 45 »	18 » 31 »

Итого от Лип[ецка] до Влад[икавказа] . . 52 р. 66 к. 39 р. 46 к.

Обратный путь:

[Владикавказ]—Грязи	51 р. 38 к.	38 р. 51 к.
Грязи—Царицын	21 » 19 »	15 » 89 »

Итого Влад[икавказ]—Цариц[ын] . 72 р. 57 к. 54 р. 40 к.

Предполагаю, ты поехала бы с твоей нынешнею сожительницею; это стоило бы —

до [Владикавказа], рублей 80 или 100,
оттуда, до Цариц[ына] тебе, до Саратов[ова] ей,
обе цифры вместе — рублей 120 или 140.

Итого, весь путь туда и оттуда, — рублей 220.

На это у нас с тобой достанет денег.

Дорога от Грязей до Царицына — одинаково обратный путь, из Липецка ли, с Кавказа ли; вычтем ее, и останется, что поездка на Кавказ увеличит расходы лишь рублей на 175.

Я писал тебе, что сверх отложенных мною на мои расходы, у меня остается 700 рублей; из них мне не понадобилось бы брать ничего на здешние расходы до половины августа; следовательно, их все можно употребить для поездки на Кавказ.

Тот (VII) том, который я перевожу теперь, я рассчитываю кончить около 25 июля.

Предыдущий (VI) том я кончил 15 апреля; деньги за него получил 3 июня, то есть приблизительно через 50 дней по окончании перевода; по этому расчету должно полагать, что если я кончу VII том 25 июля, то деньги за него получил бы около 5 сентября без просьбы о присылке их; но если попрошу в начале августа, то пришлют рублей 500 немедленно; эти деньги будут тогда уж заработаны.

Таким образом, я полагал бы, моя миленькая радость, что тебе можно ехать на Кавказ.

Подумай об этом. Будь здоровенькая.

Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя, моя Лялочка. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Р. S. Вероятно, ты уж получила (около 8 числа) 300 р.; я послал их тебе 3 июня. — Я совершенно здоров. Здесь все идет хорошо.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Суббота. 13 июня [1887].

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера я получил твое письмо от 8 июня. Благодарю тебя за него. Пишу только для того, чтобы сказать тебе, что я совершенно здоров и что все здесь у меня делается так, как ты велела.

Гуляю довольно много, почти каждый день. Вчера встретил Канжинского; оба мы желали превзойти друг друга любезностью. Он показался мне человеком простодушным; толковал мне о своих денежных делах, о своем счастье с такою женою, как Федосья Мелькумовна. Я вздумал, что мне следует навестить ее, и на его приглашения отвечал, что зайду к ним на-днях. Он на следующей неделе дает концерт в театре Аркадии.

Вчера (или третьего дня) «драматург», как зовет его Константин Михайлович, имел — еще не знаю, торжество ли, или огорчение — видеть публику угощаемой его вторым произведением, которое называется «На яру». Он заходил в начале этой недели; хлопот тогда был полон рот у него; одна из главных ролей будет сыграна хорошо, говорил он мне, но другая дана плохому артисту; декорации сделаны хорошо. — Отец его встретился со мной на-днях; был опять болен, бедняжка; теперь показался мне поправившимся, но все еще слабым.

Тот офицер — Смирнов, — справиться о котором просили тебя отец и мать его, разыскан Конст[антином] Михайловичем: он вышел в отставку и служит в конторе «Кавказа и Меркурия»; если мне случится быть там, то, быть может, зайду в контору сказать ему добрым тоном, что родные желали бы получить от него известие о том, как живет ему. Вероятно, он только слабый, но не дурной человек. Если он просто боится гнева отца и матери, я постараюсь успокоить его.

Девица кланяется тебе. Она такая умница, что вечером не дожидается, чтобы я взял и нес выпустить ее в изгнание, — сама уходит, бедняжка; а как дотронешься погладить ее, она приходит в восторг.

Буду писать в среду.

Прошу тебя, мой миленький дружок, воспользуйся летом для поправления своего здоровья. Если не приносят пользы Липецкие воды, поезжай на Кавказские. Пожалуйста, моя радость, позаботься о своем здоровье.

Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя. Будь здоровенькая, моя Лялечка.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Среда. 17 июня 1887.

Милый мой дружок Оленька,

Третьего дня я получил твое письмо от 13 июня, — то, в котором ты говоришь, чтоб я справился о квартире, рекомендованной тебе Варварой Яковлевной. Итти в тот день было поздно, я пошел вчера утром. Варвара Яковлевна (которой я, разумеется, поклонился от тебя) сказала мне, что священник еще остается на своей квартире, что 20 числа он уедет на месяц или полтора и перед отъездом решит, удержит ли за собой квартиру; что если он захочет перейти на другую, а эту захотим взять мы, то надобно будет переделать кухню (как ты и говорила). Я рассудил сделать так: если квартира будет взята нами, то после 20 числа должно пройти еще несколько дней в переделке кухни; потому до конца этого месяца во всяком случае нам приходится оставаться на нынешней квартире; а связывать себя с нынешней квартирой на целый месяц (до 20 июля) было бы лишним, потому надобно отдать деньги вперед лишь за половину месяца (то есть до 5 июля); а чтобы хозяин и хозяйка взяли только за половину месяца не поморщившись, то отдать деньги сейчас же (16 числа), несколько раньше, чем ожидают они, потому я от Варвары Яковлевны прошел прямо к нашим нынешним хозяевам; мужа не было дома; я поклонился от тебя хозяйке и отдал ей 20 рублей, сказав, что у меня будут деньги для пополнения уплаты в конце месяца; она поблагодарила за отданные ей 20 рублей. — Вечером (вчера же) пришла Варвара Яковлевна и сказала: она спросила у священника, оставляет ли он за собой квартиру; он сказал, что оставляет; а она и хозяйка дома, присмотревшись хорошенько к тому, как пришлось бы переделывать для нас кухню, увидели, что и при переделке не могло бы выйти хорошей кухни. Потому об этой квартире думать нам не следует, — продолжала Варвара Яковлевна, — а должен я посмотреть, не окажется ли пригодной для нас другая квартира, по соседству с тем домом. Я сказал, что благодарю ее за добрую заботливость и сделаю по ее совету, завтра утром пойду посмотреть указываемую ею квартиру и оттуда найду к ней сказать, какова покажется мне та квартира. — Это было вчера. Вот сейчас пойду, посмотрю ту квартиру, найду оттуда к Варваре Яковлевне и, вероятно, успею сделать к этому письму приписку, в которой расскажу, как рассудили мы с Варварой Яковлевной. (В той квартире переделываются теперь полы, сказала Варвара Яковлевна, стало быть — данные вперед нашей нынешней хозяйке 20 рублей не связывают нас: все равно раньше конца этого месяца та квартира не будет готова.)

Видел у Варвары Яковлевны обоих котяточек, отданных тобою на воспитание ей; оба весело играют; она говорит, что когда уходит из дому, то запирает их в своей комнате, чтобы они не пострадали от дурачества глупых мальчиков или еще более глупых взрослых людей.

Муж Федосьи Мелькумовны дал мне программу своего концерта; прилагаю ее к этому письму. Зайду к ним завтра, чтоб узнать, довольны ль они успехом концерта, и, вероятно, не забуду написать тебе об этом.

Миша отвечал мне на вопрос о его службе на железной дороге в случае перехода ее в казенное управление. Посылаю тебе его письмо; ты увидишь, что напрасно он тревожился зимой и напрасно тревожились мы за прочность его службы.

Костенька, как ты его называешь, струсил вскоре после твоего отъезда: «Ольга Сократовна будет бранить меня». — «За что?» — «Я хочу на месяц уехать на Кавказ». — «Зачем?» — «Ни за чем». — «Ну, так и не нужно ехать». — «Хочется». — Таково было начало разговора. Продолжения не могу сообщить тебе, потому что дал моему собеседнику обещание скрыть от тебя его поездку. Недели через три он воротится. А на это время я пригласил писать под диктовку вместо беглеца юношу лет 16-ти, но по виду еще вовсе мальчика; пишет достаточно грамотно и четко, хотя, разумеется, не имеет такого хорошего почерка, как Константин Михайлович. К работе пока очень усерден. Фамилия этого мальчика — Протопопов; отец его служит помощником управляющего конторой общества «Дружина», жалованье — 1000 р.; семейство — довольно большое; мальчик неглуп и знает цену деньгам: «заработаю, годится мамаше на покупку одежды мне».

Ты велишь написать несколько приветливых слов Марье Николаевне; прилагаю записку для передачи ей. По твоим словам о ее заботливости, — приходило мне в голову и раньше твоего положительного замечания о надобности написать ей желание поблагодарить ее; но я не знал ее имени (ты говорила, но в моей памяти спутались разные имена); потому и не написал раньше.

Будь здоровенькая, моя милая радость.

Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Лялечка.

Разумеется, я совершенно здоров. Едва не забыл написать это. Если иной раз и забуду, то, вероятно, ты рассудишь, что не написано об этом лишь по забывчивости, и не будешь беспокоиться.

Целую твои ножки. Твой *Н. Ч.*

Сейчас ходил смотреть квартиру, о которой говорила Варвара Яковлевна. Это нижний этаж, вроде того, как квартира наших Полетаевых. Ход — две ступени вниз. Я рассудил: «вероятно,

есть сырость». Осмотрев комнаты, которые видны из передней, еще неокрашенной и потому доступной, я вышел на улицу и стал всматриваться в другие комнаты через стекла окон. Подъехал к воротам господин еще довольно молодой; сошедши с экипажа, подошел ко мне: «Вы смотрите квартиру?» — «Да». — «Я зять хозяйки. Живу теперь в верхнем этаже, а здесь, внизу, прожил шесть лет. В двух углах была сырость; один мы с женой высушили, но и за него не могу ручаться, а другого угла мы не могли высушить. Притом удобств никаких. Я видел ту даму, которая приходила смотреть эту квартиру для вас, потому знаю, каковы надобности вашей супруги относительно сухости и удобств. Эта квартира неудобна для вас». — Я поблагодарил его за искренность и зашел передать его отзыв Варваре Яковлевне. Она сказала, что будет смотреть квартиры в других улицах. Я сказал, что если не случится ей самой зайти ко мне, то я зайду к ней дня через три потолковать о том, не нашла ль она хорошей квартиры. — Будь здоровенькая. Целую тебя, моя Лялочка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1091

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Суббота, 20 июня [1887].

Милый мой дружок Оленька,

Вчера я получил твое письмо от 15 июня. Благодарю тебя за него, моя радость.

Несогласие между мнениями врачей, пользовавших тебя в Петербурге и Москве, и липецкого врача я объясняю себе так: те врачи хорошо знали тебя; потому умели определить истинную причину отклонений в характере звуков диагностики твоей груди от нормальных звуков; липецкий врач остановился на таком предположении, которое наиболее просто и потому первое является в мыслях; к большинству случаев подобной диагностики оно применяется справедливо; но у тебя нервы имеют редкую чрезвычайно большую силу, и липецкому врачу, недостаточно знающему тебя, осталось неизвестно влияние твоих нервов на звуки, даваемые диагностой твоей груди. Итак, я полагаю, что он ошибается, а петербургские и московские твои врачи правы. Но, сделав по недостаточному знакомству с тобою ошибочный вывод, он дал тебе на основании казавшегося ему верным вывода такой совет, которого требовала при этом выводе осторожность, и дал тебе его в выражениях ясных и твердых; из этого я заключаю, что он человек добросовестный.

Быть может, ты нашла неудобным передать его мнение на оценку кому-нибудь из врачей, пользовавших тебя в Петербурге и Москве; если так, то, конечно, ты получишь разъяснение осно-

вательное; по всей вероятности, оно будет опровержением его заключения. Но за его добросовестность я во всяком случае останусь благодарным ему.

В четверг под вечер я пошел к Федосье Мелькумовне; застал дома ее и мужа, просидел у них больше часа; остался и еще столько же времени, если бы не желал сохранить право написать тебе, что пришел домой еще засветло. По дороге считал, сколько лошадей имеют желание раздавить меня: насчитал 16 257 таких злонамеренных лошадей; быть может, в действительности было их несколько меньше; но у страха глаза велики; и остается все-таки несомненным, что их было очень много. Только благодаря тому, что было еще вовсе светло, я дошел до дому нераздавленный. — Канжинский говорит, что его певцы и оркестр исполняли пьесы очень хорошо. Публика была вполне довольна концертом. И была многочисленна. Но расходы Канжинского простирались до такой суммы, что поглотили весь сбор. Выгоды от концерта не осталось ни рубля; был бы даже убыток, если бы хозяин театра (в «Аркадии») не сделал добровольно сбавку с платы ему за театр. — Федосья Мелькумовна исполняла должность кассирши. В половине концерта, когда уж было ясно, что дальнейшей продажи билетов не будет, она отправилась домой; «устала», говорит она: «было уж не до того, чтоб идти в театр и слушать; чувствовалось одно желание: отдохнуть». — Да, и молодой женщине замужняя жизнь — не очень легкая ноша на плечах. Впрочем, Федосья Мелькумовна здорова, это и сама она говорила, и мне было видно по цвету ее лица. — Я хорошо сделал, что зашел к ним. Будет время опять под вечер, то зайду опять недели через полторы, две.

И после своего обеда в тот день я ходил к Платоновым; сидел у них довольно долго. У них было несколько гостей. Сидели все вместе; разговор был общий; потому ни Платонов, ни Фанни Михайловна не могли говорить о своих денежных делах. Но мне показалось, что он, имевший зимой и в начале весны убитый вид, стал гораздо бодрее; потому думаю, что улов и продажа рыбы весной были у него хороши и что его дела кажутся емуправляющимися. Он и она кланяются тебе. О Канжинских не для чего и упоминать это.

Я совершенно здоров. Как видишь из этого письма, не все сижу над работой. Ныне под вечер пойду бродить по городу. — Здесь все делается, как ты велела.

Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя, моя милочка Лялочка. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1092

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Понедельник, 22 июня 1887.

Миленкий мой дружок Оленька,

Благодарю тебя за письмо от 17 июня.

Ты решила ехать на Кавказ и взять к себе одну из твоих племянниц. Обе мысли прекрасны. Но я просил бы тебя пробыть на Кавказских водах столько времени, сколько потребует полный курс леченья. — Я хотел послать деньги тебе с этим письмом; но, рассчитав время, назначенное тобой для отъезда на Кавказ, увидел, что письмо едва ли застанет тебя в Липецке. Пожалуйста, поскорее напиши, по какому адресу послать тебе деньги на Кавказ.

Вчера утром вздумал пройти погулять в порт. Пришедши туда, вспомнил о поручении отыскать того отставного офицера, который давно не писал родным. (Его фамилия Смирнов.) Мне сказали, что он служит в бухгалтерском отделении конторы «Кавказа и Меркурия»; оно помещается в красном длинном здании, которое тянется вдоль берега, направо от пристани почтовых пароходов (если стоять лицом к Волге, то направо). Я прошел туда. Я ожидал, что увижу пьянчужку, и удивился: бедняжка Смирнов — скромный, совершенно порядочный, очень неглупый человек; малый симпатичный. Он сидит один в той комнате, где работает; потому я повел разговор напрямки, и он радостно отвечал с полной откровенностью: «Да, я давно не писал отцу и матери; напишу». — «Да неужели ж вы кутили? Вы вовсе не похож на кутилу». — «Я был очень молод и неопытен, когда попал в эту компанию, и не устоял против ее нравов. Долго не мог образумиться». — Я прилагаю письмо, которое можно было бы тебе переслать к его родным. Если знаешь их адрес, то отправь.

Спешу на почту. Будь здоровенькая, моя милая радость. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя.

Я совершенно здоров. Здесь все идет хорошо.

Целую твои ручки и ножки, моя милочка Лялочка. Целую и целую тебя. Твой Н. Ч.

1093

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Понедельник, 22 июня 1887.

Милый мой дружок Оленька,

Вчера у меня нашлось свободное время, и я воспользовался им, чтоб исполнить твое поручение относительно г. Смирнова.

Нашел его в бухгалтерском отделении конторы «Кавказа и Меркурия» и передал ему просьбу его родных. Он сказал, что возобновит переписку с ними.

Я провел в разговоре с ним довольно много времени, потому что говорить с таким человеком приятно. Он очень понравился мне. Это скромный, трудолюбивый, умный молодой человек; я могу поручиться, что он ведет безукоризненную жизнь. Лицо его очень милое; манеры прекрасные, благородные. Сердце у него доброе, честное. Он любит отца и мать. Он осуждает себя за то, что очень долго не писал им. Но рассматривая дело со стороны, я должен сказать, что не могу находить эту вину его неизвинительной; напротив, он, на мой взгляд, не виноват; обстоятельства сложились так, что он не считал возможным писать родным. Виноваты только обстоятельства.

Будь здорова, моя милая Оленька.

Целую твои ручки. Твой *Н.*

1094

А. Н. ПЫПИНУ

1 июля 1887.

Милый друг Сашенька,

Благодарю тебя за твою заботливость о моем Саше. Хорошо, что он стал спокойнее прежнего. Я теперь желаю только того, чтоб он был здоров. Когда выздоровеет, то, быть может, и сделается способен к какому-нибудь труду. Но выздоровеет ли? — Два врача, хорошо знающие его, говорили мне о нем грустным тоном.

Прости, что беспокою тебя хлопотами о нем. Но он беспрестанно меняет квартиры в Петербурге; а пока он живет на даче, я и не знаю, куда адресовать ему письмо. Потому прилагаю к этому письму записку для него. Передашь, когда представится случай. Я не нахожу, о чем писать ему, и содержание записки совершенно индифферентное для него и для меня.

Благодарю тебя за письмо от 17 июня. — Жаль Гаврила Родионовича. Я полагал, что он долго еще поживет на свете. Когда я был юношей, он был добр ко мне и с того времени оставался одним из людей, которых я любил. Он жил на свете не бесполезно для людей; многим он делал добро.

Передай мое глубокое сожаление Аделаиде Петровне. Я искренно люблю ее. Скажи, что я целую руку ей, как всегда целовал при своих личных свиданиях с нею. Кроме нее, я целовал руку только двум посторонним дамам.

Меня радует твое мнение, что Миша стал дельным человеком. За него я не беспокоюсь: по всей вероятности, будет жить хорошо.

Когда найдется у тебя время написать мне, расскажи о своих детях. — Брак Верочки, я надеюсь, совершенно счастлив? Как поживает Наташа? Что делают мои племянники? Целую их всех.

И, пожалуйста, не забудь написать, каково теперь здоровье Юленьки и твое.

Оленька вчера известила меня телеграммой, что едет на Кавказ. Я просил ее бросить Липецкие воды и лечиться Кавказскими. Она послушалась. Не знаю, исполнит ли ту мою просьбу, чтобы принять там полный курс лечения. Скучает по мне; но, быть может, найдется у нее достаточно терпенья, чтоб остаться на Кавказе сколько надобно.

Моя жизнь идет каждый день совершенно одинаково. Продолжаю воображать, что найду время написать статью для тебя (то есть для «Вестника Европы»). Но сомнительно, найду ли скоро. Когда увижу, что буду иметь досуг для журнальной работы, попрошу у тебя книг.

Целую руку Юленьки.

Желаю здоровья ей и тебе. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1095

Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

1 июля 1887.

Милая Елена Матвеевна,

Оленька поручила мне послать от нее маленький подарок Вам к именинам. Вот исполняю ее поручение.

Она очень любит Вас. Желала бы видиться с Вами. Несколько раз писала мне из Липецка, что была б очень обрадована, если бы Вы и Миша приехали туда к ней. Вчера она прислала мне телеграмму с дороги из Липецка на Кавказ. Я упрасивал ее ехать пользоваться Кавказскими водами. Она исполняет мою просьбу. Когда писала, что решилась на это, прибавила, что у нее есть надежда: Вы приедете туда к ней.

А к Вам, добрый дружок, у меня прежняя просьба: берегите Ваше здоровье; я опасаясь, что Вы прошлым летом несколько повредили ему; сколько могу судить, полагаю, что расстройство его не особенно тяжело; быть может, оно даже и не дает себя чувствовать Вам; но, по всей вероятности, оно существует; и для того, чтобы оно исчезло, нужна Вам осторожность. Больше всего я боюсь таких Ваших неосторожностей, какие делают все девушки и молодые дамы, надеющиеся на свое крепкое сложение: все они изволят простужать себе ноги, кушать мороженое и тому подобную дрянь, бегать, прыгать. Вот были бы Вы умница, если б удерживались от этих невинных, но вредных, совершенно детских поступков. Или такое благоразумие невозможно, пока человек очень молод? — Молодость человека про-

стирается до первого расстройства его здоровья и возобновляется — только когда оно совершенно исчезнет. Не оставайтесь же старушкою, позаботьтесь помолодеть.

Поздравляю Вас с днем Вашего ангела.

Целую Вас, милый наш дружок.

Будьте здорова. Ваш Н. Ч.

Пишу на другом полулистке две, три строки Мише.

1096

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

1 июля 1887.

Милый Миша,

Поздравляю тебя с именинницею. Прошу купить 36 порций мороженого, показать ей и, уронив блюдо с ними на землю, воскликнуть: «Ах, как жаль! Это был подарок тебе от моего возлюбленного родителя!»

Благодарю тебя за извещение о том, что положение твое в Правлении Закавказской дороги прочно.

Будь здоров. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1097

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Воскресенье. 5 июля 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера вечером я получил твою телеграмму о том, чтобы послать тебе сто рублей. Вчера уж поздно было отправить их: прием денег на почте прекратился несколькими часами раньше. Потому посылаю деньги только вот ныне.

Опасаясь, что тебе дня два или три придется дожидаться, пока получится это мое письмо в Липецке. Но как быть?

Эти сто рублей я посылаю из тех денег, которые имел у себя дома; а те, которые положил я в банк, остаются еще не тронуты.

25 рублей Леночке я послал 1 июля; раньше, нежели ты начала послать их. (Ты говорила, чтоб я отправил их 5 числа); мне подумалось, что, быть может, Леночка и Миша живут или гостят на даче, потому повестка может искать или ждать Леночку день и два; и, пожалуй, три; потому и рассудил послать деньги пораньше, чтоб они и при промедлении повестки не запоздали к дню именин Леночки.

У меня все идет хорошо. Я совершенно здоров. Константин Михайлович вернулся. Аветов тоже вернулся; он стал немножко бодрее. Отдав письмо, зайду к нему.

Работа у меня шла без тебя, как при тебе; ни медленнее, ни быстрее (я веду счет хода ее по страницам за каждый день; число страниц в мае, в июне оказывалось то же самое, как в марте, в апреле).

Будь здоровенькая, моя миленькая радость. Если наша с тобой племянница при тебе, то целую ее.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялочка.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1098

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Среда. 15 июля 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Я получил твою вчерашнюю телеграмму в 5 часов вечера, по закрытии почты; притом по вторникам и не бывает отправления денег или посылок (их берут, но отправляют только в следующий день, среду). Потому посылаю тебе деньги только вот уж в среду.

Я рассудил послать не 50 р., как ты телеграфировала вчера, а 100 р.; на всякий случай лучше иметь некоторый запас сверх расчета.

Здесь все делается, как ты велела.

Я совершенно здоров.

Вчера получил письмо от Леночки, адресованное на мое имя. Распечатал; действительно, оказалось, что она пишет мне; благодарит за присылку денег к ее именинам.

Третьего дня заезжал ко мне Росляков; просидел довольно долго; часа два, вероятно; он показался мне человеком скромным и неглупым; если правду говорят о нем, что он много пьет (судя по некоторой опухлости лица, это правдоподобно), то он делает так лишь по привычке, полученной в прежней бродячей жизни; и можно полагать, что он бросит эту привычку. Я, вероятно, зайду к нему (но по твоём приезде, если ты велишь).

На твои именины побывали у меня Федосья Мелькумовна с мужем, Софья Мелькумовна, Сергей Мелькумович; кухарка сварила кофе, поставила самовар, взяла сухариков; Софья Мелькумовна напоила свою компанию и меня кофе и чаем. — Авет Иванович толковал, что он и Федосья Мелькумовна рассудили открыть магазин; торговать будет она. — Я, нашедши случай выйти в столовую, когда уходил туда за кофе себе Сергей Мель-

кумович, спросил его, как он думает об этом, и, вернувшись, стал говорить в виде советов от себя то, что считает благоразумным он. Кроме того, я спросил у него, будет ли мешаться в дело Авет Иванович; он сказал, что Авет Иванович мешаться не будет; я сказал Сергею Мелькумовичу, если так, то, я полагаю, торговля пойдет хорошо (я думаю, что Ав[ет] Ив[анович] неспособен понимать торговые дела). Этого, разумеется, я не повторил Авету Ивановичу и Федосье Мелькумовне, говорил им только, что считаю Федосью Мелькумовну способной вести дело благоразумно и искусно. — Вероятно, магазин у нее действительно пойдет хорошо, если Авет Ив[анович] будет слушаться Сергея Мелькумовича и предоставит ей делать все, как сама знает.

Целую милого дяденьку.

Целую Миночку. Благодарю ее за письмо.

Приезжали Анюта (сестра Марьи Александровны) и брат ее. Брат, быть может, стал бросать прежние плохие привычки. Анюта мне понравилась.

Целую Катеньку и ее детей (если она с ними в Саратове).

Целую руку Вареньки.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая радость.

Целую твои ручки и ножки, миленькая моя Лялочка.

Будь здоровенькая. Целую тебя еще и еще.

Целую нашу с тобой будущую сожительницу.

Целую и целую тебя. Твой Н. Ч.

1099

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг. 25 июля 1887.

Миленький мой дружок Оленька,

Думаю, что дня через два или три получу от тебя известие, по какому адресу писать тебе на Кавказ, и что письмо, которое пошлю к тебе тогда, будет получено тобою раньше, нежели это. Потому пишу теперь лишь несколько строк.

Варвара Яковлевна, которой я очень благодарен за внимание к нашим с тобой просьбам, сообщила мне адреса трех квартир, которые видела. Две из них, по ее мнению, хороши. И по моему тоже. Одна из них на Кутуме, близ Воздвиженского моста, по той линии, которая со стороны «Аркадии». Она отдается за 30 р. в месяц (Варвара Яковлевна слышала, что отдадут ее и подешевле, рублей за 27). Она очень недурна; отделана заново. Другая гораздо лучше; отдается за 500 р. (т. е. 41 р. 67 коп. в месяц; отдадут, вероятно, и за 450 р. — рублей за 37 в месяц). Она на той улице, которая идет с Облупинской площади мимо

противоположной подъезду стороны театра; почти прямо против него. Но обе квартиры — во 2-м этаже; лестница каждой имеет около 25 ступеней. Это тяжело для твоих ножек. — Посмотрев эти квартиры (и третью, неудобную по приметам сырости на обоях в двух местах), я зашел к Варваре Яковлевне сказать, что подожду твоего решения.

Я совершенно здоров.

Все здесь делается, как ты велела.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя милая радость.

Будь здоровенькая.

Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1100

И. И. БАРЫШЕВУ

26 июля 1887.

Милостивый государь, Иван Ильич,

Я до сих пор не отвечал на письма Ваше и Кузьмы Терентьевича, полученные мною уж очень давно. Прошу Вас и его не считать это за недостаток признательности и уважения. Напротив, причина моего промедления в ответе на Ваше и его письма состояла в желании отвечать, что я имею намерение поступать, как требует признательность.

Я с самого начала перевода Вебера имел намерение делать пополнения к нему. До сих пор я опасался делать их. Но когда вышло уж шесть томов, не возбуждавших сомнений в цели издания, то, по моему мнению, возможно стало приняться за исполнение моего плана. Делаю попытку. К переводу VII тома (конец которого отправлен вчера) я присоединяю свою статью («О расах»). Она невелика. Я считал удобным такой путь: сделать попытку в таком размере, чтоб она не казалась важной; если первый кусок работы пройдет без неприятностей, то следующие отделы будут иметь менее незначительный размер.

Не будучи уверен, что решусь начать опыт с VII тома, я отлагал ответ на письма Ваше и Кузьмы Терентьевича до того времени, когда буду в состоянии написать, что начал исполнять свое намерение.

Очень вероятно, что если журналы захотят говорить о статье, приложенной мною к переводу VII тома, то будут называть излагаемые в ней мысли ошибочными, невежественными и т. д. Прошу Кузьму Терентьевича не смущаться этим. — На-днях я напишу письмо ему.

Прошу Вас передать ему глубокую мою признательность.

Прошу Вас принять от меня уверение в таком же чувстве к Вам. Ваш *Н. Чернышевский.*

1101

П. И. БОКОВУ

14 августа 1887.

Добрый друг,

Пользуюсь случаем еще раз высказать Вам мою любовь и благодарность.

Мои дела идут хорошо благодаря Солдатенкову. Если Вы увидите с ним и зайдет у Вас как-нибудь разговор обо мне, то уверьте его в моей глубокой признательности.

Ольга Сократовна думает в первых числах сентября ехать полечиться у Вас. Она ездила в Петербург летом третьего года и прошлого года, но не могла тогда видаться с Вами, потому что это было в сезон Ваших каникулярных путешествий. Нынешним летом она прожила с месяц в Липецке, возвратилась оттуда с улучшившимся здоровьем; но теперь временами опять чувствует сильные страдания.

Целую Вас. Благодарю за Вашу братскую любовь.

[Без подписи.]

1102

И. И. БАРЫШЕВУ

24 августа 1887.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Опять беспокою Вас просьбой о деньгах. Досадно на себя, что не умею распоряжаться ими. Получаю столько, что следовало бы значительной части их оставаться у меня в запасе; а между тем трачу их так, что принужден беспокоить Вас.

Сделайте одолжение, пришлите мне рублей 400 или 500 по адресу: Астрахань, Знаменская, дом Пуховой, Н. Г. Чернышевскому, и 50 р. в Петербург по адресу — Редакция «Вестника Европы», Галерная 20, Александру Николаевичу Пыпину, для передачи А. Н. Чернышевскому.

Через неделю отправлю на Ваше имя страниц 280 перевода VIII тома Вебера.

С тем вместе продолжаю писать дополнения к нему, начало которых отправил Вам при переводе последнего куска VII тома. Если журналы и публика будут находить, что эти пополнения полезны, буду писать их в размере довольно большом (место для них выигрывается выбрасыванием пустословия из Вебера). Если же окажется, что эта моя работа не нужна публике, то брошу.

Письмо к Кузьме Терентьевичу отлагаю до той поры, когда будет мне видно, нужно ли продолжать пополнения к Веберу. А пока прошу Вас передать Кузьме Терентьевичу мою бесконечную признательность за его доброту ко мне.

(Я получил «Стихотворения» Надсона; благодарю Кузьму Терентьевича за присылку их.)

С истинным уважением и совершенною преданностью имею честь быть Вашим покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский.*

1103

А. Н. и Ю. П. ПЫПИНЫМ

29 августа 1887.

Милый Сашенька,

Оленька поздравляет тебя с днем именин, а Вас, милая сестрица Юленька, поздравляет с именинником.

Я присоединяю и свои поздравления.

Дня четыре тому назад я послал в Москву просьбу отправить на твое имя для передачи моему Саше 50 р. Если эти деньги еще не дошли до тебя, то прошу, дай Саше из своих. Я рассчитываю получить деньги около 15 сентября. Тогда пошлю тебе.

Прилагаю письмо Саше.

Здесь у нас прожила недели две жена Миши. Я виделся с ней почти только за чаем и обедом, проводя все остальное время, по обыкновению, в своей комнате. Потому знакомство мое с Еленой Матвеевной осталось поверхностным. Впрочем, она показалась мне хорошей молодой женщиной, доброй, тихой и умной. От Юленьки, от тебя и ваших детей она в восхищении. Вы более близки ей, чем ее собственные родные.

Я начал писать очерк так называемой борьбы пап с императорами. Который-нибудь из двух главных отделов — историю политической деятельности или Григория VII или Иннокентия III — пошлю тебе для помещения в «Вестн. Евр.», если работа будет пригодна этому журналу. Но думаю, что окажется непригодною для него.

Ольге Сократовне нездоровится; потому она не делает приписки сама, а только велит мне передать вам ее поцелуи.

И я целую Вас, милая Юленька, Наташу, Верочку и племянников. Желаю вам всем здоровья.

Целую тебя; жму твою руку, мой милый. Будь здоров. Твой *Н. Ч.*

1104

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

29 августа 1887.

Милый друг Саша,

Благодарю тебя за письма. Радуюсь, что тебе приятно было на морском берегу и что ты провел там лето с пользой для себя.

Елена Матвеевна прожила у нас недели две. Она очень понравилась мне.

На-днях я заходил к Платоновым, и он заезжал ко мне (передать результаты одного из добрых дел, которые делает он; мне нужно было узнать, чем кончились его хлопоты по этому делу). Он выказал себя в деле, которым я интересовался, человеком с очень теплой душой. Теперь он кажется мне менее унылым, чем было зимой и весной. Рыбное дело идет нынешний сезон очень хорошо. Вероятно, и его денежные обстоятельства поправляются; но они были очень запутаны, так что здешние денежные люди не имеют уверенности в восстановлении благосостояния его.

Федосья Мелькумовна с мужем уехали в Москву. Муж (Канжинский) — музыкант, как ты, вероятно, помнишь. Он рассчитывает найти в Москве хорошую службу в каком-нибудь оркестре.

Твоей маменьке нездоровится. Она целует тебя.

Целую и я. Будь здоров, мой милый. Жму твою руку. Твой
Н. Ч.

1105

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

Астрахань. 8 сентября 1887.

[Телеграмма.]

Прошу извинить — пришлите несколько денег если не посланы. — *Чернышевский.*

1106

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

14 сентября 1887.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Благодарю Вас за доброе расположение, с каким Вы исполнили мою просьбу о присылке денег. Это стыд моему рассудку, что я беспокою Вас такими просьбами, между тем как получаю столько денег, что следовало бы довольно большому количеству их оставаться у меня в запасе.

Снова прошу извинить то, что я сделал беспокойство Вам.

Я сегодня получил посланные Вами от 9 сентября тысячу четыреста пятьдесят рублей (1450 р.) и квитанцию об отправлении 50 р. моему сыну.

С глубокой благодарностью имею честь быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский.*

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

26 сентября 1887.

Милый друг Саша,

Благодарю тебя за твои письма. Рад, что ты провел лето хорошо. Не осуждай меня много за то, что редко пишу тебе. Не имею досуга, мой милый.

Твоя мамаша иногда бывает здорова; но чуть погода становится плоха, расстроенное здоровье твоей мамашы ослабевает.

Мы перешли на новую квартиру. Она много меньше, но гораздо лучше прежней. Цена та же. Наш адрес теперь:

У Знаменья, дом Пухова.

На-днях зайду к Платоновым. Рыбное дело в нынешнем году идет очень хорошо. Потому можно надеяться, что Виктор Яковлевич выйдет из затруднительного положения.

Не помню, писал ли я тебе, что Федосья Мелькумовна с мужем уехали в Москву. Младший из ее братьев, Егор Мелькумович, живущий в Казани, дал им возможность устроить свои дела сносным образом. Он ведет довольно большие обороты (по торговле азиатской обувью) и поручил Федосье Мелькумовне быть его комиссионершей в Москве. Она женщина умная; если муж не будет портить дела своей бестолковостью (он довольно бестолков), то она будет кормиться и кормить его. — Сам Егор Мелькумович скоро приедет сюда, жениться. Здесь есть два купца, Франгуловы. Одного из них я знаю. Он человек богатый. Другого я не знаю; но, кажется, и он имеет довольно большое состояние. Его дочь и Егор Мелькумович были дружны до отъезда Е. М-ча в Казань. Она была тогда ребенок, но сохранила такое теплое воспоминание о приятеле своего детства, что на вопрос его матери, примет ли она его предложение, отвечала: «принимаю». Кажется, у ее отца нет других детей. Если так, то она довольно богатая невеста. Впрочем, Егор Мелькумович, прося мать передать ей его предложение, писал, что вопросом о приданом он не интересуется: он сам имеет достаточно для безбедной семейной жизни. Он очень энергический и дельный человек. Удивительно, что успел он сделать в свой прошлый приезд сюда: убедил всех купцов, торгующих азиатской обувью, соединиться в компанию на паях; я не думал, что согласие между ними удержится; но вот прошло уж около года — и оно держится; на-днях я имел случай говорить с тем из членов компании, который был наименее расположен принять совет Егора М-ча; он на мои вопросы о его делах отвечал, что увидел справедливость расчетов Е. М-вича и будет усердно поддерживать ведение торговли на основании, какое имеет она теперь.

Я здоров. — Твоя мамаша целует тебя.
Пиши мне, мой милый.
Будь здоров. Целую тебя.
Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

1108

А. Н. ПЫПИНУ

26 сентября 1887.

Милый Сашенька,

Благодарю тебя за хлопоты обо мне и моем Саше. Посылаю ему 100 рублей на два месяца. Прилагаю письмо для передачи ему.

На-днях я прочел в «Русских ведомостях» очень лестный отзыв об археологических трудах Федора Густавовича. Это порадовало меня.

Хвалю тебя за то, что ты приучил себя диктовать. При таком способе работы труд менее утомляет и дело идет быстрее, так что можно или сделать больше, или дать себе больше отдыха.

Я говорил тебе, что хочу написать для «Вестника Европы» очерк борьбы Григория VII с Генрихом IV или политической деятельности Иннокентия III. Темы подобного рода слишком сухи для журнала; потому я не буду иметь ни малейшего порицания «Вестнику Европы», если он найдет, что статья не годится для него. Но статей, менее безжизненных, я не буду писать в настоящее время. — Книг для моих статей вовсе не нужно. Это будут обзоры крупных общеизвестных фактов. — Когда я напишу хоть первую из них, не знаю; вот уж месяца четыре приходится отлагать работу с недели на неделю, по недосугу.

Оленька целует Юленьку и ваших детей.

Я тоже целую их.

Будь здоров, мой милый друг. Целую тебя. Жму твою руку.
Твой *Н. Ч.*

Наш новый адрес:

У Знаменья, дом Пухова.

Напишешь, когда будет у тебя досуг. Частых писем нам с тобой некогда писать друг к другу.

1109

И. И. БАРЫШЕВУ

27 сентября 1887.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Вчера я получил Ваше письмо от 20 сентября и посылку, о которой Вы говорите в нем, то есть

10 экземпляров перевода VII т. Вебера и
12-й том «Всеобщей истории» Вебера.

Благодарю Кузьму Терентьевича и Вас за нее.

Я хотел бы кончить перевод VIII тома Вебера к 10 ноября. Но очень вероятно, что запоздаю несколькими днями против этого расчета. А если даже и не запоздаю, то все-таки истрачу присланные Вами деньги раньше, нежели кончится печатание этого тома. Думаю, что буду беспокоить Вас обыкновенной моею просьбою о преждевременной присылке мне денег. — Кажется, Вы получили в начале настоящего месяца, кроме моей просьбы о деньгах, еще одно письмо такого же содержания. Это было вмешательство, сделанное без моего ведома и очень раздосадовавшее меня. Но виноват в нем все-таки я. Прошу Вашего прощения за нелепое чужое вмешательство, которого не было бы сделано, если бы я не тратил денег безрасчетно и безрассудно.

С истинным уважением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1110

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

27 сентября 1887.

Милостивейший государь, Виктор Александрович!

Прошу извинения за мое продолжительное молчание. Оно может казаться непростительным невежеством. Но, вероятно, Вы не найдете надобным читать оправдание ему.

Вот лишь теперь стало мне казаться, что я могу просить Вашего извинения. Но и теперь я еще не имею уверенности, что не должен считать мое письмо к Вам дурным поступком относительно Вас.

Увидим.

И перейдем от излишних слов к делу: до сих пор мне было недосуг писать что-нибудь для журналов. Теперь я начал писать. Предметом первой моей работы я взял вопрос о том, как велико было влияние пап на ход событий в период, обыкновенно называемый временем всякого могущества их. Я разделю эту работу на две статьи. В одной главным содержанием будет политическая деятельность Григория VII, в другой — политическая деятельность Иннокентия III. Обе статьи не велики.

Первую из них я пошлю Вам.

Предмет их — слишком сух для журнала. Но в настоящее время не хочу писать статей, менее безжизненных.

Если Вы найдете, что статья о Григории VII не пригодна для журнала по своей сухости, я не буду иметь никаких возражений против этого мнения. Я сам, как видите, расположен думать так.

Дело имеет и другую сторону, тоже несообразную с интересом журнала.

Потрудитесь просмотреть этюд о расах, помещенный в виде предисловия к переводу VII тома «Всеобщей истории» Вебера. Все в этом этюде сводится к чему? — «Нет никаких удобоуловимых нашему наблюдению различий в умственной и нравственной организации черной, желтой и белой рас. Всякое объяснение какого бы то ни было исторического факта особенностями умственной или нравственной организации рас — дикая фантазия, отвергаемая наукой. Эти объяснения теперь в моде, но они — продукт невежества».

Удобны ли для журнала статьи в таком роде? Они сами должны казаться огромному большинству специалистов и публики продуктом наглого невежества.

Понятно, не во всем же я расхожусь с мнениями, принимаемыми ныне большинством историков. Разумеется, в этих мнениях я нахожу гораздо больше правильных, чем неправильных решений важных исторических вопросов. Но о том, в чем я согласен с господствующими у историков мыслями, я не имею времени писать: мне уж почти шестьдесят лет, и не очень много лет остается мне жить.

И само собою разумеется, не русская литература — арена для переработки понятий об истории человечества. Но на каком же языке, кроме русского, могу я писать? — Я легко пишу и на немецком, французском, английском языках; но на каждом из них с десятком грамматических и лексикографических ошибок в каждой строке. Кто здесь мог бы исправить мою ломаную иностранную речь о предметах вроде вопроса о расах, или о борьбе Григория VII с Генрихом IV, или об отношениях Симона Монфора к Иннокентию III?

Возвращаюсь к этюду, который прошу Вас просмотреть, чтобы видеть характер моих понятий об истории человечества. Вы найдете там много опечаток, а в некоторых местах грамматические неправильности или даже просто бессмыслицы.

Прошу Вас не винить в этом ни издателя, ни корректора. Виноват лишь я. Я делаю в рукописи много поправок: часто выходит, что трудно разобрать, куда следует вставить слово, приписанное сверху, снизу или на поле; иной раз, делая поправки, я забываю вычеркнуть выражение, заменяемое поправкой, и притом почерк у меня плохой, неразборчивый. Такую рукопись набирать и корректировать без ошибок — дело невозможное.

Утомил я Вас длиннотой письма. Пора кончить. Благодарю лично Вас. Кроме того, прошу передать мою глубокую благодарность редакции «Русской мысли» и редакции «Русских ведомостей».

Из того, что я упомянул о своих шестидесяти годах, не де-

айте заключения, что мое здоровье ослабело. Нет, это еще не началось. Будьте здоров. Жму Вашу руку. Искренно уважающий Вас *Н. Чернышевский*.

P. S. Мой адрес: Астрахань, у Знаменья, дом Пухова.

1111

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

28 сентября 1887.

Милый друг Миша,

С твоей похвалой мне за любезность мою к Елене Матвеевне не могу согласиться. Я держал себя относительно Елены Матвеевны вовсе не так, как следовало бы; несколько раз огорчал ее дурацкими своими рассуждениями, совершенно неосновательными, и вообще был с нею холоден, между тем как должен был бы ласкать ее. Прошу у тебя и у нее извинения за мою дурацкую неловкость.

Перевода Вебера у меня нет ни одного тома, кроме полученного на днях VII-го. Твоя мамаша хочет написать Миночке, чтоб она прислала находящийся у нее экземпляр; если она придет, он будет переслан тебе; если не придет, то я месяца через два получу экземпляр, отданный мною одному почтенному человеку, взявшемуся составить указатель; он хотел кончить эту работу в октябре; без сомнения, запоздает; но в ноябре, вероятно, кончит; тогда экземпляр будет свободен.

Целую Вас, милая Елена Матвеевна. Я держал себя с Вами дурачки. Увидимся в другой раз, то, быть может, буду держать себя менее глупо.

Будьте оба здоровы.

Жму твою руку, мой милый. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1112

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

29 октября 1887.

Милый Миша,

Поздравляю тебя с днем твоего ангела, а Вас, миленькая Елена Матвеевна, с именинником.

Надеюсь, Вы оба здоровы и дела Ваши идут хорошо.

Ваша маменька временами чувствует себя довольно хорошо; но чаще болеет.

Я здоров. Желаю и Вам быть здоровыми.

Целую Вас. Ваш *Н. Ч.*

1113

И. И. БАРЫШЕВУ

2 ноября 1887.

Милостивейший государь Иван Ильич,

Я получил посланные 26 октября Вами мне шестьсот рублей (600 р.) в счет платы за перевод VIII тома «Всеобщей истории» Вебера. Прошу Вас принять искреннюю мою благодарность за Ваше доброе внимание к моей просьбе.

Я предполагаю 7 числа послать на Ваше имя еще кусок перевода. Думаю, что в этой посылке будет кончен перевод VIII тома Вебера и будут приложены к нему первые листы пополнений. Мне хотелось бы написать для этого тома побольше страниц пополнений, чем было написано для VII тома. К 7 числу я не успею кончить предполагаемого мною; думаю, что кончу около 15 числа.

С истинным уважением и глубокой душевной признательностью имею честь быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1114

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

2 ноября 1887.

Милый друг Саша,

Ты хорошо сделал, что прислал 35 рублей, которые получил за проданные книги. Хвалю тебя.

Если бы какой-нибудь издатель полагал, что надобно сделать новое издание «Эстетических отношений», то я просил бы тебя уведомить меня об этом и прислать мне экземпляр книжки; я переделал бы ее. В условия об издании не входи; у меня есть свое предположение о том, как следует издать; я сообщу тебе его, если понадобится; а раньше моего сообщения тебе условий заключать нельзя.

Относительно книжки о Пушкине сделай, как находишь лучшим.

Благодарю тебя, мой милый, за письмо от 24 октября.

На-днях мне случилось раза два зайти к Фанни Михайловне. Она здорова. Кланяется тебе. Она и Виктор Яковлевич искренно расположены к тебе. Он теперь на промысле; вернется лишь, когда окраина моря замерзнет. Лов этой поры года — самый важный на его промысле. Фанни Михайловна еще не знает, как идет улов. Если будет хорош, дела Виктора Я-ча могут поправиться, потому что цены рыбы в нынешнем году очень высоки.

Я несколько раз виделся с Сусанной Богдановной и ее мужем. Они поселились на зиму здесь. Она нисколько не переменяла манеры держать себя, сделавшись женщиной довольно богатой

(у них, вероятно, тысяч 10 или 12 дохода), — осталась совершенно прежней. Это очень много свидетельствует в пользу ее ума и характера. Муж ее очень милый по характеру человек. Мать ее живет с ними. У них есть сыночек; теперь ему 7 или 8 месяцев; глаза у него голубые, волосы светлые, как у отца (отец — блондин, хотя чистейший армянин; говорит, что в Моздоке, откуда он родом, между армянами очень много блондинов). Сусанна Богдановна шлет тебе поклон.

Федосья Мелькумовна с мужем живут в Москве.

Твоя мамаша целует тебя. Она, как всегда при наступлении осенней погоды, временами болеет. Теперь сравнительно здорова.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1115

А. Н. ПЫПИНУ

15 ноября 1887.

Милый Сашенька,

Посылаю тебе сто рублей для Саши.

Спешу на почту, отправить конец перевода VIII тома Вебера. Я много запоздал отправкой его. Когда отправлю, сяду писать письмо тебе; но оно будет кончено, когда случится ему быть дописанным, — быть может, через несколько дней.

Оленьке нездоровится; потому она не пишет сама, а только велела мне передать, что она целует Вас.

Целую руки Юленьки.

Целую Верочку, Наташу, Митю, Колю, кланяюсь мужу Верочки.

Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1116

А. Н. ПЫПИНУ

19 ноября 1887.

Милый Сашенька,

Отдам тебе отчет о ходе моих работ.

Отправив последние листки очерка классификации людей по языку, предназначенного мною быть приложенным к переводу VIII тома Вебера, я принялся за исполнение мысли написать для какого-нибудь журнала очерк так называемой борьбы пап с императорами. Цель очерка — разъяснить, каков был действительный размер политической силы пап в ту эпоху, когда, по общепринятому мнению, они имели громадную политическую силу. В этом вкусе рассуждают обыкновенно самым решительным тоном, в особенности о двух папах, Григории VII и Иннокентии III.

Потому две главные части моего очерка — определение размера, какой имело политическое могущество этих пап. Я нахожу, что этот размер был очень мал. Был ли Григорий VII парадной куклой, которой двигала Матильда Тосканская, этого нельзя разобрать сквозь туман панегириков преданности Матильды Григорию; быть может, он и действительно превосходил ее умом, быть может, она и действительно уважала его советы; но — советник ли ее, или кукла в ее руках — Григорий был ее лакеем, и только. Он сам по себе был бессилен в политических делах. Под конец жизни он попал в лапы Робера Гискара, и об этом почтительном сыне церкви уж невозможно сомнение: человек без всякой совести, Гискар пользовался Григорием только как парадной куклой. А тому, что толковал о своей власти над королями, о своем сюзеренстве над императором, Григорий VII сам не верил; он знал, что врет, и в действительности никогда не имел надежды, что кто-нибудь из областных государей Германии (герцогов и других сильных князей) серьезно примет его вранье за нечто подобное правде. Он знал, что эти немцы, враги Генриха IV, руководятся исключительно своими личными (или у некоторых патриотическими племенными) чувствами и интересами и в грош не ставят благословения или проклятия папы; что для Оттона Нордгеймского, Рудольфа Швабского и проч. он лишь такая же кукла, как для Робера Гискара. Но у него кружилась голова от восхищения своим умом; ему воображалось, что он перехитрит своих союзников, вывернется из лакейства им в решителя борьбы их с Генрихом. И до конца жизни оставался в этом самоослеплении, оставался жалким фантазером, игравшим презренную роль хвастливого лакея.

Таково содержание статьи о Григории VII. Я полагаю, что такие понятия о политической деятельности его не могут показаться основательными Стасюлевичу, что поэтому статья, которую теперь пишу я, не годится для «Вестника Европы», и, соответственно такому предположению, отправлю ее в другой журнал, в «Русскую мысль».

Кончив ее, примусь за перевод IX тома Вебера. Управившись с этим томом, примусь за статью об Иннокентии III, которого тоже считаю не имевшим серьезного политического могущества. К тому времени будет видно, могут ли мои статьи быть пригодны для «Вестника Европы». Если годятся для него, буду писать и для него.

(Я начал толковать было о том, что не имею ровно ничего против «Вестника Европы»; но это было бы длинное рассуждение, а в те минуты, как я пустился в него, оказалось, что пора отослать письмо на почту; потому я вычеркнул и выскоблил начало этой рацеи, совершенно излишней.)

Целую руки у Вас, милая Юленька.

Целую Верочку, шлю мой поклон Федору Густавовичу.

Целую Наташу, Митю, Колю.
Будьте здоровы все.
Целую тебя, милый мой, добрый друг. Жму твою руку
твой Н. Ч.

1117

В. Н. ПЫПИНОЙ

24 ноября 1887.

Милая Варенька,
Поздравляю тебя с наступающим днем твоих именин.
Оленька в эти непогодные здесь дни временами чувствует себя
дурно, временами немножко получше. Миша с женой живут, ка-
жется, хорошо. Саша пишет, что его здоровье поправляется. —
Я здоров.
Целую милого дяденьку.
Целую твои руки, милый друг наш.
Будьте здоровы. Твой Н. Ч.

1118

А. Н. ПЫПИНУ

12 декабря 1887.

Милый Сашенька,
Благодарю тебя за письмо от 1 декабря. Дорога от Царицына
сюда была в эти дни такая тяжелая, что почта запаздывала по
нескольку дней.

В тех строках, которые зачеркнул я в своем прошлом письме
к тебе, не было ничего против «Вестника Европы»; вообще этот
журнал нравится мне; я начинал какие-то рассуждения о каком-
то специальном вопросе, по которому я не согласен с немецкими
учеными и о котором, вероятно, вовсе не имел случая высказы-
вать свое мнение «Вестник Европы»; я вычеркнул начало рас-
суждения, потому что не имел времени продолжать.

Ты все повторяешь приглашения мне просить тебя о присылке
книг. Я желал бы иметь некоторые справочные книги; но нахожу
неудобным расходовать (твои ль, или мои, все равно) деньги на
них; между прочим потому, что книги нужны мне были бы в
большом числе, а в малом почти бесполезны; и вообще книги
нужны мне для таких справок, без которых можно обойтись.
Приведу пример. В статейке о классификации языков, приложен-
ной к VIII тому Вебера, мне хотелось перечислить основные
формы видоизменений арабского глагола по временам и залогам;
это в таком роде —

хамада
яхмада
хаммада и т. д.

Я не умел припомнить их с точностью и удовлетворился теми видоизменениями арабского корня, какие припомнились мне. Другой пример: мне хотелось сравнить какую-нибудь фразу нынешнего тигрэ (абиссинского языка) с соответствующей фразой разговорного арабского языка (который различается от книжного, как итальянский от латинского); мне хотелось увидеть, легко ли арабу привыкнуть понимать абиссинца; дело обошлось и без этого. — Ты видишь, возможно ли, на твои ли, на мои ли деньги, приобретать книги для исполнения таких моих желаний.

Если бы представилась возможность израсходовать несколько денег на книги, я пожелал бы иметь книги, которых, по всей вероятности, нельзя и купить, вроде бенедиктинского издания *L'Art de vérifier les dates*; привожу это заглавие не для того, разумеется, чтобы просить тебя о поисках, нет ли в продаже *L'Art de* и т. д., — это издание не включает в себе таких мелочей, какими интересуюсь я; и собственно оно бесполезно мне; я хотел только показать тебе, что книги, нужные мне, не могут быть покупаемы ни тобой, ни мной.

Я привык обходиться без книг. Чего не помню, того и не пишу; так и быть.

Но главное дело: нет у меня досуга предаваться охоте к чтению или наведению справок. Вот собственно поэтому нет надобности покупать книги.

Я совершенно здоров.

Оленька теперь выходит, может прогуливаться. Хорошо, если вся зима пройдет так для нее.

Она целует Юленьку, Верочку и их компанию. Благодарит их за письма.

Я целую руки Юленьки, целую ее птенцов. Желая им всем здоровья.

Будь здоров, мой милый друг.

Целую тебя. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

Прилагаю записку для передачи Саше.

1119

И. И. БАРЫШЕВУ

12 декабря 1887.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Вчера я получил посланные Вами мне при письме от 4 декабря тысячу сто тридцать рублей пятьдесят копеек (1130 р. 50 к.).

Благодарю Вас за добрую заботливость обо мне.

В Вашем расчете платы за VIII том сделана прибавка —

129 р. 25 коп. — сверх того расчета, который правилен (1601 р. 25 к.). Теперь я заметил, что подобная прибавка сделана была и в Вашем расчете платы за VII том; сосчитав страницы предисловия к VII тому, я вижу, что она составляет около 40 рублей.

Я буду считать эти 129 р. 25 к. и

$$\frac{40 \text{ р.}}{169 \text{ руб. } 25 \text{ к.}}$$

полученные мною в плату за следующий (IX) том. Прошу Вас, добрый ко мне, слишком добрый ко мне Иван Ильич, принять этот расчет и не делать прибавки за следующие «Очерки», которые готовлю я для приложения к следующим томам перевода Вебера. Я и без того получаю от Кузьмы Терентьевича и Вас гораздо больше, чем должно.

Во вторник, 15 декабря, предполагаю послать на Ваше имя начало перевода IX тома.

С истинным уважением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою глубоко благодарный Вам
Н. Чернышевский.

1120

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

12 декабря 1887.

Милый Саша,

Благодарю тебя за твои письма и за присылку «Эстетич. отношений». Когда найду время, напишу предисловие к этой книжке и сделаю кое-какие примечания.

С книжкой о Пушкине распорядись, как думаешь.

Мы с твоей мамашей рады, что твое здоровье хорошо.

Твоя мамаша выходит теперь из комнаты.

Я здоров.

Константин Михайлович кланяется тебе.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Жму твою руку.

[Без подписи.]

Р. С. Константин Мих-ч сделает приписку на другом полустике.

1121

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

17 декабря 1887.

Милые друзья, Миша и Елена Матвеевна,

Поздравляю Вас с наступающим праздником. Вероятно, Вы устроите у себя вечер для родных и побываете на вечерах у них. Желаю, чтобы все это было весело.

Благодарю Вас, миленькая Елена Матвеевна, за присылку клеенки для меня.

Твоя мамаша пошлет тебе, Миша, VIII том перевода Вебера, когда экземпляры будут получены мной.

Будьте здоровы, мои милые. Целую Вас. Ваш *Н. Ч.*

1122

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

19 декабря 1887.

Милый Миша,

Я очень рад тому, что ты хочешь составить указатель к переведенным томам Вебера. Эта работа на самом деле будет легче, нежели ты полагал: к немецкому подлиннику сделаны указатели; нужно только перевести их.

Они образуют 4 книжки. Первую книжку, указатель к первым четырем томам, взял с полгода тому назад для перевода брат беллетриста Короленко, служивший на одном из пароходов Зевеке и познакомившийся с нами. Я спрошу у него, в каком положении находится его работа над этой книжкой.

Вторую книжку указателя, относящуюся к следующим четырём томам (V, VI, VII и VIII), я отправлю тебе вместе с экземпляром перевода VIII тома; это будет через неделю или две недели. Переводи ее. Я напишу тебе, какой способ перевода принят Короленко относительно 1-й части указателя.

Если ты захочешь прислать мне золотое перо, то я прошу тебя выбрать не тонкое и не толстое, а среднее.

Кстати, о письменной работе. Я читаю, что в Москве и Петербурге находится в продаже пишущая машина Ремингтона. Действительно ли она работает хорошо? Если не знаешь, то прошу тебя справиться у употребляющих ее (она есть в государственном и некоторых частных банках). Напиши мне, что знаешь или узнаешь о ней, или о какой другой подобной.

Целую Вас, милая Елена Матвеевна.

Целую тебя, мой милый.

Будьте здоровы. Поздравляю Вас с праздником. Ваш *Н. Ч.*

1123

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

26 декабря 1887.

Милая Елена Матвеевна и милый Миша, поздравляю Вас с наступающим Новым годом и желаю, чтоб он был счастлив для Вас.

Мне прислали VIII том перевода Вебера. Я сделаю в своем экземпляре V, VI, VII и VIII томов отметки, какой странице оригинала соответствует какая страница перевода, и тогда pošлю этот экземпляр и немецкий указатель тебе, Миша.

Будьте здоровы, мои друзья.

Целую Вас, Ваш Н. Ч.

1124

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

27 декабря 1887.

Милый Миша,

Через несколько дней зайдет к тебе с просьбой о месте мой хороший знакомый, Василий Васильевич Кузнецов. Подумай, не найдется ли у тебя возможности оказать ему услугу.

Его отец имеет здесь магазин колониальных и галантерейных товаров. В старые годы это был довольно богатый магазин. Но старик вел торговлю по старинным правилам, не пригодным для нынешней торговли; публика стала находить, что выбор товаров у Кузнецова не соответствует моде, торговля стала уменьшаться. Когда мы приехали сюда, она была уж плоха сравнительно с прошлым, но все еще шла хоть немного. Василий Васильевич оказывал тогда услуги мне: не только отпускал товары в долг, но и давал деньги взаем. В то время у нас здесь не было кредита; дружеская помощь Василия Васильевича выводила меня из затруднений.

Теперь он рассудил, что оставаться при магазине бесполезно ему. Отец его согласился с этим. Он говорит мне, что едет в Петербург с самыми скромными желаниями, что на первый раз он был бы доволен не только 50 рублями в месяц, но и меньше, лишь бы как-нибудь прожить год, два, до приискания лучшего места.

Должно полагать, что он хорошо знает торговлю колониальными и галантерейными товарами. Кроме того, он человек, довольно много читавший; без сомнения, мог бы быть полезен в книжном магазине; мог бы служить и по письменной части в коммерческой конторе.

Пожалуйста, подумай, не можешь ли найти ему место.

Будь здоров.

Будьте здорова, милая Елена Матвеевна.

Поздравляю Вас еще раз с Новым годом.

Целую Вас. Ваш Н. Ч.

P. S. Я принялся делать отметки страниц в V—VIII томах Вебера. Недели через полторы pošлю эти томы тебе, Миша.

1125

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

2 января 1888.

Милый Миша,

Податель этого письма, Василий Васильевич Кузнецов, добрый знакомый мой, о котором я писал тебе несколько дней тому назад.

Если нет в виду у тебя самого для него никакого места, то попроси знакомых, например Лонгина Федоровича.

Будь здоров. Твой *Н. Чернышевский*.

1126

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

2 января 1888.

Милый Миша,

С нынешней почтой я послал тебе немецкий указатель к V—VIII томам Вебера и свой экземпляр перевода этих томов; на полях отмечено, какие страницы подлинника соответствуют страницам перевода.

Мне казалось бы, что наименее хлопотливый порядок переложения немецкого указателя в указатель к русскому переводу был бы такой:

переводить все по немецкому указателю сплошь, но писать перевод лишь на одной стороне листа, и оставлять между именами пробелы; когда будет кончено,

то для перераспределения имен по русскому алфавиту резать рукопись на куски и располагать их по русской азбуке.

Если ты действительно примешься за эту работу, то имей в виду:

в переводе довольно много опечаток, — это обыкновенная причина разницы имен в переводе от имен в подлиннике;

но есть случаи, в которых разница не опечатка, а поправка; далее:

транскрипция имен на русский язык не везде одинакова; не имея отосланных предыдущих страниц, я часто забывал, в какой форме писал на них имя, вновь попадающееся на следующих страницах.

Есть у меня ошибки в транскрипции латинских и особенно греческих имен; относительно многих я не помнил, какую форму имеет их родительный падеж; соображения об этом нередко были ошибочны;

правописание имен новых языков у меня тоже шаткое и часто ошибочное;

вообще ошибок много.

Я желал бы исправить их; но как сделать это, поговорим после.

На-днях я наведу справку о том, в каком положении находится работа по составлению указателя к первым четырем томам перевода.

Я думаю, что оба указателя надобно соединить в один. Но об этом рассудим после.

В переводе V тома выброшено мало, в VI томе больше, в VII и VIII томах довольно много. Потому многие имена немецкого указателя окажутся подвергающимися выбрасыванию из русского.

Будьте здоровы, милая Елена Матвеевна. Целую Вас.
Целую тебя, Миша; жму твою руку. Твой Н. Ч.

1127

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

17 января 1888.

Милый Миша,

Благодарю тебя за присылку объявления о пишущей машине и образца ее работы. Отложу мысль о ее приобретении.

Указатель к переводу Вебера составляй по той системе, которая кажется тебе удобной. Вероятно, она и действительно удобнее той, о которой говорил я при отправлении книг к тебе.

Скажи, в каком положении находятся теперь денежные дела у Александра Васильевича; я предполагаю, что оно не особенно блестятельно.

Целую Вас, милая Елена Матвеевна. Будьте здоровы. Жму твою руку, мой милый друг. Твой Н. Ч.

1128

Ю. П. ПЫПИНОЙ

21 февраля 1888.

Милая Юленька,

Мы с Оленькой были обрадованы Вашим письмом. Оленька угадывала, что Вы были нездоровы, и очень тревожилась за Вас. В тот день, когда Ваше письмо было получено, она говорила мне, что если не будет принесено с ожидаемой почтой уведомления о Вас, то она отправит Мише телеграмму с вопросом о Вашем здоровье. Она еще перед Вашим праздником толковала мне, что он не обойдется Вам даром, что хлопоты с ним отзовутся на Вашем здоровье. Я остаюсь при ее предположении, что они содействовали появлению болезни, от которой Вы так долго страдали.

Оленька не может писать, мешает ревматизм в руке. Она ждала день, ждала два, не уменьшится ли он настолько, чтобы

рука свободно владела пером; но этого все еще нет; потому она попросила меня писать вместо нее.

Она очень рада, что ее подарки понравились Вам и Сашеньке. Разумеется, это подарки только от нее. Я и не знал о них до отсылки. Она опасалась, что они опоздают, если отсрочить отправление их до другой почты (это было бы два дня разницы); а прием посылок уж кончался, когда она покупала вещи; потому она попросила магазинщика заделать посылку и прямо из магазина проехала на почту. Когда она привезла посылку, срок приема уж кончился; но, по уважению к ее просьбе, приняли от нее посылку. Она жалела, что не было времени показать мне вещи; но я похвалил ее за то, что она сделала так.

Хорошо, что Вы выздоравливаете, скажу и я от себя. Хорошо то, что Верочка поправилась.

Оленька очень часто говорит мне о Верочке, хвалит ее. Хвалит и ее мужа.

Она целует Вас и всех ваших.

Я тоже целую их, целую Вас и Вашу руку, милая сестрица. Желаем Вам здорovia. Ваш Н. Ч.

1129

А. Н. ПЫПИНУ

21 фев[раля] 1888.

Милый Сашенька,

Благодарю тебя за то, что ты присылаешь нам и в этом году «Вестник Европы». Это хороший, честный журнал; сколько могу припомнить, он всегда держал себя с безукоризненной честностью.

Как выберется у меня несколько дней досуга, напишу какую-нибудь статью для него. Если окажется, что она не годится ему, то, разумеется, не буду в претензии.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя. Твой Н. Ч.

1130

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

28 фев[раля] 1888.

Милые Миша и Леночка,

Ваша маменька поручила мне писать Вам, потому что у нее в руках ревматизм, делающий очень трудным взять перо и почти вовсе не позволяющий начертить разборчиво хоть несколько букв. Она иногда не встает с постели; но теперь бродит по комнатам. Уж больше месяца не выходила она из дому. Начнется теплое время, то она, без сомнения, будет чувствовать себя лучше.

Но нынешняя зима, холодная, потом сырая, была очень тяжела для нее.

Нас очень огорчила смерть Ивана Григорьевича. Когда я знал его, он был превосходный родственник.

Ваша маменька была опечалена смертью Василия Александровича, хотя давно ожидала этого прискорбного известия о бедном страдальце. Передайте, Леночка, ее искреннее и глубокое сожаление Марье Матвеевне.

Ваша коробочка с конфетами очень понравилась Вашей маменьке, Леночка. Но Вы сделали неосторожность, послав конфеты на ее имя: она половину их роздала своим барышням, которые, разумеется, не умеют различать хорошие конфеты от здешних. Если пошлете другую коробочку, то адресуйте на мое имя; я буду держать конфеты у себя и выдавать Вашей маменьке, когда у нее нет барышень, конфету за конфетой, под честное слово, что просит для себя.

Константин Михайлович нарисовал несколько картинок для Вас, Леночка. У него есть намерение послать Вам альбом своих рисунков. Исполнение плана замедляется тем, что работа со мной берет очень много времени у художника. Переплет альбома сделан уж давно; он, разумеется, простенький.

Кланяйтесь Юлии Петровне и всем нашим. Будьте здоровы. Целуем Вас. Ваш Н. Ч.

Твоя маменька просит тебя, Миша, написать, получил ли ты VIII том перевода Вебера; не уверена она и в том, получил ли ты прежние томы.

1131

Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

[Март 1888.]

...Желаю Вам здоровья; судя по карточке, присланной Вами, это желание не лишнее: Вы очень похудели; даже овал лица изменился, стал из круглого длинный. Не следует ли Вам поехать? Мне хотелось бы, чтобы Ваша маменька съездила нынешним летом на Кавказские воды. Не было ль бы хорошо, если бы Вы поехали с нею? — Я был бы рад, если б устроилось так. Целую Вас и Мишу. Н. Ч.

1132

И. И. БАРЫШЕВУ

29 марта 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Я получил тысячу рублей (1 000 р.), отправленную Вами при письме от 21 марта мне. Душевно благодарю Вас за добрую предупредительную заботливость о моих надобностях.

Через неделю, то есть около 5 апреля, отправлю на Ваше имя начало перевода X тома Вебера.

С искренней благодарностью Вам имею честь быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1133

И. И. БАРЫШЕВУ

15 апреля 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Благодарю Вас за посланные мне и полученные мною восемьдесят один рубль и тридцать восемь копеек (81 р. 38 к.), составляющие окончательную плату за перевод 9-го тома «Всеобщей истории» Вебера, и десять экземпляров перевода этого тома.

Экземпляр подлинника 10-го тома, который теперь перевожу, оказался неполным (по ошибке при брошировке): в нем недостает 36-го листа, то есть 561—576 страниц.

Если бы нашелся этот лист в макулатуре у издателя, Энгельмана, фирма которого называется:

Verlag von Wilhelm Engelmann,

в Лейпциге, то было бы всего лучше. Если же не найдется макулатурного листа, то, нечего делать, надобно купить экземпляр X тома. Прошу Вас, слишком добрый ко мне Иван Ильич, исполнить эту мою просьбу.

С истинным уважением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою, искренно благодарный Вам
Н. Чернышевский.

P. S. Следующий кусок перевода X тома отправлю на Ваше имя недели через три, около 5 мая.

1134

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

17 апреля 1888.

Милый Миша,

Благодарю тебя за предложение передать книжку «Эстетические отношения» Лонгину Федоровичу; у меня есть экземпляр ее; получив вчера твое письмо о желании Лонгина Федоровича оказать мне услугу, я стал писать предисловие и делать поправки в тексте. Кончу это и пошлю на твое имя в пятницу или субботу перед пасхой.

Благодари от меня Лонгина Федоровича. Ни о каких денежных условиях не рассуждай с ним; скажи, что я желал бы иметь когда-нибудь возможность доказать ему свою глубокую признательность за его доброе расположение ко мне.

Когда отправлю на твое имя исправленный экземпляр и рукопись, извещу тебя об этом письмом, к которому приложу записку, отдающую посылку в полное распоряжение Лонгина Федоровича.

Твоя маменька должна была бы ехать на Кавказские воды; я убеждаю ее сделать это; она желала бы, чтоб с нею поехала Елена Матвеевна; я полагаю, что это было б очень хорошо для них обеих.

1135

Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

[17 апреля 1888.]

Милая Елена Матвеевна,

По Вашей карточке я вижу, что Вам следует позаботиться о Вашем здоровье. Мне хотелось бы, чтобы Вы поехали с Вашей маменькой на Кавказ. Если возможно, исполните мою просьбу к Вам об этом.

Целую Вас и Мишу, Жму Ваши руки. Ваш Н. Ч.

1136

А. Н. и Ю. П. ПЫПИНЫМ

[20 апреля 1888.]

Милый Сашенька,

Посылаю тебе сто рублей для Саши; кажется, это будет на май и на июнь для него; так ли, не умею ясно припомнить.

Милая Юленька,

Оленька и я поздравляем Вас с праздником. Желаем Вам и Вашим доброго здоровья и всего хорошего.

Если Аделаида Петровна с Вами, то скажите ей, что Оленька шлет ей свои приветствия, а я целую руку ее.

Целую и Вашу руку, милая сестрица.

Здоровье Оленьки очень неудовлетворительно. Потому она не пишет Вам в этот раз.

Она целует Верочку и всех Ваших птенцов. Шлет поклон мужу Верочки, которого всегда хвалит мне. Ваш Н. Ч.

1137

А. Н. ПЫПИНУ

[20 апреля 1888.]

Милый Сашенька,

Пишу, но все не нахожу времени дописать статью для «Русской мысли». Когда будет напечатана, «Вестник Европы» по-

смотрит, гожусь ли я в сотрудники ему; если найдет, что гожусь, то буду писать и для него. Я уважаю его.

Жму руки тебе и всем вам. Твой *Н. Ч.*

1138

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

20 апреля 1888.

Милый Миша,

Ныне послал я на твое имя:

три экземпляра IX тома Вебера; один для тебя, другой для твоего дядюшки Александра Николаевича, третий для Александра Васильевича, благодаря которому получил я эту работу, дающую мне средства жизни;

экземпляр «Эстетических отношений» с поправками на полях книжки и на отдельных листках и присоединением предисловия.

К этому письму прилагаю записку, предоставляющую третье издание книжки в распоряжение Лонгина Федоровича.

Целую Елену Матвеевну и тебя. Жму твою руку. *Н. Ч.*

1139

Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

[20 апреля 1888.]

Милая Елена Матвеевна,

Пожалуйста, исполните мою просьбу о поездке на Кавказ вместе с Вашей мамашей. Жму Вашу руку. *Н. Ч.*

Вашей маменьке очень нездоровится ныне. Потому она не пишет Вам сама.

1140

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

24 апреля 1888.

Милые Елена Матвеевна и Миша,

Целую Вас и поздравляю с праздником, который ныне у Вас и у нас.

Короленко, делавший перевод указателя к первым четырем томам Вебера, кончил эту работу и прислал мне ее. Она исполнена хорошо, так что я без всяких поправок отсылаю ее в печать.

Если тебе, Миша, тяжело составлять указатель к следующим четырем томам, то брось; я передам и этот указатель Короленко, у которого есть помощники, нуждающиеся в работе. А если у тебя остается желание продолжать начатый труд, то продолжай.

Будьте здоровы, мои милые друзья. Жму Ваши руки. Ваш *Н. Ч.*

1141

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг, 27 апреля 1888.

Миленький мой дружок Оленька,
Каково-то путешествуешь ты?

У меня здесь все хорошо. Каждый день хожу гулять. В первые два дня по твоем отъезде оставлял Конст[антин]а М[ихайлович]а сидеть у нас, пока я хожу. Вчера, наконец, отперлись лавки, и я купил, как ты велела, два замка. Потому уходил гулять, отпустив К[онстантина] М[ихайлович]а.

В то время, как я гулял, заходила Софья Мелькумовна.

Я заходил, как ты велела, к Ивану Мелькумовичу.

Целую Миночку и дяденьку.

Свидетельствую мое глубокое уважение милому братцу Егору Николаевичу.

Целую руку Вареньки.

Целую твои ручки и ножки, моя миленькая голубочка Лялечка. Будь здоровенькая. Я здоров. Твой Н. Ч.

1142

П. И. БОКОВУ

8 мая 1888.

Добрый друг,

Ольга Сократовна едет в Москву советоваться с Вами о своем здоровье; посоветуется и о моем.

В нынешнюю зиму ревматизм нередко отнимал всякую свободу движений даже у кистей ее рук, чего прежде не было.

В последние два года раз пять или шесть бывали у нее такие сильные пароксизмы какого-то нервного расстройства, что она казалась умирающей.

Характер советов определяется отчасти соображениями о возможности их исполнения. Потому я считаю своей обязанностью сообщить Вам, добрый наш друг, точные сведения о моих денежных обстоятельствах. Мой доход до сих пор состоял исключительно из платы от К. Т. Солдатенкова за перевод Вебера. Мне приходилось получать от 4 500 до 5 000 р. в год. При таком доходе издержка в несколько сот или хоть и в тысячу рублей на надобность леченья — например, на поездку для пользования минеральными водами — не может быть тяжелым обременением, как Вы, добрый друг, вероятно, согласитесь с моим мнением. Если понадобятся деньги, превышающие наличный запас их у меня, то непозволительно мне иметь сомнение в том, что

К. Т. Солдатенков без досады, напротив, с добрым чувством исполнит мою просьбу о присылке мне денег в счет будущей работы. — Кстати, если Вам случается видеть его или заведующего денежными делами по его издательству, Ивана Ильича Барышева, то всякое хорошее выражение о моей признательности к ним, употребленное Вами при разговоре с ними обо мне, будет еще не полным отголоском моего мнения о их добром расположении ко мне.

Издание Вебера в моем переводе дает К. Т. Солдатенкову большой убыток.

Книга для перевода выбрана мной. Я не знал ее тогда. Судил о ней по отзывам немецких историков. Они обманули меня. Книга несравненно хуже своей репутации. Я стыжусь своей ошибки. И, между прочим, поэтому не посылаю Вам экземпляра перевода.

Надеюсь, что, кончив эту работу, сделаю выбор другой работы менее неудачно; и, быть может, она хотя отчасти покроет убыток, приносимый К. Т. С-у изданием перевода Вебера.

Возвращаясь к моим денежным делам. Я нахожу, что теперь уж не будет неудобно для меня писать журнальные статьи. Употребляя часть времени на это, буду иметь прибавку к доходу, получаемому теперь.

Собираясь к Вам, Ольга Сократовна пожелала, чтоб я отправился к лучшему из здешних врачей, попросил его исследовать состояние моего здоровья и изложить результаты исследования письменно для Вашего соображения.

То, что он сказал мне, совпадало с моими понятиями о состоянии моего здоровья. А для соображения Вам он написал записку, которую Ольга Сократовна передаст Вам.

Она сильно тревожится моим кашлем. Я не вполне разделяю опасения, какие внушает он ей. Но, разумеется, вовсе непрочь лечиться. И прошу Вас верить, что буду исполнять Ваши предписания.

(Кроме одного, если оно будет дано: «бросить курить». В Америке убедились, что исправить пьяницу нельзя иначе, как содержанием его взаперти, с отнятием всякой возможности добыть водки. От курения исправиться труднее, чем от пьянства.)

Вообще говоря, личную мою жизнь я нахожу недурной. Смущает меня только здоровье Ольги Сократовны.

Будьте здоров, милый друг, неизменно бывший по силе расположения как будто родным братом моим.

Жму Вашу руку.

[Без подписи.]

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

3 июня 1888.

Милый мой дружок Оленька,

Каково-то путешествуешь ты, моя радость? — Об этом раздумываю я. А когда ты получишь мое письмо, я буду раздумывать о том, хорошо ли ты устроилась в Липецке.

Дружок мой, прошу тебя, возьми полный курс леченья водами. Обо мне не беспокойся: у меня все будет итти хорошо. Была бы только ты здорова, то я помолодею на много лет.

Вчера я отправил часть перевода Вебера. Ныне пишу об этом Барышеву, для того чтобы сделать приписку, в которой говорю о высылке денег тебе.

Вероятно, успею ныне же отправить посылку племяннику Евгению. Адрес его нашелся.

Вчера ходил гулять. Пойду и ныне. Вообще буду гулять каждый день. — Вчера допил ту бутылку Виши, которую дала мне ты, купил и начал пить новую. Выпью (считая с этой) девять бутылок, как ты велела. Потом буду пить, как ты велела, зельтерскую воду.

Вчера вечером принесено письмо от Миши. Отослать его вчера было уж поздно. Прилагаю к этому письму; не снимаю конверта, потому что, вероятно, и с его конвертом вес моего письма будет один лот.

На-днях зайду к своим приятельницам Аветовым. Они говорили, что когда врачи, у которых пользуется Сергей Степанович, дозvoлят родным видеться с ним (теперь еще не дозволили бы), то две из них поедут в Москву.

Кушанья у нас вчера были: лапша и вареники; я ел оба блюда. — Лихорадки у себя ни вчера, ни теперь не замечаю. Вероятно, она прошла.

Написал Барышеву о присылке денег тебе в тех же самых выражениях, какие находятся в моем письме к нему, которое ты взяла с собою. Помни, что может пройти три, четыре дня и даже неделя, пока он увидится с Солдатенковым и получит приказание послать деньги. Потому пиши ему о них заблаговременно.

Посылка для племянника Евгения готова. Отправляю ее ныне.

Буду писать тебе, как ты велела, через неделю, т. е. числа 10-го.

Будь здоровенькая, моя миленькая голубочка.

После обеда схожу на пристань Зевеке, узнать о Ниагаре, и если она пришла, то поговорить об отправлении комода. За перевозку его дам денег, как ты велела, и, отправив, уведомя Вареньку телеграммой.

Лечись хорошенько.

Целую твои ручки и ножки, моя миленькая радость.
Тысячи раз обнимаю и целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1144

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

3 июня 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Вчера я отправил на Ваше имя еще один кусок перевода X тома Вебера.

Благодарю Вас за дружеский прием, который нашла у Вас моя жена.

Она теперь уехала в Липецк. Взяла с собой мало денег; потому будет через несколько времени просить их у Вас. Прошу Вас считать ее просьбы за мои личные.

Я также попросил бы Вас послать около 25 числа настоящего месяца сто рублей в Петербург по адресу:

Редакция «Вестника Европы», Галерная, 20. Александру Николаевичу Пыпину.

С истинным уважением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою, искренно благодарный Вам за Ваше доброе расположение *Н. Чернышевский.*

1145

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Понедельник. 6 июня 1888.

Милый мой дружочек Оленька,

Сейчас мне принесли два письма к тебе — от Миши и Леночки. Надобно спешить отдачей их на почту, чтоб они успели быть отправлены к тебе ныне же. Потому мое письмо будет короткое.

Посылку Евгению Евгениевичу я отправил 3 июня, как писал тебе, что отправлю в этот день.

Через несколько часов по отправлении того письма к тебе я получил телеграмму из Царицына, подписанную С. М. Мелькумовой. Она сообщала, что вы все доехали до Царицына благополучно. Я через полчаса пошел передать это известие отцу и братьям Софьи Мелькумовны.

Ныне вечером отвезу сам на Ниагару комод для передачи Миночке (в пятницу я заходил на Ниагару и виделся с Василием Васильевичем. Он с удовольствием согласился отвезти комод.

Я предложу капитану взять плату за перевозку, возьмет ли деньги, или скажет, что не стоит брать платы, не знаю).

Вчера после обеда получил твою телеграмму из Липецка: «Вчера приехала, заболела; лечит Соловьев». Я тотчас же отправил Соловьеву просьбу телеграфировать мне о твоей болезни, какая она и опасна ли. Ответ я уплатил. Ныне рано утром получил телеграмму Соловьева: «Дорогой была рвота. Теперь все обошлось». Благодарю Соловьева за то, что он успокоил меня. В его ответе больше 10 слов, а плата вперед берется только за 10, потому он должен был сделать приплату из своих денег (копеек 20, вероятно). Спроси сколько и заплати.

Завтра pošлю тебе «Сарат. листок», «Живописное обозрение» и «Ниву».

Будь здорова, моя миленькая радость.

Я совсем выздоровел.

Целую твои ручки и ножки.

Обнимаю и тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялочка. Лечись хорошенько. Целую и целую тебя. Твой Н. Ч.

1146

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

9 июня 1888. Четверг.

Милая моя радость Оленька,

Благодарю тебя за письмо, в котором ты рассказываешь о своей болезни, и за телеграмму твою, уведомляющую, что ты поправляешься. Миленькая моя голубочка, тебе надобно хорошенько лечиться. Прошу тебя, старайся приучать себя к мысли, что все другие твои заботы должны быть совершенно подчиняемы заботам о твоём здоровье. Для меня, сравнительно с мыслями о нем, все другое маловажно.

В понедельник я отправил комод Миночке. Заплатил за перевозку. Василий Васильевич бранит меня за это; но дело было уж сделано; и гораздо лучше, что сделано было так. Уходя с «Ниагары», я увидел у самого мостика, ведущего на пароход, остановившихся на платформе двух дам с нянькой, у которой на руках малютка; ребенок уронил игрушку, это и было причиной остановки: одна из дам наклонилась поднять игрушку; я был в двух шагах от этой дамы; в качестве любезного и ловкого кавалера я сделал шаг и торопливо нагнулся поднять игрушку и подать даме; но опоздал: дама нагнулась быстро, и когда я нагибался, она уж подымала стан, — увидела меня перед собой и расхохоталась: «Да вы тут, Н. Г.? Как Вы попали сюда?» — Я в ту же секунду постиг, что эта неизвестная дама — Сусанна Богдановна; другая дама, смотревшая в сторону, оглянулась и оказалась — чему я уж не удивился — Маргаритой Ивановной. Подошел и Карп Лукьяныч, шедший в трех шагах от них. Они

отправлялись в Самару; Карп Лукьяныч, нашедши дачу для С. Б. и М. И. и устроив их там, возвратится сюда; у него здесь множество дела. Осенью поедет за С. Б. и М. И. — Я прошел с ними опять на пароход, посидел четверть часа в разговоре с ними. Они все усердно кланяются тебе.

Вечером не захотел посылать телеграмму о комодке Вареньке, помня твое правило посылать телеграммы так, чтобы они были получаемы не ночью, а днем. Во вторник рано утром послал. Ключи от комода не забыл, отдал Василию Васильевичу.

Заходил к хозяйке. Она поправилась. Уедет числа 16-го. Я сказал ей, чтоб уведомила, когда соберется; я приду и отдам деньги лично ей. Она поблагодарила и сказала, что если у меня мало денег, то она с удовольствием подождет, пока будут. Я отвечал, что теперь заплатить не стеснительно для меня, а в следующем месяце, быть может, попрошу подождать. «С удовольствием подожду, батюшка, с удовольствием». Много расспрашивала о тебе.

Был у меня Андрей Семенович, отдать аптекарские вески, которые брала у тебя Авдотья Петровна.

Константин Михайлович взял во весь прошлый месяц только 7 рубл., в нынешнем не брал еще ничего; хочет, чтобы деньги оставались у меня, сберегались для его поездки по военной повинности.

Отдал третьего дня (7 числа), как ты говорила, жалованье кухарке. Она прихворнула было; простудилась; на этот день я посоветовал ей лежать; кушанье готовила ее мать; то же было на другой день; на третий она выздоровела. — Барышня растет очень заметно. Вероятно, будет длинная, похожая складом на бедняжку прежнюю барышню.

Вот список моих расходов на кушанье. Тут включены и молоко (по 20 коп. в день) и хлеб (на 9 коп. мне, копеек на 9 или 10 всем остальным: Константину Михайловичу, кухарке, ее матери).

Расходъ кухарки на кушанье.	3 июня	— 69 коп.
	4	— 53
	5	— 75
	6	— 61
	7	— 90
	8	— 79

Итого в 6 дней 4 р. 30 к.

Вычитая 1 р. 20 к. за молоко и 54 к. за хлеб мне, вижу, что расход на все остальное был 2 р. 76 коп. — Правда, ты закупила масло, крупу и т. д. Но все-таки расход по 46 коп. в день на четырех — не велик.

Будь здоровенькая, моя миленькая радость, и пользуйся водами, как следует.

Целую твои ручки и ножки.

Я здоров. Пью Виши. Много хожу.
Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя кра-
савица Лялочка. Твой Н. Ч.

1147

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

9 июня 1888.

Милые мои Леночка и Миша,

Целую Вас.

Тебя, Миша, благодарю за присылку объявления о пишущей машине Галля. Покупать не хочу. Говорят и другие то же, что прежде писал ты: пишущие машины еще не доведены до конструкции, действительно удобной. Но очень радует меня, милый друг, твоя внимательность к исполнению моих просьб.

Писал я перед этой запиской письмо к вашей мамаше, и оказалось, что пора мне отдать его на почту; потому извините, друзья мои, что пишу вам лишь несколько слов. Соберусь — неизвестно когда, то напишу побольше.

Вы, миленькая Леночка, пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье. Я очень много думаю о нем, потому что хорошее состояние его необходимое условие для здоровья вашей мамаше, о которой я думаю непрерывно все время, когда не сплю.

Целую Вас, миленькая моя. Целую тебя, Миша. Ваш Н. Ч.

Нашлось несколько минут для продолжения.

Судя по поручениям, какие дает тебе, Миша, Правление Зак. ж. д., я полагаю, что оно считает тебя дельным и полезным человеком. — Мне кажется, Леночка, что ваша жизнь пойдет в материальном отношении хорошо и что вы с Мишей станете через несколько времени даже людьми обеспеченными. Берегите только здоровье свое и Миши. Мне не слишком нравится то, что у него бывают головные боли, — от прилива крови, вероятно? Что ему делать для устранения их? — Нужна строгая разборчивость в выборе пищи? — Он ест не много; но мне казалось, что он любит есть всякую бакалейную дрянь, считающуюся вкусной, начиная хоть с сардинок и балыков. Годится ль она для него? Если не годится, то перестаньте кушать ее и Вы, чтобы не было ее у Вас в квартире. Впрочем, я рассуждаю только в качестве философа, постигающего все то, в чем ничего не смыслит. Прошу ценить благонамеренность советов, за дельность их не ручаюсь. Не чрезмерно понравились мне и Ваши портреты, присылавшиеся после нашего личного знакомства: причина недовольства, противоположная философствованию о Мише: мне кажется, что Вы, моя миленькая Леночка, очень похудели. Старайтесь поправить это, если это так. Целую Вас еще и еще, моя милочка. Целую тебя, мой милый.

1148

Б. А. МАРКОВИЧУ

[9 июня 1888.]

Добрый друг Богдан Афанасьевич,

Вчера я получил Ваше письмо о том, что, по Вашему мнению, хорошо было бы перевести книги Летурно «Evolution de la morale» и «Ev[olution] de la famille». Ныне я отправил к заведующему материальной частью изданий Солдатенкова, Ивану Ильичу Барышеву (очень хорошему человеку), письмо, в котором передаю Ваше желание, присоединяю к нему свою просьбу о его исполнении и спрашиваю, надобно ль мне написать о том же самому Солдатенкову (помимо Барышева писать Солдатенкову я не захотел, потому что это значило бы делать обиду Барышеву, которому я обязан глубокой признательностью за его доброе расположение ко мне). Я полагаю, что ответ Барышева придет ко мне недели через две. Вероятно, что он будет благоприятный. Разумеется, немедленно сообщу его Вам.

Жму руку Евгении Петровне.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1149

И. И. БАРЫШЕВУ

9 июня 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Один из моих знакомых, Маркович, сын известной, глубоко уважаемой мною писательницы, Марка Волчка (т. е. Марьи Александровны Маркович), желал бы получить от Кузьмы Терентьевича работу. Он человек очень образованный. И нуждается в деньгах. Я присоединяю к его просьбе мою.

Он живет теперь (и будет жить еще года полтора) в глухом уездном городе Астраханской губернии, Красном Яре. Занятий для образованного человека там нет никаких. Г-жа Маркович помогает сыну; но она сама женщина бедная (она довольно давно больна; потому не может писать; а с литературной работой исчезли и доходы ее).

Я довольно хорошо знаю ее сына, за которого прошу Вас. Он человек уж не первой молодости; ему больше 30 лет. По своей специальности он математик. Он очень много занимался естественными науками. Но эти его знания, как он полагает, не пригодны в настоящем случае, потому что книги по математике и естествознанию не входят в круг издательской деятельности Кузьмы Терентьевича. Но он думает (и я уверен), что может быть хорошим переводчиком таких книг, какие издаются Кузьмою Терентьевичем в русском переводе. Он пишет мне:

«Французским языком я владею как родным» — это правда, замечу я от себя — «мог бы переводить и с английского. Я уж несколько переводил и вообще думаю, что обладаю сносным слогом».

Я прибавлю, что стал бы просматривать его переводы (по желанию доказать мое уважение к г-же Маркович расположением к ее сыну) и принял бы ответственность за них на себя.

Г. Марковичу кажется, что было бы хорошо перевести книги Летурно

«Evolution de la morale»
и «Evolution de la famille».

Но он знает эти книги только по рецензиям их. Он говорит: «в «Русских ведомостях» были подробные отзывы о них, самые благоприятные»; — я не помню этих рецензий.

Но, разумеется, г. Маркович только высказывает свое мнение, что хорошо было бы перевести книги Летурно; он с радостью и благодарностью возьмет всякую переводную работу, какую дадут ему.

Будьте добр, Иван Ильич, скажите мне, можно ли исполнить его и мою просьбу, и если можно, то не должен ли я сделать что-нибудь для успеха ее? Быть может, я должен написать Кузьме Терентьевичу? Я был бы рад написать ему. Я не пишу ему лишь потому, что не желаю беспокоить его без необходимости. С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

Р. S. Сейчас взял с почты «Дух и тело» Тьюка, перевод Викторова, Ваше издание. Благодарю Кузьму Терентьевича и Вас за эту любезную присылку.

1150

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Суббота. 11 июня 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Поправляется ли твое здоровье, моя голубочка, радость моя?

Я совершенно выздоровел. Домашние дела у меня идут как следует.

Вчера утром, пошедши, по обыкновению, гулять, вздумал зайти к Крамеру, чтобы спросить о Сергее Степановиче для передачи его сестрам. Сказав, что знает о нем, Крамер стал спрашивать обо мне, потом первый заговорил о тебе и долго расспрашивал, как ты лечилась и лечишься. Он выказывал расположение, вероятно, искреннее. Соловьева он знает и хвалит. — От него

я зашел к Мелькуму Мартыновичу, посидел с отцом наших приятельниц полчаса; он, разумеется, кланяется тебе. Я погладил по голове и поцеловал Любу. — От Мелькума Мартыновича пустился путешествовать; попал на Кутум, шел, шел берегом, и кончилось тем, что увидел себя дошедшим до Воздвиженского моста. Тут меня осенила мысль: «когда забрел так близко к «Аркадии», то зайду к Ковровым; надобно ж когда-нибудь побывать у них». И зашел к ним. Нами всеми овладела радость при неожиданном для всех нас свидании. Я посидел у них с полчаса. Они пили чай под пологом перед своим домиком. К ним заходили по делу или просто выпить стакан чаю артисты. Хозяева знакомили нас. Таким образом, я познакомился, между прочим, с Медведевым (приехавшим сюда на гастроли) и Аграмовым (режиссером); оба понравились мне. Ковров пошел на репетицию. И я с ним направился в театр; посмотрел несколько минут. Из «Аркадии» вернулся домой только к обеду. Видишь, как я гуляю.

Ныне утром зашел к сестрам Сергея Степановича. Они кланяются тебе.

Я получил письмо к тебе от Вареньки и Миночки. Адрес был на мое имя; потому я распечатал. Получил другое письмо, — не умею разгадать, от кого. Посылаю нераспечатанным, потому что для веса и платы конверт не составит разницы.

Вчера заходил Пальцев, тот юноша, который несколько времени работал у меня. Он стал совершенно рассудительный человек; ветер вылетел из головы; он думает исключительно о своей обязанности быть полезным семейству (у него 9 человек братьев и сестер). Он понравился мне, и мы с ним часа два толковали о его семейных делах.

Я продолжаю пить Виши. Выпил после твоего отъезда 5 бутылок. Выпью еще 4, как ты велела, и потом, как ты велела, буду пить вельтерскую воду.

Дня через три, когда получу «Живоп[исное] обозрение» и «Ниву», pošлю тебе их и «Сарат[овский] листок».

Прошу тебя, моя миленькая голубочка, лечись хорошенько. Пиши мне все, что у тебя на душе; это несколько облегчает; так ли, не так ли, как нравилось бы тебе, напишется у тебя — все равно, — лишь бы хоть сколько-нибудь облегчилась душа высказыванием чувств.

Единственная моя радость в жизни, будь здоровенькая.

Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая красавица Лялечка.

Будь здоровенькая.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Вторник. 14 июня 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Я получил твои прекрасные письма от 9 и от 10 июня. Благодарю тебя за них. Благодарю и за то, что ты приложила к второму из них письмо Миши.

Милая моя голубочка, единственная моя радость, единственная привязанность в жизни, прошу тебя, лечись хорошенько.

Напиши имя, отчество и адрес Соловьева; я хочу поблагодарить его за заботливость о тебе.

Денег у меня достаточно. От того господина, который взял у меня 25 р., я получил 10 р.; остальные 15 надеется он отдать в следующем месяце. Я у него не бываю и не буду бывать; он заходил только раз, чтобы отдать деньги.

Думаю познакомиться с человеком, который будет таким же приятелем мне, каким был бедняжка Сергей Степанович. Впрочем, не имею пока надобности в таких знакомствах.

Передал твой поклон кухарке и ее матери. Кухарка держит себя, сколько я могу судить, хорошо; я доволен ее бережливостью на деньги. Через неделю напишу список расходов, шедших через ее руки, чтобы ты могла сказать мне, находишь ли ты, что она соблюдает экономию. — Жалованье ей отдал 7 числа, 6 р.; вчера, получив твое письмо, отдал еще рубль, как ты велела.

Твои приказания относительно церкви она не забывает исполнять.

На-днях я виделся с священником-калмыком, который нравится мне; потолковал с ним; он рассказывал о своих семейных заботах. Он кланяется тебе.

Сергей Степанович еще жив, и, вероятно, проживет еще несколько месяцев; но едва ли будет иметь хотя краткие периоды просветления ума. Вчера был я у его сестер. Когда известят их, что можно без вреда ему видеть его, две из них поедут в Москву. Они кланяются тебе.

На-днях кончу пить предписанное тобою количество бутылок Виши. Выпил по твоему отъезде уж 7; с выпитыми при тебе это составляет 10; остается выпить 2. После буду пить зельтерскую воду, как ты велела. — Я здоров. Гуляю обыкновенно по 2 раза в день, рано утром и когда спадет дневной зной. В воскресенье утром, когда шел по улице мимо парадного крыльца Мелькумовых и огибал угол по пути домой, был остановлен знакомым голосом из окна того углового дома, который стоит наискось от дома Хачикова, против нового дома (он одноэтажный, белый, — помнишь?). У окна сидел и пил чай мой приятель, торговец железом, Попов; это дом его. Он просил зайти к нему. Я зашел, посидел

с ними, пока они пили чай; жену его я видел прежде (в лавке); они перезнакомили меня с детьми и живущими у них родными; это человек десять. Она хвалила мне варенье из демьянок! Давала банку его мне. Я согласился взять несколько его на пробу тебе, когда ты возвратишься.

Письмо Миши, присланное тобою, произвело на меня очень приятное впечатление: видно, что правление железной дороги считает Мишу очень дельным человеком и что он будет иметь со временем хорошую карьеру.

Посылаю «Ниву», «Жив. обзор.», книжку его, номер «Русск. ведомостей», где начинается роман, 6-й номер «Вестника Европы» и 6-й номер «Северного вестника». Хочу послать под бандеролью; спрошу на почте, удобно ль это, или лучше отправить обыкновенной посылкой.

В прошлый раз, вынимая из конверта письма Вареньки и Миночки для отсылки к тебе, я не заметил, что письмо Миночки защемилось в конверте и не вынулось; я думал, что оно вложено было в письмо Вареньки. Посылаю его тебе.

Будь здоровенькая, моя миленькая радость. Лечись хорошенько. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя красавица Лялочка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1152

А. Н. ПЫПИНУ

15 июня 1888.

Милый Сашенька,

Много порадовал ты меня своим посещением. Благодарю тебя за него.

То, что я говорил о письмах Добролюбова, исполню. Перевод X тома Вебера и статью о дарвинизме кончу к половине следующего месяца; тогда немедленно начну работу, за предложение которой очень благодарен тебе. Она возьмет не больше месяца времени.

На-днях я просил Барышева (заведующего денежной частью издательства Солдатенкова), чтоб он отправил около 25 числа (нынешнего месяца) 100 рублей тебе для Саши. Вероятно, он сделает это. А если к 1 июля не будет прислано тебе денег от него, дай Саше из своих и уведошь меня, чтоб я прислал тебе.

Но обо всем этом я не собрался бы писать тебе: недосуг; пишу лишь потому, что пришлось писать не к тебе, а к Юленьке — по поводу бедной Аделаиды Петровны: надобно сказать Юленьке, что я разделяю печаль ее о кончине этой милой родственницы.

Будь здоров. Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

Ю. П. ПЫПИНОЙ

15 июня 1888.

Миленькая сестрица Юленька,

Я любил Аделаиду Петровну, когда еще не был ее родственником; очень любил уж и тогда.

Помните ли Вы ее свадьбу? Вы были тогда еще ребенком. Я познакомился с Гаврилом Родионовичем у Введенского. Из людей, которых видел я у Иринарха Ивановича часто, Гаврил Родионович был самый умный и самый добрый. Он был ласков ко мне, в то время смирному, робкому юноше; сказал, чтоб я заходил к нему. Я через несколько времени услышал от Введенских, что он женится на Аделаиде Петровне Гурскалин. Но я никогда не видел ее у них до ее свадьбы. Она и Гаврил Родионович очень долго оставались невестой и женихом. Почему так долго, я тогда не знал; потом понял из рассказов Аделаиды Петровны и Гаврила Родионовича о их денежных делах. Ваше семейство имело когда-то если не богатство, то довольно большие средства жизни и, кажется, много денег в запасе. Но дела Вашего батюшки стали расстраиваться; и к тому времени, когда Аделаида Петровна и Гаврил Родионович дали друг другу слово, Ваше семейство уж было небогато; жило без нужды, но и только. У Гаврила Родионовича не было ни запаса денег, ни доходов, кроме жалованья, недостаточного для жизни вдвоем. Потому-то свадьба и отсрочивалась до возникновения возможности не подвергать Аделаиду Петровну тяжелой нужде в браке. Дела Гаврила Родионовича поправлялись; но медленно. Поправились наконец, и тогда невеста и жених повенчались.

Из всех дам, которых я видел у Введенских, у других их знакомых, у самой Аделаиды Петровны, она казалась мне самой лучшей. И впоследствии, когда круг моих знакомств расширился, я видел очень мало дам, которые казались бы мне такими хорошими.

Я так уважал Аделаиду Петровну, что вскоре после начала знакомства стал при встрече и прощанье целовать ее руку. Это не было принято ни в кругу ее знакомых, ни в других кругах моего знакомства. Но я продолжал делать так до самого прекращения моих свиданий с Аделаидой Петровной и Гаврилом Родионовичем.

В те годы, когда у меня был досуг, я бывал у Гаврила Родионовича и Аделаиды Петровны очень часто, потому что из всех семейств, в которых бывал я не по деловой надобности, а только по расположению к ним, не было ни одного, которое так нравилось бы мне. Случались недели и целые месяцы, когда я бывал у Аделаиды Петровны почти ежедневно. Мне никогда не случалось видеть, чтоб она взглянула на кого-нибудь недоброжела-

тельно; никогда голос ее не имел интонации не только гнева, но хотя бы досады; кротость ее была неизменна во всех неприятностях, какие встречались ей.

Я полагаю, что кончина ее была очень тяжелым ударом для Вас, Юленька. Оленька даже опасается за Ваше здоровье. Поддержкой для Вас в этой печали могли служить только чувства и обязанности Ваши к мужу и детям. Счастье их основывается на Вашей любви к ним. Едва ли кто-нибудь из нас, уж не молодых, много дорожит своей жизнью по любви к себе. Но у всех нас есть обязанности относительно других. Вы имеете особенно много обязанностей. У Вас — муж и трое детей, еще находящихся в полной зависимости от Ваших забот о них. Вы очень, очень обязаны беречь себя для них.

Я разделяю Вашу печаль о кончине милой Аделаиды Петровны. Оленька печалится очень сильно.

Целую Верочку, Наташу и их братьев.

Будьте здоровы все; и в особенности будьте здорова Вы, Юленька.

Целую Вас, сестрица, жму Вашу руку и целую ее. Ваш *Н. Ч.*

1154

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

17 июня 1888.

Миленкий мой дружок Оленька,

Порадовала ты меня своим письмом от 13 июня, говорящим, что твое здоровье поправляется. Но прошу тебя, моя миленкая голубочка, доведи лечение до конца, так чтобы запастись силами на зиму. Обо мне не беспокойся. Я здоров. Завтра кончу пить Виши; начну послезавтра пить зельтерскую воду; это теперь не нужно по состоянию моего здоровья, но буду исполнять твое приказание, пока ты снимешь с меня исполнение его.

Я много гуляю. Третьего дня и вчера все время работы ушло у меня на дружбу, которой я был рад. Приехал сюда на пути в Баку и в Тифлис задушевный приятель Солдатенкова, Грачев, пришел ко мне с визитной карточкой его (посылаю тебе ее; прочти надпись на обороте), просидел до позднего вечера. О себе поговорил, что не исполнил просьбу Солдатенкова купить для него два самые лучшие персидские ковра, какие найдутся. «Почему ж вы не сделаете этого?» — «Не знаю толку; купил бы дрянь; и решил не покупать». Я сказал, что у меня есть знакомые купцы, между которыми найдутся отличные знатоки ковров; каждый с удовольствием отправится руководить его в покупке. Он обрадовался. Я сказал: «Магазины отпираются в 8 часов; в 8 часов завтра пойду искать советника; в 12 зайдите, отправимся поку-

пять». — «Хорошо; приду в 12 часов». Утром я пошел в 8 часов искать руководителя. Прежде всего зашел, разумеется, к Сергею Мелькумовичу; он сказал: «Знаю толк; но отец мой знает лучше меня». Я пошел к Мелькуму Мартыновичу, он сказал: «Я знаю толк, но Сергей знает лучше меня; спросите еще вот у кого и вот у кого, не рекомендуют ли знатока, лучшего, чем Сергей». Я спросил тех купцов (они были знакомые); они сказали, что Сергей Мелькумович — самый хороший знаток. Я возвратился к нему, сказал, что прошу его. «Хорошо, выберу ковры. Когда зайдете за мной?» — «В 12 часов». — «Буду ждать». — Я иду домой. Был девятый час в исходе. Вхожу — Грачев уж сидит у меня, ждет, найдется ли руководитель. Мы тотчас отправились к Сергею Мелькумовичу; он, на наше счастье, попался нам на дороге. Отправился выбирать новому своему приятелю ковры. Взяли они с собой и меня. Хозяин лучших ковров оказался мой приятель, персиянин, которого я несколько раз видел у Сергея Степановича. Очаровал Грачева любезностью. Сам выбрал два ковра; Сергей Мелькумович нашел, что это действительно самые лучшие. Грачев, не говоря ни слова об уступке, вынул деньги по первому слову продавца, что цена одному коврику 80 р., а другому 70. Я после сказал ему: «Вероятно, продавец сделал бы уступку». — «Я не привык торговаться; и Кузьма Терентьевич не велел мне торговаться». Он был в восторге, что хорошо исполнилась просьба Солдатенкова. — Я отправился с ним на пристань «Кавказа и Меркурия» отсылать ковры в Москву. Возвратился домой в половине первого. В 4 часа он пришел ко мне и просидел до половины 12-го. Закусывать не хотел ничего: он ест раз в день. И булок с чаем не ел. — Кончив это письмо, пойду на пристань «Кавказа и Меркурия» провожать его; он едет в Баку, но куда попадет, не знает: теперь думает проехать по Закавказью, но может случиться, что увлечет его мысль съездить в Самарканд. Каждое лето он разъезжает так, сам не зная, куда занесет его фантазия.

Кроме любезностей от Солдатенкова, он передал мне, что Кузьма Терентьевич просит меня, когда кончу перевод Вебера, выбирать работы для издательства ему, какие мне самому вздумается: он будет издавать все, что найду полезным.

Сергей Мелькумович прислал отданные тобой для подшивки подошвы сапоги. Они хорошо надеваются. Буду носить их. Он сказал, что деньги за работу уж отданы ему тобой.

Как получу новые номера «Нивы» и «Живописного о[бозрения]», pošлю их тебе с новыми номерами «Сар[атовского] дневника» и вырезками фельетонов с повестями из других газет.

Чтобы не забыть, вставляю здесь же, между извещениями о посылке газет, вовсе постороннее этому предмету: хозяйка уехала 15 числа; я перед самым ее отъездом отдал ей 40 р. за время от июня до 18 июля. «Не отдавайте, если нужны эти деньги вам

самому». — «Теперь у меня есть деньги; но за следующий месячный срок попрошу Вас подождать». — «Хорошо, батюшка, хорошо». Она кланяется тебе.

Буду посылать тебе «Ниву» и «Ж[ивописное] о[бозрение]» каждую неделю, немедленно по получении, и кстати, «Сар[атовский] дневник» и вырезки из других газет.

На другом полулистке пишу Мише и Леночке. Я хочу, чтобы ты прочла. Оторви, пошли. Сашеньке и Юлии Петровне написал, как ты велела. Без твоего приказанья долго не собрался бы написать.

Тебе буду писать дня через четыре, если не придет раньше того какое-нибудь письмо, адресованное тебе.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица Лялечка. Крепко обнимаю, миллион раз целую тебя. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1155

И. И. БАРЫШЕВУ

19 июня 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Получив Ваше доброе письмо от 14 июня, благодарю Вас за готовность — в которой я и был уверен по Вашему расположению ко мне — исполнить мою просьбу о посылке денег моей жене в Липецк, и послать 100 р. А. Н. Пыпину в Петербург (эти деньги назначаются для моего старшего сына, человека, не умеющего вырывать себе средства к жизни).

По Вашему совету, я пишу Кузьме Терентьевичу о г. Маркевиче; прибавляю к краткой просьбе о нем, что подробности изложены мною в письме к Вам. Простите, что, кроме других моих просьб к Вам, утруждаю Вас и делом г. Маркевича. Я полагаю, что было бы нехорошо обращаться с какими-нибудь делами к Кузьме Терентьевичу помимо Вас, такого доброго ко мне. Влагдаю письмо к Кузьме Терентьевичу в это письмо к Вам.

Бывши здесь, доставил мне удовольствие и честь своего знакомства Василий Егорович Грачев, человек действительно превосходный. В разговорах со мною о Вас он сообщил мне, что Вы не чуждаетесь литературных занятий. Если не представляет для Вас затруднения, то я просил бы почтить меня присылкой Ваших литературных трудов. Я не имею случая видеть изданий, в которых помещаются они. А я желал бы ознакомиться с характером Вашего таланта.

Глубоко благодарный Вам за Ваше доброе расположение, Ваш покорнейший слуга *Н. Чернышевский.*

P. S. Продолжение перевода X тома Вебера думаю послать недели через полторы,

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вторник. 21 июня 1888.

Миленький мой дружочек Оленька,

Благодарю тебя за письмо от 17 июня. Радуешь ты меня тем, что твое здоровье поправляется. Но, моя миленькая голубочка, прошу тебя, лечись хорошенько, не прекращай леченья, не кончив его; продолжай, сколько будет советовать твой врач; обо мне не беспокойся: я теперь здоров совершенно и останусь здоров; дела у меня идут в порядке. Выпив Виши, сколько ты велела, я начал, по твоему желанию, пить зельтерскую воду; хотя это и лишнее, но буду пить, пока ты напишешь, что могу бросить.

Дня два тому назад я получил от Барышева письмо с уведомлением, что он пошлет тебе деньги по первому твоему требованию. Возьми у него больше 200 р., о которых пишешь, что их будет достаточно тебе. Мне хотелось бы, чтобы ты лечилась, сколько надо будет по мнению врача. А для этого понадобится больше 200 р.

По словам Грачева (того приятеля Солдатенкова, о котором я писал тебе), Солдатенков обыкновенно живет на своей даче в Кунцове (в 4 верстах от Москвы) до 1 августа, потом уезжает за границу, возвращается в Москву около 1 ноября. — Не сделаешь ли так? — Спросишь у Барышева, до какого числа Солдатенков остается в Кунцове, и, если вздумается тебе отдохнуть от леченья, съездишь в Москву повидаться с ним, потом возвратишься продолжать леченье? Он был бы рад повидаться с тобой. — Ему 67 лет; он ведет богатую, но скромную жизнь; у него даже нет ни вечеров, ни больших обедов; заедут или зайдут поболтать вечером два, три близкие приятели, то болтают не дольше 11 часов, — в это время он уж ложится спать.

Такую же скромную жизнь, как оказывается, ведут здешние (хоть и не такие, как Солд[атенков], но все же не маленькие) богачи Ореховы. Это мне рассказывал о себе Орехов, которого я видел на пароходе при отъезде Платоновой. Сначала скажу о ней, потом о разговоре с Ореховым.

Фанни Михайловна заехала ко мне в субботу на минуту, сказать, что едет в воскресенье. Нельзя было мне не отвечать ей, что я приду провожать. В воскресенье утром она прислала вещи, взятые тобою; это: железная кровать; два тюфяка (толстый и тонкий); конторка; ящик для бросанья ненужных бумаг в него.

Мне она не говорила о деньгах, как не упоминала и о том, что придет вещи; тем надобнее было повидаться с нею; правда, ты говорила, что дело о деньгах за эти вещи кончено между вами; но

Все-таки следовало мне узнать, не ждала ли она получить деньги от меня (я, признаться, не помнил, за какие вещи ты заплатила деньги). — Итак, в воскресенье я пошел на пароход (самолетский). Она и накануне и в это свиданье с живейшим чувством благодарности говорила о тебе. Она взяла с собою всех своих. Сестра ее мужа и падчерица сестры провожают ее до Царицына или до Грязей и поедут в деревню к своим родным. — Она говорила, что будет представлена императрице; из этого я вывожу, что решено дать ей должность, которой она просила: без сомнения, представление просящих императрице делается, только когда императрица нашла, что может сказать: «Исполню вашу просьбу».

Итак, говорил я, на пароходе увидел я Орехова (натурально, было наоборот: увидел он меня, а не я его). Он был, кроме меня, единственный мужчина, провожавший Фанни Мих[айловну]. Я спрашивал его о семействе (оно, по обыкновению, проводит время в Нижнем, на родине). Оказалось, что они живут очень скромно; он не играет в карты, потому не бывает ни в клубе, ни на каких вечерах; она не бывает на балах, не дает вечеров. Он теперь живет так же, как при ней: вечер всегда проводит дома; единственный частый гость его — доктор Крамер; они дружны; Крамер нравится мне. Увидевшись со мной, он сказал, что на днях зайдет за мною, взять меня к Орехову, который давно желает сблизиться со мною. Я сказал: хорошо, отправимся, когда вздумаете. Знакомство с Ореховым может пригодиться к чему-нибудь. — Будь здоровенькая, моя миленькая радость Лялочка. Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя. Будь здоровенькая. Буду писать тебе дня через три, если не получу раньше того каких-нибудь писем для передачи тебе. — Есть объявление, что вышла июньская книжка «Русской мысли». Как получу, pošлю тебе. — Лечись хорошенько. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1157

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

23 июня 1888 г.

Милостивейший государь Виктор Александрович!

С нынешней почтой я отправил по адресу редакции «Русской мысли» на Ваше имя статью «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь».

Я говорил в конце прошлого года, что пришлю Вам в начале нынешнего статью о мнимом могуществе пап в период неудачной борьбы немецких императоров с национальным чувством итальянцев. Она приняла такой размер, что я, промедлив месяцев пять исполнением слова, увидел наконец: надобно приостано-

вить эту слишком длинную работу и написать для Вас другую статью.

Простите мое промедление.

По заглавию статьи, которую теперь послал я Вам, Вы видите, что это анализ дарвинизма не с специальной, как обыкновенно делается, а с общенаучной точки зрения, и, без сомнения, угадываете, что я нахожу дарвинизм нелепостью.

Но вот что требует Вашего внимания: тон статьи. Каков он, Вы можете судить по дополнению к заглавию и по первым строкам статьи. Иным тоном я не могу писать о подобных дурацких гадостях. Но имя Дарвина пользуется уважением у огромного большинства и специалистов, и массы образованных людей. Разумеется, я отдаю справедливость учености и благородству характера Дарвина; но все-таки выходит, что он не имел ни тех знаний, ни тех качеств ума, какие были бы необходимы для успешности его труда над разъяснением истории органических существ....

Объясню мое презрительное отношение к дарвинизму. Я с довольно ранней юности знал теорию Ламарка и был трансформистом. Видеть, что в 1860 году масса натуралистов превозносит похвалами или осыпает проклятиями, как новую идею, учение, которое лет за пятнадцать перед тем было уже привычно мне, юноше, жившему в глухом русском провинциальном городе, в кругу священников и дьяконов, — это было в моих глазах позором для массы натуралистов. И это мнимо новое учение было обскурантским искажением той, разумеется, не полной, но верной духу естествознания, истинно-научной теории, которая была изложена Ламарком, — я не мог не презирать его, не гнушаться им. Я и теперь считаю эти чувства справедливыми; потому сохраняю их.

Люди моих лет, бывшие трансформистами задолго до начала шума о дарвинизме, составляют маленькую долю публики. Старики не могут требовать, чтобы младшие поколения разделяли их чувства. А журнал обязан принимать в соображение мысли большинства образованных людей. Удобна ли в этом отношении моя статья — мне неизвестно. Судить об этом — дело журнала. Потому я не буду нимало в претензии на «Русскую мысль», если она найдет, что моя статья непригодна для нее.

Через месяц буду иметь досуг приняться за статью, о которой говорили Вы с одним из наших общих знакомых при проезде его через Москву в мае. Надеюсь послать ее Вам в августе.

Искренно благодарю Вас за Ваше доброе расположение ко мне. Мой адрес: Астрахань, у Знаменья, дом Пуховой.

Будьте здоровы. Жму Вашу руку. Ваш И. Чернышевский.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг. 24 июня 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Я получил твои письма от 17 и от 18 июня. Хорошо, что ты поправляешься, моя радость. Но прошу тебя, лечись до получения от вод всей той помощи, какую могут принести они.

Я совершенно здоров. Впрочем, пью зельтерскую воду, как ты велела, и буду пить, пока ты разрешишь бросить ее.

Ты говоришь, что не стоит мне писать к врачу, пользующему тебя. Когда так, то не буду писать ему.

Ты пишешь, чтоб я не посылал тебе толстых журналов; хорошо, не буду, пока ты не скажешь, чтоб они были посылаемы тебе. А в июньской книжке «Русской мысли» начат роман, который кажется мне хорошим. («Наших полей ягоды», какого-то Анютина.) Не прислать ли ее? — Когда получу следующие номера «Жив. об.» и «Нивы», pošлю тебе их и «Сарат. дневник».

Вчера заходил к сестрам Аветова. Средняя из них, наиболее умная, уехала в Москву, посмотреть, что делается с братом. Две оставшиеся дома усердно кланяются тебе. — Врачи, в больнице которых находится бедный Сергей Степанович, пишут Крамеру, что его душевная болезнь, имевшая буйный характер, смягчается и, вероятно, станет тихой, но едва ли пройдет. Так говорил и Крамер, когда я видел его на пароходе при отъезде с Сергеем Ст-чем в Москву. — Очень многие купцы, встречая меня, спрашивают о положении Сергея Ст-вича, и все хвалят его, называют человеком добрым: не было ни одного случая, когда он притеснял бы неисправного должника; всякому давал отсрочки, оказывал всяческие снисхождения, и если долг пропадал, что случалось нередко, он не сердился на должника, хотя бы знал, что банкротство не совсем добросовестно устроено. Так он отзывался в разговорах со мной: «Пропали мои деньги; но он человек бедный; бог с ним, не сержусь».

Рано утром я почти каждый день гуляю часа по два; часто и вечером, когда пройдет зной. — Ты одобряешь, что я был в театре; чтобы заслужить новую похвалу от тебя, пойду опять. — Кстати: Ковровы и их дочка кланяются тебе.

Буду писать тебе дня через три, если раньше того не придет писем для передачи тебе.

Миленькая моя голубочка, заботься о своем здоровье. Оно — единственная мысль моя. Будет оно хорошо, то наши дела пойдут гораздо лучше нынешнего. — Прошу тебя, лечись водами, сколько надобно по мнению врачей.

У меня здесь все идет хорошо. В одном из следующих писем сделаю обзор расходов на стол и проч. Они очень не велики.

Кухарка экономна. — Барышня, воспитываемая ею, растет красавицей и умницей. Одобрить ли ты возникшую у меня дружбу с другой барышней — дивной певицей и пианисткой, сестрой г-жи Харуцкой? Дело вышло так: маленькая девочка, воспитываемая у них, забрела вчера ко мне. Конфеты, оставленные тобой, были уж давно съедены. Какое ж лакомство дать ей? Я спросил: «Надо тебе сахар?» — «Надо». — Я дал несколько кусочков. Она ушла. Через пять минут я сел пить чай; сидел в столовой у открытого окна. Подошла певица и спросила, дал ли я сахар девочке, или она взяла его без позволения. Моим ответом: «Я дал ей» дружба пока кончилась. Советуешь продержаться?

Будь здоровенькая, моя миленькая Лялочка. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1159

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Суббота, 25 июня 1888.

Миленький мой дружочек Оленька,

Пересылаю тебе полученное вчера письмо из Владикавказа, вероятно от наших с тобой племянника и племянниц.

Не вздумаешь ли ты побывать проездом у них, полечиться на Кавказе? Вот это было бы хорошо. Сделать это можно было бы так: написала бы ты Барышеву, чтоб прислал тебе побольше денег, и проехала бы прямо из Липецка на Кавказ; это составило бы экономию рублей в 80 или больше, сравнительно с тем, сколько можно бы тебе употребить нынешним летом на лечение водами. Говорят, что на Кавказских водах теперь много улучшены удобства жизни и лечения. Можно бы тебе, моя миленькая голубочка, исполнить мою просьбу о лечении, как можно более хорошо. Подумай, моя миленькая радость, об этой моей просьбе.

Надобно тебе запастись здоровьем на зиму. Пожалуйста, запасись.

У меня здесь все идет хорошо. Деньги есть. Ты не хочешь, чтоб я посылал тебе списки моих расходов. Не буду посылать.

Зайду ныне к Авдотье Петровне (тетке моего молодого человека) поблагодарить за квас, который прислала она вчера; по случаю этого кваса (очень хорошего) я ел ботвинью с осетриной.

На-днях раза три ходил утром много дальше сада Лебедева. Теперь хочу направить свои похождения в другую сторону, на берег Балды, посмотреть лесок, растущий там. Хожу больше двух часов за один прием, когда успеваю покончить с утренним чаем рано.

Константин Михайлович стал работать опять до 7 часов ве-

чера. Эрмитажный дядя его нанял кассира, потому он освобо-
дился от этой должности.

Третьего дня заезжал Ларион Галактионович. Он теперь се-
кретарем у нового хозяина фирмы Зевеке. Новый хозяин хочет
завести и морские пароходы; поехал в Баку, подготовить там при-
стань, войти в сношения с торговцами керосином и нефтяными
остатками. Ларион Галактионович провожает его. Из Баку моло-
дой Зевеке поедет на Дон, Лар[ион] Гал. будет возвращаться
в Нижний опять Волгой, и мы снова повидаемся. Он и его семей-
ство живут теперь без нужды.

По поводу покупки ковров для Солдатенкова я заходил
к Сергею Мелькумовичу благодарить его за содействие успеш-
ности этого моего коммерческого предприятия. Он и Мелькум
Мартинovich кланяются тебе. Софья Мелькумовна пишет им, что
она и Анна Каспаровна очень довольны своей поездкой в Казань.
Когда они возвратятся, Мелькум Мартинovich снова поедет в Ка-
зань управлять делами Егора М[елькумови]ча во время его по-
ездки на Нижегородскую ярмарку.

Получив от меня после 6 рублей еще рубль, кухарка сказала,
что это, вероятно, дается ей в счет жалованья за следующий (то
есть дошедший теперь до половины) месяц ее службы. Я сказал,
что да. — Утюг починен; деньги на уплату за починку были, го-
ворит она, оставлены ей тобою; потому она и не говорила мне,
что починка сделана. Мои суконные брюки она починила сама:
«Изорвано было не так много, чтобы стоило платить деньги
портному».

Будь здоровенькая, моя миленькая голубочка. Крепко обнимаю
и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялечка, моя
красавица.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Буду писать дня через три, четыре, если не получу раньше
того писем для передачи тебе. Целую тебя еще и еще. Будь здо-
ровенькая.

1160

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Понедельник, 27 июня 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Я вчера получил твое письмо от 23 числа. В Липецке дожди,
холод, и ты простужаешься. Милая моя радость, еще не поздно
тебе исполнить мою просьбу: решишь лечиться Кавказскими во-
дами; прямо из Липецка отправься туда, — напиши Барышеву,
и он немедленно пришлет тебе денег, — в Липецк ли, или во Вла-
дикавказ, в Ессентуки, в Пятигорск, как ты пожелаешь.

Даже в денежном отношении самый важный расчет состоит

в том, чтобы твое здоровье поправилось. Когда оно будет лучше нынешнего, то и наши с тобой денежные дела пойдут лучше. Мы не только будем делать запас для себя, но и будем иметь свободные деньги для удовлетворения общему нашему желанию выказать нашу признательность за денежные услуги, какими пользовались мы в прежнее время.

У меня есть план огромного издания, которое даст большой доход; я хочу заняться переделкою Conversations-Lexicon'a Брокгауза для русской публики: это те 15 больших томов, которые стоят у меня на этажерке. Солдатенков, без сомнения, примет на себя издержки, предоставив мне весь доход, какой будет оставаться по покрытии их. Это было бы дело, которое доставило бы ему в десять раз больше благодарности русской публики, чем все прежние его издания, взятые вместе. А он хлопочет только о том, чтобы заслужить признательность русских образованных людей. Мне стал бы помогать Сашенька. В моей переделке словарь Брокгауза стал бы таков, что следующие (непрерывно выходящие одно за другим) издания немецкого подлинника были бы переделываемы по моему русскому изданию. Имя Солдатенкова стало бы громким во всемирной литературе, потому что французские и английские (или, что то же самое, американские) энциклопедии составляются по «Словарию» Брокгауза.

Условие возможности этого предприятия одно: нужна уверенность, что я могу заниматься ведением его аккуратно изо дня в день, — не то, что помногу часов каждый день, нет — но каждый день; с каждой почтой стали бы приходиться рукописи и корректуры, которые надобно было бы отправлять назад с первой почтой. А такое постоянное спокойствие мыслей, какое нужно для внимательного просмотра рукописей и корректур издания, действительно важного, я могу иметь только при хорошем состоянии нашего с тобой здоровья. Если бы мне удалось приняться за это дело, наша с тобой жизнь была бы обеспечена работой трех лет на все остальные годы. — Моя мысль об издании «Словаря» Брокгауза в русской переделке пусть останется пока между нами. Месяца через полтора я сообщу ее Сашеньке и потом Солдатенкову.

Есть у меня и планы других изданий.

Когда ты будешь пользоваться здоровьем лучше нынешнего, все пойдет у нас хорошо.

Прошу тебя, моя радость, моя красавица Лялечка, отправься на Кавказские воды.

У меня здесь все хорошо.

Посылаю тебе ныне «Ниву», «Ж[ивописное] об[озрение]» и проч. Напиши, не прислать ли июньскую книжку «Русской мысли».

Завтра я посылаю Барышеву еще кусок перевода Вебера. Через месяц кончу десятый том. Около того же времени будет

у меня готова работа, о которой говорили мы с Сашенькой. Это тоже даст деньги.

Я очень много гуляю. Пью зельтерскую воду, хоть это лишнее.

Будь здоровенькая, моя миленькая Лялочка. Крепко обнимаю и тысячи раз целую тебя. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1161

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Среда, 29 июня 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера я получил твое письмо от 25 июня. Ныне утром исполнил данное в нем поручение — взглянуть, что такое дом Аксентьевой, в котором сдавалась квартира. Она уж сдана. Жалеть об этом нечего: домик не вовсе плохой по наружному виду, но и не особенно завидный, одноэтажный, деревянный, довольно ветхий, хоть и подновленный, не лучше, если не хуже того, который стоит прямо против окон нынешней нашей квартиры и в котором живут Цыкваловы.

Вчера заходил к Степанову, говорил ему, что твой крестик позолочен плохо, поддельным под золото медным сплавом; он очень жалел, что был обманут мастером, на добросовестность которого положился, и сказал, что это можно поправить. Если не составит тебе особых хлопот, то перешли мне крестик по почте (это можно сделать так: вложить в обрезки картона какой-нибудь коробочки, чтобы крепкая обложка не давала крестик погнуться, завязать ее ниткой, вложить в письмо и сделать на конверте подпись: ценное,

серебряный крестик с цепочкой, цена — столько-то рублей).

Если не затруднишься прислать, я отдам Степанову позолотить хорошенько, и теперь он заботится об этом внимательно.

Новость: падчерица В. Н. Дурново — почтмейстера — выходит замуж: — Ты думаешь: «не любопытно»; ошибаешься; читай дальше и увидишь: это занимательно.

Третьего дня, отдав на почту письмо к тебе и посылку в Москву Барышеву, иду обратно мимо пристроенной к большому дому почтамта одноэтажной прибавки, окна которой невысоки над тротуаром; увидел в одно из них Владимира Николаевича; поклонились мы, он подошел к окну. — «Что нового, В. Н.? Скоро ли возвратятся ваша супруга с своей дочкой?» (они уехали на лето в Калужскую губернию). — «Падчерица моя не возвратится; она выходит замуж». — «За кого?» — «За молодого человека, который прожил здесь прошлую зиму; он служит помощником капитана на пароходе Александр II; фамилия его Прото-

попов». — «Вот что! Вы, Владимир Николаевич, и Софья Петровна хорошо знаете г. Протопопова?» — «Мало, но достаточно». — «Одобряете эту свадьбу?» — «Мать очень сильно огорчена. А я — прошу, взойдите в комнату, прочтите письмо, которым отвечаю я моей падчерице на уведомление о помолвке». — Я взошел и прочел. Письмо написано так, как написал бы я. Владимир Николаевич стал продолжать разговор; он говорил умно и благородно. Понятно, он прибавил, что его мнение о замужестве падчерицы должно оставаться между нами.

Разумеется, я рассказал ему то, что знаю о г. Протопопове.

Жаль бедную девушку. Избалованная матерью и безграничной любовью вотчима, она могла возбуждать неудовольствие или насмешки излишними ребячествами. Но это мелочи; жаль бедняжку.

«Думаете ли Вы, Владимир Николаевич, что возможно спасти ее?» — «Думаю, что нет; она привыкла ставить на своем. Мать отклоняла ее, сколько могла. Пользы, как видите, не было».

Если будешь писать Марье Александровне, поздравь Антонину Александровну с тем, что счастье быть женой Протопопова не досталось на ее долю.

Отвечаю на вопросы в твоём письме. — Кроме тех полок или багет к окнам, которые были присланы прежде, Платонова не присылала. Прежних прислано четыре.

Здоровье мое совершенно хорошо. Пью зельтерскую воду; очень много гуляю.

Не сомневайся в том, что исполняю эти твои желания.

А ты исполни мою просьбу, поезжай, моя миленькая радость, лечиться Кавказскими водами.

Я получил письмо от Миши с припиской Леночки. Посылаю его тебе. Будешь писать им, скажи, что я благодарю их, собираюсь отвечать; когда соберусь, неизвестно. А пока спроси Леночку, не найдет ли она удовольствия себе стать такой ученой женщиной, от которой все будут бегать в ужасе. А серьезно, я думаю, что она может делать по моей просьбе аккуратные справки в ученых книгах. Как-нибудь соберусь попросить ее об этом.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица Лялочка. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

P. S. Почерки Миши и Леночки сходны до удивительности. Сравни приписку Миши (P. S. «Одновременно...») с ее припиской. — Или постскрипт от имени Миши написан ею? — Целую и целую тебя, моя миленькая Лялочка. Будь здоровенькая.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Пятница, 1 июля 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера я получил твое милое письмо от 27 июня. По твоему желанию, пишу поздравление Юлии Петровне с рождением внучки. Кстати, делаю приписку, в которой спрашиваю мнение Сашеньки о своем намерении предложить Солдатенкову русское издание «Словаря» Брокгауза.

Ты разрешила мне бросить пить зельтерскую воду. Благодарю за увольнение и перестаю пить.

У Константина Михайловича появился три дня тому назад ячмень на глазу. Теперь проходит; но дня еще три я не буду позволять ему писать. На это время пригласил я помогать мне Амвросия Мартиновича (помнишь армянина, служащего в общественной библиотеке, — того, который работал со мною летом третьего года); таким образом, не было замедления моей работе от болезни Конст. Мих. Я сказал этому парнишке, что он должен бросить сад своего дяди, обратившийся в кабак, и притом сквернейший из кабаков. Он стал было возражать, что молва преувеличивает дурное, происходящее в саду его дяди. Я остановил его словами, что я говорю не для того, чтобы вступать в спор, а для того, чтобы сказать свое мнение неопытному юноше, который обязан слушать и подчиниться. Парнишка сказал, что послушается; просил только отсрочки до возвращения дяди, уехавшего на неделю в Баку. Я согласился, что не годится без дяди слагать с себя обязанность, принятую по условию с отъезжающим. — Разумеется, я не стал бы отрывать племянника от дяди, если бы не слышал от тетки и ее мужа — людей, более заслуживших повиновения от воспитанного ими парнишки, что им очень не нравится возня легкомысленного юноши с этим скверным садом. Таким образом, будет одно из двух: или парнишка бросит шляться в дядин сад, или я скажу ему, что не хочу больше работать с ним. — Скажи: быть может (или даже вероятно), тебе лучше понравилось бы, чтобы я отказал парнишке? Теперь можно сделать это, не обижая Авдотью Петровну и Андрея Семеновича, — напротив, заслуживая признательность их попыткой отвлечь племянника их от невраящегося им дела с другим дядею (повидимому, порядочным авантюристом, не чрезмерно совестливым в выборе способов нажитья). Напиши же, не желаешь ли, чтоб я отказал Конст. Мих-чу; в таком случае я возобновлю разговор с ним словами: «Я вам говорил, вы не послушались; прекратим сношения». — Он скажет: «Я послушаюсь»; я скажу: «Поздно; прощайте». — Для того

чтобы повернуть дело так, надобно, разумеется, подождать возвращения дяди (хозяина кабацкого сада) из Баку и дать пройти двум, трем дням после того. К тому времени успеет притти твой ответ. — Итак: отказать парнишке?

«Нравится ли Казань Софье Мелькумовне?» — Отец говорил, что Анна Каспаровна и она очень довольны приемом, какой сделала им жена Егора Мелькумовича, и чрезвычайно хвалят ее; что поэтому жизнь их в Казани приятна. Сам он, проживший год с Егором Мелькумовичем по его женитьбе, тоже был очень доволен молодой женой сына. Егор Мелькумович должен ехать на Нижегородскую ярмарку; отец поедет заведывать его торговлей в Казани во время его отсутствия. Чтобы можно было Мелькуму Мартыновичу ехать в Казань, должны возвратиться домой Анна Каспаровна и Софья Мелькумовна. На-днях, вероятно, приедут. Я ныне зайду спросить о них и напишу тебе в следующий раз.

Дружба моя с превосходной певицей находится пока в ожидании возобновления. Девочка, воспитывающаяся у них, не заходила ко мне после получения сахара, потому что я держу дверь затворенной от нее; а это потому, что сахар мне дороже дружбы с певицей. Мое нерасположение к певице — быть может, чувство соперничества: я сам хорошо пою; но она превосходит меня искусством; это досадно.

Поручения, даваемые Мише правлением железной дороги, серьезные и важны; меня радует, что он заслужил такое доверие; должно думать, что он проложит себе очень хорошую карьеру в администрации железной дороги.

Возобновляю мою просьбу: возьми денег у Барышева и отправляйся лечиться на Кавказ. Пожалуйста, воспользуйся, как должно, нынешним летом, чтобы запастись силами на зиму. Умоляю тебя, моя миленькая радость, позаботься об этом.

Здесь у меня дела идут хорошо. Вчера я обошел кругом сады по загородной стороне Кутума (крайний из них — помнишь? — сад Сергеева). Это составило верст 12, если не 15; прогулка длилась 3 часа с половиной. Возвратившись, я не чувствовал усталости.

Будь здоровенькая, милая моя голубочка. Пожалуйста, решишь ехать на Кавказ. Я еще раз написал бы Барышеву о деньгах; он, впрочем, и без нового моего письма пришлет тебе, сколько хочешь.

Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя, миленькая моя Лялечка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1163

Ю. П. ПЫПИНОЙ

1 июля 1888.

Миленькая Юленька,

Поздравляю Верочку с рождением дочки, Вас с внучкой. Поздравляю Федора Густавовича и Сашеньку. Прошу, пишете Оленьке и мне, каково здоровье малютки, а главное, здоровье матери. Впрочем, Оленька сообщила мне о рождении Вашей внучки таким тоном, что я заключаю: она уведомлена, что обе — и малютка и мать — хороши. Она очень радуется за Вас с Сашенькой и за Верочку с мужем.

Была бы здорова Верочка; в этом вся важность дела для меня. — Замужество ее, кажется, совершенно счастливо; правда?

Но у Вас на руках еще компаньонка и два компаньона; Вы и Сашенька, кажется, совершенно довольны всеми тремя. — Здоровье Сашеньки показалось мне при свиданье нынешним летом гораздо лучше того, каким было в прежний его приезд сюда. Я даже думаю, что теперь оно стало вовсе удовлетворительным. Берегите Вы себя, милочка моя. На Вашем здоровье держится счастье всей Вашей компании. В значительной степени и наше с Оленькой.

Будьте здоровы, миленькая сестрица, и велите всем быть здоровыми. Целую Верочку, Наташу, их братьев. Передайте мое родственное приветствие Федору Густавовичу. То же Машеньке.

На другом полулистке пишу Сашеньке.

Целую Вас, милочка Юленька. Целую Вашу руку. Ваш Н. Ч.

1164

А. Н. ПЫПИНУ

1 июля 1888

Милый Сашенька,

Поздравляю с рождением внучки.

Я сделал извлечение из первого тома писем Добролюбова; думаю, что через неделю кончу выписку извлечений из второго. Пришлешь к тому времени другие материалы, то хорошо; не удосужишься прислать — все равно; ограничусь выписками из писем. Отлагать работу из-за ожидания пополнений не буду; выйдет статья с заглавием вроде «Н. А. Добролюбов по его письмам». — Свою фамилию не выставлю, заменяю ее подписью вроде «Один из знавших Д-ва». В предисловии скажу, что я один из людей, знавших его в Петербурге, что сборник писем передан мне А. Н. Пыпиным. Этого достаточно. В комментариях ограничусь пояснениями, необходимыми для понимания выписок.

Но вот другое дело, о котором пришла мне мысль.

Солдатенков передал мне, что, кончив работу над Вебером, я могу выбрать следующую; он издаст всякую книгу, какую предложу я ему.

Как ты думаешь о переработке «Конверсационс-Лексикона» Брокгауза? — Я рассчитал бы, какую долю целого составляют статьи о Германии; такую же пропорцию должны были бы составлять статьи о России, [в] русском издании; место получилось бы через сокращение Германии до размера Франции (или Англии). Тебя попросил бы я заняться редакцией русской части; остальное редактировал бы я.

Работа очень большая. Расход был бы гораздо больше ста тысяч рублей. За этим Солдатенков не остановился бы. Но я предложу ему такую затрату, только если буду иметь уверенность, что издание даст ему вознаграждение за жертвование, какое делал он (и продолжает делать) для меня.

Как ты думаешь: окупится русское издание Брокгауза? — Я вошел бы в сношения с Брокгаузом, предложил бы ему советы относительно подготовки следующего немецкого издания; надеюсь, получил бы от него всякое желаемое содействие редактированию русского издания (например, он, вероятно, стал бы присылать корректурные листы нового немецкого издания; рисунки — без сомнения — присылал бы).

Расспроси у книгопродавцев, могло ли б окупиться это издание. Например, сколько экземпляров разошлось «Словаря» Березина? По моему расчету, русское издание Брокгауза окупилось бы продажей 3 000 экземпляров; цена была бы, приблизительно, 5 р. том; 15 томов стоили бы 75 р.; скидка книгопродавцам и накладные расходы составили бы 15 р. с полного экзempl.; $3\ 000 \times 60 = 180\ 000$; издание тома в 5 000 экз. обходилось бы 10 000 р. Но я считал цену бумаги, набора, брошировки наугад; узнай точные цены, если находишь, что можно серьезно думать об этом деле.

Целую тебя. Будь здоров. Твой Н. Ч.

1165

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Воскресенье, 3 июля 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Благодарю тебя за письмо от 29 июня, полученное мною вчера. Ты находишь поездку в Петербург более надобной, чем поездка на Кавказские воды. Тебе, разумеется, виднее, нежели мне, что лучше для тебя или что необходимее.

Все твои инструкции я исполняю. Когда кто бывает у меня, я не вожу гостя в свою «свиную закуту», как ты (несправедливо) называешь мою комнату, а сижу с ним в зале.

Журналов толстых не буду больше посылать тебе; пошлю в среду (или как получу) только «Ниву», «Ж[ивописное] об.» и газеты. — Журналы, которые у тебя, поручи какому-нибудь оберкондуктору железной дороги в Липецке, чтоб он сам или через товарища, доезжающего до Саратова, послал с Саратовской станции Вареньке, для передачи Миночке. Это будет меньше хлопот тебе, и подарок кондуктору — например, рубль — не убыток: пересылка по почте стоила бы не дешевле. А мне эти журналы уж не нужны; я прочел их, и довольно: для справок при работе в них нет ничего.

Твоя комната постоянно освежается: когда нет слишком сильного ветра, окно стоит открытое.

Цветы растут хорошо; пустили новые листы.

Тот номер «Сарат. дневника», который не дошел до тебя, вероятно не был прислан мне. У меня завалиться не мог: я немедленно по получении кладу в особый ящик газеты, которые предназначаются для отсылки к тебе. Искал его и во всех бумагах; не оказалось его.

Ныне утром заходил я к Мелькуму Мартиновичу; застал дома и его и Сергея Мелькумовича; передал им поклон от тебя; они, разумеется, кланяются тебе; Анна Каспаровна и Софья Мелькумовна приедут завтра. Обе они очень довольны своей поездкой и, главное, разумеется, родственной любовью к ним жены Егора Мелькумовича (вероятно, в самом деле хорошей молодой женщины; судя по рассказам Мелькума Мартиновича о ней). Через неделю М. М-вич поедет в Казань помогать жене Егора М-вича вести дело во время поездки ее мужа на Нижегородскую ярмарку (она сама уж приучилась сидеть в магазине; знает цены товаров; но бегать по татарам и татаркам, работающим на магазин, конечно, не может).

Я буду очень рад, если Миша найдет возможность навестить меня нынешним летом. Он в этот раз, вероятно, останется доволен моим приемом, потому что показал себя дельным человеком, а не любителем терять время попусту, каким отчасти казался мне до своей женитьбы; поэтому, кроме приятного ему, у меня нет ничего в мыслях о нем и не будет в разговорах с ним.

Я совершенно здоров.

Желаю тебе, моя миленькая радость, такого же здоровья, каким пользуюсь сам.

Третьего дня действительно отправил письмо к Юлии Петровне и Сашеньке, как обещал тебе. Не забыл выразить в нем родственное расположение и мужу Верочки.

Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя, миленькая моя Лялечка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вторник, 5 июля 1888.

Миленький мой дружок Оленька,
Вчера я получил твое письмо от 1 июля. Благодарю за него, моя голубочка.

У меня здесь все идет хорошо. Я совершенно здоров. Желая, чтобы ты, моя миленькая радость, пользовалась таким же здоровьем, как я.

Вперед поздравляю тебя с днем твоего ангела. Будем желать, чтоб этот твой праздник стал для тебя началом хорошего времени.

Хорошо, что рождение малютки у Верочки обошлось для нее благополучно.

Я не утомляю себя работой. Да и не мог бы, если бы хотел: приходится употреблять много времени на дела, служащие развлечением от работы. Например, третьего дня просидел у меня весь вечер Короленко, возвращающийся из Баку. Я, между прочим, просил его заняться по возвращении в Нижний разысканием родных Добролюбова. Составил потом список вопросов, по которым желал бы получить от них точные сведения. Короленко должен был уехать на вчерашнем пароходе. Я пошел вчера под вечер отдать ему список вопросов. Оказалось, что Зевеке (с которым он ездил в Баку) оставляет его здесь до отплытия следующего парохода, поручив ему привести в порядок некоторые дела на здешней своей пристани. Это пройдет четыре дня. Короленко проведет у меня нынешний вечер. Вероятно, проведет и еще вечер. — Мало ли таких развлечений от работы? Кроме того, я употребляю много времени на прогулки.

Я не успел в прошлом письме отвечать тебе на вопрос о хозьяйке. Она еще не присылала известий о себе с Кавказа (она ехала через Москву, останавливалась там, потому и прошло у нее много времени до приезда на Кавказ). Но возвратился вчера из своего паломничества хозяин; сейчас вот заходил ко мне, так что я, начав письмо до его посещения, продолжаю, проводив его. Он заходил так себе, по любезности. Рассказывал о своем путешествии. Он из Палестины проехал в Италию, был в Риме, в Неаполе, видел Помпею. Рассказывал очень неглупо. Кланяется тебе.

Твоя поездка в Петербург будет сама по себе, без сомнения, приятна. Только — как уживешься ты с петербургской погодой? Остерегайся ее, моя милочка, тогда все будет хорошо.

Третьего дня, отдав на почту письмо к тебе, я прошел навестить моих добрых приятельниц Аветовых. Та из них, которая ездила в Москву, возвратилась несколько утешенная и успокои-

ла сестер. Сергей Степанович настолько поправился, что может читать. Но все еще ему нужно такое абсолютное спокойствие, что сестре посоветовали не показываться ему: свидание взволновало б его. Она только смотрела из окна на него, гуляющего по саду. Помещение, содержание, внимательность ухода за больным — все произвело на сестру Сергея Степановича самое отрадное впечатление. Один из врачей, хозяев больницы, живет в ней с своим семейством. И он, и жена его люди добрые, ласковые; жена не скучает быть любезной хозяйкой больных, как своих гостей. Словом, моя приятельница очарована врачом, его женой и обстановкой жизни больного. Может быть, он и поправится.

Анну Каспаровну и Софью Мелькумовну, приехавших вчера, я посещу ныне. Вчера не пошел, рассудив, что им, вероятно, недосуг сидеть со мною. Не пошел и утром ныне, потому что утро Анна Каспаровна проводит в хлопотах по хозяйству. Пойду под вечер, когда она и дочка будут свободны.

Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя, моя красавица Лялочка. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1167

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг, 7 июля 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Поздравляю тебя с наступающим днем твоего ангела. Надеюсь, этот год будет для тебя (потому и для меня) лучше прежних.

Я праздную два дня в году: 11 июля и 15 марта. Только эти два дня в году.

У меня здесь все хорошо.

Вчера заходил к Анне Каспаровне и Софье Мелькумовне; просидел у них довольно долго. Они в восторге от своей поездки. Но подробности отлагаю до следующего письма. Это пусть будет только о моем празднике 11 июля.

Если б я не встретился с тобою, мой милый друг, и если бы ты не нашла, что можешь положиться на мою преданность тебе, моя жизнь была бы тусклой и бездейственной, какою была до встречи с тобою. Если я делал что-нибудь полезное, то всею пользою, какую русское общество получило от моей деятельности, оно обязано тебе. Без твоей дружбы я не напечатал бы ни одной строки; только лежал бы и читал бы, не излагая на бумаге того, что считал честным и полезным. Твои качества поддерживали мою веру в разумность и благородство людей; не подкрепляемый твоей личной разумностью и честностью, я не счи-

тал бы людей способными держать себя, как велит разум и честность; потому не имел бы охоты писать для их пользы (как и не писал до знакомства с тобою).

Это видели люди, имевшие ум понимать мои отношения к тебе, мотивы моей деятельности, источник моей веры в человеческий разум, Некрасов и Добролюбов. Они оба обожали тебя. Обожал тебя даже Некрасов, — да, и он, охладевший к людям, изуверившийся в них, был ободрен к своей поэтической новой деятельности впечатлением, какое производила на него ты. Саша (в поэме, называющейся ее именем), Катерина в «Коробейниках» и княгиня Трубецкая (задуманная им еще при мне) — все это твои портреты. Без знакомства с тобою он не написал бы ни этих дивных поэм, ни много другого, наилучшего в его произведениях.

Это я знаю от него самого.

Я никогда не заводил с ним речи о тебе. Он очень редко начинал говорить о тебе. Но, начав, говорил с энтузиазмом.

Вот каково было твое влияние на русскую литературу, моя милая подруга: половиной деятельности Некрасова, почти всю деятельность Добролюбова и всей моей деятельностью русское общество обязано тебе.

Не княгиня Трубецкая говорит отцу, — ты у Некрасова говоришь русскому обществу:

Далек мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя;
Но сталью я одела грудь;
Гордись, я дочь твоя.

Будь здоровенькая, моя миленькая радость Лялечка. Крепко обнимаю, тысячи, тысячи раз целую тебя. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1168

Ю. П. ПЫПИНОЙ

7 июля 1888.

Милая Юленька,

Я очень обрадован полученным от Вас через Оленьку известием, что Верочка здорова. Поцелуйте ее за меня.

Целоваться, то целоваться. Потрудитесь произвести от моего имени лобызанье и с остальной Вашей компанией. А с Верочкой повторите этот труд.

Оленька собирается проехать из Липецка к Вам в Петербург.

На другом полулитке пишу Сашеньке.

Будьте здоровы Вы, миленькая сестрица, и Верочка, и все милые Вам и нам с Оленькою. Целую Вашу руку. Ваш *Н. Ч.*

1169

А. Н. ПЫПИНУ

7 июля 1888.

Милый Сашенька,

Я получил твое письмо от 29 июня. Благодарю тебя за хлопоты по моим просьбам.

Ты разобрал груды бумаг, в которых находились материалы для биографии Добролюбова. Благодарю тебя за этот труд. Я не ожидал, что ты, обремененный множеством безотлагательных дел, скоро будешь в состоянии сделать это. Потому я и написал тебе, что удовлетворюсь обработкою материалов, какие дает привезенное мне тобой собрание писем Добролюбова. Но когда другие материалы уж найдены тобою, то, разумеется, я буду дожидаться их присылки. Не обременяй себя приведением их в порядок. Мне нужно ж будет перечитывать их все с вниманием и соображать связь между ними. Потому прошу тебя: положи в обертку все их, в том порядке или, вернее сказать, беспорядке, в каком они лежат, и отдай их на почту. Чтобы не пропали, застрахуй подороже — например, в 100 или 200 рублей. И уведомя, когда пошлешь. Работа у меня начата. Я приостановил ее вчера, как получил твое письмо, что найдены другие материалы. Нужны все, какие нашлись. Невозможно определить вперед, какие справки могут оказаться надобными и в каких материалах могут оказаться сведения, соответствующие этим надобностям. Например, отметка месяца и числа на письме, которое само по себе совершенно пусто, может не только показать время, когда писано какое-нибудь другое письмо, важное, но и разъяснить смысл важных намеков, которые иначе остались бы загадочными. — Ты надеешься найти еще другие материалы, разобрав другие груды бумаг. Хорошо; и прошу тебя разобрать другие груды, поискать в них других материалов, когда будешь иметь досуг на это. Но прошу тебя, не отлагай до того времени присылку мне того, что уж найдено; пожалуйста, пришли немедленно все, что нашел; как получишь это мое письмо, так и отправь все на почту. У меня ничего не может пропасть. Со времени твоего отъезда я получил гарантию в этом отношении, гарантию дружескую, самую милую и верную. Итак, жду. Работа у меня шла быстро, и по возобновлении пойдет, надеюсь, точно так же.

Список писем Добролюбова, привезенный тобою, точен, совершенно хорош. Лишь в двух-трех (маловажных местах оказались описки, которые легко поправить без риска ошибиться в догадке) пропущена, например, последняя черточка в слове с н а ч а л а (ло: о вместо а; или написано не по Добролюбовской манере что-нибудь подобное орфографическое). Таким образом, список совершенно заменяет подлинник.

Присылай же найденные материалы. Жду их. Будьте здоровы все. Целую тебя. Твой Н. Ч.

Суббота, 9 июля 1888.

Милый мой дружок Оленька,

Я получил твое милое письмо от 5 июля. Отвечаю на твои вопросы по поводу замены парнишки другим помощником. В виду у меня никого нет. Амвросий Мартинович занят в библиотеке и во время его летних вакаций, как в обыкновенное время, с 10 до 2 и с 5 до 8 (у них идет в вакационный месяц проверка целости книг). — Пальцев уехал помощником провизора в Петровск (на кавказском берегу Каспийского моря). Кстати о нем: он переменялся так, что заслужил мое уважение. Его семейству пришлось плохо: отец не был пьяницей, но очень много пил, и вдруг оказалось, что его физическое и умственное здоровье разрушено: он в несколько дней стал дряхлым полуидиотом, неспособным ни к какой работе; а семейство кормилось его жалованьем, — и очутилось на краю гибели от нищеты. Забота о семействе и о собственной будущности легла на Владимира, моего бывшего помощника, лентяя и ветрогона. Чувство обязанности пересоздало его: он стал серьезен, как пожилой человек, и трудолюбив. Хороший юноша он.

Ларин еще не нашел места для внука моего дяди, но не требует надежды найти. — Разумеется, я совершенно сочувствую твоему предположению сделать этого внука моим помощником, если он способен. Исполню твою мысль, что я должен написать об этом Вареньке. Но прежде я должен узнать, в каком смысле написать ей о том, где он будет жить здесь: на особой квартире или с нами. Скажи ж, как написать ей об этом? Или лучше вот что: перешли Вареньке прилагаемое мое письмо к ней, сделав к нему свои дополнения. — Написал письмо Вареньке; влагаю его в твое; хочешь переслать, перешлешь ей; не захочешь, не посылай; я напишу ей другое, по указанию, какое ты дашь мне.

Константину Михайловичу не буду отказывать, пока не найдется другой помощник. В эту неделю я был доволен им.

Был ныне утром у Мелькумовых. Анна Каспаровна и Софья Мелькумовна не могут нахвалиться женой Егора Мелькумовича: умная она, добрая, скромная, трудолюбивая; к Анне Каспаровне была так почтительна и внимательна, как хорошая родная дочь, к Софье Мелькумовне мила, как любящая родная сестра. — Мелькум Мартинович уехал в Казань заведовать вместе с этой — вероятно, действительно умненькой — молоденькой женщиной делами сына в его отсутствие. Осенью хочет вернуться домой: в прошлую зиму слишком стосковался о жене и дочери. Понятно, что все они кланяются тебе; и я всегда кланяюсь им от тебя.

Третьего дня заходил Карп Лукьяныч узнать твой адрес:

Софья Богдановна прислала ему письмо для отправления к тебе. Она с матерью устроилась близ Самары в одном (самом лучшем) из отделов большого дачного заведения, в котором готовая мебель, хозяйский стол (как в гостинице) и все другое готовое, хозяйское. Я считаю его мнение правдоподобным.

У меня здесь все хорошо. Я совершенно здоров. Будь здоровенькая ты, моя красавица Лялочка. Обнимаю и обнимаю, целую и целую тебя, моя радость. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1171

В. Н. ПЫПИНОЙ

9 июля 1888.

Милый друг Варенька,

Оленька вздумала вызвать сюда ко мне внука моего дяденьки — как фамилия этого юноши: Белявский? — если он может писать под диктовку мне. Мысль прекрасная. Сообрази и, кроме того, сделай на опыте пробу, может ли он писать под диктовку. Для этого нужно: иметь привычку к чтению книг (чтобы понимать отношения между частями длинных периодов и правильно улавлять звуки иностранных собственных имен, из которых многие дики русскому слуху и не могут быть правильно слышаны, если в памяти нет запаса имен, подобных им своим звуковым устройством); надобно порядочно знать грамматику и иметь четкий почерк при быстром письме. Призови своего племянника и продиктуй ему половину или хоть четверть страницы какого-нибудь из томов средневековой истории Вебера (кажется, мой перевод есть у тебя или у Миночки? А если нет, то продиктуй из другой подобной книги). Если окажется написано очень хорошо, то отправь юношу сюда, не дожидаясь моего мнения о достоинстве его писания под диктовку; твое суждение будет и моим. А если тебе покажется, что написано не очень хорошо, но и не дурно, и что трудно тебе решить дело за меня, то пришли мне лист, написанный юношей, и я в самый день получения pošлю тебе ответ, годится ль для меня такой помощник и присылать ли его ко мне.

Целую милого дяденьку. Желаю ему здоровья.

Целую твою руку. Целую тебя, наш милый друг. Будь здорова. Твой *Н. Ч.*

1172

Б. А. МАРКОВИЧУ

12 июля 1888.

Пошляю книги: «Evolution de la morale» и «Evolution du magiage», которые хотели Вы перевести. Я прочел по несколько страниц той и другой. Некоторые заметки на полях этих страниц

служат характеристикой того способа перевода, который кажется мне хорошим; одно из его правил — заботиться о простоте и ясности языка; для этого следует избегать всякого оригинальничания — например, выковывания новых слов; если термин еще не вошел в употребление на русском языке, следует или заменять его перефразистическим ясным, простым выражением, или присоединять объяснение. Другие заметки я сделал, чтобы показать свое суждение о Летурно: он не особенно великий ученый, но с великими притязаниями; в голове у него порядка мало, сумбура много. Это однакож дело второстепенное: книги его покажутся русской публике занимательны, сообщат ей много сведений, поэтому будут полезны ей.

Начните перевод с «Эволюции морали». Она по порядку содержания предшествует другой книге.

Когда переведете печатный лист, отделите его и пришлите с вашим переводом мне, чтоб я мог сообщить Вам заметки о Вашей манере переводить. Имеете ли французский словарь? Я могу прислать.

Надеюсь, работа пойдет у Вас быстро. Прилагаю письмо ко мне от Барышева, заведующего материальной частью изданий Солдатенкова. Возвращать это письмо мне не нужно.

На-днях я виделся с тем лицом, которое заведует беллетристическим отделом «Русской мысли». Говорил с ним о Марье Александровне. Спросите у нее, не имеет ли она чего-нибудь для печати. Если да, попросите ее послать в «Русскую мысль». Редакция состоит из людей далеко не такого ума, как Некрасов и Добролюбов. Но все-таки они люди не глупые, и в частности очень не глуп заведующий беллетристическим отделом; недостаток его — лишь неопытность; но он наверное прочтет присланное Марьей Александровной немедленно, будет читать с готовностью симпатизировать и, быть может, даже сумеет заметить разницу силы таланта Марьи Александровны от некоторых из нынешних беллетристов, считающихся хорошими.

Будьте здоровы. Переводите не теряя времени. Послав мне начало, продолжайте без перерыва перевод; я надеюсь, что мои заметки о Вашем способе переводить будут состоять главным образом в п о х в а л а х.

1173

А. Н. ПЫПИНУ

16 июля 1888.

Милый Сашенька.

Благодарю тебя за неутомимые заботы обо мне. Вчера я получил твое письмо от 8 июля. Отвечаю на него пункт за пунктом.

Ты говоришь, что 6 июля получил мое письмо с извещением

о моем намерении написать статью «Добролюбов по его письмам к родным» и с вопросами об удобоисполнимости мысли издать русскую переделку Конверс[ационс]-Лексикона Брокгауза, и прибавляешь, что «перед тем» — то есть перед 6 июля — ты «послал» мне «письмо», которого я «не мог иметь в виду», когда посылаа тебе письмо, полученное тобою 6 июля.

Я получил твое письмо от 29 июня, когда писал письмо, полученное тобою 6 июля. В этом письме твоим говорилось, что ты «по возвращении» из поездки по Волге «стал разбирать осгальной материал для биографии Добролюбова, «и нашел: во-первых, порядочную массу писем» к нему, «во-вторых, пачку черновых бумаг его, исправленных им рукописей и несколько биографических записок о нем» — в том числе «записку Шемановского, записки Паульсена и Чумикова». — Мое письмо, полученное тобою 6 июля, было ответом собственно на это твое извещение. Я успел отправить ответ в тот же день, как получил твое письмо от 29 июня, содержащее в себе это извещение. Я просил тебя прислать все найденные материалы, не тратя труда и времени на их разборку, потому что мне во всяком случае нужно же будет перечитывать все сплошь и соображать связь между фактами и намеками на факты, — следовательно, разбирать тебе эти бумаги было бы лишним обременением. — Далее в твоём письме от 29 июня говорилось, что ты поищешь, не найдется ли еще каких-нибудь материалов для биографии Добролюбова в других связках бумаг. Я просил тебя сделать это, когда у тебя будет досуг, но не отлагать до того времени отсылку уж найденных — перечисленных выше — материалов, прислать найденные материалы, не теряя времени ни на разборку, ни на пополнение их. — Дальше в твоём письме от 29 июня указывались мне печатные материалы для биографии Д-ва: книжка воспоминаний Самсонова, стихотворения Д-ва в «Русской старине», статья Полевого в «Историч. вестнике» и статьи Скабичевского в «Отеч. записках». — В моем ответе на твое письмо от 29 июня, вероятно, нет упоминания об этих указаниях, потому что я спешил дописывать ответ на извещение о найденных тобою бумагах; я желал отправить ответ на это извещение в тот же день, как получил его, и торопился, чтоб успеть отдать письмо на почту. — Теперь благодарю тебя за те указания и воспользуюсь ими.

После письма от 29 июня я не получал твоих писем до вчерашнего дня, когда получил письмо от 8 июля, на которое отвечаю теперь. — Я подробно изложил содержание твоего письма от 29 июня для того, чтобы ты мог видеть, было ли писано тобою до 8 июля еще какое-нибудь другое письмо.

Ты спрашиваешь, что я хочу делать с материалами для биографии Д-ва. — Когда я отправлял тебе письмо, полученное тобою 6 июля, я уж сделал извлечение из писем Д-ва к родным и дня через три уж была бы готова и отослана в «Русскую мысль»

статья «Н. А. Д-в по письмам его к родным», если бы не получил я от тебя извещения о найденных бумагах. Это извещение заставило меня отложить редактирование статьи до получения бумаг, о присылке которых я просил тебя в письме, полученном тобою 6 июля. Я надеялся найти в этих бумагах некоторые разъяснения для писем Д-ва к родным. Об этой отсрочке отправления статьи в «Р. мысль» я не жалею, по причине, о которой прочтешь дальше. — Но мною (около 24 июня, т. е. до получения твоего извещения о бумагах) уж было отправлено уведомление Гольцеву, что я пошлю ему (т. е. «Русской мысли») статью «Н. А. Д. по письмам к родным».

Я хотел составлять биографию Д-ва в том размере, какой определяется количеством материалов, и печатать ее в «Р. мысли» отдел за отделом; та статья была бы первый обработанный отдел.

Извлечением из этой биографии, которая имела бы довольно небольшой объем, была бы та книжка в 10 или много 12 листов маленького формата, о которой ты говорил мне; — обработка биографии в размере гораздо большем мало замедлила бы исполнение работы для маленькой книжки; а книжка входила в план серии биографий, предположенной Гольцевым, потому обе работы были бы одинаково пригодны для интересов Гольцева.

Но как будет это теперь, я не знаю. Дело вот в чем:

Издатель «Р. мысли», делая прогулку по Волге, доехал до Астрахани; зашел ко мне. Он очень понравился мне: милый человек, добрый, скромный и — чего я не воображал по отзывам о нем, как о пешке, — очень неглупый, очень. Мы просидели с ним весь день, когда он зашел ко мне. На другой день я просидел у него до поздней ночи. На третий день был его отъезд; он опять зашел ко мне, а я проводил его на пароход. — Итак, ты видишь, что отношения мои лично к нему установились хорошие, но буду ли я писать для «Р. мысли» — дело, ставшее очень сомнительным. Сущность его вот в чем: начало первого нашего разговора касалось, разумеется, того, чтоб я присылал статьи в «Р. мысль». Я сказал Вуколу Михайловичу (так зовут моего нового знакомого): «Мои мнения по многим вопросам отличаются от мнений «Р. мысли»; расходиться из-за меня с Гольцевым вам не годится; вы должны предпочитать ваши отношения к нему вашим отношениям ко мне; теми отделами журнала, в которые входили бы мои статьи, заведует он. Есть вопросы, в которых журнал должен иметь свое неизменное мнение; это вопросы о русских делах; я не хочу писать о русских делах, поэтому мои статьи не будут в противоречии с мнениями, которых журнал должен неизменно держаться. Но они часто будут несогласны с статьями, печатаемыми в «Р. мысли» по вопросам чисто ученым, относительно которых журнал не обязан иметь своего неизменного редакционного мнения. Прошу Вас передать это Гольцеву; если

он найдет, что журналу нет дела до того, основательны или нет мои мнения по вопросам, индифферентным для редакционной программы, то я с удовольствием буду присылать статьи в ваш журнал».

Я полагаю, что Гольцев не найдет возможным принять мое сотрудничество. Я не буду в претензии на него, если окажется, что оно не годится для «Р. мысли». Вероятно даже, что он (Гольцев) сохранит доброе расположение ко мне, какое имел до сих пор, и что иной раз мы с ним будем обмениваться любезными письмами, но едва ли захочет Гольцев иметь мои статьи. Прежде он думал, что его и мои понятия о вещах одинаковы; теперь знает, что это не так.

Тебе, вероятно, не понравится поручение, которое дал я Вуколу Михайловичу к Гольцеву. Но все-таки исполни мое желание: пришли все материалы для биографии Добролюбова, какие найдены тобою; не трать времени на разборку их, сложи в обертку и отправь на почту.

Что я буду делать с ними? — Сделаю извлечение и издам отдельной книгой, с моими объяснениями. Это и будет биография.

Гольцев, если захочет, может сделать из нее извлечение для своей серии биографий (это я пишу на случай, если он не захочет иметь со мною литературного дела; а если — чего я не предполагаю — захочет, то сделаю сам извлечение из большой биографии для него).

Тебе не понравится это, по всей вероятности. Нужды нет, исполни мою просьбу.

Может быть, я пишу недостаточно ясно; поясню, когда ты напишешь, какие подробности желаешь знать. Но не отлагай до того времени исполнение моей просьбы.

После пришьешь другие материалы, какие найдешь. А теперь, не отлагая исполнения моей просьбы, пришли, какие имеешь найденными.

Перейду к тому, что успел сделать.

Здесь проездом был брат В. Г. Короленко, Ларион Галактионович. Уехал в Нижний 8 июля. Я дал ему письмо к родным Добролюбова и просил его и через него Владимира Галактионовича помочь мне в получении материалов. Он обещался помочь. Я дал ему список вопросов; если не напишут ответов родные Д-ва, напишут с их слов Ларион Гал. и его брат (они живут в Нижнем, и писатель, и мой личный знакомый, младший брат, человек превосходный).

Я написал Солдатенкову о своем намерении издать материалы для биографии Д-ва с моими объяснениями. Вчера, вместе с письмом от тебя, получил ответ Солд-ва; он берет издание на себя.

Благодарю за извещение о намерении Суворина издать русскую переделку Брокгауза. Твоя правда, двух таких изданий

делать нельзя. Если намерение Суворина твердо, то, разумеется, я отказываюсь от соперничества. Я хотел спросить его, решился ли он издать переделку Брокгауза и в каком виде, размере, сообщить ему для сведения мой план, от которого охотно отказываюсь, если он будет исполняться Сувориним. Но я не знаю и не мог найти его имени и отчества. Сообщил их, и я напишу ему, если это по-твоему лучше; а если по-твоему лучше тебе самому переговорить с ним, прошу: переговори. На случай, если найдешь лучшим переговорить с ним сам, знай, что я не имею ровно никакой неприязни ни лично к Суворину, ни к его газете.

Вукол Михайлович сделал для моего соображения расчет издержек материальной части издания русской переделки Сопv-
Lex'a.

Число экземпляров 5 000

Набор и печать (большой лексиконный формат, на странице
7 000 букв) 35 руб. лист

Я положу, присчитывая мелкие издержки, —

40 р. лист; 60 листов 2 400 р.

Бумага 4 р. стопа, 625 стоп 2 500 р.

4 900 р.

Присчитываю еще 100 р. на мелкие издержки, получаю
5 000 р.

5 000 экз. по 4 р. — 20 000 р.; книгопродавцы требуют, по словам Вукола Мих-вича, 30% уступки; он считает еще 10% на покрытие других расходов продажи; итак, $4 \times 40 = 160$ к. скидки, остается

$5\,000 \times 240 = 12\,000$ выручки издателя.

Солдатенков, без сомнения, довольствовался бы тем, что останется за покрытием расходов издания с хорошею платою за перевод и оригинальные статьи, готов был бы отказаться и от всякой доли выгоды с первого издания, если б оно было только в 5 000 экз. Из этого следует, что на плату за литер. труд можно бы употреблять 6 000 с тома.

Вукол Мих. говорит, что раскупилось бы довольно быстро больше 5 000 экз., при цене 4 р. том (60 р. полный экз.); и если бы печатать 10 000 экз., то, по его словам, авансы издателя не превышали бы 100 000 р. Полная выручка была бы года через два по окончании издания. Она была бы (60 р. за вычетом 40% расходов продажи = 36 р.; с 10 000 экз.) = 360 000 р., а расход издания был бы меньше 260 000 р.

Если Суворин предпринимает издание русской переделки Брокгауза, отказываюсь от своей мысли и желаю ему успеха.

Однако пора кончать письмо.

Целую руку Юленьки. Она звала Оленьку в Пет. Оленька писала мне, что на-днях едет.

Целую Верочку, Наташу и К^о.

Будьте все здоровы.

Жму твою руку. Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1174

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Воскресенье. 17 июля 1888.

Милый мой дружок Оленька,

Вчера я получил твою телеграмму, известившую меня, что ты выезжаешь в Петербург. Ты хорошо сделала, решившись навестить Мишу с Еленой Матвеевной и родных. Надеюсь, ты уберешься от простуды. Не помню адреса квартиры Миши, потому адресую письмо в правление Закавказской дороги.

Прилагаю письмо из Саратова, вероятно от Вареньки. Я не распечатывал его, полагая, что в нем нет ничего требующего, чтоб ответ — без сомнения, ожидаемый от тебя — был немедленно дан мною за тебя. Оно пришло после того, как ты велела мне не писать в Липецк; потому пролежало у меня дней пять. Но когда придет следующее письмо от Вареньки, я распечатаю его, думая, что в нем будет находиться извещение о племяннике Вареньки, Аркаше Матвеевом. Если Варенька пошлет сюда Аркашу, я буду очень рад. Если б оказалось, что теперь он еще не умеет писать как следует, это ничего не значит: в две, в три недели научится. Итак, если Варенька не решится сама, без моего мнения о его пригодности для меня, отправить его сюда, я напишу ей, что прошу ее прислать. Если покажется мне по ее письму, что ей нужны деньги на отправление Аркаши сюда, пошлю их ей; рублей 15 будет, вероятно, достаточно, чтобы сшить ему две, три рубашки и заплатить за проезд. — Ты говоришь, что хочешь поместить его в нашей квартире; я так и полагал; и, разумеется, нахожу, что это твое намерение совершенно хорошо; только не хотел тогда писать Вареньке, как устрою жизнь Аркаши здесь, не имея положительного сведения о том, как хочешь сделать ты.

В письме от 13 июля ты говоришь: «Пожалуй, еще и наш Александр Николаевич приедет на зиму в Астрахань». Если ты в Петербурге увидишь, что это предположение твое о его намерении верно, то извести меня немедленно, чтоб я имел время написать ему, на каких условиях я согласен видеть его живущим здесь. Я написал бы ему вот что:

«В прежние твои приезды сюда, милый друг Саша, мои отношения к тебе были тяжелы для тебя и меня. Чтобы вперед это было иначе, я считаю необходимым следующее:

«По приезде ты поселишься особо от меня; я буду посещать

тебя так часто, как ты захочешь, хоть по три раза в день; но ты у меня бывай не иначе, как по моему приглашению.

«Мало-помалу для тебя и меня разъяснится, можем ли мы — я и ты — речь идет лишь о тебе и обо мне; и собственно, лишь обо мне, обо мне одном — можем ли мы ужиться на одной квартире. Если я найду, что это возможно, я, разумеется, буду рад. Но сильно сомневаюсь в том, что мне покажется возможным ужиться с тобой. Мои и твои привычки так неодинаковы, что не могут допускать согласной жизни в одной квартире. Чтoб она стала возможна, кто-нибудь из нас, я или ты, должен изменить свои привычки. Я сделать этого не могу (между прочим и потому, что мои привычки дают мне кусок хлеба; это привычки человека, занимающегося работой и думающего лишь о работе, без которой нет у него средств кормиться). Итак, о перемене моих привычек не может быть речи. — Найдешь ли надобным ты переменить свои привычки, я не знаю; и сам ты, вероятно, не можешь знать это в настоящее время. В чем состояла бы перемена, которая сделала бы возможным для меня ужиться с тобой в одной квартире? — У нас с тобой были разговоры об этом. Тогда мои желания относительно тебя казались тебе ошибочными. Вероятно, кажутся такими и теперь. Поэтому, я полагаю, что когда ты, пожив здесь несколько времени особо от меня, вновь всмотришься в отношения между тобой и мной, ты увидишь, что тебе надобно будет оставаться живущим особо от меня. Итак: если ты хочешь ехать сюда, чтобы поселиться особо от меня, то приезжай; я в этом случае буду рад твоему приезду; потому что хотя и не имею привычек, которые считаешь ты хорошими, но желаю добра тебе».

Вот в этом роде написал бы я Саше; вероятно, ты найдешь, что это слишком сурово. Выражения я могу смягчить, если ты захочешь; но сущность дела должна, по-моему, остаться та, какую нахожу я теперь необходимой: если Саша приедет сюда, то должен жить отдельно от меня и бывать у меня лишь по моему приглашению; перемениться он едва ли может; а с таким, каков он был в прежние приезды, я не могу ужиться с ним; замечь, что я говорю...

...виде рыбьей головы, показавшуюся мне бронзовой, и бросил ее; кухарка нашедши на полу, подала мне, думая, что эта вещичка золотая; если да, то она может стоить копеек 20, много 30; я сказал кухарке, что покажу вещичку ювелиру и во всяком случае отдам назад ей, потому что вещичка была брошена мною. Еще не успел показать. Об этом пока еще не стоит говорить Платоновой, потому что вещичка, по всей вероятности, не золотая, а бронзовая; она измята, и если бронзовая, то не имеет ровно никакой ценности.

В те дни, когда не писал тебе, я получил твои письма от 9, 12 и 13 июля. Хорошо, что ты провела день твоих именин весело.

Пусть это будет предзнаменованием, что весь год будет для тебя лучше прежнего.

Целую Мишу и Леночку.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя красавица Лялечка. — Я совершенно здоров. Все у меня идет хорошо. — Целую твои ручки и ножки. Будь здоровенькая, моя миленькая радость. Целую и целую тебя. Твой Н. Ч.

1175

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Среда. 20 июля 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера я получил твою телеграмму, говорящую, что ты благополучно приехала в Петербург и что ты и все наши там здоровы. Надеюсь, что ты убережешься от простуды.

Благодарю тебя за извещение о приезде и за прежнюю телеграмму, извещавшую о твоём выезде из Липецка. Получив ее в тот же день, как она была послана, я на следующее утро (в воскресенье, 17 числа) отправил письмо тебе на имя Миши по адресу: «Правление Закавказской жел. дороги», как адресую и это письмо.

Я совершенно здоров. У меня здесь все идет хорошо.

Исполняя твое приказание, поставил я в своей комнате купленную тобою железную кровать. Она оказалась удобна. Я сплю на ней. Диван и кушетку вынес из своей комнаты.

В письме 17-го числа я говорил тебе, что нашлась в купленной тобою конторке крошечная вещичка в фигуре рыбьей головы, что я принял ее за бронзовую и бросил, потом рассудил показать ювелиру. Вчера показал; вышло, что она золотая; в ней одна шестнадцатая часть золотника; золото ее имеет 56 пробу; по расчету нынешней цены золота, вещичка стоит около 28 коп. Вероятно, ты в ответе на мое письмо от 17 числа уж объяснила мне, как поступить с нею; а если еще нет, то напиши.

Но вот тебе новость. Вчера сестры Аветова прислали пригласить меня зайти к ним. Прихожу; они в восторге говорят: «Брат написал нам, и даже не два, три слова, а много строк; излагает свои мысли в порядке, слова написаны без ошибок» (по-армянски, разумеется). Порадовался и я с ними; порадуешься и ты, потому что он в самом деле любил меня и уважал тебя. — Две из сестер (средняя, распорядившаяся всем в доме и в денежных делах, по доверию брата и обеих сестер к ее рассудительности, и уж ездившая в Москву; и младшая) хотят ехать к брату в понедельник или вторник. Я написал об этом телеграмму от имени средней сестры и отнес, по их просьбе, на телеграф.

Советовал средней сестре жить в Москве, сколько позволят ей здешние денежные дела; советовал младшей оставаться в Москве по отъезде средней; говорил, что приятной знакомой для них будет Федосья Мелькумовна. Спрошу у Софьи Мелькумовны ее адрес и отдам им. Они хотят, чтоб я написал Сергею Степановичу; письмо мое хотят взять с собою; разумеется, я сказал, что с удовольствием напишу.

Вчера я получил письмо от Сашеньки. Благодарю его за исполнение моей просьбы о присылке материалов для биографии Добролюбова. Дня через два, три, получу их с почты, напишу ему.

Целую Леночку и Мишу.

Целую всех родных.

Будь здоровенькая, моя милая голубочка. Обо мне не беспокойся. Я говорю по чистой правде, что совершенно здоров и что все здесь у меня идет хорошо.

Крепко обнимаю тебя, моя красавица Лялечка, целую твои глазки, целую и целую тебя. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Р. S. Вчера же получил от Вареньки письмо о ее племяннике Аркаше. Прилагаю его. Поблагодарю ее за заботы обо мне, скажу, что хлопотать о приискании писца для меня в Саратове не нужно, найду здесь, когда понадобится, и что рад поступлению Аркаши в аптеку.

Целую и целую тебя, моя миленькая радость Лялечка.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1176

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Суббота. 23 июля 1888.

Миленький дружок мой Оленька,

Каково-то поживаешь ты? Мишей и Леночкой ты, без сомнения, довольна; и Сашенькой, Юлией Петровной, Верочкой тоже, я надеюсь.

Я получил еще письмо от Вареньки. Прилагаю его и присланный при нем образец почерка юноши, желающего ехать ко мне.

Мое решение зависит, разумеется, от того, как решишь ты.

Юноша, о котором пишет Варенька, — один из сыновей Ивана Николаевича и Натальи Никитишны. Ты, вероятно, знаешь его. Помнится, ты говорила об одном из сыновей Ив. Н-вича, что он много пьет или сильно дурачится иным способом. Это, вероятно, не тот, о котором пишет Варенька. Этот, ве-

роятно, скромный юноша. Но нравится ль он тебе? В этом главное дело.

Я приведу тебе весь мой ответ Вареньке.

«Ты так заботишься об удовлетворении моих просьб, что не знаю, как и благодарить тебя. — Я очень рад, что Аркаша Матвеев нашел себе место в аптеке; это порядочная карьера. — Виноградов имеет хороший почерк и знает грамматику; потому годится для меня. Надобно ли мне будет вызвать его сюда, я теперь еще не умею решить; увижу недели через две, тогда напишу тебе. Никаких других кандидатов в помощники мне не ищи».

Дальше обыкновенные мои приветствия дяденьке, Кате, Вареньке.

Я написал, что решу сам; о том, что спрашиваю твоего решения, я не захотел упомянуть; это потому, что ты, может быть, решишь не вызывать Петра Виноградова; в таком случае отказ будет от меня, а не от тебя. А если ты найдешь, что должно вызвать Петра В[иногра]дова, то я напишу Вареньке, что советовался с тобой и вызываю его по твоему совету.

Скромный ли он и трудолюбивый ли? И вообще удобно ли было бы, по твоему мнению, вызвать его?

Я прибавил в ответе Вареньке, чтоб она не искала других кандидатов; это потому, что юношей, могущих хорошо писать под диктовку, много и здесь. Если не попадались они мне в прежние случаи надобности, то лишь потому, что я не искал, как следовало. Их много, юношей, пишущих хорошо и нуждающихся в работе.

Третьего дня заехал ко мне Ададуров, занимающий важную должность по управлению Грязе-Царицынской дорогой. Он был здесь для того, чтобы сделать опыт найма персиян для нагрузки и разгрузки товаров на железной дороге. Кончил дело в тот же день и вечером уехал. Ко мне он заехал лишь для того, чтобы познакомиться; разумеется, это мило с его стороны; потому я рассудил, что должен в отплату за его любезность пойти на пароход, чтобы проводить его. Он был с дочкой, семилетней девочкой. Оказалось, что у нас еще остается кофе, я предложил им; они пили. — Когда я пришел на пароход, Михаилу Евграфовичу (так зовут этого Ададурова) надо было разыскивать по пристани нанятых им персиян, толковать с агентом о их отправлении и т. д. Это было в порте; ему надобно было ходить по всему длинному берегу этой пристани; не таскать же было девочку с собой; мы решили, что она останется на пароходе, и я буду стеречь ее. Раза три она приходила в тревогу за судьбу невозвращающегося отца; но общими усилиями наших соображений мы с ней успокаивались, и надежды наши оправдались: отец ее возвратился жив, цел и здоров.

Целую Мишу, Леночку и всех наших. — Я совершенно здоров. Все у меня здесь идет хорошо. Будь здоровенькая, моя ми-

ленькая красавица Лялечка. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя.

Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1177

И. И. БАРЫШЕВУ

[23 июля 1888.]

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Я получил посланные мне Вами от 16 июля сто рублей (100 р.); жена уведомила меня о получении денег, посланных Вами ей несколькими днями раньше того в Липецк. Душевно благодарю Вас за исполнение моих и ее просьб.

С нынешней почтой я отправил на Ваше имя окончание перевода X тома «Истории» Вебера и начало моего предисловия.

(Предисловия послано только два первые листка; разумеется, лишь для того, чтобы типография видела, что я не замедлю присылкою всего остального.)

Кончить предисловие и отправить его и оглавление тома предполагаю в следующую субботу, 30 июля.

Прошу Вас, Иван Ильич, исполнить Ваше обещание и написать мне о Вас самом, как я выражал Вам, поверьте, искреннее желание этого.

С глубокой признательностью Вам за Ваше доброе расположение

имею честь быть

Вашим покорнейшим слугой *Н. Чернышевский.*

1178

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вторник, 26 июля 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Я получил первое твое письмо из Петербурга. Хорошо, что ты здорова и нашла детей здоровыми. Я очень доволен ими за то, что они обрадовались твоему приезду. Для меня будет очень приятно, если Миша при поездке в Батум и Баку найдет возможность навестить меня. В случае его приезда я предложу ему устроиться в гостях у нас так, как ты пишешь мне, и скажу, чтобы обедом и вообще едой он распорядился по своему вкусу. Теперь, когда он оказался дельным человеком, я стал доволен им и кроме приятного он не услышит от меня ничего. Поручения, которые дает ему правление железной дороги, доказывают, что он считается полезным и надежным человеком. Я думаю, что

будущность его и Леночки теперь обеспечена. — Вместе с письмом от тебя пришло письмо от него, написанное в тот же день, но несколькими часами раньше. Он говорит, что, может быть, заедет сюда в первых числах августа, что ты чувствуешь себя, как ему и Леночке показалось, довольно хорошо и что твой приезд был очень приятным сюрпризом для них.

Числа десятого, когда у меня стали подходить к концу деньги, я попросил, чтобы мне прислали сто рублей. Больше я не попросил, потому что хозяйке при ее отъезде было сказано мною, что в июле я не дам денег вперед; мне показалось, что она была даже довольна этой отсрочкой платежа, не надеясь на целостность денег, попадающих в руки сына или мужа. Когда муж ее приехал, хотел сказать ему, что отдам деньги 18 числа вперед за месяц; но передумал, рассудив, что это могло бы не понравиться хозяйке.

Деньги Саше на июль и август были посланы по моей просьбе из Москвы и получены моим братом Сашенькою в конце июня; впрочем, вероятно, ты уж знаешь это, повидавшись с родными. Хорошо ли показалось тебе здоровье Юлии Петровны? Напиши и о сестрах, и о Сереже, о Виктории Ивановне, если увидишь их.

Я перенес в свою комнату качалку и временным образом обделал ее сам: подвязал сложенное в несколько раз оберточное, очень крепкое полотно — и вышло сиденье; положил на полотно один из маленьких ковриков, положенных тобою за ненадобностью на сундук с бельем, — и сиденье стало элегантно, так что качалка могла бы с честью для себя и меня фигурировать на промышленной выставке. Большую часть того времени, которое проводил я в лежанье на кровати, провожу я теперь в сиденье на произведении моего искусства. Конторку, купленную тобою, я тоже перенес, наконец, в мою комнату; она оказалась удобною для письма мне.

Если Леночка и Миша еще не уехали, то целую их; и поздравляю Леночку вперед со славою хорошей певицы, а Мишу с честью быть супругом — если не примадонны, то хоть секундантны. А в самом деле хорошо, что она имеет недурной голос и любит пение. Это у нее, вероятно, наследственное от меня по душевному родству, — или ты сохраняешь ошибочное мнение, что мой голос и вокальное искусство не вполне хороши?

Я совершенно здоров. Все у меня идет прекрасно.

Целую Мишу и Леночку.

Крепко обнимаю тебя, моя миленькая красавица Лялечка, и целую тысячи, тысячи раз. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Пятница. 29 июля 1888.

Миленький мой дружок Оленька,
Каково-то поживаешь ты?

Через час после того, как отдал я на почту мое прежнее письмо к тебе, влетела в нашу квартиру Марья Александровна и вошла вслед за нею Ольга Александровна (кажется, так зовут старшую сестру?), — Приехали гости — то — как быть — надобно примириться с фактом. Впрочем что ж, никакой беды, кроме некоторой скуки, нет мне от него, рассудил я, и последующее препровождение времени оправдало эту мою успокоительную мысль. Кухарка рассудила, что можно прикупить копеек на 20 мяса, и приготовила угощение. Гости пообедали со мною, отправились к каким-то своим знакомым; возвратившись вечером, объявили, что завтра утром хотят побывать на Больших Исадах, и наша кухарка будет руководить их в этой экскурсии, что поэтому они будут ночевать у нас. Я рассудил, что мне будет от этого убыток в 10 коп. на покупку булок к утреннему чаю гостям; мужественно примирился с неотвратимым ущербом (он вышел, впрочем, больше предположенного мною: булок понадобилось на 15 коп.). Наши гости улеглись в зале на диванах. Когда я проснулся, они уж давно отправились на Исады. Я пил чай без них. Возвратившись и напившись чаю, они отправились на дачу к Виддиновым, обедали там, возвратились поздно вечером, так что уж пора было им отправляться на пароход, забрали купленные на Исадах фрукты и отправились. Через четверть часа пошел я на пароход, показать своим провожанием, что был рад их приезду (и еще более рад их отъезду? — нет, об этом я умолчал перед ними). Посидел четверть часа с ними на пароходе и пошел домой.

Они привезли в подарок тебе сливочного масла и малинового варенья. Масло надобно будет съесть мне, чтоб оно не пропало, испортившись. Варенье поставлено на погреб, ждать тебя. — Я рассудил, что должен за подарок отплатить подарком; проходя мимо фруктовых лавок, увидел, что уж появился виноград; я взял его на 90 коп.; это вышло 14 фунтов, когда я попросил взвесить.

Марья Александровна показала мне менее хилою, чем какой была в прошлый приезд. Ольга Алекс-вна показала здоровой. — Их привозил и отвез, разумеется, Рынкевич. Они усердно кланяются тебе, наговорили много, много о своей благодарности тебе. Рынкевич просил передать тебе его глубокое уважение.

Миша прислал мне 8-й том Вебера, — последний из тех, указатель для которых составляли он и Леночка. Итак, эта работа

вчера кончена у них. Надеюсь, она будет хороша. Благодарю их за нее.

Вместе с Вебером присланы Мишей материалы для биографии Добролюбова. Миша хорошо сделал, что взял на себя отправление их. Благодарю его за это. Пишу и его дяде Александру Николаевичу благодарность за передачу этих писем и бумаг мне.

Я совершенно здоров. Все у меня здесь идет хорошо.

Целую Леночку и Мишу.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица Лялочка. Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

А. Н. ПЫПИНУ

29 июля 1888.

Милый Сашенька,

Благодарю тебя за присылку писем родных и друзей Добролюбова и бумаг его. Получив их третьего дня, я к нынешнему утру уж просмотрел все их и принялся за обработку находящихся в них сведений.

Я сделал тебе лишнее беспокойство слишком эмфатической просьбой о скорейшей присылке их; разумеется, и без того ты прислал бы скоро; потому торопить тебя было напрасно. Прошу, прости меня за то, что для ускорения присылки двумя, тремя днями я нерассудительно ввел тебя в надобность потратить много времени на поездки с дачи в город собственно для исполнения моей просьбы.

Извини также и то, что я перепутал твои слова о серии биографий с именем Гольцева, который, как по твоему письму увидел я, не участвует в этом предприятии.

Постараюсь теперь распутать мою ошибку, поставившую тебя в неприятное положение. Ты отвечал издателям серии биографий, что я взялся написать для их издания биографию Д-ва. Ты имел полное право отвечать им так; я обязан сдержать обещание, которое ты дал на основании моих слов тебе. Я и не думал изменять обещанию, данному тобою — то есть мною через тебя; я не думал не признавать его своим обещанием и оставался (как остаюсь) намерен исполнить его. — Разумеется, я не умею припомнить, какими именно выражениями в письме от 16 июля произвел я путаницу, за неприятность которой для тебя прошу у тебя извинения. Потому вновь изложу тогдашние мои соображения, предуведомляя тебя, что если перемены, которые делаю теперь в них, покажутся тебе не удовлетворяющими надобностям дела, то я принимаю к исполнению переделку в моем плане, какую найдешь ты нужной и передашь мне.

Я полагал, что требуется книжка объемом от 10 до 12 печатн. листов в малую осьмушку, то есть листов в 7 или 8 журнального формата. Это не могло быть не чем иным, как извлечением из работы гораздо большего размера. Если предполагается издавать такие книжки о других русских писателях, напр. о Белинском или Пушкине, то возможность порядочных, не пустословных биографий их в таком размере основывается на существовании их биографий, написанных в гораздо больших размерах. Притом количество черновой работы для составления биографии в маленьком размере почти такое же, какое нужно для полного изложения результатов разборки материалов. А я не мог бы употребить много времени для работы, которая была бы почти или совершенно безденежной, какую была бы маленькая книжка. — Потому я хотел сделать так: печатать полное изложение биографических материалов отдел за отделом в «Русской мысли», а когда все отделы были бы готовы к составлению извлечения из них, то и составить маленькую биографию (половина ее была бы извлечением из отделов большой биографии, уж напечатанных в «Р. мысли», а другая из отделов, которые оставались бы ожидающими более или менее долгое время обработки для печати по своей сравнительной неполноте в цельном своем плане; для извлечения они были бы достаточно полны, но для полной биографии в них недоставало бы некоторых подробностей, и они лежали б у меня в ожидании результатов моих справок о подробностях).

Так я думал сделать. Но свиданье с Вуколом Михайловичем обнаружило для меня ту странность в понятиях Гольцева, которая казалась мне совершенно неуместной в голове русского журналиста. Ты в письме от 21 июня говоришь:

«Твои заключения о невозможности работать в «Русской мысли» кажутся мне преувеличенными. Если ты не касаешься текущих вопросов и желаешь писать только вещи чисто научные, то что же может мешать журналу помещать их? Едва ли какое издание может да и едва ли должно ставить себе долгом» («такую» — об этом «такую» после; ставить себе долгом) «крайнюю исключительность» («какую» и т. д., об этом после; исключительность) «и особливо у нас-то».

Эти твои мысли, по-моему, правильны; сколько я видел неглупых редакторов, начиная хоть бы даже с Краевского, не считавшегося человеком гениального ума, все держались таких понятий, какие излагаешь ты в переписанных мною твоих строках; я полагал, что и Гольцев держится их (как держится, например, Стасюлевич, хотя его и называют, по всей справедливости, человеком очень узких понятий, педантичным, тяжелым). Потому я был несколько удивлен, узнав при свиданье с Вуколом Михайловичем, что Гольцев имеет совершенно иные понятия. Если б я узнал это только из слов В. М-ча, я не поверил бы тому, что

слышу от него; подумал бы: «правда, он человек образованный и очень неглупый, но все-таки не особенно глубоко проник в сокровищницу учености, потому, вероятно, не понял рассуждений Гольцева и переврал». Но — какое тут «не понял и переврал»! — он привез мне письмо Гольцева. Если любопытно тебе, я перешлю это письмо. Простяк этот Гольцев милейший, но чрезмерно наивный простяк! Впрочем, сам же я и виноват в «заблуждениях его ума» (как говорилось о подобных наивностях в старину); это смешная история: я сбил его с толку предыдущим моим любезным письмом. Прочитав его письмо, я посмеялся, сказал В. М-чу, что отвечать письменно Гольцеву не хочу, потому что написал бы резко, огорчил бы его, а лучше пусть В. М-вич на словах передаст ему мой ответ — и я изложил В. М-у для изустной передачи Гольцеву те самые мысли, которые нашел потом в твоём письме и переписал здесь. Возвращаюсь к этим мыслям.

«Едва ли какое издание... должно ставить себе долгом такую крайнюю исключительность, какую ты предполагаешь» (в редакции «Р. мысли»).

Я и не предполагал; но Гольцев потрудился объяснить мне, что я ошибался, не предполагая ее в нем. Забавный простяк он, милый.

Итак, свиданье с В. Мих-чем заставило меня принять к сведению, что едва ли могут быть отправляемы мною в «Р. мысль» какие-нибудь статьи.

Несколько раньше того я спросил у Солдатенкова, согласится ли он напечатать письма Д-ва в извлечении и с прибавкой пояснительных замечаний. Он отвечал, что согласен. Это было бы не то, что предполагал я писать для «Р. мысли»; в нее хотел я послать свой рассказ с выписками из писем Д-ва; выписки составляли бы лишь третью или четвертую долю статей, и в них вошла бы лишь одна десятая всего объема писем Добролюбова; а в издании Солд-ва были бы письма Д-ва в цельном виде или в сокращении, с отметками о содержании выпущенных мест, с перечислением всех тех мелких записочек, в которых нет никакого содержания, кроме родственных или дружеских приветствий и пожеланий.

Теперь, когда я отбросил мысль о печатании биографии отдел за отделом в виде журнальных статей, я соединяю в одну книгу и мой биографический рассказ и издание текста писем. Те письма и части писем, которые не будут вставлены в мой рассказ, будут напечатаны в приложениях; там же будет полное перечисление тех записочек, которые вовсе не имеют содержания, сколько-нибудь интересного для публики (это будет опись бумаг, предназначенная для пособия трудам будущего биографа и для облегчения справок библиографам, которые стали бы издавать, например, письма Гончарова или переписку князей и княгинь Трубецких и т. п.).

Все это и все другое, что вздумалось бы мне напечатать, согласен издать Солдатенков. Но, разумеется, он вовсе не нуждается издавать это ли, другое ли что-нибудь, придумываемое мною. Он хочет только оказывать денежную помощь мне с убытком для себя. И чем меньше для меня надобности в его помощи, тем лучше для него. Правда, он очень богат; но все-таки тысячи и тысячи и опять тысячи рублей — не совсем легкий налог на доходы богача, хотя бы и одного из первых в Москве (у него считают более 500 000 дохода; цифра, вероятно, преувеличенная молвой).

Потому, если твои приятели не обременяются взять на себя издание, которое готов взять на себя Солд-в, то для меня тем приятнее.

Объем издания не могу я определить. Думаю, это будет два тома, каждый с книжку «Вестн. Евр.», но, пожалуй, выйдет и больше.

Распорядись же по соглашению с твоими приятелями, как хочешь.

Без постоянного получения денег не могу я обходиться, это понятно; в запасе у меня нет их; приготовить издание биографии — это потребует три месяца, а вероятно, больше; если делать урывками от работы над переводом Вебера, затянется пропорционально этим урывкам перевод, и результат тот же самый — недостача денег. Но деньги — вопрос второстепенный, потому что Солдатенков, вероятно, не откажется дать мне несколько денег вперед. Гораздо важнее то, что Солд-ков не ставит мне никаких условий ни о размере, ни о содержании посылаемого мною для издания ему. И ты поймешь, что, при всем моем уважении к Гольцеву ли, к Момсену ли, к издателю ли Times'a, или Daily News, или к Брокгаузу, или к кому бы то ни было, я не намерен ставить кого бы то ни было из этих почтенных людей судьями того, как и в каком объеме писать мне. Пусть твои приятели положатся на мои собственные соображения; иначе им нельзя будет иметь дела со мною.

Я полагаю, они откажутся иметь дело со мною. Если тебе это было бы неприятно, то из уважения к тебе (уважение к тебе — совсем иное дело, дело личного доверия и личной любви) предоставляю тебе условиться с ними о чем угодно и как угодно тебе. Я исполняю твой договор, как заключенный мною самим.

Хотел ныне же написать Суворину о Брокгаузе; но не успел. Напишу в понедельник или среду. Целую Юленьку и ваших птенцов. Целую тебя. Твой Н. Ч.

P. S. Кажется, последние строки вышли недостаточно ясны; повторю яснее: хотят твои приятели, пусть издадут биографию; не хотят, то сделаю для них извлечение из нее, если им угодно.

Воскресенье. 31 июля 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Благодарю тебя за письмо от 25 июля. Ты получила «два письма» от меня; — какие? Те, которые были мной адресованы в правление Закавказской железной дороги? Если не те, а писанные с адресом «Английский проспект», то справься в правлении жел. дороги; были письма, адресованные мною туда, по неизвестно адреса квартиры Миши.

Сын Ивана Николаевича, вызвавшийся приехать сюда, не нравится тебе, говоришь ты. Значит, это дело кончено. Нынче же посылаю Вареньке ответ, что сын Ив. Ник-ча не нужен мне, потому что у меня есть помощник. Пишу ей так:

«Молодой человек, очень нуждающийся в деньгах, занимается теперь работой у меня. Отказать ему я не могу; потому, к сожалению, должен отклонить предложение сына Ивана Ни-ча».

О твоём мнении я не упоминаю; мне не для чего впутывать твоё имя в отказ этому юноше. Но, признаться, я очень рад, что ты решила отказать ему; тащить юношу сюда из родного города значило бы принимать на себя слишком много хлопот. Я не желал бы приглашать и самого хорошего юношу из другого города. Достаточно нуждающихся в работе и здесь; принимая здешнего в помощники работы, не берешь на себя ответственности за его дальнейшую карьеру; это легче. Другое дело было бы взять Аркашу Матвеева, потому что ты желала заботиться о нем; я приглашал его не потому, что нам с тобою была надобность в нем, а только потому, что ты желала заботиться о нем. Впрочем, нечего жалеть, что он нашел себе другое дело: оно со временем обеспечит ему кусок хлеба, очень хороший.

Я нимало не огорчаюсь тем, что Платонова оставила конторку за собой и отдала тебе ее только на сбережение. Моя прежняя конторка менее красива, но более удобна для работы. Я поставлю конторку Платоновой в угол и покрою ее чем-нибудь, чтоб она оставалась неприкосновенной; карандашей, находившихся в ней, я еще не начинал употреблять; останутся целы и они; я положил обратно в нее и их и фигурку рыбьей головки, найденную в ней. Все останется цело до возвращения Платоновой. — Итак, если увидишься с Платоновой и разговор пойдет с ее стороны так, что тебе нужно будет сказать, необходима ли мне ее конторка, ты скажи, что моя прежняя удобнее для меня.

Сашеньке я написал третьего дня благодарность за присылку рукописей.

Я спрашивал тебя, имеет ли наш Саша намерение приехать сюда, и сообщил на твою оценку проект письма, которое я хотел бы отправить к нему в том случае, если он имеет это намерение. Получила ль ты это мое письмо? Оно было адресовано, вероятно, не в квартиру Миши, а в правление Закавказской дороги. Если еще не получила его, возьми там. Прошу тебя, миленькая моя голубочка, написать мне, одобряешь ли ты мой проект письма, которое я хочу послать Саше, если у него есть мысль приехать сюда. Я совершенно здоров. Все у меня здесь идет хорошо.

Целую Леночку, Мишу и родных.

Будь здоровенькая, моя миленькая Лялочка.

Третьего дня Барышев спрашивал у меня телеграммой твой петербургский адрес. Я тотчас же телеграфировал ему его. Это было поздно вечером, так что он получил мою телеграмму, вероятно, только 30 июля утром. Получила ль ты от него деньги теперь в Петербурге? (О том, что получила в Липецке, ты писала.)

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя милая Лялочка. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1182

В. Н. ПЫПИНОЙ

31 июля 1888.

Милая Варенька,

Я предполагал, что обстоятельства помешают юноше, помогающему мне в работе, продолжать это занятие. Но это опасение оказалось напрасным. Отказать ему в работе я не могу, потому что она необходима ему, а я доволен его усердием и способностью к ней. Потому должен, к сожалению, отклонить предложение сына Ивана Николаевича; место моего помощника занято и не станет свободным. Поблаговари сына Ивана Николаевича и скажи, что я не могу дать ему работы, и потому пусть он отбросит мысль ехать сюда.

Целую милого дяденьку; целую всех наших в Саратове. — Целую твою руку, мой милый друг.

Оленька пишет из Петербурга, что все наши там здоровы. — Целую тебя. Твой Н. Ч.

1183

А. С. СУВОРИНУ

5 авг[уста 1888].

Милостивый государь Алексей Сергеевич,

Я задумал издать русскую переделку Брокгаузова Convers.-Lexicon'a.

Но услышал, что Вы имеете такое же намерение. Правда ли? Если да, то охотно отказываюсь от моей мысли об этом предприятии, потому что Вы имеете больше удобства хорошо исполнить его, чем я, и желаю Вам полного успеха. Прошу Вас об ответе.

С истинным уважением и проч.

1184

И. И. БАРЫШЕВУ

7 и 8 августа 1888 г.

Добрый друг Иван Ильич,

Вы говорите, что у Вас постоянно были мысли о больших и серьезных рассказах, но оставались не исполнены по недостатку уверенности в своих силах; что теперь у Вас есть идея бытового романа, в котором хотелось бы Вам изобразить два поколения хорошо известного Вам класса общества, но что этот план остается без исполнения все по той же причине. Мне кажется, что сомнение, удерживающее Вас от работ подобного рода, едва ли основательно. Я думаю, что Вы хорошо сделаете, если последуете совету Вашей супруги, «настаивающей» на том, чтобы Вы «отдались серьезной» литературной «работе». Изложу Вам соображения, по которым разделяю надежду Вашей супруги, что эта работа пойдет у Вас удовлетворительно.

Талант у Вас есть; та образованность, которая нужна беллетристу, есть; Вы хотите написать роман из быта, хорошо знакомого Вам; этого достаточно для удовлетворительного испытания задуманной Вами работы. Будет ли Ваш роман очень хорош, нельзя знать наперед ни Вам самим, ни самым близким Вашим знакомым; вопросы такого рода разрешаются только чтением уж написанного произведения; но то, что он будет подручен, я считаю более чем вероятным. Чтобы точнее определить вероятное, по моему мнению, достоинство Вашего будущего романа, беру для сравнения рассказы Чехова, помещенные в «Северном вестнике» нынешнего года. Я читал их. Вы находите, что они достаточно хороши. Я полагаю, что ваш роман будет лучше их. У вас больше таланта, чем у Чехова, и знаний, нужных беллетристу, не меньше, чем у него, — быть может, даже больше.

Но как же Вам равнять себя по образованности с литераторами, имеющими университетские дипломы? Эти дипломы не относятся к делу. Университет не дает образованности; в нем приобретаются только технические знания по специальным ремеслам, отличающимся от собственно так называемых ремесл лишь своею почетностью во мнении общества. Серьезное, дельное значение университет имеет лишь как совокупность техни-

ческих мастерских. Сапожному ремеслу очень трудно выучиться иначе, как в сапожной мастерской, под непрерывным руководством опытного мастера. Землепашескому делу совершенно невозможно научиться иначе, как в его мастерской, составляющей передвижное собрание орудий труда, работая в поле этими орудиями под руководством опытного мастера, называемого земледельцем. Точно так же как земледелию, медицинскому ремеслу (считающемуся почетным и вследствие того называемому не ремеслом, а профессиею) нельзя выучиться иначе, как в передвижной мастерской этого ремесла, переносимой из анатомического театра в разные отделения клинических больниц и производящей свои работы, по многосложности их, руками разных мастеров (как и в мастерстве изготовления карманных часов обучение человека, желающего стать хорошим мастером по всем отраслям его, производится не одним мастером, а несколькими); а химии — хоть и возможно, но очень трудно (как и сапожному ремеслу), выучиться иным средством, чем работая в его мастерской (химической лаборатории), по указаниям мастера, опытного химика, завещующего этой мастерской в звании профессора химии.

По специальным предметам, в которых главное дело не теория, а техника, привычка глаза и ловкость рук, школьное преподавание действительно или полезно (как в медицинском деле), [или] даже необходимо. Но знания, надобные беллетристу, совершенно не таковы. Они приобретаются не слушанием школьного преподавания, а чтением книг, приятельскими разговорами о житейских делах и, главное, опытом жизни. Важнейшие из этих знаний вовсе не преподаются и не могут быть преподаваемы в школах. А те, которые преподаются в школах (например, в университетах), преподаются обыкновенно в искаженном виде, по надобностям обскурантизма. Университетское преподавание, насколько оно касается знаний, нужных беллетристу, стремится одурачить людей. Кто имеет верные понятия о жизни, приобрел их помимо школьного учения, и если слушал это учение (например, в университетских аудиториях), то наперекор ему, живому.

Молодые люди, проходящие университетский курс, действительно имеют в деле своего человеческого (не ремесленного, как медицинское, которое не нужно беллетристу, а общего человеческого) образования важное преимущество над своими сверстниками, лишенными возможности состоять с 10 или 12 лет до 20 или 25-летнего возраста в звании гимназистов и потом студентов. Гимназисты и студенты — дети достаточных людей или, по счастливой случайности, нашли себе средство провести много лет без надобности употреблять большую часть своего времени на добывание денег работой: получили стипендии, имеют уроки и т. п. Итак, будучи на содержании родителей или имея сравнительно легкие средства кормить себя, они могут употреблять на

свое образование гораздо больше часов дня, чем их сверстники, принужденные почти весь день работать для своего прокормления. Стало быть, в чем сущность разницы? Все сводится к преимуществу сравнительно легкой, беззаботной жизни в годы детства и юности. Но если человек, обремененный в эти годы работою для своего пропитания, более любознателен, чем заурядные гимназисты и студенты, он приобретет больше начитанности, чем они, будет образованнее их. У него меньшее количество свободного времени, чем у них, но он лучше их пользуется им; у него в году лишь 1 000 часов свободных, у них по 2 000; но он из 1 000 употребляет на свое образование 500; а они из своих 2 000 — лишь по 300, по 200 или много меньше; сумма капитала образованности, собранного им, будет гораздо больше, чем суммы, собранные ими.

Но Вы читали книги без системы, и читали много пустых или ненужных книг, а многие, которые полезно было бы прочесть, остались не читаны Вами. Так бывает со всеми по делу приобретения образованности; систематически читаются книги лишь по тем отделам знания, которыми гимназист или студент занимается как ремеслом, для будущей своей технической практики; эти книги не дают образованности; руководства к изучению греческого языка или римского права отличаются от руководств к изучению пивоваренного искусства только числом страниц; они толще; впрочем, по некоторым отделам технологичные хорошие руководства тоже очень толсты.

По делу приобретения не технической подготовки к ремеслу — юридическому, филологическому — или башмачному, плотничному; все равно: ремеслу, — а человеческой образованности, каждый — литератор ли, не литератор ли — такой же самоучка, как Вы; стало быть, Вам нечего смущаться этим.

Перейдем к содержанию романа, писать который хотели бы, но все еще не решаетесь Вы, удерживаемые сомнением, совершенно напрасным. Это роман из купеческого быта; в частности, из быта московского купечества. В Москве я не жил, потому очень мало имел знакомых из московских купцов. Но думаю, что моск[овское] купечество не хуже саратовского, петербургского, восточно-сибирского и астраханского; вероятно, и не лучше. Я полагаю, местные разницы в купеческом сословии не более велики, чем в дворянском, чиновничьем или духовном. По крайней мере не только саратовские и астраханские, но и якутские купцы имеют очень большое сословное сходство с петербургскими, и сословные привычки их почти в одинаковой степени заслуживают сочувствия или порицания.

У массы русских купцов много пошлых и дурных привычек. Не больше ли, чем у массы великосветских людей, или чиновников, или священников и дьяконов? Я этого не думаю. Она имеет много нелепых понятий; — да, но больше ли, чем масса какого

угодно другого сословия? В сущности, не больше. Ее манеры смешны; — да, но как и манеры всякого другого сословия. Ее язык имеет глупую вычурность; — да, но и всякий другой сословный язык очень вычурен и глуп, в том числе и великосветский, которым восхищаются и которому по мере возможности подражает масса образованного общества; и язык поселян, превозносимый многими.

Словом, я считаю несправедливостью думать о купеческом сословии хуже, чем о дворянском, чиновничьем, духовном или мужицком. Много дрянных людей между купцами, которых я близко знал или теперь знаю. Но много между ними людей умных, добрых, благородных, между всякими купцами — и стариками и невеждами, как между молодыми и образованными много людей безукоризненно благородных. Что толковать о русских купцах, — моим ближайшим приятелем здесь был армянин, ростовщик; не купец, как масса купцов, а ростовщик, и притом армянин; это был не только честный человек, но положительно благородный; добрый не только в родственных и приятельских делах, но и в ростовщических; он не протестовал векселей, безропотно брал по 20 копеек за рубль от должников, о которых все знали, что их банкротство — мошенническая проделка; он винил за убыток лишь себя: «Я поступил нерассудительно; я знал, что это плут; но у него большое семейство; я пожалел, понадеялся, что, вышедши при моей помощи из затруднения, он поймет свою собственную пользу, состоящую в том, чтобы восстановить свой кредит честной расплатой со всеми, в том числе и со мною. Я ошибся; как быть, без ошибок не проживешь на свете; я могу перенести этот убыток, я не сержусь». Теперь он страдает душевною болезнью и отправлен сестрами в одну из ваших московских лечебниц. Здешние купцы все знали, что я приятель с ним; незнакомые с его родными спрашивали меня о состоянии его здоровья; надежды на его выздоровление нет; потому ни у кого нет мотива скрывать истинное мнение о нем; и что же? все имевшие денежные дела с ним превозносят его благородство — благородство армянина-ростовщика в ростовщических делах.

Все это я говорю к тому, что обыкновенная манера наших публицистов, романистов и драматургов нападать на купечество кажется мне довольно дурной: купцы — не злодеи и не уроды, а такие же люди, как дворяне, чиновники, священники, мужики. Можно и — если говорящий о них любит их, желает им добра, то — должно выставлять на вид им и всему обществу дурное в них; но тем же тоном, с теми же справедливыми оговорками, как выставляются на вид пороки и слабости большинства людей других сословий. У Островского в какой-то из последних пьес — в той, где дело начинается разъяснением отношений между молодой вдовой и обирающим ее мерзавцем, — сделана попытка

изобразить молодую купчиху и пожилого, очень богатого купца людьми, говорящими по-человечески, а не тем утрированным для смеха публики языком, каким говорят в прежних его пьесах честные люди купеческого сословия; этот выдуманный для смеха язык делал их уродами. Попытка бросить эту манеру уродования честных людей заслуживает одобрения в той пьесе Островского, но она исполнена слабо; у Островского была слишком сильная привычка утрировать сословные особенности купеческого языка, который на самом деле, вероятно, и в Москве не хуже саратовского или астраханского купеческого, — конечно, своеобразного, но не более дурного, чем язык дворян, чиновников и проч.

Я не имею особенной симпатии ни к купечеству, ни к духовенству; но желаю, чтоб и о купцах начали говорить справедливо, как говорят теперь хорошие писатели (например О. Забытый, т. е., кажется, Неседомский?) о духовенстве.

Жму Вашу руку. Пишите Ваш роман; вероятно, будет недурен; я полагаю, будет лучше повестей Чехова, очень недурных; пишите, не колеблясь пустыми сомнениями в себе. Ваш *Н. Ч.*

1185

И. И. БАРЫШЕВУ

8 августа 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Отвечаю, наконец, на Ваше прекрасное письмо о ходе Вашей жизни и о Ваших литературных работах и планах. Содержание письма — совет Вам писать роман, идея которого занимает теперь Ваши мысли. Этот ответ написан на особых листах, потому что относится лично к Вам, а не к Вашему посредничеству между Кузьмою Терентьевичем и мною.

Я хвалился, что пришлю предисловие к X тому Вебера в субботу, 30 июля; а вот уж 8 авг., и оно еще не кончено. Я был отвлечен от него другим делом, занявшим у меня недели две времени. Лишь дня три тому назад я возвратился к работе над предисловием.

Отправляю его к Вам дня через четыре.

Благодарю Вас за добрую внимательность к просьбам моей жены. — Не помню, уведомил ли я Вас, что получил сто рублей, посланные Вами мне в июле; я получил их тогда же.

Ответ на Ваше письмо от 25 июля был замедлен той же работой, которая отвлекала меня от предисловия к Веберу. О ней я напишу Вам после.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский.*

А. Н. ПЫПИНУ

10 августа 1888.

Милый Сашенька,

Я рад, что мое письмо от 29 июля показалось тебе удовлетворительно выводящим тебя из неловкого положения, в которое ты был поставлен путаницей имен и отношений между лицами в моих прежних письмах. Не помню, с достаточной ли ясностью высказал я в этом письме, что не намерен отказываться от обещания, данного тобой за меня Веселовскому и другим; ты правильно передал им мое желание служить им, чем могу. Я и желаю. — Итак, спроси у них, если считаешь надобным, хотя бы они, чтоб я написал для них в размере других предположенных ими книжек биографию Добролюбова; хотя бы, то напишу, когда приготовлю к изданию материалы, по которым надобно писать ее; а если они скажут, что когда эти материалы будут напечатаны, то напишет по ним для их серии книжек биографию Добролюбова кто-нибудь из них или их сотрудников, то уверь их, что это нимало не будет неприятно мне и что я, за себя и за издателя материалов Солдатенкова, даю им право пользоваться материалами, как им угодно, — то есть делать выписки какой угодно им пропорции. Если это недостаточно ясно будет для них, передай мне, в каком смысле я должен пополнить обещание, даваемое мною теперь, и я напишу тебе ответ для передачи им в таких выражениях, какие ты сообщишь мне как надобные для полного освобождения тебя от неловкости перед ними.

Благодарю Максима Алексенча за материалы, посылаемые им мне через Ольгу Сократовну и Мишу. — Думаешь ли ты, что для него не будет неудобным получить письмо от меня? — Я несколько упорен в своих привязанностях, потому досада, например, Некрасова на Максима Алексенча нимало не изменила моего расположения к нему. Я могу любить людей, порицающих М. А-ча, но их отзывы о нем не имели влияния на мою привязанность к нему. Вероятно, он сам знал, что если я не писал ему до сих пор, то лишь по предположению, что лучше отложить переписку до времени, когда она не будет неудобна. Перечень материалов, которые привезут от него Оленька или Миша, я сообщу тебе.

Твое письмо, на которое отвечаю, я получил только вчера, 9 августа, хотя на нем ты поставил «3 августа», а на штемпеле павловского почтамта оттиснуто «4 авг[уста]».

Но сутки просрочки в доставке объясняются простой неисправностью почты.

Я написал, наконец, Суворину; не 1 или 2 августа, как хвалился тебе, а 5-го. На всякий случай переписываю для тебя это письмо с нарочно для того сделанного списка его.

Милостивый государь Алексей Сергеевич,

Я задумал издать русскую переделку Брокгаузова *Convers.-Lex'a*. Но услышал, что Вы имеете такое же намерение. Правда ли? Если да, то охотно отказываюсь от моей мысли об этом предприятии, потому что Вы имеете больше удобства хорошо исполнить его, чем я, и желаю Вам полного успеха. Прошу Вас об ответе. — С истинным уважением и т. д.

По поводу «с истинным уважением» и т. д. энай, что я не могу писать иначе, как по правилам учтивости, изложенным в «Письмовнике» Курганова. И кстати дам ответ на твой вопрос в прежнем твоём письме. Ты нашел странным мое заявление тебе (на случай личного твоего разговора с Сувориным), что я «не имею неприязни ни к нему, ни к его газете». Ты спрашиваешь: разве ж я не читал и не читаю его газету? — Не читал и не имею желаний пополнить этот пробел моих литературных впечатлений, держась того же правила, которым руководился — Чацкий, кажется? —

Я глупостей не чтю,
А пуще образцовых.

Если ты скажешь, что в этой цитате слово «глупостей» надобно заменить словом «мерзостей», не противоречу: по отзывам честных газет и журналов я достаточно знаю милые качества газеты Суворина. Но, мой друг, я холоден к русским литературным — и всяким текущим — делам; потому ничто дурное в них не возбуждает во мне ровно никакого чувства. Они для меня ассирийские и вавилонские дела, и я, подобно учителю уездного училища в «Ревизоре», рассуждаю об ассириянах и вавилонянах флегматично. Есть люди похуже или повреднее Суворина с Бурениным; но и к их деяниям я равнодушен. Иное дело было бы, если б я жил в литературном кругу; я разделял бы чувства честных литераторов; но я житель того самого острова, на котором благодушествовал некогда Робинзон Крузо с своим другом Пятницею. Я не лишен нежных приятностей дружбы; но все здешние друзья мои — Пятницы; благодаря тому мое душевное спокойствие не возмущается никакими литературными пошлостями ли, делами ли хуже пошлостей; мы толкуем о том, хороши ли улов рыбы, выгодны ли для рыбопромышленников цены на нее; сколько привезено хлопка и фруктов из Персии; уплатит ли по своим вексялям Сурабеков или Усейнов (т. е. Гусейнов), — какое ж нам дело до пошлостей Суворина или хотя бы тех трактирщиков, половыми у которых служат Суворин и компания?

Однако, мой милый, не стоило столько писать об этой дряни. Но я полагаю, что если он станет издавать Брокгауза, то издание будет недурное; вероятно, он почтет надобным найти дельных редакторов.

Будь здоров, мой милый.

Целую Юленьку. Благодарю ее за Оленьку, которая очень приятно провела время в Петербурге; благодарю других родных за любовь к Оленьке.

Целую Юленькиных птенцов. Желаю здоровья всем.

Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1187

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

11 августа 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Сейчас получил я твое письмо из Москвы от 8 августа. Хорошо, что ты поправилась в здоровье. Буду очень рад увидеть Мишу; буду просить его провести со мною побольше времени (разумеется, насколько возможно это по его служебным обязанностям). Вероятно, ему будет здесь удобно, потому что я устрою обстановку его жизни, как ты велела: пусть он спит в твоей комнате или в зале, как ему понравится, и пусть сам заказывает кухарке обед и принадлежности к чаю; я только буду давать ей деньги. Спрошу у него, какие закуски больше нравятся ему, и буду покупать, спрашивая самые хорошие. Вообще, я полагаю, что он останется доволен мною, потому что сам я стал доволен им с той поры, как убедился, что он сделался солидным человеком, трудится усердно и что он хороший муж.

Деньги хозяину за время от 18 июля до 18 августа отдам, как получу сам; теперь у меня остается только 60 рублей. Мне достанет этого на месяц; отдавать из них за квартиру я не могу, чтобы не нуждаться в деньгах на свои расходы; но лишь получу из Москвы, в тот же день отдам за квартиру.

Если ты увидишься с Иваном Ильичем по получении этого моего письма, то, вероятно, увидишь его проникнувшимся удвоенною готовностью к услугам тебе. Дело вот в чем. Приятель Солдатенкова, Грачев, разговаривая со мною о Барышеве, упомянул, что он — писатель. Я попросил Барышева прислать мне его произведения. Он прислал книжку комических рассказов из быта московского купечества. Просмотрев ее, я нашел, что он человек неглупый и имеет талант; но рассказы — пусты. Я написал ему, что у него есть талант и что я, интересуясь им, прошу его сообщить мне, думал ли он когда-нибудь писать серьезные вещи, большие повести, а чтобы судить о том, что такое может выйти из его таланта, прошу его о сообщении мне биографических сведений о нем. Он отвечал длинным письмом, очень умным: скромным, прямодушным. И вот, третьего дня я послал ему в ответ довольно большое письмо, в котором говорю, что, по соображению сведений, какие имею теперь лично о нем, на-

хожу очень вероятным, что серьезные большие рассказы (повести или романы) будут выходить у него недурными, потому советую ему писать их. — Жаль, что это письмо не было получено им раньше твоего приезда в Москву; вероятно, оно доставило большое удовольствие ему и его жене (он женат, любит жену и говорит, что она хорошая советчица ему). Итак, теперь у нас с ним, по всей вероятности, личная дружба. — Если увидишь его, то скажи, что работа, о которой писал я ему в неопределенных выражениях, — биография Добролюбова, о которой я писал Солдатенкову месяца два тому назад и которую хочет Солдатенков издать. Кстати по поводу моих денежных отношений к Солдатенкову: Сашенька советует мне вести переговоры о них через Корша; это не нужно; Солд[атен]ков не такой человек, чтобы торговаться с ним; он сам всегда даст больше денег, чем следует; он ведет издательское дело не для своей выгоды, а в убыток себе, из чистого желания пользы русской публике. Притом теперь он имеет более доверия ко мне, чем к Коршу. Всякое вмешательство — Корша ли, другого ли кого постороннего — в мои отношения к Солд[атенко]ву было бы вредным мне.

Будь здоровенькая, моя милая Лялечка. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя. Я совершенно здоров. Все у меня здесь идет хорошо.

Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

Р. С. Не уезжай из Москвы, не дождавшись доктора. Будь здорова. Целую и целую тебя.

1188

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Суббота. 13 августа 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Благодарю тебя за (второе из Москвы) письмо от 9 августа, полученное мною вчера.

Ты жалеешь о том, что понадобилось израсходовать на лечение и поездки больше денег, чем ты предполагала. Это сожаление напрасное. У всех и всегда бывает так, что в поездках оказывается необходимым расходовать больше денег, нежели рассчитывалось вперед. Притом, у нас с тобою, не только во всем другом, но и в денежных делах существеннейшую важность имеет вопрос о твоём здоровье. От состояния твоего здоровья зависит то, сколько можем мы получать. Когда оно хорошо, то я могу заниматься работой более выгодной и с тем вместе более легкой, чем машинальный труд перевода книг. Я надеюсь, что в это лето ты хоть немножко запаслась силой перенести без

прежних страданий зимнюю стужу. А когда так, то расходы твои на лечение и поездки покроются с излишком увеличением дохода.

Теперь, признаться сказать, меня смущает мысль, что, стосковавшись в Москве, ты не дождешься приезда врача, уедешь, не получив того способа улучшить свое здоровье, которое обещался доставить тебе этот врач. Прошу тебя, не сделай так. Если слишком стоскуешься в Москве ждать врача, дай себе развлечение какой-нибудь маленькой поездкой по окрестностям Москвы или возвратись на несколько дней в Петербург, но непременно доведи до конца дело лечения, для которого приехала ты в Москву. Пожалуйста, доведи его до конца; оно имеет большую важность для здоровья.

Перехожу к другим вопросам.

Ты пишешь, что Иван Ильич хотел 9-го числа послать мне 100 р. Прекрасно. Это значит, я получу деньги завтра или послезавтра. (Денежные письма доходят до рук получателя днями двумя позднее простых.) Как получу, тотчас же отдам 40 р. хозяину и буду говорить с ним о поправке печи в зале и о кухне; но, разумеется, не буду давать ему никаких обещаний, что мы останемся в его доме на зиму; я не буду вовсе касаться и не дам ему касаться вопроса о том, намерены ли мы остаться на нынешней квартире. Печь в зале он, по всей вероятности, велит поправить. Кухня, по всей вероятности, неисправимо дурна. Но ты по приезде сама рассудишь, как поступить относительно квартиры. Я несколько раз бродил по хорошим улицам, разыскивая, не попадется ли хорошая квартира. Не случилось увидеть ни одной удобной.

Относительно Саши все твои мысли, разумеется, и мои.

Получено письмо тебе из Пятигорска; вероятно, от переселившихся туда наших владикавказских родных. Влагаю его в конверт этого моего письма.

Я совершенно здоров. Дела у меня идут хорошо.

Мелькумовы и Хачатуровы (к которым я тоже заходил) и все другие знакомые, каких мне случилось видеть, разумеется, кланяются тебе. — Да, разгадаешь ли ты, кто Хачатуровы? Или знаешь, что это — фамилия семейства Зоси? — Две из сестер Аветова уехали в Москву. Я не спрашивал, где они останутся, полагая, что видиться с ними не будет у тебя особенно пылкого желания. Впрочем, вероятно, они познакомились с Федосьей Мелькумовной, адрес которой я дал им.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица, радость моя.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя. Целую твои ручки и ножки, прося тебя, моя Лялочка, довести до конца дело твоего лечения в Москве. Твой Н. Ч.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Понедельник. 15 августа 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Каково-то поживаешь ты в Москве?

Вчера я получил от Миши письмо, в котором он говорит, что около 12-го числа выезжает из Петербурга в Астрахань, где будет, вероятно, около 18 или 20 числа, и, быть может, приедет вместе с тобою, если не задержит тебя в Москве доктор. — Я буду очень рад приезду Миши и, как писал тебе, надеюсь, что он будет доволен мною. Тебе, разумеется, было бы приятно ехать вместе с ним; но, прошу тебя, моя радость, откажи себе в этом удовольствии, предпочти ему серьезный интерес твоего здоровья, — если понадобится делать выбор, дождись в Москве врача, помощь которого будет очень полезна восстановлению твоего здоровья.

Ныне перед вечером принесли мне повестку о присылке 100 р., которые просила ты Ивана Ильича послать мне. Чтобы отправить уведомление об этом тебе ныне же, я отнесу свое письмо на пароход (и поставлю в счет, приготовляемый для тебя, что и на пристань и обратно ездил на извозчике, заплатил ему 22½ коп., аккуратность дробной цифры устранил всякое подозрение в действительности этого расхода). — Завтра утром, получив деньги, немедленно отдам за месяц (18 июля — 18 августа) хозяину, скажу ему о надобности поправить печь в зале и о неудобстве кухни; ни в какие объяснения о том, намерены ли мы остаться на этой квартире, не буду входить; т. е. постараюсь сделать, как ты велела.

Завтра же пошлю и уведомление Ивану Ильичу о получении денег; прибавлю в письме к нему, что послезавтра пошлю на его имя рукопись.

Андрей Семенович, получив от своего приятеля рыбопромышленника кусок хорошей осетрины, прислал часть этого подарка в подарок мне. Я зайду поблагодарить его. — Авдотья Петровна просит тебя купить для нее флакон — или как называется эта посуда? — флакон вазелина в аптекарском складе Феррейна, где он хорош (как, вероятно, и все продаваемое этим превосходным складом), между тем как в Астрахани, по ее словам, хорошего вазелина нет. — Но в какой местности Москвы склад Феррейна? Не слишком ли далеко от Лубянки, где ты живешь? Потому, удобно ли будет тебе исполнить эту просьбу? Об этом я не имею понятия. Если окажется удобным исполнить просьбу Авдотьи Петровны, то купи флакон побольше.

Я совершенно здоров. Все у меня здесь идет хорошо.

Дня два тому назад заходил ко мне и посидел часа два вече-

ром Ковров. Он рассуждает о своих театральных делах очень неглупо, так что я вел разговор с ним без скуки.

Понятно, что он, его жена, Авдотья Петровна и Андрей Семенович кланяются тебе.

Прошу тебя, моя миленькая красавица, дождись в Москве своего врача. Этот способ лечения очень полезен.

Крепко обнимаю и тысячи тысяч раз целую тебя, моя миленькая Лялочка. Целую твои ручки и ножки. Будь здоровенькая. Целую и целую тебя. Твой *Н. Ч.*

1190

И. И. БАРЫШЕВУ

16 августа 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Душевно благодарю Вас за доброе исполнение просьб моей жены и в том числе за присылку мне ста рублей (100 р.), которые получил я ныне.

Завтра отправлю Вам продолжение предисловия к X тому Вебера (первые два листа предисловия послал я вместе с последним куском перевода). Я хвалился, что пришлю все в конце июля; а вот, 17 августа, пошлю только половину. Не стану хвалиться определением дня, когда пошлю конец. Сам в своих мыслях мечтаю однакоже, что пошлю через неделю.

Итак, по крайней мере на целый месяц замедлилась эта моя работа (нет, больше чем на месяц, потому что я рассчитывал кончить предисловие в половине июля). Я отвлекся от работы над Вебером разбором и разработкой материалов для биографии Добролюбова, которую обещал мне издать Кузьма Терентьевич. Мое промедление в работе над Вебером запутывает меня в долг Кузьме Терентьевичу. Думаете ли Вы, что не следует мне затрудняться этим? Я полагаю, что следует. Прошу, уведомьте (не передавая моего вопроса на решение Кузьме Терентьевичу); Вам, по обязанности соблюдать интересы Вашего доверителя, не щекотливо будет дать мне совет, чтоб я не отвлекался слишком долго от работы, платой за которую живу. Получив от Вас этот совет, я найду его справедливым и поведу работу над Вебером без промедлений.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою. *Н. Чернышевский.*

P. S. Прошу Вас сказать мне, не находите ли Вы возможным заняться трудом, о вероятной успешности которого говорил я в письме, относившемся к Вашей личной деятельности.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг. 18 августа 1888.

Миленкий мой дружок Оленька,

Каково-то поживаешь ты в Москве? Вероятно стосковалась по мне? Если судить об этом с светской точки зрения, то следует сказать, что твое желание полюбоваться на твоего почтенного сожителя заслуживает полного одобрения: нельзя же в самом деле не находить приятностью смотреть на человека с такими прекрасными манерами, как он. Но обладатели дарований сами не дорожат ими. Потому я полагаю, что ты должна оставаться в Москве, пока дождешься своего врача и доведешь до конца лечение, очень важное для восстановления твоего здоровья; на меня успеешь налюбоваться. Серьезно говоря, я хвалю тебя, видя, что ты терпеливо остаешься в Москве для окончания твоего лечения. Пожалуйста, моя миленкая радость, не поспевай довести его до конца.

Я совершенно здоров. Все здесь у меня идет хорошо.

Во вторник я получил деньги и прямо с почты зашел в магазин хозяина, отдал ему 40 р. О кухне говорил ему не настойчиво, чтобы не возбуждать в нем предположения о решительном желании нашем оставаться на этой квартире. О печи в зале он по первому моему слову сказал, что пришлет хорошего мастера поправить ее. На-днях приедет хозяйка. Ее здоровье поправилось.

Ныне утром я был у сестер Сергея Степановича; оказалось, что уехала только одна (средняя); две другие остались здесь. Баев (торговец лампами), возвратившийся на-днях из Москвы, виделся и долго разговаривал с Сергеем Степановичем; нашел, что он говорит обо всем правильно, как здоровый человек. Вот чудеса-то! Я никак не надеялся, что он оправится от душевной болезни. Хорошо, должно быть, лечили его.

Катерина Ивановна (мать Зоси) перешла жить снова в ту квартиру в доме Хачикова, где жила, когда мы квартировали у Хачикова. Я говорю только о ней, потому что Мартин Христофорович с самой весны в разъездах: возвратился на несколько дней и уехал с своим хозяином (Путиковым) на Нижегородскую ярмарку. Брат Катерины Ивановны, Артемий Иванович, с которым случилось мне видеться несколько раз, говорит, что Мартин Христофорович получает теперь жалованье, дающее Катерине Ивановне с детьми возможность жить довольно сносно. — Она летом сильно страдала лихорадкой; поэтому я и заходил раза два навестить ее, потолковать с ней о необходимости соблюдать диету. Теперь она выздоровела.

Будь здоровенькая, моя миленкая красавица Лялочка.

Жду Мишу. Надеюсь, он останется доволен мною.

Крепко обнимаю, тысячи тысяч раз целую тебя, моя Ля-
лечка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Разумеется, все кланяются тебе.

Будь здоровенькая. Обо мне не беспокойся. У меня здесь
все хорошо, и я совершенно здоров; говорю правду. Целую и
целую тебя.

1192

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

19 августа 1888.

Добрый друг!

Начинаю этими словами, чтобы характеризовать Вам, Вик-
тор Александрович, мои понятия об отношениях между нами и
принять на себя принадлежащее более опытному другу право
советчика. Но советы после; сначала ответ на Ваше милое письмо
от 12 августа.

Вы находите надобным сделать редакционное примечание к
моей статье. Делайте.

Скажу о ней несколько слов. Она лишь первая в ряду пред-
положенных мною статей о тождестве условий материального бла-
госостояния с требованиями разума и совести. Я дал ей вид
особый, цельной статьи, лишь потому, что для обертки жур-
нала законченность статьи в одной книжке выгоднее прибав-
очных к заглавиям обозначений: «статья первая», «статья
вторая» и т. д. Большинство читателей журналов берут их у зна-
комых и принуждены читать лишь отдельные книжки журнала,
какие успевают добыть, в таком роде: апрель, август, сентябрь,
декабрь — остальные книжки не дошли до рук. Читатели этого
разряда огорчаются, видя на обертке «статья вторая», — первой
не было у них в руках, и нет у них уверенности, что дойдет до
их рук книжка с «третьей статьей». А этот-то разряд читателей
и формирует репутацию журнала. Это люди, читающие не от
нечего делать, а по страстной любви к просвещению. Это Вы
знаете. Этим я и руководился, рассудив, что надобно разделить
ряд моих статей о законах материального благосостояния на
статьи, каждая из которых имела бы форму особой, цельной, за-
конченной статьи.

Когда я отделил начало моего трактата от продолжения и по-
слал Вам как особую статью, у меня осталось вдвое больше ли-
стов, чем сколько ушло для составления из них первой статьи.

Я посмотрю, повредит ли журналу моя первая статья. Будьте
уверен, что я умею судить об этом. Помните, что я опытнее Вас.
Прибавлю, что в вопросах об отношениях русской публики ко
мне я индифферентен. В русской публике нет людей, которых я

считал бы компетентными судьями моим ученым мнениям. Я пишу для европейской публики, а не для русской. Печатаю по-русски лишь потому, что еще не имею возможности печатать по-французски или по-английски с одновременным изданием немецкого перевода (и перевода на французский, если подлинник английский, или наоборот). Я считаю себя имеющим силу действовать переработке некоторых отделов науки. Основательно ли это мое мнение о себе? В данном случае не это имеет практическую важность для отношений между Вами и мною, а только то, что я имею это мнение. Из того следует: я не могу допустить, чтобы журнал, в который я посылаю статьи, брал на себя суд о их содержании. Возвращаясь к вопросу о том, пришлю или не пришлю я в «Русскую мысль» продолжение моего трактата. Мнение русской публики не затрагивает моего самолюбия ни похвалами, ни порицаниями. Потому я могу судить беспристрастно о том, находит ли публика, что мои статьи не вредят журналу, или думает, что лучше было бы для него не помещать их. Вредить «Русской мысли» я не хочу, в этом, вероятно, Вы не сомневаетесь. Я вижу, требует ли интерес «Р. мысли», чтобы я избавил русскую публику от помещения моих статей в ней. И будьте спокоен: Вам нет надобности судить о том, вредят или не вредят «Р. мысли» мои статьи во мнении русской публики; я беру этот суд на себя, этого должно быть достаточно для Вас.

Прошу Вас не считать этого недостатком уважения к Вам. Речь идет не о моем мнении относительно Вас — оно само по себе, — а необходимость моя не признавать ничьего личного суда о моих научных мнениях авторитетным для меня — совсем иное дело. Кого Вы считаете наиболее авторитетным судьей по вопросам о законах материального благосостояния? Я сказал бы, величайший авторитет по этим вопросам — Рикардо. Предположим, и Вы выбрали это имя. И предположим, что Рикардо жив. Могу ли я признавать за Рикардо право решения о моих мнениях по этим вопросам. — Ясно, что не могу. Судья человека, имеющего притязание перерабатывать эту отрасль науки, один: европейская публика.

Беру теперь на себя право старшего, более опытного друга быть советником.

Вы затруднялись напечатать мою статью потому, что в «Р. мысли» были помещены статьи, превозносившие дарвинизм. Ваше затруднение было неосновательно. Журнал не может связывать свою свободу обязанностью держаться мнений, высказываемых его сотрудниками по всем вопросам, не входящим в его программу. В программу учено-литературного журнала не могут входить никакие решения никаких вопросов, кроме вопросов общественной жизни нации. Для него не обязательно признавать или отрицать не то что дарвинизм, а хотя бы даже систему Коперника. По вопросам, не относящимся к текущим делам нацио-

нальной жизни, журнал того рода, как «Р. мысль», или «Вестник Европы», или «Revue des deux Mondes», или «Fortnightly Review», не может иметь никаких редакционных мнений. Он печатает статьи по ним, но сам остается индифферентен по всяким спорам, не относящимся к национальным делам.

Программа «Р. мысли» недостаточно определительна. Позаботьтесь дать ей более точную определенность; не на бумаге, разумеется, а в Ваших мыслях. И выработав программу, неуклонно держитесь ее. Теперь «Р. мысль» не проводит свою программу с неуклонностью (какая возможна по данным фактическим условиям существования русского журнала; невозможного или неблагоприятного публика не требует). Шаткость происходит оттого, что в программу введено множество вопросов, не относящихся к национальным делам. Мнимая обязанность следить за соблюдением программы по сотням вопросов не оставляет возможности следить за соблюдением программы по тем, которые действительно важны. Выбросьте из них всякие суждения о Дарвине ли, Копернике ли; журнал не может иметь редакционных мнений ни о чем ученом; он знает только национальные интересы.

Думаю, что я делаю Вам досаду этим письмом. Так и быть, досадуйте, интересы честного журнала, какова «Р. Мысль», мне дороже Ваших личных чувств. С досады Вы, вероятно, подумаете: «Какой же надменный наглец». Нужды нет. Дело не в моих личных качествах, а в том, что русской публике нужны честные журналы.

Однако угостил я Вас. Но так и быть. Понятно, я написал неприятные Вам вещи, потому что уважаю Вас и желаю добра Вашему честному журналу. Следовательно, я имею право рассчитывать на Вашу признательность. Жму Вашу руку. Ваш Н. Чернышевский.

Р. S. Прилагаю письмо к Вуколу Михайловичу, человеку, как я увидел, превосходному, за знакомство с которым благодарю Вас. Ему я пишу не то, что Вам; я ему пишу, что Вы с ним были правы.

1193

В. М. ЛАВРОВУ

19 августа 1888.

Добрый друг Вукол Михайлович,

Я очень благодарен — Вы ждете: Вам? — извините, Вы ошиблись: не Вам, а — Виктору Александровичу за знакомство мое с Вами.

Людей таких хороших, как Вы, я знаю несколько. Но между литераторами, которых я знаю, таких мало.

Благодарю Вас и Виктора Александровича за то, что Вы решились напечатать мою статью. Я понимаю резонность Вашего раздумья, можно ли поместить ее в Вашем журнале. И согласился бы назвать Вас правыми, если бы Ваше раздумье кончилось решением, что противоречие ее статьям, печатавшимся в Вашем журнале, делает ее неудобной для помещения в нем. Но Вы решили иначе, тем более должен я иметь признательности к Вам.

Это относится к Вам и Виктору Александровичу вместе.

А лично Вам я благодарен за Ваше доброе расположение ко мне.

Сколько найдется у меня досуга, он в Вашем распоряжении. Статья, которую печатаете Вы, только имеет вид особой статьи. На самом деле она — вступление к ряду статей об условиях прогресса. Я посмотрю, не принесет ли она журналу вреда во мнении публики. Если не принесет, буду присылать Вам продолжение, отделы которого тоже будут, вероятно, иметь вид особых статей. А увижу, что публика порицает журнал за нее, то постараюсь выбрать какую-нибудь другую тему, которая не шокировала бы публику.

Прошу Вас верить искренности моего уважения и лично к Вам и к Вашей журнальной деятельности. Ваш *И. Чернышевский*.

1194

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Пятница. 19 августа 1888.

Миленький мой дружок Оленька,

Ныне в половине 12-го я с радостью увидел вошедшего ко мне Мишу. Он показался мне человеком совершенно крепкого здоровья. Его полнота, о которой говорил я шутливым тоном, но с душевным опасением, не болезненная ли она, несомненно хорошая полнота человека, одаренного цветущим здоровьем. Мы с ним будем проводить время по-дружески. Я уговариваю его отправиться вечером в театр, и если он решится, то я провожу его до дверей театра (так и быть, истрачу 25 коп. на билет за вход в сад, — вот каким расточителем готов быть на радостях!). Кухарка успела прикупить провизии для лишних двух блюд, и обед (в 2¹/₂ часа) вышел порядочный; а завтра и в следующие дни будет вовсе хороший.

В половине первого я послал тебе телеграмму о его приезде. Надеюсь, ты получишь ее еще до наступления ночи.

Миша привез твое письмо. Сейчас принесено с почты твое следующее письмо (от 16 авг[уста]), говорящее, что наше письмо, которое будет послано ныне, еще застанет тебя в Москве. Прочитав, мы с Мишей принялись писать. Пора нести на пароход, потому надобно кончать мне. Письмо Миши уж готово.

Благодарю тебя, моя радость, за то, что ты дождалась врача и доводишь до конца свое лечение.

Я совершенно здоров, как и Миша.

Крепко обнимаю и тысячи тысяч раз целую тебя, моя милая красавица Лялочка. Будь здоровенькая. Целую твои ручки и ножки, моя Лялочка. Твой *Н. Ч.*

1195

А. П. КОПЫЛОВУ

20 августа 1888.

Милостивейший государь Аким Петрович,

Прошу Вас не отказать моему сыну Михаилу Николаевичу в сообщении тех сведений о рыбной торговле, которые нужны ему для соображений по установлению тарифов Закавказской железной дороги. Ваш преданнейший *Н. Чернышевский.*

[На обороте:] Между новым пешеходным мостом и сапожниковским мостом — дом Савинова.

1196

И. И. БАРЫШЕВУ

24 августа 1888.

Добрый друг Иван Ильич,

Прошу Вас дать моему сыну Михаилу Николаевичу два экземпляра перевода Вебера (все вышедшие томы) и внести в мой счет цену их. Ваш *Н. Чернышевский.*

1197

Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

24 августа 1888.

Милый дружок Леночка,

Одною — и самую важную — из радостей, доставленных мне приездом Миши, была полученная мною из разговоров с ним уверенность, что Ваше здоровье осталось таким же хорошим, каким было до выдержанных им тяжелых испытаний. Увидев на портрете Ваше личико несколько похудевшим, я тревожился. Но теперь, благодаря приезду Миши, я спокоен. Мне должно надеяться, что, сумев сберечь до сих пор Ваше здоровье, Вы, уж имеющая некоторую опытность, тем легче сумеете сохранить его в следующие годы.

Ваша маменька была безусловно довольна своею поездкою в Петербург. Благодарю Вас за это, мой дружочек.

Мне хотелось бы, чтобы Вам с Вашей маменькой можно было на следующее время исполнить мою программу для Вас; она такова: приехали бы Вы к нам весною, когда в Петербурге еще холодно, а здесь уж очень тепло, но еще не знойно; перед наступлением здесь зноя поехали бы Вы с Вашей маменькой в Крым; оттуда к началу курса минеральных вод переселились бы на Кавказ; Ваша маменька, проводя время с Вами, не соскучилась бы, взяла бы полный курс вод; а Вам он если и не нужен, как я теперь уверен, то был бы полезен, как и всякому здоровому человеку. Миша, вероятно, мог бы навестить Вас на Кавказе. — Я был бы очень рад, если бы Вам с Вашей маменькой можно было устроить так.

Мишу я нашел человеком крепкого здоровья. Артистический талант его с честью вынес взыскательную оценку здешней избалованной великими артистами армяно-русской публики: в первой его гастрولي — в «Отелло» — ему шикали только три раза, да и то не все; во второй спектакль, когда он играл Рауля в «Гугенстах», настроение публики было так благоприятно ему, что Константин Михайлович нашел возможным сделать попытку аплодировать ему; подражателей не нашлось но и свистков не было, только пошикали, да и то мало. На третий спектакль он играл Маломальского (в пьесе «Не в свои сани не садись»); театр был совершенно пуст, за исключением двух кресел, на которых сидели посланные мною клакёры. Оба они аплодировали. Кроме билетов на кресла (по 1 р. 50 к.), мне это ободрение родственного таланта обошлось в следующую сумму:

За усердие каждому клакеру по 20 к.	40 к.
На извозчика, туда и отсюда, каждому по 45 к., итого . . .	90 к.
Водка, одному 60 к., другому 85, итого	1 р. 55 к.
Десяток соленых огурцов, обзим	25 к.

Итого 3 р. 10 к.
и за кресла 3 р.

Сумма 6 р. 10 к.

Рассчитывая на Вашу признательность за это поощрение юного таланта, целую Вас, милая моя Леночка. Ваш *Н. Чернышевский*.

1198

А. В. МИХАЙЛОВУ

24 августа 1888.

Милостивейший государь! Александр Владимирович!

От всей души благодарю Вас за присланный мне экземпляр «Современника». Кроме той пользы, какую принесет мне в ра-

боте составления «материалов» для биографии Н. А. Добролюбова, подарок Ваш дает мне возможность приняться за работы, которые были бы совершенно невозможны без него; это будут груды по истории русской журналистики в годы моего участия в ней. Я думаю также выбрать и издать материалы для биографии Некрасова; это также имеет необходимым своим условием обладание экземпляром «Современника».

В предисловии к «Материалам для биографии Н. А. Добролюбова» я обязан буду, не испрашивая на то Вашего согласия, выразить признательность Вам за доставление мне возможности пополнить другие материалы выписками из «Современника» и воспоминаниями, возбужденными во мне перечитыванием его.

Когда-нибудь, может быть, войду в Ваш кабинет, чтобы позвать Вам руку, а пока прошу Вас принять уверение в моей глубокой благодарности за Ваш подарок и еще более за Ваше, внушившее Вам мысль о нем, доброе расположение ко мне.

Душевно признательный Вам и глубоко уважающий Вас
Н. Чернышевский.

1199

М. А. АНТОНОВИЧУ

29 августа 1888 г.

Милый друг Максим Алексеевич! Чувства мои к Вам остались такими же неизменными, как Ваши ко мне. Досадно было мне видеть, что Вы не находите возможным работать для русской журналистики, нуждающейся в деятелях, подобных Вам. Сколько я могу судить по чтению, она не имела ни одного такого со времени прекращения Вашего участия в ней и не имеет ни одного, подающего надежды стать таковым.

От Лаврова, приехавшего сюда летом, я узнал, что помещенная в «Русской мысли» статья о книге Шрадера принадлежит Вам. Тогда я понял, что мысль написать об этой книге внушена Вам желанием выказать печатным образом расположение ко мне. Благодарю, но не в благодарности моей дело, а в том, что по поводу сообщенного Лавровым имени автора завязался у нас разговор. Я не имел надобности говорить Лаврову, что считал бы Ваше участие в «Русской мысли» полезным для нее: он сам стал говорить в этом тоне, так что мне оставалось только вставать по временам короткие слова, что я разделяю высказанное им мнение о Вас. Он (и по всей вероятности, Гольцев, которого я не знаю лично, и — так:) он человек хороший и настолько умный, чтобы понимать мысли, до которых не додумался сам. При начале сотрудничества Вам пришлось бы объяснить ему, почему Вы написали о том или о другом в духе, не привычном ему, но он скоро привык бы разделять Ваши мысли,

насколько они понятны ему, и полагаться на основательность Ваших мыслей по вопросам, остающимся туманными для него. Сделаться руководителем Гольцева было бы, вероятно, задачей более хлопотливою, но я полагаю, что при некотором терпении Вы подчинили бы себе и Гольцева.

Попробуйте войти в сношения с ними. Мне хотелось бы знать, захотите ли Вы сделать это, и если попытаетесь сделать, то как идет дело соглашения. Если вы найдете удобным сообщать мне новости такого рода и не покажется Вам удобно писать мне, то, вероятно, может передавать сведения от Вас мне Миша. Благодарю Вас за то, что Вы взяли к себе и сохранили дневники и другие бумаги Добролюбова. Я знал, что Вы любили его.

Целую руки Елизаветы Ивановны. Для Вашей Оленьки было бы честью не по летам подобное отношение мое к ее руке, поэтому обнимаю и целую ее саму. Целую других Ваших детей. Будьте здоровы. Целую Вас.

Ваш, всегда бывший прежним в своей любви к Вам *Н. Чернышевский*.

1200

В. А. ГОЛЬЦЕВУ

31 августа 1888.

Добрый друг Виктор Александрович,

Душевно благодарю Вас за письмо от 24 августа. Я не имел права ожидать, что оно будет такое милое; тем больше я порадовался ему.

Я промедлил дня четыре ответом на него, воображая, что не ныне, то завтра найду досуг рассказать Вам свои предположения о статьях, какие будут получены Вами от меня в нынешнем году. Но вечер за вечером проходил у меня, не подвигая вперед мою работу для окончания сильно запоздавшего X тома Вебера. Вижу теперь, что не кончу ее ни через два, ни через три дня и что поэтому надобно отложить на неопределенное время рассказ Вам о моих будущих статьях, а пока ограничиться выражением моей признательности Вам.

В том письме, на которое Вы отвечали так благородно письмом от 24 августа, я, наговорив много совершенно лишнего вздора, забыл упомянуть о том, что следовало сказать для Вашего редакционного знания о моем характере.

Я никогда не спорил с цензурой за написанное мною; всегда я принимал без всяких возражений всякие мнения цензора о том, что надобно вычеркнуть из моей статьи; я не довольствовался даже этим; соображаясь с замечками цензора, я сам вычеркивал другие, ускользнувшие от его внимания, места, которые подходили под высказанные им соображения. Часто случалось, что он останавливал меня, говорил: «Это не опасно, не вычерки-

вайте»; я отвечал: «Благодарю вас, но лучше будет вычеркнуть», и вычеркивал

Я остался с тем же характером, какой имел тогда.

Когда я пишу, я непрерывно забочусь уклониться от всякого нарушения цензурных требований. Но их никогда нельзя знать вполне. Тем меньше могу я удовлетворительно разгадывать их теперь, при моей жизни вдали от литературного мира.

Будьте уверен, мой добрый друг, что всякие поправки, какие покажутся Вам полезными для моих статей с точки зрения цензурных надобностей, вперед имеют безусловное мое одобрение,

Вам нравится, что я высказал очень хорошее мнение о Вуколе Михайловиче. Между нами говоря, я слышал отзывы, что он человек очень недалекого ума; и верил им. Я с удивлением увидел, что он человек не только благородный (в чем я не сомневался), но и очень умный. Его скромность закрывает его ум от людей тщеславных или тупых, этим я объясняю отзывы, несправедливости которых стала очевидна для меня после какой-нибудь четверти часа разговора с ним. Когда Вам случится надобность упомянуть перед кем-нибудь о моих мыслях относительно Вукола Михайловича, то прошу Вас быть уверенным, что всякое хорошее мнение о нем, какое припишете Вы мне, будет признано мною за действительное мое. Жму Вашу руку. Ваш глубокоуважающий *Н. Чернышевский*.

1201

Ю. П. ПЫПИНОЙ

13 сентября 1888.

Милая сестрица Юлия Петровна,

Благодарю Вас за Ваше милое письмо. Простите, что по вечному моему недосугу от работы, долго не отвечал на него. Не собрался бы написать Вам и ныне, если б Оленька не поручила мне поздравить от ее имени Верочку с днем ангела. Усевшись писать Верочке, пишу и Вам. На другом полулистке прибавлю несколько слов Сашеньке.

Оленька не пишет Вам и Верочке сама потому, что очень утомлена хлопотами сборов для переезда на новую квартиру. Я еще не умею правильно написать адрес квартиры, на которую мы переселяемся. Сообщим его Вам после. А пока Вы и Сашенька, вздумав написать нам, можете писать на адресе нашу фамилию, и только: почтамп всегда знает, куда доставить нам письмо.

Оленька благодарит и я благодарю Вас, милая сестрица, за радушный прием, оказанный Вами ей. Она жалела, что не могла остаться в Петербурге подольше.

Она и я, мы целуем Ваших детей. Она целует Вас, милая сестрица; я целую Вашу руку.

Желаем всем Вам здоровья. Ваш *Н. Ч.*

1202

А. Н. ПЫПИНУ

13 сентября 1888.

Милый Сашенька,

Долго я не писал тебе, потому что все было недосуг: сильно запоздала моя работа против срока, в который следовало мне кончить ее.

Посылаю тебе перечень бумаг, находившихся в большом пакете, полученном мною от Антоновича. Дневники Добролюбова, разумеется, очень важны.

Мой Саша, вероятно, уж возвратился в Петербург. Устроился ли он с приисканием квартиры? Если нужны ему деньги, дай из своих и напиши мне. Повидимому, я могу без риска отказа просить у Солдатенкова, не стесняясь расчетом платы за работу. Злоупотреблять его расположением я, разумеется, не желаю; но, вероятно, не обойдется без того, чтобы мне стать должником его. Конечно, я надеюсь уплатить долг ему.

Прилагаю записку моему Саше.

Будь здоров, мой милый.

Оленька жмет твою руку.

Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

Узнал адрес новой нашей квартиры: угол Соборной и Знаменской, дом Карамышева.

1203

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

13 сентября 1888.

Милый друг Саша,

Очень долго я не писал тебе; все было недосуг; то же остается и теперь; но надобно же, наконец, послать тебе хотя несколько слов привета. Посылаю их.

Желаю тебе быть здоровым, мой милый; желаю тебе успеха в делах.

Пиши мне, мой милый, не смущаясь моей неисправностью в корреспонденции; извиняй ее недосугом.

Твоя мамаша целует тебя. Здоровье ее несколько поправилось.

Целую тебя, милый друг.

Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

1204

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

23 сентября 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Прошу Вас принять душевную мою благодарность за добрую внимательность, с какой исполняли Вы просьбы моей жены.

Вчера я отправил на Ваше имя окончание предисловия к X тому Вебера и начало перевода XI тома. Прошу извинения в промедлении моем с предисловием к X тому.

Благодарю за присылку XIII тома Вебера.

Прошу Вас, будьте добр, пришлите мне двести рублей и пошлите сто рублей Александру Николаевичу Пыпину, по адресу:

Петербург, Васильевский Остров, Средний проспект, дом № 29.

Прошу Вас также купить и прислать мне (малый) французский словарь Литтрé. (Есть большой словарь Литтрé; его заглавие: Dictionnaire de la langue française; он громаден и очень дорог; нужен не он, а малый составляющий извлечение из него.) Парижская цена этому малому словарю 15 франков. Заглавия его я не знаю с точностью; быть может, в заглавии упомянуто, что это извлечение из большого словаря сделал Вонжеан. — Прошу извинения, что затрудняю Вас просьбами.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

P. S. Мой новый адрес: угол Соборной и Знаменской, дом Карамышева.

1205

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

23 сентября 1888.

Добрый друг Иван Ильич,

Прилагаю деловое письмо на особом листике, а это пишу лично для Вас.

Моя жена очень благодарна Вам за внимательность к ее просьбам. Она посылает поклон Вашей супруге.

В чем состояла причина промедления моего с работой над предисловием к X тому Вебера, Вы, вероятно, угадывали: я заработался над приведением в порядок материалов для биографии Добролюбова. Без сомнения, Вы знаете, что я был другом его. Понятно, что мне трудно было покидать чтение его переписки и дневников для занятия другой работой; читая, делал я, само собою разумеется, пояснения; это потребовало много времени.

Перехожу к Вашим личным делам.

Я целый месяц промедлил ответом на Ваше письмо от 22 августа; конечно, по той же причине, по которой больше двух месяцев промедлил дописать предисловие к X тому Вебера.

Вы, по моему мнению, совершенно справедливо говорите о том, что романист, изображая быт какого-нибудь сословия, обязан не утаивать дурных сословных обычаев. Не отрицаю я и того, что в обычаях русского купечества есть очень много дурного. Я только полагаю, что оно в нравственном отношении не хуже русского чиновничества и лучше сословия, живущего в праздности на богатые доходы, получаемые без всякого труда. Но главное обстоятельство, по моему мнению, то, что в нашей литературе до сих пор было слишком мало говорено о купечестве с любовью, между тем как хорошие люди других сословий были изображаемы постоянно. Это несправедливость. Она извиняется тем, что беллетристы вообще имеют дело с купечеством лишь как покупщики товаров или искатели денег взаем, знают купцов лишь как купцов, а не как людей. Если иметь только деловые сношения с чиновниками, не иметь домашнего знакомства с ними, то разве будешь знать, что между ними много людей, достойных уважения и любви? О них будешь думать, как думают поселяне, будешь полагать, что все человеческое заглушено в них пошлостью и безжалостностью их ремесленной чиновнической деятельности. А на самом деле большинство их, помимо своих чиновнических занятий, заслуживает симпатии хорошими душевными качествами. Я говорю не об идеализировании русского купечества, а только о том, чтобы литература перестала несправедливо отказывать ему в уважении, в каком не отказывает другим сословиям. Думая о купечестве, порицая в своих мыслях дурные обычаи его, я помню, что купец не только купец, но и человек. Мне скажут: «нравы купечества грубы»; я отвечаю: «да; но нравы поселян еще гораздо более грубы; и однакоже каждый честный литератор говорит о поселянах с сочувствием, помнит, что под загрубелостью нравов сохраняются у большинства поселян добрые и благородные чувства». Мне скажут: «но большинство богатых купцов предается порочным наслаждениям»; я скажу на это: «а большинство богатых людей других сословий разве меньше предано всяким пошлым наслаждениям, менее кутит?» Пьяные пирушки купцов гадки; но не лучше купеческих дворянские и вельможские пирушки. Большинство купцов думает только о наживе; так, но и в других сословиях то же самое; да и не может быть иначе, пока остается слишком большое неравенство состояний. Положим, человек имеет 100 000 р. капитала и 10 000 р. дохода; этого было б очень достаточно ему, если бы не было рядом с ним человека, имеющего в 10 раз больше: но миллионер пользуется почетом; в человеке, имеющем 10 000 р. дохода, развивается желание приобрести такое же почетное поло-

жение; от этого и происходит неумеренность в любви к деньгам. Корыстолюбие лишь одна из форм честолюбия.

Впрочем, все это написал я только потому, что хотелось написать; а написав, я увидел, что мои рассуждения лишь повторение Ваших мыслей. Я совершенно согласен с Вами в понятиях об отношении честного писателя к быту, описываемому им.

Расхожусь я с Вами только в предположениях о том, какое достоинство будет иметь роман, который пишете Вы. Я нахожу, что Ваши сомнения напрасны; я уверен, что роман ваш будет хорош. Если у Вас написано хоть страниц 20 (по расчету журнального формата), этого достаточно, чтобы составить приблизительное понятие о характере целого; а если написано больше, то тем лучше, — разумеется, для ознакомления меня с достоинством этого Вашего труда. Прошу Вас прислать мне, не отлагая дела, сколько написано у Вас. Я не задержу Вашу рукопись, отправляю ее обратно к Вам через два, много через три дня по получении, так что она будет снова в Ваших руках менее чем через две недели после дня отдачи ее на почту для прочтения мне. Свои мысли о прочитанном сообщу Вам вместе с отсылкою рукописи Вам; на такое письмо у меня всегда найдется время; я бываю аккуратен в переписке, когда это нужно.

Давайте полную свободу изложению своих впечатлений и чувств; она — одно из условий хорошего рассказа; когда пишете, старайтесь забывать всякие сомнения в своих силах; я говорю это Вам потому, что Вы чужды тщеславной самоуверенности, обыкновенного порока писателей; Вам нет опасности впасть в ошибки, в которые вводит других эта слабость. Чем смелее будете Вы давать волю своим чувствам и мыслям, тем лучше будет Ваш роман. Прошу, пришлите теперь же, сколько написано Вами.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1206

Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

2 окт. 1888.

Милая Леночка,

Поздравляю Вас с новорожденным супругом. Желаю Вам походить на него округлостью форм.

Милый друг, примите совет человека, много занимавшегося гигиеническими вопросами. Приятны аплодисменты публики и прославление газет. Но здоровье драгоценнее славы. Поражаю Вас за поездку инкогнито в Вену и Милан ([читал] статью о Ваших концертах; там говорят о синьоре Cernischi; замечу, что артистическое имя выбрано Вами неудачно: псевдоним слишком прозрачен). Дать в 5 дней 8 концертов в Вене и 9 концертов в 6 дней

в Милане — это ужасающая меня трата сил. Будьте вперед бережливее на них.

Целую Вас, милая Леночка. Остроумие мое не очень остроумно. Так и быть. Будьте здорова, дружок.

[Без подписи.]

1207

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

[2 октября 1888.]

Милый Миша,

Советую тебе родиться не каждый год, а лет в пять раз; это будет значительным сбережением денег.

Но важнее этого совета моя просьба: пришли мне мои вырванные из «Современника» статьи. И если есть у тебя «Современник» 1854 и 1855 годов, — ты, кажется, говорил, что и эти годы есть в экземпляре, отданном тебе? — то пришли их; нет их, то не хлопочи доставить, обойдусь и без них.

Целую тебя. Жму твою руку.

Очень благодарю тебя за проезд ко мне. Твой *Н. Ч.*

1208

В. М. ЛАВРОВУ

3 октября 1888.

Глубокоуважаемый Вукол Михайлович,

Прошу Вас принять Александра Василевича Захарьина с таким же расположением, с каким приняли бы меня. Он самый давний и близкий мой друг. В годы, когда я жил далеко, он избавлял мое семейство от нищеты. Его заботливости обязан я и тем, что имею теперь средства к жизни.

Он вполне знает мои мысли.

Я просил его побывать у Вас, чтобы передать Вам всякие сведения обо мне, какие покажутся Вам надобными. Его слова Вы можете с полной уверенностью принимать за мои собственные.

Будьте здоров. Жму Вашу руку. Душевно преданный Вам *Н. Чернышевский.*

1209

И. И. БАРЫШЕВУ

14 октября 1888.

Добрый друг Иван Ильич,

Благодарю за деньги, посланные Вами 5 окт. Прилагаю расписку на особом листке.

Прошу Вас написать, чем Вы были нездоров и от чего произошла Ваша болезнь, от органического расположения или от случайной причины, и оставила ли она какие-нибудь следы.

Вероятно, Вы имеете хорошего врача-друга. Если же нет, то предложу Вам обратиться в случае надобности к моему другу Петру Ивановичу Бокову; он живет на Малой Дмитровке, в Успенском переулке, в собственном доме. Он очень добросовестный врач, имеющий большую опытность (доказательством его опытности может служить то, что он пользуется уважением и дружбой Сергея Петровича Боткина).

Жду присылки начала Вашего романа. Пишите смелее, отбрасывая всякие мысли, могущие стеснять свободу труда; это одно из условий успешности его.

Ольга Сократовна и я шлем свои приветствия Вашей супруге и Вам.

Будьте здоров. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1210

И. И. БАРЫШЕВУ

14 окт. 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Я получил посланные Вами мне при письме от 5 октября двести рублей (200 р.).

Прося Вас принять искреннюю мою благодарность, имею честь быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

P. S. Если это письмо будет получено Вами до посылки мне экземпляров X тома Вебера, то прошу послать мне вместо 10 экземпляров только шесть, а другие четыре экземпляра послать моему сыну Мих. Ник-чу, по адресу:

Петербург, Английский проспект, № 36.

Михаилу Николаевичу Чернышевскому.

1211

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

17 окт. 1888.

Милый друг Миша,

Благодарю тебя за присылку «Современника» 1847—1865 и ключа к сундуку, в котором присланы эти книги. Ключ я получил ныне; сундук уж давно что-то; транспортное общество, переславшее его, оказывается аккуратным, честным коммерческим предприятием, с которым можно иметь дело.

В твоих ли руках находится собрание моих статей, вырванных из присланного мне экземпляра «Современника»? Если в твоих, то можешь ли прислать мне его? Если это удобно для тебя, то прошу: пришли. Я хочу понемножку пересмотреть написанное мною в «Современнике», сделать выбор, присоединить примечания, — словом, сделать так, чтобы все было уж готово к изданию, когда станет возможно издать.

Вот еще ряд просьб:

Если найдешь удобным, побывай у Авдотьи Яковлевны Панаевой (по новой фамилии, Головачевой). Она еще недавно жила или в том самом доме, где живет твой дядя, Сергей Николаевич, или рядом, или напротив, через улицу. Ты знаешь, что она любила нас (она — твоя крестная мать) и верила искренности нашей любви к ней. Я пользовался тогда полным ее доверием. Сохранилось ли оно у нее? — Вероятно. Если увидишь, что да, то передай ей мою просьбу о позволении мне писать ей. Я хочу собирать материалы для биографии Некрасова. Ты скажешь ей об этом, если увидишь, что говорить с тобой о Некрасове не будет щекотливо для нее. Но вот другое мое желание, говорить о котором с тобой никак не может быть щекотливо для нее. Как нас, она очень любила и Добролюбова. Не сохранилось ли у нее писем его? Если сбереглись они, попроси прислать их мне. Я, сняв копию, возвратил бы их. Воспользовался б я ими для печати, разумеется, лишь в размере ее дозволения. Еще больше я просил бы ее написать воспоминания о Добролюбове.

Мне показалось при нынешнем свидании с Александром Васильевичем, что он очень грустен. Я сильно люблю его. Могу ли я написать Елене Васильевне о том, не будут ли полезны для его успокоения какие-нибудь мои советы, и в чем должны они состоять по ее мнению.

Если можешь, спроси у нее об этом.

Целую Вас, миленькая Леночка.

Целую тебя, Миша.

Жму Ваши руки. Ваш Н. Ч.

1212

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

20 окт. 1888.

Добрый друг Иван Ильич,

Рекомендую Вашему расположению моего молодого приятеля, Константина Михайловича Федорова, рукой которого написан почти весь перевод Вебера.

Я остался должен ему за помощь мне 45 р. Прошу Вас об уплате ему этого моего долга. Прилагаю записку в деловом тоне.

Константин Михайлович едет вынуть жребий по воинской по-

винности и пробудет несколько дней в Москве. Он страстный любитель живописи (и сам хорошо рисует). Если можете доставить ему позволение осмотреть галерею Кузьмы Терентьевича, мы с ним будем горячо благодарны Вам.

Он также любит театр (и был приятель со всеми хорошими артистами, какие в прошлые три-четыре года бывали здесь или которые играют теперь на здешнем театре). Если у Вас есть знакомцы в театральном мире, прошу Вас, познакомьте Константина Михайловича с ними.

О себе скажу Вам, что 25 числа пошлю на Ваше имя часть перевода XI тома Вебера.

Моя жена шлет приветствия Вашей супруге и Вам.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1213

А. Н. ПЫПИНУ

27 окт. 1888.

Милый Саша,

Давно я не писал тебе. И теперь, как видишь, пишу лишь несколько строк наскоро. Страшно запоздал с своей работой.

Миша с этой запиской передаст тебе 50 р. от Оленьки для нашего с нею Саши. Передаст и мою записку к нему.

Я начал писать биографию Добролюбова.

Отношения к «Русской мысли» установились у меня, против моего ожидания, хорошие.

У тебя столько же досуга, как у меня; потому довольно будет мне получить от тебя приписку в три строки при письме Миши. Напиши, здоровы ли все вы.

Я здоров. Здоровье Оленьки не очень хорошо. Она целует ваших детей, шлет свои приветствия Юленьке и тебе.

Целую и я детей. Целую руки Юленьки. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

1214

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[27 октября 1888.]

Поздравляю Вас, миленькая Леночка, с именинником, а тебя, приятель Миша, с именинами.

Страшно недосуг мне изливать свои чувства на бумаге.

Передай прилагаемые записки твоему дяде, Александру Николаевичу, милый Миша.

Целую тебя и Вас, Леночка. Ваш *Н. Ч.*

1215

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

27 октября 1888.

Милый друг Саша,

Извини, что давно не писал тебе. Я страшно запоздал в моей работе.

Ты хорошо сделал, что прислал 45 р., оставшиеся у тебя из полученных за продажу моей книжки. То, что часть полученного употребил на свои надобности, было необходимо для тебя, потому одобряется нами.

Твоя мамаша целует тебя.

Желаем тебе здоровья. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

1216

М. И. ПОПОВУ

2 ноября 1888.

Добрый друг Михаил Иванович,

Ольга Сократовна благодарит Вас за предложение ложи, но, к большому своему сожалению, не может воспользоваться им в такую холодную погоду, она простудилась бы в театре и занемогла бы на много дней, быть может на всю зиму. Ей очень досадно, что она не может видеть Вашу пьесу: ей очень хотелось быть свидетельницей Вашего успеха и первой поздравить Вас с ним. Она шлет Вам свои приветствия и поклон Ивану Васильевичу. Я тоже кланяюсь ему и жму Вашу руку, вперед поздравляя Вас с успехом. Ваш *Н. Чернышевский.*

1217

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[8 ноября 1888.]

Поздравляю Вас, милая Леночка, с днем Ваших именин (так, я полагаю? — Миша и Вы одно и то же).

Кстати, поздравляю и тебя, приятель.

Будьте здоровы. Целую вас. Ваш *Н. Ч.*

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

9 ноября 1888.

Добрый друг Иван Ильич,

Прилагаю на особом листе свое удостоверение в правильности счета, присланного мне Вами в письме от 25 окт. Я не спешил отправить к Вам это удостоверение, полагая, что Кузьма Терентьевич и Вы имеете только формальную надобность в нем, а для действительных Ваших мыслей оно вовсе не нужно, по Вашей уверенности в том, что мои чувства к Кузьме Терентьевичу и к Вам состоят в благодарности за Вашу готовность исполнять мои просьбы и в желании доказать когда-нибудь Вам и ему мое умение ценить Ваше и его доброе расположение ко мне.

Я медлил послать это удостоверение Вам до того, чтобы прибавить к нему уведомление о получении мною посланных Вами мне около 25 октября книг. Но они все еще не пришли сюда. Не беспокойтесь об этом: придут же когда-нибудь, не затерялись же они на почте, а только залежались где-нибудь по недосмотру.

А на недосмотр какого-нибудь почтового чиновника я не имею права претендовать, потому что превосхожу искусством в делании недосмотров всю почтовую команду в совокупности. Я отправил вчера на Ваше имя продолжение перевода XI тома Вебера и через несколько часов увидел, что, по недосмотру, при завертывании посылки оставил невложенным в нее двойной лист, которому следует быть первым в отправленном куске перевода.

Необходимость поспешить отправлением этого двойного листа и была причиной, что я сел теперь писать Вам; без того, вероятно, молчал бы еще несколько дней.

Благодарю Вас за расположение, с каким приняли Вы моего молодого приятеля Федорова. — P. S. Сейчас мы получили от него телеграмму, что он свободен от военной службы и что у него нет денег. Если обратится к Вам с просьбой о них, прошу Вас дать ему. — P. P. S. Мы посылаем ему телеграмму, чтоб он обратился к Вам.

Вчера я получил Ваше письмо от 3 ноября, уведомляющее, что Вы на-днях пошлете мне деньги. Это было написано Вами раньше получения моей телеграммы с просьбой о деньгах, и тем больше я благодарю Вас за заботливость обо мне.

По поводу Вашей жалобы на зубную боль спрошу Вас, знаком ли Вы с каким-нибудь действительно хорошим зубным врачом. Если нет, то советую Вам обратиться к Николаю Николаевичу Знаменскому. Его адрес:

Никитский бульвар, дом Чистякова.

Он был рекомендован Ольге Сократовне при ее поездке в Москву, как один из лучших (или даже самый лучший из всех)

зубных врачей московских. Рекомендация была дана одним из лучших терапевтов Москвы, и оправдалась.

Ольга Сократовна шлет свои приветствия Вашей супруге и Вам.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1219

И. И. БАРЫШЕВУ

9 ноября 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Честь имею уведомить Вас, что счет, находящийся в Вашем письме ко мне от 25 окт[ября] и образующий сумму 479 р. 35 к., взятую мною от К. Т. Солдатенкова сверх платы, следовавшей мне за перевод X тома «Всеобщей истории» Вебера, согласен с моим собственным счетом и потому принимается мною.

С истинным уважением имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1220

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

11 ноября 1888.

Милый друг Миша,

Благодарю тебя за исполнение моих просьб.

Два дня тому назад я получил посланный тобою сборник моих статей. Я уж начал перечитывать их. Когда обработаю для издания, возвращу сборник тебе. Но это будет очень не скоро, потому что у меня много другой работы, которая не допускает отлагательства, так что обработкой собрания своих статей я могу заниматься лишь в мелкие обрывки времени, не пригодные для других работ по своей краткости.

Ты оказал мне также большую услугу, побывав у Авдотьи Яковлевны. Прилагаю письмо к ней; прошу, передай. Прочти сам, чтобы знать, о чем именно будет думать она, разговаривая с тобой по поводу этого письма. Прочитав, разумеется, запечатаешь.

Милый мой, будут у меня к тебе и другие просьбы, когда хоть немножко управлюсь с безотлагательной работой, которая у меня сильно поотстала от сроков, по каким следовало итти кускам ее.

Целую Вас, милая Леночка.

Будьте здоровы оба. Жму Ваши руки. Ваш *Н. Ч.*

Сообщи мне адрес Авдотьи Яковлевны.

P. S. Из письма к Авдотье Яковлевне ты увидишь, милый Миша, что я излагаю ей, как мои предположения и просьбы, те

мысли, которые ты дал мне своим письмом о разговоре с нею. Я приписываю эти мысли себе самому, чтобы, во-первых, ты видел мое полное согласие с ними, во-вторых, чтобы за тобой оставалась свобода видоизменять или пополнять их, как найдешь надобным по ходу своих дальнейших разговоров с Авдотьей Яковлевной, и при этом иметь уверенность в моей готовности принимать твои соображения за правильные, которые следует мне усвоивать.

Благодарю тебя еще раз. Твой *Н. Ч.*

1221

Е. Я. ГОЛОВАЧЕВОЙ (ПАНАЕВОЙ)

[11 ноября 1888.]

Милостивейшая государыня Авдотья Яковлевна,

Я надеялся, что мое двадцатипятилетнее молчание не приводило Вас к сомнению в том, сохраняется ли во мне прежняя преданность Вам. Я был счастлив, узнав от моего сына, что эта надежда не обманула меня.

Переданные моим сыном Ваши слова возбудили во мне предположение, что Вы не найдете неудобным получать письма от меня и, в случаях возможности для Вас, отвечать на просьбы, какие будут находиться в них.

Мой сын говорил, что Вы пишете Ваши воспоминания. Вы исполняете этим обязанность относительно русской публики, развитию честных понятий в которой так много содействовало Ваше влияние на русскую литературу. Вероятно, некоторые места Ваших мемуаров не вполне соответствуют понятиям о многих деятелях нашей литературы, господствующим в настоящее время; и, быть может, Вы встретили бы со стороны какого-нибудь периодического издания затруднения печатать эти места. Если бы случилось так, прошу Вас поручить мне напечатание их. Если это составило бы книгу, то смею Вас уверить, что с радостью издаст ее К. Т. Солдатенков; если ж эпизоды, о напечатании которых поручили бы Вы позаботиться мне, имели бы размер не книги, а журнальной статьи, то их с удовольствием напечатало б одно из тех изданий, которые не отказываются иметь литературные сношения со мною.

Моя жена, всегда горячо любившая Вас и сохраняющая это чувство, благодарит Вас за расположение, с каким приняли Вы нашего сына — помните ль Вы? — Вашего крестника, и посылает Вам приветствия своей любви.

С тем же чувством, какое имел к Вам в годы моей молодости, делую Ваши руки. *Н. Чернышевский*

1222

И. И. БАРЫШЕВУ

19 ноября 1888.

Многоуважаемый друг Иван Ильич,

Благодарю Вас за то, что Вы устроили план присылать мне деньги каждый месяц, отправляя их в определенное число; это удобнее для меня; я давно хотел просить Вас устроить так, но для меня было невозможно начать речь об этом.

Прилагаю расписку в получении 250 р., посланных мне Вами 8 ноября.

Во вторник (22 ноября) пошлю Вам еще кусок перевода XI тома Вебера.

Французский словарь, о котором я просил Вас, получен мною. Он тот самый, который желал я иметь.

Экземпляры X тома Вебера еще не дошли до меня. Если посылка эта затерялась на почте, то прошу Вас: во-первых, не спешить справками о ее судьбе, дело терпит всякую отсрочку, а во-вторых, когда окажется, что эти 10 экз. действительно пропали на почте и когда найдете досуг послать мне другие, то не присылайте так много; я прошу Вас делать так: присылайте мне по два экземпляра и по четыре экземпляра моему сыну Михаилу Николаевичу Черн-му, в Петербург, адреса: Петербург, Правление Закавказской железной дороги. Итого, вместо десяти экземпляров, назначайте мне только шесть.

Как Ваше здоровье? И подвигается ли Ваш роман вперед?

Жму Вашу руку.

Жена моя свидетельствует свое уважение Вашей супруге и Вам. Ваш *Н. Чернышевский*.

1223

И. И. БАРЫШЕВУ

19 ноября 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,

Деньги, посланные мне Вами при письме от 8 ноября, двести пятьдесят рубл., я получил.

Прошу Вас принять искреннюю мою благодарность за Вашу добрую заботливость об исполнении моих желаний.

С истинным уважением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1224

И. И. БАРЫШЕВУ

22 ноября 1888.

Добрый друг Иван Ильич,

Извините, что сделал своей рассеянностью затруднение Вам. Отправляя кусок перевода, следовавший за кончающимся по нумерации листом цифрой 465, я забыл положить листы 466, 467. Отдав посылку на почту, я увидел эти листы оставшимися у меня, и послал их Вам с следующей почтой заказным письмом. Из Вашего письма от 15 ноября вижу, что Вы не получили этого заказного письма. Пошлю с следующей почтой (в четверг, 24 ноября) новый перевод недостающего текста, бывшего на затерявшихся листах 466, 467. (Если до того дня не получу уведомления, что они дошли до Вас.)

С нынешней почтой я отправил на Ваше имя еще кусок перевода, листы 655—828. В приложенном обозначении посылаемого я прибавил, что следующий кусок надеюсь послать 8 дек.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

Моя жена посылает свои приветствия Вашей супруге и Вам.

1225

К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ

24 ноября 1888.

Милостивый государь Кузьма Терентьевич,

Вчера я получил от Александра Васильевича Захарьина письмо, поставившее меня в необходимость утруждать Вас настоящим моим письмом.

Около 15 ноября мною было получено от Ивана Ильича письмо, которое переписываю здесь все от первой буквы до последней: «Многоуважаемый Николай Гаврилович, при сем посылаю Вам двести пятьдесят (250 р.), каковая сумма Вам будет высылаться каждого месяца первого числа. О получении Вами этих денег прошу почтить меня Вашим уведомлением. Глубоко Вас уважающий И. Барышев.

Москва, 8 ноября 1888 года».

Я был удивлен таким оборотом Ваших отношений ко мне; но смысл дела был ясен. Я задолжал Вам; по расчету платы за перевод последнего вышедшего (X) тома Вебера я остался должен Вам около 480 р. Ясно было, что Вы нашли опасным продолжать прежнюю систему Ваших денежных отношений ко мне, состоявшую в том, что сколько когда я просил у Вас денег, столько и было немедленно выслано мне от Вас. Я не мог не рассудить, что

это Ваше соображение имело вид основательности по чрезмерности моих просьб к Вам о деньгах. (Чрезмерность их с той точки зрения, на которую Вы, как мне казалось, стали.) Поэтому я был не вправе досадовать на Ваше решение присылать мне не более как по 250 р. в месяц.

Прибавлю: Вы были бы, по моему мнению, совершенно правы передо мною, если бы приняли решение вовсе не присылать мне денег, пока я не покрою своей работой мой долг Вам. Потому я обязан был найти великодушным Ваше решение присылать мне, намеревшемуся обворовать Вас, такую большую сумму ежемесячного подаяния, как 250 р.

В действительности, у меня не было намерения обворовать Вас; я рассчитывал, что продажу книги, которую готовил я с Вашего согласия для издания Вам (именно «Материалы для биографии Добролюбова»), покроется с избытком мой долг Вам. Мне казалось, что и Вы должны были знать это. Но это лишь мои слова, что я имел такой расчет; а верить им Вы не были обязаны и я не вправе был иметь претензию за то, что Вам показалось, будто Вы имеете дело с вором. Я должен был только иметь признательность к Вам за Ваше решение присылать мне подаяние.

Я имею правилом высказывать признательность в таких выражениях, которые не оставляли бы никакого сомнения в том, что я признателен вполне, без малейшей примеси недовольства.

Так я и сделал в ответе Ивану Ильичу на его письмо от 8 ноября, уведомлявшее меня, что мне будет присылаемо по 250 р. в месяц. Я не ограничился словами, что я признателен; они еще оставляли бы сомнительным, приятно ли мне Ваше решение; я прибавил, что оно вполне соответствует моему желанию и что я сам хотел просить Вас о том, что Вы решили без моей просьбы.

Потребуйте от Ивана Ильича мое письмо, служащее ответом на его письмо от 8 ноября и прочтите внимательно, потрудитесь найти хоть малейший след моего недовольства Вашим распоряжением. Не найдете.

Мог ли я на самом деле быть доволен им? Потрудитесь сообразить смысл Вашего решения, оставшийся непонятным для Вас, но теперь ставший для Вас ясным, я надеюсь. Вы поступили со мною, как с человеком, намеревавшимся обворовать Вас. Это оскорбительно. Но я сам напросился на оскорбление, прося у Вас денег вперед; потому сам был виноват в получении оскорбления и, следовательно, должен был перенести его терпеливо. Это было и легко для меня, потому что я равнодушен к сомнениям в моей честности. Голос русской публики дает мне право быть равнодушным к ним.

Итак, до вчерашнего дня я считал Вас принявшим предосторожность против вора.

С получением письма Захарьина я увидел, что дело произошло вовсе не так, как выказывалось произошедшим по смыслу Вашего

распоряжения. Я увидел, что Вы не понимали, что такое сделали Вы; я увидел, что Вы были одурачены наглостью человека, которого ум расстрсен пьянством.

Александр Васильевич Захарьин лет тридцать был мой приятель (то есть льнул ко мне, как банный лист). Он оказывал мне много услуг. Хотел и теперь оказать услугу, прося Вас от моего имени помочь мне составить капитал! — мне! — составить капитал! — как будто я нуждался бы в его ли, в Вашей помощи, чтобы стать богатым человеком, если бы хотел!

Намерение его оказать услугу мне было прекрасно. Но по расстройству ума от пьянства он не разобрал, что не имел ни малейшего права говорить с Вами о чем бы то ни было, относящемся ко мне; и говорил Вам то, что говорено было Вам обо мне, как видно из его письма, полученного мною вчера, он наносит мне оскорбление, которого я не могу простить.

Честь имею уведомить Вас, что с минуты прочтения его письма, полученного мною вчера, прекращены всякие сношения мои с г. Захарьиным.

Если по Вашему мнению должно быть послано ему уведомление, что я прекратил всякие сношения с ним, то потрудитесь уведомить его об этом Вы. Правила чести не позволяют мне писать ему.

Я предполагаю, что Вы будете оскорблены этим моим письмом. Очень жаль. Но вольно ж Вам было не разобрать, что с Вами говорит человек полупомешанный и говорит нелепицу с примесью гнусной клеветы, которая могла быть выдумана только полупомешанным.

Сообразно этой вероятности закончу изложением моих мыслей об уплате долга Вам. — Месяца через четыре мои денежные дела устроятся. К тому времени я буду должен Вам около 1750 р. Но между тем выйдет перевод XI тома Вебера. По Вашему великодушному счету платы мне, сумма ее за эту часть перевода составит, вероятно, рублей 1200. Итак, я останусь должен Вам, вероятно не менее 550 р. Я прошу Вас быть попрежнему великодушным и подождать, пока я получу возможность уплатить Вам этот долг.

До вчерашнего дня не предвидел я такой развязки наших отношений. Глубоко жалею о том, что наглая лож полусумасшедшего пьяницы сделала ее единственно вероятной.

И с прежним чувством душевной благодарности Вам за Ваше доброе расположение ко мне, давшее, с большим денежным убытком для Вас, возможность мне безбедно прожить более трех лет, смею Вас уверить, что мне грустно сказать Вам: с вором, со мною, Вы могли бы иметь дело; к подозрению в воровстве я равнодушен; но Вы поверили клеветам, которых я не могу принимать равнодушно, потому простите.

1226

И. И. БАРЫШЕВУ

24 ноября 1888.

Милостивейший государь, Иван Ильич,
 Благодарю Вас за присылку «Указателя» к Веберу.
 Адрес составителя «Указателя»:
 Нижний Новгород,
 Контора пароходства Зевеке.
 Илариону Галактионовичу Короленко.
 Прошу Вас принять уверение в моем глубоком уважении. Ваш
Н. Чернышевский.

1227

И. И. БАРЫШЕВУ

24 ноября 1888.

Добрый друг, Иван Ильич,
 Несколько дней тому назад я получил письмо, рассказывавшее мне о проделке полусумасшедшего пьяницы Захарьина. По соображениям, которых не могу сообщить Вам, я не мог сделать должного употребления из этого письма. Автор его, без сомнения, немец, не умеющий писать по-русски. Я предполагаю, что это Johann Steinbach, профессор московской консерватории. Я глубоко благодарен ему.
 Но я не мог воспользоваться сведениями, сообщенными им мне. Потому молчал. Вчера я получил письмо от Захарьина, с дурацким удовольствием излагающее его проделку.
 Пользуясь письмом Захарьина, я отправляю с этой почтой письмо к К. Т. Солдатенкову.
 Вот содержание моего письма к нему.
 Извините, Иван Ильич, что утруждаю Вас чтением того, до чего Вам, собственно говоря, не должно быть никакого дела. Но так как Вы были посредником между мною и К. Т-ем, то я считал своей обязанностью сообщить Вам, по какому случаю прекращаются мои отношения к нему.
 Как видите, я веду счет долга в предположении, что он станет присылать мне по 250 р. в продолжение 4 месяцев. Не захочет, то тем лучше. Но и без отказа от них мое письмо к нему достаточно оскорбительно.
 Будьте здоров. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский.*

1228

А. Н. ПЫПИНУ

2 дек. 1888.

Милый друг Сашенька,

Ты не писал ко мне несколько месяцев по недосугу, говоришь ты в письме от 24 ноября. И я тоже что-то давно не писал тебе; по той же причине. Но у меня работа не срочная, всегда могу приостановить ее, чтобы заняться чем надобно другим; потому отвечаю на твое письмо немедленно по его получении.

Превосходно ты сделал, что не поленился приучить себя диктовать. — Хороший будет труд твой этнографический сборник. Он сильно двинет вперед этнографию.

Хорошо сделал Стасюлевич, что попросил тебя передать мне его сожаление о недоразумении, по которому поместил он в «Вестнике Европы» насмешку надо мною. Без того, он мог бы получить от меня печатное наизидание. Теперь я не сделаю этого. Скажи ему, что я не сержусь.

Благодарю за указание материалов для биографии Добролюбова. Работа над ней заняла у меня уж много времени. Займет еще больше. У меня образовалась маленькая канцелярия: с утра до ночи сидят и переписывают письма и бумаги Добролюбова и его родных и друзей два молодые человека; часто помогает им третий. Видишь ли, я не могу портить и подвергать риску пропачки отсылкой в типографию находящиеся у меня в присланных тобою кипах бумаг ненапечатанные статьи Добролюбова; в типографию будет послана копия с них. О письмах Добролюбова и к нему это разумеется само собой. Потому переписывать пришлось массу бумаги. Это теперь сделано больше чем наполовину. Копии надобно сличать с подлинником. Я не мог вверить этого дела никому, обязан был сличать сам. Когда все это кончится, не умею определить. Но некоторые отделы черновой работы уж получили законченность, пригодную для переработки набело. Я на-днях послал в «Русскую мысль» один из них; это — очерк отношений Добролюбова к отцу и матери по отъезде его в Петербург, и картина душевного потрясения, произведенного в нем смертью матери. Если публика найдет, что это интересно, буду посылать в «Р. мысль» отдел за отделом. Разумеется, напечатаю в журнале только часть книги, другая должна оставаться новизной в книге, чтобы книга была покупаема.

Ты пишешь, что Захарьин бывает у тебя и рассказывал тебе о своей поездке ко мне и т. д. Это заставляет меня рассказать тебе о перемене, произошедшей в моих отношениях к нему.

Он прожил у меня несколько дней; был постоянно грустен; излагал мне причины грусти. Одна из них — безденежье;

другая — угнетенное положение в семействе: жена обижает его, хочет держать под башмаком; она злая женщина, мучит его с утра до ночи. Я, с обыкновенной моей деликатностью в подобных случаях, объяснял ему, что его жена (Елена Васильевна, которой я в глаза не видывал, но о которой знаю, что она умная и хорошая женщина) совершенно права, что он должен исправиться; перестать пьянствовать, сорить деньгами и шалберничать, тогда и тоска его пройдет. Были часы, когда он говорил несколько бессвязно; но этот недостаток связи в мыслях не проявлялся резко, был едва заметен; и я приписывал его смущению от моих — правда, деликатных, но настойчивых — разъяснений, что ему следует перестать пьянствовать и бездельничать. — Он говорил, что будет в Москве у Солдатенкова, просил поручений к нему. Я сказал, что поручений к Солдатенкову у меня нет для него никаких, о чем нужно, я сам пишу Солдатенкову. «Я прошу вас познакомиться меня с Лавровым (издателем «Русской мысли»). Я должен прожить несколько времени в Москве; мне нужно будет развлечение. Дайте рекомендательное письмо к Лаврову». — «Извольте, дам». — «Дайте какие-нибудь поручения к нему». — «Никаких поручений у меня к нему нет». — «О чем же я буду говорить с ним?» — «Ни о чем, кроме того, что я уважаю его и признателен к нему». — Я написал Захарьину рекомендательное письмо к Лаврову; в письме говорил, что те мысли и чувства, которые передаст от меня Захарьин, действительно мои мысли и чувства.

Захарьин собирается ехать. Я провожаю его на пароход. Сидим на пароходной палубе; кругом нас публика. Разговор между нами идет, разумеется, индифферентный, во всеуслышание. Последний свисток. Я прощаюсь, иду с парохода. Захарьин провожает меня. У мостков с парохода останавливается и, отводя меня в сторону от верхнего конца мостков, говорит: «Я скажу теперь, для чего я приезжал к вам. Я приезжал проститься. Я чувствую, что схожу с ума, и я решил убить себя, чтобы не жить сумасшедшим». — Матросы, стоящие у верхнего конца мостков, говорят мне: «Господин, просим вас не задерживать нас; вы видите, мы взяли край мостков, сдвинуть с парохода». Я говорю Захарьину: «Я напишу вам письмо; скажите ваш адрес в Петербурге». — «У меня нет адреса в Петербурге». — «Если так, то я напишу вам по адресу Елены Васильевны, который сообщает мне мои петербургские родные», — говорю я и ухожу с парохода; мостки снимаются, когда я ступаю с них на помост пристани, и пароход, ждавший только моего удаления с него, двигается в путь.

Возвратившись домой, я написал Мише, что прошу его побывать у Елены Васильевны Захарьиной и спросить у нее инструкцию для меня, какие советы я должен, по ее мнению, дать ее мужу; что скажет она, то я и напишу ему, как свое личное мнение.

Через несколько времени я получаю от Захарьина письмо; переписываю здесь начало; прошу знать, что переписываю с буквальной точностью:

«5 ноября 88. СПбург. Глубокоуважаемый Николай Гаврилович. Вырвавшееся признание мое при прощании нашем на пароходе не давало мне покоя довольно долгое время; до сих пор я не говорил об этом никому из своих близких. Во время припадков особенного нервного расстройства я обыкновенно убегаю из дому, чтобы никто не замечал этого. Признаки болезни проявляются в созидании особого воззрения на жизнь, воззрения, нисколько не схожего с обыкновенными мыслями человеческими; в особой раздражительности, если близкие мне люди не соглашаются с моими понятиями; в отсутствии памяти; а главное — в сильнейшем стремлении к самоубийству. Когда проходит пароксизм, продолжающийся иногда дня два-три, я делаюсь опять человеком, как и другие, и забываю совершенно пункт тех воззрений, на которых эти два-три дня...» (совершенно как пьяница).

Далее он говорит, что лечится бромом.

Затем он говорит, что был у Солдатенкова, что Солд. согласен издавать русскую переработку словаря Брокгауза, что побывает у Суворина и спросит, не думает ли он издавать такую же переделку. (Опасаясь, не наговорил ли он мерзостей от моего имени Суворину и Лаврову. Но это не имело бы важности. Отношений к Лаврову я не разорву, отношений к Суворину не желаю иметь.)

Я не мог отвечать ему, потому что еще не получил инструкции от Елены Васильевны.

Дня через три я получил от Барышева (заведывающего денежными отношениями Солдатенкова ко мне) письмо, существенные слова которого переписываю:

«При сем посылаю вам 250 р., каковая сумма будет вам высылаться каждого месяца первого числа. Москва, 8 ноября».

Это было ответом на телеграмму, которою я просил Барышева прислать мне 300 р.

Перед этой высылкой денег я оставался должен Солдатенкову по балансу счета работы до конца X тома Вебера 480 р.

Дело казалось ясно: Солдатенков рассудил, что я обижаю его и что надобно положить пределы моей алчности.

Он имел полное право сделать распоряжение, которое сделал. Я не имел права выражать недовольства; и в ответе Барышеву, уведомляя о получении 250 р., выразил благодарность Солдатенкову за распоряжение, совершенно соответствующее моим желаниям.

Через несколько дней я получил от Захарьина письмо на немецком языке.

На немецком оно написано для того, чтобы не могла прочесть его Ольга Сократовна; он, как видно, воображает, что она распечатывает письма, адресованные не на ее, а на мое имя.

Прочитав, я сел и написал Солдатенкову письмо, копию с которого прилагаю для тебя.

Письмо Захарьина, о котором идет в нем речь, я не хочу переписывать, потому что оно состоит в перенесении на меня склонности Захарьина к приобретению капитала; эта клевета омерзительна мне, потому избавляю себя от неприятности вновь читать и воспроизводить своею рукою ее. Сообразно такому понятию обо мне, Захарьин просил Солдатенкова от моего имени сделать некоторые распоряжения, сводящиеся в общей сложности своей к тому распоряжению, которое изложено в письме Барышева от 8 ноября ко мне.

Ты, быть может, найдешь мое письмо к Солдатенкову смесью грубости с лакейством. Это все равно. Так я всегда писал, потому что не умею писать иначе.

Уведомляя Барышева о том, что мои отношения к Солд-ву прекращаются и сообщая ему существенные места моего письма к Солдатенкову, я прибавил: «счет моего долга Солд-ву 1750 р. составлен по предположению, что он будет присылать мне в продолжение четырех месяцев по 250 р.; если он захочет не присылать, то тем лучше; я хотел написать ему, чтоб он больше не присылал мне денег, но рассудил, что и без этого отказа мое письмо к нему достаточно оскорбительно».

Эти слова из письма к Барышеву я привожу по памяти, потому не с буквальною точностью.

А относительно моего лакейства я не стесняюсь писать по старинным формам утрированной вежливости, к которым привык. Лакей ли я, или нет, вопрос индифферентный для меня, как и вопрос о моей честности. Другое дело, вопрос о том, желаю ли я нажить капитал. В этом желании нет ничего бесчестного; потому публика может допускать, что я имею его. Такого подозрения я не могу оставить на себе.

Поясню тебе, в чем состоит смысл моих слов, что я не нуждался бы в помощи Солдатенкова, чтобы стать богатым человеком, если бы хотел.

Разве не от моего желания зависело стать управляющим золотыми приисками Базанова, с жалованьем 50 000 р. в год?

И разве не от моего желания зависит войти в сношения с домом Ротшильдов? Я надеюсь, что мои советы были бы оценены им не в десятки тысяч рублей. Я умею получше дипломатов, советами которых руководятся банкиры, предвидеть, на понижение или на повышение следует вести биржевую игру. Правительства знают об этом только мелочи. Крупные повышения и понижения производятся ходом событий, основной характер которого забывают они из-за мелочей.

Кстати, о золотых приисках. В одном из моих писем из Сибири к кому-то из вас, — к тебе ли, или к Ольге Сократовне, не помню — есть выражение, что по окончании срока моего пребы-

вания в Нерчинском округе я буду получать большой доход от «золотых рудников»; это метафорическое выражение, вынужденное невозможностью употребить прямой термин «от моего литературного таланта»; я воображал тогда, что немедленно по окончании срока каторги и перечислении меня в разряд поселенцев я получу право продолжать мою литературную деятельность с моей подписью под статьями и романами.

Возвращаюсь к делу. У меня теперь нет денег на содержание Саши. Если нет у тебя, то займи для выдачи ему.

Ольга Сократовна жмет руки Юленьки, тебе, Федору Густавовичу. Целует твоих детей. Я целую вас всех. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1229

И. И. БАРЫШЕВУ

3 дек. 1888.

Добрый друг Иван Ильич,

Я был очень рад, что Вы дали мне случай оказать Вам услугу.

Я получил Ваше письмо о покупке ковра во вторник вечером, 29 ноября. В среду не мог выйти из дому, не по недосугу (у меня всегда все время в моем свободном распоряжении), а по нездоровью моей жены (поправившейся на другой день). В четверг пошел к персиянину, у которого были куплены те ковры. Он сказал, что совершенно хорошо помнит красный, — «как будто он перед глазами у меня» — и что у него есть ковер того же рисунка и требуемого размера; но в кладовой, надобно искать; это долго; найдет к утру завтра. — У меня нет денег; я хотел спросить цену и написать Вам, чтобы Вы прислали. Я сказал: «Найдите; мне пришлют деньги через две недели; тогда я куплю». — «Возьмете теперь, заплатите после». — «Благодарю вас; дам расписку в обязанности уплатить». — «Расписки не возьму; не нужно». — А надобно сказать, что он лишь видывал меня несколько раз в магазине одного из моих знакомых и раз в своем магазине тогда, при покупке ковров Грачевым. — На другой день (вчера, в пятницу) ковер был найден; длина та самая, какая требовалась Вами, 3 аршина; ширина на $3\frac{1}{2}$ вершка меньше написанной Вами (не 2 арш., а только 1 арш. $12\frac{1}{2}$ в.). Я рассудил, что недостаток ширины не важен. Вы писали: купленный (красный) ковер оказался короток и поэтому к нему нужно прикупать маленький, в 2 арш. ширины и 3 длины; если таких нет, то $2\frac{1}{2}$ арш. ширины и 3 длины; если таких нет, то $2\frac{1}{2}$ арш. ширины и чуточку будет подлиннее, не беда». — «Чуточку» подлиннее — то есть точное соответствие меры по длине важнее, чем по ширине; да и без того ясно, что ковер нужен, чтобы быть приложенным своей длиной к краю прежнего по ширине; а при таком

назначении $3\frac{1}{2}$ вершка недостачи в его ширине дело незаметное. Ковер того рисунка 2 аршина длины если б и нашелся, по моему соображению, не годился бы, потому что его длина была бы много больше требуемой, коймы не подошли бы в меру. Итак, я попросил моего нового приятеля зашить ковер для отдачи на почту. Посылки, принимаемые в пятницу, лежат здесь до воскресенья; потому я не стал торопить моего приятеля обшивкой ковра вчера же, предпочитая, чтоб он сделал обшивку не спеша, получше; если б и отдать посылку вчера, она пошла бы все равно с нынешними (здесь посылки отправляются лишь в день, следующий за днем приема, а принятые в пятницу лишь вместе с субботними, в воскресенье).

Пересылка через контору транспортов стоила бы 3 р. 50 к., до Москвы посылка дошла бы — когда? — «Через двадцать дней по отправлении». — А отправление было бы когда? Завтра? — «Когда соберется партия товара, мы посылаем партиями, а не особыми мелкими посылками». — Когда же соберется партия? — «Через неделю, вероятно, соберется». — Я рассудил, что промедление в получении требуемого будет для покупающего ковер более неприятно, чем лишний расход рубля в три при отправлении ковра по почте.

Итак, иду взять ковер и сдать на почту.

Цифры впишу по окончательному определению цены ковра и по уплате денег на почте, потому они будут, вероятно, не тех чернил, как письмо.

Цена ковра 18 р.

Плата почте 2 р. 90 коп.

Попросите покупателя ковра извинить мне ошибки, если я сделал какие-нибудь ошибки при исполнении его желания.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

Р. S. Жена шлет свои приветствия Вам и Вашей супруге.

Р. P. S. Итак, отправление по почте обошлось даже дешевле, чем взяла бы транспортная контора.

1230

К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ

8 декабря 1888.

Милостивейший государь, Кузьма Терентьевич,

Спешу отвечать на благородное письмо Ваше ко мне от 1 декабря.

Само собою разумеется, что я своими прежними письмами к Вам вовлек Вас в доверие к словам А. В. Захарьина, будто я передаю Вам через него мои просьбы; потому в недоразумении, за которое я винил Вас в моем письме от 24 ноября, виноват был

исключительно я же сам; Вы совершенно справедливо говорите это.

Прибавлю: когда я писал то письмо мое, совершенно противное моему — неизменному и тогда — чувству благодарности Вам, я превосходно знал, что несправедливо выставляю Вас виноватым в том, в чем виноват исключительно я.

Но по обязанности, мотивы которой я не имею права открывать Вам ли, или кому бы то ни было, хотя бы ближайшим родным моим, я должен был сделать так. Мне было тяжело выказывать себя перед Вами несправедливым, неблагодарным и злым, но того требовала от меня обязанность более важная, нежели мое нежелание выказывать себя перед Вами дурным человеком. Я исполнил ее.

Прошу прощения у Вас в том, что для ее исполнения написал я Вам неприличное, несправедливое, неблагодарное письмо.

Я был уверен, что оно заставит Вас, в справедливом негодовании на меня, прервать всякие сношения со мной. Вы поступили иначе. Тем больше чести Вашему благородству.

Ваше доброе расположение ко мне давало мне средства жизни. Я был убежден, что прекращаю это моим письмом от 24 ноября. Но, подвергая себя, жену и (старшего) больного сына, неспособного кормить себя своим трудом, неприятностям нужды в деньгах на довольно долгое время (пока нашел бы новые средства к жизни), я имел в денежном отношении и отрадное чувство: мне было приятно, что прекращаются денежные потери, которым подвергал я Вас.

Буду говорить о Ваших и моих денежных средствах без церемонии. Ваши доходы много больше моих. Тот убыток, какой делал я Вам своим переводом Вебера, не кажется для Вас большим, потому что Ваши средства позволяют Вам считать убытки такого размера маловажными. По Вашему масштабу величины денежных счетов это и действительно так, я согласен. Но с моей точки зрения это не так; во-первых, мой масштаб денежных величин не тот, как Ваш; во-вторых, если б убыток, делаемый мною Вам, был невелик и по моему масштабу, все-таки мне было бы тяжело, что для приобретения себе средств к жизни я делаю вред другому лицу.

Когда я думал просить Вас о принятии на Ваш счет расходов по изданию Вебера (главный из которых — расход на мое содержание во время работы), я имел план издания совершенно не тот, какой пришлось мне исполнять. Дело было вот в чем:

Я не имею права выставлять на моих книгах мою фамилию. Имя Вебера должно было служить только прикрытием для трактата о всеобщей истории, истинным автором которого был бы я. Зная размер своих ученых сил, я рассчитывал, что мой трактат будет переведен на немецкий, французский и английский языки и займет почетное место в каждой из литератур передовых наций.

Но для того чтобы сделать такую переделку книги Вебера, в которой все, кроме имени, принадлежало бы мне, я должен был иметь под руками много книг: — при начале работы — рублей на тысячу; потом понадобилось бы еще тысячи на две, на три.

Итак, я собирался, кончив ту маленькую работу, которой жил тогда (в бедности), написать Вам: пришлите мне книг и дайте мне кредит у какого-нибудь московского книгопродавца, имеющего сношения с немецкими и проч. книгопродавцами; я буду писать под названием переделки Вебера совершенно свой труд о всеобщей истории; прошу Вас быть его издателем и содержать меня во время этой работы.

Это издание имело бы такой объем, что было бы по своей цене доступно массе русской публики; приблизительно, состояло бы из десяти томов величиною с книжку «Русской мысли» или «Вест. Европ.», то есть объем его был бы приблизительно в три раза меньше «Всеобщей истории» Вебера, следовательно и цена всех томов его была бы втрое меньше цены Вебера.

Издание печаталось бы в 5 000 экземпляров. Через два года по напечатании первого тома понадобилось бы второе издание и т. д. Изданий было бы много; никак не три, гораздо больше.

Уж первое издание дало бы большую (по моему масштабу) выгоду издателю; следующие издания тем больше.

Как я думал об этой выгоде? — Я еще до своего отъезда из Петербурга, 25 лет тому назад, хорошо знал мотивы и правила Вашей издательской деятельности (начавшейся за несколько лет перед тем). Потому я наверное знал, что Вы предложите мне большую часть выгоды, а вероятнее, всю выгоду. Больше чем было бы мне нужно для содержания себя, жены, больного (старшего) сына и на пособия бедным родственникам я не взял бы: остальному я попросил бы Вас давать какое-нибудь другое употребление по Вашему усмотрению. Но то, что брал бы я, составляло бы, по моему масштабу, много денег.

Вместо того — вышло что?

Я перевожу книгу, положительно не нравящуюся мне; я теряю время на переводческую работу, неприличную для человека моей учености и моих — скажу без ложной скромности — моих умственных сил; издание имеет размер, делающий его недоступным массе русской публики; груды этого издания лежат в Вашем складе; для публики пользы от издания очень мало, а Вам от него — громадный, по моему масштабу, убыток.

Как это вышло? Захарьин был у меня, когда я собирался обратиться с просьбой к Вам; кое-что слышал о моем намерении; ничего не понял, вообразил, что я хочу переводить Вебера, явился к Вам и от моего имени попросил Вас дать мне переводить Вебера. Вы были так добры ко мне, что согласились на просьбу, которую считали моей.

Вы скажете: я должен был на Ваше доброе поручение отвечать, что мой план вовсе не тот, что я не принимаю Вашего поручения переводить Вебера и прошу Вас заменить его другим, которое, по моему мнению, должно состоять вот в чем и вот в чем. — Справедливо; я должен был сделать так. Но не сделал. В этом моя серьезная вина перед Вами. Я полагал, что Вы человек щедрый, великодушный, но не допускающий возражений на его поручения.

Я увидел, что ошибся, узнал, что Вы вовсе не деспот. Но увидев это поздно, лишь из рассказов Василия Егоровича (кажется, так его имя и отчество?) Грачева.

А половина Вебера была уж напечатана; переменять дело показалось мне поздно. Я стал делать улучшения, но лишь такие, которые оставляли издание простым, только несколько улучшенным, переводом; то есть улучшения ничтожные, лишь несколько облегчавшие для публики тяжесть покупки громадного издания. Они были ничтожны; потому и эти томы шли из типографии лежать в Вашем складе. Дело оставалось убыточным для Вас, тяжелым и для моей совести, как для кармана публики.

Потому-то было отрадой для меня убеждение, что письмом от 24 ноября я заставляю Вас, в справедливом негодовании, разорвать сношения со мной.

Вы поступили иначе. Этим Вы дали мне право производить в остающихся томах Вебера улучшения более значительные.

Теперь уж набрана половина XI тома; на этот том уж можно махнуть рукой. Но остаются еще четыре тома. Я улучшу их, насколько допускается необходимостью сохранить за ними вид продолжения прежних томов. Для этого мне нужны книги. Для начала переработки XII тома рублей на двести, я полагаю. Не утруждая Вас их перечислением, прошу с этой же почтой Ивана Ильича выслать мне их. С тем вместе прошу Вас открыть мне кредит на тысячу рублей у одного из московских книгопродавцев, торгующих иностранными книгами. Разумеется, серьезная переработка будет идти медленнее, чем перевод, но лишь немного медленнее; я веду и серьезные ученые работы быстро. И позволяю себе без фальшивой скромности уверить Вас, что за эти томы русская публика будет более благодарна Вам, чем за первые одиннадцать.

Я утомил Вас длиннотою моего письма. Отлагаю более подробное изложение моего плана работы над четырьмя остающимися томами Вебера до времени, когда буду иметь досуг написать письмо почерком менее торопливым и менее неразборчивым.

Приготовление «Материалов для биографии Добролюбова» подвинулось у меня уж довольно далеко. Русская публика будет благодарна Вам за эту книгу.

Захарьин передал Вам от моего имени просьбу принять на себя издание русской переработки Conversations-Lexicon'a Брок-

гауза. Он перепутал слышанное от меня об этом моем намерении. Я имел это намерение; но навел справки у московских и петербургских книгопродавцев и увидел из их определений количества экземпляров и цены, доступной для русской публики, что это издание не окупилось бы. Потому я уж давно (в конце августа) отбросил мысль о нем.

По окончании работы над переделкой Вебера буду просить Вас о принятии на Ваш счет других изданий.

Снова прошу Вас извинить мне мой проступок перед Вами.

Я не раскаиваюсь в нем; я обязан был сделать его. Но я виноват перед Вами в несправедливости — и притом несправедливости, сделанной с полным знанием того, что она несправедливость, — и прошу Вас простить мне ее.

Никогда не переставший иметь глубокую благодарность к Вам *Н. Чернышевский*.

1231

И. И. БАРЫШЕВУ

[8 декабря 1888.]

...сделать вид, будто сержусь. Но у меня тяжелая рука; легких ударов я не умею наносить, при всем желании сдерживать силу движений моих. Я старался писать К. Т-чу как можно менее обидно, — Вы читали письмо — и думали, я бью со всего маху; нет, это были сдержанные, по возможности легкие удары.

Я пишу К. Т-чу, что, начиная с XII тома, заменяю перевод Вебера переделкой; что для этого мне нужны книги, что я прошу его открыть мне кредит в 1 000 р. у какого-нибудь книгопродавца и, кроме того, разрешить Вам немедленную высылку на мое имя тех книг, которые перечислю я в письме к Вам и которые обойдутся, вероятно, рублей в 200. Без сомнения, он исполнит мою просьбу.

Вот эти книги:

Conversations-Lexicon Брокгауза, новое издание; эта книга найдется в Москве.

Следующих книг, вероятно, нет ни в Москве, ни в Петерб[урге], их надобно будет выписать из-за границы.

Chéruel, Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV.

Четыре тома, Paris, 1879—1880 (может быть, после вышло еще несколько томов; нужны все). Того же автора:

Histoire de France sous le ministère de Mazarin, 3 тома, Paris 1883 — я подозреваю, не просто ль это новое издание предыдущей книги; если так, то нужно лишь оно, а та книга не нужна.

Samuel Rawson Gardiner, History of England, from the accension of James I, 1863, 2 тома;
его же, Prinse Charles and Spanish Mariage, 1869, 2 тома;
его же, A History of England under the Duke of Buckingham, London, 1875, 2 тома.

Предыдущие две книги Rawson'a Gardiner'a изданы, вероятно, тоже в Лондоне.

Вышлите эти книги Chéruel'я и Rawson'a G[ardine]r'a немедленно.

Жму Вашу руку. Простите, если огорчил Вас. Жена моя шлет свои приветствия Вашей супруге и Вам. Ваш *Н. Чернышевский*.

1232

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

9 декабря 1888.

Милостивый государь, Иван Ильич,

Лицо, читавшее (или, если это было несколько разных лиц, то: лица, читавшие) вторую (редакторскую) корректуру моего перевода Вебера, позволяло себе (или позволяли себе) в первых восьми томах перевода делать поправки, искажавшие перевод. Продолжалось ли это в следующих томах перевода, не знаю, потому что не заглядывал в них, опасаясь найти ту же мерзость.

Если это было так и в следующих томах, то не будет узно мною: я не намерен заглядывать в них, как не заглядывал до сих пор.

Вперед этого не должно быть.

Прошу Вас передать от меня лицу, читающему (или лицам, читающим) редакторскую корректуру перевода Вебера, мое приказание помнить, что такой писатель, как я, не нуждается в чужих исправлениях того, что он пишет.

Прошу Вас уведомить меня об исполнении этой моей просьбы. Ваш *Н. Чернышевский*.

1233

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

9 дек. 1888.

[Послано 10 дек. вместе с письмом от 10 дек.]

Добрый друг Иван Ильич,

Вчера я отправил заказными письмами ответы на письма Ваше и Кузьмы Терентьевича от 1 декабря. В письме к Вам я говорил, что хотел бы приложить к нему копию с письма к К. Т-у,

но что нельзя было моим молодым помощникам (которых теперь, кроме К. М. Федорова, еще двое) успеть сделать список для Вас ко времени отхода вчерашней почты, потому я прилагаю к моему письму лишь то, что успел списать один из них, — копию последней страницы. Я, спеша итти на почту для отдачи писем, забыл вложить ее в конверт письма к Вам.

Теперь готова полная копия моего письма к К. Т-у (понятно, что с таких писем я оставляю или списки или черновые у себя; неизвестно, что выйдет; может оказаться надобность в справке). Прилагаю эту копию к нынешнему моему письму.

Вчерашнее мое письмо к Вам было неприятное. Прошу Вас простить мне его. И если Вы согласен, то оставим это дело.

Перейду к настоящим моим желаниям, об исполнении которых прошу Вас.

Корректуру держит кто? Евгений Федорович Корш, по-прежнему? Если он, то я желаю, чтоб она была передана кому-нибудь другому, лучше его понимающему, что в России нет человека, который знал бы русский литературный язык так хорошо, как я.

Расскажу Вам мою историю с Е. Ф. Коршем, представляющую в миниатюрном виде копию моей истории с Захарьиним. Моя жизнь богата подобными историями, потому что я человек, держащийся утрированных форм деликатности.

Когда я принимался за перевод Вебера, мне было передано, что поручению этого дела мне много способствовал Е. Ф. Корш, говоривший обо мне К. Т-у самым симпатичным тоном. Я почел своей обязанностью благодарить его, послал ему письмо с утрированными, по моему обыкновению, выражениями уважения к его литературным заслугам.

Он отвечал любезным письмом, в котором говорил между прочим, что поправил орфографию некоторых китайских имен (первый том Вебера начинается Китаем).

Я не имел под руками книги с изложением правил транскрипции китайских слов на латинский алфавит (и, в данном случае, на русский; это уж легко переложить самому). Но я знал многие из этих правил.

Евгений Федорович, как оказывалось по его рассуждению о них в письме, знал о них меньше, чем я; я видел, что мою транскрипцию, во многих случаях плохую, он будет искажать нелепым образом; вместо моего правильного или хотя неправильного, но сносного, у него из-под пера будет выходить уродливое. Но я подумал: «Чорт с ними, с китайскими именами; стоит ли из-за них огорчать почтенного человека ответом: я знаю это дело плохо, а вы еще хуже меня; потому не дотрогивайтесь до моего, кажущегося вам ошибочным; вы принимаете правильное за ошибочное, и даже то, что ошибочно, испортите хуже, чем было оно». Итак, вместо этого ответа, который был бы хорош, я написал

Коршу, что благодарю его за поправки. — Вы скажете: я сделал глупо. Я согласен. Но таково мое правило обращения с людьми: деликатность, деликатность и деликатность. Вы скажете: в такой утрированности она заслуживает порицания. Согласен. Но от всех дурных качеств и привычек не справишься; я давно махнул рукой на те, какие имею. Некогда, да и не стоит заниматься исправлением себя от них.

Хорошо. Что же вышло? — То, чему следовало выйти: расхрабрился мой почтенный Евгений Федорович — и пошел править всякие имена. Присылаете Вы мне 1-й том перевода; я долго не заглядывал в него. Понадобилось развернуть, чтобы найти, какую страницу перевода следует заменить цифру страницы 1-го тома в ссылке на нее, находящейся во 2-м томе. Это было что-то о Греции. Развертываю, — что за ахиня в правописании греческих имен! — Я подумал: «чорт с ними, с греческими именами, да и со всякими другими; мелочь это, не стоит огорчать из-за нее почтенного человека». Заметьте, я не читал; я только вел глазами, разыскивая, на какой странице перевода поместился факт, на который делается ссылка в цитате 2-го тома. Так это шло долго: я только водил глазами по страницам, разыскивая, какую цифру поставить в цитате. Читать, я очень, очень долго не прочел ни одной строки перевода. Наконец случилась надобность отыскать не цифру страницы, а выражение, которым я перевел немецкий термин, повторяющийся в одном из следующих томов, переводимом мною в то время, — я прочел две, три строки — и ужаснулся: это уж «не чорт знает что», а нечто такое, чего и сам чорт не знает: дикие слова, нелепые обороты речи. Я развернул том на другом месте — то же самое. Мне стало мерзко смотреть. И знаете, что я сделал? — Тот экземпляр перевода, который один оставался у меня, я подарил при первой представившейся возможности подарить. А цитаты страниц стал выпускать, потому что уж не имел, где найти их.

Хороша история?

То вот ее развязка: прилагаю к письму формальную записку Вам; в ней — диктаторски выраженное приказание корректору не смей делать поправок в именах ли, в слоге ли.

Вы видите, добрый друг, я принял решение вступить в свои права.

При малейшем сопротивлении Кузьмы Терентьевича моим распоряжениям я прерву всякие сношения с ним; конечно, на этот раз уж безобидным для него образом: напишу, что мне некогда, поблагодарю за расположение и только.

Простите, если сделал неприятность Вам.

Целую Вас, милый друг. Ваш Н. Чернышевский.

1234

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

10 декабря 1888.

Милый и добрый друг Иван Ильич,

Не успел отправить вчера письмо, помеченное 9-м декабря. Отправляю ныне, вместе с этой припиской.

Повелительное распоряжение мое относительно корректора написано так резко только по предположению, что лицом, читающим редакторскую корректуру, остается Е. Ф. Корш.

Если ж это уж не он, то передайте корректору мое распоряжение в деликатной форме.

Я требую безусловного исполнения моих распоряжений; но, разумеется, мои распоряжения будут относиться только к литературной стороне издания, а не к деньгам. Денег моих в Ваших руках нет; потому никакими деньгами я не имею права распоряжаться. Я могу только просить их, а не требовать; Кузьма Терентьевич всегда вправе отказать мне в авансах; и собственно этот отказ нимало не испортит моих отношений к нему; надобно только уведомить меня вперед за две недели, что с такого-то числа авансы мне прекращаются, чтоб я имел время выписать себе надобную сумму из другого источника моих доходов.

24 ноября я еще не имел, но теперь уж имею другой источник доходов и, собственно говоря, бросить дурацкую работу над Вебером было бы выгодно для меня (это между нами; Кузьме Т-чу нельзя говорить этого, чтобы не показалось ему, что он должен увеличить плату за Вебера; какое увеличить!). Как только позволят мои денежные дела, я пересчитаю число листов в этих дурацких одиннадцати томах Вебера и сосчитаю, как было первоначальное условие, по 25 р. за лист, а остальные полученные мною деньги, еще по 5 р. за лист, поставлю авансом, выданным мне от Кузьмы Терентьевича. Сосчитаю также и поставлю авансом мне от него сумму тех расходов, которые должен был делать я, и принимал на [свой счет] он (покупку немецкого Вебера, плату за пересылку мне денег и проч.).

Это я надеюсь сделать к концу следующего года.

Само собою понятно, что покупка *Conversations-Lexikon'a* и других книг, которые перечислены в моем письме к Вам от 8 декабря, должна быть поставлена теперь же авансом в мой счет.

Прошу Вас сказать К. Т-чу, что я беру назад свою просьбу к нему об открытии мне кредита в 1 000 р. у какого-нибудь книгопродавца.

К 24 декабря прошу выслать мне пятьсот рублей, то есть послать их из Москвы немедленно по получении Вами этого письма. А если сказать правду, то я был бы рад получить отказ в этих деньгах. Но если будет отказ, то прошу прислать его по телеграфу не позже 17 числа. Ваш *И. Чернышевский*.

1235

А. Н. ПЫПИНУ

19 декабря 1888.

Милый друг Сашенька,

Посылаю тебе для выдач содержания моему бедному Саше 100 р. Прилагаю записку к нему, в которой говорю, что до устройства моих денежных дел не могу давать ему больше 40 р. в месяц.

Изложу тебе положение моих денежных отношений.

Я послал тебе копию с моего письма от 24 ноября к Солдатенкову и письмо к тебе, объясняющее нелепо устроившуюся странную необходимость мне написать ему так.

Разумеется, я должен был полагать, что он в негодовании на мое письмо разорвет сношения со мною. Вышло не так. Он имел твердость души отвечать мне на письмо от 24 н[оября] письмом совершенно благородным, в котором говорил, что восстанавливает прежние отношения свои ко мне, существовавшие до недоразумения, породившего мое письмо от 24 н[оября].

Я отвечал ему письмом, в котором, принимая всю вину недоразумения на себя (это моя неизменная манера), отдавал (это справедливо) должную похвалу его благородству. Я принимаю на себя вину в письме к нему лишь по моей неизменной манере совершенно оправдывать человека, говорящего мне о прекращении неприятности, на самом деле я — правильно ли, неправильно ли, все равно, но твердо — считаю Солд[атенко]ва выказавшим недозволительную взрослым людям степень ребяческой наивности и кругом виноватым передо мной, насколько может считаться виноватым в глупых поступках неразумный ребенок. В письме к Барышеву (от 9 и 10 дек.) я объясняю это (для него, не для передачи Сол[датенко]ву).

Это мое письмо было послано 8 дек[абря]; по зимнему ходу почты, оборота ее от Москвы сюда еще не было до утра, когда я пишу тебе.

Ответ Солдатенкова будет благороден, в том нет сомнения; но я не знаю, найдет ли он возможным сделать ту перемену характеру моей работы над Вебером, которую я предлагаю ему.

А я решил (и написал Барышеву), что при малейшем несогласии Солдатенкова с моим планом работы, я, докончив начатый перевод XI тома Вебера, бросаю это дело, бывшее в том виде, какой имело до сих пор, неприятным мне и убыточным для Солдатенкова. Кроме того (в том же письме к Барышеву), я прошу Барышева передать лицу, читающему редакторскую корректуру перевода Вебера мое приказание помнить, что работы писателя, перевод которого читает он, не нуждается в чужих поправках. Это лицо — Е. Ф. Корш, как я полагаю; к п р и к а з а

нию ему, написанному в форме письма к Барышеву на отдельном листе, я присоединяю в письме собственно к Барышеву требование, чтобы редакторская корректура моей работы была отнята у Корша и передана какому-нибудь другому лицу, лучше его умеющему понимать, в каких отношениях к писателю, подобному мне, должен он держать себя. Я прибавляю, что при малейшем сопротивлении Солдатенкова этому моему требованию я прерву всякие сношения с ним письмом, в котором скажу, что мне недосуг работать для него и поблагодарю его еще раз за добро, которое он делал мне с большим убытком для себя.

Согласится ли Солдатенков исполнить мое требование относительно передачи редакторской корректуры другому лицу с оскорблением (заслуженным, но тяжелым), которому подвергаю я его старинного приятеля, Корша? — Сомнительно.

Ты найдешь, что я поступил с Коршем несправедливо, и кроме того, помимо мысли о несправедливости к Коршу, глупо. Это все равно. У меня такой характер. Иначе держать себя я не умею.

После письма к Солдатенкову от 24 ноября, считая свои отношения к нему порванными, я должен был приискать себе другой источник средств к жизни. Я написал статью из материалов для биографии Добролюбова и послал ее Лаврову, в «Русскую мысль». Понравилась ли она дружескому кругу «Редакции Русской мысли», я еще не знаю. Кончив эту статью, я стал писать для «Русской мысли» начало ряда повестей, вложенных в общую рамку, подобную рамке сказок 1001 ночи. Это начало «Вечеров у княгини Старобельской» (так называется рамка) заключается в себе совершенно самостоятельную повесть, действие которой происходит отчасти в Лондоне, отчасти в Арле и Марсели, между 1853 и 1858 годами, главным же образом в Арле и Марселе в конце июня и первой половине июля 1858 года. Главное лицо — арльская красавица М-ме Элеонора Дюбеллэ (Dubellay), оставшаяся на 18-м году вдовою и пять лет сопротивляющаяся своему влечению к живущему в Лондоне, служащему там в конторе банкира Бриггса, благороднейшего человека, молодому итальянцу, безгранично преданному ей; она нежно и сильно любила своего Жоржа и не хочет «унизить себя в собственном мнении» вступлением во второй брак, который кажется ей «изменой Жоржу». Все главные действующие лица симпатичные, благородные; некоторые принадлежат к среднему, более или менее зажиточному сословию, другие к высшей финансовой или родовой аристократии. Содержание повести — невиннейшее. Объем этого рассказа с его частью рамки листов 5 печатных. Я послал 15 дек. первую половину его, вчера почти все остальное, завтра пошло последние листки.

Повесть «Мое оправдание», написанная в форме автобиографического рассказа того итальянца, Сеттембрини (это его оправ-

дание) — очень хороша; рамка — тоже. Но придется ль по вкусу Лаврову и окружающим его, я не знаю.

Посмотрим, что будет.

Целую Юленьку и Ваших детей.

Оленька кланяется всем и кого следует целует.

Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

Р. С. Ты не огорчайся за меня моими словами о шаткости моих денежных дел. Деньги у меня есть.

1236

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

19 декабря 1888.

Милый друг Саша,

Благодарю тебя за то, что прислал деньги, вырученные от продажи моей книжки. Сделал хорошо ты и то, что часть их оставил у себя. Если вперед будет получаться тобой подобная выручка (чего не предвидится, но условимся на всякий случай), ты, оставляя у себя сколько необходимо, отдавай остальное твоему дяде Александру Николаевичу, которому я должен.

Денежные дела мои находятся теперь в шатком положении. Пока оно длится, не могу давать тебе больше 40 р. в месяц, как было первоначально. Когда поправятся мои дела, поправится и это.

Извини, что пишу тебе редко и мало. Недосуг, мой милый.

Будь здоров.

Твоя мамаша целует тебя. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

1237

Е. Н. ПЫПИНОЙ

19 дек. 1888.

Милый друг Евгеньчика,

Оленька велела мне поздравить тебя за нее с днем твоих именин. Ей самой нельзя писать: нездоровится.

Прости меня ты, милый друг, что вовсе не пишу тебе; попроси прощенья мне за то же у Поленьки, Сережи, Виктории Ивановны, Петеньки. — Все недосуг, все недосуг.

Передай Петеньке от моего имени все, что сердце твое подскажет тебе нежного.

Твоя жизнь идет немножко похоже на мою; работа, работа, и нет досуга. Привыкла ты? И не тяжело? Разумеется, как мои

приятели якуты не чувствуют ни холода, ни голода: привыкли. Но я имел сомнения, действительно ли не чувствуют.

Мои силы еще крепки. А твои? — Крепкими никогда не были.

Милая моя, целую твои ручки, целую тебя.

Целую всех наших. Твой Н. Ч.

1238

В. М. ЛАВРОВУ

20 дек., вторник [1888].

Глубокоуважаемый Вукол Михайлович,

Неисправен я перед Вами. Но к лучшему для «Русской мысли», в том случае, если Вы захотите поместить в ней мои «Вечера у княгини Старобельской».

Посылая Вам начало первого вечера, главную часть которого составляет рассказ «Мое оправдание», образующий совершенно самостоятельное целое, и предназначая этот вечер для январской книжки «Русской мысли», я телеграфировал Вам, что пошлю окончание через два дня, то есть в субботу, 17 числа, и что оно лишь третья доля вечера по объему, то есть непосланная доля вдвое меньше посланной.

Вместо 17-го я послал уж только 18-го в воскресенье, — и то лишь большую часть оставшегося не посланным в посылке 15 дек., а не все. И, однакоже, послал телеграмму Вам и объяснил в одновременно отправленном письме, что последние листы, вложенные в заказное письмо, дойдут до Вас одновременно с листами второй посылки. Мне сказали, что заказные письма, отданные в понедельник, отправляются в тот же день; а посылки, отданные в воскресенье, отправляются, это я знал, тоже только в понедельник. На деле вышло, что мне соврали: заказные письма, принятые в понедельник, отправляются вместе с посылками в среду. Потому отдать письма в понедельник было бы бесполезно. Таким образом, вышло еще два дня просрочки в получении Вами (отправления мною Вам) окончания первого отдела моего ряда рассказов.

Я просрочил, в сумме, пятью днями против обещанного Вам (отдаю на почту 20 числа, во вторник, вместо обещанного 15 числа, четверга, то есть делаю так, что Вам будет послан этот конец 21 числа, в среду, вместо 17 числа, пятницы). От этой просрочки в отправлении Вы получите конец не 20 или 22, — как я желал и обещал, и ждали по первой моей телеграмме Вы, — а 27 или 28 дек. Отправляю конец посылкой, а не заказным письмом, потому что оно не дает выигрыша времени.

Моя склонность влечет меня смеяться над собой за это и ругать себя. Но считаю более полезным говорить серьезно.

Когда кончается набор книжки «Русской мысли»? Как идет формирование состава книжки? — Я этого не знаю. У нас в «Современнике» делалось по порядку, заведенному раньше моего сотрудничества Некрасовым, так:

Заранее определялся состав книжки; иногда на три, на четыре месяца вперед; но когда начиналось печатанье, он непрерывно мог быть изменяем, сообразно поступлению новых материалов; эта свобода изменения длилась до последнего дня возможности изменять состав книжки.

Объясню примером, в котором подвергающийся перемене отдел журнала — беллетристика (с которой и бывало это особенно часто).

Она печаталась крупным шрифтом, цигеро. У нас типография была бедна шрифтами, так что каждый месяц часть каждого из двух главных шрифтов (цигеро и боргеса) шла в дело два раза, даже три.

Положим, в книжке должно было быть 15 листов цигеро. А у нас всего этого шрифта было только на 12 листов. — И даже при такой скудости шрифта набранные повести были отлагаемы — в наборе, готовом, прошедшем через две корректуры, — на месяц, на два, на три, если являлся материал более важный. Например, так: набор книжки начат 29 числа; первый готовый оригинал — посредственная повесть, 4 листа. Прошло 4 дня, она набрана. Дальше есть повести получше в 4 листа и в 7 листов, из них идет в набор та, которая в 7 листов; около 8 числа присылается хорошая повесть в 5 листов; Некрасов говорит: вторая, уж набираемая, и третья, еще не набираемая, повести останутся в книжке, а первая наименее полезная журналу, уж набранная, отлагается до той поры, когда не будет лучшего материала; набор ее пусть стоит и ждет. — Осталось только 7 листов шрифта; а надобно его на 15 листов; ну, вертись типография, как знаешь. — Вторая повесть в 4 листа, ставшая первой, набрана, но еще не вышла из цензуры; набрано 3 листа второй, недостает шрифта на 3 листа; Некрасов говорит: разобрать 3 листа набора отложенной повести. — Первая вышла из цензуры, стало свободно 11 листов набора; хватит на 2-ю повесть (6 листов) и на третью, в 5 листов, новую, не предвиденную при составлении плана книжки и вытеснившую из нее прежнюю первую. А если третья повесть имела 6 листов? — недостает одного листа шрифта; Некрасов велит разобрать и единственный оставшийся лист набора отложенной повести. Если она не останется выброшенной за борт, попадет в одну из следующих книжек, это будет уж новый набор.

Это (по тогдашней цене) было 44 или 48 рублей убытку. Карл Иванович (Вульф, честнейший человек, всей душой преданный Некрасову и «Современнику», фактор «Совр-ника», впоследствии хозяин типографии, где печатался этот журнал) горюет, жалуется Некрасову на его распоряжение: «Николай Алексеевич, Вы

делаете 48 рублей убытка журналу». — «Нужды нет, Карл Иванович; так будет выгоднее для журнала».

Такой ли порядок у Вас? Я думаю, такой; для Вас он тем легче, я думаю, что предполагаю: Ваша типография не бедна шрифтом. Если так, то моя повесть с своей долей рамки попадет в январскую книжку.

Если же нет, то я буду не для забавы своему дурачеству, а серьезно ругать себя за то, что отослал ее Вам для январской книжки, а не продержал у себя еще неделю, чтоб улучшить. Я много улучшил бы ее в неделю. Дав себе просрочку в пять дней вместо двух, я приобрел время сделать великолепное улучшение во второй половине ее, над которой работал эти пять дней. — Дешпи, получаемые Сеттембрини из Марсея, были в первой редакции, для краткости, пересказываемы самим Сеттембрини. Это был слог Сеттембрини, человека умного, но не блестящего. В переработанной редакции я восстановил прямую форму дешпи, и получились страницы блистательные. В той редакции не было даже имени Джеррольда, было только упоминаемо в рассказе Сеттембрини, что эти известия доставлял ему «корреспондент» — посланный Бриггсом, тоже коммерческий человек, подобный Бриггсу, очень пронизательный, но неизменно докторальный. А теперь это новое лицо, Джеррольд, — самое лучшее из всех с точки зрения вкусов публики. Будь у меня неделя, я имел бы время написать десяток страниц об М-те Дюбеллэ, другие два десятка о миссис Бриггс, я изобразил бы домашний быт Гастона Форкалькье, обрисовал бы фигуры его, жены его, Ремона, Леонии; я отказывался от всего этого, чтоб ограничиться числом страниц, какое возможно успеть написать для январской книжки. Не все, разумеется, в улучшении было бы расширением; я упростил бы обстоятельства; повесть выиграла бы в сжатости и силе также и от других приемов; например, я успел применить форму тостов к оценке действующих лиц; это вышло великолепно; и стали не нужны рассуждения о том, что хорошо, что дурно в повести; а без оценки тостами было необходимо, чтобы слушатели и слушательницы рассуждали о повести, спорили между собой и нападали на Вязовского, который отмалчивался бы и под конец разъяснил бы: «Эх, вы! потому-то я и не хотел разговаривать с вами в библиотеке, что вы говорили пустяки», — и растолковал бы, в чем дело. Теперь, после тостов, нападения на него невозможны, и гости немедленно разъезжаются; но — знает или не знает Вязовский без чужих указаний что хорошо, что дурно в его повести, что ясно, что не ясно? — Знает; потому что — очевидно — да и прямо сказано в предисловии: — Вязовский — это сам Полянский, преувеличивающий для лучшего комизма свои забавные странности и неуклюжести. (А Полянский — это я, Н. Чернышевский? — Разумеется. — И по поводу этого вот штука, которая очень досадна мне, но устранить которую было

нельзя, держась стесненного объема, по желанию послать повесть во-время для янв. книжки: Вязовский получает теперь очень мало дохода и притом нового дохода, а прежний доход его исчез; как исчез? — Коротко, это было можно сделать одним способом: он подарил его; будь у меня время, я оставил бы кляuzu совладельца сада, и Вязовский вышел бы не человеком, сделавшим добро нуждающемуся родному семейству, а просто любителем спокойствия, бросающим собаке свой кусок, чтоб она отстала от него. Это было бы лучше; но требовало бы нескольких страниц. А у меня не было времени для них.) Итак, Вязовский знает все, что можно сказать против его первой повести, и отвечает на эти нелышанные им замечания второю повестью (на втором вечере).

И если я без пользы для январской книжки отказал себе в исполнении того, что было нужно для улучшения «Первого вечера», то я буду сердиться на себя за ошибку.

Но — я говорю, что «Первый вечер» мог бы быть сделан лучше, чем он теперь. Не следует ли из этого, что в нынешнем своем виде он плох? Следует ли, или нет, пусть это будет решено Вами и Вашими литературными товарищами по чтению «Первого вечера» в книжке «Русской мысли». Настойчиво говорю Вам: не читайте в рукописи и не давайте никому читать того, что присылаю я Вам для «Русской мысли». Никаких иных отношений ко мне я не могу допустить.

Хотите иметь меня своим сотрудником, то посылайте в типографию, не читая сами и не давая читать никому, то, что получаете от меня.

Пожалуй, кто-нибудь из близких Вам или Виктору Александровичу скажет: «Да как же это возможно?» — Кто скажет Вам или ему это, тому Вы или он должны сказать: «Молчи, милый; ты прекрасный человек, но ты глуп». По иным правилам невозможно вести хорошим образом никакой работы, превышающей физические силы одного человека. — Будь Вы способен писать 24 часа в день, выходило бы 24 страницы формата «Русской мысли» в сутки; Вы и успевали бы собирать в голову материал для того, что писали бы; тогда Вы могли бы вести журнал без доверия к труду других. Три четверти листов «Русской мысли» попадают в нее лишь по форме, под контролем Вашим или Виктора Алекс-вича, а на самом деле без контроля: «чорт их разберет» — это в сущности мнение каждого из нас по всем вопросам, кроме немногих, и мы принимаем то или другое решение не решенных лично нами вопросов по доверию к другим, — так и о повестях, и о статьях журнала, всякого порядочного: выбирай сотрудников и, выбрав, не мешай. Так было в «Современнике». Не говорю о себе и Добролюбове, — но читал ли кто статьи Григ. Зах. Елисеева? Никто. Ответственность за них лежала на мне. Я никогда не читал их (кроме первых, по которым увидел, что можно доверять Елисееву). А Некрасов тем меньше читал

их. — Досадную я на Вас и Виктора Александровича, что Вы своим поступком с моей статьею о Дарвине заставили меня писать Вам длинные письма. Чорт бы побрал длинные письма мои!

И мало того, что принуждаете меня писать длинные письма, — принуждаете меня самого хвалить Вам себя! — меня! Хвалить себя! Чорт бы побрал и меня с моими похвалами себе! Недостало места для рукопожатия Вам и Викт. Алексеевичу в конце 2-го (второго!) листа почтовой бумаги и Вы с Викт. Ал-чем принудили меня тратить время на такие письма! Зол я на Вас, зол. Ну, так и быть, жму руки Вам и ему. Ваш Н. Ч.

1239

К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ

26 декабря 1888.

Милостивый государь Кузьма Терентьевич,

Благодарю Вас за письмо от 16 декабря, в котором Вы говорите, что исполняете мои просьбы к Вам.

Единственное место его, которое требует особенного моего заявления о совершенном моем согласии с Вами, относится к моему намерению улучшить следующие томы Вебера, начиная с 12-го. Вы совершенно справедливо говорите, что, издав перевод 11 томов, не годится прекратить перевод и давать вместо продолжения перевода книги, совершенно другую книгу. Я и не сделаю так. Я докончу перевод Вебера. Разница от прежних томов будет только в том, что, начиная с 12-го тома я буду прибавлять к переводу Вебера дополнения, заимствованные из других источников; это будет делаться в виде особых примечаний и вставочных глав, с отметками, откуда что взято. Перевод останется переводом. Заглавие книги останется прежнее.

Кстати, о достоинстве моей работы. Являлись в плохих журналах порицания и насмешки, вроде того, что переводчик невежда. Я не читал этих журналов, и когда читавшие их мои знакомые сообщали мне о дурных отзывах, я не интересовался взглянуть, что именно там написано. Но я читаю «Вестник Европы». Это хороший журнал, пользующийся заслуженным уважением хорошей части публики. Издатель и редактор его, Стасюлевич, принадлежит к числу людей, считающих меня пустым крикуном, не вполне честным. Когда я, возвратившись из отдаления в Россию и не имея никаких средств к жизни, просил у него работы, он отказал мне. Вероятно, Вы знаете его лично. Он возвращается в кругах, в которых, по всей вероятности, бываете Вы. Вашего мнения о нем я не могу угадывать; мое мнение о нем то, что он человек честный и хороший. Мои мнения о людях не зависят от моих личных отношений к ним. В ноябрьской

книжке «Вестника Европы», в библиографическом листке (помещающемся на третьей странице обертки, т. е. на внутренней странице заднего полулиста обертки), я прочел насмешливый отзыв о моем переводе Вебера. Лично я не дорожу никакими похвалами, не способен обижаться никакими порицаниями или насмешками, печатаемыми на русском языке. Я считаю себя человеком, компетентными судьями которого могут быть лишь такие ученые, каких в настоящее время Россия не имеет. Итак, лично для меня насмешливый отзыв «Вестника Европы» был индифферентен. Но этот журнал пользуется авторитетом в хорошей части публики. Его дурной отзыв о переводе Вебера должен был повредить книге, интересами которой я не имею права пренебрегать. Я обязан был наказать «Вестник Европы» за глупый отзыв и внушить ему на будущее время страх вновь провиниться передо мною. Я хотел наказать его в лице издателя и редактора Стасюлевича, на котором лежит ответственность за неподписанные статьи, к отделу которых принадлежит тот отзыв. Наказанием был бы ученый разбор сочинений Стасюлевича по всеобщей истории; разбор холодный, совершенно деликатный по форме. Стасюлевич на некоторое время спрятался б от людей и был бы вперед осторожнее в отзывах обо мне.

Но пока я дожидался свободных двух-трех дней, чтобы наказать Стасюлевича, я получил от моего двоюродного брата А. Н. Пыпина, сотрудника «Вестника Европы», письмо, отрывок из которого, относящийся к делу, приведу здесь для вас:

«На этих днях, — говорит А. Н. Пыпин в цитируемом мною письме, помеченном 24 числом ноября, — я прочел на обложке последней книжки «Вестника Европы» (раньше не читал и не видывал, потому что, конечно, читаю лишь то, что мне нужно) отзыв о Вебере, именно о сокращении немецкого текста, отзыв несочувственный и с шуточками. Я спросил Стасюлевича при свидании, знает ли он, кто переводит Вебера; — «Да ведь какой-то Андреев*» — и был смущен, когда я ему объяснил дело. Он просил написать тебе об этом недоразумении, которое ему очень прискорбно».

Я отвечал Пыпину просьбой передать Стасюлевичу, что я не сержусь на него.

Я не имел права послать Стасюлевичу такой ответ, потому что он своей неосторожностью повредил не мне, следовательно и не принадлежала мне власть наказывать или не наказывать его; на мне лежала — нимало не власть, а исключительно — обязанность наказать его. Но в сущности я человек не злой, и потому для меня приятно превышать свои права в вопросах о снисхождении к ошибкам людей.

* Подразуме[ва]ется: сказал Стасюлевич. *Примечание* Н. Г. Чернышевского. *Ред.*

И кстати обо мне; я люблю шутить; я всегда смеюсь (главным образом над собой); то вот, чтобы вставить шуточный эпизод в это письмо, тяжелое для меня — как Вы увидите на следующих страницах, говорящих о том, как я встретил праздник рождества, — я спрошу Вас: «Добрый ко мне Кузьма Терентьевич, не желаете ль Вы лично познакомиться со мною?» — Вы, отвечаете, конечно, «да». — В уверенности, что таков Ваш ответ, прошу Вас прочесть первые страницы повести «Вечера у княгини Старобельской» в, вероятно, февральской книжке «Русской мысли» следующего года. — Я послал эту повесть В. М. Лаврову (издателю и редактору «Русской мысли») 21 декабря; в январскую книжку она, я полагаю, не попадет; полагаю, что будет помещена в февральской. В предисловии автор, подписавшийся псевдонимом «В. Полянский», делает признание, что под именем П. С. Вязовского изобразил самого себя. Познакомьтесь с П. С. Вязовским, человеком очень почтенным, и Вы будете знать г. Полянского, как узнали бы его, разве съевши с ним три пуда соли. Разумеется, я для забавности рассказа несколько преувеличиваю мои смешные и уродливые качества; но действительно я скряга, я не умею держать себя в обществе, у меня дикие манеры. И однакоже, если вы прочтете дальше, Вы увидите, что этот дикий человек, не умеющий сам ступить шагу без смешных неловкостей, этот кабинетный труженик, знает жизнь как немногие и в серьезных случаях не смущается ничем, готов на все, и ловко ли, не ловко ли, но успешно ведет дело, как надобно для любимых им людей; что он, по всей вероятности, человек крайних прогрессивных мнений, умеет любить честных богатых и знатных людей. Я действительно таков. И как полюбила Вязовского какая-то принцесса Корлеоне (остающаяся пока еще в тумане) и живо обрисованная в рассказе княгиня Старобельская и ее воспитательница баронесса и жених княгини Старобельской, князь Серпуховский, так Вы, будьте уверен в том, полюбите меня, если мне случится быть в гостях у Вас. Я могу на первый раз шокировать моими неуклюжестями, но не было в моей жизни примера, чтобы человек, уважаемый мною не на словах, а на деле, не полюбил меня; это потому, что кого я действительно уважаю, тех люблю сильно, а для людей, любимых мною, готов на все.

Вы увидите дальше, что та дикая выходка, которая делала меня в Вашем мнении злым и неблагодарным, заслуживает полного одобрения — Вашего же собственного, хотя она была направлена против Вас.

Однако возвращаюсь к делу.

По моей просьбе Вы открыли мне кредит у книгопродавцев, в размере, какого желал я. Через два дня по отправлению к Вам письма, заключавшего в себе, между прочим, и эту просьбу, я рассудил, что она не хороша, и, не желая утруждать Вас пись-

мом о моем отказе от нее, написал Ивану Ильичу, что беру ее назад, прося его передать Вам это изустно. Но, как я вижу из Вашего письма, она была уж исполнена Вами до получения Иваном Ильичем моего отказа от нее. Отменять открытый Вами мне кредит было бы, разумеется, неловкостью перед книгопродавцами. Он открыт, то тем лучше. Но я буду пользоваться им с крайней умеренностью, потому что я действительно скряга, на свои ли, на чужие ли деньги, все равно: скряга. Мало ли каких мне книг нужно! Но я до сих пор не покупал для себя — в пять лет — ни одной книги, ни одной, хотя благодаря Вам уж больше трех лет живу безбедно и могу по первой своей прихоти бросить на всякий мой каприз десятки рублей без заметной убыли в моем кармане. Я буду покупать книги только для дополнений к переводу Вебера; для других своих надобностей расщедрюсь разве, разве на десяток рублей; да и то сомнительно. Для 12-го тома Вебера понадобится книг, быть может, на 150 руб.; но едва ли столько. Если бы понадобилось мне потом брать в счет открытого кредита больше книг, чем на определенную мною теперь цифру 150 р., я каждый раз буду писать Ивану Ильичу особое уведомление, насколько воспользоваться кредитом, открытым Вами мне.

Я получил Ваше письмо от 16 декабря уж четыре дня тому назад. Я медлил отвечать на него, потому что не мог решить вопроса, должен ли мой ответ состоять только в выражении признательности Вам, полного согласия с Вашим мнением о надобности довести до конца перевод Вебера и объяснения, что я нашел свою просьбу о кредите у книгопродавцев нехорошей и взял ее назад, — или я имею право прибавить объяснение моего поступка, который Вы благородно предали забвению.

Вчера был день рождества. Я должен был принять относительно праздничных визитов наших знакомых к нам такую меру, которая отнимает у меня возможность хранить тайну, и потому я имею возможность, т. е. обязанность открыть Вам истинную причину моего прощенного Вами поступка.

Моя жена больна. У нас бывает очень мало гостей. Но на праздник рождества все-таки было б у нас десятка три людей с визитами. По состоянию здоровья моей жены я вынужден был вывесить на двери уведомление: «Чернышевские не принимают никого, кроме врача. Просят не звонить».

После этого я утратил возможность хранить в секрете истинный мотив моего дурного относительно Вас поступка. Я толковал в том дурном письме, что клевета, возмущившая меня, была взведением на меня намерения составить себе капитал. Это выдумка для прикрытия истины. Я точно так же равнодушен к обвинению меня в корыстолюбии, как и к обвинению в воровстве и вообще ко всякому обвинению против меня. Да и что дурного в желании обеспечить дряхлые годы мои и моей жены? Это

честная надобность. И что предосудительного было б, если б я разбогател или желал разбогатеть? Прочтите в моей повести эпизод, называющийся «Мое оправдание»; Вы увидите в нем, с каким сочувствием и уважением Вязовский от имени Сеттембрини говорит, — то есть я, Чернышевский, говорю о мистере Бриггсе, который был в молодости беден, а в 50, или, вероятнее, в 40 лет, был уже одним из богатейших людей Англии. Я могу быть каких бы то ни было мнений о наилучшем устройстве общества; но я не такой осел, чтобы не считать честным делом честное приобретение богатства.

Это была выдумка, мое негодование на обвинение меня в желании разбогатеть. Я не считаю желания разбогатеть дурным. Я повторил, с развитием моего благородного негодования, ту же выдумку в письме к моим петербургским родным, уведомляя их о прекращении мною всяких сношений с Захарьиным. Я и от них, как от Вас, скрыл истинный мотив моего поступка, прикрыл его вымыслом и от них, как от Вас.

Дело шло о том, мотовка ли моя жена, и поступает ли она со мною нечестно, бросая на свои прихоти деньги, получаемые мною от Вас. Захарьин написал мне, что он говорил Вам это от моего имени. Мне было невозможно сделать, чтоб моя жена не узнала этого. Она женщина догадливая. Захарьин хвалился своим поступком в письме ко мне; из того следовало, что он будет хвалиться им в Петербурге перед моими родными; невозможно было, чтобы в каком-нибудь письме какой-нибудь из (двоюродных, но все равно, что родных) сестер и племянниц, переписывающихся с моею женою (не со мною; мне некогда вести переписку с родными о нежностях и новостях, — не со мною, а только с моей женой) не проскользнуло какое-нибудь отражение похвалы Захарьина, что он спас меня от мотовства моей жены. Моя жена женщина очень догадливая. Она понимает вещи по самым туманным намекам.

Что должно было выйти, если б она узнала не от меня о клевете Захарьина на нее? Должна была выйти тяжелая болезнь.

Я, прочитав письмо Захарьина, написал письмо к Вам и дал прочесть моей жене. Она пришла в негодование на черную неблагодарность мою к Вам, на наглость моих выражений злобы; она упрашивала меня смягчить мое письмо. Я сказал: «Душенька, есть вещи, в которых я не слушаюсь тебя. Это письмо — одна из таких вещей».

Она негодовала на меня за Вас. Но это было мне все равно. Важность была для меня только в том, чтоб она видела, равнодушен ли я к клеветам на нее. И она увидела, что я раздражен до забвения благодарности к Вам, до забвения приличий, что я не пощажу никого и ничего для защиты ее чести.

А я вовсе и не был раздражен, я поступал хладнокровно, я был только опечален тем, что моей бедной жене предстоит болезнь.

Это было единственное средство смягчить удар, отворотить который не мог я от нее, бедняжки; единственное средство облегчить неотвратимое последствие этого удара, болезнь моей бедной жены.

Надобно было заставить и моих петербургских родных сказать Захарьину то, что, по-моему, было нужно для предотвращения подобных новых штук его. Потому я послал моим петербургским родным копию с моего письма к Вам.

Дав жене прочесть мое письмо, посылая копию с него моим петербургским родным, мог ли я оставить его не посланным к Вам?

Если б было другое средство облегчить неотвратимую болезнь моей жены, разве прибег бы я к этому средству? Разве же приятно было мне выставлять себя перед женой, перед моими петербургскими родными, перед Вами человеком черной неблагодарности? Но всякое другое средство было бы недостаточно для такого смягчения неотвратимой болезни моей жены, чтоб болезнь могла быть вынесена ею, женщиною ослабевшего здоровья.

Как быть, Кузьма Терентьевич, как быть! Неизбежно было это для исполнения моей обязанности облегчить неотвратимую болезнь моей бедной жены.

И простите, что я войду в такие подробности относительно моего домашнего быта, которые тяжело будет читать Вам; для всякого другого, кроме меня, неловко было бы сообщать их Вам, потому что очевидный, бесспорный смысл их — выпрашивание у Вас денег; но я не такой человек, чтобы бояться обвинений в какой бы то ни было низости. Я говорю: я пишу эти подробности не за тем, чтоб выпрашивать у Вас денег; верьте или не верьте, мне все равно. Подлец я — то подлец, все все равно. Дочитаете, то увидите, что если вздумалось Вам — «выпрашивает денег», то та единственная и потому нисколько не обидная для меня мысль была ошибочна. Речь будет итти совершенно к иному. В ноябре, когда я получил от Ивана Ильича уведомление, что мне будет присылаемо по 250 р. в месяц, я должен был произвести такие же расходы, как произвел в предыдущие месяцы и предполагал производить в следующие. Вот некоторые из этих расходов.

Я посылал больному сыну по 50 р.; другому (женатому) по 25 р.; я посылал бедным моим родным по 25 р. У меня работали с утра до ночи трое молодых людей; каждому я платил по 35 р.; это было мало; мне было совестно перед ними, но они, бедные и скромные, были благодарны и за то; — итак: $3 \times 35 = 105$ р. — Они пили чай и двое из них обедали у нас; наш обед более чем скромный; расходы его на человека нельзя ценить дороже 12 к.; но это, когда человек ест, как обыкновенный здоровый мужчина; они ели гораздо меньше; они оба люди не совсем крепкого здоровья, потому съедали не больше, как на

8 к. каждый; $30 \times 2 \times 8 = 4$ р. 80 к.; чай мы пьем хороший, густой, с печеньем из булочной; цена чая (3 раза в день) едва ли меньше 5 к. на человека, кладу 3 к.; 3 раза в день, 3 человека по 3 к., это составит в месяц $3 \times 3 \times 3 \times 30 = 8$ р. 10 к. Обед и чай моих молодых сотрудников оказывается составлявшими расход в 4 р. 80 + 8 р. 10 к. = 12 р. 90 к.; бывали каждый месяц мелкие подарки то одному, то другому: рубашка или сапоги и т. п.; знаю, было больше 1 р. 10 к. в месяц, считаю для округления суммы только 1 р. 10 к. — Итого, сумма расходов, производимых мною помимо всякого мотовства моей жены, на надобности или моих сыновей и родных, не живущих с нами, или на надобности моей работы, составляли в месяц 219 рублей. Таков счет. В действительности, эти расходы были несколько больше. Вы понимаете: сапоги с калошами стоят не 1 р. 10 к.; кроме того, бывали подарки от меня и на маленькие удовольствия моим бедным молодым друзьям: а главное, я много раз в год посылал подарки жене моего сына. — Все ли эти расходы производил лично я? — Мне некогда заниматься самому этими мелочами; я не имею времени даже переписываться с моим женатым сыном и его женой; они переписываются с матерью, а не со мной; притом я хочу, чтоб они, насколько они способны быть благодарными, были благодарны матери, а не мне; я в их благодарности не нуждаюсь; если одряхлею, меня прокормит кто-нибудь из многих любящих меня за то честное, что писал я в молодости. Но моя жена, по всей вероятности, переживет меня: кому будет дело до нее? Никому из посторонних; если сын (младший) и его жена не будут помогать ей, то ей придется жить на 7 или 6 р. в месяц, как жила много лет без меня. Потому деньги и подарки младшему сыну и его жене идут от ее имени. Но, Кузьма Терентьевич, ведь это лишь пустая форма; моя жена не расходует ни одного рубля (кроме как на мою одежду, которой у меня много лишней, по-моему) без знания, что я желаю этого расхода.

А легко ли держать меня под башмаком, это вы можете рас судить теперь: по моему поступку с Вами, Вы знаете, каков у меня характер на самом деле. Я мягок, деликатен, уступчив — пока мне нравится забавляться этим. Но — женщине ли держать меня в руках? — Я ломаю каждого, кому вздумаю помять ребра; я медведь. Я ломал людей, ломавших все и всех, до чего и до кого дотронутся; я ломал Герцена (я ездил к нему дать ему выговор за нападение на Добролюбова; и — он вертелся передо мной, как школьник); я ломал Некрасова, который был много покрепче Герцена. — Кузьма Терентьевич, бьете ли Вы маленьких детей? Нет? — Я полагаю, Вы ласков и уступчив с ними. Таковы мои обыкновенные отношения к близким мне, начиная с жены и до А. Н. Пыпина, ко всем встречным на улице; я подаю руку всем тем полицейским служителям, которые держат

посты на улицах, часто проходимых мною; жму руку каждому извозчику, которому отдаю плату (только редко езжу я на извозчиках; я скряга), — но что ж из этого, что я подаю руку городовым и извозчикам? Я боюсь их? И они командуют мною? Моя жена — мотовка; мотовка она или нет, она не расходует и 20 коп. без моей воли. Она не боится меня, это правда; но она жалеет, что я работаю без отдыха; ей хотелось бы, чтоб я отдыхал; потому ни копейки не истратит она без положительного знания, что этот расход одобряется мною. И на себя ль расходует она деньги, идущие через ее руки, по недосугу мне заниматься пустяками? У нее нет ни одного шелкового платья: у нас из-за этого было много ссор; но я не мог добиться, чтоб она купила себе шелковое платье. Она любит кататься; она каталась раза три в эти пять лет. Кузьма Терентьевич! Вам стыдно читать, мне было бы стыдно писать, при другом характере, бухгалтерские отчеты о моих расходах.

Но не стыжусь ничего такого, что обязан сделать.

К чему я вел все это? Вот к чему. Мои расходы в октябре и ноябре делились на две доли: одну составляли расходы не на личные надобности мои и моей жены; сумма их в каждой из месяцев, предшествовавших ноябрю, превышала 219 р.

Имел ли хотя малейшее понятие о величине этой доли Захарьин, предполагая, что я могу прожить на 250 р. в месяц? Вы видите, он не имел никакого понятия о характере моих расходов. Он льнул ко мне, как банный лист, тридцать лет. Но в откровенности с ним я никогда не входил; никогда, ни о чем. Он человек вовсе не той сферы жизни, в которой могут находиться люди, удостоиваемые мною доверия. Я был дружен с жандармскими унтер-офицерами; я был дружен с поддельщиком кредитных билетов; это случайная дружба, это случайное преступление. Но человек, вертящийся около аферистов — иное существо; это пройдоха, это любитель дурной наживы, не по крайности плутующий, а по любви к плутовству. Входить ли в интимные подробности? Младшая сестра моей жены, жившая у нас, имела Захарьина своим лакеем; по ее просьбе моя жена была ласкова к нему; к кому ласкова моя жена, ласков и я. Таким образом он и укоренился в знакомстве с нами. Он оказывал мне много услуг. Как было мне, при моей деликатности, не обращаться с ним приветливо? Но прислужник аферистов — не негоциантов, не банкиров, не землевладельцев, не каких бы то ни было частных людей богатого сословия, а пустокарманных пройдох, ворочающих чужими миллионами во вред своим доверителям и делу, которые ведут, — такой человек не мог никогда быть предметом моего доверия.

Как отважился он на нелепую клевету против моей жены? Я писал Вам: он полупомешанный. Вы в ответ на это мое черное неблагодарностью письмо выразили сомнение, действительно

ли он полупомешанный. Я прошел молчалием это Ваше сомнение, отвечая на Ваше благородное письмо, содержащее в себе прощение моей черной неблагодарности. Теперь дам ответ. — Кузьма Терентьевич, я не написал бы о человеке, что он помешанный, если б не имел доказательств тому. Бедняга перед отъездом отсюда, в минуту прощания, когда матросы готовились снять мостки с парохода и торопили меня сойти, сказал мне, что он чувствует себя близким к помешательству, подвергается временами припадкам этой болезни и для спасения себя от непрерывного помешательства решился убить себя. Может быть, я лгу? Кузьма Терентьевич, нет; не лгу, могу доказать, что не лгу; без того не стал бы и говорить. Через несколько времени по отъезде отсюда он, многими днями раньше письма его с похвалой, что спас меня от мотовства моей жены, прислал мне письмо, в котором прибавляет подробности к кратким словам о своем сумасшествии, сказанным мне при прощанье. Копию с этого письма его я послал в Петербург к моим родным; и могу послать Вам, если Вам будет угодно.

Возвращаюсь к делу о мотиве моего письма, наполненного черной неблагодарностью к Вам.

Я сократил мои расходы на сыновей, родных и моих помощников, получив письмо от Ивана Ильича, что будет присылаемо мне по 250 р. в месяц. Больному сыну стал посылать вместо 50 р. только 40 р., прекратил посылку денег и подарков моему младшему сыну и его жене, отпустил из трех моих помощников того, у которого есть хоть скудный обед в своем семействе, и стал взамен его труда сидеть по ночам. Таким образом, я произвел сбережение в расходах на предметы, не относящиеся к личному пропитанию (т. е. мотовству) нашему, моему с женой; и мы могли попрежнему мотать деньги на себя: пить чай по 2 р. 60 к. фунт (лучший из черных чаев здесь, как говорят мои друзья, члены фирмы «И. Козлова сыновья», у которых мы берем чай). Примешивать к этому чаю довольно большую долю лянсина (как люблю я), иметь по воскресеньям пирог с морковью (какой люблю я), и проч.

И все шло благополучно.

Только здоровье моей жены со дня на день ослабевало.

Между прочим, оттого, что она отпустила кухарку и готовила обед сама; подметала полы сама (но не мыла; мыть приглашала она бедную женщину, знакомую ей).

При расстроенном здоровье работа была чрезмерная для нее.

— Дружочек мой, пожалей меня, я измучился глядя на тебя. Возьми кухарку.

— Я мотовка.

Я знал, что так будет. Но не в этом главная беда, а в душевном волнении.

Этого я отворотить не мог ничем.

Но благодаря тому, что она узнала о своем мотовстве из моего письма к Вам, данного на прочтение ей, благодаря тому, что я не сделал уступки ее просьбам о смягчении этого письма, душевное волнение ее было очень тихое и легкое, сравнительно с тем, что произошло бы без этого облегчения удара. Конвульсий не было; истерика была не очень частой и не очень сильной; нервной горячки не было; только понемногу падали силы.

Падали и падали, пока, наконец, утром 24 декабря, вышедши из моей комнаты, я увидел, что нет на столе самовара, которому следовало бы быть, пошел в ее комнату, и она сказала мне. «Иди за Павлом Федоровичем» — Крамером, хорошим врачом и благородным человеком, живущим в доме рядом с нами. «Я не могу встать с постели».

Врач говорит, что болезнь не опасна; что больной нужно лишь несколько дней отдыха, и она встанет.

Я убежден, Кузьма Терентьевич, в том, что теперь Вы прощаете мне мое гадкое письмо к Вам не по добродушию только, как сделали Вы, а по согласию со мною в том, что я обязан был написать Вам такое письмо.

Вы от него не заболели; а оно избавило мою жену от тяжелой болезни, которая имела бы форму нервной горячки.

Не с первым Вами я поступил так, как поступил. Были случаи, когда я поступал точно так же, а иной раз и хуже того, с людьми, которых безгранично уважал и любил. Для примера приведу Вам поступок мой с Некрасовым.

Некрасов — мой благодетель. Только благодаря его великому уму, высокому благородству души и бестрепетной твердости характера я имел возможность писать, как я писал. Я хорошо служил своей родине и имею право на признательность ее; но все мои заслуги перед нею — его заслуги. Сравнительно с тем, что ему я обязан честью быть предметом любви многочисленной и лучшей части образованного русского общества, маловажно то, что он делился со мною последней сотней рублей (он долго был беден, а «Современник» не имел денег); сколько я перебрал у него, неизвестно мне; мы не вели счета; я приходил, он вынимал бумажник и раздумывал, сколько необходимо ему оставить у себя, остальное отдавал мне. Счеты у меня были, но с «Современником»; а деньгам, которые я брал лично у Некрасова, не было счета. И вот пришел такой случай, что я написал моим петербургским родным несколько писем, в которых называл Некрасова негодяем, подлецом, и, по моему требованию, самое резкое из этих писем было отнесено для прочтения ему. Он, прочитав, отвечал передававшему письмо, что всегда знал меня за мерзавца, но такой гнусной мерзости не ожидал даже и от такого мерзавца. Он понимал, в чем дело. И когда прошла надобность умалчивать перед моими родными, в чем было дело, он

сказал, что хоть и хорошо знал силу моей любви к нему, но такого тяжелого для меня проявления ее он не ждал. Да, мне было не очень приятно возбуждать против себя негодование всех честных людей, слышавших о моем гнусном поступке с Некрасовым; но — что нужно было, то я делал; сделал и в тот раз. То было по поводу общественных интересов. По моим личным надобностям же представлялось мне подобной обязанности до пуганицы, наплетенной сумасшедшим Захарьиным.

Какой длины письмо! И два прежние мои письма к Вам были длинны, хотя и не так длинны.

Понимаю ль я, что они были утомительны для Вас? И понимаю ли, что нынешнее письмо еще утомительнее тех двух?

Понимаю ль, иль не понимаю — но все равно; достаточно и того, что я не имею досуга писать длинные письма. Я лишь с одним из родных переписываюсь не очень редкими и не очень короткими письмами. К старшему сыну, больному, я пишу три, четыре письма в год, в каждом по несколько строк. С младшим сыном вовсе не переписываюсь; пишу ему, лишь когда его мать лежит в постели и не может писать.

Из этого ясно, что я не по любви к длинным письмам писал их Вам, и что теперь, когда объяснение дано вполне, я не предполагаю утруждать Вас длинными или частыми письмами.

И прошу Вас, Кузьма Терентьевич, отвечать на это мое письмо только в том случае, если Вы имеете сказать мне по поводу его какую-нибудь укоризну. Уклониться от укоризны я не имею права. Но если, как я полагаю, Вы теперь одобряете мой поступок, очень дурной относительно Вас, то прошу Вас, оставьте это мое письмо без ответа.

Через несколько времени я пошлю Вам деловое, короткое письмо, в котором буду просить Вас об издании произведений одного из лиц, уважаемых мною. На то письмо, деловое, я буду просить ответа, который, по всей вероятности, будет согласием на мою просьбу.

Еще раз прошу Вашего прощения.

Ваш действительно, а не только по обычной форме выражения, преданный Вам *Н. Чернышевский*.

Р. С. Не вздумайте прислать мне денег без моей просьбы; я рассердился бы на это. Я надеюсь, что сколько я буду просить у Ивана Ильича, столько и будет он немедленно высылать мне. Этого достаточно. Больше, чем нужно мне, я никогда не брал ни у кого и не буду просить от Вас. Счеты с Вами когда-нибудь сведу, если не умру преждевременно. А умру не расплатившись — так и быть. Простите еще раз. Ваш *Н. Чернышевский*.

Р. Р. С. Прикажите сделать список с этого письма и прислать мне. Я не успел сделать для себя полного списка.

1240

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

26 декабря 1888.

Миленькая Леночка,

Целую Вас, моя милочка, за то, что Вы побывали у Авдотьи Яковлевны. Я хотел просить Вас об этом; но рассудил, что неловко было бы просить, не умея видеть, можете ли Вы исполнить просьбу. Ведь я, собственно говоря, не имею определительного понятия, светская ли Вы женщина, для которой удобно увеличивать число своих знакомств, или живете, замкнувшись в маленьком кругу родных и двух-трех лиц, близких Вам с давнего, детского Вашего возраста.

Но Вы сама сделали то, о чем я не захотел просить Вас. Тем более благодарен я Вам, моя миленькая душенька.

Мы очень любили Авдотью Яковлевну, Ваша маменька и я; и сохраняем всю прежнюю нашу любовь к ней.

Прилагаю записку, на которой не ставлю ни Вашего имени, ни имени Миши, чтоб одинаково удобно было Вам ли, или ему съездить с этой запиской к Авдотье Яковлевне. Она имеет вид второго листа письма к кому-то из Вас, — к кому именно, остается не определено в ней самой.

Разумеется, надобно отдать эту записку Авдотье Яковлевне, чтоб она прочла сама. Подлинные слова всегда имеют более точное значение, чем передача их содержания.

Итак, будет Вам время и удобство, то Вы отвезете записку сама; а нет, то отвезет Миша.

Милый Миша,

Благодарю тебя за то, что ты сообщил мне ответ Авдотьи Яковлевны на мое письмо к ней.

Продолжаю писать, обращаясь уж к Вам обоим.

Ваша маменька поздравляет вас через меня с Новым годом, целует вас, желает вам всего, что может быть предметом желаний любящей матери детям. Она действительно любит вас очень горячо.

Она не пишет сама, потому что со вчерашнего дня лежит в постели. На-днях, я надеюсь, встанет.

Одна из причин ее болезни то, что она не могла послать Вам такого поздравления с рождеством и Новым годом, как желала.

В этом виноват я. — Видите ли, с начала ноября мои дела пришли в сильное расстройство. В последней трети (или, точнее сказать, в последней четверти) ноября расстройство приняло вид, устранявший вероятность продолжения некоторых моих отношений. Беды в этом не было; но было большое временное неудобство.

Я принял меры для замены исчезнувших, как мне казалось, отношений другими. Я имел уверенность в успехе этих мер; но во-первых, лишь мою личную уверенность, а не положительное знание, что она не ошибочна; во-вторых — перспективу ожидания, что новые отношения станут пригодными для замены прежних — в половине февраля, не раньше.

Этим и определялись действия вашей маменьки.

Расстройство моих прежних отношений кончилось не прекращением, а восстановлением характера, какой имели они до расстройства. Новые отношения установились; но лишь письмом, полученным мною вчера (25 дек.) под вечер.

Все это хорошо. И через несколько времени — вероятно, с первых чисел февраля, — мы, ваша маменька и я — получим возможность держать себя так, как желаем. Но теперь — конец декабря, а не начало февраля.

Теперь мы уж не стеснены; но для лучшего устройства моих новых отношений я предпочитаю не пользоваться ими до начала февраля. Если б оказалось необходимо, то я отбросил бы церемонии; но если не представится необходимости, то буду соблюдать правила расчета, требующие церемонности.

А прежними отношениями я не желаю пользоваться в размере, в каком мог бы. Этого тоже требует расчет лучшего упрощения их.

Из всего этого следует, что я дал вам объяснение едва ли в точности понятное для вас. Но я и не хотел, чтоб оно было понятно вам; я писал только для того, чтобы вы видели: ваша маменька слегла в постель отчасти — и, как я думаю, главным образом — по расстройству наших дел, которое — могло ли бы быть предотвращено мною? — без сомнения, могло бы, если б у меня достало сообразительности предусмотреть его. Но я не предусмотрел. В этом виноват я, как само собою разумеется.

Особенной важности в моей вине перед вашей маменькой нет, потому что это не первый приятный ей результат моей непредусмотрительности; не первый, и не десятый, и не двадцатый; и сравнительно с некоторыми из прежних очень, очень маловажный. Потому я говорю, что важности в нем нет. Это, как Вы сами можете рассудить, доставляет мне удовольствие.

Однако я хотел написать Вам обоим вместе только три, четыре строки. Пора хоть теперь прекратить мое — в сущности излишнее — обременение себя письменным многословием. Недосуг, мои милые, недосуг. Работа запущена, и когда перестанет быть запущенной, не умею определить.

Целую вас. Будьте здоровы. Кланяйтесь всем нашим; пожелайте им от имени вашей маменьки всего, чего желают любящие родственницы в Новый год, и объясните, почему она сама не пишет.

Снова целую вас. Ваш Н. Ч.

[Второй лист письма от 26 декабря 1888.]

Но о нас с Оленькой довольно.

Отвечаю на ответ Авдотьи Яковлевны.

Я думал бы сделать так: дожидаться выхода январской книжки «Исторического вестника», в которой будет помещено начало ее записок. Это даст мне право говорить о них по личному моему знанию, которое полезно для успеха переговоров с Солдатенковым.

В успехе не могу я сомневаться.

Я думал бы написать ему так: вот появилось в печати начало воспоминаний такого-то русского автора; вы видите, что они интересны. Часть их продана тому журналу, в котором напечатано начало. Я полагаю, что вы окажете услугу русской публике, если примете на себя издание целого; некоторые эпизоды воспоминаний, изданием которых вы заслужите благодарность русской публики, хорошо известны мне; потому я считал бы своей обязанностью прибавить в примечаниях и в предисловии мои пояснения этих эпизодов.

То есть я соглашаюсь с Авдотьей Яковлевной, что та часть воспоминаний, за которую уплачены деньги Сувориним, должна быть напечатана в его журнале.

Печатать ли в нем и все остальное? — Если думать об издании отдельной книгой, то для ее успеха необходимо, чтобы значительная доля ее была новой для публики.

Прошу Авдотью Яковлевну сказать мне свое мнение об этом моем плане ко времени получения здесь январской книжки «Исторического вестника».

Если она вздумает отдать свои записки Солдатенкову для напечатания отдельной книгой, то, без сомнения, всю выгоду от издания он предоставит ей. Таковы его издательские правила.

Но должно рассчитать, какую выгоду даст издание.

Положим, книга будет иметь такую величину, что можно будет назначить цену ей в 3 р. Пусть чистая выгода от экземпляра будет 1 р. Положим, разоидется 2 000 экз. Принимая для примера эти цифры, должно рассчитать: не даст ли той же суммы — 2 000 р. — «Исторический вестник» за остальную, еще не проданную ему часть записок. Если это будет 25 листов (кроме десяти проданных), то по 75 руб. за лист гонорар будет 1 875; из-за излишка 125 р. не стоило бы отказывать «Историческому вестнику» в предоставлении ему всего целого. Тем более следовало бы отдать ему все, что тут цифра была бы верная и получение ее было бы более скорое.

Но если цена будет 4 р., выгода от экземпляра 1 р. 50 к. и быстро раскупится 3 000 экз., то выгода будет 4 500 р. В таком случае следует, по моему мнению, отдать книгу Солдатенкову;

и должно большую часть записок оставить не напечатанной в журнале, и сохранить значительную (чем больше, тем лучше) пропорцию рукописи для этого издания, как новое, нигде еще не напечатанное.

Устал. Надобно сказать Авдотье Яковлевне, что Оленька выражает ей свою любовь, а я целую ее руки. *Н. Чернышевский.*

1241

В. М. ЛАВРОВУ

29 дек. 1888.

Глубокоуважаемый добрый друг
Вукол Михайлович,

Надоел я Вам моими длинными письмами; нужды нет, вот еще длинное, по содержанию сходное с прежними, по характеру содержания существенно различное от них.

Те письма носят на себе сильный отпечаток других длинных писем, которые писал в одно время с ними. То были письма резких нападений, от настроения мыслей, высказавшегося в них, переходил тон досады и в письма к Вам.

Надобно дать Вам некоторое понятие тех писем к другим лицам, из которых переходила досада и в письма к Вам.

В продолжение лет тридцати одним из людей, близких мне, был Александр Васильевич Захарьин. В октябре, кажется, или в последние дни октября и первые дни ноября он приезжал ко мне, прожил у меня дня четыре. Он хандрил, говоря, что ему придется прожить несколько дней в Москве, прибавлял, что ему нужно там развлечение от хандры и что поэтому он просил меня познакомить его с Вами. Я охотно согласился. — «Но чтобы познакомить меня с Лавровым, нужен вам какой-нибудь предлог; дайте мне какое-нибудь поручение к нему». — «Никакого поручения у меня к нему нет, о чем бывает надобно, я пишу ему; на словах не имею ничего передать ему». — «Когда так, то найдите ж хоть выдуманный предлог мне познакомиться с ним». — «Никакого предлога не могу выдумать». — «Так что ж я скажу ему?» — «Вы скажете, что я жив, здоров, уважаю и люблю его; больше ничего не имею передать ему на словах». — «Так напишите хоть это». — «Извольте, напишу, что я просил Вас передать ему мое уважение». — «И прибавьте, что просите его верить моим словам, как Вашим собственным». — «Извольте, напишу». — И я дал ему рекомендательное письмо к Вам в этом смысле. Я просил Вас верить тому, что он будет говорить Вам от моего имени; — а о чем он должен был говорить Вам? — О моем уважении к Вам, о моей любви к Вам. — А кроме этого о чем? — Ни о чем.

Был ли он у Вас? Если был, то о чем говорил Вам от моего имени? Перечитывая, вспомнил: Вы писали, что он был у Вас. О чем он говорил с Вами, Вы не упомянули; для меня и не интересно знать теперь. Теперь это все равно для меня и будет все равно для Вас, когда Вы прочтете до конца мой рассказ о путанице, которую произвел он в моих делах своим разговором с некоторыми другими лицами, живущими в Москве.

Из этих лиц я назову Кузьму Терентьевича Солдатенкова. Знакомы Вы с ним? Если да, не заговаривайте с ним о деле, главные черты которого я представляю Вам в виде, преднамеренно туманном. Оно было одинаково неприятно и Кузьме Терентьевичу, и мне. Сущность его состояла в том, что я некоторое время считал Кузьму Терентьевича прекратившим всякие сношения со мною, как с человеком, заплатившим ему [за] доброе расположение и денежную помощь самой черной неблагодарностью. Кузьма Терентьевич был так великодушен, что выразил мне согласие остаться в прежних отношениях со мною.

Он действительно человек великодушный.

В те дни, когда я полагал, что он нашел справедливым разорвать всякие сношения со мною, как с негодяем, я писал те длинные письма к Вам. Не скажу, что я был злым в эти дни; злиться мне было не на что. Кузьма Терентьевич был бы совершенно прав, если бы разорвал всякие сношения со мной. Я не мог бы иметь ни малейшей претензии на него за это. Думаю, что и было с его стороны то, чему следовало быть по моему предположению, — что он разорвал всякие сношения со мной, я находил его совершенно правым. Я не досадовал ни на него, ни на бедного Захарьина. Но я был печален.

Не от потери дохода, который получал от Кузьмы Терентьевича за перевод Вебера; я рассчитывал, что денежного убытка не будет мне от этого, что я могу получать столько же от Вас за мое сотрудничество. Причина моей печали была не денежная.

Этого довольно. Если хотите знать больше, то спросите у заведующего материальной частью издательской деятельности Кузьмы Терентьевича, Ивана Ильича Барышева. А если сведения, которые сообщит он Вам, найдете Вы не вполне объясняющими дело и захотите дополнительных сведений, то я могу сообщить их Вам.

Вам, вероятно, кажется достаточным объяснением отсутствия досады у меня на Кузьму Терентьевича то мое выражение, что он был бы, по-моему, прав, прекратив сношения со мною, как с негодяем; но каким же образом возможно было, что я не имел досады на Захарьина, устроившего такую путаницу, из которой выходило, что Кузьма Терентьевич должен был считать меня негодяем? — вероятно, спрашиваете Вы. Объяснение — обстоятельство очень грустное: Захарьин не просто хандрил, бывши у меня, а находился в угнетенном состоянии души между двумя припад-

ками помешательства. Он сказал мне о своих припадках помешательства лишь в минуту прощанья со мною. Потом прислал мне письмо, в котором подробно описывал мне характер припадков сумасшествия, овладевающих им по временам.

Жаль бедняка. Но путаница, которую наделал он в припадке помешательства и которую он изложил мне с похвалой своему подвигу в другом письме, написанном в новом припадке помешательства, имела такой характер, что я прекратил всякие сношения с ним.

Итак, я не был зол ни на кого в те дни, когда писал Вам длинные письма, но я был печален, потому в них много горького.

Не скажу, что я был неправ, говоря Вам горькие вещи; я был прав; но я не стал бы говорить их, если бы не было горько у меня на душе.

В чем же состояла моя печаль? В те дни я не имел права высказывать ее. Теперь она перестала быть секретом. Если захотите, я напишу. Но мне недосуг писать то, в чем нет необходимости. Полагая, что Вы услышите о причине моей печали от Ивана Ильича, я не буду распространяться о ней здесь. А чтобы Вы могли судить, известна ль теперь истинная причина моей печали Ивану Ильичу (я не знаю, а только полагаю, что она теперь известна ему), я скажу Вам, что если он будет объяснять дело моим раздражением от мысли, будто я выставлен был Кузьме Терентьевичу человеком корыстолюбивым или нечестным в денежном отношении, — то это лишь была моя выдумка, прикрывавшая собою правду, которой я не имел права высказать тогда и которая нисколько не похожа на гнев от опасения прослыть мошенником, подобных обвинений я не слишком-то опасюсь, да и вообще я не имею охоты обижаться какими бы то ни было дурными слухами обо мне. Над всякими обвинениями меня я издавна привык смеяться от искренней души. Я далеко не агнец и не ангел; но на то, хорош ли я в чем, дурен ли в чем, я давно махнул рукою, — махнул рукою с самого начала моей литературной деятельности. Без того я не мог бы писать так, как писал в моей молодости. А старику и подавно не приходится интересоваться тем, красив ли он; тем более не приходится, что физиология учит: старость не красит.

Вступление к поэме кончено. Поэма, я надеюсь, будет короче вступления; надежда эта, может быть, окажется ошибочной, но несомненно то, что поэма будет написана не поэтическим слогом, как вступление, а прозаическим.

Благодарю Вас, Вукол Михайлович, за письмо от 20 декабря. Из неупоминания о том, что Вы рассчитываете поместить начало бесконечного ряда моих повестей в январской книжке, я заключаю, что у Вас не заведен тот порядок, которого держался Некрасов в «Современнике» и который я описывал Вам с украшением речи любезностями самому себе: «чорт бы меня побрал» и «чорт

бы меня подрал!» (мимоходом: это два разные украшения, хоть и одного (чисто русского) стиля; не думайте, что «подрал», встречающееся в некоторых местах, описка вместо «подрал» и наоборот). Какой заведен у Вас порядок, это не мое дело, а Ваше. Следовательно, мне тут не за что быть в претензии.

Я говорил, что если б я предвидел, что моя повесть (то есть начало романа со вставкой самостоятельной повести) не попадет в январскую книжку, то продержал бы у себя рукопись недель дольше и значительно улучшил бы ее. Правда. Но существенно важные поправки можно сделать в немногих словах, и я прилагаю эти улучшения на отдельных листках, которых счетом четыре. Прошу, вставьте их, где придется.

Все другие улучшения были бы важны, если бы были сделаны; а не сделаны, то и не нужны. Посланная мною Вам часть сборника рассказов, охваченных рамкою романа, хороша и без них. Она хороша. Плохого ничего я не намерен печатать, потому что не имею надобности в том. Деньги, какие буду я получать от Вас, важны для меня; очень важны; но — ведь все равно, писал бы я перевод Вебера и зарабатывал бы во столько же дней приблизительно столько же денег; то с какой стати писал бы что-нибудь для Вас, если бы не имел написать что-нибудь хорошее?

А вкус у меня — строже, чем у многих; например: из всех, писавших прозой по-русски после Лермонтова и Гоголя, я вижу очень сильный талант только у одного драматурга — Островского — и у одного романиста — кого? — Это пока мой секрет (понятно, я говорю не о себе).

А к себе я строже, чем к другим.

Уведомьте, помещаете ли первый отдел «Вечеров у княгини Старобельской» в февральской книжке. Нет, так нет; мне все равно; если и не понравилось Вам это мое произведение и Вы вовсе не хотите печатать его, тоже все равно для меня; напишите без церемонии. А если думаете напечатать, то я напишу для Вас продолжение, так, чтоб оно успело попасть в следующую книжку.

Видите ли, что: люди, если не согласны были вначале между собою, должны поспорить, поспорить, да и бросить спор. Я нахожу, что поспорил с Вами достаточно, и если не убедил Вас до сих пор, то уж и не должен иметь надежды убедить.

Вы с Виктором Александровичем поступили относительно меня так, как я не ожидал: Вам показалось, что я такой сотрудник, как другие, которые представляют свои произведения на оценку редакции. Вы взялись судить, следует или не следует напечатать статью, присланную мною.

Этого я допустить не могу.

Никакого и ничьего, кроме цензорского посредничества между мной и типографией, я не допускаю.

Первую Вашу с Виктором Александровичем ошибку я решил не ставить в счет. Это была ошибка незнания, в которую сам же я ввел Вас деликатностями в письмах к Вам и дурацкими своими оговорками против себя в тех же письмах.

Но если Вы не считаете возможным отправлять, не читая сами (Вы или Виктор Ал-вич) в типографию присылаемое мною, то мое сотрудничество невозможно.

Да или нет — я прошу Вас сказать просто, «да» или «нет»; никаких оговорок я не допускаю.

«Да», то я буду писать для Вас много; так много, что при всем моем нежелании иметь какое-нибудь влияние на характер «Русской мысли», она до некоторой степени или повысится или понизится во мнении публики от моих статей и повестей; это будет листов 50 в год, вероятно больше; подумайте сами: рамка романа создана и целая, довольно большая повесть написана — в три недели. Я работаю быстро. И как романист или беллетрист, я должен сказать о себе, что фантазия у меня очень богата. Затруднение, с моей точки зрения, вот в чем: торговаться с Вами я не намерен, потому что это не нужно; и без всякого торга Вы будете давать мне высокую плату; это прекрасно для меня; но для кассы журнала? — Есть пропорция между дорогими и дешевыми листами; очень много дорогих листов не может быть в книжке; не выдержала бы касса. В «Современнике» было так:

статьи мои и Добролюбова не идут в счет (как и то, что поместит Некрасов, участие которого по числу страниц ничтожно, потому не заслуживает внимания по счету кассы); много ли, мало ли мы поместим в данной книжке, все равно; мы возьмем всякую сумму денег, какая нам нужна; в кассе нет их? — Тем хуже для Некрасова; деньги приходится нам брать из его кармана; у него нет? — «Эх, нет денег, Н. Г. — Это обыкновенно бывал я, Добролюбов очень редко. — Приходится Вам подождать до завтра; поеду вечером, займу у NN». — Следовательно, чем больше листов написали мы, тем легче для кассы: меньше остается листов, по которым она должна произвести уплату.

Из этих других листов (до 200 в год) только 50 могут быть дорогими; большего числа дорогих листов не выдержит касса.

«Русская мысль» не так бедна деньгами, как был «Современник», но и у нее должна быть и, без сомнения, есть граница количеству дорогих листов; невозможно иначе, не выдержала бы касса.

Само собой разумеется, что с сотрудником, понимающим условия возможности журнального дела, каков я, рассуждения об этом очень просты и не могут вести ни к чему, кроме простого ответа: «Вы совершенно прав, Вукол Михайлович»; я предполагал бы, что дело всего удобнее определится так:

дадим пройти трем, четырем месяцам, чтобы нам обоим было видно: может ли мое сотрудничество в полном своем размере

стать по числу листов обременительным для кассы; в четыре месяца касса не лопнет от моего напора, это первое; а второе — мне вовсе и не нужно немедленного расчета, если сумма платы очень велика; мне нужно только такое количество денег, какого требуют мои расходы; они велики, это правда; но — не 10 000 р. в год, гораздо меньше; то есть не 800 р. в месяце — далеко нет.

Это к чему? — Опыт трех, четырех месяцев не представляет, по-моему, ничего опасного для кассы. Я предполагал бы сделать этот опыт, и потом — предполагая, что полный размер моего сотрудничества оказался бы тяжел, Вы написали бы мне:

«Вот какое количество Ваших листов» или «вот какую величину ежемесячной платы Вам впредь до расчета» может выносить касса.

И я написал бы Вам: «Пусть так и будет, как это возможно по Вашему соображению».

Не хотите этого опыта, то и не нужно его. Вы прямо, не дожидаясь ни трех, ни двух месяцев, напишите мне: «могу посылать Вам в месяце вот столько» — предположим, 200 р. — мне и того довольно.

При этом Вы и я, мы подразумеваем:

«Плата будет высылаться не авансом, а только в счет того, что придется заплатить за присланное» — и при взаимном доверии, разумеется; за готовое к отправлению на почту.

А я могу писать больше чем, например, на 200 р.? — О, разумеется. — Что ж излишек написанного? пойдет в другой журнал? — Я не полагаю. Лучше, чем писать в двух журналах, я буду меньше времени употреблять на журнальную работу, оставлять больше времени для работы по счету с Солдатенковым. Конечно, у Вас может выйти такой случай, что Вы в интересах «Р. мысли» найдете надобность сделать удовольствие другому журналу, — положим, «Северному вестнику», из любезности к Короленко; тогда Вы пишете мне: «Сделайте для меня удовольствие, дайте что-нибудь для Короленко». — Почему ж нет, если это нужно журналу, интересы которого я должен считать до некоторой степени своими? — По Вашей надобности могу сделать любезность «Сев. в-у». Но только для Вас, по Вашей просьбе. Сам я склонности гоняться за двумя журналами не имею.

Словом, денежная сторона наших отношений не может стать предметом длинных рассуждений между нами: Вы увидите, какими расчетами можно определить ее, и дело в шляпе.

Но повторяю и повторяю:

Мое сотрудничество возможно лишь под условием, что все посылаемое мною идет в типографию не читанное никем, кроме меня.

Повредит это журналу? — Я буду смотреть; могу не разобрав сам; если не разберу сам, спрошу у Вас месяца через три, четыре; Вы напишете: «да, публике не нравится». — Не

нравится, то что ж с ней делать? — Не пичкать же ее тем, что не нравится ей; брошу писать для нее — и только; переводы ученых книг берет Солдатенков всякие, какие буду делать для него.

«Да верно ли, что Вы не захотите пичкать публику тем, что не нравится ей?»

В моей прежней деятельности были примеры тому; увижу, что начатое мною скучно для публики, то и брошу продолжать.

А вот Вам новый пример: я не умею разобрать, повредила или нет «Р. мысли» моя статья о борьбе за жизнь; потому я не продолжаю ее; увижу: не повредила, пришлю продолжение; пройдет полгода и все еще не будет видно мне, что следует продолжать, то и окончательно отброшу мысль о продолжении.

Поэма вышла длиннее вступления. Одна надежда не исполнилась, то не следует исполняться и другой; я был уверен, что поэма будет написана прозой; — а вижу, под конец разыгрывается творческая фантазия; а творческой фантазии приличнее стихотворная одежда, и так:

ВИДЕНЬЕ ВИСТАРА

Виденье Вистара
В девятое лето
Правленья Джемшара,
На праздник весны,

В столице Ирана,
Ширазе прекрасном,
В саду Дайрианы,
Джемшира жены.

Весна наступает; Иран, веселися:
Последней твоей это праздник весны;
Сплошной от Байкала до Инда ордою
На запад несутся пустыни сыны.

От скудосги стран их тела их скелеты,
И сквозь их лохмотья их ребра видать;
Широки их лица, и плоски черты их;
На плоских чертах их бездушья печать.

Как гривы их коней, жестки волоса их,
И взгляд их прижмурен, добычи искать;
Как крючья их руки, как когти их пальцы,
И цепки и крепки хищенье хватать;

Шумит их дыхание порывами бури,
И ветер от той бури тлетворней чумы:
Траву иссушает, и зверя он бесит,
И ужасом в людях мертвит он умы.

От вопля томленья их жажды до крови
И топота коней, и грома литавр,

Волнуются реки и море бушует.
Дрожат Гималаи, колеблется Тавр.

Весна наступает; Иран, веселися:
Последней твоей это праздник весны;
Сплошной от Байкала до Инда ордою
На запад несутся пустыни сыны.

Хорошие стихи, Вукол Михайлович.

Жаль только, что мне очень тяжело писать стихи. Потому у меня лишь в нескольких местах, всего только в вступлении и, кроме приведенного, только еще в двух, трех маленьких эпизодах введена «прямая передача» поэмы, по выражению Вязовского; все остальное, то есть всю поэму, кроме этих нескольких десятков стихов, Вязовский пересказывает «по памяти», «своими словами», прозой. А поэма эта:

Эль-Шемс-Эль-Лейла-Наме.
Книга Солнца Ночи.

Вязовский не скоро доберется до того, чтобы рассказать ее; по сказочной форме рамки причиной задержки исполнению его обещания рассказать эту поэму служит длинное сцепление обстоятельств, приводящее княгиню Старобельскую к согласию объявить, что она вступает в брак с князем Серпуховским. Художественная причина отложить поэму до конца первой части бесконечного романа та, что европейские рассказы бледнеют перед этой поэмой, автором которой Вязовский называет Гюльзаде, царевну прежней персидской династии, тайно живущую в Англии и замышляющую освободить Иран от рабства кадджарам, — кадджары это туркмены, это туранцы, это вековые враги Ирана, истребители просвещения иранцев.

Начинает писать мой молодой друг (настоящий плохой и будущий хороший артист труппы Гавриила Мироновича Коврова, Константин Михайлович Федоров).

Я получил вчера книжку Виктора Александровича «Воспитание» и пр. Благодарю его за доброе расположение. Хочу написать рецензию этой книжки для «Русских ведомостей». Если раньше, чем пришлю ее, будет помещена в них другая рецензия, это ничему не помешает, потому что моя рецензия будет, разумеется, своеобразная, не повторяющая ничего, что может быть сказано о книжке другим рецензентом и не могущая противоречить ничему, сказанному им о ней.

Вот видите, Вукол Михайлович, как умудряет бог младенцев (к которым, без сомнения, и Вы, подобно Константину Михайловичу, причисляете меня, принимая в соображение фазис умственной эволюции, до которого я дожил, нет, Вы не слишком-то считайте меня стариком, отставшим от века: употребляю, как

видите, дурацкие новые слова, в доказательство моей погони за успехами просвещения; терпеть не могу слова «эволюция», с которым новомодная наука носится, как дурень с писаной торбой, по выражению Гоголя; открылось по божественному вдохновению мне, куда я могу сбывать через Вас и Виктора Александровича тот избыток моих журнальных работ, который оказался бы лишним для «Русской мысли» по соображению, о котором писал я выше, эти статьи будут находить себе место в «Русских ведомостях»). Кстати поблагодарите редакцию их за ту любезность, что она присылает мне (свою действительно честную, безукоризненно честную) газету.

Жму руку Виктору Александровичу. Буду писать ему на днях; то есть, вероятно, не слишком-то скоро. Не знаю, когда выберется свободный — хоть получас, если не час.

Жму Вашу руку, добрый друг Вукол Михайлович. Ваш
Н. Чернышевский.

1242

В РЕДАКЦИЮ «РУССКОЙ МЫСЛИ»

[Декабрь 1888.]

ВСТАВКА ВТОРАЯ.

К тому месту, где говорится, что общество перешло из столового салона в салон, приготовленный для слушания сказки Вязовского, и описывается устройство этой аудитории. Там сказано, что перед эстрадой или по бокам эстрады стояли два стола, за которыми сидели стенографы и стенографистки; распределение стенографов и стенографисток на два отдела по двум столам или не обозначено там, или обозначено неудовлетворительно. В моей черновой рукописи это место читается так:

«По сторонам эстрады стояли два стола для стенографов; на эстраде стояло кресло и кабинетный стол.

«Вязовский подошел к стенографам, пожал им руки и разговаривал с ними, пока общество выбирало места».

В белой рукописи, вероятно, изменены некоторые выражения цитируемого мною здесь места черновой рукописи; как бы ни были изменены они, все равно те строки белой рукописи, которые по смыслу соответствуют цитируемому мною месту черновой, должны быть заменены следующими строками:

«Между эстрадой и передним полукругом аудитории, несколько правее и левее эстрады, стояли два стола; за тем, который был налево перед эстрадой (если смотреть из середины полукругов к эстраде), сидели шесть стенографов; все шестеро были молодые люди; за другим пять стенографисток и мужчина лет тридцати пяти или несколько побольше; он, очевидно, был глава этого общества стенографисток и стенографов.

«Вязовский подошел к столу стенографистов и, не обращая внимания на них, низко поклонился девушкам и сидевшему с ними мужчине за другим столом, потом, перестав обращать внимание на тот стол, пожал руки стенографистам и разговаривал с ними, пока» —

И так далее, те слова, какие соответствуют этим в белой рукописи.

ВСТАВКА ТРЕТЬЯ.

После первого перерыва сказки Вязовского «Мое оправдание», Септембрини рассказывает, как он ездил в Арль, как возвратился и как ему привезена была записка от мистера Бриггса. Эта записка кончается подписью мистера Бриггса; в подписи стоит:

Джемс Бриггс.

Личное имя Джемс должно быть заменено другим именем; я, на листке, приложенном к рукописи, говорил, что вместо Джемс должно поставить Альфред; теперь я нашел, что и Альфред не годится; должно поставить Генри, так что подпись будет:

Генри Бриггс.

Этими тремя переменами и ограничиваются все те изменения, какие надобно сделать в рукописи, с которой производится набор.

Прошу у гг. наборщиков извинения в том, что рукопись испещрена пометками и вставками, затрудняющими набор. Надеюсь на их снисходительность.

Жму руки вам, господа труженики, и вам, тоже труженик, г. корректор. Я был когда-то вашим товарищем; корректором был недурным, наборщиком плохим, но усердным, и горжусь тем, что есть в русской литературе страницы, набранные мною.
Н. Чернышевский.

1243

В. М. ЛАВРОВУ

31 дек. 1888.

Глубокоуважаемый добрый друг Вукол Михайлович, Вот опять письмо от старого дурака; но на этот раз короткое — следовательно, прекрасное.

Я очень высоко ценю талант Марка Вовчка (Марьи Александровны Маркович). Тот романист, о котором я говорил в предыдущем письме, что только он, после Лермонт[ов]а и Гоголя, писал рассказы, истинно заслуживающие моего уважения по своей художественности, — М. А. Маркович.

Я никогда не видывал в лицо эту благородную женщину, этого даровитейшего из русских рассказчиков после Лермонтова

и Гоголя. Я и не имею переписки с нею. Но я вижу с ее сыном, живущим здесь. Через него я получил ее согласие на то, чтоб я позаботился о новом (первом полном) издании ее произведений. Они составят 4 тома такой величины, как книжка «Русской мысли», то есть 6 томов такого формата и числа страниц, какие приняты для полных собраний сочинений беллетристов. Экземпляры прежних изданий, остающиеся нераспроданными, находятся в ее руках и будут уничтожены.

Я перед появлением этого издания в свет напишу статью о произведениях Марка Вовчка. Для такого писателя я отступлю от своего решения не писать о русской литературе. Если надобно, по Вашему мнению, сделать мне еще что-нибудь для доставления этому изданию того успеха, какого достойно собрание сочинений Марко Вовчка, скажите мне: я вперед готов сделать все, что могу.

Марко Вовчок забыт публикой. Да и когда писал, не имел той славы, какой был достоин; это потому, что М. А. Маркович сначала жила вдаль от литературных кругов, а потом была дружна с Некрасовым (дружба была не романтическая; М. А. М[аркович] была тогда уж не молодая женщина), и вражда литературных кoterий к Некрасову распространялась и на нее. У некоторых влиятельных в литературе людей были и личные причины ненависти к ней.

Окупятся ль издержки издания? Если да, удобно ль Вам принять их на себя? — Мое условие подразумевается само собою: за покрытием издержек, вся выручка должна принадлежать автору. Кажется, Вы и держитесь такого правила в делаемых Вами изданиях беллетристов?

Я нашел своей обязанностью спросить Вас, удобно ль Вам будет принять на себя труд и авансы этого издания. При малейшем неудобстве отвечайте без всякого стеснения передо мною, что это дело неудобно для Вас. Я имею согласие Солдатенкова издавать все, что пришлю я ему с просьбой об издании; потому, Вы видите, Ваше неудобство заняться изданием сочинений Марка Вовчка нимало не затруднит меня в исполнении моего желания оказать услугу М. А. Маркович и русской публике.

А Вам — я думаю — это издание было бы лишней прибавкой к трудам, и без того тяжелым, которых требует от Вас «Русская мысль». Но так ли это, я не знаю; быть может, у Вас и есть некоторый досуг; потому было бы неловко с моей стороны не обратиться с вопросом к Вам, добрый друг.

Прилагаю еще листок поправок к началу моей сказки. Это уж последние поправки.

Прибавляю для Виктора Александровича. — Вчера я получил тот номер «Русских ведомостей», в котором помещена рецензия его книги. Рецензия, по моему мнению, справедлива и хороша. Но она нимало не мешает той статье, которую напишу о его книге я; как управлюсь с предисловием к издаваемому (по

моей просьбе) Солдатенковым переводу книги Летурно «L'évolution de la morale», сделанному Богданом Афанасьевичем Марковичем, сыном Марьи Александровны (уж не молодым человеком), так и примусь писать статью о книге Виктора Александровича. Жму ему руку.

Будьте здоров, добрый друг Вукол Михайлович, и, как прибавляли к этому в старину, любите меня, *vale ac te ama*.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1244

В РЕДАКЦИЮ «РУССКОЙ МЫСЛИ»

[31 декабря 1888.]

НОВЫЕ ПОПРАВКИ К РАССКАЗУ «ВЕЧЕРА У КНЯГИНИ СТАРЦЕВЬСКОЙ».

По окончании чтения сказки Вязовского подходит к нему князь Серпуховский. В тексте имя Серп-кого

Константин Николаевич

отчество — кажется, так? Николаевич? — Но так ли оно, не так ли, как помнится мне, все равно: оно остается, какое находится в тексте; а должно быть переменено личное имя; оно должно быть не «Константин», а

Валерий.

Таким образом, полное имя с отчеством должно быть сделано таким:

Валерий Николаевич.

Княгиня зовет его одним личным именем — в простой форме; потому в ее разговорах с ним вместо «Константин» должно быть поставлено

Валерий.

Баронесса, графиня и Глинский зовут Серпуховского уменьшительным именем ласковой формы; она у меня производится от имени «Валерий» не обычным способом (который дает форму «Валенька»), а своеобразным, который дает форму

«Леренька»;

итак, в разговорах баронессы, графини и Глинского с князем Серп-им вместо «Костя» или «Костенька» должно быть поставлено сообразно ласковому окончанию этой формы, должна быть поправлена и форма имени, которую употребляет Серп-ий, обращаясь к Глинскому; я не знаю, правильно ль я вспоминаю личное имя Глинского; мне помнится, оно в тексте «Владимир», и Серп-ий называет Глинского «Володя».

Если действительно Глинского зовут Владимир, то в обращениях Серп-го к нему вместо «Володя» должно быть поставлено

Володенька.

А если его зовут, например, Дмитрий или Григорий, то форма его личного имени в словах Серп-го, обращенных к нему, будет Митенька или Гришенька.

Имя Глинского, какое б ни было оно в тексте, остается прежнее; изменяется лишь форма окончания ласкательного имени, которым называет его Серп-ий.

Жму Ваши руки, господа мои товарищи по прежним моим занятиям. *Н. Чернышевский.*

1245

Е. Ф. КОРШУ

3 января 1889.

Милостивейший государь Евгений Федорович,

Вы с такой дерзостью злоупотребляли моей деликатностью, что я принужден просить Вас о прекращении корректурного чтения присылаемых мною рукописей. *Н. Чернышевский.*

1246

Ю. П. ПЫПИНОЙ

4 января 1889.

Миленькая Юленька,

Оленька радуется счастью Наташи и Вашему счастью от ее счастья. Я, разумеется, разделяю чувство Оленьки. Мы оба целуем Наташу, поздравляя ее.

Вы этим радостным уведомлением много помогли, как мне кажется, восстановлению сил Оленьки. На рождество она была так больна, что несколько дней не могла встать с постели. Теперь ходит; но все еще слаба. Главною причиной ее болезни было огорчение, о котором я не хочу говорить ничего, кроме того, что оно отозвалось на моих денежных делах. Я, разумеется, принял меры, чтобы смягчить этот неожиданный для меня удар, упавший на Оленьку. Но все-таки он так тяжело подействовал на нее, что она слегла в постель. — Теперь мои денежные дела пришли в положение, лучше прежнего. Надеюсь, что и здоровье Оленьки восстановится со временем.

А теперь я пишу Вам потому, что сама она еще не может писать.

Читая Ваш рассказ о том, какой здоровенький, миленький и умненький ребенок Ниночка, Оленька тоже радовалась; но и много плакала, вспоминая об утрате нашего с нею внука.

Оленька поздравляет с наступившим Новым годом и целует Вас и Ваших милых, которые тоже и ее милые.

Целую Вас и их и я.

Целую Ваши руки, моя миленькая сестричка. Ваш Н. Ч.

Прилагаю письмо к Сашеньке.

1247

А. Н. ПЫПИНУ

4 января 1889.

Милый Сашенька,

Ты осуждаешь меня за тот мой поступок, о котором сообщил я тебе, посылая копию с письма к Солдатенкову о разрыве моем с ним. Я тогда же прибавлял, что знаю: ты осуждаешь меня. Итак, я вперед принял твое осуждение мне. Но если ты желаешь знать, как думает теперь об этом деле Солдатенков, то спроси у него. Я не знаю и, вероятно, не узнаю, потому что, отвечая на его просьбу о продолжении прежних моих отношений к нему и изложив в этом ответе истинный мотив оскорбления, нанесенного мною ему, — мотив, не имеющий ничего общего с выдумкой о моей обидчивости относительно предположения во мне желания разбогатеть, — выдумкою, предназначенною лишь для прикрытия истины, которую открыть ему я не имел тогда права, — я закончил письмо просьбою не отвечать на него, если он теперь считает меня поступившим хорошо. Я полагаю, что ответа не будет. Но не знаю, может быть ошибаюсь; может быть, он порицает меня. Потому, если хочешь судить обо мне с знанием дела, то попроси Солдатенкова прислать тебе копию с моего письма, раскрывшего ему правду (у меня не сделано копии), и попроси чтоб он высказал тебе свое мнение о моем поступке, осуждаемом тобой.

Понятно, что мои отношения к нему изменились: прежде я просил у него денег; теперь — он просил меня не разрывать отношений к нему; следовательно, не может быть и речи о том, оказывает ли он мне услуги, исполняя мои желания; я лишь по любезности к нему не отказываюсь от сношений с ним. Я веду теперь свои работы так, чтобы не мне быть в денежном долгу у него, а ему быть моим должником. Месяца через три надеюсь достичь этого. А пока я имею право брать из его кассы столько денег, сколько мне понадобится, не спрашиваясь у него, брать ли. Понятно, я не употребляю во зло это право. Напротив, я хочу брать у него как можно меньше денег. И вовсе не стал бы брать,

если бы не требовала того деликатность. В марте я перестану нуждаться в его авансах, и он обратится в моего должника.

Однако не имею досуга писать тебе много. Работа запущена страшно. Эта история отняла у меня недели две на писание писем Солдатенкову, Лаврову и некоторым другим знакомым.

Целую тебя. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1248

И. И. БАРЫШЕВУ

5 января 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Ныне я послал на Ваше имя перевод книги Летурно, сделанный г. Марковичем по моему уверению, что К. Т. Солдатенков согласился принять на себя издание этой книги в русском переводе.

Перевод г. Марковича очень хорош, так что я, прочитывая его и сличая с подлинником, почти вовсе не находил случаев делать поправки.

Все, могущее возбудить цензурные затруднения, выброшено из книги г. Марковичем и мною, так что книга в его переводе стала совершенно невинной.

Я обещал Кузьме Терентьевичу написать предисловие к ней. Я пришлю его к Вам не позже как через две недели (т. е. отправлю отсюда 19 января, если не раньше).

Корректурa книги не может быть поручена Е. Ф. Коршу. Если у Вас нет лица, которое могло бы читать редакторскую корректуру, обратитесь от моего имени к Вуколу Михайловичу Лаврову (издателю «Русской мысли») или к Виктору Александровичу Гольцеву (сотруднику этого журнала) с просьбою рекомендовать Вам опытного, образованного и умного человека для чтения редакторской корректуры перевода книги Летурно, посылаемого мною теперь, и других — моих ли, чужих ли, все равно — рукописей, которые буду я посылать на Ваше имя.

Никакая рукопись, посылаемая мною, не может быть поручаема для чтения корректуры г. Коршу.

Это моя непрременная воля. Никаких объяснений я не даю. Я так хочу, и только.

Прошу уведомить об исполнении этого моего требования. Прошу помнить, что малейшее сопротивление ему имело бы немедленным последствием разрыв моих отношений к Кузьме Терентьевичу. Это было бы прискорбно мне; но было бы неизбежно.

Другое дело мои денежные просьбы. В них может быть отказываемо мне, и я не обижусь отказом.

После того, что произошло от разговоров Ваших и Кузьмы Терентьевича с Захарьиним, я должен с каждой минутой ждать

какой-нибудь новой истории в таком же вкусе или другом, не менее приятном. Мало ли в Москве и приезжих и своих бродячих людей? Зайдет кто-нибудь из них, наговорит Вам ахины, а Вы всему поверите и исполните его советы. Потому я постоянно готов получить отказ в моих денежных просьбах.

Я писал Вам, что в случае прекращения авансов мне я прошу уведомить меня об этом решении за две недели до срока, с которого оно начнет быть приводимо в исполнение. Я нахожу, что двухнедельный срок, определенный мною, условие стеснительное для Кузьмы Терентьевича и Вас, потому несправедливое с моей стороны. Я отменяю его и говорю:

Прошу не стесняться никакими сроками предуведомления о прекращении авансов мне, ни даже хотя бы пятью минутами; как принято решение прекратить авансы, так пусть и будут они отменены с той же минуты.

Прошу лишь об одном: немедленно по принятии решения прекратить их, уведомить меня телеграммой, что они отменены;

на исполнение этой моей просьбы я желаю надеяться.

Я буду постоянно ждать телеграммы об отказе мне в авансах и нимало не обижусь ей; буду попрежнему исполнять мои обязанности относительно Кузьмы Терентьевича.

Чтобы Вы имели удобство исполнить мою просьбу о немедленном уведомлении меня телеграммой о прекращении авансов мне, я принимаю правило просить денег у вас не письмами, а телеграммами с оплаченным ответом.

Первую из таких телеграмм Вы получите, вероятно, раньше получения этого моего письма. Она будет говорить, что я прошу перевести просимые мною деньги телеграммой на здешнее отделение Волжско-Камского банка, не почтовой корреспонденцией, а телеграммой на Волжско-Камский банк. Это потому, что я буду отлагать мои просьбы о деньгах до последней крайности, и промедление в получении их будет невозможным для меня. Я справлялся, сколько времени нужно здешнему отделению Волжско-Камского банка для получения телеграммы из Москвы и приобретения права выдать деньги по ней. Бухгалтер (истинный правитель дел здешнего отделения Волжско-Камского банка при неспособности директора) сказал мне, что здешнее отделение выдает деньги утром дня, следующего за днем отправления телеграммы из Москвы. Итак, на это идут одни сутки; другие сутки я полагаю для того, чтобы дошла моя телеграмма до Вас. Итого, двое суток. Но я кладу три. Итак: если я пошлю телеграмму Вам, например, во вторник, я буду ждать выдачи мне денег из здешнего отделения Волжско-Камского банка до пятницы; неполучение их в пятницу я буду считать равнозначительным отказу.

И повторяю: нимало не обижусь.

Вы, читая, думали: «Чернышевский — человек тяжелого характера, дурного характера». Да, мой добрый друг: я человек

тяжелого и дурного характера. Но исправляться мне поздно, и если бы не было поздно, то я [не] хотел бы.

Еще одно: не рискуйте посылать мне деньги без моей просьбы или посылать больше, чем я буду просить.

Простите за неприятное впечатление, произведенное на Вас этим письмом. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1249

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

7 января 1889.

Милый друг Саша,

Я получил твое письмо от 19 декабря. Благодарю за него.

Хочу коротко рассказать тебе о положении своих дел, чтобы мог ты видеть, основателен ли совет, который хочу я предложить тебе. Напишу коротко, потому что не имею досуга.

В начале ноября мои денежные дела подверглись неожиданному приключению, отнявшему у меня половину моего дохода. Я должен был принять этот тяжелый урон молча, потому что кредитор имеет право уменьшить свои ссуды должнику; но в конце ноября дело выказало иную сторону свою, поставившую меня в необходимость совершенно отказаться от получения дохода, которым жили мы, твоя мамаша, я и ты.

Я занялся тогда другой работой, которая должна была давать мне новый доход. Но, мой друг, люди, с которыми вступил я в новые денежные отношения, не могут еще судить, полезна ли, пригодна ли для них моя работа. При всем желании давать работу бедному человеку, не могут же они, будучи не миллионерами, давать деньги за работу, непригодную для них.

Прежний источник моих доходов открылся для меня вновь. Но переговоры, предшествовавшие этому, имели с моей стороны такое направление, что я поставлен в надобность как можно меньше брать из этого источника. Буду брать, сколько принуждает крайность, но не больше. В счет крайне надобной суммы заимствований из этого источника входит, разумеется, отправление денег тебе в прежнем размере, по 50 р. в месяц.

Откроется ль новый источник доходов, я еще не знаю; и если (как я думаю) он откроется, то я еще довольно долго буду не знать, надежен ли он; и обилен ли будет он, если окажется надежным, я тоже не скоро могу увидеть.

Друг мой, что станется с тобою, если мои источники доходов иссякнут? — У тебя нет своих доходов. Литературная деятельность не может дать их тебе. Частные уроки тоже не могут прокормить тебя. Я высказываю эти свои убеждения не для того, чтоб услышать от тебя возражения против них. Знай, что ника-

кими возражениями ты не можешь переубедить меня. Потому прошу тебя стать на мою точку зрения и подумать, правилен ли с нее тот совет, который я даю тебе.

Ты не можешь получать для себя кусок хлеба ничем, кроме службы. Говорят, что должность учителя в казенном заведении неудободостижима для тебя. Так ли? Я полагаю, эта мысль ошибочна; я думаю, что лишь бы нашли тебя способным занимать должность учителя в гимназии, то дали бы ее тебе. Но пусть казенные учебные заведения закрыты для тебя. В таком случае, я говорю: не имея казенной учительской должности, нельзя прожить должностью учителя в частных учебных заведениях и надобно искать какой-нибудь конторской службы.

Я говорю это не для того, чтобы ты спорил против моего совета. Я не хочу спорить с тобой. Я только прошу тебя принять, если можешь, мой совет.

Друг мой, пока я здоров и имею работу, у нас с твоей мамашей будет возможность и не будет недостатка в охоте делиться с тобою. Но мы с нею сами можем каждую минуту увидеть себя лишенными средств к жизни. А что будет с тобой, когда я одряхлею? Это время не за горами. Мне уж больше 60 лет, и некоторые стороны моего здоровья не вполне удовлетворительны.

Друг мой, позаботься устроить себя так, чтоб у тебя был свой кусок хлеба. Мой хлеб ненадежен и, по ходу человеческих лет, не будет получаться долго.

Прости, что огорчаю тебя.

Прошу, последуй моему совету. Ищи себе службы. Нашедши, держись ее, отбрось желание управлять людьми, дающими тебе жалованье; они нуждаются не в менторах, а в исполнителях их поручений.

Прости, прости, что огорчаю тебя.

Твоя мамаша целует тебя.

Целую тебя и я. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1250

А. Н. ПЫПИНУ

[7] января 1889.

Милый Сашенька,

Прошу тебя, прочитав прилагаемое в особом конверте письмо мое к твоему племяннику Саше, закрой и отдай ему заклеенное. Пусть то, что я пишу ему, он считает секретом между ним и мною.

Захочет ли он говорить с тобою о содержании моего письма к нему? — Едва ли. — Захочет ли он последовать моему совету? — Едва ли. — И если бы захотел, то оказался ль бы способен зарабатывать себе кусок хлеба? — Я полагаю, оказался

бы неспособен. Потому-то с самого отъезда Саши отсюда в Петербург я и не заводил с ним речи о надобности ему искать работы. Но вот подумал: все-таки обязан же я сказать ему свое мнение, что он проводит время в пустых надеждах и что если чем может он избавить себя от голода в случае моей смерти или одряхления моего, то не чепухой, которой бесплодно занимается, а лишь машинальной работой.

Дела мои теперь вовсе не в таком шатком положении, как я пишу ему. Я могу брать у Солдатенкова сколько хочу. С «Русской мыслью» я — сошелся ль? — еще не знаю, но это все равно: если не сошелся, то сойдуся; об этом у меня нет сомнения; вопрос лишь в том, понадобится ль написать еще несколько писем к Лаврову, или дело уж решено прежними моими письмами, которые шли к нему одно за другим так быстро, что он, не успев приняться за ответ на одно, составлявшее целую диссертацию, уж получал другое, бывшее тоже целой диссертацией.

Недосуг писать тебе больше. Страшно запустил я работу.

Целую руки Юленьки.

Целую ваших детей.

Оленька целует вас всех.

Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

1251

В. М. ЛАВРОВУ

10 янв. 1889.

Добрый и глубокоуважаемый друг Вукол Михайлович, Вам не понравилась моя повесть. Не понравилась, то не понравилась. Как мог бы я сердиться на Вас за это? Разве Вы виноваты в том, что она не понравилась Вам? Разве Вам хотелось, чтоб она не понравилась Вам? Виновата она. Стану я досадовать из-за этого! Пустое вышло дело, и забудем его.

Когда у меня найдется досуг продолжать роман, начало которого имеет название «Вечеров у княгини Старобельской», я попрошу Вас переслать обратно мне находящуюся у Вас рукопись; но когда это будет, не знаю; вероятно, не скоро. А до той поры, пусть валяется рукопись у Вас; все равно валялась бы она и у меня, ненужная пока мне. — Если найду досуг кончить роман, то издам его отдельной книгой. Но работы у меня столько, что не умею определить, когда найдется месяцу досуга для труда, более нравящегося мне, чем работа, которой живу.

Добрый друг, благодарю Вас за Ваше расположение ко мне. И прошу, верьте прочности моего расположения и — искренно говорю — моего уважения к вам. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский.*

1252

И. И. БАРЫШЕВУ

10 января 1889. Астрахань.

[Телеграмма.]

Получил письмо Кузьмы Терентьевича 5 января. Благодарю. Отменяю все мое письмо вам 5 января. Пусть Корш читает корректуры, если хочет. Простите за неприятности Вам. Пришлите триста рублей телеграммой Волжского банка; телеграммой потому, что не имею денег ждать присылки почтой. *Чернышевский.*

1253

К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ

12 января 1889.

Милостивейший государь Кузьма Терентьевич, благодарю Вас за Ваше великодушие. Не хочу утруждать длинным письмом. Буду сообщать подробности о своих работах для Вас Ивану Ильичу; к нему же буду и обращаться с моими просьбами. Прошу Вас только принять уверенность в моей преданности.

Глубоко благодарный Вам — не столько за себя, очень мало нуждающегося в житейских удобствах, сколько за мою жену, расстроенное здоровье которой издавна требует их и которая благодаря Вам уж несколько лет пользуется ими и для которой они снова обеспечены теперь. Ваш *Н. Чернышевский.*

1254

И. И. БАРЫШЕВУ

12 января 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Простите неприятности, какие делал я Вам.

Письмо К-ы Т-вича от 5 января показало мне, что прекратилась надобность мне выказывать себя человеком злым.

Все, что говорил я в письме к Вам от 5 января, стало излишним и, как уведомил я Вас телеграммой 10 числа, на которую получил вчера ответ Ваш, я отменяю все содержание этого моего злобного письма. Уверять ли Вас, что выказывать себя злым вовсе не доставляло мне удовольствия?

Я говорил о Корше, только чтобы выказать себя злым. На самом деле — мне все равно, хорошо ли, плохо ли читается кор-

ректурa посылаемых мною рукописей. Разве в самом деле интересуюсь я подобными пустяками?

Впрочем, если Корш хочет продолжать читать корректуру, то попросите его не делать поправок. Они действительно нелепы и навлекают справедливые насмешки на мой перевод Вебера; благодаря этим поправкам перевод представляется работой человека безграмотного, не знающего истории и слишком плохо знающего немецкий язык.

Я получил посланные Вами триста рублей. Благодарю за них. Я просил прислать их телеграммой, а не почтой, действительно только потому, что у меня не было денег на уплату за квартиру, а срок уплаты уж был так близок, что по почте деньги не могли бы прийти к наступлению его.

Буду писать Вам на-днях; тогда сообщу сведения о ходе моих работ для К. Т-вича. Теперь недосуг.

Жена шлет свои приветствия Вам и Вашей супруге.
Жму Вашу руку. Ваш *Н. Ч.*

Р. С. Вместе с этим письмом отдаю на почту письмо к К. Т-вичу, служащее ответом на его письмо ко мне от 5 янв. Вот копия.

1255

Н. Ф. СКОРИКОВУ

Четверг. 19 янв. 1889.

Прошу Вас, добрый Николай Фомич, извинить моего молодого приятеля Александра Иванова, плохо приготовившего уроки к пятнице; в этом виноват я, отнявший ныне у него слишком много времени моими поручениями.

Жму Вашу руку. Жду Вас в субботу. Ваш *Н. Чернышевский.*

1256

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

22 января 1889.

Милые Леночка и Миша,

Благодарю Вас за исполнение моих просьб о передаче моих мыслей Авдотье Яковлевне и о сообщении мне ответов ее.

Теперь обращаюсь к Вам с новой такой же просьбой.

Я прочел первый отдел «Воспоминаний» Авдотьи Яковлевны, помещенный в январской книжке «Историч. вестника», и потому имею формальное право говорить от собственного имени, что эти «Воспоминания» очень хороши. Итак, я теперь могу по первому слову Авдотьи Яковлевны написать Солдатенкову предло-

жение издать их. В его согласии не имею сомнения. Потрудитесь же, мои милые, попросить Авдотью Яковлевну сказать Вам, должен ли я написать Солд-ву, и если должен, то какие желания ее велит она мне высказать Солд-ву (конечно, от моего лица, как мои собственные желания, чтобы не вмешивать ее имя в денежные рассуждения; впрочем, если она предпочитает переговоры от ее имени, то я буду писать от ее имени).

Милые друзья, Вы видите, что это дело, не терпящее проволоочки; проволочка может быть убыточна для Авдотьи Яковлевны, интересы которой дороги для меня, как мои личные. Потому прошу Вас, побывайте у нее как можно скорее и немедленно передайте мне ее волю.

Целую Вас, милые друзья мои. Ваш *Н. Ч.*

1257

И. И. БАРЫШЕВУ

22 янв. 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Пишу с этой почтой благодарность Кузьме Терентьевичу за чай.

В деловом письме к Вам прошу Вас послать 100 р. Пыпину в Петербург и исполнить просьбу мою о посылке 200 р. Марковичу (просьбу эту он сам перешлет Вам при своем письме, которое отправит по переселении своем отсюда в Черный Яр, — вероятно, числа около 27).

Здесь на-днях дадут Вашу пьесу «Маленькая война». Жена, если будет не совсем слаба здоровьем в тот вечер, непременно поедет в театр; поеду с ней и я.

Она шлет приветствия Вашей супруге и Вам.

Больше писать некогда. Страшно отстал я с своими работами, и долг мой Кузьме Терентьевичу растет.

Работаю сколько могу.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский.*

1258

И. И. БАРЫШЕВУ

22 янв. 1889.

Милостивейший государь Иван Ильич,

С нынешней почтой я отправил на Ваше имя кусок перевода XI тома Вебера. Остается непосланным перевод еще 210 страниц подлинника. Но он почти весь написан; надобно только перечитать его и написать предисловие. Это займет у меня, вероятно недели две; во всяком случае, много меньше месяца.

Больше, нежели над переводом Вебера, я работаю над «Материалами для биографии Н. А. Добролюбова». За издание их русская публика будет благодарна Кузьме Терентьевичу.

Я работаю теперь исключительно для Кузьмы Терентьевича. До издания «Материалов для биографии Добролюбова» мой долг ему будет возрастать. Но к концу года я надеюсь выйти из долга.

Я жду на-днях присылки посторонних нашему с Вами счету денег. Если получу их до истощения находящихся у меня, то новая просьба моя к Вам о присылке денег мне несколько отсрочится; если же не получу тех денег до истощения находящихся у меня, то опять пошлю Вам просьбу о деньгах телеграммой; и попрошу прислать их мне тоже телеграммой (Волжского банка), а не почтой, потому что буду отлагать мою просьбу к Вам до последней крайности, не оставляющей времени ждать, пока при-тащится почта.

Независимо от этого прошу Вас теперь же послать сто рублей (100 р.) в Петербург:

Александр Николаевичу Пыпину

Васильевский остров, Средний проспект, дом № 29.

Эти деньги нужны А. Н. Пыпину к 1 февраля.

Я послал Вам перевод «Эволюции морали», сделанный Бгданом Афанасьевичем Марковичем. Пока г. Маркович жил здесь, в Астрахани, он имел доход. Но он должен переселиться в уездный город здешней губернии Черный Яр. Там не будет у него дохода; а обзаведение на новом месте требует некоторых экстренных издержек. Потому я дал ему письмо к Вам, в котором прошу Вас прислать ему двести рублей (200 р.). Я не сомневаюсь в исполнении Вами этой моей просьбы и сказал г. Марковичу, что он не должен сомневаться.

Книга Летурно, переведенная им, имеет указатель. Он хочет сделать его и к переводу. Так и следует. Потому он и я, мы просим Вас посылать ему листы перевода по мере их оттискивания, чтоб он мог составлять указатель во время печатания книги; тогда это дело не задержит выпуска.

Я хотел написать предисловие к переводу «Эволюции морали»; но тогда я еще не читал книгу всю сплошь; думал, некоторые места нуждаются в пояснении. Прочитав всю, увидел, что все в ней ясно и что никакого предисловия не нужно. Итак, не будет предисловия к ней. Достоинства ее достаточно известны публике по статьям «Русской мысли» и «Русских ведомостей» о французском подлиннике. Вероятно, она не будет в убыток Кузьме Терентьевичу.

Теперь Маркович переводит для него другую книгу того же автора «Эволюция семейства» (или «брака», не помню) и говорит, что она еще лучше.

Пишу с этой почтой Кузьме Терентьевичу благодарность за подарок чая.

Очень благодарен ему и Вам за присылку нового издания Сопв.-Лех.-а Брокгауза и двух книг Шерюэля. Я получил эту посылку с неделю тому назад.

На-днях составлю список книг, которые нужны мне для пополнения перевода XII тома Вебера (Шерюэль относится только к первому отделу его) и пошлю Вам с приложением писем к книгопродавцам, у которых открыл мне кредит Кузьма Терентьевич.

Благодарю за издания Кузьмы Терентьевича, присланные мне. Будьте здоров.

Ваш покорнейший слуга *Н. Чернышевский*.

1259

И. И. БАРЫШЕВУ

10 февраля 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Благодарю Кузьму Терентьевича и Вас за исполнение моих просьб.

Четыреста рублей присланы мне депешей Волжского банка.

Ныне послал Вам конец перевода XI тома Вебера и начало приложений к нему. Конец приложений и предисловие пошлю недели через полторы.

Дня через два пошлю Вам более длинное письмо, в котором объясню ход моей работы и буду просить о присылке книг. А теперь спешу отправить это уведомление.

Теперь я работаю исключительно для Кузьмы Терентьевича. Жена моя шлет свои приветствия Вашей супруге и Вам.

Я жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1260

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

11 февраля 1889.

Милый друг Саша,

Ты пренебрегаешь моими советами; я вперед знал, что будешь пренебрегать; ты полагаешь, что, давая их тебе, я следовал злонамеренным внушениям какого-то врага твоего; по всей вероятности, подразумевал ты под этим твою мать. Считаю бесполезным возражать. Итак, оставляю тебя считать твою мать врагом тебе, меня — слепым орудием ее вражды к тебе; пусть все это и будет так, пока не рассудишь ты, что я и твоя мать желаем тебе добра. А когда ты рассудишь так, то попросишь моего совета с твердою решимостью следовать ему.

До того времени не буду в своих письмах к тебе касаться твоих дел, буду говорить лишь о предметах индифферентных, вроде того, что здесь теперь хорошая погода и что на-днях мне случилось раза [два?] быть в театре, — разумеется, не по желанию быть там, а по надобности; надобность состояла в том, что этого непременно требовал распорядитель дел здешней труппы, Гаврил Миронович Ковров, с которым случилось мне познакомиться и которого я глубоко уважаю, как чрезвычайно доброго и благородного человека.

Из этого рассуждения о погоде и о театре ты видишь, что я нимало не сержусь на тебя — пишу ни тебе, ни мне ненужные новости лишь для того, чтобы письмо кончалось по-приятельски.

Целую тебя, мой милый. Будь здоров. Жму твою руку.
Твой Н. Ч.

1261

А. Н. ПЫПИНУ

11 февр. 1889.

Милый Сашенька,

Оленька хотела послать Наташе какие-нибудь подарки к свадьбе; но рассудила, что в Петербурге можно сделать выбор вещей лучше, чем здесь, да и самим Юленьке с Наташей будет виднее, какие именно вещи нужны. Потому вместо подарков вещами Оленька посылает Наташе сто рублей.

Остальные пятьдесят рублей посылаю на месячное содержание моему бедному Саше. Прилагаю письмо к нему, которое прошу тебя прочесть для знания моих мыслей; прочитав, запечатай, чтоб он думал, что содержание неизвестно тебе.

Долго не отвечал я тебе на письмо от 14 января. Недосуг, мой милый дружок; и теперь пишу лишь потому, что Оленька, посылая деньги Наташе, не может писать сама, поручила писать за нее мне.

Она целует Юленьку, Наташу и всю их компанию. Я — тоже. Жму твою руку. Будьте здоровы все. Твой Н. Ч.

P. S. Оленька приписала что-то карандашом, писать пером ей тяжело.

1262

А. Н. ПЫПИНУ

12 февр. 1889.

Милый Сашенька,

Вчера я отправил тебе письмо с вложением 150 р., из которых 100 посылает Оленька Наташе, а 50 посылаются для нашего

бедного Саши. Но на адресе я по ошибке написал «Большой проспект», вместо «Средний». Потому тебе надобно будет самому потребовать письмо в почтамте, а то, пожалуй, и не разыщет почтальон тебя.

Недосуг писать больше.

Целую всех твоих.

Оленька тоже целует.

Будьте здоровы все.

Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

1263

И. И. БАРЫШЕВУ

19 февр. 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Страшно запоздал я с работой над Вебером. Послал ныне Вам конец перевода XI тома, а предисловие к нему еще не посылается ныне; думаю послать через неделю; и не знаю, кончу ли к этому сроку. Дело в том, что больше Вебера занимаюсь «Материалами для биографии Добролюбова». Начало их пошлю через неделю по отправлении предисловия к XI тому Вебера.

Недосуг писать Вам длинно.

Изложу в коротких словах мои просьбы.

Прилагаю два списка книг с письмами к фирмам, которые прошу о высылке этих книг. Мне хочется войти в прямые сношения с этими фирмами; Вам буду сообщать суммы моих расходов на выписку книг. Прошу Вас, передайте письма фирмам по принадлежности. Я полагаю, что одна из них по преимуществу французская, другая немецкая. А если обеими отраслями торговли занимается одна фирма, то оба письма передайте ей.

Прошу выслать мне полный экземпляр перевода Вебера, то есть все 10 вышедшие томы.

О высылке мне денег попрошу Вас телеграммой, когда понадобится. Думаю, что понадобится около 10 числа марта. Опасаюсь, не понадобится ли раньше. У меня много расходов по приготовлению материалов для биографии Добр-ва.

Но через полгода сочтемся.

Жму Вашу руку.

Жена моя посылает свои приветствия Вашей супруге и Вам. Будьте здоров. Ваш *Н. Чернышевский.*

P. S. прошу посылать книги по почте, а не через транспортные конторы, которые тратят на пересылку слишком много времени.

1264

И. И. БАРЫШЕВУ

12 марта 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Я своевременно получил отправленные Вами мне книги: Шерюэля, Авенеля, Геттнера, Мэколя, экземпляр перевода Вебера, томы 1—10, XIV том немецкого Вебера; благодарю Кузьму Терентьевича и Вас за исполнение моих просьб.

Возвращаю находившийся в последней присылке книг Supplementband Convers.-Lex.'а Брокгауза; экземпляр его уж находился в одной из прежних присылок, вместе с Conv.-Lexicon'ом, дополнением к которому служит этот том; потому возвращаемый мною второй экземпляр его лишний мне.

Я полагаю, что пославшая его фирма примет его обратно без досады; а если бы она сказала, что это неприятно ей, то прошу Вас не входить в спор с нею и по малейшему ее возражению отвечать, что виноват в ошибке я, что я оставляю за собой книгу, посланную мне по моей же просьбе. Я не люблю возбуждать неудовольствие на себя и всегда предпочитаю согласиться с возражающим против моего желания.

Ошибка произошла оттого, что я не знал названия того продолжения Conv.-Lex.'а, о присылке которого просил, и употребил неопределенное выражение: «прошу прислать продолжение»; фирма и подумала, что я прошу Supplementband. Из объявления, приложенного к нему, я увидел истинное название того продолжения, высылать которое просил. Это надобное мне продолжение называется

Unsere Zeit, Jahrgang 1888.

Я прошу прислать мне его за 1888 год и присылать по мере выхода книжки его, выходящие в нынешнем году (я полагаю, что оно продолжает и в нынешнем году выходить ливрезонами, как выходило в прошлом). Прилагаю подписанный мною билет, просящий о присылке этого издания.

Просьба о присылке его — последняя моя просьба о книгах до окончания моей работы над переводом двенадцатого тома Вебера.

Когда примусь за перевод тринадцатого тома, тогда возобновлю свои просьбы к Кузьме Терентьевичу и Вам о присылке книг; а до той поры не предвижу новых надобностей в них.

За перевод двенадцатого тома я уж принялся.

Дня через четыре пошлю Вам предисловие к одиннадцатому тому. Прошу извинения в моем чрезмерно продолжительном промедлении окончанием этого предисловия. Работа над ним потребовала несравненно больше времени, чем я воображал, принимаясь за нее. Дело в том, что я не имел математических книг,

в которых находились бы вычисления, надобные мне; и пришлось делать эти вычисления самому; а для этого пришлось возобновить забытое мое знакомство с тригонометрией, соображать те отношения между синусами, косинусами, тангенсами, которыми определяются формулы, служащие основаниями вычислений. Дело и тянулось долго. Теперь оно кончено и, как я уж говорил, предисловие, так много времени задерживавшее выход перевода XI тома Вебера, будет послано Вам дня через четыре.

А через неделю по отправлении его пошлю Вам начало «Материалов для биографии Добролюбова». Отрывок из них («Переписка Д-ва с отцом и матерью») был напечатан в № 1 и 2 «Русской мысли» за нынешний год. Это было сделано мною для того, чтобы возбудить в публике интерес к книге, отрывок из которой дан ей в журнале. Я после того работаю исключительно для Кузьмы Терентьевича.

На-днях пошлю Вам депешу с просьбой о деньгах.

Жена моя шлет свои приветствия Вам и Вашей супруге.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1265

А. Н. ПЫПИНУ

18 марта 1889.

Милый Сашенька,

Посылаю тебе 50 р. для передачи моему Саше.

Страшно недосуг. Очень много запустил работу.

Оленька чувствует себя дурно.

Она шлет приветствия твоим.

Я целую их и тебя.

Будьте здоровы. Твой *Н. Ч.*

1266

И. И. БАРЫШЕВУ

21 марта 1889.

Добрый и многоуважаемый друг Иван Ильич,

Ныне я послал Вам оглавление XI тома Вебера и предисловие к нему. Прошу извинения в том, что запоздал так много. Досадно, что потратил несколько недель на вычисления, которые пришлось бросить все, потому что они приняли громадный размер и конца им не было бы очень, очень долго. Это были таблицы, которые заняли бы сотню страниц. Те немногие, которые вошли в состав предисловия, не стоили мне и двух дней работы. Но брошенные, имевшие громадную величину и все увеличивавшиеся

в числе и объеме, были истинно ужасающие всякого обыкновенного смертного.

Я рад, что бросил их; но досадно, что потратил на них столько времени.

По возвращении из почтамта принимаюсь за окончательную обработку «Материалов для биографии Добролюбова». Начало пошлю Вам через неделю, во вторник 28 этого месяца.

Тогда напишу для Кузьмы Терентьевича и для Вас сведения о ходе моей работы над «Материалами», мои предположения о других работах и т. д. А теперь спешу в почтамт.

Благодарю Кузьму Терентьевича и Вас за исполнение моих просьб. Через месяц будет видно Вам и мне самому, начнет ли дело сколько-нибудь соответствовать моему желанию держать себя относительно Кузьмы Терентьевича честно в денежном смысле слова, чего до сих пор не удавалось мне.

Будьте здоров.

Моя жена шлет свои приветствия Вашей супруге и Вам.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

P. S. Сейчас я получил письмо от моего сына Михаила, говорящее о том, чтобы просить Кузьму Терентьевича относительно издания сочинений Авдотьи Яковлевны Панаевой (писавшей под псевдонимом Н. Станицкий).

Я глубоко уважаю Авдотью Яковлевну.

Прилагаю выписку из письма сына ко мне для соображения Вам. Будьте добры, наведите справки, разошлось ли 6 издание сочинений Авд. Як-вны в таком количестве экземпляров, которое дало бы хоть маленькую прибыль.

Подробности о ее просьбе напишу через неделю. Ваш *Н. Ч.*

1267

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

23 марта 1889.

Милый Миша,

Мы с твоей мамашей находим благоразумным твое намерение принять предлагаемое тебе место в новоучреждаемом департаменте по железнодорожным делам.

Благодарю тебя за то, что ты держишь себя с Авдотьей Яковлевной так, как просил я тебя, сообразно любви твоей мамаша и моей любви к ней. В тот же день, как получил твое письмо о ее желании вести через меня переговоры с Солдатенковым, я написал заведывающему издательскими делами Солдатенкова, Ивану Ильичу Барышеву, просьбу, чтоб он собрал у книгопродавцев сведения, может ли дать выгоду издание сочинений Н. Станицкого

(т. е. Авдотьи Яковлевны). Если окажется, что оно даст выгоду, то нет сомнения, что Солдатенков исполнит желание Авдотьи Яковлевны. Условия будут или наиболее выгодные для нее по соображениям Солдатенкова, Барышева и моих, или, если она найдет более удобным для себя сама определить их, то такие, какие назначит она. Но, разумеется, я передам ее желание (и мою просьбу об исполнении ее желания) Солдатенкову только по получении ответа от Барышева (сам Солдатенков не имеет времени разузнавать, даст ли выгоду то или другое издание; да и не интересуется этим); надобно же Барышеву и мне знать, в чем состоит денежная сторона дела, которое примет он на себя по доверию к словам нашим. Ответ от Барышева будет получен мною около 15 апреля. Тогда я немедленно напишу тебе для передачи Авдотье Яковлевне, в чем состоит сообщенное мне Барышевым мнение книгопродавцев о вероятном числе экземпляров (сочинений Н. Станицкого), какое может разойтись в публике и как я думаю поступить, руководясь этим сведением.

Скажи Авдотье Яковлевне, что твоя мамаша шлет ей свои приветствия, а я целую ее руки. В том, что я рад исполнять ее желания, она, я надеюсь, не сомневается.

Целую Вас, миленькая Леночка. Целую тебя, Миша. Будьте здоровы. Ваш Н. Ч.

1268

К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ

[28 марта 1889.]

...Материалы составят 2 тома листов по 30 журнального формата каждый.

...Книга будет состоять из трех главных отделов: переписка, обзор рукописей, оставшихся после Добролюбова и записки о жизни Добролюбова, написанные его родными и друзьями (по моей просьбе)...

...Моего имени на обертке не будет; напишу на заглавном листе: «приведены в порядок по поручению сестер и братьев Добролюбова»; достаточно будет этого, т. е. заглавие книги будет приблизительно такое:

Материалы для биографии
Н. А. Добролюбова,
собранные и приведенные в порядок
по поручению его сестер и брата.
Издание К. Т. Солдатенкова.

Не будет мое имя встречаться и в тексте книги. Где буду излагать свои воспоминания, буду называть их «воспоминаниями одного из знакомых Н. А. Добролюбова»,

1269

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

6 апреля 1889.

Милая Леночка,

Поздравляю Вас с праздником. Кстати и тебя, Миша.

Я очень рад, что ты, мой друг, поступил в Железнодорожный департамент. — Я рассчитываю, милая Леночка, что карьера Вашего друга пойдет там хорошо, и говорил Вашей маменьке, что через несколько лет Вы будете генеральшей. Я и действительно полагаю, что будет так.

Ваша маменька говорила мне, что как только получит деньги, покроет недочет в ваших доходах, производимый вычетом месячного жалованья при поступлении на казенную должность. Вероятно, к концу апреля она получит деньги.

Сейчас я получил письмо Авдотьи Яковлевны, говорящее, что она рассчитывает на мое усердие в хлопотах об издании ее сочинений. Разумеется, я сделаю все, что могу. Но что сделать, еще не умею придумать. Я получил с нынешнею же почтою уведомление от московских книгопродавцев, что ее сочинения, изданные без всяких других прибавлений для возбуждения в публике интереса к ним, не могут иметь сбыта, который хоть окупил бы издержки издания. Прямо и ясно не говори ей этого, а когда случится разговор, то скажи ей что-нибудь в таком роде: «он (т. е. я) будет писать вам, когда получит из Москвы (от книгопродавцев; Солдатенкова тут впутывать незачем, как увидишь) совет о том, что нужно сделать для доставления успеха изданию. Он надеется получить около 25 числа ответ на свой вопрос об этом». (Действительно, к следующей заказной почте — к субботе, 8 числу, я придумаю что-нибудь и напишу одному из московских книгопродавцев, годится ль придуманное мною для доставления успеха изданию; так что около 25 апреля буду иметь что-нибудь определенное для сообщения Авдотье Яковлевне.) А теперь пока у меня нет ничего отрадного для нее. Книгопродавец пишет мне: «Ей лучше следовало бы обратиться к Суворину, и я полагаю, что он не откажется издать их, тем более, что г-жу Панаеву знают в Петербурге гораздо больше, чем здесь» (т. е. в Москве). Не можешь ли ты, мой друг Миша, узнать от Суворина, захочет ли он принять на себя это издание? Ты одолжил бы этим меня.

Будьте здоровы, ты и Леночка. Целую вас.

Кланяйтесь всем нашим. Ваш Н. Ч.

1270

А. Н. ПЫПИНУ

8 апреля 1889.

Милый Сашенька,

Благодарю тебя за письмо от 30 марта. Ты винишь себя за неаккуратность в корреспонденции со мной. До аккуратности ли тебе, мой друг! Иной раз, я полагаю, нужно бы тебе 120 часов в день для того, чтобы справиться с работой, а постоянно было бы нужно 48 часов. Ты говоришь, что на тебя порой находит лень; хорошо бы, если бы это была «лень», — нет, мой милый, это вещь менее приятная с точки зрения гигиены — изнурение.

Благодарю за известия о моем бедном бестолковом Саше.

У меня есть оттиски статей о Добролюбове, помещенных в «Р. мысли». Посылаю тебе экземпляр. Прилагаю к стати и оттиск статьи о борьбе за жизнь. Во всех есть опечатки, искажающие смысл. Хотел поправить в посылаемых экземплярах; но — недосуг. — Я начал посылать Солдатенкову книгу, из которой взяты были отрывки для напеча[та]ния в «Р. мысли». Книга начинается «Перепискою», с моими подстрочными примечаниями. Дальше будут: обзор бумаг Добролюбова, находящихся у меня, записки о нем, составленные по моей просьбе, и мои личные (анонимные, от имени «одного из знакомых Д[обролюбо]ва») воспоминания. Все это составит два тома, таких, как «Вестник Европы». Рукопись первого тома вся будет в типографии через месяц. В урывки времени, непригодные для порядочной работы, перевожу Вебера.

Письмо Стасова я получил. Если увидишься, скажи, что я глубоко благодарен ему за доброе расположение и каждый день все собираюсь послать ему длинный ответ на его вопрос о моих отношениях к теории искусств; но неделя проходит за неделю — все недосуг и недосуг, и кончится, вероятно, тем, что я откажусь от мысли о длинном письме; тогда напишу короткое, с выражениями благодарности и уважения.

У тебя все болезни в семействе. Приятно не только тебе, но и нам с Оленькой. Мне в особенности приятно было узнать, что опять больна Юленька. Целую ручки ее, милой бедняжки. Оленька, здоровье которой еще не поправилось, шлет приветствия всем вам, поздравляет с праздником и проч.

Целую тебя, мой милый, и всех твоих.

Будь здоров. Береги себя: ты слишком изнуряешь себя своей работой, исключительно ученой, попробуй писать вещи, которые требуют меньше приготовительных трудов; тогда можно будет тебе иметь отдых.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1271

В. Н. ПЫПИНОЙ

9 апреля 1889.

Поздравляю вас всех с праздником. Целую милого дяденьку. Целую твою руку, милая Варенька. Желаю вам всем здоровья. Ваш *Н. Ч.*

1272

ДЕЙБНЕРУ

Книги, полученные мною 14 апреля:
History of England by Lecky, 6 томов;
Englische Grammatik von Mätzner, 3 тома;
Historische Zeitschrift von Sibel (Jahrgang 1889, три первые Hefte).

Благодарю уважаемую фирму за исполнение моей просьбы.
Н. Чернышевский.
14 апреля 1889.

1273

И. И. БАРЫШЕВУ

16 апреля 1889.

Добрый и глубокоуважаемый друг Иван Ильич,
Благодарю Вас за заботливость об удовлетворении моих надобностей (превышающих размер, какой следовало бы иметь им по правилам честных отношений к интересам Кузьмы Терентьевича).

Вместе с этим письмом к Вам отдаю на почту письмо к нему. Вот копия для сведения Вам.

.....
Продолжаю письмо к Вам.

Во вторник (18-го числа) отправляю Вам еще кусок «Материалов», листов 150. Нумерация тогда будет доведена до 700-го листа. А всех листов в «Переписке» будет около 1 200. Надеюсь послать Вам последние листы этого (первого) отдела «Материалов» около 9 мая. Вероятно, к последнему куску его будет присоединено начало второго отдела (обзора бумаг, сохранившихся во взятой мною после смерти Д-ва гуде рукописей всякого рода и корректур, находившихся в его квартире). Вы увидите, достаточен ли для сформирования первого тома «Материалов» первый

отдел или надобно прибавить начало второго отдела. Объем 2-го тома будет во всяком случае приблизительно равен объему первого (потому что есть масса бумаг, объем извлечений из которых я расширю или сожму сообразно расчету приблизительно одинаковости 2-го тома с 1-м по числу страниц).

Следуют просьбы к Вам, добрый друг.

Первая, важная.

Помните ль Вы, что некогда писал романы и повести «Марко Вовчок»? Это псевдоним Марьи Александровны Маркович, матери Богдана Афанасьевича, с которым имеете теперь Вы деловые сношения. Я высоко ценю ее талант; по-моему, она была талантливейшим из всех наших беллетристов эпохи послетоголевской. Но она не имела личного высокого положения, какое имели Тургенев, гр. Толстой, не имела и близкой личной дружбы с журналистами, как Гончаров и Достоевский (в первую пору деятельности, в которую и основалась репутация Дост-го). Потому ее хвалили ли меньше, нежели их? А теперь — не вовсе ли забыта она публикой? Может ли окупиться полное собрание ее сочинений? Некоторые из них были изданы Кузьмой Терентьевичем. Полное собрание составило бы 5 или 6 томов обыкновенного формата, страниц по 500. — Я был бы очень рад, если бы оказалось, что издание окупится. Я сделал бы для этого, что могу: например, написал бы предисловие, которое было бы обзором движения идей в беллетристике того времени (1860—1875 годов). Будьте добр, уведомьте меня, можно ли просить К-у Тер-вича об этом издании с надеждой, что оно не ввело бы его в убыток.

Это важная моя просьба. Вот другая, пустая, о которой я не пожалею, если Вы оставите ее, за недосугом, в пренебрежении.

Один из моих здешних знакомых, имеющий и усердно изучающий изданную К. Т-м в переводе Е. Ф. Корша книгу Каррера «Искусство в связи» и т. д., слышал, что был напечатан без выпусков 3-й том этого издания и что цензура потребовала выпуска некоторых мест и в продажу поступили экземпляры без этих мест, но что сохранились в складе издания К. Т-ча экземпляры 3-го тома, полные. Если да и если можно, то пришлите на мое имя такой экземпляр; взяв деньги с приятеля, для которого прошу его, перешлю их Вам. Но если и можно исполнить эту просьбу, то исполните ее лишь в случае незатруднительности ее; а иначе отвечайте: «таких экземпляров нет, они уничтожены были тогда же по требованию цензуры».

Я получил посланные Кузьмою Терентьевичем 10 ф. чаю. У нас еще оставался фунт прежнего. Я, а еще больше моя жена, знающая толк в чае, очень благодарим К. Т-ча за эту милую любезность к нам.

Я получил (от Дейбнера?) в дополнение к прежним посылкам новую. Прилагаю список находившихся в ней книг. Очень благодарен за них.

Моя жена шлет свои приветствия Вашей супруге и Вам.

Благодарю Вас, добрый друг, за Вашу заботливость о нас.

На здешнем театре (имеющем в своей группе очень талантливую артистку г-жу Брянскую (Коврову, по мужу) и двух, трех талантливых артистов (один из которых Ковров) собираются поставить Вашу «Маленькую войну». Мы будем в театре, когда она пойдет.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

Р. S. Присылайте письма заказными. Простые очень часто пропадают, по небрежности разносящих.

1274

К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ

16 апреля 1889.

Мил-ший государь, К. Т-вич,

Я и, еще больше меня, моя жена — мы благодарим Вас за Вашу добрую заботливость о наших надобностях.

Недели две тому назад я начал посылать Ивану Ильичу кусок за куском «Материалы для биографии Н. А. Добр-ва» и буду продолжать отправление их каждый вторник до того времени, как будет отослано все.

Эти «Материалы» составят два тома. Рукопись первого тома будет, как я надеюсь, вся в руках Ивана Ильича через три недели по получении Вами настоящего моего письма.

Русская публика будет признательна Вам за это издание.

Рукопись второго тома будет, как я надеюсь, вся в руках Ивана Ильича к началу июля.

До окончания работы над нею я буду работать над переводом Вебера лишь в урывки времени, в которые нельзя сосредоточить мысль на ней. Потому перевод будет подвигаться медленно. Промедление вознаградится быстрым ходом его по окончании труда над «Материалами».

Перевод XII и следующих томов Вебера сохранит тот же характер, какой имел перевод предыдущих томов. Из книг, полученных мною благодаря Вашей доброй и щедрой помощи, я буду делать особые дополнения к переводу, прибавляемые в конце каждого тома отдельными статьями; таким образом, перевод останется переводом, только будет иметь пополнения. Объем их будет определяться тем расчетом, чтобы каждый том имел величину приблизительно такую же, какую имели первые шесть томов пере-

вода, то есть страниц по 900. Как ученые, так и литературные или стилистические достоинства книг, из которых будут извлекаемы эти приложения к Веберу, гораздо выше достоинств Вебера. Потому должно надеяться, что перевод получит от этих прибавлений пользу.

Я надеюсь кончить его в полтора года (предполагая, что в течение нынешнего года или в первой половине следующего будет издан последний — XV-й — том подлинника; это предположение едва ли может не оказаться верным — XIV-й том уж издан и находится у меня).

Повторяя выражение глубокой моей благодарности Вам за Вашу добрую и щедрую — более щедрую, нежели следовало бы по моим понятиям о справедливости — помощь мне, честь имею быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1275

И. И. БАРЫШЕВУ

25 апр. 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Сейчас получил Ваше письмо от 19 апр.

Вашего счета я не стал бы проверять, если бы мог; но не могу, потому что никогда не хотел проверять Ваших счетов и на этом основании не записывал полученных денег от Вас.

Само собой понятно, что Ваши цифры я принимаю как не могущие подлежать сомнению.

Цифра долга, остающегося на мне по Вашему счету, меньше той, какая окажется, когда я, вышедши из долга К. Т-вичу, попрошу Вас переделать прежние расчеты его со мною по правилам справедливости, от которых отклоняется он в мою пользу по своему великодушию. Но когда я выйду из долга ему, неизвестно; потому и моя речь об этом — празднословие, которым я стараюсь убедить себя, что я желаю поступать относительно К. Т-вича, как следует добросовестному человеку. Желаю, — но когда буду? — Сомнительно, доживу ли до этого.

Благодарю Вас за согласие на мою просьбу о том, чтобы корректуры «Материалов» были присылаемы мне. Присылайте в гранках, если это не составит особого затруднения. Переделывать я не буду; но в ином месте поправка недосмотра прибавит, в другом убавит строку. Я полагаю, что когда это будет делаться в гранках, то будет менее обременительно для метранпажа, чем когда бы пришлось прибавлять и убавлять строки в сверстанном наборе. А впрочем, расчет удобства — дело его и Ваше, а не мое. Делайте, как найдете удобным для него и себя. Задерживать

корректур я не буду. Сколько бы форм или сверстанных листов ни было прислано, я буду отправлять обратно с первой отходящей почтой (а с 1 мая она будет ходить каждый день).

С нынешней почтой посылаю еще кусок переписки. Остается послать лишь немного больше листов ее, чем сколько находится в нынешней посылке.

Относительно денежных условий я не хочу входить в рассуждения с К. Т-чем; пусть решит он сам. Я буду благодарен ему, и только.

Основания, которые прошу я его принять в соображение, следующие:

Я желал бы не брать себе ни рубля за составление «Материалов», желал бы передать всю выгоду от них сестрам Н. А. Добролюбова (и брату его, если захочет участвовать в дележе). Я завтра пишу сестрам и брату, что издание делается мною в пользу сестер, с вычетом платы мне за время, употребленное на работу. — Когда выйду из долга, передам им и эту плату. Итак, обстоятельное решение денежного расчета я прошу Кузьму Тереньевича отложить до получения мною ответов от сестер и брата Н. А. Добролюбова. Формальным образом денежные права принадлежат мне. Когда я по смерти Н. А. Добролюбова собирал материалы, сестры его передали мне через Михаила Ивановича Благообразова (приезжавшего в Петербург), что они обязаны мне благодарностью и т. д. (действительно, я делал, что мог, для них и братьев Н. А. Д-ва). Но я желал бы поступать в делах с ними и теперь, как тогда. Посмотрим, буду ли иметь возможность отдать им все, что получу. (Я говорю собственно о «Материалах». Будет время, то напишу свою книгу о Добролюбове; напишу ее, то она будет моя; но когда напишу? — вероятнее всего, что не буду иметь досуга, пока одряхлею или умру).

Относительно моего плана оказать пособие А. Я. Панаевой, я вперед знал, что он окажется неудобноисполним. Я был только обязан узнать, действительно ли так; только потому и сообщил его Вам.

О втором издании первого тома Вебера я соображаю, как поступить с книгою, в настоящем своем виде очень плохой, по моему мнению. Я имел намерение совершенно переработать ее при втором издании; но это потребовало бы очень много труда (и понадобилось бы для одного 1-го тома выписать книг рублей на 300; а я не хочу выписывать их, пока не выйду из долга К. Т-вичу). Подумаю неделю, и тогда напишу Вам, как поступаю с 2-м изданием Вебера — стану ли перерабатывать книгу как следует или ограничусь той пустой переделкой, какая легка и не потребует расходов.

Роман свой я отложил до того времени, когда получу досуг продолжать его. Когда это будет, не знаю. Вот управлюсь с «Материалами», посмотрю, будет ли оставаться у меня хоть по часу

времени в вечер для другой работы, кроме перевода Вебера и какой-нибудь — пустой ли, или дельной — переработки его 2-го издания.

Словом, попросите К. Т-вича быть уверенным, что я желаю поступать с ним добросовестно (чего до сих пор не удавалось мне), что я совершенно полагаюсь на его решения всяких денежных вопросов, относящихся ко мне, и недели через две сообщу ему свои мысли о денежной стороне издания «Материалов» и о втором издании Вебера.

Моя жена шлет свои приветствия Вашей супруге и Вам.

Жму Вашу руку, добрый друг мой. Ваш *Н. Чернышевский*.

P. S. О том, сколько экземпляров «Материалов» должно печатать, я не могу судить. Это прошу рассчитать Вас. То же и о цене книги. Я желал бы только, чтобы цена была умеренная. Вероятно, не дальше, как через две недели, буду снова просить у Вас денег. Чего доброго, придется и раньше, числа около 5 мая.

1276

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

26 апреля 1889.

Милая Леночка,

Ваша маменька уехала вчера в Саратов и поручила мне отправить Вам посылку и объяснить назначение посылаемых вещей.

Я отдал ныне посылку. В ящике лежат

1) Ковер, который начала Ваша маменька шить для Наташи и не успела дошить, потому что слабость зрения не дает ей долго сидеть за шитьем. Она просит Вас дошить ковер и подарить Наташе. В ковре завернуты шерсти, какие остались для окончания работы.

2) Туфли на белом атласе для Наташи.

3) Мужские туфли для Миши.

4) Коробочка (на мой взгляд очень миленькая) для Вас.

Таких вещей нет в продаже. Это работа одного из наших знакомых, подаренная Вашей маменьке и очень нравившаяся ей.

Милый Миша,

Я вложил в ящик три экземпляра XI тома Вебера: один для тебя, другой для твоего дяди, Александра Николаевича, третий для г. Михайлова, приславшего мне «Современник». (Увидишь его, то кланяйся ему и скажи от моего имени все любезности, какие случится придумать.)

Ваша маменька не знает, поедет ли она теперь (или хоть позднее, нынешним летом) в Петербург. Но если поедет, то вы,

Леночка и Миша, позаботитесь, я уверен, о том, чтоб ей было удобно и приятно пожить там.

Я здоров, по своему обыкновению. Целую вас, мои друзья.
Ваш Н. Ч.

Р. S. Вы, как и я, как и все, заклеиваете конверты писем без большой старательности. Ваша маменька внимательно рассматривает заклею и когда увидит, что она в каком-нибудь местечке не совсем плотна, то предполагает, что письмо было расклеено, прочитано посторонними, досадует и говорит: «Не хочу писать для чтения посторонним» и т. д. и т. д. Прошу вас, будьте внимательны о ее склонности считать меня и себя предметами вражды людей, которые давным-давно перестали считать меня своим врагом и потому перестали иметь неприязнь ко мне; пожалуйста, заклеивайте Ваши письма к ней совершенно плотно.

Р. P. S. Обременяю тебя просьбой, милый друг Миша. Я потерял адрес Владимира Александровича Добролюбова. А необходимо сообщить ему о том, что издаются «Материалы для биографии» его брата. Потрудись узнать его адрес и переслать ему прилагаемое письмо. Он представитель какой-то Донецкой каменноугольной копи, принадлежащей госпоже, фамилия которой начинается буквой Е, — вроде Ермоловой или Евреиновой. Прежде он жил в Петербурге. Пожалуйста, извини, что утруждаю тебя. Будьте здоровы, мои милые. Целую вас еще и еще. Ваш Н. Ч.

1277

В. А. ДОБРОЛЮБОВУ

Астрахань. 26 апреля 1889.

Милостивейший государь

Владимир Александрович,

Прошу Вас принять дружеское пожатие руки пишущего Вам это, Н. Чернышевского.

Я готовлю теперь к печати «Материалы для биографии» Вашего брата. Помогите мне в исполнении этой моей обязанности относительно его памяти.

Прошу Вас, напишите для меня Ваши воспоминания о нем и о Вашей жизни в те годы, когда жив был он.

Вот некоторые из вопросов, требующих Вашего разъяснения:

Как жилось Вам у Мичуриных? Дурно? — Фавста Васильевна, Антонина Александровна, Василий Иванович писали Николаю Александровичу, что Ваша жизнь у Мичуриных была тяжела для Вас; правда это?

Каким образом произошло то, что Вы перешли от Мичуриных жить к Фавсте Васильевне?

Каково жилось потом у Антонины Александровны и Михаила Алексеевича?

Каковы были Ваши впечатления по приезде в Петербург?

В каком порядке шли Ваши перемещения из одной петербургской обстановки жизни в другую, и каковы были отношения к Вам тех людей, с которыми приходилось Вам жить тогда?

Сначала Вы жили у Терезы Карловны; долго ли? И что Вы скажете о характере этой девушки, о ее желаниии и об умении ее заботиться о Ваших удобствах?

То же самое относительно Василия Ивановича,

Павла Садоковича *,

Некрасова,

Авдотьи Яковлевны.

По возвращении Николая Александровича из-за границы, где жили Вы и Ваня во время его болезни и в первое время по его смерти? Где был тогда Василий Иванович? Хорошо ли заботилась тогда о Вас и Ване Авдотья Яковлевна?

Помните ли Вы Митрофана Ефимовича Лебедева? Жив ли он? Если жив, не можете ли сообщить мне адрес его? Я написал бы ему.

Что Вы можете припомнить о жизни в те годы? и о жизни Лизы у Антонины Александровны?

Милый старый друг, само собою разумеется, что я воспользуюсь для печати Вашими воспоминаниями лишь в том размере, какой Вы найдете удобным; те, которые, по Вашему мнению, не могут быть теперь обнародованы ни в прямой форме Вашего рассказа, ни в косвенной форме передачи их моим рассказом, будут в настоящее время полезны для предотвращения ошибок в моих суждениях, извлекаемых из переписки Николая Александровича с другими; а через десятки лет, когда исчезнут наши личные интересы и вступит в полные свои права интерес истории русской жизни того периода, деятелем которого был Ваш брат, русская публика будет благодарна Вам за Ваш труд в полном его размере.

Денежная сторона предпринятого мною исполнения моей обязанности относительно памяти Николая Александровича не может быть предметом никаких затруднительных мыслей с Вашей ли, с моей ли [стороны].

Издание «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова» взял на себя Кузьма Терентьевич Солдатенков, не имеющий надобности и не желающий получать денежную выгоду от своих изданий и без неудовольствия принимающий на себя убытки, наносимые ему большею частью издаваемых им книг.

* И кто такой был этот Павел Садокович? Я не умею теперь припомнить с точностью. *Примечание Ч. Рсд.*

О «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова» нельзя думать, что издание их повергнет издателя убытку. Должно, напротив, полагать, что за покрытием издержек издателя останется излишек выручки от распродажи. Прошу Вас сказать мне, в чем состоят Ваши мысли относительно распоряжения этим вероятным излишком выручки над издержками. Само собою разумеется, что распоряжение им будет сделано соответственно Вашим мыслям о том, как следует сделать.

Мой адрес:

Астрахань, Соборная улица, дом Карамышева, Николаю Гавриловичу Чернышевскому. — Если не будет под руками у Вас этого письма, когда Вы будете отправлять на почту Ваш ответ, и Вы не припомните названия улицы и дома, то все равно: достаточно будет написать на конверте: «Астрахань, такому-то»; почтамт здешний всегда знает мой адрес. Но прошу Вас послать ответ заказным письмом. Простые письма часто пропадают здесь по небрежности разбирающих почту и разносящих ее.

Прошу Вас написать — это уж лично для меня, — как шла Ваша жизнь в годы после тех, с которыми соединены воспоминания о Николае Александровиче, и как идет она теперь. Мои личные отношения к Вам и другим родным Николая Александровича прекратились вскоре по его смерти. Но я продолжал и продолжаю считать его родных своими.

Будьте здоров. Жму руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1278

А. А. и В. П. РОЖДЕСТВЕНСКИМ

26 апреля 1889.

Милая, родная Анна Александровна,

Я przygotowляю к изданию «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова». Помогите полноте и достоверности их Вашими воспоминаниями.

Вот некоторые из вопросов, которые нуждаются в разъяснении Вашими ответами.

В одном из писем Николая Александровича к Вам говорится, что Вы при жизни Александра Ивановича и Зинаиды Васильевны «видели мало ласки»; — к каким фактам относятся эти слова? — Александр Иванович был с утра до ночи занят делами, не имел времени выказывать свою любовь к детям долгими ласковыми разговорами. Но — Зинаида Васильевна была ли менее ласкова к Вам, к другим детям? И если да, то чем объясняется это? Прошу Вас высказать Ваши воспоминания и суждения по поводу вопроса — конечно, очень щекотливого — без всякого стеснения. Правда нужна мне для того, чтобы предотвратить непра-

вильность в моих мыслях. Насколько будет передана она — в прямой ли форме Вашего рассказа, или в косвенной форме передачи моих сведений моим собственным рассказом, будет совершенно зависеть от Вашего разрешения или запрещения мне пользоваться для печати сведениями, которые сообщаете мне Вы.

Все следующие мои вопросы таковы, что отвечать на них не будет щекотливо для Вас.

По смерти Александра Ивановича Вы жили у Варвары Васильевны. — Всегда ли она была хороша к Вам? У нее был вспыльчивый характер, думаю я, судя по переписке Николая Александровича с нею, — правда это? Но она была в сущности добрая женщина? Или бедность и чрезмерная работа по хозяйству расстроили ее нервы и было действительно тяжело жить с нею? Лука Иванович, судя по переписке Николая Александровича с ним, был добряк, но человек недалекого ума и слабого характера, не имевший никакого значения в семействе — так? И все в доме зависело исключительно от Варвары Васильевны? Она и он были бедны; не объясняется ль этим одним то, что Вам было у них хуже, чем Вашим сестрицам и Ване, жившим у Фавсты Васильевны? Или действительно Варвара Васильевна была менее хорошая тетка, чем Фавста Васильевна?

По смерти Варвары Васильевны Вы жили у Антонины Александровны. Каковы были тогда отношения ее и Михаила Алексеевича к Вам? Я лишь недавно, из письма Антонины Александровны ко мне узнал Ваш адрес *. Когда один из моих знакомых стал, по моей просьбе, собирать сведения о Николае Александровиче, Вас не было в Нижнем, где живет он; после он, обремененный своими делами, не мог заниматься исполнением моего поручения о собирании сведений от родных Николая Александровича. А я, непрерывно занятый работой для прокормления себя, жены, детей и родных, вот только теперь собрался отнять у своей работы время, чтобы вступить в переписку с Вами (и написать письма к Катерине Александровне и Владимиру Александровичу); простите меня за это промедление. И с тем вместе примите мое уверение, что не только соображение о ком-нибудь ином, но и мои чувства к Николаю Александровичу не мешают моему желанию быть беспристрастным в суждениях — например, о том, хороши ли были родные к Вам.

Можно ли мне думать даже, хоть бы о самом Николае Александровиче, что он держал себя относительно Вас так, как следовало бы по Вашему мнению?

Я любил его, как брата; и сохраняю горячую любовь к нему. Но это все равно: надобно быть беспристрастным.

* Справившись, вижу, что узнал Ваш адрес давно; в вечном недосуге время идет у меня так, что теряется счет ему. — *Примечание Ч. Ред.*

Прибавлю несколько слов Василию Петровичу.

Вот, Василий Петрович, только через двадцать семь лет отвечаю на Ваше письмо ко мне от 8 мая 1862 года.

Вы прислали мне при нем десять писем Николая Александровича к Варваре Васильевне. Вы говорили, чтоб я возвратил их Вам, когда они не будут более нужны мне. Теперь, я полагаю, давно исчезла у детей ее потребность иметь у себя эти письма. Но если хотят они, или хотите Анна Александровна и Вы, то возвращаю.

Прошу Вас, помогите и Вы моему желанию сделать по возможности полными и достоверными приготавливаемые мною теперь к печати «Материалы для биографии» Николая Александровича. Прошу Вас, напишите все, что помнится Вам о нем, соберите от других те сведения о нем, какие можно собрать.

Тем, что сообщите мне Вы, Анна Александровна и Василий Петрович, я воспользуюсь для печати, разумеется только в границах, какие будут определены Вами. Мне надобно знать как можно больше и, между прочим, знать правду о тех вопросах, о которых она может быть узнана только от Вас. Это нужно мне для предохранения меня от ошибочных суждений. Но публике будет сообщено только [то], что без нарушения деликатности относительно других может быть сообщено ей в настоящее время.

В начале тех годов, которые провел я на далеком востоке, моя жена жила несколько времени в Нижнем. Но я тогда имел правилом не упоминать в письмах к ней ни о ком постороннем нашем семейству, да и наших родных не упоминал почти вовсе. А сама она не знала имен родных Николая Александровича. Да если б и знала, то не захотела бы компрометировать Вас своим знакомством: иметь знакомство с нею было тогда не безопасно даже для людей с связями более сильными, чем какие были тогда у Вас. Вот почему она не познакомилась тогда ни с Вами, ни с другими родными Николая Александровича. Нынешним летом она думает побывать в Нижнем. Если ей удастся исполнить это ее и мое желание, то она будет у Вас. Тогда Вы увидите в ней родную. Она любила Николая Александровича, как брата. Поэтому Вы не чужие ей.

Мой адрес: Астрахань, Соборная улица, дом Карамышева, И. Г. Чернышевскому. Впрочем, достаточно написать имя города, если не припомнятся Вам названия улицы и дома, когда будете писать на ответ, о котором прошу Вас: мой адрес известен здешнему почтамту. Прошу только отправить заказное письмо: простые письма часто пропадают здесь по небрежности разносящих. — Будьте здоровы. Жму Ваши руки. Ваш И. Чернышевский.

1279

В. А. МАРКОВИЧУ

[27 апреля 1889.]

Надобно последовать совету Барышева, отложить дело до возвращения Солдатенкова из-за границы. Тем временем следует Марье Александровне приготовить свои сочинения к новому изданию.

Передайте ей это. Я хочу писать ей, но едва ли соберусь скоро. Кланяйтесь ей. Ваш Н. Ч.

1280

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Пятница, 28 апр. 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

Каково-то плывешь ты? Удобно ли устроилась на пароходе? Не страдаешь ли от холода?

Вчера (в четверг) я послал Мише вещи, назначенные тобою для отправления к нему: 1) ковер, 2) две пары туфель, 3) коробочку; вложил в ящик с ними три экземпляра XI тома Вебера (для Миши, нашего брата Сашеньки и того знакомого Миши, который прислал мне «Современник»). Все уложилось в ящике хорошо, плотно и не тесно, так что, я надеюсь, коробочка не изомнется.

Возвратившись с почты, отнес экземпляр XI тома Вебера знакомому, с которым разговаривала ты на пароходе. Выбрал такое время, чтобы не застать его дома. Надписи на книге не сделал, только положил под шнурок, которым обвязал ее, лоскуток бумаги с именем лица, которому должна быть отдана книга.

Когда понесу на почту это письмо, справлюсь, не приехал ли другой знакомый, которому должно отдать другой экземпляр XI тома. К нему я пойду, выбрав такое время, чтоб увидаться с ним. Перескажу ему то, что ты говорила мне для сообщения ему.

Вчера забыл захватить с собою на почту твое письмо, при котором посылаешь ты 5 р. Отнесу его ныне вместе с этим письмом.

Отправляя посылку Мише, я отправил вчера и письмо к нему и Леночке, написанное так, как ты говорила. Вложил в конверт письмо к Владимиру Добролюбову, прося Мишу разыскать Добролюбова, адрес которого не мог вчера найти. Ныне адрес В. Добролюбова нашелся, потому пишу ныне же новое письмо Мише, чтоб облегчить ему исполнение моей просьбы (адрес В. Добролюбова, который сообщу ему, едва ли годился бы для письма к В. Д-ву, потому что очень стар; но разыскать его поможет Мише).

Вчера же написал письма Антонине Александровне и ее двум сестрам; в каждом письме (как и в том, которое послал Мише для Владимира Добролюбова) я уведомляю, что началось печатание «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова», и прошу сообщить мне воспоминания, письма или бумаги, могущие служить пополнением к тем, которые находятся у меня. Написать это уведомление каждой из сестер и брату Николаю Александровичу было необходимо по требованию вежливости.

Ныне же отправляю Барышеву письмо в том смысле, в каком велела ты написать.

Деньгами не стесняйся, мой миленький дружок. Я говорил тебе, что наш долг Солдатенкову уменьшается с каждой неделей (я, как ты видела, отправляю теперь каждую неделю довольно толстую долю работы Барышеву; каждая новая доля, получаемая Барышевым, уменьшает долг на 150 или на 200 рублей). Думаю, что месяца через полтора будет покрыт весь долг и покрыты те получения денег, какие понадобятся нам в мае и в июне, так что с июля мы будем получать деньги уж не вперед, не в долг, а как плату за исполненную и полученную Барышевым работу.

Скажи милому дяденьке, что я целую его.

Целую Миночку.

Целую Вареньку.

О саратовском Мише не захочешь ли распорядиться так: когда ты, прямо ль из Саратова, или после возвращения сюда, отправишься вверх ли по Волге, в Петербург ли, то не приехать ли Мише на время твоего отсутствия сюда, ко мне. Я взял бы его в руки, и мы с ним увидели бы, может ли он отстать от пьянства. Может — то пусть остается у меня; работа ему найдется. Не может — то я отправлю его назад. Рассуди, не сделать ли в твое отсутствие эту пробу. Найдешь, что моя мысль не практична, то забудем ее.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица. Целую тебя, моя миленькая Лялечка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1281

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

28 апреля 1889.

Милый Миша,

При письме от 26 апреля я приложил письмо к В. А. Добролюбову, прося тебя разыскать адресата. Теперь я нашел старый адрес его, который, быть может, облегчит тебе исполнение моей просьбы. Вот он:

«Владимир Александрович Добролюбов. Петербург, Владимирская площадь, дом Ремесленной управы, квартира № 8.—

Представитель Берестовской копии г-жи Н. И. (или Н. Н., вторая буква не ясна) Иловойской».

(Итак, фамилия владетельницы копии начинается не с Е, как мне вообразалось.)

Извини, пожалуйста, мой милый друг, мою утруждающую тебя просьбу.

Целую Вас, миленькая Леночка. Целую кстати и тебя, Миша. Будьте здоровы. Ваш *Н. Ч.*

1282

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

28 апр. 1889.

Милостивейший государь Иван Ильич,

На Ваше уведомление о том, что надобно печатать 1-й том перевода Вебера вторым изданием я имею честь отвечать просьбою дать мне неделю времени для раздумья, возможно ли придать этому тому ту обработку, какую следовало бы по моему мнению. Она потребовала бы месяцев трех времени — да и то, начиная счет этого срока с получения книг, какие понадобились бы для нее. Оба эти условия — продолжительность срока и новый расход на книги — представляются мне неудобными. Поэтому, вероятно, я решусь ограничиться для второго издания лишь такой переработкой, которая не потребует ни долгого времени, ни расхода на книги. Должно быть, решусь на это. Но неприятно принять такое решение. Потому прошу у Вас нескольких дней на придумывание способа сделать второе издание лучше, нежели то, как приходится по соображению неудобства исполнить работу сообразно плану, который дал бы книге более высокое ученое и литературное достоинство.

У меня нет ни одного экземпляра ни одного тома перевода первых девяти томов Вебера; не знаю, остался ли хоть один экземпляр и X тома. — Впрочем, могу взять первый том у одного из тех знакомых, которым раздарил свои экземпляры, так что Вам нет надобности присылать мне эту книгу.

Прошу Вас поблагодарить от моего имени Кузьму Терентьевича за исполнение моих (бессовестных) просьб.

С истинным уважением имею честь быть

Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский.*

1283

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

28 апреля 1889.

Добрый и глубокоуважаемый друг Иван Ильич,

Прилагаю формальное, как Вы называете, письмо. А в этом письме, предназначенном собственно для Вас, поясню его.

Книга Вебера пользуется хорошей репутацией. Но она хороша лишь по недостатку более дельной книги подобного размера. Если говорить без сравнения с другими трактатами по всеобщей истории, какие есть у немцев, французов и англичан, то она из рук вон плоха. С давнего времени в Европе не было ученых, которые были бы порядочными знатоками всех отделов всеобщей истории. Последним был Шлоссер, да и тот знал порядочно лишь всю древнюю и половину средней истории с очень небольшими лоскутками новой. Ранке знал только новую историю, да и работа его осталась недокончена; а если бы была докончена, не годилась бы для русской публики, потому что состоит главным образом из рассуждений, а изложения фактов не дает, предоставляя читателю знакомиться с ними из монографий. — Книга Вебера — добросовестная компиляция, составленная человеком, не знающим того, что он переписывает из монографий. Это вроде того, как бы мы с Вами написали грамматику сиамского языка, — почему не написать? Раскрыть две, три хорошие грамматики и брать из них поочередно лоскут за лоскутом, какие нам понравятся; и выйдет хорошо, если будем переписывать добросовестно; выйдет так хорошо, что все похвалят наше трудолюбие, нашу добросовестность, — и действительно можно будет узнать по нашей грамматике сиамский язык, насколько сделавшись известен он нам самим при нашей работе — то есть, пожалуй, узнать его порядочно. Но с ученой точки зрения — на которую мало кто становится при оценке больших трактатов о всеобщей истории — книга Вебера дрянь, как в сущности дрянью была бы наша с Вами сиамская грамматика.

Такая переделка первого тома, которая представляется Вам, очень легка. Но мне не хотелось бы ограничиться ею. Мне хотелось бы, пользуясь именем Вебера для устранения с обертки моего непригодного в печати имени, написать новый, мой рассказ о всеобщей истории. Полагаю, что мои денежные обстоятельства не позволяют мне приниматься за такой труд.

Для него понадобилось бы:

- 1) выписать книг рублей на 300;
- 2) ждать, пока будут присланы эти книги, которых ни в Москве, ни в Петербурге не найдется, надобно будет московскому (или петерб.) книгопродавцу выписать их из-за границы, а это возьмет месяца два времени;
- 3) написать книгу в 700—800 страниц; это потребовало бы четырех месяцев труда, при котором уж не заниматься ничем иным;

итак:

полгода времени;

остановка всякой другой работы —

при моих денежных обстоятельствах это неудобно.

Потому решусь сделать 2-е издание Вебера, ограничиваясь

очищением книги от чепухи, которая увеличивает объем ее на целую лишнюю треть, занятую обыкновенным у историков риторическим пустословием, — обыкновенный метод писать исторические книги состоит в том, чтобы украшать изложение фактов грошовым глубокомыслием, цветами пустого красноречия и т. п. принадлежностями риторического слога. Замену пустословие прибавкою тех фактических сведений, какие найдутся в книгах здешних — бедных, жалких — библиотек. Второе издание будет все-таки получше первого (и благодаря выбрасыванию пустословия — поменьше объемом, потому немножко доступнее первого небогатым людям; у Вас цена книги с точностью соответствует объему, — потому 2-е издание 1-го тома будет на рубль дешевле 1-го издания).

Решусь на это. Но грустно отказаться от плана, который хорош. Потому употреблю с неделю — как говорю в формальном письме, а на самом деле, вероятно, полмесяца — времени на придумывание возможности исполнить свой план. Возможности не найду, разумеется. И через две недели приймусь перечеркивать для второго издания экземпляр 1-го тома, который возьму у одного из здешних знакомых, получивших от меня перевод Вебера в подарок.

В следующий вторник пошлю Вам еще кусок «Материалов для биографии Д-ва». Вчера послал письма его сестрам (три их) и брату. Сестры, без сомнения, скажут о деньгах: «делайте, как хотите», — они благородные женщины. Брата я не знаю; о нем говорят как о дельце не чрезмерно честном. Но каковы бы ни были условия, которые покажутся ему надобными, удовлетворить их будет легко, потому что он человек умный и не пожелает неудобоисполнимого. Живет он, кажется, в Петербурге. Я поручил одному из моих сыновей разыскать его и передать или переслать мне мое письмо. Ответ его рассчитываю получить через две недели, если он в Петербурге; а если он на юге (где у него есть коммерческие дела), то через три недели. Всякие его денежные требования я принимаю, — так я и написал ему. Но это мое дело. Кузьме Терентьевичу нет никакой надобности входить в мои расчеты с братом Добролюбова. Я прошу его иметь дело лишь со мною. Пусть он назначит мне за работу над «Материалами» плату, какую рассудит назначить. Она будет выше той, какую назначил бы я. — Но вообще, как-нибудь и когда-нибудь (вероятно, к концу этого года) я выйду из долга Кузьме Терентьевичу. В прошлый раз я писал, что этого никогда не будет, что одряхлею или умру, оставаясь в долгу у него. Но Вы понимаете, что это говорится у меня лишь по дурацкой привычке моей ругать себя больше, чем следует сообразно правде. Кончив работу над «Материалами», я, по вечерам, буду заниматься для Кузьмы Терентьевича новой работой, которая покроет мой долг ему. А днем буду переводить Вебера и готовить к 2-му изданию

1-й том перевода. Работа с Вебером пойдет быстро, как шла полтора года тому назад, пока я не забросил ее для труда над приготовлением «Материалов» к печати.

Моя жена вчера уехала в Саратов. Потом она — вернувшись ли сюда на несколько дней, или прямо из Саратова — поедет вверх по Волге и в Петербург. Тогда понадобится ей просить у Вас денег. Прошу Вас считать ее просьбы более важными, чем мои личные, и, в случае неудобства исполнять те и другие одновременно, предпочитать ее просьбы моим личным.

Она перед отъездом поручила мне передать приветствия от нее Вашей супруге и Вам. Жму Вашу руку. Ваш Н. Ч.

Р. С. Благодарю за ответ на мой вопрос об издании сочинений Марка Вовчка и за желание помочь этому делу. Я написал ее сыну для передачи ей, что должно последовать Вашему совету.

1284

К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ

1 мая 1889.

Глубокоуваж[аемый] К[узьма] Т[ерентьевич],
Благодарю Вас за Ваше добр[ое] письмо ко мне от 24 апр[еля] и спешу отвечать на него.

Отказываться от предлагаемого Вами продолжения Ваш[их] подарков нам было бы нехорошо с моей стороны. Потому скажу Вам, что мы пьем чай очень густой, следов[ательно] его выходит у нас много, — фунта по 3 в месяц (все это почти только на нас двоих, на меня и жену; доля, выпиваемая нашими немног[очисленными] и редк[ими] гостями, ничтожна. Таким образом, месяца через три я обращусь к Вам с просьбой о возобновлении подарка, приносящего большое удовольствие в особенности моей жене, знающей толк в чае.

Вопрос о плате мне за работу над приготовлением к печати «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова» я решаю в своих мыслях так: лет 27 тому назад я делал, что мог, для улучшения денежных обстоятельств сестер и братьев Н. А. Добролюбова по его смерти. Я употребил на это почти все время от его смерти (в ноябре 1861) до прекращения возможности мне работать (в июле 1862). Тогда я не нуждался в вознаграждении за работу. Следовало бы мне и теперь не брать ничего за работу над «Материалами», передать сестрам Добролюбова те деньги, какие могут быть даны Вами за это издание. Но я живу деньгами, которые присылаете мне Вы; не оставлять у себя ничего из той части их, которую будете считать Вы платой за работу над «Материалами», пересылать все эти деньги сестрам Добро-

любова значило бы увеличивать Ваши (и без того чрезмерные) расходы на мое содержание присылкой мне других денег, собственнo уж для меня. Потому я принужден сделать так: сосчитаю время, какое уйдет у меня на работу над «Материалами»; сосчитаю, сколько пришлось бы мне получить от Вас за перевод Вебера, если бы я употребил это время на работу над Вебером, взяв эти деньги на свое содержание, остальные передать сестрам Добролюбова (у брата его, не нуждающегося в деньгах, достанет эгоизма требовать себе участия в дележе суммы, которая должна была бы быть разделена только между сестрами; он уж получил десятки тысяч от повторявшихся изданий собрания «Сочинений Н. А. Добролюбова», не давая сестрам—женщинам небогатым—ничего из этого дохода, предоставленного мною исключительно ему (и его умершему брату) по словесным условиям, составленным мною и принятым его сестрами. Он и его брат были тогда еще мальчишки; я отказался за них от их долей в их отцовском доме, а сестры и мужья их согласились за это предоставить исключительно в пользу братьев доходы от приготовленного мною собрания «Сочинений» Н. А. Добролюбова; я не предвидел, что доходы с этого «собрания» будут велики; я полагал, что ими лишь немножко облегчатся расходы А. Я. Панаевой, принявшей на себя все те издержки по воспитанию братьев Н. А. Добролюбова, которые не будут покрываемы (сравнительно ничтожными) издержками моей жены на них. Моя ошибка в расчете вероятных доходов от «Сочинений» дала слишком большую выгоду братьям в убыток сестрам: по отказу долей братьев в отцовском доме сестры получили тысяч 5, т. е. каждая из трех меньше, чем по 2 тысячи, а те доли дохода от «Сочинений», которые отдали они братьям, составили десятки тысяч).

На-днях я послал брату Н. А. Добролюбова письмо, в котором говорил, что вперед принимаю те требования, какие сделает он (это будет мой расчет с ним; до Вас это не касается; притом, если у брата Добролюбова и найдется столько эгоизма, чтоб не отказаться от своей доли в пользу сестер, то, наверное, его требования будут умеренные, удобоисполнимые: он человек умный, очень рассудительный).

Я возьму себе часть денег по расчету, основания которого изложил Вам; весь излишек передам сестрам. Впоследствии, когда будет можно мне, без обременения Вам, исполнить то, что считаю я справедливым, передам сестрам и ту долю, которую удержу у себя в настоящее время. Думаю, что если останусь здоров (как надеюсь), то приобрету эту возможность в следующ[ем] году; а может быть, и в нынешнем.

Вот мои мысли о плате за работу над «Мат[ериалами] для биогр. Н. А. Д-ва». Без сомнения, они покажутся Вам, К. Т., заслуживающими Вашего одобрения.

А сколько именно составит та плата, какую Вы дадите, это определится Вами по количеству экземпляров, цене их и ходу распродажи издания. Вам это будет виднее, чем мне; следов[ательно], мешаться в это мне было бы не резонно с моей стороны.

Одна из сестер Д-ва, которая беднее двух других (Ант. А-вна), прислала мне ответы на вопросы об отце, матери, родных и т. д. Я послал ей 50 р. с объяснением, что это часть вознаграждения за ее труд. Она — женщина бедная — возвратила мне эти деньги; да и после того писала в том же смысле: не имеет она ни права, ни желания получить деньги от издания «Мат[ериалов]». Двух других сестер я знаю меньше; но и они женщины благородные. Я писал им на-днях; ответы получу недели через полторы; думаю, что и они будут отказываться от денег и возьмут лишь по принуждению от меня, так же как лишь по принуждению от меня возьмет Ант. А-вна. С братом, если он захочет обидеть сестер, рассчитаюсь без всяких возражений, к полнейшему его удовольствию.

По окончании работы над «Мат[ериалами]» буду заниматься по вечерам трудом над книгами, о которых думаю, что они доставят мне возможность приобрести, благодаря Вам, достаточное для нас — меня и жены — обеспечение на годы моей дряхлости, которая, как я полагаю, еще не очень близка (я кажусь гораздо моложе моих лет).

А утром и днем, когда неудобно заниматься работой, требующей сосредоточения мыслей, буду переводить Вебера; это будет итти быстро. — Иван Ильич писал мне, что скоро понадобится сделать 2-е издание 1-го тома В[ебер]а; когда понадобится, быстро переработаю так, что 2-е издание будет несколько лучше 1-го; это работа, которая не возьмет у меня много времени.

Благодарю Вас, великодушный ко мне К[узьма] Т[ерентьевич], за то, что Вы делали и делаете для меня. Ваша (слишком щедрая) помощь дала и продолжает давать спокойную и безбедную жизнь мне и моей — больной, потому нуждающейся в удобствах — жене; за нее я благодарен Вам еще гораздо больше, чем за себя.

Ваш преданный слуга *Н. Чернышевский*.

1285

И. И. БАРЫШЕВУ

30 апр. 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Вместе с этим письмом отдам на почту письмо к Кузьме Терентьевичу (ответ на его письмо от 24 апр.). Переписываю для сведения Вам существенные места. На вопрос о плате за «Материалы» отвечаю:

«Я живу деньгами, которые получаю от Вас; не оставляя у себя ничего из той части их, которую Вы будете считать пла-

той за работу над «Материалами», пересылать все эти деньги сестрам Добролюбова, как я желал бы, значило б увеличивать Ваши (и без того чрезмерные) расходы на мое содержание присылкой мне других денег собственно уж для меня. Потому сосчитаю время, какое уйдет у меня на работу над «Мат-ми»; сосчитаю, сколько пришлось бы мне получить от Вас за перевод Вебера, если б я употребил это время на работу над В-ом; возьму эти деньги на свое содержание, остальные передам сестрам Д-ва (и брату его, если пожелает участвовать в дележе суммы, которую следовало бы ему всю предоставить в пользу сестер).

«Впоследствии, когда будет можно мне без обременения Вам исполнить то, что я считаю справедливым, передам сестрам и ту долю, какую удержу у себя в настоящее время; думаю, что приобрету эту возможность в следующем году; а может быть, и в нынешнем.

«Вот мои мысли о плате мне за работу над «Мат-ми». Без сомнения, они покажутся Вам заслуживающими Вашего одобрения.

«А сколько именно составит та плата, какую Вы дадите, это определится Вами по количеству экземпляров, цене их и ходу распродажи издания. Вам это будет виднее, чем мне, следовательно, мешаться в это мне было бы не резонно с моей стороны.

«По окончании работы над «Мат-ми» буду заниматься по вечерам трудом над книгами, о которых думаю, что они доставят мне возможность приобрести, благодаря Вам, достаточное для меня и жены обеспечение на годы моей дряхлости — которая, как я полагаю, еще не очень близка.

«А утром и днем, когда неудобно заниматься работой, требующей сосредоточения мыслей, буду переводить Вебера; это пойдет быстро. — Иван Ильич пишет мне, что скоро понадобится 2-е изд. 1-го тома Вебера; когда понадобится, быстро переработаю его для 2 изд.» *

Конец извлечения. Дальше, только повторение благодарности К. Т-чу.

Теперь пишу Вам.

Жду от Вас извещения, когда понадобится посылать Вам исправленный 1-й том Вебера для 2-го издания.

Пора отдать письмо на почту.

Жму Вашу руку, добрый друг.

Прошу передать мое глубокое уважение Вашей супруге.

* Это значит, что я отбросил мысль писать под прикрытием имени Вебера свой трактат и решился ограничиться такой переработкой книги, чтобы только улучшить ее без большой траты времени. *Примечание Ч.*

Послезавтра пошлю Вам еще кусок переписки. Кончу работу над этим разрядом материалов к следующему вторнику и, вероятно, в той посылке (9 мая) будет уж и начало второго класса материалов.

Будьте здоров. Ваш *Н. Чернышевский*.

1286

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

30 апреля 1889.

Милый мой дружок Оленька,

В пятницу вместе с письмом к тебе отнес на почту то письмо твое, при котором посылаются 5 р. сер.

Вчера (в субботу) получил очень любезное письмо от Солдатенкова (ответ на то письмо, в котором я благодарил его за новую присылку чаю). Он пишет:

«Отвечаю на полученное мною ваше письмо от 16-го числа сего месяца: — Если посланный мною вам чай совершенно по вкусу вашему и вашей супруги, прошу без церемонии написать мне, когда опять прислать его вам».

Далее он говорит о том, чтобы я сам назначил, какое вознаграждение получить мне от него за работу над приготовлением к печати «Материалов для биографии Добролюбова». — Накануне получения этого письма его я отправил (в пятницу) к Барышеву письмо, в котором говорил (для передачи моих слов Солдатенкову), что предоставляю самому Кузьме Терентьевичу определить вознаграждение мне за эту работу. Теперь надобно в ответ на желание Кузьмы Терентьевича написать ему, как думаю я о плате мне за этот труд; иначе он подумал бы, что я не хочу говорить с ним откровенно. Я напишу ему так: рассчитаю, сколько получил бы за перевод Вебера, если б употребил на перевод то время, какое употребил на работу над «Материалами», и попрошу столько (это будет рублей 600). Написать ему ныне не успею, напишу завтра.

Вчера же я получил от Антонины Александровны совершенно родственное письмо с большой припиской ее сына. Она и потом, под ее диктовку, он отвечает на некоторые из посланных мною ей вопросов о разных обстоятельствах жизни ее отца и матери, ее самой (насколько факты ее жизни связаны с жизнью Николая Александровича) и вообще о делах их семейства в те годы. О себе Ант[онина] Ал[ександровна] пишет: «Очень желала бы видеть здесь (в Сарапуле) супругу Вашу; но не могу сказать наверное, в какое время где буду сама. Завтра * еду в Нижний

* Письмо ее имеет пометку «22 апр.», следовательно она уехала в Нижний 23 апр. *Примечание Ч.*

повидаться с детьми, думаю пробыть там до начала мая, затем приехать сюда (в Сарепул) и пробыть (в Сарепуле) до июня, когда кончатся занятия сына в гимназии*; хорошо, если бы супруга Ваша приехала около половины мая**: я рассчитываю, что буду в это время здесь; разве что особенное задержит; тогда я могу написать вам; затем*** сын по совету врачей думает поехать на кумыс или купанье, а я еще не решила, поеду ли с ним, или в Нижний. Но в конце июля я все-таки должна быть там» (то есть в Нижнем).

В конце письма она свидетельствует свое «искреннее почтение» тебе.

Я буду отвечать Ант. Александровне и ее сыну в среду (отправив во вторник еще кусок «Материалов» Барышеву). — Ничего особенного не имею теперь написать им, кроме благодарности за ответы на мои вопросы.

Кстати: в той записочке, которую дал я тебе на пароходе, я, кажется, ошибся в имени сына Ант. Александровны; его зовут Алексей Михайлович (Костров). Он, судя по его письму, человек неглупый и хороший.

Каково-то поживаешь ты в Саратове, моя миленькая красавица? — Жду от тебя телеграммы о приезде в Саратов.

Здесь у меня идет все хорошо. — Буду писать тебе в среду.

Целую Миночку, дяденьку. Целую руку Вареньки.

Будь здоровенькая, миленькая моя голубочка.

Скажи твоей племяннице, что я целую ее, а мужу ее скажи мой поклон. Скажи мой поклон и ее воспитательнице (забыл имя и отчество) madame Котлубай.

Целую твои миленькие глазки, моя Лялочка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Р. S. — 10 час. 20 м. (утра). — Сейчас получил твою телеграмму. Благодарю, что позаботилась прислать ее. Целую тебя, моя Лялочка.

1287

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Среда, 3 мая 1889.

Миленький дружок мой Оленька,

Понравилось ли тебе то, что нашла ты в Саратове, — то есть, главным образом, здоровыми ли нашла родных?

* То есть, вероятно, до половины июня (это не ее, а мой расчет). *Примечание Ч.*

** Этого не стоит принимать в расчет, потому что, как увидишь дальше, гораздо ближе и удобнее будет тебе поговорить с нею в Нижнем. *Примечание Ч.*

*** То есть, когда кончатся занятия в гимназии. *Примечание Ч.*

У меня здесь идет все хорошо.

Третьего дня я написал Солдатенкову ответ на его милое письмо. — Чтобы ты могла судить о моем ответе, приведу главные места из его письма.

«Если посланный мною Вам чай», — говорит он, отвечая на мою благодарность за подарок, — «совершенно по вкусу вашему и вашей супруги, прошу без церемонии написать мне, когда опять прислать его вам». — Я рассудил, что отказываться значило бы обидеть предлагающего (и полагаю, что он убедился в нашем с тобою нерасположении к алчности, в нашей деликатности по денежным делам), потому отвечал прямой правдой: мы с тобою пьем очень густой чай, потому у нас выходит его — почти исключительно на нас двоих, при немногочисленности гостей — фунта по три в месяц, и таким образом месяца через три я попрошу о возобновлении подарка, вкус которого совершенно нравится нам.

Переходя к «Материалам для биографии Н. А. Добролюбова» — печатание которых уж началось, — Солдатенков говорит: «Прошу вас сказать мне совершенно откровенно (он подчеркивает эти слова), какое вы желаете получить вознаграждение за ваш труд; ваша откровенность будет мне служить доказательством вашего ко мне расположения, которое для меня очень дорого». — Я увидел, что нельзя оставаться мне при той мысли, которую я высказывал в (прежних) письмах к Барышеву (без сомнения, передававшему ее Солдатенкову, для сообщения которому она и предназначалась мною) — при мысли, что о денежной стороне дела я не хочу говорить, предоставляя ее вполне на решение Солдатенкова; после того, что написал он, было бы обидно ему, если б я не определил сам, какого вознаграждения желаю; потому я написал ему: когда кончу работу над «Материалами», я сосчитаю, сколько времени употребил на нее; сделаю расчет, сколько пришлось бы мне получить за перевод Вебера, если б я употребил это время на него, и попрошу в вознаграждение себе эту сумму.

Для пояснения вероятной цифры собственно тебе делаю теперь же приблизительный расчет:

Когда занимаюсь исключительно Вебером, я перевожу листов 12 в месяц; по 30 р., это составляет 360 р. Если на работу над «Материалами» уйдет у меня 2 месяца, то я напишу Солдатенкову, что прошу у него за этот труд $360 \times 2 = 720$ р.

Пора нести письмо на почту.

Целую нашу с тобой племянницу Вареньку и ее мужа; свидетельствую (искренно и серьезно) глубокое свое уважение г-же Котлубай.

Целую Миночку.

Целую дяденьку.

Целую руку сестры Вареньки.

Желаю им всем быть здоровыми.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой ты, моя миленькая красавица.

Целую тебя тысячи, тысячи раз, моя миленькая Лялечка. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

P. S. В понедельник (одновременно с письмом к Солдатенкову) я отправил письмо к Барышеву о деньгах для тебя. (Солдатенкову не стоит писать о таких — по его мерке — мелочах.) Я говорил, что ты поехала в Саратов, что останешься там, быть может, дольше, чем рассчитывала, что, может быть, поедешь прямо оттуда вверх по Волге, что поэтому тебе понадобится получать деньги прямо от него (Барышева), что ты, вероятно, скоро напишешь или телеграфируешь ему о присылке денег тебе и что я не сомневаюсь в немедленном исполнении твоих просьб им и т. д. — Мое письмо будет получено Барышевым в субботу (а может быть, уж и в пятницу, то есть послезавтра) и никак не позднее воскресенья, то есть 7-го числа. Потому, если ты телеграфируешь ему о деньгах в воскресенье, то он уж будет в это время имеющим предупреждение от меня.

Будь здоровенькая, моя радость.

Целую и целую тебя. Буду писать в пятницу. Твой *Н. Ч.*

1288

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг, 4 мая 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера вечером принесли мне письмо — Миши или Леночки? я не умею хорошенько различать их почерки. Влагаю его в этот конверт.

Вчера я писал тебе. Нового с той поры не произошло, разумеется, ничего. А главное, я, в ожидании письма от тебя, медлил начинать это свое письмо, так что остается лишь несколько минут до крайнего срока отдачи его на почту. Потому пишу лишь несколько строк.

В эти дни я довольно много гулял. Гостей у меня не было ни одного, — как есть ни одного со времени твоего отъезда. Огорчаюсь, думая, что это лишение приятностей дружбы не продлится — хоть бы до конца года. А хорошо было бы, если бы благосклонность судьбы не отказала мне в исполнении скромного моего желания сохранять ненарушимым сожаление, что все знакомые покинули меня.

Если не хочешь сама телеграфировать Барышеву о присылке тебе денег, то телеграфируй мне, получишь через три дня по отправлении телеграммы ко мне; а телеграфируя прямо ему, получишь через два дня.

Долг мой Солдатенкову оказывается гораздо меньше, чем я думал, и скоро будет покрыт работой, которую я посылаю Барышеву каждую неделю.

Я совершенно здоров.

Константин Михайлович работает усердно. Начал работать у меня и Николай Васильевич, о нем нечего говорить, усердно ли.

Целую племянницу Вареньку, Миночку, дяденьку, целую руки Вареньки.

Сию минуту пришел Вас. Вас. Менхен, отдал твое письмо. Все будет исполнено, как ты велишь.

Телеграфируй Барышеву о присылке денег тебе.

Целую тебя. Целую твои ручки и ножки. Будь здоровенькая, моя красавица Лялочка. Твой *Н. Ч.*

1289

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Пятница, 5 мая 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

Посылаю тебе с Вас. Вас. Менхеном

- 1) шелковое платье,
- 2) пенюар,
- 3) три рубашки

в корзинке; укладывала Софья Мелькумовна; я и не заглядывал, не только не притрогивался к вещам; потому, вероятно, все осталось на месте и не измято,

- 4) кушетку,
- 5) свою кровать,

зашитые в рогоже; вместо своей я взял твою кровать; она, как я нашел, более удобна,

- 6) пружинный тюфяк своей кровати,
- 7) две занавеси соломенные.

Спешу отдать письмо на почту. Я взял 20 р. у Сергея Мелькумовича. Принесли письмо к тебе. Влагаю его в этот конверт.

С Вас. Вас. пошлю для тебя письмо к Короленко и письма к двум сестрам Добролюбова, которых ты найдешь в Нижнем.

Целую племянницу Вареньку, Миночку, дяденьку.

Целую руку Вареньки.

Тысячи и тысячи раз обнимаю и целую тебя, моя миленькая красавица Лялочка.

Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1290

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Пятница, 5 мая 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

Ныне утром я послал заказное письмо, в котором сообщал тебе, какие вещи отправляю по твоему распоряжению на «Ниагаре».

Перечислю их еще раз в этом письме, которое отдам Василию Васильевичу, когда приеду на пристань и сдам их; это:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 1) моя кровать (с тюфяком) | } | все это зашито в рогожи. |
| 2) твоя кушетка | | |
| 3) две сторы | | |
| 4) твое платье | } | все это положено в картонку, которую я отдам на руки В. В-чу. |
| 5) твой пеньюар | | |
| 6) три рубашки | | |

В этот конверт вложу три письма:

1) Письмо к Короленко, к которому велела ты написать.

2) Письмо к Антонине Александровне, которую ты, может быть, найдешь в Нижнем; спросишь о ней у сестры ее, Анны Александровны Рождественской, муж которой служит протоиереем при домово́й губернаторской церкви. Антонина Александровна писала мне от 22 апреля, что в начале мая будет в Нижнем. Не застанешь ее, то распорядишься с письмом к ней, как найдешь удобным.

3) Письмо к ее сестре Анне Ал-вне и мужу Анны Ал-вны, Василию Петровичу.

Прежде чем запечатаешь эти три письма, прочти их — надо же знать, что отдаешь.

Буду снова писать тебе в воскресенье.

Спешу. Будь здоровенькая, миленькая моя радость. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя Лялочка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Р. S. Чуть не забыл. Посылаю тебе два оттиска моих статей о Николае Александровиче: один для Анны Александровны (у Ант. Ал. уж есть), другой для Катерины Александровны — отдать Анне Ал-вне или Ант. Ал-вне, если которая-нибудь из них возьмется переслать его Катерине Ал-вне; а не переписываются они с нею, то оставь назначенный для нее оттиск у себя; мы перешлем его ей через Ивана Ильича, если не узнаем сами ее адреса.

Будь здоровенькая, моя миленькая радость. Целую и целую тебя. Твой Н. Ч.

Да, еще:

Увидишь Анну Ал-вну и Ант. Ал-вну, то говори им, что все их желания будут исполнены мною. Ант-е Ал-вне между прочим скажи, что возвращаю ей письма ее и Михаила Алексеевича (ее мужа) к Ник. Ал-вичу, перешлю ей и письма их отца и матери, как только проверю по подлинникам корректуру издания (которое уж начали печатать). Экземпляры издания пришлю всем сестрам. Антонине Ал-е пришлю и «сочинения Н. А. Д-ва». — Целую и целую тебя.

1291

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

7 мая 1889. 9 час. утра.

Миленький мой дружок Оленька,

Быть может, это письмо еще застанет тебя в Саратове. Но отправив его, буду дожидаться от тебя извещения, куда адресовать письма: рассчитываю, что в среду или четверг ты отплывешь из Саратова вверх по Волге. Если не получу извещения до четверга, то напишу в Нижний по адресу Короленко (в контору Зевеке).

У меня здесь все хорошо.

Ныне в 10 часов утра заедет за мною князь Чечуа; хочет показать мне, как прекрасно идет у него шелководство, он основал его в саду Сергеева, где оказалось довольно много тутовых (шелковичных) деревьев, листьями которых питаются шелковые черви, и проводит там время с утра до ночи. — К обеду я возвращаюсь домой. — Видишь, как я гуляю. Хвали ж меня, голубочка.

Вещи, которые выписывала ты, поплыли на «Ниагаре».

Вчера вечером принесено письмо Миши (или Леночки) тебе. Псылаю его.

В день нашей свадьбы была получена от Миши и Леночки телеграмма, которую забыл я переслать тебе в письме, отправленном следующим утром. Извини, моя миленькая голубочка, мою забывчивость. Влагаю телеграмму в этот конверт.

Хвалю тебя, моя красавица, за то, что ты едешь вверх по Волге прямо из Саратова, — то есть надеешься на то, что здесь без тебя порядочно исполняются твои распоряжения. Действительно, они исполняются.

Телеграфируй Барышеву, чтоб он прислал тебе денег. Не скучись на расходы для своего здоровья: я писал тебе, кажется, а на всякий случай напишу и теперь, что наш долг Солдатенкову оказался много меньше, чем я предполагал, что с каждой неделей он уменьшается и скоро будет покрыт отправляемыми каждый вторник (довольно большими) кусками моих работ. К зиме я

надеюсь привести дела в такое положение, что деньги, какие будем мы получать от Солдатенкова, будут уж не авансами, как это говорится на коммерческом языке, то есть не суммами, получаемыми вперед, а уплатами за исполненные и пересланные Барышеву части работ. Быть может, достигну этого и раньше зимы, к началу осени.

Я писал Короленко о том, не найдется ли должности для Краснова, но это было давно, месяцами двумя раньше, чем ты сказала мне, что этот человек не заслуживает рекомендации; тогда я не имел ничего против него, потому что ничего не имела ты; а мне хотелось сбить его с рук. (Должности, вероятно, не нашлось.) — Константин Михайлович, встречавшийся с ним в библиотеке, сказал мне, что в среду или в четверг он хотел уехать в Саратов. Должно быть, и уехал, потому что после того не попался на глаза Константину Михайловичу.

Константин Михайлович работает усердно. Кажется, я писал тебе, что начал работать у меня и Николай Васильевич.

Отправляя вещи к тебе, я несколько времени провел на «Ниагаре». Приобрел две новые дружбы и (маленький) кусочек сыру. — Приобретение сыру произошло таким образом: вижу у входа в одну из кают моего приятеля Либшера; здороваемся; он ведет меня в каюту; садимся; разговариваем; смотрю — во всю длину каюты растянут стол, уставлен винами и всяческими закусками; у стола десятка полтора мужчин, закусывают и пьют;

— вошел Чечуа (или, как он объяснил, не Чечуа, а Чичуа) и потому спешу кончить — он кланяется тебе.

— подходит господин во фраке и предлагает закусить. — «Что такое у вас тут?» — Это свадьба. В 5 часов женился помощник капитана, и вот празднуют здесь родные и друзья.

Чтоб не обидеть отказом, я взял и съел кусочек сыра.

— Где жених?

— Вот тут перед каютой.

Я подошел и поздравил.

Другое знакомство —

вхожу в контору, там Пантюк; потолковали; он едет в Саратов; хорошо.

Поздравив жениха, я ушел со свадебного пира; прошел 10 шагов — стой! — схватил меня Пантюк: «Познакомьтесь с моей женой» — «очень рад» — посидел с ними четверть часа.

Целую племянницу Вареньку и кланяюсь ее мужу.

Свидетельствую глубокое уважение г-же Котлубай.

Целую Миночку и дяденьку.

Целую руку Вареньки.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз [целую] тебя, моя миленькая Лялечка. Будь здоровенькая и веселенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг, 11 мая 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

Я получил твое письмо от 7 мая, видел из него, почему ты решила остаться в Саратове днем дольше, чем предполагала, и не мог не похвалить тебя за исполнение желания дяденьки.

Через несколько часов после этого письма я получил от Вареньки телеграмму о твоём отъезде в Нижний.

Надеюсь, ты выбрала хороший пароход и устроилась на нем удобно.

Не жалею, моя радость, расходов, какие нужны для поправления твоего здоровья.

О том, продавать ли дом, я не имею никакого своего мнения; как рассудишь ты, так будет лучше и по-моему.

Но для твоих соображений об этом прошу тебя быть уверенной, что 600 р. или хоть бы 1 000 р. на ремонт дома ты можешь употребить, не делая никакого стеснения себе и мне в текущих наших денежных делах.

Вчера собрался я исполнить твою инструкцию о том, чтобы побывать у дамы, которая не могла принимать никого на пасху и недели две после пасхи. Она еще никуда не выезжала до настоящего времени; но в последние две недели уж могла бы; только находила по совету своего домашнего врача (девушки) лучшим для себя оставаться безвыходно дома, чтоб не быть в надобности делать многочисленные визиты, которые утомили бы ее, еще несколько слабую.

Я просидел у нее часа полтора (удерживаемый ею); большую часть времени (пока мы были одни, она и я и потом ее муж) она расспрашивала о тебе с большим уважением (он тоже). Потом вошла та девушка-врач, и я переменял разговор, не желая говорить о наших с тобою делах и чувствах при человеке (правда, хорошем, но) еще незнакомом.

Ныне она уезжает в деревню. Пробудет там до сентября. Муж съездит к ней лишь дня на три: дела не позволяют ему отлучиться из губернии дольше, чем на неделю.

— «У вас не бывает досуга тратить время на разговоры со мною», — сказал я ему в ответ на жалобу, что я давно не был и т. д. — «Потому по отъезде вашей супруги я вовсе не буду бывать у вас». — Он стал спорить, и поладили мы на том, чтоб я хоть раз в неделю посещал его, если работа не позволяет мне бывать чаще.

Она просила передать тебе уважение и т. д., ее извинения и сожаления, что не могла видаться с тобою (ее врач запрещал —

или, точнее, запрещала — тогда ей), ее надежду, что когда она возвратится, то она и т. д.

У меня здесь все идет хорошо.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, моя миленькая голубочка.

Кланяйся от меня Короленко (и его брату, если брат понравится тебе) и тем родным Добролюбова, которых увидишь.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя красавица. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1293

И. И. БАРЫШЕВУ

12 мая 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Вчера вечером принесли мне первую Вашу посылку корректур «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова». Ныне отправляю их Вам. В этом, как видите, я исправен. Надеюсь, ни разу не задержу.

Присылать мне корректуры необходимо. Просмотрев возвращаемые Вам, увидите, что в трех или четырех местах поправлены не корректурные недосмотры первого чтения, которые поправил бы и всякий иной при чтении второй корректуры, а мои ош и б к и в комментариях; этих ошибок не мог бы заметить и поправить никто, кроме меня же самого.

Потому прошу Вас, не смущайтесь промедлением в 1½ или две недели, происходящим от пересылки корректур ко мне, присылайте все.

Присланный в нынешний раз набор составляет 28½ страниц, содержа в себе (63—2=) 61 лист рукописи. По этому расчету «Переписка» составит в наборе около 540 или 550 страниц. Этого, я полагаю, достаточно, чтоб образовать целый том; так что я думал бы ограничить 1-й том одною «Перепиской». Впрочем, сделайте так, как найдете лучшим. Вам эти вопросы яснее, чем мне.

Второй том во всяком случае будет иметь величину, сообразную величине первого тома. Я говорил Вам, что соразмерно объему, требуемому равенством толщины обоих томов, я расширю или сожму во втором томе (то есть в рукописи для него, не в наборе; я не сделаю хлопот типографии) изложение содержания юношеских литературных опытов Добролюбова (не бывших печатанными).

Прилагаю листок заметок для г. метранпажа.

Вижу, что теперь мне пока не для чего торопиться отправлением следующего куска работы; потому отправляю его Вам во вторник не 16 мая, как писал на листке, приложенном к оконча-

нию рукописи «Переписки», а через неделю после этого вторника, в следующий вторник, 23 мая. — Дело в том, что начало второго отдела «Материалов» состоит не из готового текста (не из бумаг Добролюбова), а из моего обзора их содержания; а писать текст рукописи — разумеется, работа, требующая больше времени, чем прибавление примечаний к готовому тексту; таким образом, к 16 мая у меня будет готово лишь листов 60 рукописи; лучше ж отложу отправление до 23 мая, к которому будет готово много листов.

Вчера я послал Вам телеграмму, в которой прошу себе 150 р. — Не знаю, имела ль надобность раньше этого просить у Вас денег моя жена; вероятно, имела. А во всяком случае, она все лето будет разъезжать или жить далеко от Астрахани, и ей понадобится много раз просить у Вас денег. Считайте ее просьбы более важными, чем мои, и в случае неудобства удовлетворить и те и другие, оставляйте без удовлетворения мои, исполняя ее просьбы. Я дорожу только ее надобностями.

Один из моих здешних знакомых просил меня выписать для него VI—XI томы перевода Вебера. Он заплатит мне деньги за них; на равное тому количеству рублей уменьшится сумма, которой попрошу я у Вас для себя после того. — А кстати, приложите к этим томам, которых прошу я для продажи другому, и первые пять томов собственно для меня (я писал, что не оставил у себя ни одного экземпляра). Вы говорили, что пришло время напечатать 1-й том вторым изданием; стало быть, скоро понадобится 2-е издание и 2-го, 3-го и т. д. томов; то надобно мне иметь экземпляр для переработки и отправления к Вам.

Напишите, к какому времени надобно Вам иметь начало переработанного 1-го тома. Я к назначенному Вами времени и pošлю кусок переработки.

Не помню, благодарил ли я Вас за готовность содействовать новому изданию сочинений Марка Вовчка и говорил ли, что нахожу дельным Ваш совет отложить это до ноября и что писал Марку Вовчку (собственно говоря, сыну Марка Вовчка, Богдану Афанасьевичу Марковичу, для передачи матери), что, по моему мнению, должно последовать этому Вашему совету. Я писал это ему — не помню, недели ль полторы или уж недели три тому назад, — словом, немедленно по получении мною Вашего совета.

Жму Вашу руку, добрый друг. Будьте здоров. Ваш Н. Чернышевский.

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Воскресенье, 14 мая 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

Это мое письмо, вероятно, уж найдет тебя в Нижнем. Надеюсь, ты доехала хорошо.

Твое поручение относительно передачи слов Коврова Каниной исполнил я в тот вечер, как получил твое письмо. Бедная Канина была нездорова; теперь поправляется (вчера я был у нее; она уж ходит, а третьего дня еще не могла встать). Ее старшая дочка ездила в Царев хлопотать о получении опеки над малолетними родственницами; там сказали, что согласны поручить опеку ей (дочке Каниной), но что нужно также согласие Камышинского опекунского управления, и она из Царева проехала в Камышин. Мать ждет ее приезда сюда на-днях. Дела по опеке приведены в такое расстройство, что девушка боится принять ее на себя; но, судя по словам матери, я думаю, что примет, если дадут.

Я решительно примкнул к театральному миру. Вчера вечером врач Орлов привез ко мне Анатолия Николаевича Кремлева, визитную карточку которого прилагаю к письму. Помнишь ли ты его? Он приятель Марьи Александровны и говорит о ней с большим уважением. Расспрашивал о тебе (он считает себя твоим знакомым). Мне он понравился. Орлов и он просидели со мною часов до десяти. — Он здесь проездом в Дербент: товарищество, к которому принадлежит он, дает там несколько спектаклей, потом будет играть в Темир-Хан-Шуре, поедет дальше, по Закавказью. А зимою он будет играть в Вильне.

Ковров приехал вчера. Я с ним еще не виделся.

В четверг — так, кажется? — мое письмо к тебе было преврано приездом князя Чичуа. (Или это было в самом деле в воскресенье, как я написал сначала? — Ну, словом, когда бы то ни было.) Дописав письмо, я отправился с Чичуа в сад Сергеева, где разводит он шелковичных червей. Показал он свою маленькую шелковую (будущую большую) плантацию, поводил меня по саду, и пошел я оттуда домой пешком. Нимало не устал. Обещался за тебя, что когда ты приедешь, мы с тобой снова побываем у него. Он немножко азиатец; но в сущности хороший, благородный человек.

Третьего дня заходила ко мне Сусанна Богдановна; занесла бывшие у нее книги. Новых не взяла, думая, что их нет у меня, не спрашивала. Дружба моя с нею непоколебима. Я обещался на-днях зайти к ним (может быть, и зайду, хоть это сомнительно). Она с матерью и сыном поедет пожить лето там же, где жили

в прошлом году. Это на самом берегу Волги. Когда поедут, еще не решено. Приехав туда, она напишет тебе письмо с просьбой навестить ее, если поедешь мимо.

Вчера я отправил Лариону Галактионовичу телеграмму для передачи тебе. Это вышло так. Я брал у Сергея Мелькумовича 20 р.; вчера, получив деньги, прямо из банка пошел к нему в контору отдать их. Он встречает меня известием: «Фенечка прислала телеграмму, что Авет Иванович умер». — «И очень хорошо сделал», — отвечаю я: — «Чрезвычайно дурно было то, что Егор Мелькумович посоветовал Анне Каспаровне, Ивану Мелькумовичу и вам отдать ее за старого дурака, неспособного кормить и себя одного, не то что себя и жену вдвоем, а вы послушали этого совета. Он проел все, что было у нее, — вы знаете это?» — «Кажется, так». — «Нечему тут казаться, это достоверно». — «Завтра придет сюда Егор, мы хотим, чтобы кто-нибудь из нас поехал за нею в Москву». — «Не для чего вам за нею ехать; доедет и сама, без опекуна; по дороге разбойников нет, охранять не от кого. Лучше вы пришлите ей те деньги, которых стоил бы проезд ваш в Москву и обратно». — «Мы так сделаем». — И результатом было, что я по просьбе Сергея Мелькумовича написал телеграмму тебе и отдал ее на телеграфной станции.

Я думаю, ныне отдам деньги за квартиру. Хотел отдать вчера же. Но хозяина не было дома, и он не возвращался до той поры, когда приехали ко мне Орлов и Кремлев. А проводив их в 10 часов, я лег спать.

Я взял у Барышева полтора рубля. Расход: 20 р. отдал Сергею М., 46 (почти) надобно отдать хозяину (отдал); кухарке и молодому Кузнецову отдам 15 р., рублей 5 отдам Константину Михайловичу; — остается рублей 60 слишком на домашние расходы. Недели на три, вероятно, достанет. Когда будет оставаться лишь рублей тридцать, то напишу Барышеву, чтобы прислал по почте.

Третьего дня заходила Марья Ивановна; принесла три пары чулок для тебя и 1 пару носков мне; говорила: за чулки ты обещала ей по 60 коп., за носки — я уж успел забыть, сколько; прибавила: «Напишите Ольге Сократовне, попросите ее сказать саму, сколько мне следует; а пока дайте мне 1 р. 50 к.». — Я дал.

Кухарка была очень обрадована тем, что ты прислала поклон ей.

У меня здесь все идет хорошо.

Кланяйся от меня, кому рассудишь.

Будь здоровенькая, моя миленькая голубочка. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя Лялечка.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1295

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг, 18 мая 1889, 10¹/₂ ч. утра.

Миленький мой дружок Оленька,

Не знаю, куда писать тебе, все ли еще в Нижний, или уж в Саратов; потому пишу два письма, — по обоим адресам, и по каждому лишь несколько слов.

В понедельник я получил от тебя телеграмму, говорящую, что ты хорошо приехала в Нижний.

Я посылал тебе телеграммы на имя Лариона Галактионовича Короленко и (по телеграмме его брата, что его теперь нет в Нижнем) на имя его брата (Владимира). В них было извещение, что муж Федосьи Мелькумовны умер и что ее родные просят, не возьмешь ли ты ее с собою. Но Владимир Галактионович не мог отыскать тебя. Потому Егор Мелькумович (приехавший сюда) уехал ныне в 9 часов утра в Москву за сестрой.

Третьего дня был у меня Рынкевич, отдал твое письмо, писанное на пароходе. Вчера пароход его отправлялся обратно вверх. Я ходил к нему, познакомился с его женой, отдал ему, как ты велела, два фунта чаю для передачи тебе. Он отдаст их тебе в Саратове (или, если ты еще не возвратилась туда, оставит там для тебя).

Я давно писал Барышеву о немедленной высылке денег тебе по первому твоему требованию; потому требуй их сама; это будет скорее. Я не знаю, куда должно послать их — в Нижний или в Саратов. Пожалуй, напишу Барышеву я; но для этого извести меня, куда выслать деньги.

Вчера я получил письмо от Миши к тебе. Не зная, куда послать, оставляю его у себя в ожидании извещения, куда писать тебе.

У меня здесь все хорошо.

Целую Миночку, племянницу Вареньку, дяденьку, сестру Вареньку.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькой, моя миленькая радость. Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя, моя Лялечка. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1296

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг, 18 мая 1889, 10¹/₂ часов утра.

Миленкий мой дружок Оленька,

Не зная, где ты будешь дня через три, четыре — все ли еще в Нижнем, или уж опять в Саратове, я пишу и в Нижний и в Саратов одинаковые письма.

В понедельник я получил от тебя телеграмму, что ты хорошо приехала в Нижний.

Я телеграфировал тебе в Нижний (сначала на имя Лариона Галактионовича Короленко, потом на имя его брата Владимира) извещение, что муж Федосьи Мелькумовны умер и родные просят, не возьмешь ли ты ее с собой до Саратова. Но Владимир Галактионович не мог, как видно, разыскать тебя, телеграммы оставались не переданы тебе, и, не имея ответа на них, родные Федосьи Мелькумовны решили, что за нею поедет Егор М. (приехавший сюда на-днях). Ныне в 9 часов утра он выехал в Москву за сестрой.

Я при твоём отъезде отсюда писал Барышеву, чтобы по твоим требованиям немедленно высылал тебе деньги. Пиши или телеграфируй ему сама. Или, если не хочешь, извести меня, куда он должен выслать тебе деньги, — видишь, это будет промедление. Потому лучше требуй сама. А впрочем, если не хочешь, то телеграфирую ему я.

Я отдал 2 фунта чаю Рынкевичу, принесшему мне письмо от тебя, писанное на пароходе. Он оставит чай в Саратове Вареньке, если еще не будет там тебя во время его проезда.

Вчера получил письмо к тебе от Миши. Оставляю у себя, до извещения от тебя, куда переслать к тебе.

У меня здесь все хорошо.

Целую Миночку, племянницу Вареньку, дяденьку, сестру Вареньку.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая Лялочка. Будь здоровенькая и веселенькая. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1297

Ф. М. КАНЖИНСКОЙ

[1889

Телеграмма

Брат возвратился сюда

Чернышевский

1298

К. Т. СОЛДАТЕНКОВУ

26 мая 1889.

Милостивейший государь Кузьма Терентьевич,

Получив Ваше доброе письмо от 17 мая, я медлил отвечать на него, обдумывая, не могу ли отказаться от платы за работу над приготовлением к печати «Материалов для биографии Добролюбова». Увидел, что не могу.

Потому прошу Вас считать мне плату за эту работу, как считается плата за перевод Вебера; тридцать рублей за лист.

Благодарю Вас за Вашу великодушную заботливость обо мне. С глубокой признательностью имею честь быть

Вашим искренно преданным слугой *Н. Чернышевский*.

1299

И. И. БАРЫШЕВУ

Пятница, 26 мая 1889.

Добрый и глубокоуважаемый друг Иван Ильич,

Благодарю Вас за исполнение моих просьб.

Я получил в свое время 150 р., посланные мне от Вас депешей.

Получил также все 11 томов Вебера.

Принялся за переработку 1-го тома для 2-го издания. Доставлением переработанного экземпляра не промедлю.

Но — вот все еще не посылаю продолжение «Материалов для биографии Добролюбова». Само собой разумеется, что перечитать рукопись еще раз и снова еще раз — дело полезное. А по ходу печатания посланной части я вижу, что отправленные следующих листов рукописи не требует спешности. Потому и не послал их во вторник 23 мая, как думал послать, не посылаю и ныне. Пошлю во вторник 30 мая. Думаю, что не задерживаю этим типографию. Если ошибаюсь, известите меня, что надобно посылать скорее; тогда я буду посылать кусок за куском до самого конца быстро, как делал с «Перепиской».

Прилагаю для сведения Вам копию с моего ответа на доброе письмо Кузьмы Терентьевича от 17 мая. — Не помню, сообщил [ли] я Вам содержание ответа на его предшествовавшее письмо. Дело было так:

он написал мне, чтоб я сказал, какую плату хочу получить за «Материалы». Я отвечал, что желал бы предоставить сестрам Добролюбова все деньги, какие могут быть даны за эту книгу, но что не имею возможности исполнить это теперь же, и хочу сделать так: возьму себе пока столько, сколько придется по расчету

времени, употребленного мной на эту работу, остальное передам сестрам Добролюбова немедленно по получении, а удержанную у себя часть платы перешлю им, когда выпутаюсь из долга. Сумму платы предоставляю определить Кузьме Терентьевичу.

На это он отвечает письмом от 17 мая, в котором говорит: «Прошу вас сказать мне прямо, откровенно, что вы желаете получить за каждый печатный лист издания, печатаемого мною в количестве 2 400 экз. Сам же я назначить Вам цену положительно не могу».

На это я и отвечаю ныне.

Вы увидите из прилагаемой копии, что я прошу по 30 р. за лист, как считается за перевод Вебера.

Не знаю, не покажется ли это Кузьме Терентьевичу чрезмерным запросом. Если так, то прошу Вас сказать ему, что я сделал ошибку и нимало не желаю упорствовать в ней, что возьму с благодарностью и гораздо меньше, хоть по 15 р., хоть по 10 р. за лист.

А написал я «30 р.» только потому, что желал уменьшить свой долг Кузьме Терентьевичу. Расчет мой был такой:

по сведениям счета за XI том Вебера осталось на мне больше 900 р. долга.

В 1-м томе «Материалов» будет несколько побольше 30 л., таким образом, счет платы по 30 р. за лист приблизительно покроем этот долг.

К той поре, как будет сводиться счет платы за 1-й том «Материалов», будет выслано мной значительное число листов перевода XII т. Вебера, и дальше счет пойдет по плате за Вебера так, что при напечатании XII тома нового долга не окажется, — перевод покроем цифру денег, какие получил и получу я в месяцы от напечатания XI тома до напечатания XII. Надеюсь на то, что перевод Вебера пойдет с быстротою, достаточной на мои расходы, я рассчитываю, что буду иметь возможность передать сестрам Добролюбова плату, какая получится мною за 2-й том «Материалов»; а через несколько времени заработаю другими трудами, приготавливаемыми для Кузьмы Терентьевича, столько денег, что буду в состоянии переслать сестрам Добролюбова и ту плату за 1-й том «Материалов», которую намерен временно удержать у себя для покрытия моего долга Кузьме Терентьевичу.

Но дело вот в чем: все мои счеты с Кузьмой Терентьевичем до сих пор состояли из цифр, произвольно определенных его щедростью и принятых мною за основание расходов лишь по надобности жить на содержании у Кузьмы Терентьевича. То, что я получал от него, была не плата мне (какая ж плата может быть человеку за приносимый им хозяину дела убыток?), а просто пособие, которое давал он нуждающемуся.

Убыток Кузьме Терентьевичу произошел от недоразумения, по которому я принялся переводить Вебера, вместо того чтобы пере-

рабатывать его сообразно литературному вкусу и денежным средствам русской публики. Когда я понял, что это произошло не по непременной воле Кузьмы Терентьевича издать Вебера в переводе, а не в переделке, что это было лишь результатом моего недоразумения, поправлять ошибку, убыточную для К. Т-вича, было уж поздно: было уж напечатано много томов перевода, и следовало продолжать его. Как быть, много виноват я перед К. Т-вичем той моей ошибкой, что не попытался разъяснить дело посредством прямой переписки, прежде чем приняться за перевод. Извинением служит моя недогадливость о том, что Кузьма Терентьевич был введен в ошибочное понятие о моем плане работы; — извинение плохое: я должен был попытаться разъяснить дело, прежде чем начинать брать деньги у Кузьмы Терентьевича.

От этой моей ошибки вышло: я живу на пособие, даваемое мне Кузьмой Тер-вичем, а никакой платы до сих пор не следовало мне получать от него; не за что было: моя работа была в убыток ему.

Думаю теперь, что убыток ему будет приносить только продолжение перевода Вебера; остается лишь 4 тома; убыток от них будет сравнительно не велик.

А другими своими работами для Кузьмы Терентьевича я стараюсь покрыть убыток, которому подверг его переводом Вебера. Тогда можно будет плату ему от меня серьезно считать платой за работу.

Думаю, что буду тогда иметь возможность уменьшить в счетах за перевод Вебера цифру вознаграждения, так чтобы фиктивный баланс, служащий только прикрытием моего истинного — очень значительного — долга Кузьме Терентьевичу, заменился реальным балансом, безубыточным для него.

Я полагаю, что придется считать мой долг Кузьме Терентьевичу тысяч в десять или двенадцать или пятнадцать рублей. Если останусь года два, три здоров, то этот долг покроется начатыми мною для К. Т-вича работами. Назову две из них: нечто вроде небольшой популярной энциклопедии (тома 2 или 3 умеренного объема) и история некоторых отделов русской литературы 1840—1865 (приблизительно) годов. Есть у меня и другие планы работ, от которых должно ожидать не убытка, а прибыли.

Словом, буду здоров года два, три, то заработаю свой долг. Одряхлею или умру раньше того — так и быть, пропадут деньги, какие давал — и продолжает давать К. Т-вич на содержание мне.

Ольга Сократовна была у Вас в Москве. Не знаю, просила ль она Вас выслать к 1 июня 75 р. в Петербург

Александр Николаевичу Пыпину

Васил. Остров, Средний проспект № 29.

Если она не просила Вас об этом, то прошу я.

У меня пока есть деньги. Не знаю, есть ли у Ольги Сократовны. Думаю, она взяла у Вас меньше, чем было нужно ей, и когда приедет сюда она, то надобно будет мне просить у Вас денег депешей: я полагаю, она не привезет денег на наши здешние расходы; а если взяла у Вас сколько было нужно и привезет деньги на мои и свои расходы, то тем лучше.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1300

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг, 1 июня 1889.

Миленкий мой дружок Оленька,

Вчера приехала Федосья Мелькумовна. Я ходил на пристань встретить ее, чтобы поскорее узнать о твоём здоровье. Разумеется, на пристани были все ее родные (кроме матери, которая по необходимости осталась дома, чтобы готовить обед). Когда пароход причалил, я не пошел на него с ними, чтобы не мешать первым минутам свиданья; подождал на пристани, пока они сошли с Федосьей Мелькумовной; здороваясь с нею, старался, как умел, выказать свое искреннее расположение к ней; но не стал задерживать их на пристани, сказал, что приду к ней вечером. Зашел вечером, посидел с полчаса. Старался заставить ее смеяться своими шутками над Любой и над собой; отец ее поддерживал меня в этом, поддерживали и мать и сама Люба. — Федосья Мелькумовна смеялась. — Она отдала мне твое письмо, сделанный тобою рисунок бывшего дома Добролюбовых, портрет ребеночка, выглядывающего из башмака, и деньги (50 р.).

Поговорю обо всем этом по порядку, в каком записал переданное мне от тебя.

В письме своем ты напрасно говоришь, будто кровать, присланная мною, не та, о которой ты писала мне прежде. Она — та самая. Я послал мою, ту, на которой спал я, — ту, которая была в моей комнате; ты забыла форму ее. А та, на которой почивала ты и которая стояла в твоей комнате, осталась здесь, в нашей квартире. Я, как ты велела, перенес ее из твоей комнаты в свою и сплю на ней. И тюфяки не перемешаны. Я послал в Саратов с прежнею своею кроватью тот тюфяк, который принадлежит к ней. Он сделан так, что хорошо укладывается на ней, когда положить его тем концом к голове кровати, которым следует класть к этому концу кровати; а если класть его наоборот, то он не укладывается на ней; вероятно, его клали в Саратове не тем концом к голове кровати, как следовало положить, потому он и не укладывался правильно; если перевернуть его другим концом.

он и ляжет хорошо. Но должно также класть его правильно и в горизонтальном направлении обеих сторон конца, который опускается первый вниз; если класть, подымая одну сторону конца много выше другой, то уложить трудно, тюфяк будет захватывать своей шириной больше места, чем назначено для него. Скажи, чтобы клали таким способом: пусть передвигают его через спинку кровати от одного конца к другому, удерживая опускаемый конец его обоими углами ровно по ложбине кровати, и он ляжет хорошо. Он тот самый тюфяк, который принадлежит к посланной в Саратов кровати, — моей прежней кровати.

А твоя кровать с ее тюфяком осталась здесь; она с ним перенесена мною из твоей комнаты в мою, как ты велела. — Тюфяк моей прежней отосланной в Саратов кровати не мог бы быть уложен на твою, оставшуюся здесь: она короче и менее широка. Словом, ни кровати, ни тюфяки не перемешаны мною при отправлении; сделано, как ты велела: отправлена моя кровать с своим тюфяком, а твоя кровать с своим тюфяком осталась здесь.

Жаль, что тебе, моя красавица, все нездоровится. Не рассердись на мою просьбу: поживши с племянницей, сколько тебе будет приятно пожить с нею, поезжай лечиться на Кавказ, — прошу тебя. Расходами поездки на Кавказ не стесняйся. Денег будет столько, сколько понадобится тебе; сколько понадобится, это все равно.

Я хвалю тебя за то, что ты пригласила Федосью Мелькумовну жить, по твоем возвращении, у тебя. Я полагал, что ты так сделаешь. Вчера, бывши у нее, я еще не знал, что ты уж и сделала это (письмо твое я прочел, возвратившись от нее; я не читаю твоих писем при других); потому не говорил ей о том, что присоединяю свое приглашение к твоему; ныне вечером пойду к ней и скажу.

Дурно говорить о ее муже не буду ни с нею, ни с ее родными; буду держаться твоего благоразумного совета.

О деньгах. По 100 рублей в месяц тебе будет мало. Я несколько раз писал Барышеву, чтоб он высылал тебе столько денег, сколько тебе понадобится. Сколько бы ни понадобилось, все равно: я скоро выйду из долга Солдатенкову, и после того у нас с тобой будет мало-помалу составлять запас денег на будущее.

За портрет ребеночка благодарю: лицо ребеночка очень милое и умное.

Но серьезно я благодарю тебя, моя милая радость, за рисунок дома Добролюбовых; я велю награвировать его и приложу или к «Материалам», которые печатаются теперь, или к другой книге о Добролюбове, которую напишу по издании этих «Материалов» и которая будет называться не «Материалы для биографии», а «Биография Н. А. Д[обролюбо]ва». Прекрасный рисунок, моя красавица, благодарю тебя за него.

Теперь о присланных тобою мне 50 р. — Ты прислала, то хорошо. У меня столько денег, что я имею чем заплатить за квартиру в этом месяце, не прося денег у Барышева.

Я получил три письма, адресованные тебе; два от Миши, третье не знаю от кого. Прилагаю их.

Я вчера ночью получил телеграмму Миши на твое имя; ее я распечатал, — иначе нельзя поступать с телеграммами; прочитав, рассудил, что тотчас пересылать ее тебе значило бы тревожить тебя ночью, и потому отложил дело до утра.

В 9 часов утра ныне послал тебе телеграмму, в которой буквально повторил Мишину. А подлинную телеграмму Миши прилагаю к этому письму. О чем говорится в ней, я догадываюсь; но не знаю, верно ли разгадываю.

Я здоров.

Здесь все идет у меня хорошо.

Целую Миночку, дяденьку, целую руку сестры Вареньки.

Целую племянницу Вареньку, кланяюсь ее мужу и т-те Котлубай.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица Лялочка. Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1301

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Пятница, 2 июня 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

Вчера я получил (по отправлении моего письма к тебе) твое письмо из Саратова от 30 мая. Жалею, что тебе, моя миленькая голубочка, все нездоровится. Опасаюсь, не простудишься ли ты в доме твоей Вареньки. Мне помнится, ты говорила, что он стоит на таком месте гор, по которому постоянно несет сильный ветер, да и стены, рамы его обветшали, так что по всем комнатам дует сквозной ветер. Опасаюсь, не простудилась бы ты, моя миленькая голубочка.

А главное: тебе необходимо пожить нынешнее лето на Кавказских водах. Повторяю мою просьбу к тебе: поживши у Вареньки, сколько будет приятно тебе, — положим, до следующего месяца или до половины нынешнего, — поезжай на Кавказ и лечись хорошенько, возьми полные курсы вод, какие нужны будут тебе. Мыслями о расходах не стесняйся. Деньги у нас с тобою будут, сколько понадобится. Не хочу утомлять тебя подробностями расчетов, скажу только общий вывод: «Материалами для биографии Добролюбова» уплачивается весь долг наш; по окончании работы над ними (которая продлится не более месяца) я

буду, кроме перевода Вебера, заниматься трудами, которые будут приносить больше денег, чем этот перевод, и мы с тобою будем понемногу откладывать деньги в запас. Сколько бы ни понадобилось тебе израсходовать для леченья на Кавказских водах, все равно: эту сумму можно нам считать незначительной, потому что она нисколько не обременит нас. Прошу тебя, моя радость, полегчить на Кавказе, и полегчить хорошенько.

Софья Мелькумовна, по моей просьбе, нашла в твоём сундуке три пары чулок (о которых писала ты) и отдала мне. — Я посылаю их тебе ныне же, по почте. Расход не велик: копеек 30 или 35, не больше будет. А ждать наших пароходных приятелей было бы слишком долго: Рынкевич только что уплыл в Нижний; Василий Васильевич тоже отплыл отсюда на-днях и возвратится не раньше Рынкевича.

Во вчерашнем письме я забыл сказать, что Федосья Мелькумовна передала мне и книги (две), посланные тобою. Вчера вечером я был у нее, просил ее и от себя самого поселиться у нас по твоём возвращении; говорил с нею, как умел, выражая свое расположение к ней. Она отвечала, что посмотрит, необходима ли она для помощи матери по хозяйству; если мать может обойтись без нее, то она рада будет жить с тобою. — У меня расчет главным образом тот, что жить ей с отцом и матерью будет тесно: Егор Мелькумович и его жена хотят жить с ними; было бы тесно и на их нынешней квартире; а им приходится искать другую: дом Хачикова взят кредитором его за неуплату долга; новый хозяин просил Мелькумовых очистить квартиру (вероятно, он хочет переделывать тот домик, где они живут). Я полагаю, они наймут новую квартиру теснее нынешней (денег у них мало), потому Федосье Мелькумовне вовсе негде будет приютиться у них. — А как бы я был рад, если б она поселилась у тебя: ты отдохнула бы. — Целую всех наших.

Вчера забыл вложить еще одно письмо к тебе. Прилагаю к этому.

Будь здоровенькая, моя миленькая Лялочка. Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя. Я здоров. Все у меня хорошо. Целую твои ручки и ножки. Твой *И. Ч.*

1302

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Астрахань. 5 июня 1889.

Телеграмма

Не понимаю твоего вопроса. Располагай временем по своим надобностям. Я не имею никаких надобностей. Все здесь у меня хорошо. Нового ничего. Я здоров. *Чернышевский.*

1303

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Понедельник, 5 июня 1889.

Миленский мой дружок Оленька,

Я здоров, все здесь у меня хорошо, но все по-старому и нового ничего нет; потому для меня был непонятен твой вопрос, посланный по телеграфу и полученный мною в девять часов вчерашнего вечера.

Переписываю здесь эту твою телеграмму:

«Приезжать тотчас или немного подождать? — Чернышевская».

Я должен думать, что ты получила вчера какое-нибудь известие, заставившее тебя полагать, что тебе надобно безотлагательно приехать сюда. Но в чем состояло это известие, я не знаю. Я стал делать догадки; но все-таки остался не понимающим, какая из них верна. Я рассудил, что должен принять за основание дальнейших соображений ту из них, которая одна может служить материалом для составления телеграфического ответа тебе от меня.

Быть может, кто-нибудь из приехавших отсюда в Саратов или бывших там проездом увиделся с тобой и сказал тебе обо мне что-нибудь, встревожившее тебя — например, что я болен или что был пожар, охватил дом Карамышева и что наши вещи сгорели; — мало ли что может по ошибке предположить кто-нибудь, спутав что-нибудь слышанное о ком-нибудь, имеющем или фамилию или наружность сходную [с] моей, потом он может усовершенствовать слышанное собственными прибавками, перенести свое изобретение на мою фамилию, рассказать другому — а другой поехал в Саратов с этой новостью в голове и встревожил тебя ею.

Решив, что должно мне принять в соображение только эту догадку о происхождении твоего вопроса, я составил на него ответ, не жалея слов, чтоб ответ был ясен и полон; — у меня вышла длинная телеграмма, и я отнес ее на телеграф, попросил, чтоб время ее отправления отсюда определено было по расчету, по которому она пришла бы к тебе не ночью, а утром, не потревожила бы твой сон, не испугала бы тебя ночным звонком и своей торопливостью. Мне обещали сделать так. Ныне утром в 8 часов я пошел узнать, сдержали ли обещание; узнал, что сдержали: депеша была послана в 5 ч. 35 минут петербургского времени (по которому считают на телеграфе), то есть в 6 ч. 38 минут саратовского времени; линия была свободна, потому депеша моя должна была быть принесена в дом Вареньки (нашей сестры Пыпиной), куда была адресована, через два часа по отправлении отсюда, то есть ныне в половине девятого часа утра.

На всякий случай, однакоже, перепишу ее здесь. Вот она:

«Саратов. Гимназическая. Дом Пыпиных. Чернышевской. (Я пишу в телеграммах дом «Пыпиных», а не дом «Пыпиной», чтобы ясно было: не к Пыпиной, а в дом Пыпиной, к другому лицу, к Чернышевской.)

Не понимаю твоего вопроса. Располагай временем по своим надобностям. Я не имею никаких надобностей. Все здесь у меня хорошо. Нового ничего. Я здоров. *Чернышевский*».

Это многословно, но зато ясно, и я надеюсь, что если ты была встревожена или за мое здоровье, или за целость нашего имущества, то успокоена в настоящее время моей телеграммой (или, в неправдоподобном случае неполучения ее тобою, будешь по крайней мере успокоена этим моим письмом).

Кстати, напишу ответ на один из прежних твоих вопросов. — В хороших ли отношениях я с мужем той дамы, которую искренно любил за скромность? — Да, в хороших; иначе и быть не может, потому что он очень уважает жену и видит искренность моего расположения и уважения к ней (да и к нему, потому что я считаю его хорошим человеком, и он видит и это). — Но он давно уехал в объезд по местности, которою заведует; и я все отлагал ответ тебе о моих отношениях к нему до времени, когда вновь потолкую с ним о его жене, детях и об ученых вопросах, и о всяческих делах, в том числе и о своих. Теперь здесь узнано, что он пробудет в объезде еще недели три; потому вот я и отвечаю тебе, не отлагая ответа до его приезда.

Вижусь с Федосьей Мелькумовной; она понемножку оправляется от уныния; родные очень милы с нею; отец ее и мать действительно хорошие люди. — Вчера она сказала мне, что квартира их тесновата для всех, — то самое, о чем я писал тебе.

Целую Миночку, племянницу Вареньку, кланяюсь ее мужу. Целую дяденьку и сестру Вареньку.

Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая Лялочка.

Получил письмо на твое имя — вероятно, от Миши. Влагаю в этот конверт.

Будь здоровенькая, моя миленькая красавица Лялочка. Я совершенно здоров. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

1304

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг, 8 июня 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

Благодарю тебя за письмо от 4 или 5 июня (число месяца не выставлено на нем) и отвечаю на него.

Жаль, что тебе все нездоровится, моя миленькая голубочка; чтоб избавиться от одного из главных твоих недугов, ревматизма, необходимо тебе поехать на Кавказ. Домашние ванны, которые ты начала брать, не то, что Кавказские воды; да и легко простудиться от них при саратовском климате, имеющем холодные — если не дни, то часы — даже в июне и в июле. Повторяю мою просьбу: поезжай на Кавказ; расходами на поездку не смущайся: они не обременят нас, потому что наши денежные дела теперь поправляются.

Я писал Барышеву 26 мая, чтоб он послал к 1 июня 75 р. на имя нашего брата Сашеньки; из них 25 были назначены для Леночки; вероятно, они и получены ею к 1 июня. Дней через десять напишу ему, чтоб опять послал в Петербург 75 р., из которых 25 будет тоже для Леночки.

Завтра pošлю ему новую часть моей работы и с тем вместе напишу, чтоб он (если еще не будут посланы им до получения этого письма) послал тебе к 15 июня 100 р. Впрочем, я уж несколько раз писал ему, чтоб он немедленно посылал тебе всякие суммы, какие понадобятся. Повторю это и в письме, которое pošлю завтра.

Сундук и корзинку с бельем я перенес в твою комнату и запер ее, как ты велела. Кровать твою я взял себе, как ты велела, тогда же, как послал свою в Саратов.

Летнее свое платье я нашел по твоему указанию и буду теперь носить его. — Старый пиджак подарил от твоего имени Саше; мать была в восхищении от подарка; благодарит тебя. Перешить сыну она умеет.

Я понимал смысл твоего телеграфического вопроса, на который отвечал телеграммой, что не понимаю его, а в письме отвечал рассуждениями о своем здоровье, вовсе не шедшими к делу, как я знал сам. После них я уведомлял тебя о своих хороших отношениях к одному из знакомых и проч., они могут служить доказательством, что я понимал, о чем ты спрашивала меня дешей, о которой я телеграфировал тебе, что не понимаю ее. Подождем, что выйдет из этого. Сам я еще не имею никаких сведений. Завтра или послезавтра повиданюсь с тем знакомым, жену которого очень уважаю (он приехал вчера); расскажу ему, что знаю от тебя; может быть, знает что-нибудь и он. — Целую всех. — Я здоров. — Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя, моя Лялочка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

Будь здоровенькая, моя радость. Целую и целую тебя.

1305

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

8 июня, 1 час 35 минут.

Сейчас получил твое письмо от 6 июня, где ты делаешь распоряжения о вещах на случай моего перевода в Саратов. Сделаю все, как ты велишь. Тебе приезжать сюда для этих распоряжений незначем. Все сделаем и без тебя. Довольно этого, потому что надобно спешить на почту.

Целую тебя. Твой *Н. Ч.*

Прилагаю сейчас полученное письмо на твое имя.

1306

И. И. БАРЫШЕВУ

9 июня 1889.

Добрый и глубокоуважаемый друг Иван Ильич,

Я медлил посылать продолжение «Материалов для биографии Добролюбова», потому что не получал корректур и должен был полагать, что набор рукописи остановился, продолжение не нужно. Сообразно этой мысли, я занимался приготовлением других работ, о которых писал Вам недели две тому назад. Но вот рассудил на всякий случай послать продолжение «Материалов».

Вместе с ними послал я ныне начало перевода XII тома Вебера. Это очень мало. В следующую пятницу пошлю побольше.

Моя жена просила Вас посылать ей в Саратов на имя Ник. Дмитр. Пыпина по 100 р. в месяц, к 15-му числу. Я думаю, что когда нынешнее мое письмо будет получено Вами, эта просьба ее будет уж исполнена Вами относительно настоящего месяца. Если ж еще нет, то прошу Вас об исполнении ее. Подробный адрес таков:

«Саратов. Гимназическая улица, дом Пыпиной,

Николаю Дмитриевичу Пыпину, для передачи Ольге Сократовне Черн-ой».

Полагаю, что перевод Вебера пойдет у меня теперь быстро.

Поправленный экземпляр перевода 1-го тома начну присылать, когда Вы напишете, что пора набирать второе издание.

Прошу засвидетельствовать глубокое мое уважение Вашей супруге.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский.*

1307

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вторник, 13 июня 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

У меня здесь все хорошо.

Сначала напишу тебе, что узнал от кн. Вяземского о своем переводе (хоть нового для тебя тут не будет ничего), потом буду поподробнее прежнего отвечать на остальное в твоём письме от 6 июня.

Возвратившись, князь все часы, свободные от (накопившихся во множестве) письменных занятий, употребляет на разъезды по городу: надобно же посмотреть, что делалось без него (а он, ты знаешь, человек очень добросовестный в исполнении своих обязанностей). Поэтому, зашедши к нему в такое время, когда он кончает занятия с докладывающими ему чиновниками, я не застал его дома; пошедши к нему на другой день, я предполагал, что может случиться то же, и взял с собою маленькую записку к нему, чтобы оставить для передачи ему, если опять не застану. Его опять не было дома, и я оставил записку. В ней говорилось, что я считаю своей обязанностью передать ему те сведения, какие получил от тебя о переводе меня в Саратов, и излагал все, что узнал от тебя об этом. Он прислал мне на другой день утром ответ — разумеется, очень милый и благородный, как и не могло быть иначе, при его добром и деликатном характере и истинно хорошем великосветском воспитании. Переписываю существенные места:

11 июня 1889.

Милост. Гос. Ник. Гавр.

Я давно знаю, что в Министерстве поднят вопрос о переводе Вашем в Саратов, так как Министерство более месяца тому назад —

(то есть, однакоже, после того, как я виделся с ним в последний раз)

— спрашивало мое мнение относительно возможности такого для Вас облегчения. — Что касается моего ответа Министерству, то он был вполне благоприятный Вашему выезду отсюда. — Всегда готовый к услугам Вашим. Кн. А. Вяземский.

Важно — то есть ново для меня — тут то, что министерство присылало вопрос; это значит, что оно считает возможным мой перевод в Саратов. В благоприятности ответа князя министерству мы с тобою были б уверены, если б и не сказал он этого. — Разумеется, не от министерства, а от обстоятельств зависит, окажется ли действительно возможным то, что считает оно возможным. Но хорошо уж то, что оно имеет серьезное желание сделать

в мою пользу, что будет возможно по обстоятельствам. Очень может быть, что оно и будет в состоянии исполнить теперь же свое доброе желание относительно меня. Будем надеяться этого. (Все это мои личные мысли.)

Ныне или завтра зайду к князю; если опять не будет он дома, то оставляю ему записку, в которой скажу, что приходил поблагодарить его; после, дня через два зайду опять (если не застану в этот раз), потом еще, и еще, пока застану и к письменной благодарности присоединю личную.

Отвечаю теперь на остальное в твоём письме от 6 июня.

Тот гость, о котором ты предположила, что он жил у меня, жил в гостинице; у меня он только проводил большую часть двух дней, которые оставался в городе; Константин Михайлович ввел тебя в ошибку каким-нибудь шутивным выражением вроде того, что этот гость дневал и ночевал у меня. И сигар мне он не привез. А если б и привез, то я не курил бы их, как не курю тех, которые лежат у меня; а если б и курил, то никакого вреда мне от того не было бы; Петр Иванович имеет преувеличенные понятия о вредности курения; я читал об этом вопросе больше, чем он. А не курю сигар я потому, что они сравнительно с папиросами все равно как очень хороший чай сравнительно с очень плохим: выкуришь одну сигару, и папиросы целую неделю кажутся имеющими дурной вкус; следовательно, и не расчет для меня полакомиться иной раз сигарой.

Вопрос о том, ехать ли тебе сюда и если ехать, то когда, я просил бы тебя решить исключительно по удобствам для твоего здоровья и быть уверенной, что продажу, укладку и перевозку вещей можно будет устроить по твоим письменным распоряжениям; я попрошу Федосью Мелькумовну заняться укладкой; попрошу Сергея Мелькумовича заняться продажей; он и она исполнят все так хорошо, что ты останешься довольна их искусством и усердием.

О возможности или вероятности моего перевода в Саратов я сказал только Константину Михайловичу, чтоб он мог обдумать, ехать ли ему со мною; да и ему сказал лишь вчера, и то с просьбой не говорить другим; он будет молчать. Никому, кроме него, не буду говорить об этом деле до развязки; придут бумаги, тогда и скажу. — Хозяину отдам ныне же (ныне, а не послезавтра, чтобы удобнее было отдать только 25 р.) 25 р.; с оговоркою, что остальные деньги отдам, когда будут присланы мне, а присланы будут они мне в конце нынешнего месяца (в сущности, это вот что: через две недели будет видно, придется ли платить за дальнейшее время).

По поводу вещей, которые уступаешь ты Дарье Степановне (так? или Устиновне?) — не вздумается ли тебе подарить их ей? Пусть бы всю жизнь была благодарна тебе и радовалась.

Будь здоровенькая, моя миленькая Лялочка. Крепко обни-

маю, тысячи и тысячи раз целую тебя. Целую твои ручки и ножки. Твой *Н. Ч.*

Прилагаю старое письмо ко мне от Леночки; забыл переслать его тебе в то время. — Целую и целую тебя, моя милая радость. Твой *Н. Ч.*

Р. С. Конст. Мих., разумеется, с радостью сказал, что поедет. Федосье Мелькумовне я передам твое желание, когда дело о моем переводе состоится. Я был бы очень рад, если б она согласилась. Думаю, что поедет попробовать; а понравится, то и останется.

Р. Р. С. Последние строки на последней странице написаны так, что трудно и прочесть их. Вот что я говорю там: когда дело состоится, попрошу Федосью Мелькумовну ехать к тебе; думаю, она поедет попробовать и ей понравится и она останется с тобой.

1308

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

14 июня 1889.

Телеграмма

Получил разрешение переехать в Саратов. Распоряжусь вещами без тебя. Подробности телеграфирую завтра.

Чернышевский.

1309

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

15 июня 1889

Телеграмма

Вещи посылаю на «Ниагаре». Остальные берет Мелькумов. Поеду скоро. Костенька едет.

Чернышевский.

1310

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Четверг. 15 июня 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

Константин Михайлович написал все надобное; там у него увидишь и причину, по которой мое письмо состоит лишь из нескольких строк: сидит приятель Солдатенкова Грачев.

Мать не пускает Федосью Мелькумовну. Я говорю ей: «Поедем, чтобы Вам посмотреть, понравится ль». Ей хотелось бы. Поговорим еще, напишу или телеграфирую, поедет ли.

Бумага обо мне получена губернатором. Я просидел вчера у него начало вечера. Благородный человек. По моему (можно сказать:) допросу признался, что начал дело он, — частным письмом. Я в этом был убежден.

Теперь жду только того, чтобы пришли дополнительные бумаги, пустые, чисто формальные, но необходимые для формального отпуска.

Думаю, что если бы ты поехала сюда по получении этого письма, то уж не застала бы меня здесь.

Не тревожься ехать сама. Все будет сделано без тебя хорошо.

Надобно выйти к Грачеву, с которым в эти минуты беседует Конст. Мих-ч.

Вечером буду у дяди и тетки К. М-а.

Все здесь у меня хорошо.

Вещи отправлю завтра на «Ниагаре».

Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя. Целую твои ручки и ножки. Целую родных.

Будь здоровенькая, моя миленькая Лялечка. Твой Н. Ч.

1311

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Суббота, 17 июня 1889.

Миленький мой дружок Оленька,

Я телеграфировал тебе, что отправил вещи на Ниагаре. Это четырнадцать «мест». Квитанцию я отдал Василию Васильевичу.

Штраус сказал мне, что никогда не покупает мебели (это правда; я спрашивал у работников его, они подтвердили). — Мебельщик, торгующий в полукруге, начал так: «Мне будет совестно брать у вас вещи, потому что я дам очень дешево» и т. д. — «Впрочем, если вы хотите, возьму». Из этого ясно было: продавать ему (или другому торговцу мебелью) значило бы отдать даром. Потому я решил узнать, дорого ли обойдется пересылка; оказалось: плата за перевоз пустая. Я рассудил отослать тебе всю мебель гостиной. Захочешь продать, то, имея время дожидаться покупателей, выручишь (по покрытии расхода перевозки) все-таки втрое больше денег, чем получено было бы здесь (при надобности взять, что дает первый встречный), — Егор Мелькумович привез зеркало, такое же, как твое зальное (со столиком); футляр цел; мне отдали его. Потому и

отправка зеркала обойдется очень дешево (рубля три). Дарья Степановна не берет твой письменный столик и другое (поменьше, но все же хорошее) зеркало (то, которое висело в столовой над твоим столиком); потому я отправляю и их. Оба зеркала положатся вместе; надеюсь, не разобьются: футляр очень крепок, уложены будут хорошо.

Оставляю Сергею Мелькумовичу для продажи: твой умывальник, тот комод простого дерева, который был у меня для белья и книг, стулья и мелкие плохие вещи. Все порядочное возьму с собой. Перевозка будет стоить дешево.

Федосья Мелькумовна при помощи сестры и Зоси уложила почти всю посуду; уложит и ту, которая остается пока для моего употребления. Я не вмешивался и даже не смотрел, будучи уверен, что она сделает все превосходно.

Словом, все будет dokonчено хорошо, как начато.

Я жду только бумаг для моего отъезда. Они идут по почте, а уведомление о разрешении переезда прислано телеграммой, от этого и происходит, что надобно дожидаться: телеграфное уведомление — это лишь добрая внимательность, а дело происходит через бумаги, посылаемые по почте. Когда придут, я могу выехать в тот же день.

Вчера вечером получил твою телеграмму о приглашении матери Аннушки. Ныне утром она зашла ко мне, сказала, что имеет место очень выгодное и спокойное, и только поэтому не может ехать к тебе: она живет у одного из здешних богачей Сергеевых, получает 12 рублей жалованья; имеет помощницу, так что сама только распоряжается и надзирает; три горничные исполняют и на кухне все, что она поручает им. Вот это главное: она там чуть не барыня. Конечно, такого места нельзя покинуть.

Аннушка просит тебя взять ее с сыном. Я, поговорив с ее матерью, телеграфировал тебе ныне утром, чтобы ты уведомила меня депешей, взять ли Аннушку.

Константин Михайлович написал письмо.

Хотела написать Федосья Мелькумовна. Зайду к ней по дороге в почтамт.

Я совершенно здоров.

Будь здоровенькая ты, моя миленькая голубочка. Старайся развлекаться.

Целую Миночку, племянницу Вареньку, ее мужа,

целую дяденьку,

целую руку Вареньки.

Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую тебя, моя миленькая красавица Лялочка. Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1312

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

19 июня 1889 г.

Телеграмма

Нанимай хорошую квартиру не хуже здешней с конюшней

Чернышевский

1313

И. И. БАРЫШЕВУ

Понедельник, 19 июня 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Прилагаю к этому письму начало переработки 1-го тома Вебера для 2-го издания.

В заглавии будет сказано «2-ое, переработанное издание»; в предисловии объясню правила, по которым ведена переработка.

Те, которые нужно знать наборщикам и корректору, объясню на прилагаемом листке.

Редакционную корректуру ни в каком случае, ни под какими обещаниями Корша нельзя поручать ему. Серьезнейшим образом прошу уважить эту мою просьбу.

Сто рублей, посланные Вами по телеграфу, иду получить. Получил. Благодарю.

Здесь прожил три дня В. Е. Грачев. Один день бродил по Астрахани, два дня провел со мной. Вчера (18-го) уехал в Бухару. Кланяется Кузьме Терентьевичу и Вам.

Через три дня (если проведу их здесь) pošлю Вам продолжение переработки 1-го тома Вебера (а если раньше уеду в Саратов, то pošлю немедленно по приезде в Саратов).

Когда выеду отсюда, телеграфирую Вам.

Переботка 1-го тома имеет, как увидите, вовсе не такой пустой характер, как Вы воображали: я сильно переделываю текст.

Буду прибавлять свои дополнения.

Благодаря этому книга выиграет во внутреннем достоинстве.

А благодаря устанавливаемым мною правилам набора (одному сплошному шрифту текста, изгнанию дурацкого курсива, мелких заглавий и проч.) приобретает благопристойный вид, которого не имела в 1-м издании, не будет отталкивать читателя педантской формой, которую сохраняла в 1-м издании. — Если забла-

горассудите, то передадите это Кузьме Терентьевичу. Я не знаю, стоит ли утруждать его внимание такими мелочами.

Довольно. Спешу на почту.

Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

Р. S. Посылаю 20 страниц (37—56). Завтра пошлю еще страниц двадцать переработанного 1 тома, а потом или через три дня или по приезде в Саратов пошлю бандерольным отправлением, потому что уж без письма. Я не задержу типографию — о, нет! — я не принимался за это дело до получения Вашего письма, что оно нужно для типографии.

Будьте здоров. Ваш *Н. Ч.*

Р. P. S. Повторяю просьбу: не давать Коршу читать корректуру. Эта просьба моя очень серьезная.

Отброшенные первые 36 страниц будут заменены моим предисловием.

1314

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Вторник, 20 июня 1889.

Миленкий мой дружок Оленька,

Вчера вечером получил я твое письмо от 16 июня.

Жаль, моя красавица, что ты все хвораешь. Я полагаю, что непосредственной причиной этого был сквозной ветер в доме твоей племянницы: дом старый, разваливавшийся, не мог быть поправлен так, чтобы стало удобно жить в нем человеку слабого здоровья; стены комнат, приготовленных для тебя, могли сделаться красивыми, но не могли стать плотными; сквозь них, сквозь пола и потолка дует, я думаю, нестерпимый для тебя ветер.

Я вчера послал тебе телеграмму, в которой прошу тебя нанять хорошую квартиру, не хуже той, какую занимали мы в доме Карамышева; пожалуйста, не скупись на это, моя радость; если не нужна просторная и хорошая квартира тебе, то нужна мне: на тесной и плохой работа моя не может идти так успешно, как на хорошей, просторной; потому плохая квартира была бы убыточна: сберегли бы на плате за нее, положим, хоть бы даже 300 рублей, не то что 150 или 200, больше которых не сбереглось бы, а потерял бы я две тысячи рублей от того, что работа шла бы менее успешно: при одинаковом количестве труда и времени выходило бы наполовину меньше количество сработанного.

Я прибавил просьбу, чтобы ты наняла квартиру с конюшней. Иметь лошадь будет приятно для тебя; но это само по себе, а у меня в мыслях есть и другое соображение: тебе приятно иметь

лошадь, а мне не то что только приятно, — мало этого, надобно. Буду ходить, сколько полезно для здоровья; но часто бывает нужно побывать в стольких местах, что ходить пешком — и утомился бы, и потратил бы слишком много времени (в чем для меня прямой убыток) и все-таки — не успел бы побывать везде, где нужно. Видишь ли: никаких знакомств, кроме деловых, необходимых, я не хочу заводить в Саратове. Но там есть несколько порядочных библиотек (при учебных заведениях и у частных людей); в этих библиотеках мне придется бывать беспрестанно — на две минуты, на пять минут, но каждый день в двух, в трех, пожалуй и четырех; — ходить из одной в другую, — две, три версты — сколько времени пропадет? — И измучишься, и не успеешь. Иметь лошадь — моя деловая надобность.

Я полагаю, что при содействии мужа твоей Вареньки можно дешево купить хорошую лошадь. Содержание ее в Саратове требует лишь незначительных денег. Если не переговоришь с мужем Вареньки до моего приезда, я, как приеду, буду просить его об устройстве этого дела.

Не скупись на квартиру и лошадь, моя миленькая красавица; эти расходы нужны для получения хорошего дохода.

Теперь о своих здешних делах. Приезжать тебе сюда не было никакой надобности. При помощи Федосьи Мелькумовны и Сергея Мелькумовича я распорядился всем, не утруждая себя: они советовали, они и наблюдали, они и сами делали, что нужно делать не наемными руками. — Тебе отправлено в пятницу на «Ниагаре» четырнадцать «мест». Теперь приготовлено к отправке еще двадцать «мест»; все кончено, остается только отвезти на пароход. — Послав это письмо, зайду на самолетскую, волжскую и кавказскую пристани, спрошу, могут ли вещи быть поставлены на палубу (как на америк. пароходах), будут ли охраняемы и т. д., соображу, на каком пароходе лучше будет послать — на кавказском, волжском, самолетском или американском; как будет лучше, так и сделаю. Некоторые вещи (твои зеркала, прекрасно упакованные, свои книги, твои сундуки и проч. тому подобное, хрупкое или дорогое) возьму с собою. Другие, может быть, отправлю и раньше (если увижу, что не будут попорчены и без моего наблюдения).

Оставляю здесь очень немного: твой умывальник (и свой), стулья, свой комод (который ты велела подарить Дарье Степановне; пошлю за нею), кухонный стол и тому подобную дрянь. (Стулья венские вчера до получения твоего письма продал Сергей Мелькумович; старинные плохие подарю от твоего имени Катерине Ивановне; кухонный стол купила мать кухарки; кухарке я подарил от твоего имени корыто; она оставит его у матери.)

Всю мебель из гостиной, все диваны, комнатные столы, все кресла и проч. и проч. послал или пошлю или возьму с собою. Беру и всю кухонную посуду, кроме нескольких глиняных гро-

шových вещей, о которых Федосья Мелькумовна сказала, что их не стоит везти.

Словом, за исключением стульев, твоего умывальника, моего (бывшего с бельем и книгами) комода и кухонного стола, все домашнее обзаведение, какое было у нас здесь, будет перевезено в Саратов. Перевозка обходится недорого.

Если пошлю часть вещей раньше, чем поеду, то уведомяю тебя депешей.

Не помню, писал ли тебе в прошлый раз: Аннушку и Сашу беру с собой, как ты велела. Они в восторге.

Я очень благодарен Федосье Мелькумовне. — Ей сильно хотелось бы жить с тобой. Не пускают мать и Сергей Мелькумович.

Здесь прожил три дня приятель Солдатенкова Грачев (бывший у меня в прошлое лето). День бродил по Астрахани. Два дня пробыл с утра до ночи у меня (в один из этих и обедал; в другой уходил на короткое время в свою гостиницу и пообедал там); говорил безумолку: болтун, сравнительно с которым я — немая рыба. — Аннушка приготовила хороший обед для него. — Мы с ним в восторге друг от друга. Мне с ним была скука, разумеется; но — как быть! — надобно было, по его дружбе с Солдатенковым, держать себя так, чтобы он был доволен. Впрочем, он действительно добрый, простой, хороший человек, достойный расположения.

Пора нести письмо на почту.

Целую всех наших.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя миленькая красавица Лялечка. Заботься о своем здоровье.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1315

О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

Пятница, 23 июня 1889.

Миленький мой дружок Лялечка,

Я получил твою телеграмму, говорящую, что ты наняла квартиру и купила лошадь. Прекрасно. За покупку лошади благодарю тебя, моя радость.

Ныне я отправил на «Колорадо» (американском пароходе) сорок штук мебели и сундуков с вещами. Там и вся дюжина венских стульев. По твоему извещению, что они нужны, я сказал покупщику, что оставляю их за собой, — и вот послал их тебе.

Квитанцию взял кассир «Колорадо», и если не увидит тебя, то отдаст ее в контору (Саратовскую, Зевеке).

Комод, стоявший у меня в комнате с книгами и бельем, я от-

дал, как ты велела, Дарье Степановне. Разумеется, она в восторге благодарности тебе.

Твой зеленый сундучок с ценными вещами и твою шкапулку я оставил при себе; повезу их сам.

Свои бумаги и некоторые (немногие, беспрестанно нужные для справок) книги тоже оставил при себе.

Все остальное теперь послано, кроме:

Кухонного стола, шкапчика для съестных вещей (стоявшего на лестнице), твоего и моего умывальников, старых (черных, плохих) стульев и нескольких грошовых вещей.

Спешу на почту.

«Колорадо» по расписанию должен притти в Саратов во вторник в 2 часа дня и стоять в Саратове до 7 часов вечера.

Я совершенно здоров.

Целую всех.

Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую тебя, моя красавица Лялочка.

Когда получу бумаги для отъезда, уведомяю тебя депешей.

Целую твои ручки и ножки. Твой Н. Ч.

1316

И. И. БАРЫШЕВУ

Саратов, 30 июня 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Третьего дня послал я Вам (уж из Саратова) продолжение переработки 1-го тома Вебера; ныне посылаю еще кусок.

То, что послано теперь, составит в наборе листов 11 печатных. Прошу, напишите, что нужно: такое же быстрое приготовление переработки 1-го тома для 2-го издания или перевод 12-го тома.

Повторяю мою просьбу: ни под каким видом, ни под какими условиями не давать чтения корректуры Коршу. Кроме дикого искажения языка, он искажал и смысл речи, поправляя, как ему воображалось, неточности перевода, а дело всегда состояло в том, что он не понимал смысла слов Вебера по недостаточному знанию предмета, о котором идет речь. Отстать от этого он не может, если б и желал.

Надеюсь на исполнение этой моей просьбы, и будьте добр, уведомьте меня, что она исполнена.

Время оборота почты из Москвы сюда непродолжительно; поэтому просить Вас о присылке денег банковыми депешами, как я делал прежде, теперь нет надобности. Прошу прислать — по почте ль или обыкновенным почтовым переводом через банк — триста рублей мне по адресу:

С а р а т о в, Соборная улица,
дом Никольской.

Кроме того, прошу послать (если еще не посланы в последние дни июня) семьдесят пять рублей в Петербург Александру Николаевичу Пыпину.

Я принял меры к тому, чтобы работы у меня шли быстрее, чем было в Астрахани.

Жена моя свидетельствует свои чувства дружбы к Вашей супруге и Вам. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1317

И. И. БАРЫШЕВУ

2 июля 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Письмо мое от 30 июня было отправлено мною до получения Вашего письма от 27 июня, уведомляющего меня об исполнении моей просьбы об устранении Корша от чтения корректуры.

Я хотел просить Вас — но совестился обременять типографию исполнением этой просьбы — присылать корректуры Вебера для чтения мне. Благодарю Вас за то, что Вы сделали распоряжение об этом, не дожидаясь моей просьбы. Читать корректуры мне самому — дело необходимое, потому что при множестве переделок текста неизбежно остаются недосмотры, заметить и поправить которые могу только я.

Вместе с этим письмом посылаю бандеролью на Ваше имя продолжение поправленного перевода 1-го тома (страницы 239—282).

В письме от 30 июня я просил Вас прислать мне триста рублей и послать (если не было послано перед тем) семьдесят пять рублей в Петербург А. Н. Пыпину. Думаю, что когда пишется мною настоящее письмо, просьбы эти уж исполнены Вами; но на всякий случай повторяю их.

Говорят, что почта здесь исправна и что поэтому нет надобности посылать письма заказными.

Жена моя шлет свои приветствия Вашей супруге и Вам. Будьте здоровы. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

Р. S. Корректуры, сколько бы ни было прислано за один раз, хоть бы пять печатных листов, буду возвращать с первой отходящей почтой, то есть утром после дня получения.

Думаю, что с наступившего месяца долг мой Кузьме Терентьевичу будет уменьшаться, потому что работа будет идти много быстрее прежнего.

1318

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

6 июля 1889.

Поздравляю Вас, милая Елена Матвеевна, с днем ангела, а тебя, Миша, с именинницей. Мы здесь, благодаря вашей мамаше, умевшей найти удобную квартиру на превосходном месте, устроились очень хорошо. Я совершенно здоров. Здоровье вашей мамаша немножко поправляется, хотя в эти дни она, разумеется, была очень утомлена хлопотами о приведении всего домашнего устройства в порядок.

Целую вас обоих. Ваш *Н. Ч.*

1319

И. И. БАРЫШЕВУ

Вторник, 11 июля 1889.

Добрый и глубокоуважаемый друг

Иван Ильич,

Вчера я получил Ваше письмо с вложенными в него 300 рублями. Благодарю за них и за то, что Вы исполнили мною просьбу о посылке 75 р. в Петербург.

Будьте добр, скажите мне по правде, не слишком ли много денег взял я у Кузьмы Терентьевича. Понятно, к чему делается этот вопрос: я попросил бы прислать мне в нынешнем же месяце еще денег, если это возможно. Буду ждать Вашего ответа. Скажите, могу ли просить и сколько.

Благодарю за то, что присылаются мне корректуры. Исленьев стал присылать их тоже в гранках, — как Рихтер. Это гораздо лучше и для меня и для типографии, чем присылка сверстанных листов.

Дня через три начну посылать продолжение перевода XII тома. Надеюсь, работа эта пойдет быстро.

Корректуры, присланные Исленьевым, я возвращаю не Вам, а прямо ему (как и Рихтеру его корректуры). Это избавляет Вас от лишних хлопот и сокращает время.

Моя жена шлет приветствия Вашей супруге и Вам.

Жму Вашу руку. Будьте здоров. Ваш *Н. Чернышевский.*

P. S. Надеюсь, что не придется мне обременять Вас жалобами на Рихтера или Исленьева: у обоих работа ведется, как вижу, хорошо.

1320

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

14 июля 1889.

Целую Вас, милые мои.

Благодарю тебя, Миша, за хлопоты, имевшие результатом разрешение мне переселиться в Саратов. Жить здесь удобнее для меня в деловом отношении: сношения с Москвой гораздо легче. Еще важнее это переселение для вашей мамы; я надеюсь, что ее здоровье здесь улучшится.

Целую Вас, миленькая Леночка. Приехали бы сюда хоть на недельку, хорошо бы сделали.

Жму твою руку, милый Миша. Ваш Н. Ч.

1321

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Суббота, 15 июля 1889.

Милый друг Миша,

Хвалю тебя за то, как ты поступил по делу о поездке твоего несчастного брата на Парижскую выставку.

Прилагаю письмо к нему. Оно написано, как ты советовал. Прочти, заклей, пополни, как следует, адрес, если он неполон, и отправь.

Деньги на содержание Саши буду посылать тебе. Хвалю за то, что берешь на себя неприятность иметь дело с ним, для избавления дяди от нее.

Извести, к какому времени выслать тебе 150 р. для уплаты займа. Если дело не терпит отсрочки, уведомять меня телеграммой; я попрошу (тоже телеграммой) Барышева перевести деньги телеграммой Московского отделения Волжско-Камского банка в Петербургское отделение этого банка для выдачи тебе. Выдачу сделают тебе через два (не считая праздников), много через три дня по отправлении тобой депеши мне. Дешею мне адресуй только: Саратов, Ч-му. Моя квартира известна и телеграфу и почтамту. Разумеется, если можно отсрочить уплату займа, она будет легче для меня. Но и депешей переслать не затруднение мне. Не стесняйся, если нужно.

Ты хорошо сделал, что адресовал письмо на мое имя, а не на имя матери. Я ничего не скажу ей. Она и без того достаточно огорчается нелепостями твоего несчастного (душевнобольного или просто бестолкового, не разберу), нищенствующего брата. На следующих своих письмах проси кого-нибудь постороннего надписывать адрес. Видя руку твою или Леночки на адресе, твоя маменька может, не рассмотрев, что адресовано не ей, а мне, рас-

печатать письмо. Если рассмотрит, что адресовано не ей, а мне, то, разумеется, не распечатает, но — хуже того — встревожится, предположив, что с тобой или Леночкой случилось какое-нибудь несчастье, о котором ты страшишься сообщить ей без подготовки через меня к этому известию. Пусть же будет на адресе чужой, незнакомый ей почерк; тогда она подумает, что это обыкновенное деловое письмо от чужого человека, не касающееся близких ей.

Если пришлешь телеграмму о переводе денег телеграммой, напиши телеграмму в таком роде: «Пришлите денег взаймы мне» (т. е. тебе) и потом в письме к твоей мамаше прибавь какую-нибудь выдумку в объяснение твоей мнимой — разумеется, мимолетной — надобности в деньгах.

Целую Леночку. Будьте здоровы оба. Еще раз благодарю тебя за превосходные действия по делу брата.

Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1322

А. Н. ПЫПИНУ

Воскресенье, 16 июля 1889.

Милый Сашенька,

Началось печатанье «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова». Корректуру держу я сам. Оттиснуто уж пять листов первого тома, содержащего в себе «Переписку». Подлинники писем к Добролюбову у меня. Читая корректуру, я, разумеется, непрерывно сличаю набор с ними. Та же самая надобность представляется и при чтении набора писем Добролюбова. Прошу тебя, пришли мне подлинники. Исправления оттиснутых листов по сличению с ними я помещу в одном из приложений. А с того места набора, на котором будут получены мной оригиналы, будет исправляем самый набор, — что, разумеется, гораздо лучше. Я медлил утруждать тебя просьбой о присылке подлинника писем; медлил гораздо дольше, чем требовало удобство моей работы, медлил до крайней необходимости. Теперь утруждаю. Чтобы меньше хлопот было тебе, призови к себе моего Мишу письмом по городской почте и поручи отсылку писем ко мне ему. Он человек аккуратный. Пожалуйста, исполни эту мою просьбу. Сличение набора с подлинниками безусловно необходимо. И понятно, что оно требует предварительного изучения биографических мелочей, без знания которых невозможно правильно прочесть очень многие места рукописей торопливого почерка; не говорю уж о знании самого почерка, получающемся только через продолжительное изучение его. Эти условия возможности правильного чтения делают необходимым, чтобы сличение набора с подлинником было производимо собственно мною, моими

глазами; что бы другому, приобрести такое знание почерка и биографических мелочей, понадобились бы три, четыре года непрерывной работы предварительного изучения. Прошу тебя, исполни мою просьбу, пришли подлинники писем Добролюбова.

Перехожу к другим предметам беседы с тобой.

Миша, сообщая мне о долгах, сделанных Сашей в Берлине и о (совершенно правильных на мой взгляд) распоряжениях твоих и своих по этому делу, упомянул кстати, что бедный сумасброд делал неприятности тебе несвоевременными или излишними требованиями денег. Прости, что я не догадывался об этом, хоть следовало бы знать, что при нелепости понятий Саши не могло быть иначе. Избавляю тебя от тяжести денежных отношений к Саше. Деньги для него буду посылать Мише; пусть ведается с Сашей он. Благодарю тебя за снисходительную любовь, с которой выносил ты глупые рассуждения несчастного сумасброда.

Я нашел дяденьку нимало не ослабевшим с того времени, как он приезжал ко мне в Астрахань. Это очень ободрило меня за него. Должно надеяться, что он еще довольно долго будет чувствовать свое здоровье недурным. Умственные силы его нимало не ослабели с прежних лет физической крепости. Теперь пока я почти каждый день бываю у него и Вареньки. На первых порах это нужно, чтоб он утвердился в доверии к моей любви. Но после я, разумеется, буду бывать у него реже: страшно недосуг, недосуг мне. Надобно выйти из долгов.

По недосугу давно не писал тебе и Юленьке. И теперь, спеша кончить письмо, не угощаю ее и ваших с нею птенцов сладостями родственных нежностей. Некогда тратить время на них.

С твоим братом Мишей я свел дружбу; ни малейшей морали не читаю ему, посмотрим, не возникнет ли у него столько доверия ко мне, чтобы можно стало бедняку понемногу поправляться, приятельски опираясь на меня.

Оленька шлет свои приветствия. Некогда мне ждать, чтоб она делала приписку; письмо мое не попало бы в почту нынешнего поезда.

Жму твою руку. Целую Юленьку и всех своих. *Н. Чернышевский.*

1323

И. И. БАРЫШЕВУ

17 июля 1889.

Милостивейший государь Иван Ильич,

Не желая утруждать Кузьму Терентьевича моим письмом, обращаюсь через Вас с просьбою к нему о присылке двухсот рублей. Я и без того слишком много задолжал ему, но надеюсь

на его снисхождение к моей просьбе, извиняемой значительно-стью расходов на переезд и обзаведение новым хозяйством.

С истинным уважением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1324

И. И. БАРЫШЕВУ

Понедельник, 17 июля 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Вчера вечером получил я Ваш ответ на вопрос, могу ли я просить, еще и еще, денег и денег у Кузьмы Терентьевича. Благодарю Вас за расположение ко мне, которому приписываю я то, что ответ получен положительный.

По совести сказать, я уверен, что если останусь здоров, то уплачу моей работой не только мой долг Кузьме Терентьевичу — сравнительно небольшой, — но и гораздо более значительные суммы, израсходованные Александром Николаевичем Пылиным (человеком, не имеющим ровно никаких богатств, кроме четырех детей) и некоторыми моими друзьями на содержание моих сыновей и меня в долгий период моей безработицы. Рассчитываю, что здоровье еще довольно долго не изменит мне. Все это прекрасно; но так ли будет, неизвестно.

В прилагаемом официальном письме я прошу Вас прислать мне 200 р. Эти деньги нужны мне к 23-му числу, когда я должен буду произвести платежи разного рода.

Через несколько времени я прошу Вас послать 150 р. моему младшему сыну для уплаты займа, сделанного им на выкуп моего старшего сына, душевнобольного и потому безрассудного человека, поехавшего на Парижскую выставку с 75 (занятыми у кого-то) рублями в кармане, притом неспособного быть экономным и засевшего в Берлине, в гостинице, откуда выручил его русский консул; что с ним теперь, я еще не знаю: продолжает ли он путешествие в Париж на оставшиеся у него за уплатою долга в гостиницу рублей 30 или 40, или послушался моего совета возвратиться в Петербург, я еще не получил сведений. У кого и на какой срок занял 150 р. младший сын для освобождения старшего, я еще не знаю. Написал, чтоб известили, к какому времени понадобится уплатить долг.

Теперь, наконец, прекратились хлопоты по устройству нашего быта здесь и родственные свидания, поглощавшие очень много времени у меня в эти недели.

Константин Михайлович, которого Вы помните, переехал с нами. Он и живет у нас. Он кланяется Вам. Кроме его помощи,

я найду еще какого-нибудь молодого человека в сотрудники для диктования. Работа пойдет быстро.

Буду посылать Исленьеву куски перевода XII тома при каждом возвращении корректур ему; а если между присылкой корректур пройдет время вроде недели, то буду посылать куски перевода и без корректур.

Само собой понятно, что переработка 1-го тома дает, при одинаковой затрате времени, больше страниц для набора, чем перевод. Потому, чтобы типография не имела недостатка в оригинале от меня, буду по временам посылать и куски переработки 1-го тома.

Жена моя шлет приветствия Вашей супруге.

Будьте здоров, добрый друг. Жму Вашу руку. Ваш *Н. Чернышевский*.

1325

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

29 июля 1889.

Милый друг Миша,

Благодарю тебя за письмо от 18 июля с адресом, написанным, как я просил, чужою рукою.

Все твои мысли о твоём брате я вполне одобряю.

Прилагаю полученное мною от него из Парижа (!!) письмо.

Прилагаю (на другом полулисточке этого листа) записку к Ивану Ильичу Барышеву о высылке тебе 100 р.; пошлешь ему записку, когда найдешь надобным, — можешь послать хоть и немедленно по получении. Я уведомляю его об этом моем полномочии тебя с нынешнею же почтою.

Деньгами распорядишься, как найдешь надобным по соображению подвигов твоего брата.

Благодарю твоего дядю, Ал. Н-ча, и тебя за присылку мне подлинников писем Добролюбова.

Скажи твоему дяде, что ныне или завтра зайду к нашему с ним брату Миханлу и расскажу этому бедному человеку все подробности о ходе издания «Материалов для биографии Добролюбова», чтоб он за моим недосугом написал их Ал. Ник-чу. Я с Мишей в хороших отношениях; думаю, что при всей своей дикости он исполнит просьбу брата и мою заменить меня в переписке о моих литературных делах.

Будьте здоровы все. Целую Леночку и тебя. Твой *Н. Ч.*

P. S. Понятно само собою, что я ничего не скажу твоей мамаше об этом моем письме к тебе. — Адрес Барышева: Москва, Мясницкая ул., дом Солдатенкова. Ивану Ильичу Б-у.

1326

И. И. БАРЫШЕВУ

29 июля 1889.

Милостивейший государь Иван Ильич,
Третьего дня (27 июля) я получил двести рублей (200 р.),
посланные Вами мне.

Прошу Вас передать глубокую мою благодарность за них
Кузьме Терентьевичу.

С истинным уважением имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1327

И. И. БАРЫШЕВУ

Суббота, 29 июля 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Благодарю Вас за деньги. Прилагаю письмо о получении их
мною.

Прошу Вас, посоветуйте, как мне поступить: я полагаю, что
обременяю Кузьму Терентьевича просьбами о новых и новых
авансах, когда и без того мой долг ему велик; а между тем мне
нужно в августе много денег, рублей 600; я думаю употребить
несколько времени на журнальную работу, чтоб уменьшилась
сумма, которую понадобится мне просить у Кузьмы Терентье-
вича в августе и прекратить выпрашивание денег у него в сле-
дующие месяцы, до покрытия моего долга ему работою. Понятно,
мне не хотелось бы тратить часть времени на посторонние работы,
когда надобно поскорее кончить перевод Вебера. Но вероятно,
я обязан сделать это, чтобы не злоупотреблять щедростью
Кузьмы Терентьевича и не вывести, наконец, его из терпе-
ния своим попрошайничеством. Пожалуйста, скажите мне Ваше
мнение, которому я и последую, держась правила, что когда
человек просит совета, то по здравому смыслу обязан иметь реше-
ние принять к исполнению совет, какой получит; без того не для
чего и просить совета. Я всегда держался этого правила.

Если Вы советуете мне позаботиться о прекращении попро-
шайничества, то к концу августа я устрою получение денег за
журнальную работу и получу несколько денег от какого-нибудь
журналиста (из которых не имею теперь сношений ни с кем).
Но до того времени мне будет нужно покрывать текущие рас-
ходы;

они составят, — у меня самого — 300 р. и
уплата части долга, сделанного моим младшим сыном для

выкупа пленного (в Берлине) старшего, потребует к концу августа 100 р. — в середине ль, или в конце августа нужно будет сделать эту уплату, не знаю; не знаю также, нельзя ли отложить уплату до сентября; потому предоставляю моему младшему сыну (Михаилу) самому определить время просьбы о присылке ему этих 100 р. — Вы получите от него мою записку с просьбой о высылке ему их (№. Прежде деньги для пособия моему старшему сыну и для покрытия других моих петербургских расходов Вы посылали, по моей просьбе, моему двоюродному брату А. Н. Пыпину. Теперь я освободил его от хлопот с этими делами, поручив их младшему моему сыну).

Я уверен, что эти мои просьбы — о присылке мне сюда 300 р. и моему сыну Михаилу в Петерб. 100 р. — Кузьма Терентьевич исполнит по своему великодушию. А если Вы найдете, что по исполнении их я должен буду прекратить свое попрошайничество, то прекращу его с сентября до покрытия моего долга Кузьме Терентьевичу.

Деньги (300 р.) мне нужны к 7 августа. Если не получу до 6-го числа или Вашего ответа, что они не могут быть посланы, или почтовой повестки (или банковской депеши) о получении их здесь для меня, то 6-го числа снова побеспокою Вас телеграммой о присылке их депешей.

Простите, добрый друг, что делаю Вам столько хлопот (и, вероятно, неприятностей) моим попрошайничеством. Если Вы думаете, что пора мне прекратить его, то прекращу. Ход работы для Кузьмы Терентьевича, разумеется, несколько замедлится от этого, но так мало, что замедление будет заметно лишь мне самому; Вы и типографщики не заметите разницы.

Жду Вашего совета, добрый друг. Ваш *Н. Чернышевский*.

1328

И. И. БАРЫШЕВУ

8 августа 1889.

Милостивейший государь Иван Ильич,

Прошу Вас передать глубокую мою благодарность Кузьме Терентьевичу за исполнение моей просьбы о присылке мне трехсот рублей.

Прошу и Вас принять мою искреннюю признательность за Ваш труд по пересылке мне этих денег.

Они получены мною еще третьего дня. Но надобность вести поскорее мои слишком замедлившиеся работы для Кузьмы Терентьевича не дала мне досуга уведомить вас раньше нынешнего дня об этом получении.

С истинною признательностью имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1329

Н. Ф. СКОРИКОВУ

10 августа 1889.

Милостив. государь Николай Фомич, Ольга Сократовна и я просим вас, будьте добр, примите опять в находящееся под Вашим управлением училище бывшего ученика Сашу, жившего у нас. Он возвращается в Астрахань, потому что в здешних, равных Вашему, училищах не нашлось для него места.

С истинным уважением имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский.*

1330

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

[15 августа 1889.]

Приезжайте, милая Леночка. Я готовлю Вам подарок: собрал на покупку его уж 15 коп., — собираю еще, может быть, столько же; потому Вы в состоянии судить, что это будет нечто роскошное.

Не шутя, приезжайте. Приезжай и ты, Миша, но только в таком случае, если это не повредит твоей службе.

Я не отвечал на твое письмо о деньгах, потому что за несколько часов до его получения уж отправил к тебе письмо, содержащее, как мне тогда показалось, ответ на все, данный вперёд, по догадке о твоих мыслях.

Целую вас обоих. Будьте здоровы. Ваш *Н. Ч.*

1331

В. Г. КОРОЛЕНКО

18 августа 1889.]

Приходил. Буду между 10-ю и четвертью одиннадцатого.
Н. Чернышевский.

1332

И. И. БАРЫШЕВУ

7 сентября 1889.

Милостивейший государь Иван Ильич,
Душевно благодарю Вас за присланные мне Вами при письме от 31 августа триста рублей (300 р.); я получил их 3 сентября.

Прошу извинить, что промедлил уведомлением Вас об этом.
С истинным уважением имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1333

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

9 сентября 1889.

Телеграмма

Саша желает возвратиться. Дядя знает адрес. Займи денег.
Потом Барышев отдаст.

Чернышевский.

1334

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Воскресенье, 10 сент. 1889.

Милый друг Миша,

Вчера я послал тебе телеграмму с просьбой, чтобы ты занял и отправил, сколько понадобится, денег нашему с тобой несчастному сумасброду.

Эта телеграмма произведена полученным мною вчера письмом Саши к Петру Ивановичу Бокову, которое Петр Иванович переслал мне с своей припискою.

Прилагаю это письмо. Прочти.

Я нахожу, что Петр Иванович поступил с письмом Саши, как следовало поступить, и что его мнение о душевном состоянии Саши основательно.

В письме к Петру Ивановичу Саша говорит о своем желании приехать в Саратов. Я запрещаю ему приезд сюда, пока он остается при своем самодовольстве. Прилагаю записку к нему, которую ты передашь ему при свиданье, если то понадобится для предотвращения его поездки в Саратов. Когда будешь отдавать, запечатай.

Будь здоров. Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

На другом полулистке пишу несколько слов Леночке.

1335

Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ

10 сентября 1889.]

Милая Леночка,

Я виноват перед Вами, не умел держать себя с Вами, как следовало. Пожалуйста, простите. Приезжайте весной, — может быть, тогда буду держать себя с Вами лучше, чем в нынешний

Ваш приезд. А мне хотелось бы, [Вы] чтобы съездили летом с Ольгой Сократовной на Кавказ. Она Вас любит, поездка с Вами была бы полезна ей; вероятно, и Вам была бы приятна поездка с нею на Кавказ.

Целую Вас, моя миленькая Леночка. Ваш Н. Ч.

1336

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

10 сент. 1889.

Милый друг Саша,

Ты хочешь приехать к нам в Саратов. В каком настроении мысли и с каким намерением ты желаешь сделать это?

Если ты убедился, что до сих пор ты поступал безрассудно, и если ты принял твердое решение следовать моим советам, можешь переселиться в Саратов. Ты будешь жить особо от меня. Жить на одной квартире с тобою я не хочу, пока не изменятся прочным образом твои отношения ко мне. Я не люблю ссор. А до сих пор ты держал себя относительно меня так, что каждый день моей жизни в одной квартире с тобою был непрерывной ссорой.

Я полагаю, что ты считаешь себя правым передо мною, меня виноватым перед тобою. Пока ты остаешься при таком образе мыслей, мне и тебе не должно видаться. Каждое свиданье было бы вредно и для тебя и для меня.

По убеждению, что ты сохраняешь свои прежние мысли о своих отношениях ко мне, я прошу тебя отбросить мысль о приезде в Саратов. Этим ты избавишь себя и меня от тяжелых неприятностей.

Будь здоров. Желаю тебе всего хорошего.

Жму твою руку, повторяя просьбу не ехать ко мне. Твой Н. Чернышевский.

1337

А. Я. ГОЛОВАЧЕВОЙ-ПАНАЕВОЙ

12 сентября 1889.

Глубокоуважаемая Авдотья Яковлевна!

Виноват я перед Вами моим продолжительным молчанием. Я со дня на день, с недели на неделю отлагал писать Вам в надежде, что найду возможность сообщить Вам что-нибудь удовлетворительное. Но мои дела остались до сих пор в таком положении, что я все еще не приобрел возможности исполнить мою обязанность перед Вами.

Для того, чтобы Ваши воспоминания, напечатанные в журнале, имеющем много читателей, могли иметь денежный успех при напечатании их отдельной книгой, надобно сделать к ним много приложений. Я думаю сделать это. И с месяца на месяц переношу надежду приняться за исполнение моего намерения сделать надобные приложения. Но все еще остаюсь запоздавшим в работе, которою живу; не выбился из долгов. Все еще не имею досуга заняться никакой другой работой. Простите меня. Как только выйду из долгов, примусь за приготовление Ваших воспоминаний к изданию отдельной книгой.

Прошу Вас, бывшая всегда доброю ко мне Авдотья Яковлевна, простите мое промедление в исполнении моей обязанности относительно Вас.

Моя жена свидетельствует Вам свою любовь.

Целую Ваши руки.

Прошу Вас, простите меня.

Глубоко преданный Вам *Н. Чернышевский*.

P. S. В начале ноября напишу Вам, выбьюсь ли из долгов, как надеюсь, и буду ли иметь возможность заняться исполнением моей обязанности перед Вами.

1338

Г. К. ЧИЧУА

15 сентября 1889.

Многоуважаемый князь.

Благодарю Вас за то, [что] Вы не усомнились обратиться ко мне с Вашим поручением, исполнить которое было для меня удовольствием.

Ваши коконы получены были 10 сентября, выставлены 13-го числа; это промедление объясняется неопытностью распорядителей выставки, не умеющих с должной быстротой вести свои дела. Они люди, искренне желающие хорошо исполнить свои обязанности относительно экспонатов, но чрезмерно обременившие себя излишней в подобных предприятиях канцелярской формалистикой, которую перенесли из своих управ и палат на выставку. Не досадуйте на них за то, что они промедлили два дня помещением Вашего экспоната на вид публики.

Коконь Ваши выставлены в так называемом у них Главном павильоне, где выставлено множество разнороднейших предметов, интересных для массы публики, которая поэтому постоянно толпится там.

Кроме Вас, прислал коконы только один производитель, г. Летошинский, плантация которого находится между Царицыном

и Сарептой. Он занялся шелководством недавно, и оно у него еще не получило большого размера. В нынешнее лето он произвел пудов 12 коконов. О достоинстве их не могли судить сами распорядители выставки, не могут судить и о достоинстве Ваших. Экспертиза будет на-днях.

Но к получению наград допускаются только продукты здешней губернии. Услышав это, я в первую минуту был расположен осудить распорядителей выставки за пристрастие к своим, несправедливость к экспонатам других губерний. Но через минуту сообразил, что поступить иначе было нельзя им: если бы допустить к соисканию наград экспонатов других губерний, московские и западнорусские фабриканты и заводчики завалили бы выставку произведениями своей промышленности, гораздо более развитой, чем саратовская, и саратовским производителям не пришлось бы получить поощрений, в которых нуждается только лишь начинающая развиваться промышленность Саратовской губернии.

Разумеется, можно бы, пожалуй, и должно бы рассудить, что более серьезным, чем награды, поощрением к развитию саратовской промышленности было бы заявление отсталости ее от промышленности других губерний. Но будьте снисходительны к неопытному местному узкому патриотизму.

Я не хотел писать Вам, пока не увижу своими глазами, что Ваши коконы выставлены. Третьего дня не нашел досуга удостовериться, что обещание распорядителей исполнено. Вчера увидел Ваши коконы выставленными, но уже поздно было отдать письмо на почту. Потому-то и замедлил до нынешнего дня уведомлением Вас об исполнении обязанности распорядителей выставки относительно Вас.

Прошу Вас, князь, не колебаться в поручении мне и других Ваших дел, какие могут быть исполнены мною. Знакомство с Вами — одно из приятнейших для меня.

Искренно уважающий Вас *Н. Чернышевский*.

P. S. Моя жена, узнав, что я пишу Вам, сказала мне, что я должен передать Вам уверение в ее искреннем расположении к Вам. Она, действительно, разделяет мое чувство к Вам.

1339

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

18 сентября 1889.

Милый Миша,

Сейчас я получил от Саши письмо, которое прилагаю.

Прилагаю также письмо к Саше. Прочитай, ты заклеишь конверт и, франкировав, отошлешь.

Повторяю мою просьбу о займе денег и посылке их Саше, если это еще не могло быть сделано тобою раньше получения тобою нынешнего моего письма.

Спешу отправкою на почту.

Целую Леночку и тебя. Твой Н. Ч.

1340

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

18 сентября 1889.

Милый друг Саша,

Сейчас я получил твое письмо из Парижа ко мне.

В ответ на него прежде всего расскажу о том, что сделал до его получения.

10 сентября я получил от Петра Ивановича Бокова твое письмо к нему, содержащее в себе описание твоего бедственного положения и просьбу о посылке денег тебе.

В приписке к твоему письму Петр Иванович изложил причины, по которым не исполнил твою просьбу. Я нашел их основательными.

Немедленно по прочтении твоего письма к нему и его приписки я отправил твоему брату Мише телеграмму говорившую: «Займи денег. Пошли Саше. Адрес Саши узнай от Алекс. Ник. Пыпина».

В своем письме к П. Ивановичу ты написал свой адрес так неполно, что отправление денег или писем по этому недостаточному указанию было невозможно.

Дело было по уходе поезда, потому отправление письма к Мише должно было отложить до следующего дня. На следующий день послал ему письмо, повторявшее с прибавлением подробностей содержание отправленной накануне телеграммы.

Ответа от Миши еще не имею. Потому не знаю, нашел ли он денег взаймы для отправления тебе и был ли твой адрес известен Ал. Ник. Пыпину.

Вместе с этим моим письмом к тебе отправляю к Мише записку с твоим полным адресом и с повторением просьбы, чтоб он занял и послал тебе денег, если еще не сделал этого.

Отправляя первое письмо к Мише о займе денег для отсылки к тебе, я также поручил ему, когда он узнает твой полный адрес, переслать тебе мое письмо к тебе. В этом письме к тебе я говорил, что не могу жить с тобою на одной квартире, пока ты будешь оставаться при прежних твоих понятиях обо мне и твоих прежних привычках обращения со мною.

Будь здоров. Желаю тебе всего хорошего. Жму твою руку. Твой Н. Ч.

1341

И. И. БА Р Ы Ш Е В У

25 сентября 1889.

Добрый друг Иван Ильич,

Прошу Вас, будьте снисходителен к моему попрошайничеству и пришлите мне триста рублей. Мне нужны эти деньги 1 октября.

Хлопоты над новым изданием 1-го тома Вебера все еще не оставляли мне времени для исполнения моего намерения попытаться, не станут ли «Русские ведомости» принимать мои статьи. Начал было одну, но до сих пор она лежит у меня, остановившись на первых страницах. Покончив с I томом Вебера, допишу и pošлю ее. Если «Русские ведомости» не отвергнут моего сотрудничества, то выйду из растущего до сих пор долга Кузьме Терентьевичу. А если отвергнут, то надобно будет мне обратиться к другому придуманному мною способу покрыть свой долг Кузьме Терентьевичу. Об этом способе напишу ему и Вам, когда увижу, что не гождсь в сотрудники и «Русским ведомостям», как не годился «Вестнику Европы» и «Русской мысли». Действительно, мои понятия о вещах не сходятся с господствующими в лучших периодических изданиях; но, быть может, «Русские ведомости» окажутся имеющими менее узкий взгляд, чем «В. Евр.» и «Р. мысль». Посмотрим. Надеюсь, что это решено будет в октябре.

Будьте здоров. Жму Вашу руку. Страшно недосуг. Ваш
Н. Чернышевский.

1342

М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

26 сентября 1889.

Милый друг Миша,

Я получил твое письмо от 21 сентября. Благодарю тебя за то, что ты сообщил мне свои действия и намерения относительно Саши. Само собою разумеется, что я нахожу их благоразумными и вполне одобряю. Прошу тебя и вперед действовать исключительно по собственным твоим соображениям, с уверенностью в моем согласии с ними.

Вижу справедливость твоего мнения, что прежние мои письма к Саше недостаточно ясно для него выражали мое нежелание приезда его в Саратов. Потому прилагаю новое письмо для него, написанное сообразно твоему совету.

Не знаю, жалеть ли о том, что место в Москве ушло от тебя. Очень вероятно, что, оставаясь пока на своей нынешней долж-

ности, ты через несколько времени получишь место лучше того московского.

Чуть не забыл написать о деньгах. Сообщи мне, сколько тебе будет надобно и когда; я передам Барышеву; он пришлет тебе, так что можно будет обойтись без займа. Дело не в том, что просьба моя будет исполнена Барышевым; будет; но важность для меня в том, что каждый день отсрочки просьбы — выигрыш для меня; работы, за которые беру я деньги, еще не кончены; но с каждым днем приближается время расчета по некоторым из них, то есть уменьшается сила неприятного для меня чувства обремененности авансами. А по правде сказать, Солдатенкову решительно все равно, должен я ему или нет, и если должен, то сколько; он и начинал дело со мной, вперед махнув рукой на свои счета со мною; они имеют в его мнении характер фиктивный; сколько пропадет его денег за мной, столько и пропадет без всякого ропота с его стороны на меня.

Страшно недосуг, мой милый. Потому обойдемся без выраженной нежности. Не до них.

Целую Леночку и пусть извинит: не имею [времени] писать больше.

Жму твою руку.

Благодарю тебя за расположение ко мне. Твой *Н. Ч.*

1343

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

26 сент. 1889.

Милый друг Саша,

Безусловно прошу тебя отбросить всякую мысль о поездке в Саратов.

Желаю тебе здоровья и всего хорошего. Но видеться с тобою не хочу. Твой *Н. Чернышевский.*

1344

Е. М. и М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

4 окт. 1889.

Милая Леночка,

Поздравляю Вас с днем рождения Миши, который Вы считаете, без сомнения, своим праздником.

Желаю вам обоим здоровья.

Целую Вас, Леночка, жму руку тебе, Миша. Ваш *Н. Ч.*

1345

И. И. БАРЫШЕВУ

4 окт. 1889.

Милостивейший государь Иван Ильич,
Получив 1 октября посланные мне Вами от 27 сентября триста рублей, прошу Вас принять уверение в моей глубокой признательности за исполнение моей просьбы и извинить мое промедление в уведомлении о получении этих денег.

С истинным уважением имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою *Н. Чернышевский*.

1346

М. Н. и Е. М. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

11 октября 1889.

Милый Миша,

Прилагаю письмо Саше ко мне от 1/13 октября. Твоя маменька посылает сто рублей, прося тебя немедленно переслать их Саше, если еще не посылал сам; а если уже послал, возьми себе в уплату. Вероятно, этих денег будет мало на уплату его долгов в Париже и на дорогу. Тебе это виднее, чем мне. Если понадобится, найди, сколько необходимо прибавить. Барышев немедленно по уведомлении мною о твоём авансе для меня уплатит его тебе. — Прилагаю письмо Саше. Прочти.

Целую Вас, милая Леночка.

Недосуг писать больше.

Будьте здоровы оба. Жму ваши руки. Ваш *Н. Ч.*

1347

А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

11/23 октября 1889.

Милый друг Саша,

Получив твое письмо от 1/13 октября, я увидел, что ты начинаешь понимать безрассудность прежней твоей манеры жить с пренебрежением к фактам. В прежних твоих письмах ко мне этого не было; потому я не показывал их твоей маменьке, чтобы не делать ей новых огорчений мыслями о твоём продолжавшемся безрассудстве. Письмо от 1/13 октября я показал ей, находя в нем начало перемены в тебе к лучшему. Ей стало жаль тебя; она посылает тебе денег для возвращения в Петербург. Как мы с нею

будем жить в следующие недели без этих денег, наше дело. Как-нибудь проживем.

По возвращении в Петербург ищи себе должности. Бери всякую, какую предложат, хотя с самым малым жалованьем. Взяв, исполняй, без всяких попыток учить твое начальство, все, что оно велит тебе делать. Иначе тебя прогонят и с новой должности, как прогоняли с прежних. Твои невежественные и нелепые назидания начальству не могут быть терпимы никаким начальником.

Когда ты прослужишь год на одной должности, я увижу, что ты тверд в намерении исправиться. Тогда я рассужу, возможно ли для меня дозволить тебе видеться со мною. Раньше того я не хочу видеть тебя.

Будь здоров. Желаю тебе всего хорошего. Твой *Н. Чернышевский*.